ВЛАДИМИР ЧИВИЛИХИН

ПАМЯТЬ

ВЛАДИМИР ЧИВИЛИХИН

ПАМЯТЬ

РОМАН-ЭССЕ

Книга первая

«Современник»
МОСКВА
1984

Р2
Ч-58

Чивилихин В. А.

Ч-58 Память: Роман-эссе.— М.: Современник, 1984.— Кн. 1.— 640 с., ил.— (Новинки «Современника»).

В пер.: 3 руб.

Новое произведение известного советского писателя, лауреата Государственной премии СССР В. Чивилихина предваряет в событийном плане уже известный читателям роман-эссе «Память».

Свободное по форме, многоплановое повествование построено по такому же принципу связи времен, диалектическому соединению исторической памяти и живой яви.

В новой книге исследуются неизвестные и малоизвестные страницы русской истории и культуры, приводятся ценнейшие наблюдения, расширяющие наши представления о минувшем.

Ч $\frac{4702010200-354}{М106(03)-84}$ 143—84

ББК84Р7
Р2

Владимир Алексеевич Чивилихин

ПАМЯТЬ

Роман-эссе

Книга первая

Редактор **Л. Исаева**
Художник **Б. Лавров**
Художественный редактор **Г. Саленков**
Технический редактор **Л. Анашкина**
Корректор **Т. Стельмах**

ИБ № 3438

Сдано в набор 03.04.84. Подписано к печати 13.11.84. А07479. Формат $84\times108^1/_{32}$. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2. кн.-журн. Усл. печ. л. 33,6. Усл. кр.-отт. 33,6. Уч.-изд. л. 45,05. Тираж 200 000 экз. Заказ № 2747. Цена 3 руб.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР, 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 62

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. 170040. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46

1

Вы думали когда-нибудь о том, дорогой читатель, как цепко сидит в нас все прошлое, сделавшее нас тем, что мы есть? Идешь другой раз лесом или улицей, сидишь за письменным столом или на концерте, беседуешь с кем-нибудь или отдыхаешь в бездумном одиночестве,— и вот невесть откуда возникает перед тобой зыбкое виденне — слово, жест, картина, люди, случаи, забытые, казалось, настолько, что будто их не было совсем. Иногда в самый неподходящий момент явится тихое теплое облако воспоминаний, ласкающе коснется сердца и уплывет назад, истает мимолетным счастьем. А то вдруг из смутного далека объявится в груди нечто вроде болевой точки, которая саднит и нудит, пока что-нибудь сегодняшнее незаметно не залечит ее. Случается, не можешь заснуть и вначале даже не понимаешь, почему не спится, но вот ясно проступает в памяти давняя мальчишеская обида, и ты совсем не по-взрослому снова переживаешь ее, непростимую, не в силах найти утешения.

Или те минуты прошлого, когда мы руководствовались не разумом, но чувством, потому что оно оказывалось сильнее разума? Кто не заливался запоздалой краской стыда за необдуманный свой поступок, совершенный в молодости? А у кого из нас не было в жизни хоть одного, пусть даже самого маленького деяния, которым мы вправе тайно гордиться? И разве ты не встречал бескорыстно-щедрого душой человека, сделавшего тебя неоплатным своим должником? Кому не довелось испытать такую тяжкую невзгоду, что стала она мерилом всех последующих трудностей? У кого нет в закоулках прошлого таинственного, неопределенного, радостно-горестного воспоминания, и мы даже не можем объяснить словами, почему оно время от времени сладко и мучительно щемит душу?..

А наши пути-дороги в большую жизнь? Первая буква, какую ты узнал, первая книга, над которой ты заплакал, засмеялся или задумался, первые познавательные тропки к необъятному космосу природы, техники, науки, культуры... Приобщение к труду, идеям,

радостям и горестям твоего народа, к заботам, коими охвачен мир... Любой из нас, на свой срок становясь участником жизни, проходит в ией неповторимый путь, приобретает сугубо индивидуальный опыт, представляющий, однако, интерес и для других, потому что сила людей, их вера в будущее основываются на опыте каждого, включающем и знания — опыт ума, и чувства — опыт сердца, иа том самом ценном, что, слагаясь, формирует народную память, передается из поколения в поколение и становится опытом историческим.

Предвоенное детство мое и военное отрочество прошли в небольшом сибирском городке Тайга, окруженном со всех сторон кедровыми, пихтовыми и еловыми лесами. У каждого из нас в детстве были милые сердцу речки и леса, горы и тропки, дворы и улицы, которые спустя много лет греют нас золотыми снами. К родному моему городку тайга подступала почти вплотную, кустарником и мелколесьем начиналась сразу же за последними огородами, и сердчишко мое с детства поселилось в ией. Мы, мальчишки-полусироты, суразята и безотцовщииа, пропадали в тайге, она подкармливала нас, незаметно, кажется, воспитывала — и меня, где б я ни был, почему-то тянет туда, тянет с каждым годом все сильней — к родным деревьям, буграм, родникам, и я посещаю их время от времени... Однако самые первые, младенческие впечатления связаны все же не с тайгой.

Одна странная особенность есть у моей памяти — лучше, чем что-либо другое, помню звуки, запахи, краски, а через них все остальное — давние голоса, лица, случаи. Стоит мне сейчас закрыть глаза и мысленно вернуться к зоревой поре жизни, как явственно услышу сипенье желтой керосиновой лампы на стене нашей хибарки, скрип крыльца, увижу изменившееся вдруг лицо мамы, ее порыв к двери:

— Никак, отец!

По каким-то одной ей ведомым признакам мама угадывала, что на крыльцо ступил отец, возвратившись из долгой поездки. На руках с кем-нибудь из нас, малышей, мать торопливо подбегала к дверям, широко распахивала их, и в облаке морозного пара появлялся отец — непомерно большой из-за своих тяжелых одежд, с кожаной сумкой через плечо и гремучими железными фонарями в руках. Втягиваю сейчас носом воздух и насыщаюсь смешанным запахом каляного холодного брезента, потной овчины, керосинового фитиля, старой кожи, но все эти оттенки побивает своей терпкостью горький дух паровозной копоти. Отец обнимал маленькую нашу маму и говорил:

— Ну, будет, будет! Дитя застудишь.

Рабочая отцовская амуниция была для меня предметом вожделенным. Прежде всего, конечно, кожаная сумка, которую я тщательно обшаривал после каждого возвращения отца из поездки. В ней всегда лежала замусоленная книжонка с рисун-

ками паровозов, вагонов, семафоров... Обмылок в железной мыльнице, складной нож, стеариновые свечи и запретный тугой кармашек, в котором хранились белые плоские баночки — петарды. Обычно отец их сразу же убирал на полку, под самый потолок, куда я не мог добраться, а мне так хотелось подержать их в руках, чтоб ощутить под гладкой холодной жестью ужас затаившегося взрыва. Обязательно присутствовала в сумке стопка жестких картонных билетов, пробитых компостером. Использованные пассажирские билеты отец брал, наверно, у товарищей, чтоб я мог строить из них домики, вертеть на вязальной спице или обменять на какую-нибудь другую драгоценность у соседского мальчишки. А в самом потаенном отделении сумки находил я черствую краюху хлеба, дольку пахучей колбасы и обломок кускового сахара, нарочно забытые отцом. Хлеб и колбасу я тут же, как бы ни был сыт, съедал с наслаждением, даже с какой-то звериной жадностью. Отец обычно в это время сидел у печки, грел над плитой руки, смеясь, смотрел на меня, а мать, хлопочущая с обедом, приостанавливалась на бегу, всплескивала руками и приговаривала:

— Ну диви бы голодный! Нет, отец, на него ядун напал, пра слово, ядун!

Сахар я откладывал, чтоб иметь в запасе еще одно удовольствие, и продолжал досмотр. В карманах тулупа и телогрейки, как правило, не было ничего интересного. Но у порога еще стояли большие подшитые валенки, которые мне нужно было непременно примерить, фонари с красными и желтыми стеклами, висели на гвоздике в кожаном чехле сигнальные флажки, я все это тщательно обследовал и, наверное, даже обнюхивал, потому что до сего дня в моей обонятельной памяти живут восхитительные запахи оплывших свечей, керосиновой гари, станционных дымов и пыли дальних дорог...

Ездил наш отец на товарных поездах. Не «работал», не «служил», а именно, как я привык слышать с детства, «ездил» главным кондуктором; эта профессия на железных дорогах давно устранена, в старое же время главный кондуктор считался на транспорте фигурой заметной, наравне с машинистом паровоза, и я вспоминаю, как у колодца две соседушки спорили о том, чей муж главней.

Мы, помню, пришли с матерью за водой, заняли очередь — было время вечернего полива грядок, а я тогда уже соображал и помогал. Пристроившись к углу колодезного сруба, смотрел завороженно в его темную глубину, как и сейчас, если выпадет случай, смотрю — мне нравится эта звонкая капель и гулкие отзвуки голосов, и черное таинственное зеркало воды в глубине, и ни с чем не сравнимый аромат чистого колодца.

Вначале-то соседки мирно судачили о том о сем и не думали ссориться, пока две из них не перешли в разговоре на мужей.

— Твой-то небось дома? — завистливо сказала первая.

— Другую ночь в поездах. Достается ему, не то что твому.

— Не скажи! — спокойно возразнла жеиа машиннста.— У мово работа тяжельше.

— Кабы не тяжельше! Твой толькн за машниу отвечая, а мой за весь поезд — тут табе н буксы глядн, н груз, н тормоза, н плонбы.

— Чаво там глядеть! Снди да сиди. А мой — вязе! Пар держн, сигиалы ие проедь, скорость блюдн, иа подъем тащи твово с грузами ево, н все в мазуте́ да в мазуте́!

— Мой на холоду усю поездку, а твой у котла задицу, прости господи, греяǃ

Какая-то застарелая вражда, видать, прорвалась иеостаиовнмо, н пошло-поехало.

— Ах ты, кержачка таежная! Только дурак с сумкой мог табя, такую-растакую, узять!

Мать, которая иикогда ии с кем не скаидалила н в своем ругательном запасе имела едииственное слово «холера», торопливо говорнла мие:

— Няси свое ведерко иа огород, сыиок, няси! — н пыталась отвлечь соседок: — Гляньте-ка, бабы, — тошшит!

Поталкиваемый в спииу матерью, я уходил, и в ушах увязали последние визгливые аргументы:

— Мой ие свисия, чувырло ты мурзато,— твой не поедя!

— Черногузая! У баию с карасииом ходишь!

Простая и тяжелая жизнь с детства окружала меия, такие же, под стать этой жизни, люди были вокруг, других я не видел, хотя грубых тех теток узнал только в войну, когда иачал кое-что поиимать; оии без мужей, в голоде и холоде, иечеловеческим иапряжеиием подымали большие свои семейства. Откуда бралось у иих столько сил и терпеиия?

Железная дорога незаметно входила в мою жизнь, и, с рождеиья слыша паровозные гудки, я перестал их замечать. Но мама, если отец был в поездке, временами подиимала голову от стиркн или шитья, прислушивалась к гудкам, скрежету прокалеииых морозом рельсов или тишиие, произиосила про себя:

— Как там отец?

В солнечные и тихие морозиые дии рельсовые скрнпы стаиовились такими близкими, что, казалось, это двери стайки кто-то открывает лнбо калитку на соседнем дворе, а над станцией высоко-высоко в иебо подиимались чериые, серые, белые или розовые столбы дыма, пухли, округлясь вершииами, и чудилось, что паровозы спустились сюда на гигаитских разиоцветиых парашютах. Среди наших первых детских игр главиой была нгра в поезда, н мы, голопузая ребятия, ие иаучившись еще как следует выговаривать слова, уже спорили, кому быть машиииетом, кому коидуктором.

— Никак, отец?..

Эти слова запомиились мие навеки. Одиажды раиией весиой крыльцо наше тяжело заходило, и я увидел враз побелевшее лицо мамы.

Вошли большие мужчины, остановились у порога и стали молча смотреть в пол. Мать вскрикнула не своим голосом и повалилась, как подломленная... Помню отца в красном гробу, топкий весенний снег, печальную вереницу людей, винтовочные залпы, горький запах пороха над кладбищем, плачущие крики желтых труб деповского оркестра. А летом, когда мама уходила искать нашу корову Пеструху и ее не было до сумерек, я бежал на кладбище и находил маму распростертой на могильном холмике, где стояла красная деревянная тумбочка с железной звездой наверху. Мама тихо голосила в землю, вцепившись пальцами в траву.

Читать я выучился очень рано, когда отец еще был жив. Как ни странно, раннее приобщение к чтению произошло именно из-за того, что мама наша была неграмотной.

Вышло все так. Долгими зимними вечерами собирались с нашей окраинной улицы жены кондукторов, машинистов, кочегаров, смазчиков, слесарей, стрелочников. Собирались у нас, потому что отца и между поездками часто не было дома — коммунистом он стал, как многие рабочие тех лет, в 1924 году, вечно хлопотал в кондукторском резерве не то по профсоюзной, не то по партийной линии. Мама не могла оставить нас без присмотра, и вот соседки, намаявшись за день с чугунами, скотиной, стиркой и детьми, молчаливо и устало рассаживались где ни попадя, тихо переговаривались, чтоб, наверно, не разбудить моего младшего братишку, которого качала в зыбке семилетняя сестра. Мать становилась на стул и зажигала еще одну, подвешенную к потолку, лампу, от которой сразу же начинало сильно тянуть керосином к полатям, где лежал я, выставив наружу глаза.

Появилась учительница из ближайшей школы. Я ждал ее, как божество, потому что это было на самом деле божество.

— Добрый вечер, товарищи! — произносила в дверях.

До сего дня у меня в глазах ее белоснежный воротничок и такие же манжеты на рукавах платья, нежный тихий голос звучит в ушах, и совсем другие слова, чем те, что я всегда слышал, а от ее светлых волос, которыми она почему-то все время потряхивала, поднимался ко мне сказочный аромат. И еще она была тоненькая, как моя сестренка. Прежде чем начать занятие, грела руки у раскрытой печки, они были насквозь прозрачные и совсем красные.

И вот божество разворачивает рулоны бумаги, вешает листы с большими буквами на стенку, близ лампы, чтобы повидней было, и начинает. Женщины какими-то чужими, деревянными, ненатуральными голосами повторяют: «Ма-ма моет Лушу» или «Мы е-дем в Москву». Хором ладно получалось, а по отдельности ученицы стеснялись, запинались, подолгу думали над каждой буквой, и я нетерпеливым шепотом начинал им сверху подсказывать. Мама грозила мне скрюченным пальцем, а учительница смотрела

на меня и улыбалась. Глаза у нее были голубые, не то что у всей моей родни.

Однажды произошел случай изо всех случаев. Угол подальше от лампы всегда занимала одна тетка с конца нашей улицы. Ходила она в черном платке, таком же платье, и еще помню, что я очень боялся ее темного корявого лица. Когда читали все вместе, она беззвучно шевелила губами, но самостоятельно не могла назвать ни одной буквы, лишь испуганно смотрела на учительницу или тупо, тяжело молчала. Я даже думал, что она вообще не умеет разговаривать, и только раз услышал, как тетка, придя раньше всех, сунула матери зеленую бутылку и зашептала:

— Бярн карасиничику-то, бяри, Аграфена Тихоновна,— у табя ж расход!

И вот случилось непонятное и для тогдашней моей головенки даже, можно сказать, страшное. В тот день учительница была, наверно, простуженной, дольше обычного грела руки у печки, а потом все время кашляла в белый платочек, быстро выдергивая его из рукава. Однако все шло своим чередом. Произносили хором какие-то слова, я сверху подсказывал, мать грозила пальцем, учительница ласково смотрела на меня поверх платочка. И вдруг эта тетка закричала грубым голосом:

— Что ж это деется, бабы?! Читаю! Сама! Грамоте знаю, бабы!

Она шагнула вперед и упала лицом к полу. Учительница хотела ее поднять, только сил не хватило и тетка не давалась, начала тыкаться изрытым оспой лицом в ее белые чесанки, обняв их руками. Учительница кое-как вырвалась, почему-то заплакала, выбежала наружу, где трещал январский мороз, а я заревел благим матом, испугавшись, что тетка ей покусала ноги и первая моя учительница больше никогда, никогда к нам не придет.

И еще помню, как однажды отец, сидя у лампы, читал свой «Гудок», и когда я внятно прочел ему это слово, он удивленно-радостно посмотрел на меня, заставил разбирать другие слова, потом долго подбрасывал меня к потолку и осенью отвел в школу, хотя мне еще не исполнилось восьми лет. Едва научившись читать, я пожирал глазами все буквенное: газеты, отрывные календари, отцовские тарифные справочники, бабкину библию, школьные учебники сразу от корки до корки и за любой класс, пыльные старинные журналы, каким-то чудом сохранившиеся в ящике на чердаке нашего дома, и книжечки, книжки, книги, книжищи — чем толще, тем лучше! Несколько позже определился первый избирательный интерес, начавшийся, как и у многих моих ровесников, с «Робинзона Крузо»,— и я искал любую книгу о путешествиях и мгновенно проглатывал ее, если даже она была с научным уклоном.

С детства тянуло далекое и неведомое, всегда хотелось куда-нибудь и на чем-нибудь уехать. Однажды на соседней трактовой улице появился первый в нашем городке автомобиль. На брезенте

большого фургона было написано: «Москва — Владивосток». Машина, правда, застряла в глубокой глинистой колдобине, мужики ее со смехом вытаскивали конями, а когда она взяла на взгорок, ребятня с восторгом бросилась за ней, и я вцепился в железину, которою запирался борт. Меня мотало во все стороны, больно било углом кузова, залепило грязью до глаз, но я держался занемевшими руками, пока они сами не разжались...

Хотелось уехать на проходящих дальних поездах, улететь на самолетишке, что перед войной начал трещать на нашем крохотном осоавиахимовском аэродроме.

Всяк по-своему попадает человек из захолустья в большой город. Один по семейным обстоятельствам, другой по служебным, третий сам зачем-то рвется с родины на чужбину, и когда в новых местах складывается жизнь хорошо, плохо или средне, то есть так, как она складывается, мы говорим — «судьба», зная, что невозможно разобраться в бесконечной стихии чем-то таинственным детерминированных случайностей, определяющих судьбу, и что ни один еще смертный не прочел загодя слов, написанных на его роду...

Этой книги никогда бы не было, если б не Чернигов, куда я приехал после войны. Дело вышло такое. Старшая сестра Мария перед войной, еще студенткой, вышла в Томске замуж за командира Красной Армии, поляка Людвига Викентьевича Заборского, которого вскоре перевели в Чернигов. Осенью 1941 года он погиб в окрестностях города, сражаясь с подступившим к Десне врагом. Мария едва успела на последний, истерзанный бомбами эшелон, в котором эвакуировался ее госпиталь. С двумя маленькими детьми и подругой, у которой была дочурка, вернулась в родной дом бороться с горем, голодом и холодом. Нас стало девять ртов, и среди них я — единственный мужик, тринадцати лет. Помню ту лютую ночь, когда у нас кончились дрова и мы, чтобы согреться, начали выламывать и жечь пол, помню, как среди зимы доели картошку и тут же перестали отовариваться мясные и жировые карточки иждивенцев и мы от голода сохли в щепку, а мама с сестрой почему-то пухли. Помню, как Мария надавливала лиловую лодыжку пальцем, оставалась ямка, и сестра виновато улыбалась голодными зубами. Работала она по-прежнему в госпитале, и ее, как когда-то отца в поездку, часто вызывали ночью — выгружать из вагонов тяжелораненых и таскать их на телеги. В щели забора, окружавшего железнодорожный клуб имени В. И. Ленина, где разместился госпиталь, мы, огольцы, видели безруких и безногих, забинтованных до глаз бывших солдат, варили им дома в чугунах пахучие недозрелые кедровые шишки, бросали их через забор, а к нам оттуда летели дымящиеся «тарочки» и махорочные «бычки»...

Летом 1942 года я, как и многие другие мои ровесники, пошел в депо учеником слесаря, но встретившая меня в мазутке, ша-

тающегося от голода и усталости, школьная учительница Раиса Васильевна Елкина, из ленинградок-беженок, шла со мной под осенним дождем до дому и уговорила маму отпустить меня в железнодорожный техникум, что эвакуировался к нам из Полтавы. Спустя месяц после начала занятий меня приняли туда без экзаменов, потому что семилетку закончил с похвальной грамотой. Через тридцать три года мне удалось разыскать Раису Васильевну в Ленинграде, а когда она собралась на пенсию, я послал в ее последнюю школу большую телеграмму...

Много в войну было такого, о чем вспоминать и писать тяжело. Старший мой брат Иван был на фронте, и я никогда не забуду, как понесли по нашей улице похоронки. Мама металась от окна к окну, чтобы получше видеть однорукого посыльного из военкомата, который медленно шел от дома к дому... Вечерами собирались к нам соседки. Мама доставала пухлую от частого употребления колоду карт и, раскладывая их, тихо говорила: «Ня знаю, Фядосья, ня знаю. Карты говорят, что живой. Гляди! Вот дама, а вот он второй раз выпадает рядом... Вот ишшо выпал...»

Мама всех жалела. Перед войной взяла в дом сиротку Маню Поворову — очень одаренную девочку, единственную школьницу нашего городка, побывавшую тогда в Артеке, привечала и подкармливала известную в Забуре, окраине нашего городка, дурочку Дуню, над которой все смеялись, помогала больным теткам с нашей улицы копать картошку. Почти всю войну она стирала белье для кондукторского резерва — давали рабочую карточку и привозили топливо. В доме стоял вечный пар, а двор всегда был увешан бело-синими простынями, мазутные пятна с которых были оттерты на деревянной ребристой доске мамиными руками.

Она была совсем небольшого росточка, и когда везла на санках грязное белье со станции, ее почти не было видно из-за того рыхлого тюка...

Никогда не забуду одного случая, связанного с той же стиркой. Нам долго не привозили уголь, я уже добирал шумовкой черную пыль со снегом, а дороги почти пали из-за весеннего тепла. Помню, мама стояла у корыта, я помогал ей отжимать простыни и увидел в окно, как в большом плетеном коробе везут дрова и уголь. Однако на повороте к нам лошадь утопла в глубоком вязком снегу по брюхо, и возчик, огромный краснорожий мужик, бьет ее по голове березовым поленом. Мама, в чем была, простоволосая, выбежала наружу, я за ней. Глаза у лошади, казалось, вылезали наружу, длинные желтые зубы страшно скалились, возчик, шатаясь, мерзко ругался и взмахивал поленом, попадая и по тем глазам, и по зубам, по дуге и хомуту, а снег вокруг был в крови. Мама закричала: «Зачем животную истязаешь, изверг!» — кинулась к нему, вцепилась в полено, повисла на нем, и возчик, часто дыша самогонным перегаром, обалдело уставился на нее, такую по сравнению с ним крохотную. Прибежал сосед-лесник, долго распрягал и вытаскивал коня, откапывал санные

полозья, натирал возчику лицо снегом, а мы с мамой до ночи таскали ведрами уголь во двор...

Война запомнилась мне больше работой, чем учебой. В мастерских мы делали мелкие детали паровозов, в неимоверном количестве лопаты и тяпки, дома надо было и огород копать, и сено косить, и дрова пилить, и стайку чистить, а техникум куда нас только не «бросал». На снегоборьбу, где мы непременно обмораживались, в шахты Анжеро-Судженска — наваливать на ленту уголь, на картошку в подсобное хозяйство, в депо, где мы катали паровозные скаты и тянули дышла. Как тянули, не знаю...

Первый большой город, что я увидел, был Томск, куда я приехал в войну добывать очки,— в пятнадцать лет мне уже доставляла неудобства моя близорукость. Томск — главный культурный центр нашего района Сибири, и к нему всегда тянулась тайгинская молодежь. Старший мой брат там учился, сестра тоже, и, собственно, первый большой каменный дом, увиденный мною, был Томский университет — этакая длинная белая громада за железным забором, которая и сейчас выделяется в центре города своей основательной старинной статью.

Потом был Новосибирск, запомнившийся одним редким впечатлением. Война еще продолжалась, нужда во всем возрастала, однако новосибирцы достроили свой огромный театр оперы и балета, куда мне страстно хотелось попасть, потому что я никогда не был в театре.

В последнюю военную зиму я кочегарил на паровозе. По возрасту и зрению я не подходил для такой работы, но продолжалась война, нужда во всем, в том числе в рабочих кадрах, возрастала, и мы, техникумовские студенты, растягивая практику, проводили зимние каникулы в поездках. Обледеневшая, скользкая палуба тендера, тяжелая кувалда, которой приходилось часами разбивать большие глыбы черемховского угля, и руки сводило от этой работы, нестерпимый жар зольника, забивавший легкие мелкий едучий пепел, угольная пыль в ресницах, что никакими силами не отмывалась.

Вспоминаю день, когда мы привели из Тайги состав с зачехленными артиллерийскими орудиями в Новосибирск, отцепились, экипировали локомотив. Бригада устроилась отдыхать, а я, ополоснувшись в душевой и сменив мазутку на плохонький костюмчик, побежал сквозь пургу в центр города. Театр оперы и балета величаво царил над ним своим серебристым, будто подернутым изморозью, куполом. Билеты были, но старушка в гардеробе долго не хотела принимать мою телогрейку...

Огромный гулкий зал, необъятная сцена. «Князь Игорь»! Неописуемые краски декораций, величавая музыка, половецкие пляски, арии Кончака, Владимира Галицкого, Игоря — все это было почти нереально, как во сне. Холодок пробирал по спине, сердце колотилось, словно при тяжелой работе. Пальцами я растягивал уголки глаз, чтобы лучше видеть, или зажмуривался, чтобы раствориться в тумане забвения и плыть в волнах восторга...

Летом того года был Красноярск, за ним — послевоенная Москва проездом, с вокзала на вокзал, и вот Чернигов, город, наградивший родниковым истоком будущих интересов и определивший, можно сказать, мою судьбу. Сестра вернулась с детьми в него, как только город освободили. Ее поселили в подвальную комнату, куда она пустила семью из пяти человек, тоже оставшуюся без кормильца и крова, и так жила, работая медицинской сестрой в том же военном госпитале. А я приехал посоветоваться со старшей сестрой, как и где нам всем жить, чтоб хоть немного полегче было.

Деньги на эту дальнюю дорогу образовались так — мы с матерью продали за девять тысяч послевоенными дешевыми деньгами нашу половину дома, купили за пять с половиной полусгнившую развалюху, а на остаток я поехал. Страшенные цены были тогда! Буханка хлеба стоила пятьсот рублей, и, следовательно, «новая» халупа наша могла быть куплена-продана за десять буханок хлеба с довеском... Несмотря на то, что у меня был билет на поезд, до Москвы четверо суток пришлось ехать на подножках и крышах вагонов — так много народу двигалось тогда из Сибири в Россию. До Чернигова ехал еще сутки.

Поезд остановился на пустыре, и я с котомкой в руках пошел через руины искать улицу 18-го Березня. Не знаю, можно ли было назвать городом то, что осталось от него. Стояли рядами печи с высоченными трубами, уцелевшие каменные стены смотрели черными мертвыми глазницами, стройные пирамидальные тополя, каких я раньше никогда не видел, были серыми от пыли. Кое-где вместо улиц вились узкие тропинки меж кирпичных, щебеночных, известковых куч, гнутого ржавого железа, деревянных обломков, рассыпавшейся штукатурки, обрывков довоенных газет и блеклых обоев.

Трудно, голодно жилось тем знойным послевоенным летом, и я, чтобы как-то помочь сестре, начал ходить на руины, которые еще сохраняли белильной свежести слова: «Мин нет! Инструктор Стрелец». С утра у горисполкома толпился пестрый люд — женщины, подростки, старики, изможденные небритые мужчины. Стихийно складывались бригады и отправлялись в разные концы города разламывать остатки стен, таскать битый кирпич и всякий мусор, получая за день такой работы талон, который в длинной вечерней очереди отоваривался килограммом ячневой муки. Вспоминаю своего тщедушного бригадира — чернявого, с усиками, в армейских галифе и видавших виды сапогах, в добела выцветшей гимнастерке, на которой темными пятнами проступали следы от погон и медалей. Мы не знали его фамилии, звали за глаза странным именем-кличкой Стройся. Как-то вернулся он, помню, с обеда совсем пьяный, хлебнув, очевидно, тройного одеколону или какого другого заменителя. Это было страшно. Стоял, пошатываясь, у разрушенной стены, бледный, с полуопущенными дрожащими веками. Потом вдруг выпрямился, открыл мутные, невидящие глаза и оглушительно, протяжно закричал:

— Ди-ви-зи-я-а-а-а!

Я с ужасом смотрел на него.

— Стройся!

Он выдержал паузу, поводил головой туда-сюда и скомандовал:

— Ррравняйсь!.. Смирно!

Снова обвел полубезумным взглядом воображаемый строй, тихо, обыкновенным усталым голосом произнес «вольно» и сразу обмяк, сник, опустился на камни. Кто-то из приятелей помог ему подняться и увел домой. Такое повторялось не раз и не два, но я все никак не мог привыкнуть и начал убегать от его команд за руины. Иногда во время работы он бледнел, оседал на кирпич и, морщась и скрипя зубами, сжимал руками голову. Когда отпускало, Стройся сворачивал цигарку из крепчайшего самосада-зеленухи, сквозь дым рассматривал бесконечные руины и говорил больше, помню, удивленно, чем злобно:

— Что понаделали! А? Подчистую! А? Всю Германию прошел до самого ихнего Берлина. Ему, проклятому, тоже, конешно, досталось от боев, только такого там нигде нету, чтоб все подряд... Стройся!

Мы снова выстраивались в цепочку. Передавая мне первый кирпич, он оскаливал желтые прокуренные зубы, произносил «данке шён!» и сплевывал в сторону. «Битте шён»,— в тон ему отвечал я, учивший в школе немецкий, и передавал кирпич дальше. «Данке шён»! По-русски это означало «пожалуйста» — «спасибо».— «Пожалуйста!..»

Все это ясно запомнилось еще и потому, что теми днями случайно и нежданно случился некий вроде бы очень обыкновенный случай, притуманенный сейчас десятилетиями, но оказавшийся исключительно важным для меня. «Случайно случившийся случай случился»...— подобная словесная комбинация, возможно, под силу только нашему чудо-языку, который делает со словами все, что его душеньке угодно. И вот если б действительно не этот случай, то не было бы множества встреч и знакомств, что ждут читателя впереди, не повел бы я его с собой в глубину прошлого, не обратил бы вместе с ним внимания на некоторые страницы русской литературы, истории, русской каменной летописи, то есть не было бы ни строчки из того, что вы тут прочтете...

Однажды Стройся не пришел — сказали, что слег. Нашу уже сложившуюся бригаду долго не наряжали никуда: постоять за нас стало некому, и мы до полудня торчали во дворе горисполкома, ожидая работы. Хорошо помню, как неподалеку шумели какие-то официальные распорядители в соломенных шляпах, о чем-то спорили меж собой, и я уловил: «Барановский... Барановский... Барановский...»

Наконец нам нашли дело. Навсегда забыл место, куда нас привели, и через тридцать пять лет не могу найти его, потому что все в этом районе перепланировали, позастроили, но работали мы тогда недалеко от здания облисполкома, каким-то чудом

уцелевшего,— в этом старинном доме до революции служил земским статистиком классик украинской литературы Михайло Коцюбинский. Помню сплошные завалы битого кирпича. В этот хаос, на небольшую возвышенность, привели с «биржи труда» нашу бригаду во главе с каким-то официальным распорядителем. Ужасающие развалины исчезнувшего от взрыва строения были обнесены кольями. Их ломаными зигзагами соединяла длинющая веревка. Кирпич был плоский, очень крепкий с виду, и закаменевший раствор мертво держал обломки. Нас заставили не разбирать руины, а собирать по кирпичику и даже ломов не дали, чтоб кто-нибудь не расколол ненароком эти жалкие остатки того, что когда-то тут было. Руководитель работ трясся над каждым фигурным уголком или закругленьицем, умолял не торопиться, осторожнее нести на носилках и в руках уцелевшие кирпичные блоки, приговаривая: «Это же история! История!» И я очень удивился, когда, проработав до темноты, мы получили по два талона и нам отоварили их без очереди...

А обыкновенная эта фамилия Барановский почему-то запомнилась, и позже, когда я время от времени приезжал в Чернигов, куда через три года переселилась из Сибири вся наша семья, она совсем закрепилась в памяти. Несколько раз я видел этого человека издали и уж никак не мог тогда предположить, что мне предстоит близкое знакомство с ним и его делом, связанным, в частности, с возрождением одного бесценного черниговского памятника, о котором у нас большой разговор впереди. Это архитектурное сокровище позже разбудит мое воображение, заставит снова и снова обращаться к самой великой загадке средневековой русской истории и культуры, пред которой я впервые остановился тоже в Чернигове тем памятным послевоенным летом.

По выходным дням засиживался до закрытия в областной библиотеке имени Короленко. Это была первая в моей жизни библиотека, где я мог взять любую — по тогдашним моим потребностям — книгу. Читал, как и прежде, все, что попадало под руку, и однажды, не помню уже по какому случаю, зачем-то сопоставил возраст городов, в каких успел побывать. Город моего детства и отрочества Тайга насчитывал всего пятьдесят лет, Новосибирск столько же, Томску и Красноярску было по триста с лишним, Москве — восемьсот, а Чернигову — больше тысячи! В городе сейчас не было почти ничего, и мне захотелось узнать все, что здесь когда-то было. Попросил дать какую-нибудь книгу про Чернигов.

— О! — удивилась старушка библиотекарша.— Что же именно вас интересует?

— Да все,— сказал я.— С самого начала.

И вот передо мной стопка книг. Начал я читать и очень скоро запутался во всех этих Святославах, Игорях, Всеволодах и Олегах — десятки неотличимых друг от друга князей сидели когда-то в Чернигове и других русских городах и княжествах, воевали с печенегами, половцами, друг с другом, строили крепости

и церкви, охотились на вепрей и рожали детей, которые, подрастая, воевали с печенегами, половцами и друг с другом, строили крепости, церкви, охотились на вепрей и рожали наследников, пока не пришел Батый и все тут не покрылось мглой на века.

Снова и снова приходил я в библиотеку, полез даже в летописи, начал брать на заметку кое-что для памяти и с удивлением заметил, что князья начали немного отличаться друг от друга, а старый русский язык показался мне куда понятнее, чем украинский. Вот сын Владимира Крестителя, первый черниговский князь Мстислав Храбрый, который был «дебел телом, чермен власами и лицем, очи великие, брови возвышены имел, храбр на войне и милостив, жалуя служащим ему, не щадя имения, писчи и одеяния». Этот портрет мне очень приглянулся своей краткой выразительностью, особенно после того как я выяснил, что «чермный» — это совсем не «черный», а «рыжий», «рудый», «красный», или «красивый», что почти через два века после Мстислава сидел в Чернигове и Киеве рыжий князь Всеволод Чермный, что и Черное наше море вовсе не «черное», а «чермное», то есть «красное», «красивое».

А Мстислав тот, оказывается, ходил из Чернигова со своими полками до самого Чермного моря, в какую-то Тмутаракань, и даже на Кавказ, где однажды схватился в поединке с касожским князем Редедей, победил его и дань возложил на касогов и построил в Тмутаракани церковь.

И вот я брожу по черниговским развалинам, взбираюсь на Черную Могилу языческих времен, что до сих пор мощно и таинственно возвышается среди современных зданий, выхожу на берега Десны и Стрижня, но все пути по городу ведут на Вал, где тысячу лет назад уже было укрепленное городище, а потом стены поднялись над рекой, к которым в 1239 году татаро-монгольские полчища подступили с таранами и другими осадными орудиями.

Выгорел тогда Чернигов дотла, запустел. На пепелищах, как и сейчас, стояли печные трубы, да разграбленные храмы возвышались над Десной белыми и красными вежами. Черные птицы слетались на черный смрад, на прокорм. Израненные в битве монахи зарылись в земляные пещеры Болдиной горы, старики, женщины и дети разбрелись по окрестным лесам. Потом были замучены в Орде последний домонгольский черниговский князь Михаил и боярин его Федор, а священники, наверно, вынесли темной ночью из пещер книги да ритуальную утварь, погрузили на лодки и отчалили вверх по Десне на север, чтобы обосноваться за лесами, в Брянске... Между двумя страшными нашествиями — с востока и запада — прошло ровно семь веков.

Однажды пришел, помнится, как-то в библиотеку с утра пораньше, снова заказал исторические книги, но библиотекарша насмешливо спросила:

— Помилуйте, юноша, вы хоть прочли «Слово о полку Игореве»?

— Нет. Оперу «Князь Игорь» слушал...

— Поэму надо читать, поэму!

Мне совсем не стыдно признаться в том, что в свои восемнадцать лет я не прочел еще «Слова». Понимаю, что без знания какого-либо художественного произведения можно благополучно прожить до смертного своего часа, свершить немало полезного для общества, добившись успехов в науке, изобретательстве или, скажем, административной деятельности, но я лично просто не могу себе представить, как бы сложилась моя жизнь, если б своевременно не познакомился со «Словом о полку Игореве», этим бесценным и бессмертным памятником родной литературы, заколдовавшим меня вдруг и навсегда...

Сюжет «Слова» я примерно знал по опере, но дело было совсем не в сюжете! Первое впечатление от поэмы было ошеломляющим, но из-за моей неподготовленности настолько личным, индивидуальным и наивным, что я, описывая его, рискую вызвать у знатоков снисходительную усмешку. В памяти всплывали пестрые краски театральных декораций, отдаленная музыка и голоса, ритмичные движения на сцене, прохладный, чистый, почти озонный воздух огромного полупустого зала, однако текст «Слова» заслонил все это, вызвав нежданную ассоциацию.

Очень странно — в поэме нигде не описывается лес, даже не употребляется слова такого, но вся она почему-то представилась мне в виде сказочно-реального леса. Стоит будто бы он под яростным солнцем, чутко слушает отдаленные громы, тревожно шумит под ветром. Светлые опушки и елани, глухие заломные места, молодая поросль на отживших свое поверженных великанах; птицы, звери, дивы, лешие, береиден, кикиморы. Вот черная туча навалилась, и страшный древний бог сотрясает небо, вонзает огненные копья в землю, валит лес тяжелым своим дыханием, изнемогает от такой работы и уступает богу дарующему. Снова под солнцем зелень трепещет, и каждый листочек — великая тайна сущего, каждый ручеек — непрерывная пульсирующая струйка, связывающая этот изуродованный бурей, но все тот же волшебный мир с бездонными небесами, темными недрами, далекими океанами. А издали опять надвигаются тучи в полнеба...

Это слишком общее и романтическое восприятие поэмы шло, должно быть, от юношеской мечтательности, от природной среды, в какой я вырос, и, конечно же, от бездны непонятных слов и выражений, неизвестных имен и географических названий, темных, как лес, фраз, намеков, иносказаний, сконцентрированных в плотные, непроглядные по смыслу фразы. Я не имел знаний, чтобы разобраться в сложной вязи важных понятий; помню только, что испытал тогда жгучий интерес к человеку, который много веков назад вместил **такое** в маленькую тетрадку. Этот величайший русский писатель, наверное, бывал здесь, в Чернигове, потому что город не раз упоминался в поэме, и еще Новгород-Северский и Путивль.

У каждого, кто впервые вчитывается в «Слово», возникают свои вопросы и недоумения. Так уж вышло, что для меня они пре-

жде всего оказались связанными с Черниговом. Упоминается, скажем, сильный, богатый князь Ярослав «с черниговскими боярами, с воеводами», и тут все понятно, однако дальше идет какая-то нерусская тарабарщина: «и с татранами, и с шельбирами, и с топчаками, и с ревугами, и с ольберами». Кто это такие? Завораживали и запутывали старинные географические названия. Называется какая-то «Каиина зеленая наполама», и это вроде бы поле или речка близ Чернигова, место большого междоусобного сражения. А Игорь и Всеволод потерпели поражение от половцев, «разлучились на берегу быстрой Каялы». Таинственная эта Каяла упоминается в «Слове» много раз, и толкователи узиавали ее в разных южных, придонских и приазовских речках, в том числе и в Калке, той самой, что через сорок без малого лет после поражения Игоря станет свидетельницей первой битвы русских с татаро-монголами. В Чернигове я расспрашивал корениых его жителей, нет ли где-нибудь близ города села или поля с интересным иазваиием «Нежатина нива». Не было ничего подобного, и я расспрашивал бы дальше, но приблизилось время отъезда иа работу.

С неохотой покидал я Чернигов, мечтая когда-нибудь побродить по его земле, побывать и в Новгороде-Северском, и в Путивле, снова попытаться найти Нежатину ниву и Канину. Уезжал из Чернигова ночным «пятьсот веселым» поездом, налегке, голодиый. Что со мной будет в неведомом краю? Какую работу дадут, и справлюсь ли я с нею? Эх, поучиться бы еще! Государственные экзамеиы я сдал все на пятерки, только по автотормозам случайно получил на балл ниже, потеряв право без трехлетней отработки и вступительных экзаменов поступить в вуз. Может, я смогу на новом месте наладить свою жизнь и взять всех моих родных к себе? Да слова бы русские поизучать и «Слово»!

Теплились неясные иадежды, тревожиые предчувствия теснились в груди — словом, все было так, как это бывает у каждого в восемнадцать лет. «Что мне шумит, что мне звенит далече рано перед зорями?»

Работал я в паровозном депо техииком, получал в месяц шестьсот рублей, а бухаика хлеба, повторю, стоила пятьсот, то есть пятьдесят на теперешиие деньги. Жил в рабочем общежитии. Это был камеиный сарай иа двадцать пять коек с двумя большими чугунными печками, круглые сутки красными,— в любой час мог прийти с холоду кочегар или слесарь, и у печек этих ии иа миiуту не замирала жизнь: тут варили картошку, сою и бараньи головы, стирали белье, сушили портянки, играли в карты и домино, разговоры разговаривали, читали.

Одиажды на прилавке жалкого местиого книжного магазинчика жадно схватил «Слово о полку Игореве» в довоенном издании с обширными комментариями. Много раз вечерами перечитывал у печки уже знакомые фразы, полные какого-то иеобъяснимого виутреннего напряжения и таинственного колдовского

смысла. Снова и снова окидывало то холодом, то жаром и даже самокатную слезу временами выжимало. Какие слова встречались, незамечаемые прежде, как необыкновенно были они составлены! «Трепещут синие молнии». Белая молния в черном небе слепит глаза, и ясно видишь мгновенный трепещущий синий зигзаг! Днепр Славутич не «качал лодки», а «лелеял насады». «Насады» — это речные суда с надставленными бортами, и Днепр любовно, бережно зыбил их, *лелеял*, как детей качают русские матери в люльках и зыбках. Или вот «теплые мглы», что «одевали» князя Игоря, бежавшего из плена. Туманные летние ночи действительно *теплые*, и они укрывали, грели героя поэмы, *одевая* его. А вот несколько исполненных глубокой печали слов, с удивительной живописной силой заменяющих одно: «в одиночестве изронил он жемчужную душу из храброго тела через золотое ожерелье». А как прекрасно, кратко и необычно — через поведение птиц — описан рассветный час перед битвой князя Игоря! «Щекот соловьиный уснул...» Надо же — не смолкло соловьиное пенье, а *щекот* «успе», *уснул!* Одно лишь слово — и перед нами вся картина раннего дремотного утра. И дальше — «говор галок пробудился». *Говор!* Следом же: «Русичи великие поля червлеными щитами перегородили, ища себе чести, а князю славы». Как быстро все переменилось — уж подняты мечи, взяты наперевес пики... Поэма заряжена клокочущей внутренней энергией.

А птиц-то в поэме, птиц! В мою жизнь птицы вошли с детства. Водил голубей, ловил и держал в клетках щеглов, чечеток, синиц и снегирей, строил скворечни для первых весенних певцов, ловил в петли рябчиков, видел в тайге глухарей, любил слушать и провожать взглядом улетающие на юг журавлиные станицы, а под крышей нашего дома всегда селились воробьи и ласточки.

И еще зорил дроздиные гнезда. Не из баловства, но по нужде. Оголодавшая за зиму таежная ребятня убегала по первым проталинам в лес и набрасывалась на все, что можно было есть,— уминали в неимоверных количествах черемшу, корешки кандыка, стебли медуники, луковицы саранки. Мы жевали еловую серу, слизывали с травинок муравьиную кислоту и зорили дроздов, что огромными крикливыми колониями селились в заболоченных ельниках. Обирали яйца, варили на кострах в консервных банках и ели.

Вспомнил я двенадцать разных птиц моего детства, но в «Слове о полку Игореве» ни одна из них не называлась. Там было двенадцать других птиц — соколы, орлы, лебеди, соловьи, галки, гуси, гоголи, чайцы, чернядь, вороны, сороки, дятлы. Эти последние долбят больные вершины и сучки, оттягивают на соломе сухую щепочку и дребезжат ею; раньше я даже не знал, как назвать эти звуки, и только в поэме прочел прекрасное русское звукоподражательное слово — по заросшим оврагам и лесным куртинкам путь к реке князю Игорю дятлы указывали своим *тектом*...

Без птиц «Слово о полку Игореве» было бы совсем другим — настолько много они там места занимают и так туго вплетаются в ткань повествования. Боян, когда хотел песню воспеть, то растекался мыслию по древу, воспарял *«сизым орлом под облаками»*. Не просто подыгрывал себе на гуслях, перебирая струны, а *«напускал десять соколов на стадо лебедей»*. Сокол чаще других птиц упоминается в «Слове», и автор, как хороший соколиный охотник, все знает о нем и его повадках, отличая, например, просто сокола от кречета, охотничьей птицы, бьющей жертву на лету. Поразительный по точности и силе «птичий» образ навеян гибелью Изяслава, сына Василька, разбитую дружину которого *«крылья птиц приодели»*. Должно быть, автор не раз видел поле брани, на котором трупоядные птицы жадно распускают крылья над своею кровавой пищей. А еще в «Слове» упоминается тринадцатая птица — зегзица, с которой сравнивается печальная Ярославна...

И словесная живопись в поэме удивительным образом сочеталась с публицистическими строками, пронизанными любовью к Русской земле, с горькими раздумьями о страданиях родины, с призывами прекратить междоусобные распри и подняться на ее защиту. Кто это мог написать? Вот бы докопаться когда-нибудь! Жизни не жалко.

Долгой и лютой зимой, сидя темными вечерами в общежитии, я читал и перечитывал «Слово». В памяти отлагались фразы и целые абзацы, что сыграло исключительную роль в моей дальнейшей судьбе.

2

Прошло три года. С отчаянной решимостью подал я заявление и документы на филологический факультет Московского университета, хотя у меня не было аттестата зрелости, а лишь дип-

лом техника паровозного депо. Конкурс по избранной мною специальности в том году достиг двенадцати человек на одно место. Меня отговаривали, запугивали, смеялись надо мной, усиливая мою неуверенность, однако советчики и насмешники не знали, какой год прожил я перед этим. Сначала поступил в вечернюю школу, чтоб пройти ее официальный курс, но тут же бросил — долго, неинтересно, много ненужного и еще больше известного. Прочитал учебники за среднюю школу и убедился, что от неистового глотания всяких книг в моей памяти застряло кое-что сверх программы.

В маленьких местных газетках я печатал свои крохотные заметки, однако главный мой козырь состоял в другом. Зная, что на вступительных экзаменах прежде всего нужно хорошо написать сочинение, я целый год их сочинял. Каждые три дня, без каких бы то ни было исключений, писал и переписывал начисто пяток страниц на какую-нибудь литературную или свободную тему, поставив целью сработать сто сочинений. Не давая себе никаких поблажек в течение пятидесяти недель, написал их за год ровно сто штук. И весь год, кроме того, переписывался по-немецки с одним сибирским другом, свободно владеющим этим языком и согласившимся отсылать мои письма назад со своими поправками. А еще я влез в необхватную русскую историю и так увлекся ею, что по сей день помню много такого, чему в школе не учили, не учат и никогда, наверное, не будут учить.

Экономил каждую вечернюю минуту, прихватывал ночи и до сего дня удивляюсь, что выдержал такое и как еще выгадывал воскресенья, чтоб удариться в какую-нибудь поездку. Нестерпимая непоседливость одолевает меня всю жизнь, мешает серьезно работать, а тогда ее было с лихвою. Побывал я в Ясной Поляне и на Куликовом поле, расположенных по разные стороны, но совсем неподалеку от станции Узловой, где я тогда работал, у истока Дона, в Богородицке и Епифани, езживал в Тулу и Москву.

К тому времени моя парторганизация приняла меня кандидатом в члены ВКП(б), но в автобиографии, поданной вместе с документами в университет, не счел нужным об этом упоминать, потому что не прошел еще утверждения горкома и, кроме того, думал — какой же я буду большевик, если не выдержу конкурса? Больше всего дрожал, естественно, перед экзаменом по русской литературе — поступал я на филологический, в сущности не имея на то никаких оснований, а лишь формальное право выбрать со своим техникумовским дипломом любой вуз. Этому главному вступительному экзамену в МГУ тоже суждено было через много лет пустить начальные корни в настоящее повествование...

Принимал его небольшой подвижный человек, язвительный, придирчивый, совсем не похожий ни на добрых моих тайгинских учителей, в том числе и эвакуированных из Ленинграда, которых я свято помнил и чтил, ни на благообразных и снисходительных университетских профессоров, какими они представлялись мне

в мечтах. Сдавалось, что он согласился взять на себя роль главного сита, и отсев шел быстро и безжалостно. Как ошпаренные, выскакивали в коридор хорошо одетые молодые люди, что за полчаса до того снисходительно вещали о литературных тонкостях в кругу трясущихся девушек, со слезами на глазах выбегали и эти несчастные абитуриентки-провинциалки, с недоуменьем на лицах выходили из аудитории совсем недавно веселые медалисты и злые молчуны моих лет и постарше.

По алфавиту я стоял в конце списка и когда вошел в кабинет, то увидел, что готовящихся к ответу скопилось с полдюжины и никто из них не рискует выйти к столу, за которым сидел маленький человек с нервным нетерпеливым лицом и молодая женщина — в коридоре говорили, что это аспирантка и будто бы добрая. Взял я билет, сел поодаль и понял, что пропал,— не знал как следует самого первого вопроса. Не помню уж точно, как он был сформулирован, но речь шла о революционно-демократической литературе шестидесятых годов. Говорить на эту тему я, конечно, мог, но вокруг да около, без уверенности и подробностей, потому что вопрос ставился как-то слишком уж теоретически. А тем временем вызвали к столу красивого стройного юношу с галстучком-шнурочком, и я стал слушать его ответы, потому что мне теперь было все равно. Преподаватель спрашивал както странно — то и дело перебивал, ставил вопросы так, что надо было думать не об ответе, а о вопросе, и по всему было видно, что ему невыразимо скучно слушать этот литературный детский лепет. Юноша скоро и тихо провалился, удалившись с таким достоинством необыкновенным, что я даже позавидовал ему. Снова никто не решался идти к столу, и тогда я — будь что будет! — по-школьному поднял руку и поднялся сам.

— Без подготовки? — пронзительно спросил экзаменатор, с прищуром разглядывая худого сутулого очкарика в железнодорожном кителе.— Пожалуйста!

Он взглянул в мой билет, отодвинул его в сторонку, сухо заметил, что эти вопросы я, возможно, знаю, бывает, и для начала предложил перечислить шестидесятников, каких я прочел. Среди других я неожиданно для себя назвал Ивана Кущевского и тут же горько пожалел об этом.

— Кущевского?! — удивился экзаменатор.— Что же именно вы его прочли?

— А у него только один роман «Николай Негорев, или Благополучный россиянин».

— Ну, положим, у него есть кое-что еще,— услышал я холодный голос.— Хотя роман, верно вы заметили, один. Что же вы запомнили из этого романа?

А я ничегошеньки не помнил! Проглотил книгу подростком, дело было еще на родине, в Сибири, и роман этого прочно забытого русского писателя попал мне под руку, наверно, единственно потому, что был напечатан до войны в каком-то местном издательстве. И тут меня выручила одна странная особенность моей

памяти — я могу не запомнить многих героев, канвы произведения, не знать его значения в ряду других и тому подобного, но какие-то важные, переломные, критические ситуации способен представить как въяве, а характерные главные слова и целые диалоги могу помнить десятилетиями.

В необъятной русской литературе живет множество бессмертных строк, пронзающих мозг и сердце; у меня они одни, у тебя другие, у кого-то третьего врубились в память заветные слова, совсем не похожие на наши с тобою, и это прекрасно, что каждый находит в океане чувств и мыслей, завещанных русскими писателями прошлого, свое, созвучное лишь своему душевному ладу. Признаюсь, что на меня избранные такие слова всегда производили необъяснимое действие, почти физическое,— вначале ощущаю какой-то жутковатый холодок на спине, потом почему-то жар в груди, першенье в горле, и ладно, если все это не кончается слезой, которую чем крепче держишь, тем она жиже и текучей.

Давным-давно, например, прочел я сочинения протопопа Аввакума. Меня поразил тогда беспощадный и страстный язык этого замечательного русского публициста, но из всего «Жития», переполненного описаниями неимоверных страданий автора, зримо вижу один только эпизод. Вот бредет Аввакум с измученным своим семейством по ледовой сибирской дороге. Супруга его, обессилев, падает и встать не может. Он подходит, а она спрашивает: долго ли, протопоп, будут муки сии? «Марковна, до самыя до смерти!» Она же, вздохня, отвещала: «Добро, Петрович, *ино еще побредем»*...

И кроме того, меня всегда удивляли встречные люди, что читали книги, но каким-то образом пропускали мимо себя автора, не интересовались им и даже не запоминали его фамилии. А мне часто об авторе было читать увлекательней, чем книгу его...

— Так что же вы запомнили из этого романа?

Мне вдруг ясно представился один эпизод повествования Ивана Кущевского — дуэль между двумя его героями. Один из них барон Шрам, негодяй и ничтожество, раненный легко и неопасно, мерзко скулит, а народоволец Оверин, присутствовавший при сем в качестве секунданта, берет из чемоданчика врача хирургический ланцет, с рассеянным видом, как доску, протыкает себе насквозь ладонь и спрашивает, кому больней. Еще запомнилось, что в тюрьме, куда попадают эти герои, мужики сразу их раскусили, назвав святого фанатика Оверина удивительно хорошо и точно: *дитя думчивое.*

— Как? — приглядываясь, спросил преподаватель и тут же быстро отменил свой переспрос.— А что вы можете сказать об авторе?

— Иван Кущевский родом из Сибири,— начал я, припоминая предисловие к роману.— Учился в Томской гимназии. Приехал без средств в Петербург поступать в университет, не попал, работал где ни попадя, голодал, часто болел, роман свой в больнице

написал и вскоре умер, еще совсем молодым... В больнице его, кажется, навестил Некрасов...

Экзаменатор вопросительно смотрел на меня, и я, помолчав, потерянно добавил:

— Страдал запоем...

— Да-а-а,— задумчиво протянул человек, в руках которого была моя судьба.— Страдал *запоем и страдал* запоем...

Он тоскливо смотрел в окно, потому что я ему стал совсем неинтересен. Обратился к соседке:

— У вас будут вопросы?

Аспирантка ласково заговорила:

— Вот вы держите экзамен на отделение журналистики. Что можете сказать о Пушкине-журналисте?

— Редактировал «Литературную газету» до Дельвига, основал журнал «Современник»,— начал я, не зная хорошо, что сказать дальше.

— Вы читали «Путешествие в Арзрум»? — ласково спросила она, явно желая меня выручить.

— А я всего Пушкина прочел.

— Так ли уж всего? — усомнился преподаватель.

— Клевал, клевал по зернышку, а потом взял полное собрание сочинений — и подряд!

— И письма? И переписку о дуэли?

— Да,— сказал я.— Геккерн пишет, потом д'Аршиак... И незаконченные вещи прочел...

— Гм,— загадочно произнес экзаменатор.— Ну хорошо, а что вы запомнили, например, из «Путешествия в Арзрум»?

— «Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались на крутую дорогу. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» — спросил я их.— «Из Тегерана».— «Что вы везете?» — *«Грибоеда»*...

Последнее слово было выделено самим Пушкиным.

Голос у меня непроизвольно осекся, потому что внезапный озноб и жар сделали свое дело.

— Ну, и дальше запомнилось,— с трудом сладил я с собою.— Только не дословно... Мечтаю побывать на этом месте.

— Зачем? — услышал я чужой голос.

— Ну так, постоять... И, кроме того, у Пушкина там, кажется, ошибка.

— Какая же? — услышал я ликующий голос.

— Он переехал через реку и, значит, должен бы подниматься в гору, а повозка с телом Грибоедова спускаться к реке.

— Фактических ошибок у Пушкина нет,— заметил экзаменатор как-то неуверенно.

— Может быть, мост через горную речку висел над глубоким ущельем? — сказал я.— И меня в русской литературе интересует...

— Что вас интересует в русской литературе? — перебил тот же пронзительный голос.

— Все! — разозлился я.

— Гм. А кого вы считаете в ней первейшим публицистом?

Вопрос был поставлен так, что я не знал, кого назвать.

— Ну хотя бы несколько имен! — решила помочь мне аспирантка.

— Имени его не знаю,— вдруг решился я,— но мечтаю когда-нибудь докопаться.

— Кого вы имеете в виду? — оживился преподаватель.

— Автора «Слова о полку Игореве».

Тут он вдруг закрыл лицо маленькими сухими ладошками, начал подрагивать всем телом, издавая странные сдавленные звуки, что-то среднее между «пых» и «дых» — совсем человек зашелся в смехе, а мне было хоть плачь.

— Извините,— сказал наконец он, вытирая платочком слезы.— До вас все называли Эренбурга... А насчет автора «Слова» — никто никогда до этого не докопается! И что же вы помните из поэмы?

— Даже наизусть кое-что,— храбро ответил я.

— Начинайте,— усмехнулся он.

— «Не лепо ли ны бяшет, братие, начати старыми словесы трудных повестий о полку Игореве, Игоря Святославлича? Начати же ся...»

— Достаточно,— перебил он меня.— Кому адресовано это обращение «братие»?

— Скорее всего, имеются в виду князья, но твердого мнения у меня пока нет.

— Кто такой Владимир Старый?

— Думаю, что Владимир Креститель, а не Мономах.

— Почему вы так думаете?

— Автор плохо относится к Мономаху, он сторонник Ольговичей.

— У вас есть вопросы? — снова обратился преподаватель к аспирантке, которая отрицательно покачала головой.— У меня больше нет, и, главное, вот его сочинение...

Так, чтобы мне было видно, преподаватель поставил маленький плюсик перед пятеркой, незаметно выведенной ранее напротив моей фамилии, вписал отметку в экзаменационный лист и отпустил.

Месяц я практически не спал, сдавая эти экзамены. Но не стал бы о столь обыкновенном сейчас вспоминать и не описывал бы подробности главного экзамена, если б они не имели значения для дальнейшего, того, к чему терпеливый читатель придет вместе со мной спустя много страниц.

А чтобы побыстрей тронуться в путь, скажу коротко, что остальные экзамены я тоже сдал на пятерки, однако меня все равно не приняли в университет. Правда, набралось неполных двадцать пять баллов, а можно сказать, двадцать четыре с половинной, так как в длинном и торопливом сочинении, написанном без черновика и оцененном за суть и стиль на пятерку, допустил

одну грамматическую описку. Мой балл, однако, был законно «проходным», даже с четверкой в знаменателе за сочинение,— но меня все равно не приняли, потому что число вакансий на журналистику строго ограничивалось и мое место занял кто-то с троечками, быть может, тот самый юноша в галстучке шнурочком, что значился по алфавиту чуть впереди меня и был, как я позже выяснил, сыном известного артиста. В деканате решили зачислить меня на заочное или порекомендовать в любой другой гуманитарный вуз. Когда же я отказался, то предложили забрать документы.

В смятении перебежал я Манеж — когда трудно, меня почему-то тянет к деревьям. На пустой скамейке Александровского сада всплакнул было, но, вовремя вспомнив, что Москва слезам не верит, написал министру высшего образования злое сочинение на эту слезную тему и в тоске уехал работать. Дома прежде всего вынес во двор старый чемодан со своими юношескими стишатами, письмами на немецком, сотней сочинений и сжег его. Немножко жаль только нескольких сочинений о «Слове», хотя понимаю, что в них не могло быть ничего существенного.

А через месяц дождался телеграммы, которую храню до сего дня: «Приняты очно, выезжайте срочно». И вот бывают же в жизни совпадения! Ровно через четверть века, в 1974 году, на семидесятипятилетии Леонида Максимовича Леонова за праздничным столом в Переделкине я познакомился с Сергеем Васильевичем, громадным человеком, обладающим могучим напористым басом. Он рассказывал очень смешные истории из народной жизни, сам смеялся громче всех, плетеная дачная мебель под ним ходила, скрипела и казалась соломенной. С удивлением я узнал, что мой первый литературный наставник и давний мой московский «крестный» дружат много лет. Простой шахтерский парень, сам с немалыми трудами получивший образование, стал министром высшего образования всей страны! Он, не запомнивший, конечно, заявления двадцатипятилетней давности какого-то абитуриента, вступил в партию, оказывается, как и я, еще до ученья, а его отец, как и мой, погиб на работе. Бывший шахтер и министр С. В. Кафтанов уже пребывал на пенсии, припадал на тяжеленный скрипучий протез, но был совсем по-молодому отменно бодр и весел...

Вспоминаю, как, получив телеграмму, я приехал в Москву и еще месяц ночевал на вокзалах и в аудиториях факультета. Однако это были пустяки по сравнению с тем, что я узнал в жизни раньше, и все отступало на второй план перед простым и чудесным фактом, в который с трудом верил,— я в Москве, первом городе страны, в МГУ, главном нашем вузе!

Долго не мог привыкнуть к портретам, висящим вдоль балюстрады в учебном здании. Почему-то казалось почти невероятным, что вот тут, у этих самых массивных перил, быть может, задумчиво стоял когда-то Грибоедов, читал друзьям стихи юный

Лермонтов, страстно спорил Белинский, Герцен с Огаревым прогуливались в обнимку, Чехов между лекциями Склифосовского и Остроумова набрасывал для «Будильника» или «Стрекозы» свои юморески...

Первая моя московская осень, теплая и приветливая, стояла долго. Еще в октябре можно было до сумерек сидеть на скамейке Александровского сада, читать, готовиться к семинарам, зубрить латынь и старославянский — мне приходилось нажимать, потому что я на месяц отстал. Александровский сад цвел поздним цветом, красивый и ухоженный. Он был ближайшим к университету зеленым уголком и любимым моим московским пристанищем. Располагается сад в углублении, город, казалось, шумел где-то в стороне и вверху, а тут всегда было безлюдно, и я испытывал чувство благодарности к тому, кто придумал так естественно разместить деревья и кусты в этой огромной искусственной канаве под кремлевской стеной, где когда-то, наверное, был ров со стоячей или текучей водой. А на окраине городка, в котором я жил последние два года, выращивались в питомнике серебристые ели для Красной площади, и мне приятно было поглядывать на темно-зеленый заслон зубчатой стены — все же не один я сюда приехал...

В начальный месяц московской моей жизни набросился я на книги, нужные по программе и совсем не нужные, библиотечные и магазинные. В книжных магазинах тех времен можно было дешево приобрести такое, чего сейчас уже не найдешь ни за какие деньги даже у матерых букинистов. Часто бывал я в маленьком и узком, как пенал, букинистическом магазинчике, что выходил дверью на улицу Горького рядом с Театром имени Ермоловой,— на этом месте сейчас стоит мрачноватый и высоковатый для центра Москвы параллелепипед новой гостиницы. Больше облизывался, конечно, чем покупал, однако в первую же свою стипендию, а она была двойной, сентябрьско-октябрьской, схватил новую, только что изданную тиражом десять тысяч экземпляров книгу, мгновенно ставшую редкостью. Странно, однако, что букинисты почему-то уже успели тогда уценить ее, и досталась она мне за пятьдесят четыре тогдашних рубля. Напечатана вся книга нонпарелью на тончайшей рисовой бумаге, по габаритам скромнее многих современных романов, но в ней свыше полутора сот печатных листов и больше полутора тысяч страниц! В том году исполнилось сто пятьдесят лет со дня рождения А. С. Пушкина, и это юбилейное издание великого русского поэта, прозаика, драматурга, критика и публициста содержало *полное* собрание его сочинений в одном томе. Заветную эту книгу в малиновом переплете, как и «Слово о полку Игореве» под редакцией академика А. С. Орлова 1938 года издания, я берегу до сих пор, раскрывая их время от времени...

А в день покупки пушкинского однотомника, вспоминаю, наша группа надумала выехать за город. Усадьба Архангельское пора-

зила меня. После неприбранных периферийных городков, знакомых мне с детства темных шахт, дымных паровозных депо, после шумной и тесной Москвы, вокзального и университетского пестрого многолюдья тут было настоящее празднество красоты, царство покоя и гармонии. Правду сказать, я даже не предполагал, что такое может вообще существовать. От прекрасного дворца, стоящего на возвышении и украшенного ослепительными колоннами, открывался чарующий вид на чистый, ухоженный парк, в который надо было спускаться каменными лестницами. По сторонам верхней террасы росли знакомые мне лиственницы с их желтеющей хвоей, покорной всякому ветерку, а в середине Геракл подымал Антея. Белоснежные балюстрады, фонтаны, бюсты и статуи древнеримских богов и героев, зеленый ковер парка, стриженые липы, манящие пейзажи за старым руслом Москвы-реки говорили об иной жизни, иных временах, то есть об *истории*. Кто и когда создал всю эту сказку, кто и когда любовался ею, как любовались ею мы — недавние рабочие, школьники, солдаты-фронтовики?

— Тут сам Пушкин бывал,— сказал один из нас.— И у него есть стихотворение «К вельможе», тогдашнему владельцу этого персонального дома отдыха.

Да вот она, доска со стихами. Конечно, я когда-то читал это стихотворение, но запомнил лишь первые строчки, а здесь они звучали как-то по-особому.

От северных оков освобождая мир,
Лишь только на поля, струясь, дохнет зефир,
Лишь только первая позеленеет липа...

— Весной, значит,— вставил кто-то из ребят.

К тебе, приветливый потомок Аристиппа...

— Что за Аристипп? — раздался тот же голос.
— Да не мешай ты!

К тебе, приветливый потомок Аристиппа,
К тебе явлюся я; увижу сей дворец,
Где циркуль зодчего, палитра и резец
Ученой прихоти твоей повиновались
И, вдохновенные, в волшебстве состязались...

Дальше никто не помнил. Тогда я достал из портфеля покупку, нашел по алфавитнику двести сорок восьмую страницу. Подзаголовком в скобках значилось слово, написанное, очевидно, в оригинале рукою Пушкина: «Москва».

Ты понял жизни цель: счастливый человек,
Для жизни ты живешь. Свой долгий ясный век
Еще ты смолоду умно разнообразил...

В этом длинном стихотворении многое было непонятно, особенно в той его части, где подробно описывались европейские пу-

тешествия и знакомства вельможи. Ну, с Бомарше, Вольтером и Байроном было ясно, барон д'Ольбах — это, наверное, французский энциклопедист Гольбах, Дидерот — Дидро, а кто такие Морле, Гальяни, безносый Кастн и «Армида молодая», что это за «афей» или «циник поседелый, и смелый», который в каком-то Фернее «могильным голосом» приветствовал богатого русского гостя. Что значит «обедать у Темиры»? И блеск какой Алябьевой ценил когда-то владелец дворца?..

У меня хранится любительская фотография в память того посещения Архангельского; я сутулюсь на краешке нашей группы с томиком Пушкина под мышкой, тощий и черный с лица, на котором застыло недоуменье. И оно, помнится, связывалось у меня не только с теми неясностями, что я перечислил выше. Был еще один вопрос, главней других. Почему Пушкин, это рассветное солнце и чистая совесть нашей литературы, оправдывает паразитическую жизнь вельможи, поэтизирует ее? Я помнил вольнолюбивые стихи поэта, и вдруг — воспеванне «благородной праздности», «неги праздной» и даже вроде бы извинительная благодарность хозяину между строк! Но разве праздность могла быть благородной, когда «везде бичи, везде железы, законов гибельный позор, неволи немощные слезы»? В стихотворении, которое прямо противозвучало обращению к вельможе, Пушкин писал:

Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь *барство* дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца,
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея,
Здесь девы юные цветут
Для прихоти бесчувственной злодея...

Там же Пушкин мечтает о рабстве, падшем по манию царя; я больше понимал автора, когда он говорил не о «благородной праздности», а о «жестокой радости»:

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу.
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.

Очевидно, я судил тогда с позиций своего, как говорится, пролетарского происхождения, потому что недоуменне и неясность остались, и, покидая Архангельское, я был уверен, что приеду сюда еще не раз — посмотрю и дворец, и парк, постою на крутояре, у южного фасада, откуда открывается чарующий вид на ту

сторону старицы Москвы-реки, за которой окружающая тебя организованная красота как-то естественно переходит в красоту природную, просторную и свободную красоту лугов и лесов.

Перед зимой я записался во французскую группу, полагая, что легче будет узнать, кто такие Морле, Гальяни и безносый Касти, стану в подлиннике читать Бальзака и Мопассана. Добился также места в общежитии, в комнате на двенадцать человек, и побежали такие издалека прекрасные студенческие дни, хотя и полуголодные. Если б не спасительница-столовка с бесплатным хлебом, горчицей и самым дешевым продуктом питания — чаем, коим от веку славилась Москва!..

Даже спортом я начал было заниматься. Без тренировок пробежал дистанцию во время курсовых лыжных занятий на второй разряд, и меня взяли в университетскую сборную. Однако спортсмена из меня не вышло — видно, харч был не тот, и на одной из тренировок что-то сделалось с сердцем, и врач категорически запретил мне лыжи. Это показалось мне большим преувеличением — ведь на лыжах я вырос,— и вскоре снова по воскресеньям начал потихоньку расхаживаться. Не стоило бы об этом упоминать, если б не случайное открытие, наградившее меня однажды во время загородной лыжной прогулки незабываемым впечатлением. Побродив полдня по перелескам близ Ленинградского шоссе, я неторопливо шел широким долом к Фирсановке, где располагалась лыжная база.

Подмосковный зимний лес несказанно хорош после обильного снегопада! Он даже лучше тайги, хотя лучше ее мало что есть на свете. Ну, правда, по зиме в тайге не везде спрямишь путь из-за древесных завалов, да еще обдерешься на острых поторчинах и лыжи запросто поломаешь. А тут чисто и ровно, иди, куда глаза глядят, только они почему-то все ищут место поглуше, чтоб крутяки да лога и никакого человечьего следа... Сердце не болит, вершины сосен беззвучно плывут в прозрачной небесной синеве, белые купы грузно висят на темных ветвях, едва держатся, снег искрит под солнцем острыми блестками, морозный воздух легок и чист, как в раю,— благодать земная, несказанная, и какой тебе, по правде сказать, рай нужен, если в нем русской нашей зимы не бывает!..

Слева побежала на пологую гору какая-то деревенька. «Лигачево»,— сказали мальчишки с санками. Справа над логом вздыбилась гора с церковкой на покатости, потом крутой земляной уступ навис, за ним лес загустел, и, когда лыжи заскрипели по ровному насту — пруды застывшие и заснеженные, что ли? — на горе показалось какое-то белокаменное строение. До него было высоко. Круто вверх шла широкая просека. Вдоль подымались высокие старые лиственницы. Они были голы по-зимнему и будто мертвы. А там, наверху, стояло в акварельно-синем небе старинное здание с ротондальной колоннадой понизу, высокими окнами на два закругленных этажа, с бельведером над крышей, куполом и шпилем.

Первое, что я увидел подле дома, был стройный обелиск черного мрамора. Кто это тут похоронен? «Певцу печали и любви...» По надписи на другой стороне цоколя узнал, что обелиск установлен к столетию со дня рождения Лермонтова, который, оказывается, жил здесь, в Середникове, имении Столыпиных, родственников его бабушки, четыре лета, когда учился в Благородном пансионе Мюральда, а позже в Московском университете.

Певец «печали и любви»?.. Вскоре я прочел всего Лермонтова подряд, как когда-то подряд всего Пушкина, не пропуская и того, что знал ранее. Удивился, что именно в Середникове им были написаны слова, которые я часто слышал в детстве, но всегда почему-то считал народными:

Сидел рыбак веселый
На берегу реки,
И перед ним по ветру
Качались тростники...

Однако самыми необыкновенными стихами юного поэта показались мне те, с каких началось поэтическое общение двух русских гениев. Общение это было всегда заочным и односторонним — первая книжка Лермонтова вышла после смерти Пушкина, но связи духовные важней всех прочих. Так вот, смысл стихов, которые я имею в виду, до странности точно совпадали с моим первоначальным отношением к пушкинской оде, посвященной владельцу Архангельского князю Юсупову.

О, полно извинять разврат!
Ужель злодеям щит порфира?
Пусть их глупцы боготворят,
Пусть им звучит другая лира;
Но ты остановись, певец,
Златой венец — не твой венец.

Изгнаньем из страны родной
Хвались повсюду, как свободой;
Высокой мыслью и душой
Ты рано одарен природой;
Ты видел зло и перед злом
Ты гордым не поник челом.

Ты пел о вольности, когда
Тиран гремел, грозили казни;
Боясь лишь вечного суда
И чуждый на земле боязни,
Ты пел, и в этом есть краю
Один, кто понял песнь твою.

Поразительно — поэтически зрелые, политически острые, пронизанные чувством гражданской ответственности, уважительно-полемические строки написал почти мальчик, уже успевший узнать и оценить вольнолюбивые стихи Пушкина! Да, автору той

порой минуло всего пятнадцать лет, но рядовые, обычные мерки неприменимы к его исключительному дарованию. И я был тогда несказанно рад: нашел единомышленника — и какого! — однако потом узнал, что первым соотнес стихи-отклик Лермонтова с пушкинским стихотворением «К вельможе» Максим Горький. И это было тоже очень интересно — спустя сто лет, и Горький!

Моих университетских товарищей-москвичей с дошкольного детства водили по столичным музеям, картинным галереям, концертным залам, и они, счастливчики, всегда могли прочесть любую книгу! Пока они читали, ходили в концерты и на выставки, я в лесах близ Тайги копал картошку и бил кедровые шишки, косил сено, пилил дрова и возил на себе через три горы, изучал там же конструкцию паровоза «ФД», постигал премудрости японской разметки буксовых наличников и регулировки кулисы Джойса, ремонта воздухораспределителей Вестингауза и Матросова, слесарил на подъемке, кочегарил на магистральном американском декаподе «Е», в пыли и саже развальцовывал котельные трубы на Красноярском паровозоремонтном заводе, разбирал руины в Чернигове, замерял прокаты колесных бандажей в разных депо, учил в Подмосковье азам черчения и технологии металлов подростков-ремесленников, осиротевших в самую тяжкую войну, какую пережила моя Родина...

Теперь мне нельзя было терять ни одного дня, и я жадно набросился на книги, радуясь каждому маленькому открытию. Встретив высказывание Белинского о том, что Лермонтов будет поэт с Ивана Великого, мне захотелось, помнится, найти какое-нибудь свидетельство общения молодых Лермонтова и Белинского — как-никак они больше трех лет учились под одной крышей! Неужели, думалось мне, две такие яркие, литературно одаренные личности, одновременно исключенные из университета, так и не заметили друг друга?

Ничего не нашел. Разница в возрасте между ними была три года, что имело немалое значение. Учились будущий великий поэт и будущий великий критик на разных факультетах, были разного социального происхождения, достатка, образа жизни. И если на образование и воспитание Лермонтова бабка тратила в год десять тысяч рублей, *то казеннокоштному* Белинскому приходилось затрачивать героические усилия, чтобы просто *выжить,* терпя голод, унижения со стороны начальства, несносные бытовые условия — в комнатах университетского общежития размещалось по пятнадцать-двадцать человек. «Сами посудите,— писал он,— можно ли при таком многолюдстве заниматься делом? Столики стоят в таком близком один от другого расстоянии, что каждому даже можно читать книгу, лежащую на столе своего соседа, а не только видеть, чем он занимается. Теснота, толкотня, крик, шум, споры; один ходит, другой играет на гитаре, третий на скрипке, четвертый читает вслух — словом, кто во что горазд... Пища в столовой так мерзка, так гнусна, что невозможно есть. Я удивляюсь, каким образом мы уцелели от холеры, питаясь пакостной па-

далью, стервятиной и супом с червями. Обращаются с нами как нельзя хуже... Какая разница между жизнию казенного и жизнию своекоштного студента! Первый всегда находится на глазах начальства; самые ничтожные поступки его берутся на замечание...» «...Я весь обносился; шинелишка развалилась, и мне нечем защититься от холода». Горем и безысходностью, а иногда и диким ужасом веет со страниц, где Белинский вспоминает и свое детство. Маменька его «была охотница рыскать по кумушкам, чтобы чесать язычок, я, грудной ребенок, оставался с нянькой, нанятою девкою; чтоб я не беспокоил ее своим криком, она меня душила и била...». «Отец меня терпеть не мог, ругал, унижал, придирался, бил нещадно и площадно,— вечная ему память». «Учась в гимназии, я жил в бедности, скитался, не по своей воле, по скверным квартиришкам, находился в кругу людей презренных».

Белинский-студент постоянно болел. «Бывало, я и понятия не имел о боли в спине и пояснице, а теперь хожу весь как разломанный». Потом появлялся сухой мучительный кашель, одышка, боли в боку и печени. Приходилось пропускать занятия, ложиться в больницу. Перед исключением из университета он пролежал целых четыре месяца и писал родным, что для полного выздоровления нужен еще, по крайней мере, такой же срок... Противоядием и опорой была для Белинского русская поэзия и нравственный мир великого поэта. Нет, Лермонтова тогда для Белинского еще не существовало, и в университете, как я выяснил для себя, они не встретились ни разу. Но существовал Пушкин, и я выделяю первые слова примечательной фразы Белинского: *«Только постоянное духовное развитие в лоне пушкинской поэзии* могло оторвать меня от глубоко вкоренившихся впечатлений детства».

Читал я и перечитывал Лермонтова, втайне мечтая найти в его творчестве и жизни то, что не удалось найти другим, любую мелочь открыть неоткрытую; сумел же это сделать внимательный счастливец Горький!

Пушкинское послание «К вельможе» было опубликовано «Литературной газетой» в мае 1830 года Стихотворение Лермонтова «К***» («О, полно извинять разврат!») написано либо под сенью середниковских лиственниц, либо еще в Москве, перед самым переездом за город.

Весной того года Благородный университетский пансион посетил царь. Без торжеств и свиты, почти инкогнито, разъяренный Николай I пробежался по коридорам и классам, учинив полный разгром заведения. Пансион был закрыт, вместо него учреждалась обычная гимназия, где в качестве воспитательной меры вводились розги. А поводом для царского гнева послужила мраморная доска, на которой среди лучших воспитанников значилось имя декабриста Николая Тургенева...

Быть может, Лермонтов поймал в тот день беглый взгляд императора и навсегда запомнил эти холодные свинцовые глаза или увидел только тугую его шею в генеральском воротнике, пригорбую в лопатках спину, дурацкие лампасы на штанах, большие отполированные сапоги да походку

заметил, в торопливой стремительности которой таилась неуверенность... Ни дня больше в этом заведении, где будут пороть дворян! Неся в сердце нестерпимый огонь ненависти, Лермонтов уехал в имение Салтыковых, где огонь этот не раз вспыхнет и выльется в стихи.

Мне до сих пор кажется странным, что год, каким датируются полемические стихи Лермонтова, адресованные, несомненно, Пушкину, не выделяется исследователями особо. Причем фактов и фактиков из этого периода — май — октябрь 1830 года — множество, но излагались они как-то пестро и нестройно. В недолгой ослепительной жизни Лермонтова каждый месяц был значимым, однако эти полгода чрезвычайно важны для понимания *всего* творчества поэта.

В Середниково наезжали гости. Эти богатые люди здесь отдыхали на лоне природы, наслаждались пешими и верховыми прогулками, вели светские разговоры, флиртовали. Ту же жизнь вел и Лермонтов, только и домашние, и гости обращали внимание на трудный характер Мишеля, на постоянную его взвинченность, резкость и суровую замкнутость, которой он временами отгораживался от всех. 16 мая 1830 года он написал: «Я не хочу бродить меж *вами*», выделив курсивом последнее слово. Стихотворение называлось «1830. Майя. 16 число» и начиналось так:

Боюсь не смерти я. О нет!
Боюсь исчезнуть совершенно.
Хочу, чтоб труд мой вдохновенный
Когда-нибудь увидел свет...

И он писал. Ночами, при зажженной свече, во время прогулок по парку, затаиваясь в его уголках. Нет, Лермонтов не был здесь поэтом «печали и любви»!

Историки выделили из ряда других этот самый 1830 год, о каком я веду речь. 3 июня взбунтовались в Севастополе матросы, солдаты и, как тогда писалось, «прочие гражданского звания люди». Потом начались вооруженные «холерные бунты» военных поселян, волнения среди саратовского и тамбовского крестьянства. Слухи об этом доходили, конечно, до Середникова, которое постоянно посещали образованные и осведомленные лица. Надо бы тут отметить, что и родные Лермонтова, и гости их, как представители имущего сословия, были не только обеспокоены событиями, но и лично, непосредственно задеты ими. Мы не знаем, как отнесся Лермонтов к известию о насильственной смерти своего деда Столыпина во время «холерного» севастопольского бунта, и, быть может, не надо об этом знать — душа великого человека, как, впрочем, любого из нас, смертных, имеет право на тайну, только впечатлительную поэтическую натуру все сущее формирует с властительной, незнакомой нам силой, закладывая в нее семя будущего громкого отзвука; многие строки Лермонтова, написанные летом 1830 года и позже, полнятся беспощадными, ожесточенно-трагическими нотами...

Дошел до Середникова слух и о восстании в селе Навешкино, что

находилось в Пензенской губернии по соседству с Тарханами. Доведенные до крайности притеснениями, крестьяне зарубили волостного голову и ушли с топорами в леса. Позже суд в Чембаре, том самом Чембаре, откуда приехал в Москву сын уездного лекаря Виссарион Белинский, приговорил к смертной казни трех вожаков восстания. Бенкендорф в своем «Обзоре общественного мнения на 1830 год» доносил, что в народе распространялись слухи о каком-то новом крестьянском вожде по фамилии Метелкин: «Пугачев попугал господ, а Метелкин пометет их»...

Могло быть у Лермонтова тем летом и еще одно сильное впечатление. Известно, что серединковская молодежь нередко ездила с гостями в довольно дальние путешествия — в Сергиев Посад и Воскресенск, например. Одно из летних стихотворений Лермонтова не имеет названия, а лишь помету: «В Воскресенске. (Написано на стенах жилища Никона) 1830 года». Путь в Троице-Сергиеву лавру был дальше, чем в Новоиерусалимский монастырь, построенный при царе Алексее Михайловиче низложенным патриархом Никоном, и на этом пути издавна стояли заезжие дома. И вот на двери одного из таких домов появилась в июне 1830 года надпись: «Скоро настанет время, когда дворяне, эти гнусные властолюбцы, жаждущие и сосущие кровь несчастных подданных, будут истреблены самым жестоким образом и погибнут смертью тиранов». А рядом, и другой рукою,— добавление: «Ах, если бы это совершилось. Дай господи! Я первый возьму нож». Следователь по делу о надписях на заезжем доме докладывал: «Так как оные, судя по смыслу их, должны быть сочинены человеком не неученым и к классу дворян не принадлежащим, то, по мнению моему, не написаны ли оные кем-либо из студентов духовной академии или университета, из коих многие, особенно во время вакаций, ездят из Москвы в Сергиевский монастырь...»

Осенью того года Виссарион Белинский пишет свою драму «Дмитрий Калинин», о которой цензор заключил, что она «декламирует против рабства возмутительным образом для существующего в России крепостного состояния». И еще одно, не менее примечательное. Должно быть, именно события 1830 года вызывают и у Пушкина первоначальный, но такой пристальный и плодотворный интерес к Пугачеву. Лермонтов же вскоре начинает работать над первым своим романом, в котором также обращается к пугачевским временам, а заглавия многих его стихов лета 1830 года были важны настолько своими подробностями, что сами собой выстроились у меня в один выразительный ряд.

«10 июля (1830)» — так называлось одно из стихотворений, написанных в Середникове. Летом того приметного года не знала спокойствия и Европа — вспыхнула революционная и освободительная борьба в Албании, Бельгии, Ирландии, Испании, Италии, Швейцарии, и газеты приносили в подмосковное имение эти отдаленные отзвуки. Неизвестно, о каком событии услышал или прочел Лермонтов 10 июля 1830 года, но, дважды подчеркнув «10 июля», написал:

Опять вы с кликами восстали
За независимость страны,
И снова перед вами пали
Тиранства низкие сыны.

Потом вместо «с кликами» он пишет в запятых «гордые», а последняя строчка правится так, что комментарии к этой правке излишни: «самодержавия сыны»... Работа над стихотворением, однако, не была закончена.

«30 июля.— (Париж). 1830 года». И это произведение Лермонтов счел нужным не называть как-то особо, полагая, что достаточно обозначить день, когда пришло известие о победе французской революции, кровавых боях на парижских улицах, изгнании короля.

О! чем заплатишь ты, тиран,
За эту праведную кровь,
За кровь людей, за кровь граждан.

И, наконец, «Новгород» — небольшое, но настолько, как мне показалось, важное стихотворение, что я долго и неотрывно рассматривал автограф его, отпечатанный с клише. Эти восемь строк были написаны без единой поправки, но позже, другим пером, сплошь зачеркнуты, однако тем же пером обведены полурамкой, названы и датированы.

Сыны снегов, сыны славян,
Зачем вы мужеством упали?
Зачем?.. Погибнет ваш тиран,
Как все тираны погибали!..

Стихотворение, несомненно, было обращено к декабристам, и лермонтоведы подчеркивали то обстоятельство, что именно осенью 1830 года в Москве появились листовки с призывами к восстанию, к установлению республики, своеобразная форма которой существовала в древнем Новгороде, а декабристы именовались «сынами славян» и «благороднейшими славянами». Впрочем, заключительные строки стихотворения не оставляют никаких сомнений насчет его адреса:

До наших дней при имени свободы
Трепещет ваше сердце и кипит!..
Есть бедный град, где видели народы
Всё то, к чему теперь ваш дух летит.

И вот тут-то я должен сказать об одном давнем маленьком открытии. День 3 октября 1830 года, которым пометил поэт стихотворение «Новгород», не был обычным, рядовым, как все предыдущие или последующие. В этот день Лермонтов, недавно поступивший на нравственно-политическое отделение Московского университета, на занятиях не был, потому что в Москву пришла холера и 27 сентября университет закрылся на долгих

три с половиной карантинных месяца. Тем днем поэт, должно быть, итожил не только минувшее лето, в которое он, как звонкая тугая струна, чутко отзывался на малейшее дуновение общественного ветерка,— он итожил всю свою прошедшую жизнь. Дело в том, что *в тот день Лермонтову исполнилось ровно шестнадцать лет.* И я был счастлив счастьем первокурсника, что первым обнаружил это обстоятельство, понял поэта, снабдившего стихотворение пояснительной датой. Нет, не случайно это было сделано! Лермонтов датирует *такие* стихи позже, чем они были написаны, в знак своего *гражданского совершеннолетия.*

А в следующем году поэт подтвердит свое *политическое* кредо стихотворением, в каком-то смысле завершающим важнейший период его творчества. Начинается оно двумя запоминающимися строчками, по-лермонтовски чеканными, проникнутыми трагическим предчувствием:

За дело общее, быть может, я паду
Иль жизнь в изгнании бесплодно проведу...

Чтобы до конца понять их, надо учесть, что стихотворение называется «Из Андрея Шенье», а выражением «общее дело» часто пользовались декабристы в качестве своего рода смыслового пароля, и по-латыни оно пишется и звучит с предельной недвусмысленностью: «res publica»... Впрочем, исследователи давным-давно установили, что у казненного французского поэта Андрея Шенье нет стихотворения, которое можно было бы даже в самой вольной интерпретации перевести так, как это сделал Лермонтов. Значит, это название — своего рода шифр, заставляющий обратиться к известному пушкинскому стихотворению «Андрей Шенье»!

Еще два юношеских произведения Лермонтова надо бы вспомнить здесь, где мы говорим о начале 1831 года,— я имею в виду наброски романа из пугачевских времен и поэму «Последний сын вольности», названную автором «Повестью». Мне кажется не случайным, что главному герою романа Лермонтов дал имя Вадим и наделил его уродливой внешностью. Известно, что юноша-поэт глубоко страдал из-за своей, как ему казалось, непривлекательности, но главное не в этом, а в редком для тех времен имени новгородского героя-бунтаря, которое отсылает нас к истории средневековой Руси.

Имя Вадима привлекало к себе внимание еще в XVIII веке, и для передовых русских писателей оно стало символом борьбы за национальную независимость, вызывало определенные ассоциации, наталкивало на исторические параллели, в иносказательной форме выражало опасную для престола политическую тенденцию. Екатерина II, мнившая себя писательницей, в своем «Историческом представлении» изобразила Вадима мелким новгородским князьком, боровшимся за личную власть, и приказала собрать и сжечь трагедию Княжнина «Вадим Новгородский», герой

которой поднимает вольных новгородцев на борьбу. Позже молодой В. Жуковский пишет повесть «Вадим Новгородский», символичной политической фигурой вольнолюбивого республиканца сделался Вадим для поэтов-декабристов К. Рылеева, В. Кюхельбекера, В. Раевского, и сам Пушкин начал было поэму «Вадим», но не закончил ее.

Большая поэма Лермонтова «Последний сын вольности», посвященная Вадиму Новгородскому, как бы завершает период повышенного интереса русских литераторов к этой летописной личности — после него никто, кажется, из пишущих наших соотечественников ни разу не вспомнил Вадима.

А нам к месту хорошо бы вернуться к лермонтовскому стихотворению «Новгород», прозрачно намекавшему на декабристов и, как мы установили, ставшему яркой приметой гражданского и политического совершеннолетия поэта. Это стихотворение словно бы продолжается в «Последнем сыне вольности», повести-поэме, в которой употреблено крылатое выражение «отчизны верные сыны», обращенное Лермонтовым также к декабристам.

Но есть поныне горсть людей
В дичи лесов, в дичи степей;
Они, увидев падший гром,
Не перестали помышлять
В изгнанье дальном и глухом,
Как вольность пробудить опять;
Отчизны верные сыны
Еще надеждою полны...

Итак, через мое случайное открытие Середникова и сентиментальной надписи на памятном обелиске я докопался до символической авторской датировки стихотворения «Новгород» — столь приметной вешки на пути поэта, не замеченной исследователями. И еще я обратил тогда внимание на одну общую особенность многих стихотворений Лермонтова середниковского периода, с первого взгляда формальную, однако имеющую, как мне показалось, свой смысл. Кроме упомянутых, Лермонтовым было написано в Середникове и Москве немало других стихов, в которых он отмечал дату или место их создания: «11 июля», «1830 год. Июля 15-го», «1830 года августа 15 дня», «(1830 года) (26 августа)», (1830 года ночью. Августа 28), «Середниково. Ночью у окна», «Середниково. Вечер на бельведере. 29 июля». «7 августа, в деревне, на холме у забора»... Горькая безответная любовь, романтические грезы, печальные ноты неверия и тоски, чарующая русская природа, мечты о поэтической славе, сотни, тысячи горячих, искренних, временами торопливых строк — формировался, зрел могучий талант.

А следующий год начался стихотворением, озаглавленным «1831-го января». Вскоре появилось еще одно произведение без заглавия, также помеченное только датой — «23-го марта 1831».

Послушай! вспомни обо мне,
Когда, законом осужденный,
В чужой я буду стороне —
Изгнанник мрачный и презренный...

А память цепко подсказывает позднейшее жуткое пророчество:

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана;
По капле кровь точилася моя.

Еще одна дата — «1831-го июня 11 дня»:

Моя душа, я помню, с детских лет
Чудесного искала...

В этом большом поэтическом произведении из тридцати двух восьмистиший — возвышенные мечтания о счастье и любви, философские раздумья о жизни, смерти, человеке, попытки понять себя, угадать будущее, осмыслить природу, и мучительное бессилие передать все это словами:

Холодной буквой трудно объяснить
Боренье дум. Нет звуков у людей
Довольно сильных, чтоб изобразить
Желание блаженства. Пыл страстей
Возвышенных я чувствую, но слов
Не нахожу, и в этот миг готов
Пожертвовать собой, чтоб как-нибудь
Хоть тень их перелить в другую грудь.

И в том, 1831 году пишутся последние стихи, озаглавленные календарными датами. *За последующие, чрезвычайно продуктивные десять лет Лермонтов не назовет так ни одного стихотворения.* Едва ли это можно объяснить случайностью, влиянием литературной моды или, допустим, тем, что Лермонтов в период поэтического созревания не обладал еще достаточным творческим воображением, чтобы придумать словесные названия для своих стихов. Не были ли для юного гения эти даты приметными вехами, наподобие той, что я счастливо нашел,— «3 октября 1830 года», вехами становления поэта и гражданина, своеобразными временными рубежами его растущего не по дням, а по часам мастерства?

В следующем году он уйдет из университета; против его фамилии в журнальной графе останется пометка: «consilium abeundi», что по-латыни означает «посоветовано уйти». Почти одновременно, осенью 1832 года, изгнали из Московского университета и Белинского — «за отсутствием способностей». Этот акт стал настоящим «monumentum odiosum» — «памятником позора», достойным далеких времен обскурантизма, когда летом того же 1832 года военный суд определил чудовищное наказание для двенадцати студентов, членов философского пропагандистского кружка,— один из них был приговорен к расстрелу, девять к повеше-

нию, двое к четвертованию топором палача! Только через восемь месяцев этот ужасный приговор будет смягчен Николаем I, который за все свое долгое царствование ни разу не побывал в Московском университете, называя его «волчьим логовом», а проезжая мимо, сутулился и, как вспоминают очевидцы, долго потом пребывал «в дурном расположении духа». Придет час, когда царь, прочитав полные испепеляющей страсти и революционной патетики стихи на смерть Пушкина, грубо распорядится судьбой автора, в первый, но не в последний раз сошлет его в «теплую Сибирь», на Кавказ, где тот и погибнет позже от пули негодяя...

А Белинский коротко и точно сформулирует разницу между стихом Пушкина, где все — «грации и задушевность», и Лермонтова, в котором живет «жгучая и острая сила». И когда великий критик уже после смерти Лермонтова перепишет от руки еще не опубликованного «Демона», прочтет «Маскарад» и «Боярина Оршу», узрит в них принципиально новые по сравнению с поэзией Пушкина идейно-художественные качества, то воскликнет: «Львиное сердце! Страшный и могучий дух».

Спустя некоторое время другими глазами посмотрел я на пушкинский портрет князя Юсупова. Ведь сия живописная парсуна розовой тональности, в сущности, исполнена красками екатерининской эпохи, и Пушкин выбирал их сознательно! Причем ни подобострастия, ни лести заметить нельзя, лишь благородную вежливость гостя, глубокий ум всеведущего и снисходительного судии, тончайшую иронию гения. А на полях автографа этого произведения, оказывается, рукою Пушкина был нарисован жалкий и гнусный старикашка, как на страничке автографа бессмертного лермонтовского стихотворения «Смерть поэта» начертан профиль Дубельта...

Бывают в жизни донельзя случайные и совершенно необъяснимые совпадения! Вспоминаю, как в начале второго семестра прибежали в аудиторию взволнованные девушки нашей группы со свежей многотиражкой «Московский университет». Уткнувшись во время перерыва между лекциями в какую-то книгу, я сидел в амфитеатре аудитории, с кафедры которой когда-то вдохновенно читал лекции сам Грановский и гремел стихом сам Маяковский, и вдруг увидел на газетной полосе сообщение, что постановлением ректората мне устанавливается стипендия имени М. Ю. Лермонтова. А ведь ни один человек не знал тогда о моем знакомстве с Середниковом, интересе к подробностям того периода в жизни великого поэта, когда он был не только и не столько певцом «печали и любви»; никому я никогда не говорил о моих студенческих микроскопических открытиях...

Именную эту стипендию я получал до конца университетского курса.

3

Все мы узнаем о существовании Москвы сразу же, как только начинаем слышать и понимать,— из разговоров старших, в детсаду, в кино, по радио или из песен. Слов старших о Москве не помню, в детсад не ходил, первый раз в кино, на «Красных дьяволят», попал уже со своей школой, а радио на нашу улицу провели только в войну. И песен о Москве в наших местах как будто не знали. С детства помню начальные слова и запевные мелодии множества песен: «Ревела буря, гром гремел», «Степь да степь кругом», «Как умру, похоронят», «Есть на Волге утес», «Как родная меня мать провожала», «Славное море — священный Байкал», «По долинам и по взгорьям», «Отец мой был природный пахарь», «Не смейся над нами, палач-генерал», «Из-за острова на стрежень», «Сидел рыбак веселый», «Скакал казак через долину», «Хаз-Булат удалой», «Сижу за решеткой в темнице сырой», «Мы красная кавалерия», «Ах, полным-полна моя коробушка», «То не ветер ветку клонит»... Пели еще «Дубинушку», «Кирпичики», «Коногона», «Мурку», «Гоп со смыком», частушки всякие, а вот о Москве что-то не припоминаю, не пели.

Коренные москвичи, вероятно, не знают, как нам, сибирским ребятишкам, показывают в детстве Москву. Не ведаю смысла этой странной уличной забавы, а выглядит она примерно таким образом. Подходит к тебе великовозрастный дылда и спрашивает:

— Видал Москву?

— Не.

— Щас покажу!

В России, как сибиряки называют европейскую часть страны, все происходит довольно безобидно — парнишку тянут кверху за уши, пока он не закричит от боли. На Урале — берутся за волосы, а в наших местах, от Москвы весьма отдаленных, обхватывают ладонями голову и поднимают тебя вверх. Помню красное пламя в глазах и дикую боль под ушами, когда меня однажды так подняли на улице в кругу гогочущих парней, помню крик свой:

— Не видал! Не видал! Не хочу никакой Москвы! — Цара-

пался и кусался, поняв, что хотят все повторить, вырвался кое-как, прокричав издали обычное мамино пожеланье:— Чтоб всех вас холера побрала!

Вскоре слово «Москва» я прочел на ликбезовском плакате, а когда подрос, чутко слушал рассказы мамы о том, как она, двенадцатилетняя сирота, шла пешком через Рязань в Москву, как устраивали ее односельчане на прядильную фабрику Нырнова мотальщицей, где она с товарками работала по шестнадцать часов в сутки, как попозже мой отец-забастовщик, если на фабрику заявлялись жандармы, прятал листовки вот сюда, сынок: мать стеснительно трогала свою чиненую-перечиненую кофту...

Москва... Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

Это, как все мы помним, Пушкин. А вот Лермонтов:

Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын,
Как русский,— сильно, пламенно и нежно!
Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль зубчатый, безмятежный.

Белинский, приехавший осенью 1829 года поступать в Московский университет, писал о первых своих впечатлениях: «Из всех российских городов Москва есть истинно русский город, сохранивший свою национальную физиогномию, богатый историческими воспоминаниями, ознаменованный печатью священной древности, и зато нигде сердце русского не бьется так сильно, так радостно, как в Москве».

В мою жизнь великий город входил как великая книга, читать которую было бесконечно интересно.

Правда, улица Стромынка, на которой стояло наше общежитие, была скучной, невидной — дребезжащий трамвай, булыжник на спуске к Яузе, серые гладкостенные дома — не на чем глаз остановить, голые, без единого деревца, тротуары, тесные продовольственные магазины...

Здание нашего общежития — старинная четырехэтажная и четырехугольная коробка с церковкой посреди закрытого двора, в которой был склад белья и камера хранения студенческого барахла. И я подолгу рассматривал план-карту старой Москвы, который купил однажды у букинистов, наслаждался незнакомыми названиями — Остоженка, Варварка, Воздвиженка, Маросейка, разыскивал уже исчезнувшие дома и церкви. Каждое приметное строение города было схематически изображено на этой карте, и квадратик нашего общежития именовался «богадельней», что означало не место, где когда-то делали изображения богов — иконы или, скажем, распятия, а дом призрения, благотворительный либо казеннокоштный пансионат для инвалидов и престарелых.

Под окнами общежития проходила тихая зеленая улочка, поразившая меня своим странным и таким душевно-русским именем — «Матросская Тишина». Что за «тишина» и почему именно «матросская»? Узнал, что место это, столь удаленное от всех морей, когда-то крепко было связано с ними. Кроме Матросской Тишины, остался от прошлого Большой Матросский переулок, наша улица Стромынка называлась прежде Матросской, мост, ведущий через Яузу к Преображенке,— тоже Матросским, а вся эта местность — Матросской слободой. Петр I, оказывается, учредил тут большое парусное дело, и старые матросы, списанные по расстроенному здоровью с кораблей, шили здесь полотнища для парусов. При фабрике стояла больница, и многие матросы, потерявшие здоровье и родных за долгую службу на морях-океанах, тихо доживали тут свои дни. Слово «богадельня» в студенческом жаргоне было презрительно-ругательным, но мне протестующе думалось о тяжких ратных буднях здешних давних обитателей, о муштре и побоях, что вынесли они перед своим последним тихим пристанищем; эти безвестные воины и труженики помогли России утвердиться на морях, и мы обязаны им какой-то частицей своего благоденствия — любое поколение людей опирается на муки и труды предыдущих...

Из старых и новых зданий московского центра самым родным и близким стал для меня, естественно, университет. Как-то не сразу я привык к торжественному величию его фасадов, отодвинутых в глубь дворов, к плавным красивым закруглениям крыльев, в одном из которых помещался мой факультет, к громадному прозрачному фонарю над крышей широкой лестницы и мраморной колоннаде, над которой висели портреты знаменитых студентов университета, к лучшей его Коммунистической аудитории, где на крутой амфитеатр льется сверху, из высоких окон, обильный свет.

Думаю, что приподнятое, светлое настроение, охватывающее тебя по утрам перед лекциями Асмуса или Благого, Гудзия или Ефимова, Радцига или Самарина, Ухалова или Поспелова, объяснялось не только жаждой предстоящего узнавания, молодостью и здоровьем,— само здание настраивало на спокойную активность, обостряло внимание к разверзающейся перед тобою бездне знаний, внушало почтительное благоговение перед всем великим и добрым, что существовало в мире до тебя...

Зодчим и первостроителем Московского университета был человек с обыкновенным русским именем и фамилией — Матвей Казаков. На мемориальной настенной доске рядом с ним значился Жилярди, архитектор, прекрасно восстановивший и достроивший университет после пожара 1812 года, но оба имени мне ничего не говорили, потому что ни в школе, ни в техникуме, ни в университете мы этого, как говорится, не проходили. Заинтересовавшись, я узнал, что Фонвизин и Грибоедов, Герцен и Огарев, Лермонтов и Белинский не могли стоять у тех самых перил, над которыми висели их портреты,— так называемое «новое» здание

через улицу Большую Никитскую, ныне Герцена, было построено позже. Причем в этой работе принял немалое участие Евграф Тюрин, известный только специалистам русский архитектор, не означенный почему-то на памятной доске. Ему выпала трудная задача, с которой он блестяще справился,— незаметно встроил большой частный дом в левое крыло нового здания и вынес его полукруг с колоннадой на красную линию Моховой так, что связал оба корпуса, разделенных улицей, в единый ансамбль. Жилярди с Тюриным счастливо не нарушили общего казаковского стиля — университетские здания, выдержавшие потом еще немало основательных ремонтов и внутренних перестроек, кажутся изваянными одной уверенной и властной рукой.

Мой первоначальный интерес к московским камням заставлял внимательней присматриваться к городу, его центру, к окраинам, домам и садам, улицам и площадям. Кто и когда все это спланировал и сделал? Что еще построил Жилярди в Москве? Кто такой Евграф Тюрин? Съездив еще раз в Архангельское, обнаружил, что архитектор Тюрин работал здесь незадолго до посещения юсуповской усадьбы Пушкиным — возвел новый театр, перестроил павильон «Каприз» и «Святые ворота». Как все русские архитекторы-классицисты, строил Тюрин и храмы: университетскую церковь св. Татьяны, например, а также главное свое сооружение, сохранившееся в прекрасном состоянии до наших дней,— громадный, величественный, несколько уже отступающий от классических канонов, действующий доныне Елоховский собор, что возвышается над теперешней Бакунинской улицей.

Следы деятельности Евграфа Тюрина я потом находил и в других местах города, узнавая попутно, что, скажем, Александровский сад, Большой театр, Манеж с перекрытиями из сибирской лиственницы, служащими до сего дня,— это Бове, здание Исторического музея — Шервуд, музея В. И. Ленина — Чичагов, фасад Третьяковки — Васнецов; однако чаще всего встречались великие творения Матвея Казакова. Неподалеку от университета стоял небольшой светло-зеленый дом, в который мы ввиду близкого соседства часто ходили на концерты. Я и сейчас бываю в нем на больших собраниях и не устаю удивляться тому, что он сохраняет величавое достоинство в окружении соседних высоченных построек. А знаменитый его главный зал вообще можно считать чудом Москвы и, быть может, света всего. Стройные белые колонны и громадные многоярусные люстры так сгармонизированы с размерами и линиями зала, что не создают, как это ни странно, тесноты, а даже словно бы прибавляют простору. И есть у этого замечательного торжественного помещения один необыкновенный секрет. Здесь так много всепроникающего чистого света, что точно знаешь, но все никак не можешь поверить очевидной, зримой истине — в зале нет ни одного окна! Маленькие «фонарики» на балконе в счет не идут, к тому же они всегда плотно задернуты. Зал этот сейчас знают через телевидение в любом уголке стра-

ны, и вы давно, конечно, поняли, о каком зале я говорю. Это Колонный зал Дома союзов, бывшего Благородного собрания. Создатель его — Матвей Казаков.

Вспоминаю ту первую московскую весну, когда я начал ездить в свободные часы по городу, рассматривая другие творения великого русского зодчего. На Ленинградском проспекте близ станции метро «Динамо» прячется в зелени изящное ажурное сооружение из красного кирпича с белыми прослойками. Замкнутый в кольцо двор, прихотливо-пестрый фасад с башнями, напоминающими завершение средневековых замков, колдовская, завораживающая взгляд симметрия. Петровский дворец, где сейчас размещена Военно-воздушная академия имени Н. Е. Жуковского,— одно из оригинальнейших архитектурных украшений Москвы. И это Казаков.

К иным казаковским творениям не надо было ехать — стоило только пройти пять-десять минут от университета в какую-нибудь сторону. Если налево, то мимо дома архитектора Жолтовского и гостиницы «Националь» за угол по улице Горького. Ни дом этот, желтый, как все дома Жолтовского, ни здание гостиницы я не любил — они не выражали ничего, кроме безуспешного поиска хоть чего-то после утраты отживших архитектурных форм. Потом памятный букинистический магазинчик, театр Ермоловой, Центральный телеграф инженера Ивана Рерберга, построившего также Киевский вокзал, где я обитал первые недели в Москве. Огромные новые дома, только что законченные. Эффектный цоколь их высоко, на два этажа, выложен мощными глыбами красного гранита. Рассказывали, будто гранит этот заказывал в Финляндии Гитлер, чтобы после взятия и затопления Москвы построить из него на Ленинских горах основу памятника победы Германии над Россией. Если это не легенда, то зря мы, по-моему, «бесхозяйственно» обошлись с таким материалом,— хорошо было бы в Москве соорудить из него фундамент монумента в знак победы народов Советского Союза над гитлеровской Германией...

Советская площадь. Спланировал ее Матвей Казаков, и он же поставил на ней губернаторский дом, который после основательной надстройки, бережной передвижки и стыковки с другим зданием приобрел теперешний монументальный вид, по архитектурному замыслу и исполнению близкий первоначальному, казаковскому. Красная площадь. Брусчатка плавно берет на подъем, перед тобой вырастают цветные купола Василия Блаженного — и вдруг он весь как на ладони на фоне широко распахнутого неба. Изумительно выбрано место! Ради него великий зодчий, быть может, пошел на известный риск, расположив этот сказочный каменный утес со сложной центровкой на водосборном склоне покатого холма, неподалеку от слабого, глинистого берега Москвы-реки, да еще по соседству с глубоким рвом. Прошло более четырех веков, и храм не шелохнулся и не растрескался — знать, строители воистину «быша мудри и удобни таковому людному делу»...

Центр Красной площади. Если встать лицом к Мавзолею

В. И. Ленина, созданному замечательным советским архитектором А. В. Щусевым, то за ним, над зубчатой стеной и Сенатской башней, увидишь величавый купол, венчающий строгое и величественное здание. С площади незаметно, что это выдающееся по своим архитектурным достоинствам здание бывшего Сената, а ныне Верховного Совета СССР, в плане представляет собой равнобедренный треугольник с большим круглым залом в тупой его вершине — эту редкую планировку Матвей Казаков избрал в качестве единственно возможной, потому что кремлевские площади и ранние постройки не позволяли тут разместиться стандартному строению. А кто хоть раз побывает в казаковском зале, никогда не забудет его стремительной, почти тридцатиметровой выси, прекрасных коринфских колонн по стенному кругу, пластичного изящества лепной отделки... У меня хранится фотография, сделанная много лет назад в этом зале и дорогая мне воспоминанием: Климент Ефремович Ворошилов, бывший слесарь и легендарный герой гражданской войны, вручает мне трудовую медаль...

Если же пойти от университета в другую сторону, по улице Герцена, то через десять минут увидишь за площадью массивную, благородной стати церковь Большого Вознесения, в белой громаде, линиях и пропорциях которой слился воедино первоначальный замысел Василия Баженова, его великого ученика Матвея Казакова, создавшего свой и, кажется, не окончательный проект. Церковь была освящена спустя несколько десятилетий после смерти Казакова, и сейчас ее связывают больше с именем архитектора Григорьева, достроившего этот замечательный образец русского церковного зодчества XIX века. Бывший крепостной Афанасий Григорьев, воспитанник семьи знаменитого Ивана Жилярди, построил в Москве также немало дворянских особняков, среди которых выделяется дорогой каждому русскому сердцу дом в бывшей Хамовнической слободе, в котором многие годы проживал Лев Николаевич Толстой...

В недостроенную церковь Большого Вознесения зимой 1831 года привел под венец Наталью Гончарову А. С. Пушкин. По одну сторону от этой церкви стоит особняк, в котором жил Максим Горький, по другую — высокий современный дом, где живет Леонид Леонов, и я часто бываю в этом уголке Москвы.

В пору моего студенчества церковь Большого Вознесения была почти скрыта малоценными постройками, а сейчас хорошо порасчистили вокруг, оставив архитектурное сокровище в одиночестве, на разъезде двух улиц, посреди зеленого сквера, и взгляд берет ее сразу всю — от подошвы до богатырской главы, покоящейся на могучих плечах. А через улицу Герцена неожиданно приоткрылась той же расчисткой скромная, низенькая, как бы уходящая в землю церковка Федора Студита, построенная три с половиной века назад. Раньше даже нельзя было догадаться, что здесь стоит интересная старинная постройка, заслоненная жалкими кирпичными домишками! При этой церкви, кстати, была похоронена од-

на из ее прихожаиок, обыкиовеииая русская женщиина, родившая России великого полководца Александра Суворова, чьи детские годы прошли неподалеку...

Мы то и дело встречаемся на улицах и площадях Москвы с бессмертными творениями Матвея Казакова, и не пора ли столице поставить ему достойный памятник? Создав «фасадический план» Москвы и построив в ней десятки прекрасных зданий, он, в сущности, определил в свое время облик своего родного города, а его эпоха *была вершиной развития мировой архитектуры тех времен.*

Рожден был Матвей Казаков в семье мелкого московского конторщика, бывшего крепостного, рано осиротел, и только случай — встреча тринадцатилетнего мальчика с выдающимся московским архитектором Ухтомским — да редкое дарование позволили ему издать торжественные, чистые и гармоничные звуки «застывшей музыки», какой издревле почитается архитектура. Матвей Казаков был великим патриотом Москвы и России, все его творчество проникнуто любовью к ним, светом и радостью, народностью и гуманизмом. В 1812 году, перед нашествием Наполеона, старого и больного архитектора вывезли в Рязань, где, по воспоминаниям его сына, напечатанным через несколько лет в «Русском вестнике», «горестная молва о всеобщем московском пожаре достигла и до его слуха. Весть сия нанесла ему смертельное поражение. Посвятя всю жизнь свою зодчеству, украся престольный град величественными зданиями, он не мог без содрогания вообразить, что многолетние его труды обратились в пепл и исчезли вместе с дымом пожарным. В сих горестных обстоятельствах скончался он 26-го октября на 75 году от рождения на руках детей своих»...

Летели месяцы и годы, будто ускоряясь; лекции, семинары, сдача французских страниц, курсовые работы, авральные штурмы перед экзаменами и зачетами, общественные хлопоты, подрабатывания — моей повышенной лермонтовской стипендии не хватало, и разгрузка вагонов с капустой на Павелецком вокзале или погрузка галош на «Красном богатыре» давали счастливый, но редкий приработок. Каждые каникулы я нанимался в какую-нибудь газету, чтоб затем купить расхожий костюм, ботинки, нательное бельишко либо нужную книгу. После первого курса все лето один выпускал многотиражку узловского железнодорожного отделения «Углярка», потому что ее редактор и ответственный секретарь, оба страдавшие туберкулезом, уехали в санаторий на большие сроки. Помню, какая гордость меня распирала, когда я, заработав в «Гудке» на газетной практике, купил пишущую машинку и даже мог не писать в деканат унизительного заявления с просьбой освободить меня по бедности от платы за обучение; в те годы существовала эта незнакомая сегодняшнему студенчеству плата, и мы понимали, что послевоенной стране было трудно содержать такую прожорливую молодую ораву. Позже,

практикуясь, работал в воронежской «Коммуне», «Брянском рабочем», черниговской «Деснянськой правде», задерживаясь в газете иногда до поздней осени.

От студенческих лет остались свежие впечатления о Москве и ее окрестностях, пожелтевшие дневниковые странички, пишущая машинка «Рейнметалл», которая до сего дня исправно служит, да десяток книг, в том числе солидный академический сборник статей «Слово о полку Игореве», выпущенный к 150-летию со дня выхода в свет первого издания «Слова», с работами М. Н. Тихомирова, Д. С. Лихачева, В. Ф. Ржиги, Н. К. Гудзия, Ф. Я. Приймы и многих других, среди коих особый интерес, помню, вызвала у меня статья не специалиста-филолога, а киевского профессора зоологии Н. В. Шарлеманя, посвященная природе в «Слове о полку Игореве». Он, прекрасно изучивший повадки зверей и птиц, не изменившиеся за долгие века, нашел в тексте «Слова» неоспоримые доказательства, что безвестный автор поэмы знал природу в мельчайших и достовернейших подробностях. И, помню, мне снова мучительно захотелось узнать, кто был автором великой русской «песни», «слова» или «трудной повести», составленной по «былинам» того времени... И я, долгие годы приобретая при случае все, что касалось «Слова», никак не мог предполагать, что через четверть века мне подарят интереснейшую рукопись Н. В. Шарлеманя, которая вновь заставит меня задуматься об авторе бессмертного произведения средневековой русской литературы.

4

И еще осталась от тех, теперь уже далеких лет память и обрывочные, конспективные записи в дневнике о прочитанном, услышанном и увиденном, о самых сильных впечатлениях от московских, довольно бессистемных, но все же обогащающих зна-

комств с культурой прошлого. По соседству с университетом стояли Большой и Малый театры, МХАТ, Ермоловой и Маяковского, Консерватория, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, да и Третьяковка находилась, в сущности, рядом, за Москвой-рекой. Доступ во все эти святые места был тогда очень легок, и многие из нас, студентов-провинциалов, становились завзятыми театралами и меломанами, щеголяли друг перед дружкой знанием репертуаров, осведомленностью о премьерах, выставках и гастролях знаменитостей. В круг таких любителей я не входил, в театрах и музеях бывал нерегулярно и нечасто — от вечной нехватки денег, свободного времени да своего любительского увлечения старыми камнями. Быть может, оттого, что вырос я среди жалких деревянненьких домишек, мне нравилось отыскивать в Москве и Подмосковье приметные архитектурные памятники, подолгу рассматривать их и возвращаться к ним, когда выпадал случай.

А от лесов моего детства, от Александровского сада, утешившего меня после первой московской неудачи, от Архангельского и Середникова, от Сокольников, расположенных рядом с общежитием, от соседства-созвучия многих архитектурных памятников с окружающей их зеленью как-то незаметно возник интерес к старинным паркам, сохранившийся доныне.

Смотрю сегодня на скверы столицы, то там, то сям зачем-то опечаленные канадской елочкой, на улицы и подворья, заполоненные американским тополем; у этого неприхотливого, почти не требующего за собой ухода переселенца раскидистая, неуправляемая крона, и он затеняет ею нижние этажи домов, отнимает у многих москвичей животворное солнце, и так не слишком балующее нашу широту, лезет сучьями и ветками в троллейбусные контактные сети, в линии связи и электропередачи, взламывает корнями асфальт, плодит тополевую тлю, пускает среди лета тучи пуха. В городе, к сожалению, очень мало родных традиционных пород — липы, ясеня, березы, клена, лиственницы, и я часто вспоминаю, как о невозвратимом, о садах и парках, некогда украшавших Москву и ее окрестности. История их создания хранит полузабытые имена и события глубокой старины, свидетельствует о высочайшей культуре отечественного паркостроительства. Мне нравилось и нравится вспоминать и узнавать что-либо новое о старых зеленых островках столицы, и рассказ о них может показаться интересным москвичу, который любит свой город, уважает его прошлое и думает о будущем.

Все мы слышали о висячих садах Семирамиды, но что вы знаете, дорогой мой любознательный читатель, о московских висячих садах? Они когда-то украшали кручи кремлевского холма, покоясь на каменных сводах и свинцовых поддонах. Есть документ, свидетельствующий, что после пожара 1637 года из пруда было вынуто 176 пудов и 10 фунтов расплавленного свинца. В 1685 году при хоромах царицы Натальи Кирилловны был устроен «висячий» сад, на поддон которого пошло 639 пудов

свиница, а просеянная садовая земля насыпалась толщиною в аршин и площадью в сорок квадратных сажен. И как знать, не вернутся ли наши архитекторы при завтрашнем градостроительстве к своего рода современным «висячим» садам на крышах и ступенчатых этажах?

А Измайловская усадьба Алексея Михайловича, отца Петра I, представляла собой целую систему садов и старинных парков, в которых были и «вавилон», то есть «лабиринт», и «зверинец», и «итальянский» сад, и «виноградный», здесь были участки, где выращивались не только арбузы, дыни и перец, но и тутовые деревья, и даже будто бы финики! Имеются тщательные исследования истории усадьбы и подробные планы ее восстановления, только когда подойдет черед исполнения этих планов?

И, наверное, мало кто, кроме узких специалистов, знает, что еще сравнительно недавно существовала в Москве на яузском берегу так называемая Анненгофская роща — изумительное и единственное в своем роде творение Варфоломея Варфоломеевича Растрелли. Великий зодчий, создавший свои торжественно-праздничные архитектурные образы в стиле русского барокко, по его собственным словам, «для одной славы всероссийской», построил в Москве Кремлевский и Яузский деревянные дворцы, Летний, Зимний, Строгановский дворцы, а также Смольный монастырь в Петербурге, Петродворец в Петергофе, дворец в Царском Селе, Рудальский в Прибалтике, множество частных домов-дворцов, Андреевский собор в Киеве, восстановил вместе с Карлом Бланком ротондальный шатер Новоиерусалимского монастыря на Истре, создал дворцы в Перове, Лефортове и немало другого.

Анненгофская роща в Москве представляла собою особый образец «славы всероссийской». Искусно, с неистощимой фантазией Растрелли спланировал дорожки и аллеи, живые изгороди и зеленые коридоры, цветники и проезды, причем все это с главных зрительных точек парка воспринималось под углом к основному направлению ее посадок, что разнообразило перспективу, обогащало обзор. О масштабах паркостроения, проведенного под руководством Растрелли в Анненгофской роще, говорят такие сведения из старинных документов: только в 1736 году здесь было вручную перемешано полторы тысячи кубических сажен земли, создано одних липовых и кустарниковых «шпалер» на 3160 саженях, и на эти работы подряжалось тридцать тысяч «работных людей»!

К сожалению, неизвестен автор Чесменки, парка настолько необычного, что о нем тоже надо бы сказать несколько слов. Эту болотистую местность вблизи Люблино Екатерина II выкупила у помещика Сабакина и подарила ушедшему в отставку бывшему своему фавориту Алексею Орлову. В те времена тут гнило знаменитое Сукино болото и был водоем, позже получивший название Лизин пруд, потому что именно в него будто бы бросилась карамзинская бедная Лиза. Безвестный ландшафтный архитектор осушил эти гиблые места и создал у дома графа Орлова-Чесмен-

ского оригинальнейшую планировку, смело и очень по-своему организовав пространство парка. Он обошелся без стандартного партера, парковой парадной части — искусственного ландшафта, создающего обычно пространственную перспективу по композиционной оси, перпендикулярной фасаду дома. Эта ось сделалась линией пересечения боковых аллей и дорожек, расположенных симметрично друг к другу под углом в сорок пять градусов, что создавало стереоскопическую иллюзию глубины парка. Столь необыкновенной композиции не знала теория и практика мирового садово-паркового искусства; и Михаил Петрович Коржев, известный советский ландшафтный архитектор, с которым мы знакомы много лет, предположил, что автором Чесменок был Филипп Пермяков, хотя документальных подтверждений не нашел. В хранилищах древних русских актов Коржев разыскал чертежи и планы, на которые человеческий глаз не взглядывал вот уже двести пятьдесят лет, воскресил немало забытых имен далеких своих предшественников. Филипп Пермяков, посланный вместе с шестью товарищами Петром I на казенный счет за границу, после девятилетнего обучения сложному и тонкому паркостроительному искусству создал в Москве немало великолепных растительных ансамблей. Это был, судя по сохранившимся оригиналам его чертежей, человек обширных и глубоких знаний, талантливый мастер своего дела, мыслящий независимо и оригинально...

Лефортово называли московским Петергофом, однако этот памятник садово-паркового искусства и архитектуры был по устройству своему куда разнообразнее и сложнее. В нижнем саду было настоящее царство воды — девять разных по форме прудов, каналы и Яуза, соединенные в одну систему, создавали довольно обширные водные пространства с островами, плотинами, мостиками, беседками, гротами и фонтанами на островах и берегах. Снова и снова поражаешься неуемной деятельности Петра, недреманным оком когда-то следившего за созданием Лефортовского парка. Сохранились многочисленные его уточнения на планах. Например: «Сделать менажерею фигурно овалистою, кругом решетки из проволоки железной в рамах, и с пьедесталом и с местами, где уткам яйца несть... Сделать крытую дорогу через дерево липу и клен, для того через дерево, что липа гуще снизу растет, а ленивo к верху, а клен к верху скорее...» Силен был царь-работник, ничего не скажешь! Позже Варфоломей Растрелли развил замысел Петра: соорудил на третьей террасе парка огромный — примерно тридцать метров в ширину и тысячу в длину — канал с овальным прудом в середине, Анненгофскую «кашкаду» между третьей и четвертой террасами, построил зимний дворец на четвертой, а за ним разбил знаменитую свою рощу, полностью погибшую в 1904 году от урагана. В Лефортовском парке сохранились остатки каналов, островов и террас, следы древесных насаждений, в архивах лежат подробные планы и описания этого великолепного памятника московской старины, существует первоначальный проект его реставрации...

Михалково в Ленинградском районе, построенное великим русским зодчим Василием Баженовым. По воле заказчика графа П. И. Панина, взявшего во время русско-турецкой войны 1768—1774 годов неприступную крепость Бендеры, усадьба должна была напоминать владельцу об этой баталии. Не сохранившийся до нашего времени дом олицетворял крепостную цитадель, парадный двор которой находился за стенами с шестью монументальными башнями. Исследователи отмечали совершенство баженовских построек и парка, особо подчеркивая, что строго спланированный регулярный парк в сочетании с естественной природой неразрывно связывал воедино общий композиционный замысел, а новаторское архитектурное решение Михалкова целиком исходило из традиционных, творчески переработанных форм русского зодчества.

Фили-Кунцевский парк, Нескучный и Головинский сады, Коломенское, Останкино, Царицыно... О каждом из этих зеленых сокровищ, частью сохранившихся, частью исчезающих, можно бы написать отдельное эссе, потому что в каждом было что-то неповторимое, оригинальное и ценное. В Останкине, скажем, где в XVII веке стояла великолепная кедровая роща, посаженная при дьяке Щелкалове, и позже культивировался этот красавец моих родных лесов. Когда в 1761 году парк передавался садовнику-голштинцу Иоганну Манштадту, то в описи, кроме пяти больших оранжерей, одиннадцати рубленых и двух дощатых парников, значился участок открытого грунта в четыре гряды, занятый саженцами кедра сибирского.

Вспоминаю, как я впервые увидел гигантский живой кедр в Подмосковье. Он растет неподалеку от Волоколамска, в Ярополье, на одной из террас парка, что спускается к Ламе от дворца Гончаровых. Вершина его была давным-давно сломана ветром или сожжена молнией, а верхняя мутовка дала пять вершин — будто кедр хватал небо огромной пястью. Стоит он и по сей день в начале *пушкинской* липовой аллеи. Отсюда 21 августа 1833 года Пушкин, навестивший тещу, писал жене: «В Ярополец прибыл я в среду поздно. Наталья Ивановна встретила меня, как нельзя лучше; ей хотелось бы очень, чтоб ты будущее лето провела у нея. Она живет очень уединенно и тихо в своем полуразрушенном дворце и разводит огороды над прахом твоего прадедушки, Дорошенки, к которому я ходил на поклонение...»

В этом письме Пушкин допустил, кажется, единственную свою историческую ошибку — малороссийский гетман Петр Дорошенко, упокоившийся в Ярополье в 1698 году и названный в «Полтаве» «старым», приходился Наталье Николаевне прапрапрадедом. Кстати, и надпись на каменном надгробии Дорошенко тоже содержит историческую неточность. Сейчас, правда, не разобрать ни одного слова — известняк плохо выдерживает морозы, солнце, дожди, снега и ветры, но в 1903 году здесь побывал Владимир Гиляровский и воспроизвел еще различимые тогда строки: «Лета 7206 ноября в 9 день преставился раб

Божий гетман Войска Запорожского Петр Дорофеевич Дорошенко, а пожнве от рождества своего 71 год положен бысть на сем месте». У запорожских казаков никогда не было гетмана, только выборные кошевые, войсковые судьи да писаря...

Не знаю, какой вид во времена Пушкина имел «полуразрушенный» дворец Загряжских-Гончаровых, названный Гиляровским «дивным», но я его застал почти полностью разрушенным фашистами, которые в комнате, где останавливался поэт, содержали лошадей. И оккупанты, наверное, не знали, кто был захоронен по соседству, неподалеку от Дорошенко, иначе бы непременно взорвали его склеп. Дело в том, что рядом, в четырехстах метрах от стен гончаровского дворца, располагался еще один великолепный дворец — Чернышевых.

Долго я бродил по заглохшему парку в пойме Ламы — секретов его устройства, систем каналов и прудов до сего дня не могут разгадать ландшафтные архитекторы. На одной из террас — диво дивное русского паркостроительства. Стоит обелиск в честь посещения этого имения Екатериной II, а вокруг — удивительная карликовая липовая роща, коей нет аналогов в мире. Правда, карликовой липы как ботанического вида не существует в природе, но безвестный гениальный паркостроитель создал на террасе такую почву и так ее дренировал, что липы выросли метра на четыре в высоту, сомкнули кроны и замерли...

Огромный — четыреста двадцать метров по фасаду — дворец Чернышевых тоже лежал в руинах, а напротив стояла уцелевшая церковь, где в родовом склепе покоился прах Захара Григорьевича Чернышева, военного и государственного деятеля России, чье имя когда-то прочно вошло в историю и долго держалось в народной памяти. Солдатская песня «Захар Чернышев в плену» своеобразно отражала подлинный факт — во время Семилетней войны генерал-поручик Чернышев попал в плен. Былинного склада песня передает разговор пленника с прусским королем, и я приведу отрывки из нее, чтоб познакомить любознательного читателя с образцом солдатского поэтического творчества XVIII века, а то больше, однако, негде будет этого сделать... Так вот, как завидел короля-пруссака «посидельничек из косящата окошечка во стекольчату оконенку», то будто бы сказал ему:

Ах ты гой еси, прусский король,
Королевское высочество!
Ты умел меня в полон поймать,
Ты умел меня в тюрьму садить —
Прикажи меня поить-кормить,
Не прикажешь поить-кормить —
Прикажи меня на Русь пустить,
Не прикажешь ли на Русь пустить —
Прикажи меня скорей сказнить!

Прусский же король будто бы ответствует, предлагая совсем иное:

Ах ты гой еси, российский граф!
Чернышев Захар Григорьевич!
Уж ты будешь ли по мне служить,
Прикажу тебя поить-кормить,
Прикажу дать двойно жалованье.

Интересно бы узнать, была ли на самом деле встреча Чернышева с королем Пруссии, солдатский же безымянный сказитель не сомневался в этом и, героизируя образ пленного, продолжал:

Закричал тут российский граф,
Чернышев Захар Григорьевич:
Ах ты гой еси, прусский король,
Королевское величество!
Кабы был я на своей воле,
Я бы рад был тебе служить —
На твоей бы буйной голове,
На твоей бы шее белыя!..

А во времена восстания Пугачева имя Захара Чернышева опять появляется в народной песне:

Ходил-то я добрый молодец по чисту полю:
Мягкая постелюшка — желтой песок,
Изголовьица моя — шелкова трава.

Как во селе было во Лыскове,
Тут построена крепкая тёмница;
Посажен добрый молодец,
Добрый молодец Чернышев Захар Григорьевич...

Но как мог попасть в темницу приволжского села Лыскова генерал-фельдмаршал Чернышев, тогда уже президент Военной коллегии? Дело в том, что по примеру Емельяна Пугачева, принявшего имя Петра III, его приближенные выбирали себе имена и звания видных государственных и военных деятелей. Имя графа Чернышева носил пугачевский казак Зарубин по прозвищу Чика, а уж народная фантазия переместила «посидельничка» из немецкого города Кюстрина, где некогда содержался подлинный Чернышев, на Волгу...

Фашистские оккупанты, конечно, развеяли бы взрывчаткой по ветру прах графа Захара Григорьевича Чернышева, если б знали нашу и свою историю. И совсем не потому, что этот человек будто бы дерзил когда-то прусскому королю и стал героем народного русского эпоса. Через два года после освобождения из немецкого плена генерал Чернышев во главе своего корпуса с бою взял Берлин и доставил символические ключи от этого города в Петербург... Берлин был повергнут впервые в истории, и на это событие откликнулась еще одна солдатская песня XVIII века:

Ой да как и стужится,
Стужится да сплачется

Вот бы сам прусский король:
— Ой да не жалко-то мне,
Не жалко мне Берлин-город,
Жалко мне мою армию.
С моими-то было
Вот и с генералами,—
Лежит вся побитая!

До чего ж хороша, исторична эта песня!

Парки и сады для меня были интересны сами по себе, они завлекали своим разнообразием и количеством — помню, как я поразился, узнав однажды, что в средней полосе России числилось когда-то три с половиной тысячи парков! Лучшие творения садово-паркового искусства своеобразно представляли тогдашние идеалы красоты, и в островках природы, организованной человеческими трудами и талантами, мне виделись прообразы земных ландшафтов далекого будущего. Мне нравилось узнавать самые мелкие подробности устроения этих оазисов, имена авторов растительных шедевров, истории, связанные с их владельцами. Все это незаметно погружало в прошлое, расширяя круг интересов. В дворцах и окружавших парках некогда зарождалась и зацветала русская культура, отражаясь в литературе, архитектуре, живописи, ваянии, музыке, театральном и прикладном искусстве, в них находила отзвуки политическая, социальная и военная история России.

После окончания университета меня взяли в столичную газету и поселили в Вешняках. Комсомольское наше общежитие стояло на самом краю Кусковского парка. Это удивительное создание рук человеческих четыре года тихо соседствовало рядом, и постепенно я привязался к нему чувством почтительной благодарности. Сюда было хорошо прийти после ночного дежурства, забыть лихорадочную беготню по этажам, конфликты с метранпажем и корректорами, отдышаться от наркотического запаха табачища и кофе, от ядовитых испарений свинцово-цинково-сурьмяного расплава, отдохнуть от стрекота линотипов и рева печатной машины.

Выходишь, бывало, поутру из своего желтого, казарменного типа здания, медленно, не сразу входя в новый день, бредешь вдоль скучной тополиной аллеи к железным воротам и через сотню метров за ними поднимаешься на земляную плотину. Взгляду открывается пруд, но это простое слово как-то не подходит к тому, что ты видишь. Прямоугольное водяное зеркало с чистыми низкими берегами служит именно зеркалом великолепного дворца, который весь, с мельчайшими подробностями, отражается в нем вместе с изящной церковкой, отдельно стоящей колоколенкой и верхней кромкой сада.

Зеркало это не простое, волшебное: только с виду прямоугольное, а на самом деле его очертания напоминают трапецию, хотя этого совершенно не замечаешь. Зеркало завораживает глаз удлиненнем перспективы, сочетанием серебряной плоскости с окружающим пространством парка, и этот свободный зеленый простор тоже таит в себе какие-то секреты, сразу не поддающиеся пониманию. Почему в нем утопает взгляд, отчего здесь хочется бывать и быть? В плане парк асимметричен, но в натуре этого тоже не увидеть, потому что паркостроители во главе с крепостным Алексеем Мироновым, учтя особенности зрительного восприятия, создали лишь иллюзию строгой симметричности, а также искусственно углубили пространство с помощью диагональных аллей, посадок, распланированных под определенными углами, и других «секретов». Кусковский парк принципиально отличается от геометрически прямоугольного, стандартно-симметричного Версаля, который я увидел спустя много лет, является единственным на всю нашу страну произведением ландшафтной архитектуры, сохранившим основные черты своего облика с XVIII века.

Представляю, как двести лет назад пришли на совершенно плоскую равнину без единой речушки либо холмика талантливые крепостные паркостроители, архитекторы, садовники, скульпторы и, тонко чувствуя особенности этого довольно ординарного уголка русской природы, сумели создать редчайший по цельности замысла, сочетанию пропорций, органически слитный с окрестностями дворцово-парковый ансамбль. В каком бы месте этого ансамбля ты ни оказался, всюду над тобой широко распахнутое небо, а вокруг тебя и самой дальней дали — рукотворная красота. Как могли несвободные люди создать такое ощущение *свободы?* И не стремление ли к ней выразили они своим непревзойденным художественным творением?

Большой пруд когда-то представлял собою довольно сложное устройство для увеселений. На острове было отсыпано четыре симметрично расположенных мыса, и пушки с них бухали ровно в полдень, к его пристани причаливал большой парусный корабль, а на лодках можно было плыть в глубь парка по длинному каналу, в начале которого до сего дня стоят высокие каменные колонны с чашами, где во время ночных празднеств жгли когда-то горючие жидкости. Канал этот идет точно по оси дворца, в конце его располагался круглый «ковш» со своим необыкновенным секретом — по местности, повторяю, не протекало никаких речек, но создатели парка нашли ключ. Он в три струи бил из подпорной стенки, питая канал и пруд. Центральная струя совпадала с осью канала и серединой далекого дворца...

А однажды поздней осенью, когда в парке уже облетел лист, а канал и большой пруд затянуло тонким льдом, я обратил внимание, что в маленьком пруду близ Голландского домика почему-то стоит светлая вода, обрамленная необыкновенной, словно бы полированной рамкой — прозрачными ледяными забережками.

Отчего это пруд не застывает так долго? Оказалось, что создатели парка, подбирая ключи к здешней природе, нашли все местные родники и замечательно их использовали. Прудик у Голландского домика донные питается невидимыми подземными струями и зазимками долго не замерзает в закаменевших от стужи берегах. И еще один секрет есть у этого заливчика — он только *кажется* прямоугольным; человеческий глаз так воспринимает его трапецевидную форму... Голландский домик до сего дня привлекает своей непривычной для русского глаза строгой и компактной архитектурой, ярко-красными кирпичами плотнейшей кладки, ни один из которых за двести лет не дал ни малейшей трещинки. По другую сторону парадного паркового партера стоит не менее привлекательное сооружение под куполом, контрастируя с Голландским домиком внешними формами и нигде больше в нашей стране не встречающейся внутренней отделкой,— стены Грота покрыты оригинальным орнаментом из туфа и разноцветных перламутровых раковин, привезенных с далеких южных морей. Проектировал Грот талантливейший крепостной архитектор Федор Аргунов.

Неподалеку от Грота — Итальянский домик с его странными барельефами, изображающими в профиль нарочито вульгарные лица древнеримских патрициев, а также Зеленый театр — единственное в Москве и Подмосковье сооружение такого рода, еще сохраняющее некоторые прежние контуры. Зеленый театр при его кажущейся простоте имел в плане сложнейшую конфигурацию, а в устройстве — множество своеобразных и неповторимых деталей. Роль занавеса выполнял раздвижной щит, на котором была изображена уходящая вдаль березовая аллея, как бы продолжающая естественную, парковую. Перед спектаклем щит раздвигался, что создавало иллюзию мгновенного исчезновения большого участка парка, и перед зрителем открывалась большая сцена с подвижными кулисами. Невидимый оркестр играл как бы из-под земли — перед сценой была выкопана оркестровая яма шириной в две сажени и длиной в пять. Артистические комнаты находились в стриженой зелени по бокам сцены, насыпной амфитеатр с дерновыми скамьями был выполнен в форме плавного полуэллипса, и на него бросала в полдень свои трепетные тени березовая роща.

Со своим секретом был и Эрмитаж — двухэтажное каменное строение вычурной архитектуры, стоящее в центре скрещения восьми аллей. Эрмитаж в Ленинграде — это известнейшая и ценнейшая коллекция произведений изобразительного искусства, в Москве есть сад «Эрмитаж», но что такое эрмитаж в начальном своем значении? Помнится, заглянул я в словарь французского, оставшийся у меня со студенческих лет, и выяснил, что слово это означает келью, обиталище отшельника, место уединения. В Эрмитаже Кусковского парка можно было в старые времена принять гостей без свидетелей. Во втором этаже его находился стол на двенадцать персон, который обслуживался из подвальной

части,— механические устройства подымали блюда наверх, и слуги ничего не видели и не слышали.

В самом дворце, в основе его строительства, была заложена какая-то редкая находка, иначе он не простоял бы в таком виде двести лет — ведь все это величественное и стройное здание, так похожее на мраморное, было сооружено из обыкновенного дерева, материала, дающего со временем осадку, сгнивающего от влаги. Наш тайгинский домишко, срубленный, согласно старому документу, в 1904 году, к последней войне подгнил понизу, весь покосился, и я помню, как заделывал его расширяющиеся пазы мхом и замазывал глиной. И ведь он стоял на горе, вдали от воды. А к этому дому-дворцу почти вплотную подступил большой пруд и пруд маленький, у Голландского домика шлюзы держали в нем уровень почти у поверхности земли, так что грунтовые воды увлажняли прилегающую часть парка, незримо подтекали под фундамент дворца. Почему же они за двести-то лет не сгноили сваи, нижние венцы, не перекосили окна, крышу, не покалечили колонны? С восхищением я узнал про два особых секрета, которые заложил неизвестный архитектор в свой первоначальный проект, а крепостной Алексей Миронов перестроил по этому проекту весь, как ныне говорится, объект.

Первый секрет — дубовые, глубоко забитые сваи, которые не гниют в воде, а только крепчают. Недавно болгары раскопали на берегу Дуная прочные дубовые сваи моста, построенного еще римским императором Трояном! Я чуть было не написал «прочные, как железо», но вспомнил, что железо-то за полтора тысячелетия было бы бесследно съедено ржавчиной. Мореный дуб также не пища для жучков-древоточцев, грибков, всяческой плесени, и выходит, что сваям Кусковского дворца в ближайшую тысячу лет ничего не грозит, если только ненароком, по незнанию или какой-нибудь разновидности злого умысла, не вмешаются в их верную подземную службу люди.

Не менее интересным был секрет второй, гарантирующий многовековую стройность здания. Оказывается, оно не срублено и не *сложено* из бревен, а *составлено*. Бревна в горизонтальном положении влегают в пазы, старея, рыхлеют неприметно, так что венцы даже из самого прочного дерева дают со временем осадку. А вертикальная жесткость бревна необычайна и не уступит иному современному строительному материалу. Оказывается, не только мы, обнаружившие вдруг потребность в новой науке — бионике, стремимся узнать, понять и выгоднейшим образом использовать свойства живой природы; это делали наши предки задолго до нас, исходя из своих знаний и потребностей.

Не перестает удивлять и восхищать это простое и великое инженерное открытие строителей Кусковского дворца. Бревна в его стенах стоят так, как они жили,— вертикально и комлем вниз. Ни малейшей осадки не дали они, но это не единственное их достоинство. Стоящее дерево и сохнет и вбирает влагу по-особому — недаром погибшая лесина не падает еще много лет. Комель

имеет более плотную тяжелую древесину, насквозь пропитан смолой, приближает к земле центр тяжести дерева и, выдержав при жизни огромные и длительные нагрузки на слом и сжатие, сформировал себя в виде прочнейшей, утолщающейся книзу колонны. Колонна здания — думалось попутно мне — это, в сущности, ствол дерева, шпиль — вершина его...

Природа и «вторая природа» связаны между собой теснее и сложнее, чем кажется нам с первого взгляда, и в этих связях есть тончайшие оттенки, вызывающие у людей труднообъяснимые чувства. В том, что строители Кусковского дворца так своеобразно использовали свойства дерева, было что-то необыкновенно притягательное — шло это от того, что родился и вырос я среди деревьев, и степной или горный житель мог остаться совершенно равнодушным к тому, что так привлекало меня. Дворец, наполненный произведениями крепостных мастеров кисти, резца и ремесел, в котором даже полы, набранные из множества фигурных древесных кусочков, есть шедевр старинного прикладного искусства, почему-то виделся мне прежде всего своей основой — вечными дубовыми сваями и стенами «в стойку». Нет ли в Москве еще какого-нибудь приметного дома, *составленного* из бревен? Неужто этот исключительный опыт пропал втуне и ни один из русских архитекторов или строителей не взял его позже в свой арсенал? И я очень обрадовался, найдя в столице еще один такой дом на улице Казакова, в котором ныне размещен НИИ физической культуры. Обрадовался вдвойне, потому что дом этот проектировал и строил сам Матвей Казаков.

Парк вокруг Кусковского дворца я видел в разные времена года, изучил в нем каждый уголок, издали узнавал любимые деревья, аллеи, беседки, но всякий раз непременно взглядывал на парадный его партер. Он тянется к красивой двухэтажной оранжерее и обрамлен рядами старых лип, сформировавших плотные шаровидные кроны. Газоны и цветники разграничиваются песчаными дорожками и мраморными античными скульптурами. В центре партера стоит белый пирамидальный обелиск, напоминающий о посещении усадьбы Екатериной II, а за ним высятся две огромные сибирские лиственницы. За двести лет одна из них вытянулась, как-то вся подобралась, другая пошла вширь, и нижнее саблевидное ответвление так велико, что добрый десяток фотографирующихся экскурсантов садятся рядком на его пологом изгибе. В стародавние времена вокруг лиственниц плелись сложные орнаменты из дернины и цветов, выращивались совершенно забытые в практике современного парководства так называемые «живые ковры» — мелкие цветы подбирались таким образом, чтобы после их стрижки получались красочные узоры с неповторимой гаммой, какую нельзя создать ни кистью художника, ни подбором разноцветных камней, раковин, тканей либо стекол. И все это виделось когда-то из дворца как на ладони.

До наших дней таится в партере Кускова одно совершенно исключительное качество, особый секрет талантливого паркостроителя. Весь этот участок регулярного сада воспринимается как абсолютно ровная плоскость, но однажды ранней весной я заметил, что от оранжереи к дворцу живо бегут ручьи, подбавляя, должно быть, влаги его дубовым устоям. От дворца же просторный этот партер смотрится будто нотный лист на пюпитре. Дело в том, что творец парка дал небольшой уклон всей плоскости партера, искусно замаскировав свой секрет окружающими посадками. Особенно хорош партер в солнечный день, когда он расстилается перед тобой разноцветным радостным виденьем...

5

Все в Кускове, а также в Останкине, Астафьеве и некоторых других усадьбах принадлежало когда-то роду Шереметевых по его графской линии. Часто посещая дворец и парк, снова и снова восхищаясь ими, я не ощущал никакого почтения к этому роду, ублажавшему себя изысканной роскошью за счет несчастий наших пращуров, но в душе был доволен таким стечением давних обстоятельств, которое позволило Шереметевым не промотать свои богатства в Парижах, а выявить с их помощью талант русского человека, сконцентрировать его в архитектурном, изобразительном, садово-парковом искусстве и сохранить для потомков. Живо представлял себе, как крепостной Алексей Миронов приезжает сюда, в кусковские просторы, вышагивает версты по сырому мелколесью и кочкаринку, мучительно размышляя, каким манером отойти на этой скучной равнине от модной французской планировки, сочетать свое, неповторимое с русскою натурой, чтоб все тут беззвучно заговорило.

Вот крепостной Федор Аргунов, построив петербургский дом Шереметева на Фонтанке и разбив возле него тесные садовые

павильоны, садится в Кускове за чертежи. Оранжереи, «зверинца», Голландского домика... А вот сын его, крепостной Иван Аргунов, пишет маслом портреты Шереметевых, Голицыных, самой Екатерины II, с такой виртуозной тщательностью прорабатывая тончайшей колонковой кистью кружева и складки платья, что они становятся демонстрацией изысканного артистизма художника, и много позже, будучи уже седым, по-прежнему несвободным, простыми живописными средствами создает «Девушку в кокошнике», пробуждая интерес к человеку, а не к его убору. Вот сын Ивана, крепостной Павел Аргунов, ставит для своего господина в Останкине — и тоже на дубовых сваях — изящный деревянный дворец-театр и оранжерею в саду. И только брат Павла живописец-классицист Николай Аргунов стал свободным, потому что крепостного нельзя было избрать в академию художеств... Виделось, как месяцами ползают по полу в войлочных наколенниках безымянные рабы-мастера с миниатюрными фуганками и мелкозернистыми брусочками в руках, набирая по аргуновским чертежам сложнейшие узоры и меряя плашки дорогого черного дерева дробненькими *линиями*, коих содержалось десять в русском дюйме, и едва видными *точками*, коих было десять в линии...

Ну а Шереметевы-то, кто они такие? В старой России, среди самых богатых родов выделялись три семейства, обладающих неисчислимыми сокровищами,— Шереметевы, Строгановы и Демидовы. Об истинных размерах этих богатств можно, не боясь преувеличений, строить самые смелые предположения — достаточно сказать, что Прокофий Демидов, например, во время первой турецкой войны ссудил правительству круглым счетом четыре миллиона рублей!

Заводчики Демидовы повелись от тульских кузнецов, «именитые люди» Строгановы — от солеваров и купцов, а Шереметевы после рюриковичей считались чуть ли не самыми родовитыми в России: у них с царской династией Романовых со времен Дмитрия Донского значились общие предки — московские бояре Андрей Кобыла и сын его Федор Кошка. К этому старинному роду принадлежал выдающийся русский полководец и дипломат генерал-фельдмаршал Борис Петрович Шереметев. Он участвовал в Азовском походе 1695 года, в Нарвском сражении 1700 года, командовал русскими войсками и победил у Эрестфера в 1701-м и Гумельсгофа в 1702 году, позже брал Нотенбург и Дерпт, стоял против Карла XII под Полтавой, вел русские армии в Прутский поход 1711 года, командовал корпусом в Померании и Мекленбурге в 1717 году. За немалые заслуги перед отечеством Петр I пожаловал ему первый в России графский титул.

А что же представляли собою как личности те Шереметевы, при которых создавались Кусково и Останкино? Лучше всего, пожалуй, об этом скажет их современник. В студенческие годы прочитал я двухтомный труд с «ятями» и «ерами» — дневники одного одаренного молодого человека, крепостного Шереметевых,

который неуемной страстью к чтению и ранним развитием обратил на себя внимание петербургских покровителей.

Вспоминая прошлое, автор пишет: «Тогдашний граф Шереметев, Николай Петрович, жил блистательно и пышно, как истый вельможа века Екатерины II. Он к этому только и был способен... Между своими многочисленными вассалами он слыл за избалованного и своенравного деспота, не злого от природы, но глубоко испорченного счастьем. Утопая в роскоши, он не знал другого закона, кроме прихоти. Пресыщение, наконец, довело его до того, что он опротивел самому себе и сделался таким же бременем для себя, каким был для других. В его громадных богатствах не было предмета, который доставлял бы ему удовольствие. Все возбуждало в нем одно отвращение: драгоценные яства, напитки, произведения искусств, угодливость бесчисленных холопов, спешивших предупреждать его желания — если таковые у него еще появлялись. В заключение природа отказала ему в последнем благе, за которое он, как сам говорил, не пожалел бы миллионов, ни даже половины всего своего состояния: она лишила его сна».

В последнем слове этой цитаты — опечатка, корректорская «глазная» ошибка издания 1905 года. Следует читать: «она лишила его *сына*». Это было необходимо отметить, потому что о сыне Шереметева нам придется вспомнить, а также коснуться попутно еще одной ошибки мемуариста, которую я обнаружил недавно и считаю своим долгом восстановить истину, касающуюся довольно заметной личности в истории отечественной культуры.

Отец автора вышеприведенных строк подростком пел в капелле Останкинского дворца-театра, был известен самому графу, ему оказывал свое внимание «знаменитый и несчастный» Дегтяревский, «угасший среди глубоких, никем не понятых и никем не разделенных страданий. Это была одна из жертв того ужасного положения вещей на земле, когда высокие дары и преимущества духа выпадают на долю человека только как бы в посмеяние и на позор ему. Дегтяревского погубили талант и рабство». Необыкновенно талантливый музыкант, композитор, как говорится, волей божьей, он учился в Италии, где его музыка заслужила «...почетную известность. Но, возвратясь в отечество, он нашел сурового деспота, который, по ревизскому праву на душу гениального человека, захотел присвоить себе безусловно и вдохновения ея: он наложил на него железную руку». Композитор «жаждал, просил только свободы, но, не получая ее, стал в вине искать забвения страданий», он «подвергался унизительным наказаниям, снова пил и, наконец, умер, сочиняя трогательные молитвы для хора»...

Какие все же страшные времена довелось пережить русскому народу! «Людей можно было продавать и покупать оптом и в раздробицу, семьями и поодиночке, как быков и баранов,— пишет автор.— Не только дворяне торговали людьми, но и мещане, и зажиточные мужики, записывая крепостных на имя какого-нибудь чиновника или барина, своего патрона».

Но кто такой Дегтяревский, чья трагическая судьба тоненькой паутинкой вдруг вплелась в мое повествование? Если он был действительно гениальным композитором, то какой вклад сделал в культурный багаж? Когда на прогулке по Кускову я сказал о Дегтяревском московскому ландшафтному архитектору Михаилу Петровичу Коржеву, то он, человек очень эрудированный и памятливый, признался:

— Нет, не помню! А я с юности, знаете, увлекаюсь старой русской музыкой. Мой отец — землеустроитель, работавший в свое время на изысканиях Московской окружной и многих южных железных дорог, даже в консерваторию меня пытался определить... Постойте, а не путает ли наш мемуарист? Однажды меня приглашали в Останкинский музей, где в прежней обстановке для особых знатоков и ценителей исполнялся бесподобный «Орфей» русского композитора восемнадцатого века Фомина. Эта вещь полна трагических страстей, музыканты извлекали из старинных инструментов такое!.. А хор, хор! Тенора!

Истинному любителю, Коржеву не хватало слов для выражения своих впечатлений:

— Нет, это, знаете, надо слышать!.. Так вот, не Фомина ли имеет в виду ваш мемуарист? Фомин был солдатским сыном, учился в Италии...

Нет, как я выяснил, не Фомин. Автор «Орфея» Евстигней Фомин родился и работал в Петербурге, никакого отношения к театрам Шереметевых не имел. Действительная ошибка мемуариста заключалась в том, что фамилия крепостного композитора Шереметевых была не Дегтяревский, а Дегтярев, вернее — по-старинному написанию — Дехтерев. Он был певцом и «учителем концертов» у Шереметевых, выступал в Зеленом театре Кускова и на сцене Останкинского театра, писал духовные музыкальные сочинения, но главная его заслуга перед отечественной музыкой состоит в другом — Степан Дехтерев стал основоположником русской оратории и первым нашим композитором, создавшим фундаментальные и яркие патриотические произведения. Его торжественную ораторию «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы» исполняли симфонический и духовой оркестры, солисты и три хора! Ноты ораторий — «Бегство Наполеона», «Торжество России и истребление врагов ее» и других до сего дня не найдены...

Ошибаясь в частностях, но скрупулезно точный во всем, чему позже сам был свидетелем, воспоминатель этот в символической фигуре Дегтяревского выразил общую правду, как выражают ее адские муки фоминского Орфея, трагические судьбы героев герценовской «Сороки-воровки» и лесковского «Тупейного художника». За всем этим стояла непридуманная реальность, что была подчас трагичнее любой легенды. Русское театральное искусство, глубоко человечное и душевное, зарождалось в жутких, бесчеловечных условиях. Актеры спивались, погибали под кнутами на конюшне и в солдатчине. В то время, которое мы вспомнили сей-

час, многие помещичьи театры представляли собою не что иное, как гаремы не только для хозяина, но и для его гостей. Факты далекого прошлого протокольно свидетельствуют, как владелец театра, присутствовавший на репетиции, выскакивал на сцену и за малейшую оплошность зверски избивал царя Эдипа, укреплял на шее Гамлета железную рогатку, посылал менять скотине подстилку в коровник Офелию, гордо отказавшуюся стать подстилкой для скота в человеческом образе. Крепостных актеров меняли на породистых собак, проигрывали в карты, продавали «оптом и в раздробицу». Этим гнусным делом занималось даже государство. Для первого петербургского казенного театра у кого-то из Столыпиных была закуплена вся театральная труппа и два десятка музыкантов. У князя Демидова в Богородском уезде казна приобрела актера Степана Мочалова, отца будущего знаменитого трагика, генерал Загряжский из Тамбовской губернии продал театр танцоров Петра Велеусова и Марка Баркова, а также дочь его «дансерку» Аграфену. Некоторые душевладельцы «благородно» дарили артистов. Графиня Головкина, скажем, подарила трех балерин — Степаниду Устинову и двух Варвар, Колпакову и Герасимову, с пометкой в документе: «все три девки». Только вспомнить, что и сам великий Щепкин был крепостным, что знаменитый трагик Каратыгин был посажен в крепость за то лишь, что не заметил проходившего мимо директора театра и не встал для приветствия; только подумать, что все это, в сущности, было сравнительно недавно!

И совершенно необыкновенная судьба одной крепостной актрисы Шереметевых предстала передо мной в Кускове. Об этой судьбе непременно напоминают сейчас каждому посетителю Кусковского или Останкинского музеев, будут рассказывать нашим детям и внукам, и мне хотелось бы здесь уточнить из ее скорбной и романтической истории некоторые подробности, что затушевываются со временем, невольно искажаются, как искажались они еще сто лет назад и даже при жизни легендарной актрисы.

Мемуарист, как вы помните, сообщает, что природа лишила графа Шереметева наследника. И далее: «За пять или за шесть лет до смерти он пристрастился к одной девушке, актрисе собственного домашнего театра, которая, хотя и не отличалась особенною красотою, однако была так умна, что успела заставить его на себе жениться. Говорят, что она была также очень добра и одна могла успокаивать и укрощать жалкого безумца, который считался властелином многих тысяч душ, но не умел справляться с самим собой. По смерти жены он, кажется, окончательно помешался, никуда больше не выезжал и не видался ни с кем из знакомых. После него остался один малолетний сын, граф Дмитрий».

Ещу одну ошибку обнаружил я тут у автора, и о ней не стоило бы говорить, если б она не заставила меня заинтересоваться личностью актри-

сы, заполняющей одну из первых страничек в истории нашего театрального искусства. Как я выяснил, Николай Шереметев «пристрастился» к своей крепостной актрисе не за «пять или шесть лет до смерти», а за двадцать лет до женитьбы. И в молодости, и в зрелых годах внук знаменитого петровского фельдмаршала считался первым женихом России. Екатерина II возжелала даже выдать за него свою внучку Александру, когда у той расстроился брак с королем Швеции. Однако спесивые родители отвергли предложение императрицы, а сам жених еще много лет не хотел и слышать ни о каких родовитых и богатых невестах — одно существо на свете интересовало его и влекло к себе.

В детстве Параска была обыкновенной босоногой девчонкой и, должно быть, на всю жизнь запомнила окружавшую ее грязь, невежество, черную отцовскую кузню и запах жженых лошадиных копыт — Иван Горбунов, или Ковалев, был крепостным кузнецом Шереметевых, жил вначале во Владимирской губернии, потом вблизи Кускова, свою фамилию получил, наверное, по профессии, и когда в 1758 году родилась у него дочь, он, конечно, не думал не гадал, что ждет ее особая судьба; она еще четырежды сменит свою «родовую» фамилию, станет первой знаменитой артисткой России, а умрет графиней...

Не раз я рассматривал сохранившиеся изображения Прасковьи Ивановны Ковалевой, гравюры, сделанные по портретам отечественных и заграничных мастеров. Вот необыкновенная по своему реализму работа маслом Николая Аргунова — Прасковья Ивановна в домашнем халате, беременная, с заострившимся лицом и потаенным счастьем материнства во взгляде. Вот гравюра — те же несколько неправильные, резковатые черты, декольте, короткая артистическая прическа с металлической опояской надо лбом, и опять глаза, в которых таится бездонная грусть.

Мы не можем себе представить, как играла и пела юная Параша, вышедшая на сцену Кусковского театра под фамилией Жемчуговой, но знаем, что она блистала в первых ролях на подмостках всех четырех шереметевских театров, и сохранились жалобы администрации московского казенного театра на нехватку зрителей, уезжавших вечерами к Шереметеву.

Знаем, что Параша Жемчугова, обладая самородным талантом, отменным музыкальным слухом и голосом, владела итальянским и французским языками. Несомненно, это была воистину артистическая натура, глубоко переживавшая и сценическую, и обыденную свою жизнь, зависть, сплетни, презрение высокородных гостей, безысходную любовь. Всю жизнь ее точила неизлечимая по тем временам болезнь, и однажды, поднявшись после очередного обострения чахотки, артистка попросила вырезать ей печатку с надписью, полной покорного страдания и мольбы: «Наказуя, накажи меня, Господь, смерти же не предаде» Граф попытался связать ее происхождение с родовитой польской фамилией Ковалевских,

но это ничего не изменило, и однажды высший свет с ужасом прослышал, что завиднейший жених империи тайно обвенчался со своей крепостной актеркой, которой к тому же шел уже тридцать четвертый год. Скоро брак стал явным, и царю Александру I ничего не оставалось, как только признать его. В 1803 году у супругов родился наследник, а графиня Прасковья Шереметева истаяла в чахотке спустя три недели после родов и была похоронена в родовой усыпальнице Шереметевых в Александро-Невской лавре...

Современники вспоминали также, что она, не забывая о своем происхождении, чем могла, помогала бедному люду: «...никогда злато ее не оставалось в сокровенности, щедрая рука ее простиралась всегда к бедности и нищете...» И недаром, верно, среди московского простонародья на долгие годы сохранились легенды и песни о графине-крестьянке. Одну такую песню, называемую «Шереметевской», можно было услышать в исполнении дореволюционных ресторанных хоров. Начиналась она сольным голосом:

Вечор поздно из лесочка
Я коров домой гнала.
Лишь спустилась к ручеечку
Близ зеленого лужка —
Вижу, барин едет с поля.
Две собачки впереди,
Два лакея позади...

Так в городском фольклоре рисовалась первая встреча графа с Парашей Ковалевой, которой, кстати, некоторые исследователи приписывают слова этой песни. А древние старухи в районе Кускова даже в наши дни могут припомнить народную старинную песню, что заканчивается словами:

У Успенского собора
В большой колокол звонят,
Нашу милую Парашу
Венчать с барином хотят.

Давным-давно стерся в памяти москвичей знатнейший и богатейший Н. П. Шереметев, названный позже в народном творчестве просто «барином». После смерти жены он построил в Москве странноприимный дом для неимущих, отказал деньги для выдачи приданого беднейшим московским невестам и уехал в Петербург, где затворнически, но в привычной роскоши прожил еще несколько лет, чтобы успокоиться рядом со своей супругой в Лазаревской церкви Лавры. Написал в завещании малолетнему сыну: «Помни — житие человека кратко, весь блеск мира сего исчезнет неминуемо». Забыт Шереметев с его пышной и бесполезной жизнью, осталась в памяти народа дочь кузнеца Параша Ковалева с ее необычной судьбой, живет в истории нашего искусства актриса Прасковья Ивановна Жемчугова.

Малолетнего графа Дмитрия Шереметева взяла под опеку вдовствующая императрица Мария Федоровна. Шли годы, граф

подрос, стал офицером Кавалергардского полка, и к тому времени появился в Петербурге крепостной воронежский паренек, удививший всех своей правильной, культурной речью и начитанностью. Он задумал поступить в университет, но для этого нужна была свобода. Граф, за несколько лет до этого согласившийся дать вольную живописцу Николаю Аргунову, избранному вскоре академиком Петербургской академии художеств, решительно отказал новому просителю.

В «Дневнике» есть краткая характеристика Дмитрия Шереметева: «Он не знал самого простого чувства приличия, которое у людей образованных и в его положении иногда с успехом заменяют более прочные качества ума и сердца. Его много и хорошо учили, но он ничему не научился. Говорили, что он добр. На самом деле он был ни добр, ни зол: он был ничто и находился в руках своих слуг да еще товарищей, офицеров кавалерийского полка, в котором служил». Отметив апатичность и мотовство графа и зная его неспособность принять какое-либо решение, крепостной юноша обратился за содействием к дяде молодого вельможи генералу Шереметеву. Тот надумал составить ему «наилучшую фортуну» — учиться-де не надо более и практичнее пойти к молодому графу в секретари. Тогда юноша этот, обладавший, очевидно, смелостью и упорством, проник к князю Голицыну, недавнему министру духовных дел и народного просвещения, переживавшему опалу,— он был только что назначен главноуправляющим почтовым департаментом, хотя и сохранял часть своего прежнего влияния и все еще жил в загородной императорской резиденции.

6

Следы Голицыных не раз встречались мне, когда я стал приглядываться к Москве и узнавать ее окрестности. Когда-то Голицыны владели Архангельским до князя Юсупова, Матвей Каза-

ков построил так иазываемую «Голицыискую больницу», стаиция Голицыно значится иа карте Подмосковья. Всплыла эта фамилия н в Кускове, вернее, по соседству с ннм, н тут же заслонилась чередою других нмеи, без которых иельзя себе представнть нашей нстории — Петр Первый, Суворов и Леини, лнтературы — Жуковский, Толстой и Достоевскнй, живописи — Нестеров, Сурнков и Серов, архитектуры — Казаков, Вороиихии н Жилярди...

Прнметиое это место располагается в нескольких верстах иа юго-восток от Кускова, но слегка уже холмнтся, и по иему иехотя текут речушки. Петр I, умевшнй вознаграждать заслуги, в 1702 году отбнрает здешнне лесиые угодья у Симоиова монастыря н передает нх навечно Александру Строгаиову и его роду за щедрую помощь в осиащенин армнн н флота. Не раз Петр потом сюда приезжал, а спустя двадцать лет, когда в обнхоженной уже усадьбе стояла н церковь, и барскне покон, и специальио построеиный для царя дом, он отдыхал у Строганова после победоносной турецкой кампанни, ждал здесь свою армню, чтобы трнумфальиым маршем войти с иею в праздннчную колокольную Москву.

В середние XVIII века усадьба с прилегающей местиостью в качестве придаиого дочери Строганова переходит во владеиия князей Голицыиых и за иею устаиавливается сегодияшиее назваиие «Кузьмники».

Полтораста лет плаииировалнсь и строились, переплаиировалнсь н перестранвались Кузьмннкн — уникальиый нсторический памятиик русского зодчества н ландшафтиой архнтектуры. Парк, иеразделимо смыкавшнйся с лесопарком н дальнними лесами, парадный двор, пруды, каналы, балюстрады, манеж, ораижерея, вольеры, мосты, десятки построек усадьбы иеприметио нзменялись со временем. Пережили Кузьмннкн н несколько решительиых перестроек. Вместо деревяиных сооруженнй возводилнсь каменные. Пасторальиые парковые виды, дерновые скамьи, канапе и гнпсовые скульптуры древиегреческнх богов сменялнсь чугуиными львами, решетками, триумфальными арками, обелнсками, литымн тумбами и скамейками — это был своего рода модерн иачала XIX века. А после фраицузского иашествня былн восстановлеиы и перестроены все мосты, прнстаии, вновь возведен разрушеииый до фуидамеита «Коииый двор», обелиск на въезде, верхияя часть храма...

Ни людская память, ни документы ие сохраинли имеин первого планнровщнка будущего велнколепиого ансамбля, но его нзначальный замысел, в основе которого лежали пейзажиый композиционный прннцнп н свободиая асснметричиость, тактично включавший в естественную прнродиую среду разнообразиые нскусственные древесные насаждеиия, соблюдалн миогне поколення архнтекторов, работавшие здесь. Зиатокн русской старнны, замечательное, с каждым годом растущее племя любнтелей н почитателей ее могут меия упрекиуть в том, что я всуе упомяиул выше

имя Казакова применительно к Кузьминкам. Да, Матвей Казаков ничего не возводил и не планировал в Кузьминках. Я имею в виду Родиона Казакова. Он построил в Москве колокольню Андронникова монастыря, церковь Мартина Исповедника на Таганке и вместе с архитектором Иваном Еготовым, сыном слесаря и любимым учеником Матвея Казакова, автором замечательного по своей классической завершенности госпиталя в Лефортове и ряда кремлевских сооружений, многие годы трудился в Кузьминках. Эти-то два мастера и написали на рубеже XVIII и XIX веков заглавную строку в архитектурную летопись Кузьминок.

Назвал я Жилярди, а их в Кузьминках работало двое — Дементий, восстановивший после пожара 1812 года Московский университет, и его двоюродный брат Александр, которых такие дилетанты, как и я, не должны путать с Иваном (Джованни Баттиста) Жилярди, отцом Дементия, построившим множество московских зданий в стиле русского классицизма, и в их числе Екатерининский институт — ныне Дом Советской Армии. Немало творческих сил отдал Кузьминкам знаменитый Андрей Воронихин, в молодости строгановский крепостной, а позже академик перспективной живописи и профессор архитектуры, построивший Казанский собор в Петербурге. Он стал родственником Голицыных, владельцев усадьбы, и под его руководством прошли здесь большие архитектурные и ландшафтные работы.

Кузьминки давно уже сделались особой реликвией нашего народа. В стране нет другого такого места, к которому бы столько известных мастеров приложили свои разнообразные таланты. Архивные документы свидетельствуют, что за первые сто пятьдесят лет существования усадьбы здесь работали, кроме упомянутых, Иван Жеребцов, Василий Баженов и Михаил Быковский, Витали, Клодт и Лунджи де Педри, крепостные архитекторы Голицыных — Павел Бушуев, Савва Овчинников и Артемий Корчагин, живописцы Фыров и Наумов, замечательный лепщик Лука, чью фамилию время не сохранило. Оно в союзе с людским небрежением не сохранило также много из того, что было когда-то в Кузьминках, и лишь прекрасные гравюры художника Рауха доносят до нас чарующие виды вековой давности...

В дальних, частых и трудных моих поездках по стране Кусково и Кузьминки вспоминались вожделенными уголками, где я всегда мог отдохнуть, забыться и даже написать что-нибудь вдали от редакционной суматохи, нежилого быта гостиниц и общежитского ералаша.

Под влиянием впечатлений от поездок в Сибирь, на Крайний Север и Украину у меня сложилась первая книжка, за ней вторая, третья, четвертая, и С. П. Щипачев, тогдашний секретарь Московской писательской организации, из сибиряков, однажды пригласил меня к себе и предложил вступить в Союз писателей.

В союз я был принят за книги о моих современниках, но ред-

кие часы досуга отдавал любительскому интересу — коллекционировал издания «Слова о полку Игореве», заглядывал при случае в старые парки и старые книги...

Одаренный шереметевский крепостной, обратившийся в поисках свободы к влиятельному князю Голицыну, пишет о себе, появившемся в Царском Селе, «среди лабиринта липовых и дубовых аллей»: «Бледный, худой, одетый острогожским портным, я был похож на захудалого семинариста, а никак не на отважного борца за собственную честь и независимость».

Его сиятельство, расспросив посетителя, «как он мог такой еще молодой и без всяких средств приобрести уже столько познаний и выработать себе литературный язык», поддержал его стремление и сказал: «Наш век полон тревог и волнений, и мы все должны, по мере сил, содействовать благим результатам. Для этого необходимы люди даровитые и просвещенные. Вы должны присоединиться к ним, но не прежде, как созрев в мысли и в знании...»

Князь написал молодому Шереметеву и даже ездил к нему с этим делом, но тот оказался неслыханным крохобором — ни в какую не соглашался отпустить на волю одного из сотен тысяч своих крепостных!

Любознательный Читатель. Неужто это правда — сотни тысяч?

— Да. Такого количества крепостных, возможно, не имело ни одно частное лицо за всю историю крепостничества! Вообще о богатствах Шереметевых стоило бы кратко сказать в назидание потомкам, чтоб они не забывали о почти невероятных социальных контрастах старой России и получше поняли героизм и жертвенность поборников ее свободы, начиная с декабристов.

Перед реформой 1861 года в собственности Шереметевых числилось восемьсот тысяч десятин земли, триста тысяч душ крепостных, иваново-вознесенские мануфактуры, павловские мастерские железных изделий, богатейшие дворцы и поместья, множество художественных и других ценностей, а после реформы, когда многие дворянские роды беднели и разорялись, доходы Шереметевых даже возросли и составили в 1870 году почти семьсот пятьдесят тысяч рублей дорогими тогдашними деньгами — грабарь на постройке железной дороги зарабатывал полтину в день!

Род Шереметевых был очень разветвленным, как и род Голицыных, которых известная дореволюционная энциклопедия Брокгауза и Ефрона перечислила в двадцати двух персоналиях! Еще больше Голицыных числится в пушкинском окружении, однако я не стану разбирать, кто из них и когда владел, скажем, Архангельским или Кузьминками, занимал те или иные государственные или военные посты, но о княгине Наталье Петровне

Голицыной стоит вспомнить хотя бы потому, что это, бесспорно, она послужила прототипом старой графини в «Пиковой даме».

Вспоминаю дневниковую страничку Пушкина от 7 апреля 1834 года, где между важной записью о закрытии «Телеграфа» Полевого, о реакции на это событие Жуковского, самого Пушкина и не менее интересной заключительной строкой: «Гоголь, по моему совету, начал историю русской критики» значится: «*Моя Пиковая дама* в моде.— Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и кн. Натальей Петровной и, кажется, не сердятся...» Многие исследователи предполагают также, что ее же имел в виду и А. С. Грибоедов в заключительных словах «Горя от ума»: «Ах! Боже мой! Что станет говорить княгиня Марья Алексевна!»

Родилась она в 1741 году и, значит, к началу XIX века была уже если не старухой, то очень пожилой женщиной. Происходила из графского рода Чернышевых и бесконечно гордилась своей знатностью, приучая потомков никого не ставить выше Чернышевых или Голицыных, и когда однажды взялась рассказывать своей малолетней внучке о деяниях Иисуса Христа, то девочка наивно спросила, не из рода ли Голицыных был Христос...

Как и пушкинская героиня, бывала в парижском свете и в пору своей молодости, и позже, с дочерьми. Прозвище графини la Vénus moscovite (московская Венера) у Пушкина возникло не случайно. «Венерой» парижане времен Людовика XVI и Марии Антуанетты окрестили старшую дочь графини Чернышевой Екатерину, которая, как написано в одном старинном мемуарном сочинении, была «очень хороша собою, но имела черты резкие и выражение лица довольно суровое», за что придворные французы и прозвали ее «Vénus en courroux», то есть «Венерой разгневанной»... Мать же ее носила другую кличку: «La princesse moustache» — «Усатая княгиня», которая была хорошо известна и в России. Сохранилось письмо друга Пушкина поэта П. Вяземского (1833 г.), в котором он сообщает, что сын ее носит траур по умершей теще, а старуха «*и в ус не дует*». Сквозь шутливый этот каламбур мы видим и серьезное — ледяной старческий эгоизм, так точно схваченный Пушкиным в разговоре графини с Томским...

И еще несколько слов о графине Чернышевой — княгине Голицыной, ибо мадам эта многими особенностями своего облика живо характеризует давным-давно канувшую в Лету эпоху русской жизни, мудрым свидетелем и беспристрастным ироническим судией которой был наш национальный светоч. Бегло косиусь тех черт этой исключительной в своем роде женщины, которые не входили в круг творческих интересов Пушкина.

Как и пушкинская героиня, княгиня Н. П. Голицына была величаво-надменна, властна, пользовалась всеобщим почтением в

обеих столицах, непререкаемым авторитетом, весьма далеким от авторитета ординарной великосветской кумушки. И в грибоедовскую, ставшую крылатой фразу «Что станет говорить княгиня Марья Алексевна!» вложено куда больше серьезности, чем это нам представляется издалека. «Все знатные вельможи и их жены,— читаю в старых забытых мемуарах,— оказывали ей особое уважение и высоко ценили малейшее ея внимание». Московский поэт Василий Львович Пушкин даже посвятил ей в 1819 году панегирические стихи, правда довольно заурядные, однако ясно выражавшие отношение высшего общества к этой престарелой, но влиятельной даме:

В кругу детей ты счастие вкушаешь;
Любовь твоя нам счастие дарит;
Присутствием своим ты восхищаешь,
Оно везде веселие родит.
Повелевай ты нашими судьбами!
Мы все твои, тобою мы живем
И нежну мать, любимую сердцами,
В день радостный с восторгом мы поем.
Да дни твои к отраде всех продлятся!..

Но в чем, однако, корни такого почти идолопоклонства? Отчего «весь Петербург» и «вся Москва» почитали за честь быть приглашенными в дом княгини Голицыной, а в день тезоименитства ее навещала сама императрица? Нет, она была не только живым памятником екатерининской эпохи, хранительницей давних традиций, но и политическим символом, и расчетливой деятельницей в окружающем трон обществе. Она своими глазами увидела начало великой французской революции, быстрый крах олигархического государства, которое совсем недавно казалось таким незыблемым, увидела уничтожение народом французского аристократического слоя и, со страхом почувствовав, очевидно, ход истории, сделалась в России своего рода идейным консерваитом привычного порядка вещей. Своеобразно, высокопарно и зло, но довольно точно пишется об этом в старом исследовании: «Сия знаменитая дама схватила священный огонь, угасающий во Франции, и возжгла его у нас на севере. Сотни светского и духовного звания эмигрантов способствовали ей распространить свет его в нашей столице. Составилась компания на акциях, куда вносимы были титулы, богатства, кредит при Дворе, знание французского языка, а еще более незнание русского. Присвоив себе важные привилегии, компания сия назвалась высшим обществом и правила французской аристократии начала прилаживать к русским нравам... Екатерина благоприятствовала сему обществу, видя в нем один из оплотов престола против вольнодумства, а Павел I даже покровительствовал его...» И далее о нашей героине: «не совсем было трудно усастой княгине Голицыной, с умом, с твердым характером, без всяких женских слабостей, сде-

латься законодательницей и составить нечто похожее на аристократию западных государств».

Вот она, оказывается, какая была, настоящая-то «пиковая дама»!

Остается добавить только, что подлинная графиня-княгиня пережила Пушкина, умерев в возрасте девяноста семи с половиною лет, почти через год после трагической смерти поэта, погибшего от пули заезжего мусью, которого вела злая и подлая рука. И, быть может, высшая, не поддающаяся прямому литературоведческому анализу прозорливая гениальность Пушкина проявилась в символическом финале замечательной его повести — карты графини побивают, а Германн, вверившийся им свою судьбу, сходит с ума. Наверное, графиня Чернышева — княгиня Голицына, «фрейлина при пяти императрицах», могла бы стать прототипом главной героини большого социального романа, если б он в те времена был возможен в русской литературе...

Вернемся к судьбе и запискам шереметевского крепостного юноши, которому баснословно богатый граф-сквалыга никак не соглашался дать волю. «Слухи о моих превратностях проникли в великосветские салоны. Мною заинтересовались дамы высшего круга. Одна из них, графиня Чернышева, даже взялась лично атаковать за меня графа. Узнав о его колебаниях, она прибегла к следующей уловке. У ней в доме было большое собрание. В числе гостей находился и молодой граф Шереметев. Графиня Чернышева подошла к нему, с приветливой улыбкой подала руку и во всеуслышанье сказала:

— Мне известно, граф, что вы недавно сделали доброе дело, перед которым бледнеют все другие добрые дела ваши. У вас оказался человек с выдающимися дарованиями, который много обещает впереди, и вы дали ему свободу. Считаю величайшим для себя удовольствием благодарить вас за это. Подарить полезного члена обществу — значит многих осчастливить.

Граф растерялся, расшаркался и пробормотал в ответ, что рад всякому случаю доставить ее сиятельству удовольствие».

Объявилась также решительная поддержка с другой, совершенно нежданной стороны — Кондратий Рылеев! «Редкий по уму и сердцу человек, который в то время управлял канцелярией нашей американской торговой компании». Признаться, я не могу припомнить в художественной, исторической и мемуарной литературе более яркой характеристики Рылеева, чем эта: «Я не знавал другого человека, который бы обладал такой притягательной силой, как Рылеев. Среднего роста, хорошо сложенный, с умным, серьезным лицом, он с первого взгляда вселял в вас как бы предчувствие того обаяния, которому вы неизбежно должны были подчиниться при более близком знакомстве. Стоило улыбке озарить его лицо, а вам самим поглубже заглянуть в его удивительные глаза, чтобы всем сердцем безвозвратно отдаться ему. В ми-

нуты сильного волнения или поэтического возбуждения глаза эти горели и точно искрились. Становилось жутко: столько в них было сосредоточенной силы и огня».

Помнится, я читал и перечитывал эти строки, пытаясь найти в них отгадку некоей тайны, волнующей меня в личности Рылеева с юности. Вы, конечно, знаете могучую, торжественно-хорального звучания, народную песню о Ермаке: «Ревела буря, гром гремел, во мраке молнии блистали»? Запевные слова ее воистину громоподобно грохочут; в низких тонах — стихийная сила природы, в эпически-простых звуках и картинах всей песни — величие и мощь Сибири, историзм события, монументальная фигура Ермака. Народ нашел мелодию, сгармонизировал ее со словами, и песня звучит как один раскатный басовый аккорд. Почему Рылеев стал первым русским художником, поэтически воспринявшим Сибирь? Откуда взялись у него эти слова, и отчего не нашлось их у Державина или Жуковского, у Пушкина или у Лермонтова? И как верно взят тон! Какая слитность текста и музыки! Поразительное чутье прошлого и предвидение будущего... «Ермак», по сути, стал первой русской песней, в которой осуществилось замечательное единение эстетического идеала художника и народа, потому-то она и живет до сего дня в народной памяти. Познакомившись в «Дневнике» со словесным портретом Рылеева, я, кажется, понял, откуда он брал слова о Сибири и Ермаке — из полета мысли через необъятные времена и пространства, из той «сосредоточенной силы и огня», что породила «Войнаровского» и подвигнула автора к декабрю 1825 года...

Кстати, автору «Записок и Дневника» посчастливилось в те дни услышать «Войнаровского» в исполнении самого Рылеева. При сем присутствовал также, «слушал и восхищался офицер в простом армейском мундире». Это был Евгений Баратынский, уже известный своими прекрасными элегиями русский поэт. Рылеев принял горячее участие в судьбе одаренного шереметевского крепостного, пообещал ему всяческую помощь, поселил в его душу надежду, без какой человек не может на земле. Вооружившись автобиографией юноши и образцом его сочинения, он произвел сенсацию «в кружке кавалергардских офицеров, товарищей молодого графа Шереметева...

Они составили настоящий заговор в мою пользу и предложили сделать коллективное представление обо мне графу Шереметеву. Всех энергичнее действовали два офицера, Александр Михайлович Муравьев и князь Евгений Петрович Оболенский. Неожиданный натиск смутил графа. Он не захотел уронить себя в глазах товарищей и дал слово исполнить их требование».

Любознательный Читатель. Исполнил?

— Нет, продолжал тянуть, и мне вспоминается краткая и беспощадная характеристика молодого графа Шереметева, данная ему Александром Грибоедовым: «Скот, но вельможа и крез»... И если б не Рылеев, Оболенский, Муравьев, не их друзья!..

В числе друзей Кондратия Рылеева и Александра Муравьева, офицеров Кавалергардского полка, были будущие известные декабристы Иван Анненков, Василий Ивашев, Александр Крюков, Петр Свистунов, Захар Чернышев. За год до восстания на Сенатской площади они сообща сделали доброе дело. Из «Дневника»: «Двадцать второго сентября товарищи графа всей гурьбой собрались к нему справлять его именины. Они не преминули воспользоваться и этим случаем, чтобы напомнить ему обо мне. Граф опять дал и на этот раз уже «категорическое и торжественное обещание отказаться от своих прав «на меня». Графская канцелярия наконец оформила юноше вольную и выдала сто рублей на житье в Петербурге, где у него не было никого, кроме добровольных покровителей.

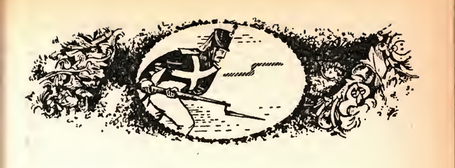
Любознательный Читатель. И какова дальнейшая судьба этого юноши? Кто это был такой? Поступил ли он в университет? Продолжал ли общаться с декабристами? Что пишет в «Дневнике» о 1825 годе? Кем стал?

— Звали его Александром Никитенко. Систематического подготовительного образования не имел, но благодаря хлопотам разных лиц, в том числе и будущих декабристов, был принят в университет без проверочного экзамена с условием сдачи его после первого курса. Спустя десятилетия его дочь писала в «Русской старине»: «Заступники Александра Васильевича перед графом Шереметевым, с Рылеевым во главе, не прерывали с ним сношений и из покровителей скоро превратились в добрых приятелей. Особенно часто видится он с декабристами Рылеевым и князем Евгением Оболенским. Последний, в июле 1825 г., даже пригласил его совсем на жительство к себе, в качестве воспитателя своего младшего брата, тогда присланного к нему из Москвы заканчивать образование».

Свой «Дневник» за 1825 год, документальное свидетельство его близости с декабристами, он уничтожил. Университет закончил в 1828 году, стал профессором, позже академиком словесности. Писал статьи, диссертации, дневники, редактировал «Сын Отечества» и «Журнал Министерства народного просвещения», дважды сидел на гауптвахте за пропуск в печать недозволенного, в частности одного из вольнолюбивых стихотворений Виктора Гюго. Называя себя «умеренным прогрессистом» и будучи цензором, десятилетиями влиял на практику литературного процесса России. Был знаком с Пушкиным, Гоголем, Некрасовым, Чернышевским, Гончаровым, Тургеневым и многими другими. Интереснейший документ эпохи — «Записки и Дневник» — аккуратно писал до самой своей смерти в 1877 году.

Во время нашего путешествия в прошлое мы не раз встретимся с А. В. Никитенко и его великими современниками-писателями, а также с декабристами, в том числе и с теми, кто помог ему обрести свободу.

К декабристам вела меня и особая тропка.



7

Жизнь как-то неприметно и естественно побуждает нас к поступкам, которые ты не думал не гадал совершать. Иногда какая-нибудь обыденная мелочь, мимолетное впечатление, книга, встреча или счастливо найденная мысль получает неожиданное продолжение, развитие и руководит тобой долгие годы.

Расскажу один случай, который в числе других, сходных, подтолкнул меня к *истории*, к тому, что когда-то было на родной моей земле, и вместе с читателем продолжу путешествие в прошлое полуторавековой давности. Но прежде чем начать его, скажу, что я всегда принципиально писал современные вещи, то есть календарно современные,— ведь очень современным может быть и произведение, написанное о далеком и полузабытом прошедшем. Но я писал повести о современных земляках-сибиряках, наделяя их сегодняшним языком, мышлением, восприятием мира, нравственными принципами живущих рядом со мною людей. Четверть века занимался публицистикой, связанной с проблемами охраны природы, в какой-то момент уверившись, что сочинять фразы о сиреневых туманах и лиловых лугах — это все равно что писать о цветочках на платке твоей матери, когда ее бьют палками по голове...

В художественной публицистике, очерках и статьях разбирал я сложные экономические и этнические вопросы рационального использования вод Байкала, русских лесов, писал об эрозии почв, отравлении рек, загрязнении воздушного бассейна, о зеленом убранстве городов и сел, принял практическое участие в интереснейшем хозяйственном эксперименте нашей молодежи — имею в виду так называемый Кедроград, касался в своих книгах некоторых международных аспектов этой безграничной и неизбывной заботы «человек и природа», в которой люди встретят еще так много неизвестного и переменного...

И вдруг история — давняя, состоявшаяся реальность жизни! Нет, никак уж не думал не гадал, хотя к старине тянуло с послевоенных черниговских будней и московских студенческих лет.

И большое путешествие в прошлое стало следствием нескольких случайностей, таинственным образом связанных между собой.

Дело было в 1965 году на сибирском семинаре молодых писателей. В товарищеской атмосфере творческой строгости и человеческой доброжелательности, которая только и плодотворна в литературной жизни, мы во главе с покойным Леонидом Соболевым открыли немало ярких талантов — драматурга Александра Вампилова, трагически потом погибшего в Байкале, Владимира Колыхалова, роман которого «Дикие побеги» полон неповторимого колорита и художественного своеобразия, интересного читинского поэта Ростислава Филиппова, прозаиков Геннадия Машкина, Валентина Распутина, Дмитрия Сергеева, Вячеслава Шугаева, Аскольда Якубовского.

Перед отъездом мы посетили декабристские места, и каждому из нас хозяева подарили на прощанье «Записки княгини М. Н. Волконской», изданные в Чите. В самолете я раскрыл их.

Истинное чудо эти записки! Сдержанно-благородные, исполненные внутреннего драматизма, нравственной чистоты и силы; почти вижу, как Некрасов когда-то рыдал над ними. Неплохо было бы издать их максимальным тиражом да ввести в обязательный круг чтения каждого старшеклассника.

Авиалайнер летел над Сибирью, не отставая от солнца. Внизу расстилались зеленые леса, прорезанные голубыми жилками рек, где-то моя родина проплыла под нами — Мариинск, Тайга или, быть может, болотистое Васюганье и Нарым, если маршрут спрямлялся, а я неотрывно читал «Записки», и меня бросало то в жар, то в холод.

Иркутск, 1826 год, зима. Приезжей всего двадцать один год. Она, княгиня, жена бывшего генерала Волконского и дочь знаменитого генерала Раевского, героя Бородинской битвы, дает в Иркутске подписку, вначале даже отказываясь видеть этот страшный документ, говоря, что подпишет все, не читая, но губернатор настаивает, и вот пункт первый: «Жена, следуя за своим мужем и продолжая с ним супружескую связь, сделается естественно причастной его судьбе и потеряет прежнее звание, то есть будет уже признаваема не иначе, как женою ссыльно-каторжного, и с тем вместе принимает на себя переносить все, что такое состояние может иметь тягостного, ибо даже и *начальство не в состоянии будет защищать ее* (выделено в оригинале.— *В. Ч.*) от ежечасных, могущих быть оскорблений от людей самого развратного, презрительного класса, которые найдут в том как будто некоторое право считать жену государственного преступника, несущую равную с ним участь, себе подобною: оскорбления ими могут быть даже насильственные. Закоренелым злодеям не страшны наказания». Пункт второй: «Дети, которые приживутся в Сибири, поступят в казенные заводские крестьяне». Пункт третий: «Ни денежных сумм, ни вещей многоценных с собой взять не дозволено...»

Встреча с мужем в тюрьме Благодатского рудника. «Сергей бросился ко мне; бряцание его цепей поразило меня: я не знала, что он был в кандалах... Вид его кандалов так воспламенил и растрогал меня, что я бросилась перед ним на колени и поцеловала его кандалы, а потом — его самого». 1829 год, Чита. 1 августа фельдъегерь привозит повеление снять с узников кандалы. «Мы так привыкли к звуку цепей, что я даже с некоторым удовольствием прислушивалась к нему: он меня уведомлял о приближении Сергея при наших встречах». Оказывается, до этого кандалы не снимались с декабристов ни днем, ни ночью; три года в железах... Дальше — известие о смерти сына в Петербурге, эпитафия Пушкина, кончина отца Волконской...

Пушкин, Боратынский, Жуковский, Батюшков, Волконские, Раевские, Анненковы, Фонвизины, Чернышевы, Муравьевы, Трубецкие, Пестель, Рылеев, Пущин, Якубович, Батеньков, Лунин...

Мария Волконская упоминает около ста своих современников, чьи имена прочно вошли в русскую историю и культуру, но мое внимание вдруг привлекло одно эпизодическое место: «...через Читу прошли каторжники; с ними было трое наших ссыльных: Сухинин, барон Соловьев и Мозгалевский. Все трое принадлежали к Черниговскому полку и были товарищами покойного Сергея Муравьева; они прошли пешком весь путь до Сибири вместе с обыкновенными преступниками».

Мозгалевский, Мозгалевский, Мозгалевский... Это имя дважды упоминалось в «Записках», а также в комментариях к ним и в указателе имен и названий. Где я слышал эту довольно редкую фамилию задолго до того, как впервые в жизни попала мне в руки эта маленькая драгоценная книжечка? В каких-то необычных условиях, в счастливом тумане забвения, когда все на свете, прошлое и будущее, кажется таким маловажным по сравнению с тем, что есть сейчас...

Дело было на нашей с Леной свадьбе, когда ее мать надела ей на шею какой-то старинный медальон, а от слов в моей памяти ничего не сохранилось конкретного, кроме смутного и неточного сведения, будто бы она — это тоненькое, совсем потерявшееся существо в белом — потомок одного из декабристов, сосланных в Сибирь. Мало ли что говорится на долгих, многолюдных и шумных свадьбах, и я бы, наверное, совсем забыл про этот разговор, если б в какой-то перевозбужденной тем часом клеточке моего мозга не нашлось молекул, зачем-то задержавших и законсервировавших фамилию того гипотетического предка — Мозгалевский.

И вот через семь лет эта же фамилия мелькнула в «Записках» Марии Волконской! Дома полез в Большую Советскую Энциклопедию. В пятидесяти ее основных томах, одном дополнительном и всех «Ежегодниках» декабрист Мозгалевский не упоминался, хотя где-где, а уж в таком-то солидном научно-справочном издании должно бы назвать по фамилии каждого декаб-

риста, сосланного в Сибирь! Других материалов под рукой не оказалось, кроме «Записок, писем» декабриста Ивана Горбачевского. Книгу эту я купил из-за мизерного ее тиража в три тысячи экземпляров и академической издательской основательности, а вовсе не потому, что имел к декабристам особый интерес; и если б не случай, то, быть может, долго бы не раскрыл это редкое издание — мало ли на наших полках стоит книг, в которые мы десятилетиями не заглядываем? Бегло просмотрев ее, я понял, что посвящена она совсем неизвестной мне декабристской организации — какому-то Обществу соединенных славян, а в «Указателе имен», помещенном в конце книги, нашел три сходные фамилии — Модзалевского, Мозалевского и Мозгалевского. О первом из них, Борисе Львовиче, я кое-что знал: это был, можно сказать, наш современник, филолог и историк, известный пушкинист и декабристовед, один из основателей ленинградского Пушкинского Дома, член-корреспондент Академии наук СССР. С Мозалевским же и Мозгалевским надо было разобраться.

Назавтра меня отвлекли другие дела — пришлось срочно помогать Петру Дмитриевичу Барановскому. Это имя, напомню, я впервые услышал после войны в разрушенном Чернигове, потом там же не раз видел этого человека издалека, но подойти не посмел. И вот спустя много лет, побывав однажды в реставрируемом Крутицком подворье, я познакомился с новым объектом архитектора и им самим — о нем у нас большой разговор далеко впереди. А в тот день мы с Петром Дмитриевичем похлопотали в инспекции ГлавАПУ о сохранении прилегающей к Крутицам слободы и освобождении от арендаторов Приказных палат, где когда-то содержались в заточении Аввакум Петров и Александр Герцен, съездили на объект, а под конец я завез старика домой. Он пригласил меня на чашку чая.

Живет архитектор за стенами Новодевичьего монастыря, в бывших больничных палатах. В комнатах и коридоре сумеречно, даже днем надо зажигать свет. Мы засиделись до вечера. Вспоминали черниговские памятники, особенно охотно Параскеву Пятницу, говорили о Крутицах, восстановлении там парка и о «Слове о полку Игореве» — это особая страсть Барановского, и он давно собирает издания «Слова» и книги о нем. А на соседней большой этажерке я увидел знакомую фамилию вдоль корешка переплета «И. И. Горбачевский» и множество других книг о декабристах.

— Как, вы и декабристами интересуетесь?!

— Нет,— ответил хозяин.— Это жена, Мария Юрьевна. Она историк-декабристовед, работает в Историческом музее, скоро придет. У нее, знаете, удивительная память — она помнит сотни дворянских родов с разветвлениями и переплетениями...

Мария Юрьевна вернулась с работы поздно, мы познакомились, и она словоохотливо включилась в общий разговор об архитектурных памятниках Москвы и Подмосковья, о дворцах, храмах и парках. Помнится, я сказал, что недавно, спустя десять лет, снова побывал в Ярополье, смотрел, как восстанавливаются

усадьбы Гончаровых и Чернышевых. Про кедр в начале пушкинской аллеи вставнл — живет старик и даже плодоиосит! Рассказал и про карликовую липовую рощу, которую пришлось спасать, и о иеточиости в иадгробиой надписн Петра Дорошеико, и о пушкииской ошибке насчет родословиой своей жеиы.

— Мие более известен род нх соседей, Чернышевых н Чернышевых-Кругликовых... Из этого рода, между прочим, графиия Наталья Петровна Чериышева, в замужестве киягиия Голицына,— пушкииская «пиковая дама». Интересиейшая дама! Она, кстати, приходнлась родиой виучкой Петру Великому.

— Вон как!

— Да. И характерец, зиаете, у нее был дедовскнй, о чем сохраинлось немало свидетельств... Когда Захар Григорьевнч Чернышев...

— Геиерал-фельдмаршал?

— Нет. Другой Захар Грнгорьевич Чернышев, декабрист, ее внучатый племяиннк. Когда его сослали в Сибирь, она тяжело переживала этот удар по фамильиой чести. И вот одиажды геиерал-адъютанта Чериышева, члеиа Следствеииой комиссии по делу декабристов, получившего графское зваиие по окончанин следствия и пытавшегося завладеть имуществом сослаииого декабрнста, ей представили в свете как графа Чериышева. Не взглянув на иего, оиа проговорила: «Je ne connais qu'un seul comte Чернышев, qui est en Sibirie», то есть «Я зиаю только одного графа Чернышева, который в Снбири»... Представляете?

— Представляю.

— Декабрист Захар Чериышев,— продолжала Мария Юрьевиа,— был в якутской ссылке вместе с Алексаидром Бестужевым-Марлиииским, писателем, который со своим братом Михаилом н Щепииым-Ростовскнм первым прнвел иа Сеиатскую площадь Московский полк. А у меия вышла моиография о третьем брате — Николае Бестужеве. Это был редчайших способиостей человек! Революциоиер, художиик, этиограф, историк, географ, писатель, изобретатель! В ссылке написал блестящее иаучное нсследованне о забайкальском Гусииом озере и сумел, обойдя все запреты, иапечатать его в московском «Вестнике естественных наук»... А вы чнталн его рассказ «Шлиссельбургская станцня»? Он посвящен одной замечательиой женщнне нз того же рода Чернышевых.

Алексаидра Чериышева, сестра Захара, была замужем за декабристом Никитой Муравьевым. Вслед за Марией Волкоиской оиа приехала в Сибирь, чтоб разделить судьбу своего супруга. Перед отъездом Алексаидра Муравьева получила из рук Пушкина листок со строчками, всем иам памятиыми с детства:

Во глубиие сибирских руд
Храиите гордое терпенье;
Не пропадет ваш скорбиый труд
И дум высокое стремленье...

Как все же прекрасно, что наше прошлое часто оживает через посредство бессмертных стихов! И память невольно подсказывает нам вещие слова из ответа Александра Одоевского:

Наш скорбный труд не пропадет;
Из искры возгорится пламя,
И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя.

Мерцавшая в глубине прошлого века искорка вспыхнула в начале нынешнего ленинской «Искрой», которая возжгла пламя первой русской революции...

Душевная доброта и чистота, мужество и бескорыстие Александры Муравьевой остались в памяти всех, кто когда-либо встречался с нею. Эту женщину следует, наверное, считать первой революционеркой России — она сознательно и бескомпромиссно разделяла взгляды своего супруга, идеи декабристов. И ее первой в Сибири подстерегла трагическая судьба. Стояли жестокие забайкальские морозы, от которых лопались деревья на окрестных сопках. Александра металась между тюрьмой, где содержался ее муж, и маленькими детьми. Простудилась и умерла двадцати восьми лет от роду.

Пленителен образ отважной жены,
Явившей душевную силу,
И в снежных пустынях суровой страны
Сокрывшейся рано в могилу.

Это Некрасов, «Русские женщины»...

— А ведь Александра Муравьева привезла в Сибирь от Пушкина не только послание декабристам,— говорит мне Брагиловская.

Да, вместе с посланием декабристам, увидевшим свет лишь через тридцать лет в заграничной герценовской публикации, Александра Муравьева берегла всю дальнюю дорогу другой листочек, на котором были начертаны проникновенные строки:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье,
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

Декабриств Ивана Пущина, навестившего лицейского друга в Михайловском, дела и слова его, исполненные необыкновенной доброты и участия к людям, мы еще вспомним в связи с осиротевшей семьей одного из самых несчастных ссыльных декабристов — это станет маленьким историческим открытием для меня и читателя, но прежде надо бы рассказать, каким извилистым и медленным путем шел я к этому случайному открытию; оно бы, наверное, никогда для меня не состоялось, если б не та долгая, увлекательная и бесплановая беседа с Марией Юрьевной Барановской.

— А когда и где Александра Муравьева в последний раз встретилась с Пушкиным?

— Перед самым отъездом в Сибирь,— с готовностью отвечает Мария Юрьевна и, никуда не заглядывая, уточняет: — В Москве, на Садовой-Самотечной, дом двенадцать. Там жили родители Александры Муравьевой и Захара Чернышева.

— Но вообще-то декабристы были слабо связаны с Москвой,— неуверенно говорю я и слышу горячее возражение:

— Как! Да Москва, можно сказать, колыбель декабристов!.. Вы что кончали?

— МГУ.

— Послушайте, как вам не совестно! Да ведь в Московском университете, который Ленин называл «революционным», и его Благородном пансионе учнлось сорок шесть будущих декабристов!

— Сколько?!

— Почти пятьдесят. Уж такое-то про свою alma mater надо бы знать! Извините, что ворчу,— это от возраста. В сущности, я рада, что интерес к декабристам растет среди молодежи... В Москве сформировали свое мировоззрение Петр Каховский, Сергей Трубецкой, Никита Муравьев, Николай Тургенев, Михаил Бестужев-Рюмин, Иван Якушкин... А двадцать четыре декабриста вышли из московского военного училища колонновожатых. В Москве родились Сергей Волконский, Павел Пестель... Главное же,— продолжала хозяйка,— многие декабристы здесь не раз встречались по делам различных обществ, имевших в старой столице крепкие организации, отсюда идут кое-какие их начала...

В тот вечер я узнал, что в Москве, на главном перекрестке всех российских дорог, жили подолгу либо наезжали сюда Кондратий Рылеев и Вильгельм Кюхельбекер, Иван Пущин и Степан Бегичев, Федор Глинка и Дмитрий Завалишин, три брата Муравьевы-Апостолы и два брата Фонвизины, а после петербургского восстания здесь было арестовано почти тридцать декабристов!

Действительно, в каком-то смысле Москву можно было назвать колыбелью декабризма. Первая организация, называемая обычно «Союзом спасения», носила также другое наименование, более громкое и подробное — «Общество истинных и верных сы-

нов отечества», и вспоминаются строчки Федора Глинки «России верные сыны», Кондратия Рылеева «Отчизны верный сын», Михаила Лермонтова «Отчизны верные сыны»... Петербургский «Союз спасения» образовался за десять лет до восстания на Сенатской площади, но вскоре центр его сместился в Москву, где впервые созрел план покушения на императора. Именно в Москве возникло позже так называемое Военное общество, подготовившее образование «Союза благоденствия» с его Коренной и двумя другими московскими управами — это был зародыш, предтеча Северного и Южного обществ...

— А сколько их тут погребено... Эти святые могилы надо бы всем москвичам знать!

Мария Юрьевна взглянула в темное окно, за которым совсем рядом вздымались мощные апсиды Смоленского собора, а вокруг стояли надгробия. По пути сюда я прочел некоторые надписи — историк С. М. Соловьев, поэт Николай Языков, поэт-партизан Денис Давыдов, филолог Буслаев, врач Остроумов, генерал Брусилов...

— Вот тут, по соседству, лежат Сергей Трубецкой, Александр Муравьев, Михаил Орлов, Павел Колошин... А в Донском монастыре были похоронены Чаадаев, Дмитриев-Мамонов, Зубков, Нарышкин, Черевин, в Алексеевском — Петр Свистунов, на Ваганьковском кладбище — Михаил Бестужев, Павел Бобрищев-Пушкин, Александр Беляев, на Пятницком — Иван Якушкин и Николай Басаргин...

Мария Юрьевна свободно, как близких знакомых, называла имена подчас совсем не известных мне декабристов, и я понял, что это как раз тот человек, который, наверное, сможет помочь мне.

— А Общество соединенных славян не было связано с Москвой? — кинул я взгляд на книгу Ивана Горбачевского.

— Нет. Только детство одного из самых ярких членов Славянского союза, как его называл Горбачевский, Михаила Спиридова, прошло здесь, в доме отца на Яузском бульваре, да еще «славянин» Александр Фролов похоронен на том же Ваганьковском. Потомки поставили ему прекрасное надгробие...

— Мария Юрьевна! Декабриста Мозгалевского хорошо знаете?

— Нет. Больше интересовалась другими...

— Не можете ли вы мне порекомендовать что-либо о нем?

— Ничего. Только архивы. Им никто особо не занимался. Впрочем, вот что,— она разыскала на столе и раскрыла записную книжку.— Запишите-ка телефон... Это Мария Михайловна Богданова, правнучка декабриста Мозгалевского. Ей уже под восемьдесят, но еще бегает. В молодости она интересовалась некоторыми «славянами», которые оказались в исторической тени, их как бы заслонили звезды первой величины декабризма, громкие события на Сенатской площади и в Черниговском полку. А ведь память о каждом герое 1825 года священна...

Несмотря на то, что академик М. В. Нечкина в отличие от многих других ученых не считает автором «Записок» Горбачевского, они не теряют своей огромной исторической ценности — так достоверны, разнообразны и объемны содержащиеся в них сведения. Само их происхождение автор связывает с волнующей подробностью — устным завещанием одного из самых мужественных, вдохновенных и обаятельных декабристов. Герой 1825 года, руководитель восстания Черниговского полка Сергей Муравьев-Апостол сказал на прощанье Ивану Горбачевскому: «Ежели кто из нас двоих останется в живых, мы должны оставить воспоминания на бумаге; если вы останетесь в живых, я и вам приказываю, как начальник ваш по обществу нашему, так и прошу, как друга (...) написать о намерениях, цели нашего Общества, о наших тайных помышлениях, о нашей преданности и любви к ближнему, о жертве нашей для России и русского народа».

Любознательный Читатель. Сергей Муравьев-Апостол был членом Южного общества декабристов, а Горбачевский служил в его Черниговском полку?

— Нет, артиллерийский подпоручик Иван Горбачевский никогда не служил в Черниговском полку, не принадлежал ни к «Союзу спасения» или «Союзу благоденствия», ни к Военному, Северному или Южному обществам. Он был членом особого декабристского общества, возникшего самостоятельно и совершенно независимо от других революционных организаций.

Общество соединенных славян... Весной 1817 года на Полтавщине артиллеристы подпоручики братья Андрей и Петр Борисовы объединили несколько товарищей-офицеров в так называемое Общество первого согласия с общегуманитарными задачами, переименованное вскоре в недолговечное Общество друзей природы, а в 1823 году вместе с опальным поляком Юлианом Люблинским основали Общество соединенных славян и выработали обширную и своеобычную программу. Иван Горбачевский, первым принятый в это общество, позже писал в сибирской ссылке о неизменной обязанности «славянина»: «Он должен был по возможности истреблять предрассудки и порочные наклонности, изглаживать различие сословий и искоренять нетерпимость верования; собственным примером побуждать к воздержанию и трудолюбию; стремиться к умственному и нравственному усовершенствованию и поощрять к сему делу других; не делать людей богатыми, но научать их, каким образом посредством труда и бережливости, без вреда для себя и других пользоваться оными».

— Программа больше просветительская, чем революционная или даже реформистская...

— Дойдем и до политики... Необыкновенное это общество, оказывается, имело «главною целию освобождение всех славянских племен от самовластия; уничтожение существующей между некоторыми из них национальной ненависти и соединение всех обитаемых ими земель федеративным союзом»!

— Панслависты?

— Осторожнее. Их цель в основе своей была противоположна реакционной идее объединения славян под эгидой и властью царской России — свободный *демократический* союз родственных народов России, Польши, Богемии, Моравии, Сербии, Далмации и других славянских, а также некоторых неславянских земель — Венгрии, Молдавии и Валахии, связанных многовековым соседством со славянами и друг с другом. Это декабристское общество мечтало «ввести у всех народов форму демократического представительного правления». Вместе с общими для федерации законами должны были существовать в каждой республике свои внутригосударственные узаконения, обеспечивающие *гражданские свободы и равенство всех.* В качестве средств на пути к общему благоденствию Славянский федеративный союз споспешествовал бы развитию «промышленности, отвращающей бедность и нищету; нравственности — исправляющей дурные наклонности... и... просвещения, вернейшего сподвижника в борьбе противу зол...» На Балтийском, Черном, Белом и Адриатическом морях федерация должна была иметь крупные порты общего пользования, а самые важные совместные дела решать собранием представителей всех ее сочленов...

— Цель действительно захватывающая, даже несколько романтичная. Но как Соединенные славяне думали осуществить ее?

— Очень важный вопрос! У «славян» не существовало твердой и ясной тактической программы...

— Они, как все декабристы, по словам Ленина, были страшно далеки от народа?

— Да, но народ был еще дальше от них — имею в виду революционные идеи декабристов, их готовность к действию. И первые русские революционеры пошли против своего класса, выступив за свержение самодержавия и отмену крепостничества,— это в те времена была самая радикальная политическая программа! А во взглядах декабристов разных обществ было немало принципиальных различий на тактику и цели борьбы. В прожектах «славян», скажем, многое шло от хорошей мечты, добрых намерений, что объяснялось, в частности, общим уровнем политического мышления тех времен, осознанием революционной незрелости народных масс, неподготовленности крестьянина и солдата к демократическим, республиканским идеям. И в то же время программа Славянского союза имела некую сильную сторону. Дело в том, что северные и южные дворянские революционеры не допускали даже мысли об участии народа в задуманном ими государственном перевороте, боясь стихийного бунта, новой пугачевщины. «Славяне» же опасались совершенно другого. Прекрасно формулирует эти опасения Иван Горбачевский: «Хотя военные революции быстрее достигают цели, но следствия оных опасны: они бывают не колыбелью, а гробом свободы, именем которой совершаются». В отличие от «северян» и «южан» «славяне» возлагали свои надежды на народ, питая любовь, по вы-

ражению Петра Борисова, «к народодержавию». Они считали, что без народа, «сего всемощного двигателя в политическом мире, частная воля ничтожна», в народе искали они помощи, без которой всякое изменение непрочно.

— Но как они в тех условиях намеревались превратить народ во всемощный двигатель политики?

— Для начала — революционная агитация среди солдат и крестьян, приобщение к идеям общества демократических сил всех стран, будущих членов федеративного Славянского союза. В программе «славян» своеобразно отразились наиболее передовые демократические воззрения тех времен, объясняемые, в частности, социальным происхождением его членов. Обедневший барон Соловьев, проделавший вместе с двумя товарищами пеший кандальный путь от Киева до Нерчинска, был единственным титулованным «славянином». Общество объединило безземельных или мелкопоместных дворян, офицеров низших званий и разночинцев, в нем состоял даже один выходец из простонародья. «Славяне», конечно, тоже были далеки от народа, но все же не столь «страшно далеки», как другие участники декабрьских событий 1825 года. Они ближе стояли к солдатской массе и, хорошо понимая, что «надежды их не могут так скоро исполниться», уповали для начала на моральное совершенствование, самообразование, а также стремились «внушать *крестьянам и солдатам* (курсив мой.— *В. Ч.*) необходимость познания правды и любовь к исполнению обязанностей гражданина».

— И все же их политическая программа отдает нравственным катехизисом!

— Очень легко судить первых наших революционеров из сегодняшнего далека... Однако было бы неверно думать, что «славяне» проповедовали кротость и принципиальное осуждение тактики вооруженного восстания. Приведу две фразы из их «Правил», представляющие собой редчайший пример образной выразительности в политическом программном документе: «Не надейся ни на кого, кроме своих друзей и своего ⎾ ». «Друзья тебе помогут, ⎾ тебя защитит». «Славяне», оказывается, заменяли слово «оружие» символическим изображением солдатского штыка, рисовали его даже в личных письмах, вступительную клятву свою тоже произносили на оружии, иронически отнесясь к ритуальному крестоцелованию, предложенному Бестужевым-Рюминым при объединении с Южным обществом. «Славянский союз носил на себе отпечаток какой-то воинственности,— пишет Горбачевский.— Мысль, что свобода покупается не слезами, не золотом, но кровью, была вкоренена в их сердцах, и слова знаменитого республиканца, сказавшего: «обнаживши меч против своего государя, должно отбросить ножны сколь возможно далее», долженствовали служить руководством их будущего поведения».

Нет, они не были смирными реформаторами, эти «славяне»! После соединения с «южанами» среди них обнаружились сторон-

нники крайне решительных действий, идущие в своих намерениях даже дальше неистового и твердого Сергея Муравьева-Апостола, руководителя восстания Черниговского полка.

Незадолго до восстания поручик Черниговского полка «славян» Анастасий Кузьмин после одного из подготовительных офицерских собраний, стремясь поторопить события, вывел назавтра свою роту в полной боевой амуниции. Горбачевский выговорил ему за такую поспешность и предупредил, чтоб тот впредь ждал приказа к выступлению.

— Черт вас знает, о чем вы там толкуете понапрасну!— взбесился Кузьмин.— Вы толкуете: конституция, «Русская правда» и прочие глупости, а ничего не делаете. Скорее дело начать бы, это лучше бы было всех ваших конституций.

Нашелся он что сказать и Сергею Муравьеву-Апостолу:

— Если вы нас будете долее удерживать, то мы и без вас найдем дорогу и в Киев и в Москву.

Горбачевский вспоминает, что *«этого требовало все общество Славянское»*. Именно «славяне» составили основу так называемой «Когорты обреченных», то есть группы декабристов, согласившихся пожертвовать собой ради уничтожения царского семейства. И они достойно держали себя во время восстания — их агитационная работа среди солдат, дисциплина, храбрость, верность революционной присяге с уважением отмечены историками.

Что, однако, за люди были эти «славяне»! Когда Иван Горбачевский молодым офицером приехал в имение, доставшееся ему по наследству, и перед ним, новым барином, собралась толпа *его* крестьян, он вышел из коляски и обратился к ним со следующей речью:

— Я вас не знал и знать не хочу, вы меня не знали и не знайте; убирайтесь к черту.

И укатил, отправив бумаги на владение имением своему брату в Грузию, который тоже отказался стать помещиком-крепостником...

На каторге «славяне» составили тесный и дружный кружок, для которого высшим авторитетом оставался их прежний вождь Петр Борисов. И когда пришло из Петербурга повеление снять с государственных преступников кандалы, «славяне» гордо отказались от этой царской милости.

Несколько слов о подробностях кандального этапа, с упоминания о котором в «Записках» Марии Волконской начался мой «этап» в декабристское прошлое. Хотя мой исходный интерес объяснялся тем, что в этом замечательном документе вдруг объявился для меня предок моей жены, который у М. Волконской был назван без имени Мозгалевским, в у И. Горбачевского — тоже без имени — Мозалевским, самой яркой фигурой той мучительной эпопеи был, конечно, Иван Сухинов, ошибочно названный М. Волконской Сухининым.

Отважный, заслуженный офицер, получивший в Отечественную войну

с Наполеоном семь ружейных и сабельных ран, действовал во время восстания Черниговского полка исключительно смело, освободив из-под стражи Сергея Муравьева-Апостола и его брата. После разгрома черниговцев он сумел избежать ареста и благополучно добрался до берега Прута, намереваясь перейти границу, но... вернулся в Кишинев и добровольно сдался властям, желая разделить судьбу своих товарищей. Суд в Могилеве с последующим преломлением шпаги над головой и подведением под виселицу. С бароном Соловьевым это проделали раньше, причем во время церемонии на его теле не было ничего, кроме рубашки и старого халата. Генерал, командовавший церемонией, прислал ему сюртук и рейтузы, но «Соловьев не принял сего». И вот перед вновь сформированным Черниговским полком поставили Сухинова и — по И. Горбачевскому — Мозалевского. Раздались слова приговора: «Сослать в вечно-каторжную работу в Сибирь». Сухинов громко сказал:

— И в Сибири есть солнце...

Две недели закованные в железа товарищи пробыли в Киевской тюрьме, ожидая выздоровления одного из своих соузников, Быстрицкого. Они отказались принять денежный дар, собранный для них сострадательными киевлянами, хотя были полураздеты, больны и голодны, а общий их капитал перед невообразимо дальней дорогой составлял всего два рубля серебром. Перед самым этапом они встретили в канцелярии двенадцать солдат-черниговцев и разжалованного мальчика-юнкера, отправляемых на Кавказ, в действующую армию. Офицеры-«славяне» уговорили солдат принять от них эти два рубля, уверяя, что располагают средствами и ждут еще помощи от родных, «сами же пошли на кормовых, которых полагается по 12 коп. в сутки».

Начался долгий и тяжелый этап под осенними дождями и холодами. Соловьев так и шел — в одной рубашке и халате. Железа с них не снимали, причем руки у них были соединены не цепями, а так называемыми наручами — железными стержнями без единого звена. «...Самое пламенное и самое мрачное воображение не в состоянии представить себе страданий, испытанных нашими изгнанниками. Без одежды, без денег, оставленные на произвол судьбы, преданные самовластию каждого командира инвалидной команды, они испытывали все физические и нравственные мучения. Днем они подвергались всем переменам осенней погоды и не имели средств защитить себя от холода и дождя; ночью — смрадная и тесная тюрьма вместо отдыха была для них новым истязанием. Сообщество воров, разбойников, бродяг и распутных женщин внушало отвращение к жизни и презрение к человечеству. В городе Кромах Орловской губернии тюрьма, в коей они провели ночь, была настоящею пыткою и сделалась почти губительною для них. В двух маленьких комнатах набито было полно арестантов, между коими находилось несколько больных женщин, которые из религиозного фанатизма отрезали себе груди и были оставлены без всякого пособия; тела их были почти полусгнившие; смрад был такой,

что к ним близко никто не подступал». Соловьев провел всю ночь у маленького тюремного окошка; его товарищи спали под нарами, на сыром и нечистом полу, но и в сем успокоении они должны были чередоваться по причине чрезмерной тесноты: когда один лежал, другие двое стояли».

Назавтра Соловьев и Мозалевский заболели «горячкой» — по-современному это был грипп или, быть может, воспаление легких. Они ничего не помнили за дорогу от Калуги до Москвы, куда их привезли на телегах; чтоб они не разметались совсем в жару и беспамятстве, их привязали к повозкам веревками. В московской тюрьме заболели Сухинов и Быстрицкий. Последний так и не смог выздороветь до отправления этапа и остался в тюрьме, а трое товарищей 1 января 1827 года, в стужу и метель, пошли дальше, гремя своими железами, под которыми омертвлялась и загнивала кожа.

«Не станем описывать трудностей сей дороги: никакое перо не может изобразить оных». По Сибири с ее холодными дождями и жестокими морозами Сухинов, Соловьев и Мозалевский шли всю следующую осень и зиму. Трое товарищей прибыли в Горную контору Нерчинских рудников 16 марта 1828 года, проведя в пешем кандальном этапе один год, шесть месяцев и одиннадцать дней.

Оказавшись в девяти верстах от границы, Иван Сухинов решил взбунтовать и вооружить ссыльных Нерчинских рудников, двинуться на Читу, чтоб освободить всех содержащихся там декабристов и перейти с ними государственную границу в поиске свободы. Горбачевский оставил потомкам прекрасный словесный портрет этого человека: «Решившись на что-либо однажды для исполнения предпринятого им дела, он не видел уже никаких препятствий, его деятельности не было границ; он шел прямо к цели, не думая ни о чем более, кроме того, чтобы скорее достигнуть оной. Его характер, твердый и настойчивый, не терпел отлагательства; предаться на произвол судьбы и ожидать спокойно от нее одной — было для него величайшим несчастием. В бедствии и в неволе он считал не только правом, но долгом искать собственными силами свободы и счастия; к тому же его душа искала всегда сильных потрясений; посреди опасности только он находился в своей сфере».

Опускаю подробности этой отчаянной попытки обрести свободу, надеясь на пробуждение самостоятельного читательского интереса к документам декабристской эпохи. Скажу только, что его спутники по страшному этапу, не веря в успех опасного предприятия, устранились от подготовки бунта. Сухинов доверился уголовным преступникам, один из которых накануне намеченного выступления выдал начальству остальных заговорщиков. Понимая, что ему нельзя ждать милости от палачей, арестованный Сухинов попытался отравиться, но выжил, а позже, присужденный к наказанию кнутом, повесился. Пятеро участников заговора были расстреляны.

И вот я наконец набираю номер телефона, записанный у Барановских.

— Мария Михайловна?

— Алло! — послышался в трубке слабый голос, и я назвал себя.

— Да, да, я слышала о вас и даже что-то читала...

— Александр Степанович Юшков — прадед моей жены. Вы не знали такого человека в Сибири? — спросил я, приготовившись натолкнуться на огорчительное неведение, но слышу ответ:

— Это мой крестный отец.

— Вот как! А он имел какое-нибудь отношение к декабристу Мозгалевскому?

— Он был внуком декабриста.

— Каким образом?

— Обыкновенным, — послышался тот же слабый голос, пронизанный всезнающей старческой иронией. — Его отец Степан Юшков был женат на старшей дочери декабриста Варваре... Родился ваш предок в 1801 году на Черниговщине...

— Где?! — удивился и обрадовался я.

Дело в том, что в Чернигове уже четверть века жили мои родные, я часто бывал в тех местах, неплохо их знал, и, помню, приятным открытием стал для меня тот факт, что «славянин» Иван Горбачевский из-под Нежина. В Черниговском музее однажды я увидел портрет декабриста Александра Якубовича, который тоже родился в бывшей Черниговской губернии. И была там еще одна необычная фотография — три обелиска рядом. Княгиня Мария Волконская, с «Записок» которой я начал свой поиск, похоронена здесь же, на Черниговщине, в селе Вороньки! Рядом с нею навек упокоились князь Сергей Волконский и декабрист Александр Поджио, приехавший некогда умирать к близким друзьям по сибирской ссылке, в имение их дочери, вышедшей замуж за Кочубея... И Мозгалевский с Черниговщины!

— Да, — подтвердила Мария Михайловна. — Из Нежина, как и Горбачевский. Корни его по отцу, видимо, уходят в Польшу, а по матери — во Францию.

— Во Францию?

— Именно. Гвардейский капитан Осип Мозгалевский был женат на Виктории де Розет, дочери придворного короля Людовика XVI Шарля де Розет, эмигрировавшего во время французской революции в Россию...

Мозгалевские были мелкопоместными дворянами. Будущий декабрист учился в Нежинской народной школе, потом в петербургском 1-м Кадетском корпусе, из которого вышло немало декабристов, в том числе Кондратий Рылеев, Федор Глинка, Михаил Пущин, Семен Краснокутский, Алексей и Аполлон Веденяпины, Александр Булатов и другие. Мозгалевский в Черниговском полку, как и Горбачевский, не служил, 1825 год застал его подпоручиком Саратовского полка, дислоцированного близ Жи-

томира. Единственный из всех офицеров своего полка командир 3-й мушкетерской роты Мозгалевский вступил в Общество соединенных славян, согласившись с его целями, программой и правилами.

— Нашего предка, правда, нельзя признать выдающимся членом этого интереснейшего общества. Среди «славян» были настоящие орлы! Петр Борисов — прекрасный организатор и теоретик, мыслящий широко, свободно и мужественно. В руководящее ядро «славян» входили также его старший брат Андрей, Юлиан Люблинский, Горбачевский, Спиридов, Тютчев, Андреевич, Усовский. Последние двое были подлинными революционными трибунами. Из этого ядра выделилась так называемая «Когорта обреченных» — Борисовы, Горбачевский, Спиридов, Тютчев и Усовский, которые дали священную клятву пожертвовать собой для свершения акта цареубийства. Клялись «славяне» на оружии, знаете?

— Знаю. А солдатский штык был символом их веры.

— Да, да. Это символично, с глубоким смыслом... В исторической и мемуарной литературе о Мозгалевском почти ничего нет, а если есть, то...

— Что вы имеете в виду?..

Разговор как-то странно оборвался, и я почувствовал в последних словах Марии Михайловны какую-то важную недосказанность. В чем дело?

Работая над другими темами, я просмотрел попутно кое-какую литературу о декабристах, сочинения и письма первых наших революционеров, воспоминания тех, кто их знал, покопался в архивах, следил за книжными новинками. «Записки» М. Н. Волконской время от времени переиздавались, не залеживались на полках, находя своего читателя, и в каждом новом издании историки-комментаторы и издатели проявляли неизменную небрежность. Прежде всего эти «Записки» — не оригинал, который на самом деле был написан по-французски. Сенатор М. С. Волконский, которому мать завещала свои «Записки», держал их в сейфе почти до первой русской революции. Только в 1904 году они вышли из печати в оригинале и в переводе, который сделала внучка автора М. М. Волконская. В 1914 году А. Н. Кудрявцевой был предпринят новый перевод, однако имени переводчиков не значится ни в читинском издании, ни в красноярском 1975 года.

Мария Волконская, повторюсь, Сухинова называла Сухининым, Батенькова — Батенковым, что комментаторы заметили. Другое дело — Мозгалевский. Эта фамилия, как я уже писал, дважды упоминается в тексте, а также в комментариях с «уточнением», что Мозгалевский был прапорщиком, и в именном указателе с инициалами «А. И.».

Вы помните, дорогой читатель, рассказ Ю. Тынянова «Подпоручик Киже»? Из-за писарской ошибки объявился в документах

павловского времени никогда не существовавший подпоручик Киже, что доставило немало забот и неприятностей царским канцеляристам. Этот чиновничий курьез в прекрасном изложении Ю. Тынянова знают миллионы людей у нас и за рубежом. Но подпоручик Киже — образ литературный, а передо мной предстало подлинное лицо, декабрист Мозгалевский, который, в противоречии с давними и современными историческими публикациями,— 1. Никогда не был прапорщиком. 2. Не служил в Черниговском полку. 3. Не был товарищем Сергея Муравьева-Апостола. 4. Не шел по этапу от Киева до Нерчинска. 5. Не имел инициалов «А. И.».

Декабристов Мозгалевского А. И. или Мозалевского А. И. вообще не было на свете. Был прапорщик-черниговец Мозалевский Александр Евтихиевич, проделавший вместе с поручиком Александрийского гусарского полка «славянином» Иваном Сухиновым и своим сослуживцем штабс-капитаном Черниговского полка «славянином» Веньямином Соловьевым кандальный путь в Сибирь, и был подпоручик Саратовского полка «славянин» Николай Осипович Мозгалевский. Называя Мозгалевского, Волконская имела в виду А. Е. Мозалевского, и ей простительно было спутать эти две близкозвучные фамилии, которые, как я позже узнал, однажды перепутал даже сам шеф жандармов Бенкендорф. Нынешние издатели и комментаторы имели время и возможности поправить ошибку! Кому-кому, а красноярцам непростительно — Н. О. Мозгалевский был, можно сказать, *их декабрист.* В 1977 году «Записки княгини М. Н. Волконской» изданы большим тиражом — двести тысяч экземпляров — «Молодой гвардией», и в комментариях к ним фигурирует тот же «подпоручик Киже», то есть никогда не существовавший декабрист «прапорщик Мозгалевский». Следующее издание, очевидно, скопирует предыдущие...

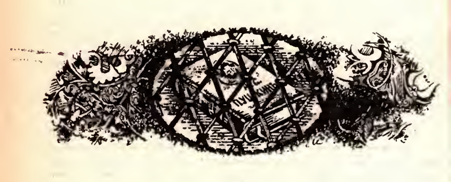
Любознательный Читатель. Специально прослежу, это не мелочи.

— Совсем не мелочи! За фамилиями стоят люди, вошедшие в начальную революционную историю своего отечества. Добавлю, что сходство фамилий Мозалевского и Мозгалевского породило, можно сказать, традицию, которая в декабристской литературе не прерывалась, к сожалению, никогда. Если в «Записках» М. Н. Волконской и комментариях к ним декабрист А. Е. Мозалевский трижды поименован Мозгалевским, а в именном указателе Мозгалевским А. И., то в работе М. В. Нечкиной «Общество соединенных славян» (М.— Л., 1927) декабрист Н. О. Мозгалевский, очевидно, из-за невнимательности редактора или корректора, трижды назван Мозалевским (с. 189, 201) и один раз Николаем Ивановичем (с. 66)... Кстати, и в «Алфавите декабристов», составленном Б. Л. Модзалевским и А. А. Сиверсом (Восстание декабристов, т. 8, 1925, с. 352), персоналия Н. О. Мозгалевского содержит две фактические ошибки.

— Воистину малоизвестный декабрист...

— Малоизвестные декабристы своей обыкновенностью как бы подчеркивают неисключительность, закономерность первого организованного революционного выступления в России. Любой *рядовой* декабрист нам должен быть интересен еще и потому, что на его облике и судьбе так же отразилось время, как на каждом из самых ярких и знаменитых. Официальная история не может охватить своим вниманием всех ушедших людей, но так бывает, что совсем будто бы малозаметная личность прошлого, высвеченная дотошным исследователем фактов или творческим воображением художника, становится неотъемлемой частицей жизни, помогая ее гуманистическому развитию.

Не менее важны связи каждого из декабристов; знание их расширяет наши представления о той эпохе, делает историческую картину более глубокой и достоверной, знакомит с людьми, которые оживают в памяти потомков только через эти связи; каждый из живших или живущих — прежде всего *человек*, неповторимая индивидуальность, и мир без него был бы неполон... Что же касается конкретно личности и судьбы Николая Мозгалевского, то архивы постепенно открыли мне то, что я никак не ожидал,— оценка этого декабриста в трудах историков оказалась недостаточно полной и достаточно неверной...



8

Читаю-перечитываю следственные дела декабристов-«славян» и всякий раз нахожу что-то новое о тех далеких, полузабытых людях и обстоятельствах. Формулярные списки, автобиографии, вопросы, ответы, уточнения, очные ставки, письма императору, заявление в Следственную комиссию, уже знакомые фамилии, факты, заключения обвинителей, описи бумаг; лица, освещенные с разных сторон, уже узнаешь по строчкам из их показаний, ликуешь и огорчаешься, стараешься понять и, значит, простить; ни-

терес к мельчайшим подробиостям не сиижается, но возрастает, хотя финал этой мучительиой драмы давио и хорошо тебе известен...

Николая Мозгалевского вроде бы принял в Общество соедииенных славян Иван Шимков, о чем свидетельствуют показаиия и того и другого, но в этом очевидиом, принятом историкамн факте приоткрылась для меия иекая тайиа, к отгадке которой я подбирался постепеино н попутио, отвлекшнсь вдруг нежданно встречным именем Пушкина. Помню, я даже иевольно вздрогнул, когда в деле Ивана Шимкова выхватил глазом: «Отрывок в прозе и стнхи»... «Стнхн сии я долго держал»... «было иапнсано П...ш...и, сне я почел за Пушкин». Вот это да! После разгрома восстания Черниговского полка вместе с однвм нз молодых «славян» былн арестоваиы стнхи Пушкина!

Дела Нниолая Мозгалевского откладываю в сторонку, чтобы поплотией сесть за эти папки, когда хоть что-ннбудь выясню со стихамн Пушкина, иайдениыми у Ивана Шнмкова. Они былн якобы найдеиы Шнмковым в местечке Белая Церковь августовскнм вечером 1824 года на маиеврах. «Стнхн снн я долго держал, не показывая иикому, наконец, бывши в жолнерской команде при корпусиой квартнре, я прочел их поручику Громннцкому, которых, однако, он ие спнсывал, более же инкому не давал чнтать и перепнсывать как до поступлеиня, так н по вступлеиии моем в общество»...

Поэзня была постоянной спутницей и вериой помощннцей первых наших революцнонеров. Есть иаучный лнтературоведческий термин «поэзня декабрнстов», н без этого этапа в развнтии русской лнтературы ее нсторня была бы неполной. Коидратий Рылеев, Александр Бестужев-Марлинский, Внльгельм Кюхельбекер, Владимир Раевский, Александр Одоевскнй, Гавриил Батеиьков, Алексаидр Барятниский, Нниолай н Павел Бобрищевы-Пушкины, Василий Давыдов, Николай Чнжов, Федор Вадковский, Николай Заикни.

Никто ие ведал, что оргаиизатор и руководитель восстаиия Чериигосвкого полка Сергей Муравьев-Апостол тоже писал стихи. Накаиуие казни, которую ои, по свидетельству очевидцев, ждал со «стоицизмом древиего римляиииа», товарищи по каземату услышали его громкий ясиый голос и фраицузские слова, ритмически оргаиизоваииые. По-русски это звучало примерио так:

Задумчивый, одииокий,
Я по земле пройду, ие зиаемый иикем.
Лишь пред коицом моим
Виезапио озареииый
Узиает мир, кого лишился ои.

Первая четверть XIX века — особый период в развитии русской истории и культуры. Тысячи молодых людей получали широкое европейское

обрвзоваяяе, знакомились с мировой литературой, открывая для себя культурное нвследие рвзных народов. Идеи французской революции, проникшие в крепостническую Россию, зреющая полятическая мысль требовали выхода в публику. В те же годы образованные русские люди впервые узнали многие подробности тысячелетней историв своей страны; развивалось чувство гордости за великие деяния предков, осмысливвлась роль родного народа в судьбах мира, чему поспособствовала грандиозная победа над Наполеоном, а общий рост национального самосознания стимулировал духовную жизнь русского обществв в ее высоком проявлении — лятературе.

Поэзия декабристов досконально изучена, однако я не могу удержаться, чтобы не сказать несколько слов об одной особой и совместной заслуге перед отечественной литературой поэтов-декабристов — Кондратия Рылеева и Александра Бестужева-Марлинского. Незадолго до восстания они создали совершенно новый в нашей словесности жанр революционной песни, рассчитанной на солдата и крестьянина. Изумительна простота и доходчивость этих песен, их агитационный заряд! Главными особенностями песен Бестужева—Рылеева были простота, народный строй и напев, ориентирующий на хоровое, *коллективное* исполнение. Приведу лишь некоторые строки, чтоб вспомнилась их взрывчатая сила... Начало песни «Ты скажи, говори...»:

Ты скажи, говори,
Как в Россия цари
Правят.
Ты скажи поскорей,
Как в России царей
Давят.

Или песня «Царь наш — немец русский»:

Царь наш — немец русский,
Носит мундир узкий.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Дальше, сопровождаемые такой же саркастической припевкой, поются куплеты о том, как царь «прижимает локти, прибирает в когти», «враг хоть просвещенья, любит он ученья» и «школы все — казармы, судьи все — жандармы» и так далее, а «за правду-матку прямо шлет в Камчатку». Знаменитая «Ах, тошно мне...»:

Ах, тошно мне
И в родной стороне;
Все в неволе,
В тяжкой доле,
Видно, век вековать.

Долго ль русский народ
Будет рухлядью господ,
И людями,
Как скотами,
Долго ль будут торговать?

И уж совсем нельзя не вспомнить полностью песни Бестужева — Рылеева «Как идет кузнец да из кузницы» для тех читателей, которым, быть может, никогда в жизни не попадала и не попадет в руки книжка с этим текстом, а я буду счастлив, что из моих эссе он узнает, в частности, на какой отчаянный риск шли поэты-декабристы, какие простые и выразительные средства находили, стремясь пробудить народный гнев.

Как идет кузнец да из кузницы,
— Слава!
Что несет кузнец? Да три ножика.
Слава!
Вот уж первый-то нож — на злодеев-вельмож.
Слава!
А другой-то нож — на попов, на святош.
Слава!
А молитву сотворя — третий нож на царя.
Слава!
Кому вынется — тому сбудется.
Слава!
Кому сбудется, не минуется.
Слава!

Эта песня 1824 года — бесспорно, исторический и литературный шедевр. Ясный политический смысл, победный дух, композиционное совершенство, а новое, бунтарское содержание влито здесь в древнюю, проверенную веками форму русской святочной, так называемой «подблюдной» песни.

«Славяне», к сожалению, ничего не выразили в стихотворной форме. Может, их политическое вдохновенье превосходило поэтическое? Или они просто не придавали значения литературе как способу выражения общественной мысли, не признавали за искусством его просветительской роли, иных великих задач? Да нет, это не так. Седьмой пункт «Правил Общества соединенных славян»: «Почитай науки, искусства, художества и ремесла. Возвысь даже к ним любовь до энтузиазма»... И «славяне», как я выяснил, отлично пользовались поэтическим оружием, сделанным их современниками и единомышленниками.

Гений Пушкина расцвел к 1825 году, и творчество нашего великого национального поэта сделалось неотделимым от идей декабристов. К тому времени им были уже написаны послания Раевскому, Давыдову и Чаадаеву, «Узник», ода «Вольность», «Деревня» и другие. В том, что у Шимкова были вольнолюбивые стихи Пушкина, а не иные,— нет никаких сомнений, потому что в деле не осталось их следов. Царь, боясь распространения антиправи-

тельствеиных поэтнческих пронзведеиий не меньше, чем действий своих полнтических врагов, приказал «все возмутнтельные стнхи» из секретных следственных дел вынуть и сжечь, чтоб даже чнновннкн не могли нх прочесть, а тем более, не дай бог, переписать.

Но какие нменно стихи Пушкина были у «славяниниа» Иваиа Шнмкова?

Неужто об этом иет никакнх свидетельств в следственных делах его товарнщей, страстиых любнтелей поэзии?

Отставной подполковиик Александр Поджио, тот самый, что после сибирской ссылкн иавек упокоился иа Черннговщине рядом с Марней и Сергеем Волконскими, ошибочно утверждает, будто «Пушкнн составил вольиомыслеиную песию «Ах, скучно мие на родимой стороие». Выходит, имя иашего великого поэта иастолько прочио связывалось с «вольномыслеиной» поэзней, что ему даже прнписывалнсь революционные песни, автором которых ои ие был. Майор Вятского пехотного полка Нnколай Лорер говорнт, что сочинення Пушкнна «почти у каждого иаходятся н кто нх не чнтал». Капитан конноартнллерийской пятой роты Матвей Пыхачев показывает, что Мнхаил Бестужев-Рюмни часто читал наизусть, хвалил и раздавал «всем члеиам вольнодумческне стихн Пушкнна н Дельвнга». Бестужев-Рюмин: «Рукописиых экземпляров вольнодумческих сочинеиий Пушкииа н прочих столько по полка́м, что это иас самих удивляло».

Ну хорошо, это все «южане», и к тому же онн ие иазывают ии одного произведения Пушкииа. Имя Пушкииа в деле Иваиа Шимкова стало для меия чем-то вроде магиитиой стрелкн, и я должен был пойтн дальше. Прозаический отрывок н четыре стихотворення, из коих два — иесомненно пушкинские, обнаруженные при аресте в шкатулке Шимкова, были позже изъяты из его дела н сожжеиы. Но ведь Иваи Шимков читал эти запретиые стихи поручику Пензенского полка Петру Громнитскому, который через миого лет в снбирском селе Урик будет размиожать антиправительствеииые сочииения Мнхаила Луниина. Правда, Шимков утверждал на следствии, что Громиитский не списывал у иего стихов, ио далеко не все, что говорнлось подследствеиными, соответствовало правде. Читаю довольно объемиое дело Громиитского — ннчего не иахожу о стнхах, важный факт как будто выпал нз поля зреиия Комиссии. Только в заключнтельиой части «Снла вины» нахожу не совсем ясное сведенне, которое мне вдруг открыло иечто иовое. Пункт обвиниения Петра Громинтского о «возмутительиых сочниениях» сформулирован так: «Сам возмутнтельного не сочниял, но имел от Спиридова н передал для прочтеиия Спиридову стихн, написаииые иа лоскутке и заключающне в себе дерзостиейшее вольиодумство». О Шимкове в связи со стихами почему-то нн слова, но зато появилось имя майора Пензенского полка Мнхаила Спнрндова. Но где логика? Еслн Громитскнй *«имел* от Спирндова» стихн, то зачем было давать их же для *«прочтения»* Спиридову»? Вероятио, у Гром-

нитского, кроме тех, что он «имел от Спиридова», были *другие* стихи. Какие? Чьи? Что за «дерзостнейшее вольнодумство» они содержали? Как попали они к Громнитскому, и от кого получил Спиридов свой список стихов? Может, в деле Спиридова есть какие-нибудь ответы? Нет, ничего я там не нашел!

«Славян» было немного. Они окружали себя, конечно, сочувствующими людьми, уже подготовленными ко вступлению в общество, вели активную работу среди солдат, но, так сказать, действительными членами Славянского союза числилось всего около пятидесяти человек. Не каждый из них знал всех остальных, и формирование, расширение общества шло по ячейкам. Одна из самых деятельных ячеек образовалась в Житомире. Вблизи города был дислоцирован Саратовский полк, в котором служили три члена Общества соединенных славян — подпоручик Николай Мозгалевский, прапорщик Иван Шимков и юнкер Викентий Шеколла. Вошли в историю также два солдата этого полка, наиболее подготовленные к агитационной работе и революционному действию,— Федор Анойченко и Федор Юрашев, представленные в лагере под Лещином майором Спиридовым самому Сергею Муравьеву-Апостолу.

И еще в Житомире существовала особая ячейка революционеров, которой не было аналогов при других организациях декабристов. Состояла она из мелких чиновников, людей невоенных, хотя и связанных с армейскими офицерами служебными или дружескими отношениями. Одного мы уже знаем — это поляк Юлиан Люблинский, вместе с братьями Борисовыми основавший Общество соединенных славян. Второй — Павел Выгодовский, личность настолько интересная и в некотором роде даже таинственная, что я непременно должен к месту рассказать о нем и его фантастической судьбе и необыкновенном сочинении. Третий — провиантский чиновник Илья Иванов.

В сущности, все декабристы были связаны между собой по цепочкам-звенышкам, и в поисках стихов Пушкина, вдохновлявших молодых «славян», я снова стал просматривать их следственные дела. Старшего по воинскому званию «славянина» в Саратовском полку Николая Мозгалевского как будто вовлек в общество прапорщик Иван Шимков, в деле которого я впервые обнаружил следы пушкинских стихов. А кто принял Шимкова? Читаю в материалах следствия: «1825 года, сентября первых чисел, в лагерях под местечком Лещиным комиссионер Иванов, с которым я очень мало был знаком, встретясь со мною, спросил, не говорил ли о чем со мною Громницкий или Борисов, на что я ему сказал, что ничего от них не слыхал, он, расставаясь со мною, сказал, что они хотели кое о чем говорить со мною. Через несколько дней действительно поручик Громницкий дал мне Славянскую клятву»...

У Громнитского и Шимкова были найдены стихи «возмутительнейшего содержания». У Борисова, судя по следственным материалам, никаких стихов не обнаружено. А у комиссионера

Ильи Иванова? Раскрываю его дело. Есть! 15 марта 1826 года Следственная комиссия в лице генерал-адъютанта Чернышева, самого полномочного и въедливого следователя, выдвинула против провиантского чиновника Иванова следующее обвинение: «В бумагах, взятых при арестовании Вашем, найдены стихи, рукою вашею написанные на лоскутке и по содержанию своему означающие дерзостнейшее вольномыслие. Отвечайте с полным чистосердечием: 1. Вашего ли сочинения стихи сии и что вас побуждало к излиянию на бумаге богопротивных и в трепет приводящих мыслей? 2. Сие сочинение есть ли плод собственных ваших мнений или следствие внушенных понятий от другого и кого именно? 3. Если же означенные стихи были вам только списаны, то от кого и когда получили вы оные и кто именно был сочинитель их?».

Иванов ответил, что сам этих стихов не сочинял, а взял их у Громнитского, а через майора Спиридова и поручика Лисовского «вернее открыть можно сочинителя». На другой день дополнительный допрос Громнитского выявил еще одного «славянина», знакомого со стихами,— Алексея Тютчева.

Итак, Шимков, Громнитский, Спиридов, Иванов, Лисовский, Тютчев знали, по крайней мере, несколько вольнодумных стихотворных сочинений. Однако что это были за стихи и кто их автор? У Ивана Шимкова, судя по всем данным, повторяю, было два стихотворения Пушкина, но какие именно?

А что за стихотворение обнаружилось у Иванова? Несомненно, оно представляло собою отдельное произведение, так как генерал Чернышев, формулируя свои вопросы ответчику, имел в виду «сие *сочинение*».

Почуявший добычу следователь, как клещ, впился в Илью Иванова и Петра Громнитского, вызывал и Лисовского, и Спиридова, и Тютчева, чтоб узнать, как попали стихи к Иванову и кто был их автором. Пушкина ли это были стихи, и если Пушкина, то какие именно? Названия б хватило, малейшего намека на содержание, единственную бы строчечку или, на худой конец, одно слово! Ничего не было, и я терял всякую надежду. Аккуратно поработали жандармы, очищая следственные дела декабристов от поэзии! О конституции все осталось, о восстании, о цареубийстве, но вроде бы эфемерное оружие — стихи — исчезли навсегда; царь отлично понимал их убойную силу...

И все же редчайшая, почти невероятная случайность сохранила в допросных листах «славян» подлинные строчки одного пушкинского стихотворения! Исключительная историческая и литературная драгоценность, особая документальная реликвия осталась для потомства в том же деле провиантского чиновника Ильи Иванова. А вписал эти строки туда своей рукою поручик Петр Громнитский, припомнив стихи наизусть. Долго я рассматривал густо зачеркнутые рядочки, не разобрал ни слова, но исторический этот факт хорошо известен и специалисты давно расшифровали знакомый текст.

Лемносский бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды,
Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды.

Вторую строфу «Кинжала» Громнитский воспроизводил на память почти точно, однако дальше идет пропуск, и самых существенных, сильных и грозных строк нет. Отрывок из «Кинжала» — *единственное во всех следственных материалах декабристов текстуальное подтверждение* того, что поэзия А. С. Пушкина верой и правдой служила первым русским революционерам... И сохранилось это драгоценное свидетельство только потому, что его нельзя было совсем изъять из дела — на оборотных сторонах листов содержались важные показания, и военный министр Татищев только тщательно вымарал строки...

Нет, не так просто для меня оказалось оторваться от стихов, что были в ходу среди «славян» перед восстанием Черниговского полка! Ну хорошо, неотвязно думал я, с «Кинжалом» кое-что прояснилось. Только все же не понять, как эти стихи попали к Петру Громнитскому. И у Ивана Шимкова было ведь два пушкинских стихотворения! Может, одно из них — тот же «Кинжал»? И что за стихи, написанные «на лоскутке», были взяты у Ильи Иванова? Тоже «Кинжал»?

Снова и снова просматривал я дела «славян», знавших и распространявших вольнодумные стихи, а пока ломал в архиве глаза, вышел из печати XIII том документов о восстании декабристов, в который включены материалы Следственной комиссии по делам Николая Мозгалевского, Петра Громнитского, Павла Выгодовского, Ивана Шимкова, Ильи Иванова и других интересовавших меня декабристов, документы которых удобнее было изучать в типографической компактности параллельно. Тираж этого специального издания мизерный, меньше пяти тысяч экземпляров, книги я, конечно, не достал. Как достанешь, если издание надо направить по заграничным адресам в порядке обязательного обмена, в научные учреждения, библиотеки университетов и других вузов, а их, вузов-то, в одном Казахстане стало недавно ровно пятьдесят! Да историков в стране куда больше, наверное, чем пять тысяч, да потомков декабристов тьма, да миллионы библиофилов, да множество граждан, интересующихся нашим прошлым, и тех, кто имеет счастливейшую возможность приобрести любую книгу без очереди... Где же достанешь?

Мария Юрьевна Барановская сказала по телефону:

— У меня-то уже есть, но я пообещала подарить Марии Михайловне Богдановой, как потомку Николая Мозгалевского.

К тому времени мы всей семьей успели не раз побывать у Марии Михайловны. В ее комнатке уйма книг, старых фотографий, портретов декабристов и русских поэтов. Сухонькая беленькая хлопотунья с живой доброжелательной речью, только голова

стала кружиться и глаза совсем ослабли, ничего не может читать.

Объясняю ей по телефону, что том с делом Николая Мозгалевского вышел, но в библиотеки еще не поступал, а мне он нужен срочно и т. д.

— Передариваю его вам... Мне он уже не потребуется, а дело нашего предка я знаю в подлиннике.

— Спасибо.

Да, царские ищейки без следа уничтожили стихи, найденные у Ильи Иванова, написанные, судя по материалам следствия, его собственной рукой. В преамбуле допроса Иванова черным по белому значится: «В бумагах, взятых при арестовании Вашем, найдены стихи, *рукою вашею написанные* (курсив мой.— *В. Ч.*) на лоскутке, и по содержанию своему означающие дерзостнейшее вольномыслие». Иванов в своем ответе не говорит напрямую, что стихи написаны не его рукой, а утверждает, будто взял их у Громнитского «только для прочтения», однако едва ли генерал-адъютант Чернышев мог ошибиться — он и раньше допрашивал Иванова, изучал его письменные показания и наверняка хорошо знал почерк подследственного. Стихи эти, очевидно, представляли особый интерес — их искали, чтобы уничтожить. На следующий день один из вопросов Петру Громнитскому Чернышев сформулировал так: «Кому еще, кроме Иванова, вы сообщили помянутые стихи *для списания* (курсив мой.— *В. Ч.*) и где находится тот экземпляр оных, который вы оставили для себя?»

Комментаторы пишут, что найденное в бумагах Ильи Иванова стихотворение, авторство которого следователям было неизвестно, есть будто бы стихотворение А. С. Пушкина «Кинжал». Но это же не так!

Судя по ответам Громнитского, он не знал, кто автор стихов, но «экземпляр, найденный у Иванова, есть подлинный — тот самый, который получен мною от Бестужева, и точно в том же виде, как был мне доставлен». И далее он «вспомнил обстоятельство, о котором умолчать не желает»: «В лагере же при Лещине Бестужев, случившись у Спиридова, где и я был с Тютчевым, в разговорах своих восхвалял сочинения Александра Пушкина *и прочитал наизусть одно, приписывая оное ему, хотя менее дерзкое, но не менее вольнодумное. Вот оно...»* Далее в деле идут густо замаранные те самые строки из пушкинского «Кинжала», на память воспроизведенные Петром Громнитским.

Попрошу читателя обратить особое внимание на выделенные мною курсивом слова в последнем показании Петра Громнитского. Из них совершенно ясно, что «Кинжал» — стихотворение «менее дерзкое», о котором, собственно, Громнитского никто не спрашивал! А какое «более дерзкое» попало в бумаги Иванова? Назавтра генерал-адъютант Чернышев в уточнительном вопросе Иванову явно имеет в виду также два разных стихотворения: «Сказывал ли вам поручик Громницкий при отдаче найденных у вас вольномысленных стихов, что оные получил от подпоручика

Бестужева-Рюмина, и не давал ли, *сверх того, других стихов под названием «Кинжал»,* также, по словам его, дошедших от Бестужева?» (курсив мой.— *В. Ч.*). Комментаторов XIII тома «Восстания декабристов» действительно можно понять так, что по цепочке Бестужев-Рюмин — Громнитский — Иванов единственно пушкинский «Кинжал» попал в бумаги последнего, вызвав такой пристальный интерес следствия. Нечеткость вывода выглядит ошибкой. На самом деле у Ильи Иванова был найден не «Кинжал», а совсем другое стихотворение — *не менее вольнодумное, но еще более дерзкое!*

Что же это было за стихотворение? Кажется, ничего бы не пожалел, чтобы узнать! Следственная комиссия это знала, и перед ней стояла другая задача — установить имя автора. В материалах следствия промелькнуло имя некоего гусарского офицера Паскевича, знакомого некоторых декабристов, который перевел с французского стихи Виктора Гюго «На смерть герцога де Берри», в которых «убийца, готовясь на злодеяние, говорил для своего одобрения». Если б это были оригинальные стихи, превосходившие по дерзости «Кинжал», едва ли их автор избежал бы строгого наказания! В архиве Октябрьской революции я разыскал дело Паскевича, в которое едва ли кто заглядывал за полтора века. «Членом не был, но знал о существовании Общества; не убегал членов оного и, из любопытства узнать их цель, показывал к ним свое расположение. Слушал и не оспаривал вольные суждения Бестужева-Рюмина, который в кругу товарищей нередко говорил, как оракул». Стихов Паскевича не удалось мне найти и даже подтверждения того, писал ли он их, но с французского, оказывается, действительно переводил. «Из стихов на смерть дюка де Берри перевел на русский язык два отрывка...» И вот немаловажное сведение: «...и передал оные некоторым, в том числе Бестужеву».

Вроде бы прояснилось? Нет, все же нельзя сказать с уверенностью, что стихотворение, найденное у Иванова и вызвавшее такой пристальный интерес Следственной комиссии, было переводом Михаила Паскевича с французского.

Вот свидетельство Спиридова, который, сознавшись, что «Кинжал» был получен им от Бестужева-Рюмина, хвалившего «сочинение Пушкина», и переписан Громнитским, добавляет: «Бестужев в продолжение лагеря при м. Лещине несколько раз бывал у меня, как припомню, раза три или четыре, и не помню, в котором разе своего приезда он приводил вышеозначенные стихи, *так же имел и другие* (курсив мой.— *В. Ч.*), которые он называл по моему спросу *«Что это за стихи?»—«Это дух гусаров»...* (подчеркнуто в деле).

Но Спиридов *не подтверждает,* что знакомое ему стихотворное произведение под условным названием «Дух гусаров» есть то самое стихотворение, что было найдено у Ильи Иванова. И заканчивает: «Кого же сочинения все сии стихи, совершенно поистине не знаю».

В сложной вязи показаний, вопросов, ответов и протоколов, очных ставок легко запутаться, и меня не покидает ощущение, что «славяне» специально запутывали следствие, а следствие специально запутывало современников и будущих историков, не раскрывая конкретного содержания и названий вольнолюбивых стихов, которые были в широком ходу среди «славян».

Добавлю, что Паскевича тоже посадили в крепость, но царь послал с сопровождающим записку: «посадить по усмотрению и содержать хорошо». Гусар этот даже не был лишен чинов; просто его перевели в Иркутский гусарский полк, а вскоре в Волынский уланский, где он дослужился до майора.

Нет, у Ильи Иванова наверняка было другое, исключительно опасное для самодержавия стихотворение, и другого автора! Выписываю из дела Иванова все, что о нем говорится: «означенные стихи», «сии стихи», «вышеозначенные стихи», «стихи сии», «помянутые стихи», «по содержанию своему означающие дерзостнейшее вольномыслие», «сие дерзновенное сочинение». А в деле Михаила Бестужева-Рюмина следовательская характеристика сочинения, найденного у Иванова, достигает, кажется, предела верноподданнического осуждения: «...стихи, написанные на лоскутке и по содержанию своему означающие *неистовое* вольномыслие» (курсив мой.— *В. Ч.*).

Следствие всячески и по любому случаю подчеркивает дерзость стихотворения — только пять раз, обращаясь к пятерым разным подследственным, генерал-адъютант Чернышев определяет его содержание как «дерзостнейшее вольномыслие». Должно, и в самом деле оно было неслыханно дерзким! Настолько дерзким, что даже цареубийственный «Кинжал» Петр Громнитский охарактеризовал, повторяю, как сочинение «менее дерзкое»...

И при всей своей из ряда вон выходящей дерзости стихотворение это, очевидно, было серьезным, подрывающим такие устои, что Следственную комиссию даже приводило «в трепет». Еще раз просматриваю вопросы Комиссии и вдруг обращаю внимание на некую важную подробность. Как, однако, жаждали следователи узнать имя автора столь «богопротивных и в трепет приводящих мыслей»! *Богопротивных?*

И все же, наверное, это был Пушкин! Да, «Кинжал», написанный в 1821 году, полон ненависти к тиранам, жаждой мести за их злодеяния, содержит прямую угрозу царю, а историческая параллель — кесарь и «вольнолюбивый» Брут — резко подчеркивала и осовременивала смысл стихотворения, хотя планы цареубийства созрели задолго до «Кинжала» и восстания 1825 года в умах Михаила Лунина и Ивана Якушкина. Отдельные строфы из «Вольности» и «Деревни» тоже могли кинуть в дрожь верных слуг царя, но едва ли к ним приложимо определение «богопротивные». К тому времени, правда, уже была написана «богопротивная» «Гавриилиада», но эта очень озорная по содержанию поэма довольно велика и даже отдельные ее «дерзостные» эпизоды не могли уместиться

«на лоскутке»; видно, стихи, найденные у Иванова, были намного компактнее по размеру и серьезнее по смыслу.

Но что могло быть не менее вольнодумным, но более дерзким, чем «Кинжал», и к тому же богопротивным? Поэт, вспоминая прошлое, писал позже в десятой главе «Евгения Онегина»:

Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал.

Поэт смело подрифмовал эти стихи к строке со своей фамилией, кратко сказав о том, что он делал в кругу будущих декабристов: «Читал свои ноэли Пушкин»...

Сохранился его единственный ноэль. Вот эти общеизвестные хрестоматийные строки:

Ура! В Россию скачет
Кочующий деспот.
Спаситель громко плачет,
За ним и весь народ.
Мария в хлопотах Спасителя стращает:
«Не плачь, дитя, не плачь, сударь:
Вот бука, бука — русский царь!»
Царь входит и вещает...

Царь много чего там вещает, а в том числе:

«И людям я права людей,
По царской милости моей,
Отдам из доброй воли».
От радости в постеле
Расплакался дитя:
«Неужто в самом деле?
Неужто не шутя?»
А мать ему: «Бай-бай! закрой свои ты глазки
Пора уснуть уж наконец,
Послушавши, как царь-отец
Рассказывает сказки».

Стихотворная рождественская сказка Пушкина написана по образцу французских сатирических песенок, пародирующих святочные молитвы. По форме этот жанр требует ювелирной творческой работы. Точно восемь стихов; первые четыре — шестисложные, потом один двенадцатисложный, два восьмисложных и шестисложный финал. Рифмовка — в строгом порядке — то перекрестная, то охватная, но куда важнее этих профессиональных тонкостей другое — политическое содержание стихов. Они, с точки зрения царских слуг, и «богопротивные», и «в трепет приводящие», и «дерзостнейшие», и «неистово вольномысленные», и чрезвычайно серьезны по сути своей. По классическим канонам ноэля в нем фигурируют дева Мария и Христос, а саркастические начальные строки сразу же, напрямую и безо всяких аллегорий, бьют в мозг и сердце беспощадным возгласом:

«Ура! В Россию скачет кочующий деспот». Царствующий фальшивый либерал, что-то промямливший в Варшаве о конституции для своего народа, вывороченная наизнанку, и мы знаем, как вовремя вошли той порой муравьевская Конституция и пестелевский «Государственный завет» в умы «северян», «южан» и «славян», это было пострашнее кинжалов, а пушкинский ноэль — куда опаснее его аллегорического «Кинжала»...

К осени 1825 года ноэль «Сказки» мог попасть на юг множеством различных способов, например, через Каменку, декабристское «гнездо», где поэт за несколько лет до этого встречался со многими «южанами», или через Кишинев. Вероятен и другой, прямой путь.

К «славянам» это «дерзейшее» и «богопротивное» стихотворение пришло через Бестужева-Рюмина. Это точно установленный факт, что Михаил Бестужев-Рюмин перед восстанием Черниговского полка знал многие вольнолюбивые стихи Пушкина, читал их наизусть, переписывал и распространял. Откуда он их брал? В том самом 1818 году, когда Пушкин написал ноэль «Ура! В Россию скачет...» и читал его в кругу будущих декабристов, Бестужев-Рюмин был определен на службу в петербургский Кавалергардский полк, со многими офицерами которого молодого поэта связывали приятельские отношения. Несколько позже Пушкин читал свои произведения на собраниях «Зеленой лампы», тесно связанной с декабристами. Для того чтоб установить, с кем из них был знаком Бестужев-Рюмин, мне пришлось бы перебрать, наверно, немало материалов и еще дальше увести читателя от перепутья, с которого мы с ним свернули на тропу декабристской поэзии... А встречался ли Михаил Бестужев-Рюмин в Петербурге с самим Пушкиным? Не захватили ли юного кавалергарда в полон его властительные чары, как захватывали они всех, кто встречал пламенный взгляд гения и узнавал его поэтическую душу и политические страсти?

Бестужев-Рюмин не был богат и не принадлежал к сановному семейству — его отец служил городничим в заштатном поволжском городишке. Однако этого юношу принимали в лучших домах столицы — он был недурен собой, пылок, честен, обладал хорошими манерами и блестящим образованием: среди его домашних учителей числились иностранцы Сен-Жермен, Зонненберг, Шрамм, русские профессора Мерзляков, Каменецкий, Цветаев, Чумаков. Конечно, Бестужев-Рюмин мог увидеться с Пушкиным в каких-нибудь «гостях», но было ли это на самом деле? Пойти от петербургских друзей и знакомых поэта?

Если факт его встречи с Бестужевым-Рюминым установлен, то историки и популяризаторы едва ли прошли бы мимо. И вот бывают же иногда удачи даже в самодеятельном поиске! Ничего не пришлось мне смотреть; в шкафу архивного зала еще лежало на мое имя следственное дело Бестужева-Рюмина. И я решил его просмотреть насквозь. Долго скриплю целлулоидными лентами,

вдруг читаю и тут же торопливо выписываю: «С Пушкиным я несколько раз встречался в доме Александра Николаевича Оленина в 1819 году...» И еще одну важную фразу в показаниях Сергея Муравьева-Апостола посчастливилось найти: «Ода на Свободу, Кинжал и Деревня (следует тщательно зачеркнутое место) Пушкина всем известны». Возможно, что следователи вымарали название или первую строку «богопротивного», «в трепет приводящего» ноэля...

Сатирическая рождественская «Сказка» Пушкина с ее взрывным политическим зарядом вполне могла остаться на руках или в памяти Михаила Бестужева-Рюмина еще в Петербурге. Вскоре после их встреч Бестужев-Рюмин был переведен в Семеновский полк, а оттуда — из-за бунтарского выступления лейб-гвардейцев — на Украину, в Полтавский пехотный. Здесь он познакомился с Павлом Пестелем и Сергеем Муравьевым-Апостолом, на квартире которого жил, сделавшись одним из самых деятельных членов Южного общества, главным «объединителем «южан» и «славян», страстным пропагандистом вольнолюбивой пушкинской поэзии, что стало позже одним из главных пунктов обвинения, пославшего Михаила Бестужева-Рюмина на виселицу.

9

С Обществом соединенных славян связано поистине удивительное совпадение случайностей! Единственный текст «Государственного завета» Пестеля, составленный вождем «славян» Петром Борисовым, счастливо уцелел для истории в следственных материалах по делу «славянина» Ивана Шимкова. «Правила Общества соединенных славян», их перевод на польский и французский сохранились только в деле «славянина» Павла Выгодовского, а единственный экземпляр «Славянской клятвы» — в деле автора этого ценнейшего исторического документа Петра

Борисова. Самый обширный и содержательный источник сведений о Славянском союзе и восстании Черниговского полка дошел до нас через «славянина» Ивана Горбачевского. В следственных же делах «славян» с наибольшей полнотой обнаружилось широкое знакомство декабристов с вольнолюбивой поэзией величайшего нашего поэта, а единственное во всех декабристских материалах стихотворение А. С. Пушкина — на страницах допросных листков «славянина» Ильи Иванова, вписанное туда по памяти Петром Громнитским. Этот же «славянин» позже, в Сибири, оставив потомству чистые экземпляры драгоценнейших политических статей и агитационных писем Михаила Лунина, своей рукой зафиксировал текст единственного известного стихотворения Сергея Муравьева-Апостола. А впереди у нас еще знакомство со страстями и мыслями совсем особого декабриста, написавшего многие тысячи страниц, из которых случайно сохранилось лишь несколько, и то в конспекте, однако и они нам многое скажут об их авторе-«славянине»...

Насколько все же история русского освободительного движения была бы беднее без «славян», без документов, дошедших до нас через их посредство или ими написанных!

Сижу за столом. Отдаленно шумит Москва. Рассматриваю автографы декабристов, подаренные мне Марией Михайловной Богдановой. Не подлинники, конечно, а фотокопии, но все равно неизъяснимое волнение охватывает меня. «Бестужевъ-Рюминъ, подъпоручикъ». «Маиоръ Спиридовъ», «прапорщикъ Бесчасновъ», «Николай Мозгалевский»... Последнее факсимиле уже из Сибири и потому без воинского чина.

Нет, у Николая Мозгалевского не нашли ни вольнолюбивых стихов, ни других декабристских документов. В Петербург он был доставлен только 21 февраля 1826 года, когда уже заканчивались повальные аресты и полным ходом шло следствие. Если и были у него какие-нибудь компрометирующие бумаги, то он, вероятно, успел их уничтожить еще в январе — после разгрома восстания Черниговского полка и первых арестов...

Ищу любое сведение о Николае Мозгалевском. Снова читаю исследования о Славянском союзе, нет-нет да звоню или заезжаю к Марии Михайловне Богдановой, которая вспоминает для меня рассказы внуков декабристов и семейные предания, просматриваю документы Военно-исторического архива в Лефортове, где хранится около пяти тысяч декабристских дел. И снова мемуары декабристов, воспоминания о них, научные исследования и беллетризованные биографии, опять следственные дела. На Большую Пироговскую приезжаю к открытию архива Октябрьской революции, вхожу первым и ухожу последним, когда в зале гасят свет. Тут хорошо — тихо, улицы не слышно, на столах под чехлами светят лампы фильмоскопов, сидят люди, шуршат ветхими бумагами, пишут в тетрадки и карточки всяк свое...

Вот Михаил Спиридов пытается в письме к царю выгородить, спасти молодых офицеров-«славян»: «...Но обратите Ваше императорское величество великодушный взгляд на членов этого круга, в котором я находился; в оном поручики Громницкий, Лисовский, подпоручикн Мозган, Фролов, Мозгалевскнй; прапорщик Шимков, портупей Шеколла совершенно в действиях неучастнники, они не знали ни настоящей цели, не читав листов Конституцин, а были в обществе по товариществу».

Благородная, но довольно наивная попытка! С самого начала для меня было совершенно бесспорным, что Николаю Мозгалевскому прежде всего стали известны «Правила Общества соединенных славян»,— как мог человек вступить в общество, не зная, куда и зачем он вступает? Кроме того, он наверняка знал и «Славянскую клятву». Дело в том, что, вступая в общество, «славяне» произносили свою клятву в торжественной обстановке, при обнаженном оружии. Представляю себе этот романтический ритуал. Горят свечи, скрещены сабли товарищей. Молодой офицер Николай Мозгалевский входит в круг, обнажает свой клинок и с тихим звоном опускает его на оружие друзей. Текст клятвы сформулирован ясно, просто, возвышенно, и его произносят наизусть: «С мечом в руках достигну целн нами назначенной. Пройду тысячи смертей, тысячи препятствий,— пройду и посвящу последний вздох свободе и братскому союзу благородных славян»...

Однако майор Спиридов говорнт о Конституции, не расшифровывая, что это такое: очевидно, и ему, и следствию было ясно, о чем идет речь. А речь шла о «Русской правде» — главном программном документе декабристов, составленном Павлом Пестелем. Этот труд был вершиной политической мысли того времени, отражавший передовые демократические взгляды русских революцнонеров. Сохранности «Русской правды» придавалось огромное значение. Уже находившийся под арестом Пестель сказал навестившему его Сергею Волконскому: «Будь спокоен, я ни в чем не сознаюсь, хотя бы в кусочки меня нзорвали — спасайте только «Русскую правду».

Ее закопали в приметном месте и когда во время следствня достали, то выяснилось, что она не завершена. Позже историки по сохранившимся первым главам, показаниям Пестеля и других декабристов восстановили ее принципиальные положения, но этого никогда бы с такой полнотой сделать не удалось, если б не одно редчайшее историческое обстоятельство — нашелся краткнй конспект «Русской правды». Помню, меня буквально поставила в тупик исключительная случайность этой драгоценной находки. В самом деле, сотни людей состояли членами разных декабристских обществ, тысячи были причастны к ним по родству или товарнществу, большинство их — вельможи, сановники, высшие офицеры, литераторы, историкн — имели домá, имения, библиотеки, секретные шкафы и сейфы для хранения самых ценных бумаг. А вот краткое изложение раднкальнейшего политического до-

кумента той эпохи дошло до потомков в единственном экземпляре, найденном на квартире бедного прапорщика-«славянина» Ивана Шимкова и сохранившемся в его следственном деле. Причем этот документ, называемый «Государственным заветом», как мы сейчас убедимся, размножался, и на руках у Шимкова одновременно оказалось даже два его экземпляра!

И вот я читаю один из ответов Ивана Шимкова, двадцатидвухлетнего прапорщика, учившегося до армии в Харьковском университете: «Государственный завет» получен мною от майора Спиридова, оный дан мне по незнанию, что от подпоручика Борисова я прежде всего имел уже таковой, мною же не было посмотрено на первых порах, что в данной бумаге заключалось, и так как прежний довольно неразборчиво написан, то и был изорван, а сей оставлен». Но давал ли Шимков кому-нибудь читать этот документ? Да! «Найденный у меня «Завет» писан Борисова рукою, даван был мною читать *подпоручику Мозгалевскому...»*

Последние два слова выделил не я — они подчеркнуты карандашом в следственном деле. А комментарий специалистов выглядит так: «Особый интерес в Комитете Шимков вызвал тем, что в его бумагах обнаружились «Конституция Государственный завет», переписанные стихи А. С. Пушкина и какое-то прозаическое произведение... В своих письменных ответах на вопросы Шимков не скрыл, что «Конституция Государственный завет» была составлена П. И. Борисовым 2-м, читал этот конституционный проект один Н. О. Мозгалевский и т. п.». Итак, было документальное подтверждение, что Николай Мозгалевский познакомился и с главным политическим манифестом декабристов, проектом нового, республиканского устройства России.

Это заключение для меня стало особенно ценным, потому что в мой блокнот была выписана давняя характеристика Николая Мозгалевского, принадлежащая М. В. Нечкиной: «Недалекий малый, напуганный следствием Мозгалевский так до конца и не понял ни цели тайного общества, ни серьезности дела». Но за что же тогда, простите, вечная ссылка? И мне, неспециалисту, хотелось быть предельно объективным, скрупулезно точным, вооруженным всеми доступными документами — речь шла о репутации одного из сосланных в Сибирь декабристов, значит, *об истории,* в которой нам нужна одна правда, более ничего. Какой бы ни была эта правда, только установив ее, история приобретает истинную ценность...

Мне ничего не удалось найти о детстве декабриста и какие-либо подробности о его родителях — нежинские архивы погибли в последнюю войну, в черниговских не нашлось ни бумажки. Воспитанный матерью-француженкой юноша, очевидно, все же не был столь «недалеким малым», если сохранившиеся документы 1-го Кадетского корпуса, где учился Николай Мозгалевский, свидетельствуют, что он состоял в списке лучших воспитанников «по общим наукам и по строевым занятиям». А однажды начальник корпуса даже поручил ему приветствовать на французском язы-

ке Александра I, соизволившего посетить корпус, и «за это кадет Н. Мозгалевский удостоился высочайшей благодарности». Только ни в каком сне, конечно, не мог увидеть юный кадет, что пройдет совсем немного времени и он предстанет пред грозными очами следующего царя уже в качестве государственного преступника...

Каков он был из себя, этот молодой офицер? Вот словесный портрет Николая Мозгалевского, набросанный жандармом после его ареста: «Телосложения стройного, рост выше среднего, глаза черные, волосы черные, кучерявые, лицо смуглое, чистое, нос прямой, на левой руке, пониже локтя — шрам от сабельного удара, тут же — родимое пятно, величиной с горошину». И есть свидетельства, что декабрист, удостоенный недоброй характеристики спустя сто лет после главных событий в его жизни, был очень порядочным и гуманным человеком. И не только из-за доброго характера и хорошего воспитания своего, но и, очевидно, в силу нравственно-идейных принципов, исповедуемых «славянами». В царской армии тех лет процветали дикий мордобой, фельдфебельское сквернословие, бесконтрольное и безнаказанное унижение солдат. Один из рядовых 3-й мушкетерской роты, командиром которой был до ареста Николай Мозгалевский, рассказывает на допросе простыми солдатскими словами: «Подпоручик Мозгалевский запрещал фельдфебелю бить солдат, он говорил, что это зазорно для воина русского, как и для всякого человека. Сам подпоручик никогда никого даже пальцем не тронул, не ругал, а старался понятно объяснить, фельдфебелю и солдатам приказывал не сквернословить, не лаяться друг с дружкой». Но, быть может, это лишь частное мнение одиночки, вызванное желанием хоть чем-то помочь любимому офицеру, попавшему в такую беду. Специальный военный следователь, адъютант главного штаба 1-й армии Сотников, посланный в Саратовский полк для сбора сведений о декабристах, сообщал верховному суду, что «о подпоручике Мозгалевском... солдаты сожалеют и говорят, что он для них был весьма добр» (М. В. Нечкина. Общество соединенных славян. М.—Л., 1927, с. 116).

Перед отправлением из Петропавловской крепости в Сибирь Николай Мозгалевский, не имея ни копейки денег и не рассчитывая на материальную помощь родных, послал командиру Саратовского полка письмо, своеобразное завещание о своем «наследстве» — лошади, шпорах, седлах, офицерской амуниции, белье. Верховую лошадь, седла и две пары серебряных шпор он просил продать кому-нибудь из офицеров, а вырученные деньги употребить на улучшение солдатского котла. Другие личные вещи, в том числе шинель, сапоги и белье, передать его бывшему вестовому...

Показания этого вестового военному следователю настолько интересный документ, что я должен на нем несколько приостановиться. В отличие от других солдат и офицеров, сослуживцев Мозгалевского, вестовой оказался довольно словоохотливым, и я

приведу его ответ на один только вопрос: случались ли у подпоручика «сборища» и кто на них бывал? Ответ: «У подпоручика Мозгалевского из господ офицеров чаще других бывали: прапорщик Шимков, капитан барон Соловьев и майор Спиридов. Сей майор, старше их годами, умом всех превзошел. В полку его уважали. Из юнкеров бывал Шеколла с товарищами, имена коих не знаю. Из нижних чинов постоянно бывали: Шутов, Зенин, Юраш и Анойченко. На сборищах рядовые не стояли в присутствии господ офицеров, как полагается по уставу, а сидели запросто, как ровня. Анойченко говорил, конечно, стоя и так ладно да складно, что даже сам майор Спиридов к нему прислушивался, а уж майор-то был умная голова».

В этом четко очерченном окружении Николая Мозгалевского немало интересных фигур. Дана достаточно ясная характеристика, в частности декабриста Михаила Спиридова, это был единственный «славянин» уроженец Москвы. Один из интереснейших людей той эпохи Петр Чаадаев, объявленный сумасшедшим за свои «философические письма», приходился Спиридову двоюродным братом — их матери были родными сестрами, дочерьми известного русского историка князя М. М. Щербатова. Философские и политические взгляды Чаадаева давно и подробно разобраны специалистами, но мне попутно хотелось бы подчеркнуть здесь лишь одну его мысль — о единении народов в будущем при равенстве всех. Народы, писал он, должны протянуть «друг другу руку в правильном сознании общего интереса человечества, который был бы тогда ничем иным, как верно понятым интересом каждого отдельного народа». В сущности, это была идея уже известной нам утопической славянской федерации применительно ко всему миру...

Отметим, что самый старший по чину и возрасту Михаил Спиридов был майором Пензенского полка, Веньямин Соловьев — штабс-капитаном Черниговского полка, и оба они приходили на собрания «славян» к подпоручику *Саратовского* полка Николаю Мозгалевскому — очевидно, у хозяина квартиры были какие-то качества, позволявшие встречаться революционерам разных воинских соединений именно здесь.

Издалека и крепко полюбил я «славян»! Мысленно восстанавливаю обстановку этих собраний у Мозгалевского. Майор, барон-капитан, прапорщик, юнкера и солдаты в квартире подпоручика за общим политическим разговором! Причем «нижний чин» Анойченко говорил такие вещи, что сам майор Спиридов, «умная голова», прислушивался к нему, а хозяин квартиры, подпоручик Мозгалевский, согласно тем же показаниям его вестового, *«подбодрял солдат и поддакивал Анойченко»*. Я выделил эти слова для дополнительной характеристики скромного подпоручика, того самого «недалекого малого», чью личность я решил несколько высветить ради уточнения малой истины, из суммы которых составляется большая. Демократизм, товарищеская обстановка встреч офицеров, юнкеров и солдат на квартире Николая

Мозгалевского были вполне в духе «славян» и объяснялись их принципиальными взглядами на движущие силы будущего государственного переворота.

О юнкере Викентии Шеколле у нас речь впереди, а сейчас несколько слов об Анойченко, фигуре значительной и яркой. Очевидно, он был одним из самых сознательных и революционно настроенных солдат эпопеи 1825 года. Следы этого, бесспорно, незаурядного человека прослеживаются еще с 1820 года. Тогда он был рядовым лейб-гвардии Семеновского полка, стоявшего в Петербурге в качестве главной воинской части, охранявшей покой царской семьи. И вот даже для офицеров, будущих декабристов, уже не первый год вынашивавших планы восстания, цареубийства и государственного переустройства, стали неожиданностью волнения в созданном еще Петром I заслуженном полку. Причем против притеснений и жестоких наказаний, введенных новым полковником, ставленником Аракчеева, восстала первая «государева рота», а весь полк поддержал ее. После ареста и отсидки в крепости самые активные солдаты-семеновцы были рассыпаны по разным воинским частям. Анойченко попал на Украину и некоторое время служил в мушкетерской роте Саратовского полка, которой поначалу командовал Николай Мозгалевский, так что присутствие его на политических собраниях в квартире своего бывшего командира не было случайным. Солдат этот был полуграмотным человеком, но обладал природным умом и способностями политического агитатора. Он настолько выделялся среди своих товарищей, что во время Лещинского лагеря, где была выработана общая платформа «южан» и «славян», а политические собрания стали непременной принадлежностью армейского быта, майор Спиридов счел нужным представить Федора Анойченко будущему руководителю восстания Черниговского полка подполковнику Сергею Муравьеву-Апостолу, отрекомендовав его как лучшего солдатского агитатора среди рядовых саратовцев. После подавления восстания Анойченко был насмерть забит шпицрутенами на плацу...

Итожу очевидное. Николай Мозгалевский был единственным в Саратовском полку офицером членом Общества соединенных славян; десятки его сослуживцев придерживались не столь передовых по тем временам убеждений. Он был беден, но бескорыстен и добр, исповедуя альтруистические правила «славян» И почему-то именно у него собирались офицеры и солдаты разных полков и рот для обмена политическими мыслями — майор Спиридов, капитан Соловьев, прапорщик Шимков, юнкер Шеколла, рядовые Анойченко, Ерашев, Зенин и Шутов. Эти лица, запомнившиеся вестовому Мозгалевского, бывали «чаще других» — значит, приходили и другие. Викентий Шеколла приводил товарищей-юнкеров, которых вестовой Мозгалевского не успел, очевидно, узнать. Собрания у Мозгалевского были частыми, многолюдными, пестрыми по составу и довольно бурными. Правда, сам Николай Мозгалевский говорил мало, больше слушал дру-

гих и поддакивал; что ж, бывают такие люди по характеру или манере поведения, но чтобы не понять смысла агитационных речей, целей и серьезности дела, нужно было обладать поистине патологической непонятливостью...

И еще одно, очень важное: Мозгалевский еще до Лещинского лагеря принимал участие в идейно-организационной работе Славянского союза.

Многие «славяне» вступили в общество лишь в лагере при Лещине. Это будто бы касается и Николая Мозгалевского — такой вывод сделали историки, исходя из показания самого декабриста: «В 1825 году во время лагеря под Лещиным прапорщик Шимков пригласил меня взойти в тайное общество, имеющее намерение изменить правительство и ввести конституцию». И дальше идет простая и короткая старомодная фраза, написанная рукою «нашего предка»: «Я на сие согласился...».

Черным по белому, яснее ясного, и вопросов, как говорится, нет и быть не может. Но все же у меня, когда я повнимательней посмотрел дела «славян», возникли вопросы. Прежде всего, в каком месяце это произошло? В письме Шимкова к императору из Петропавловской крепости означена более точная дата: «1825 года, *сентября первых чисел*» Шимков услышал от комиссионера Ильи Иванова, что Борисов и Громнитский хотели с ним о чем-то поговорить, *«через несколько дней»* Громнитский дал ему Славянскую клятву, а еще *«по прошествии нескольких дней»* Громнитский и Тютчев объявили, что существует Общество соединенных славян. Потом Шимков «ожидал» принятия в общество, и только после первого объединительного собрания «южан» и «славян» капитан Тютчев порекомендовал его подпоручику Бестужеву-Рюмину «как готового вступить в члены оного общества». Еще некоторое время спустя Шимков якобы посоветовал Громнитскому и Тютчеву «принять в общество подпоручика Мозгалевского, полагаясь на его молчание, что и было препоручено мне сделать».

Итак, сентябрь, ближе к середине месяца? Но ведь Николай Мозгалевский уже присутствовал на правах равного участника в собраниях начала сентября! Об этом свидетельствует и его собственное признание, и показания Петра Борисова, Ивана Горбачевского, Михаила Спиридова. Раскрываю следственное дело юнкера Саратовского полка Викентия Шеколлы: «В исходе лагерей, бывших под м. Лещином в *августе* (курсив мой.— *В. Ч.*) прошлого 1825 года, не помню кого послал за мной подпоручик Мозгалевский. Прибыв к нему в палатку перед вечером, где тогда никого не было, он, Мозгалевский, после обыкновенного приветствия начал жаловаться на притеснения начальников, на тяжесть службы, на угнетение оною солдат, потом, объявив мне, что для исправления всего того и приведения в лучший порядок составляется тайное общество, приглашал меня вступить в члены оного...». Мог ли декабрист Николай Мозгалевский *в августе*

1825 года приглашать в общество нового члена, если сам был принят в него лишь *в сентябре?*

И еще некоторые свидетельства. М. В. Нечкина: «С. Муравьев и М. Бестужев-Рюмин, очевидно, с первых шагов знакомства со Славянами, стали заботиться о том, чтобы забрать их в руки. С этой целью они привлекли к Славянскому обществу, хотя в сущности не имели на то права, майора Пензенского полка Михаила Матвеевича Спиридова» (Общество соединенных славян, с. 62). Но доподлинно установлено, что первое знакомство Михаила Спиридова с Бестужевым-Рюминым состоялось только *30 августа,* а из протокола очной ставки Мозгалевского со Спиридовым мы узнаем дополнительную подробность о времени вступления в общество «нашего предка»: «...По самим его словам он вступил в оное прежде меня»,— собственноручно написал Спиридов, а генерал-адъютант Чернышев, скрепив это показание своей подписью, почему-то не зацепился за него... Добавлю, что формальное принятие в члены общества того или иного декабриста не обязательно означало момент, с какого следует вести отсчет его революционной деятельности или умонастроений. Братья Беляевы, скажем, вообще не состояли ни в каком обществе, а вышли на Сенатскую площадь...

И еще сохранилось письмо декабриста-«славянина» Павла Выгодовского, адресованное Петру Борисову. Прочитав его, я, помню, позвонил Марии Михайловне Богдановой — она у меня главный консультант и помощник.

— Мария Михайловна! Я где-то читал, что «славянин» Выгодовский был единственным крестьянином среди декабристов. А в его деле и описание дворянского герба, и даже справка об имении Выгодовских от 1701 года.

— Добрались и до Выгодовского? — как мне показалось, одобрительно прозвучал знакомый голос.— Он не был дворянином. И не был поляком. Он не был даже Выгодовским — только выдавал себя за дворянина Павла Фомича Выгодовского, по происхождению поляка. И документы у него были такие. На самом деле он был сыном русского крестьянина Тимофея Дунцова из села Ружичное Подольской губернии. Юношей ушел из родного дома, очевидно, в поисках образования и новой судьбы, сблизился с католиками ордена «тринитарского закона», выйдя из их богословской школы уже Выгодовским. Документы на имя безземельного польского дворянина дали ему возможность позже устроиться на казенную должность...

Дунцов-Выгодовский был единственным доставленным в Петербург «славянином», коего не пожелал видеть император. В бумагах декабриста, кроме «Правил соединенных славян», было при обыске обнаружено три письма — два от руководителя «славян» Петра Борисова и одно ответное. Письма эти общеморального содержания, за которым угадывается политическое общение, осторожный обмен взглядами двух единомышленников. И в то же время это свидетельство крепнущих товарищеских от-

ношений между «славянами». В последнем своем письме Борисов благодарит Дунцова-Выгодовского за рвение помочь «бедному страдальцу Л.», то есть Юлиану Люблинскому, который три года не был на исповеди и «здешние католические священники ужасно противу него вооружаются». Интересен постскриптум: «И я свидетельствую мое почтение, просим о ходатайстве от суеверов за нашего Юлиана. Ваш по гроб Сципион».

«Сципион» — это Иван Горбачевский. Некоторые «славяне» брали себе древнеримские имена-клички, а датировали письма по календарю французской революции. Петр Борисов подписывает первое свое послание «Протагора», называет Илью Иванова «Катоном», а Выгодовский датирует письмо мессидором — термидором, то есть июлем — августом, и свидетельствует, что должен был писать его вместе с Катоном. Копию письма он посылает Алексею Тютчеву, открывшему в эти дни Сергею Муравьеву-Апостолу Общество соединенных славян, и просит присовокупить свое «почтение и преданность» Бечаснову... А последний абзац письма П. Дунцова-Выгодовского к П. Борисову начинается словами, на которые следователи не обратили почему-то внимания. *«К Н. О. я пишу особо, он от меня того требовал»* (курсив мой.— *В. Ч.*).

Кто такой «Н. О.»? Бесспорно, не постороннее лицо, которого не знали бы адресаты — Петр Борисов и Алексей Тютчев. И это был, конечно, человек их круга, их мыслей и дел — иначе зачем его упоминать в письме сколь дружеского, столь и политического свойства? Взялся, помнится, я за полный список декабристов, перебрал все имена-отчества и имена-фамилии. Под инициалами «Н. О.» мог подразумеваться лишь один человек — Николай Осипович Мозгалевский!

Мне было радостно, что я самостоятельно установил *документальную* связь Николая Мозгалевского со штатскими «славянами», и обращенные к Петру Борисову слова П. Выгодовского на этот счет долго не давали покоя. Вот эта полная фраза: «К Н. О. я пишу особо, он от меня того требовал, а прочим, в числе коих знакомее мне г(осподин) Бечасный, присовокупляю здесь мое почтение и преданность».

Очень интересно! Во-первых, были среди «славян» и «прочие», с которыми Выгодовский был менее знаком. Во-вторых, более знакомого Бечаснова он называет несколько официально. В-третьих, о Мозгалевском, своем ровеснике, пишет довольно почтительно — «Н. О.», не раскрывая, однако, полностью его имени-отчества. А главное — из письма следует, что Николай Мозгалевский имел какое-то право *требовать* от П. Выгодовского особого письма в Лещинский лагерь!

— Мария Михайловна,— говорю я в трубку,— вы много занимались декабристом-крестьянином Дунцовым-Выгодовским... Скажите, не существовало ли между ним и Николаем Мозгалевским отношений до Лещинского лагеря? Кто это такой «Н. О.» в известном письме Выгодовского Борисову?

— Докопались. Понимаю вас. Я высказала когда-то такое же предположение, но один молодой ученый сказал, что это бездоказательно.

— Среди «славян» и «южан» декабриста с такими инициалами никого не было. И вообще я, кажется, все просмотрел. Был декабрист Николай Оргицкий, незаконный сын графа Петра Разумовского, но он петербуржец.

— Знаю. В письме имеется в виду, конечно, по обычаям тех времен, имя-отчество.

— Датируется письмо, как вы знаете, июлем — августом 1825 года. Значит, в это время или, скорее, даже еще раньше, до лагерных сборов, Николай Осипович Мозгалевский, безусловно уже известный Борисову и Тютчеву, требовал устно либо письменно от одного из штатских житомирских «славян» особого письма в лагерь!.. И я обнаружил, что составители тринадцатого тома «Восстания декабристов», который вы мне подарили, тоже относят эти инициалы к Мозгалевскому.

— Что вы говорите! В примечаниях?

— В постраничном перечне именного указателя значится страница 393, на которой другого упоминания о Мозгалевском, кроме его инициалов, нет, только «Н. О.». Общая редакция тома лучшего в мире знатока темы академика Милицы Васильевны Нечкиной...

10

Когда следственные дела декабристов будут тщательно, комплексно изучены соединенными усилиями историков, юристов и психологов, мы еще узнаем немало нового и поучительного о том времени, о первых дворянских революционерах, о тех людях вообще. Допросные листы полны явных и скрытых страстей, ложных показаний под видом «чистосердечных» признаний, ко-

торые дезорнентнровалн следствне, полны покаянных слов, длинных спнсков сотоварнщей, протоколов очных ставок н мучнтельных перекрестных допросов, тысяч назойлнвых повторов н уточнеиий. Душевное состоянне декабрнстов было, безусловио, очень тяжелым. Разгром восстанні, самоубнйства некоторых участннков, массовые аресты, одниочиое заключенне, заковываиие в кандалы наиболее упорствующнх, шнрокая осведомленность следствня, полная неясность будущего, естествениый для каждого человека страх перед смертью — все это давнло на пснхику подследствеиных, ослабляло нх волю. Выдерживалн эту пытку далеко не все. Иные плакалн, каялись, проснлн прощения у царя.

И ие все декабрнсты тогда еще зналн, что они задолго до арестов былн выданы шпнонамн, карьеристами и провокаторами. Революцнонеры вдохновлялись высокими поводами, честью н долгом истнниых сынов отечества, благороднымн целямн освобождения иесчастиых свонх соотечествеиинков; многне нз ннх спокойио и торжествеино рассматрнвалн себя как жертву во нмя будущего. Тех, кто нх предал, велн ннзкне страстн, подлые мотнвы, н сейчас я расскажу чнтателю о ннх.

Джон Шервуд, так сказать, правофланговый. Родился блнз Лондона, с детства жил в Петербурге в семье своего отца, выписаиного из Англии фабричного механнка. Лето 1825 года застало уланского унтер-офицера Ивана Шервуда на Украине, где он узнал о тайных офицерских собраниях и целях заговорщнков. Движимый карьеристскими соображениями, написал письмо Александру I с просьбой об аудиенции, которая вскоре состоялась при посредстве Аракчеева. Царь выслушал доносчика и отправил его назад в армию, поручив выведывать имена, планы, сообщать о действиях революционеров. Шервуд, проникнув в тайное общество, с рвением все нсполнил, н его сведення вскоре сошлись с рапортами других доносчиков.

Аркадий Майборода, капитан Вятского пехотного полка, подонок по натуре своей. Служил полковым казначеем, когда полк принял Пестель, и кое-что узнал о его тайной организационной и теоретической работе. Вскоре обнаружилась недостача казенных денег. Пестель пополнил полковую казну из своих средств и перевел Майбороду в ротные командиры. Вскоре были растрачены и ротные деньгн. Пестель решил отдать вора под суд, если он немедленно не возместит недостающей суммы и ие выплатит солдатского жалованья. Майборода нашел другой выход — донес на Пестеля и на сорок пять других офицеров, членов тайного общества.

Александр Бошняк, профессиональный осведомитель н провокатор, одна из самых зловещих фигур того времени, поэтому о нем несколько подробнее. Был он еще и пнсателем, автором романа «Ягуп Скупалов» и «Дневных записок о путешествин в разные области Западной и Полуденной Россни», был и ботаником, что позволяло ему в экспедициях как бы попутно интересоваться особымн сведениями, нужными правительству.

В 1825 году Бошняк выдал себя за человека, разделяющего идеи декабристов, и обширные сведения о Южном обществе передал начальству.

После разгрома декабристов, казней и высылки их Бошняк, этот, видимо, выдающийся по тем временам специалист своего основного ремесла, получил некое сверхтайное и сверхважное задание, о котором надо бы непременно вспомнить. Напал на след этого секретного поручения задолго до революции первый пушкинист Павел Анненков. В начале своего отчета об очередном путешествии с 8 августа по 25 декабря 1826 года по Санкт-Петербургской, Псковской, Витебской и Смоленской губерниям сразу после официального заголовка Бошняк пишет: «Предписано было мне не только разыскать, касающееся до г. Пушкина, но не упускать из вида и прочих случаев, которые могли бы казаться мне не недостойными внимания».

После Октябрьской революции, когда стали доступными секретные жандармские архивы, Б. Модзалевский и А. Шилов установили, что Бошняку поручалось собрать в поездке по Псковской губернии сведения о поведении великого русского поэта, его сношениях с земляками, распространении вольнолюбивых мыслей, стихов и якобы о «пущенных в народ песнях». Несомненно, что это задание было хотя бы частично связано с «богопротивными, вызывающими трепет» стихами великого поэта, обнаруженными у молодых «славян» и других декабристов, в том числе и тех, кто ошибочно считал «возмутительные» песни Бестужева — Рылеева пушкинскими.

Недавно окончательно установлено, что Бошняку был выдан перед столь щепетильной командировкой ордер «на арестование и отправление Пушкина куда следует, буде бы он оказался действительно виновным». К счастью, полномочный осведомитель не нашел оснований для ареста поэта, привез и сдал ордер в секретное отделение царской канцелярии, и архивисты сохранили этот документ до наших дней...

Не лишним будет сказать о дальнейших судьбах трех главных доносчиков, по разным мотивам, но одинаково подло выдавших декабристов царю и его охранке. Судьбы эти разные, но есть в каждой из них и такое, что словно бы связывает начала и концы, есть и общее, лишний раз убеждающее нас, что существует, однако, на земле высшая справедливость. Шервуду карьера была вроде бы гарантирована. Блага посыпались еще во время следствия над людьми, которых он первым выдал. Унтера-доносчика перевели в привилегированную лейб-гвардейскую часть, присвоили офицерский чин. Ему было даровано дворянство с учреждением герба: присягающая рука тянется из облака, над которым, в верхней части щита,— императорский вензель. Царь изменил также фамилию доносчика, повелев именовать его «Шервудом-Верным». Позже Шервуд участвовал в турецкой войне и подавлении польского восстания, получал ордена, денежные и прочие награды, дослужил до полковника... Все шло будто бы ладом да чередом, ан нет! Сослуживцы прозвали его «Шервудом-Скверным». Бенкендорф однажды использовал Шервуда по своим жандармским

надобностям, и доносчик не мог, естественно, воспротивиться. Потом новый гнусный донос, который был признан ложным, и вот тот, кого царь когда-то так отличил «в ознаменование особенного благоволения нашего и признательности к отличному подвигу, оказанному против злоумышленников, посягавших на...» и т. д., попадает в Шлиссельбургскую крепость. После освобождения Шервуда сослали в смоленскую деревеньку, где он еще долгие годы жил под секретным полицейским надзором

Майборода в награду за донос тоже был переведен в лейб-гвардию, служил и выслуживался, достигнув, как и Шервуд, полковничьего звания, только все это вроде бы благополучно внезапно оборвалось самоубийством. Особые «заслуги» Бошняка были отмечены орденом, а в конце 1826 года повышением годового жалованья до очень крупной по тем временам суммы в пять тысяч рублей. Свою деятельность Бошняк продолжал и позже, в частности в Польше, переезжая во время восстания с места на место «с пользой отечеству». И вот здесь его настиг меч «бессмертной Немезиды». Официальное описание этого события коротко и недвусмысленно: «неожиданно с кучером и камердинером, при переезде с места на место, был злодейски застрелен за открытие в 1825 году заговора»

Чем пристальнее всматриваюсь в допросные материалы Николая Мозгалевского и его товарищей по обществу, тем сильнее уверяюсь, что этот рядовой декабрист нашел свой осторожный и довольно эффективный способ безадвокатской защиты в процедуре, весьма далекой от законных следственных и судебных правил.

Здесь я обязан поведать любознательному читателю, что и следственная процедура, и сам «суд», и приговоры — казни, каторга и ссылка — все это были беспрецедентные царско-жандармские изобретения, совершенно не отраженные в Полном собрании и Своде законов Российской империи, ставшие, однако, прецедентами и, в частности, «были впоследствии распространены на всю систему политической ссылки и сохраняли свою силу в отношении всех репрессированных в 1825—1917 гг. революционеров» (журн. История СССР, 1982, № 3, с. 188).

Первое подозрение насчет осторожности «нашего предка» зародилось у меня, когда я из дела Ивана Шимкова узнал, что Николай Мозгалевский читал «Государственный завет», показавшийся ему, однако, «почти невнятным». Перечитываю этот программный документ, сжато, конспективно излагающий подробные статьи Конституции Пестеля. Нет, даже не очень грамотный человек поймет, что объявляется самостоятельность народа, отменяются сословия, вводятся Народное вече, Державная дума, Верховный собор... Но, быть может, Мозгалевский, воспитаный матерью-француженкой, настолько плохо знал русский, что его можно было счесть за малограмотного? Такие были среди декабристов. Вот, например, как писал по-русски один из них, ка-

питан по воинскому званию, человек, рожденный русским отцом и русской матерью, и я сохраняю в цитате его подлинную, из следственного дела, орфографию: «Бестужавъ утверждалъ в тртимъ собрани у бесчаснава и уандриевичя Что Конституцыя написана икагда начнетъ армия действовать то должны ей требавать Но Игде сия Конституцыя Икем была написана сево не абявилъ».

Николай Мозгалевский писал по-русски сравнительно неплохо, без грамматических ошибок; мысль в ответах следствию развивается логично, выражается кратко. Правда, за этой краткостью угадывается стремление избежать самых опасных тем и подробностей, чтоб не связать себя знанием их и *не выдать товарищей,* о чем мы поговорим позже. Для примера сравню его ответ на один из важнейших вопросов с ответом на тот же вопрос кого-нибудь из декабристов, избравших другой путь. Следствие особенно интересовало, что происходило на объединительных совещаниях «южан» и «славян», что конкретно говорили Бестужев-Рюмин и Спиридов. На этот вопрос Павел Мозган, скажем, отвечает так: «И Бестужев тут открыл, что 2-я армия вся готова и что Сергей Муравьев пригласил почти всю гусарскую дивизию. Надо как можно быть деятельными и не терять время, и что на будущий год будет всему конец и падет самовластие с высоты своей, Россия избавится от деспотизма и будет в благоденствии, что прославит имя свое не в одной Европе, но на весь свет, и бог нам поможет в справедливом деле, и, вынув образ, сказал: «Вот образ, перед которым поклянитесь действовать всем единодушно и с твердостию духа жертвовать собой для блага общего и Благоденствия России». После чего Бестужев сказал: «Назначить округи и начальников оных»,— что было тут же и сделано: в 8-ю дивизию назначен майор Спиридов, а в артиллерийскую бригаду — Горбачевский. И Бестужев изложил им правила следующие: чтобы окружные старались о присообщении членов, чтобы из округа в округ не переходить, не иметь никаких сношений между собою, все тайны, касающиеся до общества, узнанные членами, должны быть открыты окружному, но члены между собой не должны открывать один другому. А окружные относились бы во всем Бестужеву-Рюмину как избранному от корпуса, и просил Спиридова и Тютчева назавтра к себе, где им покажет бумаги и нужные для округа даст, и прочтет им Конституцию, а потом опять говорили по-французски. Довольно поговоря, Спиридов сказал, что слишком молодых не нужно приглашать и не открывать им совершенно все тайны, и Бестужев тут сказал: «Да, лучше быть рассмотрительным и нечего умножать без разбору, наша сила уже и так велика, и довольно, если вы все приведете свои части к желаемой цели».

Это лишь *половина* пространного ответа, но и ее вполне достаточно, чтобы читатель мог представить себе не только всю серьезность политических тем, тактических и стратегических вопросов, обсуждавшихся на этом собрании, но и чрезмерную сло-

воохотливость Мозгана, сообщившего такие подробности, о которых его даже никто не спрашивал. А вот основная часть ответа на *эти же вопросы* Мозгалевского, который участвовал в *том самом собрании,* да еще к тому же в отличие от Мозгана хорошо понимал по-французски: «Бестужев-Рюмин более всего старался привергать к себе и говорил в пользу общества речь, которая и состояла в том, что как мы теперь угнетены своим начальством; что же касается до Спиридова, то он более всего обращал внимание на речь и на слова, а сам почти не говорил». И больше ни словечка о том, что конкретно говорили Бестужев-Рюмин и Спиридов!

Изучая дело Мозгалевского, я иногда просто удивлялся его хладнокровию и способности дать осторожный, уклончивый ответ на такой вопрос, который, требуя предельной конкретности, ставил целью выяснить какое-нибудь важное обстоятельство. В показаниях Мозгана есть характерная подробность: присягали «славяне» на образе — что предложил, как известно, Бестужев-Рюмин. Это знала Следственная комиссия — ответ Мозгана был дан 24 февраля 1826 года. И вот 25 февраля после вопроса о том, что говорили на совещании Бестужев-Рюмин, Спиридов и другие, Мозгалевского спрашивают: «В чем именно первый из них заставлял присягать перед образом?» Постановка вопроса требует раскрытия, в сущности, главной цели объединенных обществ, сформулированной Бестужевым-Рюминым для такого случая торжественно и обобщенно. Мозгалевский присягал вместе со всеми, хорошо помнит слова Бестужева-Рюмина, помнит себя среди товарищей, их и свои возгласы. Вопрос таил в себе немалую долю коварства: если представитель «южан» *заставлял* присягать, то не ухватится ли за это обстоятельство бедный дворянчик, спасая себя за счет другого, более важного преступника? Мозгалевский понимает, что к Бестужеву-Рюмину следователи проявляют особый интерес, но не знает показаний самого Бестужева-Рюмина, Горбачевского, Мозгана и других подследственных. Что делать?

Обстановка последнего, чрезвычайно важного собрания хорошо описана Иваном Горбачевским. «13 сентября в день, назначенный для последнего совещания, все члены Славянского общества поспешили собраться на квартиру Андреевича 2-го. Это собрание было многочисленное и представляло любопытное зрелище для наблюдателя. Люди различных характеров, волнуемые различными страстями, кажется, помышляли только о том, как бы слиться в одно желание и составить одно целое; все их мысли были заняты предприятием освобождения отечества... Приезд Бестужева-Рюмина довершил упоение...»

М. В. Нечкина пишет, что его речь «запомнилась многим Славянам и вызвала их энтузиазм». М. Бестужев-Рюмин, в частности, говорил: «Век славы военной кончился с Наполеоном. Теперь настало освобождение народов от угнетающего их рабства. Неужели русские, ознаменовав себя

столь блистательными подвигами в войне, истинно отечественной, русские, исторгшие Европу из-под ига Наполеона, не свергнут собственного ярма и не отличат себя благородной ревностью, когда дело пойдет о спасении отечества, счастливое преобразование коего зависит от любви нашей к свободе? Взгляните на народ, как он угнетен! Торговля упала. Промышленности почти нет. Бедность до того доходит, что нечем платить не только подати, но и недоимки. Войско все ропщет. При сих обстоятельствах нетрудно было нашему обществу распространиться и придти в состояние грозное и могущественное. Почти все люди с просвещением или к оному принадлежат, или цель его одобряют. Многие из тех, коих правительство считает вернейшим оплотом самовластия — сего источника всех зол,— уже давно ревностно нам содействуют. Самая осторожность ныне заставляет вступить в общество, ибо все люди благородно мыслящие ненавистны правительству: они подозреваемы и находятся в беспрестанной опасности. Общество по своей многочисленности и могуществу — важнейшее для них убежище. Скоро оно восприемлет свои действия, освободит Россию и, может быть, целую Европу. Порывы всех народов удерживает русская армия. Коль скоро она провозгласит свободу, все народы восторжествуют. Великое дело совершится, и нас провозгласят героями века».

Иван Горбачевский: «...После сего каждый хотел произнести немедленно требуемую клятву. Все с жаром клялись при первом знаке явиться в назначенное место с оружием в руках, употребить все способы для увлечения своих подчиненных, действовать с преданностью и с самозабвением. Бестужев-Рюмин, сняв образ, висевший на его груди, поцеловал оный пламенно, призывая на помощь провидение; с величайшим чувством произнес клятву умереть за свободу и передал оный славянам, близ него стоявшим. Невозможно изобразить сей торжественной, трогательной и вместе странной сцены. Воспламененное воображение, поток бурных и неукротимых страстей производили беспрестанные восклицания. Чистосердечные, торжественные страшные клятвы смешивались с криками: Да здравствует конституция! Да здравствует республика! Да здравствует народ! Да погибнет различие сословий! Да погибнет дворянство вместе с царским саном!..

Образ переходил из рук в руки: славяне с жаром целовали его, обнимали друг друга с горящими на глазах слезами, радовались как дети, одним словом, это собрание походило на сборище людей исступленных, которые почитали смерть верховным благом, искали и требовали оной».

Эти большие цитаты я привел для того, чтобы читатель живее вообразил себе необычную обстановку того незабываемого собрания, в котором принял участие и Николай Мозгалевский. И вот вопрос о том, что происходило на собрании. Надо отвечать.

Николай Мозгалевский, формулируя несколько невнятно, сочиняет великолепный ответ, который совершенно не раскрывает ни содержания речей, ни сути присяги, ни настроения собрания, и никого не называет, даже Бестужева-Рюмина: «Присяга состояла в том, о чем здесь в совещании говорено будет, то чтобы о том не объявлять никому из посторонних лиц». Ловко?

Павел Мозган многое открыл уже во «вступительном» своем письме, а на следующий день по заключении в крепость, не дожидаясь вызова в Следственную комиссию и не получив от нее пока ни одного вопроса, написал дополнительное показание о цели и организации общества, совещании его членов и т. п. После первого допроса, на котором он был также чересчур откровенен, Мозган в письме генерал-адъютанту Левашеву выдал новые сведения. Потом еще одно, уже покаянное, письмо тому же адресату. Однако ни выдача важных сведений, ни расширение списка единомышленников, ни пространные раскаивания не учитывались Комиссией при определении степени вины и меры наказания. Историки пишут в комментарии к делу Мозгана: «Если откровенность, проявляемая Мозганом, была средством собственной защиты, то этот путь не оправдал себя». Следственные документы, в которых Мозган постарался так много вспомнить, заканчиваются безжалостной фразой: «Обстоятельств, принадлежащих к ослаблению вины, в деле не открывается». Павел Мозган получил свои первоначальные двенадцать лет каторги...

Иной путь избирает Николай Мозгалевский: он умело, иногда вроде бы даже рискуя, изображает из себя жертву случайности, принуждения и слабости своей, нигде не изменив однажды выбранной роли.

Один из выводов Следственной комиссии гласит: «В обществе находился весьма короткое время...» Этот вывод в разделе «Ослабление вины» не подкрепляется никакими датами или сроками пребывания Николая Мозгалевского в Славянском союзе и объединенной организации. Как это получилось, что такой дотошный следователь, как генерал-адъютант Чернышев, не обратил пристального внимания на разнобой в датах о времени вступления в общество Николая Мозгалевского, на важные показания Вестового и Викентия Шеколлы, на письмо Павла Дунцова-Выгодовского Петру Борисову, где упоминается загадочный декабрист «Н. О.», на множество неясностей дела этого, как я начал постепенно убеждаться, интересного, до конца не раскрытого следствием и не понятого историками декабриста?

И хотя я уже знал, что Следственная комиссия при определении меры вины не принимала в расчет откровенных показаний и раскрытие важных сведений, подкралось ко мне однажды, признаться, некое паршивенькое подозреньице. Был у меня момент, когда я, знакомясь с несдержанными пространными ответами некоторых подследственных, грешным делом, подумал, что Николай Мозгалевский, быть может, все же получил снисхождение в обмен на какие-нибудь существенные сведения, на раскры-

тне, скажем, новых имен заговорщиков. По всем обществам предателей насбиралось девятнадцать человек, и хотя я точно установил, что ни один из них не был «славянином», но все же считал себя обязанным следовать в отношении Мозгалевского с самого начала принятому правилу быть предельно строгим и даже придирчивым, чтоб ненароком не ошибиться...

Да, среди арестованных были добровольные болтуны вроде Мозгана, были такие, которые составляли списки членов тайных обществ.

С этой точки зрения внимательнейшим образом просматриваю допросные листы Мозгалевского. Нет ни одного нового для следствия подробного сообщения! А имена? Николая Мозгалевского назвали в своих показаниях Борисов, Горбачевский, Спиридов, Шимков, Громнитский, Мозган, Фролов, Бечаснов и Шеколла. А сам Мозгалевский? Оказывается, он *не упомянул ни одной фамилии, которая была бы до этого неизвестна следствию.* Больше того — все они, за исключением одного человека, уже были арестованы и сидели в Петропавловке. Но не было ли какой-нибудь следственной тайны, связанной с этим исключением? Кто он, этот человек? Анастасий Кузьмин, поручик Черниговского полка. Фамилия эта упоминается и в кратком списке членов тайного общества, составленном Мозгалевским, и в его ответе на вопрос: «Каким образом вы и прочие члены общества приготовляли нижних чинов к возмутительным действиям?» — «...Я не приготовлял, и о других членах мне неизвестно более, как только о Сергее Муравьеве и Кузьмине». Мозгалевский, как мы скоро документально убедимся, активно «приготовлял нижних чинов» и знал, конечно, что вина Сергея Муравьева-Апостола стократ тяжелее, чем агитация среди солдат,— он был одним из основателей «Союза спасения» и «Союза благоденствия», ведущим деятелем Южного общества, руководителем восстания Черниговского полка. «Приготовление нижних чинов», с которыми больше общались, конечно, не подполковники, а младшие офицеры, существенно не утяжеляло груз вины Сергея Муравьева-Апостола, но было серьезным обвинением для поручика Кузьмина. Далее Мозгалевский дополняет свое показание конкретным личным свидетельством: «Черниговского полка Кузьмин хвастал в совещании, что у него рота готова к возмущению хоть сейчас». Почему вдруг такая необычная для Мозгалевского откровенность? Он же с головой выдает товарища! Дело объясняется очень просто. Поручик Черниговского полка «славянин» Анастасий Кузьмин, принявший активное участие в восстании, застрелился 3 января 1826 года. А Мозгалевский впервые назвал его 25 февраля того же года.

Снова внимательно просматриваю имена членов общества в показаниях Мозгалевского. Поразительно! *Он нигде ни разу не называет Павла Дунцова-Выгодовского, с которым был связан, как мы знаем, еще до Лещинского лагеря и требовал от него какой-то информации из Житомира.*

Следственное дело Николая Мозгалевского, рядовое и неинтересное только на первый взгляд, постепенно раскрывало передо мной этого все же довольно интересного и совсем не рядового человека. Причем даже известные сведения о нем при внимательном рассмотрении приобретали новую историческую глубину и нравственные оттенки. М. В. Нечкина писала: «Но, правда, в числе немногих революционных заслуг Мозгалевского стоит приглашение в члены общества юнкера Саратовского полка Викентия Ивановича Шеколлы, 23 лет».

Два слова о Викентии Шеколле. Собственно, какая особая заслуга была в том, чтобы ввести в общество всего-навсего юнкера? Однако представлять Викентия Шеколлу этаким незрелым безусым юнцом, по молодости, по глупости вовлеченным в опасное дело, было бы неверным. Иван Горбачевский набрасывает довольно выразительный портрет его: «Саратовского полка юнкер Шеколла имел от роду 20 лет, росту высокого, лицо страшное, обросшее волосами, глаза большие, черные, физиогномия изображала всю пылкость его души. Был испытанной храбрости и решительности, родом серб, уважаемый сочленами и любимый солдатами».

И числится за Шеколлой одна немалая революционная заслуга. После третьего объединительного собрания у Андреевича «славяне», стоявшие прежде на довольно умеренных позициях и призывавшие к последовательной агитационной работе среди солдат, воодушевились поддержкой и призывами «южан», склоняясь к решительным действиям. Когда они собрались своей автономной управой и выбрали Михаила Спиридова посредником для связи с «южанами», настроение у них было уже такое, что «одна искра могла произвести пожар». В Черниговском полку еще все было тихо, а в Саратовском как будто созревала подходящая для выступления ситуация. Командир 1-й гвардейской роты, в которой служил замечательный солдат-агитатор Анойченко, своими жестокостями и притеснениями довел рядовых до крайнего возмущения. Он даже запрещал в роте, как пишет Горбачевский, «иметь сношение с солдатами бывшего Семеновского полка, которые по своему положению были ревностными агентами тайного общества, возбуждая в своих товарищах ненависть к правительству». В конце собрания «славян» раздались возмущенные голоса с требованием наказать командира. Петр Борисов пытался утихомирить страсти, но тщетно, и собрание поручило Шеколле взбунтовать роту. Тот «с радостью принял сие поручение». И взбунтовал! Правда, до пожара дело не дошло — командир полка быстро сменил ротного, все успокоилось, однако этот эпизод позволил декабристам сделать вывод о настроении в полку, а для нас он важен тем, что это было первое в 1825 году *выступление солдатской массы и организатором его был юнкер Саратовского полка Викентий Шеколла.*.

Таким образом, Николай Мозгалевский, к чести его, вовлек в общество вполне достойного сочлена. Только одно удивило по-

началу меня — в следственном деле Мозгалевского фамилия Шеколлы не значится! Как такое могло получиться? Ведь этот молодой декабрист, согласно показаниям вестового, приходил с товарищами к «нашему предку» на политические собрания, а сам Шеколла рассказал на допросе, что был приглашен в общество именно подпоручиком Мозгалевским. Почему следствие прошло мимо этих свидетельств? Замечу, что вовлечение в общество даже одного нового сочлена Следственная комиссия рассматривала как тяжелое преступление, и каждый, кто был в том уличен, шел на каторгу — ведь такой человек был, бесспорно, деятельным членом революционной организации, ему полностью доверявшей, знал цели и программные документы ее, обладал правом и умением выбирать сочувствующих, посвящать их в опасные тайны и приобщать к делу. Почему все же Николаю Мозгалевскому не было предъявлено столь важное обвинение?

Тщательно просматриваю все материалы, которые помогли бы разгадать эту загадку. Вот Викентий Шеколла рассказывает, как подпоручик Мозгалевский присылает за ним. «Прибыв к нему в палатку перед вечером, где *тогда никого не было* (курсив мой.— *В. Ч.*), он, Мозгалевский, после обыкновенного приветствия начал жаловаться на притеснения начальников, на тяжесть службы, на угнетение оною солдат, потом, объявив мне, что для исправления всего того и приведения в лучший порядок составляется тайное общество, приглашал меня вступить в члены оного».

Быть может, дело в том, что не было свидетелей этого разговора? Но вот другое место. Шеколла, уже принятый в общество, возвращается в лагерь с одного из совещаний. Рядом идут майор Спиридов и подпоручик Мозгалевский. Дело было, наверное, темным осенним вечером, если не ночью, вокруг ни души. Спиридов учит Шеколлу, как «привлекать к себе нижних чинов», повторяя почти слово в слово то, что он уже слышал в палатке от Мозгалевского. Принимает участие в разговоре и революционный «крестный» Шеколлы, уточняя для нового члена тайного общества *цели*. Из-за особой важности документа выделяю его курсивом: *«...Мозгалевский упоминал, что привязывать к себе солдат должно для того, чтоб когда надобность встребует, были они в готовности действовать».*

Это примечательное место историки давно взяли на заметку, написав в комментариях к соответствующему тому, что показания юнкера Шеколлы от 13 мая 1826 года «вносят несколько ценных добавочных черт в характеристику пропагандистской работы М. М. Спиридова и Н. О. Мозгалевского среди младшего командного состава и нижних чинов в дни Лещинского лагеря».

Пересматриваю дела Спиридова, Мозгалевского, показания Шеколлы, сопоставляю даты дознаний и прихожу к выводу, что и обыкновенное везенье может играть в судьбе человека немалую роль,— свидетельства вестового и Шеколлы, записанные на юге, в армии, кажется, не успели к петербургским допросам «на-

шего предка», счастливо не совместились с его делом. А сам Мозгалевский, конечно, промолчал, отведя от себя и своего «крестника» более тяжелое наказание. Викентий Шеколла лишь просидел месяц на гауптвахте, а потом ему была определена служба «за рядового» до высочайшего распоряжения...

Не имея права фантазировать, хочу попутно обратить внимание на череду фактических обстоятельств. Общество, в котором состоял Николай Мозгалевский, придавало особое значение контактам с демократическим, революционным движением других славянских народов. И в обществе знали, очевидно, о родственных связях Мозгалевского — его четыре сестры были замужем за поляками, Павла Дунцова-Выгодовского «славяне» считали поляком, а Викентий Шеколла, возможно, был по происхождению сербом... И как не учесть эти связи, если даже их можно объяснить простой случайностью? Постепенно узнавая все это, я, признаться, больше и больше проникался уважением к далекому предку моей дочери. Прикинувшись неосведомленным и напуганным, он сумел скрыть от следствия контакты с декабристом-«поляком» — на самом деле с единственным декабристом-крестьянином — и молчанием своим посодействовать спасению единственного декабриста-серба, принятого к тому же в общество им самим. И по-другому стало читаться показание Ивана Шимкова о том, как он «советовал Громницкому и Тютчеву» «принять в общество подпоручика Мозгалевского, *полагаясь на его молчание*»... (курсив мой.— *В. Ч.*).

Нет, в действительности Николай Мозгалевский не был чрезмерно напуган следствием! Он спокойно, расчетливо и осторожно держался своей линии поведения. На вопрос о том, в каких предметах он наиболее старался усовершенствоваться, Мозгалевский, в отличие от Михаила Лунина, например, прямо рубанувшего: «В политических»,— с кажущейся наивностью, а на самом деле с тонкой и рискованной иронией переписывает почти всю программу Кадетского корпуса — в законе божьем, риторике, истории, географии, геометрии, тригонометрии, алгебре, французском и немецком, фортификации, артиллерии, ситуации и фехтовании.

У следствия был один особый вопрос, который задавался каждому «славянину», даже несколько заслоняя им другие политически важные пункты дознания,— о программе общества например, то есть о «катехизисе», конституции «южан», будущем переустройстве России, польских связях, общеславянской федерации. Важнейший вопрос этот — планируемое цареубийство. «Многие из членов утверждают, что вы находились при рассуждениях их о том, чтобы начать возмущение лишением жизни царствующего лица и всех священных особ августейшей царствующей фамилии... Когда, где и каким образом сие происходило и кто из членов был назначен для совершения сего преступного предприятия?» Николай Мозгалевский, зная, конечно, об особом пристрастии следствия к этой теме, ответил, что при подобных рассужде-

ниях не находился и «ни от кого о том не слыхал». После такого ответа Николая Мозгалевского надолго оставили в покое, содержа, однако, по-прежнему строго, как повелел царь. Через полмесяца декабрист решил напомнить о себе.

Немало прочел я писем из Петропавловки на имя императора. Во многих из них излагаются отдельные факты и подробности 1825 года, называются новые имена, уточняются обстоятельства некоторых событий. Есть письма, подписанные: «С глубочайшим высокопочитанием и таковою же преданностью за счастие поставляю пребыть по гроб мой вашего императорского величества всемилостивейшего государя верноподданный раб (подпись)».

Николай Мозгалевский не употреблял подобных выражений и вообще не писал царю. В первом своем письме он обращался к Следственному комитету с просьбой позволить ему «прийти в оный и узнать», почему же его держат в такой строгости. «...Я до сих пор нахожусь под строгим присмотром, что меня весьма беспокоит, и полагаю себе, чрез то самое, что, может быть, в некоторых ответных пунктах моих находят меня сомнительным...». Он обещает во всем сознаться и сказать все, что только припомнит, но не приводит ни одного факта, ни одной фамилии! Через два дня на письме, поступившем в Комиссию, появилась помета: «Читано 12 марта» и... никаких последствий. Строгое содержание, конечно, было способом нажима на подследственных. Представьте себе состояние молодого человека, который *знает* за собой вину, но, не сознавшись в ней, сидит неделю, другую, третью в одиночке, и никто его не вызывает, несмотря на письменную просьбу. И неоткуда получить сообщение о том, что о нем в это время говорят следствию его сообщники. Томительными, тревожными днями и ночами поневоле может прийти в голову мысль, что ты, быть может, уже заточен навечно. Мозгалевский по-прежнему не обращается к царю, а, продолжая играть свою роль, пишет новое, совсем короткое, в одну фразу, прошение Следственной комиссии об увольнении его «хотя от строгого присмотра». Разглядываю помету вверху этого листа: «Читано 30 марта». И снова никаких распоряжений. В марте-то его еще вызывали по другим делам, а тут лишь безмолвные непроницаемые стены камеры № 39 Невской куртины Петропавловской крепости и тот же строгий режим.

Не удалось мне установить, в чем именно заключалась строгость содержания Николая Мозгалевского, определенная царской запиской, но вот в каких условиях, например, пребывал по соседству, в камере № 3 Кронверкской куртины, первый декабрист Владимир Раевский: «Небольшое окно с толстой железной решеткою, кровать, стол, стул, кадочка — составляли принадлежность каземата. Двери с небольшим окошечком за занавескою снаружи и железные крепкие запоры и часовой при 5 или 6 номерах хранили безопасность узника. Ночник освещал каземат... Тяжела была жизнь в Петропавловской крепости. Тюфяк был набит мочалом, подушки также, одеяло из толстого солдатского

сукна. Запах от кадочки, которую выносили один раз в сутки, смрад и копоть от конопляного масла, мутная вода, дурной чай и всего тяжелее дурная, а иногда несвежая пища и, наконец, герметическая укупорка, где из угла в угол было только 7 шагов».

Привел я эту цитату для того, чтобы подчеркнуть одно слово в записке царя, лично распорядившегося содержать Раевского «строго, но *хорошо*». Как же содержался Мозгалевский и другие «славяне», не удостоившиеся такой милости?

Любознательный Читатель. Нет ли воспоминаний других декабристов об условиях заточения?

— Есть. «Довольно пространной» считалась камера в шесть шагов длины и в четыре ширины. Александр Беляев, назвавший свою камеру «гробом», указывает один размер — четыре шага... Во всех бастионах, равелинах и куртинах было очень сыро — крепость не успела просохнуть после катастрофического наводнения 1824 года, со стен текло, при топке печей вода лилась ручьями, и за день из каждой камеры выносили по двадцать тазов воды и больше. Декабристы страдали от головных болей, флюсов, у некоторых начался ревматизм. Из щелей выползали тараканы, мокрицы и прочая гадость.

— И в таких-то условиях узники читали и писали...

— Только у одного Сергея Трубецкого было почему-то светлое окно. Остальные окна были густо замазаны белой краской. Окна к тому же помещались в глубоких амбразурах и были зарешечены толстыми железными полосами. В этом сумраке узники жгли ночники, и копоть от сгоревшего конопляного масла и сальных свечей стояла в сыром затхлом воздухе. Иногда камеры дезинфицировали курением пивного уксуса...

— И узникам запрещали общаться между собой?

— Да, самым страшным и жестоким было одиночное заключение! Василий Зубков: «Изобретатели виселицы и обезглавливания—благодетели человечества; придумавший одиночное заключение — подлый негодяй; это наказание не телесное, но духовное. Тот, кто не сидел в одиночном заключении, не может представить себе, что это такое». Александр Беляев: «Одиночное, гробовое заключение ужасно. То полное заключение, которому мы сначала подвергались в крепости, хуже казни. Страшно подумать теперь об этом заключении. Куда деваться без всякого занятия со своими мыслями. Воображение работает страшно. Каких страшных чудовищных помыслов оно не представляло. Куда не уносились мысли, о чем не передумал ум, и затем все еще оставалась целая бездна, которую надо было чем-нибудь наполнить». Один из братьев Бестужевых в упадке душевных сил нацарапал на стене своей камеры слова: «Брат, я решился на самоубийство»...

Следствие, названное декабристами инквизицией, продолжалось. Николай Мозгалевский, пробывший в одиночке уже больше двух месяцев, возможно, подумал, что о нем забыли,— письмо в Комиссию остались без последствий, и он решил больше не писать. Весь апрель его не трогали, выдерживая перед главной сле-

ственной экзекуцией. И вот 30 апреля 1826 года Николая Мозгалевского повели на допрос, вернее, на очную ставку с Петром Громнитским «по разноречию в показаниях» Оно касалось того самого особого вопроса, на котором буквально помешалась Комиссия,— цареубийство. Итак, очная ставка подпоручику Мозгалевскому с поручиком Громнитским. «...*Первый* из них показывал, что он при рассуждениях членов общества, чтобы начать возмутительные действия лишением жизни царствующего лица и всех священных особ августейшей императорской фамилии, не был, да и после о таком преступном намерении ни от кого не слыхал, а *последний*, что на совещании у Андреевича, где положено было начать действия уничтожением царствующего лица и всех тех, кто сему воспротивится, между прочим, *находился и подпоручик Мозгалевский»*. (Подчеркнуто в деле.— *В. Ч.*)

И вот в присутствии генерал-адъютанта Чернышева Громнитский подтверждает свое показание, а Мозгалевский, «сознаваясь в том, что на совещании был, утвердил то, что о вышеозначенном не слыхал». Добравшись до этого места, я понял, что «наш предок» попался. Теперь достаточно хотя бы еще одной очной ставки, а их могло быть даже несколько, и Николай Мозгалевский напишет, что он знал о готовящемся уничтожении царя и всей августейшей фамилии! До фактического объединения с «южанами» «славяне» пытались отстоять свои первоначальные позиции. «Славянское общество желало радикальной перемены,— пишет Иван Горбачевский,— намеревалось уничтожить политические и нравственные предрассудки, однако всем своим действиям хотело дать вид естественной справедливости, и потому, гнушаясь насильственных мер, какого бы рода они ни были, почитало сегда самым лучшим средством законность». Позже, возбужден-ные зажигательными речами Бестужева-Рюмина, несколько превеличенными «южанами» масштабами антиправительственного аговора и длинными списками известных лиц, готовящихся к не-у, согласились, что будущая республиканская форма правления есовместима с монархической, а «истребление всей царской фамилии показалось им самым надежным и скорым решением сего рудного вопроса». Очевидно, Николай Мозгалевский знал о со-аннн «La cohort perdu» — «Когорты обреченных», составлен-ой в основном из «славян», по свидетельству многих декабрис-в, он присутствовал при главном принципиальном споре с южанами» о судьбе царской фамилии. Во время же следствия обому из *декабристов ставилось в немалую вину одно лишь зна-е цареубийственного заговора, любой осведомленности об од-й только этой цели.* И мне было трудно представить, что из по-жения, в которое попадал Николай Мозгалевский, можно найти кой-то приемлемый выход. Однако он был все же найден! Он зданне Николая Мозгалевского было по виду робким, а на са и деле довольно смелым; внешне наивным, но по сути издева-льским, однако главное его качество заключалось в том, что оно азалось юридически почти безупречным.

Прежде чем остановиться на нем, я позволю себе высказать одну догадку. Достаточно известно, что многие декабристы, несмотря на строгий режим содержания в крепости, находили возможности обмениваться информацией. Как известно, Александр Грибоедов, привлеченный по делу декабристов, узнавал подробности следствия и поступал в соответствии с этим знанием. Одни из способов общения подследственных был традиционным — перестукивание, другой довольно оригинальным — они громко пели будто бы французские песни, сообщая в тексте, который не понимала стража, нужные товарищам сведения. Допускаю, что и среди служителей крепости были сочувствующие, а на прогулках и в бане существовала возможность обменяться жестом, взглядом и словом. Маловероятно, чтобы Николай Мозгалевский, как и его товарищи, не искал связей. По-французски-то он знал лучше, чем по-русски.

Предполагаю также, что генерал-адъютант Чернышев начал кое-что подозревать, изучая уклончивые и малоконкретные ответы этого подследственного. Не случайно, намекая на его оправдание, будто он вступил в общество не добровольно, под давлением угроз, Чернышев потребовал «на сие *подробного и положительного показания, подкрепленного ясным доводом*» (курсив мой.— *В. Ч.*). Мозгалевский, формулируя ответ достаточно невнятно, назвал все же фамилии Спиридова и Бестужева-Рюмина, которые будто бы угрожали ему. Он хорошо знал, что для юридического обвинения следствие признает по крайней мере два показания, с его же стороны могло быть только одно. Знал также, что Бестужев-Рюмин и Спиридов станут *вдвоем* отрицать его утверждение и, следовательно, им нечего ожидать каких-либо осложнений. Но психологически-то он хоть в какой-то мере воздействует на Комиссию, заняв к тому же время и допросные листы малосущественной темой. Так и получилось, а я даже подозреваю, что выдвижение этой темы было каким-то путем согласовано между товарищами. Да и как мог Мозгалевский вступить в общество под угрозой лишения жизни от этих лиц, если он вступил в него, по многим данным, раньше Спиридова, а впервые увидел Бестужева-Рюмина уже будучи членом Славянского союза, на объединительном совещании? При чем тут эти два лица, если следствие пришло к выводу, хотя, кажется, и неверному, что Мозгалевский был вовлечен в общество Иваном Шимковым? Уверенность в том, что это был, как говорится, своеобразный «ход конем», у меня возросла, когда я прочел показания Викентия Шекоппы, будто ему при вступлении в общество угрожал лишением жизни... Николай Мозгалевский. Та же полная юридическая недоказанность и тот же психологический расчет!

Не берусь утверждать решительно, что с Шимковым был какими-то способами согласован и метод защиты по самому острому вопросу — о цареубийстве, но уж больно похоже на это! Правда, у меня нет данных о том, что Мозгалевский с Шимковым общались в крепости, да и не найти их, наверное, никогда,

если даже они были. Но нельзя ли предположить возможности их общения до заключения в крепость? Кажется, тут даже документы не нужны, а одна лишь элементарная логика, обычный здравый смысл. Эти два декабриста-«славянина» служили в одном Саратовском полку и были связаны друг с другом не только службой, но и участием в обществе, совещаниях, беседах. Шимков познакомил Мозгалевского с «Государственным заветом» и, согласно официальной версии, вовлек его в революционную организацию.

Пережив до февраля 1826 года и события на Сенатской площади, и разгром восстания Черниговского полка, они наверняка не раз обсуждали их между собой. Потом начались аресты членов Славянского союза. Достаю свои карточки. Первым арестовали вождя «славян» Петра Борисова и 21 января 1826 года доставили из Житомира в Петербург. 11 февраля в Петропавловку был заключен Михаил Спиридов. Аполлон Веденяпин, сопровождавший оправданного позже следствием Фаддея Врангеля, сам был арестован в Петербурге 2 февраля. На другой день из Житомира же привезли Ивана Горбачевского и Владимира Бечаснова, 6 февраля — Ивана Киреева, 16 — Алексея Веденяпина, 17 — Александра Фролова, 18 — Павла Мозгана...

Первые аресты «славян» Мозгалевский с Шимковым пережили, будучи еще на свободе. Большинство их товарищей по союзу начинали свой путь в Петербург из Житомира, и об этом не могли не знать саратовцы и штатские житомирские «славяне» — Дунцов-Выгодовский, Иванов и Люблинский. Все они, конечно, со дня на день ожидали ареста, и не может быть, чтобы не задумывались о том, что с ними станет и как себя держать. А возможно, Шимкова с Мозгалевским везли из Житомира вместе? Ведь оба они были доставлены в Петербург 21 февраля 1826 года. Эта дата приводится в напечатанных материалах, но мне надо было добраться в архиве Октябрьской революции до одной примечательной папки с не опубликованными пока полностью и, к сожалению, не снятыми на пленку документами — сопроводительными записками Николая I

Папку эту с грифом «хранить вечно» в читальный зал не выдают, и я снова — в который уже раз! — прошу Зинаиду Ивановну Перегудову разрешить мне пройти в ее святая святых. Должность Зинаиды Ивановны звучит внушительно — заведующая архивохранилищем документов по истории революционного и общественного движения XIX XX веков; она главная хозяйка бесценных исторических бумаг, накопившихся за два века политической борьбы нашего народа

Зинаида Ивановна! просительно говорю я в трубку — Мне только взглянуть на одну записочку царя

— По поводу!

— Николая Мозгалевского. Я вам о нем говорил, помните?

— Как же! Очень интересно. Но мы же не выдаем..

— Конечно, я понимаю. Подымусь к вам наверх, если позволите, и в вашем присутствии... Бумагу с просьбой принесу из Союза писателей.

— Что мне с вами делать? Ну хорошо, хорошо, сейчас начнем искать. Приходите завтра в это время.

Назавтра иду через тихий внутренний двор архивохранилища. Четырехугольник его замкнут громадными зданиями. Зарешеченные окна первого этажа, ворота под строгой охраной — есть все-таки порядок, хорошо! Пусть лежит здесь вечно эта нужная мне записочка!

Вот она, обыкновенная канцелярская папка с завязочками. Квадратные конверты стопками. В них — царские записки коменданту Петропавловской крепости генералу Сукину. Обозначен день и даже час в нижнем левом уголке листка, обведенного *черной* траурной каемкой. Имел ли Николай в виду некую зловещую символику? Вдруг меня передернуло: чернила были какого-то красно-ржавого оттенка, будто кровь запеклась тонкими струйками!

Даже в полной темноте чернила эти выцветают, и надо бы срочно сделать хорошие фотокопии, а то некоторые записки уже читаются с трудом — я не мог, скажем, полностью разобрать довольно пространную и очень важную сопроводиловку, с которой был отправлен в крепость Сергей Муравьев-Апостол... Разве можно удержаться и не заглянуть еще хотя бы в некоторые конверты?

Конверт № 79: «Присылаемого Якушкина заковать в ножные и ручные железа; поступать с ним строго и не иначе содержать как злодея». Размашистая, с виньетками понизу подпись «Николай». Конверт № 94 — о Михаиле Бестужеве-Рюмине: «Присылаемого Рюмина посадить по усмотрению и содержать как наистроже». А ниже подписи добавление: «Дать писать, что хочет». Новые и новые конверты. «Трубецкого при сем присылаемого посадить в Алексеевский равелин. За ним всех строже смотреть, особенно не позволять никуда не выходить и ни с кем не видеться»... «Присылаемого к. Сергея Волконского посадить или в Алексеевский равелин, или где удобно, но так, чтобы и о привозе его было неизвестно»... «Присылаемого при сем Кюхельбекера посадить в Алексеевский равелин и строжайше за ним наблюдать»...

Раскрываю конверты подряд, как они лежат. Конверт № 129 — Иван Горбачевский, № 138 — Петр Громнитский... Совсем нет записки о Павле Выгодовском — царь не удостоил его, единственного среди всех арестованных, своим вниманием. В распоряжениях Николая встречаются грамматические и синтаксические ошибки, иногда трудно уловить логику его решений, в некоторых записках проскальзывает мерзкое остроумие самодержца, упивающегося властью над людьми. В препроводиловке корнета Петра Свистунова Николай распорядился снабжать его «всем, что пожелает, т. е. чаем». Две записки о Петре Каховском. «Посылаемого Каховского посадить в Алексеевский равелин, дав бумагу, пусть пишет,

что хочет, не давая сообщаться». Через месяц с небольшим Николай посылает коменданту крепости второе распоряжение: «Каховского содержать лучше обыкновенного содержания, давать ему чай и прочее, но с должной осторожностью. И добавляет совсем нежданное: «Содержание Каховского я принимаю на себя». Комендантские финансовые документы об оплате расходов на содержание Петра Каховского за счет императора история, между прочим, сохранила, в них только не включены расходы на покупку веревки и вознаграждение палачу... А вот конверт, на котором значится: «О жиде Давыдке». Был у Пестеля такой фактор Давыд Лошак, арестованный в Варшаве. Царь распорядился: «Присылаемого жида Давыдку содержать по усмотрению хорошо». И, наконец, конверт № 150: «Присылаемого Шимкова, Мозгалевского и Шахирева посадить по усмотрению и содержать строго». Шахирева я совсем до этого не знал и уже дома нашел в алфавитнике декабристов сведения о нем. Воспитанник 1-го Кадетского корпуса, поручик Черниговского полка, «славянин» Андрей Шахирев был осужден на вечное поселение и отправлен в Сургут, где весной 1828 года умер, возвращаясь с охоты, при невыясненных обстоятельствах, так как не обнаружилось «никаких знаков, могущих причинить насильственную смерть, кроме багровых пятен на шее и всем теле»...

Царская записка в конверте № 150 лишний раз подтвердила, что Шимков и Мозгалевский, наверное, имели возможность уже в дороге согласовать некоторые позиции перед следствием. Правда, Иван Шимков, как и Павел Мозган, выбрал путь откровенного признания, быть может, наивно надеясь на снисхождение,— оба они на другой же день по заключении в крепость написали к царю длинные покаянные послания. Иной тактики, как мы знаем, придерживался Николай Мозгалевский, доведя ее до логического конца в главном пункте обвинения — осведомленности о планируемом цареубийстве. Но как он мог не знать об этом важнейшем, принципиальнейшем условии будущего переворота?

Представьте себе картину — идет с криком и гамом спор по главному пункту противоречий между «славянами» и «южанами». Михаил Бестужев-Рюмин настаивает, вдохновенно убеждает, по своему обыкновению повышает голос. Ему возражает Петр Борисов, к которому «славяне» всегда внимательно прислушивались. Необыкновенно важный и опасный разговор! Среди других «славян»-активистов сидит молодой офицер Николай Мозгалевский. Его присутствие на совещании подтверждают многочисленные показания. На следствии он, понимая опасность признания, вначале утверждает, что *не был* при этом разговоре, однако позже, в силу свидетельств, соглашается, что все же был на нем, но — «клянусь всемогущим богом» — *ничего не слыхал* о планах уничтожения царской семьи. Как это невероятное могло случиться? Очень просто — он, по его утверждению, спал! Двадцатипятилетний офицер, спортсмен, кавалерист и фехтовальщик, заявляет Комиссии, что он вдруг засыпает на самом, как говорится, инте-

ресиом месте! Наглость, коиечио, преступающая все границы, одиако обвиияемый имеет свидетеля — Иваиа Шимкова, который подтверждает, что Мозгалевский воистину спал на важнейшем совещаиии заговорщиков и об этом обстоятельстве у иих даже будто бы состоялся по дороге домой разговор.

Придумать же такое! Следствию иадо было, коиечио, притяиуть еще хотя бы одного свидетеля, ио показаиие уже записаио, и Мозгвлевский, по своему обыкиовеиию, будет теперь стоять до коица иа своем — спвл, и все тут, посему иичего ие слыхал...

«В каких сиошеииях по обществу с кем из члеиов вы иаходились?» — спрашивает геиерал-адъютаит Чериышев. «По обществу я ии в каких сиошеииях более ие иаходился, исключая с одиим только Шимковым, с которым я служил вместе в одиом полку», — письмеиио отвечает Николай Мозгалевский, словио иикогда в жизии ие зиал ои ии Михаила Спиридова, ии Веиьямииа Соловьева, ии Павла Выгодовского, ии Викеития Шекоплу, ии миогих других «славяи» и «южаи»! От общества, письмеиио показывает иа следствии Николай Мозгалевский, «кляиусь богом... старался более удаляться...». Посмотрим, так ли это. Докумеит обладает своей, иичем ие замеиимой силой, и я отмечу фамилию «иашего предка» в иекоторых показаииях.

М. Спиридов, 2 февраля 1826 года: «Через два дия я был приглашеи в селеиие Млииищи и сколько упомию иа квартиру Аидреевича, куда прибыл Бестужев. Здесь я иашел соедииеиие миогих члеиов, а имеиио: артиллерийских: Горбачевского, Бесчастиого, Аидреевича, Борисова, двух братьев Ведеияпииых, Киреева, Пестова, Тихоиова, Черноглазова; пехотиых: Пеизеиского: Тютчева, Громиицкого, Лисовского, Мозгаиа, Фролова; Саратовского: Шимкова, *Мозгалевского,* Черииговского: Соловьева, Фурмаиа, Кузьмииа, Щипила и, кажется, Быстрицкого, адъютаита геи. Тихаиовского Шагирова, комиссиоиера Иваиова, более же иикого ие припомию».

Ответ И. Горбачевского 7 февраля 1826 года иа вопрос о том, кто имеиио из «славяи» бывал иа совещаииях у Аидреевича: «Спиридов, Тютчев, Громиицкий, Борисов, Бесчастный, Аидреевич, Пестов, Фролов, Кузьмии, Киреев, Шимков, *Мозгалевский,* Ведеияпииы оба, Соловьев, Щепилов, Фурмаи и другие из 9 дивизий, которых фамилий ие зиаю».

В. Бечасиов, 8 февраля 1826 года: «...Через иесколько дией было другое собраиие, затем третье и последиее. Оба в квартире Якова Аидреевича. На сих двух последиих были: Борисов, Пестов, Горбачевский, Киреев, я, Тихоиов, Шультеи... Пеизеиского полка: майор Спиридов, Тютчев, Громиицкий, Лисовский, Фролов; Черииговского: Кузьмии, Шатилла, Соловьев, Фурмаи; Саратовского полка: Шимков, *Мозгалевский* и два юикера, коих фвмилии ие зиаю...».

П. Борисов, 13 февраля 1826 года: «В первом собрвиии бывшем в

Млиниищах у Андреевича были Горбачевский, Пестов, Бечастнов, Тютчев, Громиицкий, Лисовский, Усовский, барон Соловьев, Спиридов, Шимков, *Мозгалевский*, Ведениапин, Тихонов, Мозган, Шультень... В втором собрании были *все те же* кроме Тихонова и Шультена... В третьем и последнем, бывшем 12 сентября, были Пестов, я, Спиридов, Горбачевский, Ведениапин 1-ой, Громиицкий, Тютчев, Шимков, Лисовский, *Мозгалевский* и Шипиль».

П. Мозган, 24 февраля 1826 года: «И через несколько дней собрались у Андреевича же, где кроме вышеупомянутых членов были, как знаю по именам, барон Соловьев, Фурман, Кузьмин, *Мазгалевский* и Шимков...»

Итак, Николая Мозгалевского знали в лицо и по имени декабристы, служившие в Черниговском, Пензенском, Вятском полках и в 9-й артиллерийской бригаде, знали и общались с ним штатские житомирцы, он был *единственным* офицером Саратовского полка, состоявшим в Славянском обществе, и числился в первом десятке, присутствуя на *всех* важнейших собраниях, где обсуждались политические и тактические вопросы.

На первом совещании у Якова Андреевича Бестужев-Рюмин назвал по требованию «славян» имена Волконского, Трубецкого, Пестеля, Давыдова, братьев Муравьевых-Апостолов, Раевского, Орлова, Фролова, Пыхачева и многих других декабристов, имена союзных поляков. Николай Мозгалевский участвовал и в двух последующих совещаниях у Андреевича, атмосфера которых походила на клокочущий вулкан и где окончательно была выработана тактика объединенных обществ, определены их задачи и цели, решен спорный вопрос о цареубийстве, дана присяга на образе. Присутствуя на всех этих собраниях, он, несомненно, все слышал и все понимал, и я прихожу к выводу, что его хорошо продуманная оборонная тактика до некоторой степени ввела когда-то в заблуждение не только высочайше утвержденную Комиссию, но и того, кто сделал сто лет спустя малообоснованный вывод о напуганном следствием декабристе, «недалеком малом», который якобы «так до конца и не понял ни цели тайного общества, ни серьезности дела».

Способ безадвокатской защиты Николая Мозгалевского оказался довольно эффективным. Следователи так и не дознались, что: 1. Он был хорошо знаком с программными документами «славян» и «южан». 2. Был связан с Обществом соединенных славян еще до Лещинского лагеря. 3. Знал значительно большее число единомышленников, чем назвал на следствии. 4. Был одним из организаторов межполковых связей — на его квартире в лагере собирались для политических дискуссий офицеры, юнкера и солдаты разных воинских частей. 5. Вел активную революционную пропаганду среди нижних чинов. 6. Привлек в общество достойного сочлена. 7. Присутствовал на всех важнейших встречах «славян» и «южан». 8. Знал о пла́нируемом цареубийстве.

Многоопытную Комиссию, пропустившую сквозь строй допросов и очных ставок десятки умнейших и мужественных людей, все же не так просто оказалось обвести вокруг пальца. Итоговое обвинение Николая Мозгалевского сводилось к тому, что он «принадлежал к тайному обществу с знанием цели» (ЦГАОР СССР, ф. 48, д. 454, ч. 3, л. 226) и был осужден по восьмому разряду — на вечную ссылку в Сибирь.

Неизвестно, по какому принципу составлялись первые партии сибирских изгнанников, отправленные из Петербурга в конце июля — начале августа 1826 года. Узники слышали, как заковывали в кандалы товарищей, слышали громкие голоса прощания. И вот утром 4 августа надзиратель принес серую куртку грубого солдатского сукна, такие же панталоны в камеру Николая Мозгалевского, просидевшего здесь почти полгода.

— Одевайтесь, следуйте за мной...

В помещении Комендантского дома Николай Мозгалевский увидел двух незнакомых арестантов. Оба были старше его и болезненные с виду. Декабрист, так долго ждавший любых перемен, почти обрадовался — вырвался наконец из одиночки, вдохнул свежего воздуха, оказался среди товарищей. Зашелся в кашле и услышал мертвый голос вошедшего генерала от инфантерии Сукина:

— По высочайшему повелению... В Сибирь... Закованными...

Это была последняя группа декабристов, отправленная в тряских кибитках. Следующая партия — Николай и Александр Муравьевы, Иван Анненков и Константин Торсон — проследовала Сибирским трактом только в декабре, уже по санному пути.

В дороге Николай Мозгалевский познакомился со спутниками. Иван Фохт, бывший штабс-капитан Азовского пехотного полка, и Василий Враницкий, бывший полковник-квартирмейстер, единственный среди декабристов чех, также были осуждены на вечную ссылку в Сибирь. Они не знали, в какое место Сибири их везут,— фельдъегерь, сопровождавший декабристов, распоряжения на этот счет не раскрывал.

Никаких подробностей о следовании в Сибирь партии «нашего предка» не сохранилось, но их легко вообразить, прочитав, например, чеховское описание этой самой длинной в мире сухопутной дороги, сделанное почти семьдесят лет спустя, а также воспоминания декабристов и донесения жандармов. Каждый ехал в отдельной повозке. Рядом с каждым сидел жандарм. Каждую партию сопровождала повозка с фельдъегерем. «Арестанты от скорой езды и тряски ослабевали и часто хворали, кандалы протирали им ноги, отчего несколько раз дорогою их снимали и протертые до крови места тонкими тряпками обвертывали, а потом опять кандалы накладывали, а иного по несколько станций без оных везли...». На остановках жандармы разгоняли у повозок толпы соболезнующих, сами декабристы, выходя наружу, придерживали

кандалы, чтобы не привлекать их звоном тех, кто за день-два до этого уловил слух-шепоток, что опять везут *несчастных*.

За Уралом товарищи по судьбе попрощались друг с другом. Василия Враницкого повезли в Пелым Тобольской губернии, Ивана Фохта — в приполярный Березов, а Николая Мозгалевского ждал еще долгий путь через бескрайние степи и беспросветные дожди.

11

Декабристы по времени не очень-то далеки от нас, как недалеки и причины, побудившие первых русских революционеров, имевших дворянские звания и в большинстве своем чины, награды, поместья, богатства, прекрасных жен, выступить против самодержавия и крепостничества...

Это было незадолго до войны. Той весной мы схоронили отца, и помню, как корчевали с мамой кустарник на опушке леса под картошку, рубили корни и дернину. Под вечер становилось тяжело, и я часто садился отдыхать, потому что пальцы крючило и ноги дрожали. Помню, как мама, глядя на закат, проговорила:

— А у нас в дяревне, сказывали, раньше работали с чушкой на ноге.

— С какой чушкой?

— От брявна отпилят и рямнем или вяревкой к ноге. Жали с чушкой на барщине, снопы вязали.

— Зачем, мам?

— Ня знаю, сынок... Людей мучили.

— Зачем?

Мама не знала, что ответить, лишь печально смотрела на догорающую зарю. Правда, что очень недалеки они от нас, декаб-

ристы: когда родился мой отец, был еще жив последний из них, Дмитрий Завалишин...

Листаю старую, вышедшую еще до революции книгу, в которой документально рассказывается о патологических зверствах, чинимых помещиками над крепостными людьми. В имении саратовского помещика Жарского для наказания крепостных голодом «употреблялись личные сетки, концы которых припечатывались на затылке сургучной гербовой печатью, что лишало возможности наказанных и пить и есть». И были еще «шейные цепи, один конец которых ввертывался в потолок так, что наказанные могли находиться только в стоячем положении». Белозерский помещик Волоцкий «приковывал крепостных к цепи за шею со связанными назад руками, которые затягивались так крепко, что после четырехнедельного заключения они окончательно парализовывались». Нередко на шею надевали железные рогатки, гвозди от которых глубоко вонзались в тело. 20 марта 1826 года, в разгар следствия над декабристами, вышло высочайшее повеление, строго запрещавшее помещикам употреблять для наказания крепостных железные приспособления. А через год в тульском имении генерала Измайлова было проведено следствие, изъято «186 шейных рогаток весом от 5 до 20 фунтов, все о 6 рогах, и каждый рог до 6 вершков длины». Рогатки запирались на шее висячим замком или заклепывались в кузнице; один из дворовых носил такую рогатку восемь лет. В широком ходу была торговля крепостными, обмен их на лошадей и собак, а по югу существовали невольничьи рынки для продажи девушек в гаремы сопредельных стран под видом обучения несчастных молодых россиянок ковроткачеству...

Явление декабристов было закономерным ответом на это противоестественное состояние народа, в глубинах которого со времен Болотникова, Разина, Булавина и Пугачева жила мечта о свободе.

Любознательный Читатель. А непосредственными предшественниками декабристов можно считать Новикова и Радищева...

— Да, однако смело и глубоко мыслящих людей можно было уже тогда найти в самой, казалось бы, неожиданной среде.

— Например?

— Что мы знаем, например, об адмирале Чичагове? Ну, один из русских полководцев во время Отечественной войны, вышедший тогда же в отставку,— его обвинили в медлительности и чуть ли не в измене... Однако, по свидетельствам современников, это был знающий и умный военачальник, реформатор русского флота, человек честного и «прямого характера», с пренебрежением относившийся к придворным и с уважением к подчиненным. При Павле I его оклеветали и заключили в Петропавловскую крепость... В 1815 году он начал писать дневники, опубликованные сто лет назад в «Русской старине». На особом листке, вложенном в дневник, он писал: «При императоре Александре я пустил на выкуп своих крестьян, *ради их освобождения* (курсив П. В. Чичагова.— *В. Ч.*). За каждую душу мужского пола,

кроме женщин, мне выдали по 150 рублей. Цена была назначена самим правительством. Желая в то время избавиться от конского завода, я продал старых английских маток за триста, четыреста рублей каждую, т. е. более, нежели вдвое против стоимости людей».

— Но это просто констатация факта, и старому адмиралу, возможно, просто были нужны деньги...

— Вот что он писал в дневнике: «Грязнейшее гнездо рабства находится в так называемом русском дворянстве. Конституционно в бедном моем отечестве одно лишь крепостничество...». П. В. Чичагов великолепно знал свою родину и ее язвы! «По основному чувству сословия дворянского, оно, своим невежеством, отупением и гнусным своекорыстием, — может способствовать лишь поддержанию крепостного права; мы видим, что оно противится распространению просвещения, цивилизации и освобождению рабов». И есть у автора дневника поразительное пророчество: «Бьюсь об заклад, что не ранее пятидесяти лет (как это еще долго!) крепостные будут свободны, но что будет тогда делать наше кичливое дворянство? Увы, у него не хватит достаточно нравственной силы, чтобы удержаться от этого падения».

— Он, очевидно, не верил и в нравственные силы передовых дворян.

— Писал: «В мое время дворянство уже начинает просвещаться; некоторые лица отваживаются на борьбу с крепостничеством; но эти примеры единичные, и силы их не скоро будут соединены нравственными началами».

— Декабристы все же вскоре соединились...

— И потерпели поражение... У Чичагова, кстати, чуть-чуть не хватило прозорливости, чтоб указать на необходимость соединения нравственных сил передовых людей общества с нравственными силами русского народа, в которые он свято верил.

— Царский адмирал верил в нравственные силы задавленного крепостничеством народа?

— Именно. Вот его слова: «Крепостные боятся своих господ, господа — своих крепостных; страх обоюдный. Понятно, что при таком смешении людей, связанных таким образом, может быть очень мало или вовсе не быть нравственной силы. Так: но это мнение ошибочно. У дворянства нет больше нравственной силы, но в русском народе, переносящем иго самовластья в течение веков, никогда не оскудеет его примерная сила, заслуживающая удивления иноземцев. Увы, не увижу я собственными глазами мое отечество счастливым и свободным, но оно таковым будет непременно и весь мир удивится той быстроте, с которою оно двинется вперед. Россия — империя обширная, но не великая, у нас недостаточно даже воздуха для дыхания. Но, однажды, когда нравственная сила этого народа возьмет верх над грубым, пристыженным произволом, тогда его влечение будет к высокому, не изъемлющему ни доброго, ни прекрасного, ни добродетели...»

Декабристы первыми решились на организованное выступле-

ние, чтобы добыть вожделенную свободу для своего народа; за нее они были готовы лишиться всего, включая и саму жизнь. Что за люди были, однако, эти декабристы! С каждым годом они отдаляются от нас с их идеями и поступками, с их такими человечными чувствами и мыслями, и этот давний нравственный потенциал питал силы новых и новых поколений! Трудно поверить, например, но это сущая правда, что незадолго до казни Михаил Бестужев-Рюмин перевел с французского стихи о... музыке, которые позже мучительно, по строчечке, вспоминал Николай Басаргин, человек, чей поступок высокой человечности, связанный с семьей Мозгалевских, мы еще оценим здесь...

Помнишь ли ты нас, Русь святая, наша мать,
Иль тебе, родимая, не велят и вспоминать?
Русский бог тебе добрых деток было дал,
А твой бестия-царь их в Сибирь всех разослал!

Это Федор Вадковский, прапорщик Нежинского конноегерского полка, поэт, композитор, математик. По приговору — двадцать лет каторжных работ. Сохранилась его песня на французском «Наш следственный комитет в 1825 году» и стихотворение «Желания», из которого я привел первую строфу. Далее Вадковский пишет, что «добрые детки» Руси мечтали пролить свою кровь, чтоб этой кровью купить России волюшку, чтоб солдатушкам не век в службе вековать, чтоб везде и всем был одинаковый суд, всякий мог смело мыслить и писать, а народ управлять собою; да основать всюду школы, да чтоб не было б ни вельмож, ни дворян...

Мы ныне свободно и с благоговением вспоминаем декабристов, свято чтим их память, а в моей жизни так уж получилось, что, куда б я ни поехал, везде ищу их следы, и они мне встречаются на перепутьях почти повсюду, не только в Сибири. Далеко-далеко от нее однажды скрестилась моя дорожка с памятью о *первом* декабристе, личности совершенно необыкновенной даже для того необыкновенного времени, когда, кажется, в ответ на всеохватную бюрократично-дисциплинарно-палочную нивелировку русских как бы сами собой являлись к жизни люди большие, отважные, оригинальные, столь прекрасно не похожие друг на друга и на всех тех, кто до них уже ушел в небытие или жил после...

Весной 1976 года я, как член правления Союза писателей СССР, провел в Кишиневе международную встречу литераторов под девизом «Природа, общество, писатель». Это был первый в истории международных писательских контактов разговор на такую важную современную и столь остро нацеленную в будущее тему. Как на всяком собрании, обсуждающем большую и неизведанную тему, высказывались нами полезные, нужные, интересные мысли вместе с общими правильными словами, рождающими только общие правильные слова, которые, опасаюсь, при благоприятных обстоятельствах со временем могут превратить эту великую тему в вульгарное словотолчение. И вот в такие не-

плодотворные минуты я отвлекался, мечтая о том, чтобы урвать хотя бы полденечка в переуплотненной программе симпозиума да заняться тем, что давно завладело мною.

В свободные от заседаний часы наш автобус пылил по молдавским дорогам, часто мы обедали и ужинали в колхозных чайных, а то и прямо в виноградниках — с теплым местным вином и зажигательными народными оркестрами. На гостей производили огромное впечатление радушие и гостеприимство веселых смуглолицых хозяев и, мне показалось, в особой степени — земля. Помню, привезли нас на гигантскую покатую возвышенность. Мы пососкакивали с подножек и замерли — необозримые ухоженные виноградники кругопанорамой расстилались к горизонту; это была такая великолепная демонстрация дружного человеческого труда, любви к земле, новой созидающей яви, что она казалась даже несколько нереальной. Председатель союза финских писателей Яакко Сюрья, с которым я успел подружиться, подошел к ближним кустам, осторожно потрогал кривую лозину, наклонился и размял в руке горсть земли. Он-то понимал цену всему этому — недалеко от Хельсинки у него есть участок, где он проводит своеобразный эксперимент над собою и белорусским трактором, от зари до зари пытаясь сочетать труд на дюжине гектаров земли и леса с тем, что получается ночью, на квадратном метре письменного стола в избушке...

Обихоженной, плодоносящей была вся Молдавия, в которой жило более четырех миллионов людей и где, кажется, ни одной сотки не пустовало, а облагороженные человеческим трудом просторы таили в себе особую красоту и смысл рукотворного пейзажа.

Взгляд вокруг, однако, почему-то возвращал меня в далекое прошлое... Пушкин так начал послание Боратынскому из Бессарабии: «Сия пустынная страна...» Может, это была поэтическая метафора? Нет! «Край этот представляет бесплодную степь. От самого Аккермана до Килии, от Кишинева до Бакермана — ни одного дерева». Немногим более полутора веков назад стояли тут русские полки, а по голым увалам и долинам скакал от полка к полку, пришпоривая лошадь, автор приведенных слов — неистовый человек, революционный агитатор, раньше многих понявший, что к чему было в той жизни. Отважный офицер, прошедший в Отечественную войну сквозь огонь одиннадцати сражений, за Бородино получивший золотую шпагу, Анну за Вязьму, в двадцать пять лет чин майора, он писал позже, что когда слышал вдали гул пушечных выстрелов, то был не свой от нетерпения, «так бы и перелетел туда», потому что «чувствовал какое-то влечение к опасностям и ненависть к тирану, который осмелился вступить в наши границы, на нашу родную землю».

Далее он снимает романтический ореол с прославленного завоевателя, каким-то образом, между прочим, сохраняющийся в публикациях наших дней: «Я бы спросил, что чувствовал Наполеон, когда после Бородинского сражения 40 тысяч трупов и

раненых, стонущих и изнемогающих людей густо покрывали поле, по которому он ехал?.. По расчету самому точному 3 миллиона в продолжение его владычества было конскриптов (призывов в строй.— *В Ч*), которые все погибли в войнах и походах Почему.. смертоубийство массами называют победами?» И вот вывод не только вполне современный, но даже злободневный «Несправедливая война, и вообще война, если ее можно избежать договорами, уступками, должна рассматриваться судом народным, и виновников такой войны предавать суду и наказывать смертию»

Первый декабрист Столь почетное звание давно и прочно прикрепилось к Владимиру Раевскому, который обрел свободный образ мыслей еще до французского нашествия. И для меня совсем не безразлично обстоятельство приобщения Владимира Раевского к свободолюбивым идеям — оно произошло через посредство Гавриила Батенькова, единственного декабриста-сибиряка. Как ты ни крути, все родное, пусть даже очень далекое, нам ближе и теплей, а эта историческая подробность сделалась в моих глазах еще завлекательней, когда я постепенно узнавал ее редкое по своему драматизму продолженье и взялся разбирать расходящееся от него кругами сплетение случайных людских связей, имеющих, однако, какой-то свой таинственный глубинный детерминизм.

Гавриил Батеньков, родившийся в Сибири и позже немало сделавший для нее, перед нашествием Наполеона оказался в одном полку с Владимиром Раевским. Почуяв друг в друге родственные души, юноши сблизились, и было в этой дружбе много такого, что отдаленно напоминает мне отношения между молодыми Герценом и Огаревым. О зарождении дружбы Гавриил Батеньков вспоминал, как они «проводили целые вечера в патриотических мечтаниях, ибо приближалась страшная эпоха 1812 года. Мы развивали друг другу свободные идеи... С ним в первый раз осмелился я говорить о царе, яко о человеке, и осуждать поступки с ним цесаревича... В разговорах с ним бывали минуты восторга, но для меня всегда непродолжительного. Идя на войну, мы расстались друзьями и обещали сойтись, дабы в то время, когда возмужаем, стараться привести идеи наши в действо».

Война. За боевые отличия Гавриил Батеньков был произведен в офицеры, в жестоком бою при Монмирале весь исколот штыками, однако выжил, уволился со службы и стал инженером путей сообщения. Как воевал Владимир Раевский, мы уже знаем. После войны он вышел в отставку, недовольный мертвящим ужесточением армейского режима. «Служба стала тяжела и оскорбительна... Требовалось не службы благородной, а холопской подчиненности». Однако в цивильной жизни он увидел куда более страшные вещи. Позже на допросный пункт: «Где вы нашли такой закон, что русские помещики имеют право торговать, менять, проигрывать, дарить и тиранить своих крестьян?» — ответил: «Я могу представить много примеров, но ограничусь несколькими: 1. Покойный отец мой купил трех человек, порознь

от разных лиц и в разные времена: кучера, башмачника и лакея. 2. Помещик Гриневич, сосед мой в 7-ми верстах, порознь продавал людей на выбор из 2-х деревень. 3. В Тирасполе я много знаю таких перекупов. Например, доктор Лемониус купил себе девку Елену и девку Марию. Сию последнюю хотел продать палачу — не знаю, продал ли? 4. Капитан Варгасов (холостой) купил себе девку у майора Терещенки. Лекарь Белопольский купил себе двух девок: Варвару и Степаниду и пр. и пр. А в пример тиранства я могу представить одного из соседей моих по имению — помещика Туфер-Махера, у которого крестьяне работали в железах».

Вернувшись в армию, Владимир Раевский без оглядки встал на путь «действа». Он был достоин звания первого декабриста не только потому, что первым среди единомышленников понес кару за свои революционные убеждения и поступки. Кишиневская управа «Союза благоденствия», руководимая другом Раевского генерал-майором Михаилом Орловым, представляла собою самый решительный отряд дворянских революционеров и еще в начале двадцатых годов вела пропаганду среди солдат, готовя их к военному выступлению. Владимир Раевский, написавший к тому времени два больших агитационных сочинения — «О рабстве крестьян» и «О солдате», ездил по ротам и полкам, собирал недовольных, говорил смелые речи, а вместо учебных листков и брошюр раздавал солдатам и юнкерам, как было сказано в докладе царю, «свои рукописные прописи». Он приводил в пример семеновцев, призывал солдат с оружием в руках идти за Диестр, а в «прописях» излагались его самые бунтарские мысли. «Дворянство русское, погрязшее в роскоши, разврате, бездействии и самовластии, не требует перемен, с ужасом смотрит на необходимость потерять тиранническое владычество над несчастными поселянами. Граждане! Тут не слабые меры нужны, но решительный и внезапный удар!»

И вот арест в феврале 1822 года, о котором, однако, его успел предупредить не кто иной, как Александр Пушкин, отбывавший в Кишиневе первую свою ссылку. Замечу попутно, что в современных экскурсиях по окрестностям Кишинева непременно вам расскажут о том, что Пушкин тут кочевал с цыганами, а будто бы близ села Долна даже была у него в таборе счастливая цыганская любовь. И еще покажут заезжему «дуб Котовского», даже несколько таких дубов в разных местах. Вспоминаю вот свои поездки по Молдавии, пояснения местных гидов и до сих пор испытываю досаду, что никто из них не назвал имени Владимира Раевского...

В воспоминаниях Раевского молодой Пушкин весь перед нами — живой, непосредственный, глубоко встревоженный за судьбу товарища. Вот он входит «весьма торопливо» к Раевскому и говорит «изменившимся голосом: „Здравствуй, душа моя!"— „Здравствуй, что нового?"— „Новости есть, но дурные. Вот почему я прибежал к тебе"». И Пушкин рассказывает, что подслушал разговор об аресте Раевского. «Я не охотник подслушивать, но,

слыша твое имя, часто повторяемое, я, признаться, согрешил — приложил ухо» Раевский поблагодарил друга и начал собираться «Пушкин смотрел на меня во все глаза.

Ах, Раевский! Позволь мне обнять тебя!

Ты не гречанка, сказал я»

Об умении Раевского отвечать можно судить по его интереснейшему следственному делу или, например, по разговору с генералом Дибичем в Комиссии, при котором присутствовали великий князь Михаил Павлович и генерал-адъютант Чернышев. На вопрос о том, почему в тетрадях Раевского конституционное правление названо *лучшим,* последовал такой письменный ответ: «Конституционное правление я назвал лучшим потому, что покойный император, давая конституцию царству Польскому, в речи своей сказал: что «я вам даю такую конституцию, какую приготовляю для своего народа» Мог ли я назвать намерение такого императора иначе?» Логичен, точен и смел был ответ на вопрос, почему Раевский считает правление в России *деспотическим:* «В России правление монархическое, неограниченное, чисто самовластное и такое правление по-книжному называется деспотическим»

— Вот видите,— обратился Дибич к членам Комиссии, а потом наставительно пояснил Раевскому:— У нас правление хотя неограниченное, но есть законы

Раевский начал было:

— Иван Васильевич Грозный

— Вы начните от Рюрика,— язвительно перебил Дибич, не подозревая, какой сюрприз его ждет

— Можно и ближе,— согласился Раевский.— В истории Константинова для Екатерининского института на восемьдесят второй странице сказано: «В царствование императрицы Анны, по слабости ее, в девять лет казнено и сослано в работы 21 тысяча *русских* дворян по проискам *немца* Бирона».

Дибич, будучи немцем, не мог не заметить этих интонационных ударений и, не найдя ничего более подходящего, как защититься чином, пробормотал

— Вы это говорите начальнику штаба его императорского величества.

Далее, как вспоминает Раевский, наступила пауза. Неловкое молчание прервал великий князь Михаил Павлович:

— Зачем было юнкеров всему этому учить?

— Юнкера приготовлялись быть офицерами, офицеры — генералами...

Окончательно вышедший из себя Дибич подвинул бумаги Раевского генерал-адъютанту Чернышеву, отказавшись от дальнейшего допроса человека, с которым, как он ясно понял, рисковано было иметь дело, несмотря на его столь униженное и подвластное положение. Понял это и великий князь Михаил Павлович, особенно когда однажды сам повел допрос

— Где вы учились?

— В Московском университетском благородном пансионе
— Вот я говорил... эти университеты! — с досадой воскликнул царский братец.— Эти пансионы!
— Ваше высочество,— вспыхнул Раевский,— Пугачев не учился ни в пансионе, ни в университете..

Да, Владимир Раевский умел отвечать, но еще лучше умел молчать. Пять специальных военно-следственных комиссий занимались им, четыре года его держали в Тираспольской крепости, потом вместе с другими декабристами в Петропавловке, перед сибирской ссылкой — в Замостье, но ничто не могло сломить первого декабриста. С исключительным мужеством встречал он печальные вести с воли. Старшего его брата, уланского штабс-капитана Александра Раевского, не стало раньше других. Другой брат, Андрей, который был майором по военному чину, литератором и переводчиком «Стратегии» эрц-герцога Карла, умер через три недели после ареста Владимира. Младшего брата, корнета Григория, арестовали просто по родственной связи, из-за недоказанной еще вины первого декабриста; он сошел с ума в Шлиссельбургской крепости и по возвращении домой умер. Вскоре скончалась сестра Наталья и, не выдержав всех этих потерь, отец. К первому декабристу применяли всевозможные, в том числе и «жестокие меры», однако *он не выдал ни одного из товарищей по борьбе*. И когда Иван Пущин навестил своего великого друга в Михайловской ссылке, то Пушкин, узнав о растущих подозрениях властей насчет тайных обществ, «вскочил со стула и вскрикнул: «Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать».

Пушкин, очевидно, догадывался, что его предупреждение за день до ареста позволило декабристу сжечь самые компрометирующие бумаги, и до него уже давно дошло стихотворение Раевского, написанное в крепости летом 1822 года

Оставь другим певцам любовь!
Любовь ли петь, где брызжет кровь,
Где племя чуждое с улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой.

Это впервые было напечатано лишь в 1861 году за границей, да еще с ошибочным указанием авторства. Почти одновременно Владимиром Раевским было написано стихотворение «Певец в темнице», адресованное, как считают ученые, Пушкину Оно начинается обращением к себе трагическим восклицанием, тревожными предчувствиями

О, мира черного жилец!
Сочти все прошлые минуты,
Быть может, близок твой конец
И перелом судьбины лютой!

Снова и снова прочитываю строкн, исполненные революционной страсти н беспощадной правдивостн:

Как истукан, немой народ
Под игом дремлет в тайном страхе:
Над ннм бичей кровавый род
И мысль н взор казннт на плахе,
И вера, щит царей стальной,
Узда для черни суеверной,
Перед помазанной главой
Смиряет разум дерзиовенной.

Поэт скорбнт о некогда вольных городах Новгороде н Пскове, вспоминает о Вадиме — легендарном новгородском повстанце — н в заключительных строках говорит о народе, который «рано ль, поздно лн,— опять восстанет»...

Оба стихотворення первого узника-декабриста дошли до Пушкнна, который в том же 1822 году дважды ответил стихамн, назвав их одинаково — «В. Ф. Раевскому» н начав оба произведения с прямого обращения: «Не тем горжусь я, мой певец» н «Ты прав, мой друг,— напрасно я презрел». А в пушкннских черновиках второго стихотворения есть строчкн:

Недаром ты ко мне воззвал
Из глубины глухой темницы.

Оба послання «В. Ф. Раевскому» непросты по содержанию н, отражая мятежные искания автора, полны глубоких переживаннй, явной н полуявной политической полемики, переоценок кумиров молодости, раздумий о предназначении поэта, о жизни своей н народной.

Отсылаю к этим произведениям любознательного читателя, если он пока не смог познакомиться с нимн или уже успел подзабыть,— в них много такого, что не поддается пересказу, требует непосредственного восприятия н самостоятельных размышлений, а я вернусь к первому посланию Раевского, чтобы его словамн изложить последнюю просьбу гордого н мужественного человека:

Я не прошу от вас защиты:
Враги презреннем убиты,
Иссохнут сами, как трава!
Но вот последния слова:
Скажите от меня Орлову,
Что я судьбу мою сурову
С терпеньем мраморным сноснл,
Нигде себе не изменил...

Пусть не посетуют на меня знатоки поэзии за цитирование общеизвестного, но сочинения Владимира Раевского в последний раз вышли

давным-давно в Ульяновске тиражом всего две тысячи экземпляров, так что днем с огнем не найти уже этой драгоценной для меня книжки старой ценою в рубль, то есть в гривенник по-нынешнему Торопливое наше время часто заставляет нас не замечать непреходящих ценностей, сокрытых в прошлом, пробегать мимо них в полной уверенности, что мы обладаем ими, хотя на самом-то деле подчас неспособны разглядеть главного бриллианта старого клада. Сейчас я это попробую доказать на простейшем примере

Пушкин и Раевский. Духовная связь между ними была теснее и глубже, чем это выглядит по их поэтической перекличке и комментариям ученых-филологов. Пушкин восхищался мужеством поэта-узника, которое уже в те годы становилось героической легендой, страдал в мучительном бессилии, зная, что Раевскому вынесен смертный приговор. А помните его восклицанье в Михайловском, о котором вспомнил спустя многие годы Иван Пущин? Получив новые бунтарские стихи Раевского, написанные уже в Петропавловской крепости, Пушкин сказал изменившимся, как это было перед арестом первого декабриста, голосом: «После таких стихов не скоро же мы увидим этого спартанца» И борение чувств в посланиях «В Ф Раевскому» не до конца раскрывает и даже, быть может, несколько зашифровывает подлинные мысли нашего великого национального поэта.

А теперь я попрошу любознательного читателя проделать над собой маленький опыт. Все мы с детства хорошо помним пушкинского «Узника», много раз слышали его или сами читали наизусть, а простая народная мелодия на эти бессмертные слова прочно отложилась в памяти каждого из нас. В дружеском застолье, когда подходит пора спеть грустную песню и кто-нибудь протяжно начнет «Сижу за решеткой в темнице сырой...» мгновенно меняется общее настроение, лица становятся совсем другими и кой у кого слезы вдруг закипят на глазах.

Опыт заключается в следующем. Попробуйте, не заглядывая в пушкинский томик или школьную хрестоматию и ни с кем не советуясь, написать по памяти начало «Узника», первую строфу. Вы, конечно, ее прекрасно помните Всего четыре строки. Написали? Расставьте знаки препинания. Сейчас вы увидите, что у вас примерно получилось. Дело в том, что я множество раз и очень разным людям давал это сверхлегкое задание — школьникам, учителям, студентам, ученым, инженерам, но чаще всего литераторам — поэтам, прозаикам, критикам, переводчикам. В моих блокнотах скопились десятки автографов, в том числе много знаменитых, но.. ни один из них не верен! Обобщая ошибки, приведу три самых типичных варианта Первый, совершенно неграмотный·

Сижу за решеткой в темнице сырой,
Стомленный неволей орел молодой,
Мой старый товарищ качает крылом,
Кровавую пищу клюет за окном

Второй, наиболее характерный:

Сижу за решеткой в темиице сырой —
Вскормлеиный иа воле орел молодой,
Мой верный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет пред окном.

«Клюет н глотает»,— лнхо продолжил один из подопытиых, ио я остановил его: «Достаточио!»

А вот как выглядит, приведеииая к правнльным словам, эта строфа под пером самых памятливых:

Сижу за решеткой в темнице сырой,
Вскормлеиный в неволе орел молодой.
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пнщу клюет под окном.

Так? Нет, далеко не так! В этом варнанте, несмотря на его кажущуюся правнльность, две грубейшие ошнбкн. Не исправнв их, не понять этого классического произведения русской поэзии. Зрнтельное представление и ассоцнации, завладевающие нами при первых звуках «Узника», интоиацнонная особенность стиха заставляют иас воспринимать вторую строку как уточнение,— за решеткой сидит якобы этот молодой орел, вскормлеиный в неволе. Но все дело в точке, как бы отрубающей первую строку! Вот подлинный текст А. С. Пушкина:

Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормлеиный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном.

И я бы не стал так подробно, с постепенным подходом говорить об этой вроде бы мелочи, если б столь грубой ошнбкн не совершали даже ученые-филологи, не замечающие точку в конце первой строки и запятую в конце второй. В предисловии к «Сочинениям» В. Ф. Раевского пишется, например: «Перед внутренним взором поэта, рисующего «орла молодого в неволе», вставал облик Владимира Раевского, сидящего за решеткой в темнице сырой». Бесспорно, что стихотворение «Узник» навеяно заточением первого декабриста — ведь оно было написано в том самом 1822 году, когда на глазах Пушкина арестовали Раевского. По сложнейшим, не поддающимся точному анализу законам художественного творчества, «Узник» не только отражает реальность, но и, как всякое творение высокой поэзии, несет в себе глубокую символику. Если же условно говорить о реальности, то в образе молодого орла Пушкин «рисует» вовсе не Раевского, а самого себя! Это он, молодой орел, как бы прилетел к темнице, он — грустный товарищ узника. Стих раскрывает свою глубь и ширь лишь тогда, когда мы подумаем над тем, что молодой орел вскормлен в

неволе; здесь даже более определенный и категоричный смысл, чем строка Раевского, обращенная из Тирасполя к друзьям, пребывающим «еще в полусвободной доле». Думаю, что и «кровавая пища» — многооттеночная образно-смысловая находка гения, в которой зримая, натуралистически точная картина — молодой орел, махая крылом, клюет и *бросает* эту пищу — воспринимается как пища поэта, то есть реальная, окружающая его жизнь. О ней писал Пушкин в своем послании Раевскому:

Везде ярем, секира иль венец,
Везде злодей иль малодушный льстец,
Тиран иль предрассудков раб послушный.

Подобных слов нет в «Узнике», но этот маленький шедевр выражает больше, чем кажется на первый взгляд, в том числе напрямую о «вольных птицах» — Пушкине и Раевском, равно находившихся в неволе и задумавших *одно,* а иносказательно, аллегорически — о вечном стремлении человека к полету-мечте в дружеские объятия непорочной природы, к свободе.

Владимир Раевский был отправлен в сибирскую ссылку лишь поздней осенью 1827 года — так затянулось дело первого декабриста. Проехав много российских и сибирских городов, он оставил беглые записки о встречах на этом долгом пути, но меня особенно заинтересовала та, что состоялась вблизи моих родных мест.

Томский губернатор радушно принял изгнанника, приказал накрыть на стол, позвал гостей. Среди них находился сын бывшего томского почтмейстера Аргамакова. Он отозвал первого декабриста в сторонку и подал какое-то письмо. Раевский сразу узнал руку Гавриила Батенькова, своего «товарища и друга». Но ведь для Батенькова в это время началось его многолетнее мученическое заточение в темной одиночке Алексеевского равелина! А в записке значилось: «Может быть, известный тебе В. Ф. Раевский будет проезжать через Томск, поручаю и прошу тебя снабдить его деньгами и всем, что для него нужно, а я рассчитаюсь с тобою и проч. и проч.». Оказывается, записку эту Гавриил Батеньков прислал из Петербурга в Томск, где он работал несколько лет инженером путей сообщения и хорошо знал здешних людей, еще в 1824 году, когда Раевский был узником Тираспольской крепости.

Три года... Произошли события на Сенатской площади и в Черниговском полку, последовали аресты, приговоры, казни. Десятки декабристов проехали через Томск. Записка три года хранилась в семье Аргамаковых и дождалась первого декабриста, став символом давнего верного товарищества.

Когда писалась эта записка, Гавриил Батеньков был на вершине служебного успеха — лучший в Петербурге знаток Сибири,

ближайший помощник Сперанского, он получал высокие награды и жалованье, ведал военными поселениями, имел чин подполковника. За вину, о которой ничего в точности не знало даже само 3-е отделение, декабрист-сибиряк был подвергнут царем тягчайшему наказанию — одиночному заточению в крепость. Он объявил голодовку, пытался убить себя бессонницей, испытывал минуты полного упадка сил, но снова возрождался духом, слагая в уме стихи и поэмы. В своей «Тюремной песне», впервые опубликованной совсем недавно, Батеньков писал:

Еще я мощен и творящих
Храню в себе зачатки сил,
Свободных, умных, яснозрящих,
Не подавит меня кумир.
Не раз и смерть своей косою
Мелькала мне над головою,
Я не боюсь ее...

Лишь через двадцать лет сменивший Бенкендорфа граф Орлов испросил высочайшего разрешения облегчить участь Батенькова. «Согласен,— написал царь,— но он содержится *только* от того, что был доказан в лишении рассудка...» Историки пришли к твердому убеждению, что это было царской ложью; Гавриил Батеньков был освобожден из крепости, но... сослан в Томск.

В 1848 году Раевский получает письмо из Томска и отвечает: «Что я чувствовал, ты можешь себе представить, слезы долго мешали мне читать — дети должны были успокоить мое нетерпение. Когда я мог уже читать сам, я прочитал его несколько раз... я выспрашивал, выпытывал каждое слово, я видел в каждом слове самого себя... я не сердился, но был печален — зачем письмо твое состояло из трех страничек?»

Гавриил Батеньков, последний из сосланных в Сибирь декабристов, разыскал старого друга и продлил товарищескую связь с ним до самой своей смерти в Калужской губернии в 1863 году.

А Владимир Раевский так и не вернулся в Россию, остался в Сибири, женившись на крещеной бурятке. Писал гневные стихи и статьи против произвола местных властей, печатали их в «Колоколе». Интересно, что в связи с полемическими публикациями Владимира Раевского к сибирским делам прикоснулся широкий круг новых исторических фигур. Соавтором одной из обличительных статей Раевского оказался сосланный в Иркутск Петрашевский, их союзником — Герцен, противником — Бакунин, очернявший первого декабриста и защищавший иркутского губернатора Муравьева, своего родственника, а Маркс и Энгельс разоблачили вождя анархистов за его выступление против прогрессивных общественных сил Сибири...

Несколько позже на первого декабриста было совершено покушение.

Не для себя я в этом мире жил,
И людям жизнь я щедро раздарил.

«Предсмертная дума» первого декабриста, из которой взяты эти строки, подвела итог его ослепительной жизни:

И жизнь моя прошла, как метеор.
Мой кончен путь, конец борьбе с судьбою.
Я выдержал с людьми опасный спор —
И падаю пред силой неземною!
К чему же мне бесплодный плач людей?
Пред ним отчет мой кончен без ошибки.
Я жду не слез, не скорби от друзей,
Но одобрительной улыбки!

Перед смертью попросил похоронить его не за церковной оградой, а «в степи, там просторнее, светлее и веселее».

Следственное дело первого декабриста В. Ф. Раевского, содержащее в семнадцати томах около шести тысяч листов, хранится в Центральном Государственном военно-историческом архиве в Лефортове.

Кстати, записи о проследовании через Сибирь Владимир Раевский, очевидно, дополнял уже на месте своей ссылки в селе Олонки, что под Иркутском. Из томских знакомств первого декабриста мое внимание привлекло еще одно. В доме губернатора ему представили болезненного молодого человека в очках, с почтением и восторгом рассматривавшего необычного гостя. Это был сын губернатора Владимир Соколовский. После первых общих слов Соколовский спросил:

— Долго ли вы намерены пробыть в Томске?

— Это зависит от губернатора,— ответил Раевский.

— Губернатор отдает на вашу волю.

Декабрист попросил юношу поблагодарить отца и сказал, что задержится здесь на день или два.

— Поживите,— предложил юноша и усмехнулся: — Царь-батюшка не узнает — до него далеко, как до бога высоко...

На ночлег декабриста пригласил к себе приятель Владимира Соколовского, местный чиновник.

Раевский отдохнул у гостеприимного хозяина, а вечером следующего дня на чай собрались к нему молодые люди, которых он «видел у губернатора, а именно: Н. А. Степанов, сын красноярского губернатора, Владимир Соколовский, известный впоследствии стихотворением «Мироздание» и другими, а главное несчастиями, которые были следствием его пылкого характера...».

Дорого б я дал за то, чтоб узнать, о чем они говорили тогда! Приостановлюсь и попрошу любознательного читателя запомнить имена Владимира Соколовского и Николая Степанова — нас еще ждут встречи с этими интересными людьми в Томске, Красноярске, Петербурге и Москве, неожиданные, но вполне объяснимые логикой жизни того времени, о котором я вспоминаю, а также свободным строем моего повествования.

12

В детстве я слышал мудрую народную пословицу: «Далеко сосна стоит, а своему бору шумит»... Родные места привязывают нас к себе памятью о близких, друзьях и подругах, хотя бы мы их давно потеряли, о первых радостях и печалях — пусть они и не кончались счастьем несказанным или горем неизбывным; родина дорога нам всеми детскими и юношескими воспоминаниями, если даже ты не можешь их назвать сладкими грезами... А с годами приходят знания о твоих родных краях, об их прошлом, в котором каждое доброе слово или благое деяние со временем возрастает в цене, и о настоящем — ступеньке к будущему.

Декабрист Александр Бестужев пророчески писал: «Сама природа указала Сибири средства существования и ключи промышленности. Схороня в ее горах множество металлов и ценных камней, дав ей обилие вод и лесов, она явно дает знать, что Сибирь должна быть страной фабрик и заводов». Стали явью эти слова; новая жизнь пришла в Сибирь, но чтоб она пришла, сколько сгнуло здесь светлых умов, сколько пламенных душ погасло! Были и декабристы — сто двадцать один мученик, и память о каждом из них дорога для потомков, которые сегодня к обобщенным хрестоматийным фактам декабристской эпохи добавляют новые и новые крупицы знаний.

Как сложилась сибирская жизнь первых «славян», основателей этого необыкновенного общества? Поляк Юлиан Люблинский, осужденный по шестому разряду — пятилетняя каторга и последующее поселение,— после Нерчинских рудников был отправлен в село Тунка. Когда я занимался Байкалом, то побывал в этом селе — вдоль Тункинского тракта могла пройти трасса для коллектора сливных вод целлюлозного комбината, которые хорошо было бы направлять и перебалтывать в Иркуте. Тогда я еще не знал, что там целых пятнадцать лет прожил один из авторов «Правил» Славянского союза, переложенных им на французский и польский языки. В Тунке Люблинский женился на простой казачке Агафье Тюменевой, от которой у него было шестеро детей.

После амнистии 1856 года декабрист-«славянин» жил в Петербурге, где и умер в 1873 году, достигнув почти восьмидесятилетнего возраста. Два сына его учились в кадетском корпусе, а вдова с дочерьми очень бедствовала, занимаясь поденной работой. Потом она вернулась в Сибирь. Старые иркутяне еще помнят могильную плиту на Иерусалимском кладбище с надписью: «Жена декабриста Агафья Дмитриевна Люблинская, казачка с. Тунки, умерла в 1907 г.»

Холостыми и бездетными прожили свой сибирский срок братья Борисовы. Они были осуждены по первому разряду — на вечную каторгу, но через тринадцать лет им было разрешено выйти на поселение. Младший брат Петр, смело и самостоятельно мыслящий руководитель Славянского союза, обладал огромной силой воли и страстной жаждой жизни. Напомню, что, еще будучи юнкером, он основал революционную организацию на Украине — общество Друзей природы. Подлинным другом природы он стал в Сибири, затеяв методическое и глубокое изучение окружающего каторгу растительного и животного мира. Богатые, переменчивые и пестрые краски Петр переносил на свои акварели, собирал вместе с братом и описывал травы, коллекционировал насекомых, наблюдал жизнь и повадки местных птиц. И это не было работой для себя, способом уйти от монотонности и тягот каторжных буден. Петербургский ботанический сад и Московское общество испытателей природы получили немало ценных ботанических гербариев и энтомологических коллекций, собранных братьями-каторжанами.

Петр часами просиживал у муравьиных куч, рассматривал насекомых в линзу, ползал вдоль их дорожек, наблюдая поведение насекомых в ненастье и вёдро, на рассвете и ввечеру, что тоже не было пустячным времяпровождением — декабрист-натуралист создал большой научный труд «О муравьях». Он автор нескольких других естественнонаучных работ, но, пожалуй, самое удивительное подвижение предпринял Петр Борисов в области метеорологии. Разработав свою методику, он непрерывно в течение двенадцати лет трижды в сутки вел метеорологические наблюдения и записи.

Петр Борисов был нравственной опорой и опекуном Андрея, страдавшего со времен каземата расстройством психики. Петр скоропостижно, быть может от инфаркта или инсульта, умер в селе Разводном под Иркутском осенью 1854 года, два года не дожив до амнистии. Андрей, который, по словам Ивана Горбачевского, «был везде вместе с братом»... «в отчаянии хотел зарезать себя бритвою, потом зажечь дом, но этого не мог и тотчас же повесился». Похоронены были братья-«славяне» в одной могиле на кладбище села Разводного.

А Иван Горбачевский, осужденный по первому приговору к отсечению головы, был помещен вместе со «славянином» Михаилом Спиридовым и «южанином» Андреем Барятинским в так называемую Пугачевскую башню Кексгольмской крепости, что

сопряжеио с одиим редчайшим обстоятельством. В эту башию, оказывается, была заключеиа семья казиеииого Емельяиа Пугачева, и спустя пятьдесят лет Горбачевский с товарищами еще застал в ией жнвыми двух узииц — дочерей вождя крестьяиской войны. Чтоб освободить место для декабристов, старушек выпустили под надзор полиции...

Потом были Шлиссельбург, Чита, Петровский завод. Долгие годы Иваи Горбачевский поддерживал переписку с Иваном Пущиным, Дмитрием Завалишииым, Михаилом Бестужевым, Евгением Оболеиским, скрепляя этими послаииями старый союз, а после амнистии избрал себе особую жизиеииую стезю. В архивах московского Исторического музея храиится до сих пор полиостью иеопубликоваииое его письмо Иваиу Пущииу с Петровского завода. Вот строчки из иего: «Ты спрашиваешь, что я делаю и что иамереи делать? Живу по-прежнему в заводе. Строеиия те же, люди те же, которых ты знал, лампада горит по-прежиему. Теперь я скажу, что я иамереи делать с собою: ничего и оставаться иавсегда в заводе — вот ответ»...

О какой лампаде пишет Иваи Горбачевский? Эта лампада горела иа могиле Александры Муравьевой, которая привезла в Сибирь два послаиия Пушкииа,— декабристы долгие годы ие давали ей погасиуть, а когда все уехали, этот святой огоиек остался блюсти «славяиии» Иваи Горбачевский...

Иваи Горбачевский так и прожил до своей смерти в Петровском заводе. Пытался заииматься извозом и торговлей, ио иеизмеиио прогорал, помогал всем, кто бы к иему ии обратился, ие требуя мзды или возвращеиия долгов. Позже иародоволец Прыжов писал, что, приготовившись к смерти, декабрист-«славяиии» закупил чистое белье и продуктов для помииок. Ои умер за три года до коичииы первого декабриста Владимира Раевского, и их последиее пожелаиие было одииаковым. «Просил положить его ие иа кладбище, а по соседству, в поле, иа вершиие холма, чтоб ои мог смотреть иа улицу, где как бы ои ии жил, ио жил... Так и сделали».

А «рядового» декабриста-«славяииииа» Николая Мозгалевского мы оставили иа полпути в Сибирь. За Омском потяиулись одиообразиые, ровиые, как стол, Барабиискне степи с блюдечками озер в березовых ожерельях. Березияки уже иачали желтеть, и мелкие круглые листочки задували порывистым ветром в кибитку... За Колываиью и переправой через широкую холодиую Обь Сибирский тракт взял иа северо-восток. Все чаще стали попадаться большие села с крепкими домами и сердобольиым иародом. Кибитка остаиавливалась у колодцев, и пока лошади пили, жеищнны успевали прииести теплые ковриги хлеба. Жаидармы ие препятствовали, только иа расспросы парией о том, кого опять везут, приказывали иароду отойти, и одиажды Николай Мозгалевский впервые услышал из толпы слово, которое сопровождало его потом всю сибирскую жизнь,— «несчастный»...

И вот иа крутом берегу реки показался город — одиоэтажиый, деревяиный, колоколеики только были камеииыми. Резиые ворота, собачий брех за иими, иепролазиая грязь до самого губериского присутствия.

При жаидармском офицере губернатор взломал сургучную печать и вскрыл сопроводительный пакет: «Государствеиный преступиик... в Нарым... Навечио...»

— Велено без промедлеиья,— сказал жаидарм.

— Никак, одиако, иевозможио,— возразил губериатор.— Дороги туда иет по хлябям, только рекой, а купцы отваливают с товарами через иеделю, ие раиее.

— Сдаю его вашему превосходительству под роспись.

— Желаю благополучия в обратиом пути... Распорядитесь привесть его ко мие.

— Ои в таком виде...

— Это ие его вина, и мие их вид зиаком.

Губериатор ие обратил, казалось, иикакого виимания иа помятую робу и грязиые башмаки декабриста, пожал ему руку, усадил в кресло.

— Меия имеиуют Игиатием Иваиовичем. Зиаете, что такое Нарым?

— Нет.

— Место гиблое... Но и там, одиако, люди живут. На родиых рассчитываете?

— Оии иичего ие имеют.

— Чем иамерены жить?

— Не зиаю совершеиио.

В кабииет без стука вошел молодой человек, поклоиился декабристу. За стеклами пеисие блестели живые доброжелательиые глаза.

— Приголубь иового сибиряка,— обратился к иему губериатор.— Мы ие скоро дождемся следующих — дороги пали, велеио до зимы распустить лошадей по всему тракту.

— А я ведь, как вошел, вас узиал сразу,— сказал декабристу юиоша.

— Что такое, сын мой? — иасторожился губериатор.

— Ведь Николай Осипович — воспитаииик нашего корпуса! Вышел иа службу за пять лет до меия. Старшие-то иас, мелюзгу, замечали, когда иадо было отпустить кадетеику затрещииу, а я ие раз видел его в библиотеке и иа плацу. Это вам, Николай Осипович, одиажды руку пораиили при фехтоваиии?

— Случилось,— декабрист обрадовался тому, что встретил в такой далекой дали совоспитаииика.

— Славиое ваше заведеиье когда-то было,— задумчиво проговорил губериатор.— Дало России Прозоровского, Румяицева-Задунайского, Мелиссиио, Голеиищева-Кутузова, Кульнева, Коиовиицыиа, Милорадовича.

— А еще больше, одиако, таких, как иаш гость,— засмеялся сыи.

— Однако мы заболтались,— нахмурился отец и поднялся.— В баню! Кормить! Белья и одежонки собрать!

Следующие десять дней Николай Мозгалевский прожил как во сне. Его приютил приятель Владимира Соколовского губернский чиновник Иван Осташев, который сделал все, чтобы декабрист оценил сибирское гостеприимство. На обеды с разносолами непременно приходил Соколовский, и совоспитанники подолгу вспоминали Петербург, Кадетский корпус, отделенных унтерофицеров, ротных командиров, преподавателей и чаще других словесника Белышева, который артистично читал Пушкина, Княжнина и Рылеева... Одно не понравилось в Соколовском — он, захмелев, начинал читать свои длинные путаные стихи, петь опасные песни, и его можно было остановить только новыми воспоминаниями о корпусе, о барабанных побудках, строевой муштре, о «жедепоме», так почему-то кадеты называли карцер — от французского jeu de paume («игра в мяч»), где Соколовский сиживал не раз на хлебе и воде. Декабрист все эти дни чувствовал себя почти свободным, только к каждому обеду являлся справляться о нем дюжий полицейский, которому Соколовский выносил в прихожую большую чарку водки и груздь на вилке. Настал день, когда этот же стражник, опрокинув чарку, виновато сказал:

— Благодарствую, господа, однако нам пора. Оказия...

Местный купец с приказчиком и работником сплавляли в Нарым три тяжелые развальные лодки с солью, сушеным хмелем, свинцом и порохом, чтобы развезти этот ходовой товар по остяцким становищам под зимние меха. К пристани Владимир Соколовский привез в пролетке сак с провизией, большой мягкий тюк и сунул в карман декабристу сто рублей ассигнациями, сказав, что благодарить надо не его, а сердобольных горожан этого скучного поселения.

Николай Мозгалевский поплыл вниз по Томи и Оби, навстречу холодным дождям и туманам, которые вскоре сменились прозрачной ясностью чужих небес, и сиверко донес до Нарыма ледяное дыхание океана, вой буранов и чуткую тишь морозных ночей. Только с началом зимы Николай Мозгалевский оценил подарки — добротный полушубок, поношенный купеческий камзол, почти новые белые катанки, меховую душегрейку, заячью шапку с длинными ушами, теплое белье и лоскутное одеяло.

«Бог создал рай, а черт — Нарымский край»,— говаривали в наших местах. По-хантыйски «нарым» значит «болото», и заштатный этот российский городишко взаправду утопал в болотистых берегах Нарымки и обской пойме. Затопляло каждую весну, гноило нижние венцы избенок, плодило тучи комарья и гнуса...

Основан был Нарым как острог при последнем царе-рюриковиче, еще до Бориса Годунова, а спустя триста лет после своего основания вошел в историю России как главное место ссылки

большевиков, став своего рода центром формирования и организации кадров Коммунистической партии. Биографии В. В. Куйбышева, Я. М. Свердлова, И. В. Сталина широко известны, и поэтому я назову имена некоторых других нарымских ссыльных, вошедших впоследствии в историю нашей революции и государства. Ф. И. Голощекин, избранный на Пражской конференции в состав ЦК РСДРП; секретарь Московского комитета РСДРП А. В. Шишков; член ЦК ВКП(б), делегат многих партийных съездов В. М. Косарев; делегат II съезда РСДРП А. В. Шотман, переправивший в июле 1917 г. в Финляндию В. И. Ленина; секретарь ЦК КП Грузии Г. Ф. Стуруа; известный ученый-астроном П. К. Штернберг; комиссар знаменитой Таманской дивизии Л. В. Ивницкий; секретарь ЦК КП(б) Украины И. Е. Клименко; один из основателей Компартии Германии Франц Меринг; слушатель ленинской партийной школы в Лонжюмо И. Д. Чугурин; член ЦК КП Эстонии, участник всех конгрессов Коминтерна Г. Г. Пегельман; организатор Красной гвардии в Москве Я. Я. Пече; секретарь ЦК КП Белоруссии А. Н. Асаткин-Владимирский; нарком земледелия А. П. Смирнов; ответственный работник ЦК ВКП(б) и дипломат К. К. Саулит; первый председатель Томского Совета рабочих и крестьянских депутатов Н. Н. Яковлев...

На 1910 год в Нарымском крае числилось 3066 политических! Большевики сообща боролись с тяготами ссылки. Создали кооператив с кассой взаимопомощи, мясной и потребительской лавками, пекарней и столовой. Организовали общественные библиотеки-читальни, общеобразовательные школы, марксистские лекционно-дискуссионные кружки, поставили на сцене самодеятельного платного театра более двадцати спектаклей, в том числе «Ревизора», «Бориса Годунова», «Лес», «На дне», «Власть тьмы»... Явь Нарымского края в период завершающего этапа русской революции была совсем иной, чем в те времена, когда прибыл в Нарым «под неослабный надзор градской полиции» первый здешний политический ссыльный — декабрист Николай Осипович Мозгалевский.

Мое полусиротское детство и юность прошли неподалеку от тех мест, где отбывал ссылку декабрист, с потомками которого я породнился. Знаю я эти сырые и холодные места. Чтобы просуществовать долгую, снежную и морозную зиму, надо все короткое и, как правило, дождливое лето работать от зари до зари, прихватывая сумерки. Ковырять отвоеванную у леса бедную землю, косить, сушить и копнить сено, пилить дрова, а в войну их приходилось возить на себе через три крутые горы...

Не знаю, чем жил политический ссыльный в Нарыме полтора века назад, не понимаю, как он выжил. Деньги, собранные томичами, вскоре кончились, а помощи ждать было неоткуда. Осенью 1826 года, когда деньги еще были, он писал матери в Нежин. Эти письма не сохранились, но в архиве Октябрьской революции я нашел ответы на них. В далекую и страшную Сибирь

пишет своему горемычному сыну бывшая французская дворянка Виктория-Елена-Мария де Розет, совершенно обрусевшая за сорок лет жизни в России, вырастившая здесь семерых детей и ставшая под старость лет беспоместной полунищей вдовой. Почерк старческий, крупный, старомодный — в нем видится рукописная витиеватость XVIII века. Понятные во все века, сбивчиво выраженные чувства, святые материнские слезы сквозь обыкновенные слова: «Милой и любезной сын Николаша. Я тебе советовала не так часто писать в рассуждении, что может тебе дорого станет, но премного беспокоилась твоему молчанию, пиши, милой, когда можешь, я тебе потому не так скоро отвечала, что везде искала занять денег для тебя, нигде достать невозможно» Скромные строки эти публикуются впервые, они вроде бы не представляют собой исторической ценности, но истинно человеческий документ всегда несет в себе эту нетленную ценность, не говоря уже о том, что нам с годами все более интересным становится *любое свидетельство жизни каждого из декабристов, потому что они были первыми.*

Вот строчки из другого письма: «Надумала я еще к тебе писать, а ожидала ответ от тебя... ты знаешь, милой мой друг, мой достаток, а почта не так-то дешева... а прочие тебе все кланютца, а я, мой милок и любезной сын Николаша, не могу описать мои чувства и любовь к тебе, целую тебя, благословляю и остаюсь тебя нежно любящая мать Виктория Мозгалевская».

Среди зимы, санным путем, пришла в Нарымскую градскую полицию петербургская казенная бумага о том, что государственному преступнику Николаю Мозгалевскому вечная ссылка милостиво заменена двадцатилетней, но и этот срок казался молодому человеку вечностью. Старший брат Алексей его подло предал — на запрос Следственной комиссии о «домашних обстоятельствах» Николая Мозгалевского он трусливо отписал, что «среди возмутителей и заговорщиков родственников не имеет» и Николай Мозгалевский не является его братом. Вскоре он, будучи тоже офицером, перевелся в Польшу и, видоизменив свою фамилию, стал числиться Модзалевским...

Хотя бы коротко надо сказать о существенной разнице между декабристской каторгой и ссылкой.

Как это ни покажется странным, но самое суровое наказание — каторжные работы на руднике — обернулось нежданной светлой стороной. Декабристы на каторге образовали крепкое и устойчивое товарищество, которое завязалось еще по дороге в Сибирь. Историки, читавшие донесения жандармов, фельдъегерей и надзирателей, бесчисленные свидетельства и воспоминания, отмечали, что осужденные не попрекали друг друга за какие-либо прежние ошибки или поведение на следствии, по-братски заботились о слабых и больных, поддерживали в них волю к жизни; это был новый подвиг чести первых русских революционеров.

Физические и нравственные тяготы переносятся легче, когда рядом единомышленники, друзья, чуткие товарищи по судьбе, а декабристы-каторжане сумели еще сверх того наладить материальную взаимопомощь, обмен знаниями и опытом, организовали совместную подписку на русскую и европейскую периодику, используя для связей с внешним миром даже китайскую почту — через Кяхту, Маймачен и Тяньцзинь. Когда же к некоторым из них приехали жены, это стало огромной моральной поддержкой для всех каторжан и ссыльных, живущих по сибирским городам и селам небольшими колониями. Вместе им легче было сохранять свое человеческое достоинство, отстаивать права, среди них всегда жила политическая мысль, побуждая к политической деятельности. Хорошо подытожил преимущества декабрьского коллективизма Михаил Бестужев: «Каземат нас соединил вместе, дал нам опору друг в друге... дал нам материальные средства к существованию и доставил моральную пищу для духовной нашей жизни. Каземат дал нам политическое существование за пределами политической смерти».

В совершенно ином положении оказывался ссыльный-одиночка. Места для большинства из них назначались самые глухие и отдаленные — Вилюйск, Верхоянск, Березов, Сургут, Пелым, Якутск, Туруханск, Нарым. Оторванные от мира и друзей, обремененные крайней нуждой и болезнями, не все они выдерживали долго — умирали совсем молодыми, сходили с ума, накладывали на себя руки.

В двадцатые годы прошлого века Нарым уже числился городом, но, по сути, это было приречное таежное село, в котором насчитывалось не более пятисот дворов. Оторванный от хлебородных мест и Сибирского тракта, Нарым жил трудно и скучно. Хлеб, чай, сахар и овощи были очень дороги. Александра Бітальцева, проплывшая по Оби, писала: «Самые необходимые припасы... хлеб, картофель, капуста и проч. привозятся сюда за 1000 верст и далее; суди о цене; сверх того, если не запасешься вовремя всем нужным, то нередко, когда нет привоза, здесь ничего получить нельзя, кроме сушеной рыбы. Не знаю, что будет с нами далее, но теперь жизнь — истинная мука».

На зиму нарымчане солили рыбу, косили обскую пойму для своих коровенок, рубили многосаженные поленницы дров. Избы ставились на сваях, потому что городишко вечно подтопляло разливами, и он год от года пятился все дальше от реки. Комаричные болота подступали к улицам, вымачивали жалкие огородишки, а у крылечек хозяев стояли деревянные ходули, чтоб можно было пройти к соседу высокой водой или по жидкой, никогда не высыхающей грязище.

Очевидно, спасло декабриста то, что он подселился к другому несчастному, которого по чьему-то навету сослал сюда сибирский «царь» — генерал-губернатор. Фамилия ссыльного была Иванов. Они устроили общую кассу и стол. Мозгалевский внес свои деньги, а Иванов начал приспосабливать товарища к ведению нехит-

рого холостяцкого хозяйства и жалким местным заработкам. Ссыльные купили снасти, и подледные ловы стали давать главное — жирную обскую рыбу, на хлеб же оказалось возможным иногда зарабатывать топором и лопатой. Хлеб, однако, тут был дорогой, привозной, и его не на каждый день и перепадало...

13

«О ты, единственная, позволившая познать мне счастье бытия, обратившая в радость и ссылку мою, и страданье мое...». Эти стихи, переведенные мною с французского вольной прозой, хранятся в отделе рукописей Ленинской библиотеки, принадлежат Василию Давыдову и обращены к супруге декабриста. Федор Достоевский писал о ней и ее подругах: «Они бросили все: знатность, богатства, связи и родных, всем пожертвовали ради высочайшего нравственного долга, какой только может быть. Ни в чем не повинные, они в долгие двадцать пять лет перенесли все, что перенесли их осужденные мужья».

Вы, конечно, хорошо помните эти десять святых имен? Мария Волконская, Александра Муравьева, Екатерина Трубецкая, Мария Юшневская, Елизавета Нарышкина, Александра Ентальцева, Наталья Фонвизина, Камилла Ледантю (Ивашева), Полина Гебль (Анненкова), Анна Розен. Одиннадцатой, менее известной, была Александра Потапова, к которой обращался в стихах Василий Давыдов.

Я назвал ее Потаповой ввиду особых обстоятельств этого семейства. Гусарский подполковник Василий Давыдов горячо полюбил семнадцатилетнюю дочь губернского секретаря Сашеньку Потапову, но эта любовь не получила благословения родителей и освящения церкви. До официального брака родились Михаил, Мария, Екатерина, Елизавета, после венчания Петр и Николай; Александра Потапова поехала вслед за любимым в Сибирь, где

родились Василий, Александра, Иван, Лев, Софья, Вера и Алексей...

Василий Давыдов, боготворя свою жену, писал с каторги: «Без нее меня уж не было бы на свете. Ее безграничная любовь, ее беспримерная преданность, ее заботы обо мне, ее доброта, кротость, безропотность, с которою она несет свою полную лишений и трудов жизнь, дали мне силу все перетерпеть, и я не раз забывал ужас моего положения». Все, кто хоть один раз встречал Александру Потапову-Давыдову, попадали под власть ее человеческого обаяния. Спустя полвека со времени ее приезда в Сибирь великий русский композитор Петр Чайковский познакомился с ней, уже престарелой женщиной, в Каменке и писал Н. Ф. фон Мекк о том, что она «представляет одно из тех проявлений человеческого совершенства, которое с лихвой вознаграждает за многие разочарования, которые приходится испытывать в столкновениях с людьми... Я питаю глубокую привязанность и уважение к этой почтенной личности».

Прошлое, войдя в круг моих интересов как-то незаметно и естественно, с годами приобретало какую-то непонятную притягательную силу, которой я уже не мог сопротивляться, полностью подчинился ей, засасывающей меня все глубже и уводящей временами в сторону, как это случилось сейчас вот, когда я заговорил о знаменитых женах декабристов, чтобы попутно вспомнить и о других, незнаменитых моих землячках, обыкновенных сибирских девушках, связавших свою судьбу с *несчастными*.

Да, в памяти потомков жены декабристов, приехавшие к своим любимым в Сибирь, навсегда останутся примером высокой любви, супружеской верности и нравственного величия. Рядом с этим ярким подвигом истинно русских женщин скромно, робко, едва заметно теплятся огоньки тихого человеческого подвижения декабристских жен-сибирячек. Они молодыми вступали в предосудительные браки с отверженными от общества государственными преступниками, хорошо зная, что их ждет. Их избранники были неумелыми работниками, на глазах теряющими здоровье, и обладали трудными, надломленными в казематах характерами, нуждающимися в женском всетерпении и всепрощении. Отягчающие подробности вносили в жизнь различия в происхождении, воспитании, образовании, прошлой судьбе, житейских навыках. На пути к семейному счастью супругам приходилось преодолевать сословные, возрастные, психологические, юридические препоны, однако все отступало перед любовью, соединявшей двоих, и освящалось ею.

Многие политические каторжане и ссыльные 1825 года не были слишком знатными или богатыми, а такие, скажем, как Николай Мозгалевский, вообще не имели возможностей как-то обеспечить семью. Безысходная бедность, лишения и бесконечный тяжкий домашний труд ждали ту юную сибирячку, которая решалась

против воли родителей избрать этот жизненный путь. Согласившись пойти под венец с государственным преступником, ссыльнопоселенцем, девушка обрекала себя на пересуды подруг, недоброжелательства односельчан, на семейную жизнь под недреманным оком полиции, оставляла всякие надежды вывести своих будущих детей «в люди». Побеждали, видно, жалость, сострадание к несчастным, что в нашем народе издревле сопутствует любви, и, несомненно, браки с декабристами были тоже освящены высоконравственным подвижением многих простых неграмотных деревенских девушек, совпавшим по времени с подвигом одиннадцати образованных и знатных женщин, разделивших с мужьями сибирскую юдоль...

В декабристской среде существовало достаточно заметное имущественное и сословное расслоение, и я снова обращаю внимание читателя на самую неродовитую и бедную их прослойку — «славян», многие из коих расстались с жизнью очень рано из-за нужды, умопомешательств, простудных, инфекционных и иных заболеваний. Выдержавшие первые, самые тяжкие годы каторги и ссылки, пытались как-то устраивать свою судьбу. Не надо забывать, что это были в основном совсем молодые люди. «И в Сибири есть солнце»,— сказал, выслушав приговор, Иван Сухинов...

Солнечными бликами для выживших ссыльных «славян» являлась в самых глухих уголках Сибири любовь и жалость местных девушек — крестьянок и казачек. С Юлианом Люблинским, как мы знаем, дала согласие пойти под венец Агафья Тюменева, с Алексеем Тютчевым — Анна Жибинова, с Иваном Киреевым — Софья Соловьева, с Ильей Ивановым — Домна Мигалкина, с Александром Фроловым — Евдокия Макарова, с Владимиром Бечасновым — Анна Кичигина...

Первым из всех декабристов женился в Сибири «славянин» Николай Мозгалевский. Неизвестно, где он увидел ее. Может, у Нарымки, когда семнадцатилетняя босая девушка, подоткнув мокрый подол, полоскала белье? Или на покосе, справиться с которым за харчи помогал богатому хозяину молодой стройный парень нездешнего обличья, заметивший за кустами, на соседней елани, голубую косынку и такие же, под цвет незабудок, глаза? А может, он колол среди зимы дрова во дворе бывшего городского казака Лариона Агеева, переписавшегося по возрасту, после окончания службы, в мещане? От души взмахивал тяжелым колуном и увидел еще раз эти любопытные глаза под колыхнувшейся оконной занавеской... Иль услышал звонкий переливчатый голос на вечерней улице, подошел к бревнам, на которых собиралась молодежь нарымской Заполойной слободы, и узнал ту же косынку? А может, все было по-другому — осенью 1827 года Николай Мозгалевский был поселен в доме Лариона Агеева и знакомства этого не могло не состояться. Дочь хозяина, простая юная сиби-

рячка, как все ее ровесницы, была неграмотной, и долгими зимними вечерами Мозгалевский стал обучать Дуняшу Агееву счету, азбуке и письму. Сообразительная девушка схватывала грамоту на лету и, конечно, была благодарна своему необыкновенному учителю, худющему молчаливому чужаку, совсем недавно замышлявшему где-то в далекой дали заговор против самого царя... Грустные черные глаза его из-под черных кудрей повергали в смятение душу; хотелось плакать и петь...

А сейчас, дорогой читатель, прошу приготовиться к совершению неожиданному. Мы часто в нашем путешествии по минувшему обращаемся к стихам — они поэтизируют суховатое документальное повествование о давних временах и тяжких безвременьях, и наша поэзия в своих лучших образцах опиралась на творчество народа, лирическая душа которого не черствела никогда, примером тому — русская песня. В народных песнях своеобразно отражались история, национальный психический склад, затаенные мысли и половодье чувств — любовь, грусть, гнев, радость, горе, боль надежды, сострадание... Множество песен стали классическими, вошли в сборники, но сколько их забылось! Ведь частушечники и песельники жили некогда в каждом русском селе.

Познакомлю читателя с одной сибирской девичьей песней — она сохранилась среди потомков Николая Мозгалевского, записана М. М. Богдановой, которая и передала мне ее полный текст. Не берусь утверждать, что в истоке ее была любовь Дуняши Агеевой к Николаю Мозгалевскому,— нет таких точных данных, но эта народная песня во всей ее простоте и прелести несет на себе явную печать индивидуальности, личного жизненного опыта и, несомненно, родилась когда-то в народной околодекабристской среде. Совсем еще недавно столь редкий, а по сути, *единственный* в своем роде образец сибирского фольклора помнили наизусть пожилые женщины села Каратуз, что под Минусинском. Они пели ее на вязальных бабьих посиделках протяжно и неторопливо, с искренним чувством, как до сего дня поют в народе любимые неэстрадные песни. Старинная эта девичья песня довольно длинна, как длинны зимние сибирские вечера, и публикуется здесь впервые:

Не видела, не слышала,
Родимой невдомек,
Кому украдкой вышила
Я белый рушничок.
Ему — дружку сердешному,
По ком ночей не сплю,
Несчастному, нездешнему,
Какого я люблю.
Пригнали его силою —
Под стражей, под ружьем,
В места наши таежные,
Увидел, как живем.

Поставил его староста
К нам постояльцем в дом,
А он, как сокол в клеточке,
Тоскует за окном.
Глядит на быстру реченьку,
На росные луга,
На рясную черемуху,
Где тропка пролегла.
Ведет тоя дороженька
За горы, за леса,
Во край его отеческий,
Где сам он родился.
Болезной сиротиночка,
Без пашни, без избы,
Как во поле былиночка,—
Злосчастней нет судьбы.
Не нашей он сторонушки,
А век в ней вековать...
Пойду к нему я в женушки —
Не станем горевать.
Ох, повинюсь я маменьке
Да поклонюсь отцу:
Благословите, родные,
В замужество, к венцу.
Не надо ни приданого,
Не надо соболей,
Отдайте нам светелочку,
Какая посветлей.
Любезные родители,
Не спорьте вы с судьбой.
Уж мы давно поладили,
Решили меж собой.
Ты, государь мой батюшка,
Не гневайся на дочь!
Дражайшая ты матушка,
Размысли, как помочь!
Приветьте оба ласково
Желанного мово,
Примите зятя пришлого
За сына своего!
Ах, кудри его черные
Во кольца завиваются,
А рученьки проворные
Работы не гнушаются.
Уж я рушник узорчатый
Повешу на виду:
Пусть знает, пусть надеется,
Что за него пойду.
Приму кольцо заветное —
Суперик золотой:
Несчастного, секлетного
Подарок дорогой.

«Суперик» — старинное сибирское слово, означающее тонкое колечко с камушком, перстенек, а «секлетный» — просторечный вариант слова

«секретный»: так в Сибири называли первых политических ссыльных, декабристов; и по местам их расселения и хозяйственной деятельности до сих пор существуют непонятные для новожилов названия — «Секлетная падь», «Секлетная елань»», «Секлетный лог»...

Дуняша Агеева, первая сибирячка, вышедшая замуж за декабриста, стала его главной жизненной опорой, светом во тьме, как и другая Дуняша — из крестьянской семьи Середкиных, с которой позже нашел свое счастье под Иркутском первый декабрист Владимир Раевский. Эта девушка тоже глубоко и нежно полюбила изгнанника, но долго грудь «темничного жильца» была «как камень» и он «бледнел пред девою смиренной». Посвященное невесте стихотворение Владимира Раевского пронизано ощущением счастья:

Она моя, она теперь со мною,
Неразделенное одно!
Ея рука с моей рукою,
Как крепкое с звеном звено!
Она мой путь, как вера, озарила.
Как дева рая и любви,
Она сказала мне отрадное «живи»
И раны сердца залечила.
Упал с души моей свинец,
Ты мне дала ключи земного рая —
Возьми кольцо, надень венец,
Пойдем вперед, сопутница младая!

Декабристы оставались самими собой в обстоятельствах подчас необычных и неожиданных, которые создавала ссыльная сибирская жизнь, требуя от них нравственного выбора... Михаил Кюхельбекер и Анна Токарева. Он — бывший дворянин и морской офицер, повидавший весь мир в кругосветном плавании, познавший Алексеевский равелин Петропавловки, Выборгскую, Кексгольмскую крепости и вновь Петропавловскую, прошедший Нерчинские рудники. Она — неграмотная сибирская девчонка, из-за бедности отданная своей матерью на сторону в прислуги. В их истории, полной печали, суровой тогдашней правды, борьбы за любовь и счастье, за право *быть людьми,* есть все для исторической повести...

«Суразенок» в Баргузине! Анюта Токарева вернулась из дальнего села, где находилась в услужении, беременной — и родила сына. Позор на веки вечные — люди глухи к горю человека, не защищенного богатством или властью. Однако внебрачному ребенку надобно было давать имя, крестить его в церкви, а кто из уважаемых людей согласится стать крестным отцом «суразенка»? Это делает — глазыньки б не глядели! — «секлетный» Михаил Кюхельбекер, повинуясь долгу сострадательного человека и, быть может, внезапно вспыхнувшему в нем иному чувству. Анюту с ее «суразенком» гонят из дома близкие — она же сделалась кумой государственного преступника! Грех, да еще грех, да... третий грех!

Взаимная любовь зародилась, соединила «секлетного» с отверженной молодой матерью, и у них родилась дочь. Лицейский друг Пушкина, добрый нескладный Кюхля, защищал позже в письме к Бенкендорфу своего младшего брата: «Хотя истинный христианин не позволит того, но и не бросит первого камня в молодых людей...» И вот молодые люди идут под венец. Семейное счастье без кавычек. Кюхля учит Аннушку грамоте — младший брат от зари до зари занят хозяйством, да еще завел первую в Баргузине небольшую больничку и аптеку, а о жене своей пишет Евгению Оболенскому: «Она — простая, добрая». Старший брат вторит: «...главное, любовь искренняя к мужу; сверх того, неограниченная к нему доверенность; вообще брат счастлив семейством своим».

Семейное счастье... с горем пополам! Приемыш, из которого, по словам Кюхли в том же письме Бенкендорфу, Михаил надеялся «воспитать себе сына», умирает, а за ним и родная дочь декабриста. Горе пополам со счастьем — родится Иустина, за ней Иулиана. Баргузинцы не гнушаются аптекой «секлетного», и буряты из дальних становищ едут к безотказному Карлычу бесплатно лечиться. Счастье и горе... Злой, запоздалый донос. Иркутское епархиальное начальство и Святейший Синод расторгают брак «государственного преступника» с «кумой», приговаривают Анну Степановну к церковному покаянию. Казенная бумага на сей счет приходит в Баргузин. Привожу буква в букву то, что в тот день было написано на ней. «1837-го марта 5-го дня, в Присутствии Баргузинского Словесного Суда, судьею сего Суда объявлено мне решение Правительствующего Синода, потому есть ли меня разлучаютъ съ женою и детьми, то прошу записать меня в солдаты и послать подъ первою пулю, ибо мне жизнь не в жизнь. Михайла Кюхельбекеръ». «Неуместные» слова эти стали, конечно, известными в Петербурге, и власти распорядились перевести декабриста из Баргузина «ближе к надзору начальства, усилив таковой за ним надзор». Среди зимы перевели было его в село Елань Иркутского округа, но сестра в Петербурге взялась неотступно хлопотать, и перевод был отменен... А решение Синода долгие годы оставалось в силе, однако в силе оставалась и большая любовь, соединившая Анну Токареву и Михаила Кюхельбекера. Они счастливо прожили много лет, декабрист все ждал сына, но у них родилось еще четыре дочери...

А Вильгельм Кюхельбекер полюбил в Баргузине дочь почтмейстера Дросиду Артенову и перед женитьбой писал А. С. Пушкину, что «черные глаза ее жгут душу». Она стала хорошей матерью, верным спутником жизни больного, слепнущего поэта, уже не имеющего возможности глубоко заглянуть в ее глаза, посвятившего ей трогательные поэтические строки. Окончательно потеряв зрение, он сочинял, быть может, диктуя ей:

Льет с лазури солнце красное
Реки светлые огня.

День веселый, утро ясное
Для людей — не для меня!

В следующем же четверостишии попрошу читателя обратить внимание на двоеточие в конце второй строки — оно тут не менее важно, чем точка в первой строке пушкинского «Узника», и незаменимо ничем:

Все одето в ночь унылую,
Все часы мои темны:
Дал господь жену мне милую,
Но не вижу я жены.

По краткости, силе и простоте выражения супружеской любви затрудняюсь найти в русской поэзии какое-либо сходное четверостишие, это — несравненное — сделал покамест один несравненный Кюхля...

Наша маленькая семья едет в Чернигов — навестить родных и взглянуть на редчайший документ декабристской поры, связанный с прапрапрапрадедом моей дочери.

Дом Лизогуба на Валу. Он хорошо сохранился, хотя страшный черниговский пожар 1750 года, как считают местные знатоки, опалил и его, выжег две камеры, порушил своды. Больше ста лет назад эту старинную каменную крепостцу отремонтировали и переделали под архивное хранилище — разобрали печи, прорубили окна в торцовых стенах, навесили на переходах железные двери с надежными запорами. Сейчас тут запасник Черниговского краеведческого музея.

Вы никогда не бывали в музейных запасниках? Там подчас интереснее, чем в демонстрационных залах, где все так аккуратненько разложено по полочкам. Позванивая ключами, хранитель фондов Василий Иванович Мурашко ведет нас из камеры в камеру. Мне хочется поскорей посмотреть, тронуть рукой документ, связанный с судьбой «нашего предка», а Лена с Ириной, потомки его, еще даже не знают, зачем нас ведут в этот глубокий подвал; глаза у них бегают во все стороны, и я тоже увлекся. В одной комнате собрано старинное оружие — кольчуги, щиты, мечи, сабли, пищали польской, турецкой и русской работы. А вот коллекция бисера, более шестисот изделий! Церковная утварь — оклады, иконы, шкатулки, кресты, серебро-злато, жемчуг и цветные камни. Книги музейной кондиции, в том числе двухпудовое Евангелие 1669 года, подаренное черниговскому Спасо-Преображенскому собору Екатериной II, когда она проезжала из Киева в Петербург через Чернигов и Новгород-Северский, где за нею числится одно непростимое в веках деяние, о котором я нет-нет да вспоминаю вот уже много лет и жду, когда придет черед сказать о нем...

Чаши, трубки, кубки, эмаль, скань, письменные приборы, часы, изящные тумбочки и другие старинные предметы домашнего обихода, сделанные всяк по-своему с отошедшей в прошлое любовью к обыденной вещи,— все это в живом полубеспорядке и таком непродуманном красивом нагромождении, что можно бы даже вот этак и выставить комнату, чтобы посетитель музея мог постоять подле, порассматривать да пофантазировать о прошлом, привязывающем людей к настоящему бесчисленными ниточками... Художественный фаянс, хрусталь и фарфор; целый фарфоровый иконостас — глаз не отвести, мастерство изумительное! Хранитель говорит, что при эвакуации музея в 1941 году погиб целый вагон драгоценного фарфора — бомба угодила прямым попаданием.

— Фреска одна древняя погибла. Дороже всякого фарфора

— Вы имеете в виду святую Феклу? — оживляюсь я.

— Да...

Большой зал отдан коллекции украинских рушников. Ничего подобного я в жизни не видел. Восемь тысяч рушников, двенадцать тысяч образцов старинной вышивки! На белоснежных льняных полотнищах, сорочках, скатертях, занавесках, покрывалах пламенеют петухи и жар-птицы, олени и фантастические животные, трогательно простые и одновременно сложные по сочетанию красок орнаменты — многовековой итог женского труда, свидетельство народного таланта, тонкого избирательного вкуса и мастерства, корни которого уходят к поре язычества..

И вот небольшое, самое глубокое и дальнее подвальное помещение - здесь хранится наиболее ценное из запасных экспонатов и документов.

— Пришло время смотреть? — спрашивает Василий Иванович.

— Пожалуйста.

Он снимает с полки потемневшую шкатулку, открывает ее ключиком и достает ветхий листок бумаги, почти уничтожившийся по сгибам, с ясным водяным знаком и выцветшими чернилами. Его прислал сюда из Сталинграда один из потомков Николая Мозгалевского. Это свидетельство Томской духовной консистории 1857 года о записи «в метрической книге города Нарыма Крестовоздвиженской церкви, за тысяча восемьсот двадцать восьмой год (1828) о бракосочетавшихся под № 12-м». Вот текст этой необыкновенной выписки, ради которого мы приехали сюда: «2-го числа июля венчан несчастной Николай Осипов Мозгалевский с дочерью Лариона Егорова Агеева девицею Евдокиею первым браком».

«Несчастной»... Священник нарымской церкви, полтора века назад употребивший это слово для определения гражданского состояния жениха, обязан был официально написать «государственный преступник, находящийся на поселении», но что-то подвигнуло его на другое, настолько необычное в казенном документе, что сделало обыденную запись в церковной книге подлинной исторической ценностью — в громадных толщах официальных бумаг, связанных с декабристами, нет более ни одного такого определения Безымянный тот человек смело повеличал Мозгалевско-

го так, как сердобольно, по-русски называли декабристов простые сибиряки.

Неизвестно, как тогда было расценено необычное это именование «несчастной» применительно к государственному преступнику, но в московских архивах сохранились другие любопытные исторические документы, связанные с женитьбой Николая Мозгалевского. Первый декабристский брак был заключен без разрешения административного или полицейского начальства и без уведомления вышестоящих церковных и светских властей. Николай Мозгалевский, оказывается, даже подгадал момент, когда окружной заседатель, главный его «опекун», был в отъезде. Вернувшись в Нарым, тот, конечно, узнал обо всем случившемся и донес в Томск. И. И Соколовского на губернаторском посту уже не было, но, должно быть, любой начальник губернии уведомил бы Петербург о таком изменении в жизни любого декабриста, если фельдъегери везли из Сибири секретные депеши, содержавшие совсем малосущественные мелочи о государственных преступниках. А тут налицо был явный *проступок* и полная его непредусмотренность со стороны властей. В секретном всеподданнейшем докладе говорилось, что «в отсутствие заседателя из города, по делам службы, государственный преступник Мозгалевский без позволения вступил в брак с нарымской мещанской дочерью — девицей Евдокией Ларионовой Агеевой»

О слове «несчастной» в официальном документе применительно к декабристу томские власти, наверное, не сообщили царю, потому что, возможно, не знали о нем. Книга о бракосочетании Николая Мозгалевского хранилась в нарымской Крестовоздвиженской церкви, и запись, быть может, много лет оставалась тайной участников церемонии. Узнай царь о неслыханной дерзости, свершенной в далеком Нарыме, не миновать бы, пожалуй, грозы. Представляю, как холодная улыбка, которою временами самодержец одаривал своих подносчиков бумаг, гаснет и в роскошном кабинете раздается зубовный скрежет, ведь любое написанное слово о декабристах уходило в историю — царь это знал, а церковную метрическую книгу нельзя было уничтожить Наверняка Николай провел бы через Синод постановление о покаянии для нарымского священника или даже лишении сана. Досталось бы и окружному заседателю, и губернатору, тем более что брак декабриста был самовольным, не согласованным ни с кем из начальства

Однако его, освященного церковным обрядом и регистрацией, признать незаконным было невозможно, и следствием всей этой истории явилось особое постановление, по которому «государственные преступники обязаны впредь спрашивать на вступление в законный брак высочайшего соизволения». Ни сельская или городская власть, ни губернатор или даже сам сибирский генерал-губернатор не могли разрешить декабристу создать семью — только царь! Десятилетиями Николай держал цепкие пальцы на горле изгнанников, следя буквально за каждым их движением

Свадьба Николая Мозгалевского по достаткам жениха и невесты прошла, должно быть, скромно, однако и самую бедную свадьбу в Сибири исстари ведут трехдневным народным чередом да ладом — с девичьими песнями, лихими плясунами да речистыми дружками-прибаутошниками, с битьем горшков, балалаечной музыкой и ряжеными, с гирляндами ребятни под окнами; я все это ясно представляю себе, потому что в детстве не раз толкался с ровесниками на завалинках, впитывая свадебный гвалт и нетерпеливо ожидая, когда насыплют тебе горсть дармовых леденцов...

Повествование у меня получается строго документальным, и дальше я должен идти избранной стезей, давно заметив, что она может дать этакий поворот, что не вдруг и придумаешь и не вдруг напишешь, опасаясь, что не поверят. И на этой стезе есть свои соблазны.

Как было бы эффектно, например, придумать появление 2 июля 1828 года на свадьбе Николая Мозгалевского нежданного далекого гостя! Однако такой гость был, это правда. Нет, не Владимир Соколовский, но тоже вполне, по правде говоря, необыкновенный — декабрист! Необъяснимая правда случая содержала в себе совсем уж редкое обстоятельство. В лице этого будто с неба свалившегося гостя мог быть любой из декабристов, проплывавший мимо по Оби на новое место изгнания или отпущенный с каторги на поселение и по сибирским рекам добиравшийся из Забайкалья в Сургут, Ялуторовск или Тобольск. Нет, это был сосланный именно в Нарым декабрист, пробывший более года на Нерчинских рудниках. Он мог, далее, оказаться совсем неизвестным Николаю Мозгалевскому «северянином» или «южанином», но это был «славянин»! И не полузнакомый из артиллеристов или прочих, с кем и словом-то никогда в жизни не довелось перекинуться, а хорошо известный губернский канцелярист Выгодовский, тот самый, что еще до Лещинского лагеря был знаком с Мозгалевским и по его *требованию* писал ему из Житомира особо; если помните, мы узнали об этом из письма Павла Дунцова-Выгодовского Петру Борисову — интереснейшего документа, позволившего проследить некоторые «славянские» связи...

Приезд в силу необъяснимого случая на первую декабристскую свадьбу старого товарища жениха был бы вполне в духе романтического романа, только это неправда, которую я мог бы легко выдать за правду, сделав вид, что не заметил расхождения в датах, и, может быть, очень долго никто б меня не уличил в невинном литературном допущении — будущему установителю этой маленькой истины пришлось бы перерыть архивы многих сибирских городов и добраться до шкатулки в черниговском доме Лизогуба. Замечу, что алфавитник декабристов, выпущенный в 1925 году, тут бы не помог. В нем нет даты венчания декабриста, и, кстати, составители его, не располагая брачным свидетельством Николая Мозгалевского, почему-то назвали его будущую супругу Кутаргиной и перечислили не всех его детей. Откровенно скажу,

зачем занимаюсь такими мелкими уточнениями,— мне нужно доверие читателя, когда речь у нас зайдет о некоторых сложнейших и запутаннейших вопросах русской истории и культуры...

Итак, по архивным документам можно установить, что Павел Выгодовский выехал из Читы 8 апреля 1828 года еще «зимником» и кое-как добрался 25 мая по Сибирскому тракту до Томска. Навигация по Оби к этому времени уже открывается, и ссыльного сразу отправили вниз на барже. 3 июня он прибыл со стражником в Нарым. Эти даты, кроме главной, последней, установила М. М. Богданова, а я в одном из архивных документов, касающихся ссылки Павла Выгодовского, нашел также сведение о том, что власти числили его «поступившим в мае» 1828 года. Венчание же и регистрация брака Николая Мозгалевского состоялись 2 июля 1828 года, и следовательно, до его свадьбы Павел Выгодовский около месяца жил в Нарыме. Была у друзей, конечно, трогательная встреча, и долгие разговоры-воспоминания, и рассказы Выгодовского о каторге и судьбе товарищей по обществу. Наверное, впервые Николай Мозгалевский услышал о крепкой спайке «славян»-каторжан, о Петре Борисове, сохранившем и в Сибири свой непререкаемый моральный авторитет, о каторжных «университетах»... И на свадьбе друга Дунцов-Выгодовский наверняка побывал, хотя списка ее гостей у меня, естественно, нет, а по именам, кроме жениха и невесты, я знаю лишь четырех участников празднества, свидетелей бракосочетания...

Поселение единственного декабриста-крестьянина Павла Дунцова-Выгодовского в Нарыме вызвало спустя годы такой необычный поворот событий, что это стало совершенно исключительной страницей в истории русской политической жизни, и мы скоро раскроем ее... Наверно, без помощи и дружеского участия Николая Мозгалевского, уже несколько освоившегося в Нарыме, Павел Выгодовский не выжил бы — ведь он, как в свое время первый здешний ссыльный, был брошен на милость, вернее, на произвол судьбы, обречен фактически на медленную смерть, не имея абсолютно никакого содержания, твердого заработка, применимой в этих местах профессии, крестьянских навыков, не говоря уже о психологической неподготовленности к неимоверным бытовым тяготам и нравственным унижениям.

Через два месяца после приезда в Нарым Павел Выгодовский отправляет царю письмо. Называю этот интересный документ не «прошением», а «письмом» потому, что оно мало похоже на прошение. В официальной чиновничьей переписке значилось: «...государственных преступников Мозгалевского и Выгодовского запечатанный пакет на французском языке на высочайшее Его Императорского Величества имя». Не находилось ли в пакете письмо и Николая Мозгалевского, которое мне найти не удалось? Быть может, оно затерялось, как и означенное в донесении письмо «матери его в Нежин», когда в 3-м отделении документы раскладывали по именным папкам? Однако и письма Выгодовского вполне достаточно, чтобы понять общее настроение нарымских ссыль-

ных. Тем более что оно даже с формальной точки зрения несколько необычно, потому что написано на французском, *которого Выгодовский не знал*, хотя подписано его рукой: «Paul Vigodovcki». Почерк подписи резко отличен от основного текста.

«Sire!» — с такого обращения начинается письмо к императору, и я, дрожа от нетерпения, пытаюсь переводить его, но конструкция фраз довольно сложная, а словаря под рукой нет. Кто в Нарыме, кроме Николая Мозгалевского, который никогда — ни до этого, ни позже — не обращался к царю, мог составить такое послание? Дело было ответственным, и Павел Выгодовский не привлек бы к нему человека ненадежного или недоучку. Ссыльные поляки, которые могли знать французский, появились в Нарыме уже после революционных событий в Польше 1830—1831 годов, то есть через несколько лет. А Николай Мозгалевский, как мы знаем, владел французским лучше русского. Однако почерк не его — жирные буквы с подчеркнутой аккуратностью, каллиграфически выведены гусиным пером. Может, какой-нибудь безвестный нарымский писарь за шкалик перебелил незнакомый текст?

— Мария Михайловна! — звоню я вечером.— Вы, случаем, нарымское письмо Выгодовского царю не переводили?

— Как же, как же! В отрывках есть. Он там довольно ироничен и умен.

Вот эти отрывки. «Ваше величество, побуждаемы человечностью, соизволили даровать мне жизнь... и наказать меня истинно по-отечески...». «Ваше сострадание превосходит Ваше правосудие...». Ничего себе комплименты, если учесть то, что пишется в письме по сути! «...В Нарыме я страдаю гораздо более, чем на каторге,— потому что в Чите я имел, по крайней мере, кусок хлеба, хотя и скудного, здесь же я умираю с голода, ибо не могу найти в этом пустынном городе никаких занятий, которыми я мог бы добывать средства к существованию. К тому же, будучи не в состоянии иметь никакой помощи со стороны родных, у меня нет никакого другого источника, дабы содержать себя, как только прибегнуть к Вашему монаршему милосердию... Осмеливаюсь надеяться, что Вы не оставите меня на произвол судьбы, не дадите погибнуть от голода».

Царской резолюции на письме нет — возможно, что жандармы поопасались показать самодержцу документ ссыльного, который в реестре наказаний дерзко отдавал предпочтение каторге, а вежливейшие французские обороты таили тонкое и злое осуждение за жестокую расправу над декабристами. Дальше мы увидим, во что выльется у Павла Выгодовского отношение к царю, какую необыкновенную письменную форму оно примет и как это скажется на судьбе декабриста-крестьянина, судьбе почти невероятной, захватывающей воображение. А сейчас несколько слов о «мерах», принятых по письму. Неизвестно, чем и как жил Павел Выгодовский лето, осень и начало зимы 1828 года — наверное, это было сравнимо с первой нарымской зимой Николая Мозгалевского, который в конце ее окончательно ослаб духом, о чем

мы еще вспомним. Правда, рядом с Выгодовским находился товарищ по судьбе, проживший в Нарыме год, а мы знаем, что Николай Мозгалевский был не только добрым по характеру и воспитанию своему, но и человеком, исповедовавшим нравственные принципы «славянского» братства.

Несколько месяцев письмо Павла Выгодовского ходило по канцеляриям, и я нашел в архиве документ, в какой-то степени облегчивший мученическое положение декабриста. Документ датируется 29 ноября 1828 года и разрешает казне выдавать Выгодовскому «по пятидесяти копеек в каждые сутки... с 1 января 1829 г.». Ту же полтину ассигнациями на день, что получал Николай Мозгалевский, тот же рубль и две сотых копейки серебром на неделю...

А у Мозгалевского вскоре родилась дочь, названная Варварой. Семейное положение несколько изменило образ жизни, улучшило быт Николая Мозгалевского. Молодые поселились в небольшой светелке, завели свое хозяйство — не знаю, коровенку, кабана либо птицу, а может, все это вместе, и прокорм домашней скотины требовал труда, летней заготовки сена, ведения огорода. Декабрист косил и рыбачил, рубил лес и заготавливал кедровые орехи. Без Оби в Нарыме вообще нельзя было бы прокормиться — она давала спасительницу-рыбу, удобный транспорт и питьевую воду, но пользоваться дарами реки бывшему офицеру пришлось учиться: плести сети, ставить «морды» и переметы, править лодкой, солить, вялить и коптить на зиму добычу.

За дочерью пошли сыновья — Павел, Валентин, Александр, и жить становилось все труднея. Вот архивное документальное свидетельство о Мозгалевском того времени: «Жизнь ведет совершенно крестьянскую, занимаясь хозяйством, обучает русской грамоте двух мальчиков: родственника своей жены и сына тамошнего священника, получая за это самую ничтожную плату». Документ найден М. М. Богдановой, а я разыскал в архивах другие интересные бумаги, живописующие нарымские условия и попытки Николая Мозгалевского улучшить материальное положение семьи. Декабрист затеял хлопоты о своей доле отцовского наследства, испрашивая министерство внутренних дел разрешения послать в Нежин на имя брата доверенность для получения омертвленной денежной суммы. Последовало разъяснение, что «находящийся в заштатном городе Нарыме государственный преступник Николай Мозгалевский лишен всех прав состояния и на основании Указа 29 марта 1753 года должен быть почитаем политически мертвым», посему отказать..

А как и чем жил декабрист-крестьянин Павел Выгодовский? Крестьянствовал он, очевидно, только в ранней молодости, и перед первым арестом в 1826 году мог считаться интеллигентом-разночинцем. Едва ли он по примеру своего товарища Николая Мозгалевского снова стал крестьянином в Нарыме. В 1829 году Сибирь объехал жандармский полковник Маслов со специальной миссией — проверить состояние и настроение декабристов.

О Павле Выгодовском он доносил: «Ведет уединенную жизнь, чуждается знакомства с жителями, большую часть времени проводит в чтении». В донесении Маслова ничего не сказано о хозяйстве Выгодовского, однако Бенкендорф зачем-то, быть может для успокоения царя, домысливает в своем комментарии: «Будучи крестьянский сын, он снискивает себе пропитание сим ремеслом». Из других, более достоверных источников можно узнать, что Выгодовский в Нарыме портняжил, научившись этому ремеслу у своего хозяина-портного, а в рапорте Маслова есть вполне достоверная и для нас очень интересная деталь: Выгодовский в Нарыме много читал. Спрашивается: где он брал книги? Никакой библиотеки, естественно, в городишке, насчитывавшем всего несколько сот жителей, не было, книголюбов — при почти полном отсутствии интеллигентской прослойки — тоже. Думаю все-таки, что кой-какая литература водилась у местного врача Виноградова, да и у священника, назвавшего в официальной записи Николая Мозгалевского «несчастным», мог быть какой-никакой подбор церковных сочинений, однако вероятно и третье — Выгодовский привез книги с собою.

Историкам известно, что из больших библиотек, быстро созданных на каторге, щедро снабжались те, кто уезжал на поселение. Павел Аврамов, например, привез в Акшу сорок томов, Иван Якушкин через пол-Сибири в Ялуторовск — девяносто восемь, Александр и Николай Крюковы в Минусинск — сто шестьдесят, а Ивану Горбачевскому декабристы оставили в Петровском заводе столько книг, что он создал из них первую в тех местах публичную библиотеку. Павел Выгодовский был в числе первых, отбывших каторжный срок, и при его бедности и неукротимой тяге плебея к знаниям он мог рассчитывать на солидный книжный подарок. С уверенностью говорю о нарымской библиотеке Выгодовского, потому что есть бесспорные и совершенно необыкновенные свидетельства его читательских интересов, о чем речь впереди.

В 1834 году Николай Мозгалевский написал письмо Павлу Бобрищеву-Пушкину в Красноярск, где тот в то время жил на частной квартире с умалишенным братом. Оно пока не найдено и, наверное, никогда найдено не будет, а известно о нем из письма Бобрищева-Пушкина Евгению Оболенскому в Петровский завод. «Он пока здоров, но в нужде»,— сообщает Бобрищев-Пушкин, но меня больше заинтересовало не содержание письма — положение Николая Мозгалевского в Нарыме я примерно представлял,— а сам факт его переписки с другими декабристами. Как он узнал, что Бобрищев-Пушкин в Красноярске? Где взял его адрес? И почему Николай Мозгалевский писал именно Павлу Бобрищеву-Пушкину, а не какому-либо другому декабристу? Среди потомков Мозгалевского, правда, есть смутные, идущие от их пращуров сведения о том, что эти два декабриста были какими-то дальними родственниками.

К середине 30-х годов положение многих ссыльных декабрис-

тов стало критическим — расшатанное здоровье, большие семьи, полицейские ограничения, нищенские пособия, призрак голодной смерти... Жалобы и прошения сыпались в Петербург, в губернские правления и казенные палаты. Наконец Николай I разрешил разработать правила, согласно которым государственным преступникам дозволялось иметь земельные наделы по пятнадцать десятин пашни и столько же целины. Однако такая «милость» выглядела издевательством для политических ссыльных, что жили в притундровых, каменистых, лесных, болотистых либо песчаных местах, где земледелие было невозможно. Просьбы о переселении в земледельческие районы порождали новую череду издевательств.

Читателю известно имя Ивана Шимкова. В его бумагах сохранился для истории «Государственный завет»; у него при аресте нашли вольнодумные стихи Пушкина; это он, согласно его показаниям и официальной версии, принял в Славянское общество Николая Мозгалевского. На поселении жил в Батуринской слободе Иркутской губернии, писал: «Хлебопашество здесь скудно вознаграждало труды», и невозможно «снискать себе пропитания». Тяжело заболел, но в ответ на просьбу о переселении в хлебородную Минусу ему предложили Цурухайтуевскую крепость на пограничье, в окрестностях которой от веку ничего не росло из-за непригодности почвы. Последнее прошение Ивана Шимкова полно безнадежного отчаяния — он молит оставить его в покое, ибо «для меня теперь уже почти все места равны сделались, лишь бы мне не протягивать только руку просить подаяние». Вскоре он умер, оставив завещание передать весь свой жалкий скарб «находящийся у него в услужении крестьянке Фекле Батурниной...».

Вернемся, однако, в Нарым.

После Варшавского восстания было сослано в Сибирь много поляков; и часть из них оказалась в Нарымском крае. Мы уже говорили о природных условиях Нарыма, но вот в бумагах Николая Мозгалевского каким-то случаем сохранилось прошение Франца Домбковского, подробно живописующее эти условия с точки зрения поселенца, не представляющего себе, как он тут сможет жить. Письмо написано характерным слогом — не исключено, что и его автором был Николай Мозгалевский, оказавший ссыльному поляку товарищескую услугу. Мне не удалось найти в печати следов этого интересного документа — возможно, он публикуется впервые. Домбковский пишет, что сослан в Нарым «с тем, чтобы ни на шаг мне оттуда не отлучаться. Я видя себя заключенным яко в ссылку важнейших преступников, и в такое место, кое можно именовать сущим островом, поелику его окрестности да и все вообще здешние места покрыты в течение трех месяцев года непроходимыми дебрями, болотами и озерами, производящими к тому испарения, вредящие здоровью, особливо пришельца климата умеренного, в течение же остальных 9 месяцев омертвелая природа представляет только единообразную лесную пустыню, покрытую льдами и глубокими снегами, которая является еще угрюмее при малом своем населении, состоящем большей

частью из остяков и малого числа русских, образом жизни с ними сходным, потому что все они сообразно здешнему лесистому и водиому местоположеиию и климату занимаются одним почти промыслом рыбы и зверей, н торговлею по сей части...». Прежде чем попросить о переводе в другое место, Франц Домбковскнй описывает свое положение: «...Находясь в беднейшем крае, в коем ие зиая никакого особенного занятия и притом *будучи стесненным надзором полиции* (курсив мой.— *В. Ч.*), доведен до такой крайиости, что не только чтобы иметь должную на себе одежду, ио даже с трудом снискиваю себе дневиое пропитание».

Павел Выгодовский в середине тридцатых годов тоже проснл власти улучшить его положение ссыльного. Письмо его в Томскую казенную палату о нарымских хозяйственно-экономнческнх условиях формулируется строго и обстоятельно: «По местоположеиию почвы близ г. Нарыма, климату и свойству промышленности в местностн, им обнтаемой, от хлебопашества совершенно невозможно извлечь какой-лнбо пользы, н все затраты, какне будут делаемы иа эту отрасль сельского хозяйства, останутся непронзводнтельными».

Прошеиие Николая Мозгалевского геиерал-губернатору Западной Снбири датируется 1 февраля 1836 года. Он рассматривает Нарым также с точкн зреиия земледельца: тон спокоиныи, деловой, но есть в тексте несколько любопытных деталей. «Назначеииою мне *даже* от монаршей милости землею здесь невозможно пользоваться (слово *«даже»* я выделил — кажется, это прежний, «французский» способ изъявления благодарности.— *В. Ч.*), потому что почва земли в окрестностях Нарыма песчаиая и тем самым уже неудобна к произрастанию, к тому же местоположение будучи по большей части иизмениое покрывается в течеиие всей весны водою; если и есть места возвышенные, то те чаще всего покрыты лесом; для того н потребно много трудов, издержек, усилий и времени, чтобы ее довести до посредственного плодородия, потому что и самый климат здешнего места мало ему благоприятен».

Примечательиа и другая фраза декабриста, внешне почти бесстрастная: «Силы мои ослабли, *а полицейский надзор* н скудость средств здешиего места в приискании себе каких занятий для приобретения к жизин потребного довершают тягость моего рока». Как и в прошении Франца Домбковского, выделил я слова о полицейском надзоре, потому что это было нечто иовое для офицнальных просьб ссыльных — недовольство тягостями полицейской слежкн. Для меия почти бесспорно, что прошения Николая Мозгалевского, Павла Выгодовского н Франца Домбковского составлялись ими коллективно — слишком много сходных положеиий, общиости в тоне высказываинй, подобнй в формулировках, отдельных словах и выражениях.

Как н Выгодовский, Мозгалевский вынужден был тогда отказаться от царского земельного дара. Слова же об ослабших силах свидетельствуют о том, что декабрист, скорее всего, почувствовал болезиь, а ведь всего два года иазад он писал Павлу Боб-

рищеву-Пушкину, что «пока здоров». Пройдет совсем немного времени, и Николай Мозгалевский убедится в том, что он обречен — чахотка...

В заключение своего прошения Мозгалевский, как и Шимков, просил перевести его в Минусинск. 4 ноября 1836 года генерал-губернатор Восточной Сибири сообщил Бенкендорфу, что государственный преступник Николай Мозгалевский с женой Авдотьей Ларионовной и четырьмя маленькими детьми прибыл в Красноярск и направлен в село Курагинское Минусинского округа.

Перевели в Южную Сибирь Франца Домбковского и еще троих ссыльных поляков. В Нарыме остался один Павел Выгодовский, и полицейские же донесения оттуда неизменно отмечали, что ведет он себя «добропорядочно», «благопристойно» и «в образе мыслей скромен». Любопытен этот документ по форме. Называется так: «Список прикосновенному к происшествию 14 декабря 1825 г.— государственному преступнику, водворенному на поселение в Томской губернии». Десять лет прошло между отъездом Николая Мозгалевского из Нарыма и прибытием в Томск Гавриила Батенькова, однако каждый год отправлялся в Петербург этот «список», состоящий из одной фамилии Выгодовского. Однако вскоре все вдруг переменилось в его судьбе, и я должен непременно пройти с читателем по следам этой мучительной, трагической жизни. Тяжких судеб в политической истории России мы знаем немало, но на долю единственного декабриста-крестьянина, сосланного в Сибирь вместе с дворянами, выпали совершенно исключительные, особые повороты.

14

Павел Выгодовский вначале выпал из поля зрения товарищей, а позже единственного декабриста-крестьянина потеряли и русские историки.

В 1846 году, после двадцатилетнего одиночного заключения, в томскую ссылку прибыл декабрист-сибиряк Гавриил Батеньков, и он еще знал, что в четырехстах верстах севернее вот уже девятнадцатый год томится декабрист-«славянин». Но когда спустя еще десять лет вышел указ об амнистии, имени Выгодовского в нем не значилось. 12 октября 1856 года Гавриил Батеньков написал декабристскому «старосте» Ивану Пущину: «Удивились мы, почему не попал в амнистию находящийся в Нарыме Выгодовский, не забыт ли он как-нибудь». Батеньков не подозревал, однако, что Павла Выгодовского в Нарыме уже не было, и, наверное, удивился бы, если б узнал, что год назад во время прогулки по одной из томских улиц он оказался от Выгодовского в... двухстах саженях!

Автор известного «Погостного списка» декабристов Матвей Муравьев-Апостол предположительно занес Павла Выгодовского в число умерших в 1856 году. А. И. Дмитриев-Мамонов, выпустивший в 1905 году книгу «Декабристы в Западной Сибири», счел Павла Выгодовского возвратившимся после амнистии в Россию и вскоре умершим. И пошли гулять по статьям, книгам и диссертациям невнятные и противоречивые сведения об одном из самых ярких декабристов, вписавшем в историю русского освободительного движения страницу, пред которой склоняешься с почтительным изумлением.

«Алфавит декабристов», выпущенный в 1925 году, заканчивает справку о Выгодовском противоречивым утверждением: в 1855 году он был приговорен томским судом к ссылке в Иркутскую губернию, а в 1856-м... жил в Нарыме! В 1931 году вышла «Сибирская энциклопедия» — о Выгодовском в ней ни слова. Спустя двадцать лет в краткой персоналии, посвященной этому декабристу, Большая Советская Энциклопедия повторила общеизвестное, не сообщив, однако, где Павел Выгодовский отбывал первую ссылку, что он был вновь осужден и как сложилась его судьба после томского приговора. Указан год рождения, а «г. смерти неизв.»...

В 1856 году, когда многие декабристы двинулись на запад, в Россию, единственный их товарищ шел им навстречу в партии колодников на восток, в глубину Сибири. Ровно сто лет история ничего не знала о его дальнейшей судьбе и, может, не скоро бы узнала, если б не один малозначительный на первый взгляд и никому не известный эпизод-встреча в 1952 году двух интересных людей, один из коих уже знаком моему читателю. Это Мария Михайловна Богданова — и я должен выразить ей свою глубочайшую признательность от себя лично и от имени тех, кто не имеет возможности этого сделать,— она открыла неизвестные ранее обстоятельства жизни и смерти Павла Выгодовского. Вспоминаю одну из своих встреч с нею. Мы сидели в ее комнатке, окруженные старинными портретами, книгами, папками с письмами и рукописями.

— С молодости испытывала чувство нетерпеливой досады, что

люди ничего не знают о судьбе Выгодовского. Интерес многие годы поддерживался еще и тем, что это был единственный крестьянин среди революционеров-дворян, что он один из всех не попал под амнистию 1856 года, а место и дата его смерти не известны никому, что он — единственный из декабристов, проживший восемь лет рядом с моим прадедом Николаем Мозгалевским...

— Кроме того, Мария Михайловна,— говорю я,— они же были как-то связаны между собою еще до восстания.

— Да, да, и я рада, что вы сами пришли к этому выводу. Так вот, когда вышел восьмой том Большой Советской Энциклопедии с неполными и смутными сведениями о Выгодовском, я поняла, что больше откладывать не могу — надо ехать в Сибирь! Никто из историков не верил в успех, отговаривали, снисходительно посмеивались надо мной. Меня окрылил только мой учитель Марк Константинович Азадовский. Пришла я к нему посоветоваться. Он тогда жил в Москве, очень болел, и это была наша последняя встреча.

— В каком году?

— В 1952-м. Он умер спустя два года... Но я застала его еще за работой, в кабинете. Встретил меня Марк Константинович хорошо, выслушал со вниманием... «Подайте-ка,— говорит,— вон ту папку». Я достала пухлую папку с надписью «1925 год». Развязывая тесемочки, он поглядывал на меня как-то восторженно-весело. Этот взгляд я помнила еще с его лекций, когда он готовился сказать нам что-то важное и новое. И вот он отыскивает какую-то бумажку и молча передает мне. Прочла и даже приподнялась в кресле, а позже эту его драгоценную выписку 1925 года напечатала в своей книжке о Выгодовском... Позвольте вам ее подарить. Это у меня последний экземпляр.

— Последний не возьму.

— Примите,— сказала Мария Михайловна и быстро начала писать на титуле дарственные слова.— Пожалуйста...

«Декабрист-крестьянин П. Ф. Дунцов-Выгодовский», Иркутск, 1959 год. Ни разу не переиздавалась. На мягкой зеленой обложке — белый меч с древесной веткой наперекрест, перевитые звеньями ручных кандалов. Единственный портрет декабриста, найденный в жандармских архивах автором книжки. Тираж всего три тысячи. На многих страницах книги рукописные поправки, уточнения — настоящий авторский экземпляр! Правда, есть в брошюре, как я позже убедился, кое-какие неточности и неучтенные, установленные мною по архивным материалам важные факты, о чем мы к месту вспомним, а сейчас представьте себе положение исследователя, задумавшего во что бы то ни стало узнать, каким образом в середине прошлого века будто бы бесследно исчез декабрист-крестьянин.

Дата выхода из Томска партии № 21, в которую был включен Павел Выгодовский,— 19 сентября 1855 года. Сибирскую позднюю осень я знаю близко. Обложные холодные дожди: то

льет-заливает, срывает мосты и промачивает стога, то сеет неделями, гноит крыши, болотит землю, а в воздухе противная, пробирающая до костей сырость. Потом долгие дожди со снегом и мокрый снег хлопьями, а вот уж земля каменеет ночами и не отходит за короткий сумеречный день. В конце октября налетит сухая метель, осыплет все белым, а когда ветры унесут ее куда-то, разъяснеет и очистится небо, засеребрится луна и вдарит первый мороз до треска.

У печки пересидеть эту пору — одно дело, а представьте себе группу скованных цепью людей, которые должны идти каждый день, чтобы не забивать собой этапных пунктов,— идти под дождем и снегом, по грязи и колдобинам тысячи верст, идти в жалкой арестантской одежонке и промокаемой обутке, идти на скудных казенных «кормовых», потому что денег своих нету, а если б и были, то прикупить по пути нечего, да и уголовники отнимут последнее. Люди мерзли, простывали, обмораживались и мерли по пути; осенне-зимней порой сибирский этап убирал в землю, как свидетельствует история, половину партии, а то и поболе.

Выживали самые молодые и сильные. Павел Выгодовский был уже далеко не молод — когда он отправился в этот страшный путь, ему исполнилось пятьдесят три. Сильным, наверное, он никогда не был в отличие, скажем, от богатыря Михаила Лунина, который в аду Акатуя превзошел этот возраст Выгодовского, но писал Марии Волконской: «...Здоровье мое находится в поразительном состоянии и силы мои далеко не убывают, а, наоборот, кажется, увеличиваются. Я поднимаю без усилия девять(!) пудов одной рукой». Незадолго до смерти этот феноменальный человек, будучи почти шестидесятилетним стариком, успокаивал в письме друга своей молодости Сергея Волконского: «Мое здоровье все время в прежнем положении. Я купаюсь в октябре при 5 и 7 градусах мороза в ручье, протекающем в нескольких шагах от тюрьмы, в котором для этой цели делают прорубь».

Наверное, Павел Выгодовский уже в молодости был слабее даже своего товарища по обществу и ссылке Николая Мозгалевского, конника и фехтовальщика в прошлом, чье здоровье, однако, начало сдавать к середине тридцатых годов в Нарыме. Выгодовский никогда не занимался спортом или физическим трудом, если не считать года каторги, где труд был проклятием. До первого ареста он сидел в канцелярии, в нарымской ссылке долгие годы прирабатывал у хозяина дома портняжным делом, а еще была у него одна особая многолетняя сидячая работа, о которой большой разговор впереди.

И вот этот мученический путь. Позади был год Петропавловской крепости, год каторги на Нерчинских рудниках, более четверти века голода и лишений нарымской ссылки, почти год в тесной, многолюдной камере томской тюрьмы, впереди — тысячи верст тяжкой пешей дороги сквозь дожди, пургу, душные клоповники, броды и горы. В железах... И легко понять тех, кто делал

логическое допущение, что Павел Выгодовский мог не выдержать тяжкого этапа,— скончался где-то между Томском и Иркутском, а могила его просела весной, заровнялась и взялась травой. Мысленно вижу эти несчетные безымянные могилы обочь Сибирского тракта, давным-давно исчезнувшие, покрытые кустарником, старыми кострищами, мочажиной ржавиной и карчами. Той порой, когда шел этим трактом Павел Выгодовский и, по мнению здравомыслящих, наверняка лег в мерзлую землю, Россия многих хоронила — шла «севастопольская страда», и не было в огромной империи ни одного человека, которому можно было бы сообщить о судьбе несчастного колодника, упокоившегося под березовым крестом на краю леса...

А еще в БСЭ сказано, что Павел Выгодовский перед этапом «был приговорен к наказанию плетьми»... Нет, мне надо непременно поставить себя на место исследователя! Еду в архив, чтобы еще раз просмотреть бумаги Павла Выгодовского. Плетьми, однако, его все же не наказали, «хотя и следовало», как пишется в постановлении томского суда от 15 апреля 1855 года. Эту экзекуцию назначили было публичной, «рукою служителя полиции», но отменили по случаю воцарения Александра II. Есть еще один датированный документ. Это последнее сведение о пребывании Выгодовского в родных моих местах — донесение в 3-е отделение: «В Томской губернии находились двое государственных преступников: Гавриил Батеньков и Павел Выгодовский... первый из них возвращен в Россию, а последний за дерзкие поступки... сослан на поселение в Иркутскую губернию».

Писано 15 марта 1857 года. Если б он умер на зимнем этапе 1855/56 года, полиция наверняка бы сообщила в специальную императорскую канцелярию, а может быть, и сам Николай I успел бы еще узнать об этом — такого рода сообщений из Сибири он не пропускал. А вот документ, датированный уже 1858 годом,— всеподданнейший доклад новому царю о Выгодовском: «Не подошел под правила о милостях... по дурному поведению». Значит, Павел Выгодовский преодолел этап?

Вроде бы так, если судить по этому докладу. Однако прямых доказательств прибытия Павла Выгодовского на место новой ссылки в главном историко-политическом архиве страны не было. Где он находился в 1858 году? Но главное — за что был арестован в Нарыме осенью 1854 года?

Еще летом по решению омских властей, где располагалось западносибирское генерал-губернаторство, было передано в Томск распоряжение заняться Выгодовским на месте за какие-то «дерзости в прошениях». Отдельный тогурский заседатель Борейша, заклятый враг декабриста, вызвал его на допрос. Павел Выгодовский явился, но при людях назвал его, как свидетельствует один из документов того времени, «мошенником, вором и грабителем». И вот как описывает обстоятельства ареста Павел Выгодовский в своем прошении, посланном 7 февраля 1855 года из томского тюремного замка: «11 ноября 1854 года заседатель Бо-

рейша, вытребовав меня в свою канцелярию и не объявив мне никакого предписания от имени начальника губернии меня арестовать, сказал, что меня велено дочиста обобрать и связанного в Томск выслать, вопреки именного Высочайшего повеления...». Этот отрывок из тюремного прошения декабриста печатается впервые по рукописному оригиналу и интересен тем, что в нем Павел Выгодовский обращает внимание властей на незаконность ареста — ведь и вправду каждый декабрист находился под жандармским контролем шефа 3-го отделения, самого царя, и всякое изменение статуса наказания государственного преступника юридически должно было исходить из Петербурга...

По календарю значилась поздняя осень, а в наших местах это уже зима. После покрова в тайге ложится снег, по рекам настывают забереги, и хотя стрежневая струя еще чиста, судоходство уже прерывается до весны. Павла Выгодовского отправили, скорее всего, санным путем, на ночь глядя и, как он написал в жалобе, в одной рубашке и единственном бывшем на нем русском полушубке, а Борейша взломал замки в доме, чтобы произвести тщательный досмотр жилища декабриста. Арест и отправка в Томск были произведены, видимо, так скоропалительно, что Выгодовский не смог взять с собой даже свои сбережения. Деньги остались в конторе Борейши вместе с книгами, но мы, к сожалению, не знаем, что это были за книги. Позже их отправили в Томск вместе с особой, главной, исключительной находкой, о которой речь впереди...

Почему томский полицмейстер, по словам самого Выгодовского, его «ругал, срамил, корил и поносил всяким площадным и подлым, скверным словом, грозя побоями, и заключил прямо в тюремный замок в казарме, наполненной народом и мучительными насекомыми, оставил покуда на терзания тюремного заключения, без следствия»? Десять месяцев тюрьмы, потом дикий приговор о наказании плетьми, невыносимо тяжкий зимний этап на новое место ссылки. За что?

Последний томский документ говорит о каких-то «дерзких поступках» Выгодовского, омский — о его «дерзостях в прошениях», петербургский — о «дурном поведении». Что таилось за этими обвинениями? На полицейско-жандармском языке так могли быть квалифицированы правдолюбие, прямота, честность, нераскаяние, гордая, нераболепная манера держаться. И Павел Выгодовский обладал, видимо, этими качествами смолоду. Следственной комиссии он прямо заявил, что вступил в Общество соединенных славян из-за «благородного их намерения, *могущего когда-либо принесть счастье народам*» (курсив мой.— *В. Ч.*), а выдавая себя за поляка, отвечал с замечательной последовательностью: «...Ежели природное российское дворянство волнуется противу правления, от веков свыше России данному, то я, яко поляк, безгрешно могу к тому принадлежать, тем более что сей случай может когда-либо привесть в первобытное (то есть первоначальное) положение упадшую Польшу, которую любить я по-

ставлял для себя ненарушимым долгом». А по пути на каторгу, согласно рапорту о поведении декабристов, Павел Выгодовский и один из организаторов Славянского союза Юлиан Люблинский «выделялись особенно своею веселостью и дерзким нахальством».

Каких-либо сведений о поведении Павла Выгодовского на каторге нет, а полицейские донесения из Нарыма долгие годы свидетельствовали, что он ведет вполне благопристойную жизнь. Что же произошло далее, когда декабрист остался один?

Среди потомков Николая Мозгалевского сохранялось сведение о том, что декабрист получал письма из Нарыма, только они сгорели вместе со всеми бумагами и единственным портретом предка во время большого минусинского пожара в 70-х годах, так что мы никогда не узнаем их содержания. Но вот лежит в столичном архиве подлинное письмо Павла Выгодовского на родину, в Подолию. Написано оно 22 января 1848 года. Почерк мелкий, убористый и хорошо мне знаком — так, только покрупнее да поразборчивее, написаны были «Правила соединенных славян» 3 мая 1825 года с аккуратно нарисованным в начале текста гербом общества и своеобразной аббревиатурой: «Г.Ж.П.Ф.В.», то есть «Город Житомир, Павел Фомич Выгодовский»...

Письмо адресовано Петру Пахутину, которого Выгодовский называет «братцем». Пропускаю поклоны родным и какие-то сложные рассуждения-видения о природе и вечном духе — быть может, ученый-натуралист и знаток старорусской философии найдет в размышлениях декабриста мысли, интересные для сегодняшнего читателя?

Вероятно, научные взгляды декабриста формировались под влиянием Петра Борисова, чей авторитет словно бы возрос на каторге, когда группа «славян» сплотилась вокруг него, близко, в непосредственном общении узнав и оценив нравственные достоинства и незаурядный ум своего политического вождя. И было еще в этом бывшем артиллерийском офицере одно качество, отличающее его от других «славян»,— он обладал задатками ученого-естествоиспытателя, немалыми знаниями, нерядовым темпераментом и навыками исследователя природы. При дознании написал, что совершенствовался в математике, натуральной истории, философии и морали. Среди прочего за ним числится один феноменальный научный подвиг: двенадцать лет он в условиях каторги — единственный случай в истории мировой науки! — вел метеорологические наблюдения. Они не пропали втуне — директор Главной физической обсерватории академик Вильд получил и обработал его данные, а в своем труде «О температуре воздуха в Российской империи» благодарно и смело сослался на исследования «политического ссыльного Борисова».

Добавлю, что в литературном наследии Петра Борисова оказалась статья «О происхождении планет», совершенно свободная от религиозных, мистических или идеалистических концепций мироздания; он считает Вселенную бесконечной, ее развитие

вечным, а ключом к познанию мира — «сочетание» естественных и математических наук.

Несомненно, мысли Выгодовского о Вселенной были близки мыслям Борисова. И в то же время космогонические рассуждения декабриста-крестьянина, должно быть, отличались оригинальностью, как все написанное им. И хотя соответствующие абзацы никто еще полностью не прочел, по отдельным строчкам можно понять, что автор с величайшим почтением относится к мудрой книге природы, в которой царит закон незаметного перехода и постепенности, пишет о «матерни», о том, «от чего бывает северное сияние», о некоем «животном магнетизме», «колебаниях земли», «атомах воды», и, заключая описание своего фантастического путешествия к полюсу, он, очевидно в результате инстинктивной догадки, приходит к удивительной мысли — человек, овладевший, по его терминологии, «полюсом», то есть вершиной естественнонаучных знаний, *«открыл бы все... прямо штурмуй небо»* (курсив мой.— *В. Ч.*).

И вдруг, как молния в смутном предгрозовом небе,— острая политическая мысль среди туманных тесных строк: «...всевосхищающий гений Наполеон: умел все прибрать, а не умел удержать., в том разве отдать ему справедливость, что успел за (благо) временно защитить свою умную голову императорскою короною, чтобы не просунулась она в петлю — дальновиден был разбойник!»

Глаза устают от мелких буковок, густоты строчек, от слога — рваного, местами совсем невнятного, резкой смены тем и настроений. Нет, это не Лунин, однако есть и нечто общее. Страсть, там — сдержанная, полная скрытой внутренней силы, здесь — стихийная, почти неуправляемая, но в обоих случаях это гражданская, политическая страсть, движимая прежними декабристскими идеалами. У Лунина — глубокий историзм, вдумчивый анализ европейских и российских событий, у Выгодовского — рвущийся наружу гнев, язвительное, горькое обличение прежних и нынешних общественных язв. Там — философские раздумья всесторонне образованного человека, думающего о лучшем будущем своей родины и уверенного в нем, здесь — гневное отрицание духа всеобщего торгашества, церковных и государственных институтов, беспощадное бичевание российских правопорядков, унижающих и растлевающих народ. Павел Выгодовский пишет, что «промысел Божий ныне отринут, в храмах воздвигнуты меркуриевы кумирни, происходит торговля, плутни, воровство; что золотой телец бог нового Израиля, что в храмы заманивают ныне не для того, чтобы молиться, но чтобы взять взятку, и на уме не слово Божие, а алтынничество; что сверх того явилось множество гениев, которые трудятся, как волы и ослы, желая споспешествовать усовершенствованию агрономии; что хлеба столько, что девать некуда, хоть мужики часто и голодают, что по новой системе народ — есть непросвещенная чудь, не стоящая хлеба; что ему лучше дать яду (вина), чем хлеба, что все усилия политического разума устремлены на то, чтобы распространить этот яд

всенародно, дабы доставить казне огромные доходы; что для казны все равно хоть пропей здоровье, состояние, нравственность, жизнь,— ей души не нужны, были бы деньги, а там хоть весь мир передохни...».

Этот отрывок из письма Павла Выгодовского я привел для иллюстрации взглядов и стиля мышления одинокого нарымского ссыльного, не получившего в прошлом систематического образования, волею судьбы (если под этим понимать жандармскую волю российского императора) оторванного от своих товарищей по убеждениям. И все-таки удивительно — выбор им способа общественной агитации, борьбы совпал с лунинским выбором! Возможно, как и Лунин, Выгодовский рисковал сознательно, рассчитывая на то, что его политические строки прочтет не только адресат и его окружение... Ведь есть точные жандармские сведения о том, что были и другие письма на родину, в которых декабрист «не упускал случая осуждать действия начальствующих лиц, так и другие предметы», а содержание и объем единственного сохранившегося письма никак не соответствуют представлениям о рядовом, обычном письме родственникам.

В книжке М. М. Богдановой говорится о 12 страницах письма Павла Выгодовского Петру Пахутину, но тут двенадцать плотно исписанных с двух сторон *листов,* следовательно, страниц вдвое больше.

Памфлет-трактат Павла Выгодовского до сего дня лежит непрочтенным, до конца не понятым и не оцененным с научной обстоятельностью и полнотой...

Любознательный Читатель. Неужели?!

— Да, ни один человек на свете не знает полного содержания этого письма! Оно не только нигде не напечатано, но и, наверное, никем пока полностью не прочтено. Попытался я было восстановить его полный текст, но вскоре отступился — почерк мелкий, хотя буквы стоят и неплотно, строчки частые и довольно ровные, смысл отдельных мест ясен, но слишком резко меняются темы; слог нестандартный, отмеченный яркой индивидуальностью... Глаза не смотрят уже, болят: нет, не справлюсь! Неужто нельзя было кому-нибудь из молодых востроглазых исследователей изучить по оригиналу этот интереснейший исторический документ? Думаю, что за дело мог бы давно взяться кто-нибудь из студентов — будущий историк, философ, криминалист-графолог, филолог или архивист, затеяв курсовую или дипломную работу об этом философско-политическом трактате декабриста, не прочитанном пока никем на свете. «Ленивы и нелюбопытны»?

Агитационная деятельность Павла Выгодовского была вскоре пресечена. Письмо его Петру Пахутину, конечно, перехватили власти. 19 августа 1848 года шеф жандармов граф Орлов согласился с предложением,

состоящим из двух пунктов: «1. Письмо Выгодовского оставить в делах 3 отделения. 2. Сообщить генерал-губернатору Восточной Сибири для объявления Выгодовскому, дабы последний на будущее время не осмеливался в письмах своих входить ни в какие рассуждения о предметах, до него не относящихся».

Павел Выгодовский, очевидно, не писал более таких писем, но горел, знать, в сердце этого человека огонь бесстрашия, и читатель ощутит его вскорости, но прежде хотел бы я представить себе, как внешне виделся тот огонь нарымскому обывателю. Помощника портного тут знали давно — многие из нарымчан родились уже при нем, успели обрасти бородами, а «секлетный», этот тихий, незаметный человечек, все шил да шил у подслеповатого окна зипуны и азямы, стегал одеяла и поддевки. В сумерки по городу загорались тусклые огни сальных свечей, и в этом окошке тоже. Всенепременно — вёдро ли, дождь, буран либо мороз — «секлетный» выходил на улицу и закрывал ставню, отгораживаясь от темноты да чужого глаза. С лязгом захлестывал ржавую железяку, досылал в косяк длинный болт. Потом скрывался в доме и, нащупывая щеколдой прорезь, пошевеливал изнутри петлю болта. Все замирало за ставней. Если теперь проходил по улице старичок с деревянной колотушкой, девки с посиделок, последний вытолканный из кабака мужик или страж нарымских порядков, они видели темный дом в темноте и еще нечто такое, к чему давным-давно присмотрелись и уже не замечали, а нам надо бы вообразить эту беспредельную тьму вокруг и слабый золотой лучик сквозь нее.

Не знаю, как уж в других местах, а у нас, по маленьким городишкам бассейна Средней Оби, оконные ставни в обычае. Бывают они резные и крашеные — под стать прихотливо выпиленным деревянным наличникам, карнизам и надворотницам, бывают совсем простые — три грубые доски с двумя поперечинами в паз, на фабричных петлях или кованых в местной кузне, бывают добела выжженные солнцем, если южная сторона, и сырые, почти черные с прозеленью, когда окна глядят на север или в лес, однако есть у них одна схожесть — «глазок», смотровой пропил в досках. Не могу сказать, по какой причине, однако всюду в наших местах «глазки» в ставнях делают одинаковыми по форме. Не кружок или там ромбик, а сердечко — так что чалдонское ночное окно глядит этаким светлым подобием червонного туза. И вырезать-то трудней, чем, скажем, квадратик, когда пропилил напрямую, сколол долотом — и «глазок» готов, а тут надо хоть и простую, но красивую плавную кривую наметить на краю доски, по точному подобию другую, и пилить лобзиком, да все наискось древесным волокнам...

Нарымские обыватели, быть может, удивленно поглядывали в первые годы на золотое сердечко, горевшее до полуночи и позже в ставне «секлетного», удивляясь, зачем зазря жечь столько свеч, а после попривыкли, полагая, что несчастному ссыльному, дабы прокормиться, надобно и ночами метать петли да строчить швы...

Иные, утесняемые нуждой и злыми людьми, заходили к нему со своими горестями — «секлетный» был единственным грамотеем Нарыма, не состоящим на казенной службе, и мог мигом составить жалобу в Томск, а то и самому омскому генерал-губернатору, благо у него всегда водились и чернила, и белая бумага, а уж гусиных-то перьев осеннего ощипа можно ему предоставить сколь его душеньке угодно.

Эти прошения, расхоже именуемые сибирским чиновничеством «ябедами», несли из нарымской глухомани слова резкие, на канцелярском языке — «неуместные», и содержали в себе ту самую правду-матку, которую наш народ умел резать во все времена. Архивы сохранили собственные «ябеды» декабриста, написанные перед арестом. Они по многим своим особенностям — немалая историческая ценность. Без этих документов представление о сибирской действительности середины прошлого века было бы неполным. Кроме изложения своих претензий к властям — декабриста лишили части казенного пособия,— Павел Выгодовский откровенно описывает все, что вызывает в нем осуждение и протест. Местами это довольно спокойная констатация экономически бесправного положения простого люда, напоминающая отрывки из какого-нибудь научного труда. Местные богатеи разоряют «беззащитных баб, вдов и бессловесных мужиков», «Томская казенная палата все почти рыболовные угодья у остяков отняла в свою пользу, а за неотнятые отнимают у них деньги и составляют себе экономический капитал». Есть и обобщающий вывод: «Существуют четыре главные язвы: заседатели, купцы, вахтера (приказчики казенных мучных магазинов.— *В. Ч.*) и кабаки».

И декабрист не может сдержать гнева. Он был выходцем из народа, и, должно быть, правдивый, нелицеприятный взгляд на вещи у него выработался еще в юности, когда любознательный деревенский паренек покинул родительский дом в поисках лучшей доли, правды и знаний. И здесь, в ссылке, увидев те же несправедливости, осознание которых привело его некогда в ряды декабристов, он взял на себя миссию откровенно зафиксировать то, что говорил гонимый и обижаемый нарымский люд о своих утеснителях. Ничуть не заботясь о последствиях, Павел Выгодовский выдает, как говорится, всем сестрам по серьгам. Местные купцы и кулаки, заседатели и приказчики — «слепни и пауты, сосущие кровь у бедняков», томские чиновники — «гадины есть те гнусные подьячие», «остяцкие грабители», «шайка воров», «хапуги, чернильные гнусы, воры и бездельники», «деловые механики, а попросту мошенники». Они «...на такой поднялись промысел и спекуляции, на какой и варнаки не решаются. Если эти воруют и разбойничают, то открыто, тогда как чиновники прячутся за статьи и буквы закона».

Не щадит он и личностей. Одна из самых зловещих фигур Нарыма тех лет — окружной заседатель Борейша, ставший позже томским городничим, служка богатого купца, местного «корсара» Дормидонта Родюкова, «грабитель и насилователь», стоящий на страже закона укрыватель пре-

ступников. И если с Борейшей Павлу Выгодовскому приходилось сталкиваться лично, то нарымские толстосумы Царегородские и Прянишниковы обличались им с позиций страстного свидетеля, народного защитника. На что, казалось бы, рассчитывал Павел Выгодовский, посылая в министерство внутренних дел и генерал-губернаторство столь резкие обличительные документы, которые становились — он этого не мог не знать! — неопровержимыми свидетельствами «неблагонадежности» автора? Счесть, что декабрист настолько настрадался сам, исстрадался за несчастный народ, что не находил в себе сил, чтобы деликатничать, то это будет правдой, да только не полной. В «ябедах» своих, как и в письмах, если даже судить по единственному сохранившемуся письму к Петру Пахутину, Павел Выгодовский выступает своеобразным писателем-сатириком, правдолюбцем и борцом, понимающим, на что он идет. Верно, что эта же форма политической пропаганды была найдена и Михаилом Луниным в письмах к сестре. Оба декабриста понимали, что в пути к адресатам их своего рода агитки могли прочесть почтовые служащие, губернские чиновники, полицейские и жандармские писаря и офицеры, что копии таких писем могут размножиться по дороге в Петербург и содержание их станет известным высшим сановникам империи, самому царю. Конечно, путь рискованный до отчаянности, но, наверное, единственно возможный для тех обстоятельств...

Строгий читатель, быть может, упрекнет меня в преувеличении, в неправомочности сравнения Лунина и Выгодовского, на котором я настаиваю,— титаническая фигура урикского политического мыслителя с его множеством богатейших по содержанию агитационных писем и почти никому не известный нарымский ссыльный со своим единственным письмом да несколькими памфлетами-прошениями... «Ябеды» Павла Выгодовского, эти своего рода сатирические миниатюры декабриста, вкрапленные в тексты официальных прошений, мне придется оставить в покое, чтоб поберечь время читателя для более важного разговора о рукописном наследии декабриста-крестьянина. Однако не слишком ли я преувеличиваю, громко называя «рукописным наследием» несколько десятков неразобранных страниц декабриста?

Хорошо бы тут сказать об одном моем принципе, который я принял для себя в начале своего путешествия в прошлое. Рассказ о любом путешествии содержит преувеличения или преуменьшения значений увиденного, услышанного, познанного, и причин тому множество — субъективных и объективных. Моя экскурсия в минувшие века, не ставящая себе целью сделать какое-либо научное открытие, наверное, может подчиниться этому общему закону, само собой сложившемуся в человеческой практике, но чтобы читатель стал доверчивым и равноправным моим спутником, мне хочется быть поправдивей — поточнее с фактами, построже с выводами, поспокойней тогда, когда почти нет сил оставаться спокойным.

— Но разве может действительно идти речь о каком-то рукописном наследии Павла Выгодовского?

— Не следует спешить; читатель, при всей его строгости, скоро смягчится, узнав нечто необыкновенное, не укладывающееся в привычные хрестоматийные представления о поведении, образе жизни, общественной и литературной деятельности декабристов в Сибири.

15

П. Дунцов-Выгодовский: «Человеку можно сделать насилие, но невозможно изнасиловать его внутренние чувства». М. Лунин: «От людей можно отделаться, но от их идей нельзя».

Перебираю свои рабочие карточки с афористичными фразами Михаила Лунина, выражающими серьезные, до предела отточенные мысли, пронизанные то горьким сарказмом, то страстью политического ратоборца, то спокойной мудростью человека, много знавшего и много думавшего над жизнью... «Из вздохов, заключенных под соломенными кровлями, рождаются бури, изверrающие дворцы». «В наши дни нельзя сказать «здравствуй» без политического смысла». «Похвала, доведенная до известного предела, приближается к сатире». «В мире почти столько же университетов и школ, сколько и постоялых дворов. И тем не менее мир населен невеждами и педантами». «Без искусства жизнь превращается в механизм». «Можно быть счастливым при всех жизненных положениях, и в этом мире несчастливы только глупцы и скоты». «Одни сочинения сообщают мысли, другие заставляют мыслить». «История не только для любопытства или умозрения, но путеводит нас в высокой области политики». «Истина всегда драгоценна, откуда бы она ни взялась». «Можно вовлечь на время в заблуждение русский ум, но русского народного чувства никто не обманет»...

Вы обратили внимание на точность и *объемность* лунинских мыслей? Любая из них *заставляет* думать. И такую глубину, отвагу и ясность мышления Михаил Сергеевич Лунин проявил в чудовищных условиях политической смерти!

Лунин... Нет, не могу не приостановиться здесь на судьбе этого великого соотечественника! Его личность, мысли, духовная сущность с годами будут привлекать к себе, я уверен, все возрастающий интерес. «...Лицо белое, продолговатое, глаза карие, нос средний, волоса и брови темно-русые». Приметы, зафиксированные жандармским пером,— внешнее, ничего не говорящее об этой исключительной натуре. Он был загадкой для многих, о нем писали Пушкин, Достоевский и Толстой, а царю и 3-му отделению Лунин доставил хлопот больше, чем любой другой декабрист.

Каждый поступок его был по-лунински неповторим. В Отечественную войну он не расставался с кинжалом, чтоб при случае пробраться в ставку Наполеона и одним ударом покончить с завоевателем. Даже просил командование дать ему какое-нибудь поручение для свидания с Наполеоном. Многие герои 1825 года с честью прошли сквозь огонь освободительной Отечественной войны, а Михаил Лунин, человек исключительной отваги, участвовал едва ли не во всех крупных сражениях 1812—1814 годов.

Островная под Витебском, Смоленск (несмотря на то, что его полк находился в резерве), при Бородино у Семеновских флешей и батареи Раевского (золотое оружие за храбрость), Тарутино, Малоярославец, Красное и преследование неприятеля до границы... Если б кто-нибудь надумал писать роман о русском офицере в первую нашу Отечественную войну 1812 года, то трудно было бы найти более подходящий прототип. В 1813 году Лунин носился по всей средней Европе и побывал как будто везде, где звенели клинки и пахло пороховым дымом. Впрочем, в обычном романе это могло б выглядеть так, что читатели не поверили бы или сказали что-нибудь о нетипическом. В несчетных папках Государственного военно-исторического архива сохранилась страничка, где протокольно записано каждое сражение 1813 года, в котором участвовал Михаил Лунин. «...Генваря 1 в Пруссии, 2 в герцогстве Варшавском, марта с 31 в Шлезии, апреля с 7 в Саксонии, 20 в сражении под г. Люценом, майя 8 и 9 под Бауценом, а отголь обратно в Шлезию, августа с 1 в Богемию, с 13 в Саксонию, 14 под Дрезденом, 17 обратно в Богемию, и того же числа, а равно и 18, в действительном сражении под Кольмумом и за отличие награжден орденом св. равноапостольного князя Владимира 4-й степени с бантом, сентября 22 в Саксонии, октября 4, 5 и 6 под Лейпцигом, а от оного при преследовании неприятеля до Франкфурта и до Рейна». В 1814-м, окончательно победном году, перейдя Рейн, Лунин дрался под Брисоном, при Фершам-

пенуазе (Анна 2-й степени), и, наконец, финальное дело при взятии Парижа...

Позже он оказался в Париже без куска хлеба, обратив, однако, все свои силы на то, чтобы понять лучшие умы того времени; встречался и спорил, между прочим, с Сен-Симоном. Вернувшись в Россию, составил для наследников завещание, согласно которому они были обязаны всех своих крепостных отпустить на волю. Наблюдения и размышления над жизнью, серьезные книги и знакомства выработали из этого одаренного человека убежденного революционера. Михаил Лунин был единственным дворянским революционером, который состоял, в сущности, членом всех тайных обществ и первым из декабристов предложил в качестве революционной меры уничтожение царя. Перед арестом Лунин служил в Варшаве под началом великого князя Константина. Среди арестованных декабристов оказался самым старшим — ему шел уже сороковой год. Перед Следственной комиссией держался смело, с достоинством; ответы его серьезны и полны благородства. Вот для примера один вопрос и один ответ: «С какого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мыслей, т. е. от сообщества ли или внушений других, или от чтения книг, или сочинений в рукописях и каких именно? Кто способствовал укоренению в вас сих мыслей?» — «Свободный образ мыслей образовался во мне с тех пор, как я начал мыслить; к укоренению же оного способствовал естественный рассудок»...

Приговор — двадцать лет каторги, замененной, как и другим осужденным по второму разряду, пятнадцатилетним сроком. История сохранила последний петербургский анекдот о нем, не очень похожий на правду, но рассказывают про этот случай два разных человека: «Михаил Лунин... по окончании чтения сентенции, обратясь ко всем прочим, громко сказал: «Messiers, la belle sentens doit etre arrosie» («Господа! Столь прекрасный приговор должно окропить»). И преспокойно исполнил сказанное»...

В документах Лунина ничего нового, неизвестного науке я не думал открыть — они давно и тщательно изучены. В длинном списке исследователей, смотревших объемистую лунинскую папку, встречаю знакомые фамилии Окуня и Эйдельмана, выпустивших о Лунине большие книги, вижу много неизвестных имен.

В «Записках» Марии Волконской Лунину посвящено немало строк, в том числе и таких, что рисуют его дерзким и умным человеком, взирающим на себя и жизнь с горькой иронией. Когда, например, финляндский генерал-губернатор навестил его в старой крепости, где Лунин содержался до отправки в Сибирь, то спросил узника, изнывающего в сырости под дырявой тюремной крышей: «Есть ли у вас все необходимое?» — «Я вполне доволен всем,— улыбнулся в ответ Лунин.— Мне недостает только зонтика...»

Мария Волконская вспоминает также, что на поселении, в Урике, Лунин почти все лето проводил в лесах, охотился «и только зимой жил оседло». И еще: «Он много писал»...

Вот оно передо миой — дело № 61, часть 61-я нз фонда № 109 ЦГАОР. Аккуратио подшитые и подклееиные *подлинные* докумеиты. Давным-давио их иикому не выдают, исследователи пользуются целлулоидной лентой, фильмоскопом либо фотокопиями по заказу. Английский текст, латынь... Неповторимый лунинский почерк завораживает взгляд. Он очень мелок, и каждая буковка стоит отдельно, выписанная с изумляющим тщанием, строчки математически ровны и могут пересечься, иаверное, только в бесконечности. Почти нет помарок или поправок, лишь коегде текст зачеркнут сплошь, ие разобрать.

Много страниц по-французски. На заглавном листке одной нз тетрадок — что-то вроде ироничного посвящения или эпиграфа по-русски: «Сестре Е. Уваровой. В Россин два проводника: язык до Киева, а перо до Шлиссельбурга».

Богатая сестра-вдова была для Луниıa ангелом-хранителем и помощннцей, готовой сделать для любимого брата все возможиое н даже иевозможное. Она присылала деньги, посылкн с продуктами, охотиичьн припасы н ружья от лучшнх французских мастеров, породистых собак, писчую бумагу и книгн. Десятки, сотни кннг!

И Лунии пишет сестре, время от времеии отвечая на ее заботливые послаиия. Но что пишет!

«Мое единственное оружие — мысль, то согласная, то в разладе с правительственным ходом... Оппознция свойственна всякому политическому устройству».

«Народ мыслит, несмотря иа глубокое молчание. Доказательством, что он мыслит, служат мнллноны, тратимые с целью подслушать мнеиия, которые мешают ему выразить».

«Народы, которые иам предшествовали иа попрнще гражданственности, иачали также с самодержавия н кончили тем, что замеиили его конституционным правлением, более свойственным развитию нх сил и успехам просвещения».

«Полнтические иден в постепенном развнтии своем нмеют три вида. Сперва являются как отвлеченные н гнездятся в некоторых головах н кннгах; потом становятся народною мыслью и переливаются в разговорах; наконец делаются народным чувством, требуют непременного удовлетворения и, встречая сопротивление, разрешаются революциями».

Трогаю бумагу, озираюсь. Да иет, все верно — это написано полтора века назад в сибирской глуши, при свете тусклой лампадки. Выписываю сиова: «Через несколько лет те мысли, за которые приговорилн меня к политической смерти, будут необходимым условием граждаиской жизнн».

В сущности, Лунин писал не для сестры, а для тех, кто будет читать такие строки без согласия автора илн с согласня адресата. Власти это поияли, и вот запрещеиие Беикеидорфа писать Луниıу что бы то ни было в течение года. Когда пространная бумага об этом пришла в Сибирь, очевидец свидетельствует, что Лунин «перечеркнул весь лист пером и на обороте виизу написал: «Го-

сударственный преступник Лунин дает слово целый год не писать».— «Вам этого достаточно, ваше превосходительство? А... читать такие грамоты, право, лишнее... Ведь чушь! Я больше не нужен?» Поклонился и вышел.

Только он не думал складывать оружия. Разработал в записной книжке обширную политико-пропагандистскую программу, начав ее исполнение со статьи о польском вопросе. Раньше я упоминал, что Лунин был членом всех тайных обществ, не оговорив, правда, его непричастности к Обществу соединенных славян. Однако по своим убеждениям Лунин, в сущности, был очень близок к «славянам», и, ничего, кажется, не зная об этом обществе до ареста, он лучше других декабристов знал представителей польского освободительного движения, глубоко изучал Польшу и польско-русские отношения, а позже, на поселении, сформулировал положения, которые по предельной отточенности и зрелости политической мысли были несравнимы с наивными мечтаниями «славян». Больше скажу — «Взгляд на польские дела» Михаила Лунина разительно отличался от взглядов многих его современников, включая декабристов, поддавшихся политическим и национальным страстям после подавления польского восстания 1830—1831 годов. Позиция Лунина была широкоохватной, гуманистичной, диалектичной.

Лунина сближал со «славянами» независимый стиль поведения, не погашенный каторгой дух гордости и достоинства. «Северянин» Иван Якушкин вспоминал о том, что «славяне» составляли на каторге наиболее замечательный «кружок». «...Приглядевшись к ним поближе, можно было убедиться, что для каждого из них сказать и сделать было одно и то же и что в решительную минуту ни один из них не попятился бы назад». Эта выразительная характеристика «славян» в высшей степени могла быть отнесена и к Михаилу Лунину.

И была еще одна удивительная подробность, сближавшая в моих глазах Лунина со «славянами». Не знаю, была ли какая-то логика жизни в том, о чем я хочу поведать, или это чистая случайность, что Михаил Лунин сошелся в Сибири с одним из «славян», и эта встреча дала плодотворный политический результат и немалой важности последствия.

Помню, как в конце дня совсем уж усталыми глазами просматривал я дело Лунина и вдруг в сноске, внизу маленькой странички какой-то из тетрадок увидел стихи:

Самодержавие повсюду бед свидетель,
Вредит и самую чистейшу добродетель
И, невозбранные открыв пути страстям,
Дает свободу быть — Тиранам и Царям.

Отдаленно-знакомый, старого слога стих. Так и есть, Княжнин, трагедия «Вадим». Читаю основной лунинский текст: «При Ека-

терине II, в Москве, Новиков — родной дядя члена Тайного союза — с многочисленными сподвижниками распространял просвещение и идеи законной Свободы. Он долго содержался в Шлиссельбурге: его обвинили в ереси. Писатель Княжнин, за смелые мнения в своей трагедии Вадим, подвергся пытке в Тайной Канцелярии. Радищев — автор путешествия в Москву — претерпел ту же участь»...

Мельчайший, но довольно разборчивый почерк, но это не рука Лунина! На скромной серой обложке тетрадки помета карандашом: «Удержано у Громницкаго». Да, у того самого «славянина» Петра Громнитского, который за пятнадцать лет до урикской встречи с Луниным читал пушкинские стихи из шкатулки Ивана Шимкова, брал у Спиридова и давал ему же для прочтения еще какие-то стихи, «заключающие в себе дерзостнейшее вольнодумство»! Известно интересное обстоятельство — после приговора Михаил Лунин был отправлен в Свеаборгскую крепость не один, а вместе со «славянами» Петром Громнитским и Иваном Киреевым, где трое товарищей выдержали срок одиночного заключения, а весной 1828 года их вместе отправили под охраной жандармов на каторгу. Наверное, немало было меж ними переговорено за эту двухмесячную дорогу до Нерчинских рудников, и, должно быть, не случайно Петр Громнитский, оказавшись на поселении неподалеку от Урика, удостоился доверия такого бескомпромиссного политического борца, каким стал в Сибири Михаил Лунин...

И вот я сижу в сумраке читального зала, листаю тетрадку, тщательно, разборчиво переписанную Петром Громнитским *для распространения*. Двадцать семь страничек удобно-малого формата. Называется так: «Разбор донесения тайной следственной Комиссии Государю императору в 1826 году». Написана она, как я позже выяснил, при участии Никиты Муравьева...

Истинно лунинский разбор! Критикуя донесение Комиссии, перечисляет то, о чем она умалчивает, и это, по сути, программа автора — освобождение крестьян, исправление судопроизводства, упразднение военных поселений, помощь угнетенной Греции и т. д. Или вот Лунин приводит известный разговор Александра I с г-жой де Сталь. Александр: «Я не успел еще даровать России конституцию». Г-жа де Сталь: «Ваше величество сами лучшая конституция». Александр: «Если это правда, то это одна случайность». Комментарий Лунина: «Собственное признание, что судьба целого народа в продолжение веков не должна зависеть от произвола существа ограниченного и скоротечного»...

В заключение рукописи — без всяких предисловий:

«(14) Известно мне, погибель ждет
Того, кто первый восстает
На угнетателей народа —
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?

Погибну я за край родной
Я это чувствую, я знаю.
И радостно...
Свой жребий я благословляю.

Отрывок из поэмы Рылеева Исповедь Налнвайки напечатанной в 1825 году»

Мне кажется примечательным, что Лунин, почитаемый многими до сего дня за человека религиозного, убирает из предпоследней рылеевской строки обращение «отец святой»..

Бережно, едва касаясь, листаю документы и снова вижу стихи, написанные по-русски бесподобным лунинским почерком. Снова стихи! Очевидно, Лунин, при всей его суровости, ценил самостоятельную политическую роль поэзии, если так часто обращается к ней. Читаю.

Крестьянин молодой,
По древнему обыкновенью дедов,
Весеннею порой
Собрался угостить своих соседов
На праздник храмовой.
И для того сварил, недели за две, браги
Две полные корчаги...

Басня рассказывает, как запечатанная брага, вовремя не получившая свободы, разрывает бочку. Авторство не указано, однако я когда-то случайно запомнил, что декабрист Павел Бобрищев-Пушкин сочинял басни с политическим подтекстом и «Брага» приписывается ему. А сейчас с радостью узнал, что Бобрищев-Пушкин написал «Брагу» будто бы в тобольской ссылке в 1829 году. Но как попала она в Урик, Михаилу Лунину? Переслал, наверное, кто-нибудь или привез...

Листаю лунинское дело дальше. Письмо сестре от 19 мая 1840 года. Почерк Петра Громницкого — значит, снова *для распространения!* И опять стихи, уже до буковки знакомые стихи Сергея Муравьева-Апостола: «Задумчивый, одинокий, я по земле пройду, не знаемый никем». А в комментарии подробности, да какие! «В Петропавловской крепости я заключен был в каземат № 7 в Кронверкской куртине, у входа в коридор со сводом. По обе стороны этого коридора были деревянные временные темницы, по размеру и устройству походившие на клетки: в них заключались политические подсудимые. Пользуясь нерадением или сочувствием тюремщиков, они разговаривали между собою, и говор их, отраженный отзывчивостью свода и деревянных перегородок, совокупно, но внятно доходил ко мне. Когда же умолкал шум цепей и затворов, я хорошо слышал, что говорили на противоположном конце коридора. В одну ночь я не мог уснуть от тяжелого воздуха в каземате, от насекомых и удушливой копоти ночника — внезапно слух мой был поражен голосом, говорившим сле-

дующие стихи (следует текст по-русски, известный читателю). «Кто сочинил эти стихи?» — спросил другой голос.— «Сергей Муравьев-Апостол».— Мне суждено было не видать уже на земле этого знаменитого сотрудника, приговоренного умереть на эшафоте за его политические идеи. Это странное и последнее сообщение между нашими умами служит признаком, что он вспомнил обо мне, и предвещанием о скором соединении нашем в мире, где познание истины не (по)требует более ни пожертвований, ни усилий».

По просьбе автора Петр Громнитский делает пять чистых экземпляров политических сочинений Лунина, в их числе был тот, что сейчас передо мной. И тут же донесение в Петербург об аресте Лунина с пометой карандашом: «Его Величество читать изволили 25 мая 1841 года».

Как вспоминает Мария Волконская, брать его явились среди ночи несколько чиновников и дюжина жандармов. Лунин крепко спал, вернувшись с охоты. Кто-то из полуночных «гостей», увидев ружья и пистолеты на стене, испугался было, но хозяин успокоил его, сказав жандарму: «Не беспокойтесь, таких людей бьют, а не убивают». По другой версии, Лунин в ответ на требование чиновника убрать оружие иронически заметил: «Да, конечно, конечно, надо убрать, ружье — вещь страшная... ведь эти господа привыкли к палкам!»

В донесении перечисляется весь огнестрельный арсенал арестованного: «двухствольное ружье с разным прибором, ружье простое обыкновенное, шкатулка с пистолетами, дробью и кремнями, пороху до двух пудов, свинцу и дроби до четырех пудов»; и я обратил внимание, что на полях кем-то сердито начертаны карандашом жирные вопросительные знаки — быть может, это сам царь, уподобляясь иркутским чиновникам и жандармам, так *удивился?*

Однако в донесении протоколировалось куда более грозное оружие — «писанный на французском языке рукою Лунина взгляд на Тайное общество в России от 1816 по 1826 год», «его же рукою на английском языке разбор донесения следственной в 1826 году Комиссии над государственными преступниками, с описанием употребленных противу них мер жестокости и ложных обещаний и осуждения многих по необоснованным показаниям», его же рукою — «вписаны в особую книжку мысли религиозные и политические,— замечания о законах и разных мерах правительственных», «историческая записка об Анадырском остроге, построенном за полвека тому назад для обуздания непокорных чукочь», «историческое сочинение о древней Греции с описанием гонений, понесенных великими ее мужьями за любовь их к отечеству», «три басни с применением их к народному управлению», «неизвестно кем и разными почерками писанные на польском языке четыре бумаги, содержащие в себе возмутительные

о Польше стихи и молитвы», а также «прочие бумаги». Увезли Михаила Лунина в Акатуй, страшную каторжную тюрьму, о которой до сего дня слышатся по Сибири тягучие надрывные песни, где он и погиб через несколько лет...

Мне кажется символичным и серьезным тот факт, что в конце 1917 года, сразу после Октябрьской революции, вышла книга с обобщенным названием «Первые борцы за свободу», где была помещена биография Михаила Лунина, его «Взгляд на тайное общество», «Разбор донесения...» и «Письма из Сибири». Писали о Лунине многие, однако никто пока не знает до конца этого «поистине замечательного человека». Не мог представить его во всей полноте и Пушкин, сказавший о нем эти слова еще до восстания декабристов. Произведения Лунина с многочисленными сокращениями и переводческими ошибками были изданы один-единственный раз — к столетию декабрьских событий. Совсем не напечатана часть его русских текстов, не переведены полностью произведения, написанные на французском, английском и латинском языках, не найдены акатуйские сочинения на греческом...

И хорошо бы подготовить полное собрание сочинений М. С. Лунина к 1987 году — двухсотлетию со дня его рождения, но если не успеем, то неужто и вправду мы так «ленивы и нелюбопытны», что не сделаем этого и к 2025-му, двухсотлетию восстания? Давно пора исполнить своего рода духовное завещание этого феноменально одаренного человека, несгибаемого борца и передового мыслителя: «Последним желанием Фемистокла в изгнании было, чтобы перенесли смертные останки его в отечество и предали родной земле; последнее желание мое в Пустынях Сибирских, чтобы мысли мои по мере истины в них заключающейся распространялись и развивались в умах соотечественников». А как возвышенно и проникновенно писал Лунин о тех, кто разделил с ним судьбу! «Власть, на все дерзавшая, всего страшится. Общее движение ее — не что иное, как постепенное отступление, под прикрытием корпуса жандармов, пред духом тайного общества, который охватывает ее со всех сторон. От людей можно отделаться, но от их идей нельзя. Желания нового поколения стремятся к сибирским пустыням, где славные изгнанники светят во мраке.

Жизнь в изгнании есть непрерывное свидетельство истины их начал... у них все отнято: общественное положе́ние, имущество, здоровье, отечество, свобода... Но никто не мог отнять народного к ним сочувствия. Оно обнаруживается в общем и глубоком уважении, которое окружает их скорбные семейства; в религиозной почтительности к женам, разделяющим ссылку с мужьями; в заботливости, с какой собирается все, что писано ссыльными в духе общественного возражения. Можно на время вовлечь в заблуждение русский ум, но русского народного чувства никто не обманет».

Михаил Лунин со всем, что в нем было,— истинно русский человек, так же, как декабризм — порождение русской жизни,

тысячами нерасторжимых нитей связанное с социально-политическими обстоятельствами того времени, с историей и культурой, бытом и психическим складом нашего народа. Вспоминаю, как увидел я однажды в воспроизведении следственных материалов по делу декабристов рисунок, изображающий «южанина» Василия Давыдова с подписью тех времен, которую я разобрал через лупу: «Василий Львович Давыдов, на слова, что тайные общества наши были модою и подражанием немецкому Тугендбунду — отвечал: «Извините, господа! Не к немецкому Тугенд-Бунду, а просто к бунту я принадлежал». Слово «бунту» было подчеркнуто...

Конечно, на декабризме сказалось влияние французской революции, многие герои 1825 года воспитывались иностранными учителями и прошли через масонские кружки, но сводить зарождение и деятельность тайных дворянских обществ к подражанию немецкой либо какой другой моде мог только тот, кто хотел бы скрыть подлинные причины движения.

Руководитель «славян» Петр Борисов просто, коротко и точно назвал главный исходный мотив борьбы декабристов: «Причина, побудившая нас к делу,— угнетение народа». Правда, «дело» свое декабристы понимали, как мы знаем, по-разному. До объединения с «южанами» «славяне» восставать не собирались, да и Лунин вовсе не считал себя принадлежащим к «бунту». Убеждения этого декабриста, борьба в изгнании, методы этой борьбы, дух его сочинений показывают, что Лунин представлял собой самостоятельную и крупнейшую политическую фигуру того времени.

Память о любом выдающемся человеке прошлого — наше национальное богатство, и, как всякое народное достояние, оно нуждается в бережливом, хозяйском отношении к себе, очищении от наносного, пошлых и сорных плевел. И есть в этой области нашей духовной жизни тонкости весьма деликатного свойства.

Всяк, кто заинтересуется Луниным, этим воистину необыкновенным человеком, познакомится в литературе со множеством анекдотов о нем, уважительных, правда, и неглупых, только они иногда говорят меньше исторически достоверного о Лунине, а больше об отношении к нему, и тенденциозный подбор таких побасенок способен создать о великом революционере представление как о человеке донкихотствующем, скорее курьезном, нежели серьезном.

Дам в приблизительной развертке один, ставший почти традиционным способ вольного или невольного искажения облика выдающегося декабриста людьми, по разным причинам когда-то не нашедшими контакта с ним, либо современными толкователями, не способными справиться со своей увлеченностью экзотическими подробностями его жизни.

Наверное, есть немалый смысл в словах. «Скажи мне, что ты читаешь и я скажу, кто ты» Круг чтения, конечно, скажет очень многое не только о часах твоего досуга, но и о твоих серьезных интересах, направленности мышления, жизненных целях, духовном багаже Однако очень легко выбрать из *полного* круга чтения один сектор и превратить его в вектор Можно назвать, например, три сочинения из сибирской библиотеки Лунина католические «Священные акты», книгу голландского религиозного мыслителя Гроция «Об истине христианской религии» и многотомный труд аббата Флери, привести его письмо к сестре, в котором содержится просьба прислать среди прочего требник и распределение часов службы в католическом богослужении, потом вспомнить фразу декабриста Свистунова «В тюрьме, кроме католических книг духовного содержания, он ничего не читал, ни газет, ни журналов, ни вновь появившихся сочинений». Да попутно упомянуть, что Лунин, по его собственному признанию, был обращен в католичество еще в детстве, что была у него в ссылке собственная молельня, которую он после ареста в Урике завещал иркутскому костелу и перед нами сам собой и вроде бы неопровержимо возникнет образ религиозного человека, отрешенного от мира полумонаха, ищущего в молениях и богословском чтении некоего духовного успокоения, мистических откровений. Однако такой вектор будет неравнодействующим да к тому же еще направленным совсем не в ту сторону Однажды встретил я своего приятеля, молодого кандидата исторических наук, и сказал ему, что вот мол, интересуюсь Луниным, как личностью исключительно богатой и недооцененной. «Так он же был католиком! — поморщился тот — Религиозным фанатиком до мозга костей» — Ты, наверное, читал о нем только популярные книги»,— заключил я.

Вопрос о религиозности Михаила Лунина — сложный, противоречивый, и к нему не раз подступали серьезные исследователи Они обращали внимание на то, что до отъезда в Париж Лунин совершенно не интересовался религиозными вопросами, на следствии назвал себя исповедующим греко-российскую веру, а после смерти был похоронен по обряду православной церкви, что в русской церкви он видел одно из тех установлений, «посредством которых управляют народом», а в католической, тщательно им изученной,— одну из форм, способную противостоять абсолютизму в мире, демократические силы которого к тем временам не накопили достаточного опыта общественной борьбы. Но Лунин был слишком земным человеком, обладавшим качествами трезвого и глубокого политика, чтобы чрезмерно увлечься какой бы то ни было религией и позволить ей существенно повлиять на мировоззренческие принципы, а главное — *на практику общественного поведения*, на суть своих замечательных агитационных сочинений.

В религиозных книгах, которыми он располагал, Лунин искал прежде всего конкретных знаний, европейского опыта духовной и политической жизни, в силу исторических условий концентрирующегося вокруг церкви

и зафиксированного ее учеными авторами. Ведь восемьдесят семь томов аббата Флери — это церковная *история* Запада. В сибирской библиотеке Лунина находился также подлинный уникум — «Acta Sanctorum». Это фундаментальное сочинение выходило в Антверпене ровно полтора века, начиная с 1643 года. За большие деньги сестра купила полный пятидесятитомный комплект «Священных актов» в Германии и с немалыми расходами переправила эту уже в те времена библиографическую редкость за тысячи верст в заснеженную сибирскую избушку; тяжелые фолианты «Acta Sanctorum» до сего дня хранятся в библиотеке Иркутского университета. И это совсем не мистическое богословское сочинение; по собственным словам Михаила Лунина, *«этот труд является драгоценным источником исторических сведений, относящихся к средним векам»*.

Да, был в этой ценнейшей библиотеке и Гуго Гроций 1726 года издания, и «Сочинения блаженного Августина», вышедшие в 1528—1529 годах под редакцией самого Эразма Роттердамского, ученого-католика, чья «Похвала глупости» вошла в сокровищницу мировой литературы, были, как считают исследователи, даже издания XV века! Но сибирский каторжник не был странным для такой глуши библиофилом-коллекционером, а тем более чернокнижником-теистом — этот подбор книг ему нужен был для расширения познаний, для умственной *работы*, к итогу которой он постепенно готовился, чтобы, может быть, отринуть католические догмы, совершенно неприложимые к своеобразной русской действительности.

К сожалению, мы не знаем *полного* круга чтения Михаила Лунина — судьбы его нескольких библиотек не ясны и, наверное, никогда не прояснятся. Ничего нельзя сказать о библиотеке, несомненно, очень богатой, которая была в тамбовском имении Лунина, не знаем, что он читал в Петербурге, однако имеется достаточно данных, свидетельствующих о том, что этот страстный книголюб *никогда* не был католическим начетчиком.

Светская книга, хранительница знаний, опыта, культуры, человеческой мысли и духа, была всю жизнь постоянным спутником Лунина. Да, мы не знаем, что Лунин читал в Париже, например, но, несомненно, в круг его чтения входила французская художественная, политическая и философская литература. Обращался он, очевидно, также к русским и польским историческим источникам, так как работал над большим романом о Смутном времени. И есть свидетельства одного старого парижанина — его русский друг высоко ценил произведения отечественных писателей, подготавливающих своим творчеством почву, как он выражался, «для принятия идей»,— Батюшкова, Жуковского, Карамзина, Пушкина. Причем последний еще учился в Царском Селе, а Лунин в Париже пророчески говорил о том, что в России есть «восходящее светило лицеист Пушкин, который является в блеске». Мы не знаем варшавского круга чтения Лунина, только наверняка он изучал польский язык и литературу, если писал на польском стихи, о которых с одобрением отзывался сам Мицкевич. По воспоминаниям одного офицера Гродненского полка, в Варшаве у Лунина собра-

лась большая библиотека. Сохранился с тех времен в архивах один любопытный документ. Полное месячное содержание Лунина — слуги, стол, амуниция, лошади, то, се — обходилось в 165 рублей, а случайная запись на обороте письма свидетельствует: «На покупку «Русской истории» в 2-х экземплярах — 180 рублей, сочинений Жуковского — 20, собрание Пушкина сочинений — 25».

Разыскивая свидетельства книжных интересов Михаила Лунина, я все больше увлекался, потому что результаты этого поиска не только обогащали представление о Лунине, но и содержали новые подробности того времени, подчас освещали их с неожиданной стороны. Тяжелейшие условия почти двухлетнего крепостного заточения не убили в Лунине страсти к книге, а, наверное, еще больше воспламенили ее, и вот, должно быть, по заказу узника сестра посылает ему в Выборгскую крепость большую посылку с книгами. Сохранился их список. В нем числится четырехтомник Байрона, трехтомник немецких классиков, двухтомник Лессинга с его знаменитыми пьесами «Эмилия Галотти», «Доктор Фауст» и другими, пьесы Шиллера «Вильгельм Телль» и «Братья-разбойники», драмы Шекспира, двухтомник Вальтера Скотта, «Последний из могикан» Купера, исторические романы Вандервальде, альманах Дельвига «Северные цветы», «Новый завет» на русском и старославянском — всего тридцать четыре книги на пяти языках. Лунину разрешен был, однако, только «Новый завет». Заметим, кстати, что в этом списке не значится *ни одного религиозно-католического* сочинения.

Сведения о первой сибирской библиотеке Лунина очень скудны, однако уже в читинском остроге была заложена основа уникального книжного собрания, не имевшего, быть может, тогда аналогов. Общеизвестно, что декабристы в Чите сообща выписывали русские и иностранные газеты и журналы, хранили их комплекты, а многие из них получали большие книжные посылки из России. Очень трудно поверить Свистунову, что Лунин ничего в тюрьме не читал, кроме религиозных католических сочинений — ведь именно тогда он под руководством Завалишина взялся за изучение греческого, к тому времени относится его строгое и своеобычное высказывание о «Соборе Парижской богоматери» Гюго. А в одной интересной специальной работе о Лунине-читателе приводится сведение, что из всех декабристов, отправившихся в полуторамесячный пеше-гужевой путь в Петровский завод, Лунин вез самый тяжелый багаж — сорок четыре пуда. По нынешним мерам, это более *семи центнеров*, а что еще, кроме книг, могло так солидно весить в имуществе декабриста? На поселении в Урике Лунин значительно расширил свою библиотеку, и если применить к ней весовые меры, то она, вместе с немудрящим скарбом поселенца, весила в конце ссылки уже сто пятьдесят пудов, почти *две с половиной тонны.* О богатствах этой — еще не последней — лунинской библиотеки исследователи могут судить более конкретно. Кроме уже упоминавшихся редчайших изданий церковных авторов, были в ней восемь фолиантов со-

чинеиий Амбросия Медиолаиского и другие книги этого ряда но еще миого такого, что заставляет смотреть иа эту библиотеку как иа уникальиое книжное собрание, созданное в исключительиых условиях сибирской ка торги и ссылки

Только подсобной литературы словарей, разговорников и учебников по английскому, немецкому, французскому греческому, латинскому и рус скому языкам в ией было сорок семь томов! Гордостью владельца яв лялся большой выбор сочинений древних авторов – Юлия Цезаря, Пли ния Секуиды, Тацита, Геродота, восьмитомник Платоиа, редчайшее 1661 года издаиие Цицероиа В библиотеке значились капитальиейшие труды по истории и праву – четырнадцатитомная «История Англии» восьмитомная «История Греции» Милфорда, двухтомная «История Ир ландии», двадцать три тома «Свода закоиов», книги по русской истории Без активного освоения такого подспорья, или же опираясь только на католическую религиозную литературу, ие мог Михаил Лунин в кратчайшие сроки создать свои глубокие и страстные исторические и политичес кие работы, свободиые от теологических теиденций

Да, конечно, Лунин просил сестру прислать ему католический требник ио просил также регулярной доставки двух западноевропейских газет просил «Кодекс Наполеона», «Отчет штата Луизиаиа» и «Уложение о наказаниях» этого штата, составлениое Эд. Ливингстоном, просил словари и грамматики, постановления верховиого суда. И в Урик иа имя Лунина постоянно шли посылки с литературой художественной, философской искусствоведческой, естественнонаучной — сочинения Бомарше, Мольера и Монтескье, «Жизнь Россини» и «Егерь, псовый охотник», «Дон Кихот» Сервантеса и «Мысли» Паскаля.. Скажи мие, а что ты читаешь?

И в заключение характеристика Михаила Лунина, принадлежащая человеку, который достаточно долго зиал его лично, близко общался и дружил с ним. Француз Ипполит Оже в молодости служил унтер-офицером в русской армии, знал Россию и позже, иа родине, стал писателем, выпустив, между прочим, три исторических романа, избирательность тем которых сквозит в их названиях — «Boris», «Ivan VI» и «Avdotia». И. Оже, оценивающего М. Лунина, иельзя упрекнуть в юношеской восторженности и незрелости взглядов — ему было восемьдесят лет, он повидал мир, позиал людей, и пристрастия не могли руководить им при оценке тридцатилетнего русского друга, волею судеб и своей собственной волей оказавшегося в Париже: «Способности его были блестящи и разнообразны: он был поэт и музыкант, и в то же время реформатор, политикоэкоиом, государственный человек, изучивший социальные вопросы, знакомый со всеми истинами, со всеми заблуждениями» (Из записок И. Оже.— Русский архив, 1877 № 5, с. 528)

Заметим, что «объективка» относится к Михаилу Лунину, каким он был за десять лет до ареста и следствия, когда истори-

ческие документы впервые начали фиксировать наиболее примечательные черты этой выдающейся личности, за *двадцать* лет до лунинских строк, с блеском защитивших честь и достоинство первых русских революционеров.

И если окинуть мысленным взором полутораавековой путь организованной социальной борьбы в России, то в памяти ярче других выступают две гигантские политические фигуры, нашедшие в условиях сибирской ссылки, по существу, одинаковый путь служения своему народу и человечеству, оптимальный способ революционной деятельности,— Лунин и Ленин...

16

Сижу в варшавской гостинице, смотрю на шпиль Дворца культуры и науки, собрата московских высотных домов, подаренного нашим народом народу польскому, после войны возрождавшему из руин столицу, слушаю, как внизу шуршат шинами машины; жду важного звонка. Перед завтрашним отъездом на родину вспоминаю этот последний мой гостевой вояж по городам и весям Польши, вспоминаю и первый, командировочный...

Варшава к тому времени уже воскресала, как феникс, из пепла, но война жила в памяти камней, руинами лежавших там и сям, в памяти народа, потерявшего шесть миллионов своих граждан; никто, кроме нас и поляков, не понес таких больших жертв от фашистской агрессии. «Поляки,— писал в Сибири Михаил Лунин,— братья нам по происхождению, наша передовая стража по географическому положению и естественные союзники, несмотря на домашние ссоры между нами».

От первой поездки навсегда врезалось в память впечатление, вынесенное из маленькой польской деревушки, что стояла в Белостокском воеводстве у самой границы, затерявшись в сосновых лесах. В нее поманил меня один обыкновенный факт Отечествен-

ной войны, вроде бы совсем будничный, негромкий, но в то же время исполненный глубокой символики, в котором сквозил естественный гуманизм русского солдата-освободителя.

Директор крохотной деревенской школы подарил мне тогда фотографию классной доски, на которой девочка с косичками выводила мелом по-русски фразу: «Капитан Шандуров очень любил детей». Эти слова появлялись на доске 1 сентября каждого нового учебного года. Вернувшись из поездки, я опубликовал снимок в «Комсомольской правде» вместе с большим очерком о капитане Шандурове и его простом и великом деянии 1943 года...

Первый свободный клочок польской земли! Батальон капитана Шандурова сражался уже за деревней, прочищая леса, и бойцы возвращались в нее к солдатскому котлу, из которого питалась и местная оголодавшая ребятня. Шел к концу август, кто-то из бойцов или сам капитан Шандуров, очевидно, вспомнил о том, что на родине их дети готовятся в это время к первому школьному дню. И вот под командой капитана солдаты отремонтировали школу, переложили печку, сколотили из досок парты, старшина добыл в штабе бумаги, чернил и перьев. Немцы еще обстреливали с дальних высоток деревню, но капитан Шандуров открыл 1 сентября 1943 года первую школу свободной Польши и ушел на запад. Позже дети разыскали в Саратове его вдову и долго писали ей письма...

Молчит белый гостиничный телефон, — мой польский друг, наверно, перебирает в редакции письма, скопившиеся за месяц, отыскивая для меня одно, если оно пришло, а память возвращает к только что закончившейся поездке в две тысячи верст.

В записной книжке — заметки о библиотеке Ченстоховского монастыря, поронинские и новотаргские впечатления, трагические Освенцим и Бжезинка, великолепный Краков, спасенный от уничтожения Советской Армией. На тяжелых его камнях — печать новой и древней истории. В центре города каждый час открывается окошечко у завершения башни кафедрального собора, появляется серебряная труба, и с выси льется хватающая за душу мелодия, которая внезапно, на высокой ноте, обрывается. Эта семивековая традиция связана с преданием времен татаро-монгольского нашествия: когда враги подступили к городу, то сигнал сторожевого трубача будто бы прервала стрела, вонзившаяся ему в горло...

Гданьск. Старые кварталы сплошными каменными громадами незыблемо утверждают себя, проносят через века имя древнего польского города на Балтике, хотя были у него и такие времена, когда прозывался он Данцигом, и в нем я попробовал вернуться как раз на ту давнюю историческую межу, чтобы чуть ли не три столетия спустя поискать следы одного варварского деяния гетмана Мазепы.

Знаменитый предатель России и Петра Великого давно осуж-

ден историками, а Пушкин с его необыкновенным слухом, улавливающим и набатный перезвон Хроноса, и его неслышное для иных-прочих замирание, дополнил бесстрастных летописцев правдой художественной, поэтической. Вина Ивана Мазепы известна, однако не вся и не всем; за ним еще числится некое преступление пред культурой, сравнимое, пожалуй, с его изменничеством накануне нашествия опасного северного врага.

В черниговском Борисоглебском соборе, на возвышении, где некогда располагался алтарь, стоят серебряные Святые ворота. Не знаю, литое, тянутое, кованое, чеканное это серебро или же все в сочетании — массивные верейные боковины, орнаментальная вязь, резной створ, крестики, нимбы, виньетки, лики апостолов; податливый благородный металл светится бликами на выпуклостях, зачернел во впадинках и выглядит грубовато по сравнению с тончайшей филигранной работой по серебру старых владимиро-суздальских и московских мастеров. Внизу, в одной из серебряных кругляшек,— не барельеф очередного святого, а гетманский знак Мазепы.

Ворота представляют собою, конечно, определенную историческую и культурную ценность, но если бы они даже были шедевром прикладного искусства — это немецкая работа, связанная с русскими традициями разве лишь изначальным эскизом, по которому данцигские мастера выполнили гетманский заказ. Но все дело в том, какой исходный материал пошел на изделие — именно здесь скрыто преступление того века! В Чернигове тогда случилась одна редчайшая находка, которая должна была стать археологической сенсацией тысячелетия,— при каких-то земляных работах лопата звякнула о металл, и на свет божий явился *серебряный языческий идол, металлическая скульптура древнего славянского бога!* Кто это был — Даждьбог, Велес, Перун? Как он выглядел? Что это было — литье, поковка, чекань? Сколько он весил? Мы ничего не знаем и никогда уже не узнаем. Скульптура дохристианского русского бога значительно бы обогатила наши знания о предках, сделалась бы, могло статься, как это сталось со «Словом о полку Игореве», единственным и неповторимым достоянием мировой культуры.

Мазепа, наверное, не знал давней мысли Петра, оформившейся позже в указ,— собирать и переправлять в петербургскую кунсткамеру земляные находки даже меньшей значимости, чем эта. Гетман своей волей отправил скульптуру в Данциг, на переплавку-перековку, и я мечтал найти в сегодняшнем Гданьске хоть какие-нибудь свидетельства об этом, если судить по воротам, многопудовом изваянии.

К сожалению, самые сведущие гданьские люди ничего не слыхали о серебряном языческом идоле, распиленном или расплавленном почти три века назад в их городе. Столько войн прошло сквозь него, столько властей сменилось, столько раз сгорали архивы! Однако во мне жила надежда, что в каком-нибудь немецком или польском хранилище старых бумаг когда-нибудь найдет-

ся документ, описывающий прибытие в город тяжелой телеги с необыкновенным серебряным грузом и усатой казацкой охраной.

И все же из Гданьска я не уехал пустым, и то незабываемое здешнее впечатление, на которое намекнул вначале, оказалось связанным с неудачным поиском следов серебряного языческого божества. Дело в том, что те же гданьские знатоки навели меня на новую историческую стезю.

— Вам, собственно, зачем был этот идол? — спросили они

— Ну, знаете.. Ощутить прошлое, что ли.

Разговор как-то незаметно перешел к балтийским славянам, жившим в средневековье на морском побережье и острове Рюген Они пахали землю, ловили рыбу, водили скот, ковали мечи и кольчуги, резали кость, строили города, торговали, молились в рощах и храмах своим богам, носившим собственные имена, ясную звучность которых поймет и оценит каждый славянин,— главного бога, владыку мира, звали Святовитом, богиней жизни была Жива, богом плодородия Радигост, покровителем воинов Яровит, а властелин ада прозывался Чернобогом... У балтийских славян были развитые религиозные верования, не менее своеобразные, чем древние религии других народов, своим богам они строили храмы из дерева и песчаника. Один из городских храмов племени ротарей живописал немецкий хронист Титмар Мерзебургский: «Есть в земле ротарей некий город по имени Радигощ... В городе есть храм, искусно построенный из дерева, в котором опорные столбы заменены рогами разных зверей. Стены... извне украшены чудесной резьбой, изображающей различных богов и богинь.. внутри стоят идолы ручной работы, страшные на вид, в полном вооружении, в шлемах и латах, на каждом вырезано его имя» Помню, я даже вздрогнул, прочитав последние слова,— если это правда, насчет имен, то балтийские славяне, значит, имели дохристианскую, исконно славянскую письменность!

Несколько веков балтийские славяне боролись с немецко-датской агрессией, но были все же уничтожены и ассимилированы, а я тогда, в Польше, еще не знал, что средневековая история этих западнославянских племен скоро поведет меня в средневековье русское и с нежданной стороны подсветит одну из самых темных страниц нашего прошлого...

В той же старой записной книжке есть заметки о русских топонимах, сохранившихся на юге Польши, в бывшей Червонной Руси, о Лазенках и других польских парках, о Грюнвальдской битве 1410 года, об иконе Божьей Матери Победительнице из собора св. Николая, вроде бы той самой, что была привезена царевной Анной из Византии, как часть приданого, вместе с Владимирской, о чем мы вспомним в связи с тайнами «Слова о полку Игореве»; это были новые тропки в прошлое, начавшиеся в Гданьске.

Все нетерпеливее поглядывал я на молчащий телефон — день клонился к вечеру, а мне надо было непременно узнать до

отъезда на родину, есть ли для меня известие, за которым могла последовать интересная встреча, совершенно нежданная для того человека, которого я мечтал разыскать в Польше. Все это было связано с моим увлечением декабристами...

Южное общество и «славяне», как мы знаем, имели связи с польскими революционерами, и было бы очень интересно проследить поподробней эти связи да найти, быть может, здешние архивные свидетельства общения заговорщиков-поляков с Михаилом Луниным. Декабрь 1825 года застал его здесь, в Варшаве. Лунин имел уже чин подполковника, командовал лейб-гвардии Гродненским гусарским полком и был адъютантом великого князя Константина. Задолго до декабрьских событий и ареста он в собрании декабристов предлагал, по свидетельству Пушкина, свои «решительные меры», и Пестель намеревался поручить ему руководство «Когортой обреченных», а также посредничество в переговорах с Польским обществом. В Варшаве Лунин глубоко изучал польскую жизнь, и прежде всего ее политические аспекты, вероятно, имел здесь связи с носителями передовых идей, также сторонниками решительных мер, но документальных подтверждений этому пока не найдено, и Н. Эйдельман в своей книге о Лунине приводит лишь один частный факт, косвенно свидетельствующий о том, что какие-то связи-знакомства все же существовали,— тайный агент письменно доносил Константину, что Лунин, возвращаясь с охоты, отдавал добытую дичь больной жене камергера Антония Яблоновского, обвиненного в январе 1826 года по делу Польского тайного общества и посаженного в Алексеевский равелин Петропавловской крепости.

Память о декабристах жила среди поляков — через пять лет после петербургских событий 1825 года на одной из варшавских площадей восставшие отслужили молебен по пяти казненным русским революционерам...

И еще мне хочется хотя бы кратко рассказать любознательному читателю еще об одном тайном обществе тех времен, известном даже менее, чем Польское или Общество соединенных славян. Когда я много лет назад проехал насквозь Белостокское воеводство, то еще не знал, что в Белостоке и в этих маленьких тихих местечках и деревеньках, точно таких, как пограничная, помнившая со времен Отечественной войны капитана Шандурова, в декабре 1825 года произошли свои громкие события. Капитан Литовского пионерного батальона Игельстром, поручик Вегелин и подпоручик Петровский создали Общество военных друзей, а член этого общества рядовой солдат Аианий Угрнчич-Требинский, должно быть совсем не рядовой человек, сформировал из местных канцеляристов дочернее Общество согласия, присоединил к нему «зорян» — тайное объединение белостокских гимназистов, и послал связного в Свислочь, где в местной гимназии существовало еще одно тайное общество.

Капитан Игельстром знал о петербургском обществе, но реальные действия «военных друзей» выразились лишь в том, что

«поутру 24-го декабря не только сам Игельстром оказал упрямство и неповиновение против манифеста и повеления начальства, но даже возмутил весь батальон к неповиновению и неоднократному неуместному восклицанию: «Ура императору Константину»... Капитан Игельстром дерзко заявил перед строем, что никому, в том числе и командиру батальона, он не позволит присягать, «что в противном случае опрокинет налой», и увел с плаца свою пионерную роту.

Вскоре было арестовано несколько десятков человек, и началось следствие, которое не узнало ничего конкретного о политической программе «военных друзей», об их отношении к цареубийству, крепостничеству,— кажется, у этого общества и в его филиалах еще не было разработано никакой политической программы, однако приговор военного суда был настолько чудовищным, что я приведу хотя бы первую часть его: «Капитана Игельстрома, поручика Вегелина и подпоручика Петровского, лишив чинов и дворянства, повесить; шляхтича Михаила Рукевича, лишив дворянского достоинства, казнить смертию; подпоручика Гофмана лишить чинов и дворянского достоинства, потом его, равно и рядового Угрича-Требинского, казнить смертию; коллежского регистратора Гриневицкого и канцеляриста Вроиского лишить чинов, потом их, равно шляхтичей Феликса и Карла Ордынских и Ивана Высоцкого, лишить дворянства и живота; поручика Вильканца и прапорщика Воеховича, лишив чинов и дворянства, казнить смертию...» В «Алфавите декабристов» зафиксированы также расходы по делу, в том числе полукопеечные: «издержанные по сему делу разными чиновниками из комиссариатской суммы на прогоны 739 руб. $33^1/_2$ коп. и на канцелярские материалы 224 руб. 66 коп. взыскать с виновных».

Приговор, правда, дважды смягчался, остались в нем слова «каторжные работы», «крепость», «поселение в Сибирь», казни были отменены, но это произошло лишь в мае 1827 года, и только подумать, что пережили за полтора года смертники, их матери, отцы, жены, невесты...

И вот еще несколько страничек в записной книжке. Имя Лунина среди беглых строчек...

Отважный воин, непримиримый революционный борец, мужественный узник, он был холостяком всю жизнь; к нему в Сибирь некому было приехать, а когда на поселении многие декабристы, начиная с Николая Мозгалевского, нашли свое личное счастье в браках с женами-сибирячками, он такого счастья не находит и, кажется, не ищет — живет дорогими воспоминаниями о неразделенной его любви к одной очаровательной семнадцатилетней польке. В его урикских бумагах, хранящихся в архиве Октябрьской революции, я, помню, вдруг приостановился на дневниковой записи: «1837. Весна». Лунину в том году исполнилось ровно пятьдесят Текст по-французски: «Je me rappele notre

dérnière intvenue dans la galerie du Château de...» «Помню наше последнее свидание в галерее N-ского замка. Это было осенью, вечером, в холодную и дождливую погоду. На *ней* черное тафтяное платье, золотая цепь на шее, на руке браслет, осыпанный изумрудами, с портретом предка — освободителя Вены.

Ее девственный взор, блуждая вокруг, как будто следил за причудливыми изгибами серебряной тесьмы моего гусарского долмана. Мы шли вдоль галереи молча! Нам не нужно было говорить, чтобы понимать друг друга. Она казалась задумчивой. Глубокая грусть проглядывала сквозь двойной блеск юности и красоты, как единственный признак ее смертного бытия. Подойдя к готическому окну, мы завидели Вислу: ее желтые волны были покрыты пенистыми пятнами. Серые облака пробегали по небу, дождь лил ливнем, деревья в парке колыхались во все стороны. Это беспокойное движение в природе без видимой причины резко отличалось от глубокой тишины вокруг нас. Вдруг удар колокола потряс окна, возвещая вечерню. Она прочла «Ave Maria», протянула мне руку и скрылась...»

Это была Наталья Потоцкая, родственница последнего польского короля, о необыкновенной красоте которой слагали стихи, в том числе иностранцы, и Н. Эйдельман приводит в оригинале и в переводе строчки французской поэтессы Делифины Гэ: «Она явилась мне посреди праздника как идеал, которого ищет поэт...» Интересно бы увидеть ее портрет! Неужели его не сохранилось в Польше?

Прикарпатье, район Жешува, парк Ланьцут. Начало этому замечательному образцу садово-паркового искусства положил в XVIII веке великий маршал Польши Станислав Любомирский, и с тех пор лучшие польские и иностранные ландшафтные архитекторы доводили до совершенства, до естественной простоты и эклектической пестроты этот храм природы, располагая среди прудов и холмов местные дубы, липы, каштаны, ясень, березу, клен, бук и привозные — туи, веймутовы сосны, черный орех, магнолии, тис, американские и японские деревья, кустарники и цветы. Парк надо бы посмотреть весь, чтоб составить о нем цельное впечатление, в замок не хотелось, тем более что ходок по музеям я стал плохой, быстро устаю, да и очередь перед входом скопилась порядочная — американцы, чехи, немцы, венгры, поляки, русские, грузины... Пошел, однако, подчиняясь какому-то необъяснимому влечению, услышав от экскурсовода знакомую фамилию Потоцких.

В полусумрачном коридоре портреты владельцев замка. Родовитые польские богачи Потоцкие жили здесь почти полтора века, накапливали добро, украшали дворец, принимали тут императоров, всегда умея ладить с властями. Первый Альфред Потоцкий, родившийся в 1784 году, второй Альфред Потоцкий, Роман Потоцкий. ..Последний владелец замка и парка третий Альфред

Потоцкий оказался лояльным даже к немецким оккупантам, творившим на польской земле неслыханные злодеяния. Они помогли ему вывезти из дворца огромные материальные и культурные ценности, в которых концентрировались труды и таланты нескольких поколений поляков. По собственным словам этого последнего Альфреда Потоцкого, он оставил дворец в состоянии, близком к запущенной конюшие... И только сколько же было тут положено трудов польскими учеными, лепщиками, художниками, декораторами, чтоб возродить к новой жизни этот замечательный памятник культуры!

Иду с группой болгар по залам, рассматриваю старинные портреты, мебель, трюмо, музыкальные инструменты. Экскурсовод что-то увлеченно объясняет, и я все никак не поймаю паузу, чтоб спросить о своем. Наконец дождался.

— Скажите, пани, имела ли отношение к этому дворцу и этому роду Наталья Потоцкая, выданная в двадцатые годы прошлого века замуж за магната Сангушко?

Недоуменный взгляд, который я вначале принял за признак неосведомленности, но вскоре понял, что имелось в виду другое — зачем, собственно, этому русскому Наталья Потоцкая, умершая полтора века назад совсем молодой и которой ни один турист до него не интересовался?

— Она родилась в этом доме,— произнесла экскурсовод на чистом русском языке.

— Нет ли в замке ее портрета?

— Нет. Все картины отсюда увез Альфред Потоцкий на Неметчину. Потом живопись собиралась со всех уголков Польши...

Увидев мое огорченное лицо, пани экскурсовод улыбнулась:

— Вам очень хочется увидеть Наталью Потоцкую?

— Да.

— Она была красавицей! — пани снизила голос и заговорщически пояснила: — У меня кое-что есть для вас. Только, пожалуйста, не выдавайте меня — в этот апартамент массовые экскурсии не пускают, но я вам в порядке исключения разрешаю по моему знаку отодвинуть стойку с цепью и заглянуть направо за стенку на камин...

Все было так, как мы договорились. Только ничего я на камине не увидел. Странно. Экскурсовод тоже недоуменно огорчилась, а я тут же начал уставать и отставать от группы. Отставать, однако, было нельзя — сзади наседала очередная толпа каких-то нетерпеливых туристов, кажется, американских. Они ничего не рассматривали, ни о чем не расспрашивали, только щелкали во все стороны камерами со вспышками и без них и устремлялись вперед, почти наступая нам на пятки. Дома-то они, очевидно, отведут душу — проявят пленки, отпечатают снимки и станут не спеша их разглядывать, рассказывая знакомым, где они, черт возьми, побывали и сколько долларов истратили...

— А это — Угловой салон,— услышал я голос нашего экскурсовода и нежданный возглас, обращенный ко мне: — О! Наталья!

Сначала я увидел старинные стулья в зеленой обивке, прихотливую лепку на стенах, расписные потолки, какое-то высокое фарфоровое сооружение в углу с одноглавым белым орлом наверху, а совсем войдя в салон, оглянулся и замер. На подставке перед огромным зеркалом стояла прекрасная белоснежная скульптура — женская головка редкой красоты. Нежный овал лица, полуобнаженные, трогательно беззащитные плечи, прямой нос, длинные волосы, отраженные в зеркале, свободно падают прядями. Головка едва заметно склонена, губы чуть приоткрыты, будто дышат или чего-нибудь тихо скажут сейчас. Это не была стандартная, обезличенная красота какой-нибудь из Венер, это была земная прелесть почти живого, типично славянского лица. Скульптура здесь, очевидно, в новой экспозиции, в обилии света, была как нельзя лучше к месту, и салон ожил для меня, заговорил лирическими строками Лунина из урикской дневниковой записи и более поздним его письмом к сестре, в котором великий декабрист просит раздобыть из Варшавы какие-либо сведения об Александре Потоцком, обер-шталмейстере, и его дочери Наталье Потоцкой. Он выделяет это имя и фамилию, настаивая: «Я желаю особенно знать, что случилось с этой последней. Сколько раз я о ней справлялся, но ты рассказываешь только о мещанах вашего квартала, которые никому не интересны». И неизвестно, узнал ли Михаил Лунин о том, что его единственная большая любовь скончалась за десять лет до этого письма, двадцатитрехлетней, и сестра, быть может, не отвечала на его настойчивые расспросы, отговаривалась пустыми словами не желая травмировать брата печальным известием...

Из Углового салона Ланцутьского замка не хотелось уходить, но вокруг уже щелкали фотоаппараты и жужжали портативные кинокамеры. В дверях я оглянулся. Наталья Потоцкая смотрела в эту сторону, слегка склонив голову. Наверно, у нее были польские васильковые глаза. Прощайте, пани Наталья!..

Прогулки по Варшаве были интересны и без местного проводника,— я уже тут бывал, Лена жила в этом городе, где после войны ее отец работал советником при одном из польских ведомств; только дочери, впервые попавшей за границу, все было внове, и она активно осваивала незнакомый язык, потому что собиралась поступать на славянское отделение университета и еще раздумывала, что выбрать — польскую или сербскохорватскую группу. Перед отъездом сюда мы встретились с правнучкой декабриста Николая Мозгалевского историком Марией Михайловной Богдановой.

— Завидую — увидите Варшаву, Краков,— сказала она.— В них я тоже была.

— Давно? — спросила дочь.

— Перед первой германской, в девятьсот тринадцатом... С подругами-сибирячками ездили на экскурсию. Видела недавно

по телевизору Варшаву — она теперь совсем другая... А Краков, говорят, сказка из камня. Наши спасли... А без Кракова, Ирина, Польша не Польша...

Долго бродили по Кракову. Камень, с готической стремительностью рвущийся в небо, центральная площадь старинного города, заполненная разноязычным людом с голубями, а вот и труба запела на башне кафедрального собора, и тягучая тревожная мелодия внезапно пресекается на нестерпимо высокой ноте и мы вздрагиваем.

Средние века европейской истории тогда еще не занимали меня, и я мечтал увидеть в какой-нибудь краковской библиотеке одну книгу, вышедшую здесь в 1869 году. Наш гид берется перевести мне из нее все, что меня интересует, но библиотеки в тот день оказались закрытыми, а утром мы уезжали в горы...

В книге той есть сведения о Михаиле Лунине; и не о его сокровенной любви, а о последних мгновениях этой ослепительной жизни.

Существует целых четыре версии о причине смерти выдающегося декабриста, до конца не сложившего оружия. От апоплексического удара, по-современному инсульта — официальная, согласно тюремным документам; от угара, отравления печным газом,— параллельная, по тогдашним и тамошним слухам-разговорам, вторая; от разрыва сердца, то бишь глубокого обширного инфаркта,— третья. И есть еще особая, подтверждаемая, хотя и не со стопроцентной достоверностью, но все же очень конкурентоспособная версия — насильственное удушение, политическое убийство, запланированное в Петербурге. Последняя причина впервые была высказана в печати более ста лет назад, и случилось это здесь, в Кракове, где прочесть мне об этом не удалось, однако нужное место давно было в русском переводе. Участник польского восстания 1863 года Владислав Чаплинский, отбывавший срок в Акатуе, где погиб и был похоронен Михаил Лунин, записывал и запоминал рассказы каторжников, а по возвращении на родину выпустил книгу. Согласно этим рассказам, тайное распоряжение об убийстве Лунина пришло свыше, а дело было поручено офицеру Григорьеву. Вот как это выглядело по пересказу Чаплинского: «Однажды ночью, часа за два до утра, в акатуевских стенах началось большое и какое-то зловещее движение. Ни с того ни с сего всех без различия заключенных, кроме семерых, обыкновенных преступников, а также вся воинская команда, вопреки принятым обычаям, отправлены на работу. Это делалось быстро, и было приказано соблюдать тишину, так что помимо желания всех проняла дрожь, все предчувствовали что-то страшное, что-то жестокое. Когда вывели всех, Григорьев во главе семерых бандитов тихо подходит к двери Лунина, быстро открывает и первый врывается в комнату узника. Лунин лежал уже в постели, но на столике у постели горела свеча. Лунин еще что-то читал. Григорьев первым бросился на Лунина и схватил его за горло, за ним бросились разбойники,

схватив за руки и ноги, надвинули подушку на лицо и, сдавив горло руками, начали душить. На крик Лунина и шум борьбы из другой комнаты выскочил его капеллан, вывести которого, очевидно, забыли. Пораженный, он стоял в дверях и, увидев Григорьева с разбойниками, душащими Лунина, объятый ужасом, в отчаянии заламывал руки. Один из разбойников, заметивший капеллана, взглядом спросил Григорьева — может, и капеллан, ненужный свидетель преступления, должен стать его жертвой? Григорьев, душа одной рукой Лунина, другой подозвал к себе спрашивавшего разбойника и подал ему знак, чтобы тот заменил его в душении. Разбойник подскочил к Лунину, с легкостью отодвинул Григорьева и, привычный к ремеслу такого рода, в мгновение ока довершил убийство. Григорьев же, отпустив горло Лунина, кланяясь со всей изысканностью, подошел к капеллану и, извиняясь перед ним так, как будто дело шло о какой-нибудь мелочи, недоразумении между приятелями... протягивая к капеллану руки, говорит ему без смущения: «Извините, извините, это вас не касается. Это,— указывая на палачей,— это по приказанию нашего милостивого государя». «Извините,— повторил он и прибавил: — Насчет вас, по крайней мере, нет никакого распоряжения».

Характер подробностей таков, что трудно предположить, чтобы все это было чистой выдумкой — только такая жуткая правда могла сохраниться в памяти акатуйских узников долгих двадцать лет. В пользу этой версии говорит немало косвенных данных, но я обращаю внимание читателя лишь на некоторые, отмеченные историками декабристского движения. Версию об удушении Лунина слышал в Акатуе один из забайкальских краеведов, историк Б. Г. Кубалов писал об акатуйских слухах, будто «начальство сократило его дни», С. Б. Окунь документально установил, что в Акатуй Лунина доставил именно подпоручик Григорьев и позже этот офицер нес охрану каторги, а Н. Эйдельман, разбирая все версии, справедливо ставит вопрос в отношении авторов официальных бумаг: «Не врут ли?» Он нашел какую-то странную датировку этих бумаг, отметил, что в описи имущества покойного перечисляется чуть ли не каждая пуговица, а за мелкий аукционный долг от проданной рубахи декабриста власти искали должника спустя многие годы даже на Камчатке. И при этакой-то канцеляристской скрупулезности в описи не числится *ни одного листа рукописей Лунина,* хотя Мария Волконская пересылала ему в Акатуй, «под видом лекарства, чернил в порошке с несколькими стальными перьями», и узник что-то писал в своей каморке. Добавлю, что незадолго до смерти в последнем письме декабриста Сергею Волконскому есть весьма примечательные слова, и я особо их выделяю: *«Здоровье мое поразительное. И если только не вздумают меня повесить или расстрелять, я способен прожить сто лет...»*

Вспоминаю, как я неотрывно читал в архиве подлинные дела Михаила Лунина, и передо мною во весь рост вставала величественная фигура русского богатыря, воина и революционера, мудрого и высоконравственного человека, не способного лгать ни другу, ни врагу. Нет, совсем не исключено, что лгали акатуйские палачи, когда писали, будто Лунин умер «от сгущения крови в затылке».

Царь и царские прислужники с упоением лгали о декабристах. Благороднейших людей того времени они называли злодеями, троих — Гаврнила Батенькова, Михаила Лунина и Павла Выгодовского — официально, в документах, пытались выдать за сумасшедших, а это были самые стойкие политические ратоборцы. Лгали в большом и малом, лгали даже тогда, когда в этом не было особой нужды, и я не могу понять, почему, например, причиной смерти Николая Мозгалевского в официальной бумаге сочтена какая-то неозначенная четырехдневная болезнь.

А важного звонка все не было, и я в воображении рисую встречу, которая состоится после него.

Вот входит в номер незнакомый человек, очень пожилой, если не старый, и представляется Станиславом, Яном или Кшиштофом Мозгалевским. Дело в том, что по приезде в Варшаву мне прямо на вокзале друзья вручили в качестве сюрприза свежий номер газеты «Слово повшехне» («Всеобщее слово»). По моей просьбе, высказанной еще в Москве, они поместили на газетной странице следующее объявление: «Житель Варшавы (его имя и адрес редакции известны) ищет родных или знакомых генерала перед первой мировой войной Виктора Мозголевского. Данные о них нужны для научных целей. Отклики просим направлять в Отдел связи с читателями 00-551, Варшава, ул. Мокотовска, 43, комната № 314».

Временным жителем Варшавы я был более недели, гостем в стране ровно месяц. Напечатанное в номере газеты от 21—22 июля 1976 года объявление через две недели повторили, и вот мы сидим с паном Мозгалевским за чашкой кофе, беседуем.

— В газете ошибка,— говорит он.— Моя фамилия не Мозголевский, а Мозгалевский.

Рассказываю о полуторавековой, ставшей традиционной путанице с этой фамилией, достаю снимок каменного надгробия, что лежало с середины прошлого века на могиле одной из дочерей Николая Мозгалевского. Конец эпитафии: «урожд. Мозалевская» с высеченной несколько иным шрифтом надстрочной буквой «г». И я еще не мог знать тогда, что в 1982 году, уже после публикации второй книги «Памяти», мои читатели-геологи найдут в Туве залежи полиметаллических руд и внесут их в кадастр полезных ископаемых СССР под названием «рудопроявление Мозголевского»...

Но в чем, собственно, дело? недоуменно спрашивает гость, рассматривая снимок.— Судя по отчеству моего покойного отца, деда действительно звали Виктором, был он генералом царской армии, но больше я о нем ничего не знаю.

— И вы не знаете, что являетесь правнуком одного из декабристов восставших в 1825 году против царя и крепостничества?

Нет

У меня есть основания допустить такое неведение У декабриста Николая Мозгалевского и Авдотьи Ларионовны было четыре сына и четыре дочери В общей тетради, подаренной мне Марией Михайловной Богдановой, правнучка декабриста рассказывает о судьбе старших двух сыновей.

«Линия Павла Николаевича, старшего сына декабриста Николая Мозгалевского, прервалась на нем самом совершенно неожиданно и трагически Он не был женат, жил с матерью Авдотьей Ларионовной, служил в Минусинском присутствии, получая ничтожное жалованье. Весной 1881 года какой-то золотопромышленник предложил ему место на своем принске, вероятно, с большей оплатой. Павел Николаевич поехал на этот прииск, чтобы ознакомиться с условиями работы. Остановившись на ночлег в деревне, он застрелился ночью из пистолета, что был у него с собою Особых неприятностей по службе он не имел, не числилось за ним ни растраты казенных денег, ни карточного долга, и ни смертельной болезни или несчастной любви у него не было. Никакой записки он не оставил, и трагическая смерть скрыла душевную тайну, помешавшую ему жить»

И второй сын декабриста Валентин Николаевич принес неизбывное горе Авдотье Ларионовне «Он был человеком семейным, но семьянином неважным По воспоминаниям родственников, знавших его, имел броскую внешность, барственные манеры, пользовался успехом у женщин, искал его, и это стало причиной еще одной семейной трагедии Мозгалевских. На прииске, где Валентин служил управляющим, ему приглянулась невеста одного рабочего, которой он стал оказывать внимание Жених подкараулил его в темном углу, убил ударом лома по голове и скрылся с невестой в тайге Валентин Николаевич оставил семью без средств к существованию, не нажив капитала за счет хозяина, как это в те времена делалось Жена его вскоре умерла от горя, оставив на руках Авдотьи Ларионовны двух маленьких девочек»...

Самый младший сын декабриста Виктор — еще одно тихое горе Авдотьи Ларионовны, только этому была совсем другая причина. «Славянин» Иван Киреев сумел за короткий срок подготовить способного мальчика к трудному вступительному экзамену, и Виктор был принят в тот самый 1-й Кадетский корпус что когда-то окончил его отец. Учился он хорошо, только что-то случилось с ним такое, чего не поняла ни Авдотья Ларионовна ни товарищи его отца Петр Фаленберг — Ивану Пущину 12 фев-

раля 1858 года: «Я передал ему (И. В. Кирееву.— *В. Ч.*) Ваше поручение, а также и Авдотье Ларионовие лично. Последняя повторяет Вам и Наталье Дмитриевне свою благодарность за присланные ей деньги, способствовавшие ей к отправлению ея сына в корпус... Она усердно просит Вас, когда будете в Петербурге, узнать о сыие Викторе, принятом в том же 1-м Кад. корпусе, где мой Федя, и писать почаще к матери, получившей только одно письмо от иего».

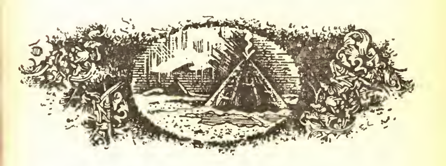
Неизвестио, довелось ли Ивану Пущину свидеться с кадетом-мальчиком, только писем от него за тридцать последующих лет, пока была жива Авдотья Ларионовна, ие пришло ии одного. Не то вдруг очерствел он под влияиием новых воспитателей, не то начал готовиться к воеииой карьере и счел невыгодным для себя поддерживать связи с семьей государствениого преступника. И ои сделал блестящую карьеру. Младший сыи декабриста Виктор Мозгалевский после окончания 1-го Кадетского корпуса стал офицером того самого лейб-гвардейского Гродненского полка, в котором некогда служил и был арестован Михаил Лунин. В русско-японской войне участвовал в чине полковника и, дважды проехав Красноярск, ие сошел с поезда, чтоб поклониться праху матери и встретиться с родственниками. С 1908 года он уже геиерал-майор. Был женат иа родовитой и богатой польке, имел двух сыновей, жил в Варшаве, продолжая делать карьеру, как делал ее сенатор Михаил Волкоиский, добившийся больших чинов и лишь за несколько лет до смерти разрешивший опубликовать замечательные «Записки» своей матери, как делал ее сын декабриста «славяиина», выпускник того же 1-го Кадетского корпуса Петр Фролов, генерал от инфаитерии, служивший в первую мировую войну в Генеральном штабе.

Сидевший передо миой Мозгалевский совсем ие виноват, что его дед был так воспитаи обстоятельствами тех времен, корпусными ротными командирами, что даже не рассказал своим сыновьям об отце, матери, их тяжкой судьбе, оборвал родовую память; а кому сегодня не хочется узнать какие-либо подробности о своих прародителях, ощутить историю через смену семейных поколений?

Подарю моему иовому польскому другу стариииую фотографию — Авдотья Ларионовна с Александром Николаевичем, последиим, оставшимся с нею сыиом. Натруженные руки тяжело лежат иа коленях, взгляд задумчиво-скорбный, иа лице глубокие морщины. На плечах — турецкая шаль, подаренная покойной дочерью и ее мужем, иосившим одну из самых знаменитых русских фамилий; эта шаль десятилетиями хранилась у потомков декабриста, пока не истлела... У меия хорошая фотокопия, а подлинник иаходится в Государствеиюм Историческом музее. Копию нарымского брачиого свидетельства «несчастнаго» Николая Осипова Мозгалевского, снятую миою в Чериигове, тоже подарю и фотографию его миусинского дома с мемориальной доской на потемневших старых бревнах...

Нет, однако, не дождался я тогда звонка, хотя и очень надеялся, как надеюсь до сего дня, что найдутся в Польше потомки Николая Мозгалевского, ничего не знающие про своего предка-декабриста, о котором я им впервые рассказал в моем эссе «Братья-славяне», напечатанном в варшавском альманахе «Жице и мисл», № 6, 7, 8 за 1977 год. Быть может, его тамошние потомки уже числят себя на польский лад — Модзалевскими, которых так много в варшавской телефонной книге, где нет ни одного Мозгалевского?..

А сейчас, дорогой читатель, нам надо вернуться в прошлый век, в Нарым, где после отъезда в Минусу Николая Мозгалевского остался единственный декабрист-крестьянин, выдававший себя за поляка.



17

Как жаль, что в Томске затерялись следы библиотеки Павла Выгодовского, привезенной, должно быть, с каторги. Состояла она скорее всего не из беллетристики, а из серьезной научной, исторической и обществоведческой литературы, которую можно было изучать годами, а также богословских книг, в том числе, конечно, библии. Специалисты, я уверен, давно могли бы подтвердить влияние того или иного политического, философского или естественнонаучного сочинения на творчество Павла Выгодовского. Стоп!.. Строгий читатель снова может прервать меня — вот, мол, сначала он обронил выражение «рукописное наследие», теперь уже «творчество», а что будет дальше? Дальше будет то, во что трудно поверить,— сужу по себе, когда я впервые узнал о необыкновенном событии, что приключилось в Нарыме 11 ноября 1854 года.

Представляю удивление судейского чиновника, когда он обнаружил в доме ссыльного государственного преступника главную находку Борейша, как и другие жители Нарыма, знал, конечно, что долгими вечерами и ночами «секлетный» жжет огонь за ставнями — строчит швы и метает петли на шитье своем. Да, декабрист долгие годы у тихого огонька *строчил и метал*, но только не швы, не петли — он строчил свое почти невероятное сочинение, в котором метал громы и молнии против существующего законопорядка Много часов Борейша с помощниками читал густо исписанные листы, временами выхватывая глазом строчки, от которых бросало в дрожь. Может, работа по описи найденного закончилась только к утру — было учтено, согласно записи в протоколе, 3 588 листов сочинения Павла Дунцова-Выгодовского.

Три тысячи пятьсот восемьдесят восемь листов! Это не просто много — это очень много

Основываясь на письме Петру Пахутину, я сделал подсчеты: *объем труда декабриста составлял* 10 764 машинописные *страницы* современного текста!

Эти простейшие расчеты я сделал для того, чтобы зримо представить Сочинение Павла Выгодовского в его гипотетическом типографском виде За четверть века нарымской ссылки Павел Выгодовский написал 468 печатных листов! И все равно эта огромная цифра мало что говорит читателю, не имевшему дела с изданием книг,— объема у нас пока *не видно* И вот я беру сочинения любимых моих писателей, на чьи переплеты смотрю с благоговением

Заветный томик Александра Пушкина, который мы в нашем путешествии не однажды листали, как путеводитель, яркий цвет его переплета не бледнеет с годами Его объем — 150 учетно-издательских листов. Пятитомник Ивана Бунина — 120; шесть солидных томов Михаила Пришвина — 200 печатных листов общего объема. Последний десятитомник Леонида Леонова — 260 листов. В одиннадцати томах Николая Лескова 370 учетных листов..

Перечислил я все эти издания только для доступности сравнения, напоминая, что общий объем труда Павла Выгодовского — примерно 468 печатных листов! Если представить его в привычном типографском виде, то это составит пятнадцать довольно солидных томов по тридцать с лишним печатных листов, то есть по семьсот-восемьсот страниц каждый

Правда, Павел Выгодовский спустя несколько месяцев после ареста в жалобе, посланной из томской тюрьмы, преуменьшил более чем вдвое объем своего труда. «Заседатель Борейша,— писал он,— после отправки меня в Томск взломал в моем доме замки, обобрал и отправил в Томский совет к начальнику 1-го отделения Вагину до полуторы тысячи листов разных бумаг моего сочинения, свои особеннейшие тайны в себе

заключающие»... Возможно, большую часть бумаг он припрятал, полагая, что их не найдут, но судебный заседатель Борейша нашел захоронку, возможно, на чердаке, в сухой земле — потолки в наших местах засыпаются землей для сохранения тепла. Зимой землю сушит снизу потолок, летом под крышей даже жарко, и пока тес не прогниет и не промокнет, пока дом не сгорит или не обновится весь, бумага может на чердаке лежать века в абсолютной сохранности. И если Выгодовский спрятал две с лишним тысячи листов на чердаке, то Борейша знал, где искать, но я-то не знаю, должна ли история благодарить сыщика или проклинать его за этакое усердие. Дело в том, что *ни одного листа необыкновенного Сочинения Павла Выгодовского не сохранилось,* и если бы Борейша не сыскал тогда дорогую захоронку декабриста, она — пусть даже теоретически — могла все же дойти до более поздних поколений, быть может, и до нас с вами. С другой стороны, могло случиться и так, что мы вообще никогда бы не узнали о подлинном объеме труда Павла Выгодовского — ведь те улицы Нарыма, на которых жили первые тамошние политические, давно затоплены Обью... И тут я подхожу к более важному и для непосвященного читателя вполне сенсационному — не найдись тогда, 11 ноября 1854 года, эти две тысячи с лишним страниц, мы скорее всего ничего определенного не могли бы сказать об их содержании.

— А сейчас разве можем? Ведь, как вы сказали, ни одного листа Сочинения Дунцова-Выгодовского не сохранилось.

— О подлинном объеме и кое-что о содержании этого феноменального труда мы судим по петербургской жандармской описи. В ней говорится, что состоит все Сочинение из девяти частей, а на части делится лишь нечто целое. Самая малая по объему седьмая часть — 234 листа, больше других восьмая — 522 листа. Если б уцелело хотя бы несколько, пусть даже разрозненных листов! Но нет ни одного, и, наверное, никогда уже не обнаружится... А все они до единого были в целости еще весной 1855 года.

Тюк с бумагами декабриста был привезен из Сибири в Петербург, должно быть, санным путем и распакован в специальной его императорского величества канцелярии. Неизвестно, как долго читали жандармы Сочинение декабриста, но есть в архивных бумагах крайняя дата, последнее свидетельство существования этого необычайного произведения — 18 апреля 1855 года. В тот день или, быть может, назавтра петербургские жандармы сожгли Сочинение Павла Выгодовского.

·

И вот в 3-м отделении был составлен интересный документ — что-то вроде акта на уничтожение рукописей Павла Выгодовского, и я приведу выдержку из него. Текст этот М. М. Богданова почему-то не опубликовала в своей брошюре, а он ценен тем, что, представляя собой кратчайшую аннотацию Сочинения, дает попутно жандармскую характеристику автора: «Бумаги эти со-

стоящие из 3 588 листов, по рассмотрении оных в 3-м отделении, оказываются крайне преступными. Озлобленный положением своим, желчный и проникнутый в высочайшей степени преступными идеями, притом зараженный превратными понятиями, а может быть даже одержимый в некоторой степени умопомешательством вследствии чтения книг духовного содержания, *Выгодовский* в своих рассуждениях восстает против всех начал Монархической власти, против церковных установлений государственных учреждений и всего, что составляет основание благоденствия России. Размышления его хотя бессмысленны, но чрезвычайно дерзки и обнаруживают в нем человека образа мыслей весьма преступного...»

Старый знакомый мотив — автор антиправительственного сочинения не может приниматься всерьез, потому как он-де тронулся умом. Княжнин и Грибоедов, Чаадаев и Лунин, Батеньков и вот Выгодовский... Верно, психика многих декабристов не выдержала краха надежд, унизительной жестокости наказаний, одиночества, крайней нужды. В высшей степени испытал все это Павел Выгодовский, что не могло, естественно, не отразиться на его душевном состоянии — временами крайне возбужденном, характере — нетерпеливом, раздражительном, поведении — вызывающе смелом, однако сохранившиеся его страницы, отрывочные свидетельства о нем современников, финал этой необычной жизни, о котором речь у нас впереди,— все говорит о том, что с медицинской точки зрения он был человеком вполне здоровым. И еще очень важное — в нарымских и томских документах, в том числе исходящих и от лиц, знавших Выгодовского близко и долго, нет даже намека на то, что этот декабрист страдал психическим заболеванием. Безумие, если оно им действительно владело, непременно обнаружилось бы в томской тюрьме, где Выгодовский содержался почти год в общей камере, находясь под неусыпным наблюдением надзирателей. Недреманное око стражи заметило бы любое отклонение от нормы в поведении особо важного преступника, что наверняка отразилось бы в бумагах.

Полную вменяемость Павла Выгодовского я решительно утверждаю не только потому, что томские тюремные документы 1855 года не утверждают обратного. По этим документам, кстати, можно установить, что питание Выгодовскому было определено из расчета три копейки в день, и декабрист, голодая, письменно просил увеличить паек и что в общей камере он оказался из-за отсутствия в тюрьме одиночки. Потом его перевели в другую камеру, так как Выгодовский «вопреки запрещению смотрителя тюремного замка старался сблизиться с содержащимся там по Высочайшему повелению политическим преступником Ивашкевичем». В документах зафиксирована даже такая мелочь — на Выгодовском была одна рубаха, и «политический преступник» Ивашкевич дал ему сменную. Еще деталь: в тюрьме у декабриста развилась «глазная болезнь». Глазная, а не какая-нибудь иная...

Надо также учитывать, что версия о предполагаемом сумасшествии Выгодовского возникла не в Томске, а в Петербурге, в 3-м отделении императорской канцелярии. Должно, с точки зрения жандармских чиновников было воистину страшным безумием обвинять в помешательстве рассудка особ императорского дома, а Выгодовский именно это сделал в своем Сочинении: «...Принцы, едва родясь, а уж приветствуются из пушек громкими титулами, орденами и облекаются первыми в государстве должностями, как-то: шефами, генерал-инспекторами, начальниками ученых заведений, атаманами и самими адмиралами и главнокомандующими как флотами, так и армиями. Здесь очевидно страшное помешательство рассудка властвующих...» Разрядка в оригинале.— *В. Ч.*)

Эти слова публикуются в массовом издании впервые, как впервые будут напечатаны ниже и многие другие отрывки из Сочинения Павла Выгодовского — в более или менее точном переложении с подлинника либо прямым цитированием.

— Но ведь подлинник-то сожжен!

— Верно, скорее всего, сожжен, однако прежде, чем совершилось это злодеяние, какой-то петербургский чиновник сделал выписку из Сочинения декабриста, конспективно излагающую его основное содержание.

Когда после Октябрьской революции были рассекречены дела декабристов, Выгодовским никто не заинтересовался — слишком много открылось настолько важного, что у историков не хватило сил объять почти необъятное. Только спустя семнадцать лет «Выписка» дождалась первой публикации в одном редком, давным-давно затерявшемся в книжном море издании. М. М. Богданова пишет, однако, что текст этой публикации «имеет некоторые разночтения с оригиналом», и она основывается в своей работе о Выгодовском на подлиннике. Пришлось и мне обратиться непосредственно к архивной «Выписке», потому что и у М. М. Богдановой есть кое-какие разночтения с нею, а главное — правнучка Николая Мозгалевского, излагая конспект, комментирует отдельные фразы, обрывки фраз и даже слова, то и дело перемежая их отточиями, так что подлинного текста Выгодовского в ее брошюре наберется едва ли более одной книжной страницы. А декабрист-крестьянин написал, как мы знаем, почти одиннадцать тысяч условных машинописных страниц!

Снова и снова прочитываю конспект. Составитель его уловил общую логику сочинения декабриста и, излагая его концепции, переписывает места, которые представляются ему наиболее важными. Есть даже названия некоторых разделов — «О свободе свободных», «О происхождении вселенной», «О политических изгнанниках», но вместо тематических переложений чаще всего цитируются обрывки подлинника, хорошо передающие через авторский слог напряженную и неспокойную мысль, чувство гнева и осуждения, беспощадную язвительность языка. Эти особенности стиля Павла Выгодовского мы еще успеем почувствовать и оце-

нить, а вначале надо бы, исходя из наших сил и возможностей, хотя бы частично разобраться в философских взглядах декабриста-крестьянина. Специальных исследований этой темы пока нет, и нельзя же, в самом деле, жандармское подозрение в аномальности мышления декабриста считать отправным положением при подходе к сохранившимся текстам Павла Выгодовского, в которых излагаются его политические и мировоззренческие идеи.

Да, очень часто в старину раздумья о жизни, о том, какая она есть и какой должна быть, принимали форму религиозную, теологическую. Декабристы, дети своего времени,— за немногими исключениями,— были верующими людьми. Молитвы входили в них с первыми младенческими впечатлениями, закон божий — началами грамоты, теология преподавалась в университетах и военных школах, регулярные службы отправлялись в полках, и вообще церковь умела цепко держать людей близ себя, освящая рождения, браки, смерти, сопровождая своими ритуалами праздники, победы, горе, стихийные бедствия, контролируя через ежегодное святое причастие образ мыслей верующих. В масонских ложах, через которые прошли многие декабристы, мистические атрибуты и тайные политические химеры подавались также в древней религиозной обертке. В крепостях, тюрьмах, на каторге и ссылке самой доступной литературой были также книги духовного содержания, и прежде всего библия.

Прийти в те времена к отвержению бога, религии, церкви было своего рода подвигом духа!.. К полному отрицанию бога еще в молодости пришел, например, декабрист Александр Барятинский — князь-рюрикович, один из активнейших «южан», осужденный по первому приговору к двадцатилетним каторжным работам. За год до восстания вышла в Москве его единственная книжка стихов на французском и в том числе послание «П. Пестелю». А в следственном деле Александра Барятинского я увидел его антирелигиозную поэму. Вот ее беспощадно разящее начало в вольном переложении на русский:

Восседающий на молниях, этот бог, исполненный гнева,
Вдыхает дымящиеся повсюду испарения крови.
Да, каждый народ, весь древний мир
Всегда приносил кровь в жертву твоему пугающему имени..

Хотелось бы тут вместе с читателем подосадовать, что далеко не все поэтические произведения декабристов — неотъемлемая часть нашей культуры — найдены и переведены.

Концовка большого философско-поэтического произведения Александра Барятинского блистательна по смелости и отточенности мысли, хорошо передаваемой подстрочным переводом, к которому немного приложил руку и я, несколько переиначив для внятности уже имеющийся перевод ученых-историков:

О, разобьем алтарь, которого он не заслужил,
Он благ, но не всемогущ, он всемогущ, но не благ.
Вникните в природу, вопросите историю —
И вы, видя столько зла, разлитого по миру,
Поймете, что если бы он даже существовал,
Во имя его собственной славы бога надо отвергнуть!

Своеобразные поэтические и политические интерпретации божественности в природе вещей и людей можно найти в сочинениях Федора Глинки, Кондратия Рылеева, Гавриила Батенькова. Не до конца изучены сочинения Михаила Лунина. До сего дня поддерживается миф о его глубокой религиозности, хотя исторические и социальные произведения этого ратоборца полны реалистической ясности и революционной зрелости, являют собою замечательную концентрацию светских знаний, понятий, вполне земных целей, отвергающих миропорядок, якобы благословленный свыше.

Павел Выгодовский, получивший первоначальное образование в школе иезуитов-тринитариев, не мог, конечно, вдруг освободиться от богословских категорий мышления и терминологии. Но интересно, что свободомыслие, содержащее некоторое непочтение к религиозным абсолютам, проявилось у него еще в молодости. Еще раз вспомним известное письмо в 8-ю артиллерийскую бригаду вождю «славян» Петру Борисову. Приведу из него три фразы ради трех слов,важных для нашей темы. «Когда нечаянно подвиги человека получают желаемое внутреннее движение, (это) вдруг дает ему чувствовать некоторый род утешения...» Что это? Общеморальное суждение в духе ранних «славян» или хорошо скрытое согласие нового сочлена с радостью пойти вместе со всеми членами Славянского общества на грядущий подвиг? И не намекает ли слово «нечаянно» на недавнее принятие Выгодовского в среду «славян»? «В чьем сердце помещается святыня Человечества, тот, верно, будет в нем находить подобную радость». Так было в черновом варианте письма, редактируя который Павел Выгодовский слова «святыня Человечества», что могло означать единственное — свободу, заменяет более невнятным «храмом Добродетели». А вот и особо нужная нам сейчас фраза: «Сего то счастия, сей дружественной любви, восхищающей в благородные и возвышенные чувства, я бы не согласился променять ни на мнимое горнее царство, ни на самый прелестями наполненный рай Магомета». Двадцатитрехлетний Павел Выгодовский называет христианский рай *мнимым* понятием и, осчастливленный благородными земными целями «славян», радостно идет на сближение с ними, на укрепление связей — адресует копию письма в Пензенский пехотный полк Алексею Тютчеву, напоминает о своем общении с Катоном (И. Горбачевским), передает «почтение и преданность» Владимиру Бечаснову и сообщает, что Н. О. (Николаю Мозгалевскому) пишет особо, так как «он от меня того требовал»... Короче, перед нами слегка законспирированное письмо молодого революционера, готового ради общего дела отказаться

даже от рая, и для нас важно, что он уже считал этот религиозный постулат выдумкой.

Напомню также примечательное место из письма Петру Пахутину 1848 года о мошенничестве в церквах, обмане простаков, отобрании у них денег именем божьим. А в нарымском Сочинении Павел Выгодовский пишет о закоснелости, как он выражается, «каменной» православной веры, не щадит и свою католическую, и, развивая мысли из письма Петру Пахутину, дает обобщенную и беспощадную характеристику церкви и религии: *«Церковь и религия на откупу у самых злейших Синодальных иуд-христопродавцев,* всем священным в церквах промышляющих и во взяточничестве и хищничестве наравне с мирскими властями упражняющихся, *не говоря уже о их мошеннических чудотворных иконах, древах, мощах потому, что здесь чистое безбожнейшее шарлатанство и злоупотребление истины: это истинная мерзость запустения, стоящая на месте святе».* (Здесь, как и далее по тексту, курсивом выделены слова, подчеркнутые в оригинале.— *В. Ч.*)

Память услужливо подсказывает, что приметное выражение «мерзость запустения» есть в знаменитом «Путешествии» Александра Радищева, а слова «псы смердящие», которые мы встретим у Выгодовского, любил употреблять Аввакум Петров, хотя это вовсе не значит, что декабрист-крестьянин цитирует знаменитых авторов. Сходство, конечно, есть — тот же испепеляющий гнев, то же истинно русское произительное правдолюбие, те же острые, как шилья, и тяжелые, как разящая дубина, слова, тот же размах, только у Выгодовского, несмотря на это сходство, все очень посвоему и применительно к его времени. Судите сами: «Ныне век железа, огня, меча и политической смертоносной лжи, мести и злобы; мужи государственные основывают все на мнении, и чем оно лживее и обманчивее, тем для мира лестнее и обольстительнее. Среди такого неистовства миру нравится один обман. Что выигрывают политики и мнимые мудрецы от своей тонкой лжи и козней? — то, что, падая с той высоты, на которой они стоят, вечно, как псы смердящие, пропадают».

Несомненно, что некоторые сильные слова и выражения — у Петрова, Радищева и Выгодовского идут от библии с ее обобщающе-афористичным языком, и декабрист, конечно, хорошо знал эту древнейшую книгу христиан. Однако ее мертвые каноны не были для нарымского изгнанника чем-то незыблемым или основополагающим. Впрочем, вот собственное мнение Выгодовского о библии, очень важное для суждения о его религиозности: «...библия для просвещенных людей нынешнего времени вовсе не нужна». Следует учитывать, что Павел Дунцов-Выгодовский не получил хорошего светского образования, не знал европейских языков и, кажется, только понаслышке был знаком со взглядами западных философов и просветителей. Действительно, на его образ мышления и способ словесного изъявления чувств сильнейшее влияние оказали книги духовного содержания, потому и встречаются то и дело чуждые нашему слуху выражения вроде: «князь

тьмы», «антихрист разума» или целые фразы, например: «Нынешний мир со своею блудною политикою упивается кровию святых на пиршествах своих зверских...»

Но в своей чрезвычайно оригинальной «религиозности» Павел Выгодовский идет дальше и глубже простого отрицания нужности библии и других богословских книг, считая, что они служат свою верную службу богатеям и «святым отцам», обманывающим темный народ. Не без язвительности он пишет, что «чернь и крестьяне взялись, по закону и добровольно, кормить помещики, фабриканты да спекуляторы, то тем более библия делается вовсе излишнею. И действительно, по закону, помещики кормители своих крестьян, как и волки также, по своему закону, кормители овец, с тою разницею, что волки тем только честнее и умнее бар, что, пожирая овец, не кричат во весь рот, что они их кормители и благодетели. Впрочем, библия разве для того годится, чтобы иногда, в случае надобности, порочить ею глупую чернь, ей верующую, и тем пользоваться властям земным в политическом отношении; но это всяк Еремей про себя разумей». И уж совсем образный, несколько даже парадоксальный поворот мысли намечен в следующем отрывке из «Выписки»:

«...Рассуждая об отыскании свободы — *свободными тьмы сынами*, он пишет: власти мира, в конце XVIII века вольнодумцами потревоженные, чтобы избегнуть этого зла в будущем, заставили всех заниматься чтением Св. Писания, полагая через то подавить в них вольнодумство, но чтение вольнодумцами библии и духовных книг, исповедь и приобщение дали совсем не те результаты, какие себе обещали власти,— вольнодумцы еще более убедились, что власти в свою безбожную и зверскую политику, как во тьму смертную погруженные, должны непременно от дел своих погибнуть, ибо и самые вольнодумческие против них заговоры *есть произведения властей,* а не вольнодумцев, которые от них же исходят. *Скипетры и престолы земных властей не в Боге и слове его, Его премудрости, а в диаволе и в слове его земно-политической тьмы,* безумия царствующих...»

Продираясь сквозь дебри богословской терминологии, вначале я никак не мог уразуметь, верует все же Выгодовский в бога или нет, а если верует, что вроде бы вытекает из текста, то в какого именно? Предчувствую, что в выписках петербургского чиновника есть строки, эти «сокровеннейшие тайны в себе заключающие»...

Некоторые мои спутники по совместному путешествию могут упрекнуть меня, в так сказать, «богоискательстве», исходящем из возможного богоискательства полуторавековой давности одинокого нарымского ссыльного, получившего лишь начальное духовное образование и начитавшегося религиозных книг. Действительно, я ищу «Бога» Павла Выгодовского, придя к совершенно неоспоримому выводу, что декабрист этот был атеистом, а его Сочинение явилось не результатом хотя бы «до некоторой степени умопомешательства», а стало единственным для него способом сохранить здравый рассудок и продолжить политическую

борьбу в условиях, в которых, казалось бы, никакая борьба невозможна.

Но прежде чем продолжить поиски «Бога» декабриста-крестьянина, покажу, как в те давние времена всеобщего религиозного воспитания и образования первые русские революционеры умели не только блистательно использовать в своих целях религию, но даже иногда целиком опираться на ее понятия, терминологию, ритуалы для ведения антиправительственной пропаганды среди солдат. Напомню лишь один случай, исключительный, правда, по своим обстоятельствам, но его будет вполне достаточно.

Вернемся к одному из памятных январских дней 1826 года. События на юге разворачивались неудержимо-логически и, если приложить к ним современную мерку, с какой-то особо яркой *кинематографичностью* — предельный драматизм, мгновенная смена декораций и действующих лиц; острые эпизоды ареста и освобождения Сергея Муравьева-Апостола, над которым витала смерть; мужество Анастасия Кузьмина и Ивана Сухинова; отказ Артамона Муравьева поддержать восставших; командир Черниговского полка Гебель под солдатскими штыками и арестованный майор Трухин, на коленях вымаливающий... бутылку рома; самоубийство Ипполита Муравьева-Апостола и Кузьмина; великое и мелкое, смешное и трагичное, и сквозь метель — погоня, погоня, погоня на лошадях, грызущих окровавленные мундштуки, и массовые сцены, полные глубочайшей исторической значимости и символики; где же, черт возьми, наши киношники, снявшие многие сотни пустых картин и привычно изнывающие от бестемья!

И вот восставший Черниговский полк выстраивается в Василькове на плацу. Сергей Муравьев-Апостол произносит несколько возвышенных слов и, вручив полковому священнику какой-то листок, просит громко прочесть его.

— Во имя отца и сына и святаго духа! — громовым, привыкшим к простору голосом провозгласил тот, но солдатский говор в рядах, взволнованных речью командира, не стихал — молитвы-то они слышали много раз и привыкли пропускать их мимо ушей, не вдумываясь в темный смысл, а тут такое на земле, не на небеси, что нету сил ничего слушать, ежели надобно бы обмозговать поначалу шепотки, которые шли от самого полковника Муравьева-Апостола и других офицеров, будто служить они теперь будут не двадцать пять, а всего пять или, куда ни шло, десять лет...

— Для чего бог создал человека? — вопросил священник и сам же ответил: — Для того, чтоб он в него веровал, был свободен и счастлив..

— Что значит быть свободным и счастливым?

— Без свободы нет счастья...

Гомон в колонне стихал постепенно, и наступила полная тишина, когда священник спросил:

— Для чего же русский народ и русское воинство несчастно? — И ответил: — Оттого, что цари похитили у них свободу

«Православный катехизис», составленный Сергеем Муравьевым-Апостолом и Михаилом Бестужевым-Рюминым, был настолько неожиданным для солдатского уха, что гомон в рядах вновь усилился. Катехизис призывал к святому подвигу «против тиранства и нечестия» и предписывал, как этот подвиг совершить, опираясь на постулаты священного писания: «Взять оружие и следовать за глаголющим во имя господне, помня слова спасителя нашего: блажени алчущие и жаждущие правды, яко те насытятся, и, низложив неправду и нечестие тиранства, восстановить правление, сходное с законом божиим». Не имеет ли «Бог» и «Его премудрость» Павла Выгодовского какого-нибудь сходства «с законом божиим» в толковании вожаков восстания черниговцев?

А полковой поп между тем продолжал спрашивать и отвечать:

— Какое правление сходно с законом божиим?

— Такое, где нет царей...

— Стало быть, бог не любит царей?

— Нет! Они прокляты суть от него, яко притеснители народа...

Особо запомним этот ответ — он скоро пригодится нам.

— Что же наконец подобает делать христолюбивому российскому воинству? — спрашивает «Катехизис» о главном, повторяя под конец уже, в сущности, растолкованный вопрос. Последний ответ:

— Для освобождения страждущих семейств своих и родины своей и для исполнения святого закона христианского, помолясь теплою надеждою богу... ополчиться всем против тиранства и восстановить веру и свободу в России.

Финал этого необыкновенного чтения заканчивался грозящим проклятием отступникам:

«А кто отстанет, тот, яко Иуда предатель, будет анафема проклят. Аминь».

Теперь время вернуться к «Богу» Павла Выгодовского. Может, его легче будет сыскать, если разобраться, кто или что есть по Выгодовскому анти-Бог, или, как он пишет, «диавол», «антихрист»?

«Выписка» составлена бессистемно, произвольно, если не хаотично, в ней отсутствуют и даже, видимо, не упоминаются целые разделы огромного Сочинения Павла Выгодовского, и я для своей цели — выяснения основных мировоззренческих и политических взглядов автора — ищу некой последовательности в его рассуждениях, общей логики. Приведу для начала большой отрывок, «героем» которого выступает сам Николай I,— читатель многое поймет без каких-либо комментариев, попутно обратив внимание и на суть, и на форму изложения. «Николай сперва удавил пять человек на виселице, а потом уж отправился в Москву

под венец короноваться. Итак московские архиереи должны были короновать на царство душителя Фарисея,— и он похож на палача и заплечного мастера: что за рост, что за осанка, а ума у него столько же, сколько и в его короне. Вместо скипетра дай ему только в руки кнут — и заплечный мастер готов. Московские архиереи никак в заплечные мастера и короновали его, потому, что он весь свой век одним кнутом и занимался, да формами, пуговичками, петличками и ошейничками, да еще кобылами, т е усовершенствованием в России рысистой породы придворных буцефалов, лямочных кавалеров, везущих на своих орденских лямках великолепную антихристову колесницу, на козлах которой сидит Николай торжественно, вместо кучера, с своим 15-фунтовым кнутом в руках и хлещет не по коням, а по оглоблям — эка мастер! Ай да наездник, а под Казанью чуть-чуть не сломал себе шею, после чего и ездить закаялся. Садись на козлы в свою тарелку, так этой беды не последует. Нет, на верховой отличился, и то было, лихая фигура, настоящий кавалергардский флаговой, драгун, кирасир, как дуб солдат, но вовсе не царь, хоть не прохвост, *а на вождя столько же похож, сколько прохвост на царя».*

Карикатура? Памфлет? Сатира? Несомненно, сатира, да еще какая! Так откровенно и зло никто до Павла Выгодовского не писал о царях, ничего подобного по откровенности не припоминается из последующей обличительной русской литературы, и это уничтоженное Сочинение декабриста, наверное, можно рассматривать как интереснейшее, стоящее особняком вольнолюбивое произведение, оригинальное, совершенно неповторимое по своему жанру, объему и стилю. В нем есть признаки политического памфлета и революционной агитки, антиправительственной прокламации, есть элементы апокрифического творчества с блестками народного юмора и общей сатирической направленностью.

Вы, конечно, заметили в приведенном отрывке из Сочинения Павла Выгодовского слова *«антихристова колесница»?* Не забывая об основной нашей задаче, я познакомлю читателя еще с одной выдержкой из труда Павла Выгодовского — в ней речь идет уже не о конкретном царе, а вообще о царской власти: «...Нельзя же сказать прямо антихристовое, политика запрещает, а она повелевает (все низости), пакости и беззакония титуловать императорскими и все блудни и пакости совершать именем *и властью Императорского Величества.* В мире на это свой устав,— и каких мерзостей, сумасбродств и беззаконий не делается в России всеми штатами, чинами и прохвостами, и все по указу Его Императорского Величества, а без того нет форсу, и ни плутни, ни воровство, ни грабежи, ни само просвещение и экономия недействительны Эта одна необходимость в Его имени и держит государей в России»

И вот под пером Павла Выгодовского царское окружение, двор, нравы высшего света, для характеристики которого декабрист-крестьянин нашел великолепный художественно-сатирический образ — императорские скачки

«...Ничего нет в мире смешнее безумия как давать награды за скаканье жеребцам, кобылам и меринам, присуждаемые в разных дорогих призах, медалях и титулах, с записью в генеалогические книги для славы в потомстве; но поди-ка потолкуй по-лошадиному с этими конскими мудрецами, у которых и столько нет рассудка, сколько у их скакунов. Лошади глупы, но их мудрые владельцы совершают то, чего скоты и звери бессмысленные постыдятся, да и все их занятия, украшения и умствования похожи на их конские *императорские* скачки. Так-то нынешнее просвещение озарило все власти и довело до того, что они нашли тайну благоустройства и благоденствия народного в самых своих униформах, модах, лошадиных скачках и проч. Хотят, например, пособить бедным промотавшимся клубам или мотам, то и заводят бал, музыку, пение и пляску, едят, пьют и веселятся и тем благотворят своих нищих из суммы за билеты собранные, *а главное попечение* о *том, чтобы все одето было по форме, моде и имело бы шпагу — разбойничье украшение благородных воров и живодеров,* которые были бы только одеты в мундиры и носили шпагу, то и дело свято, каких бы пакостей эти шпажники, мошенники и разбойники ни творили...».

Обличается вся придворная камарилья, и прежде чем перейти к главному содержанию труда декабриста, к поиску ответа на вопрос, в какого такого «Бога» он верует, попрошу еще раз обратить внимание на форму изложения, стиль письма. Из предыдущего мы знаем, что Павел Выгодовский умел писать иносказательно, завуалированно, мог составить строгую научную справку об условиях Нарымского края, со сдержанным достоинством сформулировать прошение властям, умел подсыпать жгучего перцу в «ябеду» или, как острой косой, резануть в ней правду-матку. Язык же Сочинения отличается полной раскованностью в средствах выражения, удивительным стилевым разнообразием и всюду — предельной язвительностью; буквально каждая строка пропитана испепеляющей ненавистью к власть имущим, а конструкции фраз, отдельные слова и словосочетания лишены той степени литературного изящества, которое именуется гладкописью. В своем Сочинении Павел Выгодовский, искренне и страстно выражая униженное и оскорбленное чувство, волей-неволей заговорил языком, идущим от его природных народных корней и обращенным к народу же.

В своем рассуждении «О свободе свободных и рабстве работных» Павел Выгодовский, спускаясь по иерархической лестнице на ступеньку ниже, связывает воедино все паразитические слои русского общества.

«...Возьмем пример из самых разительных примеров: *русское царство и его благородное дворянство,* которое пользуется настолько неограниченною свободою, но и таким своевольством, которому нет ни меры, ни предела, ни примера. *Все хищные звери пред ним ничто...»* Далее: *«Так-то мы и живем и красуемся, говорят царственные братцы заодно с ворами и разбойниками,* помышляющими и промышляющими о выгодах, удоб-

ствах жизни и проч. и делящимися с ними царственными братцами, которые за то и даруют им полную свободу и ненаказанность, с коими они могут без всякой помехи мошенничать, лгать, воровать, грабить бедных и драть и если хочешь, то пожалуй и лежать на боку, занимаясь мечтами завоеваний и преобразований на свой лежачий лад. Словом, такой дворянин делается никому и ничем не обязанным, напротив, ему же все обязаны раболепством и повиновением, какой бы он ни был бездельник, законы составлены в защиту его такими же как и он ворами, и сверх того же еще защищен *и чинами, и орденами, этою антихристовою блестящею заманкою и ловушкою, на дурней расставленною»*

Прошу читателя отметить «антихристову блестящую заманку» — в тексте Сочинения Павла Выгодовского-атеиста не раз еще встретятся переосмысленные религиозные понятия, и я все более утверждаюсь в мысли, что свой труд декабрист-«славянин», пусть и в наивных мечтаньях, адресовал простому люду, как он говорит, «работным», «рабочему народу», крестьянам и, непосредственно обращаясь к ним с призывами, рассчитывал изменить его мировосприятие, искаженное церковниками: «Богачи — это антихристова челядь, поклоняются только одному мамону Они при своих богатствах дышат одними пакостями и злодеяниями; тигры гораздо обходительнее их...»

«Великолепная антихристова колесница», «антихристова блестящая заманка», «антихристова власть», «антихристова челядь».. А что же анти под всему этому, в чем «Бог»? Пока не ясно Читаешь и перечитываешь фразы о голове св. Иоанна Предтечи, Иродиаде, Каиновой убийственной дубине, церкви Христовой и начинаешь замечать определенную логику в изложении материала, своего рода литературный прием, когда примеры из священного писания перемежаются гневными агитационными фразами, рассчитанными на прямое, неиносказательное восприятие человека из народа, и в слоге вдруг появляются просторечные слова и упростительная разговорная инверсия: «Дворяне, проклятый хамов род, вообще стоящий под монархиею, для того только и держит себе царей, чтобы было кому служить, иметь честь и счастье рабом их быть да их именем воровать Республика обыкновенно существует до тех пор, пока в ней не наплодится вдоволь богачей, которые вместо того, чтобы дорожить своим достоинством свободного человека, требуют себе, как на пакость, царя, чтоб было кому собакой служить и придворным подлецом быть»

Или вот приводится пример из древней истории. У греков и римлян, пока они «сохраняли простоту ума и строгую нравственность», царей не было, «и это имеет свою таинственную инстинктивную причину, которая зависит от бога и Его истины» И следом же: «...власти не знают, над кем шутят и издеваются, забывая, что они сами хамы, зависят от мужиков»

И, наконец, подведение итогов, вывод автора: «антихрист» — это власть имущие, власть дворянская и царская, «которая не щадит для богатых честных и мудрых мерзавцев ни золота, ни чинов, ни ошейников,

чтобы только привлечь их к себе, расположить и выдрессировать в своих лягавых и борзых собак или смирных ослов и скакунов...»

А что же такое наконец антиантихрист, «Бог»? Как понимать «Божий промысел»? Где искать подлинную «Христову церковь»? В чем состоит истинная «Вера»? Перечитываю все, что удается разобрать в рукописном наследии Павла Выгодовского, жандармскую «Выписку» штудирую, снова ломаю глаза над письмом Петру Пахутину, просматриваю опубликованные заметки о жизни и взглядах столь оригинального и, в сущности, еще не открытого русского публициста,— они очень скупы, содержат немало фактических ошибок, и ни в одной из них не сформулирован символ веры декабриста-крестьянина.

Конечно, по уровню своей грамотности, образованности, общей культуре, широте политического кругозора Выгодовский был совсем другим человеком, чем Лунин, однако их политические идеи в основе своей сходились, и оба они нашли одинаковый способ их выражения как единственную возможность борьбы в условиях сибирской ссылки.

В письмах-«ябедах» и Сочинении Павла Выгодовского обнаруживаются фразы, в которых улавливается перекличка с Михаилом Луниным, но есть и разница, делающая эту перекличку еще более очевидной. У Лунина в основе всего мысли, идеи, строгий исторический анализ, чуть ли не культ разума и общественно-политических знаний. У Выгодовского — сатирическое обличение существующего правопорядка и, совсем в духе «славян»,— гневный социальный протест и также «внутренние чувства», то есть морально-этические, нравственные принципы, отражающие общегуманистические идеалы. В заветных мыслях двух декабристов, до конца не сложивших оружия, есть своя упругость и сила, как в сжатой до предела пружине, дающей при высвобождении политический разряд. В них только нет места богу, хотя Выгодовским-то о боге написано немало.

Противоречие? Посмотрим. «Царь во всем мире един Бог, цари же земные всегда почти есть сила и орудие одного дьявола». Так. Явный повтор. Нам уже известно, кого Выгодовский считает орудием дьявола, если не самим дьяволом-«антихристом», известно его отношение к библии как главному средству одурачивания, эксплуатации, духовного порабощения трудового народа, к церкви, освящающей и прикрывающей обман. Но кто же такой для него в конце концов «един Бог»?

Беру из Сочинения Павла Выгодовского большой отрывок, в котором нет ничего ни о дьяволе, ни о боге, есть лишь беспощадное обличение российских порядков и учреждений да рвущийся из души гнев, рассчитанный на агитационное просвещение простого читателя, на ответный гнев. И сразу меняется слог изложения, лексика, появляются язвительность, интонации разговорной речи, идет своего рода собеседование с читателем. «Нет тягчайшего уголовного преступления в России, как жалоба на своего начальника, никогда, как водится, просителем недоказанная и поэтому за клевету и ябеду всегда признаваемая. Правительство проси-

телей учит уму, а выучить не может. Не верь ты, говорят, ни нашим законам, ни правосудию, ни нам самим. Это так только для плезира заведено, чтоб нас не считали явными, отъявленными ворами, мошенниками и разбойниками, мы прикрываем свою шельмовскую, дворянскую, благородную породу видом законов присутственных, судебных мест, правосудия и правительства; в самой же вещи эти законы есть то же, что у вора дубина, а присутственные места, что воровские притоны; отцы же начальники, что разбойничьи атаманы, не вернешь, так сунься с жалобою к такому отцу командиру на любого вора и увидишь, какой тебе будет суд и правосудие. Но народ так глуп и легковерен, что ничем его не урезонишь — видя не видит, и знать ничего не хочет, а слепо верит, что в мире непременно должно быть правосудие; *но где оно и у кого...*» (Курсив мой.— *В. Ч.*)

Постепенно я прихожу к твердому выводу, что «Бог», как некое высшее существо и зиждитель мира, для Павла Выгодовского не существовал, его «Бог» и «Божий промысел» — Справедливость, Истина, Добро, Совесть, Милосердие, то есть гуманистические идеалы, долженствующие утвердиться в жизни. Но где их искать, в самом деле, и у кого?

По фрагментарной «Выписке» и другим источникам невозможно проследить дальнейшее развитие мысли Павла Выгодовского, но, кажется, я нашел несколько фраз, с достаточной ясностью свидетельствующих о святая святых его политического и нравственного кредо. Используя привычную терминологию, он, однако, прямо и недвусмысленно говорит, где искать его «Бога»: «Черти в мире и придворные при дворах царских, власти, сильные и богачи *не терпят истины...* как и в Боге-слове, то есть в *крестьянах, составляющих церковь Христову страдальную,* они ее презирают и попирают наравне с верою и истиною» (Курсив мой.— *В. Ч.*)

Таким образом, декабрист-крестьянин видел своего «Бога» — носителя истины и надежды — в самом многочисленном и самом угнетенном, «страдальном» классе трудящихся того времени — крестьянстве. А в другом месте, не прибегая уже ни к богословским понятиям, ни к обличениям, адресованным власть предержащим, Павел Выгодовский выступает с политическим предвидением, в котором сквозь архаичный стиль ясно видится демократическая и гуманистическая мечта декабриста: «...что на земле существует и красуется политическим бытием и жизнию, то заживо умерло вечною смертию, и наоборот, что только здесь лишено политического бытия и живота, а существует в уничижении, отвержении от мира политического, в преследовании и страдании от него, то образуется здесь в живот славу и благоденство вечного живота» Другими, новых времен, словами «Кто был ничем, тот станет всем!»

Нарымское Сочинение Павла Выгодовского, представляющее собой острейший политический памфлет, обширное агитационное

н философское произведение, родилось в тусклый период «запечатывания умов», как оригинальнейший образец вольномыслия в николаевскую эпоху, и я могу считать, что до некоторой степени исполнил свой долг, познакомив с ним своих спутников по нашему совместному путешествию в прошлое. И в заключение темы приведу одну фразу из Сочинения Павла Выгодовского, не подчеркнутую особо в «Выписке», но я эти слова, однако, решил выделить из-за их отточенной афористичности и политической направленности: *«От богачей, кроме вреда, бед и порабощения, не жди себе ничего лучшего, рабочий народ!»* Ставлю своей волей восклицательный знак, отсутствующий у декабриста-крестьянина Павла Фомича Дунцова-Выгодовского... Эта формула социального протеста, родившаяся в 30-х или 40-х годах прошлого века в нарымском захолустье, воспринимается как непримиримый революционный лозунг более поздних времен, который мог бы зазвучать с плакатов рабочих демонстраций 1905 года на улицах Петербурга и Нижнего Новгорода, Москвы и Баку, Харькова и Томска, Лодзи и Варшавы.

До чего же мы бываем невнимательными к своему прошлому! Неточности, связанные с судьбой Павла Выгодовского, которые я встречаю в сегодняшних, подчас довольно солидных изданиях, бесчисленны. Что все же произошло с ним после того, как 19 сентября 1855 года он отправился с партией каторжан на восток? Последний томский документ о нем, косвенно подтверждавший, что декабрист преодолел этапный путь до Иркутска, датируется, повторяю, 15 марта 1857 года, последняя петербургская бумага («не подошел под правила о милостях...») — 1858-м. Все! В центральных архивах больше ничего нет, ройся не ройся. Но вы не успели еще забыть последней встречи М. М. Богдановой со своим учителем М. К. Азадовским в 1952 году? Помните, как он передал ей какую-то бумажку из папки 1925 года и его ученица даже порывисто приподнялась с кресла?

— Понимаете, я не вдруг поверила! — смеется Мария Михайловна.— Читаю: «Якутская область»... При чем тут Якутск, если Выгодовский, согласно докладу томских властей 1857 года в Петербург, был сослан в Иркутскую губернию? «31 декабря 1863 года»... Значит, декабрист был жив еще в шестидесятые годы! Впрочем, вот она, эта выписка, читайте сами.

Читаю: «Павел Фомич Выгодовский — 60 л.» . За что именно выслан: «первоначально – по приговору верховного уголовного суда, за знание и умышление на цареубийство в 1825 г Затем был вторично осужден за помещение в прошениях ябед против начальства и власти, сослан в Якутскую область подвергнут надзору без срока, гласному в г Вилюйске»

И я поехала в Сибирь.. Было очень досадно, что и там никто ничего не знал о дальнейшей судьбе Павла Выгодовского. Только показывали мне Большую Советскую Энциклопедию,

которая сообщала о дальнейшей его жизни очень смутные сведения, напечатав, например, что год смерти неизвестен.

— Да, кстати, недавно вышел пятый том нового, третьего, издания Большой Энциклопедии, где утверждается, что из Вилюйска Павел Выгодовский был переведен в Иркутск.

— Тоже неверно.

— Но там ссылка на вашу работу!

— У меня другие данные, точные.

— А вот, Мария Михайловна, только что изданы две книжки в «Молодой гвардии». В одной из них: «Был посажен в тюрьму и вторично сослан на поселение в Вилюйск».

— И все?

— Все. А в другой, 1977 года,— это знаменитые «Записки княгини М. Н. Волконской» — комментатор пишет: «П. Ф. Выгодовский (из крестьян) умер в 1872 году в г. Вилюйске».

— Не может быть!

— Черным по белому...

— Выходит, я зря ездила в Сибирь, копалась в архивах и писала свою работу?

В ее голосе я уловил горечь и обиду.

— Нет, не зря. Если буду писать о Выгодовском,— сказал я на прощанье,— то непременно еще раз восстановлю в печати истину...

Не очень ясно, каким образом Павел Выгодовский, направленный для отбывания второй своей ссылки в Иркутскую губернию, оказался в Вилюйске. Официальная версия — «по ошибке исполнителей», но я слишком сомневаюсь, чтобы это была просто ошибка. Выдрессированные чиновники в те времена годами могли искать затерянную при каком-нибудь пересчете полтину ассигнациями, исписав на рубль серебром бумаг и на трешницу, а то и на весь червонец наказав казну почтовыми расходами. Они не были способны «списать» никогда не существовавшего «подпоручика Киже», если он по ошибке означился в исходной бумаге. Но чтобы ошибиться в определении судьбы важного государственного преступника, не только причастного к «происшествию 14 декабря 1825 года», но и спустя много лет написавшего о божьем помазаннике, семействе его, придворных и дворянах, о святой церкви и чиновниках такие «неуместные» слова, каких никто до него в России не дерзнул измыслить! Маловероятно...

Скорее всего, Павла Выгодовского просто хотели убить далеким и тяжким этапом — в тысячеверстное безлюдье, под глубокие якутские снега — и концы в воду. Но декабрист выдержал и это испытание, хотя был уже пожилым, физически ослабленным человеком. Не случайно я упомянул якутские снега: сохранилась в сибирских архивах дата окончания этапа — 26 января 1857 года. Пятнадцать с лишним месяцев шел декабрист-бунтарь к новому месту ссылки!

И это не был Вилюйск, как печатается доныне в самых солидных издаииях, это было якутское становище Нюрба, где Павел Выгодовский прожил иесколько лет в полиой изоляции от большого мира. А тот малый мир, что был вокруг иего — якутский народ с его бедностью, темиотой, иездоровьем и трудным бытом, должио быть, прииял участие в судьбе изгнанника, ие дав умереть ему от холода и голода.

Жил декабрист, думаю, в юрте — все же это была Нюрба, ие Нарым, и мы знаем, что даже в Вилюйске Матвей Муравьев-Апостол зимовал в традициоииом якутском жилище. Увереи также, что гостеприимство, сострадаиие, человечиость простых якутов и русских поселенцев-крестьян спасли декабриста от неминуемой голодной смерти — ведь он не получал в Нюрбе никакого казеииого пособия. Коиечио, это было совершеиио иезакоиным самоуправством властей, в сущности, попыткой медлеииого умерщвлеиия декабриста, одиако статус брошенного на произвол судьбы человека сохраиился за Павлом Выгодовским и в Вилюйске, куда его перевели спустя несколько лет. Возможио, что и было какое-то негласиое указаиие на сей счет — самодержавие умело мстить своим убежденным противиикам низко и подло, да еще втайие, одиако М. М. Богдаиова нашла в сибирских архивах полицейскую бумагу 60-х годов, в которой зафиксировано: «Поселеиец из политических преступииков подиадзорный Павел Выгодовский от казны содержания ие получает». Причины этого явиого беззакония ие названы.

Быть может, Павел Выгодовский писал прошения, добиваясь восстановления справедливости, ио мы об этом ничего ие зиаем — «ябеды» его, если оии были, навернякa уничтожались в Нюрбе и Вилюйске. Не исключеио, что декабрист, поддерживая огонь, горевший в его душе, продолжал свой феиомеиальиый труд н там, ио и об этом иикаких сведений иет — нн одиой строки Выгодовского, написаиной в Якутии, пока не найдеио.

А в выписке М. К. Азадовского из документа, датнрованиого 31 октября 1863 года, содержится одио очень цениое сведение о Павле Выгодовском — тоненький лучик света во мраке неведения. Известио, что Матвей Муравьев-Апостол организовал некогда в Вилюйске для русских и якутских ребят первую школу, которая после его отъезда распалась. И вот спустя десятилетия Павел Выгодовский, немощный престарелый человек, продолжает его дело! В документе сказано: «...с местными жителями находился и находится в согласии, которые по доброму расположению к Выгодовскому дают ему иа обученне детей, и образованием его остаются вполне довольиыми» Возможио, в современном Вилюйске и его окрестиостях живут просвещенные потомки тех, кого декабрист Павел Выгодовский обучил когда-то иачальиой грамоте и счету, приоткрыл им глаза на большой мир, а я сейчас думаю о том, почему так удивительио точио совпадали деяния первых русских революционеров с историческими перспективами Самый простой и верный ответ заключается, видно, в том, что это былн нстинные люди,

умевшие в себе и других раскрыть человеческое, а в жизни ее грядущее гуманистическое подвижение.

Павел Выгодовский пробыл в якутской ссылке пятнадцать лет — тех самых лет, что так долго были потеряны историками. В 1872 году в Вилюйск привезли Николая Гавриловича Чернышевского, ярчайшего представителя нового поколения русских революционеров. Оттуда он сообщал жене: «Вилюйск... это нечто такое пустынное и мелкое, чему подобного в России и вовсе нет». О якутах: «Люди и добрые и неглупые, даже, быть может, даровитее европейцев... Через несколько времени и якуты будут жить по-человечески...»

Романист и литературный критик, автор замечательных работ по философии, эстетике и политической экономии, Чернышевский много писал, и не только письма. Он прожил в Вилюйске почти двенадцать лет и вполне мог, конечно, услышать воспоминания о последнем здешнем ссыльном декабристе, однако о Павле Выгодовском у него нет ни слова, хотя, правду горькую сказать, значительная часть его вилюйского рукописного наследия до сего дня не расшифрована, никем не прочитана и, следовательно, не напечатана.

И они, судя по всем данным, не встретились. Дело в том, что Павел Выгодовский перед прибытием в Вилюйск Николая Чернышевского был, как писалось в официальном распоряжении, «уволен в Иркутскую губернию». Его статус, состояние здоровья и образ жизни были в ведомости о государственных преступниках 1871 года, находившихся в Якутии, охарактеризованы так: «*...содержание от казны не получает* (курсив мой.— *В. Ч.*), семейства не имеет, по дряхлости лет и слабости зрения ничем не занимается». Однако перевод старика-декабриста в местность с более умеренным климатом едва ли объясняется только желанием властей избавить Павла Выгодовского от шестидесятиградусных морозов и оленьей строганины.

Его, правда, возвращали к «законному» месту ссылки, назначенному определением томского суда 1855 года, но главная причина все же была, вероятно, в другом. Наказание одиночеством, исключающим всякую возможность общения между государственными преступниками,— вот чем это вызывалось, и есть тому веское доказательство. После разгрома польского восстания 1863 года в Вилюйск привезли двух государственных преступников. Даже их имена составляли тайну, и узники числились под номерами. Это были поляки Дворжачек и Огрызко. Первый вскоре умер, не выдержав тягот острожного режима, второй чудом выжил, но перед самым приездом в Вилюйск Николая Чернышевского был так же, как и Выгодовский, переведен в другое место.

Современный романист может, наверное, изобразить встречу Павла Выгодовского с Николаем Чернышевским на какой-нибудь почтовой станции или в ночлежной избе, что стояла в глубоком снегу обочь санного пути, связывающего Якутию с Иркутней; да

только все это будет что-то вроде досужего домысла, потому что Чернышевский был доставлен в Вилюйск действительно санным путем в январе 1872 года, а Выгодовский объявился — нет, не в Иркутске, как до сего дня пишут и печатают даже в очень солидных изданиях,— а лишь поблизости от него, еще летом 1871-го и в силу необъяснимых причин не избежал все-таки приметного исторического перекрестка — новым местом ссылки великомученика-декабриста оказалось село Урик, прочно вошедшее в летописи нашего Отечества, потому что именно здесь некогда основалась замечательная декабристская колония, где одновременно жили семья Волконских, два брата Муравьевых, Вольф и великий декабрист Михаил Лунин, создавший в этой ничем не примечательной сибирской деревушке бессмертные общественно-политические сочинения, и откуда он был отправлен в Акатуй, последнее свое земное пристанище, напоминающее, скорее, не землю, а некое подобие ада.

В селе Урик мне пока не довелось побывать — из Иркутска, когда я в него попадал, манящей доступностью тянуло к себе светлое око Сибири, защите которого от искусственной катаракты было отдано столько времени и сил.

Когда я впервые писал о Байкале, то не мог не упомянуть поляка Бенедикта Дыбовского, открывшего сказочно богатый живой мир, образовавшийся в хладных глубинах сибирского озера-моря. Значение и своевременность этого открытия трудно переоценить — зоологическая мировая наука тогда выходила на дарвиновскую тропу, а в Байкале, своеобразной природной лаборатории непрерывного эволюционного видообразования, более двух тысяч эндемичных органических форм, нигде в других местах земли не встречающихся, и этот уникум нашей планеты будет изучаться до тех пор, пока будет существовать наша планета, или, вернее, до тех пор, пока будет существовать Байкал, хотя бы в его теперешнем состоянии.

Вклад, который внесли образованные ссыльные поляки в науку, сравним с сибирским подвигом декабристов-просветителей, натуралистов, пионеров освоения глухих мест. Дыбовский, Черский, Витковский и другие государственные преступники, чье «преступление» состояло в борьбе за свободу и независимость своего народа, сделали в Сибири немало важных открытий в области географии, зоологии, геологии, археологии. Они оставили заметный след в научной истории моей далекой родины, в истории России и Польши, а значит, если все соединить да приложить к общему счету,— в истории человечества.

А в Иркутске проживало одновременно до двух тысяч ссыльных поляков, многие с семьями, и в городе существовала польская политическая, общественная и религиозная жизнь. И тут необходимо познакомить читателя с одной интересной личностью, которую я узнал через М. М. Богданову, за что остаюсь ей благодарно обязанным.

Этот человек не был ученым или, скажем, просветителем,

он был просто добрым человеком. Мы, между прочим, не всегда по достоинству оцениваем роль хороших людей в развитии, преобразовании либо просто нормальном течении жизни. Часто необыкновенно скромные и действительно не сделавшие ничего этакого выдающегося люди эти, однако, очень заметно влияют на окружающих своим нравственным обликом, делают других лучше и чище, а свет их души, как свет погасшей звезды, долго еще тихо греет, струит теплым лучом сквозь мир, согревая людей благодарной памятью. Любое научное открытие рано или поздно будет сделано, если оно вскрывает какой-либо объективный закон природы и бытия, а нравственные богатства человеческой индивидуальности неповторимы, их существование возможно в единственном человеке, живущем в преходящих исторических условиях, и отсюда *вечная*, лишь кажущаяся мимолетной, ценность отдельной личности, несущей в жизнь добро. Предваряющие слова эти я с чистой совестью отношу к человеку, достойному уважительной памяти потомков, поляков и русских. Христофор Швермицкий был осужден между двумя польскими восстаниями, в 1846 году, по делу «Заговора, целью коего было распространение демократических правил для восстановления прежней независимости Польши». В Иркутске он организовал помощь и польским, и русским ссыльным-одиночкам, пытаясь собрать их в группы и затевая для них «складки»,— старик, по воспоминаниям современников, «первый высыпа́л из своего кошелька все его убогое содержимое». Это Швермицкий разыскал в вилюйском остроге «секретных» Дворжачка и Огрызко, добился свидания с ними, организовал сбор средств в пользу их и передал им деньги через посредника. Это он, будучи настоятелем Иркутского костела, проводил в последний путь руководителей восстания 1866 года, казненных на Кругобайкальском тракте,— Котковского, Рейнера, Шарамовича и Целинского, это он с волнением и сочувствием рассказывал Бенедикту Дыбовскому о Иркутском учителе Неустроеве, организаторе нелегальных молодежных кружков, который отвесил публичную пощечину генерал-губернатору и вскоре погиб от руки палача...

Христофора Адамовича Швермицкого знали и уважали по всей Восточной Сибири; он был безмерно добр, не по карману щедр и не по летам энергичен. Мария Михайловна Богданова добыла сведения, что еще молодым, в 50-е годы, он завязал дружеские отношения с некоторыми декабристами; а я-то все больше уверяюсь, что в жизни, несмотря на ее кажущуюся стихийность, есть своя даже обычная житейская последовательность и логика — как это ни покажется удивительным, но вроде бы совершенно случайное совпадение нескольких обстоятельств привело к этому интересному человеку Павла Выгодовского.

Первая случайность заключалась в том, что в Урике одновременно со старым декабристом оказался Петр Швермицкий, родной брат Христофора Адамовича. Другой случайностью было еще более редкое обстоятельство — Петр только что отбыл

ссылку в Нарыме, где более четверти века провел Павел Выгодовский. Наконец, оба урикских изгнанника происходили из крестьян, и декабрист к тому же официально числился принадлежащим к римско-католическому вероисповеданию. Их соединили, наверное, и общие демократические воззрения. Короче, товарищи по изгнанию быстро сблизились, и Петр Швермицкий, узнав, очевидно, что этот полуслепой старик не имеет никаких средств к существованию, рассказал о нем в Иркутске брату. И если б не это обстоятельство, мы, быть может, так ничего бы никогда и не узнали о последних годах жизни последнего декабриста-«славянина»...

В сентябре 1871 года Павел Выгодовский получил «вид» — разрешение на временное проживание в Иркутске. «Для разных занятий»,— было сказано в казенной отпускной бумаге, но чем мог заниматься больной и дряхлый человек? Из братских чувств, из сострадания к Выгодовскому Швермицкие определили его на жительство при Иркутском костеле.

И снова потянулись неотличимо однообразные годы в крайней бедности. Сохранились полицейские документы, свидетельствующие о том, что политический ссыльный Павел Выгодовский не может из-за отсутствия средств внести обязательные сорок копеек годовых за «билет», разрешающий ему проживать в Иркутске. А ведь декабрист, как поселенец, был еще обязан платить подати в урикское крестьянское общество.

И вот весной 1877 года очередной удар злодейки-жизни. Павла Выгодовского, совсем дряхлого и больного, сажают в тюрьму. За что же? За недоимку в одиннадцать рублей и семь с половиной копеек. Долго ли, спросит меня читатель, еще будут «муки сии»? «До самыя до смерти»,— отвечу я словами Аввакума Петрова... И это, должно быть, Христофор Швермицкий добился освобождения Выгодовского через две недели, но полиции было приказано проверить, действительно ли, как значится в бумаге, найденной Богдановой, «п. с.», то есть «политический ссыльный» Павел Выгодовский не может погасить недоимку. Пристав вскоре сообщил полицмейстеру, что этот человек «действительно не имеет никаких средств к уплате числящейся за ним недоимки, по старости и болезненному своему состоянию положительно ничем не занимается, и такового из сожаления содержит ксендз Швермицкий».

А ровно через два года — новый, и на этот раз вроде бы уже последний, трагический поворот в судьбе Павла Выгодовского: великий иркутский пожар. Конечно, нежданная и неостановимая беда коснулась очень многих иркутян — за три дня дотла выгорело семьдесят пять городских кварталов,— однако она декабристу нанесла, можно считать, решающий, финальный удар. Деревянный костел сгорел со всем церковным и личным имуществом Христофора Швермицкого, каморкой и жалким скарбом Павла Выгодовского. Можно представить себе картину, как через горячие дымы ведут под руки последнего в Сибири декабриста

к Ангаре, а она тоже словно горит, отражая прибрежное пламя и небо в красных подсветах. Старик кашляет и задыхается, голову его будто охватило горячим железным обручем с шипами — такая боль! Он ничего не видит, а вокруг — ад, геенна огненная. Какой-то мужик пытается багром разгрести горящую крышу своего домишки, падает на завалинку, покрытую вишневыми углями, протягивая к людям черные, в страшных мозолях руки. Большая семья тащит к берегу перины и младенцев. Бежит купец с опаленной бородой и тяжелым железным ящичком в руках — этот-то подымется после пожара. Вот обезумевшая мать кричит не своим голосом и рвется в пламя, но соседка крепко держит ее, спасая хоть мать-то; вот загорелся лабаз с пушниной... Стало совсем нечем дышать, а боль в голове сделалась нестерпимой и сознание погасло...

Старик пал на колени, уронил белую голову к земле и уже не может подняться. Христофор Швермицкий и «государственный преступник» Леопольд Добковский пытаются привести его в чувство, зовут на помощь. Ксендз прикладывает ухо к груди декабриста. Умер?

Жив! Поднимают легкое старческое тело на руки, несут к лодке, и она отчаливает, плывет вдоль огненных берегов... Не знаю, так ли это все было, только Павла Выгодовского воистину смерть не брала. Ему парализовало ноги, однако он не только выжил, пришел в себя, но через несколько месяцев смог даже взять в руки перо и неразборчиво написать: «...страдая ныне уже шестой месяц болью ног так тяжко, что и шагу с места двинуться не в силах, и притом будучи совсем обнищавшим, я и гербовых марок не в состоянии представить». Это было прошение о бесплатной выдаче нового вида на жительство взамен сгоревшего. Сам я этой бумаги не видел, но Мария Михайловна Богданова отмечает любопытную резолюцию на прошении: «Выдать, если личность известная». И приписку-ответ какого-то полицейского исполнителя: «Личность давно известная»...

Декабрист жил. Иркутские поляки оборудовали новое помещение для костела, отвели Павлу Выгодовскому комнатенку, где поселился также Леопольд Добковский, чтобы ухаживать за стариком, который стал почти недвижимым. Медицинского заключения о состоянии его здоровья не сохранилось, и мы не знаем — инсульт с ним случился во время пожара или просто подкосило ноги от застарелого, нажитого еще в Нарыме или Нюрбе ревматизма.

Последний из декабристов, оставшихся в Сибири, жил! Его личность, «давно известная» иркутской полиции, была неизвестна новому и новейшему поколениям революционеров. О Выгодовском ничего не знали общественные деятели той поры, прогрессивные сибирские интеллигенты, историки, краеведы, журналисты, меценаты. Весной 1881 года Павел Выгодовский в последний раз попросил полицейские власти выдать ему «вид» на следующий

год и написал последние свои строчки. Старинные уже для тех времен обороты, нестандартный слог автора. Сочинения с характерной канцеляристской витиеватостью: «Причем, в необходимости нахожусь доложить, что, страдая около полутора года сильным хроническим расслаблением ног, и по обнищанию, из одного сострадания католической церкви священником отцом Швермицким призреваемый остаюсь, не в состоянии гербовых марок представить».

Декабрист жил... Родился Павел Дунцов на другой год после убийства Павла, в котором был замешан его кровный сын Александр, очередной российский самодержец, умерший при не выясненных до сего дня обстоятельствах. А в звездный час декабризма, ставший для тысяч людей и всей России трагическим, полузаконно водворился брат Александра Николай, о коем декабрист-крестьянин понаписал в своем Сочинении немало по заслугам малопочтительных слов и почивший в бозе или же из-за смертельной дозы мандтовского яда в тот час и год, когда декабрист Павел Выгодовский шел снежным этапом в глубь Сибири; потом еще один Александр долго правил русским и другими народами России, покамест не был разорван самодельной бомбой *народовольца,* и вот вступил на престол уже третий Александр, воистину «как дуб солдат»... Декабрист еще жил.

Он умер 12 декабря 1881 года от «продолжительной старческой болезни» в ужасающей нищете и полной безвестности для русского общества. О состоявшихся похоронах Павла Выгодовского письменно сообщил в иркутскую полицию 15 декабря 1881 года Христофор Швермицкий — это единственный исторический документ, свидетельствующий о последней декабристской могиле в Сибири. И еще М. М. Богданова отметила на нем дичайшую по своей нелепости резолюцию: «Справиться, обеспечено ли оставшееся имущество, и доложить мне». Однако этот полицейский чин не удосужился доложить вышестоящим властям о происшедшем, и в громадных толщах архивных бумаг 3-го отделения, где велся счет умершим в Сибири государственным преступникам, фамилии Выгодовского не найти.

Декабрист-«славянин», декабрист-крестьянин, непримиримый враг царизма, писатель-публицист Павел Фомич Дунцов-Выгодовский *пятьдесят пять лет*, *девять месяцев и девятнадцать дней* своей многострадальной жизни провел в крепостях и тюрьмах, на каторге и в ссылках — под неослабным полицейским надзором и в неизменном звании государственного преступника; не уверен я, что подобную тягчайшую юдоль испытал когда-либо еще кто-нибудь из смертных мира сего!..

Могила Павла Выгодовского давным-давно загладилась на одном из иркутских кладбищ, но иркутянам все же следовало бы уважительно почтить его память — мемориальной доской ли, улицей ли его имени, школой или библиотекой в новом или старом районе города. Нам должна быть дорога память о них, первых, торивших дорогу всем вслед идущим...

Признаться, есть у меня одна ошибка на предыдущих страницах, но я узнал о ней после того, как все уже написалось. Долгие десятилетия последним декабристом, умершим в Сибири, числили Ивана Горбачевского, однако Мария Михайловна Богданова установила, что Павел Выгодовский пережил Горбачевского на целых двенадцать лет. Но вот совсем недавно выяснилось, что и Павел Выгодовский не был последним декабристом, упокоившимся в сибирской земле!

Найдены в Сибири документы о смерти совсем уж малоизвестного декабриста Александра Луцкого. Он, как и Павел Выгодовский, и Николай Мозгалевский, был в числе беднейших из бедных декабристов, преследуемый бесконечными несчастиями, но мы о нем почти ничего не знаем. Не захочет ли кто-нибудь из молодых сибирских писателей пойти и по его следам, затеять архивный и всякий иной поиск? Убежден, что непременно встретится такое, что взволнует и ляжет в строку...

18

А какова судьба Николая Мозгалевского? На его прошении от 1836 года — о переводе из Нарыма в Минусинский округ царь наложил резолюцию: «Перевести на общих основаниях, т. е. чтобы он был помещен не на большом сибирском тракте, не на заводе, и в таком месте, где не находится более двух или трех государственных преступников». Упаси бог, не в завод, не на тракт и не в общество себе подобных. Спустя столько лет после первого знакомства император «заботился» обо всех своих «друзьях от четырнадцатого», в том числе и таких, как Мозгалевский, опасаясь даже больного туберкулезом, донельзя бедного и обремененного большой семьей декабриста!

Минусинская котловина — сибирский юг, защищенный горами. Добрые хлебородные земли, рыбные реки с травяными поймами, и солнца предостаточно для садоводства и бахчеводства — здесь вызревают даже арбузы. Отбыв каторгу, многие декабристы стремились сюда. Еще до приезда Мозгалевского тут поселились братья Беляевы и Крюковы, Фаленберг, «славяне» Фролов, Киреев и Тютчев; сложилась целая, можно сказать, декабристская колония, хотя и расселенная по разным уголкам края.

Братья Беляевы, прибывшие сюда в числе первых, писали товарищам в Петровский завод: «Минусинск очень хорошее место, климат здесь весьма здоров, комаров и мошки в городе нет... Относительно видов это место прелестное». Несмотря на отменные природные условия, благодатный край развивался крайне медленно, а столица его Минусинск была заштатным городком наподобие Нарыма. Первый здешний окружной начальник и один из первых сибирских поэтов Кузьмин, назначенный сюда енисейским губернатором Степановым, вспоминал: «Дома обывателей — с пузырями вместо стекол, большей частью совсем без кровель (только сверху земляная засыпка и бревенчатое покрытие), без ворот и заборов»... Улиц и дорог не было, и обыватели тряслись в телегах по кочкам «пикульника». А вот любопытная фраза из рапорта минусинского словесного суда енисейскому губернскому правлению: «По городу Минусинску иностранцев разных наций, англичан, французов, купцов, гувернеров, гувернанток, фабрикантов, золотых и серебряных дел часовых, сапожников и венгерцев не имеется».

В 30-е годы прошлого века городок начал выстраиваться в улицы, усадьбы огораживаться, появилась даже пожарная каланча, но притаежное это поселение долго еще оставалось глухой полудеревней. «Около самого города,— писал оттуда Александр Беляев,— недавно видели медведей, один из них гнался за верховым до самой почти улицы, а другой поселился верстах в 6-ти от города». Для хозяйственного освоения края, его культурного развития, как и во многих других районах Сибири, много сделали декабристы. Это было новое общественное подвижение первых русских революционеров. Столбовые дворяне и даже князья, бывшие морские, кавалерийские, артиллерийские и пехотные офицеры и даже генералы брались за топор, косу и плуг, учились запрягать лошадей, ходить за скотиной, охотиться и рыбачить; строили, экспериментировали, изобретали.

Бывшие моряки Александр и Петр Беляевы сроду не занимались сельским хозяйством и физическим трудом, однако на поселении в Минусинском округе проявили такую деловую сметку и хватку, развили столь бурную деятельность, что, казалось, их энергии и трудолюбию не было преград, а их силам конца. Не располагая значительным начальным капиталом, они со временем обзавелись добротными постройками, обширными пахотными и сенокосными угодьями, развернув на них интенсивное многоотраслевое хозяйство. Беляевы первыми в Минусинске завели новые

сорта злаков и продуктивный скот, по чертежам декабриста Торсона, тоже моряка, построили первую в этих местах механическую молотилку, первыми начали производить на сбыт мясо, масло, крупу.

Немаловажны заслуги Беляевых в области культуры. Они организовали первую в Минусинске частную школу на двадцать учеников, стали первыми здешними краеведами, этнографами, метеорологами и ботаниками. И числится за ними еще одно особое деяние, о котором я скажу несколько позже, а сейчас надо бы поведать о двух других братьях-декабристах, отбывавших ссылку в Минусинске.

Как известно, среди героев 1825 года, наказанных каторгой и ссылкой, немало было людей, связанных родственными узами, и в том числе кровным братским родством. Бестужевы, Кюхельбекеры, Борисовы, Бобрищевы-Пушкины, Муравьевы, Андреевичи, Беляевы... Все эти маленькие семейные ячейки были крепкими звеньшками в общей цепи декабристского товарищества, являя для всех изгнанников пример истинно братской взаимопомощи и самоотвержения, а исключения лишь подчеркивали незыблемость главного правила в сибирском житье-бытье первых русских революционеров. У Дмитрия Завалишина, скажем, был брат Ипполит, негодяй и доносчик, клеветавший даже на родного старшего брата. Исключением, хотя и не столь разительным, можно счесть также братьев Крюковых — Александра и Николая.

В период формирования декабристских сил и подготовки к выступлению адъютант Витгенштейна Александр Крюков постепенно отходил от младшего брата, его товарищей и к 1825 году уже едва числился среди них, не более. Царь приказал его «посадить где лучше и содержать строго, но хорошо: ибо полагать должно — не виноват». Виновным, однако, он был признан и приговорен к каторге. В минусинской ссылке Александр Крюков разбогател и предался мелким удовольствиям вроде карточной игры да пикников.

Николай Крюков, окончивший замечательную муравьевскую школу колонновожатых, был совсем другим человеком. Упорно и серьезно интересуясь философией, он смолоду принял в ней материалистические и атеистические идеи, придя к непримиримым революционным убеждениям в политике. При его аресте было взято много бумаг — выписок, переводов, философских и политических заметок, которые удостоились следующей обобщенной характеристики: «...полный свод соблазнительных и вредных мыслей и умствований новейшей философии» В революционной практике Южного общества он стал, можно сказать, правой рукой Пестеля, осуществляя связь между ним, Сергеем Муравьевым-Апостолом и Михаилом Бестужевым-Рюминым. Николай Крюков принял также в тайное общество много новых членов, а в декабре 1825 года организовал спасение «Русской правды». Он мужественно держался на следствии — чтобы вырвать признание, его заковывали в цепи..

В Минусинске бывший губернаторский сын Николай Крюков деятельно занялся хлебопашеством и ремеслами, вместе с братьями Беляевыми стал новатором — преобразователем сельского хозяйства округа. Еще два слова добавлю. Интерес к декабристам в нашем народе с годами растет, и любая свежая подробность о них делает свое великое дело — сеет в души добро, воспитывает борцов и патриотов. Приведенные сведения о Николае Крюкове, давно известные историкам декабризма, для многих моих читателей, наверное, в новинку. Мы немало знаем о самых видных декабристах, однако в тени широкого читательского внимания остаются десятки людей из славной стальной когорты, что составляет истинную гордость нашей нации. И еще одно. Среди героев 1825 года мы знаем немало разносторонне одаренных, богатых натур, и часто какая-нибудь одна черта, неповторимая особенность характера, эпизодический поступок декабриста говорят нам больше, чем их обобщенные хрестоматийные аттестации. Думаю, яркой личностью Николая Крюкова заинтересуются многие, и хотя у меня нет возможностей, чтобы рассказать о нем подробнее, я для обрисовки этого прекрасного русского человека сделаю еще три вроде бы второстепенных штриха.

В отличие от своего старшего брата, дрожавшего над каждой копейкой, если шла речь не о «бостоне», Николай Крюков, тоже не будучи бессребреником, умел, однако, употребить свои вовсе не лишние деньги и время на гуманистические цели, например, содержа за свой счет дом призрения одиноких стариков. Для минусинцев это было довольно непривычным, своего рода молчаливым укором людям, более богатым, чем Николай Крюков, и память об этом негромком человеческом деянии сохранилась в поколениях, дошла, как читатель убедился, до наших дней, а тамошние богатеи со всеми их тысячными табунами и золотыми приисками забылись. И еще Николай Крюков был хорошим скрипачом. Для городских жителей, которые не знали не только гувернеров и гувернанток, но и сапожников, скрипичные концерты, что устраивали Крюков и Фаленберг, отбывавший ссылку в Шушенском, стали своего рода культурным откровением, прекрасным отзвуком иного мира, иной жизни, которая когда-нибудь должна была прийти в эти глухие места. В часы досуга Николай Крюков первым познакомил способных молодых людей Минусинска с началами нотной грамоты и сольфеджио.

И последняя подробность о нем. До сибирского изгнания Николай Крюков принадлежал к столбовым дворянам, высшему аристократическому слою России, избранному офицерству. И вот в Минусинске он был осчастливлен большой любовью, для которой не стали препятствием ни сословные, ни национальные предрассудки, ни материальные условия редкого по тем временам мезальянса,— он женился на простой местной женщине по фамилии Сойлотова!.. Николай Крюков всего два года не дожил до амнистии, умер и был похоронен в Минусинске.

Красноярско-минусинская колония декабристов, когда перевели в те места Алексея Тютчева и Николая Мозгалевского, сделалась самой многочисленной в Сибири. Правда, последним поселенцам жить в Минусинске не дозволили. Алексея Тютчева назначили в село Курагинское, он тосковал там в одиночестве и бедности. Вспомнив сейчас о нем, не могу еще и еще раз не сказать о том, как мы невнимательны подчас к нашему прошлому. «Красноярский комсомолец» в юбилейном декабре 1975 года напечатал: «В 1836 году в село Курагино прибыл видный декабрист Алексей Иванович Тютчев, родной брат известного поэта» В «Истории Красноярского края», пособии для учителей, утверждается то же родство между декабристом-«славянином» и великим русским поэтом-философом. Учительская работа по своим перегрузкам никак не легче газетной, и далеко не всякий школьный историк перепроверит сей факт, «который может навсегда врезаться в цепкую детскую память...»

Уточняю: декабрист Алексей Иванович Тютчев не был ни братом, ни родственником поэта Федора Ивановича Тютчева, и у него, в отличие от многих соизгнанников, не было брата-декабриста. Однако декабристская колония в Минусинском округе явила собою красноречивый пример братства-товарищества, и нам легче всего это проследить на судьбе «нашего предка» и его семьи; сохранилось множество документальных свидетельств и живых фактов, достойных внимания путешествующих вместе со мной читателей,— многое для них будет в новинку и, может, нигде, кроме настоящего экскурса в прошлое, им не встретится...

Мы снова увидим две полярные группы исторических лиц. Николай I, печально знаменитый шеф 3-го отделения Бенкендорф, сибирские губернаторы и генерал-губернаторы эпизодически предстанут перед нами в уже известном своем виде, зато в свежих подробностях и непреходящей человеческой красоте мы узнаем декабристское — близкое и далекое — окружение Николая Мозгалевского. В Минусе этот круг не сузился, но расширился, и я даже, наверное, не смогу очертить его весь: Алексей Тютчев, Александр и Петр Беляевы, Иван Пущин, Николай Крюков, Иван Киреев, Семен Краснокутский, Евгений Оболенский, Павел Бобрищев-Пушкин, Александр фон Бригген, Василий Давыдов, Михаил Нарышкин, Петр Фаленберг, Михаил Фонвизин..

Передо мной — свидетельства дружеского общения, моральной и материальной помощи одному из беднейших декабристов и страшные казенные бумаги о его огромной, осиротевшей в 1844 году семье, многочисленные упоминания о ней в декабристской переписке. Думаю о глубоких, до конца еще не проясненных связях первых русских революционеров, над которыми словно бы витает дух прежнего «славянского» братства и общероссийского товарищества декабристов.

Николаю Мозгалевскому не разрешили поселиться в Минусинске — местные власти, очевидно, знали подробную царскую

ннструкцию, написаииую по поводу прошения Мозгалевского строки из которой я приводил выше.

Иван Киреев из Курагина — Евгению Оболенскому на Петровский завод 4 января 1837 года: «Хорошо, что Алексей Иваиович теперь не один (с ним поселен Мозгалевский), а то он очень скучал; поселенный с ним Николай Осипович Мозгалевский находится в бедности, с женою и четырьмя малютками...»

В селе Курагиио я бывал не раз, когда еще шел в Саянах по следам замечательного сибирского изыскателя Александра Кошуриикова; он и погиб неподалеку от этих мест на берегу Казыра в грозовом 1942 году, коченеющей рукой написав последние строчки своего дневиика, исполненные эпической простоты, трагичности и силы: «Я иду пешком. Очеиь тяжело. Голодиый, мокрый, без огня и без пищи. Вероятно, сегодня замерзиу»...

Курагино стоит на реке Тубе, образующейся слиянием Казыра и Кизира. Эти два порожистых горных потока, встретившись, хорошо взбадривают и без того уже могучий Енисей, но Туба — река сплавная, широкая и бесшиверная. Главное селение на ней образовалось давным-давно, потому что по реке можно было быстро доставлять из саяиских предгорий их богатства: лес, пушиину, мед с кипрейных пасек, кедровый орех, присоленного ленка и хариуса, маралятниу, медвежатину и другую сиедную днчь. Когда я впервые попал сюда, на тубииских островах против села буйио цвела черемуха, глаза остро резала эта пронзительная белизна, и речной ветер доносил до берега пьянящий аромат весны... Был я молод, и холост еще, и иикак ие мог предположить, что скоро жизнь даст этакий нежданый поворот — встретится по велению судьбы моя тихая избранница, чей прапрапрадед-декабрист был в ссылке на берегу этой сильной и красивой реки; правиук же Николая Мозгалевского, ее дед, прожил в этом самом Курагиие долгих двадцать лет, и дни его, тоже обремененного семьей из четверых детей, были наполнеиы новыми страдаииямн новых времен, разрешившихся революцией...

Николай Мозгалевский не успел в Курагине обзавестись своим жилищем или каким-либо хозяйством, не смог н земли получить от монарших щедрот — жизнь тут показалась совсем невозможной. Курагинцы существовали таежиым промыслом, не земледелием, н почти все питание было здесь покупное, привозное, а на жалкое казениое пособне шестерым попробуй-ка прокормиться. Да и базара в селе не было. Все наличные деньги декабриста истратились на дальний переезд, зима надвигалась, а батрачить на тяжелых работах здоровье уже не позволяло — кашель и грудной жар выматывали последние силы. И тут иовое жизнениое осложненье — в саяиских предгорьях иашли золото, кинулся на него местный и пришлый народ, и в селе стало невозможно купить нн буханки хлеба, ни кринки молока для детишек.

9 марта 1837 года Николай Мозгалевский и Алексей Тютчев напнсалн графу Бенкендорфу прошеиие о переводе их в Минуснннск, где есть врач, ежедиевный базар, вокруг луга, пахотная

земля и нет такой дороговизны, как в Курагине. И о четверых своих голодающих младенцах Мозгалевский сообщил шефу жандармов, назвавшему детей декабристов, рожденных в Сибири, «несчастными жертвами необдуманной любви». Енисейский губернатор вроде бы поддержал просьбу, но мотивы, которыми он руководствовался, были так далеки от гуманных, что я должен приостановиться на них. В Минусинске декабристам было сразу отказано и новым местом ссылки назначено село Теснинское «по причине удобства наблюдения за ними, где нет ни одного государственного преступника, но есть волостное правление», а в Курагинском-де имеются «со стороны местного начальства затруднения по надзору за поведением означенных преступников».

Однако и в Теснинском декабристы не прижились: угнетал тот же строгий надзор, на который Мозгалевский жаловался еще из Нарыма, здоровье уже не позволяло ворочать для прокорма семьи от зари до зари, а также изводило знакомое многим изгнанникам состояние полной безысходности, когда казалось, что любое место, где тебя нет, лучше, чем любое место, где ты есть... Они попросились было в Шушенское, к Фролову и Фаленбергу, где было поюжней, посолнечней, горы не пускают студеные ветры и под боком рыбная река, которая при старании могла дать насущный прокорм зимою и летом. Отказали! Алексей Тютчев вскоре вернулся в Курагино, а Николай Мозгалевский остался в Тесн, где прожил еще два года.

Об этом периоде жизни «нашего предка» мы ничего не знаем. Известно только, что там родился у них с Авдотьей Ларионовной пятый ребенок, что здоровье Николая Мозгалевского все ухудшалось, но неизвестно, как пережил он вместе со своей уже очень большой семьей две долгие сибирские зимы, в которые все, что таким, как Мозгалевский, удавалось взять от земли и леса за короткое сибирское лето, съедалось и сжигалось, скармливалось скотине, а к весне резалась последняя курица, забивался молочный теленок и в пищу шла даже опаленная его шкура; я хорошо помню этот запах и вкус с военных голодовок...

Никакого денежного запаса у Николая Мозгалевского не могло быть, и семья в семь человек существовала на двести рублей годового пособия. Представляю, как босоногая ребятня декабриста по весне бежит в лес зорить гнезда дроздов, копать саранку, рвать черемшу да пу́чки и съедать все добытое, не отходя от места. Среди зимы 1839 года Николай Мозгалевский, больной уже неизлечимо, отправляет не царю, к которому он так и не обратился ни разу, а генерал-губернатору Восточной Сибири очередное прошение; за внешне сдержанными, без малейшей подобострастности словами угадывается холодное отчаяние, стоическое спокойствие перед скорой неизбежной смертью. Он снова просит перевести его в Минусинск, и это разрешение — через Бенкендорфа, только через него! — было наконец получено

30 июня 1839 года Николай Мозгалевский с пятью детьми и беременной женой приехал в Минусинск. Поначалу снял комна-

тенку у кого-то из местных жителей, получил земельный надел. Силы, однако, уже были не те, но здесь, в окружении товарищей, все тяготы жизни переносились легче, потому что сосыльники начали помогать Николаю Мозгалевскому советом, делом и деньгами, а общедекабристская переписка быстро оповестила всех, кто был в счет, о положении этой семьи и никудышном здоровье главы ее. В следующем году родилась Поленька — о ней мы непременно вспомним, потому что необычная ее судьба породнила дочь декабриста с двумя замечательными русскими семьями, навсегда вошедшими в историю нашего Отечества...

Вскоре Николай Мозгалевский купил дом на Троицкой площади Минусинска, стоявший напротив дома Крюковых, начал обзаводиться кой-каким хозяйством. Не смог бы он, конечно, этого сделать при своих-то достатках, если б не помощь товарищей по ссылке да не уроки математики. Николай Мозгалевский стал также первым в Минусинском округе преподавателем французского языка. Он написал от руки грамматику, ее перекопировали и занимались по этим учебникам-самоделкам.

Два довольно важных события 1840 года помогли Николаю Мозгалевскому поддержать растущую семью и протянуть свои дни. Во-первых, он нежданно-негаданно получил наследство! И не родовое, отцовское, которое так и пропало в Нежине, а декабристское. Правда, оно было небольшим — двести рублей всего, однако для Мозгалевских, живущих на одном казенном пособии, эта дополнительная сумма была очень значительным вспомоществованием. И поступила она от родственников умершего в Красноярске декабриста Семена Краснокутского, тоже выпускника 1-го Кадетского корпуса, который завещал продать его имущество и распределить наследство между беднейшими товарищами. И я почти уверен, что именно Николай Мозгалевский сообщил наследникам Краснокутского о забытом всеми одиноком нарымском изгнаннике. В те годы Павел Выгодовский переписывался с Мозгалевским и переселенными в Минусу поляками. Выгодовский, повторюсь, не вел крестьянского хозяйства, только портняжничал, продолжая в жуткой одиночной ссылке фанатично работать над необыкновенным своим Сочинением. Посланные декабристу-крестьянину двести рублей тоже были неоценимым даром, который помог, хотя бы косвенно, родиться в нарымской глуши испепеляющим политическим строчкам...

А Николай Мозгалевский в том году получил еще одну материальную и, наверное, еще более неожиданную помощь. В один прекрасный день его позвали на почту и опять вручили те же двести рублей. Декабрист, возможно, подумал, что тут какая-то ошибка. Да, снова из Красноярска, но не из наследства Семена Краснокутского, а от Михаила Фонвизина. Только это были деньги не Фонвизина. Они, оказывается, пришли в Красноярск почему-то из далекого Приуралья с переадресовкой на Минусинск для Николая Мозгалевского.

Михаил Фонвизин отписал декабристу Александру Бриггену

приславшему деньги: «Ваше письмо со вложением двухсот рублей я получил... С большим удовольствием готов исполнить Ваше желание о доставлении этих денег Ник. Осип. Мозгалевскому в Минусинск. Они будут ему отправлены с первой же почтой. Как посылаемые не из России, а от лица, живущего в Сибири, эти деньги не могут быть препятствием к получению Мозгалевским вспомоществования от казны». Фон Бригген, между прочим, сообщал, что эти деньги — якобы возврат какого-то давнего долга, словно молодой бедный подпоручик из-под Житомира действительно мог некогда ссудить такую сумму богатому отставному подполковнику из-под Чернигова! Обращаю особое внимание на размер помощи. Посудите сами — двести рублей в год от царя, двести от покойного Красноокутского, двести от Бриггена; декабристы были слишком тонкими и остро думающими людьми, чтоб я мог объяснить себе простой случайностью эти совпадения.

Итак, после выхода на поселение бывшие декабристы-каторжники, рассыпанные по всей Сибири, продолжали поддерживать контакты, узнавали о трудных судьбах своих беднейших товарищей, начали помогать им, и позже была создана так называемая Малая артель, нелегальная декабристская касса взаимопомощи, ведомая несравненным Иваном Пущиным, но о ней речь далеко впереди.

Шли годы. Продолжая работать в архивах и собирать книги о декабристах, искал любое новое сведение о Николае Мозгалевском, хотя основные данные о нем сообщала мне Мария Михайловна Богданова при встречах, в частых разговорах по телефону, в многочисленных письмах и целых тетрадях, исписанных слабым ломаным почерком. А замечательный сибиряк-энтузиаст А. В. Вахмистров, о котором в нужном месте расскажу подробнее, с неоценимой помощью М. М. Богдановой собрал и систематизировал большой материал, в основном о потомках Николая Мозгалевского, прислал их мне с предложением «что-то сделать» — до передачи в Музей декабристов, о котором было столько разговоров в середине 70-х годов. Из его материалов я узнал немало интересного о той жизни и тех людях. На долгие годы завязалась переписка, и я бережно храню эти письма путешественника и краеведа — в них то совет, то уточнение, то сочувствие трудностям поиска, то бытовые наши сложности...

В пятитомной «Истории Сибири» нашел сообщение о бедственном положении семьи «нашего предка», потом опубликованные минусинские документы — местные жители незаконно вымахивали косами «секлетные» луга, и власти разбирали тяжбу тамошних мещан с Николаем Мозгалевским; в архиве Октябрьской революции обнаружил «Дело по отношению иркутского архиепископа о том, что государственные преступники Мозгалевский и Горбачевский не бывают у исповеди и даже в церкви и что последний оказывает богохульство», но это была ошибка в духе полуторавековой «традиции» — речь в действительности шла не о Николае Мозгалевском, а об Александре Мозалевском.

Своими находками я делился с Марией Михайловной Богдановой, которая, мне казалось, тоже радовалась каждому случаю сообщить мне все, что припомнит.

— Знаете, накануне столетия восстания декабристов Борис Львович Модзалевский обращался в Минусинский краеведческий музей с просьбой сообщить какие-нибудь сведения о Николае Мозгалевском. Ученый предполагал какую-то дальнюю родственную связь с этим декабристом...

Мне посчастливилось узнать, что отец декабриста Осип Федорович Мозгалевский и пращур известного советского пушкиниста и декабристоведа Лев Федорович Модзалевский, родившийся в 1764 году в Ромнах, были, вероятно, родными братьями, что можно предположить по «Родословной росписи Модзалевских», изданных в Киеве незадолго до революции братом ученого, участником Цусимского морского сражения Вадимом Львовичем Модзалевским.

— А об отце их, Льве Николаевиче, не слыхали? — спрашивает Мария Михайловна.

На эту боковую и дальнюю тропку нашего путешествия в прошлое можно бы и не ступать, но уж больно причудливо переплетаются человеческие судьбы, каждая из которых неотъемлемо принадлежит жизни, оставляя в ней свой неповторимый след, и о Льве Николаевиче Модзалевском хорошо бы попутно вспомнить, потому что другого случая у меня не будет...

Старшее поколение хорошо помнит детскую песенку: «Дети в школу собирайтесь», которая неизменно печаталась во всех дореволюционных хрестоматиях без указания авторства. Сочинил ту песенку Лев Николаевич Модзалевский. Или еще:

А, попалась, птичка, стой!
Не уйдешь из сети!
Не расстанемся с тобой
Ни за что на свете!

Л. Н. Модзалевский, известный в прошлом педагог и общественный деятель, был чрезвычайно скромный человек, подписывавший свои статьи о русском языке, детском воспитании, музыкальной культуре четырнадцатью различными псевдонимами и анонимно публиковавший многочисленные стихи для детей. Сто тридцать раз издавалось до революции «Родное слово» — хрестоматия для младших, сто тридцать раз печаталось в ней без подписи автора «Приглашение в школу», и только в 1916 году вышла в Петрограде книжка «Для детей. Стишки Льва Николаевича Модзалевского»..

— Мария Михайловна,— вывожу я собеседницу на прежнюю стезю. Не попадались ли вам какие-нибудь дополнительные сведения о жизни Николая Мозгалевского в Курагине или Теси?

– Нет.

— Но неужели и в Нарыме о нем не осталось никаких документальных свидетельств?

— Решительно ничего.

Как же так? Первый политический ссыльный в тех местах — и ничего! Однако я продолжал расспросы, потому что томский областной архив безрезультатно перерыл в одну из сибирских поездок и, кроме как к Богдановой, обратиться мне было некуда. Вдруг Мария Михайловна говорит, что надо поискать в архиве Октябрьской революции.

— Его сибирские дела я смотрел.

— Покопайтесь-ка в одном московском деле 1834 года.— Она засмеялась, увидев, как я встрепенулся.

— А Москва-то тут при чем? — попробовал уточнить я.

— Вы еще спросите, при чем тут Герцен и Огарев...

— Герцен? — У меня, наверно, был растерянный вид, потому что Мария Михайловна опять засмеялась.— Огарев?

— Именно. Они в этом же деле. И еще Соколовский... Покопайтесь, не пожалеете!

Странно все же — Мозгалевский, какой-то Соколовский, Герцен, Огарев в одном деле! Что-то даже не верится. Николая Мозгалевского читатель достаточно узнал в нашем путешествии, Александра Герцена и Николая Огарева знает со школьной скамьи, а Соколовский — не тот ли это Владимир Соколовский, что в Томске когда-то встретился с первым декабристом Владимиром Раевским и рядовым декабристом Николаем Мозгалевским?

Снова еду на Большую Пироговскую.

Снова архив 3-го отделения собственной его величества канцелярии: описи, порядковые номера дел, цифры, шифры... Ищу бумаги сына томского губернатора Владимира Соколовского, верно, того самого, о котором первый декабрист Владимир Раевский писал, что он стал известен стихотворением «Мироздание» и несчастиями, которые были следствием его пылкого характера...

Кажется, нашел! Приносят тоненькую папку, подлинник. «Экзекутор Енисейского общего губернского управления коллежский секретарь Владимир Игнатьев Соколовский...» «В 1818 году поступил в 1-й кадетский корпус. За неспособностью к воинской службе по болезни вынужден был определиться по статским делам с награждением за успехи в науках и чином 12 класса 1826 года майя 31»... Все сходится — будущий декабрист-«славянин» Николай Мозгалевский в 1818 году еще учился в 1-м Кадетском корпусе. Соколовский же после выпуска из корпуса служил в штате канцелярии Томского общего губернского управления и в 1828 году пере-

ехал в Красноярск, где имел «особенное поручение от Енисейского гражданского губернатора составить для Его Императорского Высочества Государя Наследника статистические таблицы Енисейской губернии, что и исполнил в самое короткое время и с совершенною удовлетворительностию».

За послужным формуляром этого мелкого сибирского чиновника шли в деле какие-то письма, написанные таким трудным почерком, что я не разобрал полностью ни одной фразы. В папке были еще стихи с профилями и виньетками на полях — что-то мимолетное, черновое, не цельное, заканчивающееся четверостишием:

Прескверные дни:
И сыро, и грязно;
Беспутно и праздно
Сидим мы одни.

Все. Никакого упоминания о Николае Мозгалевском, ничего о Герцене или Огареве! Может быть, и к лучшему — найди я сразу нужное, то уж не стал бы, наверное, больше копаться в архиве и книгах, не изнурял бы расспросами Марию Михайловну Богданову, которая, мне кажется, поначалу нарочно не подсказала мне прямого пути, чтобы я сам поискал и лучше оценил то, что найду сам; признаться, мне очень стали нравиться такие вот старые москвичи, люди прежнего закала, умеющие совсем будто бы незаметно наставить человека, и уже совсем не молодого, на полезное дело..

Назавтра я заказал по алфавитнику все документы, где упоминался Владимир Соколовский, и с утра пораньше сел за фильмоскоп. Но только одно дело «О лицах, певших в Москве пасквильные песни» содержало, как значилось в его официальном оглавлении, больше полукилометра пленки! И вот передо мной лежат в коробке десятки пронумерованных дюралевых баночек. Какую взять? С начала или с конца? Или на случайный выбор по наитию?

Вставляю пленку в рамку, включаю свет, проецирую заголовок. Можно читать. «О причинах взятия под арест Московского университета некоторых студентов 11 июля 1834 года»... Нужно или нет? Не знаю. В другой баночке — «инженер-подполковник Соколовский, отправляющийся в Измаил, просит проститься с его братом, содержащимся в Шлиссельбургской крепости, находящегося в болезненном состоянии...» Февраль 1836-го. А вот снятая на пленку московская жандармская бумага № 119 от 23 июля 1834 года. Интересно! Наверно, это первое официальное полицейское упоминание о друзьях-революционерах, будущих непримиримых борцах против самодержавия. Выписываю себе, чтобы сохранить на память, две фразы. «О взятии под арест *некоего Герцена,* переписывавшегося со студентом *Огаревым* в духе вольнодумства». Слово «некоего» выделил тут я умышленно, сообразуясь с историей. «При взятии Герцена под арест он сказал: «Огарев взят под стражу, то и я ожидал сего ж»

В другой баночке крупным каллиграфическим почерком — жандармские характеристики Герцена и Огарева, замечательные, надо сказать, по краткости и прозорливости: «4. Служащий в Московской Дворцовой Конторе титулярный советник Александр Герцен, молодой человек, пылкого ума, и хотя в пении песен не обнаруживается, но из переписки его с Огаревым видно, что он смелый вольнодумец, весьма опасный для общества. 5. Служащий в Московском архиве Коллегии иностранных дел Огарев сознался в пении дерзких песен и был знаком с Соколовским и его дерзкими стихами, вел с Герценом переписку, наполненную свободомыслием...»

Трудно оторваться от Герцена и Огарева, но мне сейчас нужен Соколовский, который, кажется, стал главным обвиняемым по этому делу. И вот документ об аресте в Петербурге Владимира Соколовского от 21 июля 1834 года. При его аресте взяты: «1. Черновые изорванные сочинения Соколовского; 2. сочинения его поэмы и стихотворения; 3. тетради о нравах монгольского народа; 4. катехизис на монгольском языке; 5. переписка его с родными и знакомыми; 6. в карманах черновой проект Соколовского о составлении истории биографического словаря; 7. восемь листиков с подписями руки разных официальных лиц...»

Какие такие «дерзкие песни» сочинял сын томского губернатора? Нахожу. Что-то очень знакомое:

«Песня 1-я:

Русский Император
Богу дух вручил
Ему оператор
Брюхо начинил.

Плачет Государство
Плачет весь народ
едет к нам на царство
Костюшка урод.

Но царю Вселенной
Богу вышних сил
Царь благословенный
Грамоту вручил.

Манифест читая
Сжалился творец
Дал нам Николая
Всевышний Отец».

Полицейский с последней строки сделал сноску: «а пели *сукин сын подлец*». Но где и когда я читал эти стихи? Может, в университете мы их «проходили»? Нет, не помню...

«Песня 2-я

Боже! Коль ты еси,
всех царей в грязь меси,

И кинь их под престол
Сашиньку, Машиньку,
Мишаньку, Костиньку,
И Николаюшку
.....на кол».

Вдруг я, забывшись, засмеялся так, что на меня оглянулись соседи. Не над текстом песни засмеялся, а над подписью. Внизу под куплетом значилось: «Верно. Генерал-майор Цынский». Этот генерал даже не заметил, что сакраментальная для всякого канцеляриста подпись, подтверждающая правильность и подлинность текста дерзейшей песни, звучит двусмысленно, как бы подтверждая ее содержание... И далее: «Сочинение стихов сих приписывают находящемуся в Санкт-Петербурге студенту Соколовскому».

Но где я все же читал о Соколовском? Не у Герцена ли? Протягиваю руку к полке, беру «Былое и думы». Конечно! В этой энциклопедии русского освободительного движения последекабристской поры есть песня Соколовского о русском императоре, которому оператор «брюхо распорол», и его преемнике «сукином сыне» Николае. Она тут впервые напечатана, правда, в несколько видоизмененном виде по сравнению с жандармским текстом. Снова прочитываю его и вспоминаю ноэль Пушкина.

Ура! В Россию скачет
Кочующий деспот.
Спаситель громко плачет,
За ним и весь народ...

В «Русском императоре» те же мотивы — упоминание о боге и народном плаче в связи с приездом царя.

В «Былом и думах» описаны также обстоятельства ареста московской молодежной компании, распевавшей песни Соколовского, и некоторые подробности следствия. Владимир Соколовский держался смело, даже дерзил. «Аудитор комиссии, педант, пиетист, сыщик, похудевший в зависти, стяжаниях и ябедах, спросил Соколовского, не смея из преданности к престолу и религии понимать грамматического смысла последних двух стихов:

— К кому относятся дерзкие слова в конце песни?

— Будьте уверены,— сказал Соколовский,— что не к государю, и особенно обращаю ваше внимание на эту облегчающую причину».

Содержался Соколовский, как рассказывает Герцен, в темной грязной камере московского острога. Друзья его сидели в других местах, родные находились далеко и, наверное, в неведении. У бедного узника не было ни денег, ни даже смены белья. Правда, нашелся в Москве один вполне и даже слишком необыкновенный человек, принявший в нем участие, и нам должно эту старомосковскую редкость вспомнить, как вспомнил о нем когда-то Александр Герцен: «Память об этом *юродивом и поврежденном* не

должна заглохнуть в лебеде официальных некрологов, описывающих добродетели первых двух классов, обнаруживающиеся не прежде гниения тела...»

Это был московский тюремный врач Гааз, из немцев. Его считали странным, придурковатым, не в своем уме, полусумасшедшим и т. п. только за то, что он был бесконечно добр. Перед отправкой преступников в этап, скажем, Гааз привозил им съестные припасы и среди прочего обязательные сласти — орехи, пряники, фрукты, иные лакомства. Кротко выслушивал упреки дам-благотворительниц за «глупое баловство преступниц», потирал руки и говорил: «Извольте видеть, милостивой сударинь, кусок хлеба, крош им всякой даст, а конфекту или анфельзину долго они не увидят...» И вот этот *блаженный* доктор Гааз, по воспоминаниям Герцена, прислал Владимиру Соколовскому, зараставшему в тюремной грязи, связку белья...

Однако что за человек был Владимир Соколовский? Сын губернатора, писал сверхдерзкие песни про царей, был близок Герцену и Огареву, арестованным в 1834 году по одному с ним делу, а точнее, по *его* делу. Герцен дает Соколовскому такую характеристику: «Милый гуляка, поэт в жизни, он вовсе не был политическим человеком. Он был очень забавен, любезен, веселый товарищ в веселые минуты, bon vivant, любивший покутить, как мы все... может, немножко больше».

Захотелось еще что-нибудь узнать об этом человеке, и я снова обращаюсь по телефону к своему привычному первоисточнику:

— Мария Михайловна! А не знаете ли вы, где родился Владимир Соколовский?

— Этого никто не знает. В Сибири... Не то под Иркутском, не то на Алтае.

— Вроде Ивана Кущевского?

— Кого-кого?

— Был такой в прошлом веке сибирский писатель, из низов. Из-за него да еще из-за Пушкина и князя Игоря когда-то я в университет поступил... Место рождения Кущевского тоже не совсем ясно. Однако Соколовский-то был сыном губернатора!

— Губернаторы, они тоже, знаете, были разные...

Как бесконечно далеки они сейчас от нас, все эти губернаторы — Гагарины, Галкины-Враские, Закревские, Чарыковы, Руперты... Первого сибирского губернатора князя Гагарина Петр Великий повесил за казнокрадство и лихоимство Отец идейного вождя декабристов сибирский генерал-губернатор Пестель тоже отличался страстью к взяткам и незаконным поборам. Герцен пишет, что перед казнью сына он приехал проститься с ним и после верноподданнических тирад и ругани спросил: «И чего ты хотел?» Декабрист ответил: «Это долго рассказывать; я хотел, между прочим, чтоб по возможности не было таких генерал-губернаторов, каким вы были в Сибири».

Были, однако, и другие губернаторы. Александр Муравьев, скажем, основатель первого тайного общества, вернувшись из Сибири, сразу же освободил своих крестьян, наделив их землей, инвентарем и скотом. Будучи нижегородским военным губернатором, он принял участие в подготовке крестьянской реформы, был сторонником освобождения мужика с землей, но когда прочел царский манифест, то горько заплакал, поняв, что крестьяне обмануты, и тут же вышел в отставку. А когда я интересовался историей русского природопользования, то встречал в старых газетах, журналах и статистических сборниках имена губернаторов, деятельно поощрявших посадки лесов в степях, противоовражные работы, мелиорацию. В одной из белорусских губерний за пять лет было осушено полмиллиона десятин болот, и поборник этих работ никогда не брал взяток, оставаясь, конечно, верным тому строю, при котором жил.

Не все губернаторы были родовитыми богачами. Отец Владимира Соколовского происходил из совершенно обедневшего дворянского рода и, не имея ни крепостных, ни земли наследной, ни поместья, зарабатывал на содержание большого своего семейства чиновничьей службой в Алтайском горном округе, в Иркутской губернии, дослужившись под конец до губернатора. Под стать ему был и родственник его енисейский губернатор Степанов, под начало которого он почему-то и отправил в 1827 году сына, прибывшего из Петербурга.

Люблю я бывать в Красноярске! Всякий раз непременно посещаю заводские цехи и улицы, в которых прошло незабываемое победное лето, грею душу воспоминаниями, всякий раз удивляясь тому, что выплывает из прошлого почему-то все лучшее — рабочая доброта, тугие струи Енисея, наши песни, фантастические Столбы, красноярские девушки-недотроги, островок золотой тайги в центре города; грязь же и тяготы котельной работы, голод и неудачи размывались в памяти, будто даже не с тобой все это было; наверно, если б такое, горькое, накапливалось в людях, то жизнь становилась бы горше с каждым часом и сделалась невозможной. И если б мне сказали тогда, в сорок пятом, что вот, мол, будет у тебя в жизни пора, когда ты соберешься в Красноярск, чтоб отыскивать следы малоизвестного сибирского поэта прошлого века и даже тогдашним местным губернатором заинтересуешься,— ни за что бы не поверил, а когда б добавили, что тот поэт окажется моим очень-очень дальним свойственником, то счел бы этакое пророчество за полный бред...

Но сначала о енисейском губернаторе — для того, чтоб показать, какие они разные, до полной противоположности, бывали.

Юношей Александр Петрович Степанов участвовал в последних суворовских походах, вел штабную переписку великого русского полководца, который очень любил этого веселого исполнительного офицерика, называя его за складные устные рассказы «крошечным Демосфеном». После выхода

в отставку он служил там и сям, а сибирский послужной формуляр Степанова закончился высокой должностью енисейского губернатора.

Первый красноярский (енисейский) губернатор, как это ни покажется удивительным, оказался на своем посту благодаря декабристу-сибиряку Гаврилу Батенькову, другу с юности и единомышленнику Владимира Раевского. Батеньков, чудом уцелевший в жестоком бою при Монмирале, после окончания Отечественной войны нашел в себе силы подготовиться к экзамену на инженера путей сообщения. Работать уехал в родную Сибирь, откуда писал петербургскому другу: «Привязанность к той стране, где, кажется, сама природа бросает только крошки безмерного своего достояния... и имя которой, как свист бича, устрашает; привязанность к этой стране — вам не понятна... но... родимая сторона образует наши привычки, склонности и образ мыслей... Ищи счастье, говорят мне, но счастье на чужой земле — не твое счастье». До чего ж хорошо понимал вещи декабрист-земляк!

Служил Батеньков под началом знаменитого государственного деятеля той поры Сперанского, масона-политикана, осторожного реформатора и прожженного царедворца, в долгой, при трех императорах, карьере которого был примечательный сибирский период. Генеральная ревизия Сперанского вскрыла неслыханный грабеж казны, повсеместное взяточничество, незаконные поборы, всяческого рода утеснения русских крестьян и ясачных «инородцев». Пятьдесят чиновников, включая двух губернаторов, пошли под суд, в злоупотреблениях были обвинены сотни хапуг, на сибирских администраторов наложены денежные взыскания общей суммой почти в три миллиона рублей. Сей достопамятный погром носил, однако, характер эпизода; он не мог устранить глубоко укоренившееся в сибирскую жизнь беззаконие, пресечь неограниченный произвол властей. Генерал-губернатор Сперанский вместе с главным своим помощником Гаврилом Батеньковым разработали для условий Сибири множество реформаторских предложений, довели их до юридической кондиции и закрепили в законодательных актах. От Урала до Тихого океана была перекроена административная карта, изменилось управление обширнейшего края, упорядочены особыми уставами и правилами разные сферы сибирской жизни — хлебная, соляная, винная и прочая торговля, переселенческое дело, земские повинности, прогон ссыльных, положение городских казаков. Для того времени прогрессивный «Устав об управлении инородцев», составленный Гаврилом Батеньковым, регламентировал экономику, общественное и правовое положение, культуру и быт коренных народностей. Юридические основы его оставались в силе до конца XIX века.

Законодательная и распорядительная деятельность Сперанского в условиях стародавних мертвящих обстоятельств оставила довольно заметный след и добрую память в Сибири. И еще несколько слов о нем, чтобы через некое попутное впечатление перейти к Батенькову и Степанову. Бесспорно, Сперанский — одна из самых крупных и сложных фигур

в нстории России первой половииы XIX века. Совсем еще молодым стал профессором математнкн, физикн, философии и риторики, потом в должности секретаря и правителя каицелярии пересидел четырех генерал-прокуроров, составнл немало конституционных проектов, ввел в масоиские тайны Александра I, взамеи узиав от иего дипломатические европейские секреты. Во время заключеиия Тнльзитского мира был удостоеи уважительного виимаиия самого Наполеона, ие раз попадал и в фавор и в опалу, губериаторствовал в трех российских губерииях, потрудился, как мы уже зиаем, в должности сибирского геиерал-губериатора и председателя специально созданного снбирского комитета. На этом посту его сменил Аракчеев, н Сперанский уже больше не подиялся на должностиые высоты, хотя служнть очеиь умел н пнсал о собственной прнспособчивости и угодливости, саморазоблачительно называя себя в этой роли «всяческая вся». Это был безмерно честолюбнвый н цнничный царскнй лакей, одиако не лишним будет отметить, что репутация реформатора и либерала позволнла декабрнстам рассчитывать на Сперанского даже как на члена будущего революциоииого временного правительства...

А то, о чем я хочу рассказать в качестве вставиого эпизода, более или менее обязательного здесь, произошло сравиительио иедавно. Трое московских пнсателей иесколько дией гостилн у четвертого москвича-писателя в родной его деревушке. Древиее селеиьице стояло очень хорошо, красуясь на крутояре, будто нарочно прндумаином среднерусской природой для человечьего поселення,— захватывающие дух дали раскрывалнсь свободно н светло, измеичивые иежиые краскн виделись отсюда иад холмами, лесами и в глубокой долиие, по которой прнхотливой змейкой тяиулась тальнковая полоска с редкнми зеркальцами воды. В золоте окрестных спелых хлебов так же извилисто ползлн серые проселкн. А воздух словно пел! Звуковая сорннка от деревеиского движка, казалось, оттеняла первоздаииую тишииу. Все иавевало мнмолетную грусть с потаеииой радостью иаравне, н было еще что-то иеобъясимое, придающее пейзажу совершеииое очароваиие и величавую торжествеииость.

Неужто все дело в этих двух камеиных изваяииях?! На вершнне яра стояла крохотная, почти игрушечиая белая церковка, давным-давно заколочеииая, похожая, как все русскне церкви, только на самое себя, а с покатой горы за долнной нздали переклнкался с иею большой храм; его царствеиный купол и стройная колокольия словно парилн в зиойном мареве бабьего лета, объедння ли и завершали неохватное в однн погляд пространство, придавая ему историческую глубину н гармонию, виесеиную в прнроду человеческнм рукотвореннем. Да, скромная церковка н велнчавый храм поодаль как-то естествеино и просто входилн во все окружающее. В нетленной красе русскнх просторов, сглаженных тысячелетним трудом, таятся чистые истоки любвн к земле наших предков; без этих святых родников немыслим н сегодняшннй патриотизм и связанный с иим иерасторжнмо нитернацноналнзм, а все лучшее, что когда-

либо возвели мы на своей земле, в том числе и старинные сельские постройки, давно утратившие культовую функцию, составляет неотъемлемую часть этой щемящей сердце красоты, свидетельствует о талантах и мастерстве твоих соотечественников, чьи славные деяния с годами возрастают в цене и значении для всех людей, ныне живущих-здравствующих и будущих...

В тот день, когда мы собрались уезжать, рассветный час разбудил нас не пением соседского петуха или ревом буксующего грузовика,— сильный взрыв потряс окрестности! Задребезжало окно, у которого я спал, а паук в уголке рамы всполошенно забегал по своему невидимому плетенью. Подумалось, что это самолет преодолел в высоте звуковой барьер или даже врезался в землю, отчего так ужасно и ухнуло. Вбежал хозяин и позвал наружу.

Мы вышли и оцепенели — храма на той стороне долины не было; одна пустая небыль на земле, пустое небо, и враз поскучневший, обедненный, бездуховный пейзаж. Торопливо собрались, завели «газик» и поехали по склону крутяка, потом через сырую низину на покатую гору, к большому селу.

Ужасающие руины открылись посреди него. Большие кирпичные блоки развалило по сторонам, красные обломки разметало, а весь взгорок, на котором только что стоял храм, вздымался безобразной бесформенной кучей камней и мусора. С краю уже работали люди, складывая в небольшой штабелек кирпичные половинки со следами серого раствора. Закаменевший раствор, однако, от удара молотка не рассыпался, зато кирпичи разламывались и в штабеле почти не было целых, годных для капитальной кладки.

Один из нас пнул ботинком кирпичный осколок, сплюнул вслед ему и сказал: «Поехали скорей отсюда» Другой мрачно думал о чем-то своем, но, наверное, все же связанном с тем, что было перед его невидящими глазами, а наш хозяин топтался вокруг ствола одинокого дерева, каким-то чудом остановившего громадный купол, который катился час назад прямехонько на совхозную контору...

Как-то скучно нам всем было. Перед дальней дорогой решили перекусить в местной чайной и оказались по случаю за одним столиком со счетоводом совхоза. Моим друзьям он был почему-то безразличен, а мы с ним заговорили, конечно, об этом бывшем храме и о том, кому он тут мешал или чем угрожал. Оказалось, никому не мешал — свободной земли для застройки в селе предостаточно, и не угрожал — церковь была не слишком древняя и не очень-то новая, но по ней не пошло еще трещин и даже щербин-отломов по углам не образовалось. Взорвали же храм для того, чтоб употребить кирпич на строительство скотного двора. Однако, к досаде совхозного начальства, ничего как будто не состоится — образовавшаяся искусственная каменоломня не даст кирпича нужного качества и в потребном количестве: слишком много его покрошилось

от взрыва, и крепчайший, старого рецепта раствор не позволяет разобрать блоки по кирпичику. Счетовод сказал, что дело это настолько трудоемкое и дорогое, что легче и дешевле было бы завезти даже издалека новый стройматериал.

Было горько и обидно от очевидной хозяйственной глупости, бескультурного самоуправства и полной безнаказанности тех, кто затеял этакое. Счетовод полагал, что надо было оставить в покое сооружение до тех времен, когда люди в средней полосе России станут побогаче и смогут использовать эту капитальнейшую крепкую и красивую постройку для своих нужд — там мог бы разместиться клуб с прекрасной акустикой, спортивный зал с большой кубатурой или, конечно, извините, дорогие гости, если на то пошло, очень доходная цветочная оранжерея, а в темных, теплых и влажных подвалах уже сейчас можно было по-европейски рентабельно выращивать шампиньоны.

Счетоводу нельзя было отказать в здравом смысле, только меня тогда удивило другое — ни он и никто из нас, включая широкогостеприимного нашего хозяина, родившегося и много пожившего тут, написавшего несколько хороших краеведческих книг, не знал, что в семье здешнего священника двести лет назад появился на свет один из влиятельнейших людей стародавнего времени — сибирский реформатор Михаил Сперанский. Тогда же вспомнилось мне почему-то, что он до старости блюл давние народные обычаи, уже безвозвратно отходившие в прошлое... Когда Сперанский был на вершине своей карьеры и мог властительно вмешаться в любое дело необъятной империи, из этого самого села приехала его навестить матушка. Она, обыкновенная деревенская попадья, закутанная в шаль, появилась на пороге роскошного петербургского кабинета сына. Завидев мать, он бросился на колени, прося благословения, и один из высших сановников отметил этот уже тогда курьезный эпизод в своих мемуарах...

Как жаль было все же давней постройки! Она долго стояла у меня в глазах, зримо плыла над купой деревенской зелени, да и сейчас я еще помню ее изящный абрис, венчающий возвышенность. Тогда, по возвращении, начал было писать статейку для газеты о русском пейзаже и бездумном разрушении его, позвонил в три редакции, но голоса в трубке как-то враз сникали, как только заходила речь о малоценной, не древней, сдуру взорванной церкви в каком-то никому не известном селе Черкутине.

Во время следствия над декабристами Сперанский, опасаясь за свою уже пошатнувшуюся карьеру, принял участие в сыске, и это именно он придумал разряды наказаний, по которым раскассировали государственных преступников. Существует подозрение, что Сперанский сыграл зловещую роль в судьбе Батенькова, в отличие от всех остальных декабристов заживо погребенного на долгих двадцать лет.

Вспоминая о деятельности Сперанского в Сибири, мы должны, однако, учитывать, что он в совершенстве, а по сути, паразитически умел пользоваться обширными знаниями, святыми патриотическими чувствами, передовыми идеями и феноменальной работоспособностью Гавриила Батенькова, приехавшего на родину «в сердце с надеждой, с Рогнедой в душе». Батеньковский «Устав об инородцах» предусматривал уравнение в правах и обязанностях коренного населения с русскими, автономию их родового управления, переход кочевых народов в земледельческую оседлость, что, кстати, полностью совпадало с соответствующими положениями «Русской правды» Пестеля.

А теперь взгляните на карту сегодняшней Сибири или хотя бы мысленно восстановите в памяти контуры ее областей, краев и республик. Вдоль Енисея меридионально протянулся огромный Красноярский край. Это — своеобразный географический памятник декабристу Гавриилу Батенькову, который в своем районировании Сибири исходил из условий торговли, транспорта, рода занятий населения той или иной местности, и намеченная им Енисейская губерния почти полностью сохранила очертания до наших дней в границах центрального сибирского края.

Используя свое влияние на Сперанского, именно Батеньков выдвинул на должность первого енисейского губернатора бывшего суворовского офицера Александра Петровича Степанова, человека деятельного, ищущего и прогрессивного. Степанов понимал, что благоденствие обширного и богатого края невозможно без улучшения жизни низших слоев населения. Он сразу же выступил против обременительных податей, закабаления бедноты долговыми расписками ростовщиков, спекулянтского купеческого посредничества в хлебной торговле, много занимался положением ясачных, налаживая их самоуправление в целях защиты от алчных купцов и царских чиновников. Под руководством Степанова для кочевых инородцев Енисейской и Иркутской губерний был разработан проект степных законов, посланный в Петербург Батенькову; он оказался радикальнее ранее утвержденного и, естественно, не прошел.

А. П. Степанов мечтал благоустроить столицу губернии, превратить Красноярск в культурный центр Сибири, однако я бы не стал говорить о таком стремлении, естественном для всякого прилежного в своем деле хозяина, если б не имел возможности сказать о Степанове как о... литераторе. Да, губернатор этот был поэтом, прозаиком, очеркистом и еще до своего сибирского назначения состоял членом Вольного общества любителей российской словесности. Его перу принадлежит огромная, в двести с лишним страниц, патриотическая поэма «Суворов» и стихи о Сибири, печатавшиеся в петербургских журналах. В поэме «Поэзия и музыка» Степанов отстаивал свое убеждение, что главная задача поэзии — борьба с сегодняшним злом во имя лучшего будущего. А в 1828 году по его инициативе был издан в Красноярске «Енисейский альманах», впервые объединивший молодые литературные силы края и получивший, как

известно, добрые отзывы прессы обеих столиц. Начинался альманах «Путешествием в Кяхту из Красноярска» А. П. Степанова — это были чистой воды путевые очерки в форме писем к другу, и когда я занимался Байкалом и решил прочесть о нем все — от царского посла Спафария до советского поэта Твардовского,— то набрел на это сочинение красноярского губернатора, и у меня даже счастливо сохранилась выписка из него. Цветистый стиль — так в те времена писали многие; сознание бессилья авторского слова пред красками Байкала, чтоб передать их, и — упоминание о Пушкине! Мог ли я предполагать тогда, что этот отрывок сгодится мне спустя много лет, чтобы познакомить свидетелей моего путешествия в прошлое с образцом письма Степанова-очеркиста? «...Рубиновая поверхность восточного хребта предваряла уже о скором появлении солнца, но когда первый луч его блеснул через высоты и распростерся мгновенно по гладкой поверхности Байкала, тогда — тогда, любезный друг, запылали все предметы, меня окружающие, небо, горы и вода! Ежели бы я был живописец или твой любимый Пушкин, то, может быть, имел бы силы сообщить понятие о том явлении, которое мгновенно озарило меня, о парчовых наметах, покрывающих горы, о берилловых кристаллах льдин, разбросанных колоссальными штуфами по трещинам озера, о том радужном перламутре, который покрывал всю поверхность Байкала, но я не в состоянии в сем случае совершенно удовлетворить тебя».

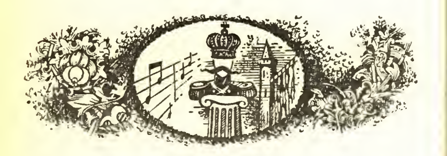
Губернатор-писатель много ездил по тайге и степям, добирался до южных гор и северных тундр, в итоге появилась «Енисейская губерния» — фундаментальный двухтомный труд краеведческо-научного характера, изданный в Петербурге и доныне представляющий определенный интерес. И еще я хочу коротко рассказать об одном моем впечатлении, в котором неожиданно сошлись имена величайшего русского поэта и енисейского губернатора, видных декабристов и генерал-коменданта, стерегущего их в Петровском заводе.

Возвращаясь однажды из архива, я решил заглянуть в заветный особняк на Кропоткинской, где давно не бывал. Центральный музей А. С. Пушкина. Знакомые вещи, картины, рукописи и книги пушкинской поры... А в новой экспозиции я вдруг увидел книгу, которой раньше не было,— роман «Постоялый двор (Записки покойного Горянова)», изданный в 1835 году в Петербурге. Я знал, что енисейский губернатор Степанов написал этот роман, только почему он оказался в Музее Пушкина? Оказывается, Пушкин, оставив свой автограф, послал роман Степанова чете Муравьевых, и на книге есть помета «читал Лепарский».

Степанов губернаторствовал в Красноярске весь тот период, когда через город следовали декабристы, и всем им он оказывал свое гостеприимство и внимание, о чем с теплотой вспоминали Николай Басаргин и другие. Из записок Полины Гебль-Анненковой: «Около Красноярска я съехалась на одной из станций с губернатором Енисейской губернии. Подстрекаемый любопытством, прочитав мою иностранную фамилию и

предполагая, что я еду к кому-нибудь гувернанткою, он подошел ко мне и, очень извиняясь, что обращается с расспросами, сознался, что не может устоять против желания узнать, каким образом, не говоря по-русски, я решилась ехать так далеко. Я отвечала ему шутя — мой веселый характер беспрестанно брал верх, несмотря ни на какое горе,— я отвечала Степанову: «Non, m-r, je ne montre pas ma langue» («Нет, сударь, я не показываю своего языка»). Но когда я ему объяснила, куда именно я еду, то он с большим участием отнесся ко мне и просил поклониться всем осужденным, особенно барону Владимиру Ивановичу Штейнгелю и братьям Николаю и Михаилу Александровичам Бестужевым».

Степанов и позже не избегал связей со ссыльными декабристами, только просил их «ни в какой переписке с Россией не упоминать его имени». Судя по всему, Степанов, даже рискуя, стремился окружать себя людьми яркими, талантливыми и честными. В Комиссии степных законов, скажем, у него работал один из первых сибирских поэтов Кузьмин — по жандармской характеристике, «чиновник не совсем благонамеренный», А. И. Мартос — сын известного скульптора, автор записок о войне с Наполеоном и очерков о Восточной Сибири, очень способный человек из простых казаков Галкин. И вот в начале 1828 года на службу к этому не совсем обычному губернатору приезжает из Томска молодой чиновник и начинающий поэт Владимир Соколовский.



19

Если б о том времени писать обычный расхожий роман и среди героев его числить Владимира Соколовского, то едва ли можно было удержаться, чтоб не разработать нескольких «исторических» эпизодов с участием этого человека.

14 декабря 1825 года, Сенатская площадь. Михаил Бестужев, который первым привел сюда Московский полк, видит, как к не-

му подбегает группа морских и армейских кадетов. Непременно во главе ее стройный юноша с соколиными глазами, сияющими восторгом и решимостью.

— Мы присланы депутатами от наших корпусов,— запыхавшись, говорит он.— Просим позволения прийти на помощь и сражаться вместе с вами...

— Как ваше имя? — спрашивает Бестужев, любуясь выправкой и т. д.

— Соколовский,— отвечает юноша.— Выпускник Первого кадетского корпуса.

Тут непременно описалась бы неясная и опасная обстановка на площади в тот звездный час, раздумья Бестужева, нетерпеливое поведение кадетов.

— Поблагодарите своих товарищей за благородное намерение,— говорит наконец Бестужев со всею серьезностью.— Поберегите себя для будущих подвигов.

Они удалились, едва сдерживая досаду, и т. п.

Так могло быть в романе, так, между прочим, вполне могло быть и в жизни, но было ли так? Это правда, что депутация морских и пехотных кадетов явилась на площадь 14 декабря 1825 года и обратилась к Бестужеву, вспоминавшему позже: «...Мы присланы депутатами от наших корпусов для того, чтобы испросить позволения прийти на помощь и сражаться в рядах ваших»,— говорил, запыхавшись, один из них... Я удержался от искушения при мысли подвергнуть опасности жизнь и будущность этих ребят-героев... Благодарите своих товарищей за благородное намерение и поберегите себя для будущих подвигов,— ответил я им серьезно, и они удалились».

Владимир Соколовский, если исходить из его горячего темперамента, многих подробностей будущей жизни и положения старшего кадета, через несколько месяцев заканчивающего курс, мог вполне явиться на площадь в составе делегации. Несомненно, он уже тогда не был неприметным — по документам и воспоминаниям однокашников известно, что учился он отменно, имел страсть к чтению и тяготел к литературному труду. Но был ли он действительно на площади 14 декабря 1825 года — это, к сожалению, пока неизвестно. Предполагаю, однако, что он, в числе других старших воспитанников, не мог не принять участия в вечерних событиях того дня, о которых позже писал Н. С. Лесков, стенографически воспроизводя рассказ воспитанника 1-го Кадетского корпуса, очевидца давних событий.

«Фас нашего корпуса, как известно, выходил на Неву... Из окон фаса нам видно было на Исаакиевской площади огромное стечение народа и бунтовавшихся войск, которые состояли из батальона Московского полка и двух рот экипажа гвардии. Когда после шести часов вечера открыли огонь из шести орудий, стоявших против Адмиралтейства и направленных на Сенат, из числа бунтовавших появились раненые, то из них несколько человек бросились бежать по льду через Неву. Одни из них шли,

а другие ползли по льду, и, переправившись на наш берег, человек шестнадцать вошли в ворота корпуса, и тут который где привалились,— кто под стенкой, кто на сходах к служительским помещениям.

Помнится, будто все это были солдаты буйтовавшего баталиона Московского полка. Кадеты, услыхав об этом или увидав раненых, без удержа, но и без уговора, никого не слушая, бросились к ним, подняли их на руки и уложили каждого как могли лучше. Им, собственно, хотелось уложить их на свои койки, но не помню почему-то это так не сделалось, хотя другие говорят, что будто и так было... Может быть, что кадеты разместили раненых по солдатским койкам в служительской казарме и тут принялись около них фельдшерить и им прислуживать... Сейчас же они дали знать об этом директору Перскому, а сами меж тем уже сделали, как умели, раненым перевязку. А как буйтовщики стояли целый день не евши, то кадеты распорядились также их накормить, для чего, построившись к ужину, сделали так называемую «передачу», то есть по всему фронту передали шепотом слова: «Пирогов не есть — раненым, пирогов не есть — раненым...» Пирогов никто не ел, и все они были отнесены раненым, которые вслед за тем были куда-то убраны... Перский, который всех более отвечал за наши поступки, не сказал нам ни одного слова осуждения, а напротив, простился с нами так, как будто мы не сделали ничего дурного. Он даже был ласков и тем дал нам повод думать, как будто он одобрил наше ребячье сострадание».

В чистой прозе можно было бы описать, как Соколовский перевязывал раненых солдат, придумать соответствующие слова и целые диалоги, обрисовать его душевное состояние, когда он начал сочинять злые куплеты о событиях тех дней, только от этих домыслов читателю стало бы неудобно за автора, твердо знающего лишь то, как сибиряк-кадет в числе других встретил августейшего инспектора, прибывшего в корпус *на следующий день* после восстания. «Пятнадцатого декабря в корпус *неожиданно* приехал государь Николай Павлович,— пишет Н. С. Лесков.— Он был очень гневен...» Молодой царь, еще не избавившийся от смертельного страха, вошел в длинную залу, сурово насупясь, выслушал рапорт Перского, скрипнул сапогами перед строем, и все замерло под его холодным взглядом. Пытаясь придать голосу покровительственно-отеческие ноты, царь выкрикнул:

— Здорово, дети!

Прошла секунда, другая, и вот уж время, нужное для того, чтоб кадеты набрали воздуха и дружно гаркнули: «Здравия! Желаем! Ваше! Императорское! Величество!» — кончилось. Строй безмолвствовал.

Роман? Досужее литературное преувеличение? Ничуть! У меня в блокноте сохранилась выписка из записок другого вспоминателя: «При первом посещении государем 1-го корпуса на его приветствие: «Здорово, дети!» — ответили глубоким молчанием».

Воображаю, как царь сменился в лице, плечи его опустились

и он в гневном недоумении взглянул на директора корпуса, который обвел умоляющим взглядом старших воспитанников и нашелся — тихо и спокойно пояснил царю, что его воспитанники приучены отвечать на уставное приветствие.

— Здравствуйте, кадеты!

Строй ответил как положено, а государь, по Лескову, изволил громко сказать:

— Здесь дух нехороший!

— Военный, ваше величество,— отвечал полным и спокойным голосом Перский.

— Отсюда Рылеев и Бестужев! — по-прежнему с неудовольствием сказал император.

— Отсюда Румянцев, Прозоровский, Каменский, Кульнев — все главнокомандующие, и отсюда Толь,— с тем же неизменным спокойствием возразил, глядя открыто в лицо государя, Перский.

— Они бунтовщиков кормили! — сказал, показав на нас рукою, государь.

— Они так воспитаны, ваше величество: драться с неприятелем, но после победы призревать раненых, как своих.

Негодование, выражавшееся на лице государя, не изменилось, но он ничего более не сказал и уехал...

Обращение с нами все шло мягкое, человечное, но уже недолго: близился крутой и жесткий перелом, совершенно изменивший весь характер этого прекрасно учрежденного заведения».

Очевидно, еще в корпусе Владимир Соколовский был настроен антиправительственно. Он тяготел к литературе и, несомненно, знал свободолюбивую и патр ическую поэзию выпускников 1-го Кадетского корпуса — Кондратия Рылеева и Федора Глинки, знал, что многие прежние воспитанники его были арестованы и находились под следствием. Товарищество, корпоративность были в те времена непременными и прочными устоями, и Владимир Соколовский, вероятно, уже тогда находился под влиянием освободительных идей.

К сожалению, я не знаю, какие книги читал Владимир Соколовский в корпусе, скажу лишь о том, что он мог читать. Наверное, у многих из нас есть общее твердое представление о старых военных училищах — шагистика, верноподданическое воспитание, тупые «дядьки», полуобразованные учителя-офицеры и долбежка воинских уставов в качестве главной «литературы». Скажи мне, как говорится, что ты читаешь...

Нет, 1-й Кадетский (бывший Шляхетский) корпус был особым заведением. В своих воспоминаниях адмирал П. В. Чичагов писал о корпусе: «Воспитание в нем было столь же тщательное и совершенное, насколько оно возможно в какой бы то ни было стране. Там обучали многим языкам, всем наукам, образующим умы, там занимались упражнениями, поддерживающими здоровье и телесную силу: верховой ездой и гимнастикой; домашние спектакли были допущены в виде развлечения и забавы...» Об уровне профессиональной подготовки в корпусе свидетельствовал такой

факт. Когда фельдмаршал Румянцев, в одну из турецких кампаний попросивший Екатерину прислать ему двенадцать выпускников корпуса, подробно побеседовал с прибывшими поручиками, то написал императрице благодарность за присланных фельдмаршалов...

Но что читали кадеты? Тут я должен поведать читателю нечто необычное о библиотеке 1-го Кадетского корпуса. О ней стало известно незадолго до 1975 года, когда отмечался круглый юбилей восстания декабристов. Библиографическая сенсация, настоящее научное открытие — вот что это было такое, и умолчать о ней здесь я не вправе, тем более что судьба библиотеки связана с историческим эпизодом, которого мне уже пришлось коснуться,— имею в виду скандальное посещение 1-го Кадетского корпуса Николаем в 1826 году.

Составлялась библиотека 1-го Кадетского корпуса около ста лет, и это было *единственное в России столь полное книжное собрание изданий XVIII века!* Кроме разнообразных сочинений по военному делу, здесь была широко представлена историческая, философская и художественная литература, труды выдающихся писателей и мыслителей Запада — Вольтера, Дидро, д'Аламбера, Руссо, Гольбаха, Монтескье, Бюффона, Корнеля, Лессинга, Расина, Гельвеция, многих-многих иных. Причем некоторые из этих сочинений запрещалось продавать в книжных лавках Петербурга и даже Парижа, а будущие русские офицеры свободно их читали в стенах своего учебного заведения! Библиотекой 1-го Кадетского корпуса пользовался еще молодой Суворов, писатели Сумароков и Херасков, многие будущие декабристы.

Воспитанники корпуса вели с книгой большую активную работу — они внимательно прочитывали ее, выписывали наиболее примечательное, и, по воспоминаниям одного из питомцев корпуса, писателя и журналиста Сергея Глинки, «кому удавалось сделать хороший выбор мыслей, изречений, отрывков... тетрадь того удостаивалась переплета». Ленинградский библиограф Н. Д. Левкович, нашедший это сокровище и добивающийся его передачи, как единой книжной коллекции, в публичную библиотеку, писал мне: «Всего сохранилось 8853 книги, в том числе 848 книг на русском языке, 7640 книг на иностранных языках и 365 рукописных томов... Книги хранят на своих страницах следы работы над ними: разные пометки читателей, подписи первых библиотекарей, а в тетрадях можно найти и цитаты и собственные мысли воспитанников. Особенно примечательно антикрепостническое стихотворение, записанное кадетом Ламиковским:

Боярская забота
Пить, есть, гулять и спать.
И вся их в том работа,
Чтоб деньги собирать.
Мужик сушись, крушись,
Потей и работай,
А после — хоть взбесись,
А денежки давай».

Очень интересно было бы изучить эти кадетские рукописные сборники! Может, мы лучше поймем, как формировалось мировоззрение декабристов и какую роль в этом играла книга, может, встретим знакомые имена? Известно пока, что там, под переплетами, есть и антикрепостнические стихи, и свидетельства знакомства кадетов с «Путешествием из Петербурга в Москву» Радищева, с изданием Новикова, а одна из книг библиотеки, как пишется в газетном сообщении о ней, «внесла первое смятение в сознание юного Кондратия Рылеева». Нет, видно, не случайно 1-й Кадетский корпус дал России Кондратия Рылеева и Федора Глинку, Михаила Пущина и Алексея Веденяпина, Василия Тизенгаузена и Андрея Розена, Семена Красиокутского и Николая Мозгалевского...

Царь жестоко отомстил кадетам за безмолвный протест. Провинившихся в малой малости начали сажать в карцер. По воспоминаниям одного из воспитанников корпуса, напечатанным спустя много лет в «Русской старине», «заключенного содержали на хлебе и воде»... «спал он на жестком матраце без простыни и одеяла», а фельдфебели, унтер-офицеры, дежурные и ротные командиры получили «право оставлять без сбитня, обеда или ужина, класть на доски, ставить в угол и даже на колени, брать за уши и давать затрещины». Из преподавателей мемуарист тепло вспоминает о Белышеве, который воспитывался в корпусе и настолько преуспел в словесности, что был оставлен вести курс русской литературы. Он отлично читал кадетам комедии и трагедии, «причем мастерски менял голоса и умел выставлять важность, ничтожество или комичность действующего лица». Очевидно, Белышев пытался в те годы восполнить кадетам пробелы — ведь царь запретил в корпусе светскую книгу и сочинительство!

Трудно поверить, но тех кадетов, что приносили литературу из дома или магазинов, нещадно пороли, библиотеку корпуса было приказано закрыть насовсем, и у рассказчика Н. С. Лескова есть любопытные подробности об этом: «...Все шло о том, чтобы сузить наш умственный кругозор и всячески понизить значение науки. В корпусе существовала богатая библиотека и музеум. Библиотеку приказали *запереть*, в музеум не водить и наблюдать, чтоб никто не смел приносить с собою никакой книги из отпуска. Если же откроется, что, несмотря на запрещение, кто-нибудь принес из отпуска книгу, хотя бы и самую невинную, или, еще хуже, сам написал что-нибудь, то за это велено было подвергать строгому телесному наказанию розгами. Причем в определении меры этого наказания была установлена оригинальная постепенность: если кадет изобличался в прозаическом авторстве (конечно, смирного содержания), то ему давали двадцать пять ударов, а если он согрешил стихом, то вдвое. Это было за то, что Рылеев, который писал стихи, вышел из нашего корпуса».

Владимир Соколовский, окончивший корпус весной 1826 года,

был страстным книгочеем и в отрочестве и юности пользовался, как только что стало известно, исключительно богатым книжным собранием, лучшим в России. И кто знает, не гнусные ли меры *воспитания*, введенные в корпусе после восстания декабристов, окончательно распалили в душе Владимира Соколовского дух протеста, внушили ненависть к царю, которая позже заставляла поэта быть до отчаяния смелым в словах и почти безрассудным в поступках?

Существует, между прочим, замечательное документальное свидетельство, что дух декабризма не был выбит из кадетов розгами или пригашен насильственным сужением интересов. Через пять лет после восстания, суда и казней один из воспитанников корпуса оставил для размышлений историкам следующее воспоминание: «...еще во время бытности в корпусе слышал там угрожательные выражения о перемене существующего порядка. «Семена, посеянные Пестелем и Рылеевым, мы возродим вновь»,— так говорили некоторые кадеты и даже учитель российской словесности Белышев». С этим учителем, очень, должно быть, интересным человеком, мы встретимся еще раз по пути...

В Красноярске Владимир Соколовский помогает А. П. Степанову в создании его труда «Енисейская губерния», собирая статистические данные, много путешествует по краю, наблюдает, размышляет и узнает. Сохранилась привычка к серьезному чтению — я нашел дневниковую запись, свидетельствующую, что в Красноярске Соколовский читал Горация и Смита. И еще он сочинял стихи. Та же дневниковая запись: «Во время болезни писал «Перерождение» и начал что-то лирико-драматическое: «Шесть первых дней» и пр.». А в «Литературном прибавлении к «Русскому инвалиду» за 1831 год были впервые напечатаны стихи Соколовского «Утро на Енисее», датированные июнем 1828 года...

Протягиваю роликом подсвеченные пленки из дела «О лицах, певших в Москве пасквильные песни», разыскивая любое упоминание о Николае Мозгалевском, и вдруг выхватываю глазом какой-то странный вопрос следователя: «Что означают положения в §23 Устава: «Стыд — кто не исполнит обязанности, бесчестье — кто изменит слову»?..» Не так строго, как в «Клятве славян», но по краткости и категоричности своей формулировка отдаленно напоминает стиль прекрасного в своей наивной святости Петра Борисова. Но что значит — «обязанности»? Какому «слову» нельзя было изменить, не покрыв себя бесчестьем? Ответ Соколовского: «Это — пустой набор слов молодого 20-летнего человека»... Что за Устав? Владимир Соколовский, оказывается, организовал в Сибири литературное общество и написал его Устав из двадцати четырех параграфов, определяющих основы руководства, порядок собраний, представления и разбора рукописей, принципы дисциплины и ведения документов, права и

обязанности членов. Изорванные листки Устава были найдены жандармами среди бумаг Соколовского при его аресте в Петербурге. Собранные, склеенные и прочитанные, онн вызвали большие подозреиия следствия, и первый вопрос дозиаиия наводил имеино на них: «По пребыванию Вашему в Сибири не известно ли Вам, чтобы существовали там или где-либо в других местах какие-нибудь особо составленные общества?» Соколовский ответил отрицательно, однако, зная, что последуют дополнительные вопросы, добавил: «Впрочем, по приезде в Красноярск в 1827 году я хотел было, чтобы любители русской словесиости свободное от службы время вместе со мною посвящали литературным чтениям и чтобы каждый по прочтении своей статьи виосил оиую в общий портфель, чтобы после, при достаточном сборе пиес, предоставить их в цензуру и наконец напечатать...»

Как ни старалось следствие узреть в «Красноярской Беседе» литературный филиал некоего тайного общества свободолюбов, созданного в Сибири вскоре после разгрома декабристских оргаиизаций, ему этого сделать не удалось. Владимир Соколовский защищался хладнокровно и умио. Нет, никаких протоколов заседаний не велось, потому что и самих-то заседаний, можно считать, ие было, иикаких обрядов и клятв при приеме в члены Беседы не существовало, кроме чаепитий, и объединение самораспустилось, потому что «около того времени отбирались подписки о тайных обществах», и молодые люди заопасались, чтобы их литературиые беседы «не показались подозрительными». Но вот последовал довольно каверзиый вопрос: «Было ли дозволено от правительства учреждение Красноярского литературного общества?» Соколовский: «Как Красиоярская литературная Беседа не имела никаких форм, чтобы составить так называемое общество, то мною и ие было испрашивано дозволение правительства на учреждение оной»... И добавляет, кажется, истинно «соколовское» ироиичное пояснсиие: он совсем не предполагал, чтобы на домашиие вечера с чаепитием должно было испрашивать дозволения.

«Красноярская литературиая Беседа» вроде бы не имела никакого политического оттенка и преследовала чисто литературные и просветительные цели, замыкающиеся на любительских упражнениях в словесности. Однако никаких документальных данных для столь категоричного вывода нет, и я хочу здесь впервые в нашей печати обратить внимание на некоторые любопытные детали, которые следует рассматривать купно, в связи друг с другом. Точно известио, что состоялось по крайней мере д в а с о б р а н и я Беседы, но о чем на них говорилось и какие рукописи обсуждались, мы не знаем. Сохранился Устав с провозглашением в нем строжайшего распорядка и дисциплины — подобного документа в других литературных кружках того, и не только того, времени не существовало. Интересно, что президент, секретарь и действительные члены Беседы должны были иметь л и ч н ы е п е ч а т и. Мы не знаем, далее, из каких критериев должна была исходить

Беседа, принимая новых членов, но соответствующие параграфы Устава говорят о том, что не каждый встречный мог вдруг войти в ее состав. Любопытен параграф 21, провозглашающий довольно строгий организационный принцип: «Ни один из членов не имеет права приглашать в сочлены кого-либо, без согласия и определения Беседы». И параграф 22: «Вступающий в Беседу должен представить предварительно свою статью на рассмотрение». Конечно, здесь могла подразумеваться чисто литературная подготовленность будущего сочлена, однако *об этом критерии нигде в Уставе прямо не сказано*, что было бы вполне закономерно для невинного литературного объединения. Обратил я также внимание на то, что сразу же после определения цели («*польза* и благородное удовольствие») и состава Беседы («президент, члены и секретарь») следует положение — «число присутствующих в Беседе *по обстоятельствам* может ограничиваться: президентом, одним членом и секретарем».

Подчеркнутые мною слова никак не расшифрованы в Уставе. Какая «польза» имелась в виду? По каким «обстоятельствам» руководители Беседы могли проводить официальную, протоколируемую встречу с одним только членом? Быть может, это были те обстоятельства, когда только узкий круг должен был рассматривать какую-нибудь одну из четырех статей, обязательно, согласно Уставу, предоставляемых ежемесячно каждым членом Беседы? А чем объяснить такие строгости, предусмотренные Уставом и провозглашенные, например, в параграфе 12: «К назначенному для заседания часу члены должны являться непременно»? В случае же невозможности сего присылать письменное объяснение «причины своего отсутствия».

И еще вопросы. Зачем было Владимиру Соколовскому при его постоянных дальних переездах до 1834 года хранить Устав? Это могло быть случайным — из-за личной, скажем, страсти пишущего человека к своим бумагам. Но почему автор давнего документа пытался его уничтожить перед арестом? Никто пока этого не объяснил.

Может, что-нибудь прояснит состав Беседы? Организатор ее Владимир Соколовский числился секретарем, но кто был президентом? Об этом человеке, двоюродном брате Соколовского, стоит вспомнить. Стихи Николая Степанова, сына енисейского губернатора, печатались в Москве и Петербурге. Он продолжал их писать и позже, переехав из Сибири в столицу, и я приведу начало его послания «К С. С. Д...ой».

Есть на земле чудесные созданья;
Умом нельзя их разгадать вполне.
Мы любим их без цели, без сознанья,
Как божью весть о лучшей стороне...

Стихи обращены к невесте, будущей жене. Это была С. Даргомыжская, родная сестра великого русского композитора. Романтические стихи Николая Степанова печатались в «Галатее»,

«Литературном прибавлении к «Русскому инвалиду», пользовались известным успехом. Однако главный его вклад в нашу культуру состоял не в этом. Московский университет и его Благородный пансион, воспитавшие много прекрасных русских людей, не дали Николаю Степанову специального художественного образования, но с детства проявилась в нем тяга к карандашу и кисти. Это он изящно, со вкусом оформил «Енисейский альманах» 1828 года. Переехав в 30-е годы в Петербург, он знакомится с видными деятелями русской культуры — Некрасовым, Глинкой, Панаевым, Брюлловым, Даргомыжским, Тургеневым, Гончаровым. Истинным призванием Николая Степанова оказался реалистический сатирический рисунок. Его карикатуры в журнале «Ералаш», в «Иллюстрированном альманахе» Некрасова и Панаева, отдельных альбомах завоевали огромную популярность в России. Н. Степанов по праву считается создателем графического шаржа и социальной карикатуры. Позже, в годы подъема революционно-демократического движения, он вместе с поэтом Василием Курочкиным открывает знаменитый журнал «Искра», в котором публикует более полутора тысяч своих острых злободневных карикатур. Потом он основывает журнал «Будильник» и продолжает работать в излюбленном жанре. Карандашные рисунки Николая Степанова, литографированные или воспроизведение с гравюр на дереве — это была целая эпоха в прогрессивной русской журналистике прошлого века, и недаром его называют «первым сатириком в живописи». Умер Николай Степанов в 1877 году...

Однако вернемся ко временам «Красноярской литературной Беседы». В числе ее членов был также поэт-сибиряк Иван Петров, составитель и редактор «Енисейского альманаха». Свои романтическо-лирические стихи он печатал с начала 20-х годов в столичной периодике, а в начале 30-х годов Иван Петров, как и его товарищи по Беседе Соколовский и Степанов, приезжает в Россию. В Петербурге он сблизился с литератором и издателем Николаем Полевым, бывшим иркутянином, но вскоре переехал в Харьков, основав там альманах «Утренняя звезда». Писал и печатал стихи, в том числе на излюбленную свою тему — о родной Сибири. Умер Иван Петров в 1838 году в Бессарабии.

Действительным членом «Красноярской литературной Беседы» был губернский чиновник И. Белопольский. О нем почти ничего неизвестно, однако мы уже знаем, что губернатор умел подбирать толковых, прогрессивных по убеждениям помощников. Бесспорно, членом Беседы стал бы поэт и «чиновник не вполне благонамеренный» А. Кузьмин, но в тот момент он служил окружным начальником в своих хакасских степях. Кстати, Кузьмин был не только лично связан со ссыльными декабристами, но и рискнул опубликовать в «Енисейском альманахе» стихотворение «Странник» с его примечательными строками:

> Здесь в Сибири и изгнанник
> Встретит добрые сердца.

Вспоминаю, что М. М. Богданова рассказывала мне, как в пору своей молодости перевернула много страниц старинной периодики, чтоб отыскать стихи первых певцов Сибири, забытых литературоведами, как позже первой опубликовала статью о Беседе.

— Мария Михайловна! — говорю я в трубку.— После вас «Красноярской литературной Беседой» никто из историков не интересовался?

— Кажется, никто,— подтверждает она и смеется.— Кроме вас... Как чувствовала, что вы ею займетесь, если нападете на след.

— Спасибо за комплимент... Понимаете, в солидной пятитомной «Истории Сибири» о ней ни слова, в Литературной энциклопедии тоже. В Большой Советской сказано, что Николай Степанов, например, родился в Калуге, а о том, что он много лет жил в Сибири, встречался там с декабристами, писал стихи, был президентом первого сибирского литературного общества, не упомянуто. И для меня в Беседе много неясного,— говорю я.

— Например?

— Направленность... И еще, знаете, меня заинтересовала одна частность,— как вы думаете, когда были написаны Владимиром Соколовским «пасквильные» стихи?

— Не задумывалась над этим.

— Однако я хочу немножко подогадываться.

— В добрый час! — В ее голосе послышалась едва уловимая ирония.— Знаете, некоторые исследователи даже отрицают его авторство... А нарымские следы нашего предка нашли?

— Пока нет... У меня опыта мало и никакой методики. Никуда, однако, не денутся! Прежде надо бы разобраться с Владимиром Соколовским...

Да, конечно, думал я, установить, когда в точности Владимир Соколовский написал свои «пасквильные» стихи, вряд ли удастся кому-нибудь. И все-таки нельзя ли хотя бы предположительно датировать сатирические куплеты «Русский император» и злую песенку «Боже, коль силен еси...»?

Вдруг в дневнике Соколовского читаю знакомую фразу: «Полвека своего он царствовал в дороге и умер в ....». Вопрос: «Кем сочинены и к кому относятся сии слова?» Ответ: «Кем сочинено неизвестно, но ручаюсь, что в 1830 году вписал сию надпись в свой дневник, зная, что она относится к Высокому лицу покойного государя Императора». Я же слышал когда-то, что эту короткую язвительную эпиграмму долго приписывали Пушкину, назвавшему в ноэле Александра I «кочующим деспотом», но видные исследователи не подтвердили его авторства. Не исключено, конечно, что сочинил ее сам Соколовский — эту политическую присказку сближает с «пасквильными» стихами тема, саркастическая тональность, время...

Беру статью В. Безъязычного и В. Гурьянова, напечатанную в «Вестнике Московского университета» в 1957 году, сажусь с нею за свои выписки из дела «О лицах, певших в Москве пасквильные песни». Да, авторство Соколовского отрицается, и прежде всего на основании материалов следствия. «Ценнейшим документом в этом отношении» считаются показания привлеченного по делу художника-разночинца А. В. Уткина, московского приятеля Владимира Соколовского. Еще кручу пленку и действительно нахожу его признание о том, что дерзкую пародию на гимн, начинающуюся словами: «Боже, коль силен еси...», написал он, Уткин, быв. в нетрезвом виде», в 1832 году. Но постойте-ка! Такое «признание» — никакое не доказательство. Не будем говорить о том, что написанного авторского текста следствие не имело, что не было и нет никаких подтверждений склонности Уткина к пародийному стихотворству и можно ли вообще писать стихи «в нетрезвом виде». Уткин никак не мог сочинить этот куплет в 1832 году, потому что половину «героев» его уже не было возможности посадить на кол — Александр I («Сашинька») «богу дух вручил» в 1825 году в Таганроге, влиятельнейшая вдовствующая императрица Мария Федоровна («Машинька») умерла в Петербурге в 1828-м, а великого князя Константина Павловича («Костиньку») побрала витебская холера 1831 года. Эти обстоятельства позволяют рассматривать показание Уткина как попытку отвести главный удар от Владимира Соколовского. Ту же цель он преследовал, когда утверждал, что песню «Русский император» он услышал от Александра Полежаева, отданного в солдатскую службу в 1826 году.

Далее авторы статьи пишут, что главный ответчик не сознался в своей причастности к тексту куплетов, между тем отставной поручик Л. К. Ибаев заявил, что он «выучил эту песню» именно от Соколовского, который заменил в ней последнюю строчку на «Сукин сын, подлец!» Кстати, *в такой редакции* песню напечатал много лет спустя Герцен, узнавший ее, наверное, также от самого Соколовского.

И последнее утверждение о стилевом различии «Русского императора» и стихотворного наследия поэта, «вошедшего в историю русской литературы в качестве автора эпических стихов «библейской поэзии». Безосновательность этого утверждения станет нам очевидной тогда, когда мы убедимся, что Владимир Соколовский характерен как раз необыкновенной стилистической пестротой, достаточно хорошо владел поэтической и прозаической пародийной формой.

И при всем, как говорится, при том специалисты, основываясь главным образом на показаниях Уткина, якобы *услышавшего* песню «Русский император» от Александра Полежаева, приписали авторство ее... Александру Полежаеву. Правда, это «открытие» было позже оспорено другими исследователями, как и еще менее доказательное утверждение еще одного современного ученого, будто пародию на официальный гимн «Боже, коль силен еси...»

написал А. А. Дельвиг. Мне, кажется, посчастливилось найти *прямое,* хотя и довольно тонкое, не замеченное исследователями свидетельство, что автором обоих текстов был Владимир Соколовский, но об этом чуть позже, а сейчас надо бы окончательно установить место и время их создания.

Соколовский, естественно, не мог сознаться в своем авторстве, отлично представляя, чем это ему грозит. Возвратившись к его показаниям, отмечаю, что он великолепно владел собой, острил, иронизировал, и вдруг вижу одно слово, на которое раньше как-то не обратил внимания. Соколовский утверждает, что сочинитель «пасквильных» куплетов ему неведом, однако слышал их по выходе из 1-го Кадетского корпуса. Арест и следствие, как известно, были в 1834 году, а *«пасквильные»* стихи, как двустрочная эпиграмма из дневника Соколовского, *посвящены событиям девятилетней давности.* Причем все это было сочинено буквально по горячим следам! Поначалу была жива еще вся августейшая фамилия, и лишь в самом конце 1825 года у всей России оказались на устах эти новости — внезапная смерть Александра, отречение Константина, воцарение Николая. Однострочная эпиграмма фиксирует лишь смерть Александра, своеобразно осуждая его правление и бесславный конец в захолустном российском городишке. В песне «Русский император» сквозит отношение к этим событиям передовой, революционной части общества, в ней живет декабристский дух. Через девять лет все эти страсти, конечно, улеглись, и очень нелогично было бы сочинять стихи о давно минувших событиях, тем более что они в общественном сознании уже успели затушеваться другими. Были подавлены выступление на Сенатской площади и восстание Черниговского полка, свершилась казнь пяти героев 1825 года, заточены в крепости, разжалованы в солдаты и сосланы в Сибирь лучшие сыны России. Далее последовало «запечатывание умов», разгул аракчеевщины, военные поселения, турецкая война и, наконец, польское восстание, во время которого «Костюшка урод», великий князь Константин Павлович, едва унес ноги из Варшавы... Итак, почти не остается сомнений, что песни «Русский император», «Боже! Коль силен еси...» и эпиграмма «Полвека своего он царствовал в дороге и умер в Таганроге» написаны в разгар декабрьских событий 1825 года и сохранились в памяти передовой русской молодежи из-за своей политической силы, разящей самую главную цель, «святая святых» — царское семейство.

И если автором их счесть Владимира Соколовского, то он должен был написать эти сатирические произведения еще в корпусе. И кто знает, не было ли наказание розгами за сочинение стихов вызвано тем, что еще тогда властям стали известны хотя бы отголоски этих злейших куплетов? В конце концов, почему Николай, пребывая во власти страха и обремененный множеством неотложных забот, *на следующий день* после подавления восстания декабристов прибегает именно в 1-й Кадетский корпус, а не в другое военное учебное заведение?

Если предположить, что царь решил проинспектировать опасное декабристское гнездо, то почему бы ему не явиться и в петербургский Морской корпус, из которого вышло даже больше декабристов, чем из знаменитой Московской школы колонновожатых.

Свет декабризма не мог вдруг погаснуть в 1-м Кадетском корпусе, даже среди младших кадетов. Вспомним, что говорилось о возрождении семян, посеянных Пестелем и Рылеевым, учителем российской словесности Белышевым. Между прочим, преподаватель этот жгуче интересовал меня, но мне ничего не удалось о нем найти. Где-то в толщах архивов лежат, конечно, подробные сведения о нем, и когда-нибудь и кто-нибудь найдет их — в добрый, как говорится, час! Мне же посчастливилось *документально* установить более позднюю связь между Владимиром Соколовским и этим Белышевым. Даже вздрогнул, увидев приметную фамилию на страницах того же дела о «пасквильных песнях», в которое, оказывается, был включен вопрос о петербургском «Тройственном союзе». Что еще за союз? Читаю ответ: «Это шутливое название означает общее согласие, изъявленное Вл. Соколовским и санкт-петербургскими чиновниками Александром Белышевым и Леопольдом Брандтом, издавать с нового года некую Литературную газету веселого содержания». Надо же — «Тройственный союз»! Так рискованно мог шутить, кажется, только Владимир Соколовский...

А кто такой санкт-петербургский чиновник Белышев? Нахожу в деле строчки, где А. Л. Белышев называет себя «любителем литературы и проповедником истин ее с учительской кафедры». Он! Владимир Соколовский, должно быть, хорошо знал преподавателя русской словесности Александра Белышева еще по корпусу, если через восемь лет они сразу же не только отыскали друг друга в Петербурге, но и сошлись на общей литературной затее...

Не могу оторваться от московского дела о «пасквильных песнях», пока не найду в нем следов декабриста Николая Мозгалевского! Николай Огарев, кажется, куда лучше Герцена знал молодого поэта, они чаще встречались, и за ними давно следили жандармы. В вину им обоим вменялось, например, что 23 декабря 1833 года они были замечены у подъезда Малого театра певшими французскую арию «Allons enfants de la Patrie!» («Вперед, сыны Отечества!»), и эта, по жандармской терминологии, *«ария»* есть не что иное, как знаменитая революционная «Марсельеза» Руже де Лилля. В деле отмечается также, что за связь с одним из разжалованных в солдаты студентов Московского университета Николай Огарев был взят «под строгий надзор», а Владимир Соколовский в Москве, оказывается, не однажды — что очень похоже на него — публично пел свои «пасквильные» песни перед

бюстом императора, учил и даже *заставлял* петь других, в том числе и какого-то цирюльника.

И вот приговор. Обстаиовка, в которой он объявлялся, подробно описана в «Былом н-думах». Друзей свезли нз разиых мест предварительного заключения к представнтелю зиамеиитого рода русских вельмож, члену Государственного совета князю С. М. Голицыну. Присутствовали также генерал-майор Цыиский н аудитор Ораиский. Перед «торжеством» молодые люди, встретившись впервые после ареста, обиимались, шутили, анекдотничалн. «Соколовский был налицо, несколько похудевший и бледный, но во всем блеске своего юмора». Приговор: заточенне в Шлиссельбург на *бессрочное время...*

И вдруг меня поразила одиа деталь этой церемоиии, не замеченная до сих пор исследователями. Вглядываясь в давио уже зиакомые строки Герцена, я увидел нечто иеобычиое — малозаметное, косвенное, но почти неопровержимое подтверждение авторства «пасквильных» стихов! Важнейшее это *свидетельство принадлежит самому Владимиру Соколовскому.* Посмотрите: «Когда Оранский, мямля для важиости, с расстаиовкой читал, что за оскорбление его велнчества н августейшей фамилни следует то и то, Соколовский ему заметил: «Ну, фамнлию-то я иикогда не оскорблял». Это дерзкое н тоикое, совсем в духе Владимира Соколовского, замечание есть по сути своеобразное его прнзнание — воистину в своих песиях он никогда не упомииал *фамилию* Романовых, только имена Константина н Николая в «Русском нмператоре», «Сашииьку, Машиньку, Мишаньку, Костииьку н Николаюшку» в «Боже, коль силен еси...», а в эпнграмме, если допустить, что Соколовскнй ее автор, царь назван местоимением «он». Вполне возможно, что в своей реплнке Соколовский выделил ударением слово *«фамилию»*, но Герцен этого не заметил или не отметил, когда вспомнил о ней много лет спустя в Лондоне. Впрочем, слово это даже без курсива или разгонкн шрифта само собой выделяется интонациоино н даже грамматическн с помощью усилительных частиц «иу» и «то»...

И еще Герцен вспомннает, что Соколовский вместе с товарнщами по судьбе «геройски» выслушал приговор. Будучи Соколовским, он нашел в себе силы пошутить даже в такой момент. Генерал-майор Цынский, тот самый, что подписал «верно» под песней Соколовского, где весьма *неуважительно* перечисляется правящая августейшая фамилня в полном своем составе к началу ноября 1825 года, был, очевидио, законченная полицейская дубина. Герцен: «...Чтобы показать, что н он может быть развязным н любезным человеком, сказал Соколовскому после сентенцин: «А вы прежде в Шлиссельбурге бывали?» — «В прошлом году,— отвечал ему тотчас Соколовский,— точно сердце чувствовало, я там выпил бутылку мадеры».

Герцена вернули в ту же камеру Крутицких казарм еще иа двадцать дней — до отправки в вятскую ссылку, а Соколовского сразу же увезлн в Шлиссельбург...

У дежурной по архивному залу прошу оставить за мной коробку с дюралевыми стаканчиками, чтоб еще вернуться к этому единственному большому следственному делу, состоявшемуся в России после дознания декабристов и перед расправой с петрашевцами. Оно все же, кроме ненайденных следов «нашего предка», содержало для меня некую тайну, имеющую к тому же близкую историческую параллель. До сих пор никто в точности не знает, почему декабрист-сибиряк Гавриил Батеньков, не принявший непосредственного участия в событиях 1825 года, стал единственным из пятисот с лишним подследственных на бессрочное время заточенным в крепостную одиночку. И никто даже не ставил перед собой вопроса, за какую такую особую вину был приговорен на бессрочное одиночное заключение в Шлиссельбургской цитадели поэт Владимир Соколовский, единственный из двенадцати арестованных. Это был из ряда вон выходящий и, кажется, последний случай в истории России, если не считать более позднего одиночного заточения революционера-ученого Николая Морозова, отсидевшего в крепости последнюю четверть XIX столетия и первые пять лет с годичной добавкой уже в XX веке.

Даже Александр Герцен, уверенный, что песню «Русский император» сочинил Владимир Соколовский, счел этот приговор *ужасным и диким*. Герцен, Огарев и даже Уткин, не только певший куплеты почти в присутствии самого обер-полицмейстера Цынского, но и взявший на себя вину в авторстве злейшей антимонархической пародии «Боже, коль силен еси...», а также все остальные подследственные получили куда более легкие наказания, нежели Владимир Соколовский. А ведь он не был уличен полицией в пеини «пасквильных» песен ни 24 июня, ни 2 июля 1834 года, «никто из привлекавшихся по этому делу,— справедливо писали В. Безъязычный и В. Гурьянов,— не указывал на Соколовского как на автора песни «Русский император...», да и сам поэт ни словом не проговорился на допросах о своем авторстве. За что же тогда ему одному — бессрочное одиночное заточение в строгорежимной крепости для государственных преступников? На каком основании? Нет, здесь скрывалась тайна! Может, в особую вину ему вменялось общение с декабристами в Сибири? Владимир Соколовский привез на родину свежие личные впечатления о событиях 1825 года, воспоминания о товарищах-кадетах и преподавателях, среди которых был Александр Белышев — человек, очевидно, передовых и смелых взглядов. И если учесть, что Владимир Соколовский стал свидетелем и участником скандального визита в корпус Николая I, что при нем арестовывали замечательную библиотеку, которой он был обязан своими знаниями и мировоззрением, иачали пороть кадетов за чтение книг и сочинительство, если допустить, что свои предерзкие песни он иаписал еще в корпусе, то мы должны признать этого молодого человека, возвратившегося в Сибирь, вполне сформировавшимся политически.

А теперь мысленно поставьте себя на место восемнадцатилетнего образованного и талантливого сибиряка, только что пережившего первое в истории России организованное выступление против самодержавия, знавшего хотя бы по слухам-разговорам многих участников его, благородных страдальцев, окруженных ореолом героизма, святости и страданий. И вот они, живые, следуют Сибирским трактом через Томск и Красноярск, где останавливаются на отдых непременно с ведома местных губернаторов, оказывающих им неизменно добрый и достаточно неофициальный прием, а молодые сыновья этих губернаторов почтительно беседуют с ними, расспрашивают и ободряют...

Сибирская жизнь Владимира Соколовского и Николая Степанова началась, в сущности, с этого огромного события — личных встреч с декабристами.

Документально засвидетельствовано общение в Томске с Владимиром Раевским — об этом пишет сам первый декабрист. Именно Владимир Соколовский спросил его по прибытии, сколько он намерен пробыть в городе, и передал отцовские слова, чтобы этот вопрос решал сам изгнанник. Они пообедали, потом вместе провели вечер — на этой встрече присутствовал также томский чиновник Аргамаков, передавший Раевскому давнее письмо Батенькова. Первый декабрист, как он вспоминает, «еще пробыл один день между этими благородными, честными людьми».

Неизвестно, о чем говорилось между ними два дня, однако думаю, что общение с легендарным узником не прошло бесследно для Владимира Соколовского. Не сомневаюсь, что встречался он и с другими декабристами в томском доме своего отца. В Красноярске же Соколовского на первое время приютила семья губернатора Степанова, и это были те месяцы, когда декабристов — партию за партией — везли через город на каторгу и в ссылку. Известно, что в губернаторском доме приостанавливались Ентальцев, Корнилович, Кривцов, Пестов, многие другие, и со «славянином» Александром Пестовым, например, у Соколовского вполне могло состояться близкое знакомство. Дело в том, что енисейским вице-губернатором служил родной дядя этого декабриста, осужденного по первому разряду. Проезжая через Красноярск после почти полуторагодового заключения в Шлиссельбурге, Пестов воспользовался родственным гостеприимством, даже получил в подарок от родственника теплую шубу и, возможно, также узнал «добрые сердца» здешних молодых, «благородных и честных» людей.

Возможно также, что Владимир Соколовский и Николай Степанов вновь встретились с Владимиром Раевским во время их поездки летом 1829 года в Иркутскую губернию,— известно, что первый декабрист предназначал одно из своих сибирских стихотворений для нового, несостоявшегося выпуска «Енисейского альманаха». Не исключены и другие знакомства Соколовского с декабристами, рассеянными тогда по всей южной Сибири,

которую молодой поэт исколесил за пять лет службы в Енисейском губернаторстве...

И Соколовский жил еще в Красноярске, когда там было разрешено из-за паралича ног остаться Семену Краснокутскому, одному из самых старших по возрасту декабристов. Он участвовал в кампании 1807 года и за отличие при Фридланде был награжден золотой шпагой. Потом 1812 год, Бородино. В боевой биографии его — Люцен, Кульм, Париж. Полковник, действительный статский советник, обер-прокурор правительствующего Сената и член Южного общества, был осужден по тому же восьмому разряду, что и Николай Мозгалевский. Сослали Краснокутского дальше всех — на «полюс холода», в Верхоянск. Потом Витим, тяжелое заболевание, разрешение поселиться южнее. В 1831 году красноярский дом этого образованного, умного, много пережившего и повидавшего человека сделался одним из общественных центров и охотно посещался местной интеллигенцией. Маловероятно, чтобы Владимир Соколовский упустил случай познакомиться с ним или хотя бы навестить больного старшего товарища, закончившего тот же 1-й Кадетский корпус.

Правда, я не нашел еще следов его общения с декабристом Николаем Мозгалевским, но и без этого не следует ли по-новому, повнимательней и посерьезней, отнестись к попытке Владимира Соколовского создать в Сибири кружок политических единомышленников под видом «Красноярской литературной Беседы»?

20

— **М**ария Михайловна,— начинаю я очередной разговор с человеком, которого все больше уважал и ценил.— Мне кажется, что герценовская характеристика Соколовского — как бы это сказать? — не совсем...

— Что вы имеете в виду?

— Герцен утверждает, например, что Соколовский не был политическим человеком. Верно, политическим деятелем его считать нельзя, но ведь в Шлиссельбург, да еще на бессрочное время, могли заточить только за политику! А герценовское «bon vivant» как-то совсем не подходит к Соколовскому.

— Герцен мало его знал, писал о том, что было на виду. У Соколовского, между прочим, есть своего рода поэтические самохарактеристики. Например, вот эта — дай бог память! — Мария Михайловна прикладывает руку ко лбу.— Да, да, вспомнила!

Мне в жизни — жизни было мало,
И я желал жить дважды вдруг!

Память у нее просто поразительная! Помнит строчки, прочитанные полвека назад, даты и обстоятельства мельчайших событий, совсем эпизодические лица минувшего века и нынешнего. Разговаривать с ней необыкновенно интересно — всякий раз узнаешь такое, чего не думал не гадал узнать и что как-то естественно и вдруг входило в круг моих интересов и расширяло его. Вот я высказываю внезапно пришедшую в голову мысль:

— Мне кажется, у Соколовского было много общего с Александром Полежаевым. Та же трудная биография, та же озорная поэзия, тот же политический окрас. Только Соколовский временами позлее был. Это своего рода первые поэты-разночинцы.

— А знаете ли вы о том, что они были друзьями? Здесь, в Москве.

— Вон как сходится!

— Да. Но у Соколовского были, между прочим, интересные лирические стихи, с этакой тонкой народной тональностью... Последний раз его книжка вышла из печати очень давно,— продолжает Мария Михайловна.— В шестидесятые годы...

— Ну, это не так уж давно,— возражаю я.

— Нет, вы не поняли, я имею в виду прошлый век. Точнее — в тысяча восемьсот шестьдесят седьмом году.

— Найду.

Соколовского уже давно не было в живых, но тогда его еще помнили...

У меня, кажется, не было случая рассказать, кто такая Мария Михайловна Богданова, правнучка декабриста Николая Мозгалевского, какое у нее образование и чем она в жизни занималась. Есть один давно укоренившийся в нашем языке неологизм прошлого века, одно, можно считать, коренное русское слово, которое точнее и яснее всех других скажет о том, кто была моя собеседница. Она — *бестужевка.*

Более ста лет прошло с того дня, как открылись в Петербурге курсы, получившие название Бестужевских. За них шла долгая и неравная борьба передовых того времени людей, потому что это не были какие-нибудь там курсы кройки и шитья, а первый в истории России женский уни-

верситет с физико-математическим и словесно-историческим факультетами. Даже по нынешним меркам, когда никому не в диковинку огромные учебные комбинаты, Бестужевские курсы были довольно внушительными — молоденькая сибирячка Маша Богданова, поступившая на них незадолго до первой мировой войны, стала одной из ***семи тысяч*** русских девушек, прослушавших курс.

Ну, а почему название этих курсов возвращает нас к славной фамилии, которую вы не раз встречали за время нашего путешествия в прошлое? Курсы были основаны группой прогрессивных ученых и общественных деятелей во главе с профессором А. Н. Бекетовым. Среди женщин-учредительниц — А. П. Философовой, З. П. Тарновской, Н. В. и П. С. Стасовых, О. А. Мордвиновой, Е. И. Конради — выделялась своей настойчивостью и энергией М. В. Трубникова, дочь декабриста Василия Ивашева. И хотя название курсов никак не связывалось с братьями-декабристами Александром, Николаем, Михаилом и Петром Бестужевыми, они все же получили «декабристское» имя — по начальной половинке фамилии первого их ректора — Бестужева-Рюмина. Профессор русской истории Константин Николаевич Бестужев-Рюмин приходился родным племянником казненному подпоручику Михаилу Бестужеву-Рюмину, объединителю «славян» и «южан», главному распространителю среди них пушкинской вольнолюбивой поэзии, другу и неотлучному спутнику Сергея Муравьева-Апостола во время восстания Черниговского полка. Академик К. Н. Бестужев-Рюмин написал немало книг по истории, философии, славяноведению, опубликовал более трехсот научных статей, первым, в частности, высказав догадку о том, что «Повесть временных лет» — свод многих начальных русских летописей...

— Вскоре после моего поступления на курсы я увидела Блока,— Мария Михайловна уходит глазами вдаль и словно видит тех людей, каких уже мало кто из живущих видел.— Отмечался юбилей курсов, и на это торжество Александр Блок пришел в актовый зал со своей женой Любовью, дочерью Дмитрия Ивановича Менделеева, когда-то бесплатно читавшего здесь лекции, и матерью, урожденной Бекетовой,— основателю наших курсов поэт приходился внуком. Блоком все мы тогда бредили...

Девушки-бестужевки активно участвовали в революционной деятельности, среди слушательниц были народоволки и марксистки, их преследовали, ссылали, а однажды первый русский женский университет даже закрыли на четыре года, и потребовались новые усилия ученых и общественности, чтобы его восстановить. Бестужевками были О. К. Буланова, М. К. Трубникова-Вырубова, Н. К. Крупская, А. И. Ульянова-Елизарова, Л. А. Фотиева, З. П. Невзорова-Кржижановская, Д. В. Ванеева-Труховская, Н. М. Чернышевская, известная советская писательница А. А. Караваева, академик П. Я. Кочина...

— В своем сибирском захолустье я не была политически подготовленной и до приезда в Петербург даже о Марксе ничего не знала. Лишь

на собраниях сибирского землячества услышала первые революционные песни. Когда началась германская война, мы организовали в Петербурге общество помощи раненым сибирякам — посещали госпитали, помогали чем могли, разыскивали семьи неграмотных солдат. До сего дня дословно помню одно письмо из Сибири, оказавшееся в моих руках: «Господин Петроградский Конторщик! Наведи справку про моего сына Ивана. Жив ли он, или уж сложил голову за царя и отечество?»

Между прочим, в войну я дважды побывала на крейсере «Аврора», не зная, что он войдет в летописи мировой истории. Бестужевки туда приглашались через моих двоюродных братьев-гардемаринов... Вскоре я стала свидетельницей Февральской революции. Помню митинги, демонстрации, плакаты, видела шествие по Невскому от городской Думы к Николаевскому вокзалу. Во главе шел Горький с Андреевой, ученые и писатели. У нас на Васильевском острове революционный порядок взялись блюсти солдаты расквартированного поблизости лейб-гвардии Волынского полка. Возникала милиция, на улицах открывались питательные пункты для солдат, и я с подругами-бестужевками работала в таком пункте на Среднем проспекте, раздавала солдатам хлеб с колбасой и ветчиной, топила огромный самовар, колола сахарные головы. Вина или водки не было тогда совсем... Продукты нам доставляли приказчики и купцы. Забавно было видеть толстых владельцев магазинов, которые цепляли к дорогим шубам красные банты и шли по улицам с песней: «Долго в цепях нас держали, долго нас голод томил...» Керенского видела, даже слушала его речь в нашем актовом зале.

— Ну, и какое же впечатление?

— Оракул-кривляка! Говорил истерично, принимал позы, рисовался, а в одном «зажигательном» месте даже попытался упасть на руки своих адъютантов. И эта дурно разыгранная мелодрама, представьте, нравилась некоторым курсисткам!.. На курсах была большая пестрота — дочери столичных и провинциальных чиновников, священников, ученых, депутатов Думы. Позже я узнала, что существовала у нас марксистская нелегальная организация, но, например, учились и две княжны — Волконская и Трубецкая, потомки декабристов. Киру Трубецкую я знала хорошо. В первые же дни германской войны Кира стала сестрой милосердия и вскоре умерла от сыпного тифа, мы похоронили ее в Александро-Невской лавре, а ее брат гардемарин Владимир Трубецкой погиб на подводной лодке вместе с моими двоюродными братьями...

— Октябрьскую революцию вы застали в Петрограде?

— Нет. С подругами-сибирячками я уехала в Сибирь на летние каникулы в конце мая и уж не вернулась — курс я окончила, оставались только дипломное сочинение и выпускные экзамены, но в Сибири стало неспокойно — белочехи, потом Колчак... Однако Ленина я успела в Петрограде увидеть и услышать.

— Пожалуйста, расскажите!

— Как сейчас помню тот день, 3 апреля. Наш поезд шел из Териоки, куда мы с подругами ездили за какими-то покупками. В Белоострове его остановили и долго держали на запасном пути, чтобы пропустить поезд из Гельсингфорса. Наконец, он прибыл и остановился. Издалека мы видели Ленина, Крупскую и их товарищей, стоявших на платформе. Громкоговорителей тогда не было, и до нас доносились только отдельные слова Ленина. Митинга на Финляндском вокзале мы не застали, наш поезд пропустили в Петроград поздно. Потом я слышала Ленина с балкона дома Кшесинской, что на Каменноостровном проспекте. Он говорил просто и всем понятно, но тогда не все понимали, что готовится социалистическая революция, а я, признаться, не вполне осознавала, что вокруг меня живая история. Последний раз я слышала выступление Владимира Ильича в актовом зале Морского корпуса. Между прочим, это учебное заведение когда-то дало России двадцать восемь декабристов! Так вот, помню, было в зале очень тесно и публика преимущественно пролетарская, но среди рабочих, солдат и матросов виднелись люди в форме морских офицеров. Незабываем убедительный, страстный тон ленинской речи, будто сама правда стояла за его спиной и диктовала слова...

— Живая история,— вслух повторил я слова Богдановой.

— Нет, я-то едва прикоснулась к ней,— сказала Мария Михайловна.— И только в Сибири стала до некоторой степени участницей, можно сказать, исторических событий.

— А что там было с вами?

— Много чего было, но как-то случайно вышло, что я поучаствовала в гражданской войне. Конечно, это участие было слишком даже скромным, и никаких особых заслуг я за собой не знаю.

— Однако все же как это вышло?

— Вы не поверите — через встречу с прямым потомком одного декабриста, которого я полюбила.

— Не может этого быть! — вполне бестактно вскричал я.

— Вот я и говорю — не поверите... А вышло так. Сразу после революции открылся в Томском университете историко-филологический факультет. В Томске я заканчивала гимназию, очень любила этот город и вот решила с верховьев Енисея пробраться туда, чтоб подготовить и защитить дипломную работу. С радостью обнаружила, что на факультете читает лекции Марк Константинович Азадовский, которого знала еще по Петрограду,— это был очень одаренный молодой историк и филолог, и мы часто встречались по делам сибирского землячества. Вообще-то Азадовский был из Хабаровска, но в России все, кто приезжал из-за Урала, считались земляками. На Бестужевских курсах я занималась в семинаре замечательного русского филолога Семена Афанасьевича Венгерова, участвовала в составлении словаря пушкинского языка и очень, помню, увлеклась, однако в Томске эту тему вести было некому, и я под руководством Марка Константиновича начала писать работу об искусстве

портрета у Тургенева и Толстого. Успешно защитила ее, получила диплом первой степени... Азадовский нас привлекал своей страстью исследователя, загружал дополнительными темами, будто бы побочными, но очень расширяющими наш кругозор.

— Например?

— Бывший директор Томской мужской гимназии Бакай, большой знаток Сибири, и Азадовский затеяли «Словарь сибирских деятелей» — от Ермака до современников. Совсем неожиданные вещи я находила, в том числе и связанные с декабристами, материалы о которых тогда только что стали доступными.

— Например? — находясь очень далеко от тех времен, я был настойчив.

Мария Михайловна уходила в сторону, и я, кажется, помогал ей в этом, но пусть, однако, рассказывает — может, никто, кроме меня, этого уже от нее не услышит и не запишет... Бестужевок осталось совсем мало на свете, они уходят из жизни одна за другой. В Москве собираются иногда на чаепитие, вспоминают прошлое, читают свои девичьи дневники, в которых отразилось их время, то есть та же история.

— Например? — переспрашиваю я, надеясь, что через декабристов можно будет легче перейти к ее встрече с неким потомком кого-то из сибирских изгнанников и таким путем к гражданской войне. Нет, не получилось — Мария Михайловна незаметно увлекается и отвлекается, теряя начальную нить разговора, но я не досадую, считая, что пусть он течет вот так, почти стихийно,— и вправду от этой замечательной бестужевки можно услышать совершенно неожиданное, такое, чего я действительно уже ни от кого никогда не услышу, поздно...

— Вы знаете, кто из декабристов первым опубликовал свои сибирские труды?

— Нет.

— А я нашла, хотя это было очень трудно. И не поверите — через историю Мангазеи!

При чем тут «златокипящая» Мангазея? Этот северосибирский торговый город, первый заполярный город Земли, был основан за два с лишним века до восстания декабристов, и, кажется, Мария Михайловна слишком окольным путем пошла в прошлое...

— Когда я занялась Мангазеей, то узнала, что среди ее основателей были сосланные туда Борисом Годуновым боярин Пушкин — предок поэта, и князь Шаховской — предок декабриста Федора Шаховского.

О декабристе Шаховском и его трагической судьбе я кое-что знал. Он был сослан в Туруханск, где за ним история числит одно благородное дело — через несколько месяцев после прибытия на место ссылки он помог умирающим с голода туруханцам, отдав им свои насущные триста рублей. Недовольное почитанием государственного преступника местными жителями, 3-е отделение распорядилось перевести Федора Шаховского

в Енисейск, где тот вскоре сошел с ума, и губернатор А. П. Степанов попросил Бенкендорфа принять участие в его тяжкой судьбе. Князь Федор Шеховской стал вторым, после Александра Корниловича, декабристом, оказавшимся снова в России, но в каком состоянии! Он был безумен, у него оказались обмороженными пальцы на ногах и руках, ухо и нос. Больного привезли в Суздаль и поместили в Спасо-Евфимьев монастырь, где он умер весной 1829 года и там же был похоронен...

— Этим декабристом я заинтересовалась потому,— продолжает Мария Михайловна,— что в силу редкой исторической случайности он оказался сосланным на сибирский Север двести двадцать лет спустя после своего предка...

— Но при чем тут первая декабристская публикация?

— Ах, да! Часть бумаг Федора Шаховского осталась в Красноярске, а вы знаете, что губернатор Степанов был писателем и хорошим краеведом.

— Да, я читал его поэмы и роман. Двухтомная «Енисейская губерния» была напечатана в Петербурге...

— Но вы не знаете, наверное, что за пять лет до этого труда вышли в Красноярске «Записки об Енисейской губернии» вице-губернатора Пестова, дяди декабриста-«славянина» Александра Пестова. Так вот этот вице-губернатор никогда не бывал на Нижнем Енисее, а использовал в книге данные из туруханских записок Федора Шаховского, без указания, конечно, источника — тогда это невозможно было сделать... Позже я опубликовала работу на эту тему, из которой редакторы зачем-то вычеркнули один любопытнейший факт русской истории — еще в 1827 году в Енисейск прошел Ледовитым океаном корабль из Архангельска, встал на зимовку и сгорел... Потом я по настоянию Азадовского занималась разбором университетской библиотеки...

Этой библиотекой я тоже однажды увлекся, как интересной страничкой истории Томского университета и всей Сибири.

Той давней осенью я непременно должен был побывать в Сибири. Все лето лежало на столе и безмолвно укоряло приглашение первого секретаря Томского обкома партии Егора Кузьмича Лигачева, председателя Молодежной комиссии Верховного Совета СССР. Тогда я еще числился «молодым писателем», был членом ЦК ВЛКСМ, и Лигачев звал в гости — поездить по области, увидеть таежную нефтяную новизну, встретиться и поговорить с томской молодежью и вообще оглядеться, чтоб, может, к чему-нибудь прилепиться душой. Давно надо было мне побывать в областном архиве и университетской библиотеке. Но сидячая эта работа была отложена до конца поездки, а для начала мне хотелось побывать там, где томились первые здешние политические ссыльные — декабристы-«славяне» Николай Мозгалевский и Павел Выгодовский, да по пути посетить Колпашево в его сегодняшнем дне, чтоб представить хотя бы примерно будущее этих мест.

Тяжелые желтые волны били в борта нашего катера. Со дна поднимались наверх крученые струи, воду бросало на палубу, и ветер был, как водяной пластырь, влажным, холодным, плотно облегающим лицо. Далеко было еще Оби до конца, она, можно сказать, только что выбежала из алтайских предгорий, однако набирала уже вязкую мощь, разливалась вольготно, словно загодя готовилась к тому, чтоб торжественно, с достоинством влиться в океан.

Проплыли устье Чулыма, и река словно прибавила силы, напряглась в берегах и ускорила свою стрежневую струю. Мне думалось о том, что какую-то малую часть этой силы дают Оби ручейки и речки моего детства и юности, питая близ Мариинска и Тайги бурливую Кию и перекатистую Яю, которые стремят в Чулым свои воды, еще совсем недавно серебряно-чистые и рыбные.

История начинается с каждодневных поступков людей и, прежде чем обрести величие, питается многими ручейками, что подчас встречают на своем пути к океану и запруды, и горькую отраву, и браконьеров... В ту памятную поездку вчерашнее врывалось в сегодняшнее, диктовало будущее, причудливо переплетая события, интересы и заботы. В тех местах, сквозь которые мы проплывали, на глазах у всех погибала давняя и трудная моя любовь — кедровые леса. Они вырубались с невиданным размахом да еще — в нарушение законов и правил — вдоль рек и по водоразделам, к тому же запретными сплошными рубками и в молодом возрасте, с огромными потерями ценной древесины, орехоносных и охотничьих угодий, без последующего восстановления. Писать обо всем этом мне к тому времени стало трудно, да и повторы словно бы адаптировали всеобщий слух. Поэтому я совместил свою поездку с командировкой Виталия Парфенова, который, работая в Министерстве лесного хозяйства России, затеял на смену нашему загубленному кедрограду создать в Сибири пять комплексных кедровых хозяйств, и в том числе одно близ Колпашева. Нам казалось, что надо сделать, быть может, последнюю попытку практически доказать экономическую выгодность прижизненной эксплуатации ценнейших древостоев, наметить делом единственный выход из хозяйственной и экологической ситуации, сложившейся во многих сибирских районах. Мы хотели посмотреть кедрачи, которые местные власти отрезали для организации нового хозяйства.

А первое томское впечатление, наверное, на всю жизнь останется соринкой в глазу и пустотой в душе. В день нашего приезда с центральных улиц города подметали стекло и сор — накануне сильным взрывом был уничтожен старинный Гостиный двор, подобие знаменитого ленинградского. Как бы ни были сильны и убедительны аргументы в пользу сего деяния, мне показалось, что город сразу как-то поблек, понеся невозвратимую потерю, которая хотя и не поддавалась оценке в рублях, однако

была весьма и весьма ощутима, если не прилагать рублевой мерки к тому, к чему она и не должна прилагаться. Любой памятник архитектуры концентрирует, хранит и оживляет в народе *память*, крупицу, а то и добрый пласт истории, что через годы, десятилетия и века становится созидательной силой современности и одной из основ веры в будущее. Такую роль может играть подчас довольно скромный памятник старины.

За год до этой поездки был я в Омске, где тогда только что снесли Тарские ворота — старейшее каменное сооружение города, единственное в своем роде. Ничего не стоило их отреставрировать, и они бы говорили омичам и гостям города о сибирской истории, конечно, куда тебе больше, чем грузовик, что на всем газу прогромыхивает сейчас над тем местом, где под асфальтом захоронен фундамент Тарских ворот. А главное — ворота бы совсем не помешали грузовикам разгоняться мимо, экономить секунды или копейки... А неповторимый, единственный на всю матушку-Сибирь томский Гостиный двор с его благородными классическими колоннадами при желании и некоторой фантазии можно было превратить в какое-нибудь необходимейшее для города заведение, которым он выделился бы из всех своих сибирских собратьев. Подновленную фундаментальную основу его хорошо бы приспособить, скажем, для магазина культурных товаров, а еще лучше под публичную библиотеку и современную читальню, в которых нуждается бесчисленное томское студенчество. За толстыми теплыми стенами могла бы обосноваться и прекрасная детская спортивная школа, и оригинальная оранжерея, чтоб в сорокаградусные морозы и недельные метели люди любовались цветущими орхидеями, магнолиями и кактусами, и эта радость жизни отзывалась бы творческим трудовым эффектом, не оценимым ни в каких рублях. В Сибири, столь бедной памятниками старины, много собирается и будет еще больше собираться железобетонностеклянных домов, только томский Гостиный двор, отдаленно связывавший этот суровый край со столичным русским архитектурным классицизмом, никто и никогда уже не построит...

И еще Гостиный двор хорошо перекликался — через ветхие и обновленные кварталы — со старинным зданием университета, оставшимся теперь в одиночестве. Главный корпус притягательно белел сквозь густую зелень, манил свободным разворотом фасада, колониями ионического ордера на портике, сдержанно напоминал через столетие о славном гражданском подвиге сибирской общественности, а память такого рода — тоже немалая историческая и, значит, сегодняшняя ценность.

Первая мысль о том, что обширному нашему Востоку нужен университет, была высказана еще в самом начале девятнадцатого века, но до практической реализации ее оказалось так далеко! На необозримых пространствах от Волги до Великого океана не было ни одного высшего учебного заведения, и не только прогрессивные сибиряки или передовые люди по сю сторону Урала, но даже зарубежные деятели культуры и науки снова и

снова возвращались к этой большой и больной теме. Начиная с Александра I наши самодержцы, один за другим, изрекали решающее «нет», когда дело доходило до их августейшего внимания, и скопидомски защелкивали державный кошелек.

Быть может, сибирское просвещение так бы и тормозилось из Петербурга до самой революции, если б не общественный напор из-за Урала, не сибирские подвижники — ревнители просвещения, да не дары многочисленных жертвователей.

Первый взнос — сто тысяч золотых рублей — сделал Павел Демидов еще в 1803 году. Справедливо кляня наше дореволюционное прошлое, мы иногда увлекаемся и клянем то, к чему следовало бы подойти с бо́льшим вниманием и уважительностью. Вот однажды я прочел отрывки из интереснейшего письма кудесника русского слова, горячего патриота и гражданина Павла Петровича Бажова. Сельский учитель и собиратель уральского фольклора, большевик с 1918 года, красноармеец и газетчик в начале жизненного пути, он сумел проторить свою сказочно неповторимую стезю в советской литературе, а в последние годы жизни Павел Бажов готовился к большому роману о Демидовых. Глубоко и беспристрастно изучив исторические материалы, он пришел к выводу, что многие литераторы, писавшие о знаменитых уральских промышленниках, волей-неволей искажали значение деятельности первых Демидовых для России, окарикатуривали образы этих незаурядных людей. Бажов не находит подтверждений популярной легенде о затоплении подвалов Невьянской башни, не верит ни в золотые демидовские самовары, подогреваемые кредитными билетами, ни в «подвиги» Никиты и Акинфия по женской либо мордобойной части.

Писатель пришел к выводу, что это были достойные сподвижники Петра, и задумал перенести основные конфликты романа в иные, более сложные и серьезные сферы. Из письма его, опубликованного Е. А. Пермяком, я узнал поразительные вещи. Оказывается, Никита Демидов первым начал лить на своих заводах «образцовое ядро», позволившее увеличить эффективность артиллерийского огня, наладил, можно сказать, серийное производство первого русского ружья, в пять-шесть раз удешевив его по сравнению с заграничными. Он выпускал это ружье в сотнях тысяч штук, что, наверное, невозможно было сделать, я думаю, без своеобразного сборного конвейера на Невьянском заводе. Именно демидовское ружье сыграло решающую стрелковую роль в Полтавской битве, и недаром Петр I собирался поставить «в публичном месте статует медный в ознаменование оказанных оным Демидовым заслуг». Бажов нашел другое удивительное свидетельство особого внимания царя-работника к этому кузнецу, возведенному в дворяне,— записку из персидского похода: «Демидыч! Я заехал в зело горячую страну, велит ли бог свидеться?» Петр тяжело заболел тогда в Кизляре и даже не исключал, судя по этой записке, трагического исхода, послав с письмом Никите Демидову отделанный бриллиантами свой портрет. Но

Петр I не был бы Петром Великим, если б одарил сподвижника столь дорогим подарком лишь на память о своей особе. Поразительна эта фраза письма, похожая на завещание: «Для чего и посылаю тебе мою парсуну: лей больше пушкарских снарядов и отыскивай, по обещанию, серебряную руду».

Несколько позже руду эту нашел Акинфий Демидов. Он же сумел в короткий срок разведать новые железорудные месторождения и поставить на их основе двадцать металлургических заводов. И это при тогдашней глухомани, бездорожье и безлюдье, безо всякой помощи иностранцев. В каждом новом месте нужно было протянуть какие-нито дороги, возвести промышленные, конторские и бытовые здания, доставить горное оборудование, обеспечить рабочими кадрами, сырьем, техническим контролем рудники и заводы. Кстати, демидовское железо по качеству было выше казенного и даже иностранного. Павел Бажов придерживается фактов и касательно личностей Демидовых — Никита, например, иногда встает у печи за горнового, Акинфий не безделушки везет из Англии, а покупает там очень дорогую коллекцию минералов...

Конечно, Демидовы эксплуатировали труд горнозаводских крестьян, беглых или купленных крепостных — в этом отношении они были не лучше других эксплуататоров. Не лучше, но, кажется, и не хуже, если учитывать отдаленность, трудоемкость и дороговизну демидовского металлургического производства, экономические, юридические и нравственные нормы того времени. Бажов напоминает, что «с казенных заводов люди бежали к Демидову, а случаев обратного порядка никто не отметил». Кстати, мы не можем знать, как расценят современные условия труда и жизни люди, скажем, 2250 года — они от нас так же далеко, как демидовские горнорабочие...

Жаль, что Бажов не успел осуществить своего обширного замысла, оставив это замечательное письмо в качестве творческого наказа для следующего поколения литераторов. Сам бы я взялся, но времени, наверное, не хватит, чтоб написать даже то, что уже обдумал, да и Урала не знаю, хотя с Демидовым не раз встречался, роясь в старых книгах, и хорошо, если б тот, кто займется ими по-настоящему, объективно бы разобрался в *историчности* петровско-демидовской металлургической эпопеи.

Хочется вписать здесь какие-то извинительные слова за отвлечение, однако, надеюсь, читатель поймет меня и простит — эти уходы как бы в сторону сделались неизбежными: временами я почти осязательно ощущаю какие-то таинственные всеобщие связи, пронизывающие жизнь. Рассчитываю на понимание и в разговоре о Демидовых — ни в коей мере не хотел я создать представление о них как об идеальных подвижниках далекого прошлого. Нет, они были детьми своего времени и, следуя его принципам, не гнушались подчас любыми средствами, чтоб нажить капитал. Один из них, уже в екатерининские времена, скажем, обнаглел до того, что начал чеканить на своих сибир-

ских заводах фальшивую монету, а когда императрица прижала его, он со смиренной дерзостью ответствовал, мол, все мы, матушка, дети твои и с потрохами нашими. А через сто лет другой последыш знаменитого клана создал для охраны жизни царя самодельную террористическую организацию настолько крайних убеждений и методов, что власти вынуждены были ее запретить. Жил Демидов, который, переписываясь с самим Вольтером, довел, однако, жестокостями крестьян своего тульского поместья до открытого выступления, жил и такой потомок простого тульского оружейника, что женился на дочери Жерома Бонапарта, купив титул князя Сан-Донато. Почти все они отличались крайней расточительностью, проживая за рубежом несметные средства, приобретенные эксплуатацией национальных природных богатств и присвоением результатов труда своих соотечественников.

Возвращаясь к истории создания Томского университета, должен сказать несколько слов о Павле Демидове и его вкладе. При тогдашнем общественном устройстве благотворительность, меценатство, пожертвования были своеобразной, пусть не лучшей и не самой эффективной, формой перераспределения хотя бы некоторой толики частных богатств. И сегодня из нашего далека мы не вправе слишком уж осуждать эту форму — ладно, что еще она существовала; деньги состоятельного человека, употребленные на развитие отечественного просвещения, например, могли быть легко потрачены на драгоценности для парижских красоток или ссыпаны быстрой загребалочкой в бездонный мешок крупье, и никто б тогда серьезно не осудил этакое мотовство, а в «высшем свете» оно даже бы посодействовало успеху.

Павел Демидов получил блестящее европейское образование — учился у Линнея и Бюффона, закончил Фрейбергскую горную академию и Геттингенский университет, интересовался философией, музыкой, литературой, зоологией, собирал ценный антиквариат, редкие книги и рукописи, дорогие картины и скульптуры, оставил самостоятельные труды по металлургии, химии, минералогии, математике. Расширив минералогическую коллекцию прадеда своего Акинфия Демидова, купленную в Англии, он подарил ее Московскому университету вместе с другими собраниями по естественной истории и библиотекой; только описание этих даров заняло три увесистых типографских тома. Этот просвещенный человек основал на свои средства так называемый Демидовский лицей в Ярославле, давший более чем за сто лет своего существования многим тысячам молодых людей хорошее, сравнимое с университетским образование. Причем будущие наследники не имели права лишить лицей содержания, как не могли снять ни копейки со счета сибирского университета, отчего этот вклад, когда дело дошло до его реализации, уже составлял около ста восьмидесяти тысяч рублей.

Денег этих, конечно, было недостаточно, а царское правительство не желало помочь. Когда отказал Александр II, томский голова З М Цыбульский написал резкое письмо министру

народного просвещения и внес на университет еще сто тысяч рублей. Такую же сумму отчислил известный полярный исследователь А. М. Сибиряков, нашлись и другие жертвователи, а сто двадцать пять тысяч собрали по рублику малоимущие. Поднялась, как писал в своем письме Цыбульский, «вся Сибирь», требуя открытия университета. Выходили статьи, брошюры, книги, читались лекции на эту тему, однако цари и правительства, меняясь, оставались неизменно глухи к любым аргументам, и сибиряки начали уставать.

Только весной 1878 года — ровно через семьдесят пять лет со дня начала этой необыкновенной эпопеи! — вышло царское «повеление», разрешающее «учреждение императорского сибирского университета в гор. Томске». И вот почти через десять лет, когда и здание было почти готово, и научные кадры подбирались, нашлись в тогдашней России силы, задумавшие создание его остановить. Известный реакционер Катков напечатал в своей газете «Московские ведомости» погромную статью, и я приведу хотя бы одну выдержку из нее, чтоб читатель сам увидел тормозные колодки, сдерживавшие ход сибирского просвещения, промышленного и общественного прогресса этой обширной и богатой окраины России. «В Томске образовался целый штаб социалистов, собранных со всех концов Сибири,— писал Катков.— Редакция местной «Сибирской газеты» сплошь состоит из них. Кружок политических ссыльных постоянно старается вербовать молодежь. Революционные кадры уже готовы. Ожидается только прибытие новобранцев в виде томских студентов, а может быть, и профес соров».

И если б эта провокационная статья промелькнула тогда на странице газеты и успокоилась в подшивке! Нет, ее заметил самый свирепый мракобес тех времен обер-прокурор святейшего Синода Победоносцев, пользовавшийся огромным влиянием на царя и государственные учреждения. Он послал ее царю, приложив личное письмо со своими комментариями, где, между прочим, писал: «Мысль об учреждении университета в Сибири... я с самого начала называл несчастною и фальшивою», «возможно ли идти, так сказать, навстречу вредным элементам и настаивать на учреждении в Томске университета». И, наконец, чудовищное предложение: «Когда очевидна опасность, никогда не поздно возвратиться назад или, по крайней мере, остановиться...»

Остановиться, к счастью, было уже нельзя — слишком много страстей, трудов и средств потратили сибиряки на свой университет, и общественное мнение всей России было на их стороне. Осенью 1888 года первые студенты вошли в университетские аудитории.

Закрываю вот глаза и почти вижу белый корпус университета, как заветную мечту далекого отрочества. Почти все мои тайгинские учителя заканчивали его, и я мечтал поучиться в нем.

После поездки на север мы пришли в библиотеку Томского университета с Виталием Парфеновым и сибирским писателем Владимиром Колыхаловым. Привез я с собой пачку своих книг, изданных на разных языках, в том числе и единственные экземпляры. Все равно я бы отдал их заезжим иностранцам или куда-нибудь задевал, а тут пускай лежат в надежности,— может, под старость лет заеду да погляжу.

Неожиданная встреча ждала меня в библиотеке, и я непременно должен сказать о ней, чтоб читатель вместе со мной подивился, как жизнь иногда закольцовывает даже очень отдаленные впечатления. Вы не успели еще забыть одаренного юношу, крепостного Дмитрия Шереметева, в судьбе которого некогда приняли участие видные декабристы?

Так вот в Томске я вдруг наткнулся на след этого человека. На самом видном месте хранилища лежали в витрине подлинные реликвии.

— Можете взять что-нибудь в руки,— любезно разрешает Михаил Родионович Филимонов, хранитель сокровищ.

— Как-то боязно,— говорю я.

С трепетом касаюсь титульного листа старой книги. На нем когда-то лежала рука Пушкина! А на этом — Льва Толстого! Целых три книги Николая Гоголя — прижизненные издания «Мертвых душ», «Ревизора», «Арабесок». С благоговением рассматриваю скорый почерк великого писателя, чья портретная словесная живопись остается непревзойденной. А вот дарственная надпись Александра Герцена на серьезнейшей его книге, которой я когда-то зачитывался и могу зачитаться снова, если раскрою ее,— «Письма об изучении природы». «Эстетическое отношение искусства к действительности» Николая Чернышевского, «Обломов» Ивана Гончарова...

Все эти книги были подарены авторами бывшему шереметевскому крепостному, а позже известному цензору А. В. Никитенко. После его смерти в 1878 году организаторы университета приобрели всю эту уникальную библиотеку из двух тысяч томов исключительно русских изданий. Деньги на столь редкую покупку выделила Томская городская дума.

— Странно,— сказал я.— Еще студентом интересовался Никитенко в связи с Шереметевыми, но никогда не думал, что найду его библиотеку в Томске.

— А графом Валуевым вы не интересовались? — спрашивает Михаил Родионович.

— Как же, знаю. Министр внутренних дел? Умен был как дьявол и престолу рабски служил. У Сперанского учился. Несколько иностранных языков знал свободно. Нежно брал за горло писателей-демократов.

— Вот-вот. Вся его библиотека тоже у нас.

— Что вы говорите! Интересная?

— В своем роде. Почти тысяча восемьсот книг и брошюр на русском и столько же на иностранных.

— А подбор?

— Политическая экономия, статистика, государственное право. Но главная ценность ее — огромное число изданий, не поступавших в продажу и запрещенных цензурой.

— Так хочется поселиться у вас недельки на две-три да покопаться!

— Нет, вы еще почти ничего о нашей библиотеке не знаете...

Да, это была тогда тоже целая эпопея, сравнимая, пожалуй, с борьбой за университет. Иногда томичам попросту везло, временами шла долгая и терпеливая осада наследников, торговля и перекупка, тщательный розыск ценных книжных коллекций по всей, можно сказать, Евразии. Причем до открытия университета было еще далеко, а в Томск пароходами и гужом шли огромные тюки, корзины и ящики с книгами, отражающими все области культуры и человеческого знания. Александр Михайлович Сибиряков, который сам занимался исследованием Сибири, финансировал полярные экспедиции шведа Норденшельда и русского географа Григорьева, в дополнение к своему главному вкладу на университет, оборудовал физический кабинет и химическую лабораторию, а еще в 1878 году выделил десять тысяч рублей специально для библиотеки. Через год он же купил и отправил за свой счет из Петербурга в Сибирь библиотеку В. А. Жуковского — четыре тысячи шестьсот семьдесят четыре тома. Позже было куплено большое и ценное собрание австрийского профессора Гнейста — девять тысяч томов по государствоведению, и немецкого ученого Пфейфера из Веймара, приобретена библиотека бывшего товарища министра внутренних дел Неклюдова...

— А вот эту книгу один томский купец подарил,— говорит Филимонов, с улыбкой наблюдая за нами, остолбеневшими.

Золотой переплет, золотой обрез, изумительная бумага и печать, подлинный полиграфический шедевр! Двести номерных экземпляров. Исследование о византийской эмали было издано с какой-то даже неумеренной роскошью.

— Стоила одна эта книга,— рассказывает хранитель,— почти столько же, сколько вся библиотека Густава Гнейста — пять тысяч рублей!.. А вот сочинение Владимира Стасова об одной книге, изданное в идентичном полиграфическом оформлении. Тоже подарок, хотя далеко не самый ценный...

На последнем, решительном этапе борьбы за университет и в годы его становления многие владельцы больших собраний или их наследники считали за честь обогатить главную сибирскую библиотеку своими книжными вкладами. Князь С. М. Голицын подарил пять тысяч томов; завещал университету всю свою медицинскую библиотеку профессор Петербургской военно-медицинской академии, основатель и многолетний издатель газеты «Врач» Вячеслав Авксентьевич Манассеин — сорок тысяч книг, брошюр и журналов! Так в Томске оказались собранные Манассеиным почти все научные диссертации по медицине, защищенные в России и Западной Европе во второй половине XIX века!

Всю свою долгую жизнь, наполненную морскими экспедициями и географическими исследованиями, собирал библиотеку основатель Русского географического общества, позже президент Петербургской академии наук Федор Петрович Литке. Именем этого выдающегося русского ученого и путешественника названа гора иа Новой Земле, мель, течение, губа, пролив, полуостров, несколько мысов и островов в Северном Ледовитом океане, а его огромиая научная библиотека с уникальными картографическимн материалами прибыла в качестве дара на берег Томи...

— Друзья! — сказал нам, помию, Михаил Родионович, когда мы уже устали ахать.— А ведь самого главного я вам пока не показал, приберег под конец.

Чем нас еще можно было удивить?

— Идемте-ка...

За деревянной обрешеткой стояли какие-то гигантские книги в старинных кожаных переплетах, такого я раньше сроду не видел. Нет, одному нипочем не поднять! Взялись с Виталием в четыре руки, кое-как водрузили одну книжищу на стол, заскрипевший под тяжестью. Раскрыли. Плотные листы веленевой бумаги, рукописные строчки по-французски. Успел разобрать, что речь идет о какой-то старинной голландской книге. Перелистнул несколько страниц, и вот уже другая рука и чернила погуще. Что это?

— Каталог совершенно особого собрания. Несколько веков создавалась эта библиотека, и в тринадцати таких томах — ииветариая опись. Ее аккуратно вели иесколько поколений владельцев.

— Кто они были?

— Строгановы.

Строгановы? Кое-что об этом именитом роде слышал и даже побывал как-то в Сольвычегодске, первой их вотчине. Четыреста лет назад Строгановы обосновались в северном Предуралье. Их приказчики обирали пушиой товар с огромных пространств, работные люди варили соль на пол-России, ковали оружие, художники писали иконы, писцы переписывали летописи, золотых дел мастера чеканили дорогие оклады и кубки, тянули серебряную скань, плелн парчу. И процветало там, оказывается, одно необыкновенное ремесло, про которое стоило бы упомянуть. В старинном соборе, превращенном в музей, я увидел миожество икон, церковных риз и книг, отделанных жемчугом. Несмотря на то что главные ценности отсюда давно повывезли, жемчуга здесь было такое обилие, что казалось, украшение это обходилось Строгановым дешевле стеклянных бус или речных камушков. И вот мне показывают неподалеку от собора два громадных сухих пруда правильной формы. Они давно позаросли травой, позадернели, но прн желании можно было легко докопаться до остатков кирпичной кладки, некогда устилавшей пруды.

В тот год, между прочим, появились достоверные сообщения из Японии, будто там *впервые в мире* найден способ искусственного выращивания жемчуга — нежнейшим приемом в створку

моллюска вводилась песчинка, она обволакивалась защитной слизью, постепенно твердеющей, и несчетные тысячи перламутровых зернышек начали оборачиваться миллионами долларов и миллиардами иен. Только нигде и никто не сказал, кажется, до сих пор, что строгановские мастера давным-давно нашли этот способ и применили его в промышленных масштабах на далеком русском Севере...

А в Коряжме, где строился гигантский целлюлозно-бумажный комбинат, стояла на крутом берегу Вычегды старая кедровая роща, современница Строгановых. Мне было жаль ее, она окончательно погибала неподновленной — под комбинат расчистили огромную строительную площадку, сняв защитный лес, и вот ветра, бешено разгоняясь по-над высоким берегом, валили одного сибирского красавца за другим, ломали стволы и выворачивали корневища, спасенья им ждать было неоткуда... А как было бы хорошо сохранить и омолодить рощу — она б скрасила быт северных бумагоделов, и, кроме того, помнила Ермака! Да и памятный знак хорошо б тут поставить на берегу, потому что именно с этого места отправлялась дружина Ермака в Сибирь, здесь из подвалов Коряжемского монастыря брала она пороховой запас и дорожную снедь. Строгановы тогда полностью снарядили первопроходцев, сделавших громкое историческое дело... Жаль было рощи, до слез жаль!

И одно поистине жуткое впечатление вывез я тогда из Сольвычегодска. Собор для Строгановых не был только молельным домом. В нем сосредоточивались огромные материальные и художественные ценности. Его функция казны или, условно скажем, банка распространялась так далеко, что при переселении отсюда на Каму Строгановы замуровали будто бы в толще фундамента или какой-то из стен клад, не найденный до сего дня. Быть может, это и легенда, но вот правда истинная, историческая: мощные стены собора с внутренними ходами и бойницами были неприступными. В случае нужды собор, соединенный тайным подземным ходом с внешним миром, становился надежной крепостью. В 1613 году большой отряд польских захватчиков, прослышавших о несметных богатствах Строгановых, добрел сюда от Москвы. Несколько месяцев шла осада, но собор-крепость взять не удалось. Авантюристы ушли на север, надеясь пробиться к Белому морю и спастись, но были перебиты в северодвинских лесах русскими партизанами. Но это так, между прочим вспомнилось; старина ведь засасывает в свои глубины, нижет события одно на другое, а я, как, наверно, заметил читатель, давно уже подчиняюсь ее властной силе.

Два слова о подвалах сольвычегодского собора. Представляете, прямо под алтарем, отделенном могучими сводами, располагались обширные помещения, уставленные ужасными пыточными орудиями, описывать которые не берусь. Вверху Строгановы молились, а под полом шла зверская расправа с людьми, в том числе, наверное, и не повинными ни в чем, кроме стремления

быть людьми и жить. Сколько мучительных стонов слышали эти стены, сколько человеческой крови впитал этот бурый плотный кирпич под моими ботинками! Помню, я поспешил наружу с колотящимся сердцем, однако меня остановили и показали глубокие каменные мешки, куда людей сбрасывали живыми на разложившиеся трупы. Они сейчас пусты, эти жуткие темные ямы. Их случайно обнаружили незадолго до революции за каменной кладкой, и только из одного мешка выгребли и вывезли в лес для захоронения девять возов человеческих костей...

Не знаю, сохранялись ли в роду Строгановых документы или предания о подробностях жизни предков. Завершил этот род в конце прошлого века граф Александр Григорьевич Строганов. С его смертью мужская линия знаменитых соляных магнатов, торговцев, придворных, промышленников, государственных деятелей пресеклась.

Стоило бы сказать, что среди Строгановых — за четыре-то века! — как и среди Демидовых, случались разные люди. Павел Строганов, например, современник Павла Демидова, в студенческие годы был членом якобинского клуба и даже заведовал клубной библиотекой. Ни больше ни меньше. Нет, больше-то можно сказать о нем — он с оружием в руках штурмовал Бастилию. Екатерина II, узнав об этаких проделках русского графа, отозвала его из Парижа и сослала в деревню. Позже Павел Строганов стал товарищем министра, управляющим департаментом, сенатором и дипломатом, в 1812 году сражался на Бородинском поле, а после Малоярославца, Березины и Лейпцига снова дошел до Парижа.

Библиотека Строгановых собиралась несколько веков — рукописи XI—XV веков, дорогие типографские издания на разных языках, редчайшие инкунабулы, старая периодика. Уже в конце XVI века собрание составляло более двух тысяч томов. Строгановы покупали книги сами и нанимали специалистов-коммивояжеров, которые искали для них библиографические редкости по всей Европе. В XVIII веке библиотека стала одной из самых ценных частных коллекций в мире, а в XIX — майоратным владением, то есть такой собственностью, которая из-за ее особой национальной ценности не подлежала разделу между наследниками, сохраняясь за старшим в роду. У последнего владельца бесценного собрания по мужской линии не было наследников. И вот престарелый граф, член Государственного совета, генерал-адъютант, бывший губернатор Петербурга, решает продать библиотеку петербургским антикварам. Их не остановила огромная цена, запрошенная Строгановым,— миллион рублей золотом, и они слетелись, как мухи на мед, попросив, однако, хозяина познакомить их с библиотекой. Граф разъяснил, что Строгановы кота в мешке не продают, и попросил их удалиться. В те дни в Петербурге с хлопотами об открытии Томского университета оказался один из его основателей В. М. Флоринский. Прослышав о намерении графа расстаться с библиотекой, он обратился к нему:

— Граф! Ваши предки, снарядив Ермака, покорили Сибирь оружием и деньгами, вы можете завоевать ее просвещением...

Граф расчувствовался, тут же составил дарственное распоряжение, упаковал библиотеку, нанял триста санных подвод, попросил у царя солдат для охраны обоза, который весной 1880 года, за восемь лет до открытия университета, прибыл в Томск. По точной описи эта чудо-библиотека состояла из 22 626 томов...

Михаил Родионович с грустью произносит:

— К сожалению, томичи не в силах были уберечь сокровище, сохранить до наших дней в полном его виде... И винить их за это нельзя.

В Томске тех времен, утопающем в грязи, с бедным городским бюджетом, казалось невозможным создать условия для вечного хранения самого ценного, и В. М. Флоринский принял правильное решение — отправил 1 800 старинных рукописей назад, в государственные книжные хранилища.

Рассматриваем собрание сочинений Вольтера, его девяностотомник издал Бомарше. Строгановы, случалось, заказывали парижским граверам переплеты из золотых пластин... Тридцать пять томов первого издания «Энциклопедии наук, искусств и ремесел» Дидро и д'Аламбера. Научные работы Марата. Комплекты французской газеты «Монитор универсель» с 5 мая 1789 года по 1868-ой, ценнейшая периодика времен французской революции. Огромные гравюры к пьесам Шекспира. Семнадцать лет трудились лучшие художники и граверы Англии, создавая эти роскошные иллюстрации. Их шестьдесят семь, и нигде больше в мире такого нет — гравюра оттискивалась в одном экземпляре, а доска разбивалась...

Возвращаю себя и читателя к разговору с правнучкой декабриста Николая Мозгалевского. Мы с ней приостановились на библиотеке Томского университета, отошли от декабристов, не пора ли вернуться к ним? Говорю собеседнице, что в замечательной той библиотеке есть фонд Белоголового.

— Как? — удивилась Мария Михайловна.— Николая Андреевича? Я не успела об этом узнать...

— Нет, это его батюшка, иркутский купец, почетный гражданин города Тяньцзиня А. В. Белоголовый. Через русское посольство в Пекине была передана для университета его библиотека — около десяти тысяч томов по истории, географии и этнографии Средней Азии, Китая, Кореи, Японии, Сиама, Бирмы...

— А Николай Андреевич Белоголовый — исключительно интересный сибиряк! Когда на вступительных экзаменах в Московский университет его спросили, откуда он, не получив систематического образования, почерпнул столь обширные и глубокие знания, юноша из Иркутска ответил, что от разных частных учителей. А отвечая на вопрос о том, кто именно с ним занимался, назвал троих декабристов — Петра Борисова,

Алексея Юшиевского и Александра Поджио, которые — по его собственному позднему признанию — сделали из него человека. Белоголовый стал прекрасным врачом. Он лечил, между прочим, Салтыкова-Щедрина, Некрасова, Тургенева в Париже. Некрасов и скончался-то, можно сказать, на руках Белоголового... Доктор этот, кстати, стал корреспондентом «Колокола», потом ездил за границу, где был связан с Серно-Соловьевичем и «Молодой Россией», издавал газету «Общее дело»...

— Мария Михайловна! Еще, кажется, никто глубоко не исследовал нравственного влияния декабристов на русскую жизнь — оно ведь огромно!

— Совершенно с вами согласна, то есть и с тем, что никто не исследовал, и что оно очень велико... В Томске для меня стала откровением поэзия декабристов — ее подробно освещал в своем курсе Азадовский, а профессор-историк Любомиров убедительно и спокойно опровергал дооктябрьскую концепцию декабристского движения — с его лекций мы уносили нравственный заряд, помогавший понять нам исторические события. А курс истории театра и западной литературы читал профессор Круглевский. Студентки обожали его — читал вдохновенно, имел «байроническую» внешность. Однажды он сказал нам, что является потомком Кондратия Рылеева, и много позже, в Москве уже, я познакомилась с правнучкой Рылеева Органовой-Силиной, которая подтвердила это родство... Короче, к исследованию неизвестных декабристских страниц я пришла естественным, закономерным путем. Главную роль тут сыграл, конечно, мой наставник Марк Константинович Азадовский. Он последовательно и тактично направлял мой интерес к ним, к истории, хотя сам был больше литературоведом и фольклористом, лучшим для своего времени знатоком и собирателем русского народного сказочного творчества, и в частности сибирского, написав о фольклоре много работ — «Верхнеленские сказки», «Ленские причитания», «Сказки Магая»...

— Простите,— сказал я, пытаясь все же приблизить разговор к гражданской войне,— а профессор Круглевский, потомок Рылеева, не был ли тем человеком, который для вас стал...

— Что вы, что вы! — в голосе и жесте Марии Михайловны я уловил что-то совсем молодое, не исчезающее со временем.— Тем более что его повсюду сопровождала очень ревнивая жена... В моей личной жизни было совсем другое, очень глубокое и единственное...

— И о гражданской войне в Сибири, пожалуйста,— попросил я, надеясь услышать нечто особенное, сквозь дымку десятилетий окруженное романтическим ореолом.

— Помню холод, голод и много смертей от сыпного тифа. Переболел им и мой учитель Азадовский, схоронив умершую при родах молодую свою жену и мертворожденного ребенка... До сего дня удивляюсь, откуда у него брались силы, чтоб продолжать научную и педагогическую деятельность! Колчаковцы занимали почти все университетские помещения, превратили замечательный ботанический сад в скотный выгон. В таких ус-

ловнях нас, ищущих путей в науку, было совсем немного... Небольшие группы студентов объединялись вокруг нескольких самоотверженных ученых, работавших в уцелевших клиниках и лабораториях, а для меня таким спасительным святым местом стала научная библиотека... Части пятой Красной Армии освободили Томск осенью 1919 года, и я, окончив к тому времени университет, пошла работать в среднюю школу. Однако через три месяца меня мобилизовали...

— В армию?

— Не спешите... В Сибири шла гражданская война. Собирал остатки белогвардейских войск Каппель, тот самый, что похитил из Казани золотой запас России, а позже напал ночью на легендарного Чапаева. Действовал еще, как вы знаете, барон Унгерн, Семенов и другие атаманы, а весь Дальний Восток оккупировали заморские непрошеные гости. В Сибири надо было на всякий случай срочно готовить военные кадры, и вот в городе открылась военно-инженерная школа РККА. Меня мобилизовали, одели в форму, дали звание комбата — это, кажется, майор по-нынешнему? — и я стала преподавать в школе русский язык, литературу и историю... Курсанты разные — одни не знали азов, другие закончили реальные училища и даже гимназии. Работали очень много, сильно уставала и плохо спала, как и сейчас, шестьдесят лет спустя...

Кажется, я начал утомлять Марию Михайловну, но ничего еще не услышал о потомке декабриста, с которым гражданская война свела правнучку Николая Мозгалевского, одну из последних бестужевок.

— И гражданская война для вас, в сущности, закончилась?

— Нет, она была впереди! — оживилась Мария Михайловна.— На лето нашу школу в полном составе послали для практических занятий и попутных лесозаготовок в юго-западный Алтай. Мы дислоцировались как воинская часть в районе озера Зайсан и верховьев Бухтармы, но вместо полевых учений и рубки леса пришлось воевать — в тех местах вспыхнул эсеровский белоказацкий мятеж, руководимый последними колчаковскими офицерами...

— И вы тоже воевали? — Я почтительно смотрю на маленькую старую женщину, и вдруг мне приходит в голову довольно нелепое предположение, что она, быть может, встретила потомка декабриста среди плеяных мятежников, где же еще? — Вы — воевали?

— Ну, нельзя сказать, что с винтовкой в руках,— стрелять я не умела. Была связисткой, выполняла обязанности заместителя начальника военной канцелярии, вместе с подругой Женей Соколовой, тоже нашим штатным преподавателем, помогала раненым. Много трудных и опасных часов и дней пережили. В военной обстановке школа показала себя достойно, мятеж был ликвидирован...

А... потомок декабриста? Тоже участвовал?

— Как же? Он и руководил всей кутерьмой под Бухтармой

— Мятежом?

— Почему мятежом? Ликвидацией мятежа, как военком и начальник школы. Я разве не сказала? Это был мой будущий муж Дмитрий Ефимович Колошин, правнук декабриста Павла Колошина.

Про этого декабриста я кое-что знал. Член Союза благоденствия. Сидел в Петропавловской крепости, потом много лет жил под надзором полиции, рано ослеп. Похоронен в Новодевичьем монастыре, недалеко от домика Барановских и Смоленского собора вместе со своей женой Александрой Григорьевной, урожденной графиней Салтыковой... Их дочь Софья была подругой детства Льва Толстого. Один сын сражался вместе с Толстым на одной батарее в Севастополе, другой сын, Сергей, ездил в Сибирь, где встречался с другом своего отца Иваном Пущиным.

— А как ваш будущий супруг оказался в Томске? — возвращаю я хозяйку в нынешний век.

— В первую войну с немцами он был военным инженером, штабс-капитаном. Вместе с Тухачевским перешел на сторону революционного народа, вступил в партию. Во главе саперного батальона освобождал от колчаковцев Сибирь, и ему было поручено готовить военно-инженерные кадры. В Томской военной школе мы и познакомились. Родился у нас тогда ребеночек, но мертвенький — наверно, от недоедания и переживаний матери... В 1922 году школу слили с Московской, и мы переехали сюда. Так я стала москвичкой. Позже, как военный специалист, знающий языки, Дмитрий Ефимович бывал в долгих заграничных командировках, а я в его отсутствие копалась в архивах... О своих первых любительских исследованиях я сообщала Азадовскому, советовалась с ним и с другим сибирским историком Кубаловым, ныне тоже покойным. Подарить вам вот эту его работу?

Брошюра, изданная в Иркутске в 1925 году тиражом пятьсот экземпляров, еще не разрезана, а моя страсть — разрезать старые книги, у меня даже руки дрожат. Б. Т. Кубалов исследует, как везли декабристов в Сибирь, как они жили в Иркутске и его окрестностях.

— Спасибо!

— Могу и эту подарить. Мне уже не потребуется...

Вторая публикация Кубалова не менее любопытна. До нее я вообще не знал, что в национально-освободительной борьбе поляков 1863 года участвовали французы-добровольцы. Часть их состояла в отряде гарибальдийцев, сформированном полковником Франческо Нулло, другом Гарибальди, другие сражались в польских легионах и в отряде зуавов Дебрюкка. Работа посвящена пятерым французам — Полю Аргайту, Эдмонту Марешалю, Луи Пажесу, Антуану Рушоссе и Жозефу Тиже, сосланным после подавления восстания в Красноярск.

— Ну, а какова судьба Дмитрия Ефимовича? — возвращаюсь я к прежней теме.

— Обыкновенная... Вот мы с ним в Ессентуках.

На снимке — пальма в ящике, и перед ней двое. Правнучка декабриста

Мария Михайловна еще молодая, с короткой стрижкой тех уже далеких лет, в берете. У правнука декабриста Дмитрия Ефимовича Колошина красивое мужественное лицо и взгляд много повидавшего человека.

— Умер он в шестидесятом году,— поникает Мария Михайловна.— От рака. Осталась я одна...

— А это чей портрет? — пытаюсь отвлечь хозяйку, внимательно рассматриваю в рамке на стене молодое задумчивое лицо, очки, сюртук старинного покроя.

— Это Владимир Соколовский.

— О нем надо бы нам с вами поговорить, если можно, только в другой раз, когда я найду в его деле нарымские следы Николая Мозгалевского.

— А вы знаете, что в нашем большом роду потомков этого декабриста были Соколовские?

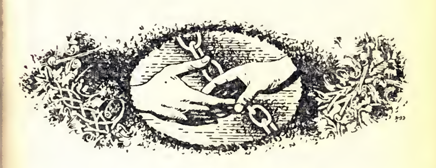
— Кто такие?

— Внучка декабриста Лариса Степановна Юшкова вышла замуж за Николая Соколовского, внучатого племянника поэта.

— Слишком дальнее родство...

— Но все же не совсем чужие! Дети их рано осиротели и воспитывались в Минусинске у нас, потомков Николая Мозгалевского...

Откланиваюсь, иду к университету, что стоит рядом, и долго брожу по парку, пытаясь узнать хотя бы одно дерево, что я сажал здесь четверть века назад на студенческом воскреснике...



21

Снова сижу в архиве, протягиваю прозрачные пленки дела «О лицах, певших в Москве пасквильные песни», вглядываюсь в трудночитаемые рукописные строчки, терпеливо ищу знакомый уже почерк и стиль Владимира Соколовского, долгожданное

упоминание о Николае Мозгалевском — Богдаиова уверяла, что этн нмена где-то должны сойтись. Полверсты, повторяю, этой пленкн, если скленть, н я закладываю в фнльмоскоп катушку за катушкой подряд, чтоб ничего не пропустить; даже пальцы устают и глаза начннают слезнться от напряжения.

Как будто нашел! Пока лишь обрывок нскомой фамилии в родительном падеже — «галевского», но это было уже кое-что... «Из взятых у него бумаг заслуживают виимаиие: а) письмо к нему Государственного преступннка Мозгалевского (и в сиоске: Мозгалевскнй был подпоручик,— по прикосиовеииости к проншествию 14 декабря 1825 г. ...); нз иего видио, что Соколовскнй обязывался любнть Мозгалевского при самом гнусиейшем положеиин, как и в прежнем; что Мозгалевскнй разделяет время с подобиым себе узииком Ивановым, которому просит разрешить, через отца Соколовского, выезд нз Нарыма в Томск, говоря, что генерал-губериатора там иет, следовательно, и опасаться иечего. Соколовский иа сне объясннл, что Мозгалевский в одио с иим время находился в 1-м Кадетском корпусе, а после, как узиал он в бытиость в Томске,— сослан был...»

Из ответа:

«...По чувству совоспнтанннчества, по состраданию к его иещастню и главное по Святому Закону Христа, он Соколовскнй помог ему как бедствующему ближиему, чем и как мог...»

Это был допрос Владнмнра Соколовского, нз которого я узиал, что средн его бумаг, взятых прн аресте в Петербурге, обнаружилнсь пнсьма к иему декабрнста Николая Мозгалевского! А где самн пнсьма? Да вот онн: в следующей дюралевой баночке...

Напомню чнтателю, что начальиик губернни Соколовскнй и его сын Владнмир добром встретнлн первого в тех местах полнтического ссыльного, оказав ему истннно сибнрское гостепрннмство,— обогрели, подкормнли, представнли друзьям. Зиая, какой гнблый край ждет иеопытного в жнтейских делах и совсем не зиакомого с нарымскнми условнямн молодого человека, они открылн по городу иегласный благотворительиый сбор в его пользу. Томичн тепло одели н обули Николая Мозгалевского, снабдилн его на первое время деньгамн и снедью. После всего пережнтого десять дней человеческого тепла н вннмаиья. Ссыльный, конечио, никак не мог ожндать такого в своем положеннн, сохраиив о тех диях и своих хозяевах благодариую память, и вполне объясинмы слова глубокой, нскренией признательиостн, адресоваииые нз Нарыма Владнмиру Соколовскому. В письмах этих почти иет отзвуков тех разговоров, что вели меж собой однокашники, ио если б я писал «чистую» прозу, мог бы, уже зиая Соколовского и Мозгалевского, прндумать множество тем и слов, одиако здесь не вправе этого делать, хотя и уверен — за десять-то дией они переговорнлн о многом. Думаю еще, что едннственное во всю жнзнь столь длительиое общенне Владимнра Соколовского с декабрнстом ие прошло для него бесследно...

С трудом, через сильную лупу, разбираю письма Николая Мозгалевского Владимиру Соколовскому. Бумага и чернила не очень хорошо сохранились, и это понятно — написанные полтора века назад документы эти доставлялись водою в Томск из Нарыма, потом адресат увез их в Красноярск, оттуда снова в Томск, через несколько лет в Москву, а из Москвы в Петербург — и все это не теперешним удобным самолетом либо поездом, а на баржах по рекам и в жестких повозках по тряским российским и совсем страшным сибирским дорогам, которые так искренне проклинал много десятилетий спустя Антон Чехов... Семь лет по чемоданам в дальних вояжах. Должно быть, эти единственные сохранившиеся три письма декабриста были чем-то дороги Владимиру Соколовскому, если он берег их до петербургского ареста в 1834 году...

Весной 1827 года Владимир Соколовский сразу после ледохода поплыл в Нарым, чтоб повидаться с декабристом, но по пути сильно простудился, отлеживался в каком-то попутном селе и, написав Николаю Мозгалевскому письмо, воротился в Томск — отец прислал за ним лодку. Через месяц с оказией пришел ответ. С трудом разбираю строчки: «...Не думал и воображать не мог того, чтобы я мог найти такого благодетеля, как Вы, что, не презирая меня в теперешнем положении, решили было поехать в Нарым единственно только для того, чтобы повидаться с бывшим однокашником, но, к большому сожалению моему, равно и Вашему, приключившаяся лихорадка с Вами заставила Вас воротиться назад».

Исключительно тяжелым было состояние Николая Мозгалевского в первый нарымский год.

В письмах ссыльного декабриста Владимиру Соколовскому сквозит крайняя душевная усталость и безысходное отчаяние. Некоторые слова совершенно уже не разобрать, но общий тон и смысл письма ясен — предельное бессилие пред голодом, нищетой, а возможно, и уже начавшейся неизлечимой болезнью: «...пускай [...] бремя непостоянного сего мира карает меня, как хочет». Декабрист пишет о «поганом» Нарыме и «свирепости» тамошних жителей, не имеющих «никакого понятия о человеколюбии», о том, что терпит «во всем нужду, которая доводит меня до такового отчаяния, что иногда осмеливаюсь роптать на Бога, почто он мне даровал жизнь и к нещастью моему не подверг к равной участи как Пестеля с товарищами, истинно 1/4 часа моего невинного мучения ощастливило б меня на целую вечность...» Декабрист не заикается о какой-либо помощи, только просит поблагодарить Игнатия Ивановича Соколовского и Ивана Дмитриевича Осташева «за благодеяние, которое они оказали в бытность мою в Томске». Владимир Соколовский прислал еще одно письмо, к сожалению, не сохранившееся, как и предыдущее, а я продолжаю разбирать письма Николая Мозгалевского, отрывки из которых публикуются впервые. «Ей, ей, не найти слов изъяснить здесь того моего душевного восхищения, которое меня по получении Ваших искренних строк подымало как будто под небеса! Какое сердце может удержаться при такой радости, чтобы

не присовокупить к оной вздохов и сердечных капель слез, видя *такого любезнейшего человека, который при самом моем гнуснейшем положении обязуется любить меня, как и в прежнем...»* Выделенные курсивом слова были подчеркнуты петербургскими жандармскими ищейками при следствии 1834 года.

И снова в письме Николая Мозгалевского не содержится никакой просьбы. Более того — в его «гнуснейшем положении» он хлопочет за другого человека! «...Разделяю время совершенно один токмо с подобным мне узником Ивановым, известным вашему родителю, изгнанному сюда волею г. генерал-губернатора, и не имеющего ни малейшего случая избавиться от сего проклятого места». И он просит Владимира Соколовского, «чтобы по природному человеколюбию походатайствовали у [...] родителя своего, чтоб он ему разрешил отсюда выезд в Томск, ибо теперь г. генерал-губернатора нет; следовательно, и опасаться нечего, и сию бы милостию осчестливить доброго бедняка.— Приношу чувствительнейшую благодарность дражайшему Вашему батюшке Игнатию Ивановичу за назначенные мне 50 коп. в сутки и за немедленное приведение оного в действие. Теперь я по крайней мере (обретаю) твердую надежду иметь безбедный кусок хлеба».

Вскоре гражданский томский губернатор И. И. Соколовский был отстранен от должности, а Владимир Соколовский уехал из этих мест.

Следственную комиссию 1834 года, конечно, насторожила давняя переписка Соколовского с государственным преступником Мозгалевским, особенно письмо от 15 июня 1827 года, в котором тот «выражается, что Вы обязуетесь любить его при самом гнуснейшем положении его, как и в прежнем, и что он разделяет время с подобным ему узником Ивановым, которому просит он через родителя Вашего выезд из Нарыма в Томск, говоря, что генерал-губернатора нет, следовательно, и опасаться нечего; объясните смысл письма сего, кто писавший оное Мозгалевский или Иванов; и какие имели Вы с ними сношения?»

Соколовский ответил, что Николай Мозгалевский был с ним в одно время в 1-м Кадетском корпусе, а когда в Томске узнал, что тот сослан в Нарым как государственный преступник, то по чувству совоспитанничества и христианскому состраданию помог ему, как бедствующему ближнему, «чем и как мог» и «сказал ему, что буду любить его по-прежнему, ибо и теперь я могу сказать торжественно, что *в мире нет человека, которого бы я не любил»* (курсив мой.— *В. Ч.*). Соколовский далее сообщил следствию, что никакого Иванова в Нарыме он совсем не знал и не стал тогда ходатайствовать за него перед покойным отцом, который неспособен был «сделать что-либо противузаконное».

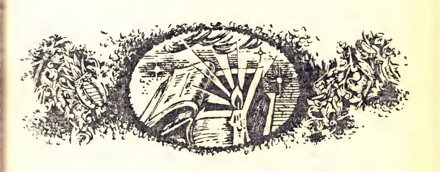
Обращаю внимание в письмах декабриста на одно важное сведение. При посредничестве Владимира Соколовского и благодаря добросердечию томского губернатора И. И. Соколовского отчаявшийся было Николай Мозгалевский первым из всех декабристов начал получать казенное пособие. Конечно, это была

мизерная поддержка — полтинник ассигнациями почти ничего не стоил при нарымской дороговизне на любой привозной товар, но каждодневный «кусок хлеба» за эти деньги все же можно было купить, и Николай Мозгалевский должен был привыкать к своему положению, к этому гиблому месту, где ему полагалось жить еще девятнадцать почти бесконечных лет.

Итак, три письма Николая Мозгалевского — единственное личное документальное свидетельство этого декабриста о жизни в нарымском изгнании — чудом дошли до наших дней, сохранившись в бумагах Владимира Соколовского — *единственного* человека, который дружески жал руку по крайней мере двум сосланным в Сибирь декабристам — Владимиру Раевскому и Николаю Мозгалевскому, передав тепло этих рукопожатий тем, кого они и их товарищи *разбудили*,— Александру Герцену и Николаю Огареву, писателям и революционерам нового поколения. Как хорошо, что такая тонкая, но туго скрученная ниточка вплелась в историю русской литературы и русского освободительного движения!

В переписке Владимира Соколовского с Николаем Мозгалевским, однако, не содержалось ничего предосудительного, и для меня так и осталось тайной, почему все же поэт, разделивший вину за пение дерзких песен с десятком своих товарищей, один из всех получил в 1835 году столь суровое наказание.

Надо искать ответ! В самом деле — Герцен был сослан в Вятку, Огарев в Пензенскую губернию, Сатин в Симбирск, все другие отделались еще более легкими наказаниями. А тут одиночное заточение в Шлиссельбургскую крепость на неопределенный срок!



22

Владимир Соколовский был прочно и надолго забыт. О нем совсем не упоминается в дореволюционном «Русском биографическом словаре», в Большой Энциклопедии, выходившей под

редакцией С. Н. Южакова, в Больших и Литературных энциклопедиях советского времени, а Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, поместивший более шестидесяти персоналий разных Соколовых и восьми Соколовских (том 60, 1900 год), сообщает о поэте множество неверных сведений — я насчитал семь только наиболее грубых ошибок, допущенных в справке о его жизни, творчестве и кончине...

В 1929 году в одном литературном сборнике появилась большая статья Т. Хмельницкой, которая *до странности принципиально* заколачивала поэта в историческое небытие. Т. Хмельницкая писала, в частности: «Имя Соколовского возбуждает историко-литературное недоумение во всех смыслах. И прежде всего в самом буквальном — имени этого не знают... За ним укрепилась легенда поэта, вдохновленного библией и только библией, поэта третьестепенной величины с достаточно трагической судьбой»... «Малоизвестный и несозвучный Соколовский», как называет его в предисловии к сборнику Ю. Тынянов, стал для автора статьи примером «забытости», а Б. Эйхенбаум в сопредисловии рассматривает эту «забытость» «как факт исторически значимый». Таким образом, был предложен редкий логический перевертыш: русский поэт Владимир Соколовский известен тем, что он... неизвестен, и Т. Хмельницкая, будто опасаясь, что ее могут неправильно понять, предупредила читателя: «Я, конечно, не собираюсь воскрешать Соколовского»...

Согласитесь, такой не совсем обычный подход снижает интерес к одному из интереснейших людей того времени. Даже столь большой знаток русской литературы XIX века, как Ю. Тынянов, решился, например, написать, что Соколовский — «декадент» 40-х годов, позволяет проанализировать понятие эпигоиство», хотя его ученица Т. Хмельницкая убедительно доказывает совершенно обратное: «Он не был эпигоном — не создал своей школы и не принадлежал к другой». В своей довольно пространной работе Т. Хмельницкая старательно поддерживает стародавнюю, по ее собственному выражению, легенду о Соколовском как о поэте, вдохновлявшемся исключительно библией.

Снжу, перечитываю все напечатанное о нем и удивляюсь, и досадую, что судьба оказалась к нему столь несправедливой. Вот передо мной толстый, почти в тысячу страниц, том литературной хрестоматии «Русские поэты XIX века», изданной в 1960 году и предназначенной для студентов-филологов педагогических вузов — «малоизвестный», «забытый», «несозвучный», «третьестепенный» и т. д. Соколовский все же попал туда, но лишь с песней «Русский император...» и тремя отрывками из поэм религиозного содержания. Легенда, то есть неправда или полуправда, бывает живучей и способна породить цепочку других, в чем я убеждаюсь, просматривая *хрестоматийную* справку о поэте. Боже, чего только не понаписано на этой страничке!

«Владимир Игнатьевич Соколовский родился в 1808 году» — безусловная правда, хотя автору справки следовало бы, как в других справках хрестоматии, добавить, где и в какой семье родился поэт, потому что слишком многое в его творческой биографии и личной судьбе связано с этими обстоятельствами. «Он учился в Московском университете, который закончил в 1832 году»,— это, так сказать, легенда, а точнее, абсолютная неправда: В. Соколовский, как мы знаем, закончил в 1826 году 1-й Кадетский корпус и больше нигде не учился. Кстати, за три года до выхода этого тома хрестоматии в статье «Вестника Московского университета» утверждалось, что В. Соколовский поступил в корпус в 1811 году, то есть в возрасте... трех лет!

Одна так называемая «легенда» порождает другие. «Соколовский в студенческие годы отличался революционным образом мыслей, был близок с передовой молодежью, состоял в дружбе с Н. М. Сатиным и через него познакомился с Герценом и Огаревым». Как мы знаем, студенческих лет у Соколовского не было и в 1832 году он только появился в Москве. Однако куда важнее другое — в хрестоматийном издании из биографии поэта исключено шесть лет жизни в Сибири, не упомянуто о его встречах с поэтом-декабристом Владимиром Раевским, переписке со «славянином» Николаем Мозгалевским, о «Красноярской Беседе», о московском знакомстве с Александром Полежаевым, не прослежен процесс формирования В. Соколовского как политической и творческой личности, его начальные шаги в литературе. В справке утверждается далее, что В. Соколовский напечатал в 1834 году роман «Две и одна, или Любовь поэта», однако романа под *таким* названием не существует в русской литературе. Чисто биографические сведения завершаются следующей итоговой фразой: «В 1839 году он умер в Пятигорске от чахотки». Владимир Соколовский скончался не в Пятигорске — в Ставрополе, и не от туберкулеза, а совсем от другой болезни...

Таким образом, русский поэт Владимир Соколовский остается воистину *Неизвестным Поэтом,* но было бы полбеды, если б речь шла только о фактах его биографии! Кстати, биографические данные частично уточнены в последней (1972 год) публикации о поэте, однако эта подробная пояснительная статья в фундаментальном издании («Поэты 1820—1830-х годов», том 2, Библиотека поэта, большая серия) традиционно-односторонней оценкой творчества Владимира Соколовского окончательно обрекает его на неизвестность и вырывает из истории русской литературы довольно важную страницу.

Да, Владимир Соколовский написал множество строф, снабженных библейским орнаментом. Не стану заострять внимание читателя на их эпической хоральной напевности, на вольном обращении поэта с классическими сюжетами, взятыми из «священного» писания, на особенностях его поэтической речи, характер-

ной кое-где неправильностями или, например, неологизмами, по которым слог Соколовского распознается безошибочно и, как говорится, с первого взгляда. Последнее обстоятельство, между прочим,— удивительная вещь! Тысячи русских поэтов написали за два века миллионы строк, но если я встречу словосочетание вроде «оземленялася душа», «дивная громада тленья», «субботствовать в объятиях любви» или «исчахшая завистливость ползет», «блистающий отрадной благодатью», «мучительством себя не засквернил», скажу: Владимир Соколовский, и никто иной!

Однако куда более удивительным представляется мне полутораавековое литературное недоразумение, связанное с именем Соколовского. Как и при каких обстоятельствах возникла и закрепилась за ним слава исключительно «религиозного» поэта?

В декабре 1836 года Владимир Соколовский был выпущен из Шлиссельбургской крепости по состоянию здоровья и ходатайству брата. Почти год просидел он в московской тюрьме на положении подследственного и почти два — в одиночке, посаженный туда без определения срока заточения. Современному человеку трудно себе представить весь ужас бессрочного одиночного заключения в самой страшной крепости России. Что думает человек, наделенный умом и талантом, бесконечными бессонными ночами в могильной тишине? Что передумал, например, декабрист Гавриил Батеньков за двадцать лет этой тишины? Уже через два года заточения он, как личность куда более закаленная и сильная, чем Владимир Соколовский, попытался в Алексеевском равелине, согласно полицейскому донесению, «голодом и бессонницею лишить себя жизни...»

О трагических тяготах одиночного заключения писали многие декабристы, выдержавшие его сравнительно небольшой срок. Ужасом веет от слов Николая Басаргина: «Тот, кто не испытывал в России крепостного ареста, не может вообразить того мрачного, безнадежного чувства, того нравственного упадка духом, скажу более, даже отчаяния, которое не постепенно, а вдруг овладевает человеком, переступившим за порог каземата. Все его отношения с миром прерваны, все связи разорваны. Он остается один перед самодержавною неограниченною властью, на него негодующею, которая может делать с ним что хочет, сначала подвергать его всем лишениям, а потом даже забыть о нем, и ниоткуда никакой помощи, ниоткуда даже звука в его пользу. Впереди ожидает его постепенное физическое и нравственное изнурение; он расстается со всякой надеждой на будущее, ему представляется ежеминутно, что он погребен заживо, со всеми ужасами этого положения».

Декабристам, Владимиру Соколовскому и много позже революционеру-народнику Николаю Морозову, разрешали читать единственную книгу под названием «Книга», то есть Библия, всех их посещал единственный человек из внешнего мира — священник, и каждый из троих узников тяжело болел в одиночном заточении. Гавриил Батеньков был на грани помешательства, разучился го-

ворить, Николай Морозов болел туберкулезом и многими иными болезнями, однако сумел вылечиться гимнастикой, Владимир Соколовский почти ослеп и оглох. После настойчивых ходатайств ему были выданы перья, бумага и чернила «для занятия сочинительством молодому человеку с дарованием и весьма прилежному к словесности». И мы не знаем, выжил бы Владимир Соколовский, если б не получил возможности читать — пусть даже единственную дозволенную книгу, Библию, если б не мог размышлять и писать.

Что́ видел он, родившийся и выросший среди могучей сибирской природы и расставшийся с нею на столько лет, когда читал, например, о том, как «смеялись холмы и рукоплескал лес»; что́ воображал он, бывший неуемный жизнелюбец, когда перечитывал в своем каменном мешке прекрасную легенду о любви Суламифи? И что удивительного в том, что поэтическое воображение его, отталкиваясь от поэзии, заложенной в древнем литературном произведении, «Книге», принимало соответствующее направление? Мы знаем, что этому направлению отдал свое, как стихотворец, даже Гавриил Батеньков, натура воистину титаноборческая, и что полвека спустя революционер другого поколения Николай Морозов, заключенный на двадцать лет в тот же Шлиссельбург, начал свои феноменальные научные изыскания с критического анализа Библии...

О том, что собою представлял Владимир Соколовский после освобождения, свидетельствует дневниковая запись 1837 года цензора А. В. Никитенко, о котором мы уже не раз вспоминали и вспомним еще. Вот выдержки из нее, интересные для нашей темы: «Июль 1. Познакомился на днях с автором поэмы: «Мироздание». Наружность его незначительна; цвет лица болезненный. Но он человек умный. В разговоре его что-то искреннее и простодушное. Заглянув поглубже в его душу, вы смотрите на него с уважением... С ним очень дурно обращались, а один из московских полицеймейстеров грозил ему часто истязаниями... В крепости он выучился еврейскому языку и сроднился с религиозным образом мыслей, но здоровье его убито продолжительным заключением...»

Власти позволили на некоторое время остаться Соколовскому в Петербурге, чтобы потом «допустить к службе в отдаленных местностях». Поэту надо было начинать новую жизнь. И вот в «Современнике», впервые вышедшем после смерти Пушкина, печатаются отрывки из новой поэмы Владимира Соколовского «Альма», перекликающейся с библейской «Песнью Песней», а через несколько месяцев, когда поэт уже был в ссылке, огромная поэма «Хеверь», основанная на библейской легенде об Эсфири.

Не буду утомлять читателя разбором этих сочинений — нам куда важнее найти истоки *легенды,* со временем до неузнаваемости исказившей творческий, духовный, даже просто человеческий, но, главное, политический облик поэта.

Ворошу старые журналы и газеты, присматриваюсь, *кто* поддерживал это, так сказать, направление и *что именно* вменялось поэту в заслугу. Вы замечали, дорогой читатель, за литературой одну ее особенность — писатель выпускает книгу за книгой, но проходит время, и за ним числится какая-то одна, самая характерная для автора? Цензор Никитенко назвал Владимира Соколовского автором поэмы «Мироздание», хотя ко времени их знакомства у этого автора были еще две примечательные книги, необходимый разговор о которых у нас впереди...

Итак, для начала — «Мироздание». Впервые поэма была напечатана в 1832 году. На выход книжки откликнулись «Московские ведомости», «Телескоп» и «Северная пчела». Издатель-редактор «Московских ведомостей» Шаликов, князь грузинского происхождения, был в истории русской литературы и журналистики, видимо, самой жалкой и курьезной фигурой. «Нет, кажется, ни одного писателя, деятельность которого вызывала бы столько насмешек и эпиграмм,— сообщала о нем самая солидная дореволюционная энциклопедия.— Имя Ш. стало почти нарицательным для обозначения приторной и слащавой чувствительности. Какие только названия не прилагались к Ш.: и «вздыхалов» и «кондитер литературы», и «князь вралей». «С собачкой, с посохом, с лорнеткой, и с миртовой от мошек веткой, на шее с розовым платком, в кармане с парой мадригалов»— таким является Ш. в изображении П. Вяземского. Портрет его сходен с этим описанием. Дошло до того, что в 1827 году агент 3-го отделения доносил Дибичу о Ш. по поводу слуха о назначении его цензором: «Редактор «Моск. Ведом.» есть известный Ш., который с давнего времени служит предметом насмешек для всех занимающихся литературой. В 50 лет он молодится, пишет любовные стихи и принимает эпиграммы за похвалы. Этот Ш. не имеет никаких сведений для издания политической газеты и даже лишен природной сметливости». Человек сентиментальный, чувствительный и чувственный и в то же время «буйный, необузданный без правил и без нравственности», князь Шаликов мог поддержать кого и что угодно, в том числе, конечно, и «Опыт духовного стихотворения В. Соколовского», как значилось в подзаголовке поэмы «Мироздание».

То, что хвалил князь Шаликов, не обязательно должен был хвалить Н. И. Надеждин. В его «Телескопе» не только собирались лучшие литературные силы (Пушкин, Крылов, Жуковский, Загоскин, Лажечников, Аксаков, Огарев, Чаадаев), дебютировали молодые таланты (Белинский, Герцен), но и формировались-поляризовались начальные западнические и славянофильские идеи. Отмечая несомненный, нежданно явившийся из Сибири молодой талант и дружное молчание журналов по этому поводу, рецензент «Телескопа» писал: «Будь это в Англии, во Франции, ежедневные листы на другой же день по отпечатании поэмы известили бы о ней публику, а обозрения давно бы поместили подробные и отчетные разборы. У нас совсем иначе! У нас, появись ничтожная книжка ничтож-

ного автора, но вписанного в литературный цех, приобретшего известность, хотя бы и бесславную — брани врагов, похвалы приятелей тотчас же на него посыплются градом; напротив, выступи скромный безвестный писатель, без друзей и знакомых, без ласкательств и происков — никто, никто не удостоит его вниманием, и его творение, хотя бы носило печать истинного, высокого дарования, останется под спудом, пока случаю не угодно будет извлечь его из пучины забвения».

Следующая цитата интересна тем, что в ней сквозят идеи раннего славянофильства: «В поэме Соколовского я вижу... произведение ума совершенно русского, что-то Державинское — восточную картинность, соединенную с ясностию и отчетливостию мысли. Почти ничто не напоминает в ней прививных недостатков Русской словесности: он не мечтатель, но также и не поэт-космополит, для которого всякий предмет хорош, только был бы поэтический; он прежде всего человек религиозный... Он самобытен...» И запомним еще одну важную мысль автора, скрывшегося под псевдонимом в виде трех звездочек: «Поэт изображает хаос, как могилу минувшего и зародыш будущего».

Рецензент «Телескопа», в сущности, не касается содержания поэмы, и «Мироздание» для него — лишь повод, чтобы выразить *свои* идеи. Другое дело — петербургская «Северная пчела». О ее издателях Булгарине и Грече не буду распространяться — политический облик их общеизвестен. «Приветствуем нового Поэта; радуемся вере юного, блестящего дарования. Г-н Соколовский, избрав для своего стихотворения предмет самый высокий, требующий особенной силы чувств и поэтической души, предмет, обработанный Мильтоном, выполнил свой труд с достоинством. Отважный выбор делает ему честь...» И так далее, и тому подобное — с длинными цитатами и теологическими комментариями.

Прошло пять лет со дня появления «Мироздания» и первых откликов на нее. С Владимиром Соколовским, как мы знаем, приключилось за эти годы многое. И вот он снова на свободе, и среди лета 1837 года выходит второе издание его первой поэмы. Отметим, что она была переиздана в типографии того самого Греча, который, по его собственному признанию в 1825 году, «вытрезвился от либеральных идей», дожил до шестидесятых годов и успел удостоиться презрительного внимания Добролюбова, назвавшего этого литератора «поборником лжи и мрака». И еще отметим — похвальная рецензия известного водевилиста Федора Кони немедленно появляется в той же газете Греча и Булгарина «Северная пчела», что пользовалась покровительством 3-го отделения его императорского величества собственной канцелярии. А если добавить, что автора поддерживает добрым словом сам В. А. Жуковский, стоящий близко к царскому семейству, что его поэма-драма «Хеверь» печатается в... типографии того же 3-го отделения, то поневоле может возникнуть

представление не только о «религиозном» поэте, но и о человеке благонамеренном, верноподданном, реакционном, служащем власть имущим и снискующем их расположение, тем более что исследователь может найти в архивах письмо Владимира Соколовского, посланное из крепости великому князю Михаилу Павловичу с просьбой отпустить его в Иерусалим для вдохновенья, и вскоре этот августейший князь, как пишет в дневнике Никитенко, «выхлопотал ему свободу».

Все вроде сходится на одном, да только далеко не все так, как оно сходится!

Возможно, когда-нибудь литературоведы разберут мотивы поступков и суждений Владимира Соколовского во время его заточения и по выходе из крепости. Допускаю, что заживо погребенный и заживо сгнивающий от страшной неизлечимой болезни человек мог написать что угодно и обратиться к кому угодно — лишь бы вырваться на свободу, чтобы с первого дня ее начать изнурительную борьбу за кусок хлеба насущного, печатаясь где угодно и при официальном знакомстве с официальным лицом отзываясь добрыми словами об официальных лицах, достаточно недобрых, но от которых зависела его дальнейшая «достаточно трагическая» судьба. Поэт прекрасно знал, что с ним-то могут сделать все *что угодно*, если на его глазах сделали такое с Пушкиным и Полежаевым.

В церковь, где отпевали величайшего поэта России, пускали, по свидетельству Никитенко, «только тех, которые были в мундирах или с билетами». У Соколовского даже не было приличного платья. Но Соколовский, конечно, знал, как схоронили Пушкина,— это знал весь Петербург и пол-России, хотя и «увезли *тайком* труп его в деревню». (Запись об этом у Никитенко почти соседствует со строками о знакомстве цензора с Владимиром Соколовским, и я приведу те жуткие строки: «Моя жена возвращалась из Могилева и на одной станции, неподалеку от Петербурга, увидела простую телегу, на телеге солому, под соломой гроб, обернутый рогожею. Три жандарма суетились на почтовом дворе, хлопотали о том, чтобы скорее перепрячь курьерских лошадей и скакать дальше с гробом.— Что это такое? — спросила моя жена у одного из находившихся здесь крестьян.— А Бог его знает что! Вишь, какой-то Пушкин убит — его мчат на почтовых в рогоже и соломе, прости господи,— как собаку!..» А в конце своей жизни, летом 1876 года, на одном из заграничных курортов А. В. Никитенко встретил человека, который поразил его «своей крайней непривлекательностью», наглым и высокомерным видом, неприятным помятым лицом «с оттенком грубых страстей». На курорте лечились большей частью французы; они избегали и сторонились этого типа, зная его как ярого бонапартиста, сенатора при Наполеоне III и вообще как человека «дурной репутации», а русским он, уже лишенный «всякого

значения», самодовольно представлялся так: «Барон Геккерн (Дантес), который убил вашего поэта Пушкина...» Убив Пушкина, Дантес прожил еще пятьдесят восемь лет. Хотя бы половину этого срока Пушкину, при жизни ставшему вровень со всеми великими творцами!)

Возможно, Владимира Соколовского попробовали приручить служки режима, как планомерно пытались приручить самого Пушкина. Доброжелатели же опального поэта, наверное, хотели *выручить* его, помочь ему найти место в жизни, быть может, даже избавить от ссылки. Потому-то Федор Кони печатает расширенную статью о «Мироздании» в двух номерах «Русского инвалида», одной фразой перечеркивая остальное, созданное поэтом, о чем мы еще вспомним, нажимает в своих публикациях на художественные достоинства поэмы, на «высокую музу» и «прекрасный талант» автора, создающего стихи, полные «энергии, мысли и глубокого, благоговейного чувства», и даже обращает внимание на то, что книжка выглядит точно так же, «как последнее издание басен Крылова и «Евгения Онегина», делая дипломатическую сноску: «за это надо благодарить г. издателя», то есть того же Н. Греча...

Полуторавековой легенде о Владимире Соколовском как поэте, «вдохновленном библией и только библией», противоречит слишком многое. Пять раз упоминается бог в сатирической песне «Русский император...» и пародии на официальный гимн, но говорить на основании этих текстов о религиозности Соколовского — это примерно одно и то же, что на основании «Ноэля» и «Гавриилиады» говорить о религиозности Пушкина. Возьмем, однако, стихи Соколовского, прошедшие в печать,— такие, например, как «Заря»... поэт выходит в поле». Какие-то расширительные вопросы и ответы, красочные картины природы, своеобразный, легкий, не везде совершенный стих, и не вдруг понимаешь, что имеет в виду автор под «святой лазурью».

I

Моя лазурь, лазурь святая,
Высоко там из чудных вод,
В шатер мирам, в раздольный свод
Рукой могучей отлитая,—
Скажи, зачем во все века
Ты так дивна и глубока? —
Я вся затем сквозись редею
И тайны радостной полна,
Чтобы земные племена,
Смотря на высь душой своею,
Легко *поверить* бы могли,
Что много сладкого вдали.

II

Мои атласистые травы,
Мои ковры, мои шелки

Тканье властительной руки,
Мои ветвистые дубравы,
Зачем, зачем вы для души,
Так непостижно хороши!
Мы зеленеемся так мило,
Мы так роскошливо щедры
На ароматные пиры,—
Затем, чтоб весело вам было
Идти в родную благодать,
Надеясь ею обладать.

III

Мои разлитые рубины,
Топазы, розы, янтари,
Моя игра моей зари —
Зачем по скату сей вершины
Дождишь отрадой красоты,
Моя хорошенькая ты?
Я льюся розовым пожаром,
И хорошею чистотой,
И вся горю в красе святой
Алмазом, золотом и жаром —
Чтоб те, кому должно идти,
Любили светлые пути.

Набранные курсивом слова выделил сам автор. Но кто же она, *вера, надежда и любовь* поэта! Заря, как природное явление, в которую могли бы поверить *земные племена?* Нет, конечно! Для такого поэта, как Владимир Соколовский, ежеутренняя заря — это был бы слишком незначительный предмет. *Она* — для тех, «кому должно идти»,— совсем другое: *за нее* подымали кубки будущие декабристы и Пушкин в Каменке, Пушкин и Пущин в Михайловском. *Она* — это «заря пленительного счастья».

Читателям 20—30-х годов XIX века не надо было объяснять, *что* имел в виду и друг Владимира Соколовского Александр Полежаев, когда писал:

Гори ж сияй,
Заря святая!
И догорай,
Не померкая!

Заря, как мы знаем, для поэтов и читателей той поры была Грядущей Свободой.

А из другой его поэмы никто и никогда не цитировал пронзительно исповедальных строф, слишком земных, чтобы числить их примером «духовной» поэзии. По беспощадной откровенности, острому мироощущению и самораскрытию можно сблизить лирического героя, точнее, антигероя Соколовского, с трагическими мотивами Лермонтова и психологическими откровениями Достоевского. Переставляю и сокращаю строфы

«Исповеди», чтоб читатель легче вошел в страшный мир человека, испытавшего крушение всех надежд в глухую последекабристскую пору и с холодным вниманием аналитика всматривающегося в бездну своей грешной и обессиленной души.

Я знаю участь сироты;
Я в школе горестей учился;
С несчастьем с юных лет сдружился,—
Питомец нужд и нищеты.
Я рос без нежного привета:
Никто малютку не ласкал,
Я радость лишь по слуху знал;
Казалось, лишним был для света.
Я тосковал — моей печали
Никто и ведать не хотел,
Я ждал вопроса — и глядел
В глаза людей; — но все молчали...

И опыт горький утвердил
Мой холод к людям ненавистный,—
Мой друг, казалось, бескорыстный
За чувства злом мне заплатил.
Обманом мне казался свет,
Все люди повестию ложной;
Что не было, чего уж нет
Мне мнилось сущностью возможной.
И вот я, страшный эгоист,
Без правил, без добра, без друга,
Порок мне спутник, лень подруга...
В речах, делах позволил вольность,
Приличия, благопристойность
Я часто, часто нарушал.
Чего бежал — к тому стремился,
Чего боялся — то искал,
Что нравилось — того страшился,
Что пагубно — того желал.

...Я сердцем жил и бурны страсти
Торжествовали над умом.
Печали, скорби и напасти
Ко мне стекались часто в дом.
Всегда собою недовольный,
За скудный дар я жизнь считал;
Неистовый и своевольный,
Я быстро от страстей сгорал.
Мне тесен был свободы круг;
Мне в жизни — жизни было мало;
Для чувств — мне сил не доставало,—
И я желал жить дважды вдруг.
Но кто желает — тот грешит.
Кто недоволен — тот несчастен.
И кто злу в жизни не причастен?
Прожить свой век кто не спешит?

Да, жизнь моя скудна добром;
В ней мало веры — все безверье;
В ней мало дела — все безделье;
Обильна лживости и злом;
Полна несбыточных желаний,
Предупреждений и забот,
Ничтожных мелочных хлопот;
Не высказуемых мечтаний...

Едва ли можно было написать подобные строки, не имея личного горчайшего жизненного опыта.

Владимира Соколовского нельзя числить только «религиозным» поэтом хотя бы потому, что одновременно с лирико-драматическими поэмами, сюжеты которых, верно, приблизительно напоминали библейские, он сочинял и печатал стихи, никоим боком не приложимые к «священному» писанию. Как многих поэтов-декабристов, его тянуло, например, к русской истории. Еще до заключения в крепость он читал друзьям отрывки из поэмы «Иван IV Васильевич», а после освобождения напечатал в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» две «Свадебные песни» из этого незаконченного произведения. Или вот мечтательно-лирическое:

У моей у младой, у моей молодицы
Голубые глаза и как соболь ресницы;
И высокая грудь под завесой лилей
Дышит негой любви у младой у моей.
Молодая мила, молодая игрива,
Как заря на струях голубого залива,
И чудесно светла от святого тепла,
Как отрада любви, молодая мила...
Я младую зову белокрылой своею,
Я водою живых молодую лелею.
И в мечтах, и во сне, и на светлом яву
Все лебедкой своей я младую зову.

Стихи не вполне совершенные, и Герцен, вероятно, был прав, когда писал, что Соколовский «имел от природы большой поэтический талант, но не довольно дико самобытный, чтоб обойтись без развития, и не довольно образованный, чтоб развиться». И все же «Молодица» хороша! Что-то светлое и очень русское, чарующее своей звукописью, нежными переливчатыми аллитерациями; это был поэт воистину с богоданным дарованием.

А вот строки из «библейской» «Хевери»:

Ты светлою решимостью своей
Нам доказал, что и во цвете дней
Бываем мы для подвигов могучи.
И если в нас под пылом знойных дел
Душа — тверда, взгляд — зорок, разум — смел,
Стремления к избранному — кипучи,
То можно нам по всякому пути
С величием и с честию пройти!..

И еще стихи о Енисее, заканчивающиеся так:

Кипучий, быстрый Енисей!
Неси меня своей волною;
Уж солнце светит за горою
И цель близка... Неси скорей!

А «царя Вселенной», «бога вышних сил», «творца» Владимир Соколовский мог упомянуть и в таком кощунственном контексте, сохранившемся благодаря воспоминаниям Н. Сатина:

Сгрустнешь в тяжелой думочке,
Помолишься творцу,—
И снова лезешь к рюмочке,
И снова к огурцу.

Вспомним также четырехкратное упоминание «творца» в политической песне «Русский император...» и начало пародии на официальный гимн «Боже, коль силен еси...». Современные исследователи, отмечая, что Владимира Соколовского «нельзя упрекнуть в отсутствии мысли и безвкусице», что его «утомительно многословное стихотворство» отмечено «такой индивидуальной манерой письма, которую невозможно спутать с творческим почерком другого поэта», выносят, однако, последний по времени и, можно подумать, окончательный приговор значимости, вернее, незначительности его вклада в русскую литературу. Это правда, хотя и не совсем полная, что «внутренний пафос всех его библейских и вообще высоких произведений составляет неопределенный, но сильный порыв к какому-то огромному и прекрасному грядущему, к источнику всемирной «благодати», а в «Оде на разрушение Вавилона» Владимира Соколовского «слышится отзвук декабристской трактовки Библии». Но уж окончательная неправда, воистину легенда, что он был преимущественно «религиозным» поэтом! В те времена многие пользовались библейскими мотивами для маскировки своих идей. Вспомним хотя бы «Валтасара» Александра Полежаева — это поэтическое подражание пятой главе пророка Даниила было политическим откликом на коронацию Николая I. Добавлю, что мы в нужном месте еще вспомним о «религиозной поэзии» В. Соколовского, чтоб открыть в ней совершенно неожиданное и совершенно не замеченное исследователями... .

Владимир Соколовский — сложный русский литератор, умевший иносказательно преподносить свои социально-утопические грезы и демократические идеи в искусственной ветхозаветной упаковке. Он заслуживает звания «религиозного» художника не в большей степени, чем Данте с его «Божественной комедией» или Мильтон с «Потерянным раем», чем живописец Рафаэль или скульптор Микеланджело.

Вроде бы неправомерно ставить «третьестепенного» русского поэта Владимира Соколовского рядом с гигантами мировой культуры, но что такое *мера* в непрерывном творческом потоке человеческого самопознания, в недоступных во все времена строгой науке глубинных связях искусства и жизни, загадок человеческой памяти? Очень хорошо на эту тему пишет киевский исследователь В. Скуратовский: «Пожалуй, самой важной и самой яркой чертой современного историко-культурного «припоминания» является убежденность в непроходящей ценности любого, пусть самого скромного, движения человеческих мыслей и чувств, отлившегося в письменную или печатную страницу, ставшего стихотворением, статуей, живописным полотном, музыкальным произведением... Толстой говорил, что любовь великого мыслителя и обыкновенного человека равноценна. Нечто похожее ранее утверждал Гоголь, высказавший головокружительно глубокую мысль о том, что в истории литературы нет мертвецов. По Гераклиту, огонь живет смертью земли. Но в мире словесного творчества ни одна стихия не живет смертью другой, даже если именно она вытесняет ее на окраины литературы. Как это ни странно звучит, вселенная литературы со всеми ее многочисленными олимпами и, казалось бы, навечными репутациями совершенно не иерархична. Во всяком случае, здесь «великое» нисколько не отменяет «малого», здесь небо держат не только атланты. В этом мире каждый приставлен к решению той или иной человеческой задачи, а ведь все человеческие задачи важны — вне зависимости от того, кто их решает, великан мысли или ее незаметный труженик».

На этом, дорогой читатель, можно было бы и закончить наше путешествие в литературное прошлое, связанное с «забытым», «неизвестным», «третьестепенным», «несозвучным» поэтом Владимиром Соколовским, вдохновлявшимся якобы «библией и только библией», но мы еще не поговорили о самом существенном в его творчестве, без чего этот оригинальный русский литератор остается *воистину неизвестным.* Даже приблизительное знакомство с двумя его не совсем обыкновенными произведениями развеет огорчительное стародавнее недоразумение, позволит правильнее определить место этого автора в общественно-литературном процессе прошлого века, место, бесспорно, более значимое и достойное, чем это считается до сего дня, и приблизит к разгадке некой тайны, которая волнует меня с тех пор, как я впервые взял в архиве Октябрьской революции дело «О лицах, певших в Москве пасквильные песни».

23

Сразу после «Мироздания» (1832) выходят еще две книги Владимира Соколовского — «Рассказы сибиряка» (1833) и «Одна и две, или Любовь поэта» (1834). Они были напечатаны мизерными тиражами в Москве, с тех пор ни разу не переиздавались, давным-давно стали библиографическими редкостями, и далеко не каждая из фундаментальных наших библиотек их имеет. Помню, занимался я в фундаментальной московской библиотеке, расхоже называемой именно «Фундаменталкой», а в официальном своем имени четырежды повторяющей слово «наука»: «Научная библиотека Института научной информации по общественным наукам Академии наук СССР». В ней числится, худо-бедно, семь миллионов томов! Поэма Владимира Соколовского «Мироздание», переизданная в 1867 году с портретом автора,— это была последняя по времени отдельная книжка поэта, увидевшая свет,— нашлась, а вот «Рассказы сибиряка» и роман «Одна и две, или Любовь поэта» не попали даже в такое огромное книжное *научное* собрание. Удивился, хотя и не очень,— знать, слишком мало экземпляров было отпечатано, и от тиражей почти ничего не осталось за полтора-то века. Но когда я все же разыскал их в благословенной Историчке да прочел, то удивился не столько тому, что они все же дошли до нас, сколько тому, что *такие* книжки вообще появились в начале 30-х годов прошлого века — под пером автора, разрешительной подписью цензоров и на прилавках книготорговцев.

Когда я взял в руки «Рассказы сибиряка», маленькую, скромно изданную книжицу, то с удовольствием подумал, что вот прочту сейчас сборник рассказов одного из первых сибирских прозаиков, узнаю, как Владимир Соколовский видел свою и мою родину тех лет, ее людей, природу, что его заботило и волновало в жизни, был ли он приверженцем модного в те юные годы русской прозы романтического стиля, как в ней насчет «религиозности», короче, любой читатель поймет меня, раскрывшего *неизвестного* Соколовского.

Никакой Сибири, однако, в «Рассказах сибиряка» — по крайней мере, на первых страницах — не оказалось. Начал бегло просматривать сочинение; это были совсем не рассказы, а что-то совершенно неожиданное по жанру, странное, бесформенное и вроде бы пустое. Стихотворный эпиграф, и дальше в тексте обрывки стихов, в самом начале и потом между строфами прозаические и дурашливые обращения к какой-то «прелестной Катиньке», глуповатые шутки, потом, откуда ни возьмись, имена первых монгольских ханов появились, о них что-то смутное и слишком много, затем еще более смутное и пространное в прозе и стихах об учении Шагя-Муни, и опять «прелестная брюнетка» Катинька, остроты, каламбуры, вставные насмешки над всем, что попадется под руку, и так по всему тексту... Какие-то Ориенталисты, имена совершенно невообразимые, например, Сакая-Гунге-Гила-Джан... Ну, хотя бы что это-то такое? Значит, так — «любезный мой Гуюк», хан монгольский, заболел будто бы водянкой и вызвал из Индии некоего ламу Сакая-Гунге-Гила-Джана... «Что ж вы так иронически улыбаетесь, господа Ориенталисты?.. Верно, я переиначил это варварское имя; но вспомните, ради Бога! вспомните знаменитого Фернейского часовщика (то есть Вольтера.— *В. Ч.*); потрудитесь развернуть его Essai sur l'histoire universelle; посмотрите только, как он жалует Бориса Годунова в Boris Gudenou, и Гришку Отрепьева в Griska Outropoyia, полюбуйтесь этим — и будьте ко мне снисходительны...»

Для людей, знающих французский, это немного смешно, и автор потешает читателя дальше примерно в том же безобидном духе, и начинаешь заглядывать то туда, то сюда, досадливо и торопливо перелистывать все сто тридцать страниц этой литературной галиматьи, пока не добираешься до последней прозаической фразы, сообщающей о том, что автор зевает под занавес, просит гóспода простить его согрешения и засыпает.

Прежде чем отложить книжку, пролистываю ее в обратном порядке и вдруг натыкаюсь на нечто серьезное в стихах, намекающее на более серьезное в жизни. А вот обрывок шутливого прозаического абзаца о Чингисхане: «Вы знаете, что это был человек, который не любил шутить... В то время не было недостатка в больных и раненых». Нет, «Рассказы сибиряка» надо выписать на дом, чтобы прочесть внимательно!

Берусь просматривать роман «Одна и две, или Любовь поэта». Издан четырьмя компактными книжками в прекрасном старинном переплете с желто-коричневыми красивыми разводьями по глянцевой оклейке, вступительным рисунком — барин и слуга, эпиграфом к первой главе «Уговор — лучше денег» и пояснением: «Обветшалая русская поговорка». Жанр определен как «роман из частной жизни» и, кажется, не может претендовать на большее — в нем описана банальная история любовных увлечений начинающего поэта, выпускника столичного Кадетского корпуса,

отставленного от военной службы и пытающегося найти путь к чиновничьей карьере в Сибири, под крылышком отца. Книга явно автобиографична — даже зовут главного героя Владимиром и приезжает он в Томск, где служил губернатором, точнее, начальником губернии, отец автора.

Написан роман, как и «Рассказы сибиряка», в легкой шутливой манере, и отдельные цитаты едва ли дадут о нем какое-либо представление, но что же мне делать, если слова, характеризующие это редкое произведение русской литературы, повисают в воздухе, а большинство моих читателей никогда не смогут его прочесть?

Вот наш герой катит в Сибирь, и спутник его, томский чиновник, каждые два часа предлагает: «Не богоугодно ли и вам укрепить свой желудок?»,— всякий раз опрокидывая перед тем стаканчик, то есть, как сказали бы некоторые наши современники, *«не просыхает всю дорогу»*. «Раз как-то Вольдемар увидел, что при самом восхождении солнца его спутник был сильно *восторжен*. Принимая в нем участие, молодой человек сказал ему:

— Помилуйте, Захар Алексеевич, как это вы не бережете своего здоровья?

— Позвольте спросить, в каком именно отношении?

— Да хоть бы в отношении к вину... Посмотрите, утро только что начинается, а вы уже препорядочно веселы, мой любезный.

— Эх, Владимир Николаевич!.. Куда как вы неопытны, как посмотрю я на вас! Разве вы не изволите знать поучительного старинного присловья, что ранняя птичка — носок прочищает, а поздняя птичка — *носок прочищает»*.

Подобных невинных сценок в романе множество, но автор чаще заменяет монологи и диалоги остроумным их пересказом и совсем не отвлекает читателя пейзажами или описаниями обстановки. Весь путь героя из Петербурга до Урала, *обогащенный* лишь одним попутным знакомством, вместился в единственную фразу. Вынужденный покинуть в столице предмет своей пламенной любви, «...до Мологи он обливался слезами; от Мологи до Нижнего — он плакал; от Нижнего до Казани — он грустил очень; от Казани до Перми — он грустил, да не очень; от Перми до Екатеринбурга он даже улыбнулся, будучи у некоторых знакомых своего отца: там, между прочими, понравился ему некий муж глубокой учености, удивительной правоты и примерного нелицеприятия, который рассказал простодушно, что он пользуется хорошим состоянием по милости покойного своего деда, бывшего *Дотр-Метелем* при Дворе Императрицы Екатерины; что *ботаника* есть наука чрезвычайно полезная для торговли и что мы, русские, за ее введение обязаны блаженной памяти Императору Петру Великому, который не погнушался своими державными руками построить первый *бот»*.

Герой романа Владимир Смолянов, побывав в Томске, Барнауле, Горном Алтае, потом в Москве и Нижнем Новгороде,

пережил несколько любовных соблазнов и выдержал немало тяжких испытаний от предательства друзей и укуса собаки до краха всех своих надежд и неудачной попытки самоубийства. Но вот все вроде бы пришло к счастливому концу — его единственная любимая Лизанька, оставшись, по ее собственным намекам, девушкой-вдовой после кратковременного полузамужества и нежданной смерти престарелого молодожена, идет наконец под венец с Вольдемаром Смоляновым и, естественно, становится его супругой. Предпоследняя глава романа «Страшное утро» завершается так. Собравшиеся гости и родственники, в их числе и брат героини Буклин, ждут молодых, но спальня до полудня заперта. Вдруг оттуда доносится жуткий, «едва человеческий» хохот. Встревоженная маменька молодой счастливицы заглянула в замочную скважину, в бесчувствии упала ниц, а брат вышиб ногой дверь и... «окостенел всеми членами». Правду сказать, было от чего!

«Перед ним лежала на полу его милая сестра, которую он любил почти до безумия... Она была изрезана ножом и искусана зубами... Развороченные ребры левого бока, в половину сломанные, в половину приподнятые торчали в разных направлениях, обагренные кровью... Открытая внутренность еще трепетала... Подле несчастной сидел на полу Вольдемар и изредка погружал ножик в свежия места... Пена была у его рта... Он взглянул на вбежавшего друга своего и снова захохотал своим диким хохотом...

Первая мысль Буклина была та, что Смолянов укушен прошедшаго года точно бешеною собакою, вторая... Но прежде нежели можно успеть пересказать вторую мысль, он уже исполнил ее... Вырвавши ножик у своего зятя, он одним размахом перерезал ему горло, потом воткнул неутомимое железо в свое сердце...

Часа через три с половиною три гроба стояли на том самом столе, за которым только вчера пировали веселые собеседники».

Страшная концовка подкрепляется заключительным изречением: «Свет есть складочное место различных орудий, которыми человек владеет! Барон Бюйрлейг». А последняя глава начинается эпиграфом: «Оставьте эти черные одежды и отрите ваши слезы. Гервий».

«— И неужели это ужасное происшествие случилось в самом деле? — спрашиваете вы меня... Да, милостивые государыни, в самом деле, только надобно вам сказать правду, что оно случилось вовсе не с молодыми Смоляновыми, и я рассказал об нем для того, чтобы только попугать вас»...

Все в романе заканчивается вполне благополучно — тихим обывательским счастьем героев.

Снова пролистываю все четыре книжки романа и прихожу к выводу, что его тоже необходимо взять домой для основательного

прочтення — в нем было что-то общее с «Рассказамн снбиряка», в которых среди словесной белнберды встретилось совсем нежданное, требующее осмысления н даже будто бы расшнфровки. А тут около тысячи страниц, и я, уже зиая, на что способен Владимир Соколовский, был почти уверен, что на этаком-то просторе он не упустит возможности выразить свон заветные мысли н чувствоваиия каким-либо способом — подтекстом, иносказанием, намеком, недомолвкой, семантической неоднозначностью русского слова или совсем неожиданным и свежим литературным приемом. Он ведь и в жизни был человеком нежданно-рискового поведения и озорного острословия, рассчнтанного на умных слушателей. Стоит вспомннть хотя бы его ответ на обвиненне следователя в оскорблении августейшей фамилии, однако *фамилии* Романовых он действительно не оскорблял, только имена!

Когда я дома внимательио прочел шутливые «Рассказы сибиряка» и плутовской роман «Одна и две, или Любовь поэта», то постепенио пришел к твердому выводу, что обе этн вещи представляют собой *оригинальнейшие и очень серьезные остросоциальные произведения, сравнить которые не с чем даже в такой многообразной и необъятной литературе, как русская:*

«Одна и две, или Любовь поэта» действительно имеет все жанровые признаки классического плутовского романа. До В. Соколовского русской читающей публике была известна сатирическобытовая «Повесть о Фроле Скобееве», позже появились «Прнгожая повариха, нли Похождения развратной женщины» М. Чулкова, «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гавриила Снмоновича Чистякова» В. Нарежного, «Иван Выжигин» Ф. Булгарина и другие произведения, но роман «Одна и две, или Любовь поэта» превосходит все предшествующее во многих отношениях, о чем большой разговор у нас впереди...

Затрудияюсь определить жанр «Рассказов сибиряка». Это не проза, ие поэзия, не популяриое историческое переложение, не сатира иа современиость, не литературный манифест, не веселая пародия на традиционные жанры, не полнтический памфлет, хотя элементы и первого, и второго, и пятого, и десятого присутствуют в этом страииом, ни на что не похожем сочинении. В какой-то мере он с первого взгляда напоминает «Странника» А. Вельтмана, однако, присмотревшись, видишь, что автор мастерски мистифнцирует читателя, скрывая за формой то, что он хотел сказать по существу.

В поэтическом эпиграфе ко всему сочинению Владимир Соколовский предупреждает читателя:

Слова высокой притчи правы!
Всему есть время: для труда,
Для слез, для смеха, для забавы,—
И вот вам *шалость*, Господа!

Правда, догадки о том, что это далеко не шалость, закрадываются с первой же страницы основного текста.

«Честь имею рекомендоваться вам прелестная... Вот хорошо!. чуть было не сказал: прелестная Катинька... Конечно, тихомолком вы может быть и согласитесь со мною, что такая простота сердца чрезвычайно мила,

> Но тут поставить надо: *но*.
> Затем, что простота в смешное
> Обращена людьми давно,
> И все мы *чувствуем* одно,
> А *говорим* совсем другое...»

Авторский курсив противительных слов в самом начале «Рассказов сибиряка» — своеобразный ключ к жанровым особенностям и смыслу этого довольно сложного произведения, аналогов которому, повторяю, я что-то не могу припомнить. Владимир Соколовский, подготовляя читателя к разгадке его замысла, почти напрямую говорит о том, что считать это произведение тем, чем оно преподносится в эпиграфе, то есть — шалостью, есть «простота сердца», и автор далее будет *говорить* одно, а *подразумевать* и чувствовать совсем другое.

На читательскую сообразительность, на понимание рассчитан и своеобразнейший эпиграф к роману «Одна и две, или Любовь поэта». Он выполнен, как это ни странно, графически, с краткой подписью под рисунком. Для иллюстрации романа «из частной жизни» с любовной историей, лежащей в основе всего сюжета, вроде уместнее всего было бы изобразить интимную пару главных героев. Однако на рисунке изображен мимолетный эпизод, связанный с рассказом второстепенного героя произведения. В тексте ему соответствует утренний *разговор* этого героя, собравшегося в тот день сделать предложение, со своим слугой:

«— Петрушка!.. Бриться!.. духов!.. помады!.. новый виц-мундир!.. новые эполеты!.. все новое!.. Понимаешь?» — «Понимаю-с, Петр Петрович!»

Мне показалось, что он сделал ударение на слове *понимаю-с*, и я закричал на него:

— «Врешь, дурак!.. ты ничего не понимаешь».— «Я ничего не понимаю, Петр Петрович».— «Ну, то-то же! Бриться!» — «Готово-с»...— «Разбавь-ка о-де-колон водою и подай мне в стакане»...— «Понимаю-с! Стало быть, изволите кушать у Григория Федоровича?» — «Нет, меня просил к себе Смолянов».— «Понимаю-с!» — «Послушай, не смей говорить, что ты что-нибудь понимаешь. Слышишь?» — «Понимаю-с, Петр Петрович! Я не буду понимать-с!..»

И вот на единственном рисунке, открывающем роман, стоит спиной к читателю Петрушка, а в глубине комнаты Петр Петрович встрепанно подымается с кресел и смотрит мимо слуги нам в глаза, будто внезапно осененный. Подпись под клише состоит из единственного слова: «Понимаю-с!»

И рисунок этот, и символическая подпись под ним, и весь роман, как я, извините, понимаю, тоже своего рода мистификация, скрывающая за условной пародийной формой немало достаточно серьезного. Вроде бы безобидно-шутливого, но на самом деле остросатирически рассказывает Вольдемар Смолянов — Владимир Соколовский о чиновниках, генералах, провинциальных девицах и львицах, ничуть не жалея ни предмета своих увлечений, ни отца родного, ни себя самого. Сей шутовской роман, переполненный каламбурами, анекдотами, эпиграфами и изречениями, насмешками над традиционным литературным стилем, комичными ситуациями, гротесковыми портретами, написан удивительно живо и легко, нашел бы и сейчас, полтора века спустя, своего читателя и почитателя, потому что автор применил вернейшее, быть может, единственное оружие против *пошлости*, кажется, вечной, как сама жизнь,— *смех*, чаще иронический, добродушно-снисходительный, чем язвительный или горький, но этим, однако, далеко не исчерпывается значение этого редчайшего произведения русской литературы, *единственного* в своем роде.

На страницах «Рассказов сибиряка» и романа «Одна и две, или Любовь поэта» чуть ли не впервые в нашей словесности прорезывается голос литературного полемиста-пародиста, который в полную силу зазвучит новыми голосами лишь в шестидесятые годы. Вот Владимир Соколовский переводит на стихи полупустой прозаический разговор о любви с той же Катинькой, и уже рвутся наружу презрительно-издевательские строки, направленные против модной для того времени романтической лирики изысканнейших поэтов и попутно против тех,

Кто важно в свет вступил при шпаге,
Кто много нежностей читал,
Тот хочет вдруг, при первом шаге,
Сыскать для сердца *идеал*...
«Мне жизнь — печаль, мне свет — пустыня!
С кем поделюся я душой?» —
Твердит мечтатель пылкий мой,—
И вот является богиня.
Уж разумеется, она
По милости воображенья,
Тотчас же фениксом творенья
В посланьи к другу названа;
Тут на людей пойдут нападки,
И, в духе рыцарских времен,
Он бросить всем готов перчатки,
Зачем не бредят все, как он...
Какой он вздор в стихах турусит!
В них смесь всего и ничего:
Он понял всех, а уж его
Никто наверно не раскусит;
Все жалки, холодны, как лед,
У всех на место сердца — камень,
И только в нем небесный пламень.
От скуки ангел стережет...

Поневоле вспоминается строфа «Евгения Онегина» о предуэльном письме Ленского, написанном романтически *«темно и вяло»:*

И наконец перед зарею,
Склонясь усталой головою,
На модном слове *идеал*
Тихонько Ленский задремал.

После «Рассказов сибиряка» Владимир Соколовский продолжает литературную полемику в прозе. Отказываясь в самом начале романа «Одна и две, или Любовь поэта» описывать обстановку некоего петербургского дома, он пародирует: «Все было так чисто, так мило, что какой-нибудь романист прошедшего столетия верно бы разнежился и стал бы вас уверять: «что хотя и не было тут излишней роскоши; хотя на дорогих столах не горела выписная бронза и не красовался драгоценный фарфор, хотя стены не блистали мрамором, а пышные карнизы золотом, но зато все эти сокровища, которые обольщают только одну суетность, заменялись добродетелью, порядком, тишиной, семейственным счастием и прочими разными разностями». Так или почти так описал бы вам этот затейник дом и семейство Смельского, но я бы солгал, повторивши эти приторные пошлости...»

Во все времена художественные принципы были неотделимы от идейных, и Владимир Соколовский зовет к новой литературе: «...Право, пора и нам, Русским, знать совесть, пора оставить эти обветшалые крайности, эти неестественные преувеличения, которые смешат всех честных людей... К чему эти *Прямодушины*, эти *Простаковы*?.. К чему этот целый дом людей отличных, или наоборот, эта безобразная картина глупостей и пороков, которые гнездятся под одною кровлею?.. К чему эти *Софьи*, которые никогда не дают промаха; которые влюбляются и разлюбляют по каким-то высшим вычислениям?.. Как позабыть, что зло и добро давным-давно перемешаны и что на свете нет совершенства?..»

Снова раскрываю «Рассказы сибиряка».

То и дело прозаическая фраза продолжается стихами, в другом месте стихи переходят в прозу, безобидная шутка соседствует со злой насмешкой, ирония переходит в сарказм, а полусветская болтовня вдруг и вроде бы мимолетно сменяется серьезным раздумьем о жизни, и читатель, выхватив глазом то, о чем воистину думает автор, снова погружается в словесную ерунду. «Знаете ли, прелестная Катинька, от чего кругом нас такая суета?.. От чего все люди, разумеется, выключая только вас одних, делают столько дурачеств?.

Всегда под палкою судьбы,
Они, невежества рабы,
То от безделья закричат,
То от насилия заплачут,
То от бессилия смолчат?»

На этот вопрос, в котором содержатся довольно смелые для последекабристской поры утвержденья, следует ни к чему не обязывающий ответ: «Все это именно от того, что люди почти никогда не начинают своих дел с начала»,— затем опять идут отвлекающие, пустые строфы и строки о любви и супружестве...

Сам жанр плутовского, иронического романа, не получив у нас дальнейшего развития, стал уникальным литературным опытом Владимира Соколовского, а среди его отдельных достижений надо бы отметить гротесковый портрет. Вот, например, сибирский лекарь-немец, который пользует в Барнауле Вольдемара Смолянова: «Природа, бесконечно разнообразная в своих творениях, жестоко подшутила над обстановкою частей тела этого ученого мужа. Голова его, большая и круглая, как будто кочан, без всяких околичностей лежала прямо на плечах... Затем следовал живот, который служил образцом мастерского и презанимательного механического опыта, до какой степени может растягиваться человеческая кожа. К этому-то любопытному туловищу прицеплены были в надлежащих местах коротенькие ножки и коротенькие ручки. Каждая из двух последних вотше протягивалась к своей родимой сестрице, чтобы дружески пожать ее: везде огромное пространство разделяло их оконечности и только у одного рта оне вполне осязали взаимное прикосновение».

И еще одно совершенно нежданное открытие. Каждая из шестидесяти глав романа окольцована изречениями — около ста двадцати изречений-эпиграфов, заслуживающих того, чтобы поговорить о них отдельно. Подписаны они именами мудрых мужей — философов, историков, поэтов, полководцев, выдающихся государственных и церковных деятелей и на первый взгляд как бы демонстрируют исключительную эрудицию и начитанность автора. Посудите сами: Аристотель, Софокл, Ювенал, Гораций, Саади, Гете, Фильдинг, Руссо, Юнг, Виланд, Франклин, Гельвеций, Плиний, Цицерон, Демокрит, Демутье и так далее, включая каких-то безымянных мыслителей и превеликое множество совершенно не известных современному читателю, а также, бесспорно, выдуманных имен. Эпиграф «Одно слово может все испортить» приписывается, например, китайскому историку Сээ-Ма-Коан'гу, «Дела имеют также свою зрелость, как и плод» — Климентию XIV, а одно латинское краткое изречение подписано даже так: «Не знаю кто». Никакого китайского историка с невообразимым именем Сээ-Ма-Коан'г никогда не было на свете! Римский папа Климентий XIV существовал, но мысль, якобы принадлежавшая этому святому отцу, пронзительно банальна, в ней столько же мудрости, как, скажем, в изречении некоего гипотетического Алкуина, *дьякона* Йоркской церкви: «Каждому предназначена своя участь, которою он должен быть доволен», в сентенции Шевиньяра-де-ля-Паллю: «Не требуйте от молодого человека степенности старика» или, скажем, в мнениях, приписываемых Горацию: «По-моему, ничто не может сравниться с истинным другом», Аристотелю: «Надежда есть сон человека бдящего» и так далее.

Великолепны и «Разговоры», предпосланные автором к некоторым главам в качестве эпиграфов. Приведу хотя бы один пример, в котором явно сквозит политический оттенок. «Некий Чиновник Парижской полиции: «Мне кажется, что такой человек, как вы, должен помнить о подобных вещах». Корбиниелли: «Да, Милостивый Государь! Но перед таким человеком, как вы, я не такой человек, как я».

И снова благоразумные сентенции: «Величайшее благо смертных есть любовь». «Молчаливость есть украшение женщины». «За неимением гвоздя — теряется подкова; за неимением подковы — теряется лошадь; за неимением лошади — погибает всадник: его настигнет и убьет неприятель».

А вам, дорогой читатель, эти *мысли* не напоминают что-то очень знакомое?..

Гробница есть памятник, воздвигнутый на рубеже двух эпох.

Глупость прошедшая весьма редко предостерегает человека от глупости настоящей.

Держите голову в прохладе, ноги в тепле, не отягощайте желудка — и без всякой боязни насмехайтесь над докторами.

В наше время друзья похожи на дыни: из полсотни насилу выберешь одну хорошую.

Узнали? Конечно же, это знаменитый русский писатель и мыслитель, работавший по совместительству директором Пробирной Палатки, блаженной памяти Козьма Прутков!

Творческий диапазон Козьмы Пруткова был довольно широк — он сочинял стихотворные пародии, драмы, басни, комедии, псевдонаучные трактаты. Они отслужили свое в литературной жизни середины XIX века, порядком забылись, хотя и перепечатываются во всех собраниях сочинений автора, который в памяти русского читателя прочнее всего вошел как создатель своих бессмертных «Мыслей и афоризмов». Напомню некоторые из них, чтобы можно было сравнить это классическое пиршество ума с изречениями его никому не ведомого предшественника.

Никто не обнимет необъятного!

Только в государственной службе познаешь истину.

Отыщи всему начало и многое поймешь.

Что имеем — не храним, потерявши — плачем.

Глядя на мир, нельзя не удивляться!

Щелкни кобылу в нос — она махнет хвостом.

Все говорят, что здоровье дороже всего; но никто этого не соблюдает.

Многие люди подобны колбасам: чем их начинят, то и носят в себе.

Если на клетке слона прочтешь надпись *буйвол* — не верь глазам своим.

Не совсем понимаю, почему многие называют судьбу индейкою, а не какой-либо другою, более на судьбу похожею птицею.

И Козьма Петрович Прутков, конечно, не отказался бы подписаться под такими, например, глубокомысленными словами:

Но обратимся к животным. Их виды неисчислимы. Одни из них имеют две ноги. Одни из них ходят, другие ползают.

Все сии вещи непроницаемы для человеческого разума.

Непорочность есть самое лучшее украшение хорошей жизни.

«От кого ты научился мудрости?» — «От слепых, которые не подвинут вперед ноги, не попробовав сперва палкою того, на что они хотят ступить».

Если бы весь свет открылся вдруг нашим взорам, что бы мы тогда увидели?

Большая книга есть большое зло.

Современная литературоведческая цитата о Козьме Пруткове: «Его «мудрые» изречения давно укрепились в устной и литературной речи, мы постоянно применяем их к явлениям и вопросам текущей жизни». И это безусловная правда о Козьме Пруткове, созданном в 50-х годах Алексеем Константиновичем Толстым, братьями Алексеем, Александром и частично Владимиром Жемчужниковыми. Известный в прошлом историк литературы Н. А. Котляревский, читавший лекции на Бестужевских курсах: «Козьма Прутков — явление единственное в своем роде: у него нет ни предшественников, ни последователей». Неправда. У Пруткова были предшественники. А впервые во всем величии оригинального русского философа таковой явился под разными знаменитыми и никому не известными именами в романе Владимира Соколовского «Одна и две, или Любовь поэта» почти за четверть века до своего всеобщего признания. Козьма Прутков удостаивается обширных персоналий во всех литературных и нелитературных энциклопедиях, я же недавно обнаружил, что множество знакомых мне литературоведов и критиков, в том числе и писавших статьи, предисловия и книги о Козьме Петровиче Пруткове, даже не подозревают о том, что он сам был в какой-то мере учеником и подражателем «неизвестного» русского литератора Владимира Игнатьевича Соколовского. Кстати, Алексей и Александр Жемчужниковы воспитывались в том самом 1-м Кадетском корпусе, который окончил Владимир Соколовский, и о нем и его романе мог рассказывать новому поколению воспитанников учитель словесности А. Л. Белышев, умевший артистично преподносить с кафедры героев сатирической литературы...

Вспоминаю также, что были в нашей сатирической литературе начала прошлого века произведения, авторы которых из цензурных соображений выдавали их за переводы, например, с маньчжурского. Мастером этого литературного приема следует признать Владимира Соколовского, который блестяще применил счастливую находку в «Рассказах сибиряка».

Несомненно, Владимир Соколовский интересовался средневековой монгольской историей. Сведения о ней он мог почерпнуть

скорее всего из книг ученого монаха Иакинфа, члена-корреспондента Академии наук Никиты Яковлевича Бичурина. В этом меня убедило сравнение написаний сложных монгольских имен в «Истории первых четырех ханов из дома Чингисова» отца Иакинфа и в «Рассказах сибиряка» Владимира Соколовского. Возможно также, что Владимир Соколовский, подобно декабристам Александру Корниловичу и Николаю Бестужеву, Пушкину и Белинскому, Зинаиде Волконской и Владимиру Одоевскому, И. Крылову, Н. Некрасову, М. Погодину и многим-многим другим, лично знал этого выдающегося востоковеда,— в «Рассказах сибиряка» поэт вспоминает некоего ориенталиста, подарившего ему тетрадку с выписками из монгольских духовных книг. Не уверен, был ли в России тогда еще хоть один писатель, изучавший два столь отдаленных языка — древнееврейский и монгольский. О том, что Владимир Соколовский действительно занимался монгольским языком, я узнал из полицейской описи его бумаг, взятых при аресте. Опись хранится в том самом деле «О лицах, певших в Москве пасквильные песни», где протоколы допросов так нежданно свели имена Николая Мозгалевского, Владимира Соколовского, Александра Герцена и Николая Огарева. В полицейской описи, составленной 21 июля 1834 года при аресте Владимира Соколовского, значатся «тетради о нравах монгольского народа» и «катехизис на монгольском языке». Однако под пером сатирика изложение религиозного учения монголов в «Рассказах сибиряка» орнаментируется совершенно неожиданными подробностями и комментариями. Не знаю, утверждает ли учение буддистов, например, что в «пространстве не может быть пустоты, или это положение всего лишь повод для следующей стихотворной вставки Владимира Соколовского с его *курсивными* словами:

Я эту мысль не принимаю,
Она — нелепая мечта.
И я, по опыту я знаю,
Что есть в *пространстве пустота:*
В нем важно место занимая,
Торчит иная голова,
И умной кажется сперва,
А ведь какая уж *пустая.*
Во всем собаку съел иной,
А смотришь — сохнет и худеет,
За тем, что с полной головой
Пустой желудок он имеет.
Иной везде нашел обман,
Не удается все иному,
И он хлопочет *по пустому*
За тем, что *пуст* его карман...

Вот это «восточный ориентализм», вот это *шалость*! После пространного шутливого переложения начальной монгольской истории, связанной с именами Чингиз-хана, Угудэй-хана, Гуюк-хана, Хубилай-хана, религиозных и философских концепций

Древнего Востока Владимир Соколовский приступает к третьему, *главному* рассказу, за которым тут же следует новая мистификация — многостраничная финальная поэма о любви, обращенная все к той же воображаемой собеседнице Катиньке...

Владимир Соколовский не переиздаётся больше века, в программу вузов не входит, солидно молчат о нем энциклопедии. Даже в «Краткой литературной энциклопедии», где следовало бы поместить его персоналию, нет этой фамилии! Удивительное дело — в этом энциклопедическом *литературном* справочнике значится, например, пятнадцать разных Гонсалесов, двенадцать Смитов, одиннадцать Мюллеров, восемь Гордонов, двадцать шесть Ивановых, девятнадцать Поповых, шестнадцать Соколовых, а какого-либо упоминания о Соколовском В. И. не сыскать во всех девяти томах. Названы, кстати, все члены московского герценовского кружка, кроме В. Соколовского, имевшего к 1834 году в отличие от А. Герцена, Н. Огарева, Н. Сатина, Н. Сазонова уже три полноценные книги, заполнившие особую страницу в истории русской литературы.

И, честное слово, не могу понять, как это бесчисленные наши литературоведы и критики *просмотрели* два наиболее важных произведения Владимира Соколовского! Единственная толковая рецензия на «Рассказы сибиряка» появилась в 1833 году в «Московском телеграфе», а роман «Одна и две, или Любовь поэта» не разбирался ни разу, хотя оба эти произведения несколько раз вкупе упоминались в статьях.

Федор Кони (1837 год): «...Со времени первого издания «Мироздания» явилось в свет еще два сочинения г. Соколовского. *Рассказы Сибиряка,* подражание сладенькому Демутье, и роман *Одна и две или Любовь поэта,* и оба не соответствовали блестящему началу его литературного поприща». К сожалению, я не читал «сладенького Демутье» и не знаю, насколько Ф. Кони прав, упрекая Соколовского в подражании, однако уверен, что от «Рассказов сибиряка» кой-кому стало очень несладко, о чем мы еще вспомним. Допускаю, что рецензенту летом 1837 года надо было приглушить значение сатиры своего товарища... Каких-либо других оценок этих произведений в дореволюционной критике мне найти не удалось, а всезнающий словарь Брокгауза и Ефрона, в котором помещена краткая персоналия поэта, даже не упомянул романа «Одна и две, или Любовь поэта»...

Т. Хмельницкая (1929 год): «Обычно незамечаемая даже в узком кругу специалистов проза Соколовского открывает неожиданные его достижения в области легкой, ни на что не претендующей, ничего под собой не подразумевающей шутки. В его «Рассказах сибиряка» (которые, кстати сказать, вовсе не рассказы, а шутливые объяснения в любви, мадригалы прозой и стихами, легкая пародия на свое же «Мироздание»), в этих рассказах встречаются самые непринужденные куплеты, совершенно вне обычной лексики Соколовского»... Далее Т. Хмельницкая говорит о природе его шутки, «вся соль которой в том, что она

ни на что не намекает, что она вся на виду и сама себя оправдывает», цитирует первую страницу книги и заключает: «Беспритязательные шутливые куплеты, обостренные каламбуром в стихе,— так почти вся вещь». Роману, ошибочно названному «Две и одна, или Любовь поэта», Т. Хмельницкая посвящает всего несколько строк — «шутливая произвольность всего повествования, цитатная энциклопедичность, нарочито случайная литературность текста, живущего эпиграфом».

В. Безъязычный и В. Гурьянов (1957 год) обращают внимание на «общий характер творчества поэта, вошедшего в историю русской литературы в качестве автора эпических опытов «библейской» поэзии», даже не упоминают «Рассказов сибиряка» и романа.

Н. Гайденков (1960 год) в биографической справке к хрестоматии «Русские поэты XIX века» лишь называет обе книги, причем повторяет ошибку Т. Хмельницкой, искажая название романа. Ощущение, что исследователи, бывает, предпочитают литературе литературу о литературе, усиливается, когда знакомишься с последней по времени публикацией о Владимире Соколовском, в которой роман также назван неверно — так же, как у Хмельницкой и Гайденкова.

В. Киселев-Сергин (справка о В. И. Соколовском в книге: Поэты 1820—1830-х годов, 1972. Большая серия «Библиотеки поэта»). Автор сообщает ничем не подкрепленные сведения о том, будто «серьезные умственные запросы, которыми жили участники герценовского кружка, слабо затронули Соколовского. Не могла не разочаровать их и его поэзия — прежде всего отсутствием философской проблематики и интеллектуальной пытливости». И далее: «Как бы в подтверждение своей несерьезности, Соколовский в 1833 году печатает «Рассказы сибиряка» — произведение с установкой на развлекательность и вполне безобидный юмор, написанное вперемежку прозой и стихами...» «Не имея никакого состояния, поэт вынужден был заняться литературной поденщиной. В 1833 году ему удалось получить заказ на роман. Он быстро разделался с ним и в следующем году издал под названием «Две и одна, или Любовь поэта». Произведение это, вызвавшее удивление Сатина своей бессодержательностью, красноречиво свидетельствовало о поражении Соколовского как беллетриста».

Роман, во-первых, называется не так, и, во-вторых, он красноречиво свидетельствовал о творческой *победе* Соколовского, создавшего первый и чуть ли не *единственный* в русской литературе плутовской роман, полностью отвечавший законам этого жанра.

На окружающих, в том числе и на близких друзей, Владимир Соколовский действительно производил впечатление человека «без царя в голове», живущего стихийно и бездумно, расточающего свое время, талант и будто нарочно создающего о себе такую репутацию. Имея характер открытый, доверчивый, озорной, бесшабашный, Владимир Соколовский легко поддавался и добрым и

дурным влияниям, при случае, когда были деньги, он был и выпить не дурак, и умел пошутить безобидно, а подчас очень зло и опасно, впадая в мрачную меланхолию, когда не было денег. Любил мистификации: носил, например, медальон на железной цепочке, уверяя, что это знак какого-то тайного союза. Писал и пел антиправительственные песни, сочинял эпиграммы, приклеивал к разным известным лицам безжалостные прозвища, напропалую острословил; так было и в Сибири, и в Москве, и в Петербурге. Сибирского поэта И. Петрова обозвал «тощей клячей на Каче» (Кача — район Красноярска.— *В. Ч.*), енисейского губернатора А. П. Степанова за громоздкую, в двести с лишним страниц, поэму «Суворов» — «убийцей славы Суворова», Федора Глинку — с его «Опытами священной поэзии» и прочими духовными стихами — «псаломщиком», приверженца классической романтической поэзии В. А. Жуковского — «медовым», бездарного и жеманного князя Шаликова — «зюзей» и «писателем для дур». И так далее. Не пожалел однажды он и себя, курсивом выделив то, что ему хотелось выделить:

Певец Соколовский
Не сокол, а сыч:
Напишет курсивно,
Читаешь — все дичь.

Однако сквозь шутку и наигранную веселость в посланиях к друзьям прорывалась и грусть, и неподдельное искренее чувство. Вот поэтическое обращение к Александру Креницыну, поэту-эпиграммисту, который в свое время был разжалован в солдаты за «оскорбление действием» воспитателя Пажеского корпуса, а позже откликнулся на смерть Пушкина смелым и сильным стихотворением, напечатанным лишь в 1865 году. В. Соколовский подарил другу свое «Мироздание» со стихотворным посланием:

Вот первых помыслов кипенье...
Ты их с любовью прочитай
И о певце, мне в утешенье,
Воспоминай, воспоминай!
Мы разно здесь проходим путь,
Но слиты сердцем, и порою,
Когда придет пора вздохнуть,
Тогда меня своей мечтою
Не позабудь, не позабудь...

И снова передо мной вопрос — за что все же Владимир Соколовский, единственный из всех обвиняемых, был заключен на бессрочное время в Шлиссельбургскую крепость?

Не станем обращать внимание на снисходительный покровительственный тон вроде бы окончательных оценок поэта — они неверны по сути, что очень важно, хотя следовало бы возразить и этому тону, и сути, и попутно даже А. И. Герцену, который дал Владимиру Соколовскому такую характеристику: «Милый гуляка,

поэт в жизии». Вспомиим, сколько десятнлетий числился «гулякой» н «певцом уходящей деревии» Сергей Есеини, пока иовое всеобщее чнтательское внимание, работы Ю. Прокушева, С. Кошечкииа, П. Юшина и других ие отвели замечательиому русскому поэту подобающее ему место в иашей сложиой и беспрерывной, как сама жизиь, литературе!

Напомиим, что перед арестом двадцатишестилетний Владимир Соколовский издал уже три книги, и прикиием, сколько бы ои мог еще напнсать, если бы ие заточеиие да болезиь! Верно, роман в четырех книгах «Одиа и две, или Любовь поэта» появился из-под его пера будто бы мгновеино, только ведь мы в точности ие знаем, сколько времеии ои взял у автора. И это ие была литературиая поделка! Следовало обдумать замысел в целом, иайти общую оригииальиую тоиальиость, в сущиости, иеизвестиую дотоле в русской литературе, иапнсать от рукн, перебелнть. Бесспорио, Владимир Соколовский был чрезвычайио одареииым и, видимо, трудолюбивым человеком — на тысяче страничек у иего ие иайти ии одиой стилнстнческой иеправильиости, ии одиой баиальиой фразы! Даже продумать более сотии изречеиий в духе классического, хотя н иесуществовавшего еще Козьмы Пруткова, требовало иемалого труда и времеин, а далее редакторская чнтка, цеизура, авторская корректура четырех кинжек. За год, к середиие лета 1834 года, такую работу едва ли можио было провернуть «веселому гуляке», и, может, ромаи «Одиа и две, или Любовь поэта» был иачат еще в Сибирн, а продолжеи и закоичеи в Москве или в нмеиии Степаиовых Троицком Калужской губериии, куда Соколовскнй иаезжал из Москвы...

В последиий раз возвращаюсь к «Рассказам сибиряка» и ромаиу «Одиа и две, или Любовь поэта», чтобы поговорнть о самом главиом — какое все-таки место заннмает в иепрерывном потоке русской литературы «обычио иезамечаемая даже в узком кругу специалистов проза Соколовского», а также его проза в смеси с поэзией. Остаиовлю виимаиие чнтателя лнщь иа одиом тематически вроде бы частиом, ио чрезвычайно существенном явлеиии, чего ие заметили узкие специалисты, как поиачалу ие заметил я, *пролистывая* в библиотеке обе киигн. Сдается, что автор предвндел такое прочтение и специальио обрамлял главное, существеииое словесным камуфляжем. Я уже упомниал о том, что после третьей главы «Рассказов снбиряка» идут длниные и иеинтересные строфы о любви, от которых его воображаемая героиия — предположнтельио рядовой потребитель литературиого чтива — заскучает. Подводя итогн всей вещи, автор как бы обращается к будущему критику: «Может быть, ииой скажет, что в этом рассказе чрезвычайно мало орнеитализма; как быть! я бы и готов продолжать, но сами посудите, можно ли потревожнть прелестиую Катиньку?..» Потом он просит слугу погасить свечу и не стучать, «как лошадь», чтоб ие разбудить Катиньку...» — «...какую, сударь, Катнньку? Здесь, кажется, инкого не видио».— «Глупец, разве ты ие слышал ее гармоиического голоса?».

— «Да голос ваш совсем не женскнй,
А он один н слышен был».
Ах, внноват! Я н забыл,
Что ты, брат, олух деревенский.

Не хочется, чтобы хоть кого-то считали олухом, поэтому возвращаюсь к центральиой, третьей главе, где очень даже немало ориентализма,— в ней излагается учение Шагя-Муни, верховного божества буддистов, н посмотрим, что за голоса переложил автор в стихотворные и прозаические строки...

Когда хан Гуюк излечился от водянки, он из благодарностн к врачевателю принял шагя-мунианство, то есть буддизм, однако прожил недолго, умер, и «после трехлетнего междуцарствия» властелином Монголии сделался Мэнгу-хан, внук Чингиза от младшего его сына Толая, за ним — Хубилай-хан. Эти последнне сведения исторически верны, ио вот речь идет уже о некоем ламе Мади-Дочжуа, создателе монгольской грамоты: «Он был человек дельный, потому что умел пользоваться чужим...» Прежде чем приступить к главному, третьему рассказу, автор под обобщенным именем Катинькн предупреждает читателя:

Вннманья, Катннька! Вннманья!
— «Его-то н не ведать вам»,
Хоть не ко мне, к монм словам:
Вот вам процесс мнросозданья!

Последняя строка снабжена цифровой сноской на «пояснения», помещенные в конце книги, где уточняется: «По ученью Шагя-Муни». Начинаешь читать пространное изложение мироустройства его четырех миров и вдруг чувствуешь, что все это — весьма продуманная фантазия автора, имеющая целью изобразить не какое-то божественное учение, а олигархическое устройство *земного* общества и абсолютнзм верховной властн. И вот Владнмир Соколовский добирается до главного — надо всем и всемн «иа пышном троне» восседает *он*. Об изрядном росте и театрально-монументальной фигуре Николая I сохранилось достаточно достовериых сведенний, и современникам его немало моглн сказать следующие три строки поэта:

Взгляннте же, как он параден;
Ну что? каков собой на взгляд?
— «Изряден».— Только что нзряден?..

Однако *он* был не только «изряден», ио и деспотичен, н жесток, и злопамятен. Что же делает в своем всевластном положении российский самодержец под псевдонимом властнтеля небес Шагя-Муни?

Оттуда суднт *он* и ряднт
Своих Монголов н Бурят,
И около себя подряд
За выслугу н службу саднт.

Согласитесь — это совсем земные деяния, описанные не совсем высоким штилем, вроде бы приличествующим теме. «О Шагя-Муни!, Шагя-Муни!» — укоризненно и скорбно восклицает автор... А вот и судьба народная, которая находится в руках слуг верховного правителя:

Они, в острастку для народа,
Без умолку твердят ему,
Что он по сердцу и уму
Все будет хуже год от года...

И далее — смелый выпад против «Шагя-Муни»:

Твоя система управленья
В наклад товарищам твоим...

Появляется, как видите, слово «товарищ», которое тогда было в ходу среди тех, кого Николай называл своими «друзьями от четырнадцатого числа»... Четверостишие заканчивается намеком на то, что «все сие» может внезапно уничтожиться:

И после светопреставленья
Где дашь ты место отставным?

Вот это, действительно, господа, «подражание сладенькому Демутье», вот это шутка, «вся соль которой в том, что она ни на что не намекает, что она вся на виду и сама себя оправдывает», вот это воистину «безобидный юмор»! Как все-таки далеко назад ушли нынешние критики от первого рецензента «Рассказов сибиряка»! Современники поэта отлично его поняли. «Московский телеграф» сибиряка Николая Полевого в августовской книжке за 1833 год поместил краткую, но толковую статью о «Рассказах сибиряка», отметив, что Владимир Соколовский «шутя описывает предмет *чрезвычайно важный, веру Шиге-Муни»,* но *«из книги его никто не станет учиться Восточной Мифологии»* (курсив мой.—*В. Ч.*).

Вспоминается, что за тридцать лет до «Рассказов сибиряка» никто из читателей не принял за перевод с маньчжурского политически острый диалог цензора и писателя, сочиненный талантливым, смелым, рано ушедшим из жизни и тоже полузабытым Иваном Пниным...

Шел 1833 год. Декабристы были давно разгромлены и наказаны, вспышки крестьянских волнений начала того десятилетия погашены, малейшее проявление свободомыслия немедля пресекалось, печать задыхалась в тисках цензуры. Едва слышна была лира великого Пушкина. В том году он написал свою потрясающую строчку-строфу, заканчивающую знаменитую «Осень». Мы все помним отдельные строки и строфы из «Осени», например: «Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи». Или: «Унылая пора! очей очарованье. Приятна мне твоя прощальная краса...» Литературоведы часто цитируют из «Осени» слова, с поразительной силой описывающие зарождение творческого замысла:

XI

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны,
Громада двинулась и рассекает волны.

Но очень редко вспоминается заключительная отдельная строфа, состоящая всего из одной трагичной словесной строки и двух строчек точек:

XII

Плывет. Куда ж нам плыть?..
. . . .
. . . .

О царе Пушкин тоже написал в том году:

Царь увидел пред собой
Столик с шахматной доской.
Вот на шахматную доску
Рать солдатиков из воску
Он расставил в стройный ряд.
Грозно куколки стоят —
Подбоченясь на лошадках,
В коленкоровых перчатках,
В оперенных шишачках
С палашами на плечах...

А последним произведением Пушкина 1833 года было одно особое стихотворение без названия, начинавшееся так:

Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад...

«Когда б оставили меня на воле». И я вспоминаю строки, написанные Пушкиным в 1822 году. «Грустный товарищ» узника, вскормленный в *неволе*, зовет брата улететь, чтобы свободно расправить крылья в свободном полете. И вот поэт снова в неволе, откуда он убежал бы «в темный лес», где «пел бы в пламенном бреду» и «забывался бы в чаду нестройных, чудных грез»; он бы «заслушивался воли» и «глядел бы, счастья полн, в пустые небеса»...

И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.
Да вот беда: сойти с ума,

И страшен будешь, как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку, как зверка,
Дразнить тебя придут.

А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров —
А крик товарищей моих
Да брань смотрителей ночных,
Да визг, да звон оков.

Эти трагичные строки, как и многие другие, написанные в глухую пору 1833 года, были напечатаны лишь после смерти поэта...

Возвращаясь к «Рассказам сибиряка», я должен подытожить очевидное и неоспоримое: *в тяжелую последекабристскую пору Владимир Соколовский был единственным русским литератором, сумевшим опубликовать остросоциальное произведение, злую сатиру на царя и самодержавный строй России.* Поневоле вспоминаются заключительные стихотворные строки «Рассказов сибиряка» и по-новому воспринимаются слова о том, что голос автора «один и слышен был»...

По-новому прочитываю и вступление в первую поэму Владимира Соколовского «Мироздание», напечатанную за год до «Рассказов сибиряка». Полтора века назад рецензенты поэмы цитировали этот стихотворный пролог, всегда останавливаясь перед следующими тремя строками и не решаясь их привести:

Уже свершен мой труд; но свершены ль *желанья?*
Нет! Не сбылась *мечта* прекрасная моя!
Без *сильных на земле* что мог исполнить я?

Какие именно желанья и мечты не исполнились, кого имел в виду поэт под «сильными на земле»? Мог ли он высказаться откровеннее в подцензурном издании начала 30-х годов, когда всякое упоминание о декабристах было запрещено? И не есть ли эти три строки идейный и смысловой ключ ко всей поэме? Кстати, один из рецензентов поэмы «Мироздание» обращал тогда внимание на то, что журналы «более не дают направления общественному мнению» и «публика судит и ценит сама, поверяя себя собственным чувством», почему и быстро разошелся весь тираж поэмы «без журнальных похвал, без всех фокусов литературной стратегии, тогда как великолепные томы громоздят книжные прилавки, без всякого сбыта и пользы, несмотря на то, что с каждым первым числом меняются на них гравированные обертки».

Другой критик сделал два очень существенных замечания автору: «...слишком много земных украшений придано небесам», и это произведение «по изложению и развитию есть *чистое достояние светской поэзии*». Третий, откликаясь на выход «Мироздания»

и «Хеверн» в 1837 году, высказался также анонимно, но не менее определенно, с намеком на очень важное: «Критику не должно обвинять за то, что она не умеет оценить невидимого, не отгадывает *тайных помыслов, драгоценных поэту*».

И еще нам нужно повнимательней прочесть некоторые странички романа Владимира Соколовского «Одна и две, или Любовь поэта». От первой до последней строки автор его издевается, в частности, посредством блестящей коллекции придуманных эпиграфов, над пошлым миром тупиц, подхалимов, пьяниц, чинодралов, лихоимцев, жеманниц, вспоминает местами даже владык мира сего, и «шутливая произвольность всего повествования» — лишь камуфляж, удобная форма, литературный прием, в чем уже совершенно не сомневаешься, когда обнаруживаешь мимолетную строку, где автор откровенно признается, что у него, в сущности, нет иного оружия. Однако есть в этом романе и другие особо важные строки, которых я все же не ожидал, хотя, увидев поначалу, что автор отправляет своего героя в Сибирь, подумал — неужто Владимир Соколовский с его смелостью, умом и поразительной способностью к литературному иносказанию не найдет какой-нибудь возможности напомнить читателю о декабристах, томящихся в изгнании? Ведь он был автором песни «Русский император...», политически остро отражающей события 1825 года, он, как мы уже однажды предположили, мог быть в числе воспитанников 1-го Кадетского корпуса, ринувшихся 14 декабря на Сенатскую площадь.

— И что же? — спросит меня любезный читатель. — Неужели Владимир Соколовский отважился напомнить о декабристах в своем романе? Ведь все связанное с ними было под строжайшим запретом, и наука не знает *ни одного* упоминания о них в русской печати за все 30-е годы!..

Судите сами.

Владимир Смолянов, герой романа, уже на родине, встречается с разными людьми, в шутливом тоне описывает знакомства и разговоры, и вдруг привычный иронический настрой покидает автора, когда некая сибирячка решает посоветоваться с ним: «Скажите, где сыскать человека, которому бы можно было вверить воспитание ребенка? Признаюсь вам, у меня не достает духа, чтобы нанять кого-нибудь из этих несчастных» (разрядка автора романа. — *В. Ч.*).

Последнее слово снабжено цифрой 1, взятой в скобки, и это первое примечание на 368-й странице романа имеет пояснение в конце томика: «Так зовут в Сибири ссыльных; это название обратилось в имя существительное»...

Сижу, думаю над этим пояснением, припоминаю сибирскую девичью песню о любви к несчастному, секлетному, необыкновенное нарымское брачное свидетельство — «венчан несчастной Николай Осипов Мозгалевский», Герцена, употребившего это же *имя существительное* в «Былом и думах», и радуюсь, что нашел такое место в романе «Одна и две, или Любовь поэта», сообщил о нем

читателю, еще больше радуясь, что оно существует в произведении, которое якобы «красноречиво свидетельствовало о поражении Соколовского как беллетриста», и главное, что оно здесь не случайно!

В 1834 году цензорский гнет усилился. «Московский телеграф», который поместил первую вдумчивую рецензию на «Рассказы сибиряка» В. Соколовского и, по словам Белинского, «среди мертвой, вялой, бесцветной жалкой журналистики того времени... был изумительным явлением», царь закрыл своим личным распоряжением.

Поэтическая лира Пушкина в том году звучала редко. Он написал гениальную имитацию свободолюбивых «Песен западных славян» да несколько стихотворных отрывков без названий, в которых по-прежнему звучат мотивы усталости, печальные и трагические ноты — «Везувий зев открыл...», «Стою печален на кладбище...», горькие строки о Мицкевиче и это:

На свете счастья нет, но есть покой и воля,
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

И лишь еще одно-единственное:

Я возмужал среди печальных бурь,
И дней моих поток, так долго мутный,
Теперь утих дремотою минутной
И отразил небесную лазурь.
Надолго ли?.. а кажется, прошли
Дни мрачных бурь, дни горьких искушений...

В романе Владимира Соколовского «Одна и две, или Любовь поэта», напечатанном в том, 1834 году, есть приметная глава, открывающаяся великолепным эпиграфом: «Имею счастие быть Вашего Королевского Величества весьма покорный, весьма послушный и весьма избитый слуга». И в первом же абзаце ее — что-то вроде ключа ко всему роману, *ключа идейного,* поразительного по своей политической смелости и откровенности: «То плачет человек, то в радости смеется!..» — сказал бессмертный Архангельский рыбак. Мне удавалось видеть это и за собою и за другими. Впрочем, и нельзя же иначе».

«Наш век не то, что старина. Попробуй-ка Гераклитствовать над суетою сует этого юдольного печального мира — и, конечно, не минуешь желтого дома; а быть Демокритом — куда как неловко: обрежут нос, обрежут уши, укоротят язык и *при сей верной окказии* препроводят туда, где еще не ходили телята со своим достопочтенным Макаром. Надобно вам сказать по секрету, что это *местоположение* очень и очень далеко, чуть ли, например, не втрое далее, нежели от нашей главной квартиры до Лиссабона, только, кажется, совершенно в противную сторону».

Вспоминаю графический эпиграф к роману с надписью «Понимаю-с!», но совершенно не понимаю, каким чудом прошло *такое* в подцензурном издании в те времена, когда кровавая расправа над героями 1825 года еще была свежа в памяти России, когда многие из них сошли с ума или, как сибиряк-декабрист Гавриил Батеньков, числились умалишенными, а около ста человек были именно из *главной квартиры* действительно препровождены в *противную* сторону от Лиссабона, втрое от него далее, туда, куда воистину Макар не гонял телят!.. Да простят меня всеведающие знатоки отечественной литературы — лишь за одну эту фразу, *напечатанную* в 1834 году, следовало бы им и всем нам вспоминать хотя бы иногда Владимира Соколовского...

Кажется, есть что-то символическое в том, что Владимир Соколовский был единственным приметным человеком того времени, пожимавшим руки декабристам в Сибири и Герцену с Огаревым в Москве! Если же внимательно рассмотреть его творчество в полном объеме, чего, к сожалению, никто из специалистов никогда не делал, то мы должны будем признать разночинцев 20—30-х годов Владимира Соколовского и Александра Полежаева литераторами, *которые политическими, творческими и биографическими данными связали цепь времен, стали необходимым крепким звенышком между декабристами, первыми начавшими организованную борьбу с самодержавием, и следующим поколением русских революционеров.*

24

Как могли, однако, «Рассказы сибиряка» и роман «Одна и две, или Любовь поэта» появиться в таком виде в печати? Первое произведение было, наверное, дерзко рассчитано на невнимательное цензорское прочтение. Особая тонкость заключалась

в том, что Владимир Соколовский издал книгу — где бы вы думали? Воистину нельзя не восхититься изобретательностью автора — на титульном листе «Рассказов сибиряка», внешне выглядевших, как шутливое стихотворно-прозаическое изложение сведений по ориенталистике, то есть востоковедению, значится: «В типографии Лазаревых Института Восточных языков». Эта уловка, кажется, частично ввела в заблуждение даже специалистов, за полтора века не заметивших в «Рассказах сибиряка» умной и злой карикатуры на императора и государственное устройство России. И не знаю, как кому, а мне было бы интересно докопаться, кто в Лазаревском институте и его типографии тогда принимал решение о наборе и печатании той или иной книги. Особенно интересно еще и потому, что в том же 1833 году из этой типографии вышли «Стихотворения» Александра Полежаева. За свою знаменитую поэму «Сашка» поэт был отдан в солдаты, сидел год в подземелье и еще четыре года потом сражался рядовым на Кавказе, а вернувшись в Москву, был сразу же морально и материально поддержан изданием своей книги в той же «типографии Лазаревых Института Восточных языков»...

Имя издателя романа Владимира Соколовского «Одна и две, или Любовь поэта» значится на титульном листе первого томика: «В типографии Н. Степанова». Кто же этот столь рискованный Степанов? Естественным для меня было предположить самое вроде бы невероятное — это Николай Степанов, сын енисейского губернатора и писателя А. П. Степанова. Будущий знаменитый художник-сатирик был не только ближайшим другом Соколовского и его родственником, но и спутником сибирской жизни, и единомышленником. Они оба беседовали с декабристом Владимиром Раевским в Томске зимой 1827 года и, наверное, встречались с другими изгнанниками в Красноярске, где вместе служили, затеяли вдвоем «Красноярскую Беседу» — кружок литераторов, президентом которого был Николай Степанов, а секретарем Владимир Соколовский. Николай Степанов тоже пробовал силы в литературе и еще в университетские годы печатал свои стихи. Не лишен он был и издательской жилки. Итогом работы «Красноярской Беседы» должен был стать, наверное, какой-то литературный альманах; потом он задумал издавать сатирический иллюстрированный журнал «Минусинский раскрыватель», позже со своим шурином, композитором Александром Даргомыжским, выпускал музыкальный журнал и наконец стал создателем знаменитой «Искры».

Несомненно, что вернувшиеся в Россию в начале 30-х годов братья и товарищи поддерживали связи — сохранились от тех времен письма Владимира Соколовского из родового имения Степановых села Троицкого Мещовского уезда Калужской губернии, адресованные Федору Кони. Интересно и то, что Николай Степанов, переехав из Сибири в Россию, не разорвал связей с декабристами: в Пушкинском Доме хранятся письма

декабриста Сергея Кривцова, посланные Николаю Степанову из Минусинска в 1830—1831 годах...

И вот прежде всего мне подумалось о том, насколько маловероятным и случайным может быть совпадение фамилии и начальной буквы имени какого-то московского издателя Н. Степанова с именем и фамилией сибиряка Николая Степанова, который как будто вполне мог, начиная новую жизнь в России и нигде не получая жалованья, на какие-то фамильные сбережения, доходы с поместья или деньги под его залог приобрести маленькую типографию. Однако такого факта о Николае Степанове не значилось в современной справочной литературе. Надо было искать в старых книгах, а для этого — опять библиотечные будни в Историчке-выручалочке. Полтора десятка толстых и тонких книг притащили мне девушки из справочно-библиографического отдела и вместе со мной принялись заинтересованно копаться в них, потому что я рассказал им, как важно было бы установить, что Николай Степанов опубликовал *такую* редкость и ценность, как роман Владимира Соколовского «Одна и две, или Любовь поэта». Когда в известном «Русском биографическом словаре» на букву «С» пошли многочисленные Степановы, я подумал — сейчас вот с огорчением найду какого-то московского издателя Степанова и любопытная версия отпадет. Однако такого издателя в словаре не значилось. Большая биографическая справка рассказывала о единственном Н. Степанове — том же Николае Александровиче, художнике-карикатуристе, но и здесь он не проходил как владелец типографии.

С последней надеждой взял я в руки фундаментальную работу А. В. Мезьера «Словарный указатель по книговедению», в котором был большой раздел «Издатели, книгопродавцы, антиквары, книжники и книжные деятели». Многостраничный список частных изданий на букву «С» открывали Сабашниковы, заключал Сытин. В справках перечислялись наиболее известные издания, и я застрял на Сабашниковых, в который уже раз поражаясь объему и многообразию просветительской деятельности этих замечательных братьев, чьи предки были выходцами из Кяхты, той, декабристской поры, а с их ближайшими потомками — двумя дочерьми Михаила Сабашникова мне выпало счастье быть знакомым. Необыкновенным гостеприимством Татьяны Михайловны, жены классика нашей литературы Л. М. Леонова, я пользовался почти четверть века, вместе с родными и ближайшими друзьями писателя проводил ее в последний путь осенью 1979 года. Пятьдесят лет она была спутницей жизни Леонида Леонова, верным другом, первой читательницей, единственным человеком, разбиравшим мельчайший, почти нерасшифровывающийся его почерк, корректором книг, мудрым воспитателем их детей и внуков, идеальной хозяйкой дома, который так часто переполнялся московскими и приезжими гостями, иногда с самых дальних континентов...

Леонид Максимович иногда показывал мне книги, напечатанные Сабашниковыми. Незадолго до революции один из них выпустил, напри-

мер, факсимильное издание одного трактата Леонардо да Винчи, за что итальянский городок Да-Винчи удостоил его почетного гражданства. О Сабашниковых бы книгу написать, если б она уже не была написана, и я берегу эту памятную реликвию, любезно подаренную мне писательницей Ниной Михайловной Артюховой, урожденной Сабашниковой...

За Сабашниковыми по алфавиту шло множество других издателей, и я поразился тому, что фамилии самых известных из них по совершенно необъяснимой случайности начинались на букву «С», хотя самое большое число русских слов почему-то начинается с «П». В списке значились Сибиряков, Слеинн, Слепцова, Смирдин, Собнинов, Сойкин, Солдатенков, Соловьев, Сопиков, Старицын, Стасюкевич, Стелловский... Ступин, Суворин, Сытин. Огромный книжный мир России открывался за этими фамилиями! А там, где я поставил три точки, должен бы значиться Степанов, но его не было! Кто же тогда столь смело, красиво и добротно издал роман Владимира Соколовского «Одна и две, или Любовь поэта»? Загадка. Позже я точно установил, что художник Николай Степанов в 1834 году жил уже в Петербурге. Он, конечно, мог оставаться владельцем маленькой, даже не попавшей в справочники, московской типографии, что все же маловероятно.

А еще позже в книгах о русской журналистике тех лет мне встретился еще один Н. Степанов. В 1835 году он принял участие в своеобразной складчине и вместе с И. Киреевским, Н. Погодиным, А. Хомяковым, С. Шевыревым и Н. Языковым основал журнал «Московский наблюдатель», через три года выкупил его и передал под негласную редактуру В. Белинского, потому что сам был только типографом. Поблагодарим же Н. С. Степанова из нашего далека, если это он выпустил из своей неучтенной справочниками типографии роман Владимира Соколовского «Одна и две, или Любовь поэта», в котором несколько иносказательных строк посвящено декабристам, нигде более за все 30-е годы не упомянутым в русской печати.

Мысленно подытоживаю все, что знаю о Владимире Соколовском, воображаю, сколько бы этот талантливейший человек еще мог сделать, если б не арест, заточение и болезнь, по-прежнему думаю о главной причине, предопределившей трагическую судьбу Владимира Соколовского. За истекшие полтора века никто, включая и современников поэта, серьезно не задавался этим вопросом. За что все же он без определения срока был заключен в крепость? Вспомним, что писали на этот счет люди, знакомые с ним.

Декабрист Владимир Раевский: «Владимир Соколовский, известный впоследствии стихотворением «Мироздание» и другими, а главное несчастьями, которые были следствием его пылкого характера». Оставим без комментариев причину несчастий, названную ссыльным декабристом, очень далеким от событий лета 1834 года.

Цензор А. В. Никитенко: «Это человек много претерпевший. За несколько смелых куплетов, прочитанных им или пропетых в кругу приятелей — из них два были шпионы,— он просидел около года в московском остроге и около двух лет в Шлиссельбургской крепости». Тоже неточность. Владимир Соколовский не пел и не читал куплетов в кругу приятелей на вечеринке. 8 июля 1834 года, когда были арестованы его друзья, он уже служил в Петербурге.

Александр Герцен в «Былом и думах» впервые печатает текст «известной песни Соколовского», которая исполнялась на студенческой вечеринке, 24 июня 1834 года. А 8 июля тайный политический доносчик Скаретка, купив на казенный счет дюжину шампанского, пригласил компанию к себе. «Приехали. Шампанское явилось, и хозяин, покачиваясь, предложил еще раз спеть песню Соколовского. Серед пения дверь отворилась, и взошел Цынский с полицией».

В памяти русской интеллигенции, кстати, имя Владимира Соколовского всегда связывалось с этой песней — о ней и ее авторе говорят, например, меж собой герои романа А. Писемского «Люди сороковых годов», той же песне обучал своих детей писатель Н. Лесков, о чем вспоминал его сын.

Все это так, но я уже писал о том, что следствие по делу «О лицах, певших в Москве пасквильные песни» *не доказало авторства Соколовского.* Рукописного автографа песни «Русский император...» в распоряжении полиции не было. Сам поэт, который даже не был уличен обер-полицмейстером Цынским в пении «пасквильной песни», не сознался в своем авторстве. Тогда на каком же основании, в конце концов, поэт был заточен без суда и определения срока в самую страшную крепость России, предназначенную для особо опасных государственных преступников?

Видно, ходили тогда и позже на этот счет разные слухи, частично отразившиеся в дневнике А. В. Никитенко, который писал, что Соколовскому поставили также в вину собрание нескольких факсимиле важнейших государственных сановников, которые он намеревался приложить к их биографиям, и перочинный ножик, доставленный ему в острог одним из товарищей по заключению. Допытывались, откуда он его добыл, а узник не хотел никого выдать.

Подумаем вместе. Если вина Владимира Соколовского в пении и авторстве песни «Русский император...» не была доказана, то не за подписи же «официальных лиц» и перочинный ножик, не за давнюю и вполне безобидную переписку с декабристом-совоспитанником Николаем Мозгалевским, не за участие в организации Красноярского литературного кружка, который не успел сделать ничего предосудительного, или, скажем, не состоявшегося «Тройственного союза» в Петербурге его почти год держали в московской тюрьме, а потом обрекли, по сути, на бессрочное одиночное заключение! Дело «О лицах, певших в Москве пасквильные песни» было, конечно, названо условно, неточно, и песни о довольно уже давних событиях стали только предлогом, чтобы в зародыше

притаснть московский очажок свободомыслия. Именно за свободомыслие были наказаны тогда совсем не певшие «пасквильных» песен Герцен и Огарев, хотя и далеко не так жестоко, как Соколовский. Герцен едва ли был знаком с «Рассказами сибиряка» и романом «Одна и две, или Любовь поэта», иначе он не сказал бы о Соколовском, что тот «не был политическим человеком». Зато высокое лицо, определившее для Владимира Соколовского столь строгую меру наказания, не только было убеждено, что именно этот вольнодумец сочинил дерзкие куплеты, но и наверняка прочло все напечатанное им и, в отличие от множества других читателей, поняло главные места в только что вышедших тогда книгах. По преданию, за восемь лет до этого царь, получив *рукопись* поэмы Александра Полежаева «Сашка», приказал доставить ему поэта, чтобы тот прочел ее вслух. Николай I, мрачно распаляясь, прослушал всю эту шутовскую поэму и, вскричав: «Это все последние остатки, я их искореню!» — тут же превратил выпускника Московского университета в узника, потом в солдата и послал под пули горцев без права выслуги.

Не искоренил. В Москве, как оказалось, не только пели пасквильные куплеты о Нем и его вступлении на престол, крайне богопротивную похабщину, прося бога казнить все августейшее семейство,— там даже выходили *из печати* шутовские книги с политической подоплекой, имеющей в виду Его правление и Его «друзей от четырнадцатого числа»...

Пирушка 24 июня 1834 года, в которой, кстати, Герцен не участвовал, была организована уезжавшим в Петербург Владимиром Соколовским, чтобы, как значится в материалах следствия, отметить выход романа «Одна и две, или Любовь поэта»... Только не стоит удивляться тому, что в тех же материалах нет ни слова о политическом содержании «Рассказов сибиряка» и романа. Много раньше были уничтожены почти все следы пушкинских политических стихотворений в следственных делах декабристов, много позже сожжены рукописи Павла Выгодовского — царь боялся, что «богопротивные», антиправительственные и иные сочинения этого порядка станут привлекать внимание архивистов, жандармов, историков и чиновников, имеющих доступ к секретным бумагам. Предположить, что опытнейшие полицейские и жандармские ищейки Москвы и Петербурга не заметили свободомыслия в книгах Владимира Соколовского, невозможно, как невозможно представить себе, что литератор был заточен в крепость лишь по мелким обвинениям, зафиксированным в деле «О лицах, певших в Москве пасквильные песни». Думаю даже, что определить меру наказания и решить судьбу поэта должен был сам Николай I — он не упускал из виду политических врагов и куда меньшего калибра! Косвенным признаком этого в какой-то мере можно счесть то обстоятельство, что хлопоты об освобождении Владимира Соколовского шли не через царя, злопамятность и мстительность коего были общеизвестны, а через великого князя Михаила Павловича. А Николай не мог не позна-

комиться с делом «О лицах, певших в Москве паксвильные песни» — оно было сразу же доставлено в его собственную канцелярию, и не мог не знать главного ответчика — в каменных клетках тех лет содержались всего два сокола столь высокого полета: Гавриил Батеньков и Владимир Соколовский.

Предполагаю также, что без ведома главного распорядителя судьбами узников не могло осуществиться и освобождение больного поэта: царь, очевидно, узнал, что этому дерзейшему из его последних «друзей» и так остается жить недолго.

Владимир Соколовский выходит из Шлиссельбургской крепости физически и морально разбитым, но еще находит в себе силы писать, завязывать литературные знакомства — с Н. А. Некрасовым и И. И. Панаевым, издателем «Отечественных записок» А. А. Краевским и скульптором Ф. П. Толстым, с историком и археологом И. П. Сахаровым, цензором А. В. Никитенко. Его начали приглашать в литературные салоны, рекомендуя гостям как «нашего Сильвио Пеллико», имея в виду известного в те времена итальянского поэта и политического узника. В сентябрьской книжке «Русского вестника» за 1881 год были опубликованы «Записки неизвестной». Касаясь событий зимы 1837 года и мешая правду с полусветскими сплетнями, она пишет: «Около этого времени нам представили Соколовского, которого называли нашим Сильвио Пеллико. Соколовский имел неосторожность сочинить песню нецензурного содержания и в разгульном обществе пел ее перед бюстом императора. На него донесли, и он двухлетним заключением поплатился за свой поступок. Соколовский содержался в Динабургской крепости, в крошечной комнатенке, никого не видел, даже не имел позволения выходить на воздух. К счастью, предшественник его в этой конуре был какой-то ученый... и оставил в тюрьме все свои книги... Соколовский всегда отличался религиозным настроением и в случайности, представившей ему эти книги, видел перст провидения. Проникнутый религиозным чувством, отделенный от всего житейского, вдохновленный высокой мыслью, он написал поэму «Альма», исполненную религиозного восторга... Соколовский был беден; ему не на что даже было купить лекарства. Мне приятно было, что муж мой с радостью поделился с ним половиной денег, которые мы имели в ту минуту, и сделал это так деликатно, что мысль о полученном вспоможении не могла тяготить поэта». «Неизвестной» была Е. А. Драшусова-Карлгоф, салон которой посещали Пушкин, Жуковский, Вяземский, Крылов, Денис Давыдов, Кукольник и другие петербургские литераторы. О Владимире Соколовском сохранился лестный отзыв В. Жуковского. Метр русской поэзии, прочитав «Альму», выразился весьма комплиментарно: «Вот поэт, который убьет все наши дарования».

Позже Владимир Соколовский читал в салонах свою монотонную и длинную «Хеверь», которую все дружно и не без оснований принялись

хулить, а какой-то остроумец даже придумал присказку: «Раньше говорили «ахинея», теперь говорят «хеверь»... Автор же, «полон злобы и крамолы», относился к похвалам и ругани спокойно и сдержанно, называя в стихах свет «помойной ямой заблуждений», где «слишком верток флюгер мнений», и хорошо, конечно, зная, *что он* сделал значительного в русской литературе и *за что* был помещен в крепость. Владимир Соколовский не стал своим человеком в салонах или завсегдатаем их — он был слишком незнатен, горд и беден. Поэмы его не печатались, и он мог кормиться и лечиться только на подачки. Сохранилось письмо ссыльного Огарева Кетчеру с просьбой переслать Соколовскому хотя бы небольшую сумму анонимно, якобы в возврат «от приятеля, который ему должен», ибо поэт «выпущен из крепости и находится в нищете». Сохранился с тех времен единственный дагерротипный портрет Владимира Соколовского. Умное, сосредоточенное лицо со следами пережитого, очки, мундиришко чиновника 12-го класса с двумя рядами пуговиц; в облике поэта есть что-то и грибоедовское, и добролюбовское...

Осенью 1837 года по предписанию властей Владимир Соколовский едет в Вологду. Это была, по сути, ссылка.

Окраина Москвы, новое здание газетного архива Ленинской библиотеки. В университете нас довольно подробно знакомили с историей русской периодики, и я помнил о том, что «Вологодские ведомости» с самого своего зарождения выгодно отличались от других губернских газет разнообразием содержания, нестандартностью, интересными, неожиданными для тех времен материалами, однако недостало у меня тогда ни времени, ни любопытства, чтобы посмотреть, как делалась эта газета, и только запомнилась фамилия главного редактора, упомянутая в учебнике,— В. И. Соколовский.

Современный — светлый, удобный зал. Тихо шуршат газетные страницы, какая-то девушка, наверно, будущая журналистка, что-то страстно шепчет в диктофон. Может, нашла какую-нибудь золотиночку в прошлом, услышала шорох маленькой волны в океане общественного бытия, зафиксированную в старой газете, волны, без коей неполон океан? А что сейчас найду я?

Через несколько минут ласково урчащий транспортер доставил на резиновой ленте толстый и тяжелый фолиант. Это были «Вологодские губернские ведомости» за 1838 год. Основную часть полос занимали различные официальные сообщения, от которых, однако, веяло духом тех далеких времен. Распоряжения властей, указы, инструкции, губернские перемещения по службе. В разделе о прибывших в Вологду и выехавших из нее с первого номера мелькают военные, статские, священнические чины, купцы первых двух-трех гильдий и прочая знатная публика.

Сообщения о прибытии В. И. Соколовского нет, как нет на страницах газеты его редакторского имени. Поразился я огромным

спискам из разных губерний России о сыске дезертировавших нижних чинов, бежавших помещичьих крестьян и мещан, скрывшихся от казенных недоимок; это была частичка тяжкой тогдашней народной жизни, о коей мы не имеем представления, в частности, потому, что литература тех лет не касалась столь «низких» тем... Раздел объявлений о продаже имений, домов, учреждении ярмарок, потерянных документах... И все же газета действительно была интересной!

В. Соколовский завел «Вологодскую историческую хронику», охватывающую период с 900 по 1392 год, из номера в номер печатал «Местные слова и выражения, употребляемые между простым народом в разных уездах Вологодской губернии». Публиковались географические очерки, статьи о кормлении скота разным фуражом, о разведении льна, медицинские советы. В. Соколовский вроде бы не присутствует как автор на страницах газеты, но я иногда узнавал его руку то в «Смеси» — «...один итальянский писатель издал книгу под заглавием «История 52 революций доброго и верного города Неаполя», то в сельскохозяйственных советах — о мелком репешке, например, который надобно скосить среди лета и под скирду, от мышей, а «кто усумнится в истине сего, тому стоит сделать пробу в малом виде и удостовериться; положите кусок сыру, сала или чего другого, и вы увидите, что самая храбрая мышь, соединяющая в себе быстроту Кесаря и решимость Наполеона, не отважится на приступ...»

Вывод вузовского учебника: «Вологодские ведомости» той поры были лучшей провинциальной газетой России», а ее редактор, «неизвестный поэт» Владимир Соколовский вошел в историю русской журналистики. В январе 1838 года поэт получил из Петербурга только что напечатанную драматическую поэму «Хеверь». Он посылает цензору А. В. Никитенко экземпляр поэмы, который мне удалось разыскать в совершенно неожиданном месте — там, где Владимир Соколовский начинался как поэт. Книга проделала путь из Петербурга в Вологду, потом обратно, а спустя почти полвека оказалась в Томске. На титуле «Хевери» — автограф Владимира Соколовского: «Благороднейшему и почтеннейшему цензору моему Александру Васильевичу Никитенке. Усерднейшее приношение от сочинителя. 1838. Январь 21. Вологда». К подарку автор приложил письмо, опубликованное в «Русской старине» через шестьдесят лет. Скрывая горечь за шутливым, легким тоном, поэт пишет о своем вологодском житье-бытье:

«Вот вам моя бедная, разруганная, преданная трем анафемам «Хеверь». Все поджидал ее и потому не писал и вам, а дождался — так занемог гораздо больше обыкновенного... Примите беззащитную, почтеннейший Александр Васильевич, под свою добрую защиту и примите ее на память от человека, который вам неподдельно предан и искренне уважает вас,— и притом совсем не потому, что есть обычай рассказывать об этом встречному и поперечному в конце каждого письма...»

Далее поэт вовсю ругает затхлую провинциальную атмосферу

города, вологжан — «искариоты», «дубье», «а между тем такие сплетники, что хоть выноси вон, так эти двуногие животные смердят своим злоязычеством», пишет о своей привязанности к одному местному семейству, «в которое сосредоточил я всю свою земную привязанность». И если б не оно, «тогда мне привелось бы пропадать здесь ни за денежку, ни за денежку в полном и буквальном смысле слова, потому что, хотя меня прислало сюда правительство на службу и следственно на жалованье, однако ж я служить — служу, а видеть жалованья — не вижу. Конечно, я уверен, что тем, которые распоряжаются рассылками людей, не составит ничего, если они не будут получать жалованья месяца по четыре, но каково это рассылаемым, у которых в кармане так же скверно, как у Сенковского на сердце?.. Одним словом, если Петербург распек меня, то Вологда меня допекает — и говоря без шуток, влияние здешней безжизненной жизни на душу так велико, что я замечаю даже решительную перемену в своем характере, который из кипучего холеризма переходит в томный меланхолический быт. Я отказываюсь от балов и вкусных обедов, чего прежде со мной никогда не бывало, и крепко полюбил грустить. Это разрушает мою физику и потому нравится мне особенно. Не знаю, право, чем все это кончится, потому что может кончиться и радостным и печальным...»

Далее поэт намекает на некий свой вологодский роман, к коему он, впрочем, не относится серьезно, просит «в добрый час перебросить в худую Вологду небольшое посланьице на радость изгнанника, передает свое почтение семье Никитенко и т. п. Владимир Соколовский и в самом деле безнадежно полюбил юную вологжанку Варвару Макшееву, дочь помещика, посвящал ей свои стихи, печатая их в «Русском инвалиде» и «Одесском альманахе» вместе со стихами возлюбленной, пробующей свои силы в поэзии. Обращался к ней:

И твое пройдет ненастье,
Расцветет твоя заря,
И тебя проводит счастье
По долине бытия...

Для себя он уже не ждал счастья, хотя и пытался бороться за него. Писал, однако, мало и трудно, составил было с местными любителями литературы сборник, но тот затерялся в Петербурге, а встречи с соавторами сопровождались неизменными попойками, разрушающими и без того слабое здоровье поэта. Он начал хлопотать об избавлении от холодной Вологды, в своих письмах в 3-е отделение молил перевести его, «сына печали и страдания», на Кавказ для лечения. «Возвратите обществу члена, который может быть полезен ему в гражданском быту, но должен погибнуть, как самый ничтожнейший из людей. Возвратите литературе писателя». Просили за него и петербургские литераторы.

В конце 1838 года пришло жандармское дозволение. Поэт

выехал на Кавказ, однако болезнь и полное безденежье задержали его в Москве. Родная сестра, жившая здесь, отказала ему в помощи и родственном гостеприимстве. Поэт скитался по ночлежкам, и полиция отовсюду выгоняла его, рвала исписанные бумаги, не давала покоя даже в университетской клинике. Он пытался все же писать и в этом своем положении, продав, как он сообщал в одном из писем, «две последние серебряные ложки», чтобы купить писчей бумаги. Добавлял в обычном своем стиле: «Впрочем, поэт может есть и деревянной». В том же письме петербургскому приятелю он просил передать издателю Краевскому: «...когда мне удастся занять где-нибудь пятитку или если найду покупщика на шкатулку, то непременно пришлю к нему знатную оду для «Отечественных записок».

Весной он выехал на Кавказ, а осенью умер в Ставрополе, «быв одержим белою горячкою и воспалением в мозгу». Прожил он на свете всего тридцать один год. 19 ноября 1839 года «Санкт-Петербургские ведомости» поместили краткое извещение: «17 октября скончался в Ставрополе (Кавказском) известный русский поэт В. И. Соколовский...»

Отметим, тогда его называли все же «известным», и повторимся, что к нашим дням он превратился в «неизвестного»; до того неизвестного, что двухтомный библиографический указатель «Русская литература Сибири» (Новосибирск, Сибирское отделение издательства «Наука», 1976—1977), взявший на учет тысячи писателей-сибиряков с XVII века по 1970 год и перечисливший 11 085 публикаций, совсем не заметил Владимира Соколовского! Досадно также, что и один из первых сибирских романистов — Александр Петрович Степанов попал в указатель по курьезному случаю: единственная справка о его журнальной рецензии в «Северной пчеле» 1828 года отнесена... к публикациям советского писателя Александра Николаевича Степанова, автора «Порт-Артура» и «Семьи Звонаревых». А ведь А. П. Степанов, как мы знаем, был автором романа «Постоялый двор», примеченного самим Пушкиным, романа «Тайна», огромной поэмы «Суворов», двухтомного исследования «Енисейская губерния», статей, очерков и стихотворений, печатавшихся в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду», «Енисейском альманахе», «Дамском журнале», «Сыне Отечества» и других периодических изданиях... Снова и снова спрошу — мы действительно «ленивы и нелюбопытны» и у нас столь короткая память?

За год до кончины Владимира Соколовского умер в Москве его товарищ по судьбе Александр Полежаев, чье захоронение на Семеновском кладбище затеряно. В своем поэтическом воображении Полежаев словно увидел его за десять лет до смерти:

И нет ни камня, ни креста,
Ни огородного шеста

Над гробом узника тюрьмы,
Жильца ничтожества и тьмы...

Могила Владимира Соколовского в Ставрополе также не сохранилась.

На небосклоне великой русской литературы Александр Полежаев и Владимир Соколовский не были звездами первой величины. Они были, повторюсь, первыми поэтами-разночинцами и, следуя тернистым, мученическим путем за декабристами, связали собою цепь времен в самую темную пору безвременья, передав эстафету русского свободомыслия Герцену и Некрасову, петрашевцам и шестидесятникам. Деспотический режим сломал это хрупкое звено, не имея сил разорвать цепи в исторической памяти потомков.

25

Первый опубликованный фрагмент «Памяти», посвященный декабристам, вызвал немало писем ученых, краеведов, потомков героев 1825 года, музейных работников и просто читателей, которые желали успешного путешествия в прошлое, сочувствовали трудностям его и предлагали свою путеводительскую помощь. Грант Константинович Церавава, ученый из-под Ленинграда, возвращает меня к событиям полуторавековой давности. Вот его письмо:

«Ваша «Память» ценна тем, что Вы подвигнулись против иванов-не-помнящих-родства, из-за немилостей которых мы столько уже потеряли и в Природе и в Истории! Фрагмент не оставил меня равнодушным еще и потому, что он о декабристах, а к этим людям у меня особые чувства. Сто пятьдесят лет назад, в августе 1828 года, русские войска освободили мой родной город Ахалцих от злодеев захватчиков. В частях Кавказского корпуса,

штурмовавших город-крепость, были декабристы, присланные из Сибири «заглаживать вину». Они сражались храбро, беззаветно. Среди отличившихся — Михаил Иванович Пущин, который в солдатском звании своем руководил всеми инженерными работами при осаде крепости, Александр Александрович Фок, Алексей Васильевич Веденяпин, Николай Павлович Акулов. При штурме Пущин и Фок были тяжело ранены.

В родном городе я не был почти полвека. Мечтаю съездить туда и покопаться в тамошнем краеведческом музее, если он есть, и узнать, помнят ли там о декабристах. Да, если бы не они — это я несколько утрирую, конечно,— не было бы этого письма к Вам, а вернее, если бы Ахалцих не вошел тогда в состав России, то мои предки эрзерумские армяне не переселились бы в Ахалцих в 1829 году...

Вы не интересовались судьбами декабристов на Кавказе?»

Нет, пока не интересовался. Я написал Гранту Константиновичу, что в этой теме должно быть много поучительного, драматичного, исторически глубокого, и в архивах кавказских и закавказских республик, в старых военных реляциях, наверное, лежат нетронутые пласты...

С такой уверенностью написалось о пластах потому, что за несколько дней до письма Гранта Константиновича я получил письмо из Ставрополя от журналиста Александра Петровича Крылова. Он пишет:

«Работая свыше десяти лет над историей публицистики Северного Кавказа, я постоянно сталкиваюсь с документами о славных провозвестниках свободы, и часто даже небольшая сноска говорит о многом. Так, в госархиве Краснодарского края довелось однажды прочесть, что в августе 1827 года сводный полк, причастный к восстанию на Сенатской площади, был отправлен пешим строем в отдельный Кавказский корпус. Это общеизвестно. Однако вдумайтесь, каков был, если выразиться по-нынешнему, социальный состав наказанных: 1 282 рядовых и всего 32 офицера! Об офицерах мы много ли, мало ли, но знаем, а об основной массе участников восстания почти что ничего, и как это мы допустили такое забвение?! Думаю, что в архивах Грузии, Армении, Азербайджана, северокавказских краев и автономных республик можно найти кое-что и о декабристах-солдатах...»

Вспоминаю, что и с юга было отправлено на Кавказ тоже более тысячи декабристов — солдат, фельдфебелей, унтер-офицеров, юнкеров, и тема Г. К. Цверавы через письмо А. П. Крылова легко переходит в другую — очень важную, просторную, воистину едва тронутую историками, и я б охотно подчинился ей, пошел бы вместе с читателем по этой широкой исторической дороге, чтоб узнать мысли, речи, поступки и судьбы декабристской *массы*, понять и оценить ее вклад в будущее, если б уже закончил путь по многочисленным сплетающимся большакам прошлого, все время преследуемый боязнью не уписать даже в несколько книг того, что само шло в них нежданно-случайно и естественно.

Вот Г. К. Цверава сообщает мне в постскриптуме: «Кстати, в Обнинске, под Москвой, где работает мой сын, проживают потомки декабриста Назимова».

Не съездить ли в Обнинск?

Тормоза, свет, колеса, аккумулятор и радиатор в порядке, бензина по завязку, семья уселась; можно трогать. Разрезая надвое желтеющие подмосковные леса, черная гладкая дорога рванулась под бампер. Внуково, Наро-Фоминск, поворот на Боровск...

Переехали Протву, с правого берега которой начинается Калужская область, встретившая нас просторами полей, далекими взгорками, и я вслух думаю о том, что подсказывает память,— недалеко от шоссе стоит на речном крутяке рядовое село, в котором многие годы прожила, можно сказать, в изгнании самая выдающаяся русская женщина тысячелетия.

— Чем же она отличалась от других? — спрашивает дочь, еще не успевшая в силу своего возраста и специфики школьных программ узнать о ней.— Когда тут жила? Что делала? Кто такая?

Ее гостья из Ирландии Кэтрин Уильмот, побывавшая в этом селе Троицком, вспоминала о ней в своих записках: «Она учит каменщиков класть стены, помогает делать дорожки, ходит кормить коров, сочиняет музыку, пишет статьи для печати, знает до конца церковный чин и поправляет священника, если он не так молится, знает до конца театр и поправляет своих домашних актеров, когда они сбиваются с роли; она доктор, аптекарь, фельдшер, кузнец, плотник, судья, законник...» Была она также общественной и политической деятельницей, редактором, журналисткой, писательницей, знатоком искусств, педагогом, ученым и администратором. Возглавляла сразу два высших научных учреждения — Российскую академию как председатель и Петербургскую академию наук как директор, была избрана членом Королевской Стокгольмской и Дублинской академий, Римско-католической академии, Американского философского общества, куда ее ввели по инициативе самого Франклина, Берлинского общества испытателей природы; при ее участии в России второй половины XVIII века открываются журналы «Новые ежемесячные сочинения» и «Собеседник любителей российского слова», предпринимается издание «Словаря Академического Российского». Не раз она бывала в Европе, среди ее тамошних знакомых — Вольтер и Дидро, с которыми у нее велась переписка.

Это — Екатерина Романовна Дашкова — можно считать, первая наша просветительница и ученая. Герцен писал о ней: «Дашковою русская женская личность, разбуженная петровским разгромом, выходит из своего затворничества, заявляет свою способность и требует участия в деле государственном, в науке, преобразовании России и смело становится рядом с Екатери-

ной». За смелость Екатерина II и изгнала ее из Петербурга в это село, а Павел I даже распорядился было выслать Дашкову с семьей в Новгородскую губернию, и только благодаря заступничеству столичных доброжелателей изгнанницу вернули в Троицкое.

— За что же такие царские немилости?

— Екатерина Дашкова вообще была человеком независимого образа мыслей, и в 1793 году, редактируя журнал «Русский театр», публикует в нем вольнолюбивую трагедию Княжнина «Вадим Новгородский», проникнутую протестом против тирании...

В своих «Записках» Екатерина Дашкова пишет, что в Троицком «была своим собственным архитектором, садовником и управляющим», и вспоминает, как ее другая заграничная гостья миссис Гамильтон «хотя как англичанка и видела чудные парки своей родины, одобрила и мой сад, который был не только распланирован мной, но где каждое дерево и каждый куст были посажены по моему выбору и на моих глазах».

Обнинск, город-новостройка, теоретический и экспериментальный центр современной науки, давно всем примелькался в газетах да журналах, и не мне писать о нем, я же *на всякий случай,* заинтересовавшись письмом Г. К. Цверавы, перед поездкой просмотрел кое-какие материалы о Михаиле Назимове и Михаиле Пущине — вдруг в Обнинске, у потомков Назимова, встречусь с неожиданным? Древняя восточная мудрость гласит — неожиданность, встречаясь с неожиданностью, рождает случай, а что может быть естественнее случайности?..

Штабс-капитан Михаил Назимов, член Северного общества, был осужден на вечную ссылку в Сибирь с последующим сокращением срока до двух десятилетий. С Николаем Мозгалевским у Михаила Назимова было не только одинаковое наказание, но и те же многолетние скитания по сибирским ссыльным захолустьям. Их допросы ничего нового не дали следствию — они не назвали ни одного из товарищей, остающихся на свободе, и оба решительно отрицали всякую свою вину, причем Михаил Назимов сумел обмануть даже самого царя, потому что был отпущен им после первого допроса, и с этим обстоятельством связан примечательный исторический эпизод.

Николай I, получив в 1832 году прошение о дозволении Михаилу Назимову вступить рядовым в Кавказский корпус, открыл сейф и достал заветную тетрадь — «Алфавит членам бывших злоумышленных тайных обществ и лицам прикосновенным к делу». Она захватана-залистана, эта тетрадь, и сегодняшние криминалисты с их высокой техникой, быть может, способны восстановить на уголках листов дактилоскопическую характеристику царя, который наложил на прошении такую резолюцию-отказ: «Он более виноват, чем другие, ибо мне лично во всем заперся, так что, быв освобожден, ходил в караул во внутренний и был на оном даже 6-го января 1826 года». Удивительно, что последнего факта не было в «Алфавите» и, значит, в данном случае — через семь-то без малого лет! — сработала злая царская

память. Еще через пять лет Михаил Назимов все же добился перевода на Кавказ рядовым и почти десять лет храбро сражался в горах, дослужившись до чина поручика. После выхода в отставку ему было дозволено поселиться в Пскове, где еще долго находился под секретным надзором, а всего прожил в этом городе более сорока лет — до своей кончины в 1888 году...

Декабристов нельзя понять и оценить без *связей* — друг с другом, близкими, большими событиями всего XIX века и будущими, века XX, без подробностей их отношений с врагами и товарищами, с деятелями русской экономики, политики, науки, культуры. В письме Г. К. Цверавы фамилия другого рядового декабриста Михаила Ивановича Пущина отмечена крестиком со скобочкой, и автор, как истый ученый, дает сноску: «б. капитан лейб-гвардии Коннопионерного эскадрона. Хорошо было бы заняться биографией военного инженера М. И. Пущина!»

И вправду, хорошо бы, а то об Иване Пущине, бесценном друге Пушкина, все знают, а о его младшем брате — почти никто и ничего. Только почему этот военный инженер перед восстанием декабристов служил в конном эскадроне, дополнительно названном еще «пионерным»? Может, существовал тогда в лейб-гвардии отборный кавалерийский эскадрон — авангардный, поисковый, первопроходческий, разведывательный, самый надежный? Михаил Назимов состоял в этом же эскадроне, и когда в зимний были доставлены первые арестованные декабристы, он нес караульную службу внутри дворца. У Даля слово «пiонеръ» имеет прекрасное по своей краткости толкование, до конца исчерпывающее тогдашний его смысл: «воинъ для земляныхъ работъ; пiонеры, как и *саперы,* принадлежат к *инженерам*; ихъ обязанность пролагать дороги. *Есть и конные пiонеры*». Все ясно, Пущин и Назимов умели, верно, пролагать дороги, наводить переправы, гатить болота и вести подкопы, а их саперный эскадрон был конным, мобильным.

Михаил Пущин после выпуска из 1-го Кадетского корпуса, в котором он два года учился одновременно с Николаем Мозгалевским, поначалу служил в саперных батальонах, а в 1819 году в том самом лейб-гвардии Коннопионерном эскадроне, где штабс-капитанствовал Михаил Назимов...

После событий 1825 года Михаил Назимов еще находился в сибирской ссылке, когда возвращенный из Красноярска Михаил Пущин строил в Тифлисе дома как рядовой 8-го пионерного батальона. И вот война, вернее, сразу, почти одновременно, две — персидская и турецкая.

У всех на памяти еще были грандиозные битвы начала века, в которых приняли активнейшее участие будущие декабристы — Сергей Волконский, Михаил Орлов, Михаил Фонвизин, Павел Пестель, Михаил Лунин, Семен Краснокутский, Гавриил Батеньков, Василий Давыдов, Павел Колошин, Никита Муравьев, Матвей и Сергей Муравьевы-Апостолы, Иван Повало-Швейковский, Владимир Раевский, Кондратий Рылеев, Федор

Шаховской, Михаил Спиридов, Сергей Трубецкой, Владимир Штейнгель, Иван Сухинов, Иван Якушкин и многие-многие другие.

Персидская и турецкая войны конца 20-х годов по своим масштабам не шли ни в какое сравнение с наполеоновскими, но были также неизбежны, и о них до сих пор свято помнят на Кавказе и Балканах. По Грузии, Азербайджану, Дагестану, Кабарде шныряли перед этим агенты шахской Персии, а ее армия под началом английских офицеров летом 1826 года без объявления войны вторглась в долину Куры, нацеливаясь на Грузию. Стонал под турецким игом армянский народ, захлебывалось в крови освободительное движение греков, для которых Россия и некоторые другие европейские державы требовали автономии. Вскоре после знаменитого Наваринского морского сражения, в котором отличились будущие военачальники и герои Крымской войны лейтенант Нахимов, мичман Корнилов и гардемарин Истомин, турецкий султан объявил России «священную войну».

О военно-инженерном таланте и храбрости Михаила Пущина, проявившихся в русско-персидской и русско-турецкой войнах, можно бы написать целую книгу. Прибывший на фронт под крепость Аббас-Абада саперный батальон под фактическим командованием военного инженера в звании рядового солдата Михаила Пущина начал споро вязать фашины, строить туры и люнеты, закладывать мины, передислоцировать батареи. Орудия, установленные Пущиным, разрушали крепостные сооружения, а остальные молчали, так как огонь из артиллерийских амбразур, неудачно устроенных ранее, поражал бы своих. Командующий русскими войсками генерал-адъютант Паскевич, убедившись в воинской беспомощности полковника, начальника саперных отрядов, сказал ему, что произвел бы его в солдаты, а Пущина в полковники, да не может, добавив:

— От сего часа не ты у меня начальник инженеров, а он; все распоряжения должны идти от него, и ты сам, хотя и полковник, должен исполнять все его приказания, иначе я тебя прогоню из армии и предам военному суду...

Из воспоминаний М. И. Пущина: «На третий день осады Абас-Мирза с армией показался на другой стороне Аракса, желая нас принудить к снятию осады. Паскевич решился сам его атаковать, для чего приказал мне устроить мост через Аракс. Из всех духанов навезли мне бурдюков; их надували кузнечными мехами; мост был наведен за 24 часа; перешла по нем пехота и артиллерия; кавалерия перешла реку вброд, и нападение было так внезапно, что Абас-Мирза бежал». При взятии Карса солдат-сапер Михаил Пущин за стогами сена расположил мощную батарею, навел бревенчатый мост через речку Карс-Чай для переброски пушек на выгодную штурмовую позицию, что и решило исход важного сражения. Сложные и оригинальные инженерные сооружения были возведены под его началом перед осадой Эривани — солдат Пущин, получив указание Паскевича, в крат-

кие сроки смело «короновал гласис», обеспечив победу. Множество наград посыпалось в армию после взятия города. Паскевич получил графское звание Эриванского, а Михаил Пущин, один из главных практических участников этого сражения, «был произведен в унтер-офицеры с приказанием не употреблять его выше его звания, т. е. не дозволять ему распоряжаться военными действиями, а позволить, как милость, заведовать капральством». В зимнем походе по заснеженным горным дорогам декабрист соорудил деревянные плужные треугольники, обил их железом, и воловьи упряжки пошли впереди войск, расчищая дороги для пехоты, конницы и обозов.

Потери при штурмах крепостей, чума и дизентерия уменьшили армию до 12 тысяч человек, и под Ахалцихом силы противника в четыре раза превосходили по численности русское войско. Описание штурма Ахалциха, родного города Г. К. Цверавы, занимает в воспоминаниях Михаила Пущина несколько страниц, но центральным эпизодом был следующий: Михаил Пущин по главе своих пионеров и застрельщиков, вооруженных топорами на длинных рукоятях, бросился вперед и расчистил путь наступающим полкам. Турецкая пуля пронзила ему грудь навылет, но после четырехмесячного лечения декабрист вернулся в строй... При рекогносцировке горных дорог на Карс он проехал за трое суток четыреста километров в седле «и не мог сидеть, только сгибами колен». Однажды по нему, одинокому всаднику, посланному 19 июня 1829 года Паскевичем в разведку, как Пушкин в «Путешествии в Арзрум», турки дали артиллерийский залп...

Кампании завершились Туркманчайским миром, в разработке статей которого принял непосредственное участие Александр Грибоедов, и Адрианопольским мирным договором. Две «маленькие» войны имели большие исторические последствия — навсегда вошли в состав России часть Армении и Черноморского побережья Кавказа, получила самостоятельность Греция, расширена автономия Молдавии, Валахии и Сербии, все закавказские и балканские народы вздохнули свободнее.

Михаил Пущин участвовал в осаде и штурме Ахалциха, откуда происходят предки Гранта Константиновича и он сам, а сын ученого мог оказаться и в Бюракане, и в Дубне, и в сибирском Академгородке, но так уж случилось, что он работает в Обнинске, откуда сообщил отцу о проживающих там потомках Михаила Назимова и куда попутно решил заглянуть я.

В судьбах этих двух декабристов так много случайно схожего, что, кто бы ни надумал писать о Пущине, непременно вспомнит Назимова и наоборот. Прослеживая жизненные пути друзей и удивляясь их параллельности, я, не верящий ни в какую разновидность мистики, просто в недоумении развожу руками. Они были тезками и погодками, инженерами-саперами, служили в одной воинской части, потом стали декабристами, сибирскими изгнанниками, рядовыми на Кавказе, храбро сражались, уцелели,

оба в чине поручиков были уволены из армии, оба позже жили в Пскове, приняли активное участие в проведении крестьянской реформы. Они даже были женаты на родных сестрах Подкользиных — Пущин на Марье, Назимов на Варваре — и обоим им, как говорится, бог не дал детей... Давно не упускаю малейшего случая, чтоб познакомиться с потомками декабристов, но какие потомки Михаила Назимова могут проживать в Обнинске, если у него не было детей? Скорее всего, это потомки кого-то из его четырех братьев или двух сестер, и как я их тут найду, особенно если они Соколовы, Кузнецовы или, скажем, Ивановы? Конечно, можно попытаться это сделать через сына Г. К. Цверавы, чья фамилия для наших широт редка, но его тоже надо искать через адресный стол, на что потребуется время...

И все же я решительно крутанул руль, чтобы хоть здешнюю «безделушку» посмотреть, если уж приехали.

— Куда это ты? — услышал я голос жены.— Послушай, куда мы заехали?

— Глянем на одну безделушку...

На «безделушку» эту в Обнинске меня навел уже после своей безвременной кончины один необыкновенно талантливый молодой москвич Евгений Николаев. Ученый-химик, он так любил Москву и ее окрестности, так их знал, что эта любовь и знания не могли не материализоваться; да и грех было не поведать людям о том, что заставляло учащенно биться его сердце. Когда я прочел его книгу «Классическая Москва», перед которой почтительно склонили головы даже специалисты-архитекторы, то совершенно другими глазами посмотрел, например, на улицу Герцена. Пять лет я проучился на ней, знал и любил приметные здания, но Евгений Николаев раскрыл мне на этой обычной улице старой Москвы внутреннюю планировку особняков, не видимые никому зодческие сокровища, ласковыми словами описал чуть ли не каждое окошко, не каждый карнизик, будто сам их отделывал. Ах, как мало пожил *такой* человек!

Исполнен поэзии и неподдельного живого чувства его маленький путеводитель «По калужской земле», из которого я узнал о «сущей безделушке», или «une petit coin de terre», то есть «уголочке земли», как называли это место его владельцы в прошлом веке. Сельцо, близ которого расстраивается ныне Обнинск, некогда принадлежало Семену Годунову, брату царя, в XVIII столетии перешло к известному вельможе Воронцову, а от него — в качестве приданого за внучкой — к хранителю Эрмитажа, известному библиофилу Бутурлину. В эту крохотную усадебку Воронцов приезжал на охоту, а Бутурлин — разводить заморские цветы и выращивать лимоны.

— А у нас на участке в этом году даже смородина не плодоносила,— отметила жена, осматривая остатки запущенного сада, одинокие липы на берегу прудика, трехэтажный старинный дом

простого, несколько даже казенного облика, без традиционной колоннады и развертки по фасаду.— Неужели здесь когда-то лимоны вызревали?

— В оранжерее, конечно. Крепостные мужики многое умели... Впрочем, декабристы в Сибири кое-что своими руками выращивали. У Натальи Дмитриевны Фонвизиной вызревали, понимаешь ли, ананасы. И где! В Енисейске, даже не верится...

— А в этой поездке мы декабристских следов не встретим? — с надеждой спросила дочь, которой я ничего пока не рассказал о Михаиле Пущине и Михаиле Назимове.

— Если поедем дальше, даже могилы их встретим... А вот это тебе ничего не напоминает?

Небольшой старенький храм стоял неподалеку — основательный восьмерик на четверике, скромный портик с востока, расчлененный едва выступающими из стены пилястрами, незатейливая трехъярусная колоколенка с запада...

— Эта церковь напоминает какую-то другую церковь,— неуверенно сказала Иринка.— Круглые люкарны в четверике... Бланк?

— Да. Дед декабриста Николая Басаргина.

Несколько десятилетий Карл Иванович Бланк проектировал и строил для Шереметева, Панина, Воронцова, для старой столицы, маленьких городков, поместий и усадебок. И хотя нет у Бланка ни одной постройки, повторяющей другую, как вообще нет на нашей земле двух идентичных памятников старины, талантливый архитектор оставлял на камнях свою неповторимую печать — так мы по одной странице, короткой музыкальной фразе или эскизу безошибочно узнаем руку большого писателя, композитора или художника. Заметное сходство эта церковь под Обнинском имеет, например, с храмом в Кнéве, подмосковном имении того же Ивана Воронцова.

Прошло с тех пор два с лишним века. Воронцов забыт, а Карл Иванович Бланк живет, общаясь с нами посредством своих построек. Досадно только, что далеко не для всех они звучат. Однажды мне вздумалось проделать маленький опыт. Никола-в-Звонарях стоит на красной линии улицы Жданова, примыкая к левому крылу Московского архитектурного института, который под что-то использует это «строение № 3», как значится на табличке. Я стоял на тротуаре, рассматривая круглые люкарны и барельефы по кругу куполообразного завершения храма. В институте, наверное, кончились занятия, мимо потекла говорливая толпа студентов, и я остановил стайку веселых парней.

— Ребята, извините, я приезжий, интересуюсь московской стариной. Скажите, как называется этот памятник и кто его автор?

— Понятия не имеем.— И пошли дальше.

Вторая группа заспорила меж собой, но Бланка никто не назвал. В третьей были одни девушки, они посмотрели на меня как

на чудака. Под конец я выбрал солидно шагающего молодого человека с бородой и пухлым портфелем — не то дипломника, не то аспиранта.

— Знаете, даже как-то странно! — внимательно взглянул он на меня, потом на храм.— Пять лет проучился, сколько раз бывал в нем, но никогда не задумывался...

А сколько жителей Обнинска могут сказать, кто и когда проектировал и строил белевскую церковь, кто делал в ней роспись и чем этот скромный памятник отличается от тысяч других? Хожу вокруг него и стараюсь понять, как это удалось архитектору совместить в нем такие противоположности. Храм-невеличка производит впечатление монументального, основательного сооружения. Наверное, это идет от простых его форм и солидного восьмерика, равного, пожалуй, по объему своей подоснове, едва выступающей портиками за грани и ребра надстройки. И совсем невысока церквушка, но пилястры на стенах основы, гранях, восьмерике и закругленные полуколонки на подкупольной башенке, а также вертикальные световые прорези в этих трех ярусах будто бы стремят храм ввысь. Прорези поверху изящно заовалены, и, когда я мысленно убираю овалы, церковка сразу приседает.

Минуточку, это что такое? Понизу прорези-окна совсем не окна! Вначале-то я подумал, что когда-то их заложили кирпичом, чтоб затруднить доступ внутрь бывшего храма, но, приглядевшись, увидел в нишах изначальную капитальную стеновую кладку. Это, оказывается, глухие лжеокна, нужные лишь затем, чтоб придать внешнему облику декоративные вертикальные штрихи. Да, но в таком случае они не пропускают свет внутрь, и как же там должно быть темно и мрачно!

Внутри, однако, сразу несколько неожиданностей и еще несколько совмещений, казалось бы, несовместимого. Прежде всего поражает необычайная миниатюрность церкви — ее «полезная» площадь не более сорока квадратных метров, и при такой тесноте да фальшивых окнах ожидаешь совсем не то, что есть на самом деле. Свет! Уходящее ввысь подкупольное пространство создавало бы, наверное, впечатление колодезной сумеречности, прохлады и глуби, если б архитектор посредством своих излюбленных круглых люкари над лжеокнами, а главное, высоких вертикальных прорезей в гранях восьмерика не устроил обильного светопада, что, сливаясь вниз, растекался по полусводам, оконным откосам и стенам.

Первоначальную роспись церкви делал ученик Баженова «архитекторский помощник и живописный подмастерье» Иван Некрасов. В 1772 году он почти месяц работал в Белкине, уволившись на этот срок из Кремлевской экспедиции, куда был определен «для писания блафонов». Судьба его печальна — вскоре после возвращения из Белкина он, «оступясь, упал с подмостков и повредил себя». Позже сделали новую роспись, продолжившую традицию художественных парадоксов, заложенных зодчим в

белкинскую церковь Бориса и Глеба. В куполе расписали круговую балюстраду — своего рода бельведер, увиденный как бы изнутри, а на стенах четверика — величественный дворец с колоннадой коринфского ордера. В том же светском торжественном стиле был выполнен маленький иконостас, смело утверждавший свое миниатюрное величие, и столь необычная внутренняя отделка церкви странно контрастировала со скромным, простым, сдержаиио-благородным ее внешним обликом. Жаль, что ныне все это приходит в запустенье, грязнится, отслаивается и пропадает...

В зеркальце было вндно, как церковка Бориса и Глеба печально смотрит нам вслед пустыми глазницами. И все-такн хорошо, что хоть в таком виде сохранилась до нас и для нас эта «сущая безделушка», единственный, если не считать дома и почти погибшего белкинского парка, памятник старины в обнинской архитектурной новизне.

Спустя годы я снова побывал в Обнинске. Город разросся, потеснил окрестные леса и поля, подошел к Белкину и собирается обступить его современными кварталами. У меня с собой была фотография, присланная местными краеведами,— конская морда в окне Борисоглебской церкви, где в летнюю жару спасаются лошади Белкинского отделения совхоза... Издали узнал я знакомый силуэт. От росписи уже, можно сказать, ничего не осталось — она ошелушилась, осыпалась и существует сейчас только в описаниях, в памяти очень немногих людей да на слайдах одного обнинского художника. Интересный памятник архитектуры разрушается на глазах, хотя верха его и не поросли еще кустарником. Оплыли берега каскадных прудов, затянутых ряской; рубят и жгут парк, в котором, однако, еще можно различить радиальные вязовые и липовые аллеи, отграннчительные ряды двухсотлетних деревьев, контуры пейзажной части. У реставраторов никак руки не дойдут до Белкина, и усадьба даже не взята под местную охрану, ничья. Земля принадлежит Боровскому району, но ему не до усадьбы, которая вошла в черту Обнинска. В городе полтора десятка научно-исследовательских институтов, скоро в нем будет сто тысяч жителей, и памятники Белкина в этом современнейшем поселении — зодческая «изюминка» вроде одинокого и прекрасного Симеона Столпника на Калининском проспекте в Москве.

Белкино, которому скоро стукнет четыреста лет, типнчное «дворянское гнездо» в комплексе. Особняк, кстати, при всей его внешней ординарности, имеет уникальный в архитектурном отношении первый этаж с крестовыми сводами, а самая большая комната представляет собой сводчатую русскую палату с опорной колонной в центре. В Белкиие можно разместить и музей, и картинную галерею, а восстаиовленные пруды — единственное водное зеркальце Обнинска — и их прелестный антураж наглядно демонстрнровали бы поколениям горожан образец среднерусского нестоличного паркостронтельства, и все это вместе рассказывало бы о

прошедшем — о культуре, быте, эстетических вкусах, привычках, нравственном и духовном мире некогда живших здесь людей, их связях.

Владимир Алексеевич Иванов, физик по образованию и профессии, все свободное время отдает изучению местной старины. Он мне писал в Москву, а в Обнинске показывал документы, автографы, фотокопии давних газетных и книжных публикаций, старинных портретов и снимков. При последних владельцах Белкина и окрестных хуторов усадьба сделалась одним из провинциальных культурных центров. В. П. Обнинский был общественным деятелем и публицистом, написавшим «Новый строй», «Последний самодержец», «Сказки старого гнома» и другие книги. Он дружил с великим живописцем В. Д. Поленовым, в его белкинской коллекции было несколько работ замечательного русского художника.

Сестра В. П. Обнинского Анна вышла замуж за известного врача И. И. Трояновского, и бывший их хутор Бугры тоже вошел в территорию города. Летом 1897 года у них гостил И. И. Левитан. Две его картины «Лунная ночь. Деревня» и «Лунная ночь. Большая дорога» выполнены по белкинским эскизам. В коллекции Трояновского числилось шестнадцать картин и этюдов Левитана...

Нередким гостем в Белкине был и В. А. Серов. Великолепен его портрет «К. А. Обнинская с зайчиком». В 1906 году часть имения Обнинских покупает М. К. Морозова, вдова известного фабриканта. Серов пишет пять портретов членов ее семьи. И в коллекции Трояновского были две интересные работы Серова — «Стригуны» и «Петр Великий в Монплезире». Художник сделал также дружеский шарж на хозяина дома, написал портрет его жены. А в 1907 году приезжал на этюды в Белкино молодой П. П. Кончаловский, а позже, уже в советское время, купил дачу в Буграх. У него здесь часто гостили певицы В. Барсова и А. Нежданова, артисты В. Качалов, И. Москвин, Б. Ливанов, писатели А. Толстой, А. Фадеев, Вс. Иванов, кинорежиссер А. Довженко, скульптор С. Т. Коненков, композитор С. Прокофьев...

Все лето 1910 года провел в Белкине В. Я. Брюсов. 27 июля того года он пишет А. М. Горькому: «...Подобно всем москвичам лето я провожу вне Москвы, а в этом году в таком «углу», куда и письма попадают не каждый день». Тем днем датировано одно из его стихотворений:

И снова дальние картины
(Иль только смутные мечты)
За перелеском луговины,
За далью светлые кресты

Стихотворение Брюсова «На меже» подписано «1910 г Белкино»

В. А. Иванов показывает мне итальянскую открытку, на которой изображен Ф. И. Шаляпин в роли Мефистофеля. Автограф великого артиста, адресованный одной из молодых Обнинских: «Не пугайтесь, милая барышня Лидочка,— это я такой страшный нарочно. Шлю Вам свой привет. Федор Шаляпин. 10.04.901. Москва». И еще один драгоценный автограф — из письма Льва Толстого...

А в 1911 году попечением М. К. Морозовой и стараниями известного педагога С. Т. Шацкого на земле старинной усадьбы образовалось необычное для России учреждение — детская воспитательная колония «Бодрая жизнь». Педагогическая система Шацкого основывалась на замечательной идее развития творческих задатков в каждом воспитаннике. После революции колония расширилась, и В. И. Ленин, узнав о ней от Н. К. Крупской, воскликнул: «Вот это настоящее дело, а не болтовня!» С 1918 по 1941 год школа-колония имени С. Т. Шацкого «Бодрая жизнь», дававшая воспитанникам среднее образование, выпустила сотни прекрасных ребят — патриотов и тружеников, в конце 30-х годов приютила большую группу испанских детей, в ее изостудии, руководимой первым учителем Пластова художником Д. И. Архангельским, обнаружились юные таланты Николая Евдокимова, Ивана Довженко, Василия Трофимова, Александра Селуиского, Виля Девизова, Василия Костерева и других студийцев колонии, погибших в Отечественную войну... В. А. Иванов разыскивает их письма, рисунки, этюды, портреты и публикует время от времени в журнале «Юный художник».

Краевед изучает также изобразительное наследие рано ушедшего из жизни молодого архитектора Валерия Иванова, который тридцать лет назад зафиксировал в своих акварелях и карандашных набросках немало памятников калужской старины, исчезающих или уже исчезнувших. Другой обнинский краевед В. С. Нестеров обнаружил в окрестностях города, на берегах Протвы, несколько древних курганов и городищ, не известных археологической науке. Таких энтузиастов пока двое в этом перспективном современном городе, хочется, чтоб стало больше и чтоб эта добровольная работа вызывала хотя бы сочувствие в горисполкоме. И не время ли нам восстановить Общество краеведов, существовавшее в стране до середины 30-х годов и сделавшее так много полезного! В. О. Ключевский: «Изучение местной старины дает готовый и наиболее обильный материал для исторической социологии».

За возрождение обнинских памятников пора браться, пока еще не поздно. Хочется верить, что для тех обнинцев, что ходят сегодня в детсады и начальные школы и чьим папам вечно некогда, придет час, когда они заинтересуются историей родной их земли и это знание поможет им овладевать культурой и формировать свои личности, познавать жизнь, изменять ее к лучшему...

Не стали мы тогда искать в Обнниске потомков Михаила Назимова, потому что нх там не было, а у дальних родственинков, если оии там были, инчего существенного ие могло сохраииться — ин документов, ин пнсем, ин воспомииаиий, о чем я узнал несколько позже, позиакомившись с москвичом Олегом Всеволодовичем Поповым — потомком родственнников Назнмова. Этот нижеиердорожиик много лет изыскнвал трассы в Снбири, а по выходе иа пеисию занялся декабрнстом Михаилом Назнмовым.

— Все, что касается Назимова, собралось у меия,— сказал ои.

В фундамеитальное нркутское издаине «Поляриая звезда», рассчитаииое иа десяткн лет, которое обоймет миого неизвестных декабрнстскх документов н сочиенинй, он готовит отдельный том, посвящеиный Назимову.

— Простнте, Олег Всеволодовнч,— сказал, поминтся, я.— Но ведь Назимов — ие Фонвнзнн, Кюхельбекер илн Раевскнй. Откуда том-то!

— Набнрается... И, зиаете, это замечательио, что ои ие похож иа других! Был иеплохим графнком, и несколько его работ сохраинлось. Свои иижеиерные зиання Мнхаил Назимов прнменил в Снбирн — проектировал н стронл дома, церквн. Курганский собор Рождества, кстатн, его работа.

— Сохраннлся?

— Одна стеиа н фотография... Не сохранилось также его воспомннаний об Александре Одоевском, посланных Андрею Розеиу, н запнсок о Елизавете Петровне Нарышкнной н Аиие Васнльевне Розен, которых ои знал по Кургану. Этн записки, подготовлеииые для Некрасова, очевндно, сгорели в Карабнхе вместе с архнвом поэта. Сохранились, однако, пнсьма Мнханла Назнмова к Нннколаю Лореру, Миханлу Нарышкину, Аидрею Розену, Алексаидру Брнггеиу, Иваиу Пущниу, а также своей племянннце, моей прабабке Наталье Дмнтрневие Поповой, в которых иемало ннтересных деталей, воссоздающнх облнк этого, как считается, рядового декабрнста. В одном нз пнсем, иапрнмер, он опасался, как бы прн осуществленнн реформы дворяне-землевладельцы ие опозорилнсь. Кстати, Назимов был мнровым судьей и первым председателем Псковской губериской земской управы, а по архивным матерналам я установнл доподлнннo, что в коифликтиых снтуациях ои всегда выступал на стороне крестьян. В томнк войдут также его статьн, опубликованные в перноднке тех лет, следствеииое дело, иекролог из «Исторического вестиика», воспомниания о встречах с Лермонтовым в пересказе Внсковатого...

С Лермоитовым? И еще одно удивнтельиое совпаденне, объедниняющее друзей-декабристов. Мнхаил Назимов встречался иа Кавказе с Мнханлом Лермонтовым, а Михаил Пущни — с Александром Пушкнным, о чем я еще помню с юностн по «Путешествню в Арзрум». Это о Миханле Пущине Пушкнн иапнсал, что он «любим и уважаем, как славный товарнщ н храбрый солдат»,

это заметками о встрече с ним во Владикавказе закончил Пушкин описание своего путешествия.

Впервые за время кавказских скитаний поэт увидел тогда на столе Михаила Пущина русские журналы и в первой же статье обнаружил «первое приветствие в любезном отечестве» — автор ее всячески бранил поэта и его стихи. Пушкин начал было читать вслух, однако Михаил Пущин попросил делать это «с бо́льшим мимическим искусством». В этой краткой цитате я своей волей поставил ударение — его нет в моем заветном Полном однотомном собрании сочинений Пушкина, а оно, наверное, нужно современному любознательному читателю.

И вот представляю *его* живое лицо, комичные, дурашливые гримасы, слышу меняющийся голос, в котором Пущин угадывает то дьячка-зануду, то глупую церковную просвирню, то корректора-здравомысла, под личинами которых выступал критик; первоначальная досада исчезла, и товарищи «расхохотались от чистого сердца». Пушкин всегда был самим собою — истинно по-русски чистосердечным и человечным, и его подлые убийцы знали это...

Из Владикавказа друзья вместе поехали на воды, откуда 25 августа 1829 года Михаил Пущин писал на Нерчинские рудники брату Ивану: «Мы вместе пьем по нескольку стаканов кислой воды и по две ванны принимаем в день. Разумеется, часто о тебе вспоминаем». Позже Пушкин еще мог встретиться с Михаилом Пущиным в Пскове, но с Иваном ему уже не суждено было свидеться, и в свой смертный час он вспомнил о первом, бесценном друге, сказав Данзасу, что ему легче было бы умирать, если бы Пущин был здесь...

На кратком семейном совете решаем не возвращаться в Москву, а ехать дальше на юго-запад по этой магистральной шоссейке с ответвлениями, ведущей через Калугу на Козельск, крохотный городок, семь недель сражавшийся со степной ордой весною 1238 года, за которым, судя по карте, асфальт вскоре разветвляется на проселки. В этом тупичке некогда была вотчина Волконских, а по пути хотелось заехать и в село, где похоронен «второстепенный» сибирский писатель Александр Степанов и бывал «третьестепенный» русский поэт Владимир Соколовский, и поклониться праху единственного сибиряка-декабриста Гавриила Батенькова, и посмотреть приметные архитектурные памятники близ дороги, и посетить, конечно, дом Циолковского, и непременно увидеть нежданное, как это всегда бывает...

26

Недвижимо висит иизкое тусклое иебо, стремит под колеса ровиая, до чериоты омытая осеииими дождями дорога, кружит за обочинами жиивье, теряющее солиечиую позолоту, плавио раскрывают себя леса н перелески, смеиившие одиообразиое зелеиое одеяиие на недолгую пеструю пересмеику, радующую глаз трепетнымн цветовыми оттеикамн. А вот и Ока в широкой пойме иевозмутимо катит по древиему руслу холодеющие, изжелтасерые воды. За ией объявился большой город на крутяке, и я иевольно нажал на тормозную педаль.

Даже мимолетиая встреча с Калугой ннкого не оставит равиодушиым. Город картиино стоит над Окой. Красивы его тихие старинные улочки, трогательно милы двориkн-закоулочки; вековая патииа покрывает праздиично-торжествеииые фроитоиы дворянских особняков, оригннальный декор купеческих домиков, строговато-холодиые стеиы бывшнх «прнсутствеиных мест», а иад крышами, пока еще не прииижеиимн зданиямн «повышеииой этажиости», взмываются в иебо купола, шатры н шпилн, сохраннвшиеся со времен Гоголя, которому Калуга нздали почему-то показалась похожей на Константинополь, хотя, скорее, исторнческий калужский центр напомннает старую Москву...

Вот Георгневская церковь начала XVIII века, будто перенесеиная из Москвы века предыдущего, что совсем недалеко от истииы, потому как в ией только кирпич калужскнй, а возводнлн ее столичиые мастера-чудодеи, завершавшие в родиом своем городе миоговековую камеииую сказку и ие пожалевшие для соседей ии затейливого старииного мастерства, ии фаитазии, словио чуяли — вот-вот сместится иа север, к морю, главный российский градостроительиый центр н примет иноземиое обличье, а их зодческая слава затаится иа иесколько столетий, чтоб виовь раскрыться, когда подойдет ее час...

Изящиое пятиглавье иад высокими гранеиыми барабанами, монолитиым телом памятиика и иеобычно просторной галереей, на которую зовут широкие и открытые лестиичиые подъемы,

прихотливая кирпичная вязь окон и карнизов, прекрасная многоярусная колокольня — трехэтажный четверик первого яруса, шестигранная звонница и великолепный каменный шатер с декорированными просветами вонзается в небеса острым завершеньем. Это лучший калужский памятник архитектуры, сочетающий узорчатость каменной кладки с мощью и стройностью, вобрал в себя все достижения старомосковской школы зодчества.

Прочнейшей старинной кладки дом купцов Коробовых XVII века, приземистый, таинственный, мрачновато-живописный,— такой и в самой Москве не вдруг сыщешь! Городская усадьба Кологривовых — Золотаревых, исполненная гармонии, маняще-праздничная, легкая и ясная, словно строилась из света, воздуха и тепла, способная украсить любую столицу мира. А еще дома Чистоклетовых и Мешковых — каждый со своими неповторимыми архитектурными особенностями. По этим трем памятникам, бережно ухоженным современными калужанами, вполне можно преподавать историю развития русского классицизма.

Гигантский мост через Березуйский овраг стоит, будто мастодонт, двести лет недвижимо, распустив по хребту чугунное оперенье и увязив тяжеленные ножищи свои в разверстой глинистой пасти земного провала. Калужский гостиный двор, несколько похожий на Петербургский, Архангельский и Томский, но своими готическими элементами совсем не похожий на них, как не похож старомосковский Георгий за Верхом на большинство других калужских церквей, несущих явные признаки некогда новомодной готики. А строение напротив Георгия за Верхом вызывает внезапный толчок в сердце — это особняк его прихожан Гончаровых, тех самых, с какими породнился Пушкин...

Волны истории никогда не обегали калужскую землю. Именно отсюда пошел на Москву вождь первой крестьянской войны Петр Болотников, предтеча Разина, Булавина и Пугачева. Сюда сбежал с Мариною Мнишек «тушинский вор», тут же он окончил свою путаную жизнь, и местные предания почему-то числят дом Коробовых «дворцом Марины Мнишек», хотя построен он был по крайней мере через полвека после того, как вспорхнула отсюда эта пронырливая залетная пташка.

Тихая улочка Декабристов. Названа, видимо, в память декабриста-калужанина Евгения Оболенского, декабриста-сибиряка Гаврила Батенькова, его друга Петра Свистунова, после сибирской ссылки преподававшего французскую литературу в местной гимназии, «славянина» Ивана Киреева, который, подготовив после амнистии в 1-й Кадетский корпус последнего сына Николая Мозгалевского, пожил еще некоторое время в Минусинске, а потом воспользовался товарищеским приглашением Батенькова, поселившегося в Калуге, и приехал с семьей к нему.

Вспомнился разговор с одним московским поэтом, по стихам которого можно было понять, что родом он из Калуги.

— Ты, слышно, интересуешься декабристами? А Калуга очень даже декабристский город! Мой земляк Оболенский там

жил после Сибири, твой замечательный земляк Батеньков, а также Якубович...

— Александр Якубович? Не ошибаешься ли ты? Он ведь не дожил до амнистии, умер в Енисейске.

— Может, в Калуге он детство и юность провел? Его отец был у нас почтмейстером...

Странно! Никогда не слыхал. В черниговском музее висит портрет Александра Якубовича и пояснение, что родом он из Ромен, а тогда этот городок входил в Черниговскую губернию.

— И вообще город наш очень мал, особенно периферийная старая его часть. Знаешь, каменные домики всяк со своим козырьком над крылечком, с окошечками — куда ни глянь, на особый манер, мезонинчики, верандочки, все, как в прошлом веке...

Интересно, конечно, побывать на этих улочках, по которым шастал когда-то, затевая драки, сын почтмейстера, долговязый сорванец, ежели он воистину тут бегал. Он и остался тем же забиякой, сделался позже кумиром петербургских фанфаронов, чуть не убил на дуэли в Тифлисе Грибоедова, отчаянно, будто искал смерти, сражался в кавказских ущельях и только на Сенатской площади 14 декабря 1825 года вдруг изменил своей натуре, упустив редчайший случай...

Строгая история, однако, не признает мечтательных «если бы» да «кабы», но можно и в ней найти примеры, когда какое-то явление становилось реальностью в результате случая или сцепления случайностей. Об одном из таких явлений, принадлежащих, правда, не к общественно-политической истории России, а к истории ее культуры, я должен попутно рассказать, потому что оно было непосредственно связано с Калугой, Сибирью и, как это ни странно, с Якубовичем, только не декабристом Александром Ивановичем или его отцом Иваном Александровичем, которые в Калуге, оказалось, все-таки никогда не жили, а совсем с другим человеком — почтмейстером Андреем Федоровичем Якубовичем.

Начало XIX века ознаменовалось одним из величайших событий в мировой культуре — опубликованием «Слова о полку Игореве», единственный текст которого в высшей степени счастливо-случайно сохранился с конца XII века и вскоре, к несчастью, погиб тоже *по случаю*. Как бы мы все вдруг обеднели, если б не удосужились тогда снять копию и, более того,— напечатать и скопировать «Слово», донесшее до нас из средних веков мысль и страсть русского гения!

И вот тут-то, дорогой читатель, нужнейшая сейчас нам приостановочка.

Почти одновременно со «Словом», а именно в 1804 году, вышел из печати в слишком сокращенном, правда, виде другой шедевр нашей великой литературы, открытие коего в некотором смысле сравнимо с открытием «Слова», а его история столь же необычна, таинственна и также полна счастливых и несчастливых случайностей.

Вот я раскрываю эту изумительную книгу, купленную еще в студенческие годы, и воображаю, как прочел когда-то первые рукописные строки ее и вздрогнул молодой чиновник Московского почтамта Андрей Якубович, сам на досуге занимавшийся стихосложением:

Высота ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота акиян-море,
Широко раздолье по всей земли,
Глубоки омоты днепровския.

Этот бесподобный зачин следовало бы печатать на первой странице школьных хрестоматий, комментировать в учебниках... А вот еще один зачин в древнем плавном песенном ключе:

Кабы по гарам, горам, по высокием горам,
Кабы по далам, долам, по широкием долам,
И по край было моря синева́
И по тем по хорошием зеленым лугам,
Тут ходила-гуляла душа красная девица,
А копала она коренья-зелья лютое..

Дальше поется о том, как изготовила она это зелье и хотела «извести злого недруга», но ненароком извела «по роду братца роднмова»...

Третий зачин:

А стать почитать, стать сказывати:
А и городы все, пригородья все,
Малую деревню — и ту спомянуть.

В этой песне много о чем поется, но вот глаз выхватывает:

А не мил мне Семен: не купил мне серег,
Только мил мне Иван: да купил сарафан..

Автору этих строчек, написанных задолго до Державина и Пушкина, наверное, завидуют сегодняшние изобретатели сложноаллитерационных рифм. А в одном из текстов с необыкновенной, будто сказывает очевидец, выразительностью, зримо, трагедийно и просто изображается татарское нашествие на Киев во главе с мифическим Калин-царем:

Збиралося с ним силы на сто верст
Во все те четыре стороны.
Зачем мать сыра земля не погнетца?
Зачем не расступитца?
А от пару было от конинова
А и месяц, солнцо померкнула,
Не видить луча света белова;
От духу татарскова
Не можно крещеным нам живым быть

Тоненькая книжка «Древние русские стихотворения» 1804 года издания, содержавшая двадцать шесть произведений, впервые приоткрыла богатейший художественный мир народного творчества, впервые русская читающая публика смогла познакомиться с древними ста́ринами, с их героями Ильей Муромцем, Добрыней Никитичем, Алешей Поповичем, Василием Буслаевым, Калинцарем, Соловьем Будимировичем, впервые узнала исторические песни о Гришке Расстриге и Ермаке, эпические духовные стихи о «сорока каликах со каликою...»

Но это была лишь малая часть драгоценнейшей рукописи, которая хранилась не в Академии наук или Императорской библиотеке, а, кажется, в столе московского почтового чиновника А. Ф. Якубовича, ставшего калужским почтмейстером. В ней оставалось еще сорок пять никому не известных произведений — несколько архаичных былин, тексты которых не вспомнил позже никто из сказителей,— о Ставре Годиновиче, Дюке Степановиче, Волхе, Потуке Михайле Ивановиче, множество снабженных нотами исторических, казачьих, балладных, бытовых, сатирических, шутливых и озорных скоморошьих песен, в том числе — диво дивное! — «Во сибирской украине, во Даурской стороне» и «Поход селенгинским казакам»; в одной песне упоминались Тагиль-река, Тура-река, в другой — «тюменьские бабы», «Тобольская гора», в третьей — «Иркуцк», «Якуцк» и «Енисейский городок»...

Эта рукопись уральско-сибирского происхождения попала к Якубовичу благодаря случаю. Сборник был списан несколькими разными, характерными для XVIII века почерками где-то в Сибири для известного московского богатея-заводчика Прокофия Демидова, по-настоящему увлекавшегося не древней песней либо музыкой, но ботаникой — на территории теперешнего Нескучного сада содержалась у него дорогостоящая в приобретении и уходе коллекция растений со всего света — четыре с половиной тысячи видов! Тетрадь же эту он не передал почему-то ученым или собирателям русских древностей вроде того же Мусина-Пушкина, хотя и сообщил однажды историку Ф. Миллеру, что достал песню об Иване Грозном от «сибирских людей», «понеже туды всех разумных дураков посылают, которые прошедшую историю поют на голосу».

Неизвестно, как она оказалась после смерти владельца у его родственника, некоего Хазанова, и по какому случаю тот передал ее опять же не знатокам, а директору Московского почтамта Ключареву, в свою очередь передарившему эту необыкновенную редкость своему подчиненному Якубовичу, который увез ее в Калугу. А ведь вполне могло это сокровище на каком-то отрезке своего путешествия по разным рукам пойти на растопку для печи или обертку для селедки! Вспоминаю, как однажды листал я в Куйбышеве рукописную сибирскую летопись, листами которой летом 1939 года на тобольском базаре торговка оборачивала свежих окунишек. Человек, которому пока принадлежит эта цен-

ная находка, сейчас учтенная, конечно, Академией наук, взял тогда ее задаром, заплатив полтора рубля... за всех окуней.

В сибирской стихотворной рукописи не было конца — в самом начале оборвалась песня «О Стеньке Разине»,— да утери заглавный лист, что породило литературную загадку, окончательно не разрешенную до сего дня: кто примерно в середине XVIII века записал с удивительным, как считают специалисты, почти современным научным тщанием эти шедевры русского народного творчества, кто обладал таким художественным вкусом, чтоб собрать именно то, что было собрано, кто сопроводил все тексты нотами, местами расширил поэтические рамки повествовательной прозой и придал сборнику стилистическое единство?

В 1816 году судьба драгоценной рукописи круто повернулась — она была приобретена Румянцевским кружком любителей русской литературы и истории. Началась подготовка ее нового, расширенного издания, которое поручили ученому-филологу К. Ф. Калайдовичу. Он несколько месяцев проработал в Калуге вместе с Якубовичем, и в 1818 году книга вышла. Она стала воистину огромным явлением русской культуры! Впервые было опубликовано еще несколько былин, в том числе две о Садко, богатом госте новгородском, исторические песни о Ермаке, Михаиле Скопине-Шуйском, героическом защитнике Смоленска, о взятии Казанского царства, о полководце петровского времени Борисе Шереметеве, о других героях и событиях русской старины, сибирские бывальщины, много народных песен с уникальными и хорошо обработанными текстами. Однако книга по цензурным причинам тоже не исчерпала всего содержания подлинника, который в том самом 1818 году куда-то таинственно исчез.

Однако чудо-книга уже существовала: жила, работала вовсю, встала на полки казенных и личных библиотек, передавалась из рук в руки, зачитывалась до дыр. Пушкин сообразовывал с нею сюжеты своих сказок и язык, считая сборник эталоном народной речи. Ею вооружались декабристы, над ней с трепещущим сердцем сиживал Белинский. «Эта книга,— написал однажды он,— истинная сокровищница величайших богатств народной поэзии, которая должна быть коротко знакома всякому русскому человеку, если поэзия не чужда душе его и если все родственное русскому духу сильнее заставляет биться его сердце». Кстати, мои слова о том, что строки из этой книги пора бы включить в школьные хрестоматии и учебники,— продолжение мысли Белинского о круге детского чтения. Он писал, что «народность обыкновенно выпускается у нас из плана воспитания», что дети и юноши, наизусть зная отрывки из западной литературы и исторические анекдоты о тамошних королях, «не имеют и понятия о сокровищах своей народной поэзии». И завершает свои размышления о книге отточенной формулой, будто раз и навсегда отлитой в червонное золото: «Кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству».

Загадка авторства осталась, однако, до конца не разгаданной. А. Ф. Якубович, бесспорно, видел заглавный лист рукописи с указанием имени составителя, К. Ф. Калайдович решительно назвал второе издание книги так: «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым».

Кто такой Кирилл Данилов, мы в точности не знаем, но в науке давно принято, что именно этот человек был сказителем, собирателем и составителем сборника, в котором, между прочим, есть и его авторские тексты. Одним из таких текстов Калайдович, а позже Белинский, еще позже многие другие сочли все стихотворение «Да не жаль добра молодца битова — жаль похмельнова»:

А и не жаль мне-ка битова, граблепова,
А и тово ли Ивана Сутырина,
Только жаль доброва молодца похмельнова,
А того ли Кирилы Даниловича:
У похмельнова доброва молодца бойна голова болит.
«А вы, милы мои братцы-товарищи-друзья!
Вы купите вина, опохмельтя молодца.
Хотя горько да жидко — давай еще!
Замените мою смерть животом своим:
Еще не в кое время пригожусь я вам всем!»

В 1963 году А. А. Горелову посчастливилось найти в одном уральском архивном документе имена Кирилла Данилова и Ивана Сутырина. Строгая филологическая наука считает, что это могло быть случайным совпадением, только тогда совпадение такое надо признать редким до невероятия. Совпадает время — документ относится к XVIII веку. Совпадает место — Нижнетагильский завод, где работали оба эти мастеровые на хозяина своего Демидова, первого владельца рукописи. Оба имени стоят, как и в песне, *рядом*, что совершенно невозможно объяснить случайностью — много ли на том заводишке работало мастеровых, чтоб именно этим двум, один из которых, должно, и был той талантливой забубенной головушкой, означиться вместе? Недавно я из любопытства заглянул в московскую телефонную книгу, чтобы хотя бы косвенно представить себе степень вероятия встречи двух этих русских фамилий в самом, наверное, объемном современном списочном издании. Удивительное совпадение! В ней значатся только один К. Д. Данилов и — через сотни тысяч фамилий, в четвертом томе — один-единственный И. Сутырин. Причем этот москвич И. А. Сутырин может быть по имени Игорем, Ильей, Иннокентием, Ипполитом, Игнатием, а единственный из восьми миллионов москвичей К. Д. Данилов, имеющий на квартире телефон, вполне может оказаться Константином Дмитриевичем, Кимом Денисовичем или, скажем, Касьяном Дормидонтовичем.

Есть в сборнике Кирилла Данилова замечательное стихотворение «Ох, в горе жить — некручинну быть», явно несущее на себе

печать индивидуального образного видения. В нем — горькое осознание несчастной личной судьбы, чуть скрашенное утешительной насмешкой над самим собой; может, и пелся-то этот текст со слезой сквозь улыбку. Стих по-старинному не гладок, однако доказывает, что настоящий поэт способен волновать, пробуждать чувства и без изысканных рифм, простой с виду, безразмерной строкой, но любознательный читатель заметит и ритм организующий, и неповторимый размер, и композиционную стройность, и неожиданную концовку, с удивительной художественной силой завершающую все произведение.

А и горя, горе-гореваньица!
А в горе жить — некручинну быть,
Нагому ходить — не стыдитися,
А и денег нету — перед деньгами,
Появилась гривна — перед злыми дни,
Не бывать плешатому кудрявому,
Не бывать гулящему богатому,
Не отростить дерева суховерхова,
Не откормить коня сухопарова,
Не утешити дитя без матери,
Не скроить атласу без мастера.
А горя, горе-гореваньица!
А и лыком горе подпоясалась,
Мочалами ноги изапутаны!
А я от горя — в темны леса,
А горя прежде век зашол;
А я от горя — в поче[ст]ной пир,
А горя зашел, впереди сидит;
А я от горя — на царев кабак,
А горя встречает, уж пива тащит,
Как я наг-та стал, насмеялся он.

В. Г. Белинский сказал, что в этой «песне, отличающейся глубоким и размашистым чувством тоски и грустной иронии, Кирша является истинным поэтом русским, какой только возможен был на Руси до века Екатерины»...

И мне хочется на минуту приостановить внимание читателя на этой песне, процитированной по последнему академическому изданию «Сборника Кирши Данилова». Когда она создавалась, в народе уже давно жила повесть «О Горе-Злосчастии», которую Кирилл Данилов, несомненно, знал, потому что в песню перешла из нее без изменений строка «а в горе жить — некручинну быть» и чуть подправленные: «не бывать бражнику богатому», «что не скласти скарлату без мастера, не утешити дитяти без матери», «еще лычком горе подпоясано», «а что злое Горе наперед зашло»...

И толковые поправки, если присмотреться!! «Гулящему» — шире, во-первых, чем «бражнику». Поразительная внутренняя сложная рифма во втором случае, правда, несколько обеднела, но зато старопрофессиональное «скласти» заменено общеупотреби-

тельным «скроить» и архаичное уже для XVIII века название дорогого сукна «скарлат» заменено всем понятным «атласом». В третьем — само «горе подпоясалось» — лучше, живее, динамичнее, чем «подпоясано». И, наконец, великолепная творческая редакция последней строчки — горе не «наперед» зашло, как в повести, а «прежде век», то есть быстрее, чем глаз сморгнул...

Песня-стихотворение Кирилла Данилова — вещь чрезвычайно оригинальная, сложная и, мне кажется, недооцененная, потому что в переводах, в том числе и академическом, она кое-что потеряла. Чтобы любознательный читатель сам попытался перевести эту песню на близкое ему звучание-понимание, я точно воспроизведу ее подлинный текст, в котором вертикальная черточка означает конец строки, а буква «т» в скобках — ее надстрочное написание.

«Аигоря горе гореваньица авгоре жить некру /чинну быть нагому ходить нестыдитися аденегъ /нету передъ денгами появилась гривна передъ /злыми дни небывать плешатому кудрявому /небывать гулящему богатому нео/т/ростить /дерева суховерхова нео/т/кормить коня сухопарова // неутешити дитя безматери нескроить атласу безма /стера агоря горе гореваньица аилыкомъ горе подпо / ясалась мочалами ноги изапутаны ая о/т/ горя втемны / леса агоря прежде векъ зашолъ ая о/т/ горя впочеиои пиръ/ агоря зашолъ впереди сидитъ ая о/т/ горя нацаревъ /кабакъ агоря тсречаетъ ушъ пива тащитъ / как я нагъ таталъ насмеялся онъ».

Как видим, отсутствуют знаки препинания, в тексте предлоги и союзы написаны почти везде слитно с глаголами и существительными, нет обозначения «и» краткого, есть несогласованности в родах и даже описка, как, кстати, есть грамматическая ошибка в *академическом* тексте. К тому же мы не знаем ни интонаций, ни пауз, ни ударений, ни эмоциональных переливов при исполнении этой песни. Вступительное, спокойное в написании «а и», например, вполне могло звучать в песенном ключе как междометие «ай», тем более что этому соответствует горько-ироническое название песни «Охъ вгоре жить некручинну быть», дающее настрой.

И самое главное — что такое «горя», который «зашол», «сидит», даже «пива тащит» несчастному и смеется над ним? Вернее, кто *он* такой? Думаю, что, следуя повести о Горе-Злосчастии и смыслу стихотворения, «Горя» Кирилла Данилова следует писать с большой буквы; это такая же символическая персонификация, как, например, Жля и Карна в «Слове о полку Игореве», а по метафорической мощи я бы сравнил «Горя» Кирилла Данилова с «черным человеком» Сергея Есенина...

Исследователи отмечали, что почтовый чиновник Якубович в первом издании сборника лучше ученого Калайдовича передал аромат подлинника. Для меня стихотворение Кирилла Данилова

«Ох в горе жить — некручинну быть» приемлемо в любом написании, однако я, рискуя вызвать снисходительные улыбки ученых перелагателей, решил сам переложить на современный лад и явить на суд современного читателя текст этого изумительного произведения, стараясь по возможности сохранить букву подлинника и передать его дух.

Ай, Горя, горе-гореваньица!
А в горе жить — некручинну быть,
Нагому ходить — не стыдитися.

А и денег нету —
Перед деньгами?
Появилась гривна
Перед злыми дни:
Не бывать плешатому кудрявому,
Не бывать гулящему богатому,
Не отростить дерева суховерхова,
Не откормить коня сухопарова,
Не утешити дитя без матери,
Не скроить атласу без мастера...
А Горя! Горе-гореваньица?
Ай, лыком горе подпоясалась,
Мочалами ноги изпутаны!

А я от горя — в темные леса,
А Горя прежде век зашел.
А я от горя — в почестной пир,
А Горя зашел,
Впереди сидит.
А я от горя — на царев кабак,
А Горя встречает,
Уж пива тащит!

Как я наг-та стал,
Насмеялся он!

«Народная поэзия вырастает из песней Кирши Данилова и Пушкина»,— заметил однажды Герцен. Сборник Кирилла Данилова высочайше оценивали Тургенев, Чайковский, Римский-Корсаков, Лев Толстой, Горький, его особое место в русской народной литературе подчеркивалось в десятках научных работ, о нем давно знают славяне всех стран, французы, немцы, американцы, японцы...

А судьба рукописи? Драгоценный оригинал сборника куда-то делся после выхода второго печатного издания. Пытались искать в архивах Н. П. Румянцева, основателя самого большого книжного собрания России, по листочку перебирали сохранившиеся бумаги всех членов его кружка — безуспешно! А ведь рукопись, являющая собой огромную национальную ценность, содержала еще неопубликованные тексты. И если б еще раз не Его Величество Счастливый Случай! В самом конце XIX века совершен-

но случайно рукопись сборника Кирилла Данилова нашлась в библиотеке князя М. Р. Долгорукова среди бумаг, некогда принадлежавших Малиновскому, тому самому А. Ф. Малиновскому, что за сто лет до этого готовил первое издание «Слова о полку Игореве». В 1901 году вышло, наконец, первое полное научное издание сборника, только жаль, что за Кириллом Даниловым в достаточно демократичной по тем временам научной печати так и осталась уничижительная полукличка «Кирша», которой, кстати, сам поэт себя не называл...

Оригинал сборника Кирилла Данилова, переменивший столько владельцев, переживший небытие, войны и революции, хранится ныне вполне надежно, и мы, кажется, можем быть вполне спокойны за дальнейшую судьбу этого великого литературного памятника нашего народа, гарантирующую от попыток опорочить его спекулятивными сомнениями и подозрениями, что уже не раз, кстати, делалось (Цертелев, Сахаров, Стендер-Петерсен), как делалось это и делается на наших глазах с письмами Ивана Грозного, «Тихим Доном» и самим «Словом о полку Игореве». Те, кто *это* делает, хорошо знают, *что* делают...

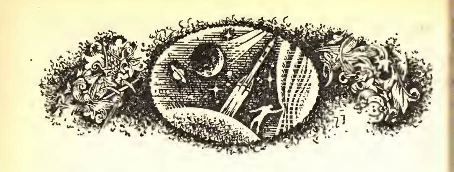
Мы же поклонимся издалека замечательному русскому поэту Кириллу Данилову за его деяние и его дар! Как у каждого большого поэта, у Кирилла Данилова есть необыкновенно «грузоподъемные» строки, смысл которых не локализуется темой, а обогащен поэтической символикой и многооттеночностью, издревле присущей русскому слову и русской литературе. Два его стихотворения — о горе и похмельном молодце — несут в себе простирающийся ассоциативный смысл, как и отдельные их строчки.

Замените мою смерть животом своим...

Так обращались в XVIII веке смертельно раненные в бою русские солдаты к своим сотоварищам, и так очень большой русский поэт того же века сквозь усмешливую горечь текстологической конкретности словно бы обращается в будущее, к нам с вами, дорогой мой вдумчивый читатель.

Еще не в кое время пригожусь я вам всем!

Не боюсь упреков в слишком расширительном и очень личном толковании этих всего лишь *двух* строк, потому что здесь-то уж, правда, мы имеем дело с *истинно* русской поэзией, которую каждый вправе воспринимать по-своему, а посему, «братцы-товарищи-друзья», еще раз поклонимся замечательному русскому поэту Кириллу Данилову за то, что он жил на общей нашей с вами земле и «не в кое время» пригодился всем нам и пригодится потомкам нашим...



27

Мимо одного заветного святого места в Калуге невозможно пройти или проехать, и к нему, в своем роде единственному на всей планете, идут и едут люди за тысячи верст, чтобы прикоснуться к истинно великому, и, должно быть, немалое число паломников задумываются иад тем, почему именно здесь, в этом скромном домишке над Окой, родились необыкновенные мечты и мысли, ныне материализованные, открывшие новую эру в освоении космоса. Миожество его современников работали в университетах, исследовательских центрах, лабораториях разных стран и, не зная нужды, жили в нормальных человеческих условиях, отдавая свои талаиты иауке, а обитатель этого маленького деревянного жилища, проживший в нем более сорока лет, издавал свои труды за собственный счет и, обремененный большой семьей, двадцать лет зарабатывая на жизнь тяжелой подеищиной преподавателя местного училища, подчас не имея деиег, чтобы купить дров или керосина. Кому под силу отгадать — почему не в Лондоие или Пулкове, не в Париже или, скажем, Геттингене, а в этом провинциальном русском городе явились миру великие идеи, почему в эпоху фундаментальных научных открытий родились они не в умах академиков или профессоров, знамеиитых естествоиспытателей или теоретиков, а возникли в голове скромного учителя математики?

В распоряжении многих деятелей тогдашней науки и техники были штаты сотрудников, труды предшественников, группы единомышленников, обширные библиотеки, сочувствующая научная и массовая пресса, а этот больной человек был одинок, как перст, располагал лишь скромными калужскими книжными фондами да примитивной мастерской, где все было сделано его собственными руками, в том числе, иапример, первая в России аэродинамическая труба. И сверх всего — новаторский поиск бедного и глухого калужского мыслителя десятилетиями наталкивался на непонимание, безразличие и насмешки... Кто ответит, почему высшие прозрения этого ума, гипотезы, проекты и расчеты явились

миру ие из страиы с высоким по тем времеиам уровнем иаучиого и техннческого развнтия, а из России, отстававшей по миожеству прнчни н миожеству показателей от иачавшегося XX века с его бешеиым промышлеииым иатиском...

Кабниет Циолковского. Простой стул с гиутой спиикой, мягкое кресло, шнрокий стол, письмеиные принадлежиости в стакаичике, подзориая труба иа треиоге, барометр иа стеие, керосииовые — внсячая н иастольиая — лампы, Брокгауз и Ефрои в книжиом шкафу, рукописи. Небольшая столовая с зеркалом, иастеииымн часами, швейиой машиикой, обедеииым прибором хозяииа. На фаяисовой кружке фабричиая иадпись: «Бедность учитъ, а счастье портитъ». Крутая деревяиная лестиица ведет из вераиды через дверцу на крышу, с которой Цнолковский иочами рассматривал звездное иебо. Космоиавт Алексей Леоиов иазвал этот проход иа крышу «дверью в космос»...

Рассматриваю обложкн брошюр и кииг, издаиных хозяииом этого дома в разиые времена, в том чнсле и в те уже далекие годы, когда русские слова писались с ятями и ерамн: «Исследование мнровых простраиств реактивиыми прнборами», «Грезы о земле и иебе», «Космическне ракетиые поезда», «Теория н опыт аэростата», «Кииетическая теория света», «Причииа космоса», «Вие Земли», «Дирижаблн», «Защнта аэроиата», «Звездоплаватели», «Вопросы воздухоплаваиня», «Реактивиый аэроплан», «Образоваиие Землн н солиечиых систем», «Воздушный траиспорт», «Воля Вселеиной», «Будущее Земли и человечества»...

Верио, Цнолковский опередил свой век, но еслн быть точиым, то это справедливо лншь для первой половнны XX века — события второй его половниы превзошли предсказання ученого, который считал, что человек выйдет в космос ие ранее XXI века. И вот сегодия, когда у текущего века есть еще некоторый запас, люди могут итожить опережеиие: человек вышел в космос, побывал на Луне, месяцами живет в безвоздушиом простраистве, в невесомостн, научиые аппараты землян затеяли иескоичаемый хоровод вокруг их родиой плаиеты, достиглн Марса, Веиеры, Юпитера, пределов Солнечиой системы и уже покидают их, обреченные на вечиое скитаиие по бескоиечиым простраиствам Вселеиной илн на мгиовеииое исчезиовение прн столкиовеиии с каким-инбудь природиым звездиым скнтальцем... В космосе грядут новые продвнжеиня, ио в памяти Землн людей иавсегда остается деиь запуска первого искусствеииого спутинка, первого полета человека, первого его выхода в открытое космическое простраиство, н как ие гордиться тем, что нмеиио иаша страна стала космической площадкой человечества н первыми людьми, побывавшнмн в космосе, были обыкиовеиные русские парии!

Мие посчастливилось узнать многих из них, в том, числе и тех, кого уже иет среди иас. С Владимиром Комаровым, погибшим высоко иад

Землей, в полете, мы были вместе в Японии. Помню, когда плыли от родных берегов до Иокогамы, то попали в девятибалльный шторм, и вся делегация лежала влежку от морской болезни. Володя Комаров, обладавший идеальным, как все космонавты, вестибулярным аппаратом, ходил из каюты в каюту, с серьезным видом рекомендуя смешные способы лечения. Помню его деловые, обстоятельные выступления перед японской молодежью, естественную, без малейшей позы, манеру держаться, невозмутимо спокойную, располагающую к раздумью.

В Токио он однажды разбудил меня в три часа ночи, сказав, что нечего дрыхнуть — на родине вчерашний день в разгаре, что надо использовать отпущенное нам время с максимальной пользой и что меня, как любителя природы, ждет сюрприз. В машине уже сидела сонная переводчица-японка. Водитель лихо гнал через притихший сумеречный город, так крутил руль, что шины визжали на поворотах, узил в зеркальце и без того узкие глаза, явно наслаждаясь отсутствием полицейских и пробок. А он, этот Токио, в каком направлении ни возьми,— стокилометровый. Успели, и я на всю жизнь благодарен Володе Комарову за то, что он подарил мне редкое, незабываемое, единственное за всю жизнь впечатление — японский рыбный базар. Сюда бы живописцев с масляными красками или в крайнем случае кинооператоров с цветной пленкой! Огромные тунцы и крохотные креветки, морские водоросли, ежи, крабы, кальмары, черепахи, но больше всего расхожей морской снеди — сельди, лосося, иваси, окуня и рыб совершенно нам неизвестных пород — плоских, змеевидных, бочкообразных, серебристых, синих, желтых, черных, полосатых, крапчатых, блестящих и матовых, игольчатых, пупырчатых и гладких... Володя Комаров, помнится, сказал, что такой планеты, как Земля, нет во Вселенной, и одно это обязывает нас беречь ее пуще глаза... Он экономил время и вскоре, не дождавшись конца поездки, улетел через Северный полюс на Родину, по делам, навстречу смерти. Помню его прощальное крепкое рукопожатие и его прощальный взгляд — глубокий и добрый, как на всех известных его фотографиях.

Вологжанин Павел Беляев выделялся среди первых космонавтов — как бы это сказать? — своей незаметностью, что ли, несловоохотливостью, умением держаться подальше от света юпитеров и фотовспышек. Но это был покоритель космоса особого склада. Два полузабытых ныне факта биографии Павла Беляева отличали его от коллег, наших и американских.

Неподалеку от аэродрома, уже после его смерти, показали мне место, где некогда стоял злополучный сарайчик, в шутку названный летчиками «сарайчиком имени Павла Беляева». Дело в том, что однажды, во время парашютной подготовки первого космического отряда, Павла Беляева снесло сильным ветром, и он, рухнув на крышу этого сарайчика, сломал ногу. Медицинская комиссия убеждала его оставить мечту о космосе, но Павел думал иначе. Он упорно лечился, фанатично тренировался и все-та-

ки полетел! Такого не бывало до сего дня в начавшейся истории космонавтики. И полетел он тогда с ответственнейшим заданием — командиром корабля, чтобы обеспечить первый выход человека в открытый космос.

В том рейсе мой земляк, кемеровчанин Алексей Леонов благополучно вышел из корабля и вернулся в него, но что-то приключилось с техникой при возвращении на Землю — не сработала автоматика приземления. Один Паша Беляев знал, чего ему стоили последующие несколько минут, когда он заменил собой все эти сложнейшие системы электронных машин и на ручном управлении посадил корабль в пермскую тайгу. Такого пока никто не осуществил, кроме него. А злой рок будто преследовал Павла Беляева. Заболев обыкновенной земной болезнью — язвой двенадцатиперстки, которую медики часто связывают с нервными перегрузками, он в процессе операции скончался от перитонита. «Судьба»,— проговорил, помню, Николай Петрович Каманин, когда мы стояли на Новодевичьем меж свежей могилой космонавта и огромным памятником, воздвигнутым на месте захоронения останков экипажа и пассажиров самолета «Максим Горький», судьба которого оказалась такой недолгой и горькой.

Юрий Гагарин! В этом простом смоленском пареньке словно отразилась мужественная красота русского человека и открытая душа нашего народа. И он у всех нас перед глазами, живой. Одним врезалась в память его поступь, когда он после полета торжественно шел по ковровой дорожке, расстеленной на брусчатке Красной площади, а вокруг всеобщее ликованье, музыка, песни, портреты и плакаты, из которых мне особенно запомнились три шутливых — студенты-медики несли куски марли, на которых раствором йода было написано: «Могем!!!», «Юра, ты молоток!» и «Все там будем». У многих в глазах — его снимок с голубем. Третьи, вспоминая о нем, видят кинокадры, когда он катится на дочкином велосипеде вокруг клумбы, растопырив колени и весело смеясь. Эта его ослепительная улыбка! С фотографий, телеэкранов и перед миллионными аудиториями в своих перегрузочных поездках по миру он улыбался всем землянам от лица нашего народа, и земляне приняли его лучезарную улыбку, как надежду.

Снжу, перечитываю выписки из иностранных газет, из писем и телеграмм, присланных ему со всех концов земли. Вот одно из них, письмо испанца, подписанное инициалами: «Я вынужден был проехать 300 километров и направиться в соседнюю Францию, чтобы получить возможность отправить тебе это письмо от имени коммунистов Испании... Я уверен, товарищ Юрий, что если бы все испанские рабочие имели такую возможность, то ты получил бы 10 000 000 писем, так как и ремесленники, и студенты, и простые, и квалифицированные рабочие — все, кто живет на мизерное жалование, направили бы тебе свои поздравления, исходящие от всего сердца»

Поздравлений на разных языках — несметное число, как и подарков, подчас совершенно неожиданных. Вот для примера три подарка из ФРГ

Шестидесятилетний изобретатель Генрих Кремер предложил новый способ изготовления строительных плит, получил патент и послал его Юре в подарок с разрешением «использовать его на благо Советского Союза и всего человечества». Майор ВВС в отставке Фридрих Либер прислал фамильную реликвию — гравюру из меди, выполненную пятьсот лет назад, в 1466 году, с просьбой: «Способствуйте, пожалуйста, взаимопониманию между нашими народами!» Если неизвестно, бомбил ли этот человек Гжатск или Киев, то третий, совсем уж необычный подарок, связанный именно с войной, принес в наше посольство в Бонне 13 апреля 1961 года, то есть на следующий день после полета Гагарина, бывший обер-лейтенант СС Фридрих Шмидт. К небольшому свертку была приложена записка, адресованная космонавту. В ней бывший эсэсовец сообщал, что в конце 1941 года он на одной из киевских фабрик захватил красное знамя и берег его, как трофей, но «сегодня второй раз капитулирует» и в знак этого возвращает флаг...

Не капитулировала в тот звездный час человечества только продажная пресса некоторых стран. Сколько преднамеренной лжи, гнусных полуидиотских выдумок было напечатано тогда; заграничные газетные подшивки сохраняют для истории эти свидетельства современного обскурантизма, интеллектуального невежества и нравственной низости. Директор английской обсерватории «Джордж Джофрелл-Бэнк» Бернард Ловелл заявил корреспонденту газеты «Дейли мейл»: «Это сообщение является чистейшим вздором. Люди, ответственные за него, дважды обращались ко мне и дважды получали отрицательный ответ». Нечто подобное было и в 1957 году, после запуска первого советского искусственного спутника Земли, хотя буржуазные газеты сквозь зубы признавали значение этого факта. Одна из них писала: «Медведь сделал собственными лапами тончайшие часы». Джон Форстер Даллес пригласил в государственный департамент американского газетного магната Херста и спросил: «Билл, почему твои газеты подняли такой шум вокруг этого куска железа в небе?» Херст ответил: «Этот кусок железа изменил жизнь людей мира на многие века вперед». А после полета Юрия Гагарина «Нью-Йорк таймс» писала: «Мы проигрываем в битве за направление человеческих умов».

Мои встречи и беседы с Юрием Гагариным не тускнеют в памяти, а словно просветляются с годами. 1967 год. Вручение премий Ленинского комсомола, только что учрежденных. Он передал первый лауреатский диплом вдове Николая Островского, чья бессмертная книга «Как закалялась сталь» стала духовным катехизисом нескольких поколений нашей молодежи. Потом вручали премию мне за сибирские повести, и до сего дня ощущаю ладонью поздравительное рукопожатие Юрия Гагарина и вижу его глаза. В тот день стали лауреатами композитор А. Пахмутова, грузинский писатель Н. Думбадзе, литовский кинорежиссер

В. Жалакявичус, и была праздничная вечерняя встреча. Начали танцевать популярную тогда летку-енку, и Юра в своей ладно пригнанной форме повел змейку танцующих по залу, высоко подбрасывая ноги и заражая всех весельем. Темп ускорился, с ним многие не справлялись, и цепочка изнемогавших танцующих начала рваться и распадаться, но Юра выдержал до конца, до последнего такта.

И еще. Кедроградцы прислали мне по случаю премии подарок — два больших мешка спелых кедровых шишек свежего урожая. Помню, я их поставил на сцену и пригласил гостей взять по сибирскому сувениру. Юрий, лукаво озираясь, набил шишками карманы и взялся расспрашивать меня, как прорастить орешки, чтобы по весне посадить в Звездном городке кедровую рощицу

Что-то у него не получилось с проращиванием. А я еще вспоминаю, как мы плыли в Комсомольск-на-Амуре, на праздник вручения городу в день его 35-летия ордена Ленина. Юрия на пароходе с нами не было. Мы слишком долго шлепали по Амуру, а для него дальневосточные летчики сэкономили время, подбросили вертолетом, и вот он нагнал нас недалеко от города.

Тяжелые, трагичные картины разворачивались тем знойным летом по обоим берегам Амура — горела тайга. Далекие смоляные кедрачи затянуло густыми дымами, в которых временами вспыхивали огромные огненные факелы. Пропадало народное добро, взращенное веками,— орехоносные кедровые леса. Юрий был молчалив, необычно неулыбчив. «Мы тут плывем, а они там горят»,— только и сказал.

Кстати, не все, наверное, помнят, а молодые и вовсе не знают, что вскоре после этого знаменитого «Поехали!» первый человек Земли, вырвавшийся в космос, подал оттуда свои позывные: «Я — «Кедр»! Я — «Кедр»! «Заря», как слышите меня! Я — «Кедр»! Прием». Уже после его смерти мои земляки-лесники созвонились с Москвой, привезли в Звездный живой груз — шестьдесят десятилетних сибирских кедров, и мы с группой космонавтов посадили их в Звездном городке по берегу пруда, где любил гулять с дочками Юрий Гагарин. Подымается, набирает сейчас силу эта молодая рощица...

Прежде людей оторвалась от Земли и вышла в космос их мысль, отразившись и в великой русской литературе. Мечта о свободном полете над землей пришла из нашего языческого далека в виде сказок о ковре-самолете, у которого в отличие от греческого Икара, не было крыльев, однако он мог мгновенно переноситься неведомой силой туда, куда пожелает прихотливая человеческая фантазия. На заре письменной нашей литературы и философии Кирилл Туровский, вглядываясь в темное звездное и бездонное полуденное небо, написал: «неизмернаа небесная высота». Образная символика «Слова о полку Игореве» связывает солнце и месяц с земными судьбами героев, а летописцы по-

стоянно обращали взоры на небо, пытаясь заметить в небесных явлениях исторические знамения...

Миновали времена раннего средневековья, в которые грамотные наши предки познакомились с «Космографией» Козьмы Индикоплова и «Шестодневом» Иоанна экзарха Болгарского, а в середине XVII века ученый муж Епифаний Славинецкий, работавший в московском Крутицком подворье, впервые познакомил русского читателя с гелиоцентрической системой Николая Коперника. Коперникаицев он считал «изящнейшими математиками», которые «солнце аки душу мира и управителя вселенныя... полагают по среде мира». А начало нового времени соединило естественнонаучные и поэтические представления о небе в творческом гении Михаила Ломоносова. Вспомним его знаменитые строчки из «духовных од»:

Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.

В этой оде автор вопрошает:

Господи, кто обитает
В светлом доме выше звезд?
Кто с тобою населяет
Верьх священный горних мест?

И вот в знаменитом своем «Утреннем размышлении о Божием величестве» Михаил Ломоносов мысленно заглядывает туда, в «горние» места,— в стихию Вселенной:

Когда бы смертным толь высоко
Возможно было возлететь,
Чтоб к солнцу бренно наше око
Могло, приближившись, воззреть,
Тогда б со всех открылся стран
Горящий вечно Океан.
Там огненны валы стремятся
И не находят берегов;
Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков;
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят...

Пушкин считал «духовные оды» Ломоносова его лучшими произведениями, «которые останутся вечными памятниками русской словесности, по ним долго еще должны мы будем изучаться стихотворному языку нашему». Можно добавить, что «духовные оды» Ломоносова и *тематически* занимают особое место в истории русской словесности — они полнятся поэтическим чувством космоса, отличаются материалистическим вйдением его; это был мощный корень, на котором позже вырастет многоствольное

литературное и научное древо с вершинами и листочками, что также потянутся в горние выси Вселенной... Обращаясь к пытливым юношам, М. В. Ломоносов советует:

Пройдите Землю, и пучину,
И степи, и глубокий лес,
И нутр Рифейский, и вершину,
И саму высоту небес.
Везде исследуйте всечасно,
Что есть велико и прекрасно...

В конце века Ломоносова, XVIII, явился миру один довольно не рядовой русский человек. Сержант Семеновского полка Василий Каразин, пренебрегая казарменным духом и муштрой, воцарившимися в армии при Павле I, запоем читал западных философских вольнодумцев, упорно изучал точные науки, языки. Заграница привиделась ему в обольстительных красках, и вот он, снедаемый жаждой общественной и научной деятельности, условий для коих не видел в России, надумал бежать с родины, однако был пойман на границе. Из тюрьмы откровенно и дерзко написал царю: «Я желал укрыться от Твоего правления, страшась твоей жестокости. Свободный образ мысли и страсть к науке были единственной моей виной»... Пораженный тоном и смыслом письма, Павел помиловал ее автора, определил на государственную службу.

А сразу же после воцарения Александра I Василий Каразин подает ему проект политического и экономического переустройства России, становится корреспондентом и советчиком либеральствующего императора, получает высокий чиновничий пост и, беспокоя всех и вся, погружается в общественную деятельность. По его предложению создается министерство просвещения и открывается Харьковский университет, перед фасадом которого стоит сейчас скульптурный памятник В. Н. Каразину. Этот неугомонный человек занимается народными школами, женским образованием, статистикой, государственными архивами, досаждает всем, в том числе и царю, своими записками и проектами, обличает казнокрадство и крепостничество, негодует, требует, доказывает, наживает врагов, и в связи с этим — ранняя отставка, деревня на Украине, но это только словно бы поощряет его беспокойный ум и деятельный характер. Он защищает в послании к царю взбунтовавшихся солдат Семеновского полка, бичует самого Аракчеева, осуждает пасторальные мотивы в стихотворчестве самых известных поэтов того времени, требуя дела, то есть призывая их обратиться к подлинной жизни России и ее проблемам...

Ничто его не могло «усмирить», даже многократные аресты с шестимесячной отсидкой в Шлиссельбургской крепости, высылки под надзор полиции, запреты на столичное проживание. У него была святая цель — благо общественное, развитие образования и науки в России. Он в разные годы был близко знаком, а часто и дружен с Г. Державиным, А. Радищевым, В. Жу-

ковским, Н. Карамзиным, М. Сперанским, Ф. Глинкой и другими знаменитыми соотечественниками. А. И. Герцен писал в «Колоколе»: «Неутомимая деятельность Каразина и глубокое, научное образование его были поразительны: он был астроном и химик, агроном, статистик... живой человек, вносивший во всякий вопрос совершенно новый взгляд и совершенно верное требование».

Он был также изобретателем. Из технических и научных новинок, разработанных Василием Каразиным, стоит упомянуть «паровую» лодку, толкаемую реактивным движителем, паровое отопление, сухую перегонку древесины, водоупорный цемент. Вывел он также *двадцать* новых сортов овса и пшеницы, экспериментировал с «электрической машиной»; однако стержневой поток его научных мыслей был направлен в атмосферу, парил над Землей. Василий Назарович Каразин первым в мире — за двадцать лет до Леверрье — предложил создать обширную систему наблюдательных станций, связанных с государственным метеорологическим комитетом, который давал бы прогнозы погоды, в том числе и долгосрочные. Главный его проект «О приложении *електрической* силы верхних слоев атмосферы к потребностям человека» станет своего рода набухшей почкой, из которой в истории русской мысли явятся два зеленых листка знаний — философский и естественнонаучный, связанные с двумя малоизвестными именами оригинальных ученых, о коих речь впереди. Первый листочек покажется примерно через пятьдесят лет, второй — через сто, и мы можем сегодня счесть поразительным пророчеством запись в «Дневнике» поэта-декабриста Вильгельма Кюхельбекера о том, что «технологические статьи Каразина, все до одной, очень занимательны», а его гипотезы «оправдаются лет через сто, пятьдесят или ближе»...

А «космическую» эстафету в поэзии принял от Михаила Ломоносова, как это ни покажется удивительным, Владимир Соколовский, «неизвестный» русский поэт, что в начале 30-х годов XIX века привез с родины свою поэму «Мироздание». На древе поэтического познания космоса эта веточка видится и в соседстве с другими и как бы на отлете, потому что она очень уж своеобразна и совершенно не изучена историками литературы...

Поэма Владимира Соколовского «Мироздание», как мы знаем, была напечатана в Москве в 1832 году, заслужила щедрые похвалы,— это был первый опыт автора в духовной поэзии. Ранее говорилось, что критики до наших дней числят Владимира Соколовского прежде всего поэтом библейской тематики, не замечая острой сатиры в «Рассказах сибиряка» и вольнолюбивых мотивов в его поздних крупных драмах и поэмах, всячески подчеркивая их велеречивость, многословность и однообразие. Верно, они таковы, и существование их в русской литературе оправдывается разве лишь своеобразным поэтическим почерком автора и неискренностью его религиозного чувства, искусно замаскированного пафосными излияниями,— в поэмах Соколовский довольно свободно обращался с биб-

лейскими сюжетами, а в стихах и особенно песнях выступал иногда как отпетый богохульник. Его духовная поэзия характерна неясным и неопределенным стремлением к внеземному идеалу жизни, абстрактному вселенскому счастью.

В духовной поэзии Соколовского, однако, присутствует и совсем земное, политически заостренное. Его поэма «Разрушение Вавилона», так же как «Валтасар» А. Полежаева, «Ода на разрушение Вавилона» А. Мерзлякова и «Падение Вавилона» В. Григорьева, несет в себе прозрачную поэтическую символику неизбежного разрушения «града грехов», деспотического самовластья. Прислушаемся к его «Голосу свыше», звучащему в поэме как набат:

Сбирайте земных вы!.. Я в небе восстану!..
Я сам поведу их! Я в ночи и в дни
Толпой освященных командовать стану
Сбирайте!.. Я ныне торжественным звоном
Сзываю в свой гнев, непреложный и правый,
Могучих и сильных в пылу боевом
И гордых моею верховною славой.

Из «Хевери»:

Возвысится униженный народ
И, получа свободы сладкий плод,
Он сбросит в прах томительное бремя
Былых скорбей и, обновясь на вид,
С веселием судьбу благословит!..

И есть в той же духовной поэзии Соколовского фрагменты, по масштабу мышления и образности как бы воссоздающие общую картину мироздания — с помощью поэтического воображения автор вдруг обращается к предметному миру сотворенной земли, напоминающему конкретику духовных од Ломоносова. На «третий день творения»:

Стихии скрепли; шар земли
Взвился, как облако густое,
И с ним под небо голубое,
Как вихри, воды потекли.
. . . .
Там полны блеска и прохлады,
Со скал низверглись водопады;
Там будто нитью серебра
Или алмазною тесьмою,
С неизъяснимой красотою
Ключом украсилась гора,
Там быстро реки молодые
В заклепах горных потекли,
Как ленты светло-голубые
По крепу темному земли.

А вот космическая «довременность» — поразительные строфы, созданные юным поэтом-сибиряком:

Пучина страшная темнела;
Но в ней, под ризой вечной мглы,
Не море под грозой кипело,
Вздымая черные валы;
Там не туманы над водами
Вились безмерными клубами,
И не сгущенный чадный дым
Стоял страшилищем седым;
Не вихри злобно там стонали;
Не духи, падшие в грехах,
В богохулительных словах
На неизбежный суд роптали,
Не беспредельное ничто
Там распростерлося уныло,—
Там света и миров могила,
Туда минувшее слитó!
Там смутно к непонятной цели
Стихий, атóмов, сил, начал
Потоки бурные кипели;
Незримый пламень там пылал,
И в нем над ризою печали
Зачатки чудно созревали;
Не смерть носилась в бездне той,
В предвечной мгле захладевая,
Но лишь безжизненность немая
Под склепом тайны роковой;
В ней все грядущее творенье
Из прежних остовов слилось.
Так, полн символа обновленья
Клубился сумрачный хаос

Сколько ни читаю эти строки, меня не покидает ощущение, что Владимир Соколовский изобразил коллапс Вселенной, «черную дыру», о которой астрофизики заговорили спустя полтора столетия!

Отметим, что свободолюбивые мотивы, улавливаемые в «религиозной» поэзии Владимира Соколовского, тонут в рифмованном многословии так же, как почти теряются в нем удивительные космогонические прозренья двадцатилетнего поэта Сохранилась его красноярская дневниковая запись о начале работы над «Мирозданием», над «лирико-драматическим» произведением о первых шести днях творения мира. Кажется, он пытался образно осмыслить в естественной картине мира даже пространство и время, приписывая творцу, превращающему «безмерность пустоты» в «роскошь наслажденья», следующие слова

Здесь все сливается в одно,
И без конца, и без предела,
Но есть пространство — там давно
В Моем сознанье жизнь кипела

Здесь неизменность есть закон —
Там все собою изменяло
Теченье бурное времен:
Там есть конец, где есть начало!
В неизмеримой бездне той
Бесчисленных столетий звенья
Над дивиою громадой тленья
Текли завещанной чредой.
Своими мощными словами
Из хладной тьмы небытия.
Рождал и жизнь, и радость Я,
И наполнял ее мирами;
Но время быстрое неслось,
Мгновеньями века летели,
Свершая путь, миры дряхлели
И вновь сливалися в хаос.

Мы прощаемся с Владимиром Соколовским в иадежде, что этот «неизвестный русский поэт» станет отныне более известным — читательская память убережет его имя, стнхи и прозу от бесхозяйственного полузабвенья. Конечно, он не был «великим», «большим», «выдающимся» или «крупным» художником, но все же сумел по-своему сказать то, чего никто не сказал ни до него, ни после, и лнтературоведческая наука должна внести в траднционные неглубокие оценки его творчества соответствующие поправки.

Хотелось бы напомнить к месту слова известного в свое время квалифнцированного и иелицеприятного русского литературоведа Семена Афанасьевича Венгерова: «Я счнтаю совершенно ненаучным изучать литературу только в ее крупных представителях. Что бы вы сказали о зоологе и биологе, который законы жизни будет изучать только на слонах, тиграх, львах и медведях, пренебрегая зайцами и кроликами? Что бы вы сказали о ботанике, который будет устанавливать морфологию и физиологию растений из наблюдений над дубом и кедром и сочтет себя вправе пренебрегать кустарииковыми и другими низшимн растениями? Литература есть тоже явление вполне органическое, где нет случайностей, где есть свои законы литературной биологии, одинаково яркие как в крупных особях лнтературного царства, так и в малых. Совершенно неправильно думать, что именно большие люди всегда прокладывают «новые пути». Ничего они не прокладывают, и только блеском своего дарованя освещают тропы, проторенные для них. Они только углубляют то, что вырабатывает коллективиая мысль века, а коллективная мысль вовсе не нуждается в великих выразителях...

Нет одиноких вершин на равнние — всякая характерная эпоха есть сплошной горный кряж, одного происхождения и одного и того же свойства. А для изучения свойства даиной горной породы столько же характерны мелкие отроги, как и венчающие кряж вершины. Бывает даже так, что мелкий писатель, все равно как в бнологии неизвестный маленький лаицетник, сплошь да рядом ярче характеризует ту или другую эпоху, чем писатель крупный».

Вспомним попутно и знаменитое лермонтовское «Выхожу один я на дорогу» и поразительные его строки в этом стихотворении:

В небесах торжественно и чудно
Спит земля в сиянье голубом...

Как он узнал, что Земля *оттуда* видится в голубом сиянье?

В русской литературе XIX века чисто поэтическое воображение, переносящее нас во внеземные просторы, сплеталось временами с воображением научно-фантастическим. Первым у нас написал о возможности околоземных путешествий человек, с которым мы не раз встретимся на боковых тропках нашего путешествия в прошлое,— о нем всегда можно сказать что-то интересное и свежее. По происхождению он принадлежал к роду Рюрика и был последним прямым потомком Михаила черниговского, убиенного в Орде в 1246 году. Друг Грибоедова и Кюхельбекера, Пушкина, Гоголя и Вяземского, композитора Глинки, историка Погодина, философ, талантливый писатель, изобретатель, выдающийся музыковед, общественный деятель и педагог, Владимир Одоевский всю жизнь был поборником справедливости и правды. Писал на склоне лет: «Ложь в искусстве, ложь в науке и ложь в жизни были всегда и моими врагами, и моими мучителями: всюду я преследовал их и всюду они меня преследовали»...

В 1844 году вышло трехтомное, полностью не повторенное, кстати, до сих пор, собрание сочинений Владимира Одоевского.

Для нашей темы важна его научно-фантастическая «Косморама» и неоконченный утопический роман в письмах «4338-й год», где рассказывается, в частности, о воздушных путешествиях, об аэронавтике как главном средстве передвижения русских сорок четвертого века. Вспомним также, что декабрист-крестьянин Павел Дунцов-Выгодовский писал в 1848 году из нарымской ссылки о своей вере в силу научных знаний, после полного овладения которыми «прямо штурмуй небо». В том же 1848 году «Московские губернские ведомости» напечатали хроникальную заметку, которая сегодня воспринимается как невероятный курьез: «...мещанина Никифорова за крамольные речи о полете на Луну сослать в поселение Байконур».

И снова подстраивается в наш ряд избирательных воспоминаний мысль поэтическая, но отнюдь не мечтательная, фантастическая или утопическая, а скорее пророческая, предсказующая близкую реальность.

Воспитанник того самого 1-го Кадетского корпуса, из которого вышли поэт Владимир Соколовский, декабрист Николай Мозгалевский и многие его товарищи, Федор Глинка участвовал в битве при Аустерлице, в Отечественной войне 1812 года, был активным членом Союза благоденствия. Это на его квартире состоялось в 1820 году заседание Коренной управы будущих декабристов, на которой с главным сообщением выступил Павел Пестель и было принято единогласное решение о борьбе за рес-

публиканское правление в России. Пушкин, близко знавший Федора Глинку, называл его «великодушным гражданином». После событий 1825 года Глинка был на три месяца заточен в Петропавловскую крепость, потом сослан в Олонецкую губернию. Прожил он девяносто четыре года, пережив не только почти всех декабристов, но и многих шестидесятников, и был забыт еще при жизни. «Братцы, я еще жив!» — такую телеграмму прислал он незадолго до смерти в газету, напечатавшую о нем заметку, как о *покойном* русском поэте.

Да, он был воином, декабристом, общественным деятелем, публицистом, но прежде всего поэтом, и поэтом замечательным! Приведу хотя бы несколько его поэтических строк времени Отечественной войны 1812 года. Они появились в тяжкий для России час — Наполеон подходил к Смоленску. Вслушайтесь в рокочущие громы военной грозы — по звукописи эти строки являют собой истинную жемчужину русской поэзии:

Раздался звук трубы военной,
Гремит сквозь бурю бранный гром,
Народ, развратом воспоенный,
Грозит нам рабством и ярмом.

В последующих строфах — патриотический призыв поэта, от которого в наш язык и наши понятия вошло навсегда знаменитое выражение «России верные сыны».

Теперь ли нам дремать в покое,
России верные сыны?!
Пойдем, сомкнемся в ратном строе,
Друзьям, отечеству, народу
Отыщем славу и свободу.

Федор Глинка был похоронен в Твери в 1880 году с воинскими почестями — он имел звание полковника и золотое оружие за храбрость, проявленную в сражениях Отечественной войны 1812 года.

Литературное его наследие довольно обширно. Писал он так же, как и Владимир Соколовский, «духовные» морализаторско-нравоучительные стихи, интересные во многих отношениях, но рассмотрение их не входит в нашу задачу.

А вот еще одно интереснейшее стихотворение Федора Глинки.

Помните, как Пушкин, страдая от неустроенных российских дорог, писал, что «по расчисленью философических таблиц» лет через пятьсот дороги наши «изменятся безмерно»? В частности, «шоссе Россию здесь и тут соединив, пересекут...». Но еще при жизни его открылась первая наша крохотная железная дорога в Царское Село. Пушкин, очевидно, не узрев в этой новинке предмета поэзии, ничего не написал о ней, а спустя два десятилетия Федор Глинка проехал уже по железнодорожной магистрали Петербург — Москва и сочинил в вагоне стихотворение «Две дороги», которому, должно быть, не придал серьезного значения, пото-

му как снабдил подзаголовком в скобках — «Куплеты, сложенные от скуки в дороге». Вначале поэт описывает, как гремит по железной дороге поезд во главе с паровозом — техническим чудом нового времени, а соседняя шоссейная дорога «поет про рок свой слезный»:

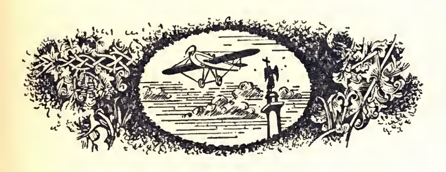
«Что ж это сделал человек?!
Он весь поехал по железной,
А мне грозит железный век!..»

Однако поэт «утешает» шоссе, завершая стихотворение поразительным пророчеством:

Но рок дойдет и до чугунки:
Смельчак взовьется выше гор
И на две брошенные струнки
С презреньем бросит гордый взор.

И станет человек воздушный
(Плывя в воздушной полосе)
Смеяться и чугунке душной
И каменистому шоссе.
Так примиритесь же, дороги,—
Одна судьба обеих ждет.
А люди! — Люди станут боги,
Или их громом пришибет.

Удивительна судьба стихотворения Федора Глинки «Две дороги»! Оно пролежало в бумагах поэта почти сто лет и было впервые напечатано лишь в 1949 году в Петрозаводске, там, где когда-то поэт-декабрист отбывал ссылку...



28

А как развивалась на дороге в космос мысль техническая, научная? Идея ракетоплавания, откуда она?

Жюльверновская пушка, как показывали элементарные расче-

ты, не могла освободнть человека от снл земного прнтяжения, но есть у великого француза геннальное прозренне — полет снаряда в безвоздушном окололунном пространстве н посадку однн нз его героев предполагал осуществить с помощью ракет. Это была фaнтазия середины XIX века, однако еще в начале его русские ракеты, вслед за английскими, нашлн практическое применение. Василию Каразнну онн уже, безусловно, былн известны. Разработка конструкций боевых зажигательных н осколочных ракет началась в России в 1810 году. Вскоре член Военно-учебной комиссии некто Картмазов испытал нх, н, как писалось недавно в одной научно-исторической статье, «Петербургское ракетное заведение начало выпускать свон боевые ракеты тысячами, н в русско-турецкой войне 1828— 1829 гг. онн былн впервые прнменены в больших количествах в бою под Шумлой н прн осаде Варны н Силистрии» (Техника н наука, 1982, № 7, с. 33).

А участник этой войны, замечательный русский инженер Карл Андреевич Шильдер сконструировал первую подводную лодку, вооруженную ракетными установками, н, предвосхитив систему запуска современных космических кораблей, предложил использовать для пуска своих ракет электрический импульс.

1866 год. Брошюра русского инженера Соковнина «Воздушный корабль». По мысли автора корабль этот «должен лететь способом, подобным тому, как летит ракета». Однако мы не знаем, была лн известна эта редкая публикация К. Э. Циолковскому.

1881 год. На интересующее нас событие этого рода история бросила трагический отсвет. Революционер и ученый Николай Кибальчич, взрывным метательным снарядом которого был убит император Александр II, незадолго до казни составил в одиночке Петропавловской крепости схему *реактивного* летательного аппарата, но также нет никаких данных, что К. Э. Циолковский что-либо услышал о нем в конце прошлого века, хотя и не исключено, что он знал из газет о последнем слове приговоренного к повешению, которого накануне казни больше всего волновала судьба его проекта. Напомню читателю эти слова: «...Я написал проект воздухоплавательного аппарата. Я полагаю, что этот аппарат вполне осуществим, и я представил подробное его изложение с рисунками и вычислениями. Так как, вероятно, у меня уже не будет возможности выслушать взгляды экспертов на этот проект и вообще следить за его судьбою, я теперь публично заявляю, что проект мой и эскиз, составленный мною, находятся у господина Герарда...». Присяжный поверенный, то есть адвокат подсудимого, Герард подшил научный проект к политическому делу, и похороненные в жандармских архивах вычисления и схема Кибальчича стали известны только после Октябрьской революции.

Санкт-Петербургская, как она вначале называлась, крепость заложена по эскизу Петра I. С нее начался великий город в устье Невы. Как ин-

когда не стрелявшая московская Царь-пушка и не звонивший Царь-колокол, Петропавловская крепость ни разу не послужила городу средством защиты — ее прямые функции перенял Кронштадт Петровские ворота, Невские ворота архитектора, ученого, геолога, изобретателя и поэта Николая Львова, Монетный двор, остатки бастионов и равелинов, Петропавловский собор, без стройного шпиля которого нельзя себе представить силуэт Ленинграда Изумительный резной иконостас; мастера расписывали его под руководством замечательного врхитектора Ивана Зарудного Усыпальница Романовых, начиная с Петра. Глаз останавливается на мраморном саркофаге Александра I. Он почему-то оказался пустым, и вспоминаются записи Льва Толстого о некоем томском старце; по легендам начала прошлого века, царь будто бы не умер в Таганроге перед восстанием декабристов, а скрылся в Сибири..

Парадокс — усыпальница царей и августейших чад расположена рядом с каменными могилами их живых врагов. А. Н. Радищев, декабристы, петрашевцы, Н. Г Чернышевский, Н. В. Шелгунов, Александр Ульянов, Николай Кибальчич, Н. Э. Бауман, Максим Горький, много-много иных... Тщетно ищу одиночную камеру, где полгода просидел под следствием Николай Мозгалевский. Нет и одиночки Трубецкого бастиона, в которой сразу после казни Николая Кибальчича 3 апреля 1881 года оказался еще один узник, переведенный сюда из Варшавской тюрьмы, о коем следует кратко рассказать, хотя необыкновенная судьба, труды и мысли этого необыкновенного человека достойны большого романа, хорошей книги в серии «Жизнь замечательных людей», вечной и уважительной памяти потомков.

Еще в гимназии Николай Морозов организовал «Тайное общество естествоиспытателей-гимназистов». В написанном им уставе служение науке провозглашалось как служение человечеству, которое придет к всеобщему счастью посредством овладения тайнами природы. «Без естественных наук человечество никогда не вышло бы из состояния, близкого к нищете, а благодаря им люди со временем достигнут полной власти над силами природы, и только тогда настанет на земле длинный период такого счастья, которого мы в настоящее время даже представить себе не можем».

Талантливый юноша, снедаемый жаждой знаний, развил в себе удивительную работоспособность. Он штудирует пуды книг, изучает языки, работает со студентами-медиками в анатомичке, слушает в Московском университете лекции, занимается геологией и палеонтологией, участвует в научных экспедициях, и некоторые его палеонтологические находки так значительны, что до сего дня хранятся в музеях. Отличные успехи по всем гимназическим предметам, первые научные рефераты, изучение социально-политической литературы, знакомство с нелегальными изданиями, встречи с народниками-революционерами. Николай Морозов приходит к выводу, что заниматься наукой в существующих поли-

тических условиях — значит потерять к себе всякое уважение Он оставляет родительский дом и отдает себя агитационной работе среди крестьян, сукновалов, кузнецов, лесорубов, живет и работает в их среде, потом эмигрирует в Швейцарию, чтоб редактировать политический журнал для рабочих, вступает в Интернационал, и сразу по возвращении в Россию — арест на пограничной станции. Московская и Петербургская тюрьмы в течение года, освобождение под отцовский залог, и опять революционная борьба, активная работа в народнических организациях «Земля и воля», «Народная воля», участие в подготовке покушения на царя, новая эмиграция, поездка в Лондон, встреча с Карлом Марксом, возвращение на родину и снова арест на границе. Варшавская цитадель, Петропавловская крепость, через четыре года Шлиссельбург — место заточения русского просветителя XVIII века Н. И. Новикова, общественного деятеля и ученого В. Н. Каразина, декабристов Ивана Пущина, Вильгельма Кюхельбекера, Михаила и Николая Бестужевых, поэта-разночинца Владимира Соколовского, народоволки В. Фигнер, большевика Ф. Петрова. Список узников Шлиссельбургской крепости, как и Петропавловской, зримее иного ученого трактата отражает смену поколений борцов, дух коих самодержавие пыталось смирить и сломить в этих мрачных казематах.

«Из собственного моего опыта я убедился, что одиночное заключение страшнее смертной казни»,— писал декабрист Александр Беляев в «Русской старине» за 1881 год. Как раз в том 1881 году был посажен в одиночку Николай Морозов. Только А. Беляев сравнительно недолго содержался в Петропавловской крепости, а Н. Морозов просидел четыре года в той же Петропавловской да двадцать один — в Шлиссельбургской. Четверть века в одиночке!..

Голые стены, тюремные думы,
Как вы унылы, темны и угрюмы!..
Мысли тупеют от долгой неволи,
Тяжесть в мозгу от мучительной боли

Даже минута, как вечность, долга
В этой каморке в четыре шага!..
Полночь пришла...
Бой часов раздается,
Резко их звук в коридоре несется...
Давит, сжимает болезненно грудь,
Гложет тоска...
Не удастся заснуть!

Эти стихи сочинил Николай Морозов, быть может, в минуту собственной душевной слабости. Многие узники не выдерживали одиночного заключения — навязчивых воспоминаний, безумных грез, болезней, смертной тоски, трагического бессилия. Вот неполный список народовольцев и чернопередельцев, жертв Шлиссель-

бурга: повесился М. Клименко, сжег себя, облившись керосином из лампы, М. Грачевский, перервала себе сонную артерию и умерла С. Гинсбург, сознательно подвели себя под расстрел Е. Минаков и И. Мышкин, сошли с ума Н. Щедрин, В. Конашевич, Н. Похитонов; умалишенных все-таки держали в крепости, а Николай Морозов, Вера Фигнер и другие заключенные годами вынуждены были слушать по ночам их душераздирающие вопли...

Это чудо, что он выжил. Болел туберкулезом, дистрофией, трижды цингой, бронхитом несчетное число раз, страдал различными хроническими катарами, ревматизмом, его душила грудная жаба, стенокардия по-нынешнему. Лечился гимнастикой, бесконечной ходьбой по камере, самовнушением и... наукой.

«В крошечное окошко мне был виден клочок звездного неба»,— вспоминал Николай Морозов. Per aspera ad astra!.. Через тернии — к звездам! Такой путь выбрал узник, создав в своем каменном мешке собственный мир интересов, неимоверными усилиями воли заставив интенсивно работать мозг. Все началось с единственной разрешенной в Петропавловской крепости книги — библии на французском, экземпляром которой пользовались еще декабристы.. Николай Морозов поразил знанием библии священника, навещавшего заключенных, и тот начал приносить ему писания и жития, книги по истории церкви и богословию. Если б знал тот святой отец, чему он споспешествовал! Узник пристально рассмотрел религиозные сочинения сквозь призму атеистического, естественнонаучного мировоззрения, обнаружил в канонических текстах и богословских трактатах чудовищные противоречия, взаимоисключающие факты и утверждения. В Шлиссельбурге в его распоряжении была бумага, перо и чернила, относительный доступ к научной литературе. Каждое утро, делая длительную гимнастику, он повторял в такт движениям названия созвездий минералов, элементов периодической системы, вспоминал физические константы, исторические имена и даты, слова и фразы на различных языках. Напряженные юношеские научные занятия, несгибаемая сила воли, феноменальная память и творческий ум стали фундаментом, на котором год за годом воздвигалось величественное здание научных озарений и открытий. Николай Морозов в совершенстве овладел десятью иностранными языками, и это не было самоцелью, а объектом изучения и подсобным средством на героическом пути Николая Морозова к разнообразнейшим знаниям и открытиям. Освобожденный в ноябре 1905 года узник Шлиссельбурга взял с собой на волю *двадцать шесть томов научных сочинений* — история человечества не знала *такого*, сотворенного в *таких* условиях!

На воле он продолжал разрабатывать идеи, занимавшие его в крепости; и следует, наверное, хотя бы коротко сказать, что же такого особенного сделал в науке шлиссельбургский узник. Прежде всего поражает энциклопедичность интересов и знаний Ни-

колая Морозова. Астрономия, физика, астрофизика, математика, химия, физиология, биология, филология, метеорология, история народов, наук, культур и религий, геофизика, научный атеизм — вот далеко не полный перечень того, чем он профессионально занимался.

Неспециалисту даже трудно представить себе объем научного материала, творчески освоенного Н. А. Морозовым, значение его открытий. Перечислю хотя бы те из них, что признаны сегодня в качестве приоритетных. Первым в астрономии узник Шлиссельбурга высказал догадку о метеоритном происхождении лунных кратеров и малой сопротивляемости межзвездного светоносного эфира. Возражая самому Д. И. Менделееву, впервые в мировой науке разработал научную теорию о сложном строении атомов и их взаимопревращаемости, первым доказал существование инертных газов и нашел им место в периодической системе элементов, первым в мире объяснил явление изотопии и радиоактивности, объяснил причины звездообразования, стал первооткрывателем многих явлений в метеорологии, нашел новый метод алгебраических вычислений, впервые в химической науке разработал идею ионной и ковалентной связи, первым в истории биологии дал математическое обоснование процесса естественного отбора.

О Николае Морозове написано немало статей, воспоминаний, диссертаций, только они рассыпаны по журналам, газетам, реферативным брошюрам, малодоступным широкому читателю старым изданиям. Правда, весь этот богатейший материал однажды обобщил Б. С. Внучков, выпустив хорошую книгу «Узник Шлиссельбурга», и я пользуюсь некоторыми сведениями из нее, давно уже тоже ставшей редкостью. Вышла она в 1969 году в Ярославле, где и разошелся почти весь ее десятитысячный тираж. Это была даже не капля в море, а молекула в сегодняшнем книжном океане — ведь только библиотек у нас в стране более трехсот пятидесяти тысяч!

Научное и литературное наследие шлиссельбургского узника составляет около сорока солидных томов. Подытоживая все сделанное Николаем Александровичем Морозовым, мы должны признать его научный и гражданский подвиг из ряда вон выходящим, особым явлением мировой культуры, символом мощи человеческого духа и талантливости русского народа, проявившихся в невыносимо тяжких, бесчеловечных условиях.

Николай Морозов свято верил в «человека воздушного». В Шлиссельбурге он написал фантастический рассказ «Путешествие в мировом пространстве», а по выходе из крепости с интересом следил за развитием воздухоплавания и авиации. И не только следил. Как это ни покажется нам необычным, дорогой читатель, пятидесятишестилетний человек, двадцать восемь лет пробывший в застенках, становится членом Всероссийского аэроклуба, изучает летное дело, конструкции тогдашних аэропланов и воздушных шаров, управление ими, получает звание пило-

та и подимается в воздух! Сохранился с тех лет фотоснимок — среди стоек и растяжек аэроплана сидит бодрый старичок в очках В усах и бороде таится улыбка. Кожаная форма пилота, шлем, наушники, руки без перчаток, готовые спокойно взяться за штурвал

И вот первый полет в небе Петербурга! Он прошел благополучно, однако не обошлось без печального курьеза Охранка вообразила, что бывший «бомбист», теоретик и практик политического терроризма намеревался в этом полете низко пролететь над Царским Селом и сбросить на императорские апартаменты бомбу Дома летчика ждала полиция, но оснований для ареста не обнаружила. Потом Морозов не раз поднимался на воздушном шаре, наблюдал из гондолы и снимал специальным спектрографом солнечное затмение, стал председателем комиссии научных полетов и членом научно-технического комитета аэроклуба, читал лекции о воздухоплавании. Писал в газете, обращаясь к участникам первого перелета Петербург — Москва: «Да, наступает новая крылатая эра человеческой жизни!.. Воздухоплавание и авиация кладут теперь резкую черту между прошлой и будущей жизнью человечества... То, что вы делаете теперь, это только первые проявления вечных законов эволюции человечества».

И еще я вспоминаю его «Звездные песни», стихи, написанные в неволе и на воле. Более четверти века долгими ночами он рассматривал звезды в окошко своей камеры, они помогали ему жить и надеяться.

Скоро станет ночь светлее.
С первым проблеском зари
Выйди, милая, скорее
И на звезды посмотри!

«Заря» в поэзии народовольца Николая Морозова была тем же, чем была она для декабристов, Александра Пушкина, Александра Полежаева и Владимира Соколовского. Только у него эта прозрачная символика часто полнилась более определенным содержанием, которое несло время:

Вот и в сознаньи рассвет занимается:
Мысли несутся вольней,
Братское чувство в груди загорается.
Старых богов обаянье теряется,
Тускнут Короны...

В «Звездных песнях» Николая Морозова часто вспоминаются планеты и кометы, зодиакальный свет, звезды и созвездия — Орион, Плеяды, Южный Крест, Венера, Сатурн, Полярная звезда, Дева, Близнецы, и вот что писал об этих стихах стародавний литературный журнал «Современный мир»: «Нам тысячи раз пели «окрыленно и напевно» о страданиях, об одиночестве, о скуке, о

презрения к человечеству, и ко многим из этих песен так подходили слова Л. Толстого: «Выдумано все это». Стихи Николая Морозова, пришедшие «из стен неволи», ценны для нас, как невыдуманный документ, и во всех этих стихах на первом плане не личные невзгоды, не страдания, не вопли об одиночестве, а всегда «стремление к звездам» «Поэты милостью божией» сумели сторониться от природы и общественности, уйти в себя и задохнуться в своем одиночестве. Но поэт-шлиссельбуржец сумел каменный мешок превратить в обсерваторию, в одиночестве, навязанном ему силой, сумел найти связь с людьми. Морозов показал, что идти к «звездам» — это не значит уходить от людей».

А вот фразы из авторского обращения к читателю: «Не все эти песни говорят о звездах... Нет! — многие из них были написаны во мраке непроглядной ночи, когда сквозь нависшие черные тучи не глядела ни одна звездочка. Но в них было всегда стремление к звездам, к тому непостижимому идеалу красоты и совершенства, который нам светит по ночам из глубины вселенной...» Это поэтическое стремление к звездам перекликается в стихах с самыми сокровенными земными желаниями:

Я чувствую душой, что близко царство света,
Что знанья и любви республика близка!

Николай Морозов, выдержав долгую темную ночь заточенья, остался таким же несгибаемым революционером, каким был и в молодости. «Звездные песни», изданные в 1910 году,— библиографическая редкость, и для того читателя, которому эта книжка недоступна, приведу некоторые строки и строфы, написанные с неизменной политической остротой. Стихотворение «На границе», очевидно, было навеяно воспоминаниями о двух возвращениях автора на родину и двух его арестах на пограничных станциях.

И вот опять она, Россия...
Опять и главы, и кресты,
И снова вижу на пути я
Следы старинной нищеты.
Опять насилия и слезы...
И как-то чудится во мгле,
Что даже ели и березы
Здесь рабски клонятся к земле!

В стихотворении, написанном, безусловно, в крепости, Николай Морозов требует дела:

Родина мать! нет ни счету, ни сметы
Змеям, что были тобою пригреты,—
Дедов вина и беспечность отцов
Создали целое племя рабов!

Ты же,— ты только терпела, страдала,
Вечно трудилась и вечно молчала,
И средь громадной родимой земли
Вечно валялся народ твой в пыли...
Нет, разойдись ты, тоска гробовая!
Злу не поможешь, лениво страдая,

Некогда плакать, не время стенать.
Надобно делу все силы отдать!..

Вспомним попутно сакраментальное декабристское «общее дело» (res publica) и вслушаемся в призыв Николая Морозова:

Родина мать! Разверни свои силы,
Жизнь пробуди средь молчанья могилы!
Встань! Угнетенье и тьму прекрати
И за погибших детей отомсти!

После освобождения из Шлиссельбурга Николай Морозов не поверил в конституцию, которую обещал Николай II, как не поверили в нее, обещанную прапрадедом самодержца, декабристы, взявшиеся за оружие. Стихотворение саркастически называется «Гаданья астролога в Старой Шлиссельбургской крепости в ночь на 6 августа 1909 года»:

Скоро, скоро куртку куцую
Перешьют нам в конституцию.
Будет новая заплатушка
На тебе, Россия-матушка!

И вот за эту и другие «звездные» песни, напечатанные в книжке, Николая Морозова снова сажают в крепость, на сей раз в Двинскую. Снова одиночка и снова работа! За год заключения он овладел одиннадцатым языком — древнееврейским, написал три тома «Повестей моей жизни», полемичную атеистическую книгу «Пророки», несколько научных статей, ответил на множество писем, что шли к нему со всех концов России. В ее тысячелетней тяжкой истории не было, кажется, аналога этому чудовищному факту — один из самых светлых умов русского народа *двадцать девятый* год томился в застенке...

Удивительный все же это был человечище! Вскоре после его освобождения началась первая империалистическая война, и шестидесятилетний Николай Морозов отправляется... в действующую армию. Оказывает первую помощь и выносит с поля боя раненых солдат, корреспондирует в газету. Во время одной из поездок на позиции его продувает на холодном ветру, и ослабленные тюремными болезнями легкие поражает жестокая пневмония. Нет, этот чудо-человек не погибает. Возвращается в родной Борок, что в Ярославской области, излечивается и предпринимает длительную

лекционную поездку по Сибири и Дальнему Востоку. Омск, Барнаул, Томск, Иркутстк, Чита, Хабаровск. Это была триумфальная поездка — его все и везде знали и любили, встречая как героя. Он же, под впечатлением встреч с сибиряками, писал с дороги Валерию Брюсову: «Не верю я, что с таким населением Россия будет долго еще плестись в хвосте остальных европейских народов...»

Кстати, Валерий Брюсов тоже стоит в ряду русских поэтов, вдохновлявшихся звездным небом. Его творческое воображение пленяла, в частности, мысль о будущем могуществе человека, способного управлять полетом в космосе... всего земного шара!

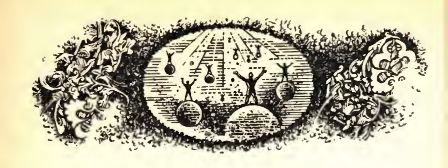
Верю, дерзкий! ты поставишь
Над землей ряды ветрил,
Ты своей рукой направишь
Бег планеты меж светил.

Н. А. Морозов не встречался с К. Э. Циолковским, но они заочно знали друг друга, обменивались письмами и книгами, а в голодном 1919 году по инициативе и при деятельном участии бывшего шлиссельбургского узника, ставшего председателем Русского общества любителей мироведения, бедному многодетному калужскому учителю был установлен двойной совнаркомовский продовольственный паек и пожизненная пенсия в пятьсот тысяч рублей тогдашними дешевыми деньгами. Великий самоучка мог продолжать свои исследования и опыты, важность коих подтвердило не столь далекое будущее.

После революции Н. А. Морозов передал государству наследное отцовское имение, но по рекомендации В. И. Ленина Совет Народных Комиссаров вернул Борок в пожизненное пользование владельцу, принимая во внимание его «заслуги перед революцией и наукой». В 1932 году Н. А. Морозов был избран почетным членом Академии наук СССР...

В далекой временно́й дали видится начало прошлого века, но, если измерить прошедшее время двумя долгими человеческими жизнями, о которых мы здесь вспомнили, оно покажется совсем близким! Федор Глинка, участник битвы при Аустерлице, был еще жив в том году, когда Николай Морозов, умерший вскоре после великой Победы 1945 года, встретился в Лондоне с Марксом. Замечательный ученый и революционер прожил сорок шесть лет в XIX веке, столько же в XX, и всего через одиннадцать лет после его смерти был запущен первый спутник Земли. Похоронен Н. А. Морозов в парке Борка, близ дома, в котором он последние годы жил и работал и где сейчас мемориальный музей. Вспоминаю его строки:

И все ж не умер тот, чей отзвук есть в других,—
Кто в этом мире жил не только жизнью личной...



29

Было у К. Э. Циолковского еще три до недавнего времени малоизвестных современника, носивших самые обыкновенные русские фамилии и к тому же — по необъяснимому совпадению — одинаковые, люди необычных, несколько странных судеб.

1896 год. Никому не ведомый двадцатичетырехлетний прапорщик Александр Федоров издает в Петербурге брошюру «Новый принцип воздухоплавания, исключающий атмосферу как опорную среду». Кадетский корпус, юнкерское училище, пехотный полк, переводы по неясным причинам из одного города в другой, увольнение в отставку сразу после выхода брошюры, заграница, работа в какой-то технической конторе, журналистика, изобретательство. Неуживчивый человек или мятущаяся, ищущая натура таится за этими внешними фактами его биографии? Быть может, Александра Федорова, названного в одной из недавних философских публикаций также «студентом Петербургского университета», снедала одна страсть, одна мысль, которая влияла на его поведение и настораживала окружающих, решительно не понимавших *чудака*, как это было с Казанным и Циолковским? Откуда, из каких истоков зародилась у безвестного прапорщика его идея, в которой он сам, правда, не разобрался до конца, подменив расчеты неясными формулировками? Мы ничего об этом не знаем. Может, иллюминационные ракеты на праздничных фейерверках или усовершенствованные боевые ракеты генерала Константинова, применявшиеся в русской армии, натолкнули его на размышления о возможности создания ракетного двигателя для полета в безвоздушном пространстве?

К. Э. Циолковский: «В 1896 году я выписал книжку А. П. Федорова: «Новый принцип воздухоплавания...» Мне показалась она неясной (так как расчетов никаких не дано). А в таких случаях я принимаюсь за вычисления самостоятельно — с азов. Вот начало моих теоретических изысканий о возможности применения реактивных приборов к космическим путешествиям. Никто не упоминал до меня о книжке Федорова. Она мне ничего не дала, но все же всерь-

ез она толкнула меня к серьезным работам, как упавшее яблоко к открытию Ньютоном тяготения».

Окончательные формулы реактивного движения были выведены К. Э. Циолковским на листке, помеченном 25 августа 1898 года...

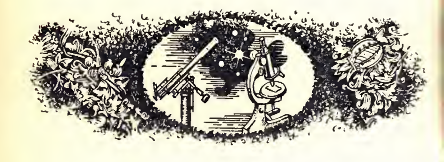
Россия рвалась к небу. В самом начале нового века вышла книга военного инженера Е. С. Федорова «Летательные аппараты тяжелее воздуха» и работа К. Э. Циолковского «Аэростат и аэроплан». Носилась, как говорится, в воздухе идея ракетоплавания, и России действительно было суждено стать космической площадкой человечества, если через десять лет после физико-математического обоснования принципа реактивного движения К. Э. Циолковским и через семь лет после выхода его книги «Исследование мировых пространств реактивными приборами» русский инженер Фридрих Цандер самостоятельно занялся расчетами и практическим конструированием реактивных летательных аппаратов. Он шел своим путем и в начале 30-х годов нашего века создал и испытал первый ракетный двигатель на жидком топливе. А за несколько лет до этого молодой талантливый механик из сибирской глубинки, ученый-самоучка Юрий Кондратюк, никогда не слыхавший об Александре Федорове, Фридрихе Цандере и Константине Циолковском, выпустил в Новосибирске *за свой счет* мизерным тиражом теоретическое исследование «Завоевание межпланетных пространств», в котором не только первым предрек громадное значение космических полетов для нужд народного хозяйства и математически решил основные проблемы ракетодинамики, но и разработал схему полета и высадки человека на Луну.

Поразительная вещь — идея воздушных путешествий, ракетоплавания, покорения космоса, пробивалась, затаивалась, таинственно самозарождалась вновь и вновь в русских умах; в этом воистину было какое-то историческое предопределение.

К. Э. Циолковский: «Многие думают, что я хлопочу о ракете и забочусь о ее судьбе из-за самой ракеты. Это было бы грубейшей ошибкой. Ракета для меня только способ, только метод проникновения в глубину космоса, но отнюдь не самоцель... Не спорю, очень важно иметь ракетные корабли, ибо они помогут человечеству расселиться по мировому пространству. И ради этого расселения в космосе я-то и хлопочу. Будет иной способ передвижения в космосе — приму и его... Вся суть — в переселении Земли и в заселении космоса. Надо идти навстречу, так сказать, «Космической философии»!' И далее: «...Мне представляется, вероятно, ложно, что основные идеи и любовь к вечному стремлению туда — к солнцу, к освобождению от цепей тяготения — во мне заложены чуть ли не с рождения».

Что это значит — «*вероятно, ложно*»? В частности, вероятно, то, что был еще один источник научного и человеческого подвига Константина Эдуардовича Циолковского, интеллектуальный толчок, вдруг осветивший мыслью фантаста смутные мальчишеские и юношеские грезы будущего отца космонавтики. Разобраться в сложной стихии жизни, в переливчатом слиянии при-

чии и следствий очень трудно, часто невозможно, и нельзя знать, как бы сложилась судьба ищущего себя глохнувшего семнадцатилетнего паренька Кости Циолковского, если б ие встретился на его жизненном пути Николай Федорович Федоров. К. Э. Циолковский вспоминал: «Я тогда по-юношески мечтал о покорении межпланетных пространств, мучительно искал пути к звездам, но не встречал ии одного единомышленника. В лице же Федорова судьба послала мне человека, считавшего, как и я, что люди непременно завоюют космос».



30

И снова передо мной стоит вопрос — почему все же Каразина, Кибальчича, Федоровых, Циолковского, Цандера, Кондратюка дала Россия, а не какая-либо другая страна, более развитая в социальном, экономическом, научиом отношениях? Чем объяснить, что космические прозрения русских появились прнмерно за сто лет до того, как сходные идеи высказалн, современные западные ученые — Тейяр де Шарден, Элоф Карлсои, Саган, О'Нейл, Дайсон?

Опередил свое время и геохимик Владимир Иваиовнч Вернадский. Ему принадлежит немало фундаментальных открытнй, связанных с теорией атомного ядра, с определением возраста Земли, влиянием живых организмов на геологические отложения и так далее. В начале 20-х годов он прозорливо предупреждал о чрезвычайных опасностях использоваиия еще не открытой тогда атомной энергии в военных целях, однако главиое, итоговое в его иаучиом творчестве, дело всей жизни, как известно,— учение о бносфере, «области жизни»; человек, продукт космоса и земной природы, ставшнй *геологической силой,* должен приступить к *«перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человека».* Вскоре после революции В. И. Вернадский прочел в Сор-

бонне цикл лекций о биосфере, как *биогеохимическом* явлении, зависящей от «космической химии», а через пять лет французский математик и философ Е. ле Руа и его соотечественник философ и антрополог Тейяр де Шарден ввели в науку понятие «ноосферы», то есть «сферы разума» — последней эволюционной стадии биосферы. Этот термин в какой-то мере отразил давние догадки В. Н. Каразина и Н. Ф. Федорова, открытия К. Э. Циолковского и В. И. Вернадского, однако следует подчеркнуть, что русская мысль в этой области всегда *развивалась с опережением*, устремляясь за пределы Земли — в ближний и дальний Космос...

Почему это происходило? Оставляя простор для самостоятельных размышлений читателя, думаю о психическом складе и талантливости нашего народа, лучшие представители которого всегда искали истину, как бы глубоко она ни пряталась, как бы велики ни были препоны на пути к ней и каких бы жертв этот поиск ни требовал. Или мы, ощущая свое исторически сложившееся запаздывание, брали разгон перед подъемом? Может, отгадка таится именно в нашей тяжкой и неповторимой тысячелетней истории, которая, как гигантский айсберг, вынесла в XIX—XX веках на поверхность этот феномен мировой культуры — сияющее цветение материи в виде мыслей, чувств и деяний великих писателей, ученых, композиторов, живописцев, борцов за общественное благо? В самом деле, всего лишь за столетие с небольшим — срок мизерный в истории, например, науки — русский народ дал блестящую плеяду замечательных ученых. Назову первые пришедшие мне на память имена историков и филологов, ставя в один ряд с математиками, географами, медиками, физиологами, ботаниками, химиками, физиками и другими естествоиспытателями. Каразин, Воскресенский, Карамзин, Лобачевский, Зинин, Соловьев, Потебня, Востоков, Бутлеров, Пирогов, Буслаев, Воейков, Ключевский, Миклухо-Маклай, Боткин, Семенов-Тян-Шанский, Менделеев, Сеченов, Лебедев, Столетов, Чебышев, Ковалевская, Ковалевский, Докучаев, Мечников, Морозов, Грумм-Гржимайло, Грумм-Гржимайло, Петров, Попов, Чаплыгин, Тимирязев, Жуковский, Чернов, Мичурин, Циолковский, Павлов, Шахматов, Вернадский, Сукачев, Крачковский, Ферсман, Зелинский, Вавилов, Коржинский, Губкин, Обручев, Несмеянов, Курчатов, Королев... Пятьдесят? А еще терапевт Остроумов, историк Иловайский, лесовод Морозов, востоковед Бартольд, географ Баранский, микробиолог Гамалея, математик, астроном и геофизик Шмидт, но, сколько бы мы ни перечисляли, останется еще множество ученых, чьи заслуги не столь известны, однако каждый из них внес свой, только ему принадлежащий вклад в русскую и мировую науку. Чтобы завершить тему, кратко расскажу об одном из таких ученых, знакомство с трудами и днями которого началось для меня случайно, совсем в духе многих эпизодов нашего путешествия в прошлое.

Жил я тогда в «космическом» районе Москвы, близ ВДНХ. Аллея космонавтов и стрельчатый титановый монумент у метро,

улицы Кондратюка, Цандера, академика Королева, Звездный бульвар, кинотеатр «Космос»... На прогулках по Звездному бульвару и в магазинных очередях я начал, помню, замечать высокую пожилую женщину, державшуюся прямо и строго, с таким достоинством и благородством, что при встречах с ней хотелось уважительно раскланяться. Жена, работавшая в ближайшей школе, сказала однажды, когда мы встретили эту даму в очередной раз, что она — вдова одного замечательного русского ученого, умершего десять лет назад тут же, на Звездном бульваре. Школьники с учителями иногда посещают ее и уходят от радушной, гостеприимной хозяйки обогащенные нежданными знаниями и впечатлениями.

— Картины, говорят, на стенах, все забито книгами, и какой-то электрический аппарат под потолком делает воздух лечебным... Ее муж имел отношение к освоению космоса.

Вскоре и мы по рекомендации общих знакомых, предварительно позвонив, извинившись и запасшись тортом, всей семьей зашли к Нине Вадимовне. Целый вечер проговорили о человеке, которого уже не было в живых, рассматривали его картины, читали его стихи, и я потом еще не раз посещал этот дом, все больше узнавая покойного хозяина и удивляясь тому, что никто из моих друзей и знакомых даже ничего не слышал о нем. Читатель может подумать, что здесь, в скромной квартирке на Звездном бульваре, тихо жил безвестный художник или поэт, и не ошибется. Но при чем тут освоение космоса? Может, это был по основной своей специальности какой-то неизвестный при жизни, как, например, Сергей Королев, пионер нашей космонавтики?

До революции он учился в археологическом институте, глубоко интересовался историей, астрономией, литературой, философией, овладел несколькими языками, пробовал себя в живописи, поэзии, сочинял музыку. И еще юношей, возможно, услышал о Карамзине, потому что жил в Калуге, близко знал Циолковского, и космические дали рано начали дразнить его воображение. Из стихотворения 1915 года:

О, человек, о, как напрасно
Твое величье на Земли,
Когда ты — призрак, блик неясный
Из пролетающей пыли.
А между тем, как все велико
В душе пророческой твоей —
И очи сумрачного блика
Горят глубинами огней.
Как ты в незнании несмелом
Постигнул таинство миров
И в ветерочке прошумелом
Читаешь истины богов.
Так где ж предел, поправший цельность
И бесконечности закон?
Смотри: ты Солнцем озарен,
И твоей предел — есть бесконечность.

А в следующем году девятнадцатилетний поэт ушел вольноопределяющимся на германскую, был ранен и контужен в бою, получил за личный воинский подвиг солдатского Георгия... Среди его прямых предков было немало воинов, георгиевских кавалеров, ходивших еще под знаменами Суворова и Кутузова, а знаменитый адмирал П. С. Нахимов приходился ему двоюродным дедом...

И там, во фронтовой Галиции, он продолжал писать стихи. Из стихотворения «На самолете»:

Мой верен руль, верны педали,
Рука не дрогнет — решено,
А увлекающие дали
Пьянят, как старое вино.
Я — одинок. Я бросил Землю.
Мотор — мой лучший, верный друг.
Преображенный мир приемлю
Сквозь лопастей прозрачный круг

На сини неба — блеск металла
И крыльев белый разворот.
Душа небесного взалкала,
И в небо мчится самолет.

А вот строки из стихотворения 1919 года, написанного белым стихом и посвященного К. Э. Циолковскому:

...Там, где в глубоких ущельях бесконечности
Приютились планеты,
Может быть, там
Такой же жалкий и такой же одинокий странник,
Обнажив голову, простирает руки
К нам, к нашему солнечному миру,
И говорит же вдохновенные,
Те же вечные слова
Изумления, восторга и тайной надежды.
О, мы понимаем друг друга!
Привет тебе, далекий брат по Вселенной!

Он пишет интересное программное эссе «Академия поэзии», печатает его в Калуге брошюрой, печатает и стихи, только это было скорее увлечением талантливого, широко образованного, вдохновляемого общественными интересами человека, ищущего оптимальной реализации своих творческих сил; по интеллектуальным и нравственным задаткам он вполне подходил к ряду перечисленных выше русских ученых...

Да, калужский юноша Александр Чижевский нес в себе огромный потенциал истинного ученого, на которого решающее влияние оказал К. Э. Циолковский, эта, по его собственным словам, поначалу «непонятная и неожиданная человеческая громада», которую он сумел понять и по достоинству оценить, встретив-

шись с ним за пятнадцать калужских лет не менее двухсот пятидесяти раз, часто проводя со старшим другом и наставником целые дни, с утра до вечера. За несколько лет до смерти писал: «Гений Константина Эдуардовича оказал влияние на века. Он был не только теоретиком космонавтики, он был одним из основателей науки о космосе, то есть новой науки в самом широком смысле этого слова. Своими трудами он приблизил человека к космосу и указал научной мысли путь ее дальнейшего уже *космического* развития»... «Личность великого ученого К. Э. Циолковского в грядущем времени будет интересовать наших потомков, быть может, не менее, чем в наши дни нас интересует личность Пушкина»...

Существовали и другие обстоятельства, определившие ранние научные интересы Александра Чижевского. В детстве он был хилым, болезненным ребенком, часто недомогал и по своему состоянию точно предсказывал погоду, чем немало удивлял и даже пугал взрослых. И еще одно — домашний телескоп, звездные атласы на разных языках, книги по астрономии из обширной библиотеки отца-генерала, который, кстати, после революции руководил калужскими курсами красных командиров и получил после гражданской войны почетное звание Героя Труда РККА, и городской библиотеки, в которой он перебрал все книжные фонды по астрономии, физике, истории, биологии, математике. Юноша, написавший в девять лет свой первый детский «трактат» о звездах, проводил за телескопом целые ночи, составлял карты солнечных возмущений, и звезды ему являлись во сне.

А в первой же беседе с Циолковским, состоявшейся весной 1914 года, Александр Чижевский заговорил о том, что позже составит суть его научных занятий, открытий, исканий,— о влиянии Солнца и Космоса на земную жизнь. Эта идея пронизывала и его первую публичную лекцию в Московском археологическом институте, прочитанную вскоре после защиты кандидатской диссертации по случаю избрания двадцатилетнего ученого в действительные члены этого учебного заведения. До этого и после — сотни, тысячи опытов, раздумья, расчеты, первые выводы и первые научные статьи.

Многие годы внимание исследователя концентрировалось на атмосферном электричестве, о нем думал еще Ломоносов, писал Каразин, а многие зарубежные исследователи, в частности французский революционер Марат, изучали влияние «электрических флюидов» на живые организмы. Эти «электрические флюиды», а также каразинская «електрическая» и федоровская «метеорическая» силы локализовались для Чижевского в виде отрицательных ионов кислорода воздуха и раскрыли свою физическую природу, обретя научные терминологические, количественные и качественные характеристики. Они лечили, и, как выяснилось, воздух над морским прибоем, чистый лесной и горный целебен именно потому, что в нем повышенное содержание легких ионов, заряженных отрицательно. Создав экспериментальную аппаратуру, испускающую отрицательные ионы, Александр Чижевский перешел

к широким опытам по изучению влияния легких отрицательных аэроионов на растения, животных и человека, эффективности «витаминизированного» воздуха в птицеводстве, санитарной гигиене, курортологии, иммунологии, животноводстве, растениеводстве, терапии, лечении туберкулеза, астмы, гипертонии, болезней крови и нервной системы. В начале 30-х годов постановлением правительства была создана Центральная лаборатория аэроионификации. Началось внедрение открытий. «Живой» воздух особенно необходим в условиях города для закрытых жилых и производственных зданий, в которых человек проводит девяносто процентов времени, и Чижевский мечтал о том времени, когда управление искусственно ионизированным воздухом в квартирах, лабораториях, спортзалах, театрах и других помещениях станет таким же обычным, как регуляция освещения или температуры, когда на площадях городов будут установлены аэроионофонтаны, испускающие невидимые живительные частицы, осаждающие к тому же пыль и микроорганизмы. Ученик И. И. Мечникова, выдающийся советский иммунолог Г. Д. Беленовский писал в 1934 году: «Никогда так выпукло биологическое значение электричества, и в частности ионизации, не было выражено, как в крайне интересных работах проф. А. Л. Чижевского. Можно смело предсказать учению проф. А. Л. Чижевского блестящую будущность и с точки зрения теоретической и с точки зрения практической»...

Осенью 1980 года после тяжелой болезни я отдыхал в санатории «Узкое». В большом парке, чудом сохранившемся в черте Москвы, стоит старый дом в стиле русского классицизма, не раз перестроенный и сменивший за три века множество хозяев. Владели им Гагарины, Оболенские, Нееловы, Стрешневы, Голицыны, Толстые, Трубецкие. Здесь самая высокая для Москвы отметка — двести пятьдесят три метра над уровнем моря, и на ней с конца XVII века стоит прекрасный памятник архитектуры — оригинальнейшая церковь в стиле барокко. Ее недавно позлащенные купола видны издали. Внизу же четыре закругленно-сопряженных башни, чуть выше — восьмигранник, над ним — традиционное пятиглавие. Она стройна, монументальна и не похожа ни на один московский памятник архитектуры.

В бывшем барском доме осталась старинная мебель, картины, прекрасная библиотека, содержащая, в частности, обширную Пушкиниану, комплекты «Исторического вестника», «Русской старины», энциклопедии разных времен, много книг на иностранных языках. Застал я всего два десятка отдыхающих, обстановку почти домашнюю, с тихими вечерними посиделками и прогулками, с продуктивной работой для тех, кто по состоянию здоровья мог писать. В разные годы здесь отдыхали и работали Кржижановский, Комаров, Карпинский, Обручев, братья Вавиловы, Ферсман, Крачковский, Греков, Тамм, Крылов, Тарле, Уланова,

Шмидт, Леонов, Орбели, Волгин, Берг, Дружинин, Петровский, Нечкина, Лихачев. Со Станиславским и Луначарским приезжал сюда Бернард Шоу...

С имением связано немало легенд и былей. Наполеон будто бы со здешней церковной звонницы встревоженно наблюдал, как выползают из Москвы и тянутся по Калужской дороге его опаленные легионы. А вот висит в простенке зала прекрасная старинная картина неизвестного художника — очаровательная молодая женщина в легком платье сидит в глубокой задумчивости на берегу пруда. Г. М. Кржижановский об этой картине сочинил стихи

Вот с обнаженным плечиком красавица младая
О чем-то роковом грустит,
Красиво пурпур ткани ножку обрамляет,
Увы, жестокий век ее не пощадит...

Один из давних владельцев имения заказал крепостному художнику этот портрет жены; несчастный влюбился в оригинал, встретил взаимность, и муж тайно заточил обоих в подземелье. При Петре I будто бы началось следствие, и в глубоком подвале нашли два скелета — влюбленные были прикованы к противоположным стенам каменного мешка на короткие цепи... А вот правда истинная — последний владелец имения князь П. Н. Трубецкой, предводитель московского дворянства, влюбился в молодую жену своего племянника, некоего Кристи, собрался бежать с нею за границу, но муж за несколько минут до отхода поезда ворвался в вагон и убил именитого дядюшку выстрелом из револьвера...

Состояние мое было довольно тяжелым — инсульт, и я, лечась, перечитывал Пушкина, листал толстую машинописную тетрадь, подаренную мне Ниной Вадимовной Чижевской,— это были скопированные черновые стихи ее покойного супруга, написанные им с 1910 по 1955 год. Брал их с собой в парк, где росли вековые дубы и липы, воображал, как гулял по здешним аллеям Александр Чижевский в 1935 году, вспоминал его строчки об этих деревьях:

Какой порыв неукротимый
Из праха вас подъемлет ввысь?
Какой предел неодолимый
Преодолеть мы задались?..

Стихи успокаивали, пробуждали волю к жизни.

И есть в санатории морозовская комната. В тридцатые годы Н. А. Морозов отдыхал в «Узком», подолгу любовался через эти широкие окна видами парка и завещал, чтобы собрание его картин было навечно передано сюда. Нет-нет да заходил я в эту комнату и помню доныне каждое полотно. В. Бялыницкий-

Бнруля, И. Грабарь, Д. Бурлюк, десять работ А. Остроумовой-Лебедевой, в том числе «Портрет Н. А. Морозова» и «Дом в Борке», два эскнза театральных декорацнй А. Головина, И. Репин, три прекрасных полотна Б. Кустодиева — «На Волге», «Масленица» н «На Воробьевых горах». Щедрый дар ие вместился полностью в комнату. В гостиной две работы И. Шишкина, две И. Айвазовского, а в переходе к флигелю — «Алтай» Григория Гуркнна (Чороса) — великолепная по световому решенню вещь, прииадлежащая кнсти ученика Ивана Ивановича Шишкина, умершего на руках этого талантливейшего художника-алтайца... Светлая ранияя весна у подножья велнчественной Белухи, воздух над горным озером, пронизаный солнцем, будто звеннт, прозрачно-зеленые льдииы на берегу, густо-зеленые кедры в отдалении. Часами я сндел перед этой картиной, вспоминал Алтай, с которым у меня связано столько переживаний, сбывшихся и несбывшихся надежд, и чувствовал, что картииа сннмает перенапряжеине, умиротворяет...

А темными осеннимн вечерами броднл вокруг прудов, в которых нскрилн звезды. На небе тускло светил Млечный Путь, ярко горелн созвездня, иногда, как спнчкой по коробку, прочерчивалн свой последний путь метеориты, еще реже медленно проплывала рукотворная звездочка — неведомо чей спутник, а где-то там, в космической бездне, пожирала пространство невидимая плаиета-астероид Морозовия, названная так пулковскими учеными, открывшнми ее в тридцатых годах...

Под потолком скромной квартирки иа Звездном бульваре внсит что-то вроде самодельиой люстры без лампочек — круглый остов, трубкн, проволочки.

— Александр Леонидович делал вместе с ученнками по своей схеме,— говорит Нина Ваднмовна, включая аппарат.— Поднимите-ка руку вверх!

С проволочек стекают иевндимые униполяриые аэроноиы и холодят руку, будто ты снял варежку иа ветру.

— Двадцать лет пользуюсь. Никогда ие простужаюсь, давление нормальное, сон хороший. Сейчас-то иоинзаторы заводского производства в изящиом пластмассовом корпусе можно в ГУМе купнть за десятку, а в тридцатые годы их приходилось, как говорнтся, пробивать с немалыми потерями для здоровья, рнскуя личной судьбой и научиой репутацией, хотя мнр еще тогда признал важность открытия...

Рассматрнваю обшириый спнсок заграничиых довоенных публикаций А. Л. Чнжевского на эту тему — Париж, Торонто, Неаполь, Сан-Пауло, Милан, Лондои, Болонья, Стокгольм, Тулон, Рио-де-Жаиейро, Белград, Брюссель, Наисн, Аикара, Ницца, Стамбул, Нью-Йорк, Богота, Чнкаго, а всего *восемьдесят* брошюр, статей и сообщеннй.

— Были у него иедоброжелатели, завистники, а он вел себя

ровно не только с теми, кто ровно вел себя с ним, но и со своими слишком сердитыми оппонентами. Ученые карьеристы и кляузники добились ликвидации лаборатории...

В середине 30-х годов вышла во Франции его книга «Земное эхо солнечных бурь», написанная по заказу парижского издательства «Гиппократ», посвященная открытию, к которому Александр Леонидович шел двадцать лет. Оно воедино, нерасторжимыми зависимостями, связывало астрономию, метеорологию, геофизику с биологией, физиологией и медициной. В предисловии к ней автор писал, что космические радиации «представляют собой прежде всего электромагнитные колебания различной длины волн и производят световые, тепловые и химические действия. Проникая в среду Земли, они заставляют трепетать им в унисон каждый ее атом, на каждом шагу они вызывают движение материи и наполняют стихийной жизнью воздушный океан, моря и суши. Встречая жизнь, они отдают ей свою энергию, чем поддерживают и укрепляют ее в борьбе с силами неживой природы. Органическая жизнь только там и возможна, где имеется свободный доступ космической радиации, ибо жить — это значит пропускать сквозь себя поток космической энергии в кинетической ее форме».

За этим выводом — сотни опытов, наблюдений, долгие раздумья над обширными статистическими материалами, связанными, в частности, с земными отзвуками возмущений на Солнце, позволившими прийти к заключению, что «солнечные пертурбации оказывают *непосредственное* влияние на сердечно-сосудистую, нервную и другие системы человека, а также на микроорганизмы». В этом направлении А. Л. Чижевский работал параллельно с казанским микробиологом Сергеем Тимофеевичем Вельховером, который, по словам Чижевского, был человеком «необычайного добродушия, пикнического телосложения, истинный исследователь природы». И вот, обмениваясь добытой ими научной информацией, они сделали фундаментальное открытие, вошедшее в мировую науку под названием «эффекта Чижевского — Вельховера»; один из видов бактерий, оказывается, реагировал на сокрытую, не улавливаемую телескопами или какими-либо другими приборами деятельностью Солнца *перед* появлением на нем пятен! Это было шагом к разгадке динамики инфекционных заболеваний и первым экспериментальным подтверждением правоты А. Л. Чижевского, основателя новой науки — гелиобиологии.

Нина Вадимовна одну за другой достает из папок небольшие картины, выполненные цветными карандашами. Их около ста пятидесяти — русские пейзажи, зимние и осенние большей частью, печальные, лирические, со светлой грустинкой и глубоким трагизмом, одухотворенные, трогательно-простые; милые сердцу автора поля и перелески России, освященные его любовью! Обстоятельства, в которых они создавались, были нелегкими, но он даже находил в себе силы писать стихи. Публикую несколько их концовок.

Что человеку гибель мироздания —
Пусть меркнет небо звездного порфира.
Страшитесь же иного угасанья:
Мрак разума ужасней мрака мира.

Писал он о древнеримском естествоиспытателе Плинии Старшем, задохнувшемся в дыму Везувия:

Ты устоял пред бредом бездны черной,
Глядел в нее, не отвратив лица:
Познанья Гений — истинный ученый
Был на посту до смертного конца.

О Галилее:

Богоподобный гений человека
Не устрашат ни цепи, ни тюрьма
За истину свободную от века
Он борется свободою ума

О Лобачевском:

Прозрел он тьмы единослитных
Пространств в незыблемости узкой.
Колумб вселенных тайноскрытных,
Великий геометр русский.

Об Архимеде:

Построил все, что мог, великий инженер
Для укрепления отважнейшего града
И миру этим дал разительный пример,
Что для ученого честь Родины — награда.

Писал о многих других и многом другом, продолжал научные занятия, пользуясь единственным доступным инструментом — школьным микроскопом. Обобщал исследования по аэроионофикации, заложил основы будущего своего принципиального открытия, связанного с электродинамическими характеристиками живой человеческой крови. Специалисты считают, что одна эта работа увековечила бы имя А. Л. Чижевского. Вспоминаю, как на юбилейном вечере в Политехническом музее, посвященном памяти ученого, один крупный советский медик, побывавший в США, рассказал, будто ведущие американские гематологи, располагающие самым современным лабораторным оборудованием, признались, что не могут пока в этом направлении сделать ни одного шага далее А. Л. Чижевского, вооруженного в Караганде только школьным микроскопом...

Высокие стеллажи вдоль стены заняты книгами, папками, письмами, документами... Люблю документ! Первый междуна-

родный конгресс биофизиков в Нью-Йорке, собравшийся в сентябре 1939 года, избирает А. Л. Чижевского своим почетным президентом... Многостраничное представление конгресса на соискание А. Л. Чижевским Нобелевской премии, характеризующее его «как Леонардо да Винчи двадцатого века»... Дипломы и уведомления об избрании А. Л. Чижевского членом и почетным членом семнадцати научных заведений и обществ разных стран...

Книга А. Л. Чижевского «Аэроионофикация в народном хозяйстве» 1960 года, которую он еще успел увидеть напечатанной. Посмертные издания: «Вся жизнь» — 1974 года, «Земное эхо солнечных бурь» — 1976 года, в переводе с французского. Две части его большого исследования о физических свойствах движущейся крови, позже вышедшие одна в Москве, другая в Киеве, третья в Новосибирске.

Прочитываю особый список работ А. Л. Чижевского об аэроионофикации: «Действие положительных ионов на животных», 1922 г.; «О методах получения потока тяжелых униполярных ионов твердых и жидких веществ, активных фармакологически, в целях ингаляции», 1927 г.; «Устройство для промывки, увлажнения с одновременным ионизированием воздуха при его кондиционировании. Новый вид увлажнительно-промывного устройства кондиционера для жилых и общественных зданий (аэроионофикация зданий)», 1928 г.; «К истории борьбы за биологическое значение полярности аэроионов», 1929 г.; «Электрический заряд выдыхаемого легкими воздуха, его плотность и коэффициент униполярности, как диагностический показатель. Экспериментальное исследование», 1935 г.; «Аэроионизационный режим воздуха закрытых помещений, как результат легочного газообмена. Экспериментальное исследование», 1935 г.; «Исследование о применении аэроионов отрицательной полярности в животноводстве, пчеловодстве и растениеводстве», 1936 г.; «Лечение аэроионами отрицательной полярности кишечных заболеваний, язв желудка и двенадцатиперстной кишки», 1936 г.; «Аэроионы», монография в 3-х томах, 1938 г.; «Искусственная ионизация воздуха в вагонах, как санитарно-гигиенический фактор», 1940 г.; «Аэроионы, как фактор, поддерживающий жизнь животного мира Земли», 1940 г.; «Действие аэроионов отрицательной полярности на скорость заживления экспериментальных ран у белых мышей», 1941 г.; «Оксигеноионотерапия. Экспериментальное исследование», 1941 г.; «Токсическое действие аэроионного голодания», 1950 г.; «Аэроионы отрицательной полярности, как активный вспомогательный фактор при хирургических вмешательствах», 1953 г.; «Аэроионофикация промышленных помещений», 1958 г.; «Аэроионотерапия (наблюдения 1950—1957 гг.)», 1958 г.

Не решился бы я утомлять читателя перечислением этих научных исследований, если б это не был, повторю, *особый* список, если бы не одно чрезвычайное обстоятельство, к которому я, наверное, никогда не привыкну,— все перечисленные выше труды,

начиная с отчетов об экспериментах, докладов и статей в десяток-другой страниц, рефератов, написанных в соавторстве с учениками, и кончая фундаментальными монографиями, *существуют только в рукописях, не напечатаны.* Всего же А. Л. Чижевским написано на эту тему около *ста пятидесяти* научных работ...

Нина Вадимовна, передав все рукописное наследие покойного в Академию наук, организовывала выставки его картин в Москве, Новосибирске, Караганде, подбирала материалы для научных конференций, публиковала стихи в журналах и альманахах до самого последнего дня своей жизни. Она, верная спутница его самых трудных дней, скончалась в 1982 году.

Интерес к научному и художественному наследию Александра Леонидовича Чижевского, к его личности растет...

О, присмотрись внимательно к Земле
И грудью к ней прильни всецело,
Чтоб снова в зеленеющем стебле
Исторгнуть к Солнцу дух и тело..

Благослови же дальнюю звезду
И горсть земли своей печальной!
Друзья мои, я вечно к вам иду
Как к истине первоначальной.

Возьмите, дорогие читатели, его книгу «Вся жизнь», и он придет к вам — замечательный русский ученый-патриот, художник и поэт, один из пионеров космоса. Летчик-космонавт В. И. Севастьянов пишет в предисловии: «Особенно велики заслуги Александра Леонидовича перед космической биологией, в самых разнообразных ее аспектах. Люди, занимающиеся проблемами космоса — ученые, конструкторы и мы, космонавты, часто в своей работе непосредственно сталкиваемся с проблемами, которые разрабатывал и успешно решал Чижевский. Мы отдаем ему за это дань уважения и признательности». В этой автобиографической книге А. Л. Чижевский рассказывает не только о себе и своих научных исканиях. Много страниц посвящено К. Э. Циолковскому, немало интересного читатель узнает из воспоминаний автора о его встречах с Бехтеревым, Горьким, Брюсовым, Павловым, Маяковским, Луначарским, Морозовым. Книга и заканчивается рассказом о последней беседе А. Л. Чижевского с прославленным шлиссельбургским узником Николаем Александровичем Морозовым. Они говорили об истории, своих научных открытиях, о трудных путях к истине, о грядущем мире на Земле и, конечно же, о космосе и космических полетах; еще в середине 20-х годов Н. А. Морозов пророчески сказал молодому калужскому ученому, что «русские звездоплаватели будут, очевидно, первыми путешественниками в межзвездном пространстве».

А калужская земля, однако, открыла для меня не все свои сокровища и тайны...

31

Идем по калужскому городскому скверу, чтоб в одном из его круговых просветов постоять подле каменной стелы в память о Николае Васильевиче Гоголе,— и в этом уголке бывшего губернаторского сада стоял некогда флигелек, где останавливался великий писатель. Последнее достопамятное калужское место дало пищу для семейного разговора почти до самого Козельска, а потом для московских бесед с дочерью и стало причиной новых моих сидений в библиотеках, архивах и за письменным столом...

Урчат, купаясь в масле, моторные клапаны, под ними, в железном чреве, вспыхивает от электрических искорок воздушно-горючая смесь, поочередно бьет в поршни; их подпрыгиванья коленчатый вал переделывает в плавное и быстрое вращение; смиренно гудят передаточная коробка и кардан, а колеса, питаясь преобразованной энергией бензина, посылают машину вперед, туда, где для меня таилась главная загадка далекого XIII века. Но пока мы, трое жителей XX века,— в веке девятнадцатом с его сложнейшей экономической, политической и культурной историей, почти бесконечной галереей ярких портретов соотечественников. Есть в этой галерее лица, едва очерченные, но на них отражаются отсветные огни истории, и без этих отсветов нам было бы куда труднее понять их великих современников, узнать многие неповторимые подробности и представить общую панораму той жизни.

Разговор затеялся с тех попутных впечатлений, которых мы из-за спешки лишились, но за ними, воображаемыми, оживали почему-то давние женские портреты, выписанные историей то нежной акварелью, то беглыми штрихами гусиного пера...

Далеко сбоку и позади остался Полотняный Завод, где выросли сестры Гончаровы — Наталья, Екатерина и Александрина. «Все три,— писала Софи Карамзина,— ослепительные изяществом, красотой и невообразимыми талиями».

— И все три были несчастны,— говорю я моим спутницам

— Все три? Почему?

— Единственной женщиной, которую Пушкин называл мадонной, была его невеста и жена. О ней всегда шли ученые споры, дающие не всегда научные результаты.

— Наталья Николаевна ни в чем не была виновата! — решительно говорит Елена.

— Однако она могла бы однажды сложить веер и щелкнуть им Дантеса по носу! — возражает дочь.

— Не могла. Она была совершенно беззащитна перед наглостью и не все понимала...

— А в чем же несчастье второй?

— Екатерина, объект провокационного двойного ухаживанья Дантеса, вышла за него замуж...

— Никогда не пойму! — восклицает за спиной дочь. — За убийцу Пушкина!

— Возможно, что она знала о предстоящей дуэли, но не предупредила сестер, и они навсегда порвали с ней всякие отношения.

— Еще бы!

— А третья любила одного хорошего молодого человека, и он отвечал ей взаимностью, однако был беден и совестлив... Ты, возможно, приходишься ему очень-очень дальней родственницей.

— Не фантазия ли это, па?

«Давнишняя большая и взаимная любовь Сашиньки» — так назвала этого человека Наталья Николаевна в 1849 году. Бесприданница Александрина Гончарова семнадцать лет ждала, когда он получит высокий чин и сможет обеспечить семью. Не дождалась и вышла замуж за австрийца-дипломата...

Взгорки, низины, луга, пашни... Разговор шел обрывками, потому что надо было и машину вести, и следить за дорогой, и взглядывать по сторонам, чтобы отдыхали глаза. И вдруг представилось, что возможна совсем другая пьеса «Три сестры» — о великой любви поэта и его трагедии, пошлом спектакле жизни и ее отвратительной гримасе, о грустной драме, наконец; но чтоб все это не заслонило ни зловещих теней тех, кто затеял и осуществил чудовищное злодеяние, ни истинных друзей нашего величайшего гения...

Леса, перелески...

Где-то в этих местах бывал человек, которого так долго ждала и не дождалась Александрина Гончарова... Вспоминая о Пушкине, он говорил, что очень полюбил поэта, у которого был «домашним человеком», и до конца жизни думал о нем «с особенной теплотою...».

А если б не торопиться да свернуть сейчас чуток в сторонку, то на этих страницах снова объявилась бы пушкинская «пиковая дама» — княгиня Голицына, урожденная Чернышева. Здесь, в Городне под Калугой, была у нее небольшая усадебка, и хорошо бы взглянуть на остатки двух парков, на миниатюрную, как в Белкине, церковку Успения, на коробочку изящного дома, фасады которого украшают выразительно-простые архитектурные детали, да прикинуть, где могло быть крыло, план коего набросал сам Андрей Воронихин, за что хозяйка усадьбы в письме 1798 года просила дочь хорошенько поблагодарить его, бывшего крепостного

Строгановых, ставшего замечательным зодчим, который вошел бы в историю мировой архитектуры за один лишь Казанский собор...

— Семья! — снова обращаюсь я к своим.— Помните, однажды мы заезжали в Большие Вязёмы под Звенигородом? Там у храма Преображения стоит высоченная звонница, будто перекочевавшая в Подмосковье из Новгорода... Петр Дмитриевич Барановский предполагает, что собор построил для Бориса Годунова сам Федор Конь.

— Как же,— говорит дочь,— там и Кутузов останавливался, и Наполеон, и Пушкин в детстве бывал, впервые услышав о своей будущей «пиковой даме»...

— А вот тут, неподалеку, была ее летняя дача, которой она пользовалась целых полвека.

— Эта вездесущая княгиня была, наверно, самой знаменитой женщиной своего времени,— слышу я голос Елены.

— Были, однако, женщины поинтереснее, хотя и в ином роде... Вспомним Екатерину Дашкову, актрису Прасковью Горбунову — Ковалеву — Жемчугову — Ковалевскую — Шереметеву, поэтессу и композитора Зинаиду Волконскую... А жены декабристов? Однако сейчас я имею в виду одну твою, как я предполагаю, очень дальнюю родственницу.

— Фантазия,— вздыхает за спиной дочь.— Кто же она?

— Насчет родства, если честно говорить, у меня довольно зыбкое предположение. Но дело в том, что эта женщина в своем роде совершенно исключительна, хотя ничего выдающегося как будто и не свершила. Нет, она не обладала властной натурой и стояла очень далеко от науки; не умела сочинять ни стихов, ни музыки, ни играть на сцене; не отличалась страстью к общественной деятельности и едва ли была способна на жертву ради любви к мужу. Занимала всю жизнь какое-то неясно-зыбкое общественное положение. И потом — Калуга...

— Кем же она там была?

— Официально губернаторшей.

— Странно,— промолвила жена.

— Бывает,— умудренно заметила дочь.— Ну, а в чем же ее исключительность?

— Она была необыкновенно обаятельна, неординарна и умна.

— И все?

— Не знаю, как и сказать...

Не знаю, как сказать и сейчас, когда спокойно сижу за столом, пишу, а дочь роется в моих шкафах и полках.

Пушкин сразу же заметил на балу эту фрейлину — изящная фигура, смуглые плечи, гордая осанка, жгучие глаза. Дело у нее, кажется, шло к двадцати, но Пушкина поразило, что она держит себя совсем не так, как другие придворные девицы в ее возрасте и положении. Вот какой-то великосветский лев, исполненный превеличенного самомнения от своих орденов и бриллиантов, бесцеремонно лорнирует ее, а она презрительным взглядом черно-

пламенных глаз да каким-то словцом укрощает его, и тот, уронив лорнет, торопливо прячется за спины соседей. Юные камер-юнкера и лейб-гвардейцы расхватывают вокруг нее щебечущих подруг, а к ней подходит великий баснописец. Взглянув в залу она говорит ему на ухо что-то такое, от чего живот Крылова совсем не по-светски заколыхался, а она залилась озорным заразительным смехом. Затаившийся у колонны Пушкин не выдержал и тоже незнамо отчего рассмеялся. Потом он поймал ее мимолетный взгляд, и вообразилось, будто она доподлинно знает, почему он в мрачной задумчивости стоит один у холодного мраморного столпа и какие мысли не давали ему спать прошедшую ночь... Князь Петр Вяземский, у которого с нею были очевидные добрые и взаимоуважительные отношения, будучи сам отличным поэтом, не сказать чтобы охладел к автору недавно обнародованных «Цыган», что было бы скоропреходящим пустяком,— претензии старого друга, опекуна и поклонника прямо адресовались к сути поэмы, в коей Пушкину хотелось выразить то, чего нельзя было в те времена выразить иначе...

И с Жуковским у нее сложилось давнее приятельство, и с другими литераторами; одного лишь Пушкина как-то миновало знакомство с этой оригинальной и, бесспорно, самой обворожительной фрейлиной императрицы. Было в молодой придворной особе что-то и непонятно-настораживающее. Однажды Пушкин увидел ее холодное, отчужденное лицо в профиль и проследил за ее взглядом, направленным на декорацию мундиров, пелерин, камзолов, складок, вуалей, оборок, эполет...

Как-то поздно вечером, когда поэт в одиночестве спускался по крыльцу Карамзиных, у которых устало доигрывала музыка, она встретилась ему и предложила:

— Пойдемте со мною танцевать, но так как я не особенно люблю танцы, то в промежутках мы поболтаем.

Отказаться было никак невозможно, и Пушкин вернулся в залу. Сказал ей, что давно приметил ее. Она в тон ответила, что только ради такого комплимента стоит жить среди всего этого, и обвела скучающим холодным взглядом залу. Пушкину понравилось, что она против ожидания не кокетничает с ним, естественно мила, прекрасно говорит, не засоряя, как все, свою чистую русскую речь галлицизмами и прононсами. А ночью родились стихи:

Она мила — скажу меж нами —
Придворных витязей гроза,
И можно с южными звездами
Сравнить, особенно стихами,
Ее черкесские глаза.

Пушкин много писал той зимой лирических стихов, но возмужавший гений его уже тянулся к истории России, к личности Петра. На чтение «Полтавы» он попросил Карамзиных пригласить их постоянную гостью, однако хорошо читать Пушкин не смог, а черноокая слушательница почему-то промолчала, не высказав ни-

какого заключення. «Полтаву» он посвятнл Аниушке Оленнной, которую в ту пору любнл вдохновенно. Поэты посвящалн много стихов н той, что вннмала в тот вечер Пушкнну, но больше комплиментарных нлн шутейных. Петр Вяземский

Вы донна Соль, подчас н донна Перец,
Но всем нам сладостно н лакомо от вас,
И каждый чувствамн н мыслямн нз нас
Ваш верноподданный н ваш еднноверец
Но всех счастлнвей будет тот,
Кто к сердцу вашему надежный путь проложнт
И радостно сказать вам сможет
О, донна Сахар, донна Мед!

Однако нн однн человек не проложнл пока путн к ее сердцу н сама нмператрнца советовала ей лучше выйтн замуж без любвн, чем остаться старой девой,— можно вконец соскучиться самой н наскучнть всем

Знакомство с прекрасной фрейлиной совпало со сватовством Пушкина к Аннушке Оленнной. Ее роднтелн отказали поэту из-за его полнтнческой неблагонадежностн. Через полтора года он впнсал в альбом Олениной восемь строк, по краткостн, простоте, нскренностн, глубнне и силе выражения чувства не имеющнх, пожалуй, аналогов в мировой поэзнн:

Я вас любнл, любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем,
Но пусть она вас больше не тревожнт
Я не хочу печалнть вас ннчем
Я вас любнл безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томнм,
Я вас любнл так нскренно, так нежно,
Как дай вам бог любнмой быть другнм

К черноокой же придворной красавнце нного чувства, кроме приязненного любопытства н уважнтельного вннмання, у Пушкина не возннкло. Онн, однако, подружнлнсь. Встречалнсь на балах, вечерах н обедах у Карамзнных н другнх, беседовалн о серьезном, таком, о чем с женщннамн обычно не говорят, и шутилн, доводя шуткн до язвительности, недоступной мужчинам Оказала она ему как-то н деловую услугу – передала одну нз глав «Евгения Онегнна» на непосредственную царскую цензуру

Шло время. Пушкнн женнлся, но прежияя дружба сохраннлась и даже окрепла. Летом 1831 года на ее даче в Царском Селе он чнтал Наталье Николаевне н ей свон сказкн, требуя нелнцепрнятных мненнй. А она могла высказать их, как откровенно высказалась однажды по поводу не понравнвшегося ей стнхотворения «Подъезжая под Ижоры», в котором, заметнла она Пушкину, он «выступает как бы подбоченившнсь» Автор, оценив это орнгннальное мнение, долго и весело смеялся.

В начале следующего года она вышла замуж, н Пушкнн стал большнм другом семейства «В 1832 году Александр Сергеевич прнходнл всякнй день ко мне»,— вспоминала она позже 18 марта

того года он подарил ей альбом с поэтическим эпиграфом, написанным как бы от ее лица:

В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Я сохранила взгляд холодный,
Простое сердце, ум свободный,
И правды пламень благородный
И, как дитя, была добра;
Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло
И шутки злости самой черной
Писала прямо набело.

Пушкин продолжал встречаться с нею у общих знакомых или навещая ее время от времени; было, очевидно, в их отношениях такое, что поэт ценил. Весной 1832 года она вместе с Пушкиным и Жуковским была в гостях у Екатерины Андреевны Карамзиной, вдовы знаменитого русского историка и писателя, сестры Петра Вяземского, которая любила и долгие годы сердечно опекала поэта. После этого вечера они долго не виделись, во всяком случае, почти весь следующий год,— в начале его она уехала за границу, вернулась только в августе 1833-го, а Пушкина с 18 августа по 20 ноября не было в Петербурге.

После долгого перерыва навестил он ее *14 декабря* 1833 года, в годовщину восстания на Сенатской площади. Пушкин не пишет в дневнике, о чем шел разговор в тот вечер, но несомненно, что в такой день он не мог не вспомнить своих друзей и *товарищей,* а она — родственника, страдавшего в Сибири.

— У нее среди декабристов были родные? — спрашивает дочь.

— Николай Лорер приходился ей дядей. В это время он жил на поселении в Кургане. Кстати, у него был большой альбом стихов, в котором послание Пушкина «В Сибирь» отличалось от авторского одним словом, вернее, даже одной буквой, в корне, однако, меняющей смысл концовки самого знаменитого политического стихотворения той поры:

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч в а ш отдадут.

— Кажется, смысл точнее, чем у самого Пушкина! — восклицает Ирина.— И всего-то одна лишь буква!

А я молча радуюсь, что она чувствует и правильно оценивает этот оттенок, случайно или не случайно явившийся в декабристской редакции пушкинского послания.

— Тебе, значит, сейчас семнадцать? — уточняю я.

— Ты каждый год меня спрашиваешь, сколько мне лет,— укоризненно выговаривает она.— Семнадцать, конечно.

— Одной петербургской девушке было всего пятнадцать, когда она сочинила свое послание к декабристам.

Соотчичи мои, заступники свободы,
О вы, изгнанники за правду и закон,
Нет, вас не оскорбят проклятием народы,
Вы не услышите укор земных племен!
Удел ваш — не позор, но слава, уваженье,
Благословения правдивых сограждан,
Спокойной совести, Европы одобренье
И благодарный храм от будущих славян!

— Хорошо и необычно начало: «соотчичи»! И еще лучше конец: «от будущих славян!» — отзывается дочь.— Как ее звали?

— Дуня Сушкова... Послание большое, и вот концовка:

Быть может... вам и нам ударит час блаженный
Паденья варварства, деспотства и царей,
И нам торжествовать придется мир священный
Спасенья россиян и мщенья за друзей!
Тогда дойдут до вас восторженные клики
России, вспрянувшей от рабственного сна.
Тогда вам явится, окончив бой великий,
Младых сообщников венчанная толпа;
Тогда в честь павших жертв, жертв чистых,
благородных
Мы тризну братскую достойно совершим,
И слезы сограждан ликующих, свободных
Наградой славною да будет вечно им!..

— Хорошие стихи! — восклицает дочь.

А я сижу и думаю о том, как можно, зная только это послание декабристам, написанное раньше пушкинского, первую известную русскую поэтессу именовать «салонной», что делается доныне? Однажды сам Пушкин заметил, что пишет она хорошо, хотя и говорит плохо, разительно отличаясь от его давней черноокой приятельницы. Дуня Сушкова, ставшая графиней Евдокией Ростопчиной, встречалась с ним у общих знакомых и особенно часто в последнюю зиму поэта. И она всю жизнь хранила у себя список пушкинского послания «В Сибирь», передав его незадолго до своей кончины в 1858 году Александру Дюма, наехавшему в Петербург...

— А со своей оригинальной черноокой приятельницей Пушкин еще встречался после 14 декабря 1833 года? — возвращает меня на прежний путь Ирина, задумчиво листая какую-то старую книгу.

— Не единожды.

Наверное, было в этой женщине что-то воистину притягательное, если великий поэт искал общения с нею. В 1834 году, судя по достоверным письменным источникам, Пушкин был у нее 7 марта, в конце апреля, 20 мая, 2 июня, в начале августа, 16 октября, 6, 17, 21 и 24 ноября — *десять раз*. Потом она снова уехала за границу, и надолго. Ее не было в России той зимой, когда поэт начал метаться в сетях грязных интриг и тяжких денежных долгов. Она ничего не знала об этом и за полтора меся-

ца до рокового дия ннтересовалась в пнсьме делами «Современника» и последними сочиненнями Пушкнна.

Горько плакала, узнав в Париже о смерти поэта от Андрея Карамзнна, которому мать сообщнла: «Пншу тебе с глазамн, наполненнымн слез, а сердце и душа тоскою и горечью; закатилась звезда светлая, Россня потеряла Пушкнна...» Вскоре Жуковскнй получит пнсьмо из Парижа: «Одно место в иашем кругу пусто, и ннкогда инкто его не замеинт. Потеря Пушкнна будет еще чувствнтельиее со временем»...

Думаю ниогда вдруг,— будь оиа той зимой в Петербурге, может, и не случилось бы иепоправимого? Коиечио, это из областн чнсто мечтательных предположеиий, ю она обладала проницательным умом, сильной волей, знаннем людей, жнзнн, большого света н двора, пользовалась влияннем иа все пушкннское окруженне н умела, вндио, постоять за себя н друзей, еслн, рано осиротев, сама, без помощн знатных, влнятельиых нлн богатых родствеиннков, добнлась такого положения в петербургском высщем обществе, иасквозь проннкнутом нитрнгамн, борьбой самолюбнй, властолюбнй, корыстолюбнй. И оиа могла бы, мечтается, распутать дьявольскую сеть вокруг поэта или, по крайней мере, вовремя предупреднть его о смертельной опасностн...

Эта жеищниа была, знать, вонстиину незаурядной, н не только «за краснвые глаза» ей посвящали стнхн, кроме Пушкииа и Вяземского, миогне поэты — Иван Мятлев, Алексей Хомяков, Василий Туманскнй и даже одна поэтесса — Евдокия Ростопчниа.

— Что же напнсала она? — спрашнвает Ирнна.

В своем посвящении Ростопчнна подчеркивает сложность этой богатой иатуры, осужденье ею жнзин н людей, горькое разочароваине в ннх.

Но вам являлась лн она,
Раздумья томного полиа,
В тоске тревожиой н смятениой,
Когда в разуверенья час
Она клянет тщету земную,
Обмаиы сердца, жнзнь пустую
И женщнн долю роковую,
И все, н всех — себя н вас...

— Тебе ие кажется, что есть в этнх стихах что-то лермонтовское?

— Молодчнна, дочь! Лермонтов, уезжая на Кавказ навстречу своей смертн, подарнл Евдокнн Ростопчииой альбом, куда вписал строчки о родстве нх душ — первая русская поэтесса стала едннствеиным человеком, удостоенным *таких* его слов!

— А я вспомннла нх! Это?

Я верю: под одиой звездою
Мы с вамн были рождены;
Мы шли дорогою одиою,
Нас обманулн те же сны...

— Да, и дальше хорошо, и такая прекрасная концовка:

Так две волны несутся дружно
Случайной, вольною четой
В пустыне моря голубой:
Их гонит вместе ветер южный;
Но их разрознит где-нибудь
Утеса каменная грудь...
И, полны холодом привычным,
Они несут брегам различным,
Без сожаленья и любви,
Свой ропот сладостный и томный,
Свой бурный шум, свой блеск заемный
И ласки вечные свои.

Через паузу, заполненную эхом этих дивных стихов, я сказал:

— Между прочим, Лермонтов был знаком и с той, пушкинской приятельницей.

Он встречался с нею у тех же Карамзиных, хотя большой дружбы меж ними, кажется, не возникло — не то времени недостало для постепенного узнавания друг друга, не то она с возрастом делалась настороженнее к людям, не то просто их переменчивые настроения не сходились в часы встреч. Однажды он заехал к ней с визитом, но хозяйки не оказалось дома, и Лермонтов оставил в ее альбоме, всегда лежащем наготове на отдельном столике, свою, так сказать, визитную карточку:

В простосердечии невежды
Короче знать я вас желал,
Но эти сладкие надежды
Теперь я вовсе потерял.

Быть может, до своего последнего отъезда на Кавказ он все-таки успел узнать ее короче, потому что эти строки так и остались в альбоме, а в печать он разрешил только продолжение, не противоречащее, впрочем, началу:

Без вас хочу сказать вам много,
При вас я слушать вас хочу;
Но молча вы глядите строго,
И я в смущенин молчу.
Что ж делать?.. Речью неискусной
Занять ваш ум мне не дано...
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно.

Последние две строки однажды использовал В. И. Ленин в полемике с кадетами, и вы, дорогой читатель, не раз их слышали по разным поводам, совсем не задумываясь, по какому случаю они явились впервые; так свежая, оригинальная, афористично выраженная мысль, взятая из литературы, давно и самостоятельно живет среди нас... Как-то я встретил эти строки в памфлете, разоблачающем литератора-диссидента, который предложил в одном из своих психопатических писаний переместить население европей-

скон территории СССР на Дальний Восток и азиатский север, чтобы освоить эти районы за счет средств, отпускаемых на космические исследования, но оставившего открытым вопрос о том, кто будет жить по сю сторону Урала «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.. »

Вернемся, однако, к человеку, которому эти слова были посвящены изначально. В своей неоконченной повести «Лугин» Лермонтов набросал ее портрет· «Она была среднего роста, стройна, медленна и ленива в своих движениях, черные, длинные, чудесные волосы оттеняли ее молодое и правильное, но бледное лицо, и на этом лице сияла печать мысли. Ее красота, редкий ум, оригинальный взгляд на вещи должны были произвести впечатление на человека с умом и воображением»

Она носила обыкновенное русское имя и фамилию — Александра Смирнова — и была дочерью обрусевшего эмигранта, служилого человека. И так уж сложилась ее судьба, что она стала единственной женщиной, которая за свою жизнь лично узнала, в сущности, весь цвет русской культуры девятнадцатого века — от Ивана Крылова до Льва Толстого. Кроме уже известных читателю имен назову еще Владимира Одоевского, Александра Тургенева, Федора Тютчева, Виссариона Белинского, Сергея и Ивана Аксаковых, Ивана Козлова, Ивана Тургенева, Алексея Толстого, Якова Полонского, который был воспитателем ее сына, художника Иванова, артиста Щепкина..

Белинский, заехав со Щепкиным по пути на юг в Калугу, писал жене «Пребывание в Калуге останется для меня вечно памятным по одному знакомству. Я был представлен Смирновой, c'est une dame de qualite (это достойная дама.— *В Ч*), свет не убил в ней ни ума, ни души, и того и другого природа отпустила ей не в обрез. Чудесная, превосходная женщина,— я без ума от нее. Снаружи холодна, как лед, но страстное лицо, на котором видны следы душевных и физических страданий, изменяет невольно величавому наружному спокойствию»

Однако далеко не на всех производила она одинаковое впечатление, не каждый осыпал ее комплиментами Иван Аксаков, работавший в Калуге председателем Уголовной палаты и часто встречавшийся с нею, писал

И тяжело, и грустно видеть
Что вами все соглашено,
Что неспособны вы давно
Негодовать и ненавидеть

И если Василий Жуковский называл молодую Александру Смирнову «небесным дьяволенком», то Иван Тургенев, узнав ее позже, отметил лишь «острый ум, зоркий взгляд, меткий и злой язычок», создав в «Рудине» малопривлекательный образ барыньки Ласунской Должно быть, с годами она, теряя здоровье и одного за другим тех, кого ей посчастливилось узнать, черствела душой и утрачивала «веселость ума», если сам Лев Толстой с его любовью

к жизни и людям, с его глубочайшим пониманием их тихих трагедий, не нашел для нее добрых слов...

И уж совсем особая статья — отношения Александры Смирновой с первым великим мастером русской классической прозы, создавшим *направление* в родной литературе, и было бы грешно, дорогой читатель, на этом отрезке нашего путешествия в прошлое обойти их стороной, не припомнить старых свидетельств и не прислушаться к полузабытым голосам современников гениального художника на подступах к творческой пропасти, что вроде бы вдруг разверзлась пред ним и поглотила его...

32

Вскоре после его смерти Александра Смирнова записала в свой альбом: «Каким образом, где именно и в какое время я познакомилась с покойным Н. В. Гоголем, совершенно не помню. Это может показаться странным, потому что встреча с замечательным человеком обыкновенно памятна... Когда я однажды спрашивала Н. В., где мы с ним познакомились, он мне отвечал: «Неужели вы не помните? Вот прекрасно! Так я ж вам не скажу; это, впрочем, тем лучше, это значит, что мы с вами всегда были знакомы». И сколько раз я его потом ни просила мне сказать, где мы познакомились, он всегда отвечал: «Не скажу, мы всегда были знакомы».

В этом по-гоголевски тонком и стыдливо-деликатном шутливом ответе сквозит приязнь писателя к своей знакомой и надежда на продолженье дружбы, которая завязалась так же незаметно и естественно, как знакомство. В письменном наследии Гоголя тоже не сохранилось свидетельств первой их встречи, но предполагается, что произошла она через посредство Жуковского или Пушкина. В начале 1831 года Гоголь по рекомендательному письму познакомился с Жуковским, Пушкину был представлен весной у П. Плетнева на вечере, а в ноябре писал А. Данилевскому: «Все лето я прожил в Павловске и Царском Селе. Почти каждый вечер

собирались мы: Жуковский, Пушкин и я...» Должно быть, в Царском Селе и произошла первая встреча Гоголя с этой женщиной, снимавшей тем летом дачу неподалеку от Пушкиных.

Конец лета озарился огромным событием в жизни Гоголя. В августе Пушкин написал издателю, поэту, журналисту и критику А. Воейкову: «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился!..» И вот 10 сентября Гоголь пишет Жуковскому: «...Теперь только получил экземпляры для отправления вам: один собственно для вас, другой для Пушкина, третий, с сентиментальной надписью для Розетти»...

— Розетти? — удивляется дочь.— Девичья фамилия матери нашего предка-декабриста была французской — Розет.. А «Розетти» — это что-то итальянское.

— Гоголь так ошибочно назвал Александру Смирнову, еще носившую свою девичью фамилию. Кстати, Пушкин писал ее по-иному:

Черноокая Россети
В самовластной красоте
Все сердца пленила эти,
Те, те, те и те, те, те..

— И тоже ошибался,— говорю я дочери.— О подлинной родовой фамилии Александры Смирновой мы с тобой поговорим попозже.

Дорога на Козельск. Подходил сентябрь, и осень следовала за нами по пятам. В зеркальце было видно, как жухлая трава на обочинах тянулась серыми нитями, вихрился за багажником желтый лист, а спереди наплывали темные вислые тучи. Не сегодня завтра задождит, а мне надо побывать на водоразделе за Жиздрой, проехать к нескольким деревенькам, если они еще стоят в целости и сохранили хотя бы остатки того, на что я должен взглянуть. Что за дороги окрест Козельска, могут ли они сносить дожди? И главное, приоткроет ли этот городок свою тайну семивековой давности?..

Дорога вдруг перестала замечаться, мои вопросы уплыли куда-то назад — вспомнилось о Гоголе, о том, как он в сентябре 1851 года, за несколько месяцев до смерти, последний раз проезжал здесь в смятении духа, сомневаясь, правильно ли поступил, сев в эту коляску, и не зная, ехать ли за Козельск дальше, на родную Украину, или воротиться назад в Москву, и вообще, что ему делать и как жить, ежели жить... Перед отъездом на свадьбу сестры Гоголь сообщил матери, что нервы его «расколебались от нерешительности, ехать или не ехать», и что он испытывает беспокойство, волнение, и виною этого он сам, так как «всегда мы сами бываем творцы своего беспокойства,— именно оттого, что слишком много цены даем мелочным, нестоющим вещам»

Калугу он с грустью проехал мимо. Издали она уже не показалась ему похожей на Константинополь — солнца не было на небе, низкие серые тучи мели серый город мокрыми хвостами, и в нем не жила теперь та женщина, с коей связывалось, о боже, столько воспоминаний и переживаний!..

Пятнадцать с лишком лет назад на первом представлении «Ревизора», выйдя на сцену, он вроде бы увидел, как она смеялась и рукоплескала в партере, несколько не по-светски хватала руки мужа и хлопала ими... До репетиций Гоголь опробовал комедию в кругу самых близких друзей. В январе 1836 года В. Жуковский, подписавшись своей кличкой «Бык», сообщил Александре Смирновой: «...В воскресенье буду к вам обедать. Но вот предложение: вам хотелось слышать Гоголеву комедию. Хотите, чтобы я к вам привез Гоголя? Он бы почитал после обеда»... Записка В. Жуковского, напечатанная в «Русском архиве» за 1883 год, свидетельствует, возможно, о первом доцензурном, для самого узкого круга, чтении «Ревизора», хотя издавна считается, что первое обнародование комедии состоялось на традиционном субботнем вечере 18 января 1836 года у В. Жуковского в присутствии А. Пушкина и П. Вяземского, написавшего об этом, и позже — о сценическом ее успехе: «Ревизор» имел полный успех на сцене: общее внимание зрителей, рукоплескания, задушевный и единогласный хохот, вызов автора после двух первых представлений, жадность публики к последовавшим представлениям и, что всего важнее, живой отголосок ее, раздававшийся после в повсеместных разговорах,— ни в чем не было недостатка».

Великая комедия, однако, разделила петербургскую публику. Воспоминатели зафиксировали немало безымянных суждений вроде: «Как будто есть такой город в России»; «Как не представить хоть одного честного, порядочного человека?»; «Да! нас таких нет!»; «Он зажигатель! Он бунтовщик!»; «Это — невозможно, клевета и фарс».

История сохранила и, так сказать, персональные мнения.

Николай I, император: «Ну, пьеска! Всем досталось, а мне — более всех!»

Кукольник, поэт: «А все-таки это фарс, недостойный искусства».

Канкрин, граф, министр финансов: «Стоило ли ехать смотреть эту глупую фарсу».

Лажечников, писатель: «Высоко уважаю талант автора «Старосветских помещиков» и «Бульбы», но не дам гроша за то, чтобы написать «Ревизора».

Вигель, тайный советник, директор департамента: «Я знаю г. автора «Ревизора» — это юная Россия, во всей ее наглости и цинизме».

Барон Розен, поэт и драматург, гордился тем, что, когда Гоголь, на вечере у Жуковского, в первый раз прочел своего «Ревизора», он «один из всех присутствующих не показал автору ни малейшего одобрения и даже ни разу не улыбнулся, и сожалел

о Пушкине, который увлекся этим оскорбительным для искусства фарсом и во все время чтення катался от смеха». А московские разнотолки сардонически подытожил знаменитый оргинал граф Федор Толстой-«Амернканец», заявив, что автор «Ревизора» — враг России н его следует в кандалах отправить в Снбирь...

Гоголь с его обостренной мнительностью преувеличивал чнсло и значение недобрых отзывов: «Господи боже! — вырвалось у него однажды.— Ну, если бы один, два ругалн, ну, и бог с нними, а то все, все»... Его объяли тоска и бессильная злость. «Я был сердит и на зрителей, меня не понявших, и на себя самого, бывшего виной тому, что меня не понялн. Мне хотелось убежать от всего».

Друзья поддержнвалн его в беседах и письмах, а в общенни друг с другом вырабатывали тот взгляд на талант Гоголя, коему суждено было выдержать неподкупиый суд временн. Весной 1836 года Александра Смирнова получила первый номер пушкинского «Современника», где былн напечатаны гоголевские «Коляска» и «Утро делового человека», и напнсала П. Вяземскому: «...Я его вкушаю с чувством и расстановкой, разом проглотив Чиновников и Коляску Гоголя, смеясь, как редко смеются, а я никогда...» Александра Смирнова не предполагала, что «маленькое сокровище», как назвала она Гоголя в том же письме, скоро найдет ее вдали от роднны... А ожидая выхода первого номера «Современника», на который она подпнсалась, прислала из Берлина большое письмо, где высказывает свое мненне о лучшем формате для журнала, времени выхода, опасается, «чтобы название «Современник» не щекотало целомудренных ушей Греча, Булгарина и К°, и онн отомстят, указывая на слншком современную аллюру нашего издания». Кстати, она неплохо разбиралась н в западной литературе, много чнтая на французском, немецком и английском. «Скажите Пушкину, что я могу ему сообщить все, что происходит в лнтературном мире Берлина, хотя и не вижу рецензентов и альманашников. А ведь и здесь жалуются, как и у нас, на застой в изящной лнтературе: изредка несколько стихотвореинй Шамиссо, в настоящую минуту стихотворения графа Платена, изданные в Ганновере,— вот почти все сколько-нибудь замечательное из литературных явлений»...

А для Гоголя открылась новая полоса жизни — начались его долгие скитания по белу свету. Гамбург, Бремен, Мюнстер, Аахен, Майнц, Франкфурт, Баден-Баден, Берн, Лозанна, Женева, Ферней, Веве.

В. Жуковскому: «...Я принялся за «Мертвые души», которых было начал в Петербурге. Все начатое я переделал вновь. Обдумал более весь план н теперь веду его спокойно, как летопись.. Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то... какой огромный, какой оригнальный сюжет Какая разнообразная куча. Вся Русь явится в нем. Это будет первая моя порядочная вещь,— вещь, которая вознесет мое имя...»

Александра Смирнова: «В 1837 году я провела зиму в Париже.. В конце зимы был Гоголь с приятелем своим Данилевским

Он был у нас раза три один, и мы уже обходились с ним как с человеком очень знакомым... Мы читали с восторгом «Вечера на хуторе близ Диканьки», и они меня так живо перенесли в великолепную Малороссию. Оставив еще в детстве этот край, я с необыкновенным чувством прислушивалась ко всему тому, что его напоминало, а «Вечера на хуторе» так ею и дышат. С ним тогда я обыкновенно заводила речь о высоком крыльце и бурьяне, о белых журавлях на красных лапках, которые по вечерам прилетают на кровлю знакомых хат, о галушках и варениках, о сереньком дымке, который легко струится и выходит из труб каждой хаты; пела ему «ой, не ходы, Грицю, на вечорныцы».

В ту зиму Гоголю хорошо работалось. Переписывались набело глава за главою, роман-поэма приобретала стройность, общее звучание. И вдруг страшное, роковое известие — убит Пушкин!

Андрей Карамзин — матери: «У Смирновых обедал Гоголь: трогательно и жалко смотреть, как на этого человека подействовало известие о смерти Пушкина. Он совсем с тех пор не свой. Бросил то, что писал, и с тоской думает о возвращении в Петербург, который опустел для него».

Гоголь — Плетневу: «Никакой вести хуже нельзя было получить из России. Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его перед собою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое — вот что меня только занимало и одушевляло мои силы... Нынешний труд мой, внушенный им, его создание... я не в силах продолжать. Несколько раз принимался я за перо — и перо падало из рук моих. Невыразимая тоска».

Он не поехал в Петербург, вдруг опустевший, направился в Рим, надеясь там, в «вечном городе», найти силы для продолжения жизни и творчества.

Гоголь — Погодину: «Когда я творил, я видел перед собой только Пушкина... И теперешний труд мой есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни одна строчка не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я тешил себя мыслью, как будет доволен он, угадывал, что будет нравиться ему, и это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды впереди нет! Что труд мой? Что теперь жизнь моя? Ты приглашаешь меня ехать к вам. Для чего? Не для того ли, чтоб повторить вечную участь поэтов на родине?.. Для чего я приеду? Не видал я разве дорогого сборища наших просвещенных невежд? Или я не знаю, что такое советник, начиная от титулярных до действительных тайных? Ты пишешь, что все люди, даже холодные, были тронуты этой потерей. А что эти люди готовы были делать ему при жизни? Разве я не был свидетелем горьких, горьких минут, которые приходилось чувствовать Пушкину?..»

По воспоминаниям русских художников, живших в Риме, Гоголь часто уходил из города, часами лежал на траве, слушая пе-

ние птиц, и, так и не сказав спутникам ни слова, возвращался...

С. Т. Аксаков: «Из писем самого Гоголя известно, каким громовым ударом была для него эта потеря. Гоголь сделался болен и духом, и телом. Я прибавлю, что, по моему мнению, он уже никогда не выздоравливал совершенно и что смерть Пушкина была одною из причин всех болезненных явлений его духа, вследствие которых он задавал себе неразрешимые вопросы, на которые великий талант его, изнеможенный борьбою с направлением отшельника, не мог дать удовлетворительных ответов».

«*Одною из причин...*» Да, были и другие. Как известно, Пушкин, оставивший своему народу и всему человечеству бессмертные тома, ценность которых никогда не поддастся исчислению — так она велика, умер бы со своим семейством с голоду, если б не делал долгов. Только предъявленный после его смерти суммарный кредиторский счет составил сто тысяч рублей. Гоголь приехал в Рим с двумястами франками в кармане, скоро у него не осталось ни гроша. Занять было не у кого, друзья-художники сами нищенствовали.

Гоголь — Жуковскому: «...Меня страшит мое будущее»... «...Я начинаю верить тому, что прежде считал басней, что писатели в наше время могут умирать с голоду»...

Неизвестно, знал ли Гоголь о том, что пушкинские долги были по разрешению царя погашены казной, только он был вынужден униженно запросить Жуковского о возможности получения казенного же вспомоществования и вскоре получил от монарших щедрот вексель на пять тысяч рублей...

Александра Смирнова: «Лето 1837 года я провела в Бадене, и Гоголь приехал не лечиться, но пил по утрам холодную воду в Лихтентальской аллее. Мы встречались почти каждое утро. Он ходил или, лучше сказать, бродил один, потому что иногда был на дорожке, а чаще гулял зигзагами по лугу у Стефании-бад. Часто он так был задумчив, что я долго, долго его звала; обыкновенно он отказывался со мною гулять, приводя самые странные причины. Его, кроме Карамзина, из русских никто не знал, и один господин высшего круга мне сказал, встретив меня с ним: «Вы гуляете с каким-то Гоголем, человеком очень дурного тона»...

Гоголь был нездоров и физически. У него издавна не ладилось с желудком и кишечником, он, быть может, страдал, говоря по-современному, колитом, гастритом, язвенной болезнью или комплексом хронических болячек, связанных с плохим питанием, индивидуальной природной организацией психики, истощением нервной системы. Силы его подрывал беспрерывный и тяжкий труд. Не дошедшие до нас юношеские повести, трагедии, стихи, сатиры, потом «Италия», «Ганц Кюхельгартен», «Басаврюк», «Учитель», «Женщина», «Страшный кабан», «Гетьман», «Вечера на хуторе...», «Альфред», исторические сочинения, «Миргород», «Арабески», «Коляска», «Нос», «Утро делового человека», «Шинель», «Тяжба», отрывок «Лакейская», «Владимир 3-ей степени», другие неоконченные пьесы и драмы, первая редакция «Тараса Бульбы», «Женитьба», «Ревизор». Попутно со всем этим — трудные статьи, длинные пись-

ма, разнообразные встречи и знакомства, лекции с профессорской кафедры и, наконец, «Мертвые души», которые уже просились в свет первыми главами...

Александра Смирнова: «В июне месяце он вдруг предложил собраться и объявил, что пишет роман «Мертвые Души» и хочет прочесть нам две первые главы. Андрей Карамзин, граф Лев Сологуб, В. П. Платонов и нас двое условились собраться в семь часов вечера. День был знойный. Около седьмого часа мы сели кругом стола. Гоголь взошел, говоря, что будет гроза, что он это чувствует, но несмотря на это вытащил из кармана тетрадку в четверть листа и начал первую главу. Надобно было затворить окна. Хлынул такой дождь, какого никто не запомнил. В одну минуту пейзаж переменился: с гор полились потоки, против нашего дома образовалась каскада с пригорка, а мутная Мур бесилась, рвалась из берегов. Гоголь посматривал сквозь стекла и сперва казался смущенным, но потом успокоился и продолжал чтение. Мы были в восторге, хотя было что-то *странное* (курсив мой.— *В. Ч.*) в душе каждого из нас».

Однажды они съездили из Бадена в Страсбург. У знаменитого собора он быстро скопировал на бумагу сложные орнаменты над готическими колоннами.

— Как хорошо вы рисуете! — воскликнула она.

— А вы этого и не знали? — спросил Гоголь.

Вскоре он принес ей изящный, сделанный тонким пером эскиз части собора. Она залюбовалась им, но Гоголь сказал, что нарисует для нее что-нибудь получше этого, и разорвал лист на мелкие клочки...

В Баден-Бадене Гоголя снова настигло безденежье. «Я совсем прожился»,— пишет он в июле одному петербургскому другу и просит взаймы полторы тысячи в надежде на новую «крупную вещь», которую он собрался печатать в начале следующего года.

Александра Смирнова: «В половине августа мы оставили Баден-Баден, и Гоголь с другими русскими проводил нас до Карлсруэ, где ночевал с мужем в одной комнате и был болен всю ночь, жестоко страдая желудком и бессонницей».

«Мертвые души» не появились ни через обещанные полгода, ни через год, ни через три. Чтобы реализовать свой талант и знание жизни в художественном произведении, даже гению нужно телесное и душевное здоровье, а их у Гоголя не было; чтобы работалось, нужно было лечиться и отдыхать, но для этого требовались деньги, которых тоже не было, а чтобы их достать в долг или хотя бы взамен денег — прокормиться какой-то срок, надо было писать длинные объяснительные, просительные письма, общаться с влиятельными и имущими и для этого ездить, разрушая здоровье, так нужное для того, чтобы работать в зыбкой надежде обеспечить свое существование; дьявольский круг! Годы, города и страны мелькали с калейдоскопической быстротой и пестротой: 1837-й — Рим, Баден-Баден, Женева, Рим; 1838-й — Рим, Неаполь, Париж, Генуя, Рим,

1839-й — Марсель, Мариенбад, Вена, Москва, Петербург, снова Москва; 1840-й — Вена, Венеция, Рим; 1841-й — Италия, Германия, Россия...

В Петербурге Гоголь навестил Александру Смирнову в ее доме на Мойке, «Мертвые души» были готовы, но Гоголь не стал ничего из них читать, надеялся быстро напечатать поэму в Петербурге, однако почему-то переменил решение и увез рукопись в Москву. На ней, родившейся так трудно, сходились все его надежды, в том числе и материальные — он был в долгу, как в шелку, рассчитываясь с долгами долгами же. Полторы тысячи рублей Прокоповичу, долг княжне Репниной и большой суммарный долг по реестру 1838 года, выданный Шевыреву, тысяча Плетневу, под гарантийное письмо Погодина две тысячи рублей банкиру Валентини, две тысячи франков с бесчисленными добавками в рублях Погодину же, две тысячи рублей петербургскому откупщику Бернардаки, четыре тысячи Жуковскому, который занял их для этой цели у наследника престола; не раз одалживался, наверное, Гоголь у З. Волконской, С. Аксакова, Виельгорских и так далее, причем итоговый долг лишь редактору «Москвитянина» Погодину к 1842 году составил шесть тысяч рублей...

И вот «Мертвые души» — не только высшее творческое самовыражение писателя, но и средство выпутаться наконец-то из мрежей давних и унизительных долгов, подлечиться и отдохнуть.

Начался новый, 1842 год...

Гоголь — Плетневу: «Расстроенный духом и телом пишу к вам. Сильно хотел бы я теперь в Петербург; мне это нужно, я это знаю и при всем том не могу. Никогда так не в пору не подвернулась ко мне болезнь. Припадки ее приняли теперь такие странные образы... Но бог с ними! Не об болезни, а об цензуре я теперь должен говорить...

Удар для меня никак не ожиданный: запрещают мою рукопись... Обвинения, все без исключения, были комедия в высшей степени...»

«Цензоры-азиатцы», как назвал их в этом же письме Гоголь, завязав «разговор единственный в мире», предъявили «Мертвым душам» и их автору следующие претензии:

— «Мертвые души»?! — закричал председатель цензорского комитета.— Нет, этого я никогда не позволю: душа бывает бессмертна; мертвой души не может быть, автор вооружается против бессмертья.

— Ах, имеются в виду ревижские души? — разобрались цензоры.— Этого и подавно нельзя позволить... Это значит против крепостного права.

— Предприятие Чичикова есть уже уголовное преступление... И пойдут другие брать пример и покупать мертвые души.

— Что вы ни говорите, а цена, которую дает Чичиков, цена два с полтиною, возмущает душу. Человеческое чувство вопиет против этого, хотя, конечно, эта цена дается только за одно имя, написанное на бумаге, но все же это имя — душа, душа человеческая; она жила, существовала. Этого ни во Франции, ни в Анг-

лии и нигде нельзя позволить. Да после этого ни один иностранец к нам не приедет!

— У него там один помещик разоряется, обставляя дом в Москве в модном вкусе... Да и государь строит в Москве дворец! Вот вам вся история...

«У меня, вы сами знаете, все мои средства и все мое существование заключены в моей поэме. Дело клонится к тому, чтобы вырвать у меня последний кусок хлеба, выработанный семью годами самоотверженья, отчуждения от мира и всех его выгод. Другого я ничего не могу предпринять для моего существования. Усиливающееся болезненное мое расположение и недуги лишают меня даже возможности продолжать далее начатый труд. Светлых минут у меня нет много, а теперь просто отымаются руки. Но что я пишу вам, я думаю, вы не разберете вовсе моей руки...»

Гоголь не в силах был продолжать — в комнате становилось холодно, в душе еще холодней. Заледеневшие окна почти не пропускали света, и свеча на столе догорала. Ему показалось, что пишет он совсем не то, что надо, и не тому, кому сейчас надо... Ректор Петербургского университета был образованным и влиятельным человеком, однако не лучше ли вначале написать той, что туманно явилась вдруг перед глазами, когда он их устало закрывал?.. И надобно прежде спуститься вниз, чтобы взять свечей и велеть истопнику пораньше затопить печь — ночь, видно, будет морозной и ветреной, и он только позавтракал сегодня, хотя есть почему-то совсем не хотелось, да и денег не было даже истопнику на водку...

Белинский заедет рано утром за рукописью. Вот она, плод многолетних наблюдений и раздумий, труда и фантазии, в коей он, как перед богом сказать, никогда не был силен, списывал с натуры, одновременно силясь выразить то, что выразить невозможно этими слабыми словесными отголосками...

Представим себе на минуту, дорогой читатель, что первый том «Мертвых душ» не был бы никогда напечатан! Наша литература и мировая культура лишились бы одного из самых вдохновенных творений; скульптурные, живые, почти осязаемые образы его не выстраивались бы перед миллионами читателей каждого поколения, а представление о русской литературе и российской жизни XIX века осталось бы донельзя неполным и обедненным. Учитывая стихийную, взрывчатую, почти неуправляемую натуру Гоголя, его постоянное предельное нервное напряжение и периодические припадки острой меланхолии, и в данном случае невозможно было отрицать вероятность несчастья, постигшего второй том. Ведь второй том «Мертвых душ» сжигался дважды, о чем нам еще доведется вспомнить. И сохранилось достоверное свидетельство о том, как работал Гоголь после смерти Пушкина, выраженное коротко и страшно: «Пишет и жжет» За три месяца до передачи первого тома «Мертвых душ» московским цензорам Гоголь во

Франкфурте бросил в камин законченную драму из малороссийской истории, над которой работал много лет! А повод-то был вроде совсем пустяковый — Жуковский, должно быть, согретый теплом обеда у огня, задремал во время ее чтения... Быть может, Гоголь и сам видел, что драма художественно слаба, но мы ничего не можем сказать об этом произведении; лишь случайно уцелела в памяти одного современника Гоголя реплика героя драмы, подсмотренная на бумаге: «И зачем это господь бог создал баб на свете, разве только, чтоб казаков рожала баба...»

К счастью, с первым томом «Мертвых душ» непоправимого не произошло, и некоторые подробности его выхода в свет возвращают нас к женщине, о коей вроде бы выше достаточно сказано, однако далеко и далеко не все.

Трещал на дворе рождественский московский морозец. Ночь. Гоголь дожигал вторую свечу, торопясь дописать большое письмо в Петербург — Александре Осиповне Смирновой. Вот и эта свеча догорела, письмо было закончено. Гоголь в изнеможении прилег, рука дрожала, торопясь за лихорадочной мыслью, он повторял только что написанные слова отчаяния и дорогих воспоминаний, нижайших просьб и безысходной тоски.

...А что, ежели усилия ее и Плетнева ни к чему не приведут и петербургская цензура явится в тех же тенетах мракобесия и невежества? Надобно, чтобы прежде все решил один человек, способный понять поэму, простить ее сгущение, сделанные ради грядущей пользы русского народа и государства, и мнения коего могли бы возобладать над робкими! Написать Никитенке? Этот умен, честен, хотя и осторожен и не слишком влиятелен, и слишком наблюдателен за чистотою нравов... Нет, если искать такого человека, то только в самом зените! Государь своей волей разрешил к постановке «Ревизора», и в его руки надо передать рукопись — он же не может не понимать, чем станет в отечественной истории, ежели самолично запретит поэму! О, если б дожил Пушкин!.. Если б он мог узнать в своем блаженном райском далеке, что клятва, данная ему, исполнена, пусть и наполовину!.. А ведь и царь христианин, как и я, с колыбели знает о страданиях Иисуса, и хоть иногда, но все же не могут не восставать пред ним образы тех, кого он не пожелал пощадить для жизни земной? Только надо ему написать просто, не много, без стону и с убежденностью в искренности намерений. Но, может, лучше будет прежде доверить рукопись князю Владимиру Федоровичу Одоевскому? Философический настрой его ума, безупречный литературный вкус, отвращение ко всяческой пошлости, широта познаний и давняя приязнь позволят ему первому в «Мертвых душах» углядеть живую душу автора и то, ради чего они писаны.

Гоголь рывком поднялся, кинулся к столу, без помарок, в несколько фраз написал прошение императору и вложил его между листов, адресованных Александре Осиповне... Она, в крайнем случае, через императрицу или великую княжну Марию Николаевну найдет близкую тропку к царю... да, надобно про это при-

писать Александре Осиповне, хотя письмо к ней и так вышло чрез мерно большим и несвязным..

Боже, как болит желудок и трепещет сердце! Забыться бы, ес ли не заснуть...

Прошло два часа или более того. Морозное окно чуть посвет лело. Сейчас заедет Белинский. Надо его направить с рукописью к Одоевскому, тот поймет, это несомненно! Граф Сергей Григорьевич Строганов, к коему давеча привели совершенно потерявше гося Гоголя, советовал тоже отправить рукопись в Петербург Он был снисходительно-любезен, генерал и богатей, попечитель учебного округа древней столицы и глава цензурного комитета, только хорошо б от него какое-нибудь письмецо в столицу новую...

Н. В. Гоголь — В. Ф Одоевскому: «Принимаюсь за перо писать к тебе, и не в силах. Я так устал после письма, только что конченного, к Александре Осиповне, что нет мочи. Часа два после того лежал в постели, и все еще рука моя в силу ходит Но ты все узнаешь из письма к Александре Осиповне, которое доставь ей сейчас же, отвези сам, вручи лично. Белинский сейчас едет. Времени нет мне перевести дух, я очень болен и в силу дви гаюсь. Рукопись моя запрещена. Проделка и причина запреще ния — все смех и комедия. Но у меня вырывают мое последнее имущество. Вы должны употребить все силы, чтоб доставить ру копись государю. Ее вручат тебе при сем письме. Прочтите ее вместе с Плетневым и Александрой Осиповной, и обдумайте, как обделать лучше дело. Обо всем этом не сказывайте до времени никому. Какая тоска, какая досада, что я не могу быть лично в Петербурге! Но я слишком болен, я не вынесу дороги..

Прощай, обнимаю тебя бессчетно. Плетнев и Смирнова прочтут тебе свои письма. Ты все узнаешь. Кроме них не вручай никому моей рукописи. Да благословит тебя бог!»

...И Плетневу надобно теперь же дописать о деле, дай бог сил... Никогда столько не писал в одну ночь... Рука едва держит перо, и надо писать короткими фразами, чтоб отдыхать. «Дело вот в чем. Вы должны теперь действовать соединенными силами и доставить рукопись государю. Я об этом пишу к А. О. Смирновой Я просил ее через великих княжен или другими путями, это ваше дело. Об этом сделаете совещание вместе. Попросите Алекс Осипов., чтоб она прочла вам мое письмо. Это вам нужно. Рукопись моя у князя Одоевского. Вы прочитайте ее вместе, человека три-четыре, не больше Не нужно об этом деле производить огласки. Только те, которые меня любят, должны знать. Я твердо полагаюсь на вашу дружбу и на вашу душу, и нечего между нами тратить больше слов! Да благословит вас бог! Если рукопись будет разрешена, и нужно будет только для проформы дать цензору, то я думаю...»

А что я думаю? Что же именно я думаю, сам не понимаю, чего думаю..

«...Лучше дать Очкину (редактор «Санкт-Петербургских ведо

мостей», писатель и цензор.— *В. Ч.*) для подписанья, а впрочем, как найдете вы. Не в силах больше писать.

Весь ваш *Гоголь*».

...Два раза «будет», два раза «дать» в одной простой фразе, даже волостные писаря так не пишут, но сил нету выправить и переписать... Колоколец за окном... Белинский!

Шли дни и недели, а из Петербурга никаких вестей. Гоголь даже не знал, благополучно ли доехал Белинский, вручил ли кому надо рукопись и письма, каковы мнения первых читателей полного текста «Мертвых душ»; единственным спасением от мрака этой неизвестности было упование на бога, никогда, к сожалению, не разрешавшего земные дела, да деловое беспокойство *за дело*, то есть за судьбу поэмы.

Гоголь — Одоевскому: «Что же вы все молчите все? Что нет никакого ответа? Получил ли ты рукопись? Распорядились ли вы как-нибудь! Ради бога, не томите! Граф Строганов теперь велел сказать мне, что он рукопись пропустит, что запрещение и пакость случились без его ведома, и мне досадно, что я не дождался этого нежданного оборота; мне не хочется также, чтобы цензору был выговор. Ради бога, обделайте так, чтобы всем было хорошо и, пожалуйста, не медлите. Время уходит, время, в которое расходятся книги».

Угнетало безденежье, унижало прихлебательство даже у лучших друзей, не уверенных, как и автор, в благополучном исходе всего дела, и совсем не у кого было занять — Гоголь давно всем был должен, а сейчас и голоден, и болен странною болезнью, которую сам описал обстоятельнее, чем это мог бы сделать любой тогдашний лекарь: «Болезнь моя выражается такими страшными припадками, каких никогда еще со мною не было; но страшнее всего мне показалось то состояние, которое напомнило мне ужасную болезнь мою в Вене, а особливо, когда я почувствовал то подступившее к сердцу волнение, которое всякий образ, пролетавший в мыслях, обращало в исполина, всякое незначительно-приятное чувство превращало в такую страшную радость, какую не в силах вынести природа человека, а всякое сумрачное чувство претворяло в печаль, тяжкую, мучительную печаль, и потом следовали обмороки; наконец, совершенно сомнамбулическое состояние».

Граф Строганов — графу Бенкендорфу. 19 января 1842 года: «Узнав о стесненном положении, в котором находится г. Гоголь, автор «Ревизора» и один из наших самых известных современных писателей, нуждающийся в особом содействии, думаю, что исполню по отношению к вам свой долг, если извещу вас об этом и возбужу в вас интерес к молодому человеку. Может быть, вы найдете возможным доложить о нем императору и получить от него знак его высокой щедрости. Г. Гоголь строит все свои надежды, чтобы выйти из тяжелого положения, в которое он попал, на напе-

чатании своего сочинения «Мертвые Души». Получив уведомление от московской цензуры, что оно не может быть разрешено к печати, он решил послать ее в Петербург. Я не знаю, что ожидает там это сочинение, но это сделано по моему совету. В ожидании же исхода *Гоголь умирает с голоду и впал в отчаяние* (курсив мой.— *В. Ч.*). Я нимало не сомневаюсь, что помощь, которая была бы оказана ему со стороны его величества, была бы одной из наиболее ценных».

Бенкендорф — Николаю I. 2 февраля 1842 года: «Попечитель московского учебного округа генерал-адъютант гр. Строганов уведомляет меня, что известный писатель Г о г е л ь (разрядка моя, правописание подлинника.— *В. Ч.*) находится теперь в Москве в самом крайнем положении, что он основал всю надежду свою на сочинении своем под названием «Мертвые души», но оно Московскою цензурою неодобрено и теперь находится в рассмотрении здешней цензуры, и как между тем *Гогель не имеет даже дневного пропитания и оттого совершенно упал духом* (курсив мой.— *В. Ч.*), то граф Строганов просит об исходатайствовании от монарших щедрот какого-либо ему пособия. Всеподданнейше донося вашему императорскому величеству о таковом ходатайстве гр. Строганова за Гогеля, который известен многими своими сочинениями, в особенности комедией своей «Ревизор», я осмеливаюсь испрашивать всемилостивейшего вашего величества повеления о выдаче в единовременное пособие пятьсот рублей серебром».

Деньги вскоре пришли в Москву. Вслед за ними — известие о том, что «Мертвые души» пропускаются петербургской цензурой. Это главное случилось-сладилось без царя или великих княжен, но с бесспорным, хотя, кажется, и косвенным участием человека, на которого Гоголь возлагал главные надежды.

Александра Смирнова: «...Я получила от Гоголя письмо очень длинное, все исполненное слез, почти стону, в котором жалуется с каким-то почти детским отчаянием на все насмешливые отметки московской цензуры. К письму была приложена просьба к государю, в случае чего не пропустят первый том «Мертвых Душ». Эта просьба была прекрасно написана, очеиь коротко, исполнена достоинства и чувства, вместе доверия к разуму государя, который один велел принять «Ревизора» вопреки мнению его окружавших. Я, однако, решилась прибегнуть к совету графа М. Ю. Виельгорского; он горячо взялся за это дело и устроил все с помощью князя М. А. Дондукова, бывшего тогда попечителем университета».

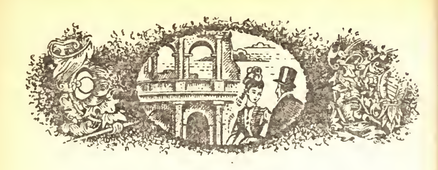
Эти строки, написанные много лет спустя, подправляет по свежей памяти в одном из своих писем Белинский. Граф Виельгорский, взрослый сын которого три года назад умер в Риме на руках Гоголя от чахотки, действительно получил при содействии Александры Смирновой рукопись «Мертвых душ» от Одоевского, но не слишком-то горячо взялся за дело, а Дондуков, сдается, совсем тут был ни при чем. Лишь благодаря чистой случайности — хлопотам в связи с балом у великой княгинии — Виельгорский не отвез поэму пресловутому Уварову, министру

просвещения и председателю главного управления цензуры, а второпях передал ее для приватного прочтения цензору А. В. Никитенко. Тот прочел ее дважды и осторожно порекомендовал кое-что показать в ней... тому же Уварову. «К счастию,— пишет Белинский,— рукопись не попала к сему министру погашения и помрачения просвещения в России... Никитенко не решился пропустить только кой-каких фраз, да эпизода о капитане Копейкине». Может, были еще какие-то хлопоты, опекательства и согласования, только бесспорно одно — судьба «Мертвых душ» висела на волоске! И если б не первоначальное решающее мнение Никитенко!..

Никитенко — Гоголю. 1 апреля 1842 года: «...Не могу удержаться, чтоб не сказать вам несколько сердечных слов,— а сердечные эти слова не что иное, как изъяснение восторга к вашему превосходному творению. Какой глубокий взгляд в самые недра нашей жизни! Какая прелесть неподдельного, вам одним свойственного комизма! Что за юмор! Какая мастерская, рельефная, меткая обрисовка характеров! Где ударила ваша кисть, там и жизнь, и мысль, и образ — и образ так и глядит на вас, вперив свои живые очи, так и говорит с вами, как будто сидя возле вас на стуле, как будто он сейчас пришел ко мне на 1-ый этаж прямо из жизни — мне не надобно напрягать своего воображения, чтобы завести с ним беседу — он живой, дышащий, нерукотворный, божье и русское созданье. Прелесть, прелесть и прелесть! и что будет, когда все вы кончите, если это исполнится так, как я понимаю, как, кажется, вы хотите, то тут выйдет полная великая эпопея России XIX века. Рад успехам истины и мысли человеческой, рад вашей славе. Продолжайте, Николай Васильевич. Я слышал, что вас иногда посещает проклятая гостья, всем, впрочем, нам, чадам века сего, не незнакомая,— хандра, да бог с ней! Вам дано много силы, чтоб с ней управиться. Гоните ее могуществом вашего таланта — она стоит самой доблестной воли. Но дело зовет, почта отходит — прощайте! Да хранит вас светлый гений всего прекрасного и высшего — не забывайте в вашем цензоре человека, всей душой вам преданного и умеющего понимать вас».

А 20 апреля 1842 года другой непосредственный участник эпопеи с поэмой, сообщив Гоголю, что он еще не имеет никакого понятия о «Мертвых душах» и не знает даже ни одного отрывка, пишет из Петербурга: «Вы теперь у нас *один*,— и мое нравственное существование, моя любовь к творчеству тесно связаны с вашей судьбой; не будь вас — и прощай для меня настоящее и будущее в художественной жизни нашего отечества: я буду жить в одном прошедшем и, равнодушный к мелким явлениям современности, с грустной отрадой буду беседовать с великими тенями, перечитывать их неумирающие творения, где каждая буква давно мне знакома».

Под этим большим искренним письмом стояла подпись: «Виссарион Белинский»...



33

А что же Александра Смирнова? Жаль, что писем Гоголя к ней по поводу издания «Мертвых душ» не сохранилось. Вообще сказать, она не относилась к числу слишком тонких и вдумчивых ценителей литературы и не всегда придавала значение тому, *с кем* ее сводила судьба; по ее собственным словам, она и ее муж в 1837 году в Париже обходились с Гоголем «как с человеком очень знакомым, но которого, как говорится, ни в грош не ставили». А следующую фразу начинает она странными словами: «Все это *странно...*»

После выхода поэмы из печати Гоголь приехал в Петербург и часто бывал у нее. Однажды в доме у П. Вяземского, куда пришла и она со своим братом, Гоголь прочитал отрывки из «Мертвых душ», уже напечатанных.

Александра Смирнова: «Никто так не читал, как покойный Николай Васильевич, и свои, и чужие произведения; мы смеялись неумолкаемо, и, если правду сказать, Вяземский и мы не подозревали всей глубины, таящейся в этом комизме».

Автору же делалось грустно при смехе, возбуждаемом «Мертвыми душами», книгой, которая, по словам Герцена, «потрясла всю Россию». Чарующая поэзия и бесподобный народный юмор, зримо и незримо присутствовавшие в произведениях раннего Гоголя, сменились другим, более глубоким, потому и не для всех заметным. Ранние переходные полутона тонко уловил, впрочем, Белинский, написавший, что гоголевские повести «смешны, когда вы их читаете, и печальны, когда вы их прочтете». А глубиной, таящейся в новом комизме Гоголя, были, конечно, его «невидимые миру слезы», которые позже разглядела Смирнова, написав: «...этот смех вызван у него плачем души любящей и скорбящей, которая орудием взяла смех».

Гоголь подружился с братом Александры Смирновой Аркадием, тем самым молодым бедным человеком, которого еще в те времена, когда жив был Пушкин, так страстно полюбила, продолжала любить и будет еще долгие годы ждать Александрина Гончарова... Простившись с ним и его сестрой, Гоголь в начале

июня 1842 года снова уехал за границу. Осенью писал из Рима во Флоренцию: «Увидеть вас у меня душевная потребность». В другом письме: «Упросите себя ускорить приезд свой: увидите, как этим себя самих обяжете». Письма были адресованы Александре Смирновой, также приехавшей в Италию. И вот в начале 1843 года, послав вперед брата для подыскания квартиры, она приезжает в Рим сама.

Александра Смирнова: «На лестницу выбежал Гоголь, с протянутыми руками и с лицом, сияющим радостью. «Все готово! — сказал он.— Обед вас ожидает, и мы с Аркадием Осиповичем уже распорядились. Квартиру эту я нашел»...»

Последующие полтора года были, должно быть, самыми счастливыми в жизни Гоголя — он чувствовал себя здоровым, работал, в кругу друзей был весел, говорлив, и все совсем бы ладно, если б не вечное проклятое безденежье. Гонорары от издания «Мертвых душ» и четырехтомного собрания сочинений шли на выплату петербургских долгов, и задолго до приезда в Рим Смирновой он снова оказался на мели. Писал Шевыреву: «...вот уже шестой месяц живу без копейки, не получая ниоткуда». Просил у Погодина, Шевырева и Аксакова, но первый лишь разгневался, второй тоже, хотя и был готов помочь, да не нашлось из чего. Гоголь занял две тысячи у Языкова, в одном доме с которым квартировал, полторы собрал Аксаков из небольших своих доходов и столько же попробовал выпросить для пересылки в Рим у известного промышленника-миллионера Демидова, но тот отказал, говоря, что не в его правилах давать деньги взаймы, а дарить такие суммы он не может; выручила супруга его — негодуя на мужа, тотчас вынесла деньги... Ничего, не впервой; главное, у Гоголя шла плодотворная внутренняя работа, писалось, а в одном городе, почти рядом, жила та, «которую он очень любил и о которой говаривал всегда с своим гоголевским восхищением». Это было свидетельство очевидца, товарища Гоголя, проживавшего с ним и Языковым зиму 1842/43 года в одном римском доме на Via Felice, 126...

На следующий же день по приезде Александры Смирновой в Рим Гоголь явился к ней с лоскутком бумаги: «Куда следует Александре Осиповне наведываться между делом и бездельем, между визитами и проч., и проч.». Он стал ее провожатым, наставником по архитектуре, живописи, литературе, истории.

Александра Смирнова: «Не было итальянского историка или хроникера, которого бы он не прочел, не было латинского писателя, которого бы он не знал; все, что относилось до исторического развития искусства, даже благочинности итальянской, ему было известно и как-то особенно оживляло для него весь быт этой страны, которая тревожила его молодое воображение и которую он так нежно любил, в которой его душе яснее виделась Россия Изредка тревожили его там нервы в мое пребывание, и почти всегда я видела его бодрым и оживленным...»

Записки А. О Смирновой, изданные давно и небольшим тира

жом,— библиографическая редкость, недоступная большинству моих читателей; основываясь на них, а также на письмах и воспоминаниях разных лиц, я пытаюсь восстановить некоторые моменты общения Александры Смирновой с Гоголем, подробности их встреч, бесед, прогулок по Риму, где возможно воспроизводя гоголевские слова...

В первый день он сделал общее обозрение «вечного города», восхищаясь им так, будто все впервые видел, заражал этим восхищением ее, делал в бумажке какие-то пометы и, двигаясь от улицы к улице, от площади к площади, довел спутницу до той точки, с которой во всей своей величественной красе предстал собор святого Петра. Черкнул карандашом: «Петром осталась А. О. довольна».

В течение недели Гоголь раскрывал перед нею достопримечательности Рима, хвастаясь ими так, будто сам делал все эти открытия, и неизменно заканчивая обзор собором Петра. Когда он в последний раз пригласил ее на знакомую уже улочку, ведущую к собору, она иронически спросила:

— Снова, конечно, Петр?

— Это так надо. На Петра никогда не наглядишься.— Он прищурился, глядя на собор, и добавил: — Хотя фасад у него комодом...

Посетителей мужского пола пускали тогда в собор только во фрачном одеянии, а потому как у Гоголя фрака не было, он подкалывал булавками полы своего видавшего виды сюртука и с горделивым достоинством шествовал рядом с изящной черноокой синьорой, которую можно было принять за богатую и знатную итальянку.

Еще при первой их заграничной встрече в 1837 году Гоголь однажды обмолвился о том, что он будто бы был в Португалии, куда ей не советовал ехать из-за отсутствия комфортов.

— Каким образом вы попали в Португалию? — с сомнением спросила она.

— Пробрался туда из Испании,— спокойно ответствовал он.— Где также прегадко в трактирах. Особенно хороша прислуга. Однажды мне подали котлету совсем холодную. Я заметил об этом слуге. Но он очень хладнокровно пощупал котлету рукой и объявил, что нет, что котлета достаточно тепла.

Она расхохоталась.

— Милый Николай Васильевич! Достаточно прочесть ваши сочинения, чтобы убедиться, что вы величайший фантазер! Не может быть, чтобы вы были в Испании, потому что там смуты, дерутся на всех перекрестках, и все рассказывают об этом, а вы ровно ничего никогда не говорили!

— На что же все рассказывать и занимать собою публику? — спокойно ответил он и укоризненно добавил: — Вы привыкли, чтоб вам человек с первого разу все выхлестал, что знает и чего не знает...

Она смеялась и смеялась, не в силах успокоиться.

— Даже и то, что у него на душе...

Гоголь отвернулся к окну, и она прервала смех, однако осталась при своем неверии; с того дня между ними образовалась шутка: «Это когда я был в Испании», которую Гоголь стоически-хладнокровно переносил.

В Риме эта шутка вспомнилась однажды, когда Гоголь в гостях у Смирновой вдруг снова начал рассказывать об Испании, которая в его глазах проигрывала перед Италией,— не тот-де климат, природа, народ и художества: испанская школа живописи напоминала в рисунке и красках болонскую, которую он не признавал, и, раз взглянувши на Микеланджело и Рафаэля, нельзя увлечься другими живописцами...

— Стройность во всем, вот что прекрасно,— заключил он.

— Может быть, это и так,— заметила она и со своей обычной прямотой, которую отмечал еще Пушкин, воскликнула: — Но вы ведь никогда не были в Испании! Вы, Николай Васильевич, как я положительно убедилась, большой мастер солгать.

— Как всегда, вы правы,— смиренно сказал он.— Да. Если уж вы хотите знать чистую правду, то я никогда не был в Испании, но зато я был в Константинополе, а вы этого не знаете...

И он начал рассказывать о том, что город издали очень живописен, а вблизи совсем наоборот — бестолковость в застройке, грязь, и есть узкие улицы, в какие не пройдет иная наша купчиха или попадья по причине бедер. И не поймешь, кого более — нищих или же собак. А собаки-то — и муругие, и пегие, и белые — все из-за грязи да пыли какого-то мышиного цвета и с проплешинами, оттого, что их не то кипятком шпарят, не то они сами шерсть с себя сдирают вместе с блохами. А на базаре оборванец какой-то золотом торгует! Кофе на каждом углу варят, что за кофе! В Риме подают турецкий кофе и в Париже, но все это жидкие итальянские и французские приготовленья. В Константинополе кофе — осадка полчашки, а жижа черная, как сажа, густая, как сироп, и с двух маленьких чашечек ночь не уснешь. А вокруг бывшей христианской Софии в отличие от римского Петра вот этакая не похожая ни на что планировка...

Взяв карандаш и листок бумаги, он начал чертить план кварталов, примыкающих к главному мусульманскому храму Константинополя, рассказом о коем Гоголь на целых полчаса занял гостей Александры Смирновой.

— Вот сейчас и видно,— сказала в заключение хозяйка,— что вы были в Константинополе.

— Видно, как легко вас обмануть,— невозмутимо возразил Гоголь.— Вот же я никогда не был в Константинополе, а в Испании и Португалии был.

Константинополь Гоголь впервые увидит лишь через пять лет, возвращаясь морем из Палестины, а вот был ли он в Испании и Португалии, чему все же повернла Смирнова, никому до сих пор неизвестно ничего достоверного. В первую свою недолговременную, нежданную, безрассудную и странную заграничную поездку

летом 1829 года он никак не успевал побывать далее Гамбурга. И нет пока решительно никаких данных, кроме слов самого Гоголя, великого мастера шутливых мистификаций, что он заглянул за Пиренеи летом 1837 года...

Как-то Гоголь повез Александру Осиповну и Аркадия Осиповича Россет на очередную экскурсию по Риму, не предупредив, что они будут осматривать. Когда пошли пешком, он попросил смотреть направо, хотя там не было ничего примечательного, а потом вдруг попросил обернуться. Брат с сестрой ахнули от восторга — перед ними в самом выгодном ракурсе высилась знаменитая статуя Моисея.

— Вот вам и Микеланджело! — воскликнул Гоголь с таким видом, будто он сам был создателем столь великого.— Каков?

А впереди было знакомство с Рафаэлем, выше творений которого для Гоголя ничего не существовало ни в живописи, ни в архитектуре. Он возил Александру Осиповну и на виллу Мадата, построенную по эскизам Рафаэля, и в Сан-Аугустино, где под сводами храма парили ангелы гениального итальянца, смотрели его Психею в Фарнезине, причем Гоголь там не на шутку рассердился на спутницу, проявившую, на его взгляд, недостаточно восхищения. Да, спутница, очевидно, была довольно поверхностна в восприятии бессмертного. Собором святого Петра она, по словам Гоголя, *осталась довольна*, не более, а сама Александра Осиповна пишет, например, как они увидели *«сидящего Моисея с длинной бородой»* и *«любовались* картиной страшного суда» в Сикстинской капелле... Быть может, она действительно любовалась, Гоголь же обратил ее внимание на изображение мук грешника между адом с его чертями и раем с его ангелами.

— Тут история тайн души,— сказал Гоголь.— Всякий из нас сто раз на день то подлец, то ангел.

Постепенно, однако, она под влиянием спутника начала, кажется, испытывать искреннюю тягу к старине и даже «его мучила, чтоб узнать поболе». Один раз, *гуляя* в Колизее, спросила:

— А как вы думаете, где Нерон сидел? Вы это должны знать. И как он сюда явился — пеший, в колеснице или на носилках?

— Да что вы ко мне пристаете с этим мерзавцем! — рассердился Гоголь и горячо заговорил: — Вы воображаете, кажется, что я в то время жил; вы воображаете, что я хорошо знаю историю. Совсем нет. Историю никто еще так не писал, чтобы живо можно было видеть или народ, или какую-нибудь личность. Вот один Муратори понял, как описывать народ; у него одного чувствуется все развитие, весь быт, кажется, Генуи; а прочие все сочиняли или только сцепляли происшествия; у них не сыщется никакой связи человека с той землей, на которой он поставлен. Я всегда думал написать географию; в этой географии можно было бы увидеть, как писать историю...

Он прервал речь, вдруг заметив, что спутница преувеличенно внимательно слушает его.

— Друг мой, я заврался.

— Напротив,— возразила она.— Вы говорите очень интересные и серьезные вещи. Продолжайте, пожалуйста.

— Нет, об этом после... А скажу вам, между прочим, что подлец Нерон являлся в Колизей в свою ложу в золотом венце, в красной хламиде и золоченых сандалиях. Он был высокого роста, очень красив и талантлив, пел и аккомпанировал себе на лире. Вы видели его статую в Ватикане? Она изваяна с натуры..

Не раз совершались и дальние, с остановками в гостиницах, загородные прогулки. Однажды в Альбано, осмотрев достопримечательности, они встретились вечером всей компанией и кто-то из их спутников начал читать из Жорж Санд. Гоголь хмуро слушал, молча ломал руки, когда другие, в том числе и Смирнова, восхищались отдельными местами, потом совсем помрачнел и ушел к себе. Александра Осиповна не поняла его состояния и после поинтересовалась:

— Отчего же вы давеча ушли, не дослушав чтения?

— Любите ли вы скрипку? — в свою очередь спросил он ее

— Да.

— А любите ли вы, когда на скрипке фальшиво играют?

— Да что же это значит? — в недоумении спросила она.

— Так ваш Жорж Занд видит и изображает природу. Я не мог равнодушно видеть, как вы это можете выносить. Удивляюсь как вам вообще нравится все это растрепанное...

В тот день он был задумчив и грустен, а вечером нежданно уехал в Рим, хотя заранее было условлено, что в Альбано все пробудут три дня. Поступок этот Александра Осиповна сочла очень странным и не могла позже добиться от Гоголя удовлетворительных объяснений.

А в Кампанье он вообще повел себя необычно. Молчал, во время прогулок шел один и поодаль от остальных, подымал и рассматривал какие-то камушки, срывал травинки, а то, размахивая руками, шел прямо на кустики и деревца. Однажды она подошла к нему, лежащему на траве. Он задумчиво и углубленно смотрел в небо.

— Что с вами? — весело спросила она, заметив и в его глазах веселинку.

— Забудем все, посмотрите на это небо,— произнес он.

Не кажется ли вам, дорогой читатель, что Гоголь вел себя как влюбленный юноша? Пытался ли он разобраться в своих чувствах к ней, тщательно скрывая это от нее, себя и других? Спустя полтора века мы можем говорить об этом лишь предположительно, если даже бесспорные факты рассматривать в их совокупности и связи.

Прощаясь с Гоголем в мае 1843 года, Александра Осиповна знала, что он выезжает следом, буквально через несколько дней, и уже 17 мая Гоголь пишет Шевыреву из Гастейна, что собрался в Дюссельдорф, но вскоре почему-то оказался в Эмсе, неподалеку от Бадена, где лечилась она. В Эмсе той порой жил Жуковский, и вот Гоголь сообщает Александре Осиповне через брата,

что он «в Эмсе для компании Жуковскому», которого она как раз собиралась навестить.

О душевном состоянии Гоголя в Эмсе мы угадываем по его письму к Данилевскому, отправленному через два дня после письма ее брату, Аркадию Осиповичу: «У меня нет теперь никаких впечатлений, и мне все равно, в Италии ли я, или в дрянном немецком городке, или хоть в Лапландии. Я бы от души рад восхищаться запахом весны, видом нового места, да нет на это у меня теперь чутья. Зато я живу весь в себе, в своих воспоминаниях, в своем народе и земле, которые носятся неразлучно со мною, и все, что там ни есть и ни заключено, ближе и ближе становится ежеминутно душе моей. Зато взамен природы и всего вокруг меня мне ближе люди: те, которых я едва знал, стали близки душе моей, а что же мне те, которые и без того были близки душе моей?»

Александра Осиповна, приехав в Эмс, узнала, что Гоголя там нет,— он выехал к ней в Баден, откуда тут же послал записку, скрывающую за шутливым тоном его искреннее желание увидеться: «Каша без масла гораздо вкуснее, нежели Баден без вас. Кашу без масла все-таки можно как-нибудь есть, хоть на голодные зубы, а Баден без вас просто нейдет в горло».

Она вернулась в Баден, где Гоголь стал обедать у нее почти ежедневно и читать после обеда «Илиаду» в переводе Жуковского, а она же, говоря, что эта книга ей надоедает, не желала слушать. Гоголь обижался, жаловался в письме переводчику, что она «и на Илиаду топает ногами...».

С годами она становилась нервной, несдержанной, временами даже истеричной дамой, подверженной тяжелым приступам хандры, на что имелись, конечно, свои причины. Будучи женщиной, бесспорно, умной и знающей жизнь в ее подноготной, она давно уже, как в свое время засвидетельствовала Евдокия Ростопчина, кляла «тщету земную, обманы сердца, жизнь пустую, и все и всех — себя и вас»... И еще «женщин долю роковую», что было отнюдь не поэтической красивой риторикой. Очаровательная фрейлина императрицы, пользовавшаяся вниманием самых блестящих молодых людей того времени, выдающихся знаменитостей и титулованных особ, вынуждена была выйти замуж по расчету, с присущей прямотой и безжалостностью к себе написав в посмертно опубликованных заметках: «я продала себя за шесть тысяч душ для братьев». Мужа, доброго и взбалмошного человека, она не любила; имела от него детей и деньги, слуг, безбедное заграничное проживанье. Сложности ее характера отмечены-осуждены давно, и я не стану повторяться. Только легко судить людей со столь далекого расстояния, тем более что мы надежно защищены от их суждений о нас, и одновременно очень нелегко, если мы подчас не знаем человека, живущего даже рядом с нами... Один дореволюционный исследователь, еще заставший современников Александры Смирновой, пришел к заключению, что ее личность навсегда останется неразгаданной.

Ищу в записках Смирновой драгоценные свидетельства, помогающие нам лучше узнать великих ее современников и понять прошлое. Вот одно сведение лета 1843 года, которого более нет нигде: «Гоголь из Бадена поехал в Карлсруэ к Мицкевичу. Вернувшись, он мне сказал, что Мицкевич постарел, вспоминает свое пребывание в Петербурге с чувством благодарности к Пушкину, Вяземскому и всей литературной братии». Воображаю долгую дружескую беседу на чужбине двух великих славян — для мимолетной встречи не было смысла ехать. Наверное, они не только вспоминали Пушкина и его литературных друзей, в том числе и тех, кого уже давно не было в живых,— Кондратия Рылеева и Александра Бестужева, которым великий польский поэт в свое время посвятил стихи «Русским друзьям».

Николая Гоголя и Адама Мицкевича связывало в то время многое — оба они были одинокими на чужбине, пребывали на духовном перепутье, шла на убыль их творческая активность, умерщвляемая, в частности, напастью мистицизма, но едва ли именно это стало главным предметом разговора, потому что каждый из них пока потаенно прятал в себе эту пугающую их самих темную глубину. Мыслили же они, подогреваемые огнем патриотизма, одинаково свежо, импульсивно, оригинально и вдохновенно, веруя еще в свои таланты, испытывая общую спасительную тягу к реальности народной истории, культуры прошлого и надеждам на будущее. Они могли говорить о судьбах России и Польши, о славянстве, его древней культуре, связующей народы, и, очень может быть, о литературном феномене нашего средневековья — гениальном «Слове о полку Игореве»...

Любознательный Читатель. Извините, но нет же никаких данных, чтобы предположить такую тему в их разговоре.

— Вы знаете, меня всегда ставила в тупик одна странная очевидность в литературе прошлого. Ни у одного из великих писателей после Пушкина я не нашел прямого свидетельства, что они по достоинству оценивали «Слово о полку Игореве». Будто не читали его никогда. Ни Тургенев, ни Достоевский, ни Лесков, ни Чехов. В девяноста томах Льва Толстого ни словечка о «Слове»! Чем это объяснить?

Любознательный Читатель. Да, но и у Гоголя тоже, кажется, нет никакой оценки «Слова»?

— Однако у Гоголя есть «Тарас Бульба». Героико-романтический тон повести, ее пронзающий душу патриотический пафос, симфонический гимн Русской земле идет, конечно, от «Слова»! Между прочим, в первой редакции повести ничего этого не было. Известно, что Гоголь с 1832 года дружил с выдающимся ботаником, этнографом и историком М. А. Максимовичем, который в 1834—1835 годах прочел в Киеве курс лекций о «Слове» и первым указал на его связь с русской народной поэзией. И есть в «Тарасе Бульбе» несколько примечательных слов, взятых, несомненно, из поэмы: «Трава поникла бы от жалости...» К сожалению, мы в точности не знаем, когда Гоголь работал над тем или иным про-

изведением, нет календарных дат их полного завершения, только несомненно, что к 1843 году «Тарас Бульба» приобрел окончательный вид и звуки этой поэмы еще, должно быть, жили в душе автора... Кстати, никто из больших поэтов наших после Пушкина, кроме Тараса Шевченко и Аполлона Майкова, тоже будто бы не интересовался «Словом».

Любознательный Читатель. А мог ли разговор о «Слове» поддержать Адам Мицкевич?

— Он мог его даже затеять! Дело в том, что приезд Гоголя в Карлсруэ летом 1843 года совпал с особым периодом в жизни гениального польского поэта. В это время он занимал кафедру славянских литератур в парижском Collége de France, свел свои общественно-научные интересы к истории культуры славян с древнейших времен до XIX века и ничего не писал, кроме лекций. Его курс «Славяне» содержит отдельную лекцию о «Слове» — такое большое значение придавал Мицкевич этому великому памятнику... И Гоголь мог поддержать этот разговор! Он, хотя и со средними отметками, но все же закончил Нежинский лицей, занимал профессорскую университетскую кафедру в Петербурге, готовился, хотя и неудачно, к занятию кафедры в Киеве и капитальному труду по истории Малороссии...

В конце лета Гоголь уехал из Бадена к Жуковскому в Дюссельдорф. Со Смирновой он простился заранее и сел в дилижанс, который должен был проехать мимо ее дома. Когда экипаж показался, она, желая познакомить писателя с одним из русских князей, навестивших ее в тот час, кричала ему, прося приостановиться, но Гоголь сделал вид, что не услышал.

Она сообщила ему в Дюссельдорф, что зиму проведет в Ницце, и приглашала его приехать туда. Гоголь ответил, что слишком привязывается к ней, а ему не следует этого делать, чтобы не связывать своих действий никакими узами.

Однако он не устоял. Вернувшись однажды с прогулки, она застала его у себя.

— Вот видите,— сказал Гоголь.— Вот я и теперь с вами...

Это было в декабре 1843 года. Для Гоголя этот год заканчивался трудно. Напасть, о которой я уже упоминал, завладевала им. Он написал Сергею Аксакову письмо, полное нравоучительных советов и упований на бога, которое рассмешило, раздосадовало и встревожило адресата. «...И в прошлых ваших письмах некоторые слова наводили на меня сомнения. Я боюсь, как огня, мистицизма; мне кажется, он как-то проглядывает у вас. Терпеть не могу нравственных рецептов, ничего похожего на веру в талисманы. Вы ходите по лезвию ножа! Дрожу, чтоб не пострадал художник».

Умный и прозорливый Аксаков, однако, не знал, что Гоголя в тот момент пригнетала и другая, стародавняя беда. Гоголь еще из Дюссельдорфа сообщил Плетневу: «Денег я не получаю ниоткуда; вырученные за «Мертвые души» пошли все почти на уплату долгов моих. За сочинения мои я тоже не получил еще ни гроша,

потому что все платилось в эту гадкую типографию, взявшую страшно дорого за напечатание»...

Сразу же по приезде в Ниццу он просит Языкова: «Если ты при деньгах, то ссуди меня тремя тысячами на полгода или даже двумя, когда не достает. Книжные дела мои пошли весьма скверно». Через полтора месяца Гоголь сообщает Шевыреву: «В конце прошлого года я получил от государыни тысячу франков. С этой тысячей я прожил до февраля месяца, благодаря, между прочим, и моим добрым знакомым, которых нашел в Ницце, у которых почти всегда обедал, и таким образом несколько сберег денег».

Жил он чрезвычайно скромно. Зная это, Александра Смирнова однажды стала в шутку отгадывать, сколько у него белья и какая одежда.

— Я вижу, что вы просто совсем не умеете отгадывать,— сказал он.— Я большой франт на галстуки и жилеты. У меня три галстука: один парадный, другой повседневный, а третий дорожный, потеплее.

И он стал уверять собеседницу, что наступит время, когда и она сочтет необходимым жить очень скромно, иметь, например, одно лишь платье для праздников и одно для будней... В норму общения входили меж ними нравоучительные беседы и заучиванье псалмов. Весной 1844 года она уехала в Париж говеть, а Гоголь собрался было во Франкфурт, куда переселялся Жуковский, но оказался в Дармштадте, где тоже отговелся и встретил пасху, потом в Бадене, и только в июне прибыл во Франкфурт.

А в Россию из-за границы уже ползли слухи-догадки. «Через четыре дня Смирнова едет прямо во Франкфурт; оставит детей с Жуковским, а с Гоголем обрыскает Бельгию и Голландию»,— это пишет из Эмса А. Тургенев П. Вяземскому в Петербург. Вскоре она действительно приехала во Франкфурт. Одна богомольная мадам-москвичка беспокоится за Гоголя: «Вам угодно, чтобы я сказала мое опасение за вас. Извольте; помолясь, приступаю. Знайте, мой друг,— слухи, может, и несправедливы, но приезжавшие все одно говорят, и оттуда пишут то же,— что вы предались одной особе, которая всю жизнь провела в свете и теперь от него удалилась». Слухи ползли по Москве и Петербургу, по Царскому Селу и украинскому селу Васильевке, где жили родные Гоголя. Распространению их способствовала прежняя репутация Смирновой, основанная и на досужих выдумках и на правде придворного быта, в атмосфере которого невозможно было оставаться недотрогой. Правду же отношений Гоголя и Смирновой знали только они двое...

Никакой совместной их поездки в Бельгию и Голландию не состоялось. Александра Смирнова провела две недели во Франкфурте и засобиралась на родину. На прощанье Гоголь подарил ей картину Иванова — писанную широкой кистью сцену из римской жизни.

Она уехала, и Гоголя снова подхватило — Остенд, опять Франкфурт, затем Париж, Гамбург, Карлсбад, Греффенберг, Галле, Дрезден, Берлин, Рим... Он словно хотел убежать от себя. Не

писалось; а то, что писалось урывками, было слабо — теряла упругую силу строка, и Чичиков, продолжавший скупать мертвые души, никак не мог встретить живых людей, все они почему-то походили на красивые манекены или безобразные чучела. Легко, в охотку писались только длинные письма, и рука сама бежала, когда подступало неодолимое желание что-либо посоветовать адресату, кого-либо наставить на путь истинный. Немало таких писем шло Александре Смирновой.

34

Любил ли он ее? Этого мы не знаем, как не знали этого в точности ни современники, ни, кажется, он сам. Об этом вроде бы догадалась однажды Александра Смирнова, которую в чем другом можно было упрекнуть, только не в отсутствии ума, проницательности, женской интуиции, а друзья его на все лады подтверждали — да, что-то было. Но правы ли они — вопрос...

С. Аксаков: «...Смирнову он любил с увлечением, может быть, потому, что видел в ней кающуюся Магдалину и считал себя спасителем ее души. По моему же простому человеческому смыслу, Гоголь, несмотря на свою духовную высоту и чистоту, на свой строго монашеский образ жизни, сам того не ведая, был несколько неравнодушен к Смирновой, блестящий ум которой и живость были тогда еще очаровательны. Она сама сказала ему один раз: «Послушайте, вы влюблены в меня»... Гоголь осердился, убежал и три дня не ходил к ней... Гоголь просто был ослеплен А. О. Смирновой и, как ни пошло слово, неравнодушен, и она ему раз это сама сказала, и он сего очень испугался и благодарил, что она его предуведомила».

Гоголь не раз писал о ней друзьям. Данилевскому: «Ты спрашиваешь, зачем я в Ницце, и выводишь догадки насчет сердечных моих слабостей. Это, верно, сказано тобой в шутку, потому что ты знаешь меня довольно с этой стороны. А если бы даже и не знал, то, сложивши все данные, ты вывел бы сам итог». Языкову: «Это

перл всех русских женщин, каких мне случалось знать, а мне многих случалось из них знать прекрасных по душе. Но вряд ли кто имеет в себе достаточные силы оценить ее. И сам я, как ни уважал ее всегда и как ни был дружен с ней, но только в одни страждущие минуты н ее, и мои узнал ее. Она являлась истинным моим утешителем, тогда как вряд ли чье-либо слово могло меня утешить, и, подобно двум близнецам-братьям, бывали сходны наши души между собою». По получении этих строк адресат, однако, так прокомментировал их брату: «Ты, верно, заметил в письме Гоголя похвалы, восписуемые им г-же Смирновой. Эти похвалы всех здешних удивляют. Хомяков, некогда воспевший ее под именем «Иностранки» и «Девы розы», считает ее вовсе не способной к тому, что видит в ней Гоголь, и по всем слухам, до меня доходящим, она просто сирена, плавающая в прозрачных волнах соблазна».

Чтобы приблизиться к понимавию всего этого, надо бы разобраться не только в сложнейшей и неповторимой натуре Гоголя и его состоянии на тот час, когда писалось то или иное письмо, что невозможно сделать с достаточной полнотой, но и в друзьях, каждый из которых был сам яркой индивидуальностью, в слухах той поры и в личности Смирновой, остающейся и доныне за семью печатями. Она и в молодости не была простушкой, понятной каждому встречному-поперечному. Хорошо писала тогда об этом Евдокия Ростопчина:

Нет, вы не знаете ее,—
Вы, кто на балах с ней встречались.
Кто ей безмолвно поклонялись,
Все удивленье свое
В дань принося уму живому,
Непринужденной простоте
И своенравной красоте
И глазок взору огневому!
Нет, вы не знаете ее,—
Вы, кто слыхали, кто делили
Ее беседу, кто забыли
Забот и дел своих житье,
Внимая ей в гостиных светских!..
Кто суетно ее любил,
Кто в ней лишь внешний блеск ценил,
Кто первый пыл мечтаний детских
Ей без сознанья посвятил,—
Нет, те ее не понимали,
Те искру нежности живой
И чувств высоких луч святой
В ее душе не угадали.
И вы, степенные друзья,
Вы тесный круг ее избранных,
Вы, разум в ней боготворя,
Любя в ней волю мыслей странных,
Вы мните знать ее вполне?
Вы мните, в скромной глубине
Ее души необъясненной
Для вас нет тайны сокровенной?..

Александра Смирнова, презирая великосветское общество, смолоду страдала от бесцельности своего существования, искала внутреннего освобожденья в будущем. «Я тороплюсь прожить молодость,— писала она Евдокии Ростопчиной.— Мне кажется, что известный возраст есть гавань, в которой отдыхаешь после борьбы. Тогда, мне кажется, легче достигнуть то прекрасное, к которому душа стремится и которое примешано к страстям человеческим, нераздельным с молодостью. Тогда только, когда сердце мое будет

преисполнено одним-единственным божественным чувством, только тогда я найду покой в здешней жизни и только тогда смогу любить жизнь».

Нет! не улыбки к ней пристали,
Не вздох возвышенной печали,
Но буря, страсть, тоска, борьба.
То бред унынья, то мольба,
То слабость женских восставаний.
Нет! не на сборищах людских
И не в нарядах дорогих
Она сама собой бывает:
Кто хочет знать всю цену ей,
Тот изучай страданье в ней,
Когда душа ее страдает...

И вот молодость давно прошла, но желанного успокоенья и душевного равновесия не наступило, она по-прежнему ищет общения с людьми, способными понять ее состояние. «Мне скучно и грустно,— вспомнив, очевидно, строки Лермонтова, пишет Александра Смирнова в декабре 1844 года Гоголю,— скучно оттого, что нет ни одной души, с которой я бы могла вслух думать и чувствовать, как с вами; скучно потому, что я привыкла иметь при себе Николая Васильевича, а что здесь нет такого человека, да вряд ли и в жизни найдешь другого Николая Васильевича... Душа у меня обливается каким-то равнодушием и холодом, тогда как до сих пор она была облита какою-то теплотою от вас и вашей дружбы. Мне нужны ваши письма».

И он писал, постепенно становясь своего рода духовником, поощряемый ответными письмами, в которых лишь иногда проскальзывали строки, не связанные с ее желанием видеть в нем утешителя и наставника. Так, осенью 1844 года она сообщила ему о встрече у Евдокии Ростопчиной с Вяземским, Толстым-«Американцем», Федором Тютчевым... Последний, как она выразилась, «весьма умный человек», которого еще немногие знали как великого русского поэта, поддержал Толстого, когда тот заметил, что в «Мертвых душах» Гоголь не пощадил-де русских, а обо всех малороссиянах написал с участием. Гоголь ответил: «Скажу вам одно слово насчет того, какая у меня душа, хохлацкая или русская, потому что это, как я вижу из письма вашего, служило одно время предметом ваших рассуждений и споров с другими. На это вам скажу, что я сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину пред русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком одарены богом и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой: явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве».

Переписка Гоголя со Смирновой, их отношения в своем роде неповторимы, оригинальны, как неповторимы и оригинальны были их личности и биографии, как неповторимо время, в какое они жили. Психологическая исключительность, некоторая даже странность этих отношений забылась во всех своих подробностях, ушла в прошлое, и если когда-нибудь какой-нибудь мастер прозы или кино оживит все это в назидание своим современникам, то вполне возможно, что он, приблизившись к теме, сразу же отступит или удовлетворится ее торопливой упростительной интерпретацией. И может, лучше будет, если эта редкая тема «Гоголь — Смирнова» на всегда остается в том виде, какой ее создала жизнь, потому что достоверные подробности бывают куда ценнее и красноречивее любого художественного домысла-промысла.

Да, Гоголь сам называл их отношения любовью, однако вкладывал в это вечно юное и давно затрепанное небрежным употреблением слово недосягаемо высокий смысл — идеальное родство душ, «бесконечно небесное блаженство», духовных взаимовлияний. Писал ей: «Любовь, связавшая нас с вами, высока и свята. Она основана на взаимной душевной помощи, которая в несколько раз существеннее всяких внешних помощей».

Впрочем, такая ли уж редкость в жизни — сложные, на первый взгляд иррациональные, не укладывающиеся в обычные рамки, полузагадочные для постороннего взгляда отношения между людьми?

Кажется, единственным человеком из близких друзей, у кого Гоголь никогда не занимал денег, была Александра Смирнова, которая в свое время, однако, материально помогала Пушкину, и он упомянул ее в списке кредиторов, продиктованном перед смертью. К середине 40-х годов, когда отношения Гоголя и Смирновой окончательно окрепли, скитания писателя по Европе продолжались, что требовало немалых средств, и он продолжал занимать у друзей. Жуковский, который был должен наследнику четыре тысячи рублей, занятых им в 1840 году для Гоголя, придумал оригинальнейший способ возврата этого немалого долга — попросил августейшего кредитора, чтоб тот разрешил выплатить деньги не ему, а... Гоголю же, на что и было получено согласие.

И вот, казалось, наступил черед Александры Смирновой. В том самом письме из Франкфурта, где Гоголь пишет о характерах русских и украинцев, он, отвечая на неоднократные ее напоминания, решается попросить шесть тысяч на два года. «Если вам так приятно обязать меня и помочь мне...» Однако она совсем не имела в виду, быть может, не имея возможности, ссужать его деньгами мужа, заядлого и вечно проигрывающего картежника.

А. О. Смирнова — великой княгине Марии Николаевне. 22 февраля 1845 года: «Ваше императорское высочество милостиво изволили принять мою просьбу о Гоголе и приказали составить о нем записку, которую и имею честь представить. Сочинения его известны вашему императорскому высочеству. Публика особенно заметила в них оригинальные, комические стороны; но от вашего

взгляда, без сомнения, не ускользнули красоты высшие, чувство всего прекрасного, чисто русского народного, которые его поставили на ряду с первыми нашими литераторами...» И так далее, включая утверждение, будто здоровье Гоголя было всегда так слабо, что он был вынужден из-за него оставить кафедру в Петербурге, и заканчивая просьбой не оставить подопечного писателя без монарших благодеяний. Однако у великой княгини теми днями приключились преждевременные роды, ей стало не до Гоголя; она попросту забыла сообщить о просьбе своему коронованному батюшке, посоветовав Смирновой, чтобы та действовала самостоятельно.

Александра Смирнова, нередко приглашаемая в круг императорского семейства, просила разрешения у государыни обратиться со своей просьбой непосредственно к царю.

— Он приходит сюда, чтобы отдохнуть,— возразила та.— И не любит, вы знаете, когда с ним говорят о делах. Если он будет в добром настроении, я вам сделаю знак, и вы можете передать свою просьбу.

Близился вечер. Царь явился, за ним плотно прикрыли большие бесшумные двери. Он благосклонно поздоровался со Смирновой и приблизился к окну, отрешаясь от дневных забот. За окном, на невском льду, стлался матовый мартовский снег, дальше высились стены и бастионы крепости, пронзал небо стрельчатый шпиль собора, в котором лежали его предки и где ляжет он сам, когда подойдет время. Только он не думал сейчас об этом, стараясь не думать ни о чем и зная, что семья перед ужином ждет его минутного отдохновенья у окна, к чему она давно привыкла.

Перед уходом из кабинета он бегло просмотрел европейские газеты с красными птичками на полях — канцелярия, включая и отделение, коим столь успешно руководительствовал его правая рука Алексей Федорович Орлов, работала исправно. Все спокойно в Европе, только «Le Journal de Débats» позволила себе глупые высказывания. Ладно, если б они относились к России. Нет, газетенка имела в виду лично его... Впрочем, не следует думать об этом, а для того, чтобы об этом не думать, надо прибегнуть к проверенному спасительному средству — думать о женщинах...

Супруга церемониймейстера Смирнова по-прежнему, конечно, хороша, но далеко уже не та, что блистала здесь почти двадцать лет назад, в пору и его молодости. Боже, как она была обворожительна, эта Россети! Однажды он спросил юную черноглазую смуглянку, одетую, помнится, в воздушное белое платье фрейлины, отчего она не интригует его на маскерадах, а она ответила, что не любит бывать в них. Но все же явилась вскоре и, выдав себя за наивную провинциальную дамочку из Калуги, так восхитительно заинтриговала его! А что, ежели теперь — в воспоминанье и благодарность о тех очаровательных минутах — отправить ее с мужем в Калугу погубернаторствовать! Супруг ее, человек недалекий и небережливый, проигрывает за ломберным столиком десятину за десятиной — сколько там у него из бывших двадцати

тысяч отцовских десятин осталось? На должности он, если не будет хлопать глазами, как это делает за картами, в год-два поправит свои дела. Опять отвлекся?..

Она была тогда так изящна и картинна в своем розовом домино! И что за фигура! Мираж! Алеша Орлов, которого он из осторожности попросил узнать, интересна эта калужанка или скучна, несколько походил с нею и отрекомендовал ее преинтересной барышней. Она мило взялась лепетать о детях, что будто бы привезла с собой в тарантасе, о чиже в клетке, вода из которой пролилась на ребенка, и тому подобной чепухе, и он поверил этим подробностям, узнав лишь назавтра от Орлова, кто это его так невинно и легко обманул... После благополучного разрешения главного тогдашнего декабрьского события она осталась при его семье, хотя ему, помнится, докладывали, что один из его «друзей от четырнадцатого числа» приходится ей близким родственником.

Гордясь своей отличной памятью на женщин и врагов, царь вспомнил, что, впрочем, родной брат Алеши Орлова тоже был бы героем того политического сюрприза, если б не удалось все предупредить и нейтрализовать последствия. Он уже умер, как и многие другие из тех, кого он помнил долгие годы, но совсем неподалеку, ближе остальных, вон там, через Неву лишь, живет еще в хладных камнях политический безумец Батеньков, личность чрезвычайно сильная, а куда более опасный Лунин ныне дальше их всех от него, где-то у самой китайской границы... Их еще много. А Смирнова достаточно умна, чтобы не просить во второй раз за своего родственника, который, кажется, еще жив. Она, кстати, недавно из Европы, и что, любопытно, там думают о нем не газеты, а живые европейцы?.. Так хотелось забыться и просто отдохнуть, но все реже это стало получаться...

Он сделал лицо благодушным и обернулся к Смирновой.

— «De Débats» печатает глупости,— сказал твердым голосом царь.— Следовательно, я поступаю правильно.

Монументально шагнул к дивану, сел на краешек и, чтобы казаться величественным, выпятил грудь. «Актер»,— подумала Смирнова, хотела было сказать что-то колкое о газетах вообще, французских и русских, но государыня упредила ее, возвратив его на круг домашних интересов:

— Машенька чувствует себя превосходно, дитя тоже.

Он удовлетворенно склонил голову и под кисеей платья скорее угадал, чем увидел маленькую, шитую затейливым узором туфельку Смирновой, не заметив, как государыня, мельком взглянув на собеседницу, сузила левый глаз.

— Так что там в Европах? — уточнил тему царь.

— Жуковский просил передать вашему величеству свои уверения в почтительнейших чувствах,— заговорила Смирнова.— Я же осмеливаюсь исполнить одно его поручение, прибавив к нему свое вполне необязательное мнение...

— Слушаю,— с оттенком недовольства разрешил он.

— Живущий с ним без средств писатель Гоголь, надежда на-

шей словесности, болен, тяготится расходами, которые причиняет Жуковскому, и единственно уповает на благосклонное понимание его положения вашим величеством.

— Да, да, Гоголь, помню... У него есть много таланту драматического,— проговорил он, тяготясь нежданным предметом беседы.— Но я не прощаю ему выражения и обороты слишком грубые и низкие.

— Как помнит ваше величество, у него есть много страниц, где выражается глубокое чувство народности и патриотизма,— осторожно заметила Смирнова.

Царь на мгновенье задумался и холодно проговорил:

— Вы знаете, пенсии назначаются капитальным трудам, а я не знаю, удостаивается ли повесть «Тарантас».

— «Тарантас»,— нарочно мило грассируя, проговорила она,— это сочинение Соллогуба. А «Мертвые души» — большой роман Гоголя.

— Разве они его? — наивно удивился царь.— Я думал, что это Соллогуба.

Она испытывала почти непреодолимое желание съязвить или рассмеяться, но тогда было бы все безвозвратно испорчено и для нее, и для ее протеже.

— Нет, нет, это — Гоголь в его несомненном и чистом виде,— воскликнула Смирнова.— И он много обещает значительного!

— Ну, так я его прочту,— снисходительно проговорил царь, уже, судя по всему, подчинившись ее настойчивости, и добавил как-то невпопад, в полурассеянности: — Потому что позабыл и «Ревизора» и «Разъезд»...

Он ничего не пообещал по сути просьбы, но не позабыл посоветоваться о пенсионе для Гоголя с кем-то из приближенных. И слух об этом пополз по двору и Петербургу. А в следующий воскресный дворцовый вечер Александра Смирнова была шокирована поведением шефа жандармов. Граф Орлов подошел к ней так быстро и решительно, словно хотел ударить, произнес грубо и громко:

— Как вы смели обеспокоить государя, и с каких пор вы — русский меценат?

У нее потемнело в глазах от гнева и возмущения, но перед ней теперь был не царь, который в этот момент стоял неподалеку и, кажется, как и остальные, уже обратил внимание на дворцовую сценку, обещавшую быть редкой. Она откровенно и для пользы дела ответила ударом на удар:

— С тех пор, как императрица мне мигнет, чтоб я адресовалась императору, и с тех пор, как я читала произведения Гоголя, которых вы не знаете, потому что вы грубый неуч и ничего не читаете, кроме гнусных сплетен ваших голубых штанов!

И она повернулась к нему спиной. Вокруг остолбенели. Все знали, что Смирнова никогда в карман за словом не полезет, но такого не ожидал никто. А меньше других этот всесильный генерал-адъютант и генерал от кавалерии, командующий императорской главною квартирою и главный начальник 3-го отделения!

Он, тщетно пытаясь сохранить достоинство, бросал вокруг растерянные взгляды и вырывал рукав у побледневшего церемониймейстера Смирнова, который почти в беспамятстве бормотал: «Алексей Федорович! Алексей Федорович!» — стараясь взять его под руку.

Подошел царь, полуобнял Смирнову державной рукой, примиряюще повернул ее к Орлову, сказал:

— Я один виноват, потому что не сказал тебе, Алеша, что Гоголю следует пенсия.

Эта сценка, воспроизведенная мною по воспоминаниям Александры Смирновой и свидетелей, выглядит несколько по-иному в записках декабриста Николая Лорера: «Смирнова поймала на балу Орлова и объявила ему волю государя. «Что это за Гоголь?» — спросил Орлов.— «Стыдитесь, граф, что вы русский и не знаете, кто такой Гоголь».— «Что за охота вам хлопотать об этих голых поэтах!» — возразил Орлов...»

Если все было так, то Смирнова и это возражение Орлова не могла, наверное, оставить без острого, убивающего наповал ответа. В свете побаивались ее язычка-бритвы, который она пускала в ход против любых авторитетов. Как она умела «прямо набело» писать «шутки злости самой черной» (Пушкин) и выкидывать «Смирновой штучки» (Лермонтов), можно судить по образцам, зафиксированным в ее записках. «Этот подлец»,— так назвала она принца Альберта, брата императрицы. «Кокетствовал, как молоденькая бабенка, со всеми»,— это бальное впечатление о почти постоянном поведении Николая I. «Э, да ты штукарь, подумала я, и вскоре убедилась, что он точно был штукарь и обманщик» — об Антонии, наместнике Троице-Сергиевой лавры. Однако больше всего, кажется, досталось российским министрам: «Если б я была государем, я бы всем его министрам поплевала по ту сторону зубов, они дармоеды, ничего не делают. Всем платят большое содержание, чтобы они нам служили, а эти свиньи ничего не делают»...

Вернемся, однако, к эпизоду с Орловым. Как бы там ни было, что-то было похожее, и Смирнова вспоминает, как Орлов за ужином и позже тщетно пытался загладить конфликт, но они «навсегда остались в разладе». А по записке Смирновой, составленной вместе с Плетневым, в которой они просили для Гоголя шесть тысяч рублей, писателю было назначено три тысячи ассигнациями. «Всегда дают половину,— пишет Смирнова,— у нас уж такой обычай».

И как бы мы ни относились к Александре Смирновой, поблагодарим ее за ту давнюю помощь Гоголю. Впрочем, если подумать о первоисточнике денег, то радужные эти бумажки эквивалентно образовались от подневольных тяжких прикасаний черных крепостных рук к природным богатствам России, так что Гоголь через сложные посредничества и унизительные благодарности получил Гоголево; сам же народ тогда не знал путей и не имел средств для поддержания своей литературы...

35

Гоголю страстно хотелось высказать в образах небывалое о жизни и России, нечто одухотворенно-огненное, а на бумаге получалось слабое тление. Новые главы второго тома «Мертвых душ» не удовлетворяли автора и безжалостно сжигались.

Зато все легче писались дружеские послания в непременном назидательно-проповедническом тоне, который прорывался даже в письмах к матери. Среди множества советов, высказанных в многословной обобщенной форме, было немало внешне мудрого, а по сути наивного практицизма, туманных блужданий искрение ищущего ума, и оригинальных, свежих, как у каждого гения, мыслей, с исключительной психологической точностью приспособленных к душевному строю того или иного адресата. Постепенно в среде его приятельниц и приятелей, которым, безусловно, льстило повышенное внимание великого художника, образовалось мнение, будто письма Гоголя интереснее и значительнее того, что они читали в его сочинениях, а сам автор не только незаметно пришел к той же странной, противоречащей всем прежним оценкам идее, но и решил опубликовать письма к Александре Смирновой и другим, оставив на сотнях страниц частной переписки немало спорного, вплоть до безжалостного по отношению хотя бы к родным «Завещания». В письмах — размышляющий и проповедующий Гоголь, с душевной болью ищущий праведный нравственный путь для себя и других, для России и мира. Он выступает против лжи, гордости ума, незнания России, рассуждает о литературе, боге, христианстве, просвещении, помещиках, исповедуется, будто бы нащупывает пути к следующей своей книге, проповедует и советует, советует, советует...

Знаменитое письмо Белинского к Гоголю по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» все мы при нашем всеобщем обязательном образовании помним чуть ли не с детства, однако в основном лишь узкие специалисты ныне читают ответное письмо Гоголя, его «Авторскую исповедь», сами эти «Выбранные места», знают мнения о них современников Гоголя и Белинского.

Политическое завещание Белинского, несомненно, самая зрелая, смелая, серьезная отповедь ложному творческому шагу Гоголя, но выглядит через полтора века как-то слишком одиноко. Между тем мудрый и добрый, обладавший здравым смыслом Сергей Аксаков, отнюдь не принадлежавший к революционерам-демократам, еще до появления книги считал, что «все это с начала до конца чушь, дичь и нелепость и, если будет обнародовано, сделает Гоголя посмешищем всей России», письменно протестовал против ее издания, а когда она все же вышла, он *за полгода* до Белинского откровенно писал Гоголю: «Друг мой! Если вы желали произвести шум, желали, чтоб высказались и хвалители, и порицатели ваши, которые теперь отчасти переменились местами, то вы вполне достигли своей цели. Если это была с вашей стороны шутка, то успех превзошел самые смелые ожидания: все одурачено. Противники и защитники представляют бесконечно разнообразный ряд комических явлений. Но увы! Нельзя мне обмануть себя: вы искренно подумали, что призвание ваше состоит в возвещении людям высоких нравственных истин в форме рассуждений и поучений, которых образчик содержится в вашей книге. Вы грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить небу и человечеству, оскорбляете и бога, и человека». А сыну своему Ивану Аксаков писал еще резче: «...Все мистики, все ханжи, все примиряющиеся с подлою жизнью своей возгласами о христианском смирении утопают в слезах и восхищении... Книга его может быть вредна многим. Вся она проникнута лестью и страшной гордостью под личиной смирения. Он льстит женщине, ее красоте, ее прелестям; он льстит Жуковскому, льстит власти. Он не устыдился напечатать, что нигде нельзя говорить так свободно правду, как у нас...»

О какой, однако, женщине идет речь? О ней, конечно, написавшей Гоголю сразу после выхода той несчастно-трагической книги.

Александра Смирнова — Николаю Гоголю. 11 января 1847 года из Калуги: «Книга ваша вышла под новый год. И вас поздравляю с таким вступлением и Россию, которую вы подарили этим сокровищем. *Странно* (курсив мой.— *В. Ч.*). Но вы, все то, что вы писали доселе, ваши «Мертвые души» даже,— все побледнело как-то в моих глазах при прочтении вашего последнего томика. У меня посветлело на душе за вас».

Действительно странно, хотя и не слишком. Перенесемся на несколько лет вперед. Осенью 1851 года Гоголь из последних сил трудился в Москве над вторым томом «Мертвых душ»; рукопись уже существовала перебеленной, он читал друзьям главы из нее, и все еще можно было не только видеть, но слышать через дверь, как он мучается над ней, проверяя на голос отдельные места. В те дни познакомился с ним у Щепкина Иван Сергеевич Тургенев, и между двумя великими русскими писателями состоялся чрезвычайно примечательный и важный разговор.

— Почему Герцен,— спросил Гоголь,— позволяет себе оскорблять меня своими выходками в иностранных журналах?

Тургенев, не упоминавший до этого о «Переписке с друзьями», «так как ничего не мог сказать о ней хорошего», объяснился.

Внимательно выслушав его, Гоголь произнес:

— Правда, и я во многом виноват. Виноват тем, что послушался друзей, окружавших меня, и, если б можно было воротить назад сказанное, я бы уничтожил мою «Переписку с друзьями». *Я бы сжег ее* (курсив мой.— *В. Ч.*).

Перед трагической и странной кончиной Гоголя его впечатлительную, ранимую натуру пригнетало давнее — неустроенность жизни, болезненность пополам с мнительностью, усложнившиеся отношения с некоторыми из бывших друзей и поклонников из-за «Выбранных мест», переживания за свою репутацию как художника. Не содействовало душевному равновесию, творческому настрою и полное равнодушие Смирновой к новым главам «Мертвых душ», и переписка с отцом Матвеем по религиозным вопросам, и посещение в одной из больниц известного в те годы юродивого, и случайная новогодняя встреча с доктором Ф. П. Гаазом, тем самым, что принес когда-то в московский тюремный замок связку белья для Владимира Соколовского; безжалостно коверкая русские слова, добряк пожелал Гоголю *вечного года...*

Не могу также обойтись под конец без упоминания нескольких примечательных писем Гоголя, по которым угадываются глубинные истоки трагедии великого писателя и его роковой неудачи со вторым томом «Мертвых душ».

Первое, довольно пространное письмо, посланное в Калугу Александре Смирновой, предназначалось для «Выбранных мест из переписки с друзьями», но было снято цензурой, точнее говоря, тем же А. В. Никитенко. Письмо это напечатал «Современник» лишь в 1860 году. Второе, адресованное брату Смирновой — Аркадию Осиповичу Россет, было послано из Неаполя весной 1847 года и увидело свет почти через тридцать лет. Таким образом, Аксаков с Белинским не успели познакомиться с этими интереснейшими документами, и, быть может, частично поэтому в их письмах Гоголю не названа одна из главных причин непоправимой беды, постигшей великого писателя. И есть еще третье письмо — самому Белинскому...

В послании Александре Смирновой, как почти во всех гоголевских письмах того периода, присутствуют интересные, подчас даже пророческие мысли, например: «уверяю вас, что придет время, когда многие у нас на Руси из *чистеньких* горько заплачут, закрыв руками лицо свое, именно от того, что считали себя слишком чистыми», и, как во всех эпистолах тех лет, в письме том множество наставительных сентенций. Ни Смирнова, ни другие адре-

саты не собирались следовать бесчисленным его советам — как помогать бедным, обращаться с дурным или хорошим человеком, вести хозяйство, одеваться, экономить деньги или, скажем, уповать на бога. Представляю, как улыбалась калужская губернаторша, располагавшая средствами, изысканным гардеробом, умевшая одеться для двора, когда читала такие, например, строки: «...Не пропускайте ни одного собрания и бала, приезжайте именно за тем, чтобы показаться в одном и том же платье: три, четыре, пять, шесть раз надевайте одно и то же платье».

Суть письма, однако, не в этом водопаде советов, а в еще более многочисленных просьбах-заданиях, обязывающих Александру Смирнову систематично и подробнейшим образом разбирать калужскую жизнь. Гоголь, в частности, просит: 1) «назвать все главные лица в городе по именам, отчествам и фамилиям, всех чиновников до единого»; 2) лично от каждого из них узнать, «в чем состоит его должность, чтобы он назвал вам все ее *предметы* и означил ее *пределы*» (выделено Гоголем. — *В. Ч.*); 3) «чем именно и сколько в этой же самой должности под условием нынешних обстоятельств можно сделать добра»; 4) «тот час все это на бумагу для меня»; 5) «ваши собственные замечания, что вы заметили о каждом господине в особенности, что говорят о нем другие,— словом все, что можно прибавить о нем со стороны»; 6) «такие же сведения доставьте мне обо всей женской половине вашего города»; 7) «запишите всякое случившееся происшествие, сколько-нибудь характеризующее людей или вообще дух губернии»; 8) «запишите также две-три сплетни на выдержку, какие первые вам попадутся, чтобы я знал, какого рода сплетни у вас плетутся»; 9), 10), 11) — подробные сведения о калужских священниках, купцах, мещанах, 12), 13) и так далее — то есть Гоголь требовал подробнейшего очерка нравов губернского города, думая таким образом пополнить, обогатить свое знание России, от которой он оторвался на долгие десять лет...

Смирнова, однако, и не думала выполнять эти просьбы, так же как и советы, и почти что приказания в других письмах: «Благословясь, поезжайте со мною в Иерусалим»... «Если вы до сих пор еще в Калуге, то оставляйте все и поезжайте в Петербург»...

И в новых своих письмах он снова просит Смирнову присылать «всякий раз какой-нибудь очерк и портрет»: «Например, выставьте сегодня заглавие: *Городская львица*, и, взявши одну из них, такую, которая может быть представительницей всех провинциальных львиц, опишите мне ее со всеми ухватками,— и как садится, и как говорит, и в каких платьях ходит, и какого рода львам кружит голову, словом,— личный портрет во всех подробностях. Потом завтра выставьте заглавие: *Непонятная женщина*, и опишите мне таким образом непонятную женщину. Потом: *Городская добродетельная женщина;* потом: *Честный взяточник;* потом: *Губернский лев»*... О присылке подобных «портретиков» он просил также Аксакова, Погодина, Шевырева и других,

просил жен своих московских друзей, просил петербургских знакомых, всех читателей в предисловии ко второму изданию первого тома «Мертвых душ», как будто можно было таким облегченным способом — без собственных наблюдений над жизнью, людьми, без личного отбора и обобщений, без раздумий о том, что увидел, узнал и почувствовал сам, обогатить материал для второго тома «Мертвых душ»! *Никто не откликнулся,* и в «Авторской исповеди» Гоголь с горечью сетовал, что на его приглашение он не получил записок, а в журналах смеялись над ним...

По письму-инструкции Александре Смирновой, названному в печати «Что такое губернаторша», по многочисленным письмам другим лицам мы с неожиданной стороны узнаем, что Гоголь середины сороковых годов — это огромный писатель-реалист, творчески ослабевший вдали от родины из-за незнания ее живой жизни, без чего нет и не может быть истинного писательства. И Гоголь это прекрасно понимал! «Вы понадеялись на то, что я знаю Россию, как моих пять пальцев,— пишет он Смирновой.— А я в ней ровно не знаю ничего». В письме к Аркадию Россет, возлюбленному Александрины Гончаровой, он выражается еще определеннее, называя это незнание болезнью. «...Я болею незнанием многих вещей в России, которые мне необходимо нужно знать; я болею незнаньем, что такое нынешний русский человек на разных степенях своих мест, должностей и образований. Все сведения, которые я приобрел досель с неимоверным трудом, мне недостаточны для того, чтобы «Мертвые души» мои были тем, чем им следует быть...»

Несколько позже Гоголь пишет и рвет в клочки свой многословный крайне раздраженный ответ Белинскому и ограничивается кратким сдержанным письмом, в котором сквозит та же главная, наиболее существенная для него мысль: «Покуда мне показалось только то непреложной истиной, что я не знаю вовсе России, что много изменилось с тех пор, как я в ней не был, что мне нужно почти сызнова узнавать все, что ни есть в ней теперь. А вывод из всего этого я вывел для себя тот, что мне не следует выдавать в свет ничего, не только никаких *живых образов* (выделено Гоголем.— *В. Ч.*), но даже и двух строк какого бы то ни было писания до тех пор, покуда, приехавши в Россию, не увижу многого собственными глазами и не пощупаю собственными руками».

Поступить так, как задумал, Гоголь, однако, не смог. Страстно призывая в «Выбранных местах» «проездиться по России» других, сам Гоголь еще продолжал проезживаться год с лишним по Европе, сплавал аж в Палестину, дабы укрепиться богом,— не получилось, поелику бог художника есть его народ,— вернулся, наконец, в Россию, большей частью проезживаясь по усадьбам почитателей, по богатым городским домам, в одном из которых попытался сделать безнадежное предложение малопривлекательной дочери графа, по монастырям, где не сыскивалось материала для продолжения романа из *народной* жизни; и медлен-

ио, мучительно писал второй том «Мертвых душ», «вытягивая из себя клещами,— как вспоминал один очевидец,— фразу за фразой». Гоголь ставил перед собой творческую задачу громадной сложности — осветить всю жизнь России, отыскать в ией здоровые силы и новых героев, отвечающих идеалам автора, однако являлись они в *полуживых* образах...

Устоялось мнение, будто сожжение второго тома «Мертвых душ» было совершено Гоголем на финише его жизнн под гнетом душевной болезни либо в состоянии крайнего религиозно-мистического исступления. А может быть, Гоголь, сжегший в разные годы множество своих нсписанных страниц, в том чнсле и немало глав последнего романа, с произнтельной ясностью понял, что эти вымученные, не по-гоголевски маловдохновенные строки — слишком слабое отражеиие российской жизни — являются совсем не тем, чем нм следует быть, и мужественно, честно решил ие оставлять потомкам свидетельств своей трагической оторваниости от жизни родного иарода?

Великий, суровый и горький урок!

Любознательный Читатель. А с Александрой Смирновой ои по приезде в Россию продолжал встречаться?

— Как же! Летом 1849 года в Москве оии в течение двух недель виделись почти ежедневио. Потом он с месяц гостил в Бегнчеве, калужской деревие Смнрновых, жил н в городе, заннмал флигель в губериаторском саду. Именно иа этом месте сейчас стоит памятная стела. Летом следующего года ои снова гостевал у нее в Калуге. Кажется, Гоголь искал любой случай побыть возле нее.

С началом лета 1851 года он из Москвы собрался в Спасское, подмосковное имение Смирновых. Как вспоминал спустя десять лет после смерти Гоголя в «Русском вестинке» сводный брат Александры Смирновой Л. Ариольди, «Гоголь был необыкновенно весел во всю дорогу, опять смешнл меня своими малороссийскими рассказами»...

В Спасском Гоголь вел иормальный, здоровый образ жизни, и ннчто, казалось, не предвещало ее близкого коица. «Все время, которое ои там прожил,— вспомииал Ариольди,— ои был необыкновенно бодр, здоров н доволен. Гоголь жил подле меия во флигеле, вставал рано, гулял один в парке и поле, потом завтракал и запирался часа на три у себя в комнате. Перед обедом мы ходили купаться с ним. Он уморительно плясал в воде и делал в ней разные гимнастические упражнения, находя это здоровым. Потом мы опять гуляли с ним по саду, в три часа обедали, а вечером ездили, иногда на дрогах, гулять, к соседям или в лес».

И далее в этих воспоминаниях идет сообщеине чрезвычайно важное. «К сожалению, сестра моя скоро захворала, и прогулки наши прекратились. Чтобы рассеять ее, Гоголь сам предложил прочесть *окончание второго тома «Мертвых душ»* (курснв мой.—

В. Ч.), но сестра откровенно сказала Гоголю, что ей теперь не до чтения и не до его сочинений. Мне показалось, что он немного обиделся»...

О, эти достоверно-противоречивые свидетельства очевидцев! По воспоминаниям Александры Смирновой, Гоголь в Спасском предлагал ей послушать и даже прочел не окончание второго тома «Мертвых душ», а всего лишь их первую главу, которую она «нашла пошлой и скучной». От ее глаза не ускользнуло, что между прогулками, работой и безмятежными минутами отдыха Гоголь побаливал физически, страдал душевно, временами чурался людей и «весь был погружен в себя».

В середине лета Смирнова и Гоголь вернулись в город.

Арнольди: «В Москве он *каждый вечер* (курсив мой.— *В. Ч.*) бывал у сестры и забавлял нас своими рассказами». Остаток лета Гоголь провел на дачах Шевырева, Щепкина и Аксакова. Физическое и душевное состояние его ухудшалось, он часто бывал угрюм, зол и старательно избегал общества женщин. Много писалось о его усиливающейся религиозности и психической неуравновешенности, но вот мнение В. А. Соллогуба, близко знавшего писателя в последние годы его жизни и нарисовавшего тонкий психологический портрет великого художника: «Он страдал долго, страдал душевно — от своей неловкости, от своего мнимого безобразия, от своей застенчивости, от безнадежной любви, от своего бессилия перед ожиданиями русской грамотной публики, избравшей его своим кумиром. Он углублялся в самого себя, искал в религии спокойствия и не всегда находил; он изнемогал под силой своего призвания, принявшего в его глазах размеры громадные, томился тем, что непричастен к радостям, всем доступным, и изнывал между болезненным смирением и болезненной, несвойственной ему по природе гордостью».

В последний раз Александра Смирнова увиделась с писателем за несколько месяцев до его смерти. Они вместе побывали на представлении «Ревизора» в Малом театре... И нам пора бы с ней проститься.

Любознательный Читатель. А загадка этой, бесспорно, незаурядной личности остается?

Кроме предисловия к «Запискам» А. О. Смирновой, вышедшим полвека назад, не знаю ни одной работы историка нашей литературы, исследователя русской общественной жизни или мемуариста, в которой делалась бы серьезная попытка разгадать эту загадку, хотя, быть может, мне просто не удалось докопаться — журнальный, книжный и архивный мир России беспределен. Может, лучше других узнал эту, верно, незаурядную личность ее муж, богатей и карточный игрок, сенатор и придворный, губернатор Калуги и Петербурга Н. М. Смирнов?

Однажды я прослышал о его дневниках, что хранятся в Институте истории Академии наук СССР. Кстати, попали они туда в составе архива русского историка В. О. Ключевского, который в последней своей незавершенной работе, посвященной 50-летию от-

мены крепостного права в России, частично использовал эти записки, чему предшествовало одно обстоятельство, связанное со щепетильностью и научной корректностью ученого. Какими путями и через кого дошли они до историка, неизвестно. Н. М. Смирнов умер в 1870 году, а через сорок лет В. О. Ключевский писал знаменитому юристу А. Ф. Кони: «...много лет тому, собирая разные старинные рукописи, я купил,— у кого, теперь не помню,— несколько каких-то тетрадей старых. Рассмотрев их, я посредством продолжительных справок убедился, что это разрозненные части собственноручных записок Н. М. Смирнова, мужа известной в свое время Алекс (андры) Осиповны, урожденной де Россет; он был губернатором в Кал (уге), потом сенатором. Записки не лишены исторического интереса. Но я никак не могу определить своего юридического к ним отношения. Как и откуда взяло их лицо, мне их продавшее, где его теперь найти, где находятся другие части записок, если они были написаны, остались ли после у автора их наследники и где они,— про все это я ничего не знаю. Что мне делать с этими тетрадями, т. е. в какой мере я могу считать себя их владельцем, а не просто хранителем, и могу ли ими пользоваться печатно — вот вопросы, для меня неразрешимые, насчет которых мне очень хотелось бы знать Ваше мнение. Если это нимало Вас не затруднит, сделайте мне превеликое одолжение, вразумив меня в моих недоумениях».

В той не дописанной историком последней своей статье, впервые опубликованной в 1958 году, используются материалы из дневников Н. М. Смирнова, но нет ничего об Александре Осиповне, кроме одной фразы Николая I, которую он сказал ей на великосветской вечеринке в 1837 году: «Я хочу освободить крестьян, чтобы оставить моему сыну империю спокойной»... Не освободил до самой своей смерти, что была, как пишет В. О. Ключевский, «одна из тех смертей, которые расширяют простор жизни».

В. О. Ключевский, однако, размышлял о личности А. О. Смирновой, о ее роли в литературной и политической жизни России первой половины минувшего века и за год с небольшим до кончины, а точнее, 20 декабря 1909 года, на оборотной стороне клочка торговой рекламы написал карандашом следующее:

«Россет — обрусевшие инородцы с их своеобразным патриотизмом и взглядом на новое, неродное отечество. Николай у А(лександры) О(сиповны) в гостин(ой) чувствовал и вел себя, как за границей, свободомыслящим европейцем, джентльменом, не русским самодержцем, запросто и даже почтительно разговаривал с русск(им) писателем, которого его застеночный censor morum (цензор нравов) Бенк(ендорф) сажал в крепость по 3-му пункту, без объяснения причин. Это б(ыли) не эстетика и не патриотика, а своего рода домашняя диэтика. Портя себе вкус к жизни ежедневными лакомствами безотчетной власти, восстанавливая его минутным сухоядением корректности и джентльменства в гостиной образованной и умной полурусской барыни, бывшей

фрейлины, петербургский дом которой, как нечто экстерриториальное, подобно квартирам иностран(ных) посланников, изъят был из-под действия русских властей и законов.

Это было неловкое положение, но тогда привыкли к подобным неловкостям, как привыкают к петербургской погоде, и даже находили в этом некоторое удовольствие и пользу. Покровительство литературе и искусству разгоняло скуку парада и доклада, а художественное творчество находило в высоком внимании безопасные пределы своего полета. Воздушный шар мог тряхнуть, но не улететь из вида».

Комментировать не стану, лишь уточню, что Николай I никогда не бывал в гостиной А. О. Смирновой, и Россеты — не «обрусевшие инородцы»; все пятеро родились и воспитались в России и служили ей, любили ее, начиная с их отца, действительно обрусевшего иностранца, а чистейший русский выговор Александры Осиповны с удовольствием отмечал сам Пушкин, страдавший от манерного великосветского грассирования и прононсирования...

Читаю записки Смирнова. Три тетради. В первых двух — довольно интересные записи о петербургских новостях, падении курса ассигнаций, неурожаях, перемещениях по службе высоких чиновников, засилье нерусских в статистике по разным министерствам, меткие характеристики многих сановных лиц, бездарных служак. Известная пушкинская эпиграмма «В академии наук заседает князь Дундук» с дневниковой откровенностью в концовке. Вдруг нахожу длинное перечисление великосветских красавиц... Интересный словесный портрет: «Прекрасный профиль, стройный стан, величавая поступь Пушкиной, жены поэта, ставит ее, конечно, на ряду первых красавиц, ее муж справедливо называл ее своею Мадонной, у нее лицо Рафаэлевских мадонн, и что еще лучше, она любезна и этим выигрывает против всех соперниц красоты». Смотрю на дату: 1833—1834 годы... Дальше: «И моя жена не из последних, всякий помнит и будет помнить la jolie M-lle Rossette, ее черные глаза, итальянские, африканские, ее локоны, черные, как враньи перья, дружба Жуковского, Вяземского и Пушкина, умнейших наших людей и поэтов, мне говорит, к какому разряду принадлежит ее ум»...

Рассчитывал найти что-нибудь в самой толстой, третьей тетради, но она была на французском, в основном посвящена крестьянской реформе, испещрена отчерками Ключевского, а между 126-й и 127-й страницами — клочок из другого дневника, на русском, тоже с пометой историка и анонимной эпиграммой на князя Давыдова, преемника князя Дондукова. Наверное, она не печаталась никогда, и я приведу ее как любопытный документ времени и своеобразный отклик на пушкинскую эпиграмму:

В отставку вышел к(нязь) Дундук,
И в академию наук
Назначен ныне князь Давыдов.

Скажите, из каких же видов
На место князя Дундука
Уваров выбрал дурака?

От пушкинской эпиграммы в первой тетради Н. М. Смирнова до этой эпиграммы в тетради третьей прошло тридцать лет, но, знать, не очень-то многое изменилось в принципах выдвижения кадров со смертью Николая... Отложил и эту тетрадь, подумав, что на самом деле кто-нибудь из востроглазых молодых, свободно ныне знающих французский, прочтет когда-нибудь эту тетрадь и, быть может, найдет что-то новое об Александре Осиповне Смирновой, чью девичью фамилию даже муж писал неверно, а некоторые наши современники считают эту интереснейшую женщину кто итальянкой, кто молдаванкой, хотя в ее жилах текла совсем иная кровь.

Любознательный Читатель. Удалось уточнить ее происхождение и родословные связи?

Это не так важно, однако из-за них наше путешествие в прошлое дает иногда совершенно неожиданные повороты и связует событня.

В Молдавии прошлого века жило известное семейство Россети, но никакого отношения подруга Пушкина и Гоголя к ним не имела. Ее отец Осип Россет оказался на юге России вместе с Ланжероном и знаменитым дюком Ришелье, которому в Одессе стоит памятник. Ришелье был дальним родственником Россета и стал крестным отцом новорожденной Александры. Среди основателей Одессы Осип Иванович Россет не был последним человеком. Его имя можно найти в золотых списках Георгиевского зала в Кремле — почетного боевого ордена он был удостоен по представлению самого Суворова после штурма Измаила. Служил он также при штабе Потемкина, командовал военной яхтой, бомбардирским катером, фрегатом, участвовал во взятии Очакова и других крепостей, во многих сражениях на море и Дунае под началом генерал-майора де Рибаса и адмирала Мордвинова, единственного, можно сказать, сочувствовавшего декабристам в Следственной комиссии. Кроме Георгия, Осип Россет заслужил Анну 2-й степени и Владимира 4-й. Закончил карьеру в мирной должности инспектора одесского портового карантина и на этом посту, борясь с эпидемией, умер от чумы вскоре после рождения дочери.

Откуда он происходил и кто его предки, доподлинно установить не удалось. В одних источниках он значится швейцарцем, по другим сведениям — происходит из французской провинции Дофинэ, по третьим — из Безансона. Род de Rosset, однако, очень древний и во Франции довольно известен. Куда интереснее декабристское родство Александры Смирновой. Ее бабка — грузинка Екатерина Евсеевна Лорер, урожденная княжна Цицианова, была матерью декабриста Николая Лорера.

Одно время я предполагал, что отец Смирновой Осип Жозеф де Россет и дед декабриста Николая Мозгалевского Карл (Шарль) де Розет

могли быть одного рода. Они оба одновременно эмигрировали, их потомки осели на Украине. Есть смутные сведения, что за ссыльного «нашего предка» кто-то однажды из родственников хлопотал в Петербурге, хотя таких там, по всем данным, вроде не должно бы проживать. Однако очень уж сходны две эти фамилии — Россет и Розет, и я поначалу думал, что разница в их написании появилась при переходе французских эмигрантов в русское подданство в конце XVIII века из-за ошибки какого-нибудь чиновника.

Любознательный Читатель. А «россет» что-нибудь значит по-французски?

— «Rose» — роза, «rosse» — злой, циничный, дрянной человек, и хотя на гербе Россетов изображалось три розы, а кто-нибудь из ее далеких предков, конечно, мог быть плохим человеком, эти слова — разные... Герба же Розетов мне пока не удалось отыскать, однако я не особенно старался — любознательным потомкам надо кое-что оставить для досуга, если кто-нибудь из них заинтересуется геральдической стариной. В знаменитой французской энциклопедии «Лярусс» нашел я трех Россетов и одного Розета. Клод-Антуан Розет (Rozet) был известным французским геологом прошлого века, автором многих специальных книг. На столетие раньше жили два известных Россета — скульптор Жозеф Россет и поэт Пьер-Фулькрод де Россет, а о древности этого рода можно судить по персоналии человека, родившегося в Провансе в 1570 году. Это был французский литератор Франсуа де Россет (Rosset). Таким образом, фамилии «Россет» и «Розет» изначально писались по-разному, и, следовательно, декабрист Николай Мозгалевский не состоял в родстве с племянницей декабриста Николая Лорера Александрой Смирновой и едва ли они могли хлопотать за него в Петербурге.

Любознательный Читатель. А какова ее судьба?

— Александра Смирнова пережила мужа на двенадцать лет, Гоголя — на тридцать. Всеми забытая, вконец обедневшая, она сошла с ума и умерла в Париже в 1882 году. Гроб с ее телом был доставлен в Москву. Ее скромное надгробие — дикий черный камень с крестом над ним — вот все, что напоминает о бывшей близкой приятельнице Пушкина, Жуковского и Гоголя. Его можно и сейчас увидеть в Донском монастыре у церкви Михаила Архангела, в котором собраны старинные надгробия. На него, этот камень, кто-то и сегодня приносит цветы. Когда мы с Еленой последний раз были в Донском, шла ранняя весна, и на приметном черном валуне лежал маленький желтый цветок мать-и-мачехи...

Одна из квартир сегодняшнего Тбилиси превращена в музей, где потомки сына А. О. Смирновой-Россет бережно хранят все три ее известных портрета, портрет Н. М. Смирнова, мебель и вещи, перевезенные сюда из Петербурга после ее смерти.

Подлинники писем, дневников и документов А. О. Смирновой-Россет находятся ныне в Ленинской библиотеке.

36

Попрощались с Окой. Ее пойма за Перемышлем незаметно сопряглась с жиздринской, и мы уже приготовились к встрече с Козельском, но в Перемышле была краткая попутная остановка, о коей так не хочется сказать словами давнего путешественника: «Перемышль — городок пустой». Пустых мест на родной моей земле я не знаю, и даже там, где вроде бы в самом деле нет ничего, есть *память* о том, что здесь некогда было, или же уверенность в том, что когда-то будет, заполняющая пустоту *надеждой* — великой движительницей жизни.

Перемышлю, тезке своего знаменитого южного собрата, не повезло — он давно превратился в небольшое сельцо, и только камни, обреченно пытающиеся спорить со временем, напоминают о том, что стоял тут некогда старинный городок со своим гербом, крепостью, историей и славой. Каменные присутственные места, Успенский собор XVI века, церкви Сошествия духа и Рождества середины XVIII века, а в следующем селе Ильинском над кручами Жиздры — почти погибшая Сергиевская и замечательная по обилию пилястр, резному порталу и оригинальной композиции Успенская... Ловлю себя на том, что опять о попутных каменных памятниках мимоходом завел речь, готовясь к разговору о русском зодчестве, и не вспоминать же, в самом деле, того давнего путешественника, который, кроме пустоты, увидел в Перемышле только «превеликое стадо рогатого скота».

К нашему проезду скота, конечно, не было на месте, но, как и встарь, стояли по сторонам немые деревенские домики, мимо которых путешественники проезжают, словно мимо пустого, а в них жили и живут и будут жить после нас хозяева и хранители этой земли, знающие мудрые присловья, меткие приметы и местные целебные травы, назвавшие жемчужным русским словом каждый здешний лужок и ложок, взгорок и старицу.

Дорога петляет по-над берегом, то вздымает ввысь, открывая просторы жиздринской поймы и запойменных лесов, то берет вниз и ровно стелется приверхой, сглаженной древними водами.

Судя по счетчику, вот-вот должен бы показаться Козельск, а пока проглядывалась впереди лишь дорожная и пойменная пустота. Вдруг среди россыпи домиков закрасовалась в зелени одинокая белая церковка. Козельск? Облик ее даже издали намекнул на что-то знакомое. Прижав машину к обочине, я спросил у женщины, что неторопливо, утицей, шла к ветхому колодцу.

— Скажите, пожалуйста, это Козельск?

Женщина поставила ведра, оперлась на резное коромысло и начала молча разглядывать нас. Пустые встречные ведра — плохая примета.

— Извините, нет ли тут чего-нибудь вроде гостиницы или заезжего дома колхозников?

Она молча разглядывала нас и наконец ответила:

— В Козельске есть.

— А это разве не Козельск?

— Не Козельск,— промолвила она.

— А что же это?

— Это Прыски.

— Какие Прыски? — удивился я.

— Нижние, какие же еще?

И она взялась за ведра и коромысло.

Встречались мне в поездках по России Снегири, Вяземы, Родинки, Зимороды, а тут какие-то Прыски, да еще Нижние, но я все же решил приостановиться у церковки, которая по мере приближения к ней становилась все знакомее.

Ну, этого я никак не ожидал! Простая четвериковая колокольня в три яруса с заоваленными проемами звонницы, сфера мощного купола над барабаном, подсвеченным *круглыми люкарнами.* Люкарнами такой формы был пронзен феноменальный шатер собора еще при Никоне в Новом Иерусалиме, рухнувший в конце Петровской эпохи. Растрелли с Бланком гениально восстановили его, и этот шедевр мировой архитектуры, сняя внутренней сферой, величаво вздымался в подмосковное небо.

В Нижних Прысках никто не знает, кто возвел эту небогатую по внешнему убранству церковь Преображения с характерными авторскими признаками. И если она построена не позже 1793 года, то, значит, Карл Иванович Бланк мог и тут, в трехстах километрах от Москвы, приложить свою неутомимую зодческую руку, которая, однако, начала будто бы уставать и для ускоренья и облегченья дела множить однажды найденное.

Каменные ворота, заоваленные поверху, вели на церковное кладбище, где высились в блеклой осенней траве черные обелиски старинного отеса, и я не думал не гадал, что, приблизившись к ним, снова отклонюсь в сторону и поведу за собой читателя, заждавшегося, наверное, разрешения загадки великой эпопеи маленького Козельска...

Однако отклоненье это вышло не слишком-то в сторону, потому что перед нами была *декабристская* могила.

Имя декабриста Сергея Кашкина мне встречалось раньше, только я не ожидал увидеть его надгробие здесь, под Козельском, хотя быть ему больше негде...

Сергей Николаевич Кашкин, как и большинство его товарищей, не считается выдающимся революционером, теоретиком или организатором, но все-таки он состоял в Северном обществе со знанием цели, поиес наказаиие, хотя и сравнительно легкое. В рядовой его судьбе есть неповторимые моменты, связующие события, громкие имеиа. Под этой же церковной стеной упокоился его сыи Николай, о коем непремеино иадобио написать, потому что ои являл собою в истории России единственный семейный пример изначальиой революциоиной преемственности. И о внуке декабриста, Николае же, похороненном рядом с отцом и дедом, хочется тоже вспомиить...

Деревеиька Нижние Прыскн под Козельском, упоминаемая еще в документах XV века как Порыски, сделалась волею судеб местом, где столетиями перекрещивались жизненные пути представителей множества известнейших в истории России родов. Генеалогические корни Кашкиных уходят в глубь веков, и едва ли не прав был Александр Блок, сказав однажды, что все дворяне России — родня. Ртищевы, которым до Бахметьевых и Кашкиных принадлежала эта деревня, состояли в родстве с киязьями Одоевскими, Волконскими, Ромодановскими, Кольцовыми-Масальскими, Прозоровскими, Хилковыми, Хитрово, с графскими семействами Толстых и Соковниных. В местиом господском доме, кроме огромиой библиотеки на русском и иностранных языках, картии и портретов, веками хранилось уиикальиое историческое сокровище: многие тысячи документов, представляющих архивы Волконских, Ртищевых, Сафоновых, Бахметьевых, Блохиных, Языковых, Свищовых, Шербачевых, Нестеровых, Яковлевых, Киреевских и Кашкиных — двенадцати родов!

О судьбе этих бумаг я скажу иесколько позже, а из многочисленных давиих владельцев усадьбы упомяну одного лишь генерал-майора в отставке, первого калужского предводителя дворяиства Гавриила Петровича Бахметьева, потому что это он в коице XVIII века построил здесь церковь и дом, не сохранившийся, правда, до наших дней. Он был огромным — три этажа полудужьем, терраса, флигеля, множество хозяйственных построек; все это окружалось регулярным парком и садами-огородами.

Дочь Бахметьева Анна Гавриловна стала матерью Сергея Кашкина. Тринадцати лет от роду будущий декабрист записался в Московское ополчение, но повоевать с французом, как и добровольцу Грибоедову, ему не привелось. Позже, в лейб-гвардии Павловском полку, где служил его двоюродный брат князь Евгений Оболеиский, приключился, как вспоминают современиики, редкий даже для тех времен и нравов дуэльный эпизод. Юный подпоручик обидел иасмешкой одиого из офицеров, и тот бросил ему перчатку. Евгений Оболеиский, который вместе с Коидратием Рылеевым и другими декабристами боролся за свободу будущего цензора А. В. Никитенко, пытался разрешить дело миром, чтобы спасти

единственного сына своей тетушки, но оскорбленный был непреклонен. Тогда Оболенский вышел к барьеру вместо двоюродного брата, убил, к несчастью, ни в чем не виновного человека и всю жизнь мучился угрызениями совести.

Сергей же Кашкин вскоре прервал военную карьеру — судья Московского надворного суда Иван Пущин, искавший на гражданской службе особый путь служения народу, убедил его последовать своему необычному примеру, и они более года работали вместе. В Общество Сергея Кашкина принял Евгений Оболенский. После раскрытия заговора Кашкин почти год содержался «строго, по усмотрению» в Петропавловской крепости, потом отбыл кратковременную ссылку в Архангельской губернии, а с осени 1827 года и до самой смерти в 1868 году прожил в Нижних Прысках — хозяйствовал, писал статьи на сельские темы, принимал гостей, в том числе декабристов Евгения Оболенского и Гавриила Батенькова, переехавшего после амнистии 1856 года из Томска в Калугу.

Не однажды, дорогой читатель, мы с тобой встречались на этих страницах с необычными судьбами, всматривались в перекрестки жизненных путей наших предков, и вот перед нами еще одна редчайшая попутная стежка... Процитирую документ, вышедший из-под пера петербургского судейского писаря в декабре 1849 года: «...отставного инженер-поручика Достоевского за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского... подвергнуть смертной казни расстрелянием»...

Сын декабриста, петрашевец Николай Кашкин стоял на плацу рядом с Федором Достоевским. За несколько минут до страшного мгновения он разобрал слова, брошенные по-французски одним из экзекуторов, и понял, что казни не будет, это жестокий спектакль. В архиве Октябрьской революции хранится список помилованных. Кашкина царь «помиловал» собственноручно: «К четырем годам каторги, а затем в солдаты». Полный каторжный срок, затем — по царскому предписанию — солдатский пот, смертельный риск не раз и не два, и только после этого восстановление в дворянстве и возвращение в родные Нижние Прыски.

На долгие годы сохранилось уважительное товарищество между Николаем Кашкиным и Федором Достоевским — они переписывались и встречались тут, в Нижних Прысках, где гащивали также Алексей Толстой и Николай Рубинштейн, Верещагин и Васнецов; отдыхали, беседовали, писали, засиживались в богатейшей библиотеке этого дома. А несколько ранее Гоголь, по пути в деревеньку братьев Россет Верхние Прыски, не мог миновать Нижних...

Просвещенные и по тем временам политически зрелые хозяева поместья пытались помогать своим крестьянам, благотворительствовали, однако Николай Кашкин сам признавался: «Да, и в наших Прысках жизнь мужиков очень и очень плохая, и, как бы мы ни старались, пока не уничтожишь проклятого ярма крепостничества, жизни крестьянской не улучшишь». Вместе с товарищем отца, декабристом Петром Свистуновым, проживавшим после сибирской катор-

ги и ссылки в Козельском уезде, Николай Кашкин занимался подготовкой проекта земельной реформы. Они были делегированы калужским дворянством в петербургский комитет, но царь запретил этим двоим — декабристу и петрашевцу — приезд, а Герцен, уведомленный кем-то, поместил на этот счет в «Колоколе» возмущенный отклик...

Внук декабриста и сын петрашевца Николай Николаевич Кашкин был далеким от политики чиновником министерства государственных имуществ и по странной иронии судьбы много занимался вопросами тюремного дела, ссылки и каторги, с которыми его дед и отец были знакомы столь близко. В конце прошлого века, объездив с комиссией всю тюремно-каторжно-ссыльную Сибирь, он принял непосредственное участие в подготовке закона об отмене ссылки на поселение за общие преступления, много сил отдал судебному делу, борьбе с чумой, сельскохозяйственным проблемам дореволюционной России. Мелкие дела мелкого чиновного лица при давнем и чуждом для нас социальном строе? Пусть так, но Н. Н. Кашкин был человеком до щепетильности честным, очень трудолюбивым и, бесспорно, талантливым. В тридцать с небольшим лет он заболел неизлечимой в те времена формой туберкулеза, поселился в Нижних Прысках и продолжил главное, можно сказать, дело своей жизни, коему с лицейской юности отдавал все часы и минуты досуга.

Дело в том, что Николай Николаевич Кашкин был прирожденным историком-архивистом. Он глубоко интересовался русской стариной, умел найти и преподнесть читателю неизвестный древний документ, был учредителем и членом нескольких научных обществ. Перебрал по бумажке многие древлехранилища России, но ему не хватило нескольких лет, чтобы полностью изучить и осмыслить многовековые родовые архивы Нижних Прысков. В предсмертном духовном завещании просил родственников собрать средства на сооружение ему «памятника в виде издания сборника» его статей, а одного из своих ближайших друзей стать издателем-редактором.

Друг этот, к тому времени уже известный русский историк и филолог, бывал в Нижних Прысках, знал об их исторических сокровищах, любил и ценил хозяина. Это был Борис Львович Модзалевский, дальний родственник декабриста Николая Мозгалевского. Он собрал и отредактировал труды Николая Кашкина, написав по его материалам последние главы.

И вот передо мной два огромных тома, названные автором «Родословные разведки». С фотографии смотрит вам в глаза молодой человек. Типичный облик русского интеллигента начала этого века. Огромный лоб, «чеховская» бородка, ясный взгляд, впалая грудь с устало скрещенными на ней руками. «Предкам своим, за унаследованное от них честное имя и любовь к труду и знанию, благоговейно посвящает Н. Н. Кашкин...» Кстати, Николай Кашкин успел перед смертью сделать для потомков последнее благородное дело — весь огромный исторический архив Нижних Прысков завещал Академии наук, где он хранится доныне и, как

писал Б. Л. Модзалевский еще в 1912 году, «ожидает теперь своего исследователя».

В двухтомнике «Родословные разведки» прослежены генеалогические линии многих дворянских родов, однако ценность труда не в самих этих родословных разведках, а в попутных подлинных документах, оживляющих нашу историю, в портретах-характеристиках сотен лиц, связанных с политическими, военными, дипломатическими, общественно-гражданскими событиями в России за несколько веков. Отсылаю заинтересованного читателя к этой редкой монографии, об авторе которой и ценностной сути ее Б. Л. Модзалевский писал так:

«Поэт в душе, часто и по вдохновению, еще с ранних юношеских лет отдававшийся занятиям стихотворством, Николай Николаевич любил наше прошлое и умел его поэтизировать, умел мысленно переноситься в описываемые им эпохи, проникался их настроением, понимал людей прошлого и их миросозерцание; все это вместе с богатством собранного им материала, с умением пользоваться для своих работ даже мелочами, со знанием бытовых особенностей уклада прежней жизни и наряду с ювелирной тщательностью отделки его работы делают начертанные им образы живыми и жизненными; мы видим не скелеты былых деятелей, читаем не формулярные их списки, а знакомимся с облеченными в плоть и кровь живыми людьми, чувствуем их чувствами и живем их интересами».

Нет, совсем не пустое место и Нижние Прыски, подгородная деревня Козельска...

Козельск. Названьице вроде бы скромное и городок донельзя скромный. Стоит, правда, хорошо — на горе, над жиздринской кручей, и в памяти русских людей занимает особое, свое, только ему принадлежащее место,— во время первого нашествия кочевой орды в XIII веке быстро пали даже княжеские столицы Рязань и Владимир, а этот городок сражался семь недель! Что за герои в нем жили? Что за крепость здесь стояла? Каким образом она была все же взята? Почему козельцам тогда никто не помог? Кто такой был малолетний князь Василий, утонувший в крови?

Новые и новые вопросы... Как орда оказалась здесь, уже в Черниговском княжестве? Сколько у нее было воинов? Какой осадной техникой располагала? Чем в течение полутора месяцев кормилась тут конница весной 1238 года? Кто командовал степным войском? Какие потери оно понесло? Каким путем ушло отсюда? Что говорит археология? Что пишут о козельской обороне специалисты-историки? Как отразилось в русской литературе одно из ключевых событий истории нашего народа? Сохранились ли тут, на месте, какие-нибудь предания? Есть ли топонимические следы события?..

Все эти вопросы, которые я ставил перед собой в Козельске, не так просто было разрешить вдруг, и местный краевед Василий Николаевич Сорокин, с которым мы тут быстро сошлись, лишь

увеличил поначалу объем недоумений и неясностей, спеша *показать* нам побольше, и пришлось, заметив в торопливых пояснениях неточности и приблизительности, подчиниться его страсти гида, ясно поняв, что надобно приехать сюда еще раз, специально для работы, а может быть, и не раз,— история захватывала меня, и хотелось узнать минувшее поглубже, подоскональнее, начав с исторических истоков этого необыкновенного события русского средневековья...

А пока переезжаем Жиздру и направляемся к приметному месту за ней, где обязательно, как в Обнинске, Калуге, Перемышле и Нижних Прысках, надо бы приостановиться.

Назвать это место «пустым» не решился бы даже тот давний привередливый проезжий, несмотря на то, что оно всегда официально именовалось *пу́стынью.* Так оно, имеющее, как и Козельск, некую тайну, зовется и сегодня, так будут, наверное, называть его и послезавтра, когда значимость этого примечательного и неповторимого уголка родной земли в корне обновится по сравнению с временами давно минувшими и нынешними...

Одна обитель в прежние времена славилась богатыми вотчинами, другая — особым благочестием, третья — торговлей; были и такие, что злее других эксплуатировали приписных крестьян или скрывали за своими стенами ужасные преступления...

Ничего подобного из упомянутого выше не числилось за Оптиной пустынью. Это был ординарный бедный монастырек. Во вкладной его книге XVIII века значится, что царь Петр Алексеевич пожертвовал «десять пуд меди», князь Иван Черкасский «хлеба десять четвертей», некто Василий Полонский сорок алтын, козельский стольник Василий Юшков «сосуды белые оловянные», за которые при продаже был выручен рубль, а какой-то старец Мелетий «невод да крюк железный». И не было в Оптиной пустыни ни древней иконки, ни «святого» источника, ни достославного христианиейшего основателя...

Крепостных Оптина пустынь не имела, в середине XIX века жило здесь около ста монахов, которые обрабатывали принадлежавшую монастырю землю, косили луга и ловили рыбу на своем участке Жиздры, прибегая и к наемному, батрацкому труду. И с той же середины века взялась расти необычная слава Оптиной пустыни.

Дорога сюда и сейчас куда как хороша! Вековые дубы, липы и сосны сопровождают путника, окружая его по веснам птичьим благовестом, а осенью торжественной тишью. Мне показалось, что стоят они кое-где слишком правильно для стихийного леса, и Василий Николаевич подтверждает мою догадку — здесь зародилась было первая в России лесная школа, но ее перевели в Петербург, слили с тамошней, и образовалась знаменитая академия, которую полтора века спустя закончили многие из моих друзей-лесоводов. Лесопарк то подступает к Жиздре, текущей попутно, то отходит в сторонку, приоткрывая луга, старицы, Козельск и Ниж-

ние Прыски за широкой долиной. Вот он редеет, теряет подлесок, и на голом взгорке, перед самой монастырской стеной, лежит набоку большое черное надгробие с оббитыми углами. «Гартунг» — с трудом разобрал я старую надпись.

— Тот самый? — спрашиваю, имея в виду генерала Гартунга, мужа дочери Пушкина Марии, который застрелился в московском суде.

— Нет, его отец,— говорит Сорокин.— Здесь же похоронены два брата Россет, Осип и Александр, отец критика Писарева... Братья Киреевские тоже тут лежат...

Стоим у свежего штакетника, огородившего захоронение Киреевских; тут хочется повспоминать да подумать... Допускаю, что немало современных образованных людей в силу специализации их знаний ничего не слышали о братьях Киреевских, похороненных в некой Оптиной пустыни, что далеко не все из миллионов моих соотечественников по тем же и другим причинам что-либо и когда-либо узнают о них; именно о таких, кто *никогда* не найдет самостоятельного пути к братьям Киреевским, я подумал прежде всего, разглядывая в полинялой траве едва заметные продолговатые холмики...

Иван Киреевский, по словам Пушкина, который много лет с ним дружил, встречаясь то в Петербурге, то в Москве, был один из создателей нашей литературной критики. В его ранних статьях получило изначально верную оценку творчество Крылова, Грибоедова, Пушкина, Кюхельбекера, Дельвига, Баратынского, Языкова. В одной из своих работ он отважился вспомнить о русском просветителе екатерининских времен Новикове, чье имя было тогда под запретом. Основанный им в 1832 году журнал «Европеец» был со второго номера закрыт из-за статьи издателя о грибоедовском «Горе от ума» и смелых политических предсказаний в работе «XIX век»...

Однако Иван Киреевский был не только критиком. Романист, философ, переводчик, публицист, общественно-политический деятель и просто русский человек, сгоревший от любви к своему народу, страстно искавший для него лучший исторический путь. Двадцатитрехлетним молодым человеком он так сформулировал свое мировоззренческое кредо: «...*наша* философия должна развиваться из *нашей* жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов *нашего* народного и частного быта». Вскоре он едет в Германию, где встречается с Гегелем и Шеллингом, беседуя с ними на их языке, потому что знал не только немецкую философию, но и немецкий язык, владея кроме него, кстати, еще семью языками.

С именем Ивана Киреевского связано зарождение в России так называемых славянофильских идей. Слово «славянофильство» («славянолюбие») в представлении немалого числа даже очень сведущих людей несет в себе некий ругательный оттенок, хотя термин этот был с самого начала неточен, условен и совсем не

отражал существа и многообразия широкого общественно-политического течения 40—60-х годов прошлого века, что не единожды подчеркивалось еще в те времена. Чернышевский: «...Симпатии к славянским племенам не есть существенное начало в убеждениях целой школы, названной этим именем... Кто же из образованных людей не разделяет ныне с ней этой симпатии?» Белинский, в свое время яростно выступавший против «славянофилов», тем не менее признал: «Так называемое славянофильство, без всякого сомнения, касается самых жизненных, самых важных вопросов нашей общественности. Как оно их касается...— это другое дело. Но прежде всего славянофильство есть убеждение, которое, как всякое убеждение, заслуживает полного уважения, даже и в таком случае, если вы с ним вовсе не согласны».

Вот как предельно ясно и недвусмысленно писал на эту тему сам Иван Киреевский: «Мы думаем, что все споры о превосходстве Запада или России, о достоинствах истории европейской или нашей, и тому подобные рассуждения, принадлежат к числу самых бесполезных, самых пустых вопросов, какие только может придумать праздиолюбие мыслящего человека. И что, в самом деле, за польза нам отвергать или порочить то, что было или есть в жизни Запада? Не есть ли она, напротив, выражение нашего же начала, если наше начало истинное? Вследствие его господства над нами (*то есть господства этого истинного начала*) все прекрасное, благородное, по необходимости нести в свое, хотя бы оно было европейское, хотя бы африканское. Голос истины не слабеет, но усиливается своим созвучием со всем, что является истиною где бы то ни было». И не кажется ли вам, дорогой читатель, что эти слова без единой поправки *могли быть написаны сегодня и они были бы сущей правдой?* Правдой, быть может, более существенной и сущей, чем полтора века назад...

Сильнейшей, главной стороной, сутью деятельности и творчества «славянофилов» был их протест против крепостничества, «угнетательной системы», хотя их взгляды на просвещенную монархию, например, как и на средства достижения благих целей, отражавшие незрелость тогдашней общественной мысли, полны непримиримых противоречий и утопических надежд. Иван Киреевский, скажем, всю жизнь мучительно проискавший самобытных русских путей в будущее, пришел к идее религиозного совершенствования духовных народных начал, с коими Россия должна-де явиться Западу. Заблуждение это правильно оценила позднее революционная демократия, но она благородно и благодарно вспоминала об Иване Киреевском как искреннем искателе истины и достойном предшественнике. Герцен, отметив, что между ним и Киреевским «церковная стена», писал, однако: «Что за прекрасная, сильная личность... Таких людей нельзя не уважать». Максималист Писарев, назвавший Киреевского «русским Дон Кихотом», также отдал должное его беспредельной любви к своему народу. Великий умница, строгий рационалист Чернышевский: «Жажда истины, деятельность мысли — зародыши и залог всего благого; а в Киреевском

была эта жажда истины, он пробуждал в других деятельность мысли. Потому, во всяком случае, он был полезен и нужен у нас».

Позже Герцен, обдумывая времена минувшие, писал о «славянофилах»: «С них начинается *перелом русской мысли* (здесь и далее выделено А. И. Герценом.— *В. Ч.*), и когда мы это говорим, кажется, нас нельзя заподозрить в пристрастии. Да, мы были противниками, но очень странными. У нас была *одна* любовь, но не *одинакая.* У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы — за пророчество: чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как *сердце билось одно».*

В Оптиной пустыни Иван Киреевский бывал множество раз — беседовал со старцем Макарием, редактировал религиозные брошюры, занимался в монастырской библиотеке. Он был не первым, кто посещал этот тихий лесной уголок, что расположился за Жиздрой напротив достославного Козельска, не был и последним...

В завещании Ивана Киреевского была приметная строка — двадцатитомную «Историю Византийской империи» Шарля Лебо, купленную, очевидно, за границей, он просил передать Гавриилу Батенькову. Декабрист-сибиряк, ставший калужанином, перевел на русский бо́льшую часть этого труда, не успев завершить и напечатать его...

Петр Киреевский. Жизненный подвиг этого человека величествен и неповторим, хотя до сего дня не оценен по достоинству, потому что его великие труды пока не предстали в полном своем виде даже перед учеными-специалистами.

Начальная четверть XIX века навсегда вошла в историю России не только зарождением и развитием демократических идей, первым организованным революционным выступлением. Это была также эпоха формирования демократических и гуманистических основ национальной культуры, охватившая сферу словесности, историографии, живописи, философии, музыки, театра; углублялось мышление русских людей, обогащались чувства, развивался художественный вкус, кристаллизовался язык, зацветала во всех жанрах великая отечественная литература. Не зная в точности, как наука объясняет причины гигантского — даже по мировым масштабам! — взлета русской литературы в XIX веке, думаю, он был следствием процесса возрождения национальной культуры, принципиально демократичной и глубоко народной, опиравшейся на прочнейшую многовековую подоснову — народное творчество с его непреходящими духовными и художественными ценностями.

«Славянофилы», зовя тогдашнюю творческую интеллигенцию к народным истокам, открывая, собирая и пропагандируя памятники народной культуры, сделали очень много, и среди них был едва ли не самым заметным скромнейший гигант Петр Киреевский.

Сборник Кирилла Данилова, приоткрывший к тому времени сокровища поэтического мира безвестных творцов, историчность их мировосприятия, оптимизм и здравомыслие, стал первым доступным образцом народной поэзии, однако юный Петр Киреевский, прислушиваясь к песням, которые пели пожилые крестьяне в его родном селе Долбино, расположенном в сорока километрах от Козельска, крепостные девушки на посиделках, солдаты на маневрах, калики перехожие на базарах, понял, что это — неисчерпаемый и неизвестный большинству просвещенных людей океан народного духа, мудрости и поэзии, плещущий живым, складным, богатым оттенками языком.

И, вероятно, при первой же встрече с Пушкиным осенью 1826 года в Москве восемнадцатилетний Петр Киреевский рассказал ему о своем увлечении. Они потом не раз встречались, и, должно быть, личность молодого любителя народной поэзии крепко запала в память Пушкина, если на полях черновых листов «Полтавы» исследователи обнаружили набросок его портрета. По настоянию Пушкина Петр Киреевский начал записывать народные песни, ничего в них не подправляя и не убирая ни строки, ни слова. В 1832 году Петр Киреевский написал своему другу поэту Николаю Языкову, что Пушкин намерен «как можно скорее издавать русские песни, которых у него собрано много». Имелась в виду тетрадь, куда Пушкин записывал песни, собранные в деревнях разных губерний. «Пушкин с великой радостью смотрел на труды Киреевского, перебирал с ним его собрание, много читал из собранных им песен и обнаруживал самое близкое знакомство с этим предметом».

И вы заметили, дорогой читатель, что на очень многих тропках этого путешествия в прошлое нас незримо сопровождает Пушкин? Заговорив о русском фольклоре и Петре Киреевском, например, мы никак не можем не вспомнить снова нашего великого соотечественника! Пушкин не только одним из первых оценил и начал творчески осваивать народную поэзию, не только поощрял к этому других, но сам был ее исследователем, собирателем и намеревался даже стать издателем. Не стал, однако, передав собранные им песни Петру Киреевскому, чтобы пополнить его растущую коллекцию. С годами и зрелостью интерес Пушкина к народному творчеству возрастал и углублялся. Известный ученый-фольклорист М. К. Азадовский писал, что чем больше Пушкин задумывался над проблемами истории, тем более настойчиво вставали перед ним проблемы фольклора...

С легкой руки Пушкина Петру Киреевскому, уже тогда обладателю самого обширного собрания русской народной поэзии, начали передавать свои записи былин, исторических, лирических, городских, солдатских, казачьих, разбойничьих песен, духовных стихов и сказок многочисленные добровольные помощники. Среди них были Николай Гоголь, Владимир Даль, Алексей Кольцов, братья Языковы и многие другие. Собрание разрасталось, охватывая обширные районы России, все жанровое и тематическое мно-

гообразие народного устного творчества. Если вдохновитель этого великого дела Пушкин передал Киреевскому пятьдесят песен, талантливый, рано ушедший из жизни историк Дмитрий Валуев — ровно сотню, то через несколько лет к собирателю только из Белоруссии пришло пятьсот оригинальных текстов!

О вкладе же братьев Языковых стоит сказать особо, потому что он был неоценимо велик. Тоже вдохновленные Пушкиным, с которым они были близко знакомы, Николай и Александр Языковы вместе со своими сестрами Екатериной и Прасковьей собрали сотни замечательных былин, баллад и песен в Поволжье. Это из их богатейшего собрания пришел в первый том «Мертвых душ» разбойник Копейкин, повесть о котором стала единственным текстом, исключенным из первого издания петербургской цензурой; это они записали несколько вариантов знаменитой песни «Не шуми, мати зеленая дубравушка», которою так заинтересовался Пушкин; это собранными ими песнями вдохновлялся позже Некрасов...

Имя поэта Николая Языкова, чье собрание составило поначалу половину текстов, которые готовил к печати Иван Киреевский, достаточно известно, а мне хочется сказать два попутных слова о старшем Языкове — Петре. И не только потому, что он, женатый на сестре декабриста Василия Ивашева Елизавете Петровне, много лет вместе с нею поддерживал связи с декабристами, сосланными в Сибирь, что, конечно, само по себе характеризует этого человека «чрезвычайно замечательного», как назвал его Пушкин, познакомившийся с ним в своей поездке 1833 года по пути в Оренбургские степи.

Петр Языков воистину был замечателен многими своими деяниями. По образованию он, окончивший Горный кадетский корпус с золотой медалью, был геологом — такая профессия тогда уже существовала — и опубликовал в различных специальных журналах того времени около тридцати научных работ. Был он также почвоведом, составившим первую основательную карту почв Симбирской губернии, историком и краеведом, сделавшим историческое описание городов этой же губернии, археологом и палеонтологом, собравшим такую коллекцию, что она занимала специальное помещение в одном из столичных институтов. Основал один из первых в России губернских музеев и Симбирскую публичную библиотеку, передав в нее для начала книжное собрание рода Языковых. Он был также и фольклористом, продолжившим это благородное дело, когда Николай Языков заболел и уехал на лечение за границу. Под руководством Петра Языкова и при его личном участии были открыты новые районы песнетворчества в Симбирской и Оренбургской губерниях, где, например, помнили песню о выборе Ермака атаманом или уникальный текст о встрече Пугачева с графом Паниным. Петр Языков строго следовал инструкции Петра Киреевского, призывавшей записывать народные песни «слово в слово все без изъятия и разбора, не обращая внимания на содержание». Только в Оренбуржье было записано таким образом почти двести песен

О необыкновенном собрании Петра Киреевского стало известно даже за границей. Словацкий ученый и общественный деятель Павел Шафарик писал в 1836 году русскому историку Михаилу Погодину: «Что делает П. В. Киреевский со своим собранием народных песен? Ради бога, не должен он более откладывать. Время летит. Мы желаем воспользоваться этим сокровищем, пока живы».

Петр Киреевский, «своей народности подвижник просвещенный», как назвал его в одном из стихотворений Николай Языков, и сам знал, что время летит, и поэтому спешил записывать, пока жили старики, несущие от своих прапрадедов древнюю устную поэзию, пока были такие помощники-советчики, как Пушкин, Гоголь, Даль, Кольцов, братья Языковы, Якушкин, Валуев. Он приезжал к Языковым на Волгу, собирал вместе с ними былины и песни, а возвращаясь на родину, продолжал отыскивать новые и новые произведения народного творчества в деревнях Козельского и Белевского уездов, в страннопримном доме Оптиной пустыни, куда стекались паломники со всех концов Центральной России.

Недалекие люди в округе считали его за чудака. Им казалось странным, что он платит слепцам деньги сверх меры, прося их петь медленно и по многу раз повторять отдельные слова, что совсем запустил хозяйство в своем имении, ходит по деревням в поношенной венгерке с неизменной, торчащей из прокуренных висячих усов табачной трубкой на длинном чубуке, что подолгу скрывается от мира в Оптиной пустыни, хотя смолоду не отличался особой религиозностью. Не все знали, что в монастырской библиотеке ему было отведено специальное место, где он хранил и обрабатывал свои записи.

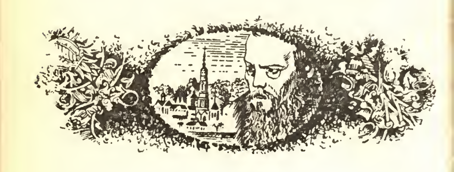
И вот, когда песенные собрания Киреевского, Языковых, Пушкина, Валуева сложились со многими другими, а собирательская деятельность самого Петра Васильевича должна была смениться издательской, оказалось, что на полках его лежит богатство, которого еще никому и никогда на земле не доводилось скопить,— *более десяти тысяч* текстов «живой народной Литературы»; так, с большой буквы, именовал ее главный собиратель, которому предстоял труд, сравнимый, пожалуй, лишь с трудами Владимира Даля, создавшего свой величественный «Толковый словарь живаго великорускаго языка»...

Однако с изданием Собрания песен Петра Киреевского ничего не получалось. Требовалась огромная предварительная работа по подготовке научной публикации этой горы исходного материала, и нужна была уверенность в том, что в Собрание войдут без изменений и модных тогда фальсификаций народные песни, отражавшие и тяжкую жизнь закрепощенного крестьянства, и горькую долю русской женщины, и солдатчину, и протест поволжской «вольницы», и бывальщину про то, как «воровал тут вор Карпейкин со прибором», и ответ так ласково названного в песне «Пугачиньки Емельян Иваныча» графу Панину, спросившему, много ли тот «перевешал князей да боярей»:

Перевешал вашей братьи семьсот семи тысяч,
Спасибо тебе, Панин, что ты не попался:
Я бы чину-то прибавил, спину-то поправил,
На твою-то бы на шею воровинны вожжи,
За твою-то бы услугу повыше подвесил!

Ничего-то при жизни не удалось издать-напечатать Петру Киреевскому, кроме тоненького сборничка, состоявшего в основном из стихов духовного содержания. Бесценное собрание его, однако, уцелело, время от времени издавалось по частям, но никогда, вплоть до наших дней, полностью. Дивишься, например, что основная часть песен, собранных для Петра Киреевского Дмитрием Валуевым, впервые издана лишь в... 1977 году.

Петр Киреевский не дожил и до пятидесяти; «заеденный,— по выражению Герцена,— николаевским режимом», он умер через несколько месяцев после смерти любимого брата, не выдержав потери. Когда об этом узнал в Париже Иван Тургенев, то написал Сергею Аксакову: «Как мне жаль обоих Киреевских — передать вам не могу».



37

Первым из русских писателей побывал в Оптиной пустыни, наверное, Василий Жуковский, потому что родился и вырос неподалеку от нее и ездил сюда еще юношей. Позже он вместе со своим земляком, другом и родственником Иваном Киреевским не единожды посещал Козельск и Оптину пустынь; романтическую душу поэта трогали чарующие здешние виды и дорогие воспоминания о мечтательных зорях молодости.

Нет свидетельств о пребывании в Оптиной пустыни Пушкина, однако он, возможно, знал о ней. А его дядя и «парнасский отец», поэт-баснописец Василий Львович Пушкин едва ли не посетил это приметное место — он какое-то время владел имением Оболенских, расположенным неподалеку. Трижды приезжал в Козельск

Иван Тургенев, любивший его окрестности за красоту и добычливую охоту. Об этих приездах напоминает сейчас мемориальная доска на одном из старинных козельских особняков, но бывал ли писатель в монастыре за рекой — неизвестно. Зато именно в здешних деревеньках, названных много позже Хоревкой и Тургеневкой, он нашел прототипы и сюжеты для своих замечательных рассказов «Хорь и Калиныч», «Собака», и никто не знает, сколько он тут небесных красок подсмотрел да лесных шорохов подслушал...

Через проход в монастырской стене, над которым вознесена небольшая, только что отреставрированная надвратная церковь во имя Иоанна Предтечи, выходим на просторную, окруженную лесом поляну, обстроенную старинными деревянными домиками. Это так называемый *скит,* своего рода необязательное приложение к монастырю, но именно оно создало Оптиной пустыни всероссийскую славу.

— А здесь что было? — спрашиваю я, разглядывая большую каменную коробку с глазницами оконных проемов в два этажа.

— Библиотека,— отвечает Сорокин.

— Внушительна! Куда она делась?

— Основной фонд этой ценнейшей библиотеки сейчас в Ленинке, некоторая часть книг рассыпалась по заграницам, есть несколько в нашем городском музее, покажу...

— И немало, знать, томов в ней было?

— Восемьдесят три тысячи... Многие здешние монахи были людьми довольно просвещенными.

Взглянув налево, я вздрогнул, увидев у ближнего к лесу домика такое, чего никак не ожидал тут встретить,— кедр! Посланец сибирских лесов достойно представлял нашу общую с ним родину — не болел, не суховершинил, ствол его целым-целехонек, без затесей и смоляных потеков, фундаментально стоял на земле, подпирая величавую, непроглядно густую крону. Хорошо, знать, этому могучему красавцу тут жилось, потому что вершина его была покрыта урожаем этого года — крупными синими шишками, которые вот-вот должны вызолотиться, полегчать и осыпаться наземь. Судя по грузности ствола, высоте и количеству мутовок, кедр стоял тут уже лет двести, и, значит, Жуковский, Киреевские, Гоголь успели увидеть его. Кедр осенял своей кроной домик, в котором, оказывается, останавливался Гоголь, и это одинокое дерево, как сообщил мне Сорокин, не было тогда одиноким — целая кедровая роща, посаженная в давние времена, примыкала к скиту и величаво вступала в смешанный монастырский лес...

Гоголь был в Оптиной пустыни достоверно два раза, но возможно, и больше. Один из таких перепутий выпало в июне 1850 года, когда Гоголь с Максимовичем ехали из Москвы на родину. Через Подольск и Малоярославец они добрались до Калуги, где навестили Александру Смирнову. Гоголь обедал у нее вместе с Алексеем Константиновичем Толстым. Он попотчевал писателя двумя малороссийскими колыбельными песнями, которыми восхищался как редкими самородными перлами, и продекламировал со свойствен-

ным ему искусством текст великорусской песни, выражая голосом и мимикою патриархальную величавость, которой она исполнена: «Пантелей государь ходит по двору, Кузьмич гуляет по широкому...»

Алексей Толстой, ревизовавший по долгу службы Калужскую губернию, жил и в Калуге, и в Козельске, и здешние впечатления, предания, истинные факты старины вдохновили его на создание замечательного исторического романа о князе Серебряном — Оболенском, погибшем от татар при Иване Грозном на этих лесных рубежах Руси, снова набиравшей силушку...

Из Калуги Гоголь двинулся на Козельск. Версты за две до Оптиной пустыни он остановил коляску и пошел пешком. Писатель пробыл в монастыре недолго, но успел побеседовать с монахами, посидеть в библиотеке над старинными книгами...

По пути сюда он мечтал «возвести себя до той чистоты, которой должен достигнуть писатель, дерзающий говорить о святом и прекрасном». И одна из древних книг, прочитанная им в Оптиной, заставила его принципиально пересмотреть мысль о прирожденных страстях человека, выраженную в одиннадцатой главе первого тома «Мертвых душ»: «...Родились они с ним в минуту рождения его на свет, и не дано ему сил отклониться от них». Судя по всему, в том числе и по ссылке на ту книгу, в Оптиной пустыни Гоголь впервые задумался об ошибочности этой мысли, разоружающей человека перед жизнью, заметив позже на полях той же главы первого тома: «Это я писал в *«прелести»*, это вздор; прирожденные страсти — зло, и все усилия разумной воли человека должны быть устремлены для искоренения их. Только дымное надмение могло внушить мне мысль о высоком значении прирожденных страстей — теперь, когда я стал умнее, глубоко сожалею о «гнилых словах», здесь написанных».

Из Оптиной Гоголь заедет на денек в Долбино к Ивану Киреевскому, откуда пошлет письмо к иеромонаху пустыни, потом через Глухов отправится на Украину.

С Оптиной пустынью связана и последняя поездка Гоголя по России, и несостоявшееся свидание с Украиной и родными. В сентябре 1851 года, вскоре после возвращения из Подмосковья, он получает приглашение на свадьбу сестры, назначенную на 1 октября, день рожденья его матери, но долго колеблется: ехать или не ехать? Наконец отправляется в путь, сомневаясь, однако, в том, правильно ли он поступает. С расстроенными «от всяких,— как он пишет матери,— тревог и колебаний» чувствами, едет через Калугу, где у него уже никого и ничего не было, кроме воспоминаний, через Перемышль, Нижние Прыски, Козельск, откуда сворачивает в Оптину пустынь. Отъехав от Москвы уже триста верст, Гоголь, безразличный ко всему, кроме своих душевных переживаний и творческих страстей, все еще не знает, продолжать ему путешествие в Васильевку или же вернуться. Спустя почти два десятилетия «Искра» напечатает письмо Плетнева Жуковскому о том, что произошло в Оптиной. Плетнев со слов Александры Смирновой рассказывает, как

Гоголь «дорогою заехал к одному монаху, чтоб тот дал ему совет, в Москве ли ему остаться или ехать к своим. Монах, выслушав рассказ его, присоветовал ему последнее. На другой день Гоголь опять пришел к нему с новыми объяснениями, после которых монах сказал, что лучше решиться на первое. На третий день Гоголь «явился к нему снова за советом». Монах этот был, очевидно, умным человеком и хорошим психологом — предложил Гоголю, по сути дела, самому принять окончательное решение: «...взять образ — и исполнить то, что при этом придет ему на мысль. Случай благоприятствовал Москве». Однако Гоголь «в четвертый раз пришел за новым советом: тогда, выйдя из терпения, монах прогнал его, сказав, что надобно остаться при внушении, посланном от бога».

Объяснить поведение Гоголя в довольно обычной житейской ситуации внешними причинами или пресловутым болезненным психическим состоянием писателя не удается. Возможно, что в Оптиной пустыни он, великий мастер выдумывать иногда слишком даже оригинальные шутки, решил по-гоголевски испытать терпение старца Макария. Если б все было не так, то Гоголь бы сразу послушался и не пришел за четвертым советом.

Думаю, что главной причиной действительных колебаний Гоголя — сложное житейско-общественное противоречие. Ему, как человеку высоконравственному, известному уже на всю Россию, и родных не хотелось обидеть, и как великому художнику, решавшему необыкновенно трудную творческую задачу, до смерти жаль было времени на эту медленную дальнюю поездку, в которой и заболеть можно, и полностью выключить осень из работы над романом, требующим автора без остатка. И решение вернуться, вероятно, шло не «от бога», это был вызревший и сознательный выбор главного.

На обратном пути Гоголь приостановился у Сергея Кашкина в Нижних Прысках, где снова, как и в имении Смирновых, словно бы ожил, вновь почуяв интерес к жизни: «вставал обыкновенно в пять часов, умывался и одевался без помощи слуги и выходил в сад. Там он беседовал с садовником, работавшими в саду крестьянами, подолгу всматривался в их лица, иногда что-то записывал».

А из Москвы, где его дожидалась рукопись, от коей он был не в силах надолго оторваться, Гоголь отправил письмо Данилевскому: «Не гневайся, что мало пишу: второй том, который требует около себя возни, причина всего». Он, так любивший выражать себя в письмах, экономил время и силы, не отвечая даже самому давнему и верному своему другу и расходуя последние силы над страницами последнего своего романа, который не получался таким, каким его хотел видеть этот маленький щуплый Антей, на много лет оторвавшийся от родной земли...

Бывали в Оптиной пустыни историк Михаил Погодин и критик Степан Шевырев, декабрист Гавриил Батеньков, поэт Алексей Апухтин и братья Жемчужниковы, Страхов и Чертков и бывший

енисейский губернатор и писатель Александр Степанов, умерший и похороненный неподалеку, и поэт Владимир Соколовский, приезжавший погостить к своему сибирскому другу и родственнику Николаю Степанову, будущему знаменитому карикатуристу «Искры»...

В центре скитского двора стоит деревянная церковь, где сейчас неплохой музей на общественных началах. Пересекаем двор, заросший разнотравьем, который в середине прошлого века являл собою половодье цветов. «Такой массы и таких чудных цветов, как в Оптинском скиту,— писал Апухтин,— я уж потом во всю свою жизнь не знал. Мне теперь кажется, что я видел там голубую георгину даже»...

Прямо перед нами — подновленный деревянный дом с мемориальной доской на стене. Федор Достоевский приехал в эти места через тридцать лет после того дня, как вывели его на казнь, и товарищ по судьбе, пригласивший сейчас старого друга в гости, шепнул ему тогда, что казни не будет. Писатель в том году схоронил сына Алешу и хотел забыться в дальней поездке, обществе Николая Кашкина и скитской уединенности, где «тишина земная как бы сливалась с небесною»,— эти слова он напишет в «Братьях Карамазовых», самом значительном своем романе, окончательный замысел которого созрел и оформился именно здесь, в Оптиной пустыни. Любимому герою своему он передаст имя Алеши, изобразит скитскую жизнь по образцу этой обители, а здешний старец Амвросий станет одним из прототипов Зосимы...

Поражает метаморфоза, в силу которой сырые земляные пещеры и шалаши, где поначалу прозябали, истязая себя гладом, хладом, веригами, молчанием или неподвижностью, основатели многих обителей, сравнительно быстро превратились в великолепные каменные хоромы, как бы они ни назывались, поражает их многочисленность и местами почти неправдоподобная густота. В Рязанском уезде, скажем, насчитывалось 18 монастырей. В Московском — 25, в Псковском — 45, а в Новгородском даже 83! Всего же на территории европейской России в XVIII веке — по сохранившимся документам — числилось ровным счетом *шестьсот монастырей и пустыней, владевших крепостными*. Однако это далеко не все! В эти данные не входят сведения о количестве монастырей в Астраханской, Киевской, Черниговской и Переяславской тогдашних епархиях, девятнадцать сибирских монастырей. Добавлю, что существовало еще немало подобных заведений, не имеющих, вроде Оптиной пустыни, крепостных, но в той или иной форме эксплуатировавших окрестное население. По Ворскле, скажем, располагалось тринадцать таких религиозных центров, в Сибири — двадцать один, в бассейнах Верхней Волги, Мсты и Мологи — более сорока! А если учесть, что было еще множество неучтенных мелких православных и старообрядческих скитов, то округление их общего числа до тысячи покажется даже осторожным. Кроме этой тысячи ничего не производящих заведений, действовало тогда *шестнадцать тысяч церквей.*

Правда, некоторые монастыри в какие-то периоды своей начальной истории становились очагами культуры, пунктами обороны от врагов, но это были исключения. Общая картина становилась все безрадостнее, и в эпоху петровской реформации всего лишь десять миллионов трудового населения страны вынуждены были кормить не только огромные военные и трудовые армии, сонмища сановников, чиновников и помещиков, но и — повторяю — легион тунеядцев, осевших в сотнях монастырей...

За два века, прошедшие после Петра, количество церквей и монастырей значительно увеличилось. Перед Октябрьской революцией существовало 1 257 монастырей, в которых проживало 107 035 монахов и послушников. Далеко за 30 000 перевалило число церквей. В Калужской епархии числилось в 1916 году 28 монастырей и 725 церквей, да 45 церквей еще строилось. Монастыри и церкви накапливали бесценные сокровища, владели огромными земельными богатствами. Крестьянство страдало от безземелья, а на каждого монашествующего Российской империи, как бы удалившегося от земных страстей, приходилось в среднем по одиннадцать десятин. В Калужской епархии приходский священник владел в среднем двадцатью десятинами земли. Оптина пустынь имела 1 130 десятин земли, лесные, рыбные и луговые угодья, четыре мельницы, свечное и черепичное производство; аренда и процентные доходы от вложений давали изрядную прибыль. Богатые жертвователи завещали пустыни дома, крупные суммы денег, пахотные земли и целые поместья...

Монашество сделалось легким и безнравственным способом существования, социальным злом, и Достоевский с Толстым гневно осудили его. Один из героев «Братьев Карамазовых» считает сущностью монашества «шарлатанство и вздор», другой бросает в лицо игумену беспощадную, обнаженную и обобщенную правду: «Нет, монах святой, ты будь-ка добродетелен в жизни, принеси пользу обществу, не заключаясь в монастыре на готовые хлеба и не ожидая награды там наверху,— так-то потруднее будет. Это мужик русский, труженик, своими мозольными руками заработанный грош сюда несет, отрывая его от семейства и от нужд государственных. Ведь вы, отцы святые, народ сосете!» Толстой, имея в виду монахов Оптиной пустыни, записал: «Горе им. Они живут чужим трудом. Это — святые, воспитанные рабством Монастырь — духовное сибаритство».

Покидая Оптину пустынь, думаешь не о старчестве. Возвращаешься к Жуковскому с его романтическими балладами, впервые сложившимися в этих местах, к братьям Киреевским с их великими трудами, пробуждавшими национальное русское сознание и возвращавшими к истокам народной культуры, вспоминаешь триединого Козьму Пруткова, думаешь о «Мертвых душах» Гоголя, о мужиках из охотничьих рассказов Тургенева, о Достоевском и героях последнего его гениального романа, об «Отце Сергии» Толстого-богоборца и многих-многих иных...

...Шамордино, освященное памятью о последнем посещении его Львом Толстым. Приостанавливаемся на проселочной дороге в десятке верст от Козельска. С высокого холма открывается во все стороны простор, засасывающий глаз; голубая жилка речки под нами, золотое жнивье на косогорах, стога у речных извилин, синий лесной окоем вдали...

Как тут все выглядело ранним утром 31 октября 1910 года? Снежок выпадал перед тем и сходил, и холмы, наверно, были уже поблекшими, исполненными осенней печали, когда, может, именно в этом месте величайший писатель России, бородатый мудрец и бунтарь, проезжая последний раз в жизни русским проселком, попросил приостановить коляску, чтобы попрощаться с землей своих предков? О чем он думал, что вспоминал? И не здесь ли вдруг решил: сесть в Козельске на первый попавшийся поезд и поехать куда глаза глядят — на солнечный восход, в бесконечные российские дали? Могло статься, что и продуло-то его на этом открытом всем ветрам крутяке. Доподлинно стало известно позже — он хорошо себя чувствовал перед тем и в Оптиной пустыни, и у сестры, к бывшей обители которой мы направлялись, но в поезде вдруг занемог, охваченный жаром, и слег, чтобы уже никогда не подняться.

Шамордино. Длинный деревянный дом среди избенок, достаточно старый, но крепкий еще, на высоком кирпичном фундаменте. Из оконных проемов летят куски штукатурки, доски, щепа и прочий ремонтный мусор. Встретился пожилой человек в расхожей одежде и представился учителем истории местной школы Владимиром Харитоновичем Кузиным.

Впереди сквозь редеющую листву вздымалась и ширилась красная громада. Ну, такого я никак не ожидал! Главное здание бывшего женского Шамординского монастыря поражало эклектичной, хотя в деталях и интересной архитектурой, массивностью, нелепой несоразмерностью со всем окружающим. По кубатуре здание, пожалуй, превосходило Исторический музей в Москве, и когда я сказал об этом, то Кузин пояснил, что у обоих сооружений есть и другие общие признаки, потому что архитектор был один и тот же — Шервуд. Вдоль кирпичной горы стояли строгими рядами несколько десятков крепчайших двухэтажных кирпичных же домов.

Сколько же тут могло жить монахинь? Тысяча? Две? Во всяком случае, намного больше, чем училось тогда на Бестужевских курсах — в первом и единственном женском университете России. Что бы ни говорили, а затворничество и безбрачие в таких масштабах для девушек и молодых женщин, замаливавших тут свои действительные и воображаемые грехи, было все-таки аномальным и по сути бесчеловечным явлением.

— Владимир Харитонович,— спрашиваю.— Много ли тут жило послушниц?

— Больше полутора тысяч.— Он вдруг засмеялся.— Знаете, когда Толстой в Ясной Поляне впервые выслушал рассказ

сестры о здешнем житье-бытье, то огорошил ее вопросом: «И много вас там таких дур?» Мария Николаевна обиделась, рассердилась — и назад, а потом прислала ему подушку с вышитой надписью: «Льву Толстому от одной из шамординских дур»...

Мария Николаевна Толстая была умной и доброй сестрой гения, она бесконечно любила и жалела брата, по-матерински чувствуя и понимая, что вся жизнь его, наполненная титаническими трудами, была беспрерывным крушением иллюзий. Его знал весь мир, а она стала человеком, которому он незадолго до кончины излил свои последние горькие слезы... Умерла через полтора года после него, прожив на свете столько же лет, сколько прожил он, и была похоронена здесь, в Шамордине.

Побывали мы также в Поречье, которым когда-то владели Оболенские, обошли вокруг полуразрушенный дворец и погуляли по остаткам старинного парка с его крестообразными лиственничными аллеями, потом издали полюбовались заброшенной церковкой, что одиноко стоит на месте бывшего имения Волконских.

Напоследок мы второпях осмотрели едва уцелевшие от давних времен каменные памятники Козельска. Руинированный храм «Сошествия святого духа в виде голубя» до сего дня стоит в глазах...

38

Много ли может сделать человек за свою жизнь?

Смотря как и сколько жить, как относиться к делу, какую степень умения приложить к нему и насколько это твое дело окажется нужным соотечественникам. Самые великие люди на свете — это самые великие труженики, и нам предстоят встречи с человеком, труды и убеждения которого могут стать своего рода мерилом поведения для многих, а я бы счел свою жизнь обедненной, если б он не встретился мне, не одарил своей приязнью, не поделился частицей своих знаний, не наградил бы меня, уже порядочно пожившего, новым душевным горением

Сижу, перебираю блокноты с записями наших с ним бесед, конспективными заметками о совместных прогулках и поездках, о телефонных разговорах, хлопотах о его деле, прослушиваю старые диктофонные пленки, собираясь поподробнее рассказать об этом великом труженике и великом гражданине своего Отечества. Речь идет о Петре Дмитриевиче Барановском, имя которого, как помнит читатель, я впервые услышал в 1946 году в Чернигове.

Мы скоро снова побываем в этом древнем городе, но прежде следовало бы совершить с Барановским несколько недолгих путешествий в разные концы страны, приостановившись для начала в Москве.

— Петр Дмитрич,— слышу я свой голос в давней диктофонной записи.— В прошлый раз мы говорили о таланте русского народа, особо проявившемся в архитектуре...

— Талант этот присущ многим народам. Он как бы иллюстрировал их историю и демонстрировал культуру. Величественная архитектура древних греков и римлян, своеобразные каменные памятники исчезнувших майя, божественная западноевропейская готика, сказочные миры арабских, индийских, вьетнамских, непальских, бирманских зодчих, китайские крылатые пагоды!.. И русские вписали свои блестящие страницы во всемирную каменную летопись, а деревянное зодчество русского Севера вообще уникально по масштабу и разнообразию!..

Верно, за долгие века русский народ возвел десятки тысяч каменных и деревянных сооружений светского и культового назначения, среди которых нет даже двух похожих, и я не знаю, чем это объяснить. Может быть, архитектура, как одно из высших проявлений коллективного творческого гения, предоставляла простор для выражения свободы духа, индивидуальных художественных способностей? И творения безымянных зодчих, предназначенные для всеобщего обозрения в течение веков, были в каком-то смысле наиболее демократичным видом искусства, деянием народа, плодом его раскрепощенной фантазии? А может, это равнинный русский пейзаж требовал рукотворного разнообразия, заполнения пространства волшебными, прихотливыми, часто почти игрушечными формами, неповторимыми изящными силуэтами? Или причины коренились в психическом складе нашего народа, не терпящего упростительного, стандартного, мертвяще-примитивного в жизни и умонастроении, в его мечтаниях о лучшей доле, которые он мог выразить, только создавая земную красоту? И не заложено ли в самой природе человека стремление материализовать свою сущность — возвышенность идеалов, мощь духа, страсть к созиданию?

Снова голос Барановского:

— Грабарь считал архитектурную одаренность русского народа исключительной. Он писал: «Подводя итоги всему, что сделано Россией в области искусства, приходишь к выводу, что это по преимуществу страна зодчих. Чутье пропорций, понимание силуэта, декоративный инстинкт, изобретательность форм — словом, все архитектурные добродетели встречаются на

протяжении русской истории так постоянно и повсеместно, что наводят на мысль о совершенно исключительной архитектурной одаренности русского народа».

— Подтверждения этих мыслей я находил всю свою жизнь,— произнес Петр Дмитриевич.— И находил бы снова и снова, проживи еще столько же... А о причинах ничего не могу сказать. Творческая одаренность народа или отдельного человека — одна из глубочайших тайн жизни...

В русском национальном зодчестве есть свои великие тайны. Когда мы восторженно и немо смотрим на величественный собор, на головокружительную подкупольную высь его центрального нефа, на стройную колокольню, цепляющую крестом облака, на звонницу или старинные монастырские ворота, то наш глаз улавливает гармоничные соразмерности каменных масс, изысканное изящество контуров и такие сочетания плоскостей, плавных выступов и углублений, линий, полукружий, углов, которые кажутся геометрически единственно возможными, и трудно, почти невозможно поверить, что это симфоническое творение созидалось в сравнительно короткие сроки и *без чертежей*. «Современные общественные здания слагаются из сборных элементов и, как известно, не отличаются сложными формами и конфигурациями, они прямолинейны и прямоугольны. Но число чертежей тем не менее только в архитектурно-строительной части достигает обычно 200—300 и более большеформатных листов, не считая еще многих сотен рабочих чертежей на типовые элементы — колонны, ригели, плиты и т. д. Если на каждом из листов вычисляется по 2—3 десятка размеров, нетрудно представить себе общее количество цифровой информации, необходимой для возведения сравнительно несложных по формам современных зданий. Сколько же числовой информации требовали выразительные и сложные силуэты древнерусских сооружений!» (Естественно-научные знания в Древней Руси. М., 1980, с. 64.)

И. Э. Грабарь, говоря об архитектурной одаренности русского народа, не случайно назвал прежде всего «чутье пропорций». Как мог средневековый зодчий заранее представить себе не только общие параметры оригинальной постройки, но и детали ее во взаимной связи, соблюсти тысячи пропорционированных размеров, руководя при постройке разнообразнейшими ручными операциями? Этот творческий чудо-метод был совершенно забыт, и лишь в последние годы начал приоткрывать свои секреты. Б. А. Рыбаков: «Долгое время считалось, что древние зодчие строили все на «глазок», без особых расчетов. Новейшие исследования показали, что архитекторы Древней Руси хорошо знали пропорции («золотое сечение», отношения типа: а:а:2 и др.)... Для облегчения архитектурных расчетов была изобретена сложная система из четырех видов саженей. Расчетам помогали своеобразные графики — «вавилоны», содержащие в себе сложную систему математических отношений. Каждая постройка была пронизана математической системой, которая определяла

формат кирпичей, толщину стен, радиусы арок и, разумеется, общие габариты здания». Тщательнейшие обмеры памятников, числовые сопоставления и параллели позволили выявить некоторые строительные закономерности, понять логику архитектурного мышления средневековых русских зодчих, найти их мерные модули, огромную по объему математическую подоснову, исходные принципы пропорционирования, однако метод в целом остается пока за семью печатями...

Не раз я с почтением разглядывал чертежи Петра Дмитриевича — обмеры и проекты реставраций памятников, в том числе исчезнувших, выполненные еще до революции, в сажениях, аршинах и вершках. Десятки, сотни тысяч цифр! Невероятно кропотливый, феноменальный, неоценимый по значению труд.

Он смолоду приучил себя ценить время, как бы уплотнять его, насыщая делами и не теряя ни одного года, месяца или дня. Жил напряженнейшей творческой жизнью, яростно борясь за дело и страшась, ощущая беспощадность времени, которое в союзе с бескультурьем, безнадзорностью и небрежением губило материальные свидетельства исторических событий прошлого. Даже давние, дореволюционные годы ученья в Московском археологическом институте и подготовки кандидатской диссертации были до предела заполнены *делами*. Перечислю их для примера и назидания специалистам этого профиля, знающим, в частности, специфику и трудоемкость *обмеров* старинных памятников.

Итак. Обмер Введенской церкви и Трапезной палаты Болдина монастыря, а также деревянного шатрового храма в Рыбках Смоленской губернии. Обмер и проект реставрации собора Ивановского монастыря в Вязьме. Исследование, проект и модель реконструкции Борисоглебского собора в Старице. Работа с архитекторами и подрядчиками в Москве, Ашхабаде и Туле. Во время первой мировой войны трехлетняя армейская служба, сооружение оборонительных укреплений в прифронтовых районах и попутно — исследование памятников деревянного зодчества в Полесье и на Волыни. Потом исследование и частичный обмер Китайгородской стены в Москве. Исследования, обмер, проекты восстановления и консервации двадцати выдающихся архитектурных памятников Ярославля, пострадавших во время эсеровского мятежа 1918 года. Обследование и проект реставрации деревянных ворот бывшего перемышльского Резванского монастыря (Калужская область) и башни бывшего Сыпанова монастыря (Костромская область)...

Разоренная страна еще не вышла из гражданской войны, продолжала сражаться с белогвардейщиной, мятежниками, иностранными интервентами, голодом и разрухой, а уже пробивались всюду ростки новой жизни и начинались большие дела и даже в той сфере ее бытия, которая в переломные годы политической истории страны могла показаться второстепенной и чуть ли не лишней.

В мае 1918 года была создана Всероссийская реставрацион-

ная комиссия, в октябре Совет Народных Комиссаров принял первый декрет об учете и охране культурных ценностей. И в те далекие тяжкие годы, когда на строгом учете была каждая государственная копейка, выделялись средства на изучение и ремонт памятников архитектуры Москвы, Новгорода, Владимира, Суздаля, Твери, Пскова, Сольвычегодска, Кириллова.... Москвичи и гости столицы любуются сегодня Покровским собором (Василием Блаженным) на Красной площади, прекрасно отреставрированным к Олимпиаде, а я хочу напомнить, что в первые годы Советской власти по личному распоряжению В. И. Ленина на срочный ремонт Василия Блаженного был отпущен миллион рублей, выделен кирпич, цемент, краска, и в документальные кинокадры и на фотографии Красной площади тех лет попали леса, окружавшие одну из башен собора...

В те годы П. Д. Барановский исследовал, обмерил, зафиксировал в фотографиях, частично отреставрировал или составил проекты восстановления и обновления ряда выдающихся памятников русского зодчества в Угличе, Ростове Великом, Мологе, селе Елизарове Ярославской области, Звенигороде, Архангельске, и все это за весну, лето и несколько зимних месяцев, а осень, до первых заморозков, провел в большой экспедиции по русскому Северу...

Памятники Севера отличались друг от друга выразительными индивидуальными формами, характерными силуэтами, архитектурными деталями, однако неизменное следование самым общим зодческим принципам и строительным приемам говорило о прочной традиции, школе, сложившейся за века. Основными формами памятников были две — крестчатая (четырехугольная) и круглая (многогранная) — «в четверик», «в восьмерик», с четырехскатным или многогранным шатровым покрытием, продольным — «бочкой» однокупольным или многоглавым — «по каменному подобию»

«Подобие», то есть традиция, отличающая архитектуру русского Севера, зодческая мастеровитость позволяла городским, волостным епархиальным властям, авторитетным прихожанам как заказчикам, и плотникам-зодчим как исполнителям, конкретизировать архитектурные замыслы и облекать их в форму проектов-договоров

У меня давно хранится выписка из договора 1700 года. Он интересна множеством подробностей, говорящих о следовании сложившимся традициям в русском деревянном зодчестве, о том что рубился этот, как, очевидно, и все другие храмы, по тщательно продуманному проекту-обязательству зодчих — красноречивому свидетельству их профессиональной культуры и мастерства. По этой наемной записи, своеобразному юридическому документу плотники обязывались срубить основу церкви в «сорок рядов, до по

валу (то есть до покрытий); срубить пределы покручая, по подобию и на тех пределах поставить на шеях главы, по подобию же и с гребирезными; и вышед с пределов, срубить *четверня* (то есть четыре стены) так же по подобию; четверик развалить по подобию ж (развалить — клаственицы бревен, идя кверху, шире нижних венцов) С розвалу поставит

крестовые бочки на четыре лица; на тех бочках поставить пять глав; а под ту большую соборную главу срубить *шестерня* брусовая в лапу; а те бочки и главы обшить чешуею; а крыть олтари, и пределы, и трапеза, и паперть в два теса скалвами с причелины и с гребнями резными; а подволоки (потолки) соборной церкви и в пределах гладкие под лицо в косяк в закрой; а в олтарях и в трапезе главного в закрой же на брусье; а стены тесать, от подволоки тесать до мосту и скоблить; и лавки положить с причелинами и с подставки; и престолы, и жертвенники, и тябла (подставки под иконы, ряды иконостаса) как водится по подобию; а окон красных восм, а волоковых до подобию с кожухи, а паперть забрать в косяк, окна (в паперти) через кресло с подзоры; а рундук (крыльцо) рубить на три всхода, а столбики поставить точеные, а покрыть шатром с подволоки и с подзорами; а в церкви трон двери на косяках, а четвертая в паперти дверь; а трапеза у церкви забрать решеткою вышина в груди человека... А главы строить на церкве мерою соборная 6 саж., а малые четыре главы по 3 саж., а на пределах по 4 саж., а бочки и главы построить как на Тифенском посаде у Флора и Лавра бочки и главы... А та вся постройка и церковная утварь строить самым добрым гладким мастерством и углы обровнять гладенько».

Далеко не все нам в этом старинном документе понятно, в том числе, например, и цена, назначенная за *такую* работу,— 38 рублей и харч, но специалист-реставратор, знающий старинные меры и пропорции, и сегодня сможет по этому описанию и «подобиям» составить проект реконструкции памятника. Петр Дмитриевич Барановский считался одним из таких специалистов еще в начале 20-х годов, тогда же поставил вопрос о необходимости сохранения зодческих сокровищ русского Севера и создании в Москве архитектурно-исторического музея под открытым небом. Он уже практически начал создавать такой музей в Болдине под Дорогобужем, перевезя на территорию монастыря шатровый храм XVII века из смоленского села Усвятское. Однако со времени его доклада на заседании ученого совета Центральных государственных реставрационных мастерских прошло семь лет, прежде чем было принято долгожданное решение для Москвы, и он приступил к делу.

Кто никогда не побывал в Коломенском, тот не знает Москвы, потому что, подобно Кремлевскому холму, это взгорье над рекой неотделимо от истории, культуры и облика великого города. Здесь была древнейшая стоянка доисторического человека, располагались ближайшие вотчинные села московских великих князей, впервые упомянутые в грамоте 1339 года, сюда возвратился с Куликова поля Дмитрий Донской «и ту нача ждати брата своего князя Владимира», то есть Владимира Серпуховского Донского Храброго. Стоял тут станом Петр Болотников, разыгрывал «потешные» сражения Петр I.

Четыре с половиной века назад стремительно вознесся над крутяком шатровый храм Вознесения — непревзойденный шедевр русского зодчества, неподалеку возвышается изящная Георгиевская колокольня, среди 600-летних дубов стоят оригинальные постройки XVII века — Водовзводная и Часовая надвратная башни, церковь Казанской богоматери, Приказные и Полковничьи палаты, в некотором отдалении с середины XVI века красуется величественная церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи, естественно и гармонично дополняющая неповторимый архитектурный ансамбль.

Храм Вознесения, белоснежную громаду шестидесятидвухметровой высоты, возвел неизвестный зодчий в 1532 году будто бы в честь рождения долгожданного наследника Василия III — будущего Ивана Грозного. «Бе же церковь та велми чюдна высотою и красотою и светлостию, такова не бывала преж сего на Руси». В ней нет традиционных апсид, нет колонн и столбов; она опирается сама на себя, то есть на стены, достигающие трехметровой толщины, с поразительной легкостью устремлёна к небу, и, когда над нею плывут облака, она будто падает...

Один из давних гостей Москвы, знаменитый французский композитор Гектор Берлиоз, чутко слышавший музыку камня, писал о церкви Вознесения: «Ничто меня так не поразило в жизни, как памятник древнерусского зодчества в селе Коломенском. Многое я видел, многим любовался, многое поражало меня, но время, древнее время России, которое оставило свой памятник в этом селе, было для меня чудом из чудес... Во мне все дрогнуло. Это была таинственная тишина, гармония красоты законченных форм... Я видел стремление ввысь и долго стоял ошеломленный». Спустя сто лет, в наше время, пал на колени пред этим архитектурным уникумом прославленный бразильский архитектор Оскар Нимейер, создатель ультрасовременной Бразилиа... И еще было некогда в Коломенском «осьмое чудо света» — деревянный дворец царя Алексея Михайловича почти что в триста комнат и в три тысячи окон...

— Коломенским памятникам я отдал десять довольно продуктивных лет, начиная с 1927 года...

— Ну, вы и до этого, кажется, не бездельничали...

— В принципе никогда не признавал воскресений, домов отдыха и отпусков.

Работа для него была лучшим отдыхом, и если за отпускное время удавалось, скажем, обмерить или подновить какой-нибудь ценный памятник, он считал, что неостановимость времени побеждена. На Севере, кстати, он побывал еще раз, уже один, выявив множество интересных памятников народного зодчества по Пинеге и Вые — в Малопинежье, Вершине, Суре, Чаколе, Вонге, Кевроле, Чухченеме, Поче и других селах, обмерив наиболее выдающиеся.

— Собирал у селян лестницы и веревки, нанимал какого-нибудь молодого ухватистого парня, лазил с ним иногда по совер-

шенно ветхим шатрам и «бочкам», по сгнившим карнизам. Чтоб зафиксировать все параметры памятника, нужны тысячи замеров...

Сотни папок с обмерами хранятся у него — в низких коридорах и комнатах бывших больничных келий Новодевичьего монастыря. До того, как стать директором архитектурно-исторического музея-заповедника в Коломенском, он отреставрировал Голицынские палаты и дворец Троекурова в Охотном ряду — выдающиеся произведения старой московской гражданской архитектуры, Казанский собор на Красной площади, обследовал Андроников монастырь, обнаружив белокаменную кладку XV века. И беспрерывные поездки в дальние и ближние концы России — с фотоаппаратом, миллиметровкой, рулеткой и чертежными принадлежностями в багаже: Новгород, Соловецкий монастырь, Александровская слобода, Карелия, Александров-Куштский монастырь на Кубенском озере, Смоленск, боровский Пафнутьев монастырь, Бронницы, Дмитров, Гороховец...

— Предлагали кафедру, но я тогда считал, что лучше спасти один памятник, чем прочесть сто лекций или написать десять книг. И сейчас, когда я, можно сказать, прожил свою жизнь, так же считаю!

— Но ведь научная работа может дать обобщенные выводы и открытия — маяк и тропки для многих.

— Послушайте! — он как-то странно, словно что-то вспоминая, смотрел на меня.— Почти такие же слова сказал мне один человек шестьдесят лет назад... Но я с ним не согласился — мне это не подходило. У меня сердце горело, хотелось сделать неотложное и конкретное самому! Он же пошел другим, своим путем...

— Кто это был?

— Да вам, наверное, это имя ничего не скажет. Чижевский такой.

— Александр Леонидович?! Вы с ним были знакомы?

— Мы в одно время с ним учились в археологическом институте. Он глядел в небо, а я был убежден, что на земле еще слишком много дел. И сейчас так же думаю... Надо спасать человеческую культуру — это самое ценное из всего, что сделали люди на своей планете. От людей спасать и для людей... Диссертации да лекции — подчас ученое безделье. Дело нужно, пример, хотя бы единичный...

Где он брал время для научной и организационной работы? В те же двадцатые годы П. Д. Барановский составил исторические и художественные характеристики *пятидесяти* крупнейших монастырей в связи с национализацией их строений и владений, собрал обширные «материалы к словарю русских зодчих и строителей до XVIII века», создал в Болдине музей деревянной скульптуры, подготовил специальные доклады и инструкции о применении деревянных связей в русском зодчестве и новых методах

укрепления их разрушенных конструкций, о разработанной им методике научного восстановления памятников путем наращивания остатков кирпича и, главное, организовал Коломенский музей-заповедник, став его первым директором...

— Понимаете, церковь Вознесения и храм в Дьякове,— он вглядывается в картину Владимира Маковского, висящую на стене, словно припоминая давние подробности,— эти две жемчужины русского зодчества нуждались в тщательном изучении, в *научной* реставрации, потому что пожары, позднейшие перестройки и неоднократный неумелый ремонт исказили многие детали. Надо было вернуть им первоначальный вид.

Сотрудники музея под руководством директора годами непрерывно вели эту работу, а попутно разыскивали по всей стране экспонаты для коломенских музеев — везли колокола, иконы, старинную мебель, посуду, напольные плиты, замки, башенные часовые механизмы, художественный литейный и кузнечный металл, крестьянские орудия труда, резьбу по дереву, изразцы.

Продолжались исследовательские командировки в разные концы страны, организовывались тематические выставки, писались научные доклады. Так, в 1931 году П. Д. Барановский открыл в Коломенском большую выставку «Техника и искусство строительного дела в Московском государстве», на которой были представлены камень и кирпич, дерево и железо, слюда и стекло, резное дело в архитектуре, строительный чертеж и рисунок, а позже — тематическую экспозицию «Русская строительная керамика XVI—XX вв.». В Комитете по охране памятников истории и культуры при Президиуме ВЦИК сделал доклад «О катастрофическом разрушении ценнейших памятников народного деревянного зодчества и необходимости экстренных правительственных мер по их сохранению»...

— В домике Петра Великого бывали? — спрашивает Петр Дмитриевич.

— Как же.

— Никому я его не мог доверить! Сам ездил в Архангельск, сам метил бревна при разборке, сопровождал сюда и ни на шаг не отходил, пока его собирали. Сам и обставлял интерьер.

Не доверил он никому и деревянную медоварню из села Преображенского, и проездную башню Николо-Корельского монастыря, которую сопровождал до Москвы на тормозной площадке товарного вагона. Всего же перевез в Коломенское шесть памятников деревянного зодчества.

— Крепко строили, хотя и без гвоздей. Монументально!.. А башню Братского острога перевезли уже после меня, совсем, можно считать, недавно... Хорошо, что догадались, не затопили. Коломенское — моя давняя любовь и свежая боль...

И он переходит к тому, к чему переходит в конце почти любого разговора. Голос теряет мягкость и теплоту, обычные при воспоминаниях о былом, приобретает жесткость, металлические оттенки появляются, досада и гнев рвутся неудержимо.

Однажды мы с ним приехали в инспекцию ГлавАПУ поговорить о реставрации другого замечательного московского архитектурного ансамбля — Крутицкого подворья.

— Вы слишком резки, Петр Дмитриевич,— попробовали остановить его.

— Предпочитаю правду.

В свое время он был одним из защитников храма Василия Блаженного. Голландец Стрейс писал, что эта московская церковь «прекраснее всех прочих... я не видывал ничего ей подобного, ни равного». Француз Дарленкур: «Как изобразить это здание, самое непостижимое и чудное, какое только может произвести воображение человека!» Немец Блазиус: «Все путешественники прямо или не прямо, но в один голос заявляют, что церковь производит впечатление изумительное, поражающее европейскую мысль». Блазиус пытался разгадать это с первого взгляда хаотичное сооружение, понять, «сколько сторон у здания, где его лицо-фасад, сколько всех башен стоит в этой группе». Побывав внутри здания, он запутался в тесноте, мраке, неправильности и беспорядочности помещений. Путешественник, однако, по наитию предположил, что этот диковинный храм имеет для русской архитектуры почти такое же значение, как знаменитый Кёльнский собор для германской... А вот большая часть образованнейших наших соотечественников нескольких поколений усматривали образцы архитектурного совершенства лишь в классицизме, готике, барокко, рококо и попросту не замечали величия, разнообразия, красоты и самобытности национального русского зодчества, считая его варварским. Н. В. Гоголь в знаменитой своей статье «Об архитектуре нынешнего времени» (1831) превыше всего ставит средневековую западноевропейскую готику — «явление такое, какого еще никогда не производил вкус и воображение человека», говорит о классической греческой, римской, византийской, египетской, индийской, арабской, китайской, фламандской, итальянской архитектуре, но ни слова о русской, будто ее не существовало, а Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского» комплиментарно отнес Василия Блаженного к готической архитектуре!

Храм Покрова на московской Красной площади был *продолжением*, ступенькой развития многовековой зодческой и строительной культуры наших предков, еще в XI—XII веках вознесших над родной землей такие каменные шедевры, как черниговский Спас, киевский, новгородский и полоцкий Софийские соборы, Дмитровский во Владимире, Васильевская церковь в Овруче, Свирская (Михаила Архангела) в Смоленске, Михайловская в Киеве, Георгиевский собор Юрьева монастыря в Новгороде, Боголюбовский дворец, храм Покрова на Нерли, Спас-Нередица, Параскева Пятница,— и все это лишь малая *начальная* часть величественного целого...

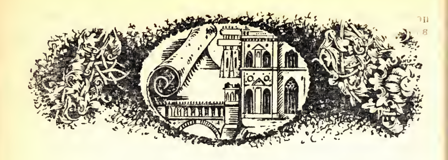
Вернемся, однако, к тому, на чем приостановились мы и немецкий путешественник Блазиус, который, размышляя о хаотичности,

стихийности каменных нагромождений Василия Блаженного и продолжая осматривать храм, вдруг сделал для себя нежданное открытие.

«Только взобравшись наверх, начинаешь мало-помалу понимать, что все части храма расположены симметрично, что четыре большие башни стоят вокруг среднего, главного здания правильно, соответственно сторонам света, на восток и запад, на север и юг; что в их промежутках расположены меньшие башни: что четыре пирамидальные башенки на западной стороне точно так же размещены симметрично и покрывают крылечные входы». Изучив здание в подробностях, Блазиус убедился, что оно представляет собою весьма сложную, но упорядоченную, стройную и целесообразную по замыслу и исполнению систему храмов. Итог: *«Вместо запутанного нестройного лабиринта это ультранациональное архитектурное произведение являет полный смысла образцовый порядок и правильность».*

Сверху я никогда Василия Блаженного не видел, но вот передо мной план храма, завораживающий глаз соразмерностью и гармонией, сложностью и компактностью. История сохранила свидетельство, что Иван Грозный в честь взятия Казани — колючего осколка Золотой Орды — повелел построить храм о восьми престолах. Мастера же каменных дел заложили девять престолов «не якожъ повелено имъ, но яко по Бозе *разум даровася имъ в размерении* основания», то есть по соображениям архитектурным — размерам, пропорциям, сочетаниям частей, «обворожительности» целого, соответствиям «образцы и многими переводы», «подобиям». Главный, шатровый храм во имя Покрова окружали восемь приделов в память «о Казанском взятии и Астраханском». Каждый придел имел свое имя, и я перечислю их: Живоначальной Троицы, Вход в Иерусалим, Николая Чудотворца Великорецкого, Киприана и Устинии, Варлаама Хутынского, Александра Свирского, Григория епископа Великия Армении, Александра, Иоанна и Павла — новых патриархов Цареградских. Нет двух похожих приделов, есть в каждом из них своя каменная особинка самородная, а ведь этот дивный храм видится как сказочный, сотворенный руками человеческими град, и когда я в очередной раз обхожу его вокруг, то воспринимаю прежде всего как творение народное, светское, праздничное и даже символичное, вспоминая, что по случайному совпадению первых, начальных русских городов было тоже девять — Киев, Новгород, Смоленск, Полоцк, Ростов, Муром, Белоозеро, Изборск и Ладога...

А еще весь его ослепительный наружный декор, внутренние росписи, гениально выбранное место, срок постройки. Собор Парижской богоматери строился около 100 лет, Миланский — 419 лет, Кёльнский — 632 года, а этот, пусть и помене прочих, был возведен и отделан всего за пять лет, но вместе с ними по праву стоит в первом ряду шедевров мировой архитектуры.



39

Нет, не стану я углубляться в большую и сложную тему сохранения и реставрации московских памятников старины. Это увело бы далеко в сторону, не говоря уже о том, что есть много людей, знающих о сем предмете больше и лучше меня. Вместе со всеми москвичами я радуюсь, когда вижу восстанавливаемые на наших глазах архитектурные ценности столицы, досадую об ошибках, допущенных в прошлом, и уже, к сожалению, неисправимых, скрепя сердце пытаюсь смириться с неизбежными потерями. Вот старые москвичи очень жалеют зелень, что некогда украшала Садовое кольцо. Эту благодать, окружавшую большой центр города, я не успел увидеть, но как эти сады, наверное, были хороши в цвету и осенью, как они были хороши всегда! Только сожаления бессмысленны — деревья Садового кольца, конечно же, были обречены, потому что даже расширенный и разглаженный главный этот проезд Москвы сделался сегодня уже тесным для движения, шумным и душным...

И уж непременно старые москвичи, в том числе и самые убежденные атеисты, при разговоре, близком нашему, с болью вспомнят о храме Христа Спасителя, снесенном без особых, правду сказать, оснований в 30-е годы. Конечно же, проектируемый тогда Дворец Советов можно было заложить в другом и даже лучшем месте, а грандиозное сооружение в память победы над Наполеоном, возведенное на средства, собранные в народе по подписке, все же надо было бы сохранить для потомков, приспособив его, если на то пошло, под планетарий, всесоюзный атеистический либо исторический музей или просто оставить как памятник архитектуры и культуры, что сделано с ленинградским Исаакиевским собором.

Истины ради следует добавить, что современники отнюдь не были в восторге от архитектуры храма Христа Спасителя. Николай I, как известно, не отличался особым художественным вкусом и утвердил проект академика А. К. Тона, которому недостало таланта выполнить главное условие — воплотить в этом сооружении древнерусский архитектурный стиль. Неудача объяснилась

нетворческим соединением византийских и русских элементов, влиянием казенных вкусов николаевского времени, внешним подражанием основам национального зодческого искусства, потерей органичного, внутреннего чутья законов его. В дореволюционном путеводителе по Москве писалось: «Холодом веет от высоких, преднамеренно гладких стен. Бедность замысла не скрашивается барельефами, опоясывающими здание...»

И все-таки жаль этого памятника! Тем более что на месте его ничего не построено, если не считать открытого бассейна. Ведь в этом капитальнейшем и дорогостоящем сооружении материализовался труд народа, проявились таланты многих скульпторов и художников. Размеры его были впечатляющими — под главный купол свободно мог поместиться Иван Великий, а число посетителей, одновременно заполнявших его, достигало десяти тысяч человек. Расписывали храм Васнецов, Верещагин, братья Маковские, Семирадский и другие замечательные русские художники. В нем были прекрасные малахитовые колоннады, великолепные иконостасы, гигантские барельефы итальянского мрамора украшали стенные ниши. Жаль, что ни говори! Не помешал бы он сейчас Москве, в которой, как в любом старом и большом людском поселении, всегда строились, строятся и будут строиться здания различной, в том числе и не слишком высокой архитектурной кондиции.

Люди склонны идеализировать далекое прошлое, смело и обобщенно пенять на недавнее, смиренно помалкивать о настоящем и возлагать надежды на будущее, а подлинная, реальная жизнь — это и прошлое, и настоящее, и будущее в их неразрывной связи, в бесконечной борьбе идей и мнений, вкусов и решений, в постоянном совершенствовании общественных законов, уклада жизни и быта людей, облика земли, городов. Не совсем правы любители старины, считающие, что вот, мол, была некогда лепота в России — ценные исторические и архитектурные памятники повсеместно охранялись, подновлялись, сберегались, а цари-де, как главные держатели власти и распорядители казны, особо опекали наши национальные исторические и культурные ценности. Чтоб чуток отрезвить таких идеализаторов, приведу лишь несколько примеров из множества сходных.

Кто бывал в Смоленске, тот не мог не поразиться старинным его оборонительным сооружениям, возведенным знаменитым русским зодчим Федором Конем. Чуть ли не сорок красивых башен над неприступной и прочнейшей стеной поднял великий фортификатор на переломе XVI—XVII веков в Смоленске. А перед этим он построил грандиозные стены и башенные сооружения Белого города в Москве. Двадцать восемь башен на десяти верстах протяжения имела огромная каменная стена, что тянулась вдоль теперешнего Бульварного кольца от Яузских ворот — через Покровские, Мясницкие, Сретенские, Петровские, Тверские, Никитские, Арбатские, Пречистенские — до последних ворот у Москвы-реки, от которых к нашим дням не сохранилось даже названия.

Императрица Елизавета Петровна приказала разрушить и разобрать по камушку, по кирпичику весь Белый город. К тому времени сооружение потеряло свое оборонительное значение и обветшало, но если б осталась от него хоть одна башня с кусочком стены и воротами, как бы дорожила сегодняшняя Москва этой исторической и архитектурной достопримечательностью! А разве не жаль дворца Алексея Михайловича в Коломенском, также снесенного по распоряжению императрицы в середине XVIII века!

В 1775 году великий русский зодчий Василий Баженов начал по утвержденному Екатериной II проекту строить в Подмосковье неповторимый в веках, совершенно оригинальный дворцовый комплекс. Среди множества архитектурных памятников той эпохи царицынские сооружения должны были стать чем-то особо значительным. Замысел основывался на глубоком творческом освоении лучших традиций старой национальной и мировой классической архитектуры, был своеобразным и самостоятельным сочетанием двух этих зодческих начал. Дворцы, павильоны, башни, мосты, ворота, возведенные на вершинах и склонах покатых холмов из белого камня и красного кирпича, представляли собой замечательный архитектурный ансамбль, окруженный искусственными парками и органично вписывавшийся в среднерусскую природу.

И вот через десять лет после начала строительства пресыщенная и капризная императрица, посетившая Царицыно, приказала отменить работы. Почти законченный комплекс, восхищавший современников своим изысканным великолепием, усилиями реставраторов начал возрождаться только в наши дни.

Эта же государыня, считавшая себя образованной просветительницей и гордившаяся своей перепиской с знаменитыми европейскими философами и писателями, надумала было снести чуть ли не весь Кремль, включая значительную часть его стены, чтоб построить на этом священном холме сооружения в духе новомодных архитектурных веяний. К счастью, ни один из проектов генеральной реконструкции Кремля не был осуществлен — императрица почила в бозе. И еще числится за ней одно особое преступление, о котором мы еще вспомним, потому что оно в какой-то степени скрыло от нас некую великую тайну, связанную со средневековой историей и культурой нашего народа, о чем речь впереди...

Разрушительные деяния в отношении русских архитектурных святынь свершали не только августейшие дамы. В 1817 году Александр I распорядился снести древний кремлевский собор Николы Гостунского. Предписывалось сделать дело в одну ночь, дабы не возмущать народ, особо почитавший этот храм, воздвигнутый в 1506 году на месте еще более старой деревянной церкви. Никола Гостунский был не только реликвией народной, чудесным образом уцелевшей при последнем татарском набеге на

Москву, польской интервенции, французском нашествии, но и династической — в соборе этом присягали, вступая на престол, Петр III и Екатерина II. Царь не мог также не знать того немаловажного для истории русской культуры обстоятельства, что первую на Руси книгу *напечатал* священник этого собора Иван Федоров. Варварское деяние и вправду свершилось за одну ночь — утром на месте Николы Гостунского была уже выровненная и замощенная площадка. Это чистой воды преступление содеялось единственно потому, что в Москву прибывал король Фридрих-Вильгельм Прусский, для парадной встречи которого в Кремле Александру I вздумалось расчистить Ивановскую площадь! Как тут не вскрикнуть «во всю ивановскую»?!

Еще примеры? Пожалуйста. Николай I, утвердивший, как мы знаем, проект храма Христа Спасителя и выбравший место для его строительства, безжалостно снес с этого места древний Алексеевский монастырь с прекрасным шатровым храмом XVII века. О нем теперешние москвичи уже не могут помнить и жалеют храм Христа Спасителя, как жалели старые москвичи времен его почти полувекового строительства о более ценном архитектурном памятнике, уничтоженном неограниченной монаршей волей Николая Романова.

А трагическая судьба самой первой московской церкви? Напомню, что она издревле стояла на Кремлевском холме, носила имя Рождества Иоанна Предтечи и еще в 1461 году была переложена в камне. Баженов, Казаков, Тюрни, все без исключения архитекторы, составлявшие в свое время проекты реконструкции Кремля, предусматривали непременное сохранение этого бесценного памятника начального московского зодчества. И вот в 1847 году тот же Николай I, несмотря на хлопоты историка Погодина и других деятелей русской культуры, повелел снести церковь Рождества Иоанна Предтечи, а место заровнять. Причина? Царь изволил высказать мнение, что она мешает разглядывать тоновский Большой Кремлевский дворец из Замоскворечья.

Все это было стародавнее, полузабытое, а что сказать о том, чему был сам бессильным свидетелем, таком, от чего слезятся глаза и обливается кровью сердце? Если дни и ночи тянутся долго, то года летят незаметно. У Барановского стало пропадать зрение, и даже плохо помогают сильнейшие линзы. А столько еще надо привести в порядок! Итог семидесятилетних неустанных трудов хранится в папках вдоль стен на стеллажах, наверное, им нет аналогов в мировой науке и практике реставрационных работ. До войны, во время основной работы в Коломенском и после возвращения из Сибири, архитектор успел обследовать или обмерить, составить проекты реставрации или начать восстановление множества архитектурных памятников старины. В Подмосковье это — Новоиерусалимский монастырь на Истре, в Загорске — Троице-Сергиева лавра, памятники в Переславле-Залесском, Серпуховский кремль, во Владимире — Золотые воро-

та, в Суздале — Архиерейский дом, в Смоленске — Вознесенский монастырь, в Верхневолжье — Селижаровский монастырь и храм Ширкова погоста, в Крыму — Генуэзская крепость и башня Фиеско постройки 1409 года...

Не могу обойтись без перечислительных строк — чтобы до некоторой степени представить объем и глубину исследовательских и реставрационных работ Петра Дмитриевича, другого способа нет. Поэтому продолжаю. В те же довоенные годы Петр Дмитриевич Барановский еще раз всласть поработал на севере — в Беломорско-Онежской экспедиции, а также в Белоруссии, в Грузии, Азербайджане, самостоятельно, один, обследовал остатки христианских храмов кавказской Албании.

— Пройдемте-ка в комнату Марии Юрьевны...

Кандидат исторических наук Мария Юрьевна Барановская была историком-декабристоведом и, как вы помните, первой направила меня по следам Николая Мозгалевского. Она скончалась в 1977 году. Петр Дмитриевич, родственники и мы, небольшая группа историков, архитекторов и писателей, проводили ее в последний путь на кладбище Донского монастыря. Положили М. Ю. Барановскую по соседству с Д. Н. Бантыш-Каменским, В. О. Ключевским и декабристом В. П. Зубковым. Петр Дмитриевич часто вспоминает ее.

— Пройдемте в ее комнату.

Там все так, как было при ней. На столе книги с закладками из ее обширной, бережно хранимой декабристской библиотеки, портреты на стенах, рукописи, письменные принадлежности. Петр Дмитриевич находит памятную записку, составленную совместно с покойной,— перечень его работ, экспедиций, исследований, начиная с 1911 года.

— Когда-нибудь и закавказские реставраторы обратятся к моим материалам...

Читаю: «Круглый Лекитский храм XI в. и комплекс дворцовых зданий Кахского р-на Азербайджана. Расчистка, обмеры, исследования, археологические раскопки, проект реставрации, защиты от подмывания арыками, реставрация отдельных частей, разработка проекта организации заповедника».

— Нет, вы не знаете, что такое Лекитский храм! Правильный круг диаметром двадцать два метра. Расчленен снаружи пилястрами с желобками, внутри — каменными колонками. Два придела с востока, часть их семиметровых стен сохранилась, четыре мощных угловых пилона когда-то, несомненно, поддерживали купольный свод. И так далее, что неархитектору, наверное, неинтересно... Главное же в том, что до наших раскопок о храме вообще науке не было известно. Он стоял в густом высоком кустарнике, и оросительная канава подмывала и разрушала его.

— А что он для науки?

— Видите ли, христианская кавказская Албания ранее считалась архитектурной пустыней. А мы доказали, что и до арабского

нашествия это был район высокой зодческой и строительной культуры с обширными связями. Круговой обход и внутренний тетраконх на колоннах Лекитского храма имеют подобия в армянском Звартноце 645—660 годов и сирийском храме Босра 515 года. И здесь, возможно, заключена разгадка одной из самых важных тайн мировой архитектуры — когда и где возводились постройки с подкупольным квадратом, определившие главную архитектурную идею константинопольской Софии...

Читаю дальше: «Кум, базилика VI в. Обмеры, исследование с археологическими раскопками, проект реставрации, защита от застройки колхозной электростанцией». «Мавзолей на могиле Низами в Кировабаде. Проектное предложение по сохранению остатков подлинного древнего мавзолея»... От непривычных названий пестрит в глазах: «Храмы в селах Киш, Бухтало, Зейзит, Бахи, Орта-Зейзит, Кабала, Хазры, Джары, Катехи, Мацехи...» «Продолж. эксп. лично: храм в Кум-Сускаиде. Замок и храм в Баш-Гюллюк, Гюллюк-тепе, храмы в Кахетии — Стар. Чавази, Телави, Шкевели, Греми, Некреси, Уриатбаин...». «Обследование и доклад в Академии архитектуры СССР».

Это были уже 1940—1941 годы.

40

Война! На оккупированной территории фашисты преднамеренно уничтожали памятники нашей культуры — дворцы, парки, храмы, старинные палаты, рассматривая эти варварские деяния как стратегически важные. Апофеозом этого вандализма XX века должно было стать затопление Москвы...

Чернигов. Столица средневековой Северской земли, впервые упомянутая в договоре Олега с греками в 907 году. После войны я почти каждый год бывал в Чернигове, даже пожил там немного, работая в депо и местной газете. Видел, как город поднимался из руин, расширялся и хорошел. Доходил черед и до памятников

времен процветания Северской земли. Величественный Спасо-Преображенский собор, заложенный еще Мстиславом, сыном Владимира Крестителя, возвышался над Валом, как бы символизируя благоденствие обширного, богатого и культурного княжества. В этом самом древнем сохранившемся каменном здании Руси, возведенном под влиянием византийской архитектурной школы, уже чувствуется самостоятельная и властная рука русского зодчего, придавшего монументальность и строгость внешнему облику собора и его интерьеру. На черниговском Валу сегодня уже нет каменных развалов, что я увидел летом 1946 года. Все восстановлено, отреставрировано, позлащено... А поодаль, на древнем Торгу, стоит совершенно исключительное каменное здание, о коем следует поговорить особо...

В годы Великой Отечественной войны Петр Дмитриевич Барановский руководил работами по сохранению историко-художественных ценностей в Ивановской и Владимирской областях, был старшим инспектором Комиссии охраны памятников Комитета по делам искусств при СНК СССР и экспертом Чрезвычайной государственной комиссии по учету ущерба, нанесенного вражеским нашествием памятникам культуры. С тревожными предчувствиями ехал он в Чернигов в 1943 году, вскоре после его освобождения. Самое тяжкое впечатление оставил Пятницкий храм — у него обрушились купол, большая часть сводов и пилонов, на три четверти южная и западная стены. Внутри высилась семиметровая груда кирпичных обломков, мусора и щебня разных эпох — памятник неоднократно перестраивался и надстраивался. Во времена польского владычества в нем, уже тогда прикрытом кирпичными наслоениями, был католический костел, позже он стал центром Пятницкого женского монастыря, оброс башенками, маковками, зубчатыми фронтонами в стиле так называемого украинского барокко, и это в какой-то мере защитило от разрушения его древнее ядро, хотя и оно получило значительные повреждения — были растесаны старые окна и пробиты новые, срублена фасадная обработка, стены оштукатурены. Храм горел в 1750 году, ремонтировался, после ликвидации в 1786 году монастыря стал приходской церковью, снова горел в 1862 году и снова ремонтировался. В конце прошлого века ученые обнаружили под наслоениями древнюю кладку...

21 августа 1941 года храм в последний раз выгорел от немецких зажигательных бомб, 26 сентября 1943 года был окончательно разрушен бомбежкой, а уже через два месяца, в декабре, на его ужасающих руинах появился человек из Москвы — небольшого росточка, с крепкими ухватистыми руками и бесстрашным сердцем. Он лез с рулеткой на самый верх, к оставшимся кирпичам, копался в руинах даже в те моменты, когда над городом начинался воздушный бой. Его звали в укрытие, а он отмахивался от зазывных голосов и гуда самолетов, как от назойливых комаров.

Главное, тяжелых плоских плинф попадалось в хламе все больше! Скользкие обледенелые руины вздымались в высоту до

восемнадцати метров. Петр Дмитриевич *один*, без помощников, тщательно обмерил сохранившиеся фрагменты здания, зафиксировал все размеры, формы, едва обозначенные детали архитектурных переходов. Это было очень трудно и рискованно. Стояла зимняя стужа, дул пронизывающий ветер. Северо-восточный более или менее сохранившийся пилон мог в любую секунду рухнуть, так как опирался лишь на слабую, испещренную трещинами восьмую часть прежней опоры. Однако Петр Дмитриевич не мог не закончить работы, потому что опытным глазом обнаружил нечто необыкновенное — этот памятник, первоначальный вид которого был до неузнаваемости искажен перестройками, представлял собою архитектурное чудо, особо ценное звено в тысячелетней цепи русского каменного зодчества!

Параскеву Пятницу надо было любой ценой спасать, но обстоятельства сложились так, что в Чернигов он смог попасть только через год. Снова рискованные подъемы по лестницам и веревкам, по скользким закреплениям руин, снова скрюченные от холода руки, которые можно было совать в огонь костра, а они все равно ничего не чуяли. Сердце грели только удивительные находки. Освободив пилон от лишней нагрузки — было снято более пятидесяти тонн кирпичных наслоений,— он обнаружил остатки средневековых трехъярусных сводов, а при разборке внутренних руин — драгоценнейший фрагмент главы. Аварийный пилон удалось закрепить, однако эта первичная консервация не была закончена, потому что приходилось с огромными усилиями добывать в городе каждый деревянный брусок, скобу, стальной хомут или кусок толя. А в победном мае следующего года произошла беда — упала верхняя часть сохранившейся южной стены, внсевшая наподобие консоли, обрушила пилон. Петр Дмитриевич срочно выехал на место, решив не возвращаться, пока не сделает все возможное для полной консервации памятника. Ожидая помощи, долго разбирал руины один, ворочая крупные фрагменты, собирая плинфу за плинфой. Около ста этих плоских и тяжелых кирпичей оказались с разнообразными клеймами — такого не встречалось ни в одном памятнике русского зодчества. Наконец подоспели киевские реставраторы, хорошо помогли, но сил немедленно приступить к восстановлению Параскевы Пятницы не хватило. Надежно укрытые деревянными и толевыми кровлями, руины простояли за глухой каменной стеной еще немало лет. Они оказались в самом центре возрождающегося города, и Петру Дмитриевичу пришлось трижды, привлекая авторитетнейших специалистов из Москвы и Киева, доказывать, что свезти на свалку «этот хлам» — преступление.

Работы в те годы было невпроворот. Составлялись экспертизы по учету ущерба, нанесенного фашистскими захватчиками памятникам культуры Киева, Смоленска, Полоцка и других городов, проводились исследования, составлялись проекты реставрации киевского Софийского и черниговского Борисоглебского соборов, Новоиерусалимского монастыря, где рухнул в войну великолепный

шатер Растрелли — Бланка, полоцкого собора Евфросиниевского монастыря XII века; две новые кавказские экспедиции, снова Лекит и Кум, и, наконец, Андроников монастырь в Москве, реставрация, проект создания музея, установление даты смерти и места захоронения Андрея Рублева.

Доклад на эту тему был прочитан 11 февраля 1947 года в Институте истории искусств АН СССР, пролежал тридцать пять лет в архивах и только 12 февраля 1982 года, накануне 90-летия П. Д. Барановского, мне удалось опубликовать его конспективное изложение в «Неделе». Огромная исследовательская работа предшествовала этому докладу: изучение старинных книг и рукописей, синодиков, биографий современников великого живописца, архитектурных памятников Андроникова монастыря, чудом дошедшей до нас фрагментарной копии с надписи на могильной плите Андрея Рублева. Основные выводы:Андрей Рублев скончался в ночь с субботы на воскресенье 29 января 1430 года. Правда, в том давнем докладе П. Д. Барановский ошибся при переводе старого стиля в новый — разница в XV веке составляла не тринадцать, как в XX веке, а только девять дней. Ошибочно — сентябрьским — назван и год 1430. Начало нового года на 1 сентября было официально перенесено с марта лишь в 1492 году и приурочено к 7000-летию со дня «сотворения мира». Таким образом, в пересчете на новый стиль, то есть *по григорианскому календарю датой смерти Андрея Рублева следует считать день 7 февраля 1429 года.*

Интересен другой вывод архитектора — Андрей Рублев был погребен у северо-западного угла собора Андроникова монастыря, причем в создании собора — этого своеобразного памятника художнику, по свидетельству Пахомия Логофета, принял участие сам «Андрей иконописец, весьма необыкновенный, всех превосходящий великой мудростью, имеющий почитаемую старость». П. Д. Барановский говорил в докладе: «Значение этой находки неоспоримо, если учесть то исключительное место, которое занимает в истории русского искусства Андрей Рублев, получивший самое высокое признание своих современников и близких поколений как «иконописец преизрядный», признанный в связи с идеологией того времени святым, художник, которому предписывал подражать церковный собор 1551 года, художник, творчество которого справедливо превознесено перед прочими и заслужило эпитеты самые изысканные, полные восторга и поклонения ученых и художников нашего времени». Заключая обсуждение доклада, академик А. В. Щусев высоко оценил работу П. Д. Барановского, «проделанную по личному энтузиазму и почти даже на личные средства и возможности».

В 50-х годах, когда проект реставрации Параскевы Пятницы был готов в мельчайших деталях, Петр Дмитриевич возглавил небольшую бригаду подсобных рабочих. Наезжая в те годы к своим, в Чернигов, я не раз наблюдал, как копошится сре-

ди руин и шастает по лесам с утра до темноты невысокий человек с седыми усами. Наш дом стоял в двух кварталах от этого места, к Валу и Десне надо было идти мимо него. Петр Дмитриевич сколотил дощатую каморку в круглой башне, примыкавшей к Параскеве с начала XIX века, и там жил. Башенку потом снесли, но я успел сфотографировать ее и недавно разыскал этот кадр в мотке старых пленок. Отпечатал и положил на память в папку вместе с фотографиями Барановского разных лет, со снимками поэтапной реставрации Параскевы Пятницы, ее окончательным видом, от которого трудно оторвать взгляд. Храм Параскевы Пятницы был возведен в конце XII — начале XIII века в отдалении от архитектурных комплексов двух здешних монастырей и Вала, где высятся ныне отлично восстановленные Спасо-Преображенский и Борисоглебский соборы, Коллегиум начала XVIII века, дом Лизогуба конца XVII. Параскева была, очевидно, последней домонгольской постройкой в Чернигове и множеством деталей резко отличалась от всего здешнего, имея «подобия» лишь в архитектуре овручской Васильевской церкви и Свирской в Смоленске, а некоторые «подобия» Параскевы отыскиваются в постройках XIV—XV веков в Москве и... Сербии. Правда, были у Параскевы на Северской земле два каменных ровесника, о которых мы еще вспомним...

Реставрация Параскевы Пятницы — научный и трудовой подвиг Петра Дмитриевича Барановского. В этом памятнике все необычно — и смелое отступление от византийской крестово-купольной системы, и нетрадиционные основные пропорции, и поразительная динамичность, выразительность силуэта, и трехступенчатые арки-закомары на переходе к барабану, получившие дальнейшее развитие в классическом русском зодчестве, и великолепное раскрытие внутреннего пространства, и единство всех архитектурных форм, создающее его необыкновенную устремленность ввысь. Ровесник «Слова о полку Игореве», скульптурный этот памятник как бы запечатлел в камне идеалы поэмы — единение Руси, красоту и возвышенность представлений о жизни, силу и величие народа-творца. По некоторым своим архитектурным достоинствам и особенностям он, как писал в свое время П. Д. Барановский, должен занять «высшее место в системе развития форм русского зодчества наиболее раннего периода — XI—XIII вв.». И еще одно, чрезвычайно важное: «Памятник неопровержимо доказывает, что уже в домонгольскую эпоху русская архитектура не только ушла от признанных византийских канонов и стала на путь самостоятельного развития, но к концу XII в. уже дала произведения вполне сложившегося и самостоятельного стиля».

Немало лет ушло на восстановление памятника, и вот 7 марта 1972 года — я это запомнил точно, потому что был день моего рождения,— Параскева Пятница и Борисоглебский собор открыли двери для посетителей. Всякий раз, приезжая в Чернигов, я иду прежде всего к ней, Параскеве. Памятником можно любоваться

часами и все равно не насытишься. Нужно идти медленно вокруг, не спуская с него глаз. Да он и сам держит ваш взгляд, словно испуская из себя сильнейшее магнитное поле. Притягательная эта сила — в возвышенном замысле неведомого зодчего, в его душевном порыве, материализованном гармонично, красиво и благородно. Постепенно начинаешь видеть частности — вкрапления древней плинфы в свежую кладку, пучковые пилястры на фасадах, подчеркивающие вертикаль, той же цели служат и узкие оконца и нетрадиционные апсиды, расчлененные тонкими полуколонками, но главное все же — сбежистые арки закомары в три яруса, плавно сужающие этот причудливый пирамидальный каменный столп на переходе к высокому и светлому барабану и его купольной сфере. Параскева Пятница не оштукатурена, не покрашена, и в этой анатомической доступности к строгой и одновременно изысканной кирпичной кладке заключается особая прелесть ее узнавания — можно проследить глазом весь процесс возрождения памятника от фундамента до барабана. В ясный солнечный день собор горит, как огромный костер, вызывая смутные грезы, и временами тебя охватывает ощущение, что это творение природы, а не рук человеческих. Вспоминаются поневоле восторженные слова, сказанные летописцем по поводу другой церкви тех далеких времен: «Высотою же и величеством и прочим вдивь удобрена... вся добра возлюбленная моя и порока несть в тебе». Единственного не хватает памятнику — мемориальной доски. Надо бы на ней написать, что этот замечательный памятник русского зодчества конца XII — начала XIII века был разрушен фашистами и возрожден из руин по проекту и под руководством выдающегося архитектора-реставратора П. Д. Барановского...

Внутри Параскевы Пятницы не очень просторно, однако взгляд манит этот прекрасный красный зев — высокое, светлое, ярое пространство под куполом и сложные переходы каменных профилей — арки-закомары, оказывается, не декоративный элемент, а конструктивный; их внешние формы имеют то же трехступенчатое продолженье внутри, над стенами. Параскеву Пятницу посещают ежегодно тысячи экскурсантов, для которых памятник становится незабываемым эстетическим откровением.

С работником Черниговского историко-архитектурного заповедника Андреем Антоновичем Карнабедом поднимаемся на хоры, осматриваем экспозицию, посвященную «Слову о полку Игореве», говорим о Барановском, Параскеве и «Слове». Я сказал, что великий старик этой работой своей заставил меня по-новому понять архитектуру, воспринять ее как говорящую душу древнего зодчего.

— У него многие многому научились,— отзывается Карнабед.— И я в их числе... Его методы реставрации, как вспоминал Грабарь, в свое время заинтересовали англичан. Он умеет связать архитектуру с историей, идеологией, материаловедением, строительной техникой, искусствами той или иной эпохи, умеет ввести в реставрационное дело смелую новизну ради укрепления связей времен...

— Мы не раз говорили с ним об этом, и Параскева Пятница, возрожденная им из руин, распространяет ныне вокруг себя новую притягательную силу, укрепляя нашу связь с предками.

— А о связях как конструктивном элементе древней архитектуры говорили? — спросил Карнабед.

— Как же! Еще в начале двадцатых годов привез в Болдино металл из разобранной Китайгородской стены и завел в полости Введенской церкви, где дубовые связи давно выгнили.

— А посмотрите-ка на связи Параскевы!

На пяти уровнях внутреннее пространство памятника пересекали, скрещиваясь, толстые бруски дерева, чтобы предохранить стены от распирания тяжеленными арками и барабаном.

— Неужто дуб?!

Карнабед засмеялся.

— Секрет Барановского. Снаружи — дубовые короба, внутри — легированная сталь... Есть здесь еще один великий секрет, но учитель не любит о нем распространяться...

Вспомнилось — Петр Дмитриевич полушутя сказал однажды, что Параскеве Пятнице не страшно теперь ни землетрясение в десять баллов, ни бомба любой мощности. Неужели дело только в этих связях и толщине стен?

— Нет, замес погуще,— опять засмеялся Карнабед.— Стены памятника были очень ослаблены, потому он и рухнул почти весь в сорок третьем. Это не была сплошная кладка. Между стенами, наружными и внутренними,— полость шириной в шестьдесят сантиметров, которую древний зодчий засыпал строительным мусором. Петр Дмитриевич оплел всю полость стальной арматурой, приварил ее к связям, заполнил крепчайшим бетоном-пятисоткой. Отступление от оригинала, конечно, зато Параскева простоит еще тысячи лет. Так Петр Барановский через восемь веков увековечил творение Петра Милонега и Рюрика Ростиславича.

— Вы действительно считаете Милонега автором Параскевы?

— Такое предположение высказал в печати Барановский. А вы так не считаете?

— Может, и Милонег, но только едва ли по заказу «буй Рюрика» из «Слова о полку Игореве»... Кстати, что значит ваша фамилия «Карнабед», или, по-украински, «Карнабіда»?

— Ну, «біда» это и по-русски «беда».

— А «Карна»?

— Не знаю.

— В «Слове» есть Жля и Карна, возможно, отражавшие какие-то древние понятия...

Этот разговор во время последней встречи с Карнабедом имел продолжение в наших письмах и моих предположениях о времени постройки Параскевы Пятницы, к которому мы скоро вернемся, чтоб коснуться одной из самых великих тайн русского средневековья, а сейчас завершим наше знакомство с Петром Дмитриевичем Барановским и делом его жизни.

Чтоб концентрированно представить послевоенные годы Петра Дмитриевича, до предела наполненные трудами, мне опять приходится переходить на перечислительный тон. Снова Болдинский монастырь, взорванный гитлеровцами; проект, восстановительные работы и создание партизанского музея.

Работа по сохранению памятников архитектуры среди новостроек Новгорода, Пскова, Смоленска, Вязьмы, Керчи, Феодосии. Проект организации архитектурно-исторического заповедника в Чернигове, вскоре осуществленный. Участвовал он также в экспедиции по Западной Украине и еще одной кавказской, выявляя связи византийской, кавказской и балканской архитектуры с русским зодчеством, раскопал Смоленскую и Галичскую ротонды XII века, исследовал киевский «город Владимира», Николо-Загородскую церковь в Новгороде-Северском, Свирскую в Смоленске, московские памятники XVII века — Успения в Путинках и Софийский храм, храм Иоанна Богослова и Троицы в Листах, палаты в Ипатьевском переулке и памятники в Зарядье, ныне возрожденные для новой жизни. Это далеко-далеко не все, и все здесь невозможно даже перечислить, а конца начатому не видно...

Долгие годы Петр Дмитриевич осуществлял авторский надзор за восстановлением Крутицкого подворья в Москве — замечательного архитектурно-исторического ансамбля, зародившегося в глуби веков. Еще в XIII веке по договоренности Александра Невского с ханом Берке, братом Батыя, в Бату-Сарае было учреждено представительство русской православной церкви. В следующем веке оно было перенесено сюда, на крутой берег Москвы-реки. Над сводчатыми подвалами из белого мячковского камня в XV веке была построена церковь Воскресения, возведен единственный на Руси трехэтажный Успенский собор, позже — Дворец московских митрополитов, знаменитый галерейный арочный Переход с тридцатью тремя каменными колоннами, «Святые ворота», украшенные великолепной цветной керамикой, Приказные палаты шестидесятиметровой длины по фасаду — административно-хозяйственное здание Крутицкой митрополии. В середине XVII века на территории подворья еще сохранялась первозданная березовая роща, соседствуя с «голландским садом»,— регулярными посадками, оранжерейкой, цветниками, «сладководными устройствами», то есть фонтанами. Этот «ветроградный» сад воспринимался гостями подворья как «некий рай», и когда все это будет восстановлено, Крутицкое подворье с его совершенным и гармоничным архитектурным ансамблем сделается одним из самых ценных исторических мест великого нашего города.

В Крутицах собирал войска для борьбы с польскими интервентами Дмитрий Пожарский, здесь позже находился в заточении Аввакум Петров, а еще позже Александр Герцен, арестованный одновременно с Николаем Огаревым, Николаем Сатиным и Владимиром Соколовским... Крутицкое подворье, однако, вошло в историю русской культуры главным обра-

зом тем, что здесь в середине XVII века располагалась, можно сказать, первая русская академия. Приглашенный сюда в 1649 году из Киево-Могилянской академии «муж умнейший и ученейший» Епифаний Славинецкий возглавил работу по переводу богословских и научных книг по вопросам философии, математики, истории, ботаники. Среди них была, например, «Книга врачевская анатомия» итальянского ученого эпохи Возрождения Андреаса Везалия и «Космография» Иоганна Блеу, где впервые для русского читателя было изложено гелиоцентрическое учение Николая Коперника. Предисловие Епифания к этому четырехтомному труду называлось «Зерцало всея вселенныя» и распространялось в рукописных копиях, из которых несколько дошли до нашего времени. Среди помощников Епифания, носивших церковные звания и чины, история называет двух русских переводчиков гражданской, светской принадлежности — Михаила Родостамова и Флора Герасимова...

За истекшие века Крутицы превратились в хаотичное нагромождение старых кирпичей. Безликие казармы и аварийные сарайчики соседствовали с некогда величественными постройками, приспособленными где под жилье, где под тюремные помещения, где под солдатскую каптерку, где под склады, и вопрос о полном сносе бывшего Крутицкого подворья стоял еще в XIX веке. Нужны были длительное изучение всего комплекса, научное проектирование, сложная и трудоемкая реставрация.

О Крутицах Петр Дмитриевич может говорить бесконечно.

— Начали со «Святых ворот» еще в 1948 году. Их надстроил в 1693 году зодчий Ларион Ковалев и покрыл замечательным декором. Одновременно возвел Переход — самое эффектное архитектурное сооружение Руси этого типа. Ворота с тех пор дали крен, и пришлось подводить на пятиметровую глубину новый фундамент. Заменили черепичную кровлю, восстановили старинные росписи. Следующим был Успенский собор, нуждавшийся в тщательном изучении и подлинно научной реставрации.. Меня всю жизнь преследовало дьявольское противоречие, связанное с нашим делом,— нельзя медлить, чтобы памятник не погиб, и нельзя спешить, чтоб его не испортить...

Ныне под руководством П. Д. Барановского уже полностью отреставрирован Успенский собор, Переход, Набережные и Митрополичьи палаты. Наступил черед Приказных палат и Воскресенской церкви. Решением правительства Крутицкое подворье предназначено для музейного использования, и в залах Успенского собора Петр Дмитриевич мечтает разместить московский музей «Слово о полку Игореве»...

— А вот это — совсем необычное, единственное!

Мы подходим к высокому квадратному столбу, стоящему поблизости от юго-западного угла Митрополичьих палат, но отдельно.

— Сторона квадрата,— поясняет Петр Дмитриевич,— метр двадцать, и мы, помню, в недоумении ходили вокруг этого загадочного столба. Зачем он? Нигде я такого не встречал! Потом обратил внимание на то, что с вершины столба открывается обширный небесный простор, а из центра верхней площадки идет в глубь сооружения круглый желоб. Зачем? Только для какого-то инструмента! И я пришел к выводу, что здесь была первая в России астрономическая обсерватория, соединенная переходом с палатами. Специалисты из планетария согласились с этим предположением. В желобе могла помещаться опора трекветрума или телескопа.

— А разве тогда на Руси уже были телескопы?

— Еще в начале XVII века для первого царя из Романовых, Михаила Федоровича, была куплена у какого-то московского купца «трубочка, что далнее, а в нее смотря, видитца близко». Так что Епифаний Славинецкий, митрополит Павел или кто-то из их современников, обитателей Крутиц, вполне могли наблюдать отсюда звездное небо.

Авторский надзор и все, что он делает в Крутицах последние годы,— бескорыстная, неоплачиваемая работа; кроме пенсии, ему сейчас ничего не нужно — лишь бы шло, как надо, дело его жизни.

Он до сего дня помнит многие подробности этого дела, и рукопожатие его по-прежнему крепкое и жесткое. Как ему удалось сохранить эту жажду деятельности и совсем не старческую энергию, в чем секрет его трудового долголетия?

— Никаких секретов, знаете ли. Я никогда не курил и не пил, мало спал, умеренно питался, иногда сырой крупой...

— Как это?

— Заработаемся, бывало, без обеда, часов до десяти-одиннадцати — кирпич плывет в глазах. Смотрим — ничего нет, кроме пачки пшена. Рассыплем по ладоням и жуем... Сырой крупой,— повторяет он и улыбается своей совсем детской улыбкой.— А иногда святым духом... Имею в виду тот душевный запал, который необходим для всякого большого дела. Мне нужны были, так сказать, лишние года. И я всегда хотел раздвоиться, раздесятериться, чтоб успеть побольше сделать.

— Немало сделано...

— Мало! — голос его становится резким.— Сколько драгоценных памятников на глазах пропадает! Не перевелись еще люди, считающие их не культурным, а культовым, религиозным наследием. Реставраторы распыляют средства, многое делается наспех и безграмотно. А новые непоправимые беды? От загрязнения, изменения состава атмосферы безвозвратно гибнут древние фрески, спасти их нельзя! Я прожил свое, но не отказался бы еще от одной жизни, чтобы как следует поработать — учиться этому уже б не пришлось.

Орбели, Щусев, Грабарь, Жолтовский, братья Веснины, Сергей Коненков, Павел Корин, Леонид Леонов, все, кто когда-либо об-

щался с П. Д. Барановским, испытывали глубокое уважение к его знаниям, опыту, подвижническому труду Академик И Э Грабарь писал в 1947 году: «...Архитектор-археолог, обладающий долгим опытом, изучивший кладку разных эпох и наделенный архитектурной интуицией, всегда найдет на месте нового окна, пробитого и растесанного в недавнее время, точные следы древнего окна, скрытые под штукатуркой, и сумеет математически точно его восстановить. Таким архитектором-эрудитом является у нас П Д. Барановский... Им разработана и вся реставрационная методика, ее теория и практика, вытекающие из открытых им законов древнерусского зодчества... Советская реставрация, высоко оцениваемая ныне всем миром, чрезвычайно обогатила советскую и мировую науку, расширив исследовательские горизонты и дав человечеству сотни новооткрытых памятников культуры неувядающего значения».

14 февраля 1982 года Петру Дмитриевичу Барановскому исполнилось 90 лет.

Его ученики и сотрудники долго и тщательно готовились к этому дню, артисты Большого театра согласились дать бесплатный концерт, художники и скульпторы принесли свои творческие подарки. Чествование состоялось под открытым небом, на белом снегу, меж бывшими больничными палатами бывшего Новодевичьего монастыря, где живет архитектор, и белым Смоленским собором Он вышел на крыльцо, белый, как этот собор, как этот снег сказал несколько простых и весомых слов.

Через десять дней в Знаменском соборе состоялась небольшая научная конференция, посвященная юбиляру. Собрались те, кто его знал, работал с ним, кто ездил с ним в экспедиции, помогал ему, дружил и конфликтовал с ним, и я прослушиваю магнитную ленту с их выступлениями. Конфликты нередко возникали оттого, что Петр Дмитриевич всегда был прям и определенен в оценках людей, судил их по делам, свято относился к своему долгу, и было трудно выдерживать его напор, связанный с необходимостью неотложных мер по защите очередного памятника. Еще труднее было памятники спасать, однако он в течение семидесяти лет выступал, спасая их, везде, где мог, убеждал, переубеждал, разубеждал, иногда рисковал в словах и поступках, совсем не жалея себя ради дела, говорил ученикам: «Слова — это вода, сотрясение воздуха. Нужно дело, дело и еще раз дело».

Одно слово или фраза, взгляд или поступок, манера держаться и даже одежда могут многое сказать о человеке, и выступавшие на конференции рассказывали о личности Барановского, поведали о некоторых характерных случаях, свидетелями которых были. Смолоду его помнят серьезным, деятельным, неулыбчивым, строговатым. Он не умел болтать о пустом. Людей словами не обижал, винил обстоятельства. Лекций не читал, учил делом. У него были прекрасные отношения со своими многолетними коллегами — Д. П. Суховым, Н. Н. Померанцевым, замечательными каменщиками братьями Новиковыми. Избегал рекламы, даже пря-

тался от репортеров, будучи уверенным, что они что-нибудь да напутают. Одевался скромно, просто, однако галстук был обязателен. Презирал опасности, связанные с высотой. Говорил, что наверху суеты меньше и ветер комара отгоняет. Однажды, чтоб «не терять времени» — не спускаться вниз и не взбираться на соседнюю башню,— перекинул доску-сороковку над страшенной пустотой и перешел, как по половице. В одной из северных экспедиций под ним рухнуло гнилое перекрытие, он летел метров десять и сильно расшибся. Накидали в лодку сена, сплавили к ближайшему селу, где он отлеживался неделю, а потом, вместо того чтоб ехать в Москву долечиваться, настоял на продолжении экспедиции. Разгадывая памятник, опирался на свои знания археологии, истории, материаловедения, строительного дела, истории религий, архитектуры всех времен и народов, изографии, иконописи, литературы, летописей, умел мысленно поставить себя на место человека той эпохи, войти в средневековое инобытие.

Коломенское. Знал в округе каждый камень и овражек. Проделал огромную собирательскую работу, эти фонды до сего дня полностью не разобраны. Под его руководством создан макет деревянного дворца царя Алексея Михайловича, идея его восстановления живет. Музей под открытым небом не осуществлен полностью... Новый Иерусалим своим спасением обязан его огромной архитектурной интуиции. Предположил, что версия «вся ротонда заново сделана Растрелли — Бланком» неверна, и позже это доказал. Иной молодой реставратор, чтобы найти старую архитектурную форму, все обдерет, а он укажет несколько точек для бурения и переносит на ватман древнюю кладку, будто видит ее сквозь камень... Зарядье. Решительно выступил за сохранение этого памятника. Английское подворье сидело, как ядро в скорлупе, обезображенное пристройками. Доказал, что внутри XVI век... Болдино. Две недели фашисты бурили стены и закладывали взрывчатку, все подняли в воздух. Часами сидел в райкоме, райисполкоме, обкоме, Всероссийском обществе — доказывал ценность памятника. И Дорогобуж, Смоленск, Москва сдались. Многотонные фрагменты взял на особый учет — нашел каждому свое место в проекте, ныне осуществляемом.

Крутицкое подворье. Глубокая исследовательская проработка. Борьба за перенос красной линии Волгоградского проспекта, сохранение окружающей исторической среды, освобождение памятника от арендаторов. Учил молодых брать на себя личную ответственность за судьбу Крутиц. Крутицы стали академией реставрационного дела... Следует работать не по регламентам и инструкциям, а по «клятве Барановского»!

Перебираю также письма-отклики на свой очерк «Зодчий», напечатанный 12 февраля 1982 года в еженедельнике «Литературная Россия».

Калужский архитектор А. С. Днепровский: «Человек этот поистине чудо великое. Я ведь немного «барановец» — работал у него главным архитектором мастерской в Крутицах в начале

70-х годов. Объем его трудов, знаний и масштабность личности достойны удивления. Дополню несколько слов о его «птичьем сердце». Иногда можно было подумать, что он даже кокетничает своим бесстрашием, если б мы не знали его органичной естественности в словах и поведении. Он любил, поднявшись на большую высоту по лесам, сесть на эти леса, опустить ноги в бездну, слегка болтать ими и, скупо жестикулируя, начать рассказ о памятнике. Коллеги, дрожа, цепляются за стены, а он всегда говорил неторопливо, медленно, обстоятельно, начав с Адама и Евы...

Вы немало перечислили его дел, но всегда все сказанное о нем будет неполно. В 1926 году он, как эмиссар от Главнауки, приехал в Калугу вместе со своим ровесником и сподвижником Николаем Николаевичем Померанцевым. Они обследовали Лаврентьев монастырь (XV в.), Лютиков (XVI в.), Николо-Добрый (XVII в.) и несколько других памятников этого ряда. Петр Дмитриевич успел даже отреставрировать окно в церкви-колокольне Лютикова монастыря, взорванного, как и все остальные, в 30-е годы. В Московский областной исторический музей (Истра) Петр Дмитриевич увез тогда прекрасные резные врата XV в из б. Шаровкина монастыря, что был под Перемышлем, и тем самым спас их для нашей культуры... И еще я вспоминаю, как мы в Крутицах праздновали его 80-летие под ростовские звоны, записанные Н. Н. Померанцевым».

Черниговский архитектор А. А. Карнабед: «Стоит и сияет в Чернигове Параскева Пятница — чудо архитектуры и чудо реставрации! А ведь добиться в те времена, когда город поднимался из руин, не только сохранения остатков памятника, но и изготовления на местном заводе десятков тысяч кирпичей, имитирующих древнюю плинфу, было настоящим подвигом. Слава о Параскеве Пятнице растет. Люди приезжают и прилетают в наш город только для того, чтобы посмотреть на нее. Кстати, Петр Дмитриевич вложил свой редчайший талант и великий труд в восстановление всех черниговских памятников. А создание нашего музея-заповедника по его проекту? Музей сейчас проводит огромную культурную работу. Чернигов оказался на магистральном туристическом большаке, и тысячи иностранцев знакомятся с древним русским зодчеством, в котором отразилось величие духа нашего народа».

Ленинградка В. Ларионова, письмо которой было опубликовано в «Литературной России» 26 марта 1982 года: «Какая удивительная жизнь! Это — созидатель, которому при жизни надо воздвигнуть памятник, хотя его работы — тоже памятники его неистощимой энергии. Его судьба — пример служения Отечеству не на словах, а на деле. Такому человеку хочется низко поклониться».

П. Д. Барановский, правда, не считает свою жизнь каким-то подвигом. Он никогда не афишировал своих заслуг, не умел тарабанить о своем попусту, не ждал никаких похвальных грамот, материальных поощрений или нагрудных знаков. Он просто беззаветно любил культуру прошлого, понимал ее значение для будущего и поэтому работал и работал. Человек этот воистину живет в своих

подвижнических трудах, в памяти современников, ему еще не раз поклонятся благодарные потомки. И этого предостаточно, особенно если вспомнить нравственные принципы средневековых русских зодчих, живописцев и литераторов, которые считали свои творения бескорыстной данью высшему, надчеловеческому, то есть нетленному искусству, и посему старательно скрывали авторство...

Среди великих анонимов нашего далекого прошлого особое, исключительное положение и место занимает, бесспорно, автор «Слова о полку Игореве», загадка коего занимает меня с юности, и пришла пора и нам, дорогой читатель, поискать ключики к этой тайне веков. Следующий отрезок нашего путешествия в прошлое будет самым продолжительным и трудным, потому что задача очень сложна. Ее безуспешно пытались решить несколько поколений исследователей, и нельзя обойтись без ссылок на них, без опоры на старые, новые и новейшие специальные работы, без предположений и гипотез, без анализа некоторых важных мест поэмы, без привлечения исторического, литературоведческого, мифологического, географического, диалектологического, природоведческого, искусствоведческого материала, представляющего собой сегодня целую науку, которую можно бы назвать «Слово»ведением.

41

Вы не забыли, дорогой читатель, моих воспоминаний о том, как в послевоенном разрушенном Чернигове я впервые прочел «Слово о полку Игореве»? Поэма заворожила меня раз и навсегда, завлекла своими бездонными глубинами, а моя заветная коллекция началась с довоенного выпуска «Слова» под редакцией академика А. С. Орлова. Эта книжка так и стоит первой на полке. Вот уже скоро сорок лет, как к ней присосеживаются старые и новые издания великой русской поэмы, книги и статьи, газетные и журнальные вырезки, письма ученых и любителей.

Покупаю новинки и антиквариат, какой встречу, выменниваю дубли, с благодарностью принимаю подарки от авторов, выпрашиваю иногда чуть ли не на коленях и не дошел еще разве только до воровства и сквалыжного зажиливания. Расскажу о некоторых книжках из этого моего довольно все же скромного собрания

Люблю дореволюционное издание «Слова» из серии «Всеобщая библиотека». В этой малоформатной тоненькой брошюрке восемьдесят две странички, вместившие предисловие, статью об истории открытия и первой публикации поэмы, подлинный ее текст, прозаический перевод, поэтическое переложение В. А. Жуковского, отрывки из переводов Л. А. Мея, А. Н. Майкова, И. И. Козлова, Н. В. Гербеля, обзор критической литературы о «Слове», научное описание похода князя Игоря историка С. М. Соловьева и краткое изложение содержания поэмы, принадлежащее перу Н. М. Карамзина. Удивительно емкое, предельно простое, дешевое и... драгоценнейшее издание! Дело в том, что оно было общедоступным, *шло в народ*, потому что стоило всего 10 копеек. Для сравнения относительного определения реальной стоимости гривенника в книжной торговле тех лет снимаю с полки компактный и плотный справочный томик 1906 года издания — «Флора Европейской России», 4 рубля 50 копеек. В сорок пять раз дороже!

Интересны своим обширным комментарием «Примечания на «Слово о полку Игореве» московского издания 1846 года. Вначале я предположил, что под инициалами «Н. Г.» скрыл свое имя, ну, конечно же не Николай Васильевич Гоголь, выпустивший в том году «Выбранные места из переписки с друзьями» и у которого нет документальных подтверждений, что он когда-либо интересовался «Словом», а другой воспитанник того же Нежинского лицея, и тоже Николай Васильевич, только Гербель, в прошлом известный русский издатель иностранной классики (Байрон, Гете, Гофман, Шекспир, Шиллер), множества славянских и западноевропейских поэтических антологий, поэт и переводчик, большой любитель «Слова» и автор его стихотворного перевода. Однако позже узнал, что это Н. Головин...

Как-то позвонил мне бывший кедроградец Виталий Парфенов, собравший приличную библиотеку книг о лесах, и срывающимся голосом сказал, что в витрине одного букинистического магазина лежит первое издание «Слова о полку Игореве».

— Не может этого быть,— спокойно сказал я, зная, что в стране выявлено всего шестьдесят семь экземпляров первого издания «Слова» и все они взяты на учет. Правда, вскоре после этого звонка мне посчастливилось познакомиться в домашней библиотеке поэта, художника и скульптора Виктора Гончарова еще с одним, шестьдесят восьмым, содержащим на полях чьи-то интересные старинные пометы. Причем этот экземпляр вскоре тоже был подробно описан в научной статье. Вспоминаю и разговор с известным критиком, который сказал мне как-то, что один

его знакомый имеет первое издание «Слова», не учтенное наукой, и готов обменять его на новую дубленку. Меня передернуло от омерзения...

— Слушай! — кричал в трубку кедроградский друг.— Кажется, подлинник! Правда, обложки нет. Формат старинный. Серая, чуть пожелтевшая бумага титула. Название с ятями и ерами я списал. Прочесть? «Историческая песнь о походе на половцов удельнаго князя Новагорода-Северскаго Игоря Святославича, писанная старинным русским языком на исходе XII столетия с переложением на употребляемое ныне наречие». Выходные данные: Москва, в Сенатской типографии, 1800 год издания...

Конечно, приятель ошибся — букинисты все-таки знают, что можно и что нельзя выставлять для продажи частным покупателям. Но книжку ту я купил и дорожу ею не меньше, чем если бы это было первое издание великой поэмы. Почему? Представьте себе — Москва, 1920 год. Еще идет гражданская война и не все интервенты выбиты с территории зародившегося народного государства, первого в социальной истории человечества; голод, холод, повсеместная разруха, беспризорщина, нехватка самого необходимого. И вот издатели М. и С. Сабашниковы, чьи великие заслуги в деле отечественного просвещения общеизвестны, выпускают факсимильное издание «Слова о полку Игореве» в скромнейшем оформлении, всего с несколькими, как в первом издании, клишированными заставками. Даже и тогда, когда не хватало бумаги даже для плакатов и кремлевских учреждений, была, оказывается, нужна эта древняя песнь! Из выходных данных: «Печать и клише исполнены в картографическом Отделе Корпуса Военных Топографов», «Издание зарегистрировано и цена утверждена Отделом печати М.С.Р. и К.Д.», то есть Отделом печати Московского Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов. Красноречивая печать истории!

Рядом с этим изданием, ставшим большой редкостью, другая редкость на такой же дешевой пожелтевшей бумаге. Это «Перевод «Слова о полку Игореве» по рукописи XVIII века» — научный доклад Л. К. Ильинского 1917 года, изданный в 1920 году петроградской Военной типографией. Рукопись этого перевода, сделанного неизвестным автором *до* первого печатного издания, была найдена в домашнем архиве князей Белосельских-Белозерских, а книжка интересна сличением текста находки с екатерининской копией, переводом Малиновского и рукописью Публичной библиотеки.

Раскрываю детгизовское издание 1937 года, без оформления, совсем ветхое, наверное, уже списанное из школьной библиотеки. В книгу вложено письмо юных книголюбов Кочкуровской средней школы из Мордовии, видимо прослышавших о моем интересе. Трогательный детский почерк: «Вы даже представить себе не сможете, какую бы мы испытали радость, если б помогли Вам своим подарком в том, над чем Вы работаете». Спасибо, друзья! Ценю ваш подарок выше, чем иные роскошные издания.

Воображаю, сколько ребят коснулось своими ручонками уголков этих страничек...

К сожалению, нет у меня первого военного издания «Слова» с пометой «бесплатно», которое выдавалось политрукам, командирам и бойцам перед уходом на фронт вместе с оружием, зато есть «Слово о полку Игореве» в переводе В. И. Стеллецкого, напечатанное в сборнике «Героическая поэзия древней Руси», составленном в *блокадном* Ленинграде, и огромного формата «Slovo o pluku Jgorově» — красивое пражское издание 1946 года со скорбным ликом Ярославны на суперобложке и красной строкой на титуле: Věnováno Rudé Armádě Osvoboditelce, то есть «Посвящается Красной Армии — освободительнице». Среди московских и ленинградских изданий — любовно исполненный киевскими полиграфистами комплект 1977 года из двух книжечек; рисованный текст подлинника и поэтические переводы Н. Рыленкова на русский, М. Рыльского на украинский, Я. Купалы на белорусский. Стоят на полке и некоторые заграничные выпуски «Слова» — румынское, болгарское, несколько немецких, в том числе курьезное мюнхенское 1972 года с украинизированным текстом, воспроизведенным машинописным шрифтом, и обозначением «автора» — летописного Беловолода Просовича, принесшего в Чернигов весть о поражении Игоря, есть и английский перевод в издании нашего «Прогресса», но жаль, нет ни одного японского издания. Будучи однажды в Японии, я тщетно искал хотя бы одно из многочисленных этих изданий — все раскуплено! А очень интересно хотя бы посмотреть, как японские полиграфисты, слава о которых идет по белу свету, справились с делом.

Что же касается оформления наших изданий «Слова», то за полтора с лишним века одним из самых лучших, бесспорно, является книга Ростовского издательства (1971), где подлинный текст литературного памятника воспроизведен чудным рисованным шрифтом, а иллюстрациями можно не только восхищаться, но и размышлять над ними. Однако истинный полиграфический шедевр, который счел за честь принять в основную экспозицию нью-йоркский Метрополитен Музеум, крупнейшее художественное собрание США,— это «Слово о полку Игореве», выпущенное издательством «Современник» в 1975 году. Не только повторено знаменитое академическое издание 1934 года, которое, по совету великого книголюба А. М. Горького, проиллюстрировал художник-палешанин Иван Иванович Голиков, но и выпущено прекрасное приложение к нему — лучшие переводы поэмы.

В моей Словиане — множество русских переводов, начиная с первого и кончая самыми последними, однако любым переводам предпочитаю подлинник, в котором проступает не поэтическая индивидуальность, скажем, Аполлона Майкова или Николая Заболоцкого, а изначальная, первородная творческая сила и мастерство гениального Автора.

А однажды я, получив письмо от военнослужащего из Перми Святослава Святославовича Воинова, почувствовал родную собн-

рательскую душу: «Уважаемый В. А.! Я тоже люблю и собираю все, что связаио со «Словом о полку Игореве». С 1976 года мне удалось собрать более 550 книг, в том числе 88 разиых издаиий Кроме того, я собираю работы художников на тему «Слова», репродукции, открытки, газетные и журнальные вырезки, учебно-методические пособия, сочинения учащихся, авторефераты диссертаций, материалы выставок, значки, сувениры, памятные медали, либретто, театральиые афиши, программы, пригласительные билеты, грампластинки, магнитофоииые записи, нотиые материалы, диапозитивы, рецеизии, фотографии и биографии исследователей и переводчиков, письма, автографы, рукописи, то есть *любые* материалы, связанные со «Словом»... Мечтаю о создании Музея «Слова о полку Игореве» в родном моем Новгороде-Северском».

Хорошая затея! Одиако я, как и многие другие, думаю, что и Москве достойно было бы иметь долгожданную экспозицию, пропагандирующую столь щедрый вклад русского ума и талаита в сокровищницу мировой культуры.

«Написать новую работу о «Слове о полку Игореве» очень трудно. Трудно потому, что в десятках книг и многих сотнях научных статей рассмотреиы и изучены едва ли ие каждое слово, каждый образ, каждый термин знаменитого памятника древнерусской литературы» (О. Творогов). И все же никаким изучением даже каждого слова, образа и термииа нельзя достичь подлинного понимания поэмы — за пределами таких исследований останется иеимоверно многое, быть может, самое сокровеиное...

Немалое число литературоведов, историков, лингвистов, знатоков нашей старины, литераторов, любителей отечествениой истории и словесности, вчитываясь в «Слово о полку Игореве», изучая его эпоху и сопоставляя различиые точки зреиия, пытались открыть тайну авторства великой поэмы, занимающей особое, только ей принадлежащее место в литературе всех времеи и народов. Попытки эти были безуспешиыми, все предположения опровергались, и некоторые ученые пришли к выводу, что имя автора «Слова» мы никогда не узнаем. Это печальное умозаключеиие, однако, не может остановить новых попыток хотя бы потому, что каждая из них, основаниая на поиске дотошном, и даже опровержение каждой из них возбуждает новый иитерес к бесценному памятиику мировой культуры, способствуя — пусть даже в микрониых единицах измерения! — раскрытию его изумительных художествениых особенностей и бездонной глубины содержаиия, *приближает к истине.*

И вот я, не замахиваясь на «новую работу», решаюсь в своем поиске коснуться самой сокровенной тайиы «Слова», сразу оговорив, что мои догадки и предположения не претендуют на бесспорность. Чтобы не перегружать текста подробиыми ссылками иа печатные источники, я во многих случаях, цитируя, называю только автора и придерживаюсь строгой источииковедческой атрибутики лишь в особо важных местах. Сознательно выбираю основ-

ные доказательства, не углубляясь в нюансы, коим несть числа. Используя в этой системе доказательств высказывания исследователей, преимущественно, конечно, единомышленников, старался по мере сил воздерживаться от полемики. Выдержки из «Слова» и других старорусских источников даю — в зависимости от целей изложения — то в переводах, то в подлиннике, однако по техническим причинам точно воспроизвести средневековые тексты не всегда возможно. Курсив в цитатах везде принадлежит мне, кроме особо оговоренных случаев.

Попрошу читателя, особенно любителей «Слова» и знатоков-специалистов, повнимательней прочесть последующие главы да постараться найти в моей аргументации слабые, наиболее уязвимые места — с благодарностью приму как толковые критические замечания, так и возможные новые более или менее веские аргументы в пользу предлагаемой гипотезы.

Верно, нет на памяти человечества другого литературного произведения такого небольшого объема, которому было бы посвящено столько дискуссий, книг, статей, специальных научных работ — их уже больше тысячи, и кое-что в нем стало понятно, однако нераскрытые загадки и тайны его словно множатся! Полное семантическое богатство «Слова», например, будучи взято на учет современными электронными машинами, даст, наверное, ни с чем не сравнимое количество бит информации, заключенной в неполном издательском листе типографских знаков, и многое останется за семью печатями — для новых поколений исследователей и совершеннейших счетных машин.

К сожалению, мы лишены возможности рассматривать «Слово» в достаточно представительном литературном окружении. Пожары и небрежение, пришлые разорители русской земли, политические антагонисты и религиозные ревнители внутри страны сняли за века значительную часть мощного слоя средневековой нашей письменной культуры. Современные исследователи не в силах представить себе во всех подробностях сложнейшую политическую, идеологическую, дипломатическую, династическую, экономическую ситуацию конца XII века на Руси и в сопредельных землях — ведь разнотолки вызывают даже сравнительно недавние исторические события, особенно при незнании их подробностей. Никогда и никто не поставит себя на место автора тех времен с его мировоззрением, миропониманием и мировидением — слишком велика временна́я дистанция и наслоения минувших веков, а мы, принадлежа современности, несем в себе, главным образом, ее знания, представления и мораль. Автор «Слова», кроме того, был наделен чрезвычайными творческими способностями, и до его индивидуального духовного мира, сформировавшегося в тех условиях, нам никогда не подняться — мы можем лишь приблизительно судить об этом человеке, основываясь прежде всего на тексте поэмы.

«Слово» не имеет жанровых, стилистических, художественных аналогов в мировой письменной культуре, сотворено по оригиналь-

нейшим и неповторимым законам литературного творчества; сопоставить это произведение не с чем, а попытки его сравнения с «Песнью о Роланде», «Песнью о Нибелунгах» или, скажем, «Словом о погибели Рускыя земля» выглядят несколько искусственно.

Но если мы никогда не откроем имени автора «Слова», то никогда не поймем до конца ни того времени, ни его культуры, ни самой поэмы, ни многих тайн русской истории, ни некоторых аспектов человековедения, как называл Максим Горький литературу. Решаюсь выступить с аргументацией одной, несколько, правда, неожиданной гипотезы об авторе «Слова». Не отставивая, повторяю, конечный вывод категорически, попробую, опираясь на внимательных предшественников, свои доказательства и догадки, поочередно и последовательно ответить на вопросы: *где, кто, когда и при каких обстоятельствах мог* создать этот средневековый литературный шедевр.

Где? П. В. Владимиров, В. А. Келтуяла, А. И. Лященко, А. И. Рогов, Н. К. Гудзий, Б. А. Рыбаков, В. Ю. Франчук и другие считают автора слова киевлянином, А. С. Петрушевич, Н. Н. Зарубин, А К. Югов. А С Орлов и Л. В. Черепнин — галичанином, С. А. Андрианов и А. В. Соловьев — киевлянином черниговского происхождения. Д. С. Лихачев пишет, что он мог быть как черниговцем, так и киевлянином, а Е. В. Барсов, И. А. Новиков, А. И. Никифоров, М. Д. Приселков, В. И. Стеллецкий, С. П. Обиорский, М. Н. Тихомиров, В. Г. Федоров и другие, основываясь, главным образом, на очевидных пристрастиях автора к «Ольгову гнезду», доказывали, что это был черниговец и никто иной.

Для начала и в качестве одного из косвенных доказательств происхождения «Слова» мы должны хотя бы кратко рассмотреть, что собою представляло в конце XII века Чернигово-Северское княжество и его столица с точки зрения географии, экономики и культуры. Географическое положение Черниговского, вассального Новгород-Северского княжества и подвластных им земель вятичей было особым. Из этого района Руси, северо-восточные границы которого подходили к окрестностям Москвы, вели удобные речные пути — летом по воде и волокам, зимой по льду на Средний и Нижний Днепр, Дон, Северский Донец, Оку и Волгу. Во владении черниговско-северских князей находился днепровско-деснянский и окско-волжский водоразделы, верховья Дона, долгое время им принадлежала обширная Муромо-Рязанская земля, практически все Поочье. Через свой важный торговый город Любеч на Днепре северяне были связаны со Смоленской, Полоцкой и Новгородской землями, с Прибалтикой, а через Тмутараканское княжество на северокавказском побережье Черного моря, основанном на присоединенном к Черниговскому Мстиславом Храбрым в начале XI века — с Кавказом, Крымом, Византией, Средиземноморьем.

Сложными и противоречивыми были у северян отношения со степными кочевниками. С открытого на юго-восток беспокойного пограничья исходила главная внешняя опасность того времени.

Черниговские князья, как и другие, воевали и мирились со степняками, защищали свои владения от их грабительских набегов и сами затевали дальние походы в Землю Незнаемую, призывали вчерашних врагов к участию в сегодняшних междоусобицах, иногда брали в жены дочерей половецких князей.

О давних международных связях северян говорят, в частности, находки золотых византийских монет X века в Черной Могиле.

Есть сведения о деятельности при черниговском князе Святославе Давыдовиче (до 1106 г.) сирийца Петра, что был «лечец хитр вельми», «врачюа многы», а со времени князя Игоря английские источники сохранили имя некоего Исаака из Чернигова, быть может, оптового поставщика мехов, вернувшего вместе с другими должниками в государственную казну «по счету 77 шиллингов и 9 пенсов» (В. И. Матузова. Английские средневековые источники. М., 1979, с. 50.). Высшие церковные должности в Чернигове, как и в других религиозных центрах Руси, издревле занимали греки и в 1164 году, когда умер отец Игоря Святослав Ольгович, именно черниговский епископ-грек гнусно предал его жену и детей...

Обширность владений, отдаленность пограничий во все концы, международные связи княжества в какой-то мере определяют географическое, пространственное видение автора-северянина в «Слове», объясняют этническую пестроту племен и народностей, упомянутых в поэме,— от немцев, ятвязей и моравы до касогов, половцев и таинственной восточной хиновы. Во всяком случае, эти особенности «Слова» были бы менее объяснимы, если б мы предположили, что автором ее был, скажем, галичанин.

Устойчивое земледелие на обширных угодьях, труд городских ремесленников, данические доходы, добычливая охота в дебрянских и вятичских лесах, торговые пошлины, собственная торговля, успешные войны обеспечили экономическое процветание земли северян. О богатствах Ольговичей, накопленных ещё до рожденья князя Игоря, свидетельствуют летописные реляции большой грабительской междоусобной войны 1146 года. В одном только селе Мерликове враги забрали «300 кобыл и тысячу коней», по другим селам и городам Новгород-Северского удельного княжества разорили дома Игоря Ольговича с припасами: «в амбарах казенных и погребах вин, медов, меди, железа и протчего, что не могли всего князи на возы забрать, дали войску брать, кто чего хочет, в гумне сожгли 900 скирдов жит». В путивльском доме Святослава Ольговича, отца князя Игоря «...в погребах было 500 берковец меда, вина 80 корчаг. Церковь же княжу святого Вознесения, в ней же утварь княжу поимаша, двои сосуды сребряны, кадильницы 2, евангелие кованое серебром, одежды, шиты золотом, и колокола, и не оставиша княжа ничего, но все разделиша. Челяди же Святославли 700 разделиша и много воем раздаша».

Развитая по меркам тех времен экономика позволяла северянам иметь в Новгороде-Северском, Путивле, Курске, Рыльске, Трубчевске, Козельске, Вщиже и других удельных центрах воин-

ские дружины, в столице, кроме нее, постоянных наемников, содержать бояр, челядь, купечество, священнослужителей и прочие непроизводящие группы населения. Главный показатель развития и благоденствия того или иного края во все времена — наличие городских поселений, их количество и плотность. Так вот, ни Владимиро-Суздальское или Рязанское княжества, ни расположенные ближе других к густонаселенной Центральной Европе Галицкое или Волынское не имели столько городов, сколько их было в XII веке на Чернигово-Северской земле. Чтобы читатель наглядно представил себе многочисленность городского населения Черниговской земли на 1185 год, то есть ко времени похода князя Игоря на половцев, назову ее города в хронологическом порядке летописных упоминаний: Любеч, Чернигов, Листвен, Сновск, Курск, Новгород-Северский, Стародуб, Блове (Обловь), Вырь, Моривейск, Ормина, Гомий, Вщиж, Болдыж, Корачев, Севьско, Козельск, Путивль, Дедославль, Дебрянск, Лобыньск, Ростиславль, Колтеск, Кром, Домагощ, Мценск, Уненеж, Всеволож, Въяхань, Бахмач, Беловежа, Воробейна, Блестовит, Гурнчев, Березый, Ольгов, Глухов, Рыльск, Хоробор, Радощ, Воротинеск, Синин Мост, Ропеск, Оргощ, Зартый, Росуса, Чичерск, Свирельск, Лопасна, Трубецк (Большая Советская Энциклопедия. 2-е изд., т. 47, с. 162). *Пятьдесят городов!* И стояли еще Речица на Днепре, Сосница на Десне, неприступный островной Городец-на-Жиздре, ремесленный вятичский Серенск, Мосальск неподалеку, Глебль и Попаш на границе с Переяславской землей, портовое поселение Тмутаракань на Черном море, захваченное половцами, а на самом краю поля половецкого — Донец, куда держал путь князь Игорь, бежавший из плена летом 1185 года... По данным той же энциклопедии летописи зафиксировали на Руси конца XII века 206 городов, М. Н. Тихомиров прибавлял к ним еще восемнадцать; так что густота городских пунктов Чернигово-Северской земли представляется исключительной.

Причем за пределами внимания средневековых наших историков оказалось, очевидно, какое-то число чернигово-северских городов, в которых, как всюду на этой обширной и богатой земле, жили воины, охотники, купцы, кожемяки, шорники, бортники, горшечники, портные, салотопы, столяры, плотники, каменосечцы, ремесленники, делающие телеги, сани, лодки, кирпичи, веревки, гвозди, кольчуги, топоры, мечи... Жили в северских городах, в первую очередь в столице и удельных центрах, народные певцы и скоморохи, книгочеи и переписчики книг, гусляры, иконописцы и зодчие...

Одна из первых каменных церквей в Руси была построена в Тмутаракани князем черниговским и тмутараканским Мстиславом Храбрым по обету, данному им перед поединком с касожским князем Редедей — об этом поединке автор «Слова» не преминул напомнить в начальных строках поэмы. Мстислав же заложил в Чернигове величественный Спасо-Преображенский собор. По летописным известиям, ко времени его смерти в 1036 году стены этой самой древней из сохранившихся каменных построек Руси были

подняты «выше, нежелн на кони стоя рукою достать». Это свндетельство почтн тысячелетней давностн подтверднлось в нашн днн, когда прн реставрацин собора обнажилн древнюю кладку — выше прнмерно трех метров пошла плннфа другого цветового оттенка.

Главный столнчный собор, до сего дня поражающнй своей монументальностью н классическимн пропорцнямн, был, очевидно, достроен при Святославе Ярославиче н тогда же распнсан фресками. Это было чудо средиевековой русской живопнсн — о ней в какой-то мере можно суднть по едннственной сохраннвшейся до XX века фреске, нзображающей святую Феклу. Геннальная эта фреска по своему необычайному реалнзму непохожа на всю остальную средневековую настенную русскую жнвопись, н я сейчас мыслеино переношусь в Спас 50-х годов, когда получнл в подарок большую фотографню Феклы н решнл посмотреть ее на месте.

В кармане у меня лежал электрический фоиарнк со свежей батарейкой. В полутьме северного нефа подиял фотографию, прнложнл ее к полуколонне, поддержнвающей подпружную арку, н включил фонарнк.

Волоокий лнк Феклы, нсполненный непреходящей красоты н нежности, манил своей неразгаданной тайной. Подсвечнвая фотоизображеине фрескн так и этак, я случайио иашел точку, нз которой сильиый белый свет выбрасывался через линзу такнм образом, что яркий, четкнй круг полиостью совпадал с нимбом, вернее, с внутреннням его бледно-голубым окоемом. Расплывчатая желтнзна окружала кольцо, вниз, нсчезая в темноте, сбегалн пониокшне плечн Феклы, но лик-то, лик! Внезапио я похолодел, но жар тут же опалнл сердце. Лицо Феклы прнобрело почтн стереоскопнческую объемность, глаза ее жглн, а светотенн создали впечатлеине глубочайшего скрытного трагизма, таящегося в нежиых жеиских чертах. «Лице девичье огненно, огнь же есть божество»... И мне вдруг ясио представнлось, как восемьсот лет назад стоит перед фреской неведомый русич, прнстальио н, быть может, как я, холодея разглядывает это лнцо н в его душе зарождаются эпически простые слова, исполиеиные гражданской страстностн н бесконечной нежностн, трагического раскаяння н душевной мукн... До сего дня верю своему воображенню — автор «Слова о полку Игореве» *должен был* знать эту фреску!

Цветиые живопнсные копни с этой бесцеиной фрескн можно увндеть иыне в киевском Софийском соборе и Черинговском областном краеведческом музее, судьба же орнгннала таинственна н трагичиа. В 1924 году, чтоб уберечь от исчезновения подлнииик, выиулн его со штукатуркой нз подпружной аркн севериого нефа, закоисервнровали н положили на хранение в запасникн музея. Сейчас на этом месте неглубокая ннша н подпнсь: «Фреска погибла в годы войны 1941—1945 гг.». Когда, где, как? Достоверных данных о ее гибелн — свндетельств нлн акта — не существует, н хочется надеяться, что следы Феклы обнаружатся в запасннках, не разобраниых со времен эвакуации, нлн когда-ннбудь за рубежом — фашнстские грабителн

квалифнцированно вывознли с иашей родины самое ценное...

Разговор, как видите, незаметио перешел иа культуру Черингово-Северского княжества, н это тот предмет, о коем стоит поговорить особо.

Издревле сложилась на Черингово-Северской земле народиая и профессноиальиая поэтическая традиция. Приведу слова одиого из самых знающнх, ярких и вдумчивых советских нсследователей: «Те лнтературные ремиинсцеиции, которыми велнкнй поэт XII века начал «Слово о полку Игореве», свидетельствуют о мощной н древией поэтической традиции» (А. В. Арциховский. Русская дружина по археологическим данным.— Журн. Исторнк-марксист, 1939, № 1, с. 195).

Непроста, полна глубокого смысла творческая связь между «соловьем старого времеии», песиотворцем Бояиом и автором «Слова»! Этой теме посвящено иемало специальиых исследоваиий, ио мы отметим лншь, что Бояи упомииается в поэме *шесть* раз по имеии, а также посредством местоименнй «ои» и «того». Если исходить нз текста «Слова», то Бояи пел славу киязю тмутаракаискому и чериитовскому Мстиславу Храброму, киязю тмутаракаискому «Красиому Роману Святославличу», предположительио — Святославу Ярославичу чериитовскому. В Тмутаракани же оказался одиажды Всеслав полоцкий, о коем тоже сложил «припевку» Бояи, назваииый в поэме «смыслеиым» и «вещим», возможио, потому, что задолго до автора «Слова» провозглашал едииение Руси, и это было главиой идейной ветвью, связующей чериитовского «деда»-песиотворца с его чериитовским литературиым «виуком»... «Большииство учеиых сходятся в миеиии, что Боян был черниговского происхождеиия» (В. И. Стеллецкий. «Слово о полку Игореве». М., 1981, с. 22).

Особый пернод в культуриой жизии Чериигово-Северской земли — девятиадцатилетиее, с 1054 года, киижеиие умиого, деятельиого н образоваииого Святослава Ярославича. При нем был достроеи и расписаи Спас, осиоваи Елецкий моиастырь н пещериый Ильниский, связаииый с имеием одиого из самых заметных раинехристиаиских деятелей средиевековой Руси Аитоиия нз Любеча, откуда Святослав «поя Оитония к Чериигову, и возлюби Болдииы горы и, нскопав пещеру, ту ся всели». Позже Аитоиий осиовал Киево-Печерский моиастырь, и Святослав, будучи уже великим киязем киевским, старался приветить строгого и аскетичиого его игумеиа преподобиого Федосия — помогал моиастырской пастве, дарил земли для построек. В Чериигове же Святослав, вероятио, успел построить дворцовое здаиие иа Валу, фуидамеит которого обиаружеи совсем иедавио, возвел еще одио камеииое сооружеиие — ие то храм, ие то иовый княжеский терем, постояиио окружал себя киижииками, имел обшириую библиотеку. Е. В. Барсов писал, что Святослав *«тщательно наполнял книгами свои клети»* и являлся перед своими боярами *«аки новый Птоломей»*.

С имеием Святослава связывают замечательиые памятиики старой русской киижиой культуры — всемирио известные «Избор-

ники» 1073 и 1076 годов. Первый — «Собор от многих отец... вкратце сложен на память и на готов ответ» — представляет собой своего рода богословскую переводную энциклопедию, содержащую также статьи по философии, логике, грамматике, притчи и загадки. В этом сборнике сохранился прекрасный рисунок, изображающий все семейство князя с тщательно выписанными мельчайшими деталями княжеских одеяний в красках. Второй «Изборник» составлен из сочинений общеморального содержания: это «словеса душеполезна» — статьи о «четьи книг», «о женах злых и добрых» и «како человеку быти», «наказания», «вопросы и ответы», в нем кратко и выразительно сказано о пользе чтения: «Добро есть, братие, почитанье книжьное». На сборнике помета: «Кончашася книгы сия рукою грешнаго Иоанна. Избрано из многкниг Княжьих... в лето 7584, при Святославе князи Русьскы земля».

В первом же «Изборнике» особого нашего внимания заслуживает статья Георгия Хоровоска «Об образах». Имелись в виду не иконописные образы, а то, что мы и сегодня называем «образами» в литературоведении и критике. Своеобычный литературный учебник нашего средневековья знакомил читателя с природой художественности, спецификой искусства слова, системой тропов. «Творческих образов суть двадцать семь»... Первый из них — «инословие», то есть аллегорическое иносказание, и мы поражаемся, как умело пользовался автор «Слова» этим художественным приемом. Затем следовал «перевод», то есть метафора, а по красочной метафоричности, образности текста — «Слово» вне всяких сравнений. Среди художественных тропов не на последнем месте числилось и «лихоречье» — «речь лишенную истины возвышения ради», и мы позже вспомним именно «лихоречье», чтоб несколько приблизиться к отгадке авторства бессмертной поэмы. «Изборники» Святослава через девятьсот лет дошли до наших дней, автор же «Слова», для которого в художественном творчестве, кажется, не было тайн, бесспорно, мог изучать эти книги через сто лет после их выхода в свет, отдельные статьи из них в переводе или даже оригинале...

Святослав, вероятно, тоже владел иностранными языками, как и его младший брат Всеволод, который, по словам Владимира Мономаха, «дома сидя, изумяше 5 языков». Занявший черниговский стол в сорокасемилетнем возрасте, Всеволод Ярославич имел, очевидно, и в этом городе возможность совершенствоваться в знании языков — были у него, конечно, и книги на этих языках, и, возможно, собеседники.

Давать княжичам высокое по тем временам образование, достойное воспитание и воинскую выучку было непреложным правилом русского средневековья. Бесчисленные комментарии к «Слову», в которых неизменно осуждается дед Игоря Олег Святославич, рисуют образ неудачливого, вероломного, недалекого и невежественного князя, не понимающего насущных политических проблем Русской земли и думающего только о том, как бы навести

орды половцев на своих соотечественников. Но вот что пишет о его воспитании один из крупнейших знатоков того времени: «Как мог воспитываться молодой княжич Олег при отце в Чернигове и Киеве? Вероятно, по древнему обычаю, его в три года посадили на коня, в семь лет, как было принято, начали учить грамоте, а отроком двенадцати лет, тоже согласно установившемуся обычаю, отец должен был взять его в поход. О войнах и битвах, о заговорах и клятвопреступлениях Олег мог узнать и по былинам своего времени, и по «замышлению Бояна»... Олег мог читать и летопись, и византийскую хронику Георгия Амартола, уже переведенную к тому времени на русский язык. Один из крупнейших летописцев того времени — Никон, основатель монастыря в Тмутаракани, был близок к князю Святославу. В распоряжении Олега была отцовская библиотека, в составе которой находились два энциклопедических Изборника — уже знакомый нам Изборник 1073 г. и другой, составленный «из многих книг княжих» в 1076 г. Последний Изборник весь проникнут духом тех социальных конфликтов, которыми была полна русская действительность 60—70-х годов XI в.» (Б. А. Рыбаков. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. М., 1982, с. 445). И далее: «Четыре года провел Олег «Гориславич» в Византии. Из них два года он прожил на большом и богатом острове Родосе, близ Малоазийского побережья. Молодой князь женился в изгнании на знатной гречанке Феофании Музалон...» Наверняка за эти годы Олег изучил греческий, если не знал его раньше, и приобщился к историческому, философскому и литературному наследию античности.

Княжил в Чернигове и Владимир Мономах — один из крупнейших государственных деятелей Руси, неплохой писатель, от которого в единственном экземпляре, как и «Слово о полку Игореве», дошло до нас примечательное литературное произведение «Поучение чадом». Основной мемуарный материал «Поучения» посвящен именно черниговскому периоду жизни автора, занимавшему этот стол шестнадцать лет, с двадцатипятилетнего возраста. Несомненно, что нравственные концепции и политические взгляды Мономаха окончательно сформировались именно в Чернигове, что местная культурная среда повлияла на автора-князя, а литературную форму для своего «Поучения» он нашел в «Изборнике» Святослава, содержащем, в частности, «Поучение к своим сыновьям» Ксенофонта и «Поучение к своему сыну» Феодоры. И есть, на мой взгляд, между «Поучением чадом» и «Словом о полку Игореве» деликатная, сложная, тонкая, особого рода и особой важности связь, о коей речь впереди...

Сын Святослава Ярославича Давыд, умерший в 1123 году, княжил в Чернигове четверть века. «Слово о князьях», написанное в Чернигове в 1174 году, было своеобразным литературным откликом на бесконечные междоусобицы, династические и земельные притязания разветвившихся семейств потомков Ярослава Мудрого. На примере Давыда Святославича автор «Слова о

князьях» восхваляет справедливое правление «старшего брата» и упрекает младших за то, что они не желают стерпеть даже малой обиды от старших, отказываются от вассальных обязанностей, готовы по любому поводу начать «смертоносную» войну и даже призывают на «братию» половцев. Неизвестный автор этого небольшого, но емкого и тематически важного произведения исторически обобщенно, на основе религиозных и нравственных принципов выступил против феодальных распрей перед лицом половецкой опасности и стал идейным предшественником автора «Слова о полку Игореве».

Знатным книгочеем был сын Давыда Святослав. Он владел какими-то землями в Чернигово-Северском княжестве, но еще молодым, в 1106 году, под влиянием, очевидно, богословских книг, свершил беспрецедентный для князя поступок — постригся в молодом возрасте и прожил еще около тридцати лет под монашеским именем Николы Святоши. Образованным, любознательным, много повидавшим, литературно одаренным человеком того времени был черниговский игумен Даниил, совершивший в самом начале XII века паломничество в Святую землю. Через Константинополь он прошел в Яффу, Иерусалим, побывал на Иордане, Тивериадском озере и Мертвом море, был в Акре, Бейруте, Иерихоне и других местах Ближнего Востока, оставив замечательное описание своего двухгодичного путешествия. По некоторым данным он добрался даже до Сицилии. Происходил Даниил, несомненно, из Чернигово-Северского княжества, потому что в своих записках шесть раз вспоминает речку Сновь, текущую из района Стародуба к Десне, а для поминовений записал в иерусалимской лавре св. Саввы имена некоторых русских князей, в том числе и сидевших в разные годы на черниговском столе. Показательно, однако, что Даниил, называвший себя «Русьскыя земли игуменом», с разрешения короля крестоносцев Болдуина поставил на «гробе господнем» «кандило», то есть лампаду не от какой-то одной области, а «от всей Русской земли», как единого государственно-политического целого, а мы знаем, что образом Русской земли полнится идейный смысл «Слова о полку Игореве».

Начитанность и образованность были прежде всего, конечно, достоянием правящей верхушки княжества, что соответствовало повсеместным традициям, достаткам Святославичей-Давыдовичей-Ольговичей, значению этого княжества в Русской земле, и даже трудно вообразить на черниговском столе XII века неграмотного человека, ведущего сложнейшие политические и дипломатические дела. Это касалось и второстепенных князей. Известно, например, что Игорь Ольгович, дядя князя Игоря Святославича, убитый киевлянами в 1147 году, не являлся ни богатым землевладельцем, ни выдающимся политическим деятелем, но был большой «любитель книг и церковного пения» (Б. А. Рыбаков).

Многочисленные потомки Рюрика из поколения в поколения тянулись к Чернигову не только как к «отчему столу» и последней политической ступеньке к великокняжескому столу киевскому,

но и как к идейному и культурному центру. Черннговское княжество в XII веке не раз становилось прнстанищем знатиых изгоев. Незадолго до похода Игоря жил при его Новгород-Северском дворе Владимир галицкнй. Как указывает Б. А. Рыбаков, в 1173—1174 годах Святослав Всеволодович прнютил в Чернигове изгнанных из своих городов братьев Андрея Боголюбского «...Миханла и Всеволода с их женамн и детьми. Здесь же гостила в 1173 г. н сестра Андрея Ольга Юрьевна с сыном, бежавшая от мужа из Галича» (Б. А. Рыбаков. Русскне летописцы н автор «Слова о полку Игореве». М., 1972, с. 129). Михалко Юрьевнч, кстатн, был образованным, начнтанным человеком, любопытный словесный его портрет набросал по летопнсным нсточникам В. Н. Татищев: «ростом был мал н сух; брада узка н долга, власы долгне и кудрявы; нос загнут. Вельмн изучен был пнсанию. С Грекн и Латнны говорнл нх языки, яко русским». Б. А. Рыбаков доказывает также, что после убнйства Андрея Боголюбского жил в Черннгове его верный слуга Кузьмнще Княннн, именно здесь создавшнй трагнческую летописную повесть об этом преступленин.

Время не сохраннло черннговскнх летописей, однако наука не сомневается, что они былн,— в общерусскнх сводах отыскиваются многочнсленные и явные нх следы, а ведь летописаиие возннкает только на основе богатой исторнческой, пнсьменной н общекультурной траднцнн. Заглядывая в XIII век, отметнм, что в Черннгове получнла воспнтанне н образование одна из самых просвещенных женщнн русского средневековья по именн Мария. Дочь Мнхаила черннговского, казненного в Орде в 1246 году, была замужем за Васнльком ростовскнм, замученным ордой в Шнренском лесу 4 марта 1238 года. По свндетельству старнных жнтнй, она знала н Арнстотеля, н Гомера, и это ей прннадлежнт честь возрождения русского летопнсання в Ростове после кровавого смерча, пронесшегося по земле нашнх предков в 1237—1240 годах...

«Такнм образом, Черннгов — город промышленный н богатый — в XII веке был вместе с тем центром тогдашней образованности» (Е. В. Барсов. «Слово о полку Игореве» как художественный памятннк кневской дружнннной Руси. М., 1887. Т. 1, с. 276).

В Западной Европе тех времен было не очень много городов, стоявшнх вровень с Черннговом по культуре, экономнческому развнтню, размаху градостронтельства. Чтобы добротно н быстро возвестн вместнтельный и вндный храм, городу надо было нметь немалые свободные средства, квалнфнцнрованные кадры, говоря по-современному, архнтекторов, художннков, геологов, технологов, транспортников, прорабов, рабочих разнообразных специальностей, н, кроме всего прочего, должна была существовать потребность в таком стронтельстве, то есть достаточное количество населення, прихожан. Очевндно, в Парнже тех времен было немало культовых сооружений, но каменными числятся только две

церкви. Что же касается собора Парижской богоматери, кафедрального храма французской столицы, то он был заложен в 1163 году. Его алтарь освятили в 1182-м, а на все строительство ушло почти сто лет — оно завершилось лишь в 1250 году. К моменту освящения алтаря недостроенного собора Парижской богоматери в Чернигове уже стояли каменные княжеские терема и *три* собора — грандиозный Спасо-Преображенский, заложенный в 1031 году Мстиславом Храбрым, Борисоглебский, освященный при Давыде Святославиче в 1123 году, с его исполненным благородной простоты обликом, аркадой-галереей, изящными резными каменными капителями «звериного» стиля, а в середине XII века поднялся великолепный Успенский собор Елецкого монастыря. Примерно в это же время черниговцы построили единственную сохранившуюся на Руси *бесстолпную* Ильинскую церковь, к 1174 году над Стрижнем была возведена церковь св. Михаила, к 1186-му — изумительно украшенная Благовещенская. В плане она напоминала древнейшую киевскую Десятинную церковь, имела мощные пилястры и богатые фрески. Академик Б. А. Рыбаков, раскопавший ее остатки, обнаружил на полу центрального нефа уникального мозаичного павлина. Многочисленные архитектурные фрагменты и украшения позволили ученому сделать вывод о том, что «перед нами не обычный рядовой храм, увеличивающий еще на одну единицу список древних русских зданий, а высокохудожественное произведение, созданное зодчим-новатором, вписавшим новую страницу в историю русской архитектуры, внесшим ряд новшеств в свою черниговскую постройку». А в конце XII — начале XIII века явилась на черниговском Торгу Параскева Пятница — истинное архитектурное чудо не только того времени, но и всего истекшего тысячелетия русского каменного зодчества. Об этой бесподобной постройке, ее трагической и счастливой судьбе мы уже говорили, но еще раз вспомним позже, к месту, в связи с главной загадкой «Слова», художественное совершенство которого нельзя объяснить случайностью или только исключительным дарованием автора — оно было порождено высокой общей культурой Чернигово-Северской земли.

Чернигов — единственный наш город, в котором доныне сохранилось *пять* домонгольских памятников русского зодчества, два монастырских архитектурных ансамбля, подземный храм и система пещер в Болдиных горах. Специалисты говорят не только о *черниговской школе зодчества,* но и о несомненном ее влиянии на общее развитие средневековой русской архитектуры. Академик И. Э. Грабарь писал, что древние храмы Чернигова послужили тем зерном, из которого получили свое развитие владимиро-суздальские соборы (И. Э. Грабарь. История искусств. М., 1909. Т. 1, с. 160). «Весьма заметным оказался диапазон художественного влияния черниговской архитектуры. Об этом свидетельствуют храмы Вщижа, Путивля, Новгорода-Северского, Рязани, Овруча» (Советское источниковедение Киевской Руси. Л., 1979, с. 223). Добавлю, что существует немало стран с тысячелетней госу-

дарствениостью н культурой, ие сумевших, одиако, выработать национальных стилей в зодчестве...

Архитектура — наиболее очевидиое, зрнмое и предметиое выраженне творческого геиия народа, «людиое дело», как назвал его одии средневековой автор. Безымянные черниговскне зодчне, живопнсцы, скульпторы, резчики, литейщики, камеищики, камеиосечцы, кузнецы, лепщики создавали камениую летопись времеи давно прошедшнх. «Пусть же она, хоть отрывками, является среди иаших городов в таком виде, в каком она была прн отжнвшем уже иароде, чтобы при взгляде на нее осенила нас мысль о миившей его жизнн и погрузила бы нас в его быт, в его привычки н степеиь понимання, и вызвала бы у нас благодарность за его существование, бывшее ступенью нашего собственного возвышения». Эти слова Гоголя можио с полным правом отнести и к литературе, среди велнких памятинков которой, возвышая нас, благодарных, возвышается иаше «Слово о полку Игореве», явившееся мнру в XII веке на Чернигово-Северской земле и вот уже более полутора столетнй манящее исследователей разиых страи своими тайиами.

Прежде чем перейти к иекоторым из этих тайи, раскрытие которых, возможио, приблизит нас к тайне авторства «Слова», мы должны поискать в поэме *конкретные* признаки, подтверждающие ее рождение на Чериигово-Северской земле, культура которой стала благодатной почвой для этого «благоуханного цветка поэзии»; шедевры ие возникают иа пустом месте! Только серебряиая чекаиь иа турьих рогах, иайдеиных в чериговской Черной Могиле, отразила в такой коицеитрации и с такой художественной силой языческие представлення, только на резных белокаменных капителях чернниговского Борисоглебского собора сохранилась сложиейшая символика дохристнаиских верований, в частностн, изображения пардусов как атрибутики власти местных князей, в земле нмеино этого города был найдеи в петровскне времена огромный серебряный идол. «Художественная школа Черннгова обладала ярко выраженным своеобразнем, проявившимся в широком использоваини славянских, во многом языческих мотнвов, призванных в иносказательной форме передавать важиейшие политические понятия своего времени. Все это сближает «Слово о полку Игореве» с искусством Чернигова и позволяет говорнть с достаточиым основаннем об общей почве, формировавшей мнровоззрение и художественные идеалы певца Игорева похода и творцов черниговской художествеииой культуры. Особенно сближает их подчеркнутое вннмание к народным, фольклорным средствам художествеиной выразительности, отсутствие церковнохрнстианской символикн». (Е. В. Воробьева. Художественная культура древиего Черннгова и автор «Слова о полку Игореве».– В. ки.: Актуальные проблемы «Слова о полку Игореве». Сумы, 1983, с. 35).

Е. В. Барсов писал в 1887 году: «Нельзя не заметить, что «Слово о полку Игореве» глубокими корнями связано с историей Черниговского княжества». И это воистину так!

История княжества, мимо которой не могла пройти тогдашняя литература, стала предметом внимания двух великих его поэтов — Бояна и автора «Слова». Обобщив обширный исторический материал, М. Н. Тихомиров писал: «Произведение Бояна, насколько о нем позволяет судить «Слово о полку Игореве», несомненно, было произведением черниговского автора. В этом нас убеждает подбор исторических известий, которые, как мы видели выше, были связаны с Черниговом и черниговскими князьями. Эта черниговская ориентация Бояна ясно сквозит в его сочувствии к Олегу Святославичу — храброму и молодому князю и к его брату красавцу Роману. «Ольгово хороброе гнездо» стоит в поле внимания автора «Слова о полку Игореве». Оба произведения, отделенные одно от другого целым столетием, рассказывают «трудные повести» о храбрости и неудачах черниговских князей, их изгнании и счастливом возвращении на отцовский престол» (М. Н. Тихомиров. Боян и Троянова земля.— В кн.: «Слово о полку Игореве». М.— Л., 1950, с. 180).

«Слово» прочно прикрепляется к этому княжеству также топонимическими признаками — в поэме названы Новгород-Северский, Курск, четырежды Чернигов, четырежды Путивль, в разных лексических вариантах свидетельствуя не только о хорошем *знании* автором именно этого района Русской земли, но и о *любви* к нему, как к своей, быть может, родние. Галич же, скажем, не упомянут ни разу, и учитывая, что каждое княжество феодальной Руси тех лет преследовало прежде всего свои сепаратные интересы, только северянин мог с такой настойчивостью напоминать о Тмутаракани, завоеванной половцами, снова овладеть которой возмечтал князь Игорь.

Академик М. Н. Тихомиров: «Только реки Киевского и Черниговского княжеств — Донец, Днепр, Стугна, Сула — изображены в «Слове» с наибольшей картинностью». Ученый обращал особое внимание на слова автора о незначительной Стугне, что, «худу струю имея, пожръши чужи ручьи и стругы, рострена к усту» — это уже достигает «пределов реалистического изображения».

Недавно исследователи нашли в топонимике Чернигово-Северской земли немало соответствий лексике «Слова». В частности, до наших дней сохранились здесь такие местные названия, как лес Туре, село Тураниvка и Турья, реки Турья и Турьянка, болото Болония, заливной пойменный луг Оболония, пастбище Оболонь, село Оболония, река Немига, болото Немига и урочище Немига... «Нет сомнения в том, что автору «Слова о полку Игореве» были хорошо известны земли Чернигово-Северщины, их топонимия и язык северян. Все это отразилось в его произведении, свидетельствуя о сыновней любви певца похода Игоря к родной земле» (Е. А. Черепанова. Топонимия и диалектная лексика Чернигово-

Северщины в «Слове о полку Игореве».— В кн.: Актуальные проблемы «Слова о полку Игореве», с. 29—31).

Еще одна мелкая, но существенная деталь, иа которую обратил в свое время виимаиие К. Маркс,— автор «Слова» пишет о готских красных девах, поющих на берегу сииего моря после поражения Игоря. Осведомленный чернигово-северянин знал о существовании маленькой этнической группы готов-крымчаков, или, скорее, готов-тетракситов, живших иа побережье Таманского полуострова. Советский историк В. В. Мавродин: «...Готы-тетракситы жили и в Тмутаракани... очевидно, поход Игоря Святославича угрожал не только половцам, но и готам». Русское золото попадало к готам, вероятио, через половцев, н автор «Слова» напомнил о поражении половецкого хана Шарукана в 1106 году, союзником которого они, возможно, тогда были. Кстати, причерноморские готы упоминаются *только* в «Слове» и, как «гоффи», *только* в «Изборнике» Святослава 1073 года.

Эти и многие иные обстоятельства, о коих речь впереди, исключают из числа предполагавшихся авторов галичанина, киевлянина или полочанина, которые едва ли даже могли знать, например, черниговские отряды ковуев по их тюркским родоплеменным иазваниям — могутов, татранов, шельбиров, топчаков, ревугов и ольберов. Названия эти, как известно, зафиксированы лишь в «Слове», ни один другой письменный источиик средневековой Руси их не знает.

Итак, с Чернигово-Северской землей иеразрывно связаиы политические пристрастия автора, избирательность его исторнческой памяти, топонимнческие и этнографические подробности поэмы, вся литературная канва «Слова». О многом говорит одио лишь то, что тематическую и сюжетную основу произведения составляет поход иовгород-северского, путивльского, курско-трубчевского и рыльского удельных князей, а не, допустим, объедииеиный победоиосный поход против половцев великого князя киевского Святослава Всеволодовича, состоявшийся незадолго до полку Игорева.

И все-таки язык поэмы — это великое чудо старорусской словесности — главный свидетель ее происхождения! В последние годы обнаруживаются новые и иовые, все более веские, практически неопровержимые лексические доказательства, что автор его был чернигово-северцем. Одно из доказательств — обилие в поэме тюркизмов. Известно, что именно это кияжество, как и Переяславское, сильнее других страдало от набегов степняков, захвативших в конце концов Тмутаракань. Чернигово-северские киязья часто предпринимали походы в степь, издавна селили на своих землях тюрок-наемииков, использовали степняков в междоусобных феодальных войиах, роднились с половецкими ханами, захватывали их в плен и отпускали с миром. «А всего походов было восемьдесят и три великих, а остальных и не упомню меньших»,—

писал в своем «Поучении» Владимир Мономах, не числя, правда, отдельно походы против половцев. Наиболее активная военная и дипломатическая деятельность Мономаха пришлась на период его черниговского и переяславского княжения. Войной и миром приостановивший на какое-то время половецкую экспансию, он женил двух своих сыновей на половчанках.

Однако тюркизмов в «Поучении» Владимира Мономаха мало, а через сто лет, ко времени «Слова о полку Игореве», они прочно вошли в литературную речь черниговцев-северцев; на эту тему написано множество специальных работ — назову русских исследователей Н. А. Баскакова, В. А. Гордлевского, Ф. Е. Корша, С. Е. Махова, П. М. Мелиоранского, польского А. Зайончковского, немецкого К. Г. Менгеса, американского О. Прицака. В своей книге «Восточные элементы в «Слове о полку Игореве» (Л., 1979) К. Г. Менгес, скажем, кроме «могутов», «татранов», «шельбиров», «топчаков», «ревугов» и «ольберов», числит в поэме еще *пятьдесят* слов восточного происхождения; русский язык всегда вбирал в себя словесные богатства из любого источника. Кстати, часть лексики восточного происхождения — неопровержимое доказательство подлинности «Слова». Половецкий язык к новому времени исчез вместе с носителем этого языка, и мы можем судить о нем только по его остаткам, трансформировавшимся в тюркских и других языках, по обнаруженному, как писал Б. А. Рыбаков, в библиотеке Франческо Петрарки краткому половецко-персидско-латинскому словарю...

Однако самым убедительным аргументом, точно локализующим поэму, служат местные, диалектные русские слова и словоупотребления. «Хожденне» игумена Даниила, чья черниговско-северская принадлежность бесспорна: «Есть же церковь *та* Въскресение образом кругла», «И есть на месте *том* был монастырь женский...», И *ту* есть место близ пещеры *тоя*», «...Възвратися вспять и прииде до *того* места», «И у *того* кладезя Христос беседовал с женою самаряныиею»...

Этой несмываемой черниговской печатью — множество указательных местоимений — отмечен весь текст «Слова о полку Игореве»! «Начати же ся *тъй* песни по былинам сего времени...»; «...Который дотекаше, *та* преди песнь пояше...»; «Пети было песнь Игореви *того* внуку...»; «*Тъй* бо Олегъ мечемъ крамолу коваше...»; «*Той* же звон слыша давний великий Ярославъ...»; «Съ *тоя* же Каялы Святополк повеле яти отца своего...»; «*То* было въ *ты* рати и въ *ты* плъкы...»; «Тии бо два храбрая Святъславлича Игорь и Всеволодъ...»; «*Тии* бо бес щитов съ засапожники кликомъ плъкы побеждаютъ...»; «...Главы своя подклониша подъ *тыи* мечи харалужныи»; «*Тъй* клюками подпръ ся о кони...»; «*Тому* вещей Бояни и в пръвое припевку, смысленый, рече...»; «*Того* старого Владимира нельзе бе привоздити къ горамъ киевъскымъ». И так далее!

Словоупотребления этого ряда, конечно, встречались и в других районах средневековой Руси — язык был одним из связующих

факторов народной жизни, но устойчивость этой диалектной особенности на Черниговщине поразительна. Во время своих поездок по Украине я не раз отмечал, что именно черниговцы до сего дня в изобилии пересыпают свою живую речь указательными местоимениями в том ключе, в котором они употребляются автором «Слова». Совсем не напрягая памяти, будто слышу мягкий плавный говорок: «Уж я *того* кабана кормила, кормила *тым* ячменем»; «А *те* аистиные гнезда, на *той* Болдиной горе, давно пустые».

Добавлю, что эта стилистическая особенность совершенно не характерна для, скажем, киевлянина Нестора, владимиро-суздальца Даниила Заточника или тверяка Афанасия Никитина, а у Софония-рязанца подражание «Слову» проявилось и в этой мелкой лексической детали: «*Тот* Боян поскладаше гораздыя свои персты на жывыа струны...»; «Уже бо *те* соколе и кречеты, белозерскыя ястреби борзо за Дон перелетели...» и т. п. Не исключено, впрочем, что и автор «Задонщины» подражал Софонию, которому, как и автору «Слова», чернигово-северские речения были присущи органично — в Тверском сборнике значится: «В лето 6888 (1380) А се писание Софония резанца, *брянского* боярина...»

Б. А. Рыбаков в своем скрупулезном анализе летописных источников времен князя Игоря и «Слова» обнаружил в составе летописи Святослава Всеволодовича ту же черниговскую словесную печать. Среди признаков этого летописания он, выделяя местоимения курсивом, числит и такой: «Местами проглядывает черниговская диалектная черта: «беззаконных *тех* агарян», «богостудными *теми* агаряны и др.» (Б. А. Рыбаков. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве», с. 132).

А. В. Соловьев обратил внимание еще на одну диалектную черту в «Слове» и летописях: «...Характерно, что отчества на *-славличь* особенно крепко держатся именно в ветви чернигово-северско-муромских князей. Именно наш князь Игорь назван так (в Ипатьевской летописи.— *В. Ч.*) три раза, а что особенно важно, в последней, торжественной записи 1198 г. сказано: «И седе на столе (в Чернигове) благоверный князь Игорь Святъславличь». Эта же форма проявляется в «Слове» не как курьез, а как правило. Итак, сравнение с Ипатьевской летописью показывает, что певец «Слова» пользовался теми несколько архаическими формами, которые *он слышал в чернигово-северской области»* (А. В. Соловьев. Русичи и русовичи.— В кн.: «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М.— Л., 1962, с. 296).

Еще одно доказательство чернигово-северского происхождения «Слова о полку Игореве» стало возможным с недавних пор благодаря трудам двух наших современников, ученых-филологов, сделавших свои интереснейшие наблюдения и находки, связанные с лексикой поэмы.

Много событий произошло на Чернигово-Северской земле за восемь веков, отделивших нас от «Слова». Нашествие степняков в XIII веке, затем долгое польско-литовское владычество, форми-

рование украинской народностн н языка, войны, революцни; изменялся состав и количество населення, уровень его культуры, нсчезли старые и возникалн новые города, ремесла, менялнсь общественные формацнн, экономнческнй потенциал, адмиинстратнвные границы края, нормы моралн, язык. Оставалась только земля-кормилица, древние храмы, свндетелн былого величня черниговской культуры, помельчавшие рекн да народ, предки которого переместилнсь в трудные времена нз хлебородных степных мест на север, в лесостепь, и еще дальше, в дебри. И не там лн, в языке местиого населения, давно было пора понскать лексическне соответствия языковой стихнн «Слова»? Народный язык надежно консервирует давние понятия, доносит до нас с древнейшнх времен слова, которыми пользовались наши пращуры.

С. И. Котков изучал язык офнцнальных документов, различного рода деловых бумаг XVI—XVIII веков, напнсанных на территории бывшего Новгород-Северского удельного княжества и храиящнхся ныне в Центральном государственном архнве древннх актов. «...На *болони* беша...» Это из «Слова о полку Игореве». А в «Хожденни» черинговца игумена Даннила палестннская Иордан-река «*болоние* имать яко Сновь река». Слово это давно расшифровано и означает низменное поречье, покрытое травой, пойменный луг. С. И. Котков нашел жалованную грамоту 1515 года, у которой Новгород-Северскому монастырю отводятся «сенные покосы по *оболоньям*».

«Слово о полку Игореве»: «...Река Стугна, худу струю нмея, пожрьшн чужи ручьи и *стругы*»... Ученый доказал, что «стругы» — вовсе не ладьи, как до этого полагали исследователи, а миожественное число от существительного мужского рода «струг» — «поток». В грамоте конца XVI века перечислялись монастырские владения в Путивльском уезде: «*струга* Пружиика, течет из озера Хотыша в реку Семь». Из путивльской грамоты 1629 года: «*Струга* Межеиская да *струшка* Золотарева да *струшка* Уломля да нсток Кнселева *болонии*».

«Слово»: «*яругы* имъ знаемн», волкн «грозу въсрожать по *яругам*». В XVI—XVIII веках «яругом» («еругой») называли в Новгород-Северской земле и прилегающнх курских районах овраги. Путнвльская писцовая кннга 1625—1626 годов: «две *еруги* Изъбная да Валы».

«Слово»: «Дремлет в поле Ольгово хороброе *гнездо*», «не худа *гнезда* шестокрнлцн». Ученый нашел в старых грамотах словоупотребленне «гнездо» в значенин «род», «семья» и некоторые другие лексическне соответствня. (См: С. И. Котков. «Слово о полку Игореве». Заметки к тексту. М., 1958.)

Другой исследователь, В. А. Козырев, обратился, как он пишет, «к понскам в живой народной речи словариых соответствий к лексике «Слова», которая не сохраннлась в современном русском лнтературном языке». В 1967—1972 годах нм былн предпрнняты специальные диалектологнческие экспедиции в Брянскую область. Известно, что в XII веке Брянск (Дебрянск) входил в

состав Чернигово-Северского княжества, а после нашествия степняков в XIII веке Роман Михайлович, правнук героя «Слова» Святослава Киевского и сын казненного в Орде черниговского князя Михаила Всеволодовича, перенес свою столицу из разоренного дотла Чернигова в залесный Дебрянск. Туда же переселился и весь двор князя, и дружина его, и священнослужители, и там же, в лесах, спаслась, очевидно, от нашествия орды какая-то часть городского и сельского населения южных районов Чернигово-Северской земли. Из словесных жемчужин, найденных в брянских народных говорах, особую ценность представляют те, что встречаются только в «Слове» и не зафиксированы ни в одном другом письменном источнике. *Не бологомъ* в «Слове» имеет соответствие в сегодняшней народной речи — «бологом», добром; *вереженъ* «Слова» — «верёженый», поврежденный; *зараніе* — «заранне», раннее утро; *ка́рна* — «карна», мука, скорбь; *раскропити* — «раскропить», расплескать; *троскотати* — «троскотать», стрекотать; *трудный* — «трудный», печальный, скорбный; свыча и *обычаи* — «свычай и обычай», любовь, согласие, дружба, лад; *уши закладати* — «ухи закладать», запирать засовом; *босый волк* — «босый волк», полинявший, в переносном смысле — быстрый, подвижный; *буи* (тур) — «буйный», могучий, сильный; *гнездо* — «гнездо», семья, род; *жестокыи* — «жестокий», крепкий, твердый, горячий; *жиръ* — «жир», достаток, богатство; *бръзыи* — «борзый», быстрый; *кощеи* — «кощей», слуга, раб, пленник; *кнесъ* — «кнес», матица; *къмети* — «кметкий», способный, сметливый, находчивый; *повити* — «повить», воспитать, вырастить...

Приостановлюсь на одной из самых интересных находок. «Чаици» в поэме остаются либо без перевода, либо заменяются современным «чайки». Между тем слово «чаица» совершенно не встречается в других памятниках русской письменности, нет его также ни в одном из славянских языков. Ранее считалось, что под «чаицей» подразумевается Larus ridibundus, водоплавающая речная чайка. Но вот В. А. Козырев записывает местный говорок, диалектологически транскрибируя народную речь: «Чя́ница — аны́ сидя́ть, где ко́чичька; Ръзлива́ницца луг, аны́ ж вя́сной прилётывъють, тъ где вът, бугоро́к, чяницы ужэ там садя́цца. Чя́ницы навроди́ гълубе́й, ря́бенькие, нъ гало́ўке ты́чичька стаи́ть, но́шки не так штоп ду́же ни́зенькие, висо́кинькие. Чя́ница кричи́ть куу-чу́, с протя́гъм кричи́ть».

Чаица «Слова» — чуткая, осторожная, пугливая птица Vanellus capella, другими словами — чибис, пигалица. «Ее осторожность, приводящая в негодование всех охотников, делает ей честь,— писал о ней знаменитый А. Э. Брем,— она прекрасно знает, какому человеку можно доверять и кого следует избегать». Именно чаицы, то есть чибисы, «стрежаше» князя Игоря с берегов Донца во время побега — по их поведению можно было узнать о приближавшейся опасности... Удивительно все же, до чего точен автор «Слова» в каждой детали!

В. А. Козырев специально изучал лексические отзвуки «Слова»

только в брянских народных говорах, пользуясь в других случаях уже накопленным диалектологическим материалом, и я выделяю курсивом главный итог работы: «*...обнаружены соответствия к 151 лексеме памятника: из них большую часть составляют параллели к тем лексемам (их 86), которые, кроме «Слова», более нигде не отмечены или редко употребительны в иных памятниках...*» (В. А. Козырев. Словарный состав «Слова о полку Игореве» и лексика современных русских народных говоров.— В кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники древнерусской литературы. Л., 1976, с. 93).

Известно, что основной словарный запас человек накапливает в детстве и отрочестве. Активное использование в «Слове» живой народной речи, сохранившейся доныне в северных районах бывшей Черниговской земли, постоянное употребление архаичных окончаний на -«славличь» и указательных местоимений в качестве постпозитивных артиклей как черниговских диалектных черт неоспоримо свидетельствует о том, что *автором поэмы был черниговово-северянин.*

И поистине удивительно, что многие ученые, не анализируя подробно лексику в «Слове о полку Игореве» и опираясь в основном на другие данные, приходили к такому же выводу! Приведу мнения о месте рождения поэмы авторитетных исследователей разных времен, начиная с известнейших русских историков. Н. М. Карамзин: «Песнь сочинена в княжестве Новгород-Северском». С. М. Соловьев: «Нам нет нужды даже предполагать, что сочинитель «Слова» был житель страны Северской». Н. К. Бестужев-Рюмин: «Слово могло возникнуть в Новгород-Северском». Педагог, критик и языковед К. Д. Ушинский: «Слово» написано скорее всего северянином и в Северии». Наш современник, женевский знаток «Слова» А. В. Соловьев: «Певец «Слова», вернее всего, черниговец или из Новгород-Северска, представитель черниговско-тмутараканской школы вещего Бояна». Советский исследователь А. А. Назаревский: «Автор «Слова», несомненно, принадлежит к... черниговско-тмутараканской школе». Академик С. П. Обнорский: «Слово о полку Игореве» было сложено на юге, всего вероятнее в Северской земле, в княжение самого Игоря»...

Работы В. А. Козырева и С. И. Коткова не только прочнее прикрепили поэму и ее автора к Чернигово-Северской земле, помогли расшифровать некоторые загадки «Слова», раскрыли коекакие его семантические тайны, но и явились одним из самых веских аргументов, доказывающих подлинность памятника. Совершенно исключено, чтобы фальсификатор XVIII века, будь он хоть семи пядей во лбу, узнал, активно освоил и с виртуозным мастерством использовал столь мощный пласт народной диалектной лексики; это филологическое сокровище, добытое современными исследовательскими методами в многолетних специализированных экспедициях, только что введено в научный оборот...

Не правда ли, веские доводы?

42

«Скептики» появились вскоре после выхода «Слова» в свет. и до наших дней нет-нет да проникают в печать их сомнительные изыски. А. С. Пушкин писал, что подлинность «Слова» доказывается «духом древности, под который невозможно подделаться. Кто из наших писателей в XVIII веке мог иметь на то довольно таланта?..» Замечательно, что еще до Пушкина свеаборгский узник-декабрист Вильгельм Кюхельбекер в дневниковой записи от 24 ноября 1834 года, которая стала известной только через полвека, так прокомментировал статью одного из первых «скептиков» — «барона Брамбеуса», то есть О. И. Сенковского, напечатанную в «Библиотеке для чтения»: «Трудно поверить, чтоб у нас на Руси, лет сорок тому назад, кто-нибудь был в состоянии сделать подлог: для этого нужны были бы знания и понятия такие, каких у нас в то время никто не имел; да и по дарованиям этот обманщик превосходил бы чуть ли не всех тогдашних русских поэтов, вкупе взятых» (Русская старина, 1884, т. 41, № 1—3, с. 340—341). Поразительное согласие мыслей двух лицейских друзей!

Приведу также высказывание Виссариона Белинского: «...Точно ли «Слово» принадлежит XII или XVIII веку и поддельное ли оно, на это сама поэма лучше всего отвечает, если только об ней судить на основании самой ее, а не по различным внешним соображениям» (Отечественные записки, 1841, т. 19, отд. 1, с. 5—6).

Не стану возвращаться к дискуссиям о подлинности «Слова» или называть новые имена «скептиков», последний из которых, как и большинство его предшественников, пользовался не только «*внешними* соображениями», но и — по точному выражению Ф. Я. Приймы — «субъективистски безответственным методом исследования». Пользуясь методами подлинно научными, десятки ученых за прошедшие времена опровергали все измышления «скептиков», исходивших, как стало совершенно ясно сегодня, не из интересов науки, а из предвзятой позиции, которая по сути сводилась к одному тезису: Русь XII века по своему-де варварскому состоянию не могла дать такого феномена культуры, как «Слово». Но если исходить из этой логики, то Русь не могла дать в том же XII веке и величественную «Повесть временных лет» Нестора,

и «Поучение чадом» Владимира Мономаха, и блистательное «Слово» Даниила Заточника, интереснейшее и своеобразнейшее произведение, в котором немало своих глубоких тайн; не могла явить свету иных свидетельств творческого гения народа — имею в виду ювелирное и оружейное искусство, летописание и, пока остающееся для нас во многом не раскрытым, великое изъявление талантов, мастерства и культуры наших предков — средневековую русскую архитектуру... Кажется, «скептики» следуют логике небезызвестного чеховского героя: всего этого не могло быть, потому что этого не могло быть никогда...

Было! И великое «Слово о полку Игореве» было, и оно живет, продолжает служить людям, гуманистической задаче искусства, оставаясь главным своим защитником. «Уже свыше полутора столетий «Слово» уверенно отбивает очередные наскоки скептицизма, демонстрируя свое явное превосходство перед критиками» (А. Г. Кузьмин). Впрочем, «наскоки скептицизма» были в какой-то мере даже полезными — они оживляли научный и общественный интерес к «Слову», побуждали ученых зорче смотреть в глубь времен, порождали исследования, сделанные с научным тщанием, академической объективностью и обстоятельностью. С такими работами выступали в прошлом веке М. А. Максимович, П. П. Вяземский, Е. В. Барсов, А. Н. Майков, многие другие, а в наше время Н. К. Гудзий, М. Н. Тихомиров, В. П. Адрианова-Перетц, Б. А. Рыбаков, Д. С. Лихачев, С. П. Обнорский, Л. А. Дмитриев, В. А. Гордлевский, Р. О. Якобсон, В. Л. Виноградова, А. Г. Кузьмин, Ф. Я. Прийма и также многие другие. Выступят, безусловно, со свежими аргументами в пользу подлинности памятника и представители нового поколения ученых, ежели не переведутся на свете — нет, не те сомневающиеся, коими движет искреннее стремление понять в «Слове» пока необъясненное,— а те самые «скептики», что вновь попытаются субъективистски безответственно принизить средневековую культуру нашего народа.

Вспоминаю прочитанное о «Слове» почти за сорок лет, воображаю гору неизвестного, и даже оторопь берет. Кажется, все, что можно сказать о поэме, вроде бы сказано, однако почти в любой свежей и серьезной публикации есть новое и полезное, хотя вторичные «открытия», повторы и некоторая законсервированность, традиционность подходов к давней теме стали неизбежными и даже будто бы обязательными.

Многие исследователи пишут, что единственный достоверный источник знаний о поэме и ее авторе — само «Слово», однако почти все они иные привлекают новый и новый исторический, летописный, сравнительный литературный, мифологический, палеографический, фольклорный, диалектологический, этнографический, востоковедческий, астрономический, географический и так далее материал, приближающий нас к истине или... удаляющий от нее. Безусловно, основную информацию об авторе содержит его поэма, но это творение, несущее на себе

печать ярчайшей индивидуальности, настолько сложно и глубоко по содержанию и столь искусно скрывает автора, что давало и дает повод для самых различных толкований о его личности.

В качестве предполагаемого автора называли некоего «гречина» (Н. Аксаков), галицкого «премудрого книжника» Тимофея (Н. Головин), «народного певца» (Д. Лихачев), Тимофея Рагуйловича (писатель И. Новиков), «Словутьного певца Митусу» (писатель А. Югов), «тысяцкого Рагуила Добрынича» (В. Федоров), какого-то неведомого придворного певца, приближенного великой княгини киевской Марии Васильковны (А. Соловьев), «певца Игоря» (А. Петрушевич), «милостника» великого князя Святослава Всеволодовича летописного Кочкаря (американский исследователь С. Тарасов), неизвестного «странствующего книжного певца» (И. Малышевский), Беловолода Просовича (анонимный мюнхенский переводчик «Слова»), черниговского воеводу Ольстина Алексича (М. Сокол), киевского боярина Петра Бориславича (Б. Рыбаков), вероятного наследника родового певца Бояна (А. Робинсон), безымянного внука Бояна (М. Щепкина), применительно к значительной части текста — самого Бояна (А. Никитин), наставника, советника Игоря (П. Охрименко), безвестного половецкого сказителя (О. Сулейменов), Ионля Быковского (А. Зимин), Софония-рязанца (В. Суетенко), «придворного музыканта» (Л. Кулаковский); называли также таинственного Ходыну, Бантыша-Каменского, Мусина-Пушкина, Карамзина, даже священника, присланного к плененному Игорю, Ярославну и даже... Агафью Ростиславну, невестку Игоря, вдову его брата Олега, сестру Рюрика киевского и Давыда смоленского. Других предположений не знаю, кроме еще одного, о коем речь впереди.

Несомненно, наиболее основательную попытку установить авторство «Слова» предпринял академик Б. А. Рыбаков. Проанализировав в своей двухтомной работе колоссальный летописный материал, он высказал догадку, что этим автором *мог быть* Петр Бориславич, киевский боярин и — предположительно — летописец великого князя киевского Изяслава Мстиславича и его сына Мстислава Изяславича. Правда, Б. А. Рыбаков же высказывал и другое мнение: «Автор «Слова» принадлежал к дружинному рыцарскому слою. Тонкое знание дорогого европейского и восточного доспеха говорит о нем как о воине высшего разряда».

В своем многоценном труде академик тщательно разобрал и отверг все гипотезы, кроме одной — в пользу Петра Бориславича, однако и этот свой вывод также подверг сомнению: «Был ли этот летописец автором «Слова о полку Игореве» или только современным ему двойником, во всем подобным ему, решить нельзя. Да и сам облик этого летописца, составленный из разнородных источников, может вызвать много сомнений и возражений. Не свободен от сомнений и автор книги, рассчитывающий на товарищескую критику и указания наименее надежных звеньев в цепи его построений» (Б. А. Рыбаков. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972, с. 6)

Не знаю, какая была за последующие годы конкретная товарищеская критика этой гипотезы. Возможно, кто-то привел данные о бесспорных черниговско-северских лексических истоках «Слова» или обратился к Патриаршей летописи, где со многими подробностями рассказано, как в марте 1169 года Андрей Боголюбский, «соединнся со многими князи в едини совет и в единомыслие», направил на великого князя Мстислава Изяславича огромное войско во главе со своим сыном Мстиславом Андреевичем и пятнадцатью другими князьями, «Половецкие князья с Половцы, и Угры, и Чяхи, и Ляхи, и Литва»... «Пришедшим же им и ставшим около града Киева, и снимахуся полки, и биахуся крепко зело. *Окаяннии же бояре Киевстии Петр Бориславичь* и Нестор Жирославичь, и Яков Дигеньевичь начаша коромолити н тайно съсылатися со князем Мстиславом Андреевичем и с иными князи, како прндати им град Киев». И вот «окаянный» Петр Бориславич и два других киевских боярина «и с сим мнози змии человеци и демонстии советиици» тайно связались с врагами, «глаголюще сице»: «да приступаете крепко вси с крепких стен града; указующе им крепостное место града, такоже по их и некрепкое место града, сказаше им: «да егда, рече, вси приступаете к крепким местом града, сице и наши все гражаие у крепких мест града стаиут на бой противу вас, некрепкии же места града нашего не брегоми будут, и тако, укрепивше их, без труда возьмете град». Предательский замысел удался! Когда киевляне бросились защищать «крепкие» места, враги «внезапно насунушася вси на некрепкое место града, и взяша град Киев месяца марта в 8 день»... «и церкви, и монастыри разграбиша, и иконы, и сосуды, и книги, и ризы поимаша» (ПСРЛ, т. 9, 1862, с. 273). Боярин Петр Бориславич, предавший своего князя и обрекший родной город, древнюю столицу Руси, на разграбление,— автор «Слова о полку Игореве»?! Невероятно.

В интервью корреспонденту «Правды», напечатанному 31 декабря 1981 года, Б. А. Рыбаков сказал, что «Слово о полку Игореве» написал «великий *неизвестный* автор». Должен добавить, что гипотеза Б. А. Рыбакова об авторе «Слова» существенно не умаляет значения его двухтомного труда — в нем систематизирован и обобщен огромный летописный материал по истории средневековой Руси, досконально, с позиций историка, проанализировано «Слово о полку Игореве», и к этому труду всегда будут обращаться специалисты и любители.

Однако нельзя ли, исходя из содержания поэмы, для начала определить хотя бы социальное положение, род занятий, профессию автора? О том, что это сделать нелегко в отношении художественного произведения, отдаленного от нас дистанцией в восемь веков, хорошо иллюстрирует пример со «Словом» Даниила Заточника («Молением» во второй редакции). Немало ученых за последние сто лет, анализируя текст этого оригинальнейшего творения русского ума, ломало головы, чтобы выяснить сословную принадлежность еще одного великого анонима — Даниила Заточ-

ника. Для Ф. Буслаева, В. Келтуялы, И. Будовница он несомненный «дворянин», Н. Гудзий считал его «боярским холопом», П. Мидалев — применительно к автору «Слова» — «дружинником и дворянином», а применительно к автору «Моления» — «рабом князя, домочадцем», Е. Модестов увидел в нем «члена младшей княжеской дружины», для Д. Лихачева он «княжеский милостник», для М. Рабиновича «сын рабыни», для М. Тихомирова «ремесленник-серебряник».

Тот же разнобой и в отношении предполагаемого общественного положения автора «Слова о полку Игореве»: он «дружинник», «придворный певец», «летописец», «грамотный поэт», «старший дружинник», «милостник», то есть приближенный князя, фаворит, «член музыкального придворного коллектива», «воевода», «дружинный сказитель», «половецкий гений», «книжник», «боярин», «думец-советник», «поп», «посол-дипломат», «видный боярин», представитель «крестьянства как передового класса», а однажды была высказана точка зрения, что «Слово» «...складене через незнаного нам ратая-мужика, людину дуже съвітлу»...

Попробуем на основании информации, что несет в себе текст «Слова», хотя бы приблизительно очертить круги знаний, понятий, интересов и пристрастий автора.

Если свести в список рассыпанные по тексту «Слова» имена князей и княгинь, откроется удивительная по пестроте, сложности и гармоничности картина. «Старый Владимир», «Старый Ярослав», «храбрый Мстислав» черниговово-тмутараканский, «давний великий Всеволод», его жена «мати Ростиславля», «вещий» Всеслав, Святополк, «красный Роман Святославич», «храбрый Олег Святославич», Владимир Мономах, его брат «уноша Ростислав», Святослав Всеволодович киевский, Ярослав «Осмомысл» галицкий, Ярослав Всеволодович черниговский, Всеволод Большое Гнездо, рязанские «удалые сыны Глебовы», Владимир Глебович переяславский, его сестра «красная Глебовна», «Ярославна»— жена Игоря, сам Игорь, его брат Буй-тур Всеволод, молодые князья — участники похода, и так далее, вплоть до современника автора Мстислава, которому историки никак не могут найти точного места в княжеских родословных, до, вероятно, волынских Мстиславичей, не худого гнезда шестокрыльцев, и полоцких князей Брячислава, Изяслава и Всеволода Васильковичей, родных братьев супруги великого князя киевского Святослава Марии Васильковны. Поразительно, что автор «Слова» осведомлен лучше тогдашних историков — летописи, например, совершенно не упоминают о последних двух князьях. Это ли, кстати, не лишнее доказательство подлинности поэмы?

Подсчитано, что напрямую автор «Слова» назвал тридцать князей, собирательно семь или восемь, намекали еще троих; всего же сорок князей и четыре княгини, а если подсчитать и суммировать повторительные упоминания (Игорь назван, например, тридцать три раза), то получим следующий результат: в крохот-

ной по объему поэме внимание читателя обращается на представителей восьми поколений княжеского сословия около ста раз! И ни одной генеалогической ошибки, ни одного невпопад упомянутого имени почти за двести лет истории Руси! Эти знания, коими свободно оперирует автор, нельзя было приобрести со стороны. Употребление десятков имен князей всякий раз к месту, тончайшими смысловыми оттенками при описании их деяний, с лапидарными высказываниями по долгой истории междоусобиц, множеством частных и даже интимных подробностей, было доступно лишь автору, знавшему родовые княжеские предания и тайны и, скорее всего, принадлежавшему к этому высшему сословию Руси.

Многие исследователи памятника обращали также внимание на исключительные природоведческие познания автора. Письменная литература европейского средневековья, кстати, почти не замечала мира природы, и Франческо Петрарка, поднявшийся однажды на высокую гору, чтобы полюбоваться видом окрестностей, и созерцая пейзаж, стал одним из первых, описавших свои чувства-впечатления. Но почти за два века до этого события миру явилось великое русское творение, автор которого словно обнаженными нервами косиулся динамичного, красочного и звучащего земного мира; этот образец слиянности событий поэтического произведения, чувств его героев и автора с природой остается ослепительной вершиной. Мир земли и неба: солнце, месяц, ветры, реки, деревья травы, птицы, животные — это и живая симфония, гармонично; если можно так сказать, со-действующая с автором и героями поэмы, и конкретный вещный фон давней исторической драмы.

Часть этого фона — мир животных — квалифицированнее других изучил и рассмотрел в своих статьях зоолог Н. В. Шарлемань, внимательный и вдумчивый ученый-естествоиспытатель, бесконечно любивший «Слово»... Он подсчитал, что животные — в основном «дикие, среди которых преобладают охотничьи звери и птицы,— упоминаются в поэме свыше 80 раз» (Н. В Шарлемань. Из реального комментария к «Слову о полку Игореве».— ТОДРЛ. М.— Л., 1948, т. 5, с. 111) Ученый разобрал практически все случаи упоминания зверей и птиц в «Слове», дал к ним свои подробные комментарии, просветлив некоторые темные места поэмы и доказав, что в этом своеобразном источнике по краеведению присутствуют тончайшие авторские наблюдения над миром природы, «полностью отвечающие действительности, т е. условиям места и времени года».

Охота на пушного и снедного зверя, на лесную и водоплавающую пернатую дичь, так называемые «ловы», были одним из важнейших промыслов в средневековой Руси и главной княжеской «забавой» (вспомним страницы «Поучения» Владимира Мономаха, посвященные «ловам»). Для князей это была и благородная традиционная потеха, и случай лично проявить силу и мужество, развить бойцовские навыки, а иногда под видом «лова» и прихватить землю соседнего удела. Автор «Слова» был, бесспорно,

замечательным охотником — огромный объем природоведческих знаний, который заложен в поэме, мог принадлежать только человеку, долгие годы внимательно наблюдавшему природу в непосредственном активном общении с нею.

Интересно, что и природоведческие данные «Слова» в какой-то мере прикрепляют памятник к Чернигово-Северской земле. О диалектной северской «чаице» мы уже говорили. А вот еще одно интересное место «Слова»: «На реце на Каяле тьма свет покрыла: по Русской земле прострошася половцы, акы *пардуже* гнездо». «Пардус,— как пишет Н. В. Шарлемань,— это легко приручаемый для охотничьих целей быстроногий зверь «азиатский гепард, или чита». Добавим, что слово «пардус» встречается и в «Хождении» черниговца игумена Даниила при описании Иордан-реки: «Зверь многъ ту и свинии дикие бещисла много, и *пардуси* мнози, ту суть львове же». Интересно, что во всем русском летописании «пардусы», как конкретное, а не сравнительное понятие, упоминаются дважды, и в обоих случаях эти упоминания связаны с дорогими охотничьими подарками отца князя Игоря Святослава Ольговича. В 1159 году он, по сообщению Ипатьевой летописи, подарил пардуса Юрию Долгорукому, послав к нему вначале старшего брата Игоря Олега, который «еха наперед к Гюргови и *да е пардус*». Более богатого подарка удостоился великий князь киевский Ростислав Мстиславич: «Святослав же дари Ростиславу *пардуса* и два коня борза у ковану седлу». Вероятно, чернигово-северские князья, располагая обширнейшими и лучшими на Руси степными, лесостепными и лесными охотничьими угодьями, держали пардусных дрессировщиков, получая детенышей этого зверя через половцев из необъятных восточных степей — ведь пардусы водились в Оренбуржье, например, до середины XIX века. Н. В. Шарлемань: «Еще в XVIII в. были на Черниговщине специализированные цехи охотников: бобровники, гоголятники, соколятники. Раньше были еще и пардусники».

«Зооморфологический орнамент» (В. Ф. Ржига) памятника, его основной фон, свидетельствуя об авторе — черниговце и северянине — как о большом знатоке живой природы этого региона Руси, не выдает ли в нем человека высокого, скорее всего княжеского происхождения, для которого «ловы» были долгие годы постоянным и, можно сказать, обязательным занятием? Чтобы *так* знать природу, надо было долгие годы общаться с ней, видеть ее в цветовых оттенках, слышать звуки и тишину, обладать даром выражения в словах своих знаний о природе, ощущений и чувствований. Человек, глаза которого вечно заливает трудовой пот, монах, отгородившийся от живого мира молитвами, постами и стенами, или дружинник, со многими служебными, семейными и хозяйственными обязанностями, едва ли могли иметь достаточно времени и возможностей, чтоб природа в такой степени стала их мировосприятием; скорее всего, это был человек высшего сословия, наделенный редким талантом, располагавший досугом и получивший лучшее по тем временам образование и ду-

ховное развитие, то есть умственное, нравственное и эстетическое воспитание, что было доступно прежде всего княжеским детям.

О ратном оружии и ратном деле в «Слове» написано немало. Превосходное знание оружия было, конечно, обязательным для воеводы и рядового дружинника тех времен, но этими знаниями в такой же, если не в большей, степени должен был обладать и князь-полководец, непосредственный участник междоусобных и внешних войн. Княжичей сажали на коня в младенческом возрасте, а в отрочестве они уже становились свидетелями бесконечных войн и принимали участие в походах, набираясь боевого опыта, осваивая ратное мастерство и обретая мужество, готовясь к тому часу, когда они сами с мечом и под личной хоругвью поскачут — непременно впереди войска! — на врага. Князь Игорь, скажем, воочию увидел первую большую войну еще в восьмилетнем возрасте. Летом 1159 года киевский князь Изяслав, потерявший великокняжеский стол, захватил «вси вятичи» и северный городок Обловь, надумал было овладеть Черниговом, где сидел отец Игоря Святослав Ольгович. Изяслав привел к Чернигову огромное половецкое войско, которое заполонило всю восточную левостороннюю пойму Десны «и стоявше, велику пакость створиша, села пожгоша, люди повоеваша». На этой реке пришельцам и был дан бой. «И бьяхуся с ними о реке о Десну крепко. Они на конях, а ини в насадех (ладьях) ездяче и непустиша а через реку», затем отогнали половцев на день пути. Отец Игоря слег после битвы, а Изяслав, прослышав об этом от каких-то черниговских осведомителей, пошел на второй приступ, переправился с половцами через Десну и начал жечь пригородное село. Черниговские войска, однако, разгромили захватчиков, многих потопили в Десне, взяли большой половецкий полон — все это впервые увидел маленький княжич.

А восемнадцатилетним Игорь уже участвовал в ополчении русских князей, собравшихся в 1169 году под хоругвь Андрея Боголюбского против Мстислава Изяславича киевского. В 1171 году он ходил с северскими дружинами на половцев и одержал победу над Кобяком и Кончаком. Сообщение о следующем военном походе Игоря я прочел в Полтаве на огромном сером камне, привезенном сюда, на крутой берег Ворсклы: «Новгород-Северский князь Игорь Святославич... поеха противу половцемъ и переехa Върсколъ у Лтавы к Переяславли и бе рать мала». На основании этой записи 1174 года, взятой из Ипатьевской летописи, полтавчане отсчитывают юбилей своего города...

И скорее всего не летописец, боярин, музыкант или певец ввел в «Слово» огромный материал, связанный с ратным делом, достовернейшие подробности о вооружении русских и половецких воинов, военно-исторические реминисценции о давно минувших княжеских страстях, разрешавшихся мечом.

Все содержание «Слова» удивительным образом связано с анимадистическими и пантеистическими верованиями древних славян, одухотворявших природу. Б. А. Рыбаков даже считает отношение к церкви и церковности первым пунктом характеристики автора. «Большинство писателей и летописцев того времени принадлежали к духовенству, что явно обнаруживалось в языке, стиле, подборе цитат, в любви к сентенциям, даже в обозначении дат и, разумеется, в провиденциализме при оценке причин событий. Даже писатели, не связанные с церковью, как Владимир Мономах или Даниил Заточник, щедро уснащали свои произведения христианскими сентенциями и цитатами. Автор «Слова о полку Игореве», подобно античным поэтам, наполняет свою поэму языческими божествами. Боян у него —«Велесов внуче», злое начало олицетворено Дивом и Девой-Обидой; ветры — внуки Стрибога, русские люди — внуки Даждьбога; Карна и Жля — славянские валькирии. Великим Хорсом названо солнце. Полуязыческими силами представлены и Ветер-Ветрило, и Днепр-Словутич, и тресветлое солнце. От языческих богов почти незаметен переход к природе вообще, ко всему живому, что оказывается вещим, знающим судьбу людей и пытающимся предостеречь их...»

Есть научные сведения о сохранении или возрождении дохристианских верований в конце XII века среди княжеских семейств. На территории именно Чернигово-Северской земли археологи раскопали недавно литейные формы XIII века (!) с изображением языческих русалий. А в биографии самого князя Игоря был один примечательный эпизод, связанный с церковью, который мог потрясти душу впечатлительного подростка на всю, как говорится, оставшуюся жизнь. В субботу 14 февраля 1164 года скончался в Чернигове Святослав Ольгович. Б. А. Рыбаков: «Игорю было всего тринадцать лет, когда умер его отец. Летописец подробно описывает сложную политическую обстановку, возникшую после смерти великого князя черниговского...» Его прямой наследник Олег Святославич, старший брат Игоря, получив в Курске известие о тяжелой болезни отца, срочно поскакал к «отчему столу», потому что на этот стол претендовал его двоюродный брат Святослав Всеволодович Новгород-Северский, о чем курские бояре предупредили Олега, сказав, что тот может «замыслить лихое». «Княгиня-вдова, мать Игоря, сговорившись с епископом Антонием и боярской думой, утаила смерть мужа, и три дня после смерти Святослава никто еще об этом не был извещен. Княгиня, заботясь о передаче престола своему старшему сыну, даже привела к присяге епископа и бояр, что никто из них не пошлет гонца в Новгород-Северский к Святославу Всеволодовичу... Тысяцкий Георгий заметил, что им не очень удобно приводить к присяге епископа, «зане же святитель есть». Сам же епископ *клялся богом и божьей матерью,* «яко не послати ми к Всеволодичю никим же образом, ни извета положити». Обращаясь к боярам, епископ заботился о том, чтобы никто из них не уподобился Иуде. *Однако Иудой оказался он сам,* «бяше бо родом гречин» (Б А. Рыбаков. «Слово

о полку Игореве» и его современники. М., 1971, с. 128 — 129)

Черииговский первосвящениик-«святитель» тут же тайио посылает к Святославу Всеволодовичу гоица с предательской грамоткой, текст которой сохраиила летопись: «Старый ти умерл, а по Олга ти послали. А дружииа ти по городам далече. А киягния седить в изуменьи с детьми: а товара миожество у нее. А поеди вборзе — Олег ти еще ие въехал, а по своей воли възмеши ряд с иим». «Святой отец», ие раз излагавший, очевидио, княжескнм детям с амвоиа и в душеспасительных беседах христиаискую мораль, упомянул даже о богатствах овдовевшей киягиии, иамекая на то, что ими можио легко завладеть! Святослав Всеволодович, будущий персоиаж «Слова», воспользовался, конечио, ситуацией: изгиал из Черинигова и уже прибывшего туда Олега, и его малолетиих братьев, и иесчастиую вдову... Воображаю, как едут оии в саиях сквозь февральскую метель. Вдова-киягиня в чериом одеянии плачет, проклииая и «святителя», и, быть может, веру эту иевериую, прииесеииую на Русь его земляками при прапрапрадеде ее детей, с тоской вспомииает родной Новгород Великий, что ие чета Новгород-Северскому, куда ведет эта метельиая зимияя дорога по Десие, а княжич-отрок Игорь, уже поиимавший *все,* потрясеи и растерян — смерть отца, горе матери, подлый обмаи Аитоиия, иаглость Святослава, потеря семьей золотого «отия стола»; что́ стоят клятвы и присяга «святителя», его проповеди, иравоучительиые беседы, эти священиые киигн и храмы, чьи плавиые завершенья уже скрылись в снежиой сумятице?..

Писали, что автор «Слова» был двоеверцем. Однако, в этом случае его христианские верования проявились бы заметиее. В поэме нет ии одиой цитаты из священиых книг, иет обращений к господу богу, нет оценок киязей с позиций религиозной морали и вообще традициоииый христиаиский аитураж, в отличие от «Поучения» Моиомаха, «Хождеиия» игумена Даииила, «Слова» Даииила Заточиика, «Слова о князьях», совершеиио отсутствует в «Слове о полку Игореве». Несомненно, что перед походом воинство Игоря по христиаиским каиоиам тех и более поздиих времен отслужило в Новгороде-Северском молебеи и молилось перед битвой, ио об этом в поэме ни слова, потому что автор *не верил* в пользу молитв.

Считается доказаииым, повторюсь, что иа Руси в XII и даже XIII веках сохранялись (или возрождались?) языческие верования и ритуальиые церемоиии. И еслн древние погребальиые обряды блюлись только в лесиых глубииках, то все остальиое было распростраиеио довольио широко и в столицах. «Браслеты с изображеиием русалий иаходят в составе боярских и княжеских кладов XII — XIII вв. Наличие среди них подчеркиуто языческих сцеи показывает, что бояриии и киягиии эпохи «Слова о полку Игореве», очевидио, приинимали участие в иародных ритуальиых таицах плодородия подобио тому, как Иваи Грозиый в молодости пахал весеиию пашию в Коломие» (Б. А. Рыбаков. Язычество древиих славяи. М., 1981, с. 436)

Почти в качестве аксиомы приията, что автор «Слова» был

формально, официально христианином, в душе оставаясь убежденным и суеверным язычником. Нет, на основании текста поэмы этого утверждать нельзя! Автор смело переносит к началу похода солнечное затмение, которое на самом деле произошло через девять дней, 1 мая 1185 года, *не верит* в небесное предзнаменование и, точно, реалистично отметив, что тьмою все русское войско прикрыто, говорит князьям и дружине: «Лучше убитым быть, чем плененным». Он даже не допускает мысли о том, чтобы повернуть назад! «С вами, русичи, хочу либо голову свою сложить, а либо шлемом испить Дону».

Да, имена языческих богов упоминаются в поэме, но боги эти пассивны, и автор ни разу не обращается к ним, не уповает на их могущество. Наоборот, языческие боги — не авторитет для князей! Всеслав самому «великому Хорсу путь перерыскивал». Автор полемизирует с Бояном, «внуком» самого Велеса, Жля и Карна у него скачут по земле, а Див бросается оземь. И ни разу не вспоминает даже Перуна — это было бы поистине удивительно в описании военного похода, если б автор был язычником или полуязычником, так как Перуну, своему верховному божеству, средневековые восточные славяне *клялись на оружии*. И Ярославна, чей плач считается образцом изъявления языческих верований, не упоминает ни одного языческого бога, а только силы природы — ветер, реку и солнце. Больше того — ветры, якобы «Стрибожьи внуки», даже враждебны войску Игоря —«веют с моря стрелами на храбрые полки Игоревы».

Очень интересна мысль двух современных ученых, которые считают, что автору «Слова» «совершенно чужды были толкования» языческих богов «как бесов или как олицетворения природы». «Между тем широко распространены определения: Стрибог — бог ветра, Стрибожи внуци — ветры, Хорс — бог солнца, именно на основании того контекста, в каком они названы в Слове. Никаких других, почерпаемых из еще какого-нибудь памятника, данных для этого вовсе нет... Олицетворяется ветер. Он как живой. Но никаких мифологических представлений не вызывал его образ... Нет, Стрибога на основании этого контекста отнюдь никоим образом нельзя возводить в боги ветров» (В. В. Иванов, В. Н. Топоров. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965, с. 23 — 24).

Языческие боги для автора «Слова» — не предмет верований, а нетрадиционный, новаторский материал для создания художественных образов. Предполагаю, что автор, обладая поэтическим и пантеистическим мировосприятием, не был ни закоренелым язычником и ни правоверным христианином. Однако вера у него была: будучи патриотом, он верил в особую ценность родины, Русской земли. Исходя из реальной внутренней и внешней политической обстановки своего времени, *верил* также, что ее спасение от погибели возможно только при единении русских князей. Он не мог понять неизбежности княжеских «котор» при том исторически сложившемся на Руси общественном строе и принять как

неизбежность ослабление страны перед лицом внешней опасности, видел причины гибели «достояния Даждьбожьих внуков» в личных качествах князей и возлагал надежды на их личные же качества. Не христианские или языческие боги, не вера или поверья должны спасти родину, а человек своими деяниями — вот кредо автора, и отсюда многочисленные комплименты князьям вплоть до гиперболических сравнений их со светом светлым, месяцем и самим солнцем.

Приведу к месту сходные мнения двух исследователей. «Автор «Слова» ушел от современной ему литературы, в том числе и исторической, когда он отбросил характерную для нее «философию истории», отказался от религиозной дидактики, от мотивировки событий вмешательством сверхъестественных сил. Он ждет помощи Русской земле не от потустороннего мира, а от сильных и могущественных князей и воинов» (В. П. Адрианова-Перетц) «Автор «Слова» верил в силу человека, а не в силу божью. Его идеалом была Русская земля, а не царство небесное... Автор славил любовь к родине, а не силу покаянных молитв» (Г. Ф. Карпунин).

Интереснейшую мысль о социальном положении автора «Слова» высказал академик Б. А. Рыбаков: «Широкое пользование образами языческой романтики и явный отказ от общепринятого провиденциализма не только отделяли автора от церковников, но и противопоставляли его им. Как мы хорошо знаем, противопоставление себя церкви в средние века могло дорого обойтись такому вольнодумцу. Нужно было *очень высоко стоять на социальной лестнице,* чтобы позволить себе думать и говорить так, как не позволяет церковь... Это — явное свидетельство *высокого положения нашего поэта, его социальной неуязвимости. Он был, очевидно, достаточно могущественным, для того чтобы писать так, как хотел»* (Б. А. Рыбаков. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве, с. 397 — 398). Полностью соглашаясь с этим выводом, я, однако, не уверен, что «могущественным» можно было назвать кого-либо из бояр, а киевский боярин Петр Бориславич вообще едва ли был «достаточно могущественным», особенно, конечно, после своего предательства киевлян, подробные и важные для истории сведения о котором были так широко известны на Руси, что попали в летопись.

На следующей социальной ступеньке над боярами стояли князья. Предполагаю, что «достаточно могущественный» автор «Слова» мог быть именно князем, снедаемым заботой о единении Русской земли, разочаровавшимся в иноземных богах и господствующей идеологии. Он превосходно знал родную историю и на ее примерах, а также, вероятно, на собственном опыте убедился в невозможности приостановить княжеские распри, грозящие погибелью Русской земле. Он знал истинную цену ритуальным крестоцелованиям и клятвам, остро ощущал бесчисленные кровавые трагедии — следствия княжеских клятвопреступлений; будучи же в силу своего очень высокого социального положения политиком,

он обратился к заветам предков, идеализируя их времена, и, как поэт-романтик, связал свои надежды с возвратом к прошлому

Цели похода также свидетельствуют об авторе, как о человеке княжеского происхождения. Нереалистичной целью князя Игоря и всех молодых Ольговичей, повторимся, было возвращение утерянного дочернего княжества Тмутаракань, расположенного на берегу Черного моря, а об этом мог мечтать, скорее, чернигово-северский князь, чем служивший ему воевода, дружинник, наемник или, тем более, представитель какого-либо иного сословия из соседнего княжества.

Одной из главных и обычных целей тогдашних войн был захват рабов и драгоценностей. Не раз упоминаются в поэме *злато, сребро и кощей* (раб) как конкретные военные трофеи и литературные метафоры, что красноречиво говорит о психологии автора, принадлежащего к сословию, которое получало от войн наибольшие материальные блага. И, наверное, не случайно столь часто употребляются в поэме определительные и метафорические слова, связанные с понятием «золото». Тут и «злат стремень», и «злаченые шеломы», и «злат стол», и «терем златоверхий», и «злато слово», и «злаченые стрелы», и «злато ожерелье», и так далее, а всего *двадцать два* словоупотребления только этого ряда.

Литературное творчество подчиняется определенным законам психологии, и образная система того или иного писателя складывается из наиболее близких ему понятий и впечатлений. Продолжая тему о целях похода и пытаясь поточней установить сословную принадлежность автора, обратим также внимание на одно чрезвычайно приметное слово и понятие — *слава.* Куряне скачут, «ищучи себе чти, а князю *славе*». «Бояновы живые струны сами князем *славу* рокотаху». «Бориса же Вячеславлича *слава* на судъ приведе...» Игорь и Всеволод «рано еста начала... себе *славы* искати». Всеслав «разшибе *славу* Ярославу».

Слава — высшая, нематериальная и, в частности, оправдательная цель похода. Стремление князей к воинской славе настойчиво подчеркивается по всему тексту, «славой» ретроспективно оцениваются княжеские деяния, «слава» приобретает иногда оттенок иронии или осуждения, углубляя смысл поэмы. Столь широкое и многооттеночное употребление этого слова для характеристики князей и их поступков наиболее естественно и закономерно для автора-князя, досконально знавшего свою среду, историю, политические сложности тех времен, подробности событий, оперирующего близкими ему и его сословию понятиями. Автора «Слова» прежде всего волнуют «честь и слава родины, русского оружия, князя как представителя русской земли» (Д. С. Лихачев).

Для подтверждения нашей мысли сделаем одно простое сравнение. Таинственный Даниил Заточник со своим блистательным «Словом» был, в сущности, современником автора «Слова о полку Игореве». Его волновала прежде всего собственная судьба, хотя

обращение к князю и морализаторские рассуждения о князьях могли вызвать словоупотребления, о которых мы ведем речь. Так вот, Даниил Заточник, человек невысокого общественного положения, только единожды упомянул о «славе», и то по отношению к богу. А в «Слове о полку Игореве» «слава» упоминается *пятнадцать раз, и везде только применительно к князьям!*

О социальном положении автора красноречиво говорит и одно из наиболее употребительных слов поэмы, властно держащее внимание читателя в определенном круге понятий. Слово это, к которому то и дело обращается автор-князь,—«князь». *Оно в поэме встречается тридцать пять раз!* Всего же князья упоминаются более ста раз, в том числе по именам, отчествам, «фамилиям», то есть по именам дедов, посредством обращений, местоимений, художественных сравнений, метафор, а также иносказательно, подчас в сложной форме.

«Даждьбожьи внуки», например,— это все же не «русский народ», а князья! Сразу после описания разгрома и пленения Игоревых полков: «Въстала обида въ силах Дажьбожа внука...» Едва ли «силы» Игоря — это силы русского народа; автор-князь не мог употребить столь высокий художественный троп (Даждьбог — сын Сварога, бога Солнца) по отношению к смердам и ремесленникам, хотя и составлявшим тогда большинство населения Руси, но не игравшим заметной социально-политической роли. Еще раз внук Даждьбога упоминается в связи с «обидой» Олега, деда Игоря.

Суждение о том, что под внуками Даждьбога в поэме подразумевается «русский народ»— понятие, еще не успевшее тогда сформироваться,— сделано только на основании этих двух ее контекстов. *Никаких других источников, подтверждающих это умозаключение, не существует, каких-либо параллелей в летописях, светской, религиозной и апокрифической средневековой нашей литературе нет.* Зато есть авторитетные мнения, что под «Даждьбожьими внуками» подразумеваются в «Слове» именно русские князья. «Смысл этих двух контекстов одинаков: Олег и Игорь —«внуки» (потомки) Даждьбога» (А. Н. Робинсон). Крупнейший современный знаток темы в своем фундаментальном труде о славянском язычестве пишет, что в поэме «Дажьбожьим внуком», то есть «внуком Солнца», назван *русский князь* из Приднепровья, что позволяет сближать отголоски языческих мифов, сохранившиеся до XII в. н. э., с древними мифами о потомках солнца, существовавшими в этих же местах в V в. до н. э.» (Б. А. Рыбаков. Язычество древних славян, с. 434).

Из метафорических слов обратим особое внимание на одно ключевое — *сокол.* «О! далече заиде *сокол,* птиць бья — к морю»; «Коли Игорь *соколом* полете...»; «Се бо два *сокола* слетеста съ отня стола злата поискати града Тмутороканя»... Шестнадцать подобных фраз, и в *каждом* случае этот образ применяется *только к князьям!* Кроме того, один раз назван подвид сокола кречет,

один — князья-шестокрыльцы, то есть «соколы», а тмутараканский «болван», которого предостерегает Див,— это, возможно, «болъбанъ», то бишь балобан, крупная птица из породы соколиных, хорошо поддающаяся дрессировке. Такое предположение уже высказывалось, а я однажды писал о том, что от древнего славянского слова «рарог» (по-польски «балобан»—«раруг») произошло имя Рюрик, а внук Гостомысла Рюрик «з братиею» был призван на Русь из племени прибалтийских славян, называвших себя рарогами. Сокол-балобан был древнейшим тотемом этого племени, а русские князья, потомки Рюрика, сохранили символическое изображение сокола в своей родовой геральдике, в частности на клеймах плинф и монетах в виде «трезубца».

Интересное предположение высказал Г. Карпунин в своей работе «По мыслену древу» (Сибирские огни, 1978, № 12, с. 151 — 152), обративший внимание на сложную матафору в начале поэмы: «Боян же, братие, не 10 соколов не стадо лебедей пущаще, нъ своя вещие пърсты на живыя струны въскладше; они же сами княземъ славу рокотаху». Он пишет: «Но вот любопытная деталь — в центральной части поэмы, обращаясь к русским князьям с призывом вступить в стремя «за обиду сего времени, за землю Русскую, за раны Игоревы», автор называет ровно десять имен». (Это не совсем точно — призыва вступить «за раны Игоревы» к четверым из перечисленных десяти князей нет. Но сама догадка очень любопытна.) «Не наводит ли все это на мысль о четкой образной параллели: десять соколов, десять перстов, десять князей?.. Автор «Слова», творя песнь Игорю, тоже стремится напустить десять соколов на стадо лебедей, но его соколы не вещие персты, а русские князья, его лебеди не гусельные струны, а половцы».

Дополняя Г. Карпунина пояснением, что сокол — древний тотем Рюриковичей, символ их княжеской власти, а лебедь — такой же древний анималистический тотем половцев, хочу поделиться с читателем поразительным совпадением, обнаруженным мною когда-то в Чернигове. На бронзовой доске, висевшей в Спасо-Преображенском соборе до середины 30-х годов, пока ее не сдали в металлолом, было перечислено ровно десять захоронений, начиная с первого черниговского князя Мстислава Владимировича. Долго искал в своих старых блокнотах копию с этой мемориальной записи, когда-то переданной мне тамошними краеведами, и мучительно вспоминал, кто из черниговских князей был похоронен в Спасе в давние времена — Мстислав, Святослав Ярославич, дед князя Игоря Олег Святославич, отец Святослав Ольгович, дядя Игорь Ольгович, двоюродный брат Ярослав Всеволодович... Больше никого не вспомнил. Потом случайно нашел ту копию в потрепанной записной книжке и разочаровался: да, захоронений в Спасе было ровно десять, но одно из них, 1151 года, было не княжеское, а митрополита Константина, и одно, последнее, относилось к 1246 году — останки великого князя черниговского Михаила Всеволодовича и его боярина Федора, убиенных в Орде, привезли, оказывается, в их родной город...

Не собираясь искать в «Слове» какого-либо мистического смысла, я должен сообщить читателю и еще об одном удивительном совпадении. После деда Игоря Олега Святославича в XII веке на черниговском «отнем столе», полученном Святославом Ярославичем по завещанию отца, княжили Давыд Святославич, Ярослав Святославич, Всеволод Ольгович, Владимир Давыдович, Изяслав Давыдович, Святослав Ольгович, Святослав Всеволодович, Ярослав Всеволодович, Игорь Святославич. Всего же — ровно десять князей!

О том, что о социальном положении автора в какой-то мере можно судить по метафорической конкретике его произведения, мы убедимся на простом примере, обратившись к богатому зоологическому антуражу другого высокохудожественного творения старой русской словесности —«Слову» Даниила Заточника. В образной системе этого автора, стоявшего, повторимся, на одной из низших ступенек общественной лестницы,— обобщенные «птицы небесные», «скоты», «рыбы», «змии лютые», какой-то «велик зверь» и названия двенадцати животных: кони, львы, псы, свиньи, волк, ягненок, овца, серна, коза, рак, белка и еж, одно насекомое — пчела, нетопырь, то есть летучая мышь, и четыре вида пернатых — утя, орел, ястреб и синица. Ни пардуса, ни тура, ни, главное, сокола!

«Соколиной» образностью,— отмечала В П Адрианова-Перетц,— пронизана вся поэма — почти *двадцать* раз употребляется этот художественный троп». Почти двадцать раз! Д. С. Лихачев пишет, что «поэтика «Слова» не допускала упоминания художественно-случайного или художественно малозначительного». И несомненно, что «соколиная» образность поэмы неразрывно связана с личностью автора-князя, избирательностью его поэтики.

Есть в поэме и еще одно, особо важное слово свидетельствующее о социальном положении автора и окончательно открывающее замочек давней тайны.

Слово «брат» употребляется в поэме *девять* раз. В семи случаях оно, несомненно, значит «родной брат по отцу и матери»: «Игорь ждетъ мила *брата* Всеволода», «Одинъ *братъ*, один светъ светлый — ты, Игорю!» И так далее.

Но вот приметное, переходное по смыслу место: «Усобица княземъ на поганыя погибе, рекоста *бо братъ брату:* се мое, а то мое же...» Не согласен с теми комментаторами, которые считают, что здесь имеются в виду только братья по крови, а не князья вообще. Например, с В. Л. Виноградовой (Словарь-справочник «Слова о полку Игореве», 1965, вып. 1, с. 68) Да, и князья, родные братья, конечно, могли говорить друг другу эти эгоистичные слова, но ведь в той же фразе речь идет вообще о князьях, ослаблявших Русскую землю усобицами! И в следующей «И начяша князи про малое «се великое» млъвити, а сами на себе крамолу ковати» А если еще мы учтем личный политический опыт Игоря

у которого никогда не было усобиц с родным братом Всеволодом, так же как, скажем, у родных братьев Святослава киевского и Ярослава черниговского, у Давида и Рюрика Ростиславичей, у сыновей Игоря, то выражение «Слова» «брат брату», безусловно, следует понимать как обобщительное «князь князю».

Обратим пристальное внимание на это примечательное обращение в «Слове»—«братие», и поговорим о нем подробнее из-за его особой значимости. «Не лепо ли ны, бяшетъ, *братие*, начяти...»; «Боян же, *братие*, не 10 соколов...» Всего в «Слове» *девять* подобных авторских обращений.

Слова «брат, братья, братие» очень широко употреблялись во времена русского средневековья применительно именно к князьям, в их сношениях друг с другом. Из письма Владимира Мономаха Олегу Святославичу, деду князя Игоря: «Посмотри, *брат*, на отцов наших: что они скопили и на что им одежды?» А вот другие фразы из «Поучения» Мономаха, в которых слова «братья» и «братия» синонимичны понятию «князья»: «Встретили меня послы от *братьев* моих...»; «Что лучше и прекраснее, чем жить *братьям* вместе»; «Я не раз *братии* своей говорил...»; «Ибо не хочу я зла, но добра хочу *братьи* и Русской земле».

Под «братьями» и «братией» подразумеваются князья и в черниговском «Слове о князьях». В первой же строчке страстной проповеднической речи, адресованной князьям-братии, как бы подчеркивается однозначность этих двух понятий: «Одумайтесь, *князья*, вы, что старшей *братии* своей противитесь, рать воздвигаете и поганых на *братью* свою призываете...» Давыд Святославич, говорится далее, «старший был меж *братией* своей...»; «Если кто кривду какую ему чинил из *братьев*, он вину на себя перелагал...»; «*Братья*, видя такое его беззлобие, слушались его...»; «Постыдитесь же вы, враждующие с *братией* своей».

Обратимся также к летописям. Юрий Долгорукий приглашал в 1146 году отца Игоря Святослава Ольговича: «Приди ко мне, *брате*, в Москов». «*Брате* и сыну!»— так, согласно летописи, обращался современник Игоря, персонаж «Слова», великий князь киевский Святослав к своему двоюродному дяде по матери Всеволоду владимиро-суздальскому, который в свою очередь точно так же обращался к Роману галицко-волынскому. «Сыну»— это была форма изъявления политического патронажа, «брате»— традиционное обращение князя к князю. Абсолютная идентичность понятий «братия» и «русские князья» сквозит в татищевском переложении событня 1117 года: «Ярославец владимирский, сын Святополч, емлет согласие с ляхами противо *братии своея, русских князь*, и многие обидит волости». Б. А. Рыбаков однажды процитировал тот же источник, излагающий политическое кредо Романа галицкого (1203 год); киевский князь должен «землю Русскую отовсюду оборонять, а в *братии, князьях русских* добрый порядок содержать, дабы един другого не мог обидеть и на чужие области наезжать и разорять». Можно привести *сотни* летописных текстов, где слова «братие», «братия» исходят от князей, адресованы князьям и выражают не

родственные, а политические отношения. Не стану я множить примеров, лишь попрошу любознательного читателя отметить для себя обращение «братие», выделенное мною курсивом в цитатах последующего текста.

В «Словаре-справочнике», между прочим, приводится одиннадцать примеров из летописей и других старинных источников, и в большинстве из них *слово «братие» синонимично слову «князья»!* Наиболее же характерные в этом смысле примеры из черниговской литературы — «Поучения» Мономаха и «Слова о князьях» — почему-то отсутствуют, и нельзя согласиться с составительницей очень полезного справочника, когда она пишет, что «братие» — это лишь «обращение к читателям или слушателям», а также «соратникам, соплеменникам, товарищам» (вып. I, с. 70). И трудно ее понять, когда она совершенно не замечает тогдашнего чрезвычайно распространенного употребления этого слова в смысле «князья»! «Уже *бо, братие,* невеселая година въстала...» «А въстона бо, *братие,* Киевъ тугою, а Чернигов напастьми...» Нет сомнений, что автор «Слова» обращается не только к родным братьям или просто читателям, но *прежде всего* к русским князьям, которых он пытается встревожить и объединить описанием бед невеселой годины.

Сделаем также простое текстуальное сравнение литературных памятников XII века. «Слово о князьях», «Слово» Даниила Заточника и летописи, безусловно, писаны не князьями — в них нет *ни одного* авторского обращения к «братии». «Слово о полку Игореве» написано князем, потому что там таких обращений множество, а в одном примечательном месте поэмы Игорь совершенно отчетливо числит отдельно «братию» (князей) и «дружину», «войско», обращаясь к ним: «*Братие* и дружино! луце жъ бы потяту быти, неже полонену быти...»

Правда, приметное это обращение адресовалось в наше средневековье и монашествующей «братии» и — очень редко! — другим категориям слушателей или читателей, но, как мы убедились, в светской литературе и летописях оно употреблялось прежде всего как обращение князя к князьям. Не могу не сослаться на авторитетное мнение академика А. С. Орлова: «Светские» примеры из русской летописи XI—XII вв., повествовавшей главным образом о междукняжеских отношениях, дают слово «братия», «братья» преимущественно в значении то всей группы русских князей, то группы князей союзников, и не только родных по крови» (Слово о полку Игореве./Ред. и коммент. А. С. Орлова. М.—Л., 1938, с. 88).

Что же касается обращений автора «Слова» к читателям или слушателям, то и обращался он, несомненно, прежде всего к князьям, как и Мономах в своем «Поучении», о чем мы еще вспомним. Да одна только фраза, в которой столь прекрасно сказано об опьянении битвой родного брата Игоря буй-тур Всеволода, содержащая также вроде бы абстрактное обращение «*дорога братие*», свидетельствует о том, кому именно адресует автор свои страсти! И вот еще одно совпадение: согласившись, что под выражением

«рекоста бо *брат брату*» подразумевается обращение князя к князю, а «братие» значит «князья», то всего в поэме десять таких обращений.

Главный вывод: *если «братие» в «Слове»— это «князья», в чем едва ли допустимо сомневаться, то разве мог так обращаться к князьям дружинник, воевода, боярин, придворный певец, музыкант или келейный писец? Так мог обращаться к ним только автор-князь!*

И многие исследователи издавна отмечали сословное политическое мировидение автора, избирательность и направленность его взгляда. Известный историк прошлого века Д. Иловайский (1859 год): «Везде они (князь и дружина) представляются понятиями неразрывными, и притом едва ли не олицетворяющими собой понятие о всей Русской земле. Народ или, собственно, «черные люди» остаются у него в тени, на заднем плане». Поэт А. Майков (1870): «Песнь возникла не в народе, но в другой, высшей сфере общества. Это листок от того же дерева, но с другой ветви». Советский исследователь В. Невский (1934): «Прежде всего поражает «Слово» тем, что народ, смерды, их жизнь, их участие абсолютно в нем не отражается... Для автора, конечно, ближе всего были интересы его класса, интересы *княжеские»* (курсив автора.— *В. Ч.*). В. Ржига (1934): *«Мысль о принадлежности автора к княжеской среде является вполне мотивированной».* А. Никитин (1977): «...скорее всего, это был не боярин, не дружинник, *а высокообразованный князь;* не поэт, в прямом смысле этого слова, но писатель, привыкший владеть пером, может быть, лучше меча, а потому первый понявший горестную судьбу, ожидающую русскую землю». И. Державец (1979): «...разбираясь постепенно в «темных местах» «Слова о полку Игореве», я все больше и больше убеждался, что первоначальный текст «Слова», до его искажения позднейшими переписчиками, был написан ИМЕННО КНЯЗЕМ, человеком княжеского сословия... Кто, как не князь, был одновременно воином и государственным человеком? В чьем быту, как не в княжеском, сохранялись долее всего пережитки дохристианского быта?.. Почему мы должны отказывать князьям в литературном таланте и патриотизме?»

Карл Маркс внимательно читал «Слово о полку Игореве» и точнейшим образом выразил его суть: «Это призыв русских князей к объединению как раз перед нашествием монголов». В таком переводе эту формулу можно понять и как «призыв, обращенный к русским князьям», и как «призыв, исходящий от русских князей»...

Итак, художественная символика и конкретика «Слова», выраженная посредством множества характерных образов, сравнений, понятийных категорий и отдельных слов, свидетельствует в пользу *принадлежности автора к княжескому сословию.*

43

Академик Д. С. Лихачев дал подробную и квалифицированную характеристику автора «Слова».

Автор «несомненно современник событий», «не только знает больше, чем летописцы,— он видит и слышит события во всей яркости жизненных впечатлений», «несомненно», был книжно образованным человеком», «знает и живо ощущает степную природу XII в.», «правильно употребляет сложную феодальную и военную терминологию», «разбирается в политическом положении отдельных русских княжеств», «употребляет тюркские слова в их типичной для XII в. форме». И далее: «Археологически точны все упоминания в «Слове» оружия и «указания на одежду», «этнографически подтверждены и древнерусские поверья, отразившиеся в сне Святослава Киевского». Исследователь отмечает патриотическую позицию автора, приводит примеры точности его исторических указаний.

Вспомним также мнение Б. А. Рыбакова: автор был *«государственным человеком» и «достаточно могущественным, для того чтобы писать так, как хотел»*, то есть, по нашим предположениям, являлся князем. Эта развернутая характеристика, однако, не полна!

Пришла пора добавить нам к подробной характеристике автора «Слова» существенное дополнение — *он прекрасно знал не только основные события похода, битвы, пленения и бегства Игоря, но и мельчайшие детали этих событий.* Откуда? «Только ли на основании «молвы» и «славы» были известны автору «Слова» обстоятельства похода Игоря Святославича? Исследователи неоднократно отмечали близкое знакомство автора «Слова» с походом Игоря и обстоятельствами его бегства. Автор «Слова» как бы видит и слышит события, его зарисовки удивительно конкретны... С уверенностью ответить на вопрос о причинах точной осведомленности автора об обстоятельствах и деталях похода Игоря вряд ли удастся» (Д. С. Лихачев. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978, с. 122).

Когда половцы среди ночи неготовыми дорогами «побегоша к Дону великому», автор слышит, как «крычатъ телегы полунощы, рцы лебеди роспущени». Удивительное место! Полночный скрип и грохот — крик! — половецких телег, плеск колес по бо-

лотнищам, панический шум, шорох и хлопанье на ветру полотняных палаток, приглушенный говор на чужом языке, испуганные вскрики женщин и детей — все это сравнивается с лебединым всполохом. (Напоминаю, что лебедь — древний тотем половцев-куман; «кум» на половецком языке значит «лебедь».) Звучащая картина сражения на Суюрлюе не могла быть придумана в темной келье или светлой светлице, это надо было услышать!

«Съ зарания въ Пятокъ ПотоПташа Поганыя Пълкы Половецкыя...» *Зачем неочевидцу было уточнять время дня и день недели?* Да и мог ли он это сделать, сидя, скажем, в Киеве? А изумительная звукопись, передающая конский топот, говорит о том, что автор, быть может, долго искал эту дивную аллитерацию и счастливо нашел, начав ее с малозначащего для смысла поэмы, но важного для звукописи стиха уточнения «в пяток»... А вот характерная перечислительная подробность, совсем бы необъяснимая в столь краткой и содержательной повести, если б автор не *видел сам,* как после первой победы воины помчали красных девок половецких, а с ними «злато, и паволокы, и драгыя оксамиты», затем начали «мосты мостити по болотомъ и грязивымъ местомъ» менее ценными трофеями — покрывалами, плащами да кожухами.

Вслушаемся в авторскую речь... «Что ми шумить, что ми звенить давечя рано предъ зорями?» Поразительный по силе выражения чувства вопрос, заданный во время решающей битвы, конечно, человеком, который мучительно думал об исходе сражения, о дальнейшей судьбе своей. Этот вопрос поэмы свидетельствует также о том, что автор был поэтом, как говорится, божьей милостью и в его душе уже в те дни и ночи, возможно, сами собой откладывались детали и подробности, что оживут позже, извлеченные из памяти творческой силой.

На присутствие автора в поэме одним из первых обратил внимание К. Д. Ушинский, анонимно рецензируя во второй книжке «Современника» за 1854 год только что вышедший из печати стихотворный перевод «Слова» Николая Гербеля. Он писал, что автор «и сам, как видно из нескольких мест поэмы, участвовал в походе северского князя».

Е. В. Барсов, анализируя в своем фундаментальном трехтомном труде описание главного сражения, размышлял: «Из всех событий этого сражения автор воспроизвел для нас один из самых знаменательных моментов, в котором сказалось сочувствие Игоря к своему брату, уже изнемогавшему в борьбе и даже изломавшему свое оружие. Игорь, сам раненый, рвался воротить бежавшие полки, чтобы оказать ему помощь. Момент этот выражен так живо и так художественно, что как будто автор очертил его на самом поле сражения» (Е. В. Барсов. «Слово о полку Игореве» как художественный памятник киевской дружинной Руси, т. 2, с. 30).

Адам Мицкевич в своих парижских лекциях о «Слове» говорил, что в поэме «все картины нарисованы с натуры». «Рассказ о битве, как заметили многие исследователи,— писал в 1915 году

англичанин Л. Магнус в работе, изданной Оксфордским университетом,— столь резко очерчен и содержит такие подтверждающие и убедительные подробности, что все это заставляет предполагать, что поэт был либо очевидцем, либо участником сражения».

Академик С. П. Обнорский: «Автор «Слова» был близким лицом к самому князю, вместе с ним участвовал в княжеских потехах (соколиная охота и пр.), вместе с ним был живым участником и самого похода на половцев» (Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М.— Л., 1946, с. 196).

Правда, Пушкин не был под Полтавой, Толстой под Бородином, значит, и автор «Слова» мог написать обо всем заглазно, опираясь только на личный жизненный опыт и воображение? Нет. Ведь XIX век — совсем другая литературная эпоха! Средневековая нежитийная русская словесность не прибегала к вымышленным сюжетам, и писатели еще не умели или не решались *сочинять* детали. «Автор «Слова», воссоздавая прошлое или обращаясь к настоящему, *не домысливает его, а воспроизводит путем отбора реальных деталей*. Его поэтическое воображение *всегда* имеет реальную основу, опирается на конкретные детали. Он может гиперболизировать ту или иную черту в своем герое, но *не придумать ее*» (Д. С. Лихачев. «Слово о полку Игореве» и культура его времени», с. 116). Подчеркнем, что речь идет о «реальных деталях» и «чертах героев», а «поэтическое воображение», опирающееся на «конкретные детали», помогло автору воссоздать монолог Ярославны, беседу бояр со Святославом Всеволодовичем и диалог Гзы с Кончаком, при которых он, конечно, не присутствовал, но хорошо знал всех этих реальных людей и живо представлял конкретные ситуации, в которых они могли высказать такие мысли. Это был новаторский для того времени литературный прием, своего рода переходной мосток, через который авторы более поздних времен пришли к вымышленным монологам и диалогам героев, никогда в жизни не существовавшим и поставленным в ситуации, созданные творческим воображением.

Присутствие автора угадывали и в описании пленения, и в картинах побега, начиная с динамичной, передающей беспокойство, тревогу и надежду фразы: «Игорь спитъ, Игорь бдитъ, Игорь мыслию поля меритъ отъ великаго Дону до малого Донца». Переводческая судьба последующего полутора десятка слов заслуживает особого разговора — на этом примере можно убедиться, как сложно подчас понять автора «Слова» и как мы подчас далеки от него по своей *степени понимания*.

Приведу это интереснейшее место без знаков препинания, как это было в подлиннике, сохранив лишь разбивку на слова. «Комонь в полуночи Овлуръ свисну за рекою велить князю разумети князю Игорю не быть». Первые издатели в своем переложении во множестве случаев испортили текст. Например, изумительная аллитерация фразы, начинающейся со слов: «Съ зарания въ пятокъ...», переведена, скажем, таким образом: «На заре в

Пятницу разбили они Половецкие нечестивые полки». Ритм и звукопись, передающие победный конский топот, пропали совершенно! А вот переложение слов, начинающихся с «Комонь в полуночи...». «Къ полуночи приготовлен конь. *Овлуръ* свиснул за рекою, чтобы Князь догадался. Князю *Игорю* само не быть». Л. А. Булаховский, вчитываясь в текст подлинника, писал: «...*Комонь* как винительный падеж ед. числа впереди подлежащего мне представляется для «Слова» малоправдоподобным; по-видимому, в этом сомневался и Потебня». И ученый принял конъектуру «комоньнъ» Маньковского, с которой согласилась Перетц, отчего фраза в переводе приняла такой вид: «Конный Овлур свистнул за рекою; велит князю разуметь — словно крикнул князю Игорю». Другие переводчики не замечали, как говорится, «падежов». «В полночь Овлур свистнул коня за рекою, велит князю разуметь; (но) князю Игорю (понять) не пришлось...» (А. С. Орлов). «Вот свистнул комоня Овлур в туманах» (Г. Ф. Карпунин). И так далее — почти в любом переводе, вплоть до явной отсебятины и прозаизмов в переложениях, претендующих на поэтизацию и рифмизацию «Слова»: «Кони оседланы. В полночный час условленным свистом Овлур за рекой свистнул — велит поторапливаться! И решился князь» (А. Чернов).

В подлиннике же после слов «Игорь спитъ, Игорь бдитъ, Игорь мыслию поля меритъ отъ великаго Дону до малого Донца» таится как в раковине, подлинная художественная жемчужина: «Комонь въ полуночи». Точка! Кстати, к чести первоиздателей «Слова» она была поставлена в 1800 году... Мелкое *уточнение?* Нет! Вы помните точку в конце первой строки пушкинского «Узника»? Стихотворения *не понять* без этой точки — она определяет в какой-то мере политическую суть произведения. Функция точки в данном месте «Слова» и художественная и смысловая... «Конь в полуночи». Впрочем, здесь можно поставить и восклицательный знак и отточие... И сразу перед глазами силуэт коня в лунном свете, ночная степь с ее тонкими звонами и шорохами, оттеняющими чуткую тишину, чистые запахи трав, освежающие дуновенья, а в семантической паузе — тайная, щемящая душу тревога Игоря, сторожкая готовность сорваться с места в бешеном поскоке-бегстве... Эта лапидарная, емкая фраза, представляющая собою как бы миниатюрнейшее стихотворение в прозе, стоит в ряду таких метафорических шедевров поэмы, как, например, «копиа поютъ». Глубоко поэтичную, символическую картинку надо было *увидеть,* найти для ее словесного выражения кратчайшую форму и место в тексте. Великий поэт!

После прекрасной живописной фразы «Комонь в полуночи», которая по законам ассоциативного художественного мышления смыкается с предыдущей, совершенно логично и естественно: «Овлуръ свисну за рекою, велить князю разумети: князю Игорю не быть!» То есть «не быть живу» — по давней догадке П. П. Вяземского, опирающейся на летопись: Игорь в плену, возможно, даже той ночью узнал, что разъяренные Гза и Кончак по возвра-

щенин из неудачных набегов собираются убить пленника. Впрочем, «Слово», в отличие от всех других художественных произведений мировой литературы, написано так, что многие его образы, фрагменты, фразы, отдельные слова, недомолвки и даже умолчания можно толковать по-разному; смысловая многооттеночность — одно из великих достоинств поэмы, и только из-за одной этой ее характернейшей особенности изучение «Слова о полку Игореве» не прекратится никогда. Уверен также, что любой перевод никогда не исчерпает «Слова», не передаст всей глубины его содержания...

Но продолжим разговор об «эффекте присутствия». Обладавший тонкой художественной интуицией Аполлон Майков, вчитываясь в «Слово», уловил явное присутствие автора в поэме: «Верность, реальность красок — эти стан птиц, провожающих войско, эти клекчущие орлы, лисицы, брешущие на червленые щиты, эта чудная идиллия бегства Игоря, его речь к Донцу; эти дятлы, ползущие по ветвям и тектом путь ему указывающие; этот ветер, шатающий вежи половецкие; этот скрип телег кочевников, ночью подобный крику всполошенных лебедей; битва, этот буй-тур Всеволод, в свалке посвечивающий своим золотым шеломом,— вся живая обстановка, взятая с натуры, ясно говорит, что песнь об Игоре не есть риторическое упражнение на заданную тему. Вы чувствуете, что автор был свидетелем и участником похода, да и плена...»

В последней по времени книге о «Слове» (Г. В. Сумаруков. Кто есть кто в «Слове о полку Игореве». М., 1983) автор-биолог, отметивший «странное» поведение некоторых животных в поэме, не соответствующее времени года и обстоятельствам, утверждает, что под этими животными-тотемами подразумеваются половцы различных родов. Судя по опубликованной схеме расположения половецких становищ, Игорь шел на битву и бежал из плена действительно через территории, занятые вежами и табунами степняков, родовыми тотемами которых были лебеди, волки, лисицы, змеи и др. Если эта гипотеза имеет под собой какую-то реальную основу, то скорее всего участник похода, пленения и бегства в таких подробностях знал попутную дислокацию половецких родовых становищ, своеобразно, в метафорической форме отразившуюся в поэме.

Генерал В. Г. Федоров, будучи военным человеком, усматривавшим в изложении подробностей битвы *несомненное* авторское присутствие, обращал также внимание на картины бегства: «...автор указывает на такие детали, которые могли быть отмечены только человеком, претерпевшим все трудности побега. «Когда Игорь соколом полетел, тогда Овлур волком побежал, стряхивая собою студеную росу: оба ведь надорвали своих борзых коней». Скрываясь от погони, беглецы могли двигаться только в сумерки, ночью или на рассвете по степной траве, покрытой обильной росой. Только человек, бывший вместе с беглецами, мог отметить такую подробность, как обильная роса на степной траве» (В. Г. Федоров. Кто был автором «Слова о полку Игореве» и где расположена река Каяла. М., 1956, с. 135).

«Вместе с беглецами»— значит, тоже беглец. Основной предварительный вывод: *автором поэмы был черниговo-северский князь, участник описанного в ней похода, битвы и бегства из плена.* То есть... Кто?

С замечательным архитектором-реставратором Петром Дмитриевичем Барановским, который за семьдесят пять лет творческой жизни охватил своим вниманием и созидательной, восстановительной деятельностью сотни памятников истории и культуры от Азербайджана и Грузии до Колы, от западных границ Белоруссии и Украины до Волги, мы почти при каждой встрече говорили о «Слове». У него собрана хорошая коллекция изданий «Слова», книг и вырезок о нем, и я еще застал время, когда архитектор, вооружившись сильнейшей линзой, увлеченно разбирал эти бумаги.

— Никто лучше Шарлеманя не понял природу в «Слове»,— сказал он мне однажды, подняв слезящиеся, почти уже ничего не видящие глаза.

— Да, это верно, и у меня есть все его работы.

— Все?— спросил Петр Дмитриевич и улыбнулся своей детской улыбкой.— Вы уверены? Слышали о его докладе 1952 года на заседании «Комиссии Союза писателей по «Слову»?

— Нет. Я тогда был студентом.

— Он не мог приехать, тяжело болел, и доклад прочел кто-то другой. Там была одна завлекательная идея... С Николаем Васильевичем мы дружили. Это был великий труженик. Триста работ по зоологии, тридцать по «Слову». Прекрасно знал Киев. Жил по соседству с Софией, умер одиноким. Доклада уже не найти...

В последний раз мы были с П. Д. Барановским на «Комиссии по «Слову» осенью 1975 года, и заседание, посвященное 175-летию первого издания поэмы, стало последним. Четверть века эта *постоянная* комиссия Союза писателей СССР, созданная по инициативе и при активном участии Ивана Новикова, Николая Заболоцкого и Николая Рыленкова, плодотворно работала, выпустила немало интересных, полезных сборников, и вот по причинам, как говорится, от нее независящим, прекратила свое существование, превратилась в *постоянно бездействующую.* Как легко мы позволяем прерывать добрые дела!..

А доклад Н. В. Шарлеманя 1952 года я все же нашел у одного из старейших членов бывшей «Комиссии...»— ученого-филолога В. И. Стеллецкого, чей перевод «Слова» опубликован в блокадном ленинградском издании, а докторская диссертация о ритмическом строе поэмы защищена совсем недавно. С Владимиром Ивановичем мы часами говорим о «Слове» и прерываемся только тогда, когда кто-нибудь из нас вконец изнеможет. И вот однажды он подарил мне фотопортрет и слепой экземпляр того давнего доклада Н. В. Шарлеманя, надписав, что передаривает рукопись «энтузиасту-неофиту». Она меня удивила и несказанно обрадовала. Дело в том, что, интересуясь с юности «Словом», я начал вести системати-

ческие заметки о нем с 1968 года, когда приступил к «Памяти», закончив цикл сибирских повестей. Взялся рьяно пополнять книжную Словиану, исписал множество карточек, тетрадей и блокнотов, спустя несколько лет придя к основному выводу, в который сам с трудом верил — так он отличался от всех предыдущих. Шел я своим путем, параллельным, написал к тому времени бóльшую часть своего эссе о «Слове» и был рад, что киевский ученый задолго до меня высказал такую же гипотезу об авторстве поэмы,— все ж не я один, был предшественник и единомышленник! Доклад прочли много лет назад в довольно узком кругу, однако юридически это значит, что он был все же опубликован. Обратимся к нему...

«Автор не только современник событий, отраженных в «Слове», но и одно из действующих в нем лиц. Он лично принимал участие в походе, в битвах, был в плену и бежал из плена. К такому убеждению независимо друг от друга пришли: один из наиболее внимательных исследователей «Слова» натуралист и филолог М. А. Максимович (Киев, 1879) и поэт Ап. Майков, лучший переводчик «Слова», изучивший его под руководством акад. И. И. Средневского. Участие автора «Слова» в событиях, по-видимому, недостаточно ощутимо для большинства специалистов, представителей гуманитарных знаний. Для натуралиста, при внимательном анализе «Слова», эта мысль не вызывает ни малейших сомнений. В последнее время В. Г. Федоров, анализируя «Слово» с точки зрения военных вопросов, об участии автора в событиях высказался вполне определенно. «Достоверен факт,— пишет он,— что автор «Слова» был участником похода, боев, плена и бегства Игоря. Это мы твердо знаем по анализу содержания «Слова» (Москва, 1951)... Об осведомленности автора, большей, чем летописцы, писал еще Ом. Партыцкий (Львов, 1883)... О близком знакомстве автора «Слова» с княжескими родами свидетельствует прежде всего само «Слово». В. Ф. Ржига, уделивший много внимания вопросу об авторе, отмечал, что в «Слове» «не только не видно отдельных персонажей дружинников, но, напротив, весь памятник наполнен исключительно княжескими образами: одних князей упоминается здесь свыше тридцати, причем многие из них не просто упоминаются, а показываются в метких поэтических характеристиках, свидетельствующих не только о внешней, но и о внутренней близости автора к данной среде. Видно, что автор прекрасно знает многих представителей княжеского рода и живет их мыслями и чувствами. Его реальная осведомленность отличается широтой, точностью и проницательностью» (Москва, 1934)...

«Автор близко знал названных в «Слове» лишь по отчеству Евфросинью Ярославну и Ольгу Глебовну,— пишет далее Н. В. Шарлемань,— он знал «свычая и обычая красныя Глебовны». Образ плачущей Ярославны на забороле Путивля запечатлелся в его памяти (это отметил Ап. Майков). Не только галицкие дела, но и положение Святослава Киевского особо интересовали автора. Ему известны были затаенные мысли Святослава Киевского, он хорошо был знаком с подступами к Киеву Наконец, что особенно

важно, он был осведомлен о состоявшемся за пять лет до событий, описанных в «Слове», тайном соглашении Игоря с Кончаком о предстоящем браке Владимира и Кончаковны... Он знал географию страны от Дудуток под Новгородом на севере до Тмутаракани на юге, от Угорских ворот и Галича на западе до Волги на востоке, он был знаком с элементами орографии, ландшафтов, метеорологии, растительности, особенно хорошо он знал животный мир... В целом об авторе недостаточно сказать, что он был «книжно образованным человеком». По-видимому, и «премудрый книжник» Тимофей имел такое образование. Автор «Слова» не только овладел знаниями из книг, он приобрел их и иными путями, преимущественно личным опытом в практической жизни. Ни в одной из книг он не мог прочитать, что сокола линяют во время выкармливания птенцов или что когда над морем идет смерч, то под ним волнуется вода, а вверху водяного столба клубятся тучи... Без сомнения, он был знатоком литературы, в частности песнотворчества Бояна...

Для решения вопроса об имени автора «Слова», по-видимому, некоторое значение имеет та часть произведения, в которой описано бегство Игоря из плена [...] вдвоем с Овлуром... Лишь один Игорь участвовал во всех событиях. Как сказано выше, четыре исследователя разных специальностей пришли к твердому убеждению, что автор «Слова» лично участвовал во всей эпопее... Таким образом, необходимо допустить, что автором «Слова» был сам Игорь».

Этот неждачный вывод, сделанный еще в начале 50-х годов Н. В. Шарлеманем, не прибегавшим к анализу лексики «Слова», топонимическим и другим ориентирам в поэме, не выяснявшим социального положения автора, никем и никогда серьезно во внимание не принимался и не опровергался, а между тем в последнее время все чаще и чаще встречаешь среди литераторов и любителей, ничего не слышавших про этот доклад, высказывания об авторстве Игоря, хотя я не знаю, какими путями люди приходят к этому выводу. Так 22 сентября 1978 года еженедельник «Литературная Россия» напечатал интересную статью поэта И. Кобзева «Автор «Слова»— князь Игорь?», к сожалению, недостаточно аргументированную, основанную, главным образом, на литературной интуиции. Литература о «Слове» почти необъятна, сводного ее списка или полного обзора нет, не вдруг одолеешь и самое доступное. И вот — сравнительно недавно из статьи академика Д. С. Лихачева, напечатанной еще в 1961 году (Вопросы атрибутации произведений древнерусской литературы.— ТОДРЛ. Л., 1961. Т. 27, с. 18), я узнал, что предположения об авторстве Игоря уже высказывались к тому времени, только почему-то не было уточнено, кто, когда и где впервые выдвинул эту гипотезу.

Авторство Игоря Святославича внука Ольгова в значительной степени подтверждается его отношением к другим князьям, сов-

ременникам и несовременникам. Начать следует, пожалуй, с Владимира Мономаха. Утверждения, что под «старым Владимиром» подразумевается в поэме Владимир Мономах или собирательный образ Владимира I и Владимира II, спорны. А. В. Соловьев писал, что Владимир Мономах упоминается в «Слове» «только раз, но пренебрежительно...». Тот же автор заметил, что временные рамки «Слова»—«от старого Владимира до нынешнего Игоря»— не включают *ни одного* исторического события после смерти Мономаха в 1125 году.

М. Н. Тихомиров: «Черниговские симпатии Бояна и автора «Слова о полку Игореве» проявляются и в их насмешливом отношении к Владимиру Мономаху. Грозный облик Олега Святославича, вступающего в золотое стремя в граде Тмутаракани, противопоставляется слабости Владимира Мономаха: «а Владимир по вся утре уши закладаше в Чернигове». Не стану разбирать споры исследователей, что такое «уши»— органы слуха, узкие пролазы в крепостной стене или проушины для воротного засова — возможно, что все эти точки зрения одинаково верны из-за полисемантичности авторского текста. Главное в другом. «Это изображение великого воителя в качестве трусоватого узурпатора понятно только в устах певца черниговского князя Олега Святославича, так как Мономаховичи были исконными врагами черниговских князей» (М. Н. Тихомиров). «Живая ироническая картина этого трусливого захватчика, зажимающего уши в страхе от звона, возвещающего ему приезд законного вотчича,— вот изображение Мономаха с точки зрения черниговского певца, для которого на первом месте — интересы его черниговских князей и их предков» (А. В. Соловьев).

И давно бы пора ответить на вопрос, который сам собой возникает при чтении «Слова»: почему в поэме, призывавшей к борьбе против степных кочевников, не упоминаются заслуги этого князя, воина и полководца, в свое время, как это принято считать, приостановившего половецкую экспансию? Не потому ли, в частности, что Владимир Мономах, одновременно наводил половцев на Русскую землю и *первым* из всех князей использовал их в междоусобной борьбе?

Ссылаясь на великого русского историка С. М. Соловьева, пишут, что *Мономах наводил половцев на Русскую землю девятнадцать раз, то есть больше, чем все Ольговичи за столетие*. В основе этого подсчета — сведение из «Поучения», где говорится, что автор его «мировъ есмь створилъ с половечькыми князи без единого 20, и при отце и кроме отца, а дая скота много и многы порты свое», то есть в иных случаях просто откупался от нападений степняков. Кстати, его восемьдесят три *больших* похода, о которых он хвастливо пишет и добавляет, что «не испомню меньших»,— не подтверждаются летописанием. Если основная часть «Поучения», как считается, написана в 1099 году, то столь непомерное число больших военных походов к этому итоговому году — безусловно, фантазия; абсолютно нереально, чтоб Мономах совершал ежегод-

но по три-четыре больших военных похода, кроме малых, усиленно занимаясь еще и «ловами», и хозяйством, и дипломатией, и политикой и около ста раз съездив к отцу из Чернигова в Киев.

В. Н. Татищев, перелагая события, изложенные во многих летописях, более или менее подробно сообщает о трех поздних победных походах Мономаха против половцев — 1103, 1107-го и 1111-го годов — не упомянутых в «Поучении». Они, однако, строго говоря, не были «походами Владимира Мономаха», так как эти по существу общерусские выступления организовывал и проводил великий князь киевский Святополк Изяславич, и в них участвовало немало других князей, в том числе Давыд Святославич черниговский и Олег Святославич. Конечно, за двадцатилетнее княжение в пограничном Переяславе Владимиру довелось немало посражаться с половцами, но заглавной фигурой этих лет (1093 — 1113 годы) в организации больших походов против степняков был все же Святополк. Самореклама в «Поучении» Владимиру нужна была для того, чтобы убедить киевское боярство, набравшее силу, в полной пригодности своей кандидатуры на великокняжеский стол, а когда он занял его, то главные идеологические, политические и исторические документы того времени — летописи — были основательно проредактированы в пользу Мономаха, что доподлинно установила строгая наука.

И в тексте «Поучения» есть серьезное противоречие: утверждая, что он, Мономах, «много поту утер за Русскую землю», в перечне своих полководческих заслуг числит множество походов именно по русским землям, на «братию»— в Смоленск, Чернигов, Новгород, Полоцк, Минск, Друцк, Переяславль, Ростов, Стародуб, Владимир, Туров, и даже не постеснялся написать, что он ходил «с половцами на Одреск войною», выжег Полоцк, «пожег землю и повоевал ее до Лукомля и до Логожска», с половецкими читеевичами взял на щит Минеск (Минск), «изъехахом» его и не оставил в нем «ни челядина, ни скотины».

Воинские доблести Мономаха бесспорны, его заслуги как государственного деятеля, объединителя земель и законодателя общеизвестны, но автор «Слова», отстаивавший феодальные права Ольговичей, субъективно видит в нем олицетворение воцарившейся среди «братии», то есть русских князей, незаконности, династического узурпаторства, наиболее характерную историческую фигуру, чья политическая практика исходила из глубокого и наглого принципа, кратко, просто и точно сформулированного в поэме: «се моё, а то моё же»...

Кстати, и объективная история отмечает, что Владимир был коварным, лицемерным и властолюбивым человеком, не брезговавшим в борьбе с «братией» самыми грязными средствами. «Хитрый князь вел на просторах Руси сложную шахматную игру: то выводил из игры Олега Святославича, то загонял в далекий новгородский угол старейшего из племянников, династического соперника Владимира — князя Святополка, то оттеснял изгоев — Ростиславичей, то вдруг рука убийцы выключала из игры друго-

го соперника — Ярополка Изяславича... Это он, Владимир, выгонял Ростиславичей, он привел в Киев свою тетку, жену Изяслава, убитого за дело Всеволода, и забрал себе имущество ее сына Ярополка» (Б. А. Рыбаков. Киевская Русь и русские княжества XII — XIII вв., с. 456).

Все это, конечно, знал автор «Слова», историческая осведомленность и избирательность воспоминаний которого поражает исследователей. Д. С. Лихачев отмечал, что в поэме нет ни одного случайного слова; можно добавить — в ней нет также ни одного случайного умолчания. И совсем не случайно в произведении, столь отрывочно и кратко сообщающем сведения по истории Руси, нет даже намека на такие важные исторические события, как победоносные походы Мономаха на кочевников, но вдруг появляется строка о юном князе Ростиславе, утонувшем в Стугне *за сто лет до* «Слова», как напоминание современникам о сокрушительном разгроме половцами войска Владимира в 1093 году, гибели его младшего брата, о горе их матери, потерявшей вслед за мужем сына и горько плачущей на темном днепровском берегу.

Это место «Слова»— возможно, еще один ключик к тайне авторства. Дело в том, что из тысяч подробностей русско-половецких сражений *именно этот эпизод выбрал сам Игорь в своем диалоге с Донцом*. Выслушав реку, Игорь — исторически очень осведомленный человек, знавший династические перипетии, княжеские конфликты, мельчайшие подробности прошлого Руси, противник Мономаха и его потомков, сокол из Ольгова хороброго гнезда — произносит примечательную фразу, продолжающую диалог: «Не тако ти, рече (Игорь), река Стугна...»

Заключительный трагический аккорд этой ретроспективной вставки: «Уныша цветы жалобою и древо с тугою к земли преклонилось». Этот аккорд, между прочим, впервые звучит в поэме после описания битвы и поражения князя Игоря: «Ничить трава жалощами, а древо с тугою къ земле преклонилось». Отметим, кстати, эту вроде бы малосущественную разницу —«ничить трава» и «уныша цветы». Необыкновенная, воистину поразительная точность автора, какою не устаешь восхищаться! На Каяле «падоша стязи Игоревы» в начале мая, среди ранних степных трав, а князь Ростислав утонул в Стугне 26 мая, когда уже распустились полевые цветы...

Но главное — *две эти фразы не могли совпасть случайно!* Слишком строг был к себе, как к автору, гениальный поэт, слишком объемна и тяжела в «Слове» подводная часть айсберга! И горечь поражения, образно выраженная в одинаковом эмоциональном и стилистическом ключе,— не вся параллель, а только малый отрезок ее. В частности, князь Игорь, как и Ростислав, кажется, стал жертвой независящих от него обстоятельств, о чем мы еще поговорим...

Возобладало мнение, что отношение автора к деду Игоря Олегу Святославичу резко отрицательное и творец поэмы будто бы

«имел полное основание... сделать «Гориславича» главным отрицательным героем русской истории последнего столетия». Однако текст «Слова» и давняя историческая явь дают основания рассматривать образ этого князя в более сложном политическом и психологическом ракурсе. Прежде всего, прозвище «Гориславлич» можно было употребить для характеристики исторической фигуры с трудной судьбой — именно из-за своей горькой доли была прозвана «Гориславой» Рогнеда Полоцкая. И у Даниила Заточника это слово употреблено в таком смысле, правда с некоторой разницей в написании: «Кому Переславль, а мне *Гореславль*».

И не исключено также, что приметное прозвище относилось не только к Олегу. Прочтем начало знаменитой фразы «Слова» иначе: «Тогда, при Олзе, «Гориславличи» сеяшется и растяшеть усобицами...», то есть «сеялись и произрастали усобицами». Такое прочтение констатирует исторический факт времен Олега Святославича — все без какого-либо исключения «которы» возникали тогда между потомками Владимира (Крестителя) и Рогнеды Рогволодовны Полоцкой («Гориславы»). Однажды в старых публикациях о «Слове» я нашел замечание О. О. Гонсиоровского, который смысл выражения «Гориславличи» сеяшется и растяшеть» понял так: «умножилось людей несчастных» (февральский выпуск Журнала Министерства Народного Просвещения за 1884 год), а Б. А. Рыбаков в названии одной из глав и в тексте своей книги «Киевская Русь и русские княжества XII — XIII вв.» употребляет словосочетание «Князья «Гориславличи»...

Авторский взгляд на Олега Святославича хорошо иллюстрирует принципиальную многозначность образов и понятий поэмы — стараясь быть объективным, автор вроде бы и осуждает его за то, что тот «мечемъ крамолу ковалъ», и одновременно восхваляет его воинскую доблесть, и гордится им, и сочувствует ему. Ключ к пониманию этого образа — глубокая, живущая в потомках «обида Олгова», «млада и храбра князя». Судьба Олега, деда Игоря,— ярчайший пример того, как феодальные междоусобицы, борьба за власть калечили жизни многих князей, превращали их в изгоев, безуспешно боровшихся за справедливость, распределение владений по наследственному праву и «старейшинству». Рассмотрим в некоторых исторических подробностях этот ключевой конфликт «Слова».

Да, Олег Святославич, «дух которого витает над всею поэмою» (А. В. Соловьев), обратился за помощью к половцам в 1094 году, но выступил он не против Русской земли, а против Мономаха, по справедливости считая себя совершенно правым: в нарушение законного наследования у него был отият Чернигов, «отний злат стол». Никакого, кстати, братоубийственного сражения тогда не состоялось — Мономах, уступив Чернигов Олегу, тихо-мирно удалился в Переяславль, на стол отца своего. Однако через два года Мономах и Святополк выгнали Олега из Чернигова, отняли у него даже периферийные Муром и Курск. Летописи зафиксировали немало военных эпизодов тех лет, нередко оправ-

дывая Олега. В 1096 году, например, Олег подступил к Мурому, где сидел Изяслав Владимирович, попытавшись было уладить дело миром: «Иди в волость твою, а се волость отца моего, да хочю, ту седя, поряд положити со отцем твоим, се бо мя выгна из города отца моего (Чернигова). Или ти мне не хощеши зде хлеба моего дати?» Но «не послуша Изяслав словес сих, надеялся на множество вон. Олег же, *надеяся на правду свою, яко прав бе в сем деле,* и поиде к городу *своему»*. В бою Изяслав был убит, но тут же против Олега выступил из Новгорода другой сын Мономаха Мстислав Владимирович, и вот не Олег призывает половцев на помощь в борьбе за свое правое дело, а наоборот — Мономах посылает «поганых» защищать оружием неправое дело своего семейного клана. «И прииди Мстиславу весть, яко послал ти отец Вячеслава, брата твоего, с половци». Степнякам под командованием половца Кумана Мстислав придал пешую рать. Олег проиграл сражение и бежал...

История не числит за Олегом Святославичем, как за многими другими князьями, необоснованных претензий на чужие столы и земли или, скажем, такого «подвига», как разгром Мономахом, призвавшим степняков, полоцкого Минска. Именно половцы, вроде бы, как это пишется, постоянные и верные союзники Олега, повязали его однажды в Тмутаракани и, конечно, по наущению из Киева, отправили в византийскую ссылку. Олег Святославич в конце XI — начале XII века должен был вместе со старшим братом Давыдом по праву владеть Черниговским княжеством, а он *тридцать два* года провел в изгнании — четыре в Византии, десять в Тмутаракани, остальные в окраинной Муромо-Рязанской земле. Причем последние *восемнадцать лет* жизни он, участвуя в больших походах на половцев, не вел междоусобных войн, исключая 1113 год, когда по смерти Святополка Изяславича Давыд, старший брат Олега, должен был по династическому праву, как старший из оставшихся в живых сын Святослава Ярославича, занять великий киевский стол, а Олег Святославич, соответственно, черниговский. Дорогу братьям снова преградил Владимир Всеволодович Мономах, незаконно, в нарушение «лествицы» посаженный в Киеве местным боярством. Олег в последний раз попытался силой восстановить справедливость, пошел на Киев, «зане отец его старейши бе Всеволоду», но был разбит и ускакал в Тмутаракань...

Немало в летописях и упреков Олегу, что постоянно подчеркивается исследователями, хотя по сути он был таким же, как все тогдашние князья,— существовал за счет труда смердов и ремесленников, расплачивался с половцами за воинские услуги дозволением грабить, полонить и убивать своих кормильцев, вынужденных также содержать княжеские дружины, которые отстаивали его «честь» и «славу». Рассмотрев некоторые исторические обстоятельства, отразившиеся в личности и судьбе Олега Святославича, что помогают лучше понять «Слово», с удовлетворением должен отметить растущий интерес и нетрадиционный подход к этому персонажу поэмы. «Единственная беда Олега состояла

в том, что, будучи обездоленным, он не смирился со своим положением и всю жизнь боролся за восстановление попранных прав... Летопись расставила всех по своим местам: победившие были прославлены, побежденные осуждены. И можно только догадываться, как бы она выглядела, обладай Олег равными с Мономахом возможностями» (Г. Ф. Карпунин. Жемчуг «Слова», или Возвращение Игоря. Новосибирск, 1983, с. 158 — 159).

Кстати, когда Олег вступал в Тмутаракани «въ златъ стремень» и «той же звонъ слыша великый давный Ярославь», это совсем не значит, что автор на самом деле имеет в виду тот же звон. Здесь речь идет о временах первых усобиц, когда в злат стремень вступал в Тмутаракани же Мстислав Храбрый, первый черниговский князь, нанесший вскоре в Лиственской битве сокрушительное поражение Ярославу. В этом же смысловом ряду стоят в поэме упоминания о двух князьях, погибших более чем за сто лет до событий, описанных в «Слове». Изгой Борис Вячеславич пал «за обиду Олгову» 3 октября 1078 года в битве на Нежатиной ниве, где противниками Олега были Изяслав с сыном Ярополком и Всеволод с сыном Владимиром. 2 августа 1079 года был убит половцами, с которыми заключил союз отец Владимира Мономаха Всеволод Ярославич, младший брат Олега «красный» Роман Святославич. Избирательное воспоминание об этих малозначительных князьях, погибших за черниговские интересы, лишний раз подчеркивает политическую и династическую ориентацию автора поэмы.

Наиболее отчетливую печать автора следует искать в центральном фрагменте поэмы — в призывах к князьям «загородить полю ворота» после поражения князя Игоря. В литературе, кстати, уже высказывалась мысль о том, что не певцу и не дружиннику было судить князей-современников, указывать, что им следует делать; это *прерогатива человека, стоявшего на одной общественной ступеньке с теми, к кому он обращался.*

Вспоминаю тонкое замечание А. С. Пушкина о том, что у автора «Слова» «ирония пробивается сквозь пышную хвалу» (относительно Бояна), а также суждение А. Г. Кузьмина: «Трудность современного восприятия памятника заключается, между прочим, в том, что и осуждает автор тех же, кого прославляет». Добавлю — авторская позиция угадывается не только в осуждении или прославлении персонажей поэмы, но и в многозначительном совсем не случайном отсутствии призывов к некоторым князьям и в таком их «прославлении-осуждении», которое верней бы назвать сатирой. И если пойти навстречу трудностям «современного восприятия памятника», то мы можем не только просветлить личность автора-князя, но и ответить на вопросы, *когда и при каких обстоятельствах* было написано «Слово».

Датировка «Слова» вызывает множество взаимоисключающих предположений. Одна из самых, на мой взгляд, обоснованных

гипотез изложена в публикации Н. С. Демковой «К вопросу о времени написания «Слова о полку Игореве» (Вестник ЛГУ. История, язык, литература, 1973, № 14, вып. 3).

Обратимся к этой работе. «Уточнение датировки «Слова» и его связей с конкретными событиями XII в.— одна из важнейших задач изучения этого произведения. В настоящее время существует ряд гипотез, авторы которых связывают возникновение памятника с теми или иными конкретными событиями в политической истории Руси XII — XIII вв.: А. В. Соловьев и Б. А. Рыбаков датируют «Слово» 1185 г., М. Д. Приселков —«до апреля 1187 г.», Д. С. Лихачев — 1187 г., И. П. Еремин — 1187 г. или началом 1188 г., Д. Н. Альшиц — после 1223 г. до 1237 г., Л. Н. Гумилев — 1249 — 1252 гг. В этих гипотезах или учитывается не вся совокупность данных, сообщаемых «Словом» и параллельными летописными статьями, или игнорируется художественная природа памятника (отсутствие жанра исторической аллегории в литературе XII — XIII вв. лишает серьезных оснований гипотезы Д. Н. Альшица и Л. Н. Гумилева, спорность датировки Б. А. Рыбакова вызвана, в частности, специфическим подходом исследователя к тексту «Слова» как к подлинному историческому документу»...

Далее автор извлекает из текста «конкретные датирующие данные»: князь Игорь, умерший в 1202 г., назван «нынешним», в «здравице», завершающей поэму, упоминается его брат Всеволод, который умер в мае 1196 г., нет «славы» Святославу киевскому, скончавшемуся в июле 1196 г., зато есть его «сон», символически и ретроспективно связываемый с погребальным обрядом и посмертной «похвалой».

Не значит ли, что «Слово» было написано после смерти Святослава Всеволодовича (он умер в июле 1194 года)? Вывод: *«Таким образом, есть основания предположить, что время написания «Слова»— после июля 1194 года до мая 1196 года»*.

Не без оснований Н. С. Демкова указывает и на важную историческую причину появления «Слова» именно в этот период. «Политическая ситуация 1194 — 1196 гг. характеризуется резким обострением княжеских отношений: Всеволод Суздальский и Рюрик, ставший теперь, после смерти старшего из Ольговичей — Святослава, киевским князем, требуют от Ольговичей осенью 1195 г. навсегда отказаться от прав на киевский престол: «...а Кыевъ вы не надобе». Ольговичи горделиво заявляют Всеволоду: «Мы есмы не угре, ни ляхове, но единого деда есмы внуцы; при вашем животе не ищемъ его, ажь по васъ — кому богъ дасть». Проблема киевского наследия обсуждалась неоднократно, она стала острым политическим вопросом: «И бывшы межди нма распре мнозе и речи велице, и не уладишась». Русская земля ждет от этой ссоры «кровопролитья» и «многого мятежа», «еже и сбысться». Начинается длительная «рать» с Рюриком и Давыдом Ростиславичами, она захватывает весь 1195 и 1196 гг. Рюрику помогают дикие половцы... С горечью пишет летописец о «сваде» в русских князьях, о «диких половцах», которые «устремлися на

кровопролнтье н обрадовалнся бяхуть сваде в Рускых князех»...

Как и многие другие исследователи, Н. С. Демкова сравнивает далее летописные известня о событиях 1185 года: «Если киевский летописец (Ипатьевской летописи), знакомый, возможно, с Черниговской летописью, нзображает Ольговичей как героев кровопролнтного сражения, не без некоторой идеализацни повествует о многих обстоятельствах похода, то цель владимиро-суздальского рассказа иная: повествование, дошедшее в Лавреитьевской летописи, стремится принизить, скомпрометировать Ольговичей. Неразумно бросаются они в поход против половцев («ци мы не князи ли?»); три дня проводят в открытом поле, легкомысленно «веселящеся» после победы. Наконец, Игорь, главный виновннк всеобщих бедствий, «по малех дней ускочи от половцев», оставив на произвол судьбы всех русских пленников, положение которых очень ухудшилось после его бегства. Более того, владимирский летописец обвиняет Ольговичей в гибелн Переяславского князя Владнмира Глебовича, умершего в 1187 г. от ран, полученных во время половецкого набега на Русь.

Внимательное сопоставление обоих текстов обнаруживает не только две различные точки зреиия на Ольговичей. Оказывается, что рассказ киевской летописи не просто подробнее: он как будто бы последовательно отвечает на все упреки владимиро-суздальского рассказа. Обстоятельным, информированным повествованием, ведущимся бесстрастным тоном, киевский летописец снимает почти все обвинения с князя Игоря, кроме одного — обвинения в неудержимом юношеском задоре».

Коснусь еще одной темы, связанной с автором «Слова». Сколько ему могло быть лет во время похода?

Свежесть и острота восприятия мира автором поэмы бесспорны. По зрелости же и серьезности мыслей, заложенных в ней, по энергии н глубине письма, по смелости идей можно уверенно сказать, что это не был ни безусый юноша, ни немощный старец, для которого, скажем, такой трофей Игоревых воинов, как красные девки половецкие, не обязательно зиачнлся бы иа первом месте. В тексте поэмы говорится, что «нынешний» Игорь, «иже нстягну умъ крепостию своею и поостри сердца своего мужествомъ, наполнився ратиого духа...» Один из давних исследователей прошлого рассматривал эти слова как свидетельство того, что «Игорь пришел в совершениый возраст, в лета мужественные».

Незадолго до похода Игорю исполнилось тридцать четыре года, а это самый продуктивный возраст, время подвнгов ратных, политических и творческих...

Есть в публикации Н. С. Демковой и такой абзац: «Весьма любопытное истолкование в системе «антивладимирских» настроений автора приобретает упоминание в «Слове» киевской церкви богородицы «Пирогощей», куда сразу же едет Игорь, вернувшись из плена: культ именио «Пирогощей» мог поддерживаться в пи-

ку иконе Владимирской божьей матери, вывезенной Андреем Боголюбским из Киева во Владимир в 1155 г. «Пирогощая» икона была привезена в Киев из Византии «во едином корабли» с Владимирской иконой и могла рассматриваться как святыня, равновеликая владимирской».

На «антивладимирских настроениях» автора «Слова» мы еще остановимся, а сейчас уточним обстоятельства, связанные с «Пирогощей». Мнение, что возвратившийся из плена князь «сразу же» едет в Киев помолиться перед иконой святой богородицы Пирогощей, широко распространено и служит для многих главным, если не единственным свидетельством религиозной приверженности Игоря. Однако мнение это ошибочно и доказательством христианских добродетелей Игоря Святославича не является. Приведу возражения.

1) Игорь не «сразу же» по возвращении из плена поехал по киевскому Боричеву взвозу. Из степи он вернулся в Новгород-Северский, потом, направляясь в Киев, заезжал, очевидно, в попутный Чернигов. Если б автор хотел подчеркнуть религиозность Игоря, то почему не написал о том, что счастливо возвратившийся из плена князь отслужил благодарственный молебен в Новгороде-Северском или кафедральных соборах Чернигова и Киева? 2) По обычаю тех времен, знатный приезжий посещал храм при *въезде* в город, чему есть множество летописных подтверждений, а Б. А. Рыбаков установил, что Пирогощая церковь находилась на *возвратном* пути Игоря к Чернигову. 3) Из текста «Слова» нельзя заключить, что Игорь едет на поклонение иконе. Это место поэмы, быть может, содержит простую информацию о возвращении Игоря домой. Пирогощая в ряду киевских храмов была второстепенной церковью на Торгу, а приезжавшие в Киев князья обычно посещали Софию. 4) Любопытную догадку высказывает Г. В. Сумаруков: храм Пирогощей был главной церковью киевского купечества, и князь, потерявший дружину, едет на поклон к ее богатым прихожанам, чтоб выкупить у половцев братию, воевод и войско. 5) В 1185 году иконы «Пирогощей» в *этом* храме, вероятно, уже не было, и едва ли вообще она там когда-либо была. Приостановлюсь на последнем пункте, чтобы сообщить читателю нечто особенное.

Известно, что в 987 году дочь византийского императора Анна привезла на Русь в качестве приданого Владимиру киевскому две иконы (ПСРЛ., т. 11, стлб. 736). А в Ипатьевской летописи под 1155 годом сообщается, что Андрей Боголюбский «без отне воле», то есть без дозволения отца своего Юрия Долгорукого, «взя ис Вышгорода икону святое богородици, юже *принесоша с Пирогощею ис Царяграда в едином корабли,* и вскова в ню более 30 гривен золота, проче серебра, проче камени дорогого и великого жемчуга, украсив, постави ю в церкви святое богородица Володимери». В 1395 году икона Владимирской богородицы была перенесена в Москву, и это якобы она остановила нашествие на Русь Тамерлана.

Сейчас замечательное произведение византийской школы живописи находится по соседству, в Третьяковке, и я, посещая любой зал галереи, непременно заглядываю в тот, где выставлена знаменитая свидетельница тысячелетней истории моего народа, воображаю то, что довелось увидеть ей, и пытаюсь сравнить ее с «Пирогощей», судьба которой таинственна и, в сущности, никому не известна. Некоторые источники путали ее с Владимирской, историки гадали, что значит «Пирогощая»—«Башенная», «Неопалимая купина» или получила это имя от прозвища некоего средневекового купца. Куда она делась? Никаких достоверных известий о ней в летописях и церковной литературе об этом нет. Ведь это была одна из двух наиболее известных и почитаемых на Руси христианских святынь, и бесследно исчезнуть не могла!

Каменная киевская церковь «Пирогощи» была построена лишь в 1136 году, возможно, на месте деревянной, однако никакой ее связи с иконой святой богородицы Пирогощей установить не удается. И вот я спешу сообщить совершенно неожиданное — возможно, именно «Пирогощую» я увидел осенью 1976 года во время последнего своего путешествия по Польше. В гданьском костеле св. Николая сразу же обращаешь внимание на его главную святыню — подсвеченный электрическими лампочками светлый лик Богородицы, пред которым всегда толпятся прихожане и туристы. С удивлением и недоверием прочел пояснительную надпись рядом. Икона называется «Победительницей», ее «биография» изложена в нескольких фразах. Означена дата ее появления на Руси — 987 год, упомянута византийская невеста Анна с приданым, Владимир. Не сказано, носила ли икона первоначальное имя «Пирогощей» и в каком киевском храме находилась до 1115 года, когда была перевезена в Галич.

События «того же лета», зафиксированные в летописях: построен мост через Днепр у Вышгорода, произошло солнечное затмение, 18 августа скончался Олег Святославич, дед князя Игоря. И еще одно летописное сообщение, свидетельствующее о том, что к тому времени Олег Святославич и его старший брат Давыд, как и множество других «гориславичей», смирились с положением, при котором в Киеве окончательно, хотя и незаконно, в нарушение феодальной «лествицы» утвердился Мономах, а вся остальная Русь, исключая лишь Полоцкую и Чернигово-Северскую земли, оказалась разделенной между многочисленными его сыновьями. Весеннее это событие было связано с религиозной жизнью Руси: «Совокупившеся *братия, рустии князи,* Володимер, сын Всеволож, Давыд Святославич и Олег, брат его, здумавше перенести мощи святых Бориса и Глеба из деревянныя церкви; бяху бо создали има церковь каменну на похвалу и честь богу для положения телес их». Сведений же о перенесении «Пирогощей» на Днестр, в столицу набиравшего силу Галицкого княжества, ни в одной летописи нет, однако это совсем не значит, что такого не состоялось.

Согласно той же гданьской справке, в 1230 году «Победительница» оказалась в львовском соборе св. Яна. В 1749 году польский

король Август III обратился с просьбой к папе римскому короновать святыню, и через два года она, как и Матка Бозка Ченстоховска, была «коронована» — нимб увенчала хорошо прописанная корона. В 1946 году знаменитая икона из Львова попала в Гданьск.

«Пирогощая» это или нет? Не обросла ли более поздними легендами совсем другая икона? Специалистам хорошо бы проверить ее древность и византийское происхождение, восстановить научную биографию с учетом и тех исследований, в которых доказывается, что «Пирогощая» получила свое начальное название по церкви, а не наоборот.

Вернемся к статье Н. С. Демковой. Разделяя ряд положений автора, я вынужден щедро ее цитировать, потому что напечатана она в недоступном широкому читателю издании.

«Черниговские симпатии автора «Слова» часто отмечались в исследованиях. Значительно меньшим вниманием пользовались «антивладимирские» детали текста, хотя мысль о том, что автор укоряет Всеволода Большое Гнездо, уже была высказана, но связывалась с событиями 1185 года. Действительно, контекст обращения Святослава в «золотом слове» к владимирскому князю Всеволоду Большое Гнездо вызывает сомнение в том, что это похвала, гиперболизирующая мощь могучего владимирского князя, как обычно принято рассматривать этот пассаж».

Отметив, что «контекст обращения» нельзя, однако, с полной обоснованностью приписать ни Святославу, ни автору «Слова», хотя я лично склоняюсь к последнему предположению, разберем по пунктам это обращение, где — у меня на этот счет нет никаких сомнений! — *в каждой* конкретной подробности не только «ирония пробивается сквозь пышную хвалу», но сквозит беспощадный сарказм и ядовитая издевка.

Вот этот великолепный пассаж: «Великий княже Всеволоде! Не мыслию ти прелетети издалеча отня злата стола поблюсти? Ты бо можеши Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти! Аже бы ты былъ, то была бы чага по ногате, а кощей по резане Ты бо можеши посуху живыми шереширы стреляти, удалыми сыны Глебовы».

I. «...Название «великого князя» присвоил себе Всеволод Большое Гнездо, претендуя на старейшинство среди всех русских князей» (Д. С. Лихачев), или, добавим, по крайней мере как знак своей политической независимости от великого князя киевского Святослава. Особый иронический оттенок величальное обращение приобретает и ввиду того, что восемнадцатилетним юношей Всеволод действительно стал великим князем киевским, пробыв на общерусском княжении всего пять недель. Черниговские князья, кстати, тоже претендовали на звание «великих», а Всеволод был на три года моложе Игоря, мужа его племянницы и четвероюродного брата, ревновавшего своего знатного дальнего родственника, княжество которого, не подвергавшееся нападениям степняков, крепло год от года, в частности, из-за притока трудового населе-

ния, бегущего с южнорусских земель на безопасный лесной северо-восток от половецкого разора. Главной же причиной вражды была вековая распря между Ольговичами и Мономаховичами, на памяти Игоря выразившаяся в войнах 1180 и 1196 годов. Добавим, что владимиро-суздальский князь не участвовал в борьбе с экспансией кочевников, что рязанское княжество, выделившееся из черниговского, попало под тяжелую руку сильного северного соседа, а к месту мы вспомним и о других важных политических обстоятельствах конца XII века. Автор «Слова» прекрасно знал, что все свои силы Всеволод употреблял на захват территорий других русских княжеств, «проводил самовластную политику и неоднократно диктовал свою волю Киеву, Новгороду, Смоленску и Рязани» (О. М. Рапов). Заметим, что в этом списке главных русских городов нет Чернигова...

Всеволод, осторожный и хитрый политик, предпочитал в феодальных отношениях не войны, а подкупы, посулы, обманы, тонкую игру на межкняжеских противоречиях и был беспощаден к слабым противникам. Он долго преследовал своего племянника, последнего сына Андрея Боголюбского Юрия, человека сложной и трудной судьбы. Кстати, в год похода князя Игоря этот изгой-скиталец оказался в Грузии, где женился на царице Тамаре, но позже его изгнали и оттуда; жил в Византии, в 1190 году был провозглашен западногрузинскими феодалами царем, низложен женой, покинул Кавказ и сгинул в безвестности... За Всеволодом числится немало тяжких грехов. В 1177 году он захватил в плен Глеба Ростиславича рязанского и предложил ему уходить из Рязани «в Русь». Глеб ответил: «Луче сде умру, не иду». В следующем году он умер в порубе, земляной тюрьме. Одновременно Всеволод свершил еще одно преступление, напомнившее его современникам о временах давних усобиц: как когда-то, сразу после Любечского съезда князей, ослепили Василька Теребовльского, так в 1177 году он ослепил своего племянника Мстислава Ростиславича (Безокого)... Что бы написали сейчас о князе Игоре, если б подобное бесчеловечие проявил он в отношении своего «сыновца», например,— участника похода Святослава Ольговича?

2. Автор «Слова» явно сомневается («не мыслию ти»), что Всеволод может «прелетети издалече», чтоб вступить в борьбу с половецкой опасностью,— прозрачный и унизительный намек на то, что владимиро-суздальский князь *никогда* не принимал участия в общерусских походах на степняков и не предпринимал этих походов самостоятельно, кроме одного, довольно примечательного, о коем речь впереди,— это поможет нам поточней датировать «Слово». *За полвека,* с тех пор, как Всеволод впервые получил от отца удел, и до самой своей смерти, он *ни разу* не прилетел поблюсти «отня злата стола».

3. «Отний стол» Всеволода вовсе не Киев, а Переяславль: его прадед Всеволод Ярославич получил в Русской земле по завещанию своего отца Ярослава Мудрого именно переяславский стол. Своим «отним столом» считал Переяславскую землю и сам Вла-

димир Мономах, дед Всеволода Большое Гнездо. Из «Поучения» «И вдах брату отца его место (то есть двоюродиому брату Олегу Святославичу — Чернигов), а сам идох на отца своего место Переяславлю». Мономах кияжил там двадцать лет, причем Любечскнй съезд 1097 года окончательио закрепил Переяславль за этой кияжеской ветвью. Отец Всеволода Юрий Долгорукий тридцать семь лет княжил в Ростове, потом иекоторое время владел Переяславлем и сиова — еще четырнадцать лет — Ростово-Суздальской землей. Несколько раз ои силой захватывал Киев н изгонялся из него, закрепившись иа великокияжеском столе только к концу жнзни и посадив в Ростово-Суздальской и Переяславской землях своих сыновей. Касаясь политической ситуации на Русской земле XII века, академнк Б. А. Рыбаков пишет, в частности, о том, что в те времена «существовало несколько враждовавших между собой кияжеств: Киевское, Переяславская вотчнна Юрьевичей, Черниговo-Северская вотчина Ольговнчей и др.»

Во время событий 1185 года в Переяславле сндел тоже «Мономахович» н «Юрьевнч» Владимир Глебовнч, н было бы очень странио, еслн б автор «Слова», князь Игорь, тогда илн позже звал Всеволода в Киев, где сидел старший Ольгович — Святослав Всеволодович. О том, для кого был Переяславль «отнны златым столом», говорит и такое известне 6709 (1201) года: «Посла великий князь Всеволод, сын Георгев, внук Володимеров Моиомахов, сына своего Ярослава в Переяславль Русскнй кияжити на стол прадеда своего».

Подсчнтано, что из сорока шестн большнх походов, совершениых половцами на Русь с 1061 по 1210 год, двеиадцать приходится иа Поросье, семь на Чернигово-Северское княжество, по четыре иа Рязанское н окрестиости Кнева и *семнадцать* на Переяславскую землю. Имеино сюда, в наиболее опасный пограничный район Русн, приглашал автор «Слова» севериого владыку н сомиевался: «иеужели и мысленно тебе не прилететь»?

Ошибочное пониманне Всеволодова «отня стола» как Киева, к которому иногда приплюсовывают даже Черингов, ставит ниых исследователей перед смысловым тупиком, и кое-кто из ннх считает это место безиадежно испорченным переписчиками. «В самом деле, как сочетать восторженный панегнрик велнкому киевскому князю, столь могущественному н грозиому, что он мог прекратить междоусобные споры и браин, «наступить на землю Половецкую», сокрушить половцев, с последующей униженной его просьбой к далекому владимиро-суздальскому князю Всеволоду «отня злата стола поблюсти» — позаботиться о защнте Кнева н Черннгова, чего ои сам сделать ие в состояиии? Удовлетворнтельно объяснить такое положение можио разве только «порчей текста» (А. Ннкитии. «Слово о полку Игореве»: загадкн и гипотезы.— Октябрь, 1977, № 7, с. 150). Одиако в обращении к Всеволоду иет иикакой «порчи текста», есть классическое «лнхоречье», в котором каждое слово, интонация и междометне было тщательно взвешено автором н поиятно его современиикам!

Если же подразумевать под «отним златым столом» Всеволода Киев, за который когда-то его отец Юрий Долгорукий вел многолетнюю жестокую борьбу со своим племянником Изяславом Мстиславичем, тогда язвительное жало автора «Слова» целит и в Мономаховичей, и прямо, без промаха в «грозного» Святослава Всеволодовича; нельзя совершенно исключить, что в этом месте поэмы — тот же столь характерный для нее двойной смысл.

4. «Ты бо можеши Волгу веслы раскропити, а Дон шеломы выльяти!» Н. С. Демкова: «Нереальность возможностей Всеволода, оказывается, связана с народной смеховой культурой. Даниил Заточник напоминал своим читателям: «Ни моря уполовником вылияти, ни чашею бо моря расчерпати...»

Добавлю, что до этого *все* исследователи «Слова» усматривали в упоминании Волги намек на победоносные походы Всеволода Большое Гнездо 1183-го и 1185-го годов в Волжскую Болгарию. Следует поподробней рассмотреть, что это были за «победы». В 1183 году Всеволод собрал на болгар огромную армию. Об этом походе довольно подробно рассказывается в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях, а также в «Истории Российской» В. Н. Татищева. Кроме всех своих войск, включавших сильный полк из далекого северного Белоозера, он послал на Волгу племянника Изяслава Глебовича, князя Мстислава Давыдовича — сына смоленского князя Давыда Ростиславича, четырех сыновей рязанского князя Глеба Ростиславича — Владимира, Всеволода, Игоря и Романа, муромского князя Владимира Юрьевича. Всеволод даже попросил помощи у великого князя киевского Святослава Всеволодовича, и тот направил в дальний восточный поход своего сына Владимира с войском. По Клязьме, Оке и Волге полки девяти князей спустились на больших ладьях-насадах и пошли «полем» к столице волжских болгар (булгар) городу Болгару. Защитники города, очевидно, хорошо приготовились к обороне, сосредоточив в нем всю свою силу и выделив лишь один отряд, чтобы попытаться отрезать напавшим путь к отступлению — уничтожить ладьи. Однако Белозерский полк, охранявший насады, отбил нападение, а основное войско Всеволода, простояв в бездействии два дня у Тухчина-городка, наконец окружило и осадило Болгар. Три дня (по Татищеву — 10 дней) длился безуспешный штурм, во время которого был смертельно ранен Изяслав Глебович, «сыновец» Всеволода. Города взять не удалось, и Всеволод, приняв мир, предложенный болгарами, распустил по домам свое огромное войско и возвратился во Владимир.

«Спустя два года Всеволод послал на болгар «воеводы свое с Городьчаны и взяша ⟨села⟩ многы и възвратишася с полоном». Этот набег имел местное значение. Было взято лишь несколько сел, города остались непотревоженными» (Историческая география России. XII — начало XX века. М., 1975, с. 41). Волгу снова не удалось «веслы раскропити», то есть «расплескать веслами», и два этих не слишком победоносных похода надолго отвадили Всеволода Большое Гнездо от нападений на Волжскую Бол-

гарию — до самой смерти князя Игоря он ни разу не решился на новые военные действия против болгар.

Снова очевидное «лихоречье»! Вы замечаете, дорогой читатель, что с каждой фразой «призыва» к Всеволоду сатирическое жало автора все острее?

5. Обратимся ко второй части этой гиперболизированной «похвалы». Единственный поход на Дон Всеволода Большое Гнездо в изложении В. Н. Татищева выглядит так: «Месяца апреля 30-го на память святого апостола Иакова ходи благоверный и христолюбивый князь Всеволод, сын Георгиев, и сын его Константин на половцы. Половцы же, слышав поход его, бегоша и с вежами прочь. Князь же великий ходи по становищем их, иде прочь возле Дон. Онем же безбожным побегшим прочь, князь великий возвратися вспять в град свой Володимерь и вниде месяце иуня в 5 день».

Другими словами, этот дальний тридцатипятидневный поход был безрезультатным, и если в «Слове» содержался язвительный намек на него, то мы должны отнести дату создания поэмы... еще на несколько лет вперед. Всеволод, воинская доблесть которого проявилась лишь в том, что он увидел покинутые становища половцев, *мог* «Дон шеломами вычерпать» в 1198 году. Впрочем, я предполагаю, что этот большой поход преследовал не только и не столько внешнеполитические цели, о чем мы еще вспомним, и в таком случае хвала здесь еще заметнее становится хулой.

6. «Аже бы ты былъ, то была бы чага по ногате, а кощей по резане». «Чага»— это рабыня, «кощей»— раб, «резана» и «ногата»— мелкие средневековые денежные единицы, и, как писал Н. Ф. Котляр, в «Слове» названа «фантастическая цена, раз в 300 уменьшающая стоимость невольников в XII в.» Другой исследователь уточнял: «средняя цена раба... упала бы в 250 раз, а средняя цена рабы... в 120 раз... Резана — это стоимость постного второго блюда, даже и не целого обеда» (Б. А. Романов. Люди и нравы Древней Руси. М.—Л., 1966, с. 39). Здесь не только, быть может, тонкий и злой намек на скопидомство Всеволода Большое Гнездо, но и невероятное — до смешного!— преувеличение его воинских способностей и возможностей, «головокружительная гипербола» (Б. А. Романов).

7. «Ты бо можеши посуху живыми шереширы стреляти, удалыми сыны Глебовы». Важнейшее место! Б. А. Рыбаков: «Не вызывает сомнений, что здесь под загадочными «шереширами» подразумеваются сыновья Глеба Ростиславича Рязанского. Неясность точного перевода слова «шереширы» для нас в данном случае безразлична, так как общий смысл фразы ясен при любом значении: Всеволод может «стрелять» Глебовичами, то есть поражать при их помощи, посредством их, своих врагов». Действительно, в 1180 году двое из Глебовичей добровольно признали вассальную зависимость от Всеволода, а двое других присягнули ему в результате междоусобной войны. В 1183 году они вчетвером, как мы знаем, неудачно ходили со Всеволодом на Волжскую Болгарию. Однако в 1185 году уже после похода Игоря, «удалые сыны

Глебовы» начали «крамолу злу вельми» меж собой и вышли из повиновения сюзерена. Всеволод пытался их урезонить: *«Братья!* Что тако делаете? Не дивно, оже ны быша погании воевали, а се ныне хочете *брату* своею убити». Глебовичи, «восприимше буй помысл, начаша ся гневать на нь», то есть на Всеволода, сгноившего их отца в порубе. Началась война, и когда последовали мирные предложения от некоторых из сынов Глеба, Всеволод «не восхоте мира их».

Другой исследователь писал, что автор «Слова» «...не удостаивает этих князей поименного призыва и лишь мимоходом упоминает собирательно «удалых сыновей Глебовых», как подручников могущественного суздальского князя, как его послушные орудия — «живые шереширы». В этом можно даже усмотреть долю сарказма» (А. В. Соловьев. Политический кругозор автора «Слова о полку Игореве»: Исторические записки. М., 1948. Т. 25, с. 90).

Однако сарказм заключался не только и не столько в этом! В краткой фразе «Слова» есть яд посильнее — Всеволод уже *не мог* стрелять рязанскими князьями *посуху*, как «стрелял» ими в 1183 году во время не совсем удачного *водного* похода на волжских болгар, и этот саркастический намек автора на владимиро-рязанскую междоусобицу 1185-го и последующих годов говорит также о широких временных рамках, в которые вписаны события «Слова».

8. В обращении к Всеволоду нет призыва «загородить полю ворота», «вступить в злат стремень за обиду сего времени, за землю Рускую, за раны Игоревы, буего Святославича». Всеволод был антагонистом автора «Слова», политическим антагонистом Игоря и, если автором признать Игоря, то это отсутствие призыва особенно закономерно и логично.

Вспомнив афористичное высказывание декабриста Михаила Лунина о том, что «похвала, доведенная до известного предела, приближается к сатире», утверждаю: все обращение к Всеволоду, от первого слова до последнего, на самом деле не «хвала», а сатира, «лихоречье», «речь, лишенная истины», только не ради возвеличения, лести, а ради унижения адресата, изъявления презрительного и враждебного пренебрежения к нему!

Подробно разобрав «призыв», адресованный Всеволоду Большое Гнездо, мы можем сказать, что автор, отдавая должное Бояну, как учителю и предшественнику, отвергает идейно-художественные принципы его песнетворчества. В своей художественной практике вместо традиционной «славы князьям» дает реалистические, а часто и сатирические оценки «великих и грозных», оказавшихся ничтожными политиками, не сумевшими пренебречь эгоистическими местническими интересами пред угрозой «отъ всехъ странъ». «Слово» явилось как литературная программа и первое осуществление новой тенденции в ранней русской литературе, тенденции, которая спустя века дала и романтический и критический реализм; поэма также заключала в себе зародыш всех поздних жанров, включая сатирическую прозу, и мы сегодня можем только предположительно судить о художественном богатстве, разнообра-

зии средневековой русской литературы, ее возможном расцвете, если б не нашествие степняков в XIII веке, надолго прервавшее развитие нашей культуры...

Обратимся к образам других князей, персонажей «Слова», вспомним сомнительные комплименты Рюрику и Давыду Ростиславичам, чьи «ныне сташа стязи» и «розно ся им хоботы пашут». «Не ваши ли воины золочеными шлемами по крови плавали, не ваша ли храбрая дружина рыкает, как туры, раненные саблями калеными на поле незнаемом?» Истории неведомы особые подвиги областного киевского князя Рюрика в борьбе с половецкой опасностью, а о Давыде смоленском Б. А. Рыбаков справедливо писал, что это «главный отрицательный герой «Слова о полку Игореве», вероломно оставивший русские полки и ускакавший со своими смоленскими дружинами домой в момент решительного наступления всех русских сил летом 1185 г. Поэт, напоминая о событиях 1177 г., когда Давыд был виноват в прорыве половцев, хотел подчеркнуть, что измена Давыда в 1185 г. была не случайной».

Еще одна, едва ли не самая важная «лакмусовая бумажка» автора — его отношение к Ярославу черниговскому. Чтобы составить представление об этом князе, надо внимательно прочесть соответствующие страницы летописей, что сделал в свое время И. П. Еремин.

В 1170 году Ярослав прибыл с войском в Киев для участия в объединенном походе против половцев. Он не мог ослушаться великого князя Мстислава Изяславича —«бяху бо тогда Ольговичи в Мьстиславли воли», но когда дело дошло до битвы и все князья «вборзе» погнались за половцами, Ярослав остался «у воз»— то есть при обозе, издали наблюдая за битвой. В 1183 году он сорвал объединенный поход на половцев, отказавшись присоединиться к Святославу Всеволодовичу и Рюрику Ростиславичу, уже выступившим против напавшего на Русь Кончака, не выставив, собственно, никакой причины отказа: «Ныне, *братие*, не ходите, но узревше время, еже бог даст, на лето пондем». Между прочим, в отличие от своего трусливого и осторожного сюзерена, Игорь тогда откликнулся на призыв Святослава и принял участие в походе. В следующем году, когда Кончак снова, «со мъножеством половец» выступил в поход «пленити хотя грады русские и пожещи огнем», Ярослав принял его «лесть», целью которой было разъединение князей, и вступил в переговоры с врагом, послав к нему своего «мужа» Ольстина Олексича. Святослав предупреждал Ярослава от этого шага, однако тот не только не отозвал «мужа», но и отказался принять участие в объединенном походе, ответив: «Аз есмь посла к ним мужа своего Ольстина Олексича, а не могу на свои мужь поехати». Большая победа Святослава над половцами свершилась без Ярослава, а после поражения Игоря в мае 1185 года черниговский князь палец о палец не ударил, чтоб защитить свои собственные земли.

В 1187 году «Ярослав опять, на этот раз в особенно возмути-

тельной форме, отказался принять участие в походе на половцев, невзирая на то, что жертвой половецкого нашествия в том году оказалась его же собственная Черниговская волость... В поход князья (Святослав, Рюрик, Ярослав.— *В. Ч.*) пошли прямо по Днепру· «нельзе бо бяшеть инде ити, бе бо снег велик». Так дошли они до «Снепорода» и здесь поймали «сторожей» половецких; те сказали, что вежи и стада половецкие — у Голубого леса Князья решили двинуться по направлению к этому лесу, но тут запротестовал Ярослав. И так стал говорить Святославу: «Не могу ити дале от Днепра, земля моя далече, а дружина моя изнемоглася»... Началась между князьями «распря», в результате которой поход опять был сорван по вине Ярослава, а князья ни с чем вернулись назад, каждый восвояси» (И. П. Еремин. «Слово о полку Игореве» как памятник политического красноречия.— В кн. «Слово о полку Игореве», с. 98 — 99).

Добавлю, что Ярослав черниговский не только был прекрасно осведомлен о подготовке Игоря новгород-северского к походу 1185 года, но и сыграл, быть может, зловещую роль в его исходе И не исключено, что исполнителем коварного замысла был тот самый «муж» Ольстин Олексич. Весной 1185 года Ярослав мог просто не пойти в степь вместе со Святославом, как было не раз до этого, но он срочно послал Ольстина Олексича к половцам с какой-то тайной миссией, придумав пустую и подозрительную отговорку

Мы не знаем, о чем сговорился посол с врагами, но давно бы следовало обратить внимание на поразительные факты, связанные с последующими событиями. Сформулирую их в виде вопросов.

1. Почему поход Игоря начался сразу же после какого-то сговора Ярослава с Кончаком, осуществленного через посредство Ольстина Олексича? 2. Почему черниговских ковуев возглавил человек, только что прибывший из стана врага? 3. Для постановки следующего вопроса требуются некоторые предварительные данные. В начале марта 1168 года русские князья предприняли большой объединенный поход в степь. Среди его участников летописец перечисляет тринадцать князей, добавляя «и други князи». Выступление было успешным, но «на розыски и сражения ушло примерно 4 — 5 дней» (Б. А. Рыбаков). В весеннем походе Святослава киевского 1185 года участвовало десять князей, некоторые княжичи «и Галичьская помощь и Володимерьская и Лучьская», причем Владимир Глебович переяславский «ездяше наперед во сторожех и Берендеев с ним 2000 и 100». Вся эта огромная сила двинулась на половцев и «искаша их 5 дней» (ПСРЛ, т. 7, с. 98). Так вот, почему в эти победоносные походы русские, несмотря на предварительную разведку, осуществляемую в основном берендеями, хорошо знавшими степь, по *пять суток* искали половцев, а Игорь их совсем не искал, впервые послав «сторожей» только в конце похода, 9 мая? 4. Почему довольно протяженное, в несколько сот километров, расстояние войско Игоря преодолело безостановочно, форсированным маршем, а перед первой встречей с половцами двигалось даже ночью? Игорь слов-

ио не нуждался в разведке, и не вел лн его полкн Ольстнн Олексич прямо туда, куда было иужио Ярославу и половцам? 5. Случайио ли местом последнего боя Игоревых полков стало сухое безводиое междуречье с редкими солеными источниками? «Вот сюда-то, в пустой райои и замаиили половцы Игоря. Вежи, которые Игорь взял после короткого боя у Суюрлюя, были, вероятио, подставиыми. Опьяиеииые победой русские полкн двииулнсь дальше в этот своеобразный котел, со всех сторон окружеииый болотами нли сильиыми половецкими группировками... Гибель русского войска была неизбежиой» (С. А. Плетиева. Половецкая земля.— В ки.: Древиерусские княжества X — XIII вв. М., 1975, с. 291 — 292). 6. Почему половцы, которые «в связн с началом весеииих перекочевок, очевндно, разбрелись по всей степи» (Б. А. Рыбаков), если они предварнтельно ие зиалн о маршруте и стремнтельиом броске Игоревых полков, вдруг оказались сконцентрироваииыми в одиом, и имеиио этом, месте? 7. Почему русские воины, ослабшие физическн после великого поста, смертельно уставшие от дальиего и поспешного коииого марша, от недосыпаиий и скудиого походного харча, жестких седел и тяжелого оружня, на поле боя оказались тактнчески в безвыходиом положеиии? Они были отрезаиы от воды и, сражаясь беспрерывио днем и ночью, теряли обессилевших коней, нзиемогалн сами и попадалн в плеи — половцы брали их голыми руками, иадеясь пожнвиться за счет выкупов и продажи в рабство. 8. Почему во время фииальиой сечи побежали нменно черннговские ковуи во главе с тем же Ольстииом Олексичем н смяли русские полкн, а раненый киязь, пытавшийся заворотнть беглецов, пересел «въ седло кощиево», что было чрезвычайной редкостью в истории русско-половецких войи? 9. Почему ходивший на половцев в апреле 1185 года киевский воевода Роман Нездиловнч, располагая куда меньшими силамн, чем Игорь, вернулся с полной победой, прнгнал большой полои и стада трофейных коией, а Игорь потерпел такое сокрушнтельиое пораженне? 10. Почему Игоря и Всеволода напрямую осуждает в поэме ие автор «Слова», а великий киязь Святослав и киевскне бояре? 11. Почему Святослав кневский и его брат Ярослав черииговский, получнв известие о поражении киязя Игоря, ие вдруг оказали помощь его беззащитным землям?

Не исключено, что все это могло быть предиамереииым, запланироваииым предательством. Едва ли правы поэт О. Сулейменов, без ссылок иа источиики иаписавший, будто Ольстни Олексич геройскн погиб за землю Русскую, или учеиый М. Т. Сокол, пытавшийся утверждать, что Ольстин Олекснч, лаидскнехт половецкого происхождеиия, стал... автором «Слова о полку Игореве». Очень похоже, что «серым кардииалом» в военио-политической ситуации весны 1185 года был Ярослав Всеволодовнч чериинговский — ои ревиовал к доброй славе Игоря н, опасаясь усиления первого по «лествице» претеидента иа черниговский стол, решил если ие устраиить двоюродиого брата, то максимальио ослабить его. Не вызывает удивлеиия сообщение Ипатьевской

летописи о том, что на призыв Святослава киевского помочь Игорю Мономахович Давид смоленский «приде ко Днепру... и сташа у Треполя», но чем объяснить, что и «Ярослав в Чернигове, совокупив свои вои, *стояшеть*»? Коварный замысел удался — Игорь потерял дружину, репутацию, его Посемье было разорено, выкуп, назначенный половцами за северских князей и воевод, представляется чудовищно высоким, а судьба плененных дружинников Игоря никому не известна; возможно, они были проданы на черноморских рынках...

Улавливаю тонкую иронию автора в строчках о безвластии Ярослава с черниговскими былями, «с могуты, и с татраны, и с шельбиры, и с топчакы, и с ревугы, и с ольберы», которые якобы без щитов, только засапожными ножами и одним лишь «кликомъ плъкы побеждаютъ». История Руси не знала столь громких и легких побед, и «Слово» согласно перекликается с Ипатьевской летописью, возлагающей вину за поражение Игоря именно на черниговских ковуев.

Б. А. Рыбаков: «Князь Ярослав Всеволодович ничем особым не проявил себя... Он по традиции не любил выступать против половцев, в *чем его и укорил автор «Слова»:*

А уже не вижу власти
Сильного и богатого и многвоя
Брата моего Ярослава...»

Выделяя курсивом очень важное место, согласен с ученым, что Ярослава укоряет именно автор «Слова», хотя вкладывает этот укор в уста Святослава Всеволодовича киевского. Таким образом, отсутствие в «Слове» призыва-обращения к Ярославу черниговскому легко объяснимо, а тончайшие и дерзейшие намеки или умолчания, касавшиеся также Мономаха, Всеволода Большое Гнездо, Давыда и Рюрика Ростиславичей, мы можем с достаточной степенью вероятности приписать князю, их идейно-политическому противнику,— им был именно Игорь Святославич.

Двойственное отношение автора «Слова» к великому князю киевскому Святославу Всеволодовичу исследователи отметили давно. Это был, как выразился однажды Д. С. Лихачев, «один из слабейших князей, когда-либо княживших в Киеве». Но автор поэмы называет его «грозным великим», выдвигая «...идею о старшинстве, о необходимости подчинения младших князей старейшему, независимо от реального соотношения их сил. ...И все же поэт его высоко поднимает над остальными князьями, окружает ореолом главенства и старейшинства, преувеличивает значение его победы над Кобяком, называет грозным, каким он никогда не был, наделяет мудростью, политической прозорливостью и дальновидностью... Он известен не только на Руси, но и далеко за ее пределами: немцы и венецианцы, греки и моравы поют ему славу как победителю половцев. И при всем том поэт дает понять, что сила Святослава, которою он так щедро его наделяет, лежит главным образом в моральном авторитете его великокняжеского достоинства» (И. У. Будовниц. Идейное содержание «Слова о полку

Игореве».— Известия АН СССР. Сер. история и философия, т. 13, № 2, с. 157 — 158).

Думаю все же, что чрезмерное возвеличивание Святослава киевского содержит и некоторую толику недоброжелательной иронии — автор поэмы не мог не знать реального значения личности этого номинально великого князя, чья власть была жестко ограничена киевским боярством и Рюриком Ростиславичем. А Игорь, если автором поэмы был он, не мог не помнить «обиды» 1164 года, распри 1167-го, и совсем не случайно упреки северским князьям вложены в уста именно Святослава Всеволодовича, с которым будто бы беседуют в Киеве местные бояре. Невозможно отделаться от ощущения, что в информационном сообщении о поражении войска Игоря и этих упреках таится политическое лицемерие. Не был ли Святослав Всеволодович, многолетний политический враг Олега Святославича, втайне доволен тем, что его младший брат Ярослав, продолжая семейную традицию, столь «деликатно» поступил с младшим северским братом, Игорем Святославичем?

В отличие от общепринятой точки зрения, согласно которой Святослав своевременно не узнал о походе Игоря, считаю, что он был хорошо осведомлен об этом довольно масштабном для собственно Русской земли событии. Междугородный телефон и радио заменяли в те времена гонцы; земля, как во все времена, полнилась слухом, от Киева был день хорошей езды до Чернигова, где о планируемом походе знали заранее, отрядив в него ковуев. Больше того — Святослав Всеволодович поехал на север, словно лично хотел убедиться, что Игорь действительно ушел в степь и полков его «не кресити»... Летописец сообщает, что «в то же время великый князь Всеволодичь Святослав шел бяшет в Корачев и собирашеть от верхъних земль вои, хотя ити на Половци к Донови на все лето»... Возникают новые недоуменные вопросы. Почему Святослав предпринял в *то же время* путешествие туда, куда он никогда не ездил, и в больших походах всегда обходился без вятичских воинов? Почему не послал по такому второстепенному делу воеводу или сына? Земля вятичей, включая Корачев, что под Брянском, входила в Чернигово-Северское княжество; этот город принадлежал еще отцу Игоря, и даже если в конце XII века им, как доменом, то есть феодальной собственностью, владел Святослав, то каких «воев» хотел там набрать киевский князь, если по Северской земле только что прошла мобилизация? Почему никакого его великого летнего похода на Дон так и не состоялось? И почему Святослав поехал собирать войско в подвластные Игорю и Ярославу слабонаселенные окраинные волости, а не по Киевской земле?

Главное же недоумение вызывает сопоставление точно датируемых событий того времени, то есть апреля 1185 года. Из летописи: «Тое же весне князь Святослав посла Романа Нездиловича с Берендиче на поганее Половце». Он, очевидно, дождался возвращения своих войск из похода и только тогда выехал на север. И вот точная летописная дата: воевода «взяша веже половецькеи, много

полона и коний месяца априля в 21 иа самый Велик день». Да, по церковному календарю первый день пасхи 1185 года приходился именно иа 21 апреля, день, когда состоялось «удачное возвращение воеводы Романа Нездиловича в Киев с пленниками и табунами коней...» (Б. А. Рыбаков). А *через два дня*, 23 апреля 1185 года, Игорь выступил из Новгорода-Северского в свой поход. Святослав проехал через северские земли, его путь пересекся с маршрутом Игоря и черниговских ковуев, так что совершенно исключено, чтобы великий князь киевский не узнал о свершившемся лично...

В последнее время, кстати, появляются работы, авторы которых доказывают, что поход Игоря 1185 года не был «авантюристическим» и «легкомысленным», а явился следствием сложнейшей военно-политической ситуации в Русской земле (например: Б. І. Яценко. «Князь Ігор у «Слові о полку Ігоревім».— В кн.: Київска Русь. Культура, традиції. Київ, 1982, с. 51 — 58).

Подведем некоторые итоги. Ироническое величанье Рюрика и Давыда «господа», убийственный сарказм в отношении Всеволода Большое Гнездо, упреки, адресованные Ярославу черниговскому, гиперболизация мощи Святослава киевского, полное забвение во всех обращениях к этим и другим князьям традиционных вставных «братья» и «братия», множество иных смысловых нюансов объясняется реалистической позицией Игоря, придавшего «призывам» риторико-полемический характер. Время показало, что они действительно остались гласом вопиющего в пустыне — никакого единения, общих выступлений «за обиду сего времени» не состоялось. Неосуществимой оказалась и позитивная политическая программа князя-поэта, предусматривающая ненасильственную передачу великокняжеской власти в соответствии с принципами династического «старейшинства».

Как и некоторые другие, склоняюсь к мысли, что «Слово» появилось и стало известным именно к концу жизни Игоря, и в таком случае «призывы»— чистая ретроспекция, литературная интерпретация недавних страстей, прошедших событий. А отношение автора к Ярославу черниговскому и Роману волынскому позволило Б. И. Яценко значительно расширить временные рамки создания памятника. Действительно, слова «а уже не вижду власти сильного и богатого и многовоя брата моего Ярослава» воспринимаются не только как отеческий упрек, осуждение. «Так мог писать только политический противник Ярослава. Но он не мог еще прославлять Игоря и не принимать во внимание Ярослава Черниговского в 1194 — 1196 годах, когда Ольговичи выступали как единая политическая сила»... «Кроме того, автор «Слова» везде называет Чернигов «отним златым столом» Игоря и Всеволода Святославичей, игнорируя старейшинство и несомненное право на Чернигов князей Всеволодовичей. Если учесть, какой острой была борьба за Чернигов между Святославом и старшим братом Игоря Олегом (1164 — 1179 гг.), то напрашивается вывод, что автор мог назвать Чернигов «отним столом» Игоря лишь после смерти

Ярослава, когда Игорь стал владетельным господином в Чернигове. *Нам представляется, что время написания «Слова» следует ограничивать* 1198 — 1202 гг. «Слово о полку Игореве» не могло появиться раньше 1198 г. еще и потому, что здесь очень прозрачный намек на поход Всеволода Суздальского на Дон в 1198 г.: Всеволод может *(якобы!— В. Ч.)* «Доиъ шеломы выльяти»... Далее: первый половецкий поход Романа, как считает Н. Ф. Котляр, состоялся в 1197 или 1198 году и автор «Слова» не мог «ранее этого срока назвать половцев в числе побежденных Романом народов.

И вывод: «Восторженная военная характеристика, данная Роману в «Слове», может относиться только к 1195 — 1198 г., когда волынский князь был союзником Ольговичей в феодальных войнах за передел Русской земли. В 1199 г. князь Роман захватил Галич и стал врагом Игоря и его сыновей, внуков «Осмомысла», которые тоже претендовали на Галицкое наследство. Значит, *«Слово о полку Игореве» было написано в 1198—1199 г.г.— после вокняжения Игоря Святославича в Чернигове и до захвата Романом Мстиславичем Галича»* (Б. И. Яценко. Солнечное затмение в «Слове».— В кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники древнерусской литературы.— ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 31, с. 121 — 122).

Датируя «Слово» 1185 годом на том основании, что события последующего времени якобы не отражены в поэме, некоторые исследователи не замечают, что это время все же специфически отражено — в сложнейшей интерпретации политических страстей, авторских приязней, неприязней и целей, в недомолвках, иносказаниях, намеках и умолчаниях, риторических «призывах» к живым и мертвым. Это был чисто литературный прием, изобретенный автором для политических оценок князей-современников, которые своим местничеством обрекали Русскую землю на грядущую погибель. И художественному произведению *такого* значения не обязательно было следовать подробностям исторических буден; автор счел возможным пренебречь множеством сведений из двухвековой истории Руси. Он вообще не ставил себе целью воссоздать историческую панораму. Его, как художника, историка и политика, интересовали всего три периода: 1) наступившие после «старого Владимира» времена первых усобиц, то есть «лета Ярославовы», 2) «плъци Ольговы»— это примерно с 1078 года до смерти деда в 1115 году и 3) с 1185 года до начала XIII века.

Называлась другая ограничительная дата создания поэмы — 1187 год. В том году умер Ярослав «Осмомысл» галицкий, и, по логике некоторых историков, автор мог обращаться с призывом только к живому князю. Однако «Слово», еще раз напомним,— не историческое сочинение в прямом смысле, а литературное, и я разделяю мнение Г. Ф. Карпунина, который пишет: «Согласиться с этим расчетом можно лишь при условии, что время в художественном произведении и время реальное всегда и полностью совпадают. Но если принять такое условие как непременное требование литературного творчества, то не надлежит ли коренным образом пересмотреть датировку таких произведений, как, скажем, роман

А. Толстого «Петр Первый» или роман В. Шукшина «Я пришел дать вам волю»? Ведь Петр Первый и Степан Разин называются в них тоже «в числе живых»!.. В самом деле, если следовать слишком прямолинейной логике, то придется признать, что такие, например, слова поэмы, как «Игорь плъктъы заворочаетъ: жаль бо ему мила брата Всеволода», были написаны непосредственно на поле боя.

«Слово»— итог авторских переживаний, глубокого осмысления жизни, вдохновенной и кропотливой творческой работы. Автор, хорошо усвоивший уроки истории, остро воспринимал настоящее и прозорливо предвидел будущее.

Любое литературное произведение, в том числе посвященное давнему или недавнему прошлому, всегда является ответом на потребности, отзвуком своего времени. В конце XII — начале XIII века на рубежах русской земли наступила относительная тишина, однако автор поэмы не только предчувствовал, но и знал, что это было затишье перед невиданной грозой. Через соседнюю Полоцкую землю до него уже, конечно, доходили достоверные сведения о появлении на морском побережье вооруженных до зубов чужеземцев, о рыцарях с крестами на плащах, прочно обосновавшихся на подступах к Руси в том году, когда Игорь занял черниговский стол. Вскоре воинственные пришельцы заложили сильную крепость в устье большой реки, что начиналась в русских землях и вдоль которой тянулись дединические владения потомков Всеслава полоцкого.

А из бездонных азиатских глубин доходили зловещие слухи о великих «хиновских» буйствах. Еще при жизни Игоря какие-то «языцы незнаемые» уничтожили далеких соседей половцев, и черная туча на далеком востоке гнала по степи тревожные новости со скоростью верхового пожара...

«Слово», конечно, не могло быть создано ранее похода князя Игоря, то есть мая 1185 года, и позже декабря 1202 года — после смерти князя Игоря, названного в памятнике «нынешним». «Слово» могло быть только «*написано* и автор, заполняющий собою все произведение от начала до конца» (И. П. Еремин), очевидно, заполнил работой над ним немало лет своей жизни.

Один крупный поэт на вопрос о том, сколько времени он писал свое небольшое стихотворение, ответил: «Сорок минут и всю жизнь». «Слово» не могло появиться за сорок минут и даже за сорок дней. Неимоверно трудное в работе, оно соединило в очень сжатом тексте признаки былины, сказа, плача; это был бесценный зародыш всех жанров литературы — героической песни, эпической поэмы, «трудной повести», проблемного гражданского публицистического очерка, романтической баллады, природоведческого научного сочинения, хвалебной оды, свободного разнопланового эссе на общественные темы, ораторской речи, философского этюда, либретто, средневековой оратории, исторической драмы, политических заметок и, наконец, программного исторического документа, исполненного пророческого предвидения и выраженного высо-

кохудожественными средствамн. В авторском определеиии жанра произведения частично отразилось необыкновенно богатое содержаиие лексемы «слово» (И. И. Срезневский насчитал в старорусском языке *двадцать восемь* его зиачеиий!). И в то же время «Слово» полно виутреинего смыслового единства, стилистической цельности, озареио, будто бело-сииеи молнией, поэтической творческой вспышкой одного автора.

В поэме живет *душа слова*. Что я под этим подразумеваю, не могу толком объясиить, ио вот выхватываю взглядом первые попавшиеся и такие будто бы совсем простые слова из плача-мольбы Ярославны, обращенные к ветру-ветриле: «Чему, господине, мое веселие по ковылню развея?»... Нежное сопрнкосновение слов друг с другом, плавный строй речи с аллитерацнонной полурифмой, трогательиый, милый образ русской женщины на городской стеие, зримая картина печального ковыля под ветром, развеявшего в дикой степи великую потерю Ярославны, ее радость, Игоря; тончайший лиризм, таящийся в риторико-вопросительной интонацин, любовь и горе, упрек и бессильная покорность судьбе, словесная печать того времени и символика истории — все это, как удар в сердце, и все это родное, твое!— вот что я примерно *чувствую* и иазываю душой слова, в котором светится душа великого поэта. Недаром Пушкин, отвергая подозрения в том, что «Слово» было написано каким-то поэтом XVIII века, сказал, что они «не нмели все вместе столько поэзии, сколь находится оной в плаче Ярославны, в описании битвы и бегства».

Есть в «Слове» н развернутые, невероятно усложненные образы, о глубиином смысле которых спорили, спорят н всегда будут спорить учеиые и поэты. Вот одно место из «мутного сна Святослава»: «...чърпахуть ми синее вино съ трудом смешено, сыпахуть мн тъщими тулы поганыхъ тлъковинъ великый женчюгь на лоно и негуютъ мя».

Разбор смысла, художественных особенностей и символикн этого места занял бы много страниц, и я адресую любознательного читателя к специальной литературе, позиакомившись с которой он убедился, что сможет об этом отрывке из «Слова» сказать и что-то свое...

Как трудно бывает найти слово, более или менее точно выражающее мысль, оттенки чувств и настроений, а в поэме все усложнено многозначиостью художествениых тропов, предельной сжатостью формы, глубочайшей исторнчностью содержания. Аполлон Майков в свое время заметнл, что в поэме «может быть, больше нсторических откровений, чем в массе драгоценных, но однообразных летописных повествований!» В октябрьском выпуске Журнала Миинистерства Народного Просвещения за 1870 год Н. А. Лавровский опубликовал статью, в которой утверждал, что «Слово о полку Игореве» есть *«историческая поэма* в точном смысле этого слова, н это составляет ее важнейшее историко-лнтературное значение». Об историзме, как характернейшей особенности «Слова», размыш-

ляли многие и в более поздние времена. Один из крупнейших советских ученых, академик-историк восхищался тем, что автор «нас просто удивляет не только широтою своих исторических познаний, но глубиною понимания исторических событий» (Б. Д. Греков. Киевская Русь. М., 1944, с. 347). С тонким пониманием художественной специфики и необыкновенной исторической емкости «Слова» пишет об этом современный исследователь памятника, ученый-филолог, академик: «*Каждое слово* в «Слове о полку Игореве» весомо, полнозначно, имеет глубокий исторический смысл, каждое его упоминание, каждый факт приведен не в поэтической беспорядочности, а со строгим выбором и с большой лаконичностью. Исторический комментарий к «Слову», раскрытие его исторических параллелей, сопоставлений, исторического значения тех или иных выражений и мыслей автора «Слова» открывает в «Слове» все большие и большие примеры поэтической точности и исторической содержательности» (Д. С. Лихачев. «Слово о полку Игореве» и культура его времени, с. 116).

Это была воистину «трудная повесть»! Вероятно, автор «Слова» всю жизнь копил языковые сокровища, искал выразительные художественные образы и, отдавая всего себя добровольному каторжному труду, начал непосредственную письменную работу, быть может, действительно во время междоусобной войны 1196 года или сразу после нее. Чеканил строчку за строчкой, вскакивал по ночам, чтобы вписать жемчужное слово, несущее историческую правду, многозначный смысл и глубокую символику, не нарушавшее ни ритмического строя поэмы, ни ее изумительной звукописи, ни речевой музыкальности, ни слоговой гармонии. От такой работы можно было сойти с ума. И не исключено, что он, идущий совершенно неизведанным литературным путем, не успел завершить своей великой поэмы и полностью перебелить черновики («темные места», за которые мы виним переписчиков, быть может, идут от протографа, надстрочных вписываний и заметок на полях).

Каждый серьезный автор чувствует, знает, *что́* выходит из-под его пера, и творец «Слова», будучи очень серьезным автором, это, конечно, тоже знал. Совершенно, повторяю, нереально, чтоб «Слово» было написано в один, как говорится, присест, и потому не могло — даже в силу своего острейшего политического содержания и полемических выпадов — быть прочитано летом 1185 года на пиру у Святослава. Прошло немало времени после похода, прежде чем появился первый вариант «Слова»,— это можно почувствовать по ретроспективному отношению автора к событиям 1185 года, по легкой дымке забвения, окутывающей их. В памятнике нет ни одной даты, нет маршрута войска Игоря, который просто «поеха по чистому полю», нет реляционных деталей главной битвы, строгой последовательности рассказа, однако сохраненные подробности сражения на Каяле, пленения и бегства могли остаться только в цепкой памяти их участника, строго отбиравшего из множества впечатлений-воспоминаний самое существенное, художественно ценное и емкое, все подчиняя сверхзадаче — соз-

данию патриотического произведения громкого, на всю Русскую землю, звучания.

«Слово», будучи произведением такого мировоззренческого содержания, политической остроты, художественной силы, исторического значения, вероятно, писалось тайно, однако и в незавершенном виде оно, кажется, становилось известным узкому кругу наиболее осведомленных лиц того времени, а имя творца, очевидно, быстро перестало быть тайной. Опираюсь, в частности, на любопытное предположение Б. А. Рыбакова, который считает, что поименование «Святославличь Игорь внук Олгов» в летописном своде 1198 года — перекличка с заголовком «Слова», идущим, как считают многие ученые, от протографа...

У меня, между прочим, давно вызывает недоумение полное заглавие памятника —«Слово о полку Игореве, Игоря, сына Святославова, внука Олегова». Зачем в нем быть этому многослойному, частично тавтологическому уточнению имени князя, свершившего поход? Не обозначил ли здесь первый великий русский писатель свое имя, отчество и фамилию, если прочесть заголовок так, как я, рассчитывая на современное читательское восприятие, напечатал его уже дважды: «Слово о полку Игореве» Игоря сына Святославля внука Ольгова? И, конечно, без традиционных, ничем не оправданных запятых, идущих от первого издания, но отброшенных еще А. С. Пушкиным. Оставляя во всех без исключения изданиях эти запятые, не уподобляемся ли мы тому издателю, который бы печатал, например, такой заголовок к пушкинским кавказским очеркам: «Путешествие в Арзрум, Александра, Сергеевича, Пушкина»?..

Интересно, что первые ценители «Слова» (Херасков, Мусин-Пушкин, Калайдович, позже Барсов и др.), упрощая полное название памятника, волей-неволей наталкивали читателя на смутную догадку об авторстве Игоря — они называли поэму «Игоревой песнью» или «Игоревым Словом». К. Маркс в письме Ф. Энгельсу от 29 февраля 1856 года писал: «Я заказал «Слово о полку Игореве»... Однако в подлиннике поэма названа по-другому —«Siegeslied Igors», то есть «Победная песня Игоря»... И воистину это великое чудо словесного искусства, описывающее поражение Игоревых полков, воспринимается как победный гимн — оно полно энергии, духовной мощи, жизнеутверждения. Француз А. Мазон, отрицавший подлинность поэмы, озаглавил, однако, свою книгу, вышедшую в 1940 году в Париже, во время фашистской оккупации, Le Slovo d'Jgor», то есть «Игорево Слово». Американский исследователь Р. Якобсон, не оставивший камня на камне от умозрительных построений Мазона, назвал свой основательный научный труд «La Gest du prince Jgor»—«Великое деяние (подвижение) князя Игоря». В 1977 году у нас вышла научно-популярная книга Евгения Осетрова «Мир Игоревой песни».

Остановимся в этой теме на чрезвычайно важном. Если наука признает, что полный заголовок «Слова» идет от протографа, из-

начального авторского текста, то поэма, вышедшая из-под пера Игоря сына Святославля внука Ольгова, не была анонимной и уже в заголовке раскрывала имя автора. В качестве одного из доказательств этой истины, к которой, к сожалению, не подступал никто из исследователей, приведу несколько подобий из литературы средневековой Руси, свидетельствующих, что автор «Слова» следовал сложившейся в XII веке письменной традиции.

Никто не сомневается, что автором «Повести временных лет» был Нестор, и вот полное и точное название его великого труда по Хлебниковскому списку Ипатьевской летописи: «Повести временных лет Нестера черноризца Феодосьева монастыря Печерьскаго». Другие подлинные, в том же ключе, заголовки: «Житье и хождение Даниила Русьскыя земли игумена», «Слово Даниила Заточеника еже написа своему князю Ярославу Володимеровичю». «Слово о плъку Игореве Игоря сына Святославля внука Ольгова», написанное в конце XII — начале XIII века, точно следовало этому литературному канону, сохранявшему свою силу и для авторов более поздних времен — вспомним «Хожение за три моря Афанасья Микитина».

В нескольких работах последних лет, посвященных «Слову», «снесеся хула на хвалу»— князь Игорь как историческая личность всячески осуждается. После Л. Н. Гумилева, считающего главными чертами Игоря «легкомыслие» и «незначительность», в ход пошли уже почти ругательные слова: он «вероломный» и «корыстолюбивый» неудачник, «хищник», даже «человек с дьявольскими чертами», и «не сокол, а презренная птица, питающаяся падалью» (О. О. Сулейменов).

И, наверно, это хорошо, что не найдено захоронение Игоря — с его черепом сделали б, наверное, то же самое, что с черепом его брата Всеволода Святославича. Во многих книгах по истории для детей и взрослых анфас и в профиль изображен якобы Всеволод — крючковатый хищный нос, голый череп, жестокое отталкивающее лицо злодея, на котором отразились садистские пороки. Таким можно представить себе, например, тирана, развратника и матереубийцу Нерона, но не яр тура Всеволода, чей светлый образ запечатлен в «Слове» и летописном некрологе 1196 года. «То ж лето преставися во Ольговичех Всеволод Святославич, брат Игорев, маия месяца. И спряташа его в Чернигове во церкви святой Богородицы. Сей князь во всех Ольговичех бе удалее, рожаем и возрастом, и всею добродетелию, и доблестию мужественною, любовию, милостию и щедротами сияя. Сего дела плакашася по нем *братия* вси и людие». А в книге Б. В. Ляпунова «Из глубины веков» (М., 1953, с. 72) помещен снимок с другой реконструкции М. М. Герасимова лика Всеволода — по тому же, естественно, черепу. Изображен он внешне совсем другим человеком, усатым и бородатым, с копной волос на голове и явными монголоидными чертами лица. Эти портреты крайне сомнительны еще и потому, что объективная наука не подтверждает подлинности черепа Всеволода Святославича.

М. М. Герасимов превратил также в купчика-пройдоху Ярослава Мудрого, но особенно досталось от разрекламированного когда-то скульптора-антрополога Андрею Боголюбскому. Этот владимиро-суздальский князь был личностью, бесспорно, исключительной. Он обладал, видимо, тонким художественным вкусом, стал заказчиком и приемщиком выдающихся архитектурных сооружений — величественного Успенского собора и Золотых ворот во Владимире, бесподобного храма Покрова на Нерли и роскошного белокаменного дворца в Боголюбове, был талантливым полководцем, писателем. По словам В. Н. Татищева, основывавшегося на летописях, этот князь «град же Владимир расшири и умножи всяких в нем жителей, яко купцов, хитрых рукодельников и ремесленников разных населил. В воинстве был храбр и мало кто из князей подобный ему находился, но мир паче, нежели войну, и правду поче всякого приобретения любил. Ростом был невелик, но широк и силен вельми, власы черные, кудрявые, лоб высокий, очи велики и светлы». Скульптор же вылепил по его черепу что-то совершенно противоположное — волосы лежат плотно вокруг низкого лба, глаза сужены, ноздри выворочены, лицо тупое, хищное и жестокое, отталкивающее неприятно (см. названную выше книгу Б. В. Ляпунова, с. 81). По сравнению с этим омерзительным выродком многочисленные герасимовские неандертальцы и кроманьонцы — венец божьего создания. И какое правда что счастье — не обнаружены останки Игоря!..

Яр тур Всеволод обращается в «Слове» к старшему брату: «Один брат, один свет светлый — ты, Игорь!» И ни «Слово», ни исторические свидетельства жизни Игоря не дают никаких оснований для кощунственного осуждения этого человека. И. П. Еремин: «Игорь, Всеволод, все «Ольгово хороброе гнездо» в целом пользуются у автора «Слова» неизменной симпатией; все они показаны у него как лучшие представители современного ему поколения князей, как доблестные воины, посвятившие себя неустанной борьбе с «погаными» в защиту родины... Игорь в изображении автора «Слова» наделен всеми возможными качествами доблестного воина, готового на любые жертвы для блага земли русской; перед выступлением в поход он воодушевляет дружину словами, полными мужества и беззаветной храбрости; смерть он предпочитает плену и к тому же призывает дружину; вопреки действительному ходу событий автор «Слова» даже заставляет выступить в поход в момент солнечного затмения...»

И действительно, Игорь, согласно летописям, ходил на половцев чаще любого другого князя Руси конца XII века: в 1171, 1174, 1183, 1185-м, дважды в 1191 году, вероятно, вместе с братом Олегом в 1168-м и, возможно, со Святославом и Рюриком в 1193 году; когда удачно, когда и неудачно, что было обычным для тех времен. Вероятно, он был больше поэт, чем полководец, хотя и полководческого его таланта история не отрицает. В 1191 году ему удалось организовать поход *«со братиею»*, объединив под своим

стягом полкн «яр тура» Всеволода, сыновей Святослава кневского Всеволода, Владнмира и Мстислава, а также его внука Давыда. Ольговнчи, правда, встретилн превосходящне половецкие силы, благоразумно отступнлн, н летопись рассказывает о тонкой военной хитрости, примененной тогда Игорем. Построение же войск перед решающей битвой 1185 года, ход этого сражения, подробно разобранный специалнстамн, свидетельствуют о доблестн и воннском уменин князя (см.: В. Г. Федоров. Кто был автором «Слова о полку Игореве» и где расположена река Каяла. М., 1956; М. Ф. Гетманец. Тайна реки Каялы. Харьков, 1982).

Попрошу любознательного читателя вместе со мной, приостановиться в этом месте и задуматься над строкой «Слова», напомннающей военную реляцию с реки Каялы: «Бишася деиь, бишася другый; третьего дни къ полудню падоша стязи Игоревы». Сведение исторически неточно, и автор, должно быть, составил эту фразу для соблюдения ритмикн и, одновременно, придав событию полусказочную эпичность. Он сам же пишет, что «съ зарания в пятокъ», то есть «ранним утром в пятиицу», Игоревы воины потоптали половецкие полки — состоялось первое легкое н победное сражение на Суюрлюе. Потом снова «съ зараниа до вечера, съ вечера до света летять стрелы каленыя» — это уже субботнее событие, и Ипатьевская летопись уточняет: «Светающе же субботе, начаша выступати полци половецкие, ак борове» («ак борове» — как бор, густой хвойный лес; «съ зарания» — дважды употребленный в поэме иеологнзм, который ни в летопнсях, нн в других литературиых пронзведениях средневековой Руси не встречается).

Наиболее достоверная Ипатьевская летопись: «И тако бншася крепко ту днину до вечера, и мнозии раненн н мертви быша в полкох рускнх; наставшн же нощи суботнии, н пондоша бьючися». Битва закончнлась, согласно «Слову», к полудню в воскресенье. Ипатьевская летопись: «И тако во день святого воскресения наведе на ня ⟨на Игоря⟩ господь гнев свой». «Слово»-веды определнли, что это воскресенье прнходилось на 12 мая 1185 года и, такнм образом, фннальная сеча Игоревых полков, начавших прнмерно в 6 утра субботы н закончившись в 12 дня воскресенья, длнлась около трндцатн часов.

Автор «Слова» обобщенно включнл в трехдневное сражение битву на Суюрлюе, но тогда летопнсная повесть о походе Игоря в Лаврентьевской летописи — еще одно доказательство подлинности «Слова»! Дело в том, что, описав первое победное сраженне на Суюрлюе, владимнрский летописец, которого цензуровал сам Всеволод Большое Гнездо, враг Игоря, выдумывает, будто бы Ольговнчи затем три дня веселились в степи, хвастались воинскими подвигамн, собираясь «взять до конца свою славу н честь». И только якобы после этого трехсуточного перерыва состоялось главное сражеиие, в кратком описании которого, однако, фигурируют те самые былинные 3 дня, что означены в «Слове»: «бишася 3 дии стрельцы». Откуда, кроме поэмы, мог взять это сведение далекий от событий владимирский летописец, если его не было в

других летописях, в том числе и в тех, сгоревших, которыми располагал В. Н. Татищев?

В «Истории Российской» Татищева, с тщанием перелагающей известные и неизвестные летописные источники, зафиксировано множество подробностей о походе Игоря, признанных наукой достоверными. Прежде чем привести важные татищевские слова, взятые им из неизвестного нам источника и прекрасно характеризующие Игоря, отметим некоторые эпизоды битвы. Когда Игорь увидел, что половцы «отъ всехъ странъ руськыя плъкы оступиша», то не растерялся, не ударился в панику, а занял круговую оборону — «преградиша чрълеными щиты» поля, что было единственно правильным в той ситуации. У щитов началась жестокая сеча.

Лаврентьевская летопись повторяется: «...изнемогли бо ся бяху безводьем, и кони и сами, в знои и тузе, и поступиша мало к воде, по 3 дни бо не пустили бяху их к воде». Никакого сомнения нет, что имеется в виду именно битва на Каяле!

Но что значит — «поступиша мало к воде»? Ипатьевская летопись уточняет: «хотяхуть бо бьющеся дойти рекы Донця», что тек в пяти-шести километрах от места сражения Игоревых войск, и берег его покрывал лес, в котором можно было «заложиться». В. Н. Татищев: «поидоша к Донцеви помалу все вкупе»... «В тех трудных условиях решение Игоря пробиваться в ближайший лес было единственно правильным, и оно *характеризует его как опытного полководца*. Однако половцы разгадали замысел русских и выставили на этом направлении мощный заслон» (указ. работа М. Ф. Гетманца, с. 94).

Кони, что в те времена составляли с воинами нераздельные боевые единицы, окончательно изнемогли, утомленные долгим маршем и безводьем, и Игорь принимает третье правильное решение: всем *спешиться* и все-таки пробиваться к Донцу, к спасительной воде... Представлю пеших князей и дружинников, что в тяжелых, горячих от ярого степного солнца доспехах, с воспаленными глазами, иссохшими губами, под стаями метких стрел, поддерживая истекающих кровью сотоварищей, наступают, размахивая мечами, на конную гущу половцев, преградивших путь к реке...

Но, наверное, были еще в войске какие-то относительно свежие запасные, поводные кони для князей и воевод. С этим обстоятельством связано одно удивительное место у Татищева, как нельзя лучше раскрывающее облик Игоря. «И рассудя, что на конех биться неможно, все спешась шли, надеясь к Донцу дойти, ибо князи хотя могли коньми уйти, но Игорь сказал: «Я не могу разлучиться, или со всеми обсче добро или зло мне приключится, ибо если я уйду с воеводы, то простых воинов конечно предам в руки иноплеменником. Тогда какой ответ дам перед богом, но большую вовеки казнь, нежели смерть, прийму...» Ответственность полководца, совесть воина, порядочность человека — вот что двигало Игорем в тот тяжкий час его жизни.

Мы не знаем, из какой погибшей в подмосковном Болдине летописи взял эти слова Татищев — Раскольничьей, Троицкой,

или из совершенно неизвестного нам средневекового русского манускрипта; только наука давно установила, что перелагатель истории Российской никогда и ничего не прибавлял от себя...

А владимирский монах и его цензор Всеволод Большое Гнездо, мстивший автору «Слова» летописными строками, порочащими Игоря и искажающими историческую правду, даже не заметили, что подчеркивают храбрость и воинскую стойкость Ольговичей и их воинов! В самом деле, сражения со степняками даже объединенных русских сил *всегда* были скоротечными, быстрыми, решались, как правило, одной яростной сшибкой и длились не долее нескольких часов. А тут — беспрерывная трехсуточная битва?! И если она, как это твердо установлено, продолжалась тридцать часов, то и это время надо признать исключительным, уникальным во всей многовековой истории почти непрерывных сражений русских со степняками — ведь даже вошедшая в летописи мировой истории грандиозная битва на поле Куликовом 8 сентября 1380 года длилась около 9 часов...

В некоторых работах последнего времени старательно подбираются упреки, адресованные Игорю не только как бездарному полководцу, но и как зачинщику междоусобиц, его личность подается в качестве типичного удельного князька-неудачника, забияки, мелкого политиканишки, призывавшего на Русь половцев. Это искаженное представление!

Да, действительно, за Игорем числится участие в двух междоусобных военных эпизодах 1180 года, и верно, что вместе с ним сражалось половецкое войско. Но подробно эти эпизоды никто не разбирал, исследователи забывают даже уточнить, что Игорь в том году играл в Ольговичах третьестепенную политическую роль и находился в двойной вассальной зависимости от своих сюзеренов. Утверждение, например Л. Н. Гумилева, что «...в 1180 г. Игорь находился в тесном союзе с половцами», основано на упростительном подходе к сложной политической ситуации того времени.

В поход на полоцкий Друцк, скажем, пошли во главе всех Ольговичей стоявшие над Игорем Святослав Всеволодович, лишившийся великого киевского стола, и его брат Ярослав Всеволодович черниговский. Поход этот вообще нельзя рассматривать как нападение Ольговичей на полоцкие владения, потому что под одним стягом с ними выступили тамошние князья — Всеслав Василькович полоцкий, Брячислав Василькович витебский, Всеслав Микулич логожский, Василько Брячиславич изяславский, Андрей Володшич со своим племянником Изяславом, «литва» и «либь». Целью демарша вовсе не был захват городов или земель соседнего княжества — это была помощь соседям, защита от притязаний Мономаховича Давыда Ростиславича смоленского на полоцкие города и земли. Политический смысл этого похода, за который почему-то ныне укоряют Игоря, как зачинщика междоусобиц, проявился в его результатах.

Давыд смоленский вошел было со своими войсками в Друцк

и «от Давыдова полку переезживаху (реку Друть.— *В. Ч.*) стрельцы и копейщицы н бняхуся с ними крепко», но когда подоспел с новгородским войском Святослав и «перегатишн Дрею, хотяху ити на Давыда», тот убрался восвояси. Город не подвергся штурму и разграблению, а только сожжением его острога, очевидно, когда там стояли войска захватчика, демонстрацией соединенных сил Ольговичей и потомков Всеслава полоцкого был вновь присоединен к «отней земле» одного из главных исторических персонажей «Слова». Так что Игорь участвовал в этом походе с чистой совестью, отстаивая справедливое, правое дело тех времен и включившись в вековечную борьбу Ольговичей с захватническими устремлениями Мономаховичей.

Далее. Летний бросок на Киев, битва под городом, разгром половецкого войска, в результате чего Игорь бежал в одной лодке с Кончаком,— все это никак не характеризует Игоря как «друга» половцев, плохого полководца или инициатора «котор». Половцы были призваны не им, а Святославом, степняки сами «смятошася от страха» перед превосходящими силами Рюрика Ростиславича. Вся эта междоусобная каша была вызвана тем, что Мономаховичи отняли у Святослава Всеволодовича великий киевский стол, на котором он сидел по династическому и возрастному старшинству с 1176 года. Политический результат сражения под Киевом оказался, однако, следующим: Рюрик Ростиславич «размыслив с мужи своими угадав бе бо Святослав старей леты» и «урядився с ним съступися ему старейшиньства и Киева, а собе взя всю Русскую землю». Итак, старшие Ольговичи затеяли эту междоусобицу и призвали половцев на Мономаховичей вынужденно, отстаивая принципы феодального права и свою фамильную честь. По тем же причинам «мечом крамолу ковал» их знаменитый предок Олег Святославич, но его внук Игорь *ни разу за свою жизнь не обращался за военной помощью к половцам.*

Вспомним также об идеалах автора «Слова», о приязнях и антипатиях, выраженных через образы князей, его современников и предшественников, приостановившись на чрезвычайно приметном герое поэмы, присутствие которого в ней и сам его образ считаются несколько загадочными.

Автор «Слова»— по Б. А. Рыбакову —«горячий поклонник Всеслава Полоцкого». Почему? Ведь за сто лет, предшествовавших «Слову», было на Руси множество других сильных и ярких исторических фигур, достойных внимания! И Всеслав не являлся черниговским князем, авторские симпатии к которым очевидны, а в 1078 году даже нападал на северские земли. Чем объяснить, что в своей сверхкраткой поэме автор настойчиво и последовательно сосредоточивает внимание читателя на Всеславе, упоминает его имя чаще других — *пять* раз? Как понимать фразу о князьях — современниках Игоря, которые «своими крамолами начясте наводити поганыя на землю Русскую, на *жизнь Всеславлю*»? Что значит — «жизнь Всеслава»? К кому обращен призыв «Ярославе и все внуци Всеславли!»? На эти вопросы никто пока не дал удовлетво-

рительных ответов, но все легко объясиимо, если призиать автором Игоря, исходить из его исторической осведомленности, политических и иравствеиных принципов.

Дело в том, что в сложной шахматной партии Мономаха, игравшего, так сказать, чернымн, Всеслав полоцкий был белым ферзем, обладая преимущественным, по сравнению с Владимиром, младшими, одновозрастными и даже иекоторыми старшими Ярославичами, династическим правом на великокняжеский стол. Принцип «старейшинства» был отвергнут Моиомахом и его отцом, так что нападение Всеслава на северные районы Черниговского княжества Игорь, очевидно, считал простительным — тогда ими владел главный нарушитель законного порядка на Руси, а полоцкий князь стаиовился союзником Олега Святославича, изгнанного из Чернигова.

Исторические судьбы и политическое положение Полоцкого княжества в феодальной Руси были особыми. Владимир Красное Солнышко еще до крещения «над Кыевом» построил для Изяслава, сына Рогнеды, город Изяславль и единствениому из двенадцатн сыиовей передал в ленное наследственное владеиие — Полоцкую землю. Внук Владимира Брячнслав умер в 1044 году, оставив наследное княжество своему единственному сыну Всеславу. В годы бурной молодости и в зрелые лета Всеслав полоцкий пытался силой занять в княжеской иерархии законное, принадлежащее ему по «лествице», место. Доходы с его заболоченных земель не могли обеспечить значительных военных расходов, и борьба в одиночку против многочисленных Ярославичей была безнадежной. Они разоряли города Всеслава, дважды изгоняли его из родного Полоцка силой, потом выманили обманом и посадили в киевскую земляную тюрьму. Владимир Моиомах, который по возрастному и родовому «лествичному» положению стоял ниже Всеслава, методично ослабляя соперника, ходил на Полоцк, Лукомль, Логожск, Друцк, Минск, а в 1084 году, призвав половцев, подверг «жизнь Всеславлю» сокрушительному разгрому. Да, шапка Мономаха была не легкой, но куда тяжелее были шапки на головах Всеслава Брячиславича полоцкого и Олега Святославича тмутараканского, внук которого освежил в памяти современииков эту параллель, сделав обоих «гориславичей» историческими героями «Слова».

Сыновья же Всеслава погрязли в междоусобицах, н Мономаху не составляло особого труда держать их в подчинении. Однажды он властно усмирил, например, Глеба минского. А вскоре после смерти киевского владыки его сын Мстислав осадил города Полоцкой земли, схватил трех сыновей и двух виуков Всеслава и отправил с женами и детьми в византийскую ссылку, как некогда его отец и дед сослали туда же Олега Святославича. В Полоцке стал княжить виук Мономаха Изяслав, а по городам и весям, принадлежавшим сосланным Всеславичам, Мстислав посадил своих наместников. Эту неслыханиую «обиду» своих ближайших соседей и традиционных союзников в борьбе с Моиомаховичами, коиечно, хорошо помнил автор «Слова»...

Предполагаю, что «жизнь» в поэме значит не только «достояние, достаток; совокупность жизненных благ», как это слово расшифровывается, например, в «Словаре-справочнике» В. Л. Виноградовой. На какое «достояние», «достаток» или «совокупность жизненных благ» Всеслава можно было наводить «поганых» в конце XII века? Не на Полоцкое же княжество, куда степняки давным-давно не заходили! Под «жизнью Всеслава» автор «Слова», обобщив и усложнив это понятие, недвусмысленно подразумевал принцип династического права и всю «землю Рускую» как *законное* наследство и этого полоцкого князя, который за свое краткое семимесячное великое княжение, по словам его «горячего поклонника», «людемъ судяше, княземъ грады рядяше». Нет, совсем-совсем не случайно автор «Слова» напоминал своим современникам о тех временах, когда Всеслав, предательски заключенный в поруб Ярославичами, в дни грозной половецкой опасности был освобожден и посажен на великий стол киевским людом!..

Разделяю мнение Д. С. Лихачева, считающего, что в выражении «връже Всеславъ жребии о девицю себе любу» под «девицей» подразумевается Киев. Однако не могу согласиться с теми исследователями, которые считают, будто автор «Слова» устами Бояна осуждает Всеслава: «Тому (то есть Всеславу) вещеи Боянъ и перьвое припевку смысленыи рече: ни хытру, ни горазду, ни пытьцу горазду суда божия не минути». В этой важной фразе «Слова» — *не осуждение, а утешение* Всеслава! Это его врагам не миновать «суда божия», другими словами — суда времени, суда истории...

Несколько слов обо «всех внуках Всеслава», которых автор «Слова» призывает склонить стяги и вложить мечи в ножны, потому что они из-за своих «крамол» лишились славы дедов. Под этими «внуками» никак нельзя подразумевать подлинных внуков Всеслава, у которого было их десять, но даты рождения всех неизвестны, а годы смерти историки установили, и то довольно предположительно, только для двоих — Изяслава Глебовича (1134) и Василька Ростиславича (1144), да еще прочли на валуне, найденном близ Друцка, надпись, из которой явствовало, что в 1171 году был еще жив, быть может, последний внук Рогволод Рогволодович. Внуки Всеслава никогда не играли заметной роли в политической жизни Руси, и едва ли кто из них дожил до конца XII века. Буквальное понимание слов «внуки» породило затяжные споры о Ярославе, отступления от авторского текста, и сейчас даже в воспроизведении подлинника начало знаменитого призыва искажается на все лады. Например, в «Слове о полку Игореве» (малая серия «Библиотеки поэта». Л., 1953, с. 51) он выглядит так: «Ярославли все внуци и Всеславли!», а в названной выше книге М. Ф. Гетманца (с. 133) — «Ярославли и вси внуце Всеславли!» Но ведь ни один из подлинных внуков Всеслава не наводил «поганых» на Русскую землю, и ко времени появления «Слова» никого из них не осталось в живых, как и внуков Ярослава Мудрого. На политическую арену Руси вышли не только

праправнуки Ярослава (например, Игорь Святославич черниговский), но и его прапрапраправнуки (Роман Мстиславич галицкий).

Не уверен, что можно ставить на одну «лествичную» доску Ярослава Мудрого, великого князя киевского, и его внучатого племянника Всеслава полоцкого, лишь некоторые правнуки которого дожили до событий, описанных в «Слове», а трое из них, не пользовавшиеся вниманием летописцев,— Изяслав, Брячислав и Всеволод Васильковичи — упомянуты в поэме, намекающей на распрю и между новым поколением полоцких князей. Кстати, если бы мы узнали, когда «единъ же изрони жемчюжну душу изъ храбра тела чресъ злато ожерелие» правнук Всеслава полоцкого Всеволод Василькович, то могли бы поточней датировать «Слово»... Итак, Боян в поэме — Велесов «внук», Игорь — «внук» Бояна, «Даждьбожии внуки» — русские князья, а «все внуки» Всеслава — это не конкретные лица, которым Всеслав приходился дедом, и не обобщенное поименование каких-либо его потомков, а *все русские князья, способные услышать страстный призыв автора «Слова» и объединиться под знаменем соблюдения законных династических принципов вокруг Киева для совместного отпора «поганым», идущим на Русь «съ всехъ странъ».*

«Ярославе» же в этом призыве — несомненно, обращение к Ярославу черниговскому, и упоминание одного этого имени в *таком* контексте я связываю не только с тем обстоятельством, что автор «Слова» относится к нему резко отрицательно, как к горе-сюзерену, заигрывавшему с половцами, не раз срывавшему общерусские походы в степь и, по нашим предположениям, сыгравшему зловещую роль в исходе Игорева полку 1185 года. Суть в том, что, несмотря на все это, Ярослав Всеволодович должен был по династическому праву занять после смерти Святослава Всеволодовича в 1194 году великий киевский стол и, следовательно, вести себя в политике достойно, как «старейший». Ярослав стал старшим в Ольговичах и на целых пятнадцать лет был старше самого сильного Мономаховича, последнего сына Юрия Долгорукого — Всеволода владимиро-суздальского.

И Ольговичи тут же предъявили свои права, получив поддержку только в лице Романа волынского: «...Роман отступил к Ольговичем и проводит Ярослава (Всеволодича черниговского) на старейшинство». Однако вскоре он был нейтрализован посулами, а другие влиятельные Мономаховичи объединились, чтобы оставить Киев за «Володимерим племенем». Областной князь киевский Рюрик Ростиславич сделался и стольным князем — ставленником своего брата Давыда Ростиславича смоленского и Всеволода Юрьевича владимиро-суздальского. Последний, как всегда, преследовал своекорыстные цели, получив за «услугу» от нового великого князя киевского пять городов в «Русской земле»— Торческ, Корсунь, Триполь, Богуслав и Канев, куда сразу же «посла посадники своя и сим велику беду в Рустей земле нанесе».

Примечательно, что к участию в начавшейся в 1196 году большой войне за великий стол «дикие половцы» были призваны не Оль-

говичами, а Мономаховичами; полоцкие же князья, как и в 1180-м воевали на стороне Ольговичей, и это также объясняет внимание автора «Слова» к Всеславу, символическим «внукам» его племени, идеальным носителям идеи династического феодального права.

Возвращаясь к личности Всеслава, добавлю, что в последние *двадцать три* года своей жизни (по другим источникам — тридцать один год) полоцкий «Горнславлич» не затевал «котор», *«хотя возможности для этого в конце XI века были»* (О. М. Рапов. Княжеские владения на Руси в X — первой половине XIII в. М., 1977, с. 54). Что касается самого Игоря, то он всю жизнь исповедовал принципы, провозглашенные в поэме. Поучаствовав *как вассал* в довольно мелких усобицах 1180 года (походы на Друцк и Киев), Игорь Святославич *двадцать два года* — до конца своих дней — воздерживался от братоубийственных распрей, лишь один раз, в 1196 году, *вынужденный* вместе со всем «Ольговым гнездом», предъявившим свои законные права на великий стол, изготовиться к отпору военной коалиции князей Киева, Смоленска, Владимира и Рязани.

История числит единственное междоусобное сражение, предпринятое Игорем: в 1184 году он «взях на щит город Глебов у Переяславля». Это зафиксировано в летописной повести о походе Игоря, включено в покаянную «его» речь, и современные историки вовсю кают Игоря именно за сей поступок, хотя надо бы больше каять владельца этого города Владимира Глебовича переяславского, который незадолго перед тем «иде на Северьские городы и взя в них много добыток». Игорь, подчиняясь средневековому рыцарскому кодексу, не мог не ответить на «обиду», чтобы не потерять уважения к себе со стороны вассалов, бояр, воевод, дружины, да и врагам он обязан был показать силу и спасти свою «честь»...

Полнее, ярче и правдивее, чем участника усобиц, Игоря характеризует то, что он, располагая множеством городов, обширными плодородными землями, сильной дружиной и приличным вассалитатом (Путивль, Курск, Рыльск, Трубецк), *восемнадцать* лет своего новгород-северского княжения подавал пример соблюдения династической «лествицы», не сделал ни одной попытки выступить против такого никчемного и вероломного князя-сюзерена, как Ярослав, до самой его смерти не попытался овладеть Черниговом. И за четырехлетнее великое черниговское княжение Игорь Святославич *ни разу* не принял участия в феодальных войнах, хотя существовала возможность и даже в некотором смысле необходимость хотя бы одной такой войны.

Итак, будучи поэтом, человеком, настроенным, очевидно, несколько романтически, Игорь и в политике, и в литературе выступал за неуклонное соблюдение династического права по старшинству княжеской «лествицы». Идеалом для него была единая и могучая Русь времен Владимира Святославича Крестителя, хотя Игорь ясно понимал, что его великого предка «того старого Владимира нельзе бе пригвоздити къ горамъ киевскымъ», хорошо знал жестокую реальность истории, в том числе «первых

времен усобнцы», н считал, что только еднненне князей может спасти Русскую землю от грядущей внешней опасностн. Не намереваюсь отводнть все упрекн, адресованные в «Слово»-веденин Игорю, не собнраюсь его ндеализировать — он был сыном своего века, но есть достаточные основаиия для его защнты от чрезмерных осужденнй н предвзятых оценок. Повннмательней присмотримся к облнку Игоря, отразнвшемуся в летопнсях.

Характерно звучат слова Игоря нз Ипатьевской летопнсн за 1180 год, когда назрела очередная усобнца Ольговнчей с Мономаховнчами: *«Брате, добра была тишина,* лепей было уладиться»... У В. Н. Татнщева речь Игоря, обратнвшегося с упрекамн к Святославу Всеволодовнчу, изложеиа подробно н отлнчно характеризует молодого новгород-северского князя, самостоятельно, незавнснмо н здраво мыслящего н уже высказывающего свое политическое кредо, которое я выделяю курсивом, чтобы любознательный читатель сам мог убеднться, что оно совершенно идентично основиой ндее «Слова»: «Весьма бы лучше тебе в покое жнть н перво прнмнриться со Всеволодом н сына освободить н согласяся, *обще всем Рускую землю от половец оборонять...»* (Исторня Россннская..., т. 3, с. 123).

В коице марта 1185 года, когда Ярослав черниговскнй нзменннческн надумал снестнсь с Кончаком, напавшим на Русь, то Игорь сказал ему: «Не дай боже отрицатнся нам на поганыя ездити, *они бо всем нам общии вороги...»* (там же, т. 4, с. 302). И начал готовнться к своему походу — собнрать и экнпировать дружнну, оповещать вассальиых князей. Утверднвшееся мнеиие, будто поход Игоря был чнсто «сепаратным» и «легкомысленный» князь пошел в степь очертя голову, не предупредив остальиых русских князей, неверно. Игорь сделал главное — предупреднл своего сюзерена, нначе не получил бы войско чернnговскнх ковуев. Хотя вполне возможно, повторюсь, что нмеино Ярослав направнл его в этот поход, преследуя свои сепаратные ннтересы и спекульиув на доверчнвостн Игоря. Он, вероятно, смог легко убедить вассала в том, что поход будет легкой военной прогулкой до самой, быть может, Тмутараканн. Ведь всего полтора месяца назад десяток князей во главе с «грозным великим» Святославом нанеслн половцам сокрушнтельное пораженне. Ярослав мог сыграть и иа честолюбнн Игоря — разведку н первый бой принял на себя в том большом победном походе Владнмнр Глебович переяславскнй со своей дружнной и двумя тысячами берендеев, а полевая распря между Игорем н Владнмнром нз-за места в авангарде объедннненного похода 1183 года была на памяти всех. Последним же убедительным аргумеитом Ярослава мог быть следующнй: нз степн с большнм половецким полоном и богатымн трофеями возвращался кневский воевода Ромаи Незднловнч...

Объектнвно же поход Игоря вовсе не «раскрыл ворота со стороны поля», а стал геронко-жертвенной акцией, быть может предупреднвшей мощный мстнтельный удар Кончака и Гзы по Киеву н Черингову. Полоцкие ханы, собрав со всей степн огромное

войско, заманили Игоря в ловушку и малой кровью получили главное — богатую добычу. За что же при таких обстоятельствах обвинять Игоря? За стремление к легкой победе? А кто и когда о ней не мечтал? За честолюбие, доверчивость и простодушие?

Игорь Святославич был, очевидно, порядочным в нравственном смысле и политически смелым человеком — *шестеро* князей отказали в приюте изгою Владимиру галицкому, опасаясь гнева его отца, Ярослава «Осмомысла». Игорь же гостеприимно принял шурина в своей новгород-северской вотчине и через три года «примирил его с отцом» (Б. А. Рыбаков). Игорь Святославич был также хорошим семьянином, любил супругу, чей образ так опоэтизирован в «Слове»... Право, довольно трудно понять, за что именно некоторые авторы клянут сегодня этого, по-видимому воистину незаурядного, человека, несущего в своем облике индивидуальные черты своеобычной личности тех времен.

Исследователи, кстати, вчитываясь в «Слово», отмечают психологическую и политическую эволюцию главного героя, и не все соглашаются с Д. С. Лихачевым, который дает Игорю такую компромиссную характеристику: «Сам по себе Игорь Святославич не плох и не хорош: скорее даже хорош, чем плох, но его деяния плохи, и это потому, что над ним господствуют предрассудки и заблуждения эпохи». Нельзя рассматривать «характер Игоря как статический, раз навсегда заданный»,—пишет Г. Ф. Карпунин. Да, идейно-художественная зрелость, литературное совершенство «Слова» проявляется и в том, что образ Игоря дан в развитии, динамике, «в движении от одного духовного идеала к другому, более высокому и благородному». И далее: «Поражение на Каяле стало в поэме переломным для Игоря. На Каяле было нанесено поражение не столько Игорю-полководцу, сколько Игорю-человеку, то есть «предрассудкам и заблуждениям», которые господствовали над князем — типичным сыном эпохи. Игорь не погибает физически, он терпит моральный крах: вместе с падением Игоревых стягов рушится и его духовный идеал личной «чести» и личной «славы». Из этой, моральной, смерти князь возрождается через любовь к родине. Нет прежнего Игоря, заботившегося о своей чести больше, чем о чести родины, есть новый Игорь, высшим идеалом которого является Русская земля».

Гипотеза об авторстве Игоря открывает новые глубины поэмы, в том числе и для изучения такой малоизученной сферы духовной жизни человека, как психология творчества. Н. В. Шарлемань спрашивал в своем докладе 1952 года: «Можно ли психологически обосновать авторство Игоря? Можно ли доказать, что это есть его произведение?» Ответ довольно пространен, и я вынужден привести его в больших отрывках по рукописи, чтобы сделать достоянием любознательного читателя мысли давно ушедшего от нас интересного исследователя, имевшего немалые заслуги в раскрытии тайн «Слова»...

«Об одаренности Игоря в нашем распоряжении имеются толь-

ко косвенные доказательства. Игорь был, несомненно, просвещенным человеком. Он тщательно собирал сведения для своего личного родового летописца. По свидетельству Д. С. Лихачева, летописец Игоря «самый обширный из всех личных, семейных и родовых летописей XII—XV вв. Это был летописный свод с широким политическим горизонтом. В 1200 г. он был включен в Киевскую летопись. *Созданный Игорем общерусский летописец пропагандировал мысль о необходимости примирения враждующих князей и активизации борьбы с врагами страны».*

Известный дореволюционный ученый, автор фундаментального, объемом более двух тысяч страниц «Опыта русской историографии» профессор В. С. Иконников считал, что «подобный рассказ о большом походе Святославлича в 1185 г. записан в Чернигове». Отметим также, что летописная повесть о походе Игоря — самое обширное и подробное описание обстоятельств этого, строго говоря, эпизодического похода, описание, как бы заслонившее подробностями *все* остальные походы русских князей против половцев за полтора века. Главное же для нашей темы в летописаниях Игоря то, что *основная идея, высказанная им в официальной историографии, абсолютно идентична гражданскому пафосу «Слова», автором которого он был.*

Н. В. Шарлемань: «На развитие ума Игоря указывает... отсутствие у него суеверия, реалистическое по тому времени толкование даже столь «дурного знамения», как солнечное затмение в начале похода. Большим показателем высокой душевной силы Игоря может служить его *решительное осознание ошибок прошлого и перемена поведения.* Эта черта Игоря хорошо прослеживается в летописи. Игорь «обнародовал» (выражение Д. С. Лихачева) в летописи отчет не только о своем поражении, но и о прежних своих делах. Помимо описания хода событий, в летописи были внесены покаянные речи князя. Они изложены так, что не возникает сомнения, что это подлинные слова самого князя. Первая из них в оценке Д. С. Лихачева «поражает пространным перечнем княжеских преступлений и необычайной смелостью». Д. М. Приселков оценил эту речь Игоря как «изумляющий нас и сейчас своей искренностью счет княжеских преступлений, а при описании бегства Игоря из половецкого плена летопись приводит такие житейские и психологические детали, которые *могли быть известны только самому князю и записаны непосредственно с его слов».*

Большинство исследователей, однако, считают, что речь Игоря, исполненная религиозного экстаза, вписана в повесть о походе летописцем-монахом, который не мог знать в таких подробностях, что именно говорил Игорь в полдень 12 мая 1185 года за сотни верст от Киева или Чернигова. И эта длинная речь едва ли была произнесена среди кровавого ристалища князем, сидящим «въ седле кощиевомъ»,— уж больно неподходящая обстановка для говорения речей. И, наконец, летописное покаяние противоречит всему духу «Слова» и миросозерцанию автора,

которое известный современный исследователь считает скорее, «первобытно-пантеистическим, а отчасти и наивно-материалистическим» (Ф. Я. Прийма. «Слово о полку Игореве» в русском историко-литературном процессе первой трети XIX в. Л., 1980, с. 5).

Христианская мораль, отражая догмы религии рабов, действительно требовала от человека самоуничижительных уверений в верности богу, смиренных раскаяний в грехах, и в русской литературе XII века мы найдем немало таких, правда несколько отдающих фальшью, психологических излияний. Приведу только два примера. Игумен Даниил: «Вот я, недостойный игумен Даниил из Русской земли, худший из всех монахов, отягченный грехами многими, не способный ни к какому делу доброму... захотел видеть город Иерусалим...»; «Простите меня, грешного, и не попрекните за скудоумие и грубость...»; «Я же неподобающе ходил путем тем святым, во всякой лености, слабости, пьянству и всякие неподобающие дела творя». Владимир Мономах: «...не хвалю ведь я ни себя, ни смелости своей, но хвалю бога и прославляю милость его, ибо меня, грешного и ничтожного, столько лет хранил от тех смертных опасностей... О я, многострадальный и печальный! Много борешься, душа, с сердцем и одолеваешь сердце мое; все мы тленны, и потому помышляю, как бы не предстать перед страшным судьею, не покаявшись и не примирившись между собою».

Ничего подобного не отыскать в «Слове»! Там вера не в абстрактность бога, не в навязанную исчужа смиренническую мораль, а в главную земную реальность — в человека, природу, заветы предков. Не упование на господа, но ясное осознание насущной необходимости объединения под стягом великого киевского князя для общерусской защиты родины. В поэме нет никаких покаяний, есть диалектическое соединение исторической памяти, живой яви и надежд в умах и делах героев!

«Итак, есть все основания считать Игоря высокоодаренным человеком,— приходит к выводу Н. В. Шарлемань и продолжает: — Заметной чертой характера Игоря было честолюбие: эту черту он унаследовал от своего деда Олега Святославича. Летописи отметили честолюбивые стремления этого князя, родоначальника Ольговичей, и его борьбу с Владимиром Мономахом и Мономаховичами. Летописи отмечали постоянные неудачи Ольговичей на военном поприще. Игорь, пытаясь достигнуть успеха в военном деле, тоже потерпел поражение. Он решил выдвинуться в делах «идеологических». В поле зрения Игоря были близкие примеры литературной деятельности Мономаховичей. Владимир Мономах оставил после себя несколько талантливых литературных произведений. Его сын Мстислав, согласно исследованиям Д. С. Лихачева, был, по-видимому, автором своего летописца. Были, возможно, и еще князья-литераторы, оставшиеся нам неизвестными. Литература в то время в княжеской среде пользовалась большим вниманием. «Книжным» князем

был Ярослав галицкий «Осмомысл», сын Всеволода Большое Гнездо Константин окружил себя учеными людьми, занимался переводами с греческого и т. д.»

Добавлю: просвещенными людьми были, как мы знаем, Ярослав Мудрый, его дочь Анна Французская, сыновья Святослав, Всеволод и Давыд, Святослав Давыдович, он же Никола Святоша черниговский, Михалко Юрьевич владимирский. Б. Д. Рыбаков: «При дворе Андрея Боголюбского развивалась и литературная деятельность; Андрей сам был писателем». В. Н. Татищев о сыне Всеволода Большое Гнездо Константине Мудром: «...великий был охотник к чтению книг и научен был многим наукам... многие дела древних князей собрал и сам писал, також и другие с ним трудились». О творческой одаренности многих представителей тысячелетнего рода Рюриковичей мы можем судить и по более поздним временам. Несомненными литературными способностями обладал Иван Грозный, Рюриковичем был первый наш историк — М. М. Щербатов, а в XIX веке расцвели таланты А. И. Одоевского, П. А. Вяземского, В. Ф. Одоевского, П. П. Вяземского, П. А. Кропоткина, Н. Ф. Федорова и других отдаленных потомков Рюрика. По материнской линии — через смоленских и ржевских князей — прямым потомком Рюрика был и А. С. Пушкин...

Н. В. Шарлемань: «Еще в плену Игорь осознал тяжелое положение, создавшееся в результате разгрома его войска. На родину он возвратился «небезупречным героем...». Поражение нельзя было замалчивать, Игорь был вынужден «обнародовать» в своей летописи отчет о происшедшем. В «официальную» летопись были внесены в духе христианского смирения и покаянные речи князя. Эти признания произвели на современников, надо полагать, гнетущее впечатление. Для ослабления впечатления необходимо было обнародовать произведение, которое хотя бы отчасти оправдало поступки Игоря. Перечнем неблагоприятных стихийных явлений (затмение, повлиявшее на дух войска, метеорологические явления — зной и жажда и др.), а главное — героизмом главных виновников происшествия, их пламенной любовью к родине, к русским сынам и чистосердечным признанием своих поступков можно было смягчить позор. Таким произведением, параллельным летописи, и явилась «неофициальная» «трудная повесть»—«Слово о полку Игореве»...

Целью произведения была, очевидно, не только самореабилитация Игоря — человек честолюбивый, умный и талантливый, он претендовал в конце XII—начале XIII века на свою особую роль в политической жизни Руси: «как телу без головы, так Русской земли без Игоря».

В самом деле, Игорь Святославич тех лет, будучи уже самым старшим «во Ольговичах» и продолжая их коллективную политику, ясно сформулированную в 1196 году, мог занять великий киевский стол. Больше того — после смерти Ярослава черниговского в 1198 году Игорь *должен был законно стать великим князем киевским,* потому что оказался старше и всех Мономахо-

вичей: Рюрик Ростиславич, будучи правнуком Мономаха, стоял на династической «лествице» ступенькой ниже, а праправнуки Мономаха Роман Мстиславич галицкий и посаженный им на великий стол вскоре после смерти Игоря малозначительный князь Ингварь Ярославич волынский — даже двумя ступеньками. Что же касается самого сильного Мономаховича, стоявшего будто бы вровень,— Всеволода Большое Гнездо, то и здесь Игорь обладал преимущественным родовым правом — был старше владимиро-суздальского князя по возрасту и представителем старшей линии Ярославичей. Множество раз автор подчеркивает в тексте поэмы отчество Игоря «Святославлич», возможно, не столько для того, чтобы напомнить об отце, рядовой политической фигуре XII века, сколько о великом княжении своего прадеда Святослава Ярославича как об историко-политическом и династическом прецеденте.

И вот Игорь Святославич, не желая ослаблять Русскую землю большой междоусобной войной, четыре года сидит на черниговском столе. Сидит тихо, если не считать его необыкновенного подвижения — «Слова», в котором он так часто вспоминает своих любимых героев — Всеслава полоцкого и деда Олега Святославича. Именно потому, что они, тоже обладая сто лет назад преимущественными династическими правами и будучи насильственно спущенными Мономахом и его отцом по «лествице» вниз, пытались с помощью военной силы восстановить справедливость... Нет, Игорь не был «малозначительным» человеком! К концу жизни он стал мудрым государственным мужем, движимым патриотическими побуждениями, прозорливо и трагически осознающим неизбежность для родины тяжких грядущих испытаний, предлагавший *единственный* выход из трудной исторической ситуации.

Интересно, что принцип феодального «старейшинства» вскоре после неожиданной кончины Игоря (причины которой неизвестны, как неизвестны причины ранней смерти его старшего брата Олега и младшего Всеволода), провозгласил Роман Мстиславич галицко-волынский, будто только что прочитавший «Слово». Этот сильный и решительный князь, стоявший за соблюдение «лествицы» еще в 1194 году, постриг в монахи своего тестя Рюрика Ростиславича, его жену и дочь, то есть собственную супругу, а двух сыновей князя, незаконно занимавшего великий стол, отправил в Галич.

Собрав затем в Киеве князей, Роман «начв гадати со князи и дружиною о устрое Русские земли... реки има тако: «Се, *братие*, весте, оже Киев есть старейший стол в Рустей земли и достоит в нем княжити старейшему и смысленейшему во всей *братии*, абы могл управити добре и землю Рускую всюду оборонити и содержати во *братии*, да не переобидит один другаго и не наскакует на чужу волость. Ото ж встает рать межи *братии*, ведут поганых и губят землю Рускую и начи котору во *братии* воздвижут...» В большой этой речи, которую я цитирую по В. Н. Татищеву, излагался далее порядок утверждения на

великий киевский стол «старейшего и годнейшего», говорилось о его правах, справедливом распределении земельных владений меж братиею, не раз подчеркивался принцип подчинения местных «неумиых» и «молодших» князей «старейшему», «абы русская сила не малилась». «А егда кто от *братии* воздвижет котору и наскочит на чужу волость, он да посудит с местными князи и омирит». Когда же на кого-либо из *братии* придут извне «ратнии», то «князь великий, снесшися со *братиею, местными князи*, послют помощь от всея Руския земля, елико требе».

Это была развернутая позитивная программа, политической альтернативы которой в те времена не существовало. Однако Большое Гнездо, «бояся сам старейшинство иному дати... отрече Романови, глаголя: «Се, *брате*, и сыну, испокни тако не бысть. И яз не могу преступати, но хосчу тако быти, яко бысть при отцех и дедах наших». Другими словами, политическая раздробица Руси, междоусобицы и «которы» оправдывались, как бы узаконивались силой исторических прецедентов!.. «Роман же, слышав се, оскорбися вельми, иде к Галичу». А Всеволод Большое Гнездо, тут же сместив Ингваря Ярославича, потребовал от Романа освобождения сыновей Рюрика, Ростислава и Владимира, праправнуков Мономаха. «И посади Всеволод зятя своего Ростислава на великом княжении киевском». Таким образом, киевский стол остался за «Володимерим племенем», и мы не знаем; какой оборот приняли бы события на Руси, если бы своевременно и по праву его занял Игорь Святославич внук Ольгов...

Несомненно, что между «Словом» Игоря Святославича и «Поучением чадом» Владимира Мономаха, написанном на сто лет ранее и *до* его киевского вокняжения, есть деликатная и тонкая связь. «Читатель «Поучения» — это любой представитель господствующего класса феодального общества, настроенный к поддержанию не самим им достигнутого наличного жизненного уровня, а унаследованного от предков. Это читатель того же географического диапазона и политического кругозора, что и читатель, к которому обращалось «Слово о полку Игореве» (Б. А. Романов. Люди и нравы Древней Руси, с. 140).

В борьбе конца XI—начала XII века за киевский стол Владимир Мономах использовал литературное средство политической агитации. Б. А. Рыбаков: «Поучение» Мономаха было обращено не к его родным детям. Они в это время уже выдавали своих дочерей замуж и в отцовских поучениях едва ли нуждались. Оно было рассчитано на довольно широкую феодальную аудиторию». А выше: Мономах «...без всякой скромности расхваливает себя и как бы указывает киевским «смысленым»: вот я — тот самый князь, который нужен вам. Я всегда воевал с «погаными». Я не давал воли «уным» своим отрокам, не позволял им «пакости деяти», я хорошо отношусь к купцам, я сторонник правого суда, я сумею успокоить обиженных, я честно соблюдаю присягу, я хорошо сам веду свое хозяйство, не полагаясь

на тиунов и отроков, я совещаюсь со своими боярами, я покровительствую церкви...» (Киевская Русь.., с. 461).

Политическое и мировоззренческое кредо Игоря, выраженное в «Слове», требовало от читателей глубоких исторических и философских раздумий о судьбах Русской земли, сложностях текущей жизни и человеческих трагедиях прошлого и настоящего, не замалчивало слабостей героя и не выпячивало его действительных или мнимых достоинств. Поэма предназначалась для «братии», то есть князей, избранных представителей высшего слоя тогдашнего общества, способных оценить ее набатное звучание, мощь ума и богатство таланта автора, его истинный патриотизм и благородство устремлений. Это был своего рода поиск и призыв союзников, готовых поддержать автора в главном его убеждении — необходимости соблюдения принципов феодального «старейшинства» и немедленного единения вокруг Киева, чтобы прекратить разорительные усобицы и организовать сплоченную защиту от внешних врагов.

На собственном горьком примере Игорь преподносил поучительный исторический урок и напрямую предлагал себя на роль главы Русской земли. Первым обратил внимание на эту прагматическую цель «Слова» еще в прошлом веке автор двух замечательных работ о поэме П. П. Вяземский, написавший, что автор *«...ничего не имел другого в виду, как представить кандидата для защиты единства родного племени»*. Н. С. Демкова, возвращая нас к событиям 1185—1196 годов и подробно анализируя тогдашнюю политическую ситуацию, считает, что автору «Слова» «известны обвинения Ольговичей в безрассудстве и военном неумении, он знаком с требованием Всеволода, Рюрика и Давыда, обращенным к его князьям,— навсегда отказаться от притязаний на киевский престол, и он хочет *оправдать черниговских князей за поражение 1185 года, доказать их военное и моральное право быть руководителями в княжеских союзах, ибо они выступали как мужественные представители Руси против «поганых», они уже «доспели на брань»... Идеальным центром княжеских союзов для автора несомненно являются черниговские, его князья, способные и к защите Руси, и к руководству ею»*.

А Н. В. Шарлемань в своем докладе 1952 года останавливался на психологических мотивах, вызвавших к жизни великую поэму, и рассматривал истоки ее разнообразной лексики. «Долгое раздумье в плену и в дороге, тяжелые душевные переживания, впечатления от ярких образов весенней природы, вылившиеся не в форме христианского покаяния и смирения, а в пантеистических образах природы, языческих богов, и дали гениальное произведение. Кто же, кроме Игоря, на долю которого пришлись все эти переживания, мог подать их в такой страстной форме, кто знал, о чем думал Игорь перед побегом, во время побега, кто знал мысли Игоря о жене, золовке, зяте?»...

Действительно, духовный портрет Ярославны, в частности, воссозданный в «Слове» яркими и смелыми мазками, мог при-

надлежать только человеку, долго и близко знавшему ее, «выдумать» и набросать бессмертными красками столь интимный образ, обнаруживавший пантеистическое мировосприятие супруги Игоря, какому-то другому лицу в те времена было невозможно. Кстати, еще Аполлон Майков интуитивно и тонко почувствовал в плаче Ярославны присутствие Игоря: «Обстановка этого плача будет: степь, утро, закуковала кукушка, напомнившая особенно живо Игорю его Ярославну, как видел он ее в последний раз на стене в Путивле... Там она стоит и обращает вопли свои в пустынную степь — к ветру, к реке, к солнцу, горюя и тоскуя любящим сердцем, чуя постоянно беду над милым... Как хорош выходит тут Игорь-то!»

Н. В. Шарлемань: «Признав Игоря автором, легко объяснить осведомленность «Слова» в княжеских делах. Как зять Ярослава галицкого, Игорь, конечно, был хорошо знаком с положением двора Ярослава, знал мощь его войска, слышал в своей семье о замыслах венгерского короля. Из говора своей жены Евфросинии Ярославны и ее брата Владимира, жившего в течение некоторого времени у него, Игорь усвоил и внес в свое литературное произведение некоторые западно-русские слова, галлицизмы и полонизмы...»

Между прочим, и новгородские элементы, усматриваемые в «Слове», легко объяснить тем, что мать Игоря, одна воспитывавшая с тринадцатилетнего возраста сына, была новгородкой, на которой, согласно записи в 1-й Новгородской летописи за 1136 год, «оженися Святослав Ольговиць в Новегороде и венцяся своими попы у Святого Николы...» Восточные же тюркские слова пришли в памятник через давнее соседство северян со степью, общение с ковуями в походе и с половцами в плену.

Однако особенно закономерен в поэме, повторимся, мощный слой северской народной лексики; это словесное богатство нельзя было столь активно освоить издалека и со стороны. Целых *тридцать четыре года,* почти всю свою сознательную жизнь — с 1164 по 1198 год — автор провел в Путивле, Новгороде-Северском и их сельских окрестностях. И родился он в этих местах, и здесь же прошло его младенчество и раннее детство — годы, когда маленький человек открывает удивленные глаза на мир, делает на земле первые шаги, слышит и произносит первые слова, начинает чувствовать и думать...

«Форма же изложения в «Слове» от третьего лица была выгодна Игорю, чтобы скрыть себя и обнародовать «Слово» как анонимное произведение»,— писал Н. В. Шарлемань. Да, немало произведений средневековой русской культуры анонимны: авторы, считая эти творения выше личности бренного человека, не находили уместным связывать их со своими именами, а у Игоря, как мы знаем, были на то особо важные и деликатные причины. Напомню, к месту, интересное замечание Б. А. Рыбакова: «Ученые давно уже научились преодолевать эту средневековую анонимность: если летописец, говоря о ком-либо в третьем лице, сообщает о нем слишком много подробностей, то очень вероятно,

что в этом случае летописец говорит о себе, называя себя «он»...»

Летописная повесть о походе Игоря уникальна по объему, а также по количеству достовернейших подробностей, не противоречащих «Слову», где понятие «слишком много подробностей»! Повествование от третьего лица помогло автору не только дать всему и всем личную оценку, но и взглянуть на себя и других как бы со стороны, учесть и «молву», и, так сказать, официальные точки зрения, раскрыть историзм событий. А в чисто литературном плане этот прием позволил свободнее выбирать грамматические, лексические, стилистические, аллитерационные, ритмические варианты в процессе чудовищной по трудоемкости творческой работе над текстом поэмы. Изложение от первого лица, как, скажем, в «Поучении» Мономаха, было невозможно в «Слове». Чтобы в этом убедиться, представьте себе в поэме такую, например, неудобоваримую фразу: «Я сплю, я бжу, я мыслю поля мерю...» А множество мест вообще нельзя представить написанными от первого лица! Взгляните с этой точки зрения на вводную фразу «Слова», и вам станет ясно, что она отлита в единственно возможную грамматико-стилистическую форму. Главный герой поэмы везде назван по имени, отчеству, имени-отчеству, в заголовке еще и по «фамилии», а в тексте несколько раз также посредством указательных местоимений и личных в третьем лице. В одном только — ключевом, кульминационном — месте у Игоря неудержимо вырвалось: «Что мне шумит, что мне звенит...»

Напомним, впрочем, что полный заголовок поэмы, возможно, раскрывал для средневековых читателей имя творца ее, а Н. В. Шарлемань высказал еще одну интересную догадку: «В «Слове», по-видимому, можно найти глухое упоминание о подлинном авторе в обращении к Бояну: «пети было песнь Игореви того внуку». Как известно, первые комментаторы перед словом «внуку» вставили в скобках «Олга». По-видимому, эта поправка текста излишня. Смысл первоначальной редакции таков, что Боян призывается петь песнь Игорю — своему внуку, т. е. потомку, последователю. Такие обороты речи и ныне встречаются в украинском языке. Если Игорь последователь певца Бояна, то он и сам певец...»

Учтем также мнение еще одного внимательного исследователя: «Слова «того внуку» настолько ничем не связаны по смыслу, а по своему месту настолько удалены от имени Олега Святославича, что их, конечно, нельзя отнести к этому князю». И верно — ключевая фраза о таинственном «внуке» приводится задолго до первого упоминания об Олеге Святославиче, а очень приметное место, включающее эту строку, сцементировано общей мыслью, композиционно заключает пролог-зачин поэмы и начинается с обращения к предшественнику-песнотворцу: «О Бояне, соловию старого времени!» И далее: «И синтаксически и логически (так как дело идет о пении, а не о чем-либо другом) слова «того внуку» должно отнести к имени древнего певца Бояна».

(М. В. Щепкина. О личности певца «Слова о полку Игореве».— ТОДРЛ. М.—Л., 1960. Т. 16, с. 74). Таким образом, фразу: «Пети было песнь Игореви того внуку», а также полный заголовок поэмы можно рассматривать как довольно веские доказательства авторства Игоря.

«В заключение приходится признать,— заканчивал Н. В. Шарлемань свой доклад 1952 года,— что вряд ли предлагаемая гипотеза будет скоро принята...»

Не знаю, скоро или не скоро эта гипотеза будет принята, но для меня, скажем, она уже сделала свое доброе дело — заставила по-новому вчитаться в «Слово» и комментарии к нему, повнимательней отнестись к людям и событиям далекого нашего средневековья, вникнуть в некоторые подробности тогдашней политической, военной, культурной жизни, пристальней взглянуть на главного героя бесценного литературного памятника. Личность первейшего русского писателя, если им был Игорь Святославич Ольгов, возбуждает интерес, привлекает своей сложностью, противоречивыми оценками, нераскрытыми тайнами его жизни и смерти.

Четыре года пробыл Игорь на черниговском «отнем златом столе», и об этом периоде его жизни *абсолютно ничего не известно.* Это настораживает и будит воображение. Чем он занимался долгих четыре годв? Быть может, дорабатывал «Слово», все более усложнял, зашифровывал его текст, искал новые и новые словесно-смысловые родинки? Какова была судьба протографа? Возможно, рукопись хранилась в библиотеке какого-либо черниговского собора или монастыря, обветшала, была скопирована в XVI веке, дожила там до XVIII века, попала в руки местному любителю литературы священнику Иолю Быковскому, который привез ее из Чернигова в Петербург, затем в Ярославль, хранил у себя до глубокой старости, передал, наконец, в руки Мусина-Пушкина, первого издателя памятника... Такая история подлинника — лишь зыбкое предположение, и мы обратимся к фактам, связанным с личностью Игоря и привлекшим меня своей загадочной необъясненностью.

Почему Игорь, этот — по сегодняшней пустопорожней молве — «князь-забияка», долгие годы владевший богатым и густонаселенным княжеством, на самом деле *никогда* не затевал «котор»? Может, князь-патриот, мучительно осознавший, что со времен первых усобиц принципы «старейшинства» при разделении земель и власти постоянно нарушались, десятилетиями подавал «братии», князьям русским, личный пример соблюдения этих принципов, изложив в конце жизни свое политическое и нравственное кредо в «Слове»? Почему в эти годы он не сделал ни одной попытки силой занять великий киевский стол, принадлежавший ему по наследному феодальному праву? Чтобы не «ковать крамолу» мечом, не ослаблять Русскую землю, не множить число «гориславличей»?

Несомненно, что Игорь как реальная историческая личность раскрыт исследователями не до конца. Обладавший, судя по «Слову», высокой духовной и интеллектуальной культурой, он прошел суровую жизненную школу, познал душевные потрясения, людей, обрел военный опыт, государственное мышление, изучил историю и извлек из нее уроки, выработал к концу жизни твердые мировоззренческие, политические и нравственные принципы. Историки во многом доверяют В. Н. Татищеву, располагавшему неизвестными нам средневековыми рукописными манускриптами. И мы не знаем, из какой сгоревшей летописи взял он изумительную по краткости и определенности характеристику Игоря: *«Сей муж своего ради постоянства любим был у всех, он был муж твердый».*

Но все же почему Игорь Святославич не был *провозглашен* в 1198 году великим киевским князем? Может быть, Киев, окончательно утративший свое значение столицы Русской земли, потерял притягательную силу для Игоря, убедившегося в невозможности реального осуществления принципа «старейшинства»? А не играли ли здесь решающей роли враг Игоря Всеволод Большое Гнездо или набравшие чрезмерное политическое влияние киевское боярство и духовенство? Исторические источники ничего не проясняют, и на основании их скупых текстов можно только строить предположения.

Великая распря 1194—1196 годов из-за Киева не утихла вдруг. В 1197 году Рюрик Ростиславич, ставленник Всеволода Большое Гнездо, на этот раз получивший великое княжение, в сущности, за взятку в виде пяти городов Русской земли, обратился к своему патрону: *«Брате* и свату, являю ти, зять мой Роман от нас отступи и целова крест ко Ольговичем. И ты, *брате,* посли к ним грамоты крестныя и поверзи има, а сам сяди на конь». Острая политическая ситуация вскоре разрешилась не в пользу Ольговичей даже без военного вмешательства Всеволода Большое Гнездо — в Галиче был «уморен отравою или опися» брат Ярославны Владимир, и Роман волынский захватывает галицкий стол, который по наследственному праву принадлежал сыновьям Игоря. Ярослав черниговский, лишившись поддержки Романа, не в силах был бороться за Киев, а после его смерти в следующем году единственным законным претендентом на великий стол оказался Игорь Святославич, стоявший на династической «лествице» ступенькой выше Рюрика. Летописи не зафиксировали политических перипетий того года, зато донесли до нас поразительный по своему тону и направленности панегирик Рюрику Ростиславичу. Приведу эту своего рода летописную рекламу в переложении В. Н. Татищева: «...вси бо начинания его бяху от страха божия и любомудрия (философии), полагаша бо себе во основание воздержание (чистоту) по Иосифу и целомудрие, по Моисею добродетель, Давыдову кротость, Владимирово правоверие и протчия добродетели прикладая в соблюдение заповедей божиих, многу милостиню дая».

За тридцать пять лет Рюрик вступал на великое княжение

киевское *семь* раз, не считая переходного 1198 года, но ни до того, ни после не удостаивался столь комплиментарной оценки своей личности. Политика во все времена зависела от господствующей идеологии, и не исключено, что это необычное славословие, навязчивое подчеркивание христианских добродетелей Рюрика появились на страницах летописи в пику законному претенденту на великий стол Игорю, которому, если он действительно являлся автором «Слова» с его языческим антуражем, никак нельзя было адресовать подобных восхвалений. Причем за похвалой Рюрику как-то не совсем кстати следует почему-то еще более пространная похвала христианским добродетелям его невестки Анны, дочери Всеволода Большое Гнездо, главного врага Игоря, всех Ольговичей...

Выскажу еще одно предположение, основанное на кратких летописных сообщениях того загадочного 1198 года. Имею в виду известие о *единственном* походе Всеволода Большое Гнездо на половцев, совершенном им при жизни Игоря. Почему этот сильный князь, никогда также не принимавший участия в коллективных выступлениях против кочевников, предпринял этот поход именно весной 1198 года? Почему этот неожиданный и несколько даже странный демарш оказался столь длительным? Почему не состоялось ни одного сражения с половцами? Не исключаю, что Всеволод Большое Гнездо сел «на конь» по прошлогоднему или новому призыву Рюрика сразу после смерти Ярослава черниговского. Владимиро-суздальский князь, возможно, вообще не ставил себе целью повоевать половцев — за воинской славой он никогда не гонялся, ни при чем были также мотивы обогащения или мести, так как на его богатое княжество степняки не нападали, а на общерусские интересы ему было наплевать. Скорее всего, большое войско Всеволода продемонстрировало силу на границах земель Игоря, чтобы на великом столе прочней утвердился Рюрик. И видно, совсем не случайно после этого безрезультатного и бесславного «половецкого» похода «бысть радость велика в Володимере»...

В том же 1198 году «князи рязанстии умыслиша отделити от епископи черниговския». Почему отделение рязанской епархии, входившей около ста лет в черниговскую, совпало с вокняжением Игоря? За этим важным событием в истории русской церкви предположительно можно увидеть и чисто политические причины, но совсем не исключено, что рязанские церковники, знакомые со «Словом», узрели в главном герое и авторе необычного сочинения *еретика*, ставшего великим князем черниговским и посягнувшего на религиозные святая святых.

Б. А. Рыбаков заметил однажды, что в русском летописании второй половины XII века названы по имени и деду, однако *без отчеств*, всего четыре живых, юных и малоизвестных, еще не прославившихся ничем князя. Полное же упоминание по имени, отчеству и «фамилии», то есть по имени деда, входило в торжественную формулу некрологов. Например, «преставися благоверный князь Смоленьский Давыд, сын Ростиславль, внук

же великого кинязя Мстислава»... «Нигде ни один летописец,— пишет Б. А. Рыбаков,— не величал живого кинязя сверх отчества еще и имением деда». И единственное исключение — уникальная запись в Киевском своде 1198 года о живом и хорошо известном кинязе: «В то же время *Святославличь Игорь внук Олгов* поеха из Новагорода...» Возможно, что это не только свидетельство известности заголовка «Слова», но и нечто другое... Почему Игорь упомянут так, как по летописной традиции упоминали только мертвых? Что этим хотели сказать составлявшие свод монахи, священнослужители или их цензоры?

Далее. Князей, как правило, хоронили в соборах, церквах и монастырях. В конце XII века упокоились в различных храмах многие известные князья, в том числе и персонажи «Слова». Святослав Всеволодович (ум. 1194) был «положен в Киеве в отни монастыри», «буй-тур» Всеволод Святославич (ум. 1196) — в черниговской церкви Богородицы, Давид Ростиславич (ум. 1197) — в смоленской церкви Бориса и Глеба, Ярослав Всеволодович (ум. 1198) — в черниговском Спасо-Преображенском соборе.

Летописи тех лет отмечали места захоронений второстепенных, не оставивших никакого следа в истории, князей. В 1190 году, скажем, «преставися князь Святополк Игоревич, шурин Рюриков, апреля 19 и положен во церкви златоверхой святого Михаила, юже созда прадед его Святополк». *Об этом князе история решительно ничего не знает*. Зимой 1195 года «преставися князь Изяслав Ярославич меньший месяца февраля, и положиша его в Феодори монастыри», однако неизвестно, где и когда он княжил. «Тоя же зимы месяца марта преставися благоверный князь Глеб Юрьевич туровский (по другим источникам не то «добрянский», не то «дубровицкий».— *В. Ч.*)... И привезоша его в Киев. Сретоша тело его митрополит с игумены и князь великий Рюрик. Положиша его во церкви святого Михаила златоверхого». Существуют разнотолки о том, чей это был потомок и где его на самом деле похоронили...

Наши средневековые историки постоянно фиксировали также места упокоения видных священнослужителей, многих княгинь и даже малолетних князей. Так, в 1199 году умер в шестнлетием возрасте Ростислав Ярославич, внук киевского князя Владимира Мстиславича, живший в Новгороде при отце, и летописец отметил, что положили его «в монастырн святого Георгия». В 1201 году умерла мать этого князя-младенца, супруга Ярослава Владимировича «имянем Елена» и «положена бысть в церкви святыя Богородицы в монастыре». Сообщение 1202 года: «Тое же зимы преставися великая княгиния Ярославля, невестка великого князя Всеволода, Евфросиния Борисовна в Переяславли и положена бысть в церкви Бориса и Глеба подле отца и матери».

И вот перед нами загадочный факт: *один из самых известных князей того времени Игорь Святославич внук Ольгов, умерший*

великим князем черниговским, не был похоронен в Спасо-Преображенском соборе, где находился главный некрополь, усыпальница чернигово-северских князей XI—XIII веков. Да и вообще не существует никаких известий о *его захоронении в храме.* Конечно, нет летописных сведений о месте погребения и некоторых других князей. Но если допустить, что Игорь был автором «Слова», восставшим в своем сочинении против христианских канонов и кощунственно возродившим общественную память о языческих верованиях, то не могли ли церковники, знавшие о его авторстве, запретить родственникам упокоить тело «богоотступника» под святыми сводами?

Приведу для контраста подробное татищевское переложение летописных сведений о болезни, смерти и похоронах одной современницы Игоря, отнюдь не выдающейся, не оставившей никакого следа в политической или культурной средневековой Руси. «6713 (1205)... Великая княгиня Мария Всеволода Юрьевича, лежа в немощи 7 лет и видев кончину свою, пострижеся в монастыри, его же сама устрои. И пребысть в нем 18 дний, преставися марта 19 дня, прежде отхода своего созывая чада своя и много их поучая, како жити в мире и любви, люди судити во правду, зане много чита божественных книг. Егда же иде в монастырь, везоша ю на санех. По ней иде князь великий и чада ее, сынове и дщерь, и множество народа, вси плакахуся. Проводивше же ю в монастырь, возвратишася и не видеша ю до смерти, зане не хоте никого же видети, кроме единыя дщери Всеславы (Вышеславы Ростиславли), иж приеха пред тем, при ней же и скончася. По смерти же ее положиша ю во гробе каменне и погребоша во церкви святой Богородицы. Константину же, сыну большему, прииде весть, яко мать его скончася, горько плакася, зане ему мать не яви, яко име намерение пострищися, и то учини в другой день по ея отходе».

Если бы мы имели такие же достоверные подробности о последних днях, кончине и похоронах Игоря Святославича, нам наверняка открылись бы многие сокровенные тайны и его времени, и его личности!.. Глубокой печалью веет от сдержанных слов: «6710 (1202). Преставися князь черниговский Игорь, сын Святославль. Той же зимы явися затмение в луне декабря 29».

Фантастически случайное совпадение редкого космического явления со смертью Игоря вызывает ассоциативные мысли о том, что он, литературный гений космического, почти неправдоподобного дарования, закончил свою земную юдоль непонятым и осужденным современниками, открыв своей жизнью и смертью череду трагических судеб в русской литературе новых времен...

И, быть может, сыновья Игоря, безусловно осведомленные об авторстве отца, разворошившего упреками «Слова» княжеский муравейник Русской земли и одновременно призывавшего к единению, разделяли отцовские идеалы и помыслы, знали о попрании его законного права на Киев? Есть поразительный исторический факт, который ни летописцы, ни позднейшие историки

никак не объясняют. Может, за ним стоит нераскрытая тайна личности Игоря? Или он как-то связан с причиной довольно ранней смерти князя, который уже четыре с половиной года должен был занимать великокняжеский стол?

«6710 (1202). Преставися князь северский Игорь Святославич декемвриа 29-го дня» (В. Н. Татищев. История Российская..., т. 3, с. 168). Странно, что Игорь назван князем северским, но мы не будем гадать о причине такого поименования, обратим внимание на точную дату смерти — 29 декабря 1202 года. По языческому и христианскому обряду человека обычно хоронили на третий день. И вот сразу после похорон Игоря Святославича будто прорвалась плотина — Ольговичи, среди которых уже, очевидно, большой вес имели Игоревичи, соединившись с войсками Рюрика Ростиславича, напали на Киев, учинив неслыханное разореньe древней столицы Руси. «И створися велико зло в Рустей земли, якого же зла не было от крещенья над Кыевом. Напасти были и взятья — не якоже ныне зло се стася: не токмо едино Подолье взяша и пожгоша, ино гору взяша и *митрополью святую Софию разграбиша и монастыри вси и иконы одраша...»*

Произошло это 2 января 1203 года, то есть на следующий день после похорон Игоря, и можно предположить некую связь между двумя столь близкими событиями. Простившиеся с телом отца Игоревичи должны были тут же сесть в седла и скакать, меняя коней, долгую ночь по заснеженной дороге, чтоб на следующий же день подступить к Киеву... Позже Роман, Святослав и Ростислав, три сына Игоря, призванные галичанами на княжеские столы как внуки Ярослава «Осмомысла», будут повешены местным боярством — такой массовой и жестокой казни князей на Руси не было «от крещенья над Кыевом» и не будет никогда позже...

Есть и другие загадки, связанные с жизнью и смертью Игоря Святославича. Почему летописцы посвятили его младшему брату Всеволоду, князю удельному, развернутый, с чувством написанный некролог, а о смерти Игоря Святославича, умершего после четырехлетнего черниговского стольного княжения, сообщили столь скупо, в одну строчку? И почему во враждебной Игорю Лаврентьевской летописи, которую, очевидно, цензуровал сам Всеволод Большое Гнездо, покойный даже не удостоился отчества? Приведу это сверхкраткое летописное сообщение и — опять для контраста — последующую фразу: «В лето 6710. Преставися князь Черниговьскый Игорь. Того же лета преставися княгыни Михалкова Февроньа, месяца августа в 5 день, на память святого мученика Евсегиия, и положена бысть в церкви святыя Богородица, в Суждали» (ПСРЛ, т. 1, 1846, с. 175).

Однако самое таинственное открылось мне в знаменитом рукописном средневековом источнике — Любечском синодике. Не раз я вчитывался в этот исключительный по своей исторической ценности документ, где записаны для поминовения при церков-

ных службах черниговские удельные и владетельные, стольные, называемые «великими», князья.

Отсутствие в Любечском синодике Владимира Мономаха, его отца Всеволода Ярославича, а также Бориса Вячеславича, сына смоленского князя Вячеслава Ярославича, сидевших на черниговском столе в последней четверти XI века, объясняется просто — составители синодика справедливо считали законными владетелями Чернигова только потомков Святослава Ярославича, четвертого сына Ярослава Мудрого. Но почему в этом драгоценнейшем историческом документе не назван по имени князь Игорь? Загадка! Читаю список в том месте, где должен значиться Игорь Святославич. Синодик упоминает «Великого князя Ярослава черниговского, в иноцех Василия, и княгиню его Ирину». Как известно, Ярослав Всеволодович княжил в Чернигове с 1177 по 1198 год. Назван по именам и отчеству великий князь Всеволод-Даниил Святослав⟨ич⟩ черниговский (Чермный) и княгиня его Анастасия. Этот князь впервые занял черниговский стол в 1204 году.

Как мы знаем, с 1198 по 1202 год великим черниговским князем был Игорь Святославич, однако Любечский синодик между Ярославом Всеволодовичем и его племянником Всеволодом Святославичем помещает некоего «Великого князя Феодосия черниговского...». Но в Чернигове никогда не сидел князь Феодосий, и вообще на Руси среди *сотен* удельных и великих князей не было князя, носившего такое имя! Если Игорь Святославич не назван в Любечском синодике, то это чрезвычайно показательно, только я предполагаю, что под псевдонимом «Феодосий»— это имя самого досточтимого святого русской церкви — записан в помянальник Игорь! Допускаю, что он, будучи автором полуязыческого «Слова», «покаялся» перед смертью в своих «грехах», принял схиму, и в синодике значится его монашеское имя.

И еще очень важное. В Любечском синодике есть продолжение поминальной записи о загадочном *великом* князе черниговском Феодосии — в ту же строку местные священники записали «и княгиню его Евфросинью». Не Ярославна ли это «Слова», мать всех детей Игоря?

Под именем Евфросиньи Ярославны супруга Игоря проходит во всем современном «Слово»-ведении. Впервые ее назвала Екатерина II в своих «Записках касательно российской истории», но источник этого сведения нам неизвестен, как и источник первоиздателей «Слова», также назвавших жену Игоря Евфросинией. Не исключено, что Екатерина II, наверняка незнакомая с Любечским синодиком, который был обнаружен в крохотной провинциальной церкви сто лет спустя после ее «Записок», знала какой-то несохранившийся летописный манускрипт.

Чтобы читатель смог убедиться, насколько трудно установить через восемь веков исторически достоверные подробности, я рас-

скажу о моих поисках имени Ярославны, потому как через это имя можно кое-что узнать об Игоре. В известных науке летописях оно не названо, ищи не ищи, а почти через сто лет после опубликования Любечского синодика, уже в наше время, вдруг промелькнуло в одной церковной статье. «1185 год принес много горя преподобной Ефросинии: родственники ее мужа, князья северские, совершили неудачный поход на половцев (описанный в «Слове о полку Игореве») и попали к ним в плен. По поручению своего отца, великого князя киевского Святослава Всеволодовича, муж преп. Евфросинии Владимир Святославич должен был отправиться в города и веси Посемья собрать силы и готовить средства на случай вторжения половцев в Северную землю, а сама преподобная Евфросиния поехала в город Путивль, чтобы утешить свою двоюродную сестру, княгиню Евфросиню Ярославну, жену плененного князя Игоря». (И. Спасский. Преподобная Евфросиния, княжна Суздальская.— Журнал Московской Патриархии, 1949, № 1, с. 61).

Автор, правда, тоже не сообщает, откуда он узнал об этом давнем визите, но дает довольно подробное жизнеописание Евфросинии Суздальской, причисленной к лику святых в 1580 году, приводит слова о ней из какого-то неясного средневекового церковного сочинения: «Ты бо в женах российских толико превознесеся, о пресветлая суздальская звезда, яко же всем инокиням рода русского начальница и учительница преславная бысть и наречеся». При крещении она была наречена Еленой, славянское ее имя — Пребрана. Родилась около 1165 года в семье суздальского князя Михалко Юрьевича, который княжил и в Киеве, и в Переяславле, и во Владимире, жил «изгоем» в Чернигове, была замужем за Владимиром Святославичем, сыном Святослава Всеволодовича киевского, и «обращала на себя внимание красотой, умом и способностями к наученню книжному». Потеряв отца, мужа и мать, постриглась, основала в 1207 году Ризположенскую обитель близ Суздаля, прославилась своей святостью, отречением от жизненных благ, дожила до татаро-монгольского нашествия, отдавая приходившим к ней людям «опыт, вынесенный за долгую жизнь, книжную мудрость, накопленную с детства, непоколебимую веру в будущее своего народа, стараясь передать поколению русских людей моральные силы перенести свалившееся на него национальное бедствие». Умерла в 1250 году, и статья была посвящена 700-летию ее упокоения. Жаль, что автор не указывает, откуда он взял эти данные. Предполагаю, что он сотворил и расцветил сочиненными подробностями исторически малообоснованную легенду, записанную спустя *триста лет* после смерти Евфросинии Суздальской каким-то монахом Григорием, который «удостоился слушать достоверное в г. Суздале от... черноризиц обители преподобной».

Согласно другому источнику преподобная Евфросинья Суздальская — ее краткое житие предшествует подробному житию Сергия Радонежского — была дочерью Михаила черниговского,

в миру звали ее Феодулией, мать — Феофанией, а не Февронией, как у И. Спасского. (Жития святых, чтимых православной церковью, составленные преосвященником Филаретом (Гумилевским), Архиепископом Черниговским. Спб., 1892, с. 298—301). Но Михаил Всеволодович, родившийся в 1179 году, не мог иметь в 1185 году взрослую дочь, якобы ездившую тогда к своей тезке и родственнице в Путивль, дочь же Михалка Юрьевича, княгиня, а с 1201 года вдова удельного черниговского князя Владимира Святославича, никак не могла прозываться «княжной Суздальской»!

Ох уж эти «жития»! Сколько в них противоречий, взятых с потолка фактов, чисто религиозных легенд о мнимых благодетелях «героев», взятых из других «святых» биографий! Историк русской церкви профессор Московской духовной академии Е. Е. Голубинский честно называл подобные жития «баснословием», а Филарет в предисловии к своему трехтомнику житий писал: «Прежние повествования о святых Русской церкви написаны немногие современниками, очень многие — людьми поздними, притом писаны людьми разных дарований и разного образования. Повторять все эти повести без разбора, без проверки — грешно перед чистою совестию и стыдно пред просвещенным умом». В житийной истории православной церкви возможны *любые* легенды, ежели она вообще не знает, кто такие были почти треть ее святых...

Загадка имени Ярославны остается, и пока единственный достоверный источник — Любечский синодик, где она, Евфросинья, названа «княгиней», то есть супругой князя Феодосия, под которым, вероятно, следует подразумевать Игоря. Кстати, только в этом синодике названы по именам современницы Евфросиньи Ярославны — Мария, жена великого князя киевского Святослава Всеволодовича, и жена Ярослава Всеволодовича черниговского Ирина...

И Любечский синодик молчаливо хранит главную для меня тайну! Если Евфросинья — это Ярославна «Слова», а «Великий князь Феодосий черниговский»— Игорь, то почему тогда Ярослав-Прокопий Всеволодович-Кириллович, очевидно также принявший перед смертью схиму, значится в поминальнике и по своему светскому имени, и по монашескому (Василий), а для поминовения его преемника на княжеском столе Игоря оставлено только монашеское имя? По какой такой важной причине средневековые черниговские священники, записав полными именами множество князей, среди которых немало второстепенных, таких, что даже не зафиксированы в летописях, не решились назвать ни светского, ни христианского имен великого князя черниговского Игоря-Георгия Святославича-Николаевича? Исключено, чтоб они не знали этих имен, но не исключено, что они знали, кто был автором «Слова», отвергнувшим христианскую смиренническую мораль и возродившим в общественной памяти рудименты языческих верований.

44

Наконец, еще одна глубокая тайна того времени, которая приоткрылась мне много лет назад, и я счастлив поделиться с читателем своими догадками и предположениями, связанными именно с годами черниговского княжения Игоря. Приведу для начала слова замечательного знатока русской старины, историка, археолога, великого библиофила и собирателя рукописей Ивана Егоровича Забелина, книжный дар которого составил основу любимой моей московской Исторической библиотеки: «Все, что сохранилось от прежней жизни человечества... могло сохраниться под видом памятников... Каждый памятник есть... свидетель очевидец великого в бесконечном разнообразии единого дела, именуемого творчеством... Только подробным описанием и исследованием... почтенных остатков старины мы достигаем возможности выяснить себе нашу историю» (И. Е. Забелин. История и древности Москвы. М., 1867, с. 29).

Это высказывание можно отнести и к великому памятнику истории, культуры и духовной жизни наших предков — «Игореву Слову», и ко всем иным свидетелям стародавних времен — былинам, летописям, иконам, берестяным грамотам, средневековым законоположениям и официальным документам, монетам, гербам, печатям, предметам ремесел и прикладного искусства, архитектурным сооружениям.

Огромен объем информации, заложенный в любом памятнике архитектуры! Он, снабженный «подробным описанием и исследованием», свидетельствует о материалах, ремеслах, инструментах, мастерстве и строительных приемах предков, степени разведанности и освоения ими природных богатств, развития техники, технологии, транспорта. Каждая страница каменной летописи несет на себе печать своего времени, хранит историческую память о давних событиях, людях, их верованиях, достатках, духовной и творческой жизни, об их межобластнических и международных культурных связях. В памятнике запечатлены их понятия о красоте, чувстве меры, симметрии, пропорции, гармонии, об использовании ими эстетики строительного материа-

ла, пейзажа, цвета, света, рельефа. Как ценнейший продукт культуры, памятники архитектуры воспитывают эстетически, сообщают эмоциональные заряды положительного знака, будят мысль, вовлекают человека в процесс познания, напоминают о вечных ценностях, участвуют в формировании психического склада народа и, приобщая к деяниям предков, утверждают жизнь в поколениях, укрепляют веру в будущее. Памятники становятся национальными святынями, государственными символами; они несут высокие общественные понятия, *соединяя* людей и содействуя гуманистическому развитию человечества. Возведенные или восстановленные в мирные времена, они напоминают о счастье созидания и творчества, о пагубности и аморальности войн, побуждают стремления к миру.

Черниговская Параскева Пятница! Стоит мне закрыть глаза, как она выпукло, рельефно является в воображении причудливым пирамидальным столпом, будто бы легкими своими красными стенами, изящными пучковыми пилястрами, небольшими апсидами, узкими оконцами, серебряными аркамн-закомарами, орнаментальными мережками, светлым барабаном — «вся добра возлюбленная моя, и порока несть в тебе»! Трагическое и счастливое переплелось в ее судьбе. Воздвигнутая восемь веков назад, она служила главным монастырским храмом, католическим костелом, приходской церковью и за столетия совершенно изменила свой облик из-за надстроек и пристроек, как бы затаилась под ними, однако свежий кирпич со штукатуркой защитил древнюю плинфу от разрушения солнцем, дождями, ветрами и морозами. Взрыв фашистской бомбы обрушил надстройки, обнажил фрагменты средневековой кладки, в которых только такой знаток, как Петр Дмитриевич Барановский, мог столь зорко увидеть первородное, совершенно необыкновенное.

Памятник видится как монументальная и в то же время изящная и легкая скульптура, как некий символ чего-то возвышенного, смелого, гордого, светлого, величественного, динамичного, жизнеутверждающего

П. Д. Барановский предположил, что возвел храм Петр Милонег по заказу Рюрика Ростиславича. Однако доказать это невозможно. Мы твердо знаем, например, что герой «Слова» — великий князь киевский Святослав Всеволодович построил в Чернигове великолепную Благовещенскую церковь, о чем сообщает летопись: «В лето 6694 (1186) месяца марта Святослав Всеволодович святи церковь святого Благовещения юже бе сам созда». И это объяснимо — он провел детство и юность в Чернигове, княжил в нем и очень любил этот город, с чувством обратившись однажды к своему сюзерену: «Отче! Пусти мя Чернигову наперед — тамо ми жизнь вся!» Но почему великий киевский князь-Мономахович Рюрик Ростиславич должен был построить в вотчине Ольговичей Пятницкую церковь? Она датируется концом XII — началом XIII века, но ведь в 1196 году именно

Рюрик стал инициатором большой междоусобной войны, создав мощную киевско-смоленско-владимирскую коалицию, направленную против северских князей, а со следующего года ему стало не до черниговских храмов — своих строительных дел привалило хоть отбавляй.

Конечно, великая каменная летопись Руси создавалась талантами зодчих и мастерством каменщиков, то есть — в прямом значении — народом, но почти каждая постройка связывалась с именем князя. Очевидно, князья в основном за свой счет и под своим контролем вели все дело, начиная с выбора зодчего, обсуждения проекта, наблюдения за строительством и кончая освящением. Сохранились летописные свидетельства, что Мстислав построил церковь Богородицы в Тмутаракани и заложил черниговский Спас, Владимир Мономах «сам созда» церковь Богородицы в Смоленске, его сын Мстислав — одноименную церковь в Новгороде, Давыд Святославич — Борисоглебский собор в Чернигове; много храмов строили Ярослав Мудрый, Андрей Боголюбский, другие великие и невеликие князья...

Считаю, что черниговскую Параскеву Пятницу «сам созда» Игорь сын Святославль внук Ольгов.

Любознательный Читатель. Но нужны какие-то доказательства, аргументы, основания!

Они есть, хотя и косвенные. И если какой-то из аргументов слаб, то все они вкупе могут дать специалистам толчок для размышлений и дальнейших исследований...

I. Возведение храма было не только деянием «богоугодным», но также и делом чести, политики, престижным свидетельством богатства, силы, достоинства и благоденствия того или иного княжества. Чернигово-Северская и Владимиро-Суздальская земли словно соревновались во второй половине XII века — постройки на Клязьме как бы вызывали ответные на Десне и наоборот. Почти одновременно с Успенским собором во Владимире (1161) возносится в Чернигове также Успенский собор с княжескими клеймами на плинфах, бесстолпная Ильинская церковь и каменный княжеский дворец на Валу. Владимирцы строят великолепный Боголюбовский дворец, в 1164 году освящают церковь Спаса во Владимире, а в 1165 году — знаменитый храм Покрова Богородицы на Нерли, до сего дня чарующий нас своею светлой божественной статью. Не остаются в долгу северяне, но на строительство черниговских Михайловской церкви (1174) и Благовещенской (1186), вписавшей «новую страницу в историю русской архитектуры» (Б. А. Рыбаков), Всеволод Большое Гнездо отвечает Рождественским собором (1192) и знаменитым Дмитриевским (1197). Через три года он затевает еще одну постройку: «6708 (1200). То же лето месяца июля 15 дня заложи князь великий Всеволод, сын Георгиев, церковь каменну во имя святей богородицы Успения в монастыри княгинине».

Как показали недавние замечательные археологические открытия, в конце XII—начале XIII века с огромным размахом

велось каменное строительство в Смоленске. В раскрытии выдающихся по своей архитектуре форм церкви Архангела Михаила (Свирской) первая роль также принадлежит П. Д. Барановскому, который после войны спас ее драгоценные каменные остатки одновременно с остатками черниговской Параскевы Пятницы. Однако сказать только о Свирской — значит почти ничего не сказать о смоленском зодчестве тех времен.

Попутно напомнив любознательному читателю, что, например, в Париже тогда стояли только две каменные, восстановленные после давнего норманского набега, церкви, попавшие в наши справочники,— С. Жермен де Пре и С. Жермен Л'Оксерруа да недостроенный, в лесах, собор Парижской богоматери, сообщу сенсационное: «золотой век» смоленского зодчества, насчитывающий каких-то сорок лет, явил на земле этого древнего русского города *несколько десятков* каменных храмов, в том числе несохранившиеся Троицкий и Спасский соборы, собор монастыря на Протоке, Воскресенскую церковь, а также церкви на нынешней Большой Краснофлотской улице, на Малой Рычаевке, Окопном кладбище и много других, от которых не сохранилось даже названий, только фундаменты. «...В особо интенсивный период строительства — последнее десятилетие XII—первая треть XIII века — Смоленск, безусловно, превосходил по размаху строительства все остальные архитектурно-строительные центры Древней Руси» (Н. Н. Воронин, П. А. Раппопорт. Зодчество Смоленска XII—XIII вв. Л., 1979, с. 402).

А Рюрик Ростиславич сразу после окончания междоусобной войны с Ольговичами развертывает широкое каменное строительство в Киевской земле. П. Д. Барановский: «В 1197 г. им построена в Белгороде церковь Апостолов, о которой с величайшей похвалой отзывается летописец, как о здании, необычайном своей высотой и украшенностью... К 1198 г. относится построение им в Киеве на Новом Дворе церкви Василия... В 1199 г. Рюриком возведена подпорная стенка в Киевском Выдубицком монастыре, сооружение которой вызвало... восторженный отзыв летописца...» Концом XII века датирует П. Д. Барановский и прекрасную Васильевскую церковь в Овруче, построенную Рюриком, а вот летописное сообщение о начале строительства еще одного храма в Киеве: «6706 (1198). Того же году князь великий Рюрик, во святом крещении Василий имянованный, иуля 14 дня нача строити в монастыри церковь каменну Святых мученик у Днепра на Выдубичи».

Это был год вокняжения Игоря в Чернигове. Мог ли *такой* человек, как Игорь Святославич, возглавивший одно из самых богатых и культурных княжеств Руси, четыре года сидеть на «отнем златом столе» сложа руки? Вполне было бы естественно, если б он, «гориславлич» конца XII века, ущемленный в своих правах на киевский великий стол, традиционно ответил на строительство новых храмов во Владимире, Смоленске и Киеве, возведя в Чернигове Параскеву Пятницу, эту несравненную жемчу-

жину средиевековой русской архитектуры. Это было делом. чести, и то, что Игорь, как автор «Слова», по нашей гипотезе *полубезверец*, не только ие противоречит предположению, но даже подкрепляет его. Архитектура, в том числе и культовая, будучи самым «людиым» из всех искусств, может своеобразио выражать светские идеи своего времени, является красноречивым свидетелем исторических событий, а облик того или иного памятника как бы запечатлевает творческую личность создателя.

2. Летописного сообщения о строительстве или освящении Параскевы Пятницы иет, ио если бы храм построил Рюрик Ростиславич, цензуровавший в эти годы Киевский летописный свод, то он ие преминул бы зафиксировать в ием еще одно свое богоугодное деяние. Отсутствие в летописях известий о черниговском архитектурном шедевре можно связать с теми же обстоятельствами, которые обусловили полное замалчивание средневековыми подцензурными историками каких-либо событий четырехлетнего черниговского княжения Игоря, скупые сообщения о его смерти, отсутствие летописного некролога и сведения о месте захоронения автора «Слова».

3. Неоспоримым свидетельством того, что Параскева Пятница строилась попечением князя, служат метки-клейма на ее плинфах. Из письма научного руководителя коллектива Черниговского историко-архитектурного заповедника А. А. Карнабеда: «Основным источником данных о метках-клеймах на плинфах Пятницкой церкви являются данные П. Д. Барановского, Н. В. Холостенко и мои исследования... Плинфы Параскевы Пятницы помечены в виде *княжеских* знаков в большом количестве вариантов с плавной дугой и основой в виде угла, какого-то жезла с *трезубом* на конце, в виде двузуба с отрогом внизу и *трезуба* с расщеплением средней черты, знаки в виде *трезуба* с разветвлением всех трех концов и т. д.» Напомню, что трезубец на средневековых русских плинфах, монетах, печатях и гербах наукой ныне рассматривается как символическое изображение сокола — древнейшего анималистического тотема Рюриковичей, а «соколиной» символикой и художественной образностью, как мы знаем, пронизано все «Слово о полку Игореве».

4. Метки-клейма Параскевы Пятницы во всем их объеме — возможно, своего рода многозначный символический шифр заказчика, выразившего и в поэме и в параллельном архитектурном творении свои идеалы. А. А. Карнабед: «Характерны для плинф Пятницкой церкви орнаментально-изобразительные клейма... Среди них: а) разнообразные стрелы; б) змейки в виде присущего народной орнаменталистике «бегунка»; в) луки со стрелами; г) «плетенка» в виде сетчатого орнамента, который просматривается на фасадах памятника. Есть также оригинальные метки в виде букв и близких им по характеру знаков — буква кириллического алфавита «И», буква глаголического письма — «Веди» и др., а также сложные знаки из прямых и наклонных черт. Всего выявлено около 30 различных вариантов меток-клейм

указанных трех основных групп». Не были ли эти клейма знаком также и народного характера постройки? Выскажу и достаточно фантастическое предположение: не образовывали ли клейма-буквы и знаки «сочной резьбы», как пишет мне А. А. Карнабед, на первозданных стенах осмысленную надпись — от автора «Слова»; если это он «сам созда» памятник, можно было ожидать чрезвычайного! По количеству и разнообразию клейм, несущих чрезвычайно объемную, но в сущности еще не расшифрованную информацию, Параскева Пятница, этот сравнительно небольшой черниговский памятник, *не имеет аналогов в русской архитектуре, так же как краткое «Слово» не имеет аналогов в русской литературе по количеству и разнообразию информации, не говоря уже* о *других его непреходящих ценностях.* Добавлю, что церковь св. Василия в Овруче — несомненно, построенная Рюриком киевским, о чем есть летописное сообщение,— ровесница Параскевы Пятницы и настолько близка ей по архитектурным элементам, что П. Д. Барановский, возрождая черниговский шедевр, взял из овручского памятника некоторые зодческие подобия. Но удивительное дело — у Васильевской церкви «клейм и знаков на кирпичах нет»! (П. А. Раппопорт. Русская архитектура X—XIII вв. Л., 1982, с. 30).

5. Параскева Пятница возведена поодаль от черниговских монастырей и соборов, на городском Торгу. Возможно, что это была своего рода благодарность князя местному купечеству, которое помогло ему материально в 1185 году. Вспомним, что в том же году Игорь едет к храму святой богородицы Пирогощей, стоявшей на киевском Торгу...

6. Пятницкая церковь разительно отличается от всех черниговских памятников своей *пирамидальной* статью, множеством других зодческих особенностей и, прежде всего, явными признаками светской архитектуры. Это обстоятельство тоже наталкивает на мысль о параллели со «Словом» как светским произведением искусства. Храм отличается также от всех остальных на Руси тем, что в нем впервые столь смело отвергнуты архитектурные каноны византийской школы и с наибольшей полнотой выражен национальный зодческий стиль, точно так же как «Слово о полку Игореве»— самое яркое и самостоятельное проявление национального духа в средневековой русской литературе.

7. Необыкновенный этот храм был воздвигнут во имя св. Параскевы, культ которой нерасторжимо сливался с древними языческими поверьями. В своем замечательном труде «Поэтические воззрения славян на природу» А. Н. Афанасьев писал: «Подобно тому, как атрибуты Перуна переданы были Илье-пророку, а поклонение Велесу перенесено на св. Власия,— древняя богиня весеннего плодородия сменилась св. Параскевою... Именем св. Пятницы в простонародье называется мученица Параскева. В четьях-минеях повествуется, что родители ее всегда чтили пятницу, как день страданий и смерти Спасителя, за что и даровал им Господь в этот день дочь, которую они назвали Пара-

скевой, т. е. Пятницей; в прежних наших месяцесловах при имени св. Параскевы упоминалось и название Пятницы; церкви, освященные в честь ее имени, до сих пор называются Пятницкими. 28-го октября, когда чтится память св. Параскевы, поселяне кладут под ее икону разные *плоды* и хранят их до следующего года».

Б. А. Рыбаков пишет, что корни культа полухристианской-полуязыческой Параскевы Пятницы уходят в глубь веков, к доисторическим верованиям наших предков в единственную богиню праславянского пантеона Макошь с ее русалками — покровительницу источников, колодцев, священной земной влаги, однако культ Пятницы, развившийся в XII—XIII веках, был шире: она стала также божеством домашнего счастья и плодородия, покровительницей полей и скота, женского рукоделия и торговли.

Языческий культ Пятницы был *самым устойчивым и наиболее распространенным из всех дохристианских верований нашего народа*. А. Н. Афанасьев: «Стоглав» (сборник установлений церковного собора 1552 года.— *В. Ч.*) свидетельствует, что в его время ходили «по погостом и по селам и по волостем лжнвые пророки, мужики и жонки и девки и старыя бабы, изги и босы, и волосы отрастив и распустя, трясутся и убиваются, а сказывают, что им являются св. *Пятница* и св. *Анастасия*... они же заповедают крестьянам в *среду и в пятницу* ручного дела не делати и женам не прясти, и платья не мыти, и каменья не разжигати, и иные заповедают богомерзкие дела творити». Знаменитый русский мифолог описывает далее поверья, сохранившиеся до *его* времени: «По народному объяснению, по пятницам не прядут и не пашут, чтоб *не запылить матушку-Пятницу* и не засорить *ей кострикою и пылью глаза*... В Малороссии рассказывают, что Пятница ходит по селам вся исколотая иглами и изверченная веретенами, так как много есть на земле нечестивых женщин, которые шьют и прядут в посвященные ей дни».

Эти извлечения из А. Н. Афанасьева я привел для того, чтобы современный читатель удостоверился, как глубоко были укоренены языческие поверья, связанные с Пятницей,— ведь *они зафиксированы ученым в середине XIX века*. Легко вообразить, насколько распространен был в народе этот культ в конце XII века, когда был возведен черниговский храм Параскевы Пятницы, и совсем не исключено, что его постройка князем Игорем была своеобразным отзвуком полуязыческого духа «Слова». Не лишним будет добавить, что Параскева Пятница была, по народным верованиям, также и богиней правосудия, а именно в справедливом суде современников и потомков нуждался ее фундатор.

8. Возможно, Игорь возвел Пятницкий храм и в память о своем счастливом избавлении от половецкого плена? Ипатьевская летопись: «Се же избавление створи господь в *пяток*...»

9. Как и московский храм Василия Блаженного, черниговская Параскева Пятница — скорее, своеобычная скульптура, возвышенный символ, материализованная в камне идея, чем помещение для богослужений. «Слово о полку Игореве» во множестве

подробностей и в целом имело символическое звучание и значение, так что неповторимая оригинальность Параскевы и «Слова», их композиционные и иные особенности могут быть коммуникативно соотнесены, связаны с одной творческой личностью. И если заказчиком действительно был князь Игорь, то его художественный вкус и слишком нерядовая индивидуальность могли существенно повлиять на замысел зодчего.

10. Храм Параскевы Пятницы имел подобия в Северской земле. В 1953 году были раскопаны остатки храма Спасо-Преображенского монастыря в Новгороде-Северском, которые изучаются до сего дня. «Мы склоняемся к той мысли, что, вероятнее всего, собор связан с Игорем, на это указывает его близость к Пятницкой церкви в Чернигове. Обнаруженный во время раскопок лекальный кирпич различных типов позволяет предположить по аналогии с Пятницкой церковью, что здание было декорировано аркатурой, сетчатым орнаментом, «городками» и поребриком... Судя по плану, храм, вероятно, имел ярко выраженную *пирамидальную* композицию масс. Ступенчатость его нарастающих к центру объемов была обусловлена наличием трех папертей, а также тем, что церковь была одноглавой и, вероятно, имела поднятые своды центрального нефа и трансепта. Об этом позволяет предположить позднейшая гравюра из «Анфологиона», напечатанного в Новгороде-Северском в 1678 году» (Логвин Г. Н. Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль. М., 1980, с. 163—165). Новгород-Северский храм простоял до конца XVII века. Проезжавшая через город из Киева Екатерина II приказала *разобрать* его, и в 1791—1796 годах на этом месте по проекту Д. Кваренги был возведен новый Спасо-Преображенский собор; то было, можно сказать, преступление, разорвавшее драгоценную связь времен...

Тот же автор пишет, что во время археологических исследований Путивльского детинца «были раскопаны остатки каменного храма, которые позволяют сделать вывод, что он был очень интересным и необычным сооружением» с *пирамидальным* силуэтом. «Здесь, как в Пятницкой церкви в Чернигове и Новгород-Северском храме, стены были украшены сложными пучковыми пилястрами». Ученые датируют путивльский храм, как и Параскеву Пятницу, концом XII—началом XIII века. Погиб он, очевидно, во время нашествия степняков в 1239 году. Кстати, о новгород-северском и путивльском храмах, ровесниках Параскевы Пятницы, тоже нет никаких упоминаний в летописях. Можно предположить, что именно Игорь Святославич создал эти три необычных храма в главных своих городах как, в частности, память о событиях, запечатленных в его бессмертной поэме.

Итак, совпадают время, место, исторические обстоятельства и некоторые искусствоведческие данные, позволяющие говорить о том, что князь Игорь, быть может завершавший на черниговском княжении главное подвижение своей жизни — редактуру, доводку и первую чистовую пропись «Слова», строил оригиналь-

нейшие и совершеннейшие каменные сооружения. Одно из них — Пятницкая церковь в Чернигове, возрожденная к новой жизни, стоит ныне, как живая, и каждый может полюбоваться ею да подумать над многовековой тайной нашей истории и культуры.

Н. В. Гоголь: «Архитектура — тоже летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и песни и предания...» Современная исследовательница Е. В. Воробьева, на работу которой мы уже ссылались, справедливо пишет, что «...монументальное изобразительное искусство, и в первую очередь архитектура, всегда играли огромную роль в формировании художественных воззрений своей эпохи. Храмы, олицетворявшие часто образ родного города, силу князя и его идейные устремления, были у всех на виду и ежедневно воздействовали на сознание жителей города. Поэтому нельзя не учитывать идейно-художественного влияния комплекса архитектурных сооружений черниговского кремля, находившегося постоянно перед глазами современников «Слова». И далее: «Слово о полку Игореве», благодаря специфике художественного языка, многогранно и конкретно отражает героико-патриотические идеи: сплочение русских земель, призыв к прекращению братоубийственных войн, воспевание княжеского могущества как единственной силы, способной прекратить раздоры и защитить свой народ. Близкие, но более обобщенные идеи прочитываются в величественных, монолитных формах Борисоглебского храма, как бы противопоставленного мелкой, разобщенной застройке. Необычная цельность и слитность архитектурных форм, подчиненных центральной главе, опирающейся на мощное основание, легко вызывала ассоциации о единстве, сплоченности вокруг главы княжества — князя. Устойчивые стены, усиленные стройными полуколоннами, украшенные необычайными резными капителями, материально выражали могущество и возможности князя и его рода. Каменная плоть невольно ассоциировалась с величием и мощью рода Святославичей, вещественно демонстрировала знатность родового гнезда, права «Даждьбожиих внуков» на княжение в отчих землях». Эти слова исключительно точно могли бы характеризовать и наиболее выдающееся зодческое творение Чернигова — Параскеву Пятницу, современницу «Слова».

И если Игорь Святославич внук Ольгов «юже сам созда», пригласив, возможно, из киевской земли великого средневекового зодчего Петра Милонега, то поток информации, заложенный в этом замечательном памятнике, растекаясь «по мыслену древу», снова и снова настойчиво возвращает нас к «Слову» и его творцу.

Вот авторитетные мнения трех специалистов — искусствоведов, археологов, историков архитектуры, знатоков русской старины: «Пятницкая церковь — явление закономерное в истории древнерусского зодчества. В ней, как и в «Слове о полку Игореве», воплощены самые возвышенные народные идеалы единства древнерусских земель, народные представления о прекрасном, гордое сознание силы и величия народа» (Г. Н. Логвин. Чернигов, Нов-

город-Северский, Глухов, Путивль, с. 67)... «Слово» родилось и жило вместе с русским искусством,— оно не было одиноко в своём художественном совершенстве и идейном величии, но литература и зодчество создавали в эпоху мощного расцвета культуры древней Руси «конгениальные» произведения» (Н. Н. Воронин. Литературные памятники. «Слово о полку Игореве» под редакцией В. П. Адриановой-Перетц. Л., 1950, с. 320—341)... «Собор Пятницкого монастыря в своих определенно выраженных национальных формах — пока единичное явление в архитектуре древней Руси... подобно тому, как его знаменитый современник в области поэзии, рожденный, по признанию ученых, в той же Северской земле —«Слово о полку Игореве», являясь тоже уникальным, представляет собой одно из самых лучезарных созданий древнерусского искусства, свидетельствующих о высоте культуры и творческих достижениях народа» (П. Д. Барановский. Собор Пятницкого монастыря в Чернигове.— В кн.: Памятники искусства, разрушенные немецкими захватчиками в СССР. М.—Л., 1948, с. 34).

В Пятницком соборе как нельзя к месту размещена сегодня экспозиция, посвященная «Слову о полку Игореве». И в Ярославле, там, где была обнаружена драгоценная рукопись, недавно открыт небольшой музейчик, хотя пришла пора создать настоящий музей «Слова» в Москве, который однажды, перед Великой Отечественной войной, был, в сущности, создан. Идею воссоздания такого музея единодушно поддержали в Москве, Ленинграде, Киеве и Чернигове участники научных конференций 1975 года, посвященных 175-летию первого издания поэмы. Нашлись и энтузиасты. Г. В. Сумаруков, старший преподаватель биофака МГУ, кандидат биологических наук, писал мне, вспоминая: «Просто удивительно, что мы с Вами ни разу не встретились у Петра Дмитриевича Барановского. Несколько лет назад мы с ним пытались заняться организацией в Крутицах музея «Слова о полку Игореве». А обнаружил он меня так. В газете «Советская культура» была напечатана заметка с предложением создать такой музей. Я в то время уже по-настоящему интересовался «Словом» и откликнулся на эту заметку. Мой отклик опубликовали (Такой музей нужен.— СК, 1975, № 46). Об этом отклике узнал Петр Дмитриевич, разыскал меня, и мы познакомились. Много ездили с ним по Москве. Я был в роли добровольного и личного водителя и поводыря, а он — носителем идеи. Где мы только не побывали: у академиков, вице-президентов, в ВООП, в важных и не важных учреждениях. Меня поражало повсеместное и искреннее уважение к Петру Дмитриевичу. Буквально все двери открывались перед ним. И немедленно! С ним говорили, соглашались, поддерживали. Но в этих «поддержках» звучало подчас скрытое «но», и я его слышал. Для Петра Дмитриевича никаких «но» в вопросах открытия музея не существовало. Часто мы ездили в «Литературку». Вскоре газета поместила целую полосу

материалов о «Слове», в которых нашла отражения идея организации музея (ЛГ, 1975, № 30, 23.7). В дальнейшем наша «кипучая» деятельность стала глохнуть: здоровье Петра Дмитриевича становилось все хуже...»

А 1 января 1976 года «Литературная газета» напечатала письмо группы участников юбилейных конференций. Ученые, в частности, писали: «Слово о полку Игореве» не только величайшее произведение словесного творчества Древней Руси, но и неотъемлемая часть культуры и литературы нового времени. Поэтическая сила «Слова», его патриотический и гуманистический пафос обеспечили долгую жизнь этому древнему памятнику, снискали любовь к нему сегодняшнего многомиллионного читателя.

Музей, посвященный «Слову о полку Игореве», мог бы стать не только музеем, повествующим об истории памятника, но и музеем книжной культуры Древней Руси в целом».

Ученые напоминали также, что в 1985 году «исполняется 800 лет со времени события, воспетого в «Слове о полку Игореве», что создание музея, «без сомнения, явится событием огромного патриотического и общекультурного звучания», и предлагали: «Москва, Крутицкий терем — таким мог бы стать адрес нового музея».

Письмо подписали академики И. Белодед (Киев), Д. Лихачев (Ленинград), Б. Рыбаков (Москва), доктора филологических наук Л. Дмитриев, В. Колесов, Ф. Прийма (Ленинград), Ю. Пширков (Минск), А. Робинсон (Москва), члены Союза писателей СССР, кандидаты филологических наук В. Стеллецкий и С. Шервинский (Москва), кандидат филологических наук Ф. Шолом (Киев). К сожалению, на это письмо не было ни ответа, как говорится, ни привета. А он, ответ-привет, срочно нужен — совсем немного времени осталось до юбилея. 22 ноября 1983 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла следующее решение: «1. Генеральная конференция призывает учреждения, организации, деятелей культуры, литературы отметить эту дату, знаменательную годовщину в истории мировой культуры; 2. Генеральная конференция предлагает Генеральному директору ЮНЕСКО осуществить ряд конкретных мероприятий по участию ЮНЕСКО в праздновании 800-летия создания этого выдающегося памятника мировой литературы».

Следовало бы в юбилейном году не только открыть музей, но и создать научный центр по дальнейшему изучению поэмы. Ф. Я. Прийма: «...тот, кто взял бы на себя труд подвести итоги научного изучения «Слова о полку Игореве», пришел бы к выводу, что вся сумма посвященных ему исследований — это лишь начало той большой работы, вернее, того цикла работ, которое еще надлежит осуществить советским ученым». Необходимо выпустить полный библиографический справочник литературы о «Слове», сводный обзор реального комментария, энциклопедию памятника, продолжить исследование тайн авторства, предыстории мусин-пушкинского списка, смысловых глубин, художествен-

ных достоинств, композиционных, ритмических, аллитерационных, синтаксических и иных особенностей, связей с фольклором, народной лексикой, летописанием, историей феодальной Руси. Пора также предпринять массовое, подлинно народное издание поэмы, чтоб ее имела если не каждая семья, то, по крайней мере, каждая школьная и клубная библиотека, а также библиотека каждой воинской части, корабля, завода, санатория, пионерлагеря, детдома, совхоза, погранзаставы.

«Слово о полку Игореве»— удивительное явление творческого духа. Если поискать приблизительные параллели в других родах искусства, то это и симфония, пересказать которую нельзя — любые слова прозвучат слабыми отголосками по сравнению с мощной словесной музыкой поэмы; и прекрасная старинная картина, выполненная смелыми бессмертными мазками; это и величественный собор, от коего невозможно оторвать взгляд, а все секреты его кладки, тайны чарующей красоты и гармонии никогда не будут до конца открыты; это и грандиозный спектакль, где автор, художник-оформитель, осветитель, капельмейстер, режиссер и заглавный актер — одно лицо, загадочной тенью промелькнувшее восемьсот лет назад в русской истории и литературе.

Впрочем, «Слово» не нуждается в каких бы то ни было искусствоведческих либо литературоведческих сравнениях,— рядом с ним поставить нечего, оно сотворено по особым законам художественного творчества, открытым и блестяще реализованным только однажды; неповторимы его интонационные переливы и глубокий историзм, ритмический строй и предельная, часто двойная-тройная смысловая нагрузка на слова, клокочущая внутренняя энергия и полифоничная звукопись, символика и патриотизм, первозданная изобразительная сила и экскурсия.

«Игорево Слово»— национальная гордость русских, украинцев и белорусов, бесценное сокровище культуры всех славянских народов, высокое гуманистическое достижение, принадлежащее многоликому человечеству. Кроме острейших и важнейших общественных и политических идей своего и будущих времен, стародавняя русская поэма несет в себе такую концентрацию непреходящих художественных ценностей, до какой не поднялось ни одно произведение средневековой западноевропейской литературы того времени,— это было следствием и результатом высокой культуры домонгольской Руси.

М. В. Ломоносов, не подозревавший о существовании «Слова о полку Игореве», «Поучения чадом», «Слова» Даниила Заточника, «Слова о погибели Рускыя земли», «Сказания о Мамаевом побоище», многих других замечательных произведений старорусской литературы, заметил однажды: «Немало имеем свидетельств, что в России толь великой тьмы невежества не было, какую представляют многие внешние писатели». Однако многие

«внешние» писатели по достоинству смогли оценить «Слово»— этот драгоценный памятник мировой культуры.

Вскоре после русского издания «Слова» появились его первые, а позже и повторные переводы на другие языки — чешский, польский, немецкий, французский, болгарский, венгерский...

Братья Гримм, два талантливейших немца, обожествлявшие древнюю мифологическую культуру своего народа, познакомились со «Словом» около 1816 года в немецком переводе, и Вильгельм Гримм сравнил этот шедевр с «целительным и освежающим альпийским потоком, вырывающимся из недр земли, с неведомым ботанику и новооткрытым растением, чьи формы просты и поражают законченностью и совершенством... чья внешность производит необычайное впечатление и заставляет удивляться неистощимой творческой силе природы».

Вацлав Ганка, «Словенский Филолог», как его назвал в своих лекциях М. А. Максимович, издал в Праге «Слово» в 1821 году со своим прозаическим переводом и пояснением, в котором писал по-русски: «Язык подлинника сей Песни великолепен и крепок, делает переход из Славянского в старый Русский...»

Великий польский поэт Адам Мицкевич говорил в лекциях, прочитанных в 1841—1842 годах в парижском Collège de France: «Читая поэму, каждый славянин испытывает ее очарование. Многие из выражений и образов «Слова о полку Игореве» постоянно встречаются у позднейших поэтов русских, польских, чешских, причем нередко эти писатели не изучали специально, даже не знали «Слова». Причиной этому славянская основа произведения. Пока не изменится натура славянина, эту поэму будут всегда считать национальным произведением, она сохранит даже характер современности».

А. Мицкевич считал, что «славянская поэзия всегда естественная, земная», чем отличается от надуманной изысканности греческих и резких, жестких контуров скандинавских поэм.

Француз А. Рамбо в книге «Русская эпика» (1876): «Слово» для русских гораздо больше, чем для нас «Песнь о Роланде», так как оно единственное в своем роде. Оно то, чем были для греков поэмы Гомера...»

Англичанин Л. Магнус (1915): «Поэма абсолютно конкретна, точность ее объясняется близкой связью с современными летописями в стиле, грамматике и содержании... Стиль произведения энергичен и полон силы; точность и сжатость, соединенные с поэтическим представлением и изобилием поэтических образов, взятых из мира природы,— вот определительные черты стиля «Слова».

Чешский славист Ян Махал (1922): «Старорусская литература может гордиться художественным памятником высокой литературной ценности».

Итальянский профессор Ло Гатто (1928): «Слово о полку Игореве»— драгоценный памятник для изучения жизни русского народа этой эпохи со всех сторон: с точки зрения внешней исто-

рии (обычаи, костюмы, война и т. д.) или его умственного развития (религиозные представления, мораль и т. д.), но оно, прежде всего, является художественным произведением».

Американец Дж. Сэртон в книге «Введение в историю науки» (1931): «Слово о полку Игореве»... представляет собой лучшее из известных классических произведений ранней русской литературы».

А. Брюкнер, польский историк русской литературы (1937): «Слово» остается единственным действительно поэтическим памятником всего славянского средневековья, оно действительно спасает честь славянского мира...»

«Слово» постепенно проникает в интеллектуальную жизнь зарубежного читателя, становясь своего рода мерилом художественных, духовных ценностей. Современный писатель, член Французской академии Анри Труайя в своем романе «Семья Эглетьер», выпущенном на русском языке в 1969 году, пишет, что один из лекторов в Институте восточных языков после своих коллег, которые «чуть не усыпили слушателей, пережевывая общие места анализа «Песни о Роланде» и «Песни о Хильдебранте», дал блестящий анализ «Слова о полку Игореве», по яркости повествования и образности метафор приравняв эту эпопею XII века к таким шедеврам мировой литературы, как «Илиада» и «Одиссея»...»

«Слово» пришло в Азию. В Монголии «Слово» читают и почитают наравне с «Сокровенным сказанием», замечательным памятником монгольской литературы XIII века. Президент Национальной академии наук Индии профессор Р. Чаттерджи выпускает монографию «Слово о полку Игореве». В Японии за послевоенные годы вышло *шесть* переводов поэмы с подробными комментариями.

В школах, колледжах и университетах разных стран и континентов изучают великую русскую поэму, приобщаясь к ее сложнейшему миру, обнаруживая в ней неповторимые подробности жизни средневековой Руси, завлекательные тайны и неизведанные художественные совершенства.

Да будет так и ныне и присно и во веки веков!

1968—1983

з-
о,

»
ее
е-

):
а-
ю

нь
т-
и-
»,
из
ег,
ста
ал
ю-
ве-
и

ю-
ым
На-
вы-
за
ми

ти-
ж-
сти
ан-